

СЛАВЯНО-ГЕРМАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Томы первый, второй

**Москва
2000**

Российская академия наук
Институт славяноведения

Научный центр
славяно-германских исследований



Славяно-германские исследования

Тома первый, второй

Международный редакционный совет:

В. К. Волков (Москва), А. А. Гугнин (Москва), Рольф-Дитер Ключе (Тюбинген), Вальтер Лейч (Вена), Герттрауд Маринелли-Кёниг (Вена), Герд Мейер (Тюбинген), Лудольф Мюллер (Тюбинген), А. В. Назаренко (Москва), С. В. Никольский (Москва), Л. А. Софронова (Москва), Б. Н. Флоря (Москва), Клаус Цернак (Берлин), Венделин Шмидт-Денглер (Вена), Дитрих Шольце (Баутцен/Будисшин), Марья Эдельмейр-Вакоуних (Вена)

Российская академия наук
Институт славяноведения

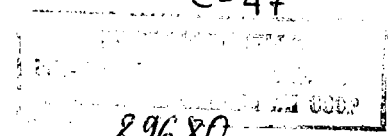
Научный центр
славяно-германских исследований

Славяно-германские исследования

Томы первый, второй



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2000



Редакционная коллегия: *А. А. Гугнин* (ответственный редактор первого тома),
М. Ю. Парамонова, В. А. Хорев, А. В. Циммерлинг (ответственный редактор
второго тома), *Л. Ф. Широкова* (секретарь)
Ответственный редактор серии — *А. А. Гугнин*

Рецензенты: *Г. Я. Ильина*, доктор филологических наук
Г. П. Мельников, кандидат исторических наук
С. С. Скорвид, кандидат филологических наук

Издание осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(номер проекта 98-01-16228)

Славяно-германские исследования. Тома первый, второй. Отв. ред. *А. А. Гугнин, А. В. Циммерлинг*. М.: Индрик, 2000. — 656 с.
ISBN 5-85759-111-2

Slawisch-deutsche Forschungen. Bds. erste, zwiete. Hrsg. von *Alexander Gugin, Anton Zimmerling*. Moskau: Indrik, 2000. — 656 S.

Настоящая книга открывает новую серию изданий Научного центра славяно-германских исследований, основанного в ноябре 1993 г. в Институте славяноведения РАН. Эта серия предназначена для всестороннего и комплексного изучения взаимодействия славянских и германских государств и народов на протяжении многовековой истории совместного проживания в Европе. Особое внимание уделяется междисциплинарному изучению взаимосвязей национальных культур в общеевропейском контексте.

В издании публикуются исследования, обзоры и другие материалы, написанные историками, литературоведами и лингвистами и представляющие важные и интересные страницы славяно-германских отношений от Средних веков до наших дней.

Der vorliegende Buch eröffnet eine neue und wichtige Reihe der Veröffentlichungen des Forschungszentrums «Slawisch-deutsche Beziehungen» (gegründet im November 1993 im Institut für Slawistik an der Russischen AdW in Moskau). Hier wird die allseitige und komplexe Betrachtung der slawisch-deutschen Beziehungen angestrebt, das Zusammenwirken der slawischen und germanischen Völker und Staaten in den Jahrhunderten ihrer gemeinsamen Geschichte in Europa untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird dem interdisziplinären Studium der Wechselseitigkeit der nationalen Kulturen im internationalen Kontext gewidmet.

Im Band sind Beiträge von Geschichts-, Literatur- und Sprachwissenschaftler veröffentlicht, die einen wichtigen und interessanten Querschnitt slawisch-deutschen Beziehungen vom Mittelalter bis unsere Zeit darstellen.

© Научный центр славяно-германских исследований, 2000
© Институт славяноведения РАН, 2000
© Коллектив авторов, 2000

ISBN 5-85759-111-2

Содержание

ТОМ ПЕРВЫЙ

<i>А. А. Гугнин, А. В. Циммерлинг.</i> Несколько замечаний о проблематике славяно-германских исследований	11
<i>A. A. Guginin, A. W. Zimmerling.</i> Einige Einleitungsbemerkungen zur Problematik der Slawisch-deutschen Forschungen	
I	
<i>А. В. Назаренко.</i> Русско-немецкие связи домонгольского времени (IX — середина XIII вв.): состояние проблемы и перспективы дальнейших исследований	19
<i>A. W. Nazarenko.</i> Russisch-deutsche Beziehungen der vormogolischen Zeit (IX. — Mitte XIII. Jhts.): heutiger Stand des Problems und Perspektiven weiterer Forschungen	
<i>М. Ю. Парамонова.</i> Образ святого правителя в первых святоацлавских житиях: политико-теологические идеи латинских легенд в контексте оттоновской агиографии	80
<i>M. J. Paramonowa.</i> Heiligkeit und dignitas des Fürsten in den ersten Legenden über den heiligen Watzlaw: politisch-theologische Ideen Crestcente fide und Gumpoldlegenden im Kontext der Agiographie der Ottonzeit	
<i>А. В. Рандин.</i> Чешская и немецкая Реформация (некоторые аспекты взаимодействия)	130
<i>A. W. Randin.</i> Tschechische und deutsche Reformation (einige Aspekten der Zusammenwirkung)	
<i>М. Ю. Парамонова.</i> История литературы в средневековой Австрии (Рецензия)	167
<i>M. J. Paramonowa.</i> Geschichte der Literatur in Österreich im Mittelalter (Rezension)	
<i>А. В. Липатов.</i> История литературы — типология — литературные связи (На примере польско-немецких литературных отношений от Средневековья до Романтизма)	184
<i>A. W. Lipatow.</i> Literaturgeschichte — Typologie — Literaturbeziehungen (am Beispiel polnisch-deutschen Beziehungen vom Mittelalter bis zur Romantik)	
<i>А. В. Циммерлинг.</i> Текст — высказывание — слово. Автономность слова как параметр исторического синтаксиса	193
<i>A. W. Zimmerling.</i> Wort — Aussage — Text. Die Autonomie des Wortes als Parameter der historischen Syntax	
<i>М. Л. Котин.</i> Славянские заимствования в немецком языке (Рецензия)	232
<i>M. L. Kötin.</i> Slawische Entlehnungen in der deutschen Sprache (Rezension)	
<i>Н. Ю. Гвоздецкая, А. В. Циммерлинг.</i> Научное направление и школа: доклады по исторической поэтике на XII конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии	236
<i>N. J. Gwozdetskaja, A. W. Zimmerling.</i> Wissenschaftliche Richtung und wissenschaftliche Schule: Vorträge zur historischen Poetik an der XII. Konferenz über Geschichte, Wirtschaft, Literatur und Sprache der skandinavischen Länder und Finnland	

II

- О. В. Павленко. «Славянский фактор» в отношениях России и Австрии в 40–60-е годы XIX века 243
- O. W. Pawlenko. «Slawischer Faktor» in den Beziehungen zwischen Russland und Österreich in den 1840–1860 Jahren
- Мартин Шульце Вессель. Польша как призма восприятия Пруссии в России 289
- M. Schulze-Wessel. Polen als Prisma der Aufnahme Preussens in Russland
- С. В. Никольский. Петер Отто фон Гёце и славянско-немецкие литературные связи 296
- S. W. Nikolskij. Peter Otto von Götze und slawisch-deutsch-österreichische Literaturbeziehungen
- Л. П. Лантева. Контакты русских славистов с немецкой наукой в XIX — начале XX веков 303
- L. P. Laptewa. Russische Slawisten in ihren Beziehungen zur deutschen Wissenschaft im XIX. — Anfang XX. Jhte
- Р. Маринелли-Кёниг. Россия в венских альманахах и журналах домартовского времени (1805–1849) (О. В. Павленко) 349
- Slawentum im Spiegel der Wiener Presse in erster Hälfte des XIX. Jhts. (O. W. Pawlenko)

III

- Славистика в Германии от истоков до 1945 г.: Биографический словарь (Л. П. Лантева) 361
- Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945: Ein biographisches Lexicon (L. P. Laptewa)
- Сорабистика в Германии. Научно-исторический итог пяти столетий (А. А. Гугнин) 365
- Sorabistik in Deutschland: Eine wissenschaftlich — geschichtliche Bilanz aus fünf Jahrhunderten (A. A. Gugin)
- М. Б. Корчагина. История Сопротивления в Германии: новые подходы — новые вопросы (Обзор) 371
- M. B. Kortschagina. Geschichte des Widerstandes in Deutschland: neue Sicht — neue Fragen (Umschau)

IV

- Профессор доктор Клаус Цернак — 65 лет со дня рождения (Б. В. Носов) 375
- Klaus Zernak. 65. Geburtstag (B. W. Nossow)
- Несколько штрихов к портрету ученого (С. В. Никольскому — 75 лет) (Л. Н. Будагова) 378
- Sergej Wassiljewitsch Nikolskij. 75. Geburtstag (L. N. Budagowa)
- Владимир Анатольевич Дьяков (1919–1995) (И. И. Костюшко, М. А. Робинсон) 381
- Wladimir Anatoljewitsch Djakow (1919–1995) (I. I. Kostjuschko, M. A. Robinsohn)

Памяти А. В. Михайлова (А. А. Гугнин)	383
In memoriam: A. W. Michailow (A. A. Gugin)	
Космос смысла. Александр Михайлов: жизнь в слове (Л. И. Сазонова)	386
Die Welt des Sinnes. Alexander Michailow: Leben im Wort (L. I. Sazonowa)	
Памяти Саши Михайлова (Ю. И. Архипов)	390
Zum Andenken an Sascha Michailow (J. I. Archipow)	
А. В. Михайлов. Об универсализме в русской и немецкой культурах (Публикация Н. И. Михайловой)	394
A. W. Michailow. Über den Universalismus der russischen und deutschen Kultur (Hrg. von N. I. Michailowa)	

ТОМ ВТОРОЙ

От редактора	409
Vom Redakteur	

I

М. А. Васильев. Этногенетические и раннеэтноисторические процессы в славяноязычном мире в позднеримское и раннесредневековое время: анты и словене	412
M. A. Wassiljew. Etnogenetische und frühethnohistorische Prozesse in der slawischsprachigen Welt in der spätrömischen und frühmittelalterlichen Zeit: Anten und Slowenen	
Е. Р. Сквайрс. Русь и Ганза: модель языкового контакта	436
J. R. Skwairs. Russland und Hansa	
Ф. Б. Успенский. К истории культа мощей в средневековой Скандинавии (некоторые аспекты канонизации Олава Святого)	541
F. B. Uspenskij. Zur frühen Kirchengeschichte Skandinaviens im Mittelalter. Einige Aspekte der Kanonisierung Olafs des Heiligen	
С. С. Скорвид. Vo tich mejch chlapcech toho sinovo	580
S. S. Skorwied. Vo tich mejch chlapcech toho sinovo	

II

В. М. Немчинов. Эмпирическое исследование исторического сознания подростков в Германии и России	593
W. M. Nemtschinow. Empyrische Forschung des Geschichtsbewusstseins der Halbwüchsigen in Deutschland und Russland	
Г.-Г. Нольте, В. Эшмент, Й. Фогт. Образование наций к востоку от Буга (О. А. Хорева)	606
H.-H. Nolte, E. Eshment, J. Vogt. Nationenbildung östlich Bug (O. A. Chorewa)	

III

А. А. Гугнин. Серболужицкое национальное возрождение XIX века в славянско-германском контексте	613
A. A. Gugin. Die sorbische nationale Wiedergeburt im slawisch-deutschen Kontext	

<i>Иржи Мудра</i> (Прага). Отзвук русской поэзии XIX в. в творчестве членов Лужицкого семинария в Праге	620
<i>I. Mudra</i> . Nachklänge der russischen Dichtung im Schaffen der sorbischen Studenten in Prag	
<i>М. Г. Дубик</i> (Киев). Сведения о сербах-лужичанах в архивах Киева	624
<i>M. G. Dubik</i> . Nachrichten über die Sorben in den Archiven von Kiev	
<i>Л. П. Лаптева</i> . Материалы о серболужицкой литературе в неопубликованном курсе лекций профессора Киевского университета А. А. Котляревского (Доклад на семинаре по сорабистике 19–20 марта 1991 г. во Львове)	630
<i>L. P. Laptewa</i> . Materialien zur sorbischen Literatur in den unveröffentlichten Vorlesungen des Professors der Kiever Universität A. A. Kotljarewskij	
<i>Л. П. Лаптева</i> . Польский журнал о лужицких сербах (1993–1995)	638
<i>L. P. Laptewa</i> . Die polnische Zeitschrift über die Lausitzer Sorben	
<i>Л. П. Лаптева</i> . Сербо-лужицкие научные и культурные связи с начала XIX века до Первой Мировой Войны (1914 года). Москва, 1993 (<i>М. Ю. Парамонова</i>)	644
<i>L. P. Laptewa</i> . Russisch-sorbische wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen vom Anfang des XIX. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg (1914). Moskwa, 1993 (<i>M. J. Paramonowa</i>)	

IV

Научный семинар Центра славяно-германских исследований ИСБ РАН 1994–1997 гг. (<i>А. В. Циммерлинг</i>)	651
Das wissenschaftliche Seminar des Forschungszentrums «Slawisch-deutsche Beziehungen» im Institut für Slawistik. 1994–1997 (<i>A. W. Zimmerling</i>)	

Том первый



Несколько замечаний о проблематике славяно-германских исследований

Предлагаемое издание открывает серию коллективных трудов Научного центра славяно-германских исследований Института славяноведения и балканистики РАН. Эта серия сориентирована на комплексное изучение взаимодействия славянских и германских народов на всем протяжении их совместного проживания в Европе. При очевидной необъятности темы столь же очевидна и ее актуальность в рамках отечественной и мировой науки. История христианской Европы в своих важнейших чертах была историей взаимодействия государств и народов, говоривших на романских, германских и славянских языках. Сопряженность славянского и германского миров всегда была интенсивной и судьбоносной, порой плодотворной, порой губительной — в зависимости от складывавшихся условий или от конкретных решений, которые принимали конкретные правители, исходя из собственного понимания национальных интересов. Драматическое взаимопереплетение «объективных», «субъективных» и «случайных» факторов, составляющих человеческую историю, еще не описано в масштабах, позволяющих увидеть как относительность самих этих категорий, так и неизбежность новых попыток заново определить и понять их сущность, ибо от этого зависят и возможности сколько-нибудь точного понимания самих исторических процессов. Столь же неясным в масштабах видимой нам истории остается переплетение «рациональных» и «иррациональных» мотиваций исторических деяний и последующего хода событий, обнаруживающих иной — и чаще всего скрытый от современников — смысл происходящего.

Попытаться глубже проникнуть за «кулисы» видимой и обычно идеологизируемой истории на основе внимательного и по возможности свободного от субъективизма прочтения известных, малоизвестных и архивных источников, найти новые подходы к старым темам и новые объекты для изучения — все это, разумеется, не самоцель, а объективная необходимость развития самой науки. Приглашая к сотрудничеству в «Славяно-германских исследованиях» отечественных и зарубежных ученых, мы исходим из того, что ответы на самые существенные и объективно важные вопросы может дать лишь наука, стремящаяся преодолеть раздробленность и специализацию, — на путях действительного синтеза доступных эпохе знаний. Отчасти поэтому важен фактор международного сотрудничества, ибо это даст возможность сопоставить логику различных подходов и научных школ, неизбежно

связанных с национальными традициями и отстаиванием — в предельно объективной или откровенно субъективной формах — национальных интересов. Космополитической или полностью абстрагированной от национальных традиций, взглядов и интересов гуманитарной науки пока, кажется, не существует. И все же гуманитарная наука, стремящаяся служить истине, неизбежно прорывает рамки национальной ограниченности — хотя бы путем сопоставления различных подходов и точек зрения и вбирая в себя опыт, подтверждаемый в ходе длительного исторического развития. Нам хотелось бы развернуть на страницах ежегодника плодотворный диалог славистов и германистов разных стран.

Взаимопонимание предполагает прежде всего добрую волю и должно основываться на знании, отражающем желание и способность понять друг друга. При возрастающей расчлененности современного знания на многочисленные науки, внутри которых в свою очередь существует разветвленная специализация, мы вынуждены отдавать предпочтение таким работам, где, во-первых, подводятся итоги современного состояния изучения определенной проблемы, важной для нашего контекста, во-вторых, по возможности вовлекаются результаты исследований в сопредельных науках и, в-третьих, обозначаются существующие лакуны и определяются перспективы направления дальнейших исследований¹. Как попытку создания модели статьи подобного типа мы предлагаем работу А. В. Назаренко, которая была написана по нашей специальной просьбе с учетом вышеназванных аспектов. Но и других авторов ежегодника мы стремились сориентировать в данном направлении — разумеется, в той мере, в какой это позволяет конкретная тема исследования и научные интересы и возможности каждого из приглашенных к сотрудничеству.

Взаимопонимание предполагает внимание к национальным научным школам, учет важных итоговых достижений в каждой из стран, составляющих славяно-германский контекст (то есть сюда с неизбежностью относятся как славяно-славянские, так и германо-германские взаимосвязи). Нас интересуют, к примеру, не только итоговые труды по истории славистики в германо-язычных странах², но и обобщающие исследования по истории самой германистики³, равно как и универсальные труды энциклопедического характера, где определенная культурно-историческая эпоха (Просвещение, романтизм) рассматривается преимущественно изнутри германского мира, но все же с отчетливой ориентацией на общеевропейский — в том числе и славянский — контекст⁴. Мы будем постоянно стремиться к рецензированию трудов подобного типа, так как они, являясь в некотором смысле этапными или итоговыми, дают оптимальную возможность для сопоставления объема и уровня исследований в разных странах, обнаруживая лакуны, существующие в той или

иной национальной науке. Так, даже при беглом сопоставлении с немецкоязычной германистикой совершенно очевидно, что отечественная славистика должна сделать еще очень многое по созданию энциклопедических справочников предметного, тематического и библиографического характера. И хотя в последние годы начали выходить в свет отдельные выдающиеся издания энциклопедического характера, свидетельствующие о больших возможностях отечественной науки⁵, и столь редкие у нас биобиблиографические справочники по отдельным разделам филологии⁶, все же дефицит в справочных изданиях многоаспектного или частного характера пока еще слишком бросается в глаза. Очевидно и отставание отечественной германистики в осмыслении достаточно богатого опыта этой отрасли науки в России — опять же при сравнении с разносторонними историографическими и справочными работами немецкоязычных славистов. Как недостает, к примеру, элементарного (но по возможности полного) биобиблиографического словаря российских германистов! Ведь многие дореволюционные и даже советские работы по германистике часто остаются невостребованными, хотя их и сегодня отнюдь нельзя назвать устаревшими — ни по качеству научных наблюдений, ни по объему обработанного материала⁷. Когда выдающийся российский германист А. В. Михайлов (1938–1995), словно жалуясь, писал, что «вся эта ситуация падает на литературоведа тяжким бременем»⁸, то, кажется, подспудно он ощущал на себе еще и дополнительный груз неразработанных проблем и лапун в отечественной германистике: и сам по себе еще во многом кустарный (хотя в этом, безусловно, есть и свои плюсы) труд отечественного литературоведа-германиста обречен быть еще «кустарнее» при отсутствии отчетливого интереса к истории и историографии собственной науки. Одну из своих постоянных задач мы видим в подготовке и издании биобиблиографических справочников и энциклопедических обзоров по различным разделам науки, относящимся к нашей проблематике. Так, Л. П. Лаптева подготовила биобиблиографический словарь российских сорабистов XIX–XX вв., который задуман как справочник междисциплинарного характера⁹. Со временем — сначала в форме отдельных выпусков — будет издан и биобиблиографический словарь по отечественной германистике, и другие словари и справочники подобного типа. Эти справочники должны быть полезны не только тем, что облегчат поиск проверенной и систематизированной информации, но и тем, что будут стремиться к комплексному и междисциплинарному охвату заявленной темы, помогая тем самым ориентироваться в смежных областях обширных комплексов науки, в совокупности именуемых славистикой и германистикой. При этом скандинавистику и англистику мы рассматриваем как самостоятельные, сильно обособившиеся, но все же неотъемлемые об-

ности германистики, исходя прежде всего из принципиального единства германских языков, единства германо-скандинавской мифологии и ряда других признаков, которые могут обсуждаться на страницах ежегодника или в рамках других изданий Центра. При этом мы отнюдь не собираемся подменять уже существующие и достаточно многочисленные отечественные и международные издания¹⁰ или конкурировать с ними — пока еще видится слишком много белых пятен, которые необходимо заполнять в интересах отечественной и мировой науки.

В первом томе собраны статьи, посвященные историческим, историографическим, историко-литературным, культурологическим и лингвистическим аспектам славяно-германских отношений. Разнообразие статей обусловлено многогранностью объекта изучения. Хочется надеяться, что публикуемые работы, при всем их несхождении, отличает стремление соединить продуманную концепцию и четкую методiku с любовью к фактам и скрупулезностью, без чего подлинно гуманитарное знание невозможно.

Уместно, пожалуй, напомнить, что и сами общие ярлыки «славяне», «германцы» не были ни безусловными, ни исторически закономерными: в разные эпохи в них вкладывали разное содержание. В недавней работе Г. Шрамма¹¹ настойчиво проводится тезис, что оба этнонима конституируются не как самоназвания, но как ярлыки, присваиваемые этносам/племенным союзам в рамках иной, современной им культуры (по мысли автора, такими для славян и германцев были Византия, Священная Римская империя, греческая и латинская историография). Не вдаваясь в полемику по поводу этимологий и культурного ореола данных терминов, заметим, что, независимо от того, является ли название народа продуктом самоидентификации или реакцией на появление вблизи себя другого этноса, акт создания термина неизбежно знаменует собой контраст «своего» и «чужого», возникающий в рамках определенной географической, политической и культурной общности. Хочется думать, что такой общностью для германцев и славян была и, несмотря на все существующие в ней барьеры, остается Европа, с ее политическими образованиями, религиозными и культурными традициями, включая античную, эллинистическую и средневековую историографию.

Средневековая ученая традиция была зеркалом современного ей общества, но зеркалом избирательным и далеко не всегда объективным: многими сторонами жизни летописцы, хронисты, агиографы не интересовались либо не считали нужным их фиксировать, а другие передавали тенденциозно. Поэтому иногда оказывается полезным по-новому взглянуть на дошедшие до нас факты, часто мозаичные и отрывочные, и осмыслить их под современным углом зрения. (См. статьи А. В. Назаренко, М. Ю. Парамоновой, А. В. Рандина и др.)

Было бы, конечно, по меньшей мере наивно возводить всю современную науку, скажем, к римской историографии или к античной риторике. Современное понятие об историзме, бесспорно, проникает в гуманитарные дисциплины сравнительно недавно. Для осознания исторической общности недостаточно чисто утилитарного интереса к языку и быту соседних народов: для этого нужна новая идеология (не отношение «свой»/«варвар», а презумпция равноправия культур) и новый научный аппарат, который возникает на рубеже XVIII–XIX вв.¹² К началу XIX в. был не только накоплен опыт, но и разработан сравнительно-исторический метод, основанный на выявлении генетически тождественных явлений. Не будет поэтому преувеличением сказать, что осознание факта индоевропейской языковой общности дало мощный импульс всем гуманитарным наукам. Симптоматично, что доказательства германской и славянской языковых общностей [Grimm 1815; Востоков 1823] были предложены короткое время спустя после открытий У. Джоунза, Ф. Боппа и Ф. Шлегеля. Не менее характерно, что достижения компаративистики были быстро распространены на смежные дисциплины — фольклористику, мифологию, литературоведение, поэтому научное направление «лингво-поэтологического анализа литературного текста», манифестом которого служит публикуемая в настоящем томе статья Н. Ю. Гвоздецкой и А. В. Циммерлинга, в сущности, знаменует возвращение к истокам давней традиции.

В названиях работ Я. Гримма термин «немецкий» употребляется в значении современного термина «германский» и относится ко всему германскому ареалу. Это не столько идеология национальной исключительности, сколько осознание невозможности осмыслить вершинные достижения немецкой культуры и продукты языковой эволюции вне контекста родственных германских языков. В этом, широком, смысле термин «deutsch» покрывает не только западногерманский и скандинавский, но и все факты, засвидетельствованные и реконструируемые, касающиеся бытия германских народов во времени.

Вряд ли кто из ученых решится сейчас декларировать открыто, что все ключевые понятия его науки коренятся в античной и схоластической традиции. Тем не менее пережитки универалистского мышления еще очень живучи; критике одного из таких стереотипов посвящена статья А. В. Циммерлинга: автор отталкивается не от постулатов современного структурального анализа, а от оставшихся во многом невостребованными научных идей ученых конца XIX — начала XX в. — Антуана Мейе, Андреаса Хойслера, А. А. Потебни. Такой пример наводит на мысль, что развитие науки редко идет по прямой линии.

Особое внимание коллективов авторов «Славяно-германских исследований» будут привлекать издания, концептуально нацеленные на междисциплинарность и выполненные международным коллек-

тивом высокопрофессиональных авторов. В рамках таких трудов может естественно возникать плодотворный диалог различных подходов, научных школ, индивидуальных позиций¹³. Рецензии на подобного рода синтетические или итоговые труды могут носить развернуто-аналитический характер, здесь тоже важен диалог, способствующий более масштабному и критическому освоению фундаментальных исследований по интересующей нас тематике, публикуемых в разных странах. В огромном потоке научной литературы далеко не всегда легко сделать безошибочный выбор. И все же мы не сомневаемся в огромной источниковедческой и культурно-исторической ценности работы Гертрауд Маринелли-Кёниг, потратившей многие годы на тщательное исследование венских газет, журналов и альманахов 1805–1848 гг. с целью выявления и описания всех материалов в этих изданиях, посвященных славянским народам и государствам (см. рецензию О. В. Павленко на первый том, посвященный России)¹⁴. Столь же важным представляется обратить внимание на некоторые итоговые книги по истории славистики в Германии и немецкие справочники по славистике, опубликованные в последние годы (см. рецензии Л. П. Лаптевой, А. А. Гугнина). Но для расширения информативной насыщенности «Славяно-германских исследований» мы в дальнейшем будем использовать также и другие — более лаконичные — способы представления важной библиографической информации (тематические библиографии и краткие аннотации важнейших изданий).

Достойное место должны занять в «Славяно-германских исследованиях» историографические материалы, ибо постоянное осмысление и переосмысление собственной истории — неотъемлемая часть гуманитарной науки. К историографии в широком смысле мы относим также историю политических научных и культурных взаимосвязей славянских и германских государств и народов (см. статьи О. В. Павленко, С. В. Никольского, Л. П. Лаптевой и др.). Но историографическими, по сути, являются и последние разделы нашего ежегодника, где мы отдаем дань памяти или напоминаем о юбилеях некоторых крупных ученых, внесших заметный вклад в разработку интересующей нас проблематики. В дальнейшем хотелось бы публиковать и аналитические портреты крупнейших ученых, чье научное творчество составило исторический этап в развитии славистики и германистики и повлияло уже тем самым на развитие науки в славяно-германском пространстве.

Совершенно очевидно, что по мере расширения авторского коллектива будут возникать новые темы, новые подходы, новые формы подачи материала, новые взгляды на старые проблемы и т. д. Всего этого заранее не предусмотреть, да и вряд ли это нужно. Но одну «сверхзадачу» хотелось бы все же обозначить. При очевидном кризисе веры в способность рациональной, «позитивной» науки дать ответы на важнейшие вопросы челове-

ческого бытия (этот кризис в новейшей политической истории четко обозначился по крайней мере трижды: 1) кризис Просвещения — после Французской революции 1789–1794 гг.; 2) «кризис позитивизма» — XIX–XX вв.; 3) «кризис марксизма-ленинизма» — в распаде мировой системы социализма и СССР в наши дни) мы должны, видимо, стремиться и к переосмыслению самого понятия науки, тех неизбежных последствий, которые должны вытекать для гуманитарных наук из важнейших открытий в смежных областях (например, из учения В. И. Вернадского о ноосфере), чтобы когда-нибудь снова не попасться на заманчивую приманку «точного», «рационального», позитивистского знания, вдруг ни с того ни с сего возмнившего, что оно может дать ответы на вопросы, никак не относящиеся к его компетенции.

Примечания

- ¹ В качестве первого опыта статьи подобного рода была опубликована работа: А. В. Назаренко. Русско-германские связи древнейшей поры (IX–XI вв.): состояние проблемы. М., 1995. Эта публикация открыла серию «Доклады Научного центра славяно-германских исследований».
- ² Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945. Ein biographisches Lexikon / Hrsg. von E. Eichler u. a. Bautzen, 1993; W. Zeil. Slawistik in Deutschland. Forschungen und Informationen über die Sprachen, Literaturen und Volkskulturen slawischer Völker bis 1945. Köln; Weimar; Wien, 1994; W. Zeil. Slawistik an der deutschen Universität in Prag (1882–1945). München, 1995; W. Zeil. Sorabistik in Deutschland. Eine wissenschaftsgeschichtliche Bilanz aus fünf Jahrhunderten. Bautzen, 1996. Сюда же можно отнести и справочник В. Казака, впервые опубликованный в ФРГ в 1976 г. и изданный сейчас на русском языке в значительно расширенном виде: В. Казак. Лексикон русской литературы XX века. М., 1996.
- ³ J. Hermandt. Geschichte der Germanistik. Rowolt, Reinbek bei Hamburg, 1994.
- ⁴ Lexikon der Aufklärung: Deutschland und Europa / Hrsg. von W. Schneiders. Verlag. C. H. Beck, München, 1995; Romantik-Handbuch / Hrsg. von H. Schanze. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1994.
- ⁵ Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь / Гл. ред. П. А. Николаев. М., 1989, Советская энциклопедия, т. 1. А–Г.; т. 2. Г–К. М., 1992, т. 3. К–М. М., 1994. (Русские писатели XI–XX вв. Серия биографических словарей); Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995, т. 1. А–Г. (Институт славяноведения и балканистики РАН); Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Научные редакторы В. Я. Петрухи, Т. А. Агапкина, С. М. Толстая. М., 1995. (Институт славяноведения и балканистики РАН); Философы России XIX–XX столетий: Биографии, идеи, труды. Издание второе, переработанное и дополненное. М., 1995. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995.
- ⁶ Кто есть кто в русском литературоведении. Справочник / Ред. коллегия: А. Н. Николюкин (главный редактор), Э. В. Переслегина, Е. А. Цурганова. М., 1991, ч. 1. А–И.; М., 1992, ч. 2. К–О.; М., 1994, ч. 3. П–Я. (ИНИОН и ИМЛИ РАН); Российские фольклористы. Справочник / Составитель Л. В. Рыбакова. М., 1994; Современное зарубежное литературоведение. (Страны Западной

- Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник / Научные редакторы и составители И. П. Ильин, Е. А. Цурганова. М., 1996.
- ⁷ Несколько примеров: *П. Н. Полевой*. Опыт сравнительного обозрения древнейших памятников народной поэзии германской и славянской. СПб., 1864; *А. А. Шахов*. Гёте и его время. Лекции по истории немецкой литературы XVIII века. 4-е изд. СПб., 1908; *И. П. Созинович*. «Ленора» Бюргера и родственные ей сюжеты в народной поэзии, европейской и русской. Варшава, 1893; *М. Н. Розанов*. Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц, его жизнь и произведения. М., 1901; *С. С. Игнатов*. Гофман. Личность и творчество. М., 1914; *В. М. Жирмунский*. Религиозные отречения в истории романтизма. Материалы для характеристики Клеменса Брентано и гейдельбергских романтиков. М., 1919; *В. М. Жирмунский*. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1914. (Эта книга недавно переиздана в серии «Памятники и история европейского романтизма».) СПб., 1996.
 - ⁸ *А. В. Михайлов*. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. Очерки из истории филологической науки. М., 1989.
 - ⁹ *Л. П. Лантева*. Российская сорабистика XIX–XX веков. Биобиблиографический справочник. М., 1997 (Научный Центр славяно-германских исследований ИСБ РАН).
 - ¹⁰ Из отечественных названий назовем прежде всего серию «Славяне и их соседи» (Вып. 1–6, 1989–1996, отв. ред. серии Г. Г. Литаврин). Из зарубежных изданий тематически наиболее близок выходящий в Праге журнал: *Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien* (Leitung: Antonín Meštan mit dem Redaktionskreis).
 - ¹ *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Band 43 (1995), Heft 2, S. 164–166.
 - ² Ср.: *O. Szemerényi*. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970, S. 1–5.
 - ³ Один из примеров удавшегося многостороннего труда: *Wien als Magnet? Schriftsteller aus Ost, Ostmittel- und Südosteuropa über die Stadt* / Hrsg. von G. Marinelli-König und N. Pavlova. Wien, 1996. С российской стороны в нем участвовали ученые из ИСБ, ИМЛИ и РГГУ. См. также совместное издание МГУ и Тюбингенского университета: *Чехов и Германия*. Под ред. проф. Б. В. Катаева, проф. Р. Д. Клуге. М., 1996. (Молодые исследователи Чехова. Выпуск 2); *Россия и Германия. Опыт философского диалога*. М., 1993. Сюда же относится и широко известный уже «Вуппертальский проект» Л. Копелева, выходящий в двух сериях: «Россия глазами немцев» и «Германия глазами русских».
 - ⁴ *G. Marinelli-König*. *Slavica in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz*. Bd. 1. *Russland in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848)*. Ein Beitrag zur Geschichte der österreichischen Kultur- und Literaturbeziehungen. Wien, 1990. *Nachträge zu Russland in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848)*, 1996. Bd. 2. *Polen und Ruthenen in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848)*. Versuch einer kritischen Bestandaufnahme der Beiträge über Galizien, die Bukowina und das polnische Geistesleben insgesamt, 1992; Bd. 3. *Die Südslaven in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848)*. Versuch einer kritischen Bestandaufnahme der Beiträge über Bosnien, Bulgarien, Dalmatien, die Herzegowina, Istrien, Krain (Kärnten, Steiermark), Kroatien, die Militärgrenze, Montenegro, Serbien und Slawonien. 1994. (В издательство сданы еще два тома: Чехия в венской прессе.)

Русско-немецкие связи домонгольского времени (IX — середина XIII вв.): состояние проблемы и перспективы дальнейших исследований

Русско-германские связи домонгольского времени в целом — в отличие, скажем, от связей Руси с Польшей или Византией — никогда не были предметом специального изучения. Тому есть свои причины, как коренящиеся в состоянии источников по данной теме, так и историографические.

В древнерусских памятниках сведений о сношениях с немецкими землями практически нет (некоторое исключение составляет лишь новгородско-немецкая торговля на Балтике в XII–XIII вв.). Исследователю приходится иметь дело главным образом с многочисленными разрозненными данными в западноевропейских, почти всегда немецких, источниках, использование которых весьма затруднено отрывочностью самих сведений (ни для кого из западных авторов того времени Русь не представляла самодовлеющего интереса), а также тем, что историк должен быть в полной мере знаком с результатами общего источниковедческого изучения используемых им зарубежных памятников и готов к самостоятельному их источниковедческому анализу. Это предполагает владение обширной разноязычной литературой о западноевропейском Средневековье, которая постоянно и активно пополняется не только конкретными результатами, но и новыми методическими подходами. Чрезвычайно важно и знакомство с достижениями в области смежных наук — прежде всего лингвистики и археологии. Достаточно сказать, что целый ряд успехов в изучении международных связей Древней Руси (о некоторых из них пойдет речь ниже) имел место именно на стыке собственно истории и языкознания, а также тех дисциплин, которые традиционно принято относить к так называемым «вспомогательным историческим» (нумизматики, генеалогии и т. п.). К сожалению, ставший уже давно свершившимся фактом распад некогда существовавшего в науке (по крайней мере как целевая установка) историко-филологического единства, а также главная, на наш взгляд, беда отечественной историографии о русском Средневековье — ее отрыв от европейской медиевистики в целом, делают такого рода успехи скорее исключениями, нежели правилом. Следствие — иллюстративное использование данных источников и нередко — «канонизация» недостаточно обоснованных или даже случайных мнений. Для преодоления этого принципиального недостатка необходимо не только создание источниковед-

чески фундированного корпуса зарубежных свидетельств о Древней Руси, но и кропотливая работа по изучению отдельных направлений и периодов во внешней политике и международных связях Древнерусского государства. Такая работа была начата в 70-е годы в Институте истории СССР (ныне Институт российской истории) Академии наук по инициативе Владимира Терентьевича Пашуто и продолжается усилиями его учеников¹.

К сказанному необходимо добавить еще одно немаловажное обстоятельство, на которое нам уже приходилось обращать внимание² и которое относится к числу устойчивых стереотипов историографии. Над умами историков Нового времени продолжает тяготеть идущее еще от древнерусского летописания начала XII в. представление о Руси как о государстве, ориентированном вдоль «пути из варяг в греки». Это заставляло и заставляет уделять главное внимание связям Руси со скандинавским Севером и другими прибалтийскими территориями, с одной стороны, и Византией — с другой, тогда как русско-германские отношения (а для IX–X вв. и русско-западноевропейские вообще) трактуются как периферийные и второстепенные. Подобная ситуация в историографии, понятно, не располагает к длительной исследовательской работе с максимумом «источниковедческих затрат», между тем как только такая работа и может составить основу для правильной оценки места и роли того или иного направления в общей структуре международных связей Древней Руси.

Упомянув о структуре международных связей, мы коснулись еще одной характерной особенности науки о раннем русском Средневековье. Дело в том, что идея о внешних связях Руси, в том числе и о ее внешней политике, как о системе взаимообусловленных составных частей, пока только прокладывает себе путь, наталкиваясь на упорное нежелание, особенно в западной русистике, видеть в социальном строе Руси IX–X вв. определяющие признаки государственности³. Здесь не место вдаваться в несколько схоластический, как нам кажется, вопрос, в какой мере и с каких пор Древняя Русь соответствует критериям «государства» (от какой модели, спрашивается, следует абстрагировать такие критерии?), отметим лишь, что применительно к международным связям системность есть не только следствие относительной зрелости государства и, главное, осознания правящей группой государственного (т. е. в конечном итоге все равно так или иначе ее собственного корпоративного) интереса, а является сверх того еще и результатом включения во внешнюю структуру, которая существовала ведь и до образования Древнерусского государства, к какому бы времени его ни относить. Такая постановка вопроса подводит нас к осознанию важной проблемы: этнополитическая и социально-экономическая структурированность восточноевропейского ландшафта накануне возникновения Древнерусского государства была одним из стиму-

лов для его возникновения. Тем самым изучение международных взаимосвязей ранней поры становится важным элементом в исследовании главной темы: как и вследствие чего образуется само государство восточных славян? К некоторым аспектам этой темы мы еще вернемся.

В результате взаимодействия всех названных факторов древнерусский период, как он рисуется в общих трудах о русско-германских связях или о внешних связях домонгольской Руси в целом, сводится, по сути дела, к каталогу изолированных затверженных фактов, призванных проиллюстрировать не вполне утешительное положение, что кое-какие отношения все-таки были и кое-что на Руси и в Германии друг о друге все-таки знали⁴. В общем же XI–XII вв. выглядят затянувшимся периодом эмбрионального развития, отравленного, начиная с XIII в., агрессией Ордена, а затем насильственно прерванного (за вычетом новгородско-ганзейской «пуповины») татарским погромом, за которым следует длинная пауза — вплоть до начала сношений Москвы с Габсбургами уже при Иване III, т. е. до второй половины XV в. Венчает дело своеобразная иерархия хрестоматийных европоцентристских метафор: Иван III «постучал своим еще полуварварским кулаком в окно Европы» — то самое, которое два с половиной века спустя Петру I пришлось «прорубать». Для Древней Руси метафоры не нашлось, что как нельзя лучше характеризует отношение к ней как к плюсквамперфекту, интересующему только узких специалистов, и не занимающему даже политиканствующих идеологов.

Между тем собственные исследования автора этих строк в течение последних двадцати пяти лет убедили его в том, что внимательное и источниковедчески углубленное изучение сведений о древнейших русско-германских взаимосвязях может повести не только к переоценке уже известных фактов, но и к обнаружению новых. Заметно расширившийся и критически выверенный круг данных позволяет, по нашему мнению, говорить о торговых, этнокультурных, политических отношениях между древнерусскими и немецкими землями ранней поры не как о периферийном явлении, а как о постоянно действовавшем факторе, не как о дробном пункте экзотических контактов от случая к случаю, а как о системе, обладавшей традиционностью и стабильностью.

Изменившаяся оценка места и роли ранних русско-немецких контактов в кругу международных связей Руси в целом влечет за собой и переосмысление «удельного веса» отдельных направлений этих связей. Западное направление характеризуется, сверх того, преимуществом системы дальних международных коммуникаций древнерусского времени по отношению к значительно более архаическим путям этнических и культурных коммуникаций внутри природно-ландшафтных зон, которые на территории Восточной Ев-

ропы проходят перпендикулярно главнейшим речным магистралям. Вместо привычной линейной схемы, ориентированной на меридиональную ось север — юг («путь из варяг в греки»), вырисовывается система из меридиональной и широтной (запад — восток) осей, которая придает кругозору обитателей Среднего Поднепровья IX–XI вв. пространственную стереоскопичность и хронологическую глубину. Надо ли говорить, что подобная картина заставляет по-новому взглянуть на многие принципиальные для древнерусской истории проблемы: проблему сложения государственной территории Киевской Руси или еще шире — проблему роли дальней торговли и этнокультурных контактов в процессе формирования самой древнерусской государственности, проблему проникновения христианства в Восточную Европу и значения для нее кирилло-мефодиевской миссии, и т. п. Как будет видно, даже уже имеющегося материала достаточно для некоторых вполне определенных суждений на этот счет.

Главное место в настоящем очерке занимает 250-летний период от середины IX до конца XI в. Именно он был основным предметом изысканий автора, именно применительно к нему получены те новые результаты, которые и служат известным оправданием для вышеприведенных суждений. Что касается последующего периода XII — первой половины XIII вв., то он менее всего затронут историографией — если отвлечься опять-таки от специфической темы новгородско-ганзейской торговли (вернее, ее начатков во второй половине XII — XIII в.) и отношений между Новгородом и Орденом в первой половине XIII в., которой мы в данной работе не касаемся. В какой-то мере это объясняется недостатком данных, довольно случайных и чрезвычайно запутанных. Политическое дробление Руси и постоянное противоборство Штауфенов и Вельфов в Германии в течение всего XII столетия привели к мельчанию политических связей между двумя странами: из общегосударственных они превращаются в региональные, делаясь трудно уловимыми на материале источников⁵. Впрочем, и здесь многое зависит от неизученности даже того малого, чем располагает наука. Так, например, совсем не исследованы русско-немецкие отношения при императоре Лотаре III (1125–1137), хотя отдельные сведения о таковых имеются; мы не знаем, кем была немка, одна из жен киевского князя Изяслава Мстиславича (1146–1154, с перерывами), и каков политический контекст и хронология этого матримониального союза⁶; давно известен, но по-прежнему остается загадочным богатый вклад в Эрфуртский монастырь св. Петра со стороны Романа Мстиславича Галицкого (ум. в 1205 г.), внука упомянутого только что Изяслава Мстиславича; не разработаны связи Мстиславичей — через Ингеборг Мстиславну, мать датского короля Вальдемара I (1157–1182) — и полоцко-минских князей — через Софью Володаревну, дочь Володаря Глебовича Минского⁷ — с домами герцогов Браун-

швайгских и ландграфов Тюрингенских, между тем как эти связи отразились, как предполагают, даже в легенде знаменитой Эбсторфской карты мира (первая половина XIII в.)⁸; и т. п. Скажем о некоторых сюжетах особо.

О «частых» иностранных посольствах к Лотарю, среди которых названы и русские, говорится в Брауншвайгских анналах монастыря св. Эгидия (до 1164 г.): «...посольства и дары королей Венгрии, Руси, Дании, Франции и других народов и королей»⁹. Сходный текст находим и в Брауншвайгской рифмованной хронике второй половины XIII в.: Лотарь почтен дарами «от итальянцев (?), Руси, венгров, греков, данов, пруссов»¹⁰. Поэтому едва ли прав издатель хроники Л. Вайланд, полагающий, что перед нами всего лишь амплификация известия Саксонской всемирной хроники о дарах Лотарю от византийского императора¹¹. Весьма вероятны связи императора Лотаря III с новгородским князем Всеволодом Мстиславичем (1117–1136), на сестре которого Ингеборг Мстиславне был женат ободритский король Кнут Лавард (убит в 1131 г.), близкий союзник Лотаря. Далее, запутанная политическая ситуация 1130-х гг., когда польский князь Болеслав III (1107/08–1138) пытался посадить на венгерский трон Бориса, внука Владимира Мономаха через дочь Евфимию (жену венгерского короля Кальмана), а венгерский король Бела II (1131–1141) нашел поддержку у Лотаря III и короля Чехии Собеслава I (1125–1140), позволяет говорить об участии различных русских князей в этой борьбе как на той, так и на другой стороне¹². Ситуация осложнялась еще противостоянием Лотаря и швабского герцога Фридриха II Штауфена (отца будущего императора Фридриха I Барбароссы) внутри Германии. Характерен скандальный эпизод, о котором упоминается в послании аугсбургского епископа Германна к бамбергскому епископу Оттону от сентября 1132 г. Речь идет о разорении Аугсбурга, принадлежавшего Фридриху, чешским войском при поддержке каких-то половцев: Лотарь «навел на церковь Христову врагов Христовых, людей бесчеловечных, язычников, а именно богемов и половцев, именующихся в просторечии Valwen, которые, как то всем прекрасно известно, являются и всегда были гонителями Христа и церкви»¹³. Несомненно, этот же инцидент описан под тем же 1132 г. в анонимном Вышеградском продолжении хроники Козьмы Пражского, где, впрочем, о половцах ничего не говорится, зато поясняется, что чешский отряд был предоставлен Собеславом королю Лотарю для сопровождения во время коронационного похода в Рим¹⁴. Учитывая известные дружеские связи в это время между Белой II и Владимирком Володаревичем, тогда князем звенигородским и белзским¹⁵, можно догадываться, что половцы, участвовавшие в разорении Аугсбурга, были присланы Владимирком.

Рискнем также высказать осторожное предположение, что эти дружественные отношения властного Владимирка Володаревича с Вельфами дали о себе знать и несколько позже в другом не нашедшем пока себе объяснения происшествии, в котором оказалась замешанной и Византия¹⁶. В составе Деяний императора Фридриха Барбароссы знаменитого Оттона Фрайзингенского сохранилась часть переписки между германским королем Конрадом III Штауфеном (1138–1152), братом упомянутого выше герцога Фридриха II, и византийским императором Иоанном II Комнином (1118–1143) и его сыном и преемником Мануилом I (1143–1180). Наряду с главной темой переговоров (союз против сицилийских норманнов), в этих посланиях вскользь говорится о мерах, которые следует предпринять Иоанну II в связи с ограблением и убийством на Руси каких-то немцев¹⁷. Первое послание Конрада III датируется 12 февраля 1142 г., но об инциденте с немцами шла речь еще в предыдущем, несохранившемся, письме Иоанна Комнина к Конраду, что дает основания отнести сам инцидент либо к 1141 г. (если Конрад узнал о случившемся от византийского посла), либо, что много вероятнее, к 1139 г. (если, напротив, информация исходила от Конрада в его реконструируемом послании в Константинополь от конца 1139 — начала 1140 г.¹⁸). Догадка В. Т. Пашуто, что здесь возможна связь с каким-то «нарушением прав русских купцов в Любеке»¹⁹, — конечно же, анахроническое недоразумение, лишний раз демонстрирующее силу балтийско-ганзейского «гипноза». Едва ли дело вообще касалось торговли и купцов; скорее, имелось в виду политическое посольство, как видно из самой формулировки источника: «...русские, которые, оскорбив нашу державу, убили наших людей и присвоили наши деньги» («...de Reutenis, qui ad contemptum imperii nostri, occisis hominibus nostris, pecuniam nostram sibi usurpaverunt...»). Вопрос не был исчерпан еще к апрелю 1145 г. (дата второго послания Конрада). Заметим, что как раз на лето 1139 г., сразу после вокняжения 5 марта в Киеве черниговского князя Всеволода Ольговича²⁰, приходится военные действия на Волыни, в которых Владимирко Володаревич выступил союзником Всеволода, стремившегося посадить волынского князя Изяслава, старшего из Мстиславичей²¹. Если Изяслав Мстиславич был действительно женат на немке и даже, как иногда считают, на дочери Конрада III (см. примеч. 6), то вполне вероятно, что в ходе этой галицко-волынской войны пострадало какое-то посольство Конрада к Изяславу. Что касается реакции на эти события Византии, о которой постоянно упоминается в переписке Конрада III и Комнинов в 1142–1145 гг., то надо учесть, что в январе 1145 г. против Владимирка выступил его двоюродный брат Иван Ростиславич Берладник, княжество которого в междуречье Серета и Прута

находилось на русско-византийском пограничье²². Не был ли мятеж галичан и Ивана Ростиславича против Владимирка подготовлен византийской дипломатией?

Упомянутый вклад Романа Мстиславича в монастырь св. Петра в Эрфурте отмечен в синодике этого монастыря под 19 июня: «XIII календы июля. Роман, король Руси. Он дал нам 30 марок»²³ (ок. 7 кг серебра). Это крайне интересное свидетельство подтверждает сведения французского хрониста Альбрика из Труафонтен (30–40-е гг. XIII в.) о каком-то участии Романа Мстиславича в борьбе двух королей — Штауфена Филиппа Швабского (1198–1208) и Вельфа Оттона IV (1198–1212/15). Согласно Альбрику, заграничный поход Романа 1205 г., завершившийся гибелью князя в бою у Завихоста (на Висле близ Сандомира) (дата, под которой имя Романа внесено в синодик св. Петра — это и есть день его смерти), был направлен в Саксонию: «Король Руси, по имени Роман, выйдя из своих пределов и намереваясь через Польшу пройти в Саксонию, чтобы как лжехристианин разрушить церкви, поражен и убит по промыслу Божию на реке Висле двумя братьями польскими князьями Лешком и Конрадом, а все собранное им [войско] либо рассеяно, либо уничтожено»²⁴. Думаем поэтому, что сам факт вовлеченности Романа в немецкие дела в 1204–1205 гг. (после окончания борьбы за Киев) едва ли может быть подвергнут сомнению, как это иногда делается²⁵. Труднее определить, на чьей стороне собирался вмешаться в борьбу галицко-волинский князь? Так как Роман пал в схватке с малопольскими Казимировичами Лешком и Конрадом, которые известны как союзники Оттона IV, то обычно считается, что он двигался на помощь Филиппу Швабскому²⁶. Если так, то Роман продолжал, возможно, поддерживать фамильные связи своего деда Изяслава Мстиславича со Штауфенами (см. примеч. 6). То, что он сделал вклад именно в эрфуртский монастырь св. Петра, одну из известнейших и старейших обителей Тюрингии, такой трактовке по крайней мере не противоречит. Эрфурт принадлежал майнцскому архиепископу, который, в отличие от тюрингенского ландграфа Германна, был твердым сторонником Филиппа Швабского²⁷. Но могут ли политические симпатии служить достаточным основанием для вклада (возможно, посмертного) в столь далекий монастырь? Не предполагает ли это скорее каких-то личных связей Романа с обителью в Эрфурте?²⁸

Эта намечающаяся преемственность во взаимоотношениях Изяслава Мстиславича и его потомства с Германией вносит необходимую поправку в ту общую схему русско-немецкого политического взаимодействия в XII в., которая была намечена таким вдумчивым историком внешней политики Руси, как В. Т. Па-
лито: из двух главных противостоявших друг другу на Руси в

это время княжеских группировок — волынско-смоленской (Мстиславичи) и суздальско-галицкой — первая, «дружественная Венгрии и Польше и враждебная Византии, должна была столкнуться с политикой династии Штауфенов»; враждебность суздальских князей к Волыни представляется достаточной для постулирования их «давних связей с Гогенштауфенами»²⁹. Думается, исследователь не обратил должного внимания на то важное обстоятельство, что период правления Конрада III во внешнеполитическом отношении не был единым: расстройство немецко-венгерских отношений и вражда с младшими Болеславидами в Польше, «разведшие» Волынь и Штауфенов по противоположным союзным блокам, возникли только в первой половине 1140-х годов, да и волынско-венгерский союз относится к 1145/46 г., тогда как еще в 1139 г., как мы видели, есть основания предполагать дружественные контакты между Конрадом и Изяславом. Едва ли союз с Конрадом был личной политической инициативой Изяслава Мстиславича; у него не было для нее ни причин, ни времени (Изяслав занял волынский стол в 1135 г.). Скорее всего гипотетический брак Изяслава с немкой следует отодвинуть на период киевского княжения его отца Мстислава Владимировича (1125–1132), когда Конрад, тогда еще антикороль, вел упорную борьбу с Лотарем III. Неясно, можно ли связать этот матримониальный союз с подготовкой борьбы за венгерский престол со стороны Бориса Кальмановича, родного племянника Мстислава (сына его сестры Евфимии), которая вспыхнула в 1131 г., после смерти короля Иштвана II (1116–1131); Борис был поддержан как Киевом, так и враждебным Лотарю польским князем Болеславом III. Но столь же неясно, как расценивать тот факт, что в 1146 г. полурусский претендент на венгерский трон был обласкан Конрадом III и даже получил от него военную поддержку³⁰; только ли лояльность к Византии, где скрывался Борис, женатый на представительнице династии Комнинов, и враждебность к Венгрии руководили немецким королем? Не забудем, что в войске Изяслава Мстиславича, двоюродного брата Бориса, оборонявшего Волынь от суздальцев Юрия Долгорукого в 1149 г., были немцы³¹. Немаловажно и то, что Борис был представлен Конраду II чешским князем Владиславом II, одним из самых твердых союзников и немецкого короля, и волынского князя³².

В таких взаимно не «стыкующихся» данных нет нужды видеть непременно противоречие или непоследовательность во внешней политике. Очевидно, политико-династические связи — явление значительно более консервативное, чем система внешнеполитических союзов, и сводить первые к последним было бы неоправданным упрощением. Да, у нас есть кое-какие сведения о дружественных отношениях Фридриха I (1152–1190) с Гали-

чем и Суздалем³³, но стоит ли видеть в них непременно признаки какого-то поворота в русской политике Штауфенов? Естественно, что после Бенеventского мира 1156 г. между Фридрихом и южноитальянскими норманнами и связанного с ним резкого обострения немецко-византийских отношений германский император был готов приветствовать любого союзника против Константинополя; было бы странно, если бы при этом из его поля зрения выпал чрезвычайно усилившийся при Владимирке Володаревиче и его сыне Ярославe Осмомысле (1153–1187) Галич, который имел прямой выход к Дунаю. Данные о взаимной политической заинтересованности Фридриха Барбароссы и Ярослава Владимировича Галицкого в самом деле есть, но они не настолько отчетливы, чтобы на их основе можно было бы реконструировать какие-то конкретные формы политического сотрудничества. Какого русского князя привел «под руку» Фридриха уже упоминавшийся Владислав II Чешский в 1165 г.?³⁴ В. Т. Пашуто полагает, что это был кто-то из «вассалов Осмомысла»³⁵, основываясь, как можно понять, на двух соображениях: во-первых, на том, что, якобы, именно галицкие полки, наряду с немцами и чехами, участвовали в венгерско-византийской войне 1163–1164 гг., а во-вторых, на самой терминологии немецкого источника, сообщающего о приеме 1165 г. (дополнительной статьи к продолжению Рахевинот Оттоновых Деяний Фридриха Барбароссы), где русский протеже чешского короля несколько пренебрежительно поименован «кем-то из русских князьков» (*regulus*). Однако в термине *regulus* в данном случае нет ничего специфически уничижительного; так канцелярия Фридриха I, в соответствии с имперскими притязаниями Барбароссы, имела обыкновение именовать зарубежных государей вообще, что приводило иногда даже к международным осложнениям³⁶. Далее, Иоанн Киннам, на сведениях которого основаны наши знания о союзниках Венгрии в 1163–1164 гг., вовсе не уточняет, откуда именно явились русские вспомогательные отряды³⁷; да и сам В. Т. Пашуто в другом месте своего исследования допускает, что это были волынцы³⁸. Наконец, непонятно, кто конкретно из «вассалов Осмомысла» мог искать защиты у германского императора в 1165 г., отдавая себя под его власть? И от кого? От Осмомысла? Ни один из обоих известных сыновей Ярослава Владимировича (ни Владимир, ни Олег) на эту роль не подходит, а других «вассалов» у галицкого князя не видно.

Другой эпизод из этого ряда — бегство в Германию из венгерского плена Владимира Ярославича, сына Ярослава Осмомысла, в 1189 г.; Фридрих I обеспечил ему польскую подмогу, с которой Владимир и вернул себе галицкий стол. Но вот что любопытно: довольно подробное сообщение об этом событии в Киевском летописном своде, восходящее, надо думать, к галицкому летописанию, объясняет расположение Фридриха Барбароссы к Владими-

ру Ярославичу не традициями галицко-немецких дружественных связей, а близким родством галицкого князя с владимиро-суздальским Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо (Владимир был Всеволоду «сестричич», т. е. племянник)³⁹. Умолчание странное, если бы такие устойчивые связи действительно существовали — тем более что рассказ свой летописец завершает панегириком крестоносцам Фридриха Барбароссы: «Иде царь немецкий со всею своею землею битися за гроб Господен...; сии же немци, яко мученики святии, проляша кровь свою за Христа...»⁴⁰.

Цель столь пространныго экскурса не в том, чтобы продемонстрировать вторичность, производность галицко-немецких отношений сравнительно с суздальско-немецкими (сведений о последних, по сути дела, вообще нет и намеки на них можно уловить разве что в сфере культурных влияний, как о том скажем ниже); мы далеки также от желания во что бы то ни стало перетолковать скудные данные источников о русско-немецких политических связях эпохи Конрада III и Фридриха I «в ущерб» Галичу и «в пользу» Волыни. Наше намерение было скромнее: показать, насколько сложна задача, с которой сталкивается историк, желающий проследить эти связи с источниками в руках. Не будет преувеличением сказать, что их изучение, строго говоря, едва началось; история политических отношений Германии и Руси XII в. в их полном объеме и контексте международной политики того времени в целом — задача будущего.

Особую малоизвестную тему представляют собой русско-австрийские связи XII — первой половины XIII вв., венчавшиеся участием галицко-волынского князя Даниила Романовича в борьбе за австрийское наследство после смерти в 1246 г. последнего Бабенберга, герцога Фридриха II Воинственного⁴¹. Эти связи имели как торгово-политический, так и церковно-политический аспекты.

Торгово-таможенные установления австрийских герцогов конца XII — начала XIII вв. (более ранних документов такого рода не сохранилось, за исключением Раффельштеттенского таможенного устава начала X в., о котором речь ниже) не только упоминают о торговле с Русью, но и выделяют купцов, занимавшихся ею, в особую таможенную категорию. Это прежде всего грамота штирийского герцога Оттокара IV от 1191/92 г., подтверждающая таможенные порядки на рынке в г. Энсе, как они были установлены его отцом штирийским маркграфом Оттокар III. Одним из центральных положений этой грамоты является обязанность всех торговцев, проезжающих Энс после Благовещения (т. е. после 25 марта), оставаться здесь для участия в ярмарке, которая происходила ежегодно в течение почти двух недель со вторника накануне Вознесения до кануна Троицына дня. Единственным исключением были «возы, направляющиеся на Русь или из Руси», которые по уплате обычной проездной пошлины в 16 денариев при переправе по мос-

ту через реку Энс «не могли быть задерживаемы»⁴². Спустя несколько месяцев, в июле 1192 г., новым австрийским и штирийским герцогом Леопольдом V был издан другой документ — торговые и таможенные привилегии регенсбургским купцам на территории Австрии. В них торгующие с Русью купцы, — так называемые *Ruzarii*⁴³, хотя и выделены в особую рубрику (§ 33), но в отношении таможенных пошлин приравнены к прочим торгующим привозным товаром — например, из Кёльна (§ 28): «*Ruzarii*, когда бы ни шли, платят 2 таланта (т. е. 2 фунта серебра. — А. Н.) и по возвращении из Руси — полталанта; пусть заплатят 12 денариев, если пожелают куда-нибудь зайти (т. е. для торговли. — А. Н.)» (последняя норма характеризует *Ruzarii* как купцов, транзитных по преимуществу)⁴⁴. К этим двум свидетельствам теперь можно прибавить данные еще одного памятника, полностью опубликованного только в 1977 г. — торгового устава австрийского герцога Леопольда VI (1198–1230), в котором также упоминаются стандартные возы, идущие из Венгрии и Руси, с которых в Маутхаузене взимается пошлина по 3 фунта серебра⁴⁵. Надо отметить, что эта пошлина много выше той, которая была установлена Леопольдом V в 1192 г. для регенсбургских купцов (3 фунта вместо полуфунта). В связи с перечисленными австрийскими документами напомним, что о русской торговле идет речь и в грамоте, данной венгерским королем Имре (1196–1204) монастырю в Эстергоме 1198 г.⁴⁶

Известно о существовании в Киеве в первой половине XII в. католического монастыря св. Марии; он был, вероятно, дочерней обителью ирландской монашеской конгрегации в Баварии и Австрии, первый храм которой в этих землях — собор св. Иакова в Регенсбурге, кстати говоря, был достроен на средства, предоставленные киевским княжеским семейством⁴⁷. Наличие в крупных торговых городах Древней Руси католических храмов не было, очевидно, редкостью. Из источников известно, например, о Готской (т. е. принадлежавшей корпорации готландских купцов) церкви св. Олафа и немецкой церкви св. Петра (основанной, вероятно, в 1192 г.) в Новгороде⁴⁸. В договоре Смоленска с Ригой и Готским берегом от 1229 г. упоминается «латинская церкви» или «немецкая Богородица», «немецкая божница», остатки которой в виде типичной для североευропейской церковной архитектуры XII в. ротонды археологи датируют второй половиной (вероятно, 70-ми гг.) XII в.⁴⁹. Характер этих сведений ясно показывает, что возникновение латинских храмов связано с постоянным присутствием западноевропейского, и особенно немецкого, купечества в Новгороде и Смоленске. Не было исключением и Киев. О постоянно проживавших здесь регенсбургских купцах узнаём, в частности, из записи 1179 г. во вкладной книге монастыря св. Эммерама в Регенсбурге, в которой упоминается некий «Хартвик, живущий в стране Руси, в городе под названием Киев» («*Hartwic...*, *habitans in regione Ruscie, in civitate Chiebo-*

dicta»), который передает монастырю причитающиеся ему от его регенбургских должников 18 фунтов серебра⁵⁰. Поэтому едва ли подлежит сомнению, что и в Киеве существовали латинские храмы, которые имеет в виду новгородский летописец, говоря, что в 1203 г. при разграблении Киева войсками Рюрика Ростиславича «гости, иноземца всякого языка, затворишася в церквах, и вдаша им живот»⁵¹. Возможно, остатками одной из них является открытая археологами в 1975–1976 гг. киевская ротонда, датируемая, как и ее упомянутый выше смоленский аналог, второй половиной XII в.⁵² Вместе с тем сведения о наличии в Киеве, кроме того, еще и католического монастыря соответствий для других городов Руси не имеют. В составе сочинения английского хрониста середины XIII в. Матвея Парижского сохранилось сопроводительное послание аббата бенедиктинского монастыря св. Марии в Венгрии, данное им двум монахам «из монастыря святой Марии на Руси», которые бежали от татар и которых он отправил далее в Ирландию; документ датирован январем 1242 г.⁵³ Едва ли приходится сомневаться в том, что речь идет о «монастыре Преславной Девы» в Киеве, управление которым в первой половине 20-х гг. XIII в. временно оказалось в руках доминиканцев во главе со св. Гиацинтом (Яцеком)⁵⁴ и который упомянут также Длугошем в связи с изгнанием доминиканцев из Киева в 1233 г. князем Владимиром Рюриковичем⁵⁵. Приведенное свидетельство Жития св. Гиацинта заставляет думать, что католическая обитель Пресв. Богородицы существовала в Киеве и до появления здесь доминиканских проповедников в первой половине 1220-х гг. Принято считать, что она была основана монахами-ирландцами, закрепившимися в Регенсбурге при поддержке Генриха IV в 1070–1080-х гг. и основавшими здесь монастырь св. Иакова⁵⁶. Такую точку зрения следует признать вероятной, особенно в предположении, что в хронике Матвея Парижского о не известном по другим источникам монастыре св. Марии в Венгрии говорится по ошибке вместо ирландского монастыря св. Марии в Вене, дочерней обители регенбургского св. Иакова, основанной австрийским герцогом Генрихом II Язомирготтом ок. 1168 г.⁵⁷

Специальной проблемой, требующей участия искусствоведов, являются следы немецкой романики во владимиро-суздальской архитектуре эпохи Андрея Боголюбского (1157–1174) и Всеволода Большое Гнездо (1176–1212)⁵⁸. Такого рода контакты прослеживаются и в сфере прикладного искусства⁵⁹, хотя последняя тема, безусловно, шире, чем только немецко-суздальские связи. Не являясь специалистом в этой области, укажем здесь лишь на достаточно известный, но от этого не менее загадочный пример — древнерусский (новгородский) крест-мощевик, издавна хранящийся в ризнице Хильдесхаймского кафедрального собора; он датируется, вероятно, второй половиной XII или началом XIII в. и связан, как предполагают, с именем новгородского архиепископа Илии (1165–1186)⁶⁰.

Главная сложность для историка русско-немецких отношений при работе с подобными памятниками состоит в том, что бывает весьма затруднительно выяснить, каким путем и при каких обстоятельствах они попадали из Германии на Русь или наоборот. Применительно именно к Хильдесхайму можно сослаться на один любопытный текст 30-х годов XII в. — Перенесение мощей Годехарда, епископа хильдесхаймского, в котором упоминаются «какие-то паломники из Руси» («*quidam peregrinantes de Ruzia*»), направляющиеся на поклонение этому новоявленному святому в основанный в 1133/1134 г. в его честь монастырь⁶¹ («*ad patrocinium beati Godehardi*»)⁶², хотя хильдесхаймский крест мог попасть в Германию, разумеется, и много позже (но до конца XVII в., когда мощевик упоминается в описании сокровищ ризницы).

Некоторое внимание в науке было уделено взаимовлиянию древнерусской и древнегерманской эпических традиций. Наиболее известна здесь судьба былинного Ильи Муромца, который под именем «короля Илии Русского» («*künec Ilias von Riuzen*») проник и в немецкий средневековый эпос⁶³. Однако вследствие специфичности материала связи такого рода не поддаются сколько-нибудь точной датировке и локализации⁶⁴ и поэтому их роль в воссоздании общей картины древнерусско-немецких взаимоотношений ограничена.

Возвращаясь к более раннему периоду IX–XI вв., уместно заметить, что и здесь усилия историков концентрировались вокруг политических контактов Руси и Германии в XI в., тогда как предшествующие два столетия освещены значительно хуже и только выборочно. Это и понятно: XI в., в особенности первая его половина, время киевского княжения Ярослава Владимировича Мудрого (1016–1018, 1019–1054), являет собой эпоху чрезвычайной активизации и расширения пространства внешней политики Руси. Едва ли найдется историк, который, обращаясь ко времени Ярослава Мудрого, не украсил бы своего труда списком заграничных браков многочисленного потомства Ярослава⁶⁵. И хотя среди этих браков нет ни одного немецкого (мы, впрочем, не знаем происхождения жен старшего из Ярославичей — Владимира, а также младших Игоря и Вячеслава⁶⁶), но Германия была важным и прочным элементом во внешнеполитическом кругозоре киевского князя.

В самом деле, русско-германский союз при Генрихе II (1002–1024), направленный против Польши Болеслава I (992–1025), который активно поддерживал своего зятя Святополка Туровского, соперника Ярослава, сопровождал уже само вокняжение Ярослава в Киеве в 1016–1017 гг.⁶⁷ Этот союз имел свое продолжение и при Конраде II (1024–1039), когда в начале 30-х годов как Русь, так и Германия усиленно поддерживали политические притязания братьев польского короля Мешка II (1025–1032/33, ум. в 1034 г.), способствуя тем самым падению последнего⁶⁸. Русско-немецкое сотруд-

ничество продолжалось и позднее, в конце 30-х годов, при возведении на польский трон Казимира I Восстановителя (1038/39–1058)⁶⁹, что привело, наконец, к стабилизации как немецко-польской, так и русско-польской границ в результате отказа Польши от притязаний на Полабские марки на западе и на Червенские города на востоке. Союзные отношения Руси и Германии 1017–1039 гг. сравнительно полно отражены в источниках на всех этапах своего существования и потому довольно хорошо изучены, особенно в контексте русско-польского противоборства того времени, хотя и здесь ресурсы источников, кажется, вовсе не исчерпаны. Так, стоило бы с большим вниманием отнестись к сведениям Саксонской всемирной хроники (XIII в.), что жена маркграфа Саксонской северной марки Бернхарда (ум. после 1044 г.) была русской.

Перечисляя предков короля Лотаря III, саксонский хронист вдается в генеалогию маркграфов Саксонской северной марки конца X — первой половины XI вв. из рода хальденслебенских графов: «...Бенно родил Дитриха, герцога и маркграфа, который был отцом Бернхарда; он родил маркграфа Бернхарда; этот родил маркграфа Вильгельма и графа Конрада и дочь Оду и некоего Оттона, мать которого была из Руси...»⁷⁰. Высказанная мимоходом Г. Людатом датировка этого брака примерно 991/92 г.⁷¹ вряд ли состоятельна; предпочтительней выглядит более поздняя дата: 20-е гг. XI в.⁷². Если так, то женитьба Бернхарда была бы связана не с тем, что Владимир Святославич поддерживал вдову Мёшка I саксонку Оду (как считает Людат), изгнанную в 992 г. из Польши Болеславом Храбрым, а скорее с совместной борьбой Германии и Руси против Мёшка II в начале 30-х годов, как о том говорилось чуть выше. Вместе с тем следует учитывать, что источниковедческой оценки этих данных довольно поздно памятник пока нет. Кроме того, отнюдь не ясно, был ли брак Бернхарда политическим. Действительно, сын Бернхарда от этого брака — Оттон, воспитывавшийся в Чехии, стал героем скандального происшествия: в 1057 г. он выступил с притязаниями на германский трон, и Ламперт Херсфельдский (70-е гг. XI в.) скептически замечает по этому поводу, что Оттон был якобы рожден в «неравном браке» («*matrimonium impar*») от «какой-то славянки» («*quaedam Slava*»)⁷³. А. Вольф, вслед за Н. А. Баумгартеном, видит в матери Оттона дочь Владимира Святого⁷⁴, но единственным аргументом ему служит гипотеза Баумгартена о втором браке Владимира (после смерти гречанки Анны в 1011/12 г.) с представительницей немецкой королевской династии. Тем самым королевское происхождение матери Оттона, по Вольфу, и объясняет его претензии на престол. Однако идея Баумгартена скорее всего несостоятельна (о чем еще пойдет речь), а родство Оттона с правящим домом можно установить и по другим линиям⁷⁵. Вопрос о «русском браке» маркграфа Бернхарда нуждается в дополнительном специальном исследовании.

Значительно меньше ясности относительно последних пятнадцати лет княжения Ярослава Мудрого, и здесь оценки историографии далеко не однозначны. Активная дипломатия киевского князя в начале правления Генриха III (1039–1056) (русские посольства 1040 и 1042 гг. настойчиво предлагали овдовевшему Генриху руку одной из дочерей Ярослава⁷⁶) говорит о том, что Русь была по-прежнему заинтересована в поддержании традиционного уже союза с Западной империей — очевидно, не в последнюю очередь перед лицом назревавшего конфликта с Византией, вылившегося в войну 1043 г.⁷⁷ Такая политическая комбинация, как мы увидим, также была не нова, имея прецеденты в 50–70-е гг. X в. Собственные политические виды в Бургундии и Италии заставили Генриха III предпочесть Ярославне Агнесу Аквитанскую (1043 г.), что повело, как можно думать, к расстройству русско-германского политического сотрудничества, до той поры столь устойчивого. Во всяком случае в междоусобной борьбе 40-х гг. в Венгрии Русь активно помогала противникам пронемецкого короля Петера Орсеоло (1038–1041, 1044–1046): в 1046 г. — Андрею, занявшему при поддержке Ярослава венгерский престол (1046–1060) и женатому на дочери Ярослава (Анастасии?)⁷⁸, а еще ранее, в 1043–1044 гг., возможно, и Шамуэлю Абе, шурина покойного венгерского короля Иштвана (Стефана) Святого, другому сопернику Петера⁷⁹. Предположение Баумгартена, что в первой половине 40-х гг. Ярослав женил своего старшего сына, новгородского князя Владимира, на немке, как уже говорилось, не соответствует действительности⁸⁰. За недостатком определенных данных трудно судить, сколь длительным было охлаждение русско-германских отношений. Иногда, ввиду известных французско-германских противоречий в Бургундии, с ним связывают также брак Анны Ярославны с французским королем Генрихом I (1031–1061) (бракосочетание на Пасху 1049 или 1051 г.)⁸¹. Следует, однако, учитывать, что серьезные матримониальные затруднения, которые испытывали первые Капетинги по причине близкого кровного родства с большинством династий Западной Европы, могут служить достаточным объяснением брака — по крайней мере с французской стороны⁸². Более того, не исключено, что дело не обошлось без посредничества Генриха III, а это значило бы, что столь неожиданное (и впоследствии, насколько известно, более не повторявшееся) сближение Руси и Франции сопровождало не конфликт между Германией и Русью, а его урегулирование⁸³. Что касается венгеро-немецкого противоборства, то оно завершилось сразу же после смерти Генриха III в 1056 г. браком венгерского престолонаследника Шаламона, сына Андрея I и Ярославны, с сестрой нового германского короля малолетнего Генриха IV (1056–1106).

В дальнейшем мы не встречаем сколько-нибудь определенных сведений о политических взаимоотношениях между Русью периодом так называемого «триумвирата» Ярославичей и Германией вплоть

до рубежа 60–70-х гг. XI в. Видимо, относительная внутривнутриполитическая стабильность на Руси при отсутствии внешних конфликтов в совокупности с некоторым ослаблением Германии во время регентства сначала матери короля Агнесы (до 1062 г.), а затем архиепископов Аннона Кёльнского и Адальберта Гамбургского (до 1066 г.) не давали повода для взаимной заинтересованности в 60-е гг. Более того, безуспешные попытки немцев свергнуть венгерского короля Белу I (1060–1063), поддержанного Польшей Болеслава II (1058–1079), с которым был близок киевский князь Изяслав Ярославич (1054–1078 с перерывами), владевший как Новгородом, так и Волынью (с 1057 г.), позволяют предполагать, что в русско-немецких отношениях сохранялась определенная дистанция, характерная для последнего периода правления Ярослава. Неясно поэтому, стоит ли полагаться на сообщение Песни об архиепископе Анноне (ок. 1080 г.), будто знаменитый кёльнский митрополит (1056–1075) среди прочих даров от иностранных государей получал таковые и из Руси⁸⁴; по внутренней хронологии памятника им пришлось бы приурочить к 1062–1064 гг. Вместе с тем вряд ли обоснованны и попытки прямо опровергнуть это известие со ссылкой на параллельное место Жития Аннона (1105 г.), где поименованы дары из Англии, Дании и Греции (названные и в Песни), но о Руси речи нет⁸⁵. Доказательная сила этого аргумента покоится на двух постулатах: что, во-первых, Житие 1105 г. основано в целом на утраченном более раннем (до 1088 г.) Житии Аннона, принадлежавшем перу зигбургского аббата Регинхарда, и что, во-вторых, Регинхардово Житие активно использовалось автором Песни. Между тем изданные в 1976 г. новонайденные фрагменты древнего Жития не обнаруживают предполагавшейся тесной близости с соответствующими местами Песни⁸⁶. Источниковедчески вопрос продолжает оставаться открытым.

В этой связи уместно заметить, что и помимо Песни об архиепископе Анноне есть данные об особых связях Кёльна с Русью. Несомненно Кёльн был в числе тех среднерейнских и вестфальских городов, которые участвовали в торговле с Северной и Северо-Западной Русью по Балтике. Мы имеем в виду, разумеется, непосредственные немецко-русские торговые связи, начало которых нельзя относить ранее эпохи Лотаря III, т. е. 10–30-х годов XII в., когда в результате военной и церковно-политической экспансии Германия вновь обеспечила себе опорные пункты на юго-западном побережье Балтийского моря. Вероятно, к 1134 г. восходит несохранившаяся привилегия Лотаря готландским купцам на территории Империи⁸⁷. Новый этап в немецкой торговле на Балтике начинается после 1158 г., когда саксонским герцогом Генрихом Львом был открыт беспопыльный доступ в Любек для русских и скандинавских купцов⁸⁸. Что к ней был причастен и Кёльн, видно из жалованной грамоты кёльнского архиепископа Райнальда городку Медебаху

от 1165 г., в которой упоминается о торговле местных жителей в Дании и на Руси⁸⁹. Еще более любопытны остававшиеся до самого последнего времени неизвестными отечественной науке сведения о тесных контактах семейства новгородского, а затем киевского князя Мстислава Владимировича, сына Владимира Мономаха, с кёльнским монастырем св. Пантелеимона. Имя «королевы Гиды», жены Мономаха и матери Мстислава, находим в синодике этого монастыря⁹⁰, а в двух сборниках, происходящих из скриптория монастыря св. Пантелеимона, среди чудес, приписываемых этому святому-целителю, есть и рассказ о чуде со Мстиславом, в котором (рассказе) центральным мотивом служат связи Гиды с названным монастырем⁹¹. При ближайшем рассмотрении оказывается, что именно эти связи с кёльнской обителью стоят у истоков активного почитания св. Пантелеимона в Древней Руси⁹².

Возвращаясь к паузе в русско-немецких политических отношениях, приходящейся на 50–60-е гг. XI в., обнаруживаем принципиальное изменение такого положения дел лишь ок. 1070 г., когда «триумvirат» Ярославичей окончательно распадается и на Руси складывается коалиция младших братьев Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского и Ростовского против старшего Изяслава Киевского. Позиции Изяслава после его возвращения при поддержке польского князя Болеслава II на киевский стол в 1069 г. оказались существенно иными, нежели те, которыми он обладал до своего бегства в Польшу в предыдущем году. Вернув Киев, Изяслав утратил, однако, контроль над Новгородом и Волынью, оставшимися за Святославом и Всеволодом соответственно, что весьма расширило возможности последних в их западноевропейской политике. И действительно, примерно к 1069–1071 гг. относятся черниговско-немецкие переговоры, а затем и женитьба Святослава Ярославича на Оде, сестре маркграфа Саксонской северной марки Удо-на II Штаденского, которая в то же время была двоюродной племянницей германского короля Генриха IV. Подробные сведения о генеалогии Оды (вернее сказать, ее матери «Иды из Эльсдорфа»), содержащиеся в Штаденских анналах (середина XIII в.), равно как и известия современника событий Ламперта Херсфельдского, что Святослав был женат на немке, сестре Бурхарда, настоятеля одного из Трирских соборов⁹³, давно попали в поле зрения историков Руси, но не всегда правильно интерпретировались. Так, по авторитетному мнению Н. А. Баумгартена, мужем Оды был не Святослав, а Владимир Ярославич (ум. в 1052 г.), что заставляло относить брак ко времени ок. 1040 г.⁹⁴ К счастью, открытия новых источников в наше время хотя и редки, но все же возможны. Недавно обнаруженные анналы Санкт-Галленского монастыря в Южной Швабии (вернее — санкт-галленское продолжение Хроники Германна из Райхенау), считавшиеся утраченными, вносят окончательную ясность в вопрос и об идентификации второй супруги Святослава Ярославича (имен-

но Ода), и о датировке брака (ок. 1070 г.). Под 1072 г. здесь значится: «Король Руси в ту пору при посредничестве короля Генриха (IV. — А. Н.) взял в жены дочь графа Люпальда и госпожи Иты из Отерсберга (тождественна Иде из Эльсдорфа Штаденских анналов. — А. Н.)»⁹⁵.

Важно, что это открытие позволяет понять и связать воедино ряд известных, но разрозненных данных о внешней политике Руси (точнее — ее отдельных земель) в то время. Прежде всего становится ясно, что побудило Всеволода Ярославича в первой половине 1070-х гг. женить своего сына Владимира Мономаха на изгнаннице Гиде, дочери последнего англосаксонского короля Харальда Годвинсона, павшего в битве с норманнами Вильгельма Завоевателя в 1066 г. Гиде была родственницей (двоюродной племянницей) датского короля Свена Эстридсена (1047–1075/76), жила при датском дворе, и политические виды Свена явно сыграли роль в ее замужестве⁹⁶. Ввиду союза между Генрихом IV и Свеном против Болеслава II Польского накануне 1073 г.⁹⁷ нетрудно догадаться, что именно стремление нейтрализовать польского союзника Изяслава Киевского и привело к сближению между Германией и Данией, с одной стороны, и черниговско-перемышльской коалицией на Руси — с другой⁹⁸. Тем самым мы получаем и достаточно убедительное объяснение тому посольству Генриха IV на Русь, о котором довольно глухо повествует писавший в 1080-х гг. Бруно в своей Книге о саксонской войне: речь, судя по всему, идет о переговорах немецкого короля и черниговского князя в 1069–1070 гг., предшествовавших браку Святослава и Оды, который, по свидетельству упомянутых Санкт-Галленских анналов, был заключен «при посредничестве короля Генриха»⁹⁹.

Резкий поворот во внешней политике Святослава Ярославича, уже князя киевского, в 1075 г., когда прежний противник польского князя Болеслава II посылает войско во главе с сыном Олегом и Владимиром Всеволодовичем Мономахом в помощь полякам, ведущим войну с Чехией, союзницей Германии¹⁰⁰, вызвал немедленную реакцию со стороны Генриха IV. Его сдержанное отношение к Изяславу Ярославичу, который был изгнан братом из Киева в марте 1073 г., а с начала 1075 г. пребывал в Германии под опекой тюрингенского маркграфа Деди, сменяется прямым политическим союзом: возможно, как раз летом или осенью 1075 г. сын Изяслава Ярополк женится на падчерице Деди Кунигунде Орламюндской¹⁰¹. Эта сложная политическая игра Киева имела не только немецкий и польский, но и, по меньшей мере, также византийский и венгерский аспекты¹⁰², что лишний раз убеждает в том, что изучение русско-германских отношений возможно только на фоне общеевропейской политики.

Чрезвычайно часто в качестве иллюстрации веса Руси в международных делах того времени используется второй брак императора Генриха IV с дочерью киевского князя Всеволода Ярославича

в 1089 г.¹⁰³. Трагически-авантюрная судьба Евпраксии Всеволодовны (в Германии получившей имя Адельхайды) привлекала историков, так что этому матримониальному союзу посвящена значительная литература¹⁰⁴. Обычно его связывают с одновременной перепиской, направленной на сближение Западной и Восточной церквей, которую, возможно, именно в 1088/89 г. пытался завязать с киевским митрополитом Иоанном II Продромом антипапа Климент III, креатура Генриха IV¹⁰⁵. Если учесть, что усилия по воссоединению церквей были одним из главных мотивов международной политики папы Урбана II (1088–1099), который вел в этом направлении переговоры с византийским императором Алексеем I Комнином (1081–1118), то напрашивается предположение, что мы имеем дело с продолжением политической борьбы Генриха IV и папства, начавшейся при Григории VII во второй половине 1070-х гг. Вежливый, но сдержанный ответ Клименту III со стороны митрополита Иоанна, равно как и скептическая позиция, которую, в отличие от Алексея I, заняла в вопросе унии константинопольская кафедра в лице патриарха Николая III Грамматика (1084–1111), можно считать одной из причин безуспешности переговоров. Характерно, что параллельно переписке с Климентом III киевская митрополия поддерживает какие-то особые, независимые от константинопольского священноначалия контакты с Урбаном II; об этом свидетельствует учреждение в русской церкви особого праздника в честь перенесения мощей святителя Николая (Николая Чудотворца) из Мир Ликийских в апулийский город Бари, которое совершилось в 1087 г., — праздника, неизвестного греческой церкви (9 мая)¹⁰⁶. Согласно древнерусскому Слову на перенесение мощей св. Николая Чудотворца в Бар-град, праздник был учрежден папой Урбаном II в 1089 г. и воспринят на Руси еще при жизни Всеволода Ярославича, т.е. не позднее 1093 г. Видимо, такая уклончивая политика киевского князя, а затем и его скорая кончина 13 апреля 1093 г., повели к охлаждению отношений между Генрихом IV и его новой супругой, а затем и к ее заключению в Вероне, откуда ей удалось бежать в конце 1093 г. На соборах 1094 и 1095 гг. с участием папы Урбана Евпраксия Всеволодовна выступила с шокирующими откровениями о нравственном падении германского императора, затем вернулась на Русь, где в 1106 г. (после смерти мужа) постриглась в монахини и скончалась в 1109 г.¹⁰⁷

Колоритная история конфликта Генриха и Евпраксии-Адельхайды совершенно заслонила в глазах историков тот известный факт, что в Германию Всеволодовна прибыла не как невеста немецкого короля, а как жена маркграфа Саксонской северной марки Генриха Штадена¹⁰⁸. Вопрос о политической направленности этого союза, по сути дела, даже не ставился. Между тем он представляет немалый интерес и дает повод для типологических обобщений. Точной датировки брака Всеволодовны и Генриха Штадена

источники не указывают, но легко догадаться, что она должна быть заключена между 1083 и 1086 гг., поскольку Генрих стал маркграфом после смерти своего отца в мае 1082 г., а уже 27 июня 1087 г. скончался сам. Если так, то заманчиво было бы связать этот брак с открытым столкновением в 1085 г. между Всеволодом Ярославичем Киевским и его племянником, сыном уже упоминавшегося Изяслава Ярославича, Ярополком, в 1078–1087 гг. князем волынским, поддержанным Польшей Владислава-Германа (1079–1102)¹⁰⁹. Посредничать при заключении брака могла Ода, после смерти в 1076 г. мужа, князя Святослава Ярославича, вернувшаяся в Германию: Генрих Штаден был ее племянником (маркграф Удон II, отец Генриха, был усыновлен матерью Оды Идой из Эльсдорфа). Если наше предположение верно, то обнаруживается любопытная закономерность в русско-немецких политических отношениях XI в.: борьба Руси против Польши или Киева — против польских союзников Волыни сопровождается альянсом с маркграфами Саксонской северной марки — Бернхардом в 1020-е гг., Удоном II ок. 1070 г. и Генрихом ок. 1085 г. Этот характерный момент древнерусской внешней политики заслуживал бы особого изучения.

Недостаточность историографии, о которой мы упоминали в начале этого обзора, с особой отчетливостью дает о себе знать применительно к древнейшей фазе русско-немецких отношений в IX–X вв. Этому периоду до самого последнего времени не было посвящено ни одной работы, а соответствующая проблематика только вскользь затрагивалась в более общих трудах, т. е. либо оперировавших на более обширном хронологическом пространстве, либо посвященных международным связям Древней Руси ранней поры в целом. Казалось бы, от историков трудно требовать большего, поскольку фактическая основа для такого исследования чрезвычайно скудна. В сущности, приходилось иметь дело с двумя-тремя разрозненными фактами: сведениями Раффельштеттенского таможенного устава начала X в. о русских купцах в Баварской восточной марке¹¹⁰, данными о посольстве княгини Ольги к германскому королю Оттону I в 959 г.¹¹¹, да еще разве что сообщением Ламперта Херсфельдского о присутствии русских послов на имперском съезде в Кведлинбурге на Пасху 973 г.¹¹². Сколько-нибудь связной картины на основе такой отрывочной информации создать, конечно, нельзя, и неудивительно, что время от времени раздавались голоса, ставившие под сомнение и эти немногие свидетельства: в «ругах» Раффельштеттенского устава предпочитали видеть не русь, а часть славянского населения Баварской восточной марки, усвоившую себе название древнегерманских ругов, когда-то (в V в.) обитавших в этих местах¹¹³, а русских послов в Кведлинбурге объявляли выдумкой писавшего столетием позже Ламперта, указывая на то, что в других источниках, описывающих кведлинбургские торжества, они не названы¹¹⁴. После подобного усечения фактическая база для ка-

ких бы то ни было рассуждений о русско-немецких связях IX–X вв. практически исчезала. Не могли спасти здесь ни давно известное (хотя и обсуждавшееся исключительно в контексте «норманнской проблемы») сообщение Бертинских анналов о послах «народа Рос» в Ингельхайме при дворе франкского императора Людовика Благочестивого в 839 г.¹¹⁵, ни введенный в отечественную науку еще Н. М. Карамзиным памятник IX в. — так называемый Баварский географ, который упоминает о Руси (Ruzzi) в числе других племен и народов Центральной и Восточной Европы¹¹⁶. Посольство 839 г., как можно полагать, не оставило следа в истории связей между (тогда еще будущей) Германией и (тогда еще только-только возникавшей) Русью¹¹⁷, а из текста Баварского географа (если не вникать в источниковедческие проблемы) невозможно извлечь ничего, кроме тривиального заключения, что анонимному немецкому составителю довольно сумбурной географической записки было кое-что известно о Восточной Европе.

Однако при более внимательном взгляде на предмет оказывается, что такое скептическое заключение было бы преждевременным. Выясняется, что круг фактов может быть существенно расширен как за счет привлечения новых источников, так и путем углубленного изучения уже известных.

Прежде всего удастся вывести из изоляции данные о политических контактах между Русью и Германией при Ольге и Оттоне I (936–973). Генеалогическое предание Вельфов, письменно зафиксированное в первой трети XII в., по поводу брака одного из представителей рода, графа Рудольфа, с дочерью некоего «знатнейшего графа Куно из Энингена» дает родословие невесты, матерью которой названа «дочь императора Оттона Великого» (т. е. Оттона I), а мужем одной из сестер — анонимный «король Руси» («rex Rugorum»)¹¹⁸. В отечественной историографии на этот источник обратил внимание Н. А. Баумгартен, который (не предлагая, впрочем, никакой конкретной аргументации) отождествил «короля Руси» с киевским князем Владимиром Святославичем (978–1015), отнеся сам брак к концу его правления (в 1011/12 г. умерла первая христианская супруга князя гречанка Анна)¹¹⁹. Точка зрения Баумгартена достаточно прочно вошла в литературу¹²⁰. Между тем такая идентификация никак не согласуется с внутренней хронологией источника, согласно которой брачный возраст дочерей графа Куно из Энингена должен был приходиться на 970–980-е гг. После того как в 1966 г. К. Шмид обратил внимание на запись в синодике швабского монастыря Райхенау, относящуюся к 70–80-м гг. X в. и содержащую почти в полном составе имена членов семейства графа Куно, как они были известны по Генеалогии Вельфов¹²¹, туман вокруг загадочной фигуры графа Куно начал рассеиваться и вскоре стало ясно, что перед нами хорошо известный персонаж — швабский герцог Конрад (ум. в 997 г.)¹²². Как следствие появилась возможность уточнить

датировку фрагмента о семействе графа Куно в Генеалогии Вельфов — ранее 983 г.¹²³. В таком случае на роль его русского зятя претендует уже не Владимир, а Ярополк Святославич (972–978). Анализ политической ситуации в момент заключения этого матримониального союза приводит к выводу об участии Руси в войне Оттона II (973–983) против баварско-чешско-польской коалиции в 974–979 гг. на стороне германского императора — точнее: о военных действиях Руси на чешско-русском пограничье на Волыни летом 977 г.¹²⁴.

Считаем важным в этой связи обратить внимание на одно обстоятельство, имеющее и методическое значение. Как известно, среди критериев вероятности той или иной гипотезы есть и такой: она (вероятность) возрастает по мере того, как с помощью этой гипотезы удастся объяснить факты, которые не были использованы при ее построении. В этом случае обоснованное нами предположение о союзе между Оттоном II и киевским князем Ярополком Святославичем имеет целый ряд достоинств, выявляя причинно-следственные связи между многими разрозненными событиями 70-х гг. X в. Так, оно проливает свет на события, связанные с уособицей Святославичей: становится понятным, почему она возникла (Владимир Новгородский и Олег Древлянский поддерживали союз с Чехией Болеслава II — отсюда первый брак Владимира на «чехине»¹²⁵ и сведения о потомстве Олега в Чехии¹²⁶), почему в 979 г. (по Повести временных лет — в 981 г.) Владимир, едва укрепившись на киевском столе, совершает далекий поход на Польшу¹²⁷; объясняются, наконец, и давно попавшие в поле зрения историков глухие припоминания некоторых западноевропейских источников первой половины XI в. о деятельности в Киеве накануне крещения Владимира каких-то латинских миссионеров (брачные планы Ярополка предполагали, естественно, его крещение)¹²⁸; и многое другое¹²⁹.

Вовлеченность Киева в борьбу против Чехии за Южное Побужье уже в 70-е гг. X в. может, тем самым, служить достаточным объяснением для появления русских послов в Кведлинбурге в 973 г., где, как основательно считают, обсуждался вопрос о границах учреждавшейся тогда Пражской епархии. Сомнения же в достоверности сообщения Ламперта, как можно показать, наталкиваются на серьезные контраргументы¹³⁰. Следовательно, упорная борьба Руси и Польши за Червенские города, продолжавшаяся еще в 1030-е гг., имела свою предысторию, и остававшийся во многих отношениях загадочным поход Владимира «к ляхом» в 979 г. оказывается вполне естественным продолжением русско-немецкого военного союза, сложившегося при Ярополке: именно на 979 г. приходится поход Оттона II на Польшу¹³¹ — последняя крупная акция упомянутой войны, начавшейся в 974 г.¹³².

В этой связи надо сказать и о чрезвычайно любопытном, но совершенно обойденном вниманием историографии памятнике — двух свинцовых медальонах с изображением императора Оттона II и его

супруги гречанки Феофано, найденных, очевидно, на территории Руси и только здесь¹³³. Специальному анализу эти уникальные находки (известные уже с 20-х гг. нашего столетия) не подвергались, и их происхождение и назначение остаются не совсем ясными. Ранее мы предположили, что они могут быть своеобразными пропагандистскими материалами, связанными с деятельностью на Руси магдебургских миссионеров¹³⁴. Эта мысль была основана на допущении, высказанном в свое время П. Э. Шраммом¹³⁵, что известный иконографический образец медальонов — резьба по слоновой кости с изображением императорской четы (Оттона II с Феофано) из Музея Ключни¹³⁶ может быть частью переплета той роскошной рукописи, которая была подарена Оттоном II Магдебургской церкви в 979 г. и в настоящее время утрачена, хотя известна по описаниям XI–XII в.¹³⁷. Вынуждены теперь отказаться от такого предположения по ряду причин, главная из которых — несоответствие датировок магдебургского дара (ноябрь 979 г.) и рельефа из Музея Ключни; дело в том, что последний был изготовлен в 980–982 гг., скорее всего — весной или летом 982 г., как то следует из идентификации заказчика рельефа Иоанна с Иоанном Филагатом, ученым калабрийским монахом, протеже императрицы Феофано, канцлером итальянской канцелярии Оттона II в 980–982 г.¹³⁸. Вероятнее всего, таким образом, выглядит гипотеза о политических контактах между императором Оттоном II и недавно занявшим киевский стол Владимиром Святославичем, которые (контакты) продолжили сотрудничество, начавшееся совместными действиями против Польши в 979 г. По-видимому, именно с немецкими политическими посольствами и попали на Русь медальоны, функциональные аналоги которым из византийской практики известны: это золотые медальоны, служившие для раздачи при дворе и для вручения иностранным государям¹³⁹. Впрочем, грубая работа и сам материал, из которого изготовлены подвески с изображением Оттона II и Феофано (свинец), заставляют думать, что предназначались они не для киевского князя, а для более широкого распространения.

С начала 982 г. и до самой своей смерти в декабре 983 г. Оттон II пребывал в Италии, будучи занят войной против Византии в Апулии и арабов в Калабрии. Следовательно, предполагаемые нами германо-русские переговоры приходятся на период резкого осложнения в немецко-византийских отношениях. Как мы увидим ниже на примере более ранних событий 960 и 968 гг., обращение к Руси в моменты конфликта с Константинополем стало к тому времени для германской дипломатии уже почти традиционным. Думаем, что именно это явившееся из Италии немецкое посольство начала 980-х годов упомянуто в летописном Сказании об испытании вер князем Владимиром («немьци... от Рима... послании от папежа»)¹⁴⁰. Для немецкой внешней политики эта антивизантийская инициатива германского императора последствий, кажется, не имела по причи-

не его внезапной скорой кончины, но на русскую политику она влияние оказать успела. С ней естественно было бы связать тот разрыв с Константинополем, который имеет в виду осведомленный сирийский хронист Яхъя Антиохийский, говоря, что накануне русско-византийских переговоров 987 г. Русь находилась в лагере врагов Византии¹⁴¹. Неизвестно, обращался ли Оттон к другому естественному союзнику против Восточной империи — Западноболгарскому царству, которое в то время уже находилось в состоянии постоянной войны с Византией, но вот предполагать русско-болгарское сближение в середине 80-х годов X в. основания есть¹⁴².

Если, таким образом, о политическом взаимодействии Германии и Руси при Оттоне II и Владимире (т.е. в 978–983 гг.), которое продолжало отношения Оттона II и Ярополка Святославича, можно теперь, на наш взгляд, говорить с достаточной определенностью, то для последующей эпохи Оттона III (983–1002) и первой половины правления Генриха II (1002–1024) положение дел выглядит принципиально иным. Контакты Оттона II с Русью удается подкрепить новыми данными, тогда как источники, обычно используемые в историографии для доказательства существования политических сношений Владимира Святославича с Германией в конце его княжения, наоборот, приходится дезавуировать. О несостоятельности распространенной гипотезы о втором христианском браке Владимира с немкой ок. 1012 г. уже говорилось. Оговорки необходимы и применительно к известному факту пребывания на Руси и в печенежской степи немецкого миссийного архиепископа Бруно Кверфуртского (1008 г.)¹⁴³. Разумеется, миссию Бруно можно и нужно рассматривать в контексте русско-немецких связей, но вряд ли в контексте политических взаимоотношений между двумя странами. Маловероятно, чтобы Бруно был политическим агентом немецкого короля Генриха II¹⁴⁴ — тон и характер послания миссионера к королю, написанного сразу после возвращения Бруно из Руси (он критикует Генриха за политику союза с язычниками-лютичами против христианской Польши Болеслава I, ставя немецкому королю в пример киевского князя, пекущегося об обращении печенегов), такому предположению явно противоречит. Может быть, миссия Бруно Кверфуртского на Русь и не была лишена политических целей, но тогда уже они скорее отражали интересы Болеслава Польского¹⁴⁵, а не Генриха II.

Что касается молчания источников о каких бы то ни было политических связях Германии и Руси при Оттоне III, то оно неудивительно. Это период длительного и тесного сотрудничества между Империей и Польшей. Приверженность правительства Оттона III союзу с Болеславом Храбрым объясняется прежде всего фанатичной преданностью молодого императора своей идее центральноевропейской *рэх Романа* под эгидой Германии, куда в качестве неотъемлемой части должна была войти и Польша. Это вылилось в политику

уступок Болеславу, которая так раздражала многих среди саксонской знати и привела к учреждению в 1000 г. польской архиепископии в Гнезне, независимой от имперской церкви. У более поздних хронистов могло возникнуть даже впечатление, будто Болеслав воевал с Русью при поддержке Оттона III¹⁴⁶. Поэтому мы считаем неверной оценку данного периода В. Т. Пашуто, который усматривал в это время «дальнейшее сближение двух сильных государств»¹⁴⁷. Главный аргумент историка — якобы тесные родственные связи между женой Владимира Анной и матерью Оттона III гречанкой Феофано — оказывается несостоятельным¹⁴⁸. Предпосылки для нового сближения Руси и Германии возникают только с началом правления Генриха II, когда активная экспансия Польши как на западе, так и на юге (присоединение Силезии и Краковской земли в 990-х годах, части немецких Полабских марок, а также Чехии и Моравии — после 1002 г.) привела к сложению совершенно других политических союзов: польско-немецкий альянс против полабских славян распадается, уступая место немецко-чешско-лютической коалиции против Польши. Участие Руси в этой коалиции было бы логично. Думаем, что поиск данных о таком участии был бы перспективен.

Если упомянутое сообщение Сказания об испытании вер отсылает нас к реальному немецкому посольству в Киев в 982–983 гг., то ответ немецким послам, который летопись по этому поводу вкладывает в уста Владимира: «Идите опять, яко отци наши сего не прияли суть», — прозрачно намекает на неудачную миссию немецкого епископа для Руси Адальберта, присланного сюда Оттоном I в 961 г. по специальной просьбе княгини Ольги¹⁴⁹. Высказывавшиеся нередко вплоть до самого последнего времени сомнения в том, что посольство Ольги в Германию в 959 г., вопреки прямым сообщениям всех источников, не имело церковно-политических целей¹⁵⁰, не поддерживают источниковедческой критики, поскольку, как удается показать, сведения о посольстве Ольги и миссии епископа Адальберта на Русь в Продолжении хроники Регинона Прюмского и в аналитике так называемой херсфельдской традиции совершенно независимы друг от друга¹⁵¹. Если же принять во внимание, что посольство киевской княгини к германскому королю с просьбой прислать на Русь епископа и священников было отправлено, вероятно, полтора года спустя после возвращения Ольги из Константинополя, где она приняла крещение и вела какие-то переговоры с византийским императором Константином VII, результатами которых, как можно догадываться, была не вполне удовлетворена¹⁵², то придется констатировать принципиально важный факт: как русско-византийские, так и русско-германские отношения середины и третьей четверти X в. разворачиваются в силовом поле, которое порождалось сосуществованием, а зачастую и прямым противостоянием в христианском мире двух церковно-политических центров — Константинополя и другого, роль которого в это время играл не

столько папский Рим, сколько германская имперская церковь. Некоторые ее иерархи (гамбургский и магдебургский архиепископы) обладали правом самостоятельной организации новых епископий на миссионных территориях.

Эти наблюдения заставляют внимательнее присмотреться к кажущейся паузе в политических взаимоотношениях Руси и Германии в период киевского княжения Святослава Игоревича (ок. 961–972). Именно на это время приходится организация в Германии в 968 г. Магдебургской миссионной митрополии. Прямых указаний на какие-либо дипломатические контакты между Святославом и Оттоном I источники, действительно, не содержат, но тщательное рассмотрение документов и обстоятельств, связанных с учреждением в Магдебурге митрополии «для всех славян» (как выражается Оттон I в учредительной грамоте от октября 968 г.), позволяет выдвинуть достаточно обоснованную, на наш взгляд, гипотезу о том, что, во-первых, Русь мыслилась как составная часть новообразованной миссионной архиепископии, первым главой которой неслучайно стал экс-епископ Руси Адальберт, и что, во-вторых, русско-германское политическое сотрудничество, начавшееся при княгине Ольге, продолжалось и при Святославе во время одновременной войны против Византии Оттона I в Южной Италии (968–971) и Святослава — на Балканах (968–972)¹⁵³.

Суммируя сказанное о русско-немецких политических взаимоотношениях 960–970-х гг., легко прийти к некоторым общим заключениям, характеризующим этот период в целом и место Руси в международной ситуации того времени.

В конце 50-х гг. X в. намечается перелом в политике германских королей Саксонской династии, которые твердо вступают на путь «*renovatio Imperii*». Это вызвало принципиальную перемену в характере германо-византийских отношений (от лояльных при Константине VII [ум. в 959 г.] до открытой войны при Никифоре Фоке [963–969] и Иоанне Цимисхии [969–976], а затем — в начале 980-х гг. и при Василии II), а также определило качественно иную миссионную политику немецкой имперской церкви в отношении славян, причем не только непосредственных соседей Германии. Конфликтность в германо-византийских отношениях сделала обе стороны весьма чувствительными к международным факторам, которые в другое время воспринимались бы как второстепенные (этот момент, к сожалению, совершенно не учитывается в основополагающих работах В. Онзорге по истории германо-византийских отношений эпохи Оттонов, в которых автор замыкается в кругу сугубо двусторонних связей¹⁵⁴). Одним из таких факторов оказались резко активизировавшиеся именно в это время политические контакты Киева как с Константинополем, так и с Западной империей, что было обусловлено назревшей потребностью христианизации древнерусского общества и государства, подключения Руси к уже существ-

новавшим церковно-юридическим структурам. Образуется даже нечто вроде «большого треугольника» Византия — Германия — Русь, помимо которого в Центральной и Юго-Восточной Европе данного периода не видно реальных политических сил такого масштаба. Древнепольское государство становится весомым фактором европейской политики позже, в правление Болеслава I, так же как и Венгрия — при Иштване I (мы отвлекаемся, разумеется, от локальных двусторонних отношений — польско-немецких, венгерско-византийских или т.п.). Чехия, несмотря на свои территориальные размеры во второй половине X в., была слишком инкорпорирована в политико-юридическую структуру Саксонской державы. Единственным реально действенным политическим фактором общеевропейского масштаба в это время могла бы быть Болгария, но как раз она утрачивает политическую самостоятельность в ходе болгаро-византийской войны в конце 60-х — начале 70-х гг. X в.¹⁵⁵

На этом фоне симптоматично, что некоторые факты двусторонних русско-византийских или русско-немецких отношений поддаются удобной интерпретации, только если выйти за рамки этой двусторонности: например, внешне импульсивное и спонтанное посольство княгини Ольги в Германию в 959 г., как мы видели, хорошо объясняется неудачей ее визита в Царьград в 957 г. Но еще более важно, что целый ряд загадочных или недостаточно ясных обстоятельств во взаимоотношениях между двумя империями могут получить естественное объяснение на «русском фоне». Приведем лишь несколько наиболее характерных примеров. Внезапный конфликт между Венецией и Константинополем, зафиксированный грамотой дожа Петра IV Кандиана от июня 960 г., который в самом этом документе возводится к неожиданному и резкому расстройству германо-византийских отношений¹⁵⁶, оставался загадкой, пока не обратили внимание на хронологическое совпадение этого события с рукоположением при дворе Оттона I немецкого епископа для Руси на Рождество 959 г., которое происходило, как можно думать, в присутствии византийских послов нового императора Романа II (959–963)¹⁵⁷. Обстоятельствами начавшейся тогда русско-германо-византийской дипломатической игры выгодно объясняется и таинственное посольство кремонского епископа Лиудпранда в Византию летом 960 г., и непонятная задержка больше чем на год с отправлением на Русь уже хиротонисанного епископа¹⁵⁸. «Русским фоном» на удивление последовательно можно объяснить не только тот довольно скандальный факт, что неудавшийся миссионерский епископ Руси Адальберт стал первым магдебургским митрополитом (причем его внезапное назначение было сопряжено с отставкой уже давно имевшейся кандидатуры — аббата магдебургского монастыря св. Маврикия¹⁵⁹), не только некоторые непонятные формулировки папской и императорской грамот Адальберту¹⁶⁰, но и, совсем неожиданно, детали германо-византийских отношений в Италии, в частности изве-

стное посольство доверенного лица Оттона I уже упоминавшегося епископа Лиудпранда на берега Босфора в 968 г.¹⁶¹, не говоря уже о бросающейся в глаза синхронности русских и немецких военных действий против греков летом 971 г.

Интенсивное политическое взаимодействие Руси и Германии, начиная с середины X в., заставляет поставить вопрос о его возможной предыстории: дипломатические посольства, как известно, чаще всего двигались путями, которые были проложены купцами и миссионерами. Именно этот аспект истории русско-германских связей более всего пострадал от гипнотического воздействия на исследователей упомянутой выше схемы о византийско-скандинавской ориентированности Древнерусского государства. Это априорное (ибо не сопровождавшееся изучением других потенциальных направлений международных связей Руси) убеждение еще более укреплялось ввиду впечатляющих данных об активном движении арабского монетного серебра по волго-балтийскому пути с рубежа VIII–IX до X–XI вв. Многочисленными и порой гигантскими (достигающими нескольких тысяч монет) кладами дирхемов (дирхем — арабская серебряная монета весом ок. 3 г) изобилуют территории по Верхней Волге, Поволховье, Восточная Прибалтика, в меньшей мере — Подесенье и Верхнее Поднепровье; картографирование кладов обнаруживает огромное белое пятно, охватывающее практически все правобережье Днепра южнее Припяти¹⁶². Поскольку ясно, что так или иначе поступление куфического серебра в Восточную и Северную Европу связано с международной торговлей, то вывод, который обычно делается или подразумевается в этой связи в отношении областей к западу от Среднего Поднепровья, состоит в том, что здесь в IX–X вв. не существовало торговых путей, по своему значению сколько-нибудь соизмеримых с волго-балтийским путем. Если быть последовательным, то в таком случае истоки непосредственных русско-немецких торговых связей следовало бы искать на Балтике, где данные о них обнаруживаются не ранее середины XII в.¹⁶³ Разумеется, есть кое-какие сведения и о более ранней торговле, но она была опосредованной, двигаясь через датский порт Шлезвиг или его предшественник — Хедебю. Неудивительно поэтому, что даже в трудах, специально посвященных истории русско-немецкой торговли в средние века, ее начало принято связывать с возникновением на Балтике древнейшей Ганзы в 50–60-х гг. XII столетия¹⁶⁴.

Между тем в распоряжении науки уже давно находится документ, по своей древности и своему значению стоящий в одном ряду со знаменитыми договорами Руси с греками первой половины X в. — Раффельштеттенский таможенный устав, который, вопреки распространенному недоразумению, вовсе не являлся торговым уставом г. Раффельштеттена (местечко на правом берегу Дуная, ныне в черте австрийского г. Линца), а, будучи только издан в Раффельштеттене, регулировал таможенные порядки на территории всей Бавар-

ской восточной марки, т.е. в Среднем Подунавье от устья Энса на западе и приблизительно до Венского леса — на востоке. Изданный между 903 и 906 гг. устав в отдельной рубрике упоминает «приходящих для торговли» в Восточную марку «ругов и богемов», торговые пошлины с которых подробно регламентируются. Попытки оспорить традиционное мнение, что под «ругами» в Раффельштеттенском уставе, как и в ряде других раннесредневековых памятников¹⁶⁵, имеется в виду Русь¹⁶⁶, неубедительны, поскольку не только не опираются на текст самого памятника, но и прямо ему противостоят¹⁶⁷. Ключ к разгадке, при ближайшем рассмотрении, обнаруживается в самой устойчивости этнонимической пары «руги и богемы»: русские купцы прибывали в Восточную Баварию из Праги, одного из центров транзитной торговли в Центральной Европе X в., где они прямо засвидетельствованы в 960-х годах запиской испанского еврея Ибрагима Ибн Якуба¹⁶⁸. Вот почему для торговли им отводится прежде всего небольшая область «in Rotalariis vel Reodariis», непосредственно примыкающая к перевалам Чешского леса в верховьях Влтавы. Среди рек, стекающих с Шумавы в этом районе, находим одну, которая еще в XII в. носила два конкурировавших названия: Rüzische или Böhmsche Muchel¹⁶⁹, что может служить прямой иллюстрацией данным Раффельштеттенского устава. Историческая топонимия Баварской восточной марки содержит и другие весьма древние названия, происходящие от этнонима «русь»¹⁷⁰. Более того, лингвистический анализ древнейших упоминаний имени «русь» в немецких памятниках показывает, что его (этнонима) проникновение в южнонемецкие диалекты должно было состояться никак не позднее IX в.¹⁷¹. Это *eo ipso* устраняет все недоумения по поводу якобы слишком раннего упоминания слишком далекой Руси в Раффельштеттенском уставе, которые и служат главным мотивом, питающим сомнения в тождестве «ругов» устава и руси. В целом надо сказать, что изучение раннесредневековой топонимической номенклатуры немецких земель в связи с проблемой древнейших русско-германских связей, которое в сущности еще не начиналось¹⁷², может оказаться весьма перспективной областью исследования.

Значение Раффельштеттенского таможенного устава для обсуждаемой здесь темы не исчерпывается констатацией факта русско-немецкой торговли на юго-востоке Германии во времена князя Олега. Этот замечательный памятник содержит также данные, которые позволяют, сверх того, оценить интенсивность такой торговли. Мы имеем в виду специфическую систему денежно-весового счета, употребляемую в уставе, которая до сих пор, удивительным образом, не подвергалась специальному изучению. Результаты нашего исследования этой проблемы подробно изложены в другом месте¹⁷³, но важность темы заставляет еще раз сформулировать основные наблюдения и выводы.

Главная особенность денежно-весового счета Раффельштеттенского устава, резко выделяющая этот документ среди всех остальных памятников раннего немецкого и франкского Средневековья — это отсутствие денария, который служил единственной серебряной монетой на территории франкских королевств, а после денежных реформ второй половины VIII в. — единственным официальным средством платежа. Функцию денария в Раффельштеттенском уставе выполняет другая денежно-весовая единица — скоти (*scoti*), наряду с которым упоминается также солид (главная расчетная единица варварских правд), тремисс (третья часть солида), сайга (древнегерманская денежно-весовая единица не вполне ясной стоимости). Другой специфической чертой — на этот раз не только Раффельштеттенского устава, но и баварской денежно-весовой системы в целом — является стоимость солида, который, в отличие от франкского солида в 12 пореформенных денариев, стоил 30 денариев. Особенности баварского денежного счета в сравнении с общепринятым во всех остальных землях, находившихся под властью франков, суммированы в приписке к одному из списков Баварской правды — так наз. Грацской глоссе, в которой, помимо стоимости тяжелого баварского солида в 30 франкских денариев, указано также соотношение между денарием и скоти: 1 скоти = 1,5 денария; легко видеть, что в таком случае баварский солид состоял из 20 скоти. Итак, восточнобаварская система денежно-весового счета покоилась на тяжелом солиде, соответствовавшем стоимости 51 г серебра (30 денариев по 1,7 г серебра), который подразделялся на 20 фракций, носивших опять-таки специфически восточнобаварское наименование скоти.

Всякая попытка выяснить происхождение этого оригинального счета наталкивается на ту сложность, что какие бы то ни было аналогии ей в других регионах Европы отсутствуют. Единственным исключением в этом отношении является Древняя Русь, денежно-весовой счет которой, насколько он реконструируется на основании данных Русской Правды, ряда актовых материалов и археологических данных, обнаруживает не просто сходство с восточнобаварским, а полное с ним тождество. Счет двадцатками был, как известно, характерен для Руси, и древнерусская счетная гривна (или гривна кун), так же как и баварский солид, подразделялась на 20 фракций, которые в эпоху Русской Правды, т. е. в XI в., именовались заимствованным из арабского языка термином «ногата». Стоимость же гривны кун, составлявшей четверть западноевропейской марки (т. е. полуфунта при фунте в 408 г серебра), была равна 51 г серебра, полностью совпадая, таким образом, со стоимостью баварского солида. Весьма показательно, что баварские материалы помогают понять и происхождение древнерусской гривны кун, которая пока не получила достаточного метрологического объяснения. Дело в том, что тяжелый баварский солид в источниках VIII–X вв.,

в противоположность франкскому легкому *серебряному* солиду, называется иногда *золотым* или солидом по цене *золота* (*solidus aureus, solidus aureo adpreciatus*). Такое название понятно: при наиболее вероятной относительной цене золота и серебра как 1:12 51 г серебра соответствовал выраженной в серебре стоимости золотой монеты того времени — византийской номисмы или арабского динара (ок. 4,3 г). Следовательно, возникновение расчетной единицы в 51 г серебра было естественно в регионах, в которых сталкивались серебряная и золотая валюты. К таковым относились как Восточная Европа, так и Бавария, которые, независимо друг от друга, находились в сфере воздействия византийской номисмы (Бавария — благодаря торговле по Дунаю), тогда как в остальной Европе безраздельно господствовала серебряная валюта.

Итак, наша гипотеза состоит в том, что возникновение в восточнобаварских землях своеобразной денежно-весовой единицы в 1/20 часть солида объясняется влиянием древнерусской системы денежно-весового счета. Дополнительное подтверждение тому — само название этой единицы «скоти», которое не поддается удовлетворительной этимологизации на германской почве¹⁷⁴, но имеет естественную и притом очевидную древнерусскую этимологию: слав. **skotъ* в специфическом значении «деньги» известно только древнерусскому языку.

Сказанное позволяет сделать вывод, что весьма активные торговые связи между Средним Поднепровьем и подунайскими областями на юго-востоке Германии существовали уже на рубеже IX и X вв., а вероятно — и во второй половине IX в. Именно они стали причиной возникновения топонимии, производной от имени «Русь», на территории Баварской восточной марки, именно благодаря им этноним «*русь*» уже в IX в. проникает в южнонемецкие диалекты. Очевидно, этот торговый путь был частью более протяженной магистрали, которая для X в. так хорошо обрисована в известном послании испанского еврея Хасдая Ибн Шафрута хазарскому кагану (Испания — Чехия — Венгрия — Русь — Волжская Булгария — Хазария)¹⁷⁵, а для IX в., менее отчетливо — в описании Ибн Хордадбеком одного из путей еврейских купцов-раданитов, из Испании следовавших «позади Византии к областям славян, а затем к Хамлиджу, городу хазар»¹⁷⁶. Это помогает понять происхождение сведений о Руси и Восточной Европе в уже упоминавшемся Баварском географе, который, в свою очередь, бросает свет на некоторые другие аспекты проблемы.

Баварский географ — название неточное. По заключению текстологов памятник создан в скриптории швабского монастыря Райхенау на Бодензее, а его единственный сохранившийся список (возможно, оригинал) изготовлен еще в IX в.¹⁷⁷. Другим важным достижением в изучении этого интересного источника стал кодикологический анализ сборника, включающего Баварский географ, чешским историком Р. Новым, который заметил, что рукописи, со-

ставляющие «конвой» Баварского географа, зафиксированы в том же порядке в трех датированных каталогах библиотеки Райхенау: 821/822, 835/842 и 842/850 гг. Из этого исследователь сделал вывод, что и существующий список Баварского географа изготовлен до 821 г.¹⁷⁸ В свое время мы были склонны принять это заключение¹⁷⁹, но после внимательной проверки аргументации Р. Нёвого и ознакомления с рукописью пришли к убеждению, что именуемая Баварским географом приписка к трактату Боэция о геометрии сделана после 842/850 г., но еще в течение второй половины IX в.¹⁸⁰, что весьма близко к датировке памятника 870-ми гг., уже высказывавшейся в науке¹⁸¹. Правильная кодикологическая и палеографическая атрибуция Баварского географа, связавшая его с Райхенау, дает возможность предложить новое решение вопроса о происхождении восточноевропейской информации, которая содержится в этой записке.

Реконструкция дорожной сети каролингской эпохи, насколько она возможна на основе позднеримских итинерариев, показывает, что через Брегенц вдоль южного берега Боденского озера проходил путь, связывавший австрийское Подунавье с долиной Роны, в устье которой находился Арль — важнейший транзитный пункт европейской работорговли того времени. Это позволяет предположить, что сведения о Руси и этнической ситуации в Восточной Европе вообще могли попасть в Райхенау благодаря достаточно активному функционированию уже во второй половине IX в. трансевропейского торгового пути, который соединял Баварскую восточную марку с югом Франции, с одной стороны, и с киевским Поднепровьем и Хазарией — с другой¹⁸². Более вероятным представляется, однако, несколько иное решение вопроса, которое, впрочем, можно рассматривать как модификацию только что высказанной общей гипотезы. Дело в том, что изучение синодика монастыря Райхенау (уже упоминавшегося в связи с графом Куно из Энигена) выявило в нем целую группу имен, связанных с кирилло-мефодиевской миссией, в том числе имена самих свв. Константина-Кирилла и Мефодия, их противника нитранского епископа Вихинга, моравского князя Святополка и др.¹⁸³ Это дает основания думать, что именно Райхенау был тем не названным по имени швабским монастырем, в котором, согласно Житию св. Мефодия, моравский архиепископ находился в изгнании в начале 870-х гг., или, если быть более осторожным (ввиду того, что имена Кирилла и Мефодия стоят на «почетных» местах во главе соответствующих списков) — Райхенау был одним из мест временного пребывания Мефодия на его обратном пути из Швабии в Моравию, после того как он был освобожден по приказу папы. Так или иначе, какие-то специфические связи Райхенау с Моравией прослеживаются и по другим данным¹⁸⁴. В таком случае нельзя не обратить внимания на то замечательное обстоятельство, что почти все упоминаемые во второй части Баварского географа этнонимы из

числа надежно локализуемых могут быть поставлены в связь с деятельностью кирилло-мефодиевской миссии: висляне (Vuislane), бужане (Busani), лендзяне (Lendzini) и др. входили в сферу политической экспансии Великоморавского государства, а хазары (Caziri) и венгры (обитавшие тогда в северопричерноморских степях) (Ungare) упоминаются в рассказе о хазарской миссии св. Константина-Кирилла¹⁸⁵ (возможно, к этой последней группе следует отнести и русь-Ruzzi).

Таким образом, изучение ранних русско-немецких связей дает повод на новом витке историографии вернуться к уже ставившемуся, но за недостатком материала так и не решенному вопросу о возможном месте Руси в кругозоре кирилло-мефодиевской миссии — вопросу, важному не только для историков, но и издавна волновавшему русское национальное самосознание. Непосредственно с этим вопросом сопряжена и более общая проблема путей и форм первоначального проникновения христианства на древнерусские земли. Приведенные данные еще раз ставят под сомнение хрестоматийное представление об исключительно византийско-болгарском источнике древнерусского христианства. Лингвисты уже предпринимали попытки разделить древнерусскую лексику мораво-паннонского происхождения на так или иначе восходящую к древневерхненемецкому и латинскому, но опосредованно через церковнославянский (др.-русс. *църкы* «церковь», *крѣст* «крест», *комѣкати* «причащаться» и т. п.), и непосредственные изустные заимствования¹⁸⁶. Среди заимствований последнего рода — целый ряд слов, связанных с практикой торговли, в том числе само др.-русс. *платити*¹⁸⁷; к выделенным А. С. Львовым заимствованиям надо прибавить по меньшей мере еще др.-русс. *годовабль* «шелк»¹⁸⁸. Языковедческая и текстологическая дискуссия относительно исторических маршрутов церковнославянской лексики латинского и древневерхненемецкого происхождения, приведших ее на страницы древнерусских памятников (через болгарское посредство? из скриптория чешского православного монастыря в Сазаве в XI в.? благодаря прямым связям Руси с зоной немецкого миссионерства среди славян в IX–X вв.?) также далека от своего завершения¹⁸⁹. Думается, что дальнейшее изучение связей Руси с моравским и немецким Подунавьем способно принести новые открытия в древнейшей истории восточнославянской государственности.

Весьма многозначительно, что существование в IX–X вв. стратегически важного торгового пути между Средним Поднепровьем и юго-восточными немецкими землями, проходившего через Червенские города, Малую Польшу и Прагу, не только хорошо объясняет определенный круг фактов (например, настойчивую политику киевских князей, направленную на овладение волинско-хорватско-лендзянским регионом¹⁹⁰), но и заново подводит нас к некоторым принципиальным проблемам древнерусской истории.

Одна из них — это проблема формирования территории Древнерусского государства. Кроме меридиональной оси — пути «из варяг в греки», она слишком явно обнаруживает и наличие широтной оси: Киев — Южная Погорина и далее на Перемышль или на Владимир-Волынский и Червен; возможно, эту широтную ось следует продлить в восточном направлении вдоль пути по Десне и Оке в Волжскую Булгарию и Хазарию. Характерно, что аналогичную широтную конфигурацию, вытянутую вдоль оси Прага — Краков — Южное Побужье, демонстрирует и Древнечешское государство второй половины X в. в пору его столкновения с Киевской Русью на Волыни в 970-х гг. при Ярополке Святославиче. Далее, территория Русской Земли в собственном смысле слова, как она сложилась в IX–X вв. и реконструирована в труде А. Н. Насонова, кроме компактной области по обоим берегам Днепра с городами Киев, Чернигов и Переяславль, тянется от Киева на запад узким «языком» по меньшей мере до Верхней Горыни, вероятно, исключая территорию позднейших Дорогобужской и Пересопницкой волостей и занимая водораздел между бассейнами Припяти и Западного Буга, с одной стороны, и Днестра и Южного Буга — с другой¹⁹¹. Эти две оси образовывали как бы каркас, вокруг которого происходило «огосударствление» восточнославянских земель. Нельзя не обратить внимания на то, что ось Прага — Краков — Волынь — Киев образует «хребет» археологического ареала V–VII вв. — древнейшего, который с достоверностью можно считать славянским (так наз. Пражско-Корчакская культура). Это наблюдение наводит на мысль, что торговые связи внутри этого ареала могли восходить к каким-то значительно более архаичным этнокультурным контактам¹⁹².

Ввиду сказанного, думается, настало время снова вернуться к вопросу о роли дальней международной торговли в формировании самого социально-экономического механизма Древнерусского государства. Эта проблема в свое время активно дискутировалась в отечественной науке в связи с известной «торговой» или «городовой» теорией происхождения Древнерусского государства, которую выдвинул В. О. Ключевский. Однако в дальнейшем она выпала из поля зрения исследователей, поскольку господствующее положение в историографии советского времени заняла концепция школы Б. Д. Грекова, согласно которой главным экономическим фактором процесса государствообразования у восточных славян служила концентрация местного сельскохозяйственного и ремесленного производства. Возродить «торговую теорию» в том виде, в котором она была сформулирована самим ее создателем (Древняя Русь как конгломерат торговых городских волостей), конечно, невозможно, да и не нужно. Но снова задуматься над вопросом о дальней торговле как одним из государственно-консолидирующих факторов на раннем этапе древнерусской истории стоит. В зарубежной русистике последнего времени все громче раздаются голоса в пользу «торговой

теории», предпринимаются попытки подкрепить ее новыми археологическими и прочими материалами¹⁹³. Последние модификации теории древнерусского феодализма, предложенные Л. В. Черепным, В. Л. Яниным¹⁹⁴ и др., вплотную приближают нас к представлению о правящем слое ранней Руси не как о политико-административной структуре, а как о корпорации собственников, достаточно устойчивой в количественном отношении и участвующей в определенной пропорции в разделе государственного дохода, значительная часть которого (рабы, меха, воск) затем служит предметом экспорта¹⁹⁵.

В заключение считаем уместным коснуться еще одной темы, непосредственно не связанной с русско-германскими взаимоотношениями. Речь идет о сравнительной типологии социально-политических структур. Разумеется, такое сравнение не может и не должно ограничиваться Русью и Германией, но есть параметры, по которым политическое устройство Древнерусского государства и Франкской державы, предшественницы Германского королевства, обнаруживает специфическое сходство — например, наличие братского совладения представителями правящего рода государственной территории¹⁹⁶. На данном примере хорошо видно, что предметом типологического сравнения может быть не только аналогия, но и характерное расхождение. Почему развитие государственной власти на Руси (как, скажем, и в Польше) пошло по пути эволюции братского совладения, а в Германии резко порвало с этой традицией в самом начале, уже при Конраде I (911–918) и Генрихе I (919–936)? Напомним, что переход от наследственных разделов к примогенитуре в Германии до сих пор не нашел в себе вполне удовлетворительного объяснения. Думаем, что и здесь будущие исследования способны не только внести вклад в копилку общеевропейской типологии, но и пролить свет на те или иные стороны как древнерусской, так и ранней немецкой государственности.

Примечания

¹ С 1977 г. издается свод «Древнейшие источники по истории народов СССР» (начиная с 1993 г. — «Древнейшие источники по истории Восточной Европы») (далее: ДИ), выпуски которого представляют собой публикацию (чаще всего в виде фрагментов) текста оригинала, снабженную русским переводом и обширным историко-филологическим комментарием. К настоящему времени вышло 15 выпусков. Немецким источникам о Руси посвящен пока единственный выпуск: А. В. Назаренко. Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв.: Текст, перевод и комментарий. М., 1993. Тематически и структурно к своду относится также работа: Древнерусские города в древнескандинавской письменности: Тексты, перевод, комментарий / Сост. Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон. М., 1987. Параллельно с публикацией источников в составе свода с 1975 г. (с 1978 г. — в качестве ежегодника) выходит в свет другое серийное издание:

«Древнейшие государства на территории СССР (с 1994 г. — Древнейшие государства Восточной Европы): Материалы и исследования» (далее: ДГ), в котором публикуются статьи и монографии по истории Восточной Европы до середины XIII в. и по источниковедению этого периода. Издано уже 16 томов; см. также сборник: Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. М., 1978. О предполагаемом составе свода см. планы-проспекты: Древнейшие источники по истории народов СССР: Тематика и состав выпусков по европейскому региону (Материалы для обсуждения). М., 1976 (здесь немецкие источники на с. 37–40); то же. М., 1980, ч. 2. (немецкие источники на с. 34–36). См. также о своде в целом: Корпус древнейших источников по истории народов СССР: Материалы совещания археографов-медиевистов РСФСР. М., 1973; В. Т. Пашуто. Подготовка к изданию корпуса древнейших источников по истории народов СССР // История СССР, 1976, № 1, с. 223–226; V. T. Paschuto. Ziel und Aufgaben des «Corpus der ältesten Quellen zur Geschichte der Völker der UdSSR» // Klio, Bd. 64, 1982, № 2, S. 533–542; *Idem.* Ziele und Aufgaben und erste Ergebnisse des Corpus der ältesten Quellen zur Geschichte der Völker der UdSSR // Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas (далее: JbGSLE), Bd. 29, 1985, S. 217–232. В 1997 г. группа, продолжающая работу над сводом, переместилась в Институт всеобщей истории Российской Академии наук.

Существующие обзоры сведений немецких источников о Руси домонгольского времени (а это всегда, так или иначе, сведения о древнерусско-немецких связях) недостаточны; см., например: П. Скобельский. Згадки о Русі в жерелах німецьких. Львів, 1881 (Справознає дирекція гімназії академічної во Львіве на рік шкільної 1880/81); F. Braun. Russland und die Deutschen in alter Zeit // Germanica: Festschrift für E. Sievers. Halle/Saale, 1925, S. 678–727; M. Sverdllov. Nachrichten über die Rus' in der deutschen historischen Überlieferung des 9.–13. Jahrhunderts // JbGSLE, Bd. 19/1, 1975, S. 167–182; см. также работу М. Келлер, названную в примеч. 4. Не так давно увидело свет малотиражное ротационное издание Ленинградского отделения института истории СССР АН: Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия / Сост., перев. и коммент. М. Б. Свердлова. [Вып. 1]: IX — первая половина XII в.; [Вып. 2]: Середина XII — середина XIII в.; [Вып. 3]: Указатели. М.; Л., 1989–1990. Эта работа, целиком посвященная немецким латиноязычным памятникам, безусловно заметно облегчает историку Руси ориентацию в обширном круге отнюдь не всегда достаточно известных источников. Однако она не лишена пробелов, переводы нередко неточны, а чрезвычайная краткость подачи материала и недостаточность (как по объему, так и по содержанию) комментария затрудняют ее использование в научном исследовании.

² А. В. Назаренко. «Натиск на Восток» или «свет с Востока»? История русско-немецких отношений в кругу стереотипов // Славяноведение, 1992, № 2, с. 36–37; Он же. Русь и Германия в IX–X веках // ДГ, 1991 год. М., 1994, с. 7–11.

³ См., например, итоговые для немецкой русистики труды: Handbuch der Geschichte Russlands. Bd. I, 1 / Hg. M. Hellmann. Stuttgart, 1981, S. 299 (раздел написан H. Rüss'om); C. Goehrke. Frühzeit des Ostslaventums / Unter Mitwirkung von U. Kälin. Darmstadt, 1992 (Erträge der Forschung, Bd. 277), S. 157. Свою оценку этих работ мы изложили в других местах: А. В. Назаренко. Докиевский период истории Восточной Европы в «Handbuch der Geschichte Russlands» // ДГ, 1983 год. М., 1984, с. 237–241; Он же. Новые тенденции изучения истории Древней Руси в историографии ФРГ (коллективный труд

- «Руководство по русской истории» // Культура и общество Древней Руси (X–XVII вв.) (Зарубежная историография). М., 1988, с. 118–152 (перепечатано под названием «Концепция истории Древней Руси в синтезирующем труде немецких историков „Руководство по русской истории“» в сборнике «Русь между Востоком и Западом: Культура и общество, X–XVII вв.» М., 1991, ч. 1, с. 137–171); *Он же*. [Рец.:] C. Goehrke. Frühzeit... // Средневековая Русь. М., 1996, [вып.] 1, с. 154–185.
- ⁴ Примером может служить очерк: M. Keller. Die Darstellung der Ostslawen in Chroniken und Annalen des 9.–13. Jahrhunderts // Russen und Russland aus deutscher Sicht: 9.–17. Jahrhundert. München, 1985, S. 57–83 (West-Östliche Spiegelungen / Unter Leitung von L. Kopelew, Reihe A, Bd. 1). Складывающееся в результате впечатление о месте русско-германских отношений в кругу международных связей Древней Руси хорошо иллюстрирует относительный объем разделов о Германии в подытоживающем труде: В.Т.Пашуто. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, с. 119–127, 218–221, а также само их расположение в структуре книги — не только после глав о Скандинавии, Византии, Польше, Венгрии, Чехии, но и позади Болгарии, Востока, кочевников Северного Причерноморья.
- ⁵ Попытку общего обзора находим лишь в работах Б. Видеры: B. Widera. Die politischen Beziehungen der Rus' und Deutschland zur Zeit der Staufer // Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas (далее: JbGUdSSR). Berlin, Bd. 9, 1966, S. 203–225; *Idem*. Byzanz und Beziehungen zwischen Grossfürsten der Rus', Staufer und den Päpsten, 1157–1207 // Studia Byzantina. Halle; Wittenberg, 1966, S. 13–26; *Idem*. Die politischen Beziehungen zwischen der Rus' und Deutschland von der Mitte des 11. Jahrhunderts bis zum Einfall der Mongolen // Russisch-deutsche Beziehungen von der Kiever Rus' bis zur Oktoberrevolution. Berlin, 1976, S. 20–68 (Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd. 19); все они восходят к неопубликованной диссертации: B. Widera. Geschichte der Beziehungen zwischen der Rus' und Deutschland vom 10. Jahrhundert bis zum Einfall der Mongolen (Habilitationsschrift; Humboldt-Universität Berlin). Berlin, 1965; см. также: D. Wörn. Die politischen und kulturellen Beziehungen Russland zum Westen im ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jh. // Slavistische Studien zum IX. Intern. Slavistenkongress in Kiev, 1983. Köln; Wien, 1983 (Slavistische Forschungen, Bd. 40).
- ⁶ См., например: N. Baumgarten. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X^e au XIII^e siècle. Roma, 1927 (Orientalia Christiana [далее: OCh.], vol. 9, № 35), table V, № 23 (со знаком вопроса); В.Т.Пашуто. Внешняя политика..., с. 219, 423, генеалогич. табл. 4, № 1; O. Engels. Die Staufer. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz, 1989, 4. Aufl., geneal. Tafel (где в качестве жены Изяслава указана дочь будущего антикороля, а затем короля Конрада III Штауфена от его первого брака, заключенного в 1114/15 г.). Следует, однако, помнить, что эта гипотеза покоится на косвенных данных. В Великопольской хронике (рубеж XIII–XIV вв.) вторая жена великопольского князя Мёшка III Старого (1138–1202) названа «единокровной императору Фридриху» (Барбароссе, племяннику Конрада III. — А. Н.) («consanguinea Friderici imperatoris»: Monumenta Poloniae Historica [далее: MPH]. T. 2. Lwów, 1872, p. 526; «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. / Перев. Л. М. Поповой, вступ. статья и коммент. Н. И. Щавелевой. М., 1987, с. 115), тогда как из хроники Кадлубка (конец XII — начало XIII в.) известно, что она была дочерью «русского короля» («regis Ruthenorum») (MPH, t. 2, p. 78; Н. И. Щавеле-

ва. Польские латиноязычные средневековые источники: Тексты, перевод, комментарий. М., 1990 [серия: ДИ], с. 92, 105), которого, вслед за О. Бальцером (*O. Balzer. Genealogia Piastów. Kraków, 1895, s. 179*), принято отождествлять с киевским князем Изяславом Мстиславичем, относимым к началу 1150-х гг. (*Н. И. Щавелева. Польки — жены русских князей: XII — середина XIII в. // ДГ, 1987 год. М., 1989, с. 56*).

- ⁷ Источники см. в кн.: *Т. Н. Джаксон. Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей: X–XIII вв. // ДГ, 1988–1989 годы. М., 1991, с. 163. Политическая направленность брака Вальдемара I и Софьи не вполне ясна. Дело в том, что в науке продолжается спор, была ли Софья дочерью Владимира Всеволодовича (сына Всеволода Мстиславича Новгородского) или минского князя Володаря Глебовича. Первой точки зрения придерживался *Н. А. Баумгартен* (София Русская, королева датская, а затем ландграфиня тюрингенская // *Seminarium Kondakovianum. Prague, 1931, t. 4, с. 95–104; Idem. Généalogies et mariages..., table V, № 45; см. также: В. Т. Пашуто. Внешняя политика..., с. 421, генеалогич. табл. 2, № 17*), тогда как вторая, традиционная, недавно подкреплена шведским историком *Я. Галленом* (*J. Gallén. Vem var Valdemar den stores drotning Sofie? // Historisk Tidsskrift för Finland. Helsingfors, årg. 61, 1976, s. 273–288*). Эта последняя гипотеза выглядит более вероятной еще и потому, что иначе пришлось бы допустить, что Вальдемар (внук Мстислава Великого) был женат на собственной племяннице.*
- ⁸ *A. Wolf. Ikonologie der Ebstorfer Weltkarte und politische Situation des Jahres 1239: Zum Weltbild des Gervasius von Tilbury am welfischen Hofe // Ein Weltbild vor Columbus: Die Ebstorfer Weltkarte. Interdisziplinäres Colloquium, 1988. S. l., 1991, S. 54–116, особенно 68–70. Ср., однако, достаточно веские возражения против именно такой интерпретации появления на карте русских городов («Rucia regio») Киева, Новгорода и Полоцка (Kiwen, Novgardus, Plosceke) (Смоленск-Smalentike в такую трактовку не вписывается): *L. S. Chekin. Cities of Rus' on the Ebstorf Map // Scando-Slavica. Copenhagen, 1992, t. 38, p. 98–107, особенно 103–104. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что, происходя из полоцкой ветви древнерусских князей, Володарь Глебович (по крайней мере до 1157 г. — времени замужества Софьи) собственно в Полоцке не княжил; в 1150-е гг. он некоторое время сидел в Минске, куда перешел, вероятно, в 1151 г. после ухода брата Ростислава Глебовича в Полоцк (Полное собрание русских летописей [далее: ПСРЛ]. СПб., 1908, т. 2, 2-е изд., стб. 445; *О. М. Панов. Княжеские владения на Руси в X — первой половине XIII в. М., 1977, с. 58*).**
- ⁹ *Annales s. Aegidii Brunsvicensis, a. 1135 // Monumenta Germaniae Historica (далее: MGH). Scriptores. T. 30/1. Hannover, 1896, p. 13: «...regum Ungariorum, Ruthenorum et Dacorum, Francorum et ceterarum gentium et regum muneribus et legationibus assidue frequentabatur».* Здесь и далее перевод иноязычных текстов наш.
- ¹⁰ *Braunschweigische Reichschronik, Kap. 26, Vers. 2452–2455 / Ed. L. Weiland // MGH. Scriptores qui vernacula lingua usi sunt. T. 2. Hannover, 1877, p. 490: «...von dhen Walen, von dhen Ruzen, // Ungerer, Krecken, Denen, Pruzen. // Von dher koninge gabe riche // was her geeret algeliche».*
- ¹¹ *Sächsische Weltchronik, Kap. 266 // Ibid., p. 217.*
- ¹² *В. Т. Пашуто. Внешняя политика..., с. 152, 167–168, 183.*
- ¹³ *Bibliotheca rerum Germanicarum / Ed. Ph. Jaffé. T. 5. Berlin, 1871, № 260, p. 444; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae / Ed. G. Friedrich. T. 1.*

- Pragae, 1904, p. 127: «...induxit super ecclesiam Christi inimicos Christi, homines inhumanos et paganos, Boemos videlicet ac Flávos, qui vulgari nomine Valwen dicuntur, qui persecutores Christi et ecclesiae esse ac fuisse semper manifeste ab omnibus cognoscuntur».
- ¹⁴ Canonici Wissegradensis continuatio Cosmae / Ed. R. Köpke // MGH. Scriptores. Hannover, 1851, t. 9, p. 138.
- ¹⁵ ПСРЛ, т. 2, стб. 450.
- ¹⁶ Подробнее см.: А. В. Назаренко. Первые контакты Штауфенов с Русью // Восточная Европа в исторической ретроспективе: Сб. статей к 80-летию В. Т. Пашуто. М., 1999 (в печати).
- ¹⁷ *Bischof Otto von Freising und Rahewin. Die Taten Friedrichs oder richtiger Cronica*, I, 26 / Hg. F.-J. Schmale. Darmstadt, 1965 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe [далее: AQDGM], Bd. 17), S. 39–40, 42–43; *Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich* / Hg. F. Hausmann. Wien; Köln; Graz, 1969 (MGH. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. Bd. 9), № 69, 126, S. 123, 228.
- ¹⁸ *Die Urkunden Konrads III...*, № 39, S. 63–64.
- ¹⁹ В. Т. Пашуто. Внешняя политика..., с. 218.
- ²⁰ ПСРЛ. Л., 1928, т. 1, 2-е изд., стб. 307.
- ²¹ ПСРЛ, т. 2, стб. 304, 306; датировка Ипатьевской летописи 1140 г. в данном случае ультрамартовская и соответствует 1139 году: Н. Г. Бережков. Хронология русского летописания. М., 1963, с. 130–131, 139.
- ²² ПСРЛ, т. 2, стб. 316–317; Н. Г. Бережков. Хронология..., с. 141, 146.
- ²³ К сожалению, современного критического издания этого памятника не существует. См.: *Excerpta ex Necrologio S. Petri Erfordiae* // J. F. Schannat. *Vindemiae literariae, hoc est veterum monumentorum ad Germaniam sacram praecipue spectantium collectio secunda. Fuldae et Lipsiae, 1724*, p. 19: «XIII. Kal. Julii. Romanus rex Ruthenorum. Hic dedit nobis XXX marcas».
- ²⁴ *Albrici monachi Trium Fontium chronica*, a. 1205 / Ed. P. Scheffer-Boichorst // MGH. Scriptores. Hannover, 1874, t. 23, p. 885: «Rex Russie, Romanus nomine, a finibus suis egressus et per Poloniam transire volens in Saxoniam, et ecclesias destruere volens sicut falsus christianus, a duobus fratribus Poloniae ducibus Listec et Conrado (sic! — А. Н.) super Wisselam fluvium Dei iudicio percutitur et occiditur, et omnes, quos secum aggregaverat, aut disperguntur aut interficiuntur».
- ²⁵ А. Б. Головки. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X — первой половины XIII вв. Киев, 1988, с. 87–88.
- ²⁶ В. Włodarski. *Polska i Rus, 1196–1320*. Warszawa, 1966, s. 21–22; В. Т. Пашуто. Внешняя политика..., с. 166, 221; Н. И. Щавелева. Древнерусские известия Великопольской хроники // Летописи и хроники (далее: ЛХ), 1976. М., 1976, с. 62.
- ²⁷ См., например: *Arnoldi chronica Slavorum*, VI, 5 / E rec. I. M. Lappenbergii ed. G. H. Pertz. Hannover, 1863, p. 224.
- ²⁸ Нам известна только одна прямая аналогия: дарение галицкими князьями — очевидно, Васильком Ростиславичем, Иваном Васильковичем и Владимирком Володаревичем — венгерскому монастырю св. Димитрия на Саве (Савасентдемер, Сремска Митровица): G. Papp. I monachi dell'ordine di S. Basilio in Ung-

heria nel secolo XIII // *Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni*. Roma, ser. II, vol. 1 (7), fasc. 1, 1949, p. 41–45; *Gy. Györfy*. Das Güterverzeichnis des griechischen Klosters zu Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) aus dem 12. Jahrhundert // *Studia Slavica*. Budapest, 1959, t. 5, fasc. 1/2, S. 32. Вероятно, речь идет о дарении (13 кантар воска, т. е. ок. 700 кг, в качестве ежегодного дохода), сделанном Васильком Теребовльским во время пребывания его брата Володаря в польском плену в 1122–1123 гг., затем подтвержденном их сыновьями. (Тем самым мы считаем возможным существенно сузить широкую датировку Д. Дьерффи 1113–1125 годами: *Gy. Györfy*. Das Güterverzeichnis..., S. 55–58.) Конечно, и здесь при желании можно было бы усмотреть политические причины — как общего порядка (галицко-венгерский союз был весьма тесным: *В. Т. Пашуто*. Внешняя политика..., с. 167), так и конкретные (*А. В. Назаренко*. О «Русской марке» в средневековой Венгрии // *Восточная Европа в древности и Средневековье*. М., 1978, с. 302–306; не исключена и какая-то связь с обстоятельствами освобождения Володаря Ростиславича из плена). В то же время характер вклада (ежегодный взнос) заставляет подозревать какие-то семейные мотивы. Если верны сведения поздних источников о том, что Ростислав Владимирович был женат на венгерке Ланке (*В. Н. Татищев*. История Российская. М., 1963, т. 2, с. 254–255. Примеч. 328 со ссылкой на гессенского историографа первой половины XVII в. В. Дилиха: *W. Dilich*. Hessische Chronik. Kassel, 1605), то соблазнительным выглядело бы предположение, что с этим греческим монастырем св. Димитрия была связана именно вдова Ростислава, после ранней гибели в 1067 г. своего мужа, тмутараканского князя, вернувшаяся на родину. В таком случае, возможно, стоило бы поискать вероятных связей между монастырем св. Петра в Эрфурте и гипотетической немкой — женой Изяслава Мстиславича и бабкой Романа? Ср. ниже о тесных контактах жены Владимира Мономаха Гиды с монастырем св. Пантелеимона в Кёльне.

²⁹ *В. Т. Пашуто*. Внешняя политика..., с. 218, 220.

³⁰ *Otto Bischof von Freising*. Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten, VII, 34 / Hg. W. Lammers. Darmstadt, 1990, 5. Aufl., S. 558 (AGDGM, Bd. 16); *Bischof Otto von Freising und Rahewin*. Die Taten Friedrichs..., I, 32, S. 190. Правда, Оттон Фрайзингенский утверждает, будто Борис, начав военные действия на немецко-венгерском пограничье, действовал по личной инициативе, наняв немецкое войско на собственные деньги. Похоже, это дипломатическая отговорка взятых венграми в плен сторонников Бориса Кальмановича. Так или иначе, для нас более важна политическая позиция Конрада III и австрийского маркграфа Генриха Язомирготта, нежели форма их практического участия в деле. В целом об авантюристы истории Бориса см.: *С. П. Розанов*. Евфимия Владимировна и Борис Коломанович: Из европейской политики XII в. // *Известия АН СССР*, VII серия, отделение гуманитарных наук (далее: Изв. АН), 1930, № 8, с. 585–599; № 9, с. 641–671.

³¹ ПСРЛ, т. 1, стб. 325.

³² *В. Т. Пашуто*. Внешняя политика..., с. 183–184.

³³ Там же, с. 219–220; см. также примеч. 57, 58.

³⁴ MGH. Scriptores. Hannover, 1869, t. 20, p. 492: во время переговоров Фридриха I с венграми «чешский король представил ему кого-то из русских князей, которого и привел в его подчинение» («Ubi rex Boemorum quandam de regulis Ruthenorum suae praesentiae obtulit eiusque illum ditioni subdidit»).

- 35 В. Т. Паушто. Внешняя политика..., с. 185.
- 36 K. Jordan. Investiturstreit und frühe Stauferzeit, 1056–1197. München, 1973, S. 127 (Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, 9. Aufl., Bd. 4).
- 37 Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum, V, 15 / Ed. A. Meineke. Bonn, 1836, p. 242.
- 38 В. Т. Паушто. Внешняя политика..., с. 179.
- 39 ПСРЛ, т. 2, стб. 666.
- 40 Там же, стб. 667–668.
- 41 В. Т. Паушто. Древняя Русь и Австрия // Ost-West-Begegnung in Österreich: Festschrift für E. Winter zum 80. Geburtstag. Wien; Köln; Graz, 1976, S. 237–238. В борьбе императора Фридриха II с Фридрихом Бабенбергом в 1236 г. волынские Романовичи — Даниил и Василько были склонны поддержать Австрию: «...в то время пошел бяше Фридрих ц[е]ц[а]рь на герцика воиноу, и восхотеста ити Данил со братом Василком герцикови во помощь», — но их планы разбились о сопротивление Венгрии («...королеви возбранившу има, возвратистася в землю свою») (ПСРЛ, т. 2, стб. 776–777). В дальнейшем Бела IV, желая иметь свободу рук в австрийских делах, пошел на длительный союз с Даниилом Романовичем. По некоторым сведениям Фридрих Австрийский в ходе своей борьбы с венграми погиб в 1246 г. «в единоборстве с неким русским королем» (Annales S. Pantaleonis Coloniensis, a. 1246 / Ed. H. Cardanus // MGH. Scriptores. Hannover, 1872, t. 22, p. 541: «Cum quodam rege Ruscie singulariter... dimicans»). Особым пожалованием императора Фридриха I Барбароссы в 1156 г. при образовании Австрийского герцогства (так называемым «Privilegium minus») было установлено право его наследования как по мужской, так и по женской линии. Это придало особую остроту и сложность борьбе за наследие бездетного Фридриха II Бабенберга, в которой права сына Даниилова Романа (поначалу поддержанного Белой IV) были основаны на его браке с Гертрудой, племянницей покойного герцога, тогда как соперник Романа Данииловича чешский король Пржемысл-Оттокар II был женат на Маргарите, сестре Фридриха Австрийского. С чисто юридической точки зрения позиция Романа была более легитимной, так как Маргарита, выйдя в 1225 г. замуж за сына императора Фридриха II, будущего мятежного короля Генриха VII (умершего в 1242 г.), выбыла тем самым из числа потенциальных наследниц своего брата. Следовательно, строго говоря, Гертруда оставалась единственной законной владелицей австрийского наследства, и именно ее отказ ок. 1244 г. выйти за императора Фридриха разрушил его планы самому приобрести выморочное герцогство, т. е. мирным путем осуществить то, чего он не смог добиться вооруженной рукой в 1236–1239 гг. Однако перемена политики Венгрии по отношению к Роману Данииловичу не позволила последнему закрепиться в Австрии.
- 42 Regensburger Urkundenbuch, Bd. 1 / Hg. J. Wiedemann. München, 1912, № 43, S. 13 (Monumenta Boica, t. 53; Nova series, t. 7): «Plaustrum (надо: Plaustra. — A. H.) in Ruziam vel de Ruzia tendentia XVI. den[arios] persolvant nec retineri debent».
- 43 Об этом термине, представляющем собой один из вариантов этнонима «русский» в средневерхненемецком языке, см.: А. В. Назаренко. Об имени «Русь» в немецких источниках IX–XI вв. // Вопросы языкознания, 1980, № 5, с. 47–50; Он же. Имя «Русь» и его производные в немецких средневековых актах IX–XIV вв.: Бавария — Австрия // ДГ, 1982 год. М., 1984, с. 104–105.

- ⁴⁴ Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich / Hg. H. Fichtenau, E. Zöllner. Bd. 1. Wien, 1950, № 86, S. 118: «Ruzarii quocumque tempore vadant, duo talenta solvant et in reditu de Ruzia dimidium talentum; duodecim denarios dabunt ubicumque velint intrare».
- ⁴⁵ H. Knitler. Eine Markt- und Zollordnung Herzog Leopolds VI // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (далее: MIOG). Wien, 1977, Bd. 85, S. 350: «Item de curru qui dicitur ringwagen (судя по размеру таможенного сбора, это воз меньшего объема, нежели стандартный воз из Кёльна, именуемый в уставе Леопольда V *wagengiwant*, а в уставе Леопольда VI — *wagnarwannt*, т. е. тем же термином, только в испорченном чтении), qui ducitur de Ungaria vel de Ruchia (ошибка копииста — очевидно, вместо Ruzia или Ruthia оригинала; палеографически путаница *z* и *h* или *c* и *t* обычна. — А. Н.), tria talenta».
- ⁴⁶ Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. Budapest, 1844, t. 7, vol. 5, № 76, p. 143. В качестве единственного обзора древнерусско-южнонемецких торговых связей продолжает сохранять свое значение работа В. Г. Васильевского: Древняя торговля Киева с Регенсбургом // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1888, июль, с. 121–150 [немецкий вариант: W. G. Wasiliewski, Kiews Handel mit Regensburg in alter Zeit // Verhandlungen des Historischen Vereines von Oberpfalz und Regensburg. Regensburg, 1905, Bd. 57 (Neue Folge, Bd. 49), S. 184–223].
- ⁴⁷ Сообщение об этом содержится в Житии св. Мариана (1180-е гг.), основателя монастыря св. Иакова: «Тогда один из братьев этой обители... по имени Маврикий, в сопровождении только мальчика, по бездорожью мира ведомый милосердием Святого Духа, прибыл к королю Руси, получил от этого короля и от вельмож богатейшего города Киева на сто марок драгоценных мехов и, погрузив их на повозки, благополучно добрался с купцами до Регенсбурга. На эти деньги были закончены постройки монастыря и крыша собора» (Vita S. Mariani Scoti, cap. 4 (17) / Ed. J. Gamansius // Acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur [далее: AS]. Paris, 1864, Februarii t. 2, p. 369 C: «Tum quidam de fratribus loci ejusdem... nomine Mauricius, solus cum solo puero comite per devia mundi, Spiritus sancti ductitante eum gratia, ad regem Russiae perveniens, ab eodem rege ac principibus urbis ditissimae Chios de ferinis pellibus pretiosis valentibus centum marcas recepit, atque easdem vehiculis ferens, cum negotiatoribus Ratisbonam pacifice pervenit; ex quarum pretio claustrum aedificia, tectum quoque monasterii factum est». Новое издание 4-й главы, посвященной построению монастыря св. Иакова, L. Bieler'ом в «The Irish Ecclesiastical Record» [vol. 95, 1961, p. 176–177] нам недоступно). Все еще неясно, следует ли относить поездку Маврикия на Русь к 1089 г., т. е. к княжению Всеволода Ярославича (1078–1093), как пытался доказать М. Э. Шайтан (Германия и Киев в XI в. // Летопись занятий постоянной Историко-археографической комиссии. Л., 1927, т. 1 (34), с. 19–23), или к началу XII в., когда строился монастырский собор св. Иакова, т. е. к периоду правления в Киеве Святополка Изяславича (1093–1113) (см., например: В. Г. Васильевский. Древняя торговля Киева с Регенсбургом..., с. 135–136).
- ⁴⁸ Е. А. Рыбина. Иноземные дворы в Новгороде XII–XVII вв. М., 1986, с. 15–23.
- ⁴⁹ Смоленские грамоты XIII–XIV веков / Подг. к печати Т. А. Сумникова, В. В. Лопатин. М., 1963, с. 24.81, 29.140, 30.58, 38.115, 38.133, 43.103, 44.119, 50.235, 51.279; Н. Н. Воронин, П. А. Раппопорт. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. М., 1979, с. 140–150.

- ⁵⁰ Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters S. Emmeram / Hg. J. Widemann. München, 1943, № 926, S. 459 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, Neue Folge, Bd. 8).
- ⁵¹ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А. Н. Насонова. М.; Л., 1950 (далее: НПЛ), с. 455.
- ⁵² Я. Е. Боровський, П. П. Толочко. Київська ротонда // Археологія Києва: Дослідження і матеріали. Київ, 1979, с. 90–103; П. А. Раппопорт. Древнерусская архитектура. СПб., 1993, с. 52. Впрочем, существуют и другие мнения относительно назначения этой постройки; см. их краткий обзор: E. Mühle. Die topographischstädttebauliche Entwicklung Kievs vom Ende des 10. bis zum Ende des 12. Jh. im Licht der archäologischen Quellen // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (далее: JbbGOE), Jg. 36, 1988, H. 3, S. 369–370.
- ⁵³ *Matthaei Parisiensis monachi S. Albani chronica maiora* / Ed. H. R. Luard. London, 1882, t. 6, p. 78; В. И. Мамузова. Английские средневековые источники IX–XIII вв.: Тексты, перевод, комментарий. М., 1979 (серия: ДИ), с. 129, 155–156.
- ⁵⁴ MPH. Lwów, 1884, t. 4, p. 857: «...sanctus Jazecho... in Kijow, ubi... conventum in honorem Virginis gloriosae fratrum praedicatorum recepit».
- ⁵⁵ *Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae*. [t. 3] Libb. V–VI. Warszawa, 1973, p. 266; B. Altaner. Die Dominikanermissionen des 13. Jahrhunderts. Habelschwerdt, 1924, S. 208–219.
- ⁵⁶ W. Abraham. Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. Lwów, 1904, s. 69; М. Э. Шайтан. Германия и Киев..., с. 24–25.
- ⁵⁷ A. Hauck. Kirchengeschichte Deutschlands. Berlin; Leipzig, 1954, Bd. 4. 8. Aufl, S. 1020.
- ⁵⁸ Н. Н. Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. М., 1961, т. 1, с. 330–334; Г. К. Вагнер. Скульптура Древней Руси, XII век: Владимир, Боголюбково. М., 1969, с. 84–85, 186–187. По словам летописца об Андрее Боголюбском, «приведе ему Бог от всех земель мастера» (ПСРЛ, т. 1, стб. 351); из каких именно земель прибывали мастера во Владимир, разъясняет похвала ростовскому епископу Иоанну по поводу обновления им суздальского Успенского собора в 1194 г.: «...а иже не ища мастеров от немец, но налезе мастера от клевет святое Богородици и своих» (Там же, стб. 411). В этой связи в науке принято с доверием относиться к известию В. Н. Татищева (История Российская. М., 1964, т. 3, с. 245–246, примеч. 485; с. 253, примеч. 547), будто мастера были присланы от императора Фридриха Барбароссы. Но даже если так, можно ли усматривать здесь непосредственные контакты между Фридрихом I и Андреем Юрьевичем? В манере строительной артели, работавшей над Рождественским собором Боголюбова, Успенским собором во Владимире и церковью Покрова Богоматери на Нерли, улавливается также и отчетливое галицкое влияние (Г. К. Вагнер. Скульптура Древней Руси..., с. 180), а это позволяет думать, что немецкие мастера прибыли в Суздальскую Русь из Галича, подтверждая тем самым еще раз политическую близость этих княжеств. Ср., однако, примеч. 58.
- ⁵⁹ См., например: Г. Д. Филимонов. Древнейшие западные эмали в России, приписываемые св. Антонию Римлянину и Андрею Боголюбскому // Вестник Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее. М., 1874, с. 21–26; В. П. Даркевич. Романская церковная утварь из Северо-Восточной Руси // Культура Древней Руси. М., 1966, с. 61–69; Он же. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X–XIV вв.). М.,

1966 (Свод археологических источников, [вып.]: E1–57); *D. Wörn. Armillae aus dem Umkreis Friedrich Barbarossas* — *Napleñniki Andrej Bogoljubskijs* // *JbbGOE*, Jg. 28, 1980, S. 391–397. В. П. Даркевич выяснил, что, например, Большой сион московского Успенского собора, в его нынешней форме созданный в 1486 г., в своей основе является кельнской работой 1160-х годов, вышедшей из мастерской при монастыре св. Пантелеимона (ср. приводимые ниже данные об особых связях семейства Мстислава Владимировича с этой немецкой обителью: примеч. 89, 90). Интересно, что обнаруживаемые на Суздальщине и Рязанщине лотарингские эмали (датируемые также временем Андрея Боголюбского) аналогий в других землях Руси не имеют.

- ⁶⁰ Первоначально этот энколпион содержал частички мощей, привезенных из Святой Земли и Царьграда, и потому иногда именуется в литературе «Иерусалимским крестом»: *И. А. Шляпкин. Русский крест XII в. в г. Гильдесгейме* // *Вестник археологии и истории*, изд. имп. С.-Петербургским Археологическим институтом. СПб., 1914, вып. 22, с. 36–45; *В. Мясоедов. «Иерусалимский крест» в ризнице собора в Гильдесгейме* // *Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества*. Пг., 1918, т. 12, с. 7–22; *А. М. Амманн. Ein wenig bekanntes byzantinoslavisches Enkolpion aus dem Domschatz in Hildesheim* // *Ellenica*, 1954, S. 126–133 (автор не знаком с работами Шляпкина и Мясоедова); *Н. Ludat. Das Jerusalemer Kreuz: Ein russisches Reliquar im Hildesheimer Domschatz*. Köln; Graz, 1956 (*Archiv für Kulturgeschichte*, Bd. 38/1); (ср. также ценную рецензию: *А. Poppe* // *Studia Źródloznawcze — Commentationes*, 1960, t. 5, s. 137–139); *А. А. Мединцева. Древнерусский крест-мощевик из Хильдсегейма* (так в тексте! — *А. Н.*) // *Церковная археология: Материалы 1-й Всероссийской конференции* (Псков, 20–24 ноября 1995 г.). СПб.; Псков, 1995, ч. 2, с. 63–66 (попытка более поздней датировки).

- ⁶¹ *А. Hauck. Kirchengeschichte Deutschlands...*, Bd. 4, S. 986.

- ⁶² *Godehardi episcopi Hildesheimensis translatio*, cap. 3 / Ed. G. H. Pertz // *MGN. Scriptores*. Hannover, 1856, t. 12, p. 647; перевод соответствующего фрагмента на русский язык см. в упомянутой выше (примеч. 1) работе *М. Б. Сverdлова: Латиноязычные источники по истории Древней Руси...*, [вып. 1], с. 204.

- ⁶³ *Ortnit und Wofdietriche*, II, 76 / Hg. A. Amelung, O. Jänicke. Bd. 1. Berlin: 1871, S. 12. Илья, брат «конунга» Владимира из Хольмгарда (т. е. Новгорода), упоминается и в норвежской записи нижненемецкого цикла сказаний о Дитрихе Бернском: *А. Н. Веселовский. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском)* // *Изв. Отделения русского языка и словесности имп. АН* (далее: ИОРЯС). СПб., 1906, т. 11, кн. 3, с. 170–190 (здесь перевод «русских» фрагментов саги). О русско-немецких связях в области эпоса в целом см.: *А. Кирпичников. Поэмы ломбардского цикла: Опыт сравнительного изучения западного и русского эпоса*. М., 1872; *Б. И. Ярхо. Илья, Илиас, Хилтебрант* // ИОРЯС, т. 22, 1918, кн. 2, с. 326–337; *E. Studer. Russisches in der Thidrekssaga* // *Sprache und Dichtung*. Bern, H. 46, 1931, S. 77–98; *R. Bräuer. Die literarischen deutsch-russischen Beziehungen im Mittelalter auf dem Gebiet der Heldenepik* // *Zeitschrift für Slawistik* (далее — *ZfSl*). Berlin, 1973, Bd. 18, H. 1, S. 144–153; *P. N. Berkov. Das «russische Thema» in der mittelhochdeutschen Literatur* // *ZfSl*, Bd. 21, 1976, S. 297–310; *Г. В. Глазырина. Илья Муромец в русских былинах, немецкой поэме и скандинавской саге* // *Методика изучения древнейших источников...*, с. 192–202; *M. Keller. Perspektiven: Vorstellungen von «Riuzen» in der deutscher Literatur des Mittelalters* // *Russen und Russland aus deutsche Sicht...*, S. 84–109; и др. См. также примеч. 63.

- ⁶⁴ Исключения редки. Так, в качестве *terminus ante quem* для знакомства в Новгороде с нижненемецкими сказаниями о Дитрихе Бернском может служить упоминание «поганого злого Дедрика» в Повести о взятии Царяграда фрягами, созданной вскоре после 1204 г. (НПЛ, с. 49). Автор Повести прибег к знакомому для читателя образу «Дедрика», который жил «в граде Бьерне», чтобы пояснить происхождение одного из вождей Четвертого крестового похода маркграфа Бонифация Монферратского (И.Э.Клейнберг. «Дедрик Бернский» в Новгородской первой летописи // ЛХ, 1973 г.: Посв. памяти А. Н. Насонова. М., 1974, с. 129–136).
- ⁶⁵ Из сыновей Ярослава Изяслав был женат на сестре польского князя Казимира I Гертруде, Всеволод — на родственнице (дочери?) византийского императора Константина IX Мономаха (1042–1055) Марии (?), Святослав — возможно, на венгерке (А.В. Назаренко. О династических связях сыновей Ярослава Мудрого // Отечественная история [далее: ОИ], 1994, № 4–5, с. 192. Примеч. 58); из дочерей — Елизавета вышла замуж за норвежского короля Харальда Грозного (1047–1066), Анастасия (?) — за венгерского короля Андрея I (1046–1060), Анна — за французского короля Генриха I (1031–1061) (M. Hellmann. Die Heiratspolitik Jaroslavs des Weisen // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Berlin, 1962, Bd. 8, S. 7–25 [перепечат.: M. Hellmann. Beiträge zur Geschichte des östlichen Europa im Mittelalter. Amsterdam, 1988, S. 157–175]; В.Т. Пащито. Внешняя политика..., с. 419, генеалогич. табл. 1).

О русско-немецких связях XI в. в целом и эпохи Ярослава Мудрого в частности есть ряд обзорных работ: Th. Ediger. Russlands älteste Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und römischer Kurie. (Diss.) Halle/Saale, 1911; М.Э. Шайтан. Германия и Киев..., с. 5–26; R. Bloch. Verwandtschaftliche Beziehungen des sächsischen Adels zum russischen Fürstenhause im 11. Jahrhundert // Festschrift für A. Brackmann. Weimar, 1931, S. 185–206 (перепечат.: M. Gorlin, R. Bloch-Gorlina. Etudes littéraires et historiques. Paris, 1957); B. Widera. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Kiever Rus' in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Beiheft 1: Beiträge zur Geschichte der Beziehungen zwischen dem deutschen Volk und den Völkern der Sowjetunion. Berlin, 1954, S. 3–39; Idem. Die politischen Beziehungen der Kiever Rus' zu Deutschland in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts // JbG UdSSR, Bd. 5, 1961, S. 235–245 (одновременно в: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin; gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Jg. 10, 1971, № 1); М.Б. Сverdlov. Политические отношения Руси и Германии в X — первой половине XI в. // Проблемы истории международных отношений. Л., 1972, с. 282–297 (немецкий вариант этой работы: M. B. Sverdlov. Die politischen Beziehungen zwischen der Rus' und Deutschland in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts // Russisch-deutsche Beziehungen von der Kiever Rus' bis zur Oktoberrevolution..., S. 1–17).

- ⁶⁶ Гипотеза Н.А. Баумгартена (Первая ветвь князей галицких: потомство Владимира Ярославича // Летопись Историко-родословного общества. М., 1908, вып. 4 (16), с. 3–4; Idem. Généalogies et mariages..., p. 7, table 1, № 22, 25; Он же. Ода Штаденская, внучатая племянница папы Льва IX — невестка Ярослава Мудрого // Благовест. Париж, 1930, № 1, с. 95–102), будто Владимир Ярославич ок. 1043 г. был оженен отцом на немке Оде, ошибочна: А.В. Назаренко. О династических связях..., с. 182–183. Неверно также предположение Н.М. Карамзина (История государства Российского. СПб., 1842, 5-е изд., кн. 1, т. 2, с. 20; Примеч. к т. 2, № 48), что Игорь Ярославич был женат якобы на немке Куни-

гунде из рода графов Орламюнде, хотя оно время от времени до сих пор повторяется в литературе (см., например: *Handbuch der Geschichte Russlands...*, Bd. I, 1, S. 318). В действительности мужем Кунигунды был Ярополк Изяславич — см. об этом подробнее ниже.

- ⁶⁷ Поход Ярослава под Берестье в 1017 г. был скоординирован с одновременными действиями Генриха II в Силезии (*Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung*, VIII, 65 / Hg. R. Holtzmann. Berlin, 1935, S. 478 [MGH. *Scriptores rerum Germanicarum. Nova series*, t. 9]; А. В. Назаренко. Немецкие латиноязычные источники..., с. 135, 140, 157–160, коммент. 42).
- ⁶⁸ К заключению о политическом сотрудничестве Германии и Руси в борьбе против Мёшка II легко прийти, комбинируя известия Повести временных лет о походах Ярослава и Мстислава Владимировичей в 1030 и 1031 гг. против Польши (ПСРЛ, т. 1, стб. 149–150; т. 2, стб. 137) с известиями современника событий Випона, биографа императора Конрада II: *Wiponis Gesta Chuonradi imperatoris*, cap. 9, 29 // *Die Werke Wipos* / Hg. H. Bresslau. Hannover; Leipzig, 1915, S. 31–32, 48.
- ⁶⁹ Казимир был поддержан как Конрадом II (*Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum*, I, 19 / Ed. K. Maleczyński // MPH. Kraków, 1952, Nova series, t. 2, p. 44), так и Ярославом, выдавшим за него сестру и воевавшим на его стороне с мазовецким князем Моиславом в 1040-е гг. (ПСРЛ, т. 1, стб. 153–155; т. 2, стб. 141–143; *Annalista Saxo*, a. 1039 / Ed. G. Waitz // MGH. *Scriptores*. Hannover, 1844, t. 6, p. 683). Характерно, что брак Казимира и Владимировны был заключен уже в 1038 г. (*O. Balzer. Genealogia Piastów...*, s. 89), а стало быть, переговоры о нем велись, когда польский князь еще не вернулся на родину, а пребывал в Германии. В науке встречаются и более поздние датировки женитьбы Казимира, но все они, так или иначе, опираются на Повесть временных лет, где сообщение о браке помещено в статью 1043 г. Дело, однако, в том, что эта ошибка летописца объяснима. Хронологические данные, извлеченные им из утраченного впоследствии Жития преп. Антония Печерского, «запаздывают» именно на пять лет (А. В. Назаренко. Житие Антония Печерского и датировка русско-польского союза при Казимире I и Ярославе Мудром // *Славяне и их соседи: Международные отношения в эпоху феодализма*. М., 1989, с. 19–21).
- ⁷⁰ *Sächsische Weltchronik...*, Kap. 237, S. 199: «...Benne gewan Diderike, den hertogen unde marcgreven, de was vader Bernardes; de wan marcgreven Bernuarde; dese gewan marcgreven Willehelme unde greven Conrade unde ene dochter Odam unde enen Otten, des müder was van Rûzen...».
- ⁷¹ *H. Ludat. An Elbe und Oder um das Jahr 1000: Skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der slavischen Mächte in Mitteleuropa*. Köln; Wien, 1971, S. 144, Anm. 335; S. 146, Anm. 353; *Ch. Lübke. Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an)*. T. 3. Berlin, 1986 (*Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens*, Bd. 134), № 259, S. 75. Людат и Любке склонны считать, что матримониальный союз, заключенный в самом конце правления Мёшка I (женатого вторым браком на Оде, дочери упомянутого в Саксонской всемирной хронике маркграфа Дитриха), преследовал цель укрепить политическое положение Оды и ее сыновей перед лицом соперничества со стороны Болеслава, старшего сына Мёшка; в этой связи указывается на известное свидетельство Хильдесхаймских анналов, что в 992 г., т. е. сразу после изгнания Оды и ее потомков из Польши Болеславом I, последнему «угрожала большая война против Руси» (*Annales Hildeshei-*

menses, a. 992 / Ed. G. Waitz. Hannover, 1878, S. 25: «...imminebat quippe illi grande contra Ruscianos bellum»).

- ⁷² *Th. Ediger. Russlands älteste Beziehungen...*, S. 57 (до 1035/40 г.); *R. Bloch. Verwandtschaftliche Beziehungen...*, S. 188 (не позднее 1035/37 г.); *А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв.*, с. 134. В самом деле, Бернхард впервые упоминается источниками в декабре 1009 г., когда он становится маркграфом; им он остается до смерти после 1044 г. (*Ch. Lübke. Regesten...*, Т. 3, № 426, S. 277–278; Berlin, 1987, Т. 4, № 672, S. 228–229). Такую хронологию трудно согласовать с предположением о втором браке Бернхарда уже в 991/92 г., и немудрено, что Любке, присоединяясь к гипотезе Людата (см. примеч. 70), вынужден прибегнуть к исправлению текста Саксонской всемирной хроники: историк полагает, что хронист перепутал первый и второй браки Бернхарда. Нельзя не отметить также, что, согласно недвусмысленному тексту источника, Бернхард, сын маркграфа Дитриха и шурин Мёшка I, и Бернхард, отец Оттона, — это вовсе не одно и то же лицо, а отец и сын.

- ⁷³ *Lamperti Hersfeldensis annales*, a. 1057 // *Lamperti monachi Hersfeldensis opera* / Rec. O. Holder-Egger. Hannover; Leipzig, 1894, p. 71–72.

- ⁷⁴ *N. Baumgarten. Généalogies et mariages...*, p. 7, table 1, № 16; *В. Т. Паушмо. Внешняя политика...*, с. 419, генеалогич. табл. 1, № 3 (со знаком вопроса); *A. Wolf. Königskandidatur und Königsverwandtschaft: Hermann von Schwaben als Prüfstein für das «Prinzip der freien Wahl»* // *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* (далее: DA). Köln; Wien, 1991, Jg. 47, S. 100–103. При этом женитьбу Бернхарда историк относит к 1035–1040 гг., исходя из характеристики Ламперта — «блестящий юноша, хотя и едва достигший воинского возраста» («egregium adolescentem, sed vixdum milicie maturum»), которую он приписывает Оттону. Однако рассказ Ламперта не оставляет сомнений в том, что в данном случае имеется в виду не Оттон, который к этому моменту был уже сражен, а другой, более младший, сын маркграфа Бернхарда. Интерпретация Вольфа неубедительна еще и потому, что в начале рассказа Ламперта Оттон прямо назван «мужем острого ума и неутомимым в бою» («vir acer ingenio et manu impiger»).

- ⁷⁵ В одной из грамот 1121 г. об Оде, жене Мёшка I и, таким образом, сестре Бернхарда (отца маркграфа Бернхарда), говорится как о «происходящей из королевского рода» («regia stirpe orta») (*Urkundenbuch des Hichstifts Halberstadt und seiner Bischöfe* / Hg. G. Schmidt. Leipzig, 1883, Т. 1: 780–1235, № 151).

- ⁷⁶ *Annalista Saxo...*, a. 1040, p. 684: «Король совещался со знатью в Альштетте на праздник св. Андрея (30 ноября. — *А. Н.*), где принял и послов Руси с дарами» («Rex in festo sancti Andree in Altstide placitum habuit, ubi et legatos Ruzorum cum muneribus suscepit») (Altstide — это известная королевская резиденция в Тюрингии, а не современный Альштеттен в Швейцарии, как полагает М. В. Сverdlov: *Латиноязычные источники по истории Древней Руси...*, [вып. 2], с. 235, примеч. 32; кроме того, вследствие неверного перевода текст приобрел отсутствующую в оригинале игривость: «Король имел удовольствие (! — *А. Н.*) во время праздника святого Андрея...» [там же, с. 227]); *Annales Altahenses maiores*, a. 1043 / Rec. E. L. B. Oefele. Hannover, 1891, p. 2: «Король провел Рождество Господне (1042 г.: Рождество считалось началом года. — *А. Н.*) в Госларе... Послы Руси также принесли великие дары, получив же еще большие, удалились» («Rex natale Domini Goslare peregit... Legati quoque Ruzorum magna dona tulerunt, sed maiora recipientes abierunt»); *Lam-*

perti Hersfeldensis annales..., а. 1043, р. 58: «Там [были] среди послов разных стран послы Руси, [которые] удалились в печали, так как получили твердый отказ в своих надеждах сосватать дочь своего короля за короля Генриха» («Ibi inter diversarum provinciarum legatos legati Ruscorum tristes redierunt, quia de filia regis sui, quam regi Heinricho nupturam speraverant, certum repidium reportabant.»).

⁷⁷ ПСРЛ, т. 1, стб. 154; т. 2, стб. 142.

⁷⁸ *Adam von Bremen. Hamburgische Kirchengeschichte*, III, 13, schol. 62 / Hg. B. Schneider. Hannover; Leipzig, 1917, S. 153; *Anonymi Gesta Hungarorum // Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum* (далее: SRH). Budapest, 1937, t. 1, p. 55–56; *Ioannis Dlugossii Annales...*, а. 1050. [Т. 2]: Libb. III–IV. Warszawa, 1970, p. 61 (здесь впервые упомянуто имя княгини — Анастасия).

⁷⁹ Такое предположение основано на известии регенсбургской Хроники императоров (создана между 1136 и 1147 гг.), что после взятия немцами Пресбурга (Братиславы) в 1044 г. Шамуэль Аба с женой и детьми бежал на Русь (*Die Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen*, vers. 16 438–16 440 / Hg. E. Schröder // *MGH. Scriptores, qui vernacula lingua usi sunt*. T. 1/1. Hannover, 1892, p. 378: «Ottô huob sich enzit, // er nam chint unde wip // ze den Riuzen er entran»). Это известие уникально. Согласно другим источникам, добраться до Руси Шамуэлю не удалось: во время бегства он был схвачен, а позднее казнен (*Annales Altahenses...*, а. 1044, р. 37; *Lamperti Hersfeldensis annales...*, а. 1945, р. 59; и др.). Не видно причин не доверять в данном случае Хронике императоров, которая, излагая историю противоборства Петра и Шамуэля, и в других местах сообщает некоторые неизвестные остальным источникам данные (например, что Шамуэль носил прозвище «Косой»: «...der hiez der scilhende Ottô» [vers. 16 393]). О том, что поддержка Ярославом противников Петра связана с переменой в русско-немецких отношениях, говорит также следующее сообщение Шимона Кезаи и Венгерского свода XIV в.: изгнанные из Венгрии еще Иштваном I племянники последнего Андрей (будущий король Андрей I) и Левенте спустя некоторое время пытались найти убежище на Руси, но «не были приняты князем Лодомерии (Владимира-Волынского. — А. Н.) из-за короля Петра и потом отправились в землю половцев»; лишь позднее они снова вернулись на Русь (*Simon de Keza. Gesta Hungarorum // SRH*, t. 1, p. 177: «...in Rutheniam transierunt. Et dum ibi a duce Lodomeriae propter Petrum regem suscepti non fuissent, ad terram vadunt deinde Comanorum»; *Chronici Hungarici compositio saec. XIV*, cap. 80 // *SRH*, t. 1, p. 336). Итак, еще после 1038 г. (когда Петр занял венгерский трон) или даже после 1040 г. (родившийся в 1027/28 г. Святослав Ярославич получил волынский стол едва ли раньше 1040 г.: ПСРЛ, т. 1, стб. 149, 161; т. 2, стб. 137, 150) Киев демонстративно отказывал в помощи противникам короля Петра.

⁸⁰ См. примеч. 65.

⁸¹ Приводим только важнейшие из многочисленных источников: *Miracula S. Benedicti*, VIII, 24 // *Les miracles de saint Benoît écrits par Adrevald, Aumoin, André, Raoul Tortaire et Hugues de Sainte Marie, moines de Fleury* / Ed. E. de Certain. Paris, 1853, p. 314; *Hugonis liber modernorum regum Francorum* / Ed. G. Waitz // *MGH. Scriptores*. Hannover, 1851, t. 9, p. 338; *Clairus*. *Chronicon S. Petri Vиви Senonensis* / Ed. L.-M. Duru // *Bibliothèque historique de l'Yonne*. Auxerre, 1863, t. 2, p. 506 (подробно о посольстве Генриха I к Ярославу); датированный 1049 г. детальный рассказ о поездке французских сватов в Киев содержится в ано-

- нимной глоссе к так называемой Реймской Псалтири Одальрика (*Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France: Départements. T. 38: Reims. Paris, 1904, № 15, p. 23*). См.: *A. de Caix de Saint-Aymour. Anne de Russie, reine de France et comtesse de Valois au XI^e siècle. Paris, 1896, 2^e ed.; Recueil des actes de Philippe I^{er}, roi de France / Ed. M. Prou. Paris, 1908, p. XV–XXIII; R.-H. Bautiers. Anne de Kiev, reine de France, et la politique royale au XI^e siècle: Etude critique de la documentation // Revue des études slaves. Paris, 1985, t. 57, fasc. 4, p. 539–564.*
- ⁸² *C.B. Bouchard. Consanguinity and noble marriages in the tenth and eleventh centuries // Speculum, vol. 56, 1981, fasc. 2, p. 274–277; J. Dhondt. Sept femmes et un trio des rois // Contributions à l'histoire économique et sociale. Bruxelles, 1965, vol. 3 (1964/1965), p. 57–58.*
- ⁸³ Известно, что в октябре 1048 г. (т. е. накануне отправления посольства на Русь в 1049 г., если полагаться на дату в глоссе Реймской Псалтири) Генрих I встречался с императором Генрихом III, который и мог дать ему сведения о потенциальной русской невесте.
- ⁸⁴ *Anno lied, vers. 637–640 / Hg. M. Roediger // MGH. Scriptores, qui vernacula lingua usi sunt. Hannover, 1895, t. 1/2, p. 128: «Из Греции и Англии // короли ему слали дары; // так делали датчане, // фландры и русские» («Van Criechen unt Engelantin // die kunnige imi gebi santin; // sô dedde man von Denemarkin, // von Vlanterin unt Riuzinlanti»).*
- ⁸⁵ *Vita Annonis archiepiscopi Coloniensis, I, 30 / Ed. R. Koepke // MGH Scriptores. Hannover, 1854, t. 11, p. 475; D. Knab. Das Anno lied: Probleme seiner literarischen Einordnung. Tübingen, 1962, S. 21–25.*
- ⁸⁶ *N. Eickermann. Zwei Soester Fragmente aus Reginhards verlorener Vita Annonis // Soester Zeitschrift, 1976, Bd. 88, S. 5–27; R. Schieffer. Ein Quellenfund zu Anno von Köln // DA, 1978, Jg. 34, S. 202–213; T. Struve. Reginhard von Siegburg und Lanpert von Hersfeld: Hersfelder und Siegburger Überlieferungen um Erzbischof Anno im Lichte der Soester Fragmente // Rheinische Vierteljahresblätter, 1978, Bd. 42, S. 128–160; H. Thomas. Ein Quellenfund zum Anno lied: Die Fragmente von Reginhards Vita Annonis // Zeitschrift für deutsche Philologie, 1978, Bd. 97, S. 403–414; Das Anno lied / Hg., übers. und komment. von E. Nellmann. Stuttgart, 1986, 3. Ausg., S. 187.*
- ⁸⁷ *A. Hoffmeister. Heinrich der Löwe und die Anfänge Wisbys // Zeitschrift für Lübeckische Geschichte, 1926, Bd. 23. Интересно, что примерно к этому времени, а именно 1130 г., относится и первое свидетельство о новгородской торговле на Готланде: «В се же лето идуще и-замория с Гот потопаи лодий 7, и сами истопоша и товар, а друзии вылезоша, но нази; а из Дони (Дании. — А. Н.) придоша сторови» (НПЛ, с. 22, 206–207).*
- ⁸⁸ *Helmolds Slavenchronik, Kap. 86 / Hg. D. Schmeidler. Hannover, 1937, S. 169: «И разослал герцог послов по городам и королевствам Севера — Дании, Швеции, Норвегии, Руси, предлагая им мир, дабы они имели свободный доступ в его город Любек» («Et transmisit dux nuntios ad civitates et regna aquilonis. Daniam, Suediam, Norwegiam, Ruciam, offerens eis pacem, ut haberent liberum com meatum adeundi civitatem suam Lubeke»). Жалованная грамота Генриха Льва Любеку не сохранилась, но ее нормы воспроизведены в привилегии Любеку императора Фридриха I от 1188 г., в которой также говорится, что «русские, готландцы, норвежцы и другие восточные народы пусть приходят в упомянутый город (Любек. — А. Н.) без налога и пошлины и свободно покидают [его]» (Codex*

diplomaticus Lubecensis — Lübeckisches Urkundenbuch. 1. Abt, T. 1. Lübeck, 1843, № 7, p. 10). Это установление было подтверждено и в 1220-е гг.: кроме граждан Шверина, в Любеке не платят таможенных пошлин также «ни русский, ни норвежец, ни швед... ни голландец, ни ливонец, и никто из восточных народов» (ibid, № 32, P. 38: «Nullus civis de zwerin theloneat Lubeke; sic nec rutenus, nec noremannus, nec suecius nec guto, nec livo, sic neque omnes gentes orientales»).

- ⁸⁹ В числе установлений, касающихся гражданского права, и наряду с учреждением в Медебахе торгового права г. Зоста, находим в § 15 порядок оформления ссуд купцам, отправляющимся за границу: «Если кто-либо дает свои деньги кому-либо из своих сограждан, чтобы тот торговал на них в Дании, или на Руси, или в другой стране к обоюдной выгоде, должны иметь веродостоинных сограждан, которые бы видели [это] и были бы свидетелями этой сделки...» (Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen / Hg. S. Seibertz. Arnsberg, 1839, Bd. 1, № 55, S. 74–75: «Qui pecuniam suam dat alicui concivi suo, ut inde negocietur in Datia vel in alia regione ad utilitatem utriusque, assumere debet concives suos fideles, ut videant et sint testes hujus rei...»).

- ⁹⁰ Rheinische Urbare: Sammlung von Urbaren und anderen Quellen zur rheinischen Wirtschaftsgeschichte. Bd. 1: Die Urbare von S. Pantaleon in Köln / Hg. B. Hilliger. Bonn, 1902, S. 18: «10 марта, [день] исповедников Палатина и Фирмиана... умерла королева Гиды» («VI. id. Marc. Palatini et Firmiani confessorum... † Gida regina»). Запись сделана ок. 1230 г. одновременно с другими первоначальными записями и заимствована, несомненно, из более древнего списка помянника св. Пантелеимона.

- ⁹¹ Пантелеимон исцеляет тяжело раненного на охоте Мстислава молитвами матери последнего Гиды, которой «имя и заслуги св. Пантелеимона были уже давно известны, и она, по щедротам своим, еще раньше удостоилась стать сестрою той святой обители его имени, которая служит Христу в Кёльне» («At illa iam dudum Pantaleonis et nomen et meritum agnoverat et eius, que in honore illius Colonie Christo servit, sancte congregationis soror ut esset, liberaliter promeruerat»). Издание чуда св. Пантелеимона о Мстиславе в составе Слова о св. Пантелеимоне, принадлежащего знаменитому проповеднику и богослову первой трети XIII в. Руперту из Дойца, см.: AS. Iulii T. 6. Paris, 1868, p. 422 A–C; M. Coens. Un sermon inconnu du Rupert, abbé de Deutz, sur S. Pantaléon // Analecta Bollandiana. Bruxelles, 1935, t. 55, p. 265–266 (в этих двух изданиях представлены два разных списка); А. В. Назаренко. Неизвестный эпизод из жизни Мстислава Великого // ОИ, 1993, № 2, с. 78 (издание по древнейшему списку cod. Wallraf. 320, fol. 138v–139r из Исторического архива в Кёльне, который положен и в основу издания М. Кунса; здесь же на с. 65–66 — русский перевод с учетом обеих рукописей). Пользуемся случаем, чтобы исправить некоторые погрешности этой работы. На с. 69 по поводу даты женитьбы Мономаха на «Гюргевой матери» должно вместо «не ранее 1099/1100 г.» читаться, естественно, «ранее 1099/1100 г.». На следующей с. 70 датировка «между 1092 и началом 1094 г.» относится только к исцелению Мстислава Владимировича, а не к рождению у него сына Изяслава, которое, разумеется, могло случиться и позднее. Главное в том, что Изяслав должен был быть вторым по старшинству Мстиславичем после Всеволода. Сомнения по этому поводу (с. 69 и примеч. 39) неуместны ввиду прямого показания Киевской летописи, где под 1148 г. Ростислав Мстиславич Смоленский обращается к Изяславу со словами: «Ты еси мене старей» (ПСРЛ, т. 2, стб. 365).

- ⁹² А. В. Назаренко. Неизвестный эпизод..., с. 68.

- ⁹² *Annales Stadenses auctore Alberto*, a. 1112 / Ed. I. M. Lappenberg // MGH. Scriptores. Hannover, 1859, t. 16, p. 319–320; *Lamperti Hersfeldensis annales...*, a. 1075, p. 202.
- ⁹⁴ См. примеч. 65. Эта ошибочная трактовка до самого последнего времени продолжает бытовать в историографии: *Handbuch der Geschichte Russlands...*, Bd. I, 1, S. 426–427, geneal. Taf. 1; *D. Donskoï. Généalogie des Rurikides*, IX^e–XIV^e s. Rennes, 1991, p. 25, № 33; p. 27, № 37.
- ⁹⁵ Памятник готовится к изданию в очередном 18-м томе MGH. Scriptores. Nova series A. Шютцем, благодаря любезности которого и помощи проф. Х.-М. Шаллера (Мюнхен) мы получили возможность познакомиться с рукописью: «*Rex Ritulorum* (очевидно, описка копииста вместо *Rutulorum*. — А. Н.) *filiam Luvpaldi comitis et domine Ite de Oterisburc his temporibus rege Heinrico mediante uxorem ducit*». Подробный анализ сюжета см. в работе: А. В. Назаренко. О династических связях..., с. 181–194. К сожалению, из относящейся к теме русско-западноевропейских связей Гиды и Мстислава историографии нами был упущен интересный этюд М. Ф. Мурьянова: Русско-византийские церковные противоречия в конце XI в. // Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе: Сб. статей, посвященных Л. В. Черепнину. М., 1972, с. 216–224.
- ⁹⁶ *Saxo Grammaticus. Gesta Danorum*, XI, 6, 3 / Ed. E. Orlik, H. Ræder. Hauniae, 1931, t. 1, p. 308.
- ⁹⁷ *Adam von Bremen...*, III, 16, S. 206; *Lamperti Hersfeldensis annales...*, a. 1073, p. 147, 163–164.
- ⁹⁸ А. В. Назаренко. О династических связях..., с. 187–188. Из сказанного следует датировка брака Владимира Мономаха и Гиды: между 1072 и 1074 гг., а не 1074–1075 гг., как чаще всего предполагалось ранее.
- ⁹⁹ *Brunos Buch vom Sachsenkrieg*, Kap. 13 // *Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV.* / Hg. F.-J. Schmale. Darmstadt, 1963, S. 206, 208 (AQDGM, Bd. 12); А. В. Назаренко. О династических связях..., с. 186.
- ¹⁰⁰ ПСРЛ, т. 1, стб. 199, 247 (некоторые уточнения в Поучении Владимира Мономаха); т. 2, стб. 190. В летописи поход отнесен к 1076 г., но привлечение данных Поучения позволяет отнести его к осени и зиме 1075–1076 гг.: В. А. Кучкин. «Почтение» Владимира Мономаха и русско-польско-немецкие отношения 60–70-х годов XI века // Советское славяноведение, 1971, № 2, с. 33.
- ¹⁰¹ *Annalista Saxo...*, a. 1062, p. 693; А. В. Назаренко. О династических связях..., с. 188. Следует, впрочем, иметь в виду, что брак Ярополка и Кунигунды можно датировать также несколько более ранним временем — ок. 1073 г.
- ¹⁰² А. В. Назаренко. О династических связях..., с. 189.
- ¹⁰³ Помолвка состоялась уже в 1088 г. (в начале осени этого года Евпраксия в качестве невесты императора находилась в Кведлинбурге под опекой сестры последнего аббатиссы Адельхайд: *Liber de unitate ecclesiae conservanda*, II, 35 / Ed. I. Schmale-Ott // *Quellen zum Investiturstreit*. Darmstadt, 1984, T. 2, S. 8 [AQDGM, Bd. 12b]), коронация — 14 августа 1089 г. (стало быть, бракосочетание произошло несколько ранее): *Annales Augustani*, a. 1089 / Ed. G. H. Pertz // MGH. Scriptores. Hannover, 1859, t. 16, p. 639; *Frutolfi chronica*, a. 1089 / Ed. F.-J. Schmale. I. Schmale-Ott // *Frutolfs und Ekkehard's Chroniken und die anonyme Kaiserchronik*. Darmstadt, 1972, S. 104 (AQDGM, Bd. 15) (здесь Евпраксия ошибочно названа вдовой маркграфа Удона II; текст раньше приписывался Эккерхарду из Ауры); *Liber de unitate ecclesiae...*, II, 26, p. 486; и др.

- ¹⁰⁴ В перечисленных выше источниках Евпраксия именуется дочерью «короля Руси» и нигде — именно Всеволода Ярославича. Однако еще Ф. Круг убедительно отождествил ее с Евпраксией Всеволодовной, принявшей постриг 6 декабря 1106 г. (ПСРЛ, т. 1, стб. 281; т. 2, стб. 257–258), т. е. через четыре месяца после смерти Генриха IV (7 августа) (*Ph. Krug. Eupraxia, Tochter des Grossfürsten Vsevolod, Gemahlin Kaiser Heinrich IV.* // *Krug Ph. Forschungen in der älteren Geschichte Russlands.* SPb., 1848, Bd. 2, S. 581–618). Высказывавшаяся изредка точка зрения, что Евпраксия была дочерью Изяслава Ярославича, выданной за Генриха Штадена в 1075 г. (т. е. одновременно с браком Ярополка Изяславича и Кунигунды): *Th. Ediger. Russlands älteste Beziehungen...*, S. 57–63), покоится исключительно на умозаключениях В. Н. Татищева, который, располагая данными неизвестного источника, будто Изяслав выдал свою дочь Параскеву за какого-то моравского князя, предположил, что здесь — возможная в древнерусском путаница между топонимом «Моравия» и титулом «маркграф» (*В. Н. Татищев. История Российская...*, т. 2, с. 248, примеч. 284). Не говоря уже о шаткости такого предположения в чисто источниковедческом отношении, оно маловероятно и по другим причинам. Союз с Удоном II, противником Генриха IV, противоречил бы политическим целям Изяслава в Германии, как они видны из брака Ярополка. Далее, укажем на сведения, содержащиеся в Хронике Розенфельдского монастыря (см. примеч. 107), что Евпраксия прибыла в Саксонию из Руси (Изяслав же пребывал в 1075 г. с семьей в Тюрингии). Этот памятник, неизвестный В. Н. Татищеву и не учитывавшийся Т. Эдигером, к сожалению, до сих пор удовлетворительно не издан; между тем он, как считают, черпает информацию о Штаденах из хорошо осведомленного источника середины XII в. (*R. G. Hucke. Die Grafen von Stade, 900–1144: Genealogie, politische Stellung, Comitatus und Allodialbesitz der sächsischen Udonen.* Stade, 1956, S. 205–210). См. также: *H. Lorenz. Berta und Praxedis, die beiden Gemahlinnen Heinrichs IV.* (Diss.) Halle/Saale, 1911; *B. Leib. Rome, Kiev et Byzance à la fin du XI^e siècle: Rapports religieux des Latins et des Gréco-Russes sous le pontificat d'Urbain II (1088–1099).* Paris, 1924, p. 164–166; *М. Э. Шайтан. Германия и Киев...*, с. 15–19; *С. П. Розанов. Евпраксия-Адельгейда Всеволодовна* // *Изв. АН*, 1929, № 8, с. 617–646; и др.
- ¹⁰⁵ Сохранилось ответное послание митрополита Иоанна к Клименту, из которого ясно содержание предложений антипапы: *А. С. Павлов. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян.* СПб., 1878, с. 169–186. Есть, однако, основания датировать переписку не 1088/89, а 1084/85 г.
- ¹⁰⁶ См. созданное на Руси в конце XI в. (перемыславским митрополитом Ефремом?) Слово о перенесении мощей святителя Николая в Бар-град: *И. Шляпкин. Русское поучение XI в. о перенесении мощей Николая Чудотворца.* СПб., 1881 (Памятники древней письменности и искусства, № 19).
- ¹⁰⁷ *Annales Corbeïenses*, a. 1094 / Ed. G. H. Pertz // MGH. Scriptores. Hannover, 1839, t. 3, p. 7; *Annales S. Disibodi*, a. 1094 / Ed. G. Waitz // MGH. Scriptores. Hannover, 1861, t. 17, p. 14; *Annales Stadenses...*, a. 1093, p. 316 (в двух последних источниках сообщается о возвращении Евпраксии на Русь и ее вступлении в монастырь); *Bernoldi chronicon*, a. 1094, 1095 / Ed. G. H. Pertz // MGH. Scriptores. Hannover, 1844, t. 5, 457–458, 462; *Gerhohi praepositi Reichersbergensis De investigatione antichristi liber*, I, 17 / Ed. E. Sackur // MGH. Libelli de lite imperatorum et pontificum. Hannover, 1897, t. 3, p. 324; *Deusdedit presbyteri cardinalis Libellus contra invasores et symoniacos et reliquos*

- schismaticos, cap. 12 / Ed. E. Sackur // MGH. Libelli de lite..., Hannover, 1892, t. 2, p. 330; Vita Mathildis, celeberrimae Italiae principis, carmine scripta a Donizone presbytero, cap. VIII / Ed. L. Simeoni // Muratori L. A. Rerum Italicarum Scriptores. Nuova Edizione. Bologna, t. 5/2, [1931-1940], p. 79-81; ПСРЛ, т. 1, стб. 283; т. 2, стб. 260; и др.
- ¹⁰⁶ *Frotolfi chronica...*, a. 1089, p. 104; *Annalista Saxo...*, a. 1082, p. 721; *Annales Stadenses...*, a. 1144, p. 326; *Sächsische Weltchronik...*, Kap. 189, S. 178; *Chronica ecclesiae Rosenfeldensis seu Hassfeldensis* // Vogt J. Monumenta inedita rerum Germanicarum, praecipue Bremensium. Bremen, 1740, t. 1, p. 125: «Она (Евпраксия. — А. Н.) прибыла в эту страну с большой пышностью, с верблюдами, нагруженными драгоценными одеждами и камнями, а также с бесчисленным богатством» («Haec venit in istam regionem cum magna pompa, pretiosas vestes et gemmas camelis portantibus, divitiasque infinitas»).
- ¹⁰⁹ ПСРЛ, т. 1, стб. 185; т. 2, стб. 197.
- ¹¹⁰ MGH. Leges. Capitularia regum Francorum. T. 2 / Ed. A. Boretius, V. Krause. Hannover, 1897, N 253, p. 249-252; А. В. Назаренко. Немецкие латиноязычные источники..., с. 59-100 (полное издание латинского оригинала с некоторыми исправлениями, русский перевод, археографическая справка и комментарий).
- ¹¹¹ *Reginonis abbatis Prumiensis chronicon cum continuatione Treverensi*, a. 959-962 / Ed. F. Kurze. Hannover, 1890, p. 169-170, 172; *Annales Hildesheimenses...*, a. 960, p. 21-22; *Annales Altahenses...*, a. 960, p. 9; *Annales Quedlinburgenses*, a. 960 / Ed. G. H. Pertz // MGH. Scriptores. Hannover, 1839, t. 3, p. 60; *Lamperti Hersfeldensis annales...*, a. 960, p. 30; *Annales Ottenburani* / Ed. G. H. Pertz // MGH. Scriptores. Hannover, 1844, t. 5, p. 4; А. В. Назаренко. Немецкие латиноязычные источники..., с. 101-130 (издание и перевод «русских» фрагментов с археографическим и историческим комментарием).
- ¹¹² *Lamperti Hersfeldensis annales...*, a. 973, p. 42.
- ¹¹³ E. Zöllner. Rugier oder Russen in der Raffelstettener Zollurkunde? // *MIÖG*, Bd. 60, 1952, S. 108-119; H. Wolfram. Überlegungen zur politischen Situation der Slawen im heutigen Oberösterreich (8.-10. Jh.) // *Baiern und Slawen in Oberösterreich*. Linz, 1980, S. 20, 23, Anm. 29; *Idem*. Ethnogenesen im frühmittelalterlichen Donau- und Ostalpenraum (6. bis 10. Jh.) // *Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum*. Sigmaringen, 1985, S. 123-124, Anm. 135 (Nationes: Historische und philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter, Bd. 5); J. Herrmann. Slawen und Baiern im Donaugebiet // *Die Slawen in Deutschland*. Berlin, 1985, 2. Aufl., S. 46.
- ¹¹⁴ М. Б. Свердлов. Политические отношения..., с. 286-287; Латиноязычные источники по истории Древней Руси..., [вып. 1], с. 166-167; *Handbuch der Geschichte Russlands...*, Bd. I, 1, S. 304, Anm. 2 (X. Рюс со ссылкой на М. Б. Свердлова).
- ¹¹⁵ *Annales de Saint-Bertin*, a. 839. // Ed. F. Grat, J. Veillard, S. Clémencet. Paris, 1964, p. 30-31.
- ¹¹⁶ А. В. Назаренко. Немецкие латиноязычные источники..., с. 13-15 (латинский текст и русский перевод).
- ¹¹⁷ А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX-X вв..., с. 11-13.
- ¹¹⁸ *Genealogia Welforum*, cap. 4 / Ed. G. Waitz // MGH. Scriptores. Hannover, 1881, t. 13, p. 734; *Genealogia Welforum* / Ed. E. König // *Schwäbische Chroniken der Stauferzeit*. Berlin; Stuttgart, 1938, Bd. 1, S. 76; *Historia Welforum Weingarten-*

- sis, cap. 21 / Ed. L. Weiland // MGH. Scriptores. Hannover, 1869, t. 21, p. 460; Schwäbische Chroniken..., Bd. 1, S. 12.
- 119 *N. Baumgarten*. Généalogies et mariages..., table 1, № 1/III; *Idem*. Le dernier mariage de St. Vladimir // OCh, vol. 17/2, № 61, p. 165–168.
- 120 См., например: *В.Д. Королюк*. Западные славяне и Киевская Русь в X–XI вв. М., 1964, с. 227; *В.Т. Паушто*. Внешняя политика..., с. 122–123 (с неточностями), 326, генеалогич. табл. 1, № 1/III; *М.Б. Свердлов*. Политические отношения..., с. 290–291; и др.
- 121 MGH. Libri memoriales et Necrologia. Nova series. T. 1: Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau / Hg. J. Autenrieth, D. Geuenich, K. Schmidt, Hannover, 1979, Taf. 135; *K. Schmid*. Probleme um den Grafen Kuno von Öhningen: Ein Beitrag zur Entstehung der welfischen Hausüberlieferung und zu den Anfängen der staufischen Territorialpolitik im Bodenseegebiet // Dorf und Stift Öhningen. [Singen], 1966 (перепеч.: *K. Schmid*. Gebetsgedenken und adliges Selbstbewusstsein im Mittelalter: Ausgewählte Beiträge. Sigmaringen, 1983, S. 127–179).
- 122 Эта идентификация была выдвинута А. Вольфом и в дальнейшем, за исключением деталей, касающихся отдельных членов многочисленного семейства графа Куно, нашла всеобщее признание у специалистов: *A. Wolf*. Wer war Kuno von Öhningen? Überlegungen zum Herzogtum Konrads von Schwaben († 997) und zur Königswahl vom Jahre 1002 // DA, Jg. 36/1, 1980, S. 25–83; *H.C. Faussner*. Kuno von Öhningen und seine Sippe in ottonisch-salischer Zeit // DA, Jg. 37/1, 1981, S. 20–139; *E. Hlawitschka*. Untersuchungen zu den Thronwechseln der ersten Hälfte des 11. Jh. und zur Adelsgeschichte Süddeutschlands: Zugleich klärende Forschungen um «Kuno von Öhningen». Sigmaringen, 1987 (Vorträge und Forschungen, Sonderband 35); и др. Нельзя одновременно и принимать теорию А. Вольфа, и продолжать настаивать на идее Н. А. Баумгартена, что «король Руси» из Генеалогии Вельфов — это Владимир Святославич, как то, вслед за самим Вольфом, делает М. Хелльманн: *A. Wolf*. Wer war Kuno..., S. 32; *Idem*. Königskandidatur und Königsverwandtschaft..., S. 100–103; *M. Hellmann*. Ottonen und Rjurikiden: Bemerkungen zur Wiederaufnahme einer Diskussion // JbbGOE, Bd. 29/4, 1981, S. 569–580; см. также примеч. 73, 74.
- 123 Исходя между прочим и из того, что в 983 г. Куно-Конрад стал швабским герцогом, тогда как в мемориальной записи из Райхенау и в родословном экскурсе Генеалогии Вельфов он еще титулуется графом: *А. В. Назаренко*. Русь и Германия в 70-е годы X века // *Russia Mediaevalis*. München, 1987, t. VI, 1, с. 60–62; *Он же*. Русь и Германия в IX–X вв., с. 112–113.
- 124 *А. В. Назаренко*. Русь и Германия в 70-е годы X века..., с. 74–89; *Он же*. Русь и Германия в IX–X вв., с. 113–119. Эта гипотеза была сочувственно встречена в историографии, см.: *L. Müller*. Die Taufe Russlands: Die Frühgeschichte des russischen Christentums bis zum Jahre 988. München, 1987, S. 91, а также рецензию Х. Любке на нашу работу 1987 г.: *Ch. Lübke* // JbbGOE, Bd. 38, 1990, S. 579–581 (рецензент признает вероятность нашей гипотезы о русско-немецком союзе при Оттоне II, но сомневается в достоверности данных Генеалогии Вельфов о «короле Руси» и предложенной нами идентификации этого последнего с Ярополком Святославичем; мы склонны усматривать в такой позиции внутреннее противоречие).
- 125 ПСРЛ, т. 1, стб. 80, 121; т. 2, стб. 67, 105.

- ¹²⁶ А. П. Флоровский. Русское летописание и Я. А. Коменский // ЛХ, 1973 г. М., 1974, с. 312–316; А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв., с. 131, примеч. 159.
- ¹²⁷ ПСРЛ, т. 1, стб. 81; т. 2, стб. 69; А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв., с. 130–133; см. также примеч. 131.
- ¹²⁸ *Petri Damiani Vita beati Romualdi*, cap. 26–27 / Ed. G. Tabacco. Roma, 1957, p. 56–61 (Fonti per la storia d'Italia, № 94); *Adémar de Chabannes. Chronique* / Ed. J. Chavanon. Paris, 1897, p. 135; с известной степенью условности сюда можно отнести и сообщение поздней (первая половина XVI в.) Никонской летописи о послах к Ярополку Святославичу «из Рима от папы» под 979 г. (ПСРЛ. СПб., 1862, т. 9, с. 39). Анализ этих известий см.: А. В. Назаренко. Русь и Германия в 70-е годы X века..., с. 99–102; Он же. Накануне Крещения: Ярополк Святославич и Оттон II (70-е годы X века) // Он же. Древняя Русь на международных путях. М., 1999 (в печати).
- ¹²⁹ Подробнее см.: А. В. Назаренко. Накануне Крещения...
- ¹³⁰ А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв., с. 102–103.
- ¹³¹ *Gesta episcoporum Cameracensium*, I, 101 // MGH. Scriptores. Hannover, 1846, t. 6, p. 442–443; А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв., с. 117–118.
- ¹³² Польскому походу Владимира Святославича, помещенному в летописи под 981 г., посвящена многочисленная и весьма противоречивая литература. Главная трудность при интерпретации летописного сообщения состоит в том, что поход, направленный «к ляхом», завершается занятием Червена, Перемышля «и иных градов», которые тогда принадлежали отнюдь не Польскому, а Чешскому государству (хотя и этот факт подвергался необоснованным сомнениям, исходя из данных Повести временных лет); см., например: В. Д. Корольюк. Западные славяне..., с. 75–100; H. Lowmianński. Początki Polski. Warszawa, 1973, t. 5, s. 583 ff. (в этих двух работах обзор предшествующей историографии); G. Labuda. Der Zug des russischen Grossfürsten Vladimir gegen die Ljachen im Jahre 981 // Ostmitteleuropa: Berichte und Forschungen: Festschrift G. Rhode. Stuttgart, 1981, S. 11–19; T. Wasilewski. Przemyśl w X–XI wieku w świetle latopisów ruskich // Rocznik Przemyński, 1989, t. 24/25, s. 307–314; и мн. др. Предложенное нами толкование обладает, как нам кажется, тем существенным преимуществом, что естественным образом устраняет указанную трудность; поход Владимира был, действительно, направлен против «ляхов» в поддержку Оттона II, тогда как Червенско-Перемышльская область перешла под контроль Руси отнюдь не в результате только этого похода киевского князя, а в итоге всей войны 977–979 гг., начавшейся еще при Ярополке; см. подробно: А. В. Назаренко. Летописное предание о «выборе вер» князем Владимиром и политико-идеологическая реальность 80-х годов X века // Он же. Древняя Русь на международных путях... (в печати).
- ¹³³ Медальоны оттиснуты двумя различными парами матриц, хотя и восходящими к одному иконографическому прототипу: один из экземпляров находится в настоящее время в Финском национальном музее в Хельсинки, тогда как местонахождение другого неизвестно: C. A. Nordman. Otto II och Theophano i Finlands Nationalmuseum // Florilegium amicitiae till Emil Zilliacus. Helsinki; Stockholm, 1953, s. 133–139; P. E. Schramm. Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit, 750–1190 / Neuaufl. unter Mitarbeit von P. Berghaus, N. Gussone und F. Mutherich hg. von F. Mutherich. München, 1983, S. 194–195, № 92; S. 343 (репродукция).

- ¹³⁴ А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв., с. 135–136, 138, примеч. 29.
- ¹³⁵ P. E. Schramm. Die deutschen Kaiser und Könige..., S. 75.
- ¹³⁶ Paris, Musée Cluny, № 1035; P. E. Schramm. Die deutschen Kaiser und Könige..., S. 193–194, № 91; S. 342 (репродукция).
- ¹³⁷ Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg..., III, 1, S. 96; Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium, cap. 12 / Ed. W. Schum // MGH. Scriptores. Hannover, 1883, t. 14, p. 385.
- ¹³⁸ P. E. Schramm. Die deutschen Kaiser und Könige..., S. 95.
- ¹³⁹ Ph. Grierson. Byzantine coins. London, 1982, p. 92; И. В. Соколова. Монеты Перещепинского клада // Византийский временник (далее: ВВ), 1993, т. 54, с. 146–147.
- ¹⁴⁰ ПСРЛ, т. 1, стб. 84–86, 107; т. 2, стб. 71–73, 93.
- ¹⁴¹ В. Р. Розен. Император Василий Болгаробойца: Извлечение из летописи Яхьи Антиохийского. СПб., 1883, с. 23–24 (Прилож. к т. 44 Записок имп. АН, № 1).
- ¹⁴² Подробнее о политической ситуации и самих медальонах (их иконографии и надписях) см.: А. В. Назаренко. Летописное предание о «выборе вер»...
- ¹⁴³ Это пребывание описано самим миссионером в его письме к королю Генриху II: List Brunona do króla Henryka / Ed. J. Karwasinśka. Warszawa, 1973 (МРН. Series nova, t. IV, fasc. 3); старые русские переводы этого важного источника сделаны с не вполне исправного латинского списка: А. Ф. Гильфердинг. Неизданное свидетельство современника о Владимире Св. и Болеславе Храбром // Русская беседа. М., 1856, кн. 1, Науки, с. 1–34 (здесь и editio princeps латинского оригинала); [Н.] Оглоблин. Письмо архиепископа Брунона к германскому императору (так! — А. Н.) Генриху II // Университетские известия. Киев, 1873, № 8, II/IV, с. 1–15. О Бруно Кверфуртском и его деятельности см.: H. G. Voigt. Brun von Querfurt, Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer. Stuttgart, 1907; H.-D. Kahl. Compellere intrare: Die Wendenpolitik Bruns von Querfurt im Lichte hochmittelalterlichen Missions- und Völkerrechts // Zeitschrift für Ostforschung, Bd. 4, 1955, S. 161–193, 360–401; R. Wenskus. Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt. Münster; Köln, 1956 (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 5); W. Meysztowicz. Skice o świętym Brunie-Bonifacym // Sacrum Poloniae Millennium. Roma, 1958, t. 5, s. 445–502; B. Widera. Das früheste Dokument zur deutschen Russlandkunde: Zum 100-jährigen Jubiläum der ersten Edition des Briefes Bruns von Querfurt an Heinrich II. durch A. F. Hilferding // ZfSl, Bd. 2/1, 1957, S. 94–103; Idem. Brun von Querfurt und Russland: Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen um das Jahr 1000 // JbGUDSSR, Bd. 3, 1959, S. 365–381.
- ¹⁴⁴ Как считает, например, В. Т. Паушто: Внешняя политика..., с. 121 (по мнению историка, через Бруно искали сближения с Киевом как Германия, так и Польша).
- ¹⁴⁵ См., например: S. Zakrzewski. Boleslaw Chrobry Wielki. Lwów; Warszawa; Kraków, 1925, s. 224; G. Rhode. Die Ostgrenze Polens: Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auswirkung. Köln; Graz, 1955, Bd. 1, S. 59; В. Т. Паушто. Внешняя политика..., с. 34–35; и мн. др. Сомнения в какой бы то ни было причастности Бруно Кверфуртского к политике вообще (В. Д. Королук. Западные славяне..., с. 213–215; Латиноязычные источники..., [вып. 1], с. 54 [М. Б. Свердлов]) выглядят, пожалуй, чересчур ригористично. Конечно, политические теории миссийного архиепископа-идеалиста могли быть дале-

ки от задач практической политики, как они виделись тому же Болеславу I, но это значит всего лишь, что на польско-русское сближение Бруно должен был бы смотреть несколько иначе, чем польский князь; различие мотивов отнюдь не исключает сотрудничества.

- 146 Так, например, представляет дело одна из схолий к хронике Адама Бременского, заимствованная затем в Славянскую хронику Хельмольда: «Христианнейший король Болеслав в союзе с Оттоном Третьим покорил всю Славянию, Русь и пруссов» (*Adam von Bremen...*, Schol. 24, S. 95–96; *Helmold von Bosau. Slawenchronik*, Kap. 15 / Hg. B. Schmeidler, H. Stob. Darmstadt, 1990, 5. Aufl. S. 80 [AQDGM, Bd. 19]).
- 147 В. Т. Пашуто. Внешняя политика..., с. 121.
- 148 Это мнение неоднократно высказывалось и раньше (*Th. Ediger. Russlands älteste Beziehungen...*, S. 18; *F. Dvornik. The Making of Central and Eastern Europe*. S. 1., 1974, 2 ed., p. 174; и мн. др.); покоилось оно на убеждении, что Анна и Феофано были родными сестрами, дочерьми византийского императора Романа II. Однако Феофано была не дочерью Романа, а всего лишь племянницей Иоанна I Цимисхия, т. е. не принадлежала даже к Македонской династии. Ее примерную генеалогию см.: G. Wolf. Nochmals zur Frage: Wer war Theophano? // *Byzantinische Zeitschrift*. München, 1988, Bd. 81, S. 272–283 (с небольшим дополнением перепечатано в сборнике: *Kaiserin Theophanu: Prinzessin aus der Fremde — des Westreichs Grosse Kaiserin*. Köln; Weimar; Wien, 1991, S. 59–78).
- 149 См. источники, перечисленные в примеч. 110, и наш комментарий: А. В. Назаренко. Немецкие латиноязычные источники..., с. 110–130. Анализ событий на фоне международной ситуации того времени см.: А. В. Назаренко. Попытка крещения Руси при княгине Ольге в контексте международных отношений 60-х годов X в. // *Церковь, общество и государство в феодальной России*. М., 1990, с. 24–40; Он же. Русь и Германия в IX–X вв., с. 61–80.
- 150 Архиеп. Макарий (Булгаков). История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю Русской церкви. М., 1868, 2-е изд., с. 252, 260–267 (новое переиздание: Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. История Русской церкви. М., 1994, кн. 1, с. 215–217); Е. Е. Голубинский. История русской церкви. М., 1901, т. I/1, 2-е изд., с. 82–83; М. С. Грушевский. История Украины-Руси. Київ, 1913, т. 1, 3-е изд., с. 454–456; Ж.-П. Ариньон. Международные отношения Киевской Руси в середине X в. и крещение княгини Ольги // ВВ, т. 41, 1980, с. 113–124; А. Н. Сахаров. Дипломатия княгини Ольги // Вопросы истории (далее: ВИ), 1979, № 10, с. 25–51; и др.
- 151 А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв., с. 63–69.
- 152 ПСРЛ, т. 1, стб. 63; т. 2, стб. 51; Г. Г. Литаврин. Состав посольства Ольги в Константинополь и «дары» императора // Византийские очерки. М., 1982, с. 91. Что касается года поездки киевской княгини в столицу Византийской империи, то, несмотря на попытку Г. Г. Литаврина заново обосновать бытовавшую некогда точку зрения, согласно которой эта поездка состоялась в 946 г., мы продолжаем считать дату 957 г. более предпочтительной. Наша аргументация подробно изложена в работах: А. В. Назаренко. Когда же княгиня Ольга ездила в Константинополь? // ВВ, т. 50, 1989, с. 66–83; Он же. Еще раз о дате поездки княгини Ольги в Константинополь: Источниковедческие заметки // ДГ, 1992–1993 годы. М., 1994, с. 154–168.
- 153 А. В. Назаренко. Русь и Германия при Святославе Игоревиче // История СССР, 1990, № 2, с. 60–74; Он же. Русь и Германия в IX–X вв., с. 80–99.

- ¹⁵⁴ Они включены в три сборника, носящих один и тот же подзаголовок «Gesammelte Aufsätze zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des Kaisertums»: W. Ohnsorge. Abendland und Byzanz. Darmstadt, 1958; *Idem.* Konstantinopel und der Okzident. Darmstadt, 1966; *Idem.* Ost-Rom und der Westen. Darmstadt, 1983.
- ¹⁵⁵ A. Nazarenko. The Grand Triangle: Byzantium — Germany — Rus' // Acts of the XVIIIth Intern. Congress of Byzantine Studies; Selected Papers: Main and Communications (Moscow, 1991). Shepherdstown, 1996, vol. 2, p. 3–7.
- ¹⁵⁶ Urkunden zur ältesten Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante / Hg. G. L. Tafel, G. M. Thomas. Wien, 1856, t. 1, № 13, p. 21 (Fontes Rerum Austriacarum. Diplomataria et acta, t. 12); A. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 78, примеч. 64.
- ¹⁵⁷ Идея о связи между поставлением немецкого миссийного епископа для Руси и германо-византийским конфликтом летом 960 г. принадлежит английскому историку К. Лейзеру: K. Leyser. The Tenth Century in Byzantine-Western Relations // Relations between East and West in the Middle Ages. Edinburgh, 1973, p. 30, 50, not. 8; см. подробнее: A. В. Назаренко. Попытка крещения Руси при княгине Ольге..., с. 31–33; Он же. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 70–72.
- ¹⁵⁸ A. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 71–72; Он же. Немецкие латиноязычные источники..., с. 123–124, коммент. 26.
- ¹⁵⁹ Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg... II, 22, S. 64; A. В. Назаренко. Немецкие латиноязычные источники..., с. 134, 138, 143–144, коммент. 1–3; Он же. Русь и Германия при Святославе..., с. 64, 66–68; Он же. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 85, 88–89.
- ¹⁶⁰ Papsturkunden, 896–1049 / Hg. H. Zimmermann. Bd. 1. Wien, 1988, 2. Aufl., № 190, S. 375; Die Urkunden Konrads I, Heinrichs I. und Ottos I. / Hg. Th. Sickel. Hannover, 1884 (MGH. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, t. 1), № 366; Urkundenbuch des Erzbistums Magdeburg / Hg. F. Israel, W. Möllenberg. Bd. 1. Magdeburg, 1937, № 130; A. В. Назаренко. Русь и Германия при Святославе..., с. 64–66; Он же. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 85–88.
- ¹⁶¹ Liudprandi episcopi Cremonensis de legatione Constantinopolitana // Die Werke Liudprands von Cremona / Hg. J. Becker. Hannover; Leipzig, 1915, S. 175–212; R. Köpke, E. Dümmler. Kaiser Otto der Grosse. Leipzig, 1876, S. 437; J. F. Böhm. Regesta Imperii. Bd. II. Abt. 1: Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich I. und Otto I. (919–973) / Bearb. E. von Ottenthal. Innsbruck, 1893, № 468c; A. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 89–93.
- ¹⁶² См. карты: В. Л. Янин. Денежно-весовые системы русского Средневековья: Домонгольский период. М., 1956, с. 86, 102, 120, 131. Карты, составленные с учетом более поздних материалов, отмечают небольшую группу кладов в Верхнем Поднестровье: Древняя Русь: Город, замок, село. М., 1985 (серия: Археология СССР), с. 401, табл. 161.
- ¹⁶³ См. источники, приведенные в примеч. 87, 88.
- ¹⁶⁴ См., например: L. K. Goetz. Deutsch-russische Handelsgeschichte des Mittelalters. Lübeck, 1922.
- ¹⁶⁵ Например, в Продолжении хроники Регинона (княгиня Ольга названа здесь «королевой ругов» — «regina Rugorum») и в Генеалогии Вельфов (см. примеч. 117). О других источниках, равно как и о проблеме в целом см.: Г. Лов-

- мянский. Русы и руги // ВИ, 1971, № 9, с. 43–52; А. В. Назаренко. Русь и Германия в 70-е годы X века..., с. 57–58 и примеч. 60.
- ¹⁶⁶ См. примеч. 112.
- ¹⁶⁷ А. В. Назаренко. Немецкие латиноязычные источники..., с. 83–88, коммент. 398; Он же. Русь и Германия в IX–X вв., с. 21–24.
- ¹⁶⁸ Relacja Ibrahîma ibn Ja'kûba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekrîego / Ed. T. Kowalski. Kraków, 1946, s. 49, 146 (MPH. Series II, t. 1).
- ¹⁶⁹ K. Schiffmann. Historisches Ortsnamenlexikon des Landes Oberösterreich. Bd. 2. Berlin; München, 1935, S. 190; Die Passauer Urbare / Hg. A. Maidhof. Passau, 1939, Bd. 2, S. 84; А. В. Назаренко. Имя «Русь» и его производные..., с. 108–110, № 5.
- ¹⁷⁰ А. В. Назаренко. Имя «Русь» и его производные..., с. 104–106, № 1–2 (863 и 979 гг.).
- ¹⁷¹ А. В. Назаренко. Об имени «Русь» в немецких источниках IX–XI вв., с. 46–57, особенно 53; Он же. Русь и Германия в IX–X вв., с. 30.
- ¹⁷² Первая попытка собрать и классифицировать соответствующие данные на баварском и австрийском материале была предпринята нами пятнадцать лет назад (А. В. Назаренко. Имя «Русь» и его производные..., с. 86–129) и пока продолжения не получила.
- ¹⁷³ А. В. Назаренко. О происхождении древнерусской денежно-весовой системы // ДГ, 1994 год. М., 1996, с. 5–93; см. также: Он же. «Путь из варяг в греки» и происхождение древнерусской счетной гривны // XII конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. М., 1993, с. 77–79; Он же. Византийская денежно-весовая система и ее влияние на формирование денежно-весовых единиц на Руси и в Западной Европе // Славяне и их соседи: Греческий и славянский мир в средние века и раннее Новое время. М., 1994, с. 17–19.
- ¹⁷⁴ Непосредственное включение восточнобаварского *scoti* в этимологическое гнездо, представленное родственными германскими названиями средств платежа готск. *skats*, др.-англ. *sceat*, др.-верх.-нем. *scaz*, нем. *Schatz* и др., которое иногда встречается в археологической литературе (см., например: Н. П. Бауер. Денежный счет Русской правды // Вспомогательные исторические дисциплины: Сб. статей. М.; Л., 1937, с. 192), лингвистически некорректно, так как без объяснения остаются «непередвинутый» *t* (ср. *z* в древневерхнегерманской форме) и *o* в огласовке корня вместо этимологического общегерманского *a*.
- ¹⁷⁵ П. К. Коковцов. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932, с. 65–66. Здесь не место вдаваться в спор востоковедов относительно подлинности еврейско-хазарской переписки X в.; заметим лишь, что высказывавшиеся иногда сомнения (кажется, преувеличенные) адресовались ответу хазарского кагана, а не посланию самого Иосифа, которое нас в данном случае интересует (А. П. Новосельцев. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990, с. 5–6).
- ¹⁷⁶ Т. М. Калинина. Торговые пути Восточной Европы IX в. (по данным Ибн Хордадбеа и Ибн-ал-Факиха) // История СССР, 1986, № 4, с. 72; Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Перев., коммент. и исслед. Н. Велихановой. Баку, 1986, с. 124; А. В. Назаренко. Южнонемецкие земли в европейских связях IX–X вв. // Средние века. М., 1990, вып. 53, с. 129–130; Он же. Русь и Германия в IX–X вв., с. 27–28.

- 177 B. Bischoff. Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken der Karolingerzeit. Wiesbaden, 1960, Bd. 1, 2. Aufl., S. 262, Anm. 3.
- 178 R. Nový. Die Anfänge des böhmischen Staates. Bd. 1: Mitteleuropa im 9. Jh. Praha, 1968, S. 132–140.
- 179 А. В. Назаренко. Южнонемецкие земли..., с. 130.
- 180 А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 35–36.
- 181 См., например: А. Králíček. Der so genannte bairische Geograph und Mähren // Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens, 1898, Bd. 2, S. 351–354.
- 182 А. В. Назаренко. Южнонемецкие земли..., с. 121–136; Он же. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 26–28.
- 183 Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau..., S. 4 A 1, 53 D 4–5, 63 B 4–5; F. V. Mareš. Die Namen des Slavenapostels Methodius von Saloniki und seiner Gefährten im Verbrüderungsbuch der Reichenauer Kirche // Cyrillomethodianum. Thessalonique, 1971, Bd. 1, S. 107–112; A. Zettler. Cyrill und Method im Reichenauer Verbrüderungsbuch // Frühmittelalterliche Studien (далее: FMASt), 1983, Bd. 17, S. 280–289; K. Schmid. Zum Quellenwert der Verbrüderungsbücher von St. Gallen und Reichenau // DA, 1985, Bd. 41, S. 361–372; А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 39–40, 57–57, примеч. 186–189.
- 184 H. Schwarzmaier. Ein Brief des Markgrafen Aribio an König Arnulf über die Verhältnisse in Mähren // FMASt, 1972, Bd. 6, S. 55–66.
- 185 Житие св. Константина, гл. VIII // Magnae Moraviae Fontes Historici. Brno, 1967, t. 2, p. 75–78; Сказания о начале славянской письменности / Вступ. статья, перев. и коммент. Б. Н. Флори. М., 1981, с. 77–78 (русский перевод). Именно здесь находится доставившее столько хлопот комментаторам и до сих пор остающееся загадочным упоминание Евангелия и Псалтири, «роусьскими писмены» писаных, которые обрел в Херсоне св. Константин.
- 186 А. С. Львов. Лексика Повести временных лет. М., 1975.
- 187 Там же, с. 262–264.
- 188 Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1980, вып. 7, с. 189–190; G. Schramm. Cēsarz «Kaiser», *gudvabъ «Seidenstoff» und andere Niederschläge einer Ersatzdehnung von «ā» im Gotischen // Die Welt der Slaven, Jg. 29/2 (Neue Folge, Jg. 8/2), 1984, S. 279–281, 289–292.
- 189 См., например: A. de Vincenz. West Slavic Elements in the Literary Language of Kievan Rus' // Harvard Ukrainian Studies. Cambridge (Mass.), vol. 12/13, 1988/1989, p. 262–275 (Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine).
- 190 А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 9.
- 191 А. Н. Насонов. «Русская Земля» и образование территории Древнерусского государства: Историко-географическое исследование. М., 1951, с. 28–50 и карта-вклейка между с. 32 и 33; В. А. Кучкин. «Русская Земля» по летописным данным XI — первой трети XIII в. // ДГ, 1992–1993 годы. М., 1995, с. 95–96.
- 192 А. В. Назаренко. Русь и Германия в IX–X вв..., с. 41.
- 193 G. Schramm. Fernhandel und frühe Reichsbildung am Ostrand Europas: Zur historischen Einordnung der Kiever Rus' // Staat und Gesellschaft im Mittelalter und früher Neuzeit: Gedenkschrift für Joachim Leuschner. Göttingen, 1983,

S. 15–39; *E. Mühle*. Die städtischen Handelszentren der nordwestlichen Rus': Anfänge und frühe Entwicklung altrussischer Städte (bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts). Stuttgart, 1991 (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 32); ср. нашу рецензию на последнюю работу: *А. В. Назаренко* // ОИ, 1993, № 3, с. 202–208.

¹⁹⁴ *А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнин*. Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972, с. 131–187; *В. Л. Янин*. Новгородская феодальная вотчина (Историко-генеалогическое исследование). М., 1981, особенно с. 242–249.

¹⁹⁵ *А. В. Назаренко*. Некоторые соображения о договоре Руси с греками 944 г. в связи с политической структурой Древнерусского государства // Восточная Европа в древности и Средневековье: Политическая структура Древнерусского государства (VIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто). М., 1996, с. 58–63.

¹⁹⁶ *А. В. Назаренко*. Родовой сюзеренитет Рюриковичей над Русью (X–XI вв.) // ДГ, 1985 год. М., 1986, с. 149–157.

**Образ святого правителя
в первых святовацлавских житиях:
политико-теологические идеи латинских легенд
в контексте оттоновской агиографии**

Кульτ святого Вацлава, первого и наиболее значительного чешского национального святого, относится к особому типу средневековых культов святых — культов святых правителей¹. Феномен церковного почитания святых правителей и само появление типического образа святого короля в ряду средневековых святых могут быть причислены к характерным и одновременно парадоксальным явлениям этой эпохи, в которых отразились и специфика духовно-религиозной жизни, и своеобразие представлений о власти². Кульτ св. Вацлава сформировался во второй пол. X в. и в течение двух последующих столетий получил не только широкую популярность, но и специфическое политико-идеологическое звучание. Исследования в сфере средневекового чешского социального и политического сознания позволяют констатировать, что в сер. XI–XII вв. этот кульτ приобрел функции «государственно-политической идеологии», в рамках которой происходило формирование национально-политической идентичности чешского общества, представлений о политическом и национальном единстве Богемии, складывалась система знаков и понятий, обозначающая контуры отвлеченного, трансперсонального восприятия власти и государства³. Будучи в течение последующих столетий вытеснен с позиции специфической квази-идеологической системы формализованными государственно-политическими концепциями, кульτ св. Вацлава выполнял функции существенного элемента политико-идеологической и династической пропаганды, что продемонстрировала стратегия Карла IV во второй пол. XIV в., а образ Вацлава сохранил значение наиболее почитаемого чешского святого и остался символом земли и народа⁴.

Реальным прототипом св. Вацлава был один из первых исторически известных правителей Чехии из династии Пржемысловцев⁵. Несмотря на обилие посвященных св. Вацлаву агиографических сочинений, которые создавались на протяжении всей средневековой чешской истории, аутентичные сведения о реальном князе кажутся на удивление скудными⁶. Исследователям неизвестны ни даты его рождения и смерти, ни его конкретные свершения. Очевидным является лишь то, что время правления Вацлава пришлось на

20-е гг. X в. (в качестве даты смерти называется обычно либо 929 г., либо 936 г.) — сколь основополагающую, столь же и смутную эпоху в чешской истории⁷. Именно в это время начинается процесс политической интеграции чешских племен под властью династии пражских князей Пржемысловцев, установление разнообразных и важных для всей последующей политической и культурной истории Чехии контактов с Германской империей, систематическая организация религиозной и церковной жизни в чешских землях. Сведения об этой эпохе, зафиксированные современными письменными памятниками, на редкость скудны, а более поздняя историографическая средневековая традиция скорее создает мифы, чем воспроизводит утерянные сведения.

Некоторую иллюзию открытости этой темной эпохи для потомков и исследователей создает лишь кажущаяся бесспорность образа самого Вацлава и связанного с ним династического конфликта, которая возникает как следствие их представления и воспроизведения на протяжении столетий в легендах Святовацлавского цикла и опиравшихся на них нарративных текстах⁸. Однако сам жанр агиографического сочинения предполагает, что мы имеем дело скорее с литературной фикцией и идеологическими конструкциями, нежели с верифицированной фиксацией реальности⁹. За исключением самой общей канвы событий, отражающих личную драму Вацлава (конфликт с младшим братом Болеславом из-за проблемы престолонаследия, завершившийся убийством Вацлава) и некоторые аспекты национальной и династической истории (принятие христианства, имена некоторых исторических персонажей и их деяния в сфере церковного строительства), сведения легенд с большим трудом могут быть признаны достоверными и фактографически точными¹⁰. Однако Святовацлавские легенды представляют чрезвычайно заманчивую возможность приоткрыть завесу над ментальной, религиозной и интеллектуальной жизнью начальной эпохи чешской истории. Особое значение с точки зрения данной исследовательской перспективы принадлежит самым первым произведениям цикла, являющимся аутентичными памятниками эпохи.

Первые легенды, посвященные Вацлаву, были созданы уже во второй пол. X в., видимо, вскоре после его убийства. К их числу относятся тексты, написанные как на церковнославянском, так и на латинском языках. Предметом напряженных дискуссий уже в течение двух столетий служат проблемы датировки, филиации и установления генетических связей отдельных текстов¹¹. С определенной условностью три первых и наиболее важных для всей последующей агиографической традиции текста могут быть расположены в следующей хронологической последовательности: 1. Первая Старославянская легенда¹²; 2. *Crescente fide*¹³; 3. Легенда Гумпольда (далее — Гумпольд)¹⁴. Анализ старославянского жития выведен за рамки данной работы в силу того, что в ней изучение идеоло-

ии святовацлавских легенд, точнее — реконструкция их политического и религиозного дискурса, имеет своей целью их сопоставление с западноевропейской агиографической традицией, прежде всего — с агиографией оттоновской Германии. Сравнительное изучение старославянского текста в перспективе латинской агиографии является специфической задачей, которая невозможна без учета проблемы языка, системы используемых им понятий и концептов, равно как и неопределенности историко-культурного и религиозного контекста создания легенды¹⁵. В то же время латинские вацлавские жития обладают презумпцией принадлежности к латинской агиографической традиции, как специфической дискурсивной и жанровой системе.

Возникновение двух первых латинских легенд вацлавского цикла связано с германской церковной средой, их литературное и идеологическое своеобразие предопределены религиозным и политико-идеологическим контекстом оттоновской эпохи¹⁶. *Crescente fide*, по более или менее общепринятому мнению, была написана накануне или вскоре после образования Пражского епископства (ок. 973 г.) баварскими монахами (в Праге или Регенсбурге), включенными в миссионерскую и церковно-организационную деятельность в чешских землях¹⁷. Весьма вероятно, что прямым агиографическим образцом для создателей этого текста послужило житие святого покровителя Регенсбурга — Св. Эмбрама¹⁸. Легенда Гумпольда, как это следует из слов самого текста (р. 147) и считается аутентичным авторским свидетельством, была написана в конце 70-х — начале 80-х гг. X в. епископом Мантуи Гумпольдом по прямому приказу Оттона II (973–983)¹⁹. Текст легенды позволяет сделать вывод о знакомстве автора с *Crescente fide*, на основании чего исследователи оценивают ее как риторическую переработку более ранней латинской легенды²⁰. В то же время сочинение Гумпольда обнаруживает существенную близость к житиям святых представителей династии Людольфингов, созданных на рубеже X–XI вв.

Как каждый из указанных текстов, так и святовацлавский цикл в целом неоднократно были предметом изучения, они породили множество исторических, филологических и текстологических интерпретаций. Думается, однако, что идеологическая структура этих житий, в том числе — отражение в них проблемы этической и религиозной оценки светского правителя, не получила достойного места в кругу обсуждаемых вопросов²¹.

Изучение начальных стадий формирования культа Вацлава, обстоятельств и причин его зарождения связано в силу скудости источников с серьезными сложностями. Анализ его социального восприятия и политико-идеологических функций сосредоточен главным образом на более позднем периоде развития культа, охватывающем XI–XII вв., а также эпоху Карла IV. Эти исследования обращены в первую очередь к выявлению свидетельств не агио-

графических источников (историографических сочинений, иконографии и т. д.); интерпретации агиографических текстов, главным образом поздних сочинений вацлавского цикла, отводится вспомогательная роль²². В результате, идеологическое, или точнее — политико-теологическое содержание святовацлавских житий, остается на периферии научного внимания; вместе с тем, изучение их, в первую очередь с точки зрения эволюции образа святого-правителя, могло бы дать интересный материал для изучения религиозного и политического сознания в средневековой Чехии. Письменные источники конца X — начала XI в. предоставляют более чем скудные свидетельства о социальном контексте возникновения и бытования культа в этот период, равно как и о его идеологической нагрузке. Исследование сочинений, стоящих у истоков культовой традиции, может быть важным не только в плане интерпретации отдельных частных памятников религиозной мысли: агиографический текст представляет огромную ценность как памятник религиозного и политического сознания эпохи, прежде всего — ее интеллектуальной и духовной элиты²³; такое исследование дает шанс получить некоторые косвенные свидетельства об истоках и импульсах формирования культа.

Фигуры святых правителей, представителей королевских и правящих династий, аристократических семей были весьма многочисленны среди средневековых семей. Глубокая укорененность категорий «знатности», «благородства», «власти» для традиционной культуры и сознания германских народов привела к их адаптации и средневековой религиозной мыслью, и агиографией²⁴. Фигура «знатного святого» безусловно доминирует в культовой практике Раннего средневековья, особенно в «северной», заальпийской Европе. Одним из порождений этого сложного культурного и религиозного контекста становится почитание святых королей — первоначально в меровингской Галлии, а позже, с различной степенью интенсивности, и в других регионах Латинской Европы, прежде всего — на так наз. «периферии» христианской Европы²⁵.

Изучение культов средневековых святых правителей и королевской агиографии является одной из актуальных проблем современной историографии²⁶. Исследования в сфере королевской агиографии, значительное число которых появилось в последние десятилетия, разнообразны по тематике и охваченному материалу — от посвященных отдельным культам до больших обобщающих трудов, представляющих сравнительное изучение средневековых королевских культов в рамках отдельных регионов или всей Латинской Европы. Эти работы лежат, как правило, на стыке собственно агиографических штудий и изучения политического сознания Средневековья. Такое расширение традиционной парадигмы за счет проблематики социальных и политических практик, социо-культурных представлений и ментальности отражает

общую тенденцию в современных агиографических исследованиях. Образ святого правителя, его культ и посвященные ему агиографические сочинения были порождены двумя дискурсивными системами средневекового сознания — собственно религиозной рефлексией, с одной стороны, и комплексом представлений о светской власти, с другой. В них переплетались размышления о христианском духовно-этическом идеале, воплощением которого по самой своей природе является образ святого, и артикулированная в агиографическом тексте совокупность идей о святости (так наз. «концепция святости») с рефлексией об этике мирского господства и возможности существования праведной с религиозной точки зрения власти.

Дискуссии среди исследователей вызывает вопрос о важности дохристианских, или точнее — нехристианских, представлений о власти в генезисе феномена королевской святости. Одной из проблем, встающих при обращении к истории королевских культов, является вопрос о правомерности их типологического отождествления со свойственной традиционным обществам моделью «священного правителя»²⁷. Несомненно, что представления о сакральности власти и харизме правителя в той или иной форме присутствовали в средневековом сознании. Несомненно также, что они находились в глубоком взаимодействии с системой христианских религиозных этических установок и церковных процедур сакрализации власти. Степень их интенсивности была различной в массовой и элитарной ученой традициях, и в целом на протяжении Средневековья мифологизированное восприятие власти оттеснялось формальными и рациональными моделями ее осмысления. Культы святых правителей, равно как и средневековые культы святых в целом, не могут быть причислены ни к порождениям сублимированной христианской мысли, ни к сфере архетипических явлений традиционной культуры или массового сознания: их функции и концептуальная эволюция стали результатом взаимодействия и взаимопроникновения этих разных культурных систем²⁸.

С известной условностью можно выделить несколько вариантов историографической интерпретации природы и происхождения культов святых правителей. Ряд исследователей отталкивается от безусловного факта доминирования «знатных святых» и парадоксальности самого феномена «святого правителя», разрушающего одну из основополагающих агиографических антиномий святости и власти. Они полагают, что королевские культы являются своего рода инвариантом архаической мифологемы «сакрального короля», т.е. веры в то, что правитель обладает сверхъестественными свойствами и наделен религиозно-магическими функциями²⁹. Немецкие исследователи, занимающиеся изучением раннесредневековой политической идеологии и в частности влиянием на нее традиционных германских представлений о власти, отчасти трансформируют такой чисто антропологический подход. В частности,

они считают, что раннесредневековое общество восприняло архаическую «германскую» модель харизмы крови и власти, однако столкнулось с необходимостью ее соотнесения с образно-символической и ценностной структурой христианства. Тип «знатного святого» и «святого короля» основывается, по их мнению, на глубокой вере в особую магическую природу власти, которая с принятием христианства облекается в язык новых религиозных понятий и образов, находит свое адекватное воплощение в фигуре династического святого. Этот образ, сохраняя органическую связь с традиционными представлениями, служит своего рода источником легитимации светской власти в контексте христианской религиозной практики³⁰. Культ знатных святых и святых правителей, кроме того, мог функционировать и в качестве дополнительного источника укрепления прав той или иной династии, авторитет которой подкреплялся религиозным прославлением ее членов в качестве божьих избранников и небесных покровителей своего рода³¹.

Другая, как кажется, прямо противоположная точка зрения, формулирует принципиально иную оценку королевской агиографии и культов — они характеризуются как типичное порождение церковной мысли и христианской агиографической традиции³². К числу исследователей, с наибольшей категоричностью ее сформулировавших, относится Ф. Граус, чьи работы по существу открыли королевскую агиографию как особую сферу исторического исследования³³. В частности, он и ряд других ученых отмечают, что идеологическая ткань ранней королевской агиографии построена на характерной для христианского сознания и для раннехристианской агиографической традиции оппозиции мирского могущества и знатности, с одной стороны, и религиозной концепции святости и личного избранничества, с другой. Иначе говоря, святость и религиозная избранность героя не только не обусловлены в глазах агиографов его королевским статусом и происхождением, но напротив, осуществляются несмотря на или даже вопреки их мирскому положению³⁴. Только применительно к святым королям позднейших столетий (конец XI–XII вв.) можно говорить об использовании в королевской агиографии элементов концепции «праведного правителя», созданной христианской церковной мыслью еще на рубеже поздней античности и ставшей на протяжении Средневековья одним из главных топов политической мысли. Стилизация образа святого правителя в соответствии с моделью «*rex justus*» приводила к тому, что номенклатура «достоинств святого» пополнялась за счет качеств, характеризующих светского государя, а образцовое выполнение им светских обязанностей расширяло его религиозные заслуги. Однако сама по себе концепция «праведного христианского правителя» не имеет отношения к архаическим представлениям о харизме власти³⁵.

Более гибким кажется иной подход к проблеме, учитывающий наличие принципиально разнородных культурных источников формирования культов святых правителей. Анализ становления культов святых королей и их функций, идеологии агиографических сочинений показывает, что их происхождение было связано с традиционными мифологемами власти, которые, однако, переосмыслились в системе христианской религиозной рефлексии и культовой практики. Дохристианские (или нехристианские) представления о «сакральном короле», факт наличия которых подтверждается самим выбором фигур правителей как объекта культового почитания в качестве святых, а также рядом прямых свидетельств агиографических текстов, включались в христианский религиозный дискурс, т. е. в иную систему категорий, описывающих феномен и этический код христианской модели личной святости³⁶. Иначе говоря, архаический «миф о правителе», который предполагал некую само собой разумеющуюся «органичность», безусловность его сверхъестественной харизмы, разрушался христианской рациональной рефлексией, требовавшей обоснования и святости героя и доказательства «праведности» функций господства. Справедливой в этой связи кажется точка зрения о том, что культы святых правителей стали одним из специфических источников формирования христианской концепции власти, особым способом бытования средневековой политической теологии³⁷. В королевской агиографии создавались своего рода религиозно-дидактические модели, которые помещали образ правителя в перспективу христианских представлений о мирском могуществе, формулировали нормативные требования к светской власти, претендующей на легитимность в контексте христианских этических и религиозных ценностей³⁸.

Изучение королевских культов и агиографии на разнообразном с точки зрения места происхождения и хронологии материале обнаруживает одновременно и определенные константы их идеологии и социальных функций, и глубокое своеобразие в зависимости от периода и региона распространения³⁹. Отмечу, что разными были не только функции королевских культов и масштабы их распространения, но и идеологические модели, разрабатываемые агиографическими сочинениями⁴⁰. В частности, в королевской агиографии дихотомичность образа главного героя — совмещение в нем духовно-религиозной избранности и земного могущества — неизбежно приобретает оттенок парадоксальности⁴¹. Эта парадоксальность не только была имплицитной структурной характеристикой текста, но и предметом рефлексии, своего рода проблемой, требующей разрешения. Для церковного сознания, безусловно, характерно последовательное разведение духовного и мирского; противопоставление религиозного совершенства и светского могущества являлось важнейшей идеологической конструкцией агиографической рефлексии⁴². Отвержение мирского статуса ради духовного служения от-

носится к числу важнейших стереотипных характеристик святого⁴³. Разрешение этой антиномии могло выражаться в радикальной оппозиции «власти» и «святости» (как в ранней франкской королевской агиографии), или в стилизации функций власти в соответствии с топиной религиозного служения (как в агиографии высоко-го Средневековья), или допущения возможности для святого правителя быть не только образцовым христианином, но и хорошим государем (как в англосаксонской и скандинавской агиографии).

Особым явлением (или, по мнению ряда ученых, особым этапом) в истории западноевропейской королевской агиографии можно считать сочинения, возникшие на рубеже X–XI вв. в Германской империи в период правления династии Людольфingов⁴⁴. Речь идет об агиографических сочинениях, посвященных династическим святым Людольфingов (так наз. «Оттоновские святые»). Их специфика отражает своеобразие социальной, политической и культурной среды, с которой связано их возникновение. С одной стороны, речь идет о политических потребностях правящей династии, стабильно укреплявшей свое могущество и создавшей эффективные институты управления. В последней трети X в. задача прославления династии Людольфingов, осмысления ее истории и пропаганда ее особой роли нашли свое отражение в целом комплексе явлений. К ним можно отнести и ряд историографических сочинений, и новые идеологические концепции и ритуальные практики, обосновывавшие религиозную легитимность власти. С другой стороны, речь идет о мощных неоднородных по своему духовно-религиозному потенциалу реформационных движениях, таких, как монашеские движения Клуни и Горце, в значительной степени повлиявших на культурную ситуацию и духовный климат оттоновской эпохи. Жития святых представителей династии Людольфingов, такие, как житие св. Бруно Кельнского (брата императора Оттона I и архиепископа кельнского), два жития св. Матильды (жены первого правителя из рода Людольфingов — Генриха I) и Эпитафия св. Аделаиды (жены Оттона I)⁴⁵, непосредственно связаны своим происхождением с указанными социально-религиозными движениями⁴⁶.

К числу важнейших особенностей политико-теологического дискурса этих сочинений принадлежат такие идеологические и риторические построения, которые представляются несомненным нововведением в сопоставлении с предшествующей традицией королевской агиографии и обнаруживают типологическую связь с агиографией реформационных монастырских движений Клуни и Горце.

Образ святого, представителя могущественной династии, стилизован в этих текстах в соответствии с топиной образцовой экстраординарной религиозности и личного аскетизма, что, однако, не исключает стремления авторов продемонстрировать активность героя в сфере социального господства и власти⁴⁷. Для этих сочинений важно стремление найти формулу согласования специфи-

ческих качеств святого с его высоким происхождением, светским достоинством и обязанностями⁴⁸. Это обстоятельство кажется существенным, т. к. предшествующая западноевропейская традиция представления святых королей существенно разводила их святость и мирское достоинство: это особенно четко обнаруживается в случае королей (или королев) — аскетов: с точки зрения агиографической репрезентации полноценное осуществление их святости и призвания было возможно только после отказа от мирского достоинства. Логическая оппозиция святость — *dignitas* хорошо прочитывается и в образах королей мучеников, ставших жертвами заговора или вероломства людей из их ближайшего окружения, — сама гибель этих правителей толковалась как знак их божественной избранности и в смысловом отношении является антитезой могуществу и удачливости как традиционному атрибуту правителя⁴⁹. В Оттоновской агиографии, равно как и в ряде текстов, вышедших из религиозно-реформационной среды, осуществляется попытка обоснования принципиальной возможности органичного совмещения личной святости (воплощенной в образцовой личной аскезе и благочестии героя) и мирского статуса святого⁵⁰. Кроме того, агиографии святых Людольфингов свойственна тенденция вписать образ могущественной, обладающей властью личности в религиозно-эсхатологическую перспективу, найти ее место в священной истории спасения — тенденция, которая была вообще характерна для оттоновской историографии. Агиографические тексты придавали этой идеологической конструкции особый смысл, так как религиозная сакрализация политического господства и мирского могущества династии осуществлялась через утверждение ее связи с фигурой «своего» святого, через символическое сближение роли правящего рода и религиозного призвания святого⁵¹.

Эти идеологические тенденции агиографии отражают некоторые существенные черты развития политико-теологического сознания Оттоновской эпохи, в частности, широкое использование им языка религиозных символов и концептов, включение в политический обиход разнообразных элементов христианской ритуальной практики⁵². В политической и исторической мысли этого времени сакральность мирской власти интерпретировалась в религиозных символах и образах, переосмыслялась в контексте эсхатологической перспективы священной истории⁵³. Любопытно, что некоторые важнейшие темы оттоновской политической теологии догригорианской эпохи, в частности, христоцентричность политического дискурса, так наз. Христомимезис правителя, находят свое воплощение и разрабатываются именно в рамках агиографии, посвященной династическим святым⁵⁴.

В предлагаемом ниже анализе святовацлавских легенд я пытаюсь показать некоторые идеологические конструкции этих текстов, имеющих, по моему мнению, прямое отношение к сфере политиче-

ской теологии. В качестве исходных для исследования ставятся две задачи. 1) Выяснение меры соответствия идеологической структуры этих текстов указанным выше особенностям оттоновской агиографии и одновременное раскрытие индивидуальных особенностей данных текстов в интерпретации темы соотношения святости и власти. Истолкование политико-теологических интенций этих текстов могло бы пролить новый свет на специфику королевской агиографии оттоновской эпохи, принимая во внимание происхождение обоих житий из среды германского духовенства, с одной стороны, и их обращенность непосредственно к фигуре правителя, а не к одному из представителей династии, как в случае агиографии святых Людовингов, с другой. 2) Проведение сравнительного анализа структуры и морфологии самих Святовацлавских легенд, который позволил бы выявить сходство и расхождение в использовании тех или иных топов и мотивов, в прямых сентенциях и имплицитно заложенной в текстах идеологической программе⁵⁵. Такое сопоставление текстов одного цикла, тесно связанных генетически и хронологически, представляется весьма любопытным с точки зрения соприкосновения с тем, что можно было бы определить как идеологический ландшафт эпохи, который отнюдь не был монотонно единообразен, как это часто приписывают средневековому сознанию.

1. *Crescente fide: отрицание этической ценности власти в контексте радикального аскетического идеала.*

Легенда, открывающая ряд латинских легенд, посвященных первому чешскому святому, задает формальную схему представления образа и жития св. Вацлава, воспринятую и воспроизводимую последующими сочинениями цикла. *Crescente fide* по существу открывает агиографическую традицию репрезентации истории и образа святого, вводя ее в рамки конвенций агиографического канона. Первая славянская легенда, являясь, вероятно, более ранней по происхождению, сохраняет обособленное положение в силу специфики своей повествовательной структуры: это произведение во многом отличается от типичного жития и сохраняет основные особенности «династической истории». Для понимания трансформаций политико-теологического дискурса последующих житий целесообразно провести детальный анализ своеобразия идеологической и риторической структуры текста в ее целостности и одновременно выявить номенклатуру образов и мотивов, используемых *Crescente fide*.

В первую очередь, обращение к агиографическому тексту ставит вопрос о концепции, или идеале святости, который воплощен в образе героя. В создаваемом *Crescente fide* образе святого важным кажется намеренное, в каком-то смысле сугубое акцентирование сверхъестественного, лежащего вне категории волевого усилия происхождения святости Вацлава⁵⁶. Святость, осмысленная по преимуществу как личное экстремальное благочестие, представлена

автором как результат божественной милости и как изначальная «врожденная» особенность героя⁵⁷. Об этом свидетельствует, в частности, использование автором мотива «чудесного ребенка»⁵⁸: в самом начале жизнеописания святого указывается на его исходную предрасположенность к религиозной жизни, источником которой является божественное провидение (183).

Представляется, что текст легенды представляет божественное предопределение к избранности как источник специфических достоинств святого и основополагающую характеристику самой природы его святости. Задача аргументации святости и демонстрации ее проявлений замещена задачей декларативной констатации избранности героя. Избранность предстает как мистическое качество, что, в частности, проявляется и в ограниченности становящихся атрибутами героя определений — безусловно доминирует термин «*beatus*»⁵⁹, выразительно оттеняемый определением *electus dei* (184). Замечу, что не только в случае с самим Вацлавом, но и в характеристике его предшественников на престоле религиозное благочестие всегда определяется исключительно как результат прямого божественного вмешательства (183)⁶⁰.

Концепция сверхъестественного благочестия и религиозности зафиксирована и в представлении темы религиозного образования героя⁶¹. Она используется автором, чтобы подчеркнуть экстраординарную сверхъестественную религиозность святого. Тягу Вацлава к изучению «Божьего закона» легенда упоминает в числе первых характеристик героя и относит ее проявление к раннему детству (183): в композиционном и смысловом плане это было сохранено и последующими легендами⁶². *Crescente fide* мотивирует начало обучения святого исключительно его личным желанием (183). Способности и тяга к знанию упоминаются в легенде неоднократно, что подчеркивает стремление к созданию образа экстремальной религиозности и проявления личной святости (185).

«Знания» и «обучение» имеют специфический смысл в *Crescente fide*: они лишены какого-либо профанного содержания и имеют сугубо религиозную окраску, что в целом соответствует своеобразию раннесредневекового монашеского отношения к религиозному знанию⁶³. Сакральный смысл *studia* можно обнаружить в следующих элементах.

Во-первых, собственная тяга святого к «учению» и божественное вдохновение практически отождествлены (183, 185), и таким образом мотивация ее лишена момента личного волевого усилия.

Во-вторых, сам предмет *studia* ограничен сугубо религиозным содержанием и определен через ключевое понятие — *doctrina*. Среди книг, упоминаемых в тексте, названы только *psalterium* (184) и «маленькая книжка», используемая специально для молитвы (*libellum parvum... gestabat et cum diligentia recitabat*, 184). Она упомя-

нута в контексте повествования о преследовании святого его врагами. Таким образом, «книга» имеет смысл не только источника религиозного знания, но и сакрального культового объекта, что подчеркнуто и в одном из эпизодов легенды, сообщающем о прибытии к Вацлаву «многих священников с реликвиями святых и книгами» (185).

В-третьих, подчеркивая чрезвычайный уровень мудрости и знаний святого, автор не использует каких-либо понятий, указывающих на возможность их калькуляции. Единственная прямая оценка «мудрости» Вацлава, которая имеет смысл сопоставления, звучит в повествовании об удивлении «всех ученых» (*magistri*) [прибывших из разных земель] его[знанием] доктрины (185), однако эта оценка не акцентирует «объем» знания, но скорее подчеркивает особую религиозную интуицию святого⁶⁴.

Тема *studia* не раскрывает процесс приобретения религиозного знания, она выявляет особый «само собой разумеющийся» характер благочестия святого. Религиозное «знание» практически отождествляется с религиозностью, понятой как медитация и озарение. Оно кажется близким к эзотерическому и мистическому восприятию религиозной истины и в дискурсе легенды лишено черт рационального и личностного процесса обучения и познания⁶⁵.

Идея святости как харизматического качества находит свое развитие и в восприятии благочестия как личностной практики религиозного созерцания и мистического переживания. В ряду форм проявления религиозности Вацлава наибольшую важность имеет состояние погруженности в молитву⁶⁶ (184, 185) и желание бескомпромиссного служения Богу (184, 185, 186, 187). Выбор автором характеристик благочестия святого является важным индикатором разделяемого им представления о святости и образцовой религиозности.

Среди наиболее существенных проявлений образцового благочестия святого автор легенды особо выделяет его строгое следование нормам религиозной и церковной жизни, специально подчеркивает его участие в таинствах и церковных ритуалах. Краткий перечень присущих святому действий и «привычек» может быть составлен следующим образом:

— Упоминание единственной точно названной книги, изучаемой святым, — Псалтири (183) свидетельствует о тенденции отождествления религиозного образования с приобретением навыков церковно-ритуальной жизни: Псалтирь была не только основополагающим текстом в образовательной практике, но и непременным атрибутом индивидуальной молитвы и участия в церковных церемониях⁶⁷.

— Особая приверженность святого соблюдению церковных церемоний, которую автор характеризует как неизменное и строгое соблюдение «активной церковной жизни» (*activam ecclesiae vitam... observabat* (184)⁶⁸).

— Строгое соблюдение поста и паломничество по церквам во время поста (184)/73.

— Тайная работа на поле, связанная с приготовлением вина и хлеба, используемых, что особенно важно, специально для причастия священников (185)⁶⁹.

— Забота о церквах (их функционировании, строительстве), мотивируемая необходимостью поддержания литургической и ритуальной практики (185)⁷⁰.

— Особая забота святого о строительстве храма св. Вита — чрезвычайная важность этого начинания подчеркивается личным участием святого в работах по закладыванию фундамента (186), а также тем, что именно необходимостью завершить строительство (186) автор объясняет задержку Вацлава с исполнением задуманного паломничества в Рим⁷¹.

— Сообщение о прибытии священников из *provincia Bavariorum et de Svevia* сопровождается уточнением, что они привезли с собой священные реликвии (*cum reliquiis sanctorum et libris*) (185).

— Очень краткое и довольно темное упоминание об участии князя в церемонии похорон — *mortuos sereliens*, вероятно связанное с выполнением необходимых церковных процедур (185)⁷².

Характеристика благочестия Вацлава через свидетельства его особой приверженности ритуальным и церковно-литургическим формам религиозности кажется важной для реконструкции создаваемой автором модели святости. Хотя формальная номенклатура «деяний» этого типа не является сама по себе чем-то исключительным для агиографического текста как такового⁷³, тем не менее особое внимание заслуживает их место и удельный вес в повествовании и идеологии легенды. Описание ритуальных форм благочестия является основной, помимо индивидуальной мистической и созерцательной религиозности, характеристикой благочестия, именно эти качества находятся в фокусе повествования о святом и его прославления. Все остальные черты образа подчинены этой теме и/или «работают на ее развитие». В качестве примера можно рассмотреть структуру первого развернутого прославления святого (184 ff.). *Laudatio* начинается с утверждения, что и после возведения в княжеское достоинство Вацлав нисколько не отступил от доктрины (т.е. личного истинного благочестия). Далее следует развернутое перечисление «добродетелей» святого, включая *humilitas*, *miseri cordia*, *largitas*, проявляемых в повседневной жизни (184)⁷⁴. Вторая часть «прославления» состоит из описания исполнения Вацлавом церковных ритуалов и предписаний. Обе части *laudatio* соединены весьма выразительной в смысловом плане фразой — *haec autem et his similia ab ipso tirocinio spiritualiter activam ecclesiae vitam immitans observabat* (184). Как представляется, она указывает на связь между внецерковной (мирской) и церковно-ритуальной сферами проявления качеств святого, которые взаимно переплетены в

повествовательной логике текста. Существенной особенностью жития является имплицитная экспансия темы церковно-ритуального благочестия на все остальные аспекты образа святого.

Отношение к таинству и ритуалу как наиболее адекватным формам выражения благочестия обнаруживается не только в прямых характеристиках достоинств святого, но пронизывает всю образную и литературную ткань сочинения. В частности, весьма интересно представление темы конфликта между святым и его противниками — в одном случае, с матерью и светской знатью (185), во втором — с братом Болеславом и его сподручными (186–187). Противопоставление святого и его противников концептуализировано в понятиях «веры» и «неверия» и прямо указывает на противопоставление избранника Божьего и отверженных⁷⁵. Одновременно оно продолжено и в антиномию различных типов ритуального поведения, приписанных святому и его противникам. Легенда противопоставляет следующие модели поведения: закрытие церквей и выдворение духовенства (185, 187), следование языческим ритуалам (185), с одной стороны, и процветание церкви и покровительство клиру, с другой (185, 186, 187). Отмечу также, что для легенды не свойственна сколько-нибудь существенная эксплуатация антиномии на уровне морального совершенства и личных этических качеств — мотивов явно усиленных в последующих житиях цикла.

К индикаторам общей сосредоточенности легенды на ритуальном благочестии можно отнести и ряд других высказываний. В частности, характеризуя положение святого в эпизоде его вынужденного подчинения враждебной знати, автор отмечает решительный отказ Вацлава участвовать в языческих ритуалах, причем это рассуждение занимает весьма значительную часть всего эпизода (185). Любопытно также, что весьма слабо разработанная тема попечительства Вацлава о соблюдении веры населением представлена лишь одним конкретным эпизодом: легенда упоминает жестокое наказание князем тех «воинов», которые не соблюдали церковных предписаний (186)⁷⁶.

Образ Вацлава демонстрирует мистерияльность и сакральность миссии святого. Об этом, как кажется, свидетельствует и манера репрезентации темы мученичества. Мученичество Вацлава, осуществившееся в акте его убийства братом, в отличие от последующих легенд лишено в *Crescente fide* сколько-нибудь значимых интонаций человеческого трагизма. Эта сцена не имеет нагрузки героического противостояния ни на уровне конфликта из-за политических прав (Болеслав стремится к власти, а Вацлав полностью готов от нее отказаться — 186), ни на уровне религиозного противостояния (автор не акцентирует специально тоpos мученичества за веру, хотя и указывает на преследование сторонников Вацлава после его гибели — 187). В изображении легенды мученичество святого почти лишено и интонаций личного этического выбора: указывая на желание героя

принять мученичество (186, 187), автор не придает ему характера сознательно избранной стратегии поведения, которая могла бы быть истолкована как специфическое дидактическое послание⁷⁷. Тема мученичества использована для углубления двух доминирующих характеристик образа святого: во-первых, готовность принять мученичество акцентирует абсолютное религиозное послушание; во-вторых, предопределение к мученичеству использовано как еще одно свидетельство избранности, святости Вацлава⁷⁸. Тема мученичества, сама по себе отсылающая к парадигматическому уподоблению Христу, не усложнена в этой легенде разработкой христологических мотивов: риторика текста описывает этот акт как формальное ритуальное уподобление архетипической жертве Христа⁷⁹. Все построение сцены убийства прямо соответствует схеме ритуального жертвоприношения — где жертва претерпевает характерную инверсию в избранника Божьего⁸⁰. Вообще, факт мученичества лишен смысловой нагрузки в качестве особой характеристики образа святого, это лишь одно из качеств героя, репрезентирующее его образ как образ святого. Повествование об убийстве Вацлава кажется эмоционально уравновешенным, а его смысловой доминантой является торжество в связи с переходом святого в круг избранных, который и является местом его истинного обитания (187)⁸¹.

Модель святости, представляемая *Crescente fide*, укоренена в системе представлений об элитарной монашеской аскетической духовности⁸². Экстремальное благочестие, выражающееся в радикальном аскетизме и абсолютной религиозной покорности, не только имеет своим источником божественное провидение, но и обращено исключительно к Богу⁸³. Кроме того, это благочестие выражается в особых — ритуальных формах, указывающих на принадлежность к кругу посвященных. В целом, эта концепция святости отражает специфическую духовную и «профессиональную» элитарность монашеского сообщества, практикующего радикальную религиозную аскезу, и противопоставляющего себя «миру». Неслучайно важной чертой образа Вацлава в *Crescente fide* является своеобразная индифферентность к этике и обязанностям правителя.

Заслуживающим внимания аспектом текста, непосредственно связанным с отношением автора легенды к мирской власти и могуществу как одной из характеристик героя, является манера изображения системы социальных связей Вацлава. Две особенности жизни кажутся любопытными с этой точки зрения: во-первых, оно сфокусировано преимущественно на изображении связей Вацлава с церковным сообществом; во-вторых, автор изображает связи со светским сообществом эпизодически и главным образом в откровенно негативных красках.

Взаимоотношения Вацлава с духовенством охарактеризованы как интенсивные, разнообразные и значимые для героя. Можно выделить несколько различных типических ситуаций:

Обучение и обсуждение религиозных вопросов (183, 185);

Попечительство о клире, определяемое даже в категориях служения духовенству (184, 185, 186);

Исполнение церковных ритуалов и участие в них (184, 186);

Щедрость в отношении церкви (184, 185, 186);

Желание (высказанное самим святым, косвенно отразившееся в словах его врагов и отмеченное автором) стать монахом, т.е. формально интегрироваться в духовное сообщество (185, 186)⁸⁴.

Как представляется, одной из центральных в легенде является идея адекватности специфических достоинств и призвания святого церковному сообществу. Поведение святого во взаимодействии с церковным сообществом отмечено двойственностью функций. С одной стороны, его действия соотносятся с этическими требованиями к благочестивому правителю, осуществляющему «защиту и покровительство» в отношении церкви и духовенства⁸⁵. С другой стороны, поведение святого в легенде имеет черты гораздо более интенсивного, чем это ожидалось от светского лица, включения в жизнь церковного сообщества. Квазисвященнический характер поведения Вацлава обнаруживается в ряде эпизодов легенды. В частности, в изображении тайной работы Вацлава (185) автор подчеркивает не только его экстраординарное благочестие и религиозное смирение, но и его участие в подготовке таинства Причастия для духовенства. Как кажется, именно это утверждение является смысловой доминантой данного эпизода. Принадлежность Вацлава не мирскому, а духовно-религиозному сообществу подчеркивается и выделением в качестве основной причины недовольства знати и ее бунта против Вацлава неприятия того, что князь «испорчен клириками и уподобился монаху» (185). Представляется, что определение «монах» используется в легенде не метафорически, а скорее буквально⁸⁶.

Если обратиться к характеристике положения Вацлава в рамках мирского сообщества, то прежде всего необходимо отметить, что все связи святого с мирским сообществом имеют или решительно негативный (радикальное неприятие святого другой стороной) или нейтрально-негативный (не имеющие для героя особого значения связи) смысл. К числу резко негативных можно отнести отношения, представленные следующими эпизодами легенды: недовольство знати и матери святого (185), кульминацией которого становится их открытое выступление против Вацлава; «господство» знати над Вацлавом (185); упоминавшееся выше наказание Вацлавом «воинов», не соблюдающих церковные предписания (186); заговор брата и осуществление убийства Вацлава Болеславом (186, 187); гонения против «друзей» Вацлава после его смерти (187–188).

Во вторую группу эпизодов можно отнести описания легендой того, как Вацлав исполнял обязанности правителя: сюда можно отнести эпизоды его избрания князем и исполнения функций суда и наказания (183, 184). Явный позитивный смысл имеет лишь упо-

минание милосердия святого и его сострадания к «бедным», странникам и т.д. (184, 186), т.е. к представителям социально «слабых», маргинальных групп общества, забота о которых относилась к числу традиционных предписаний религиозного благочестия. В данной связи можно отметить также, что в тексте легенды мы не найдем ни одного примера сколько-нибудь тесных или дружеских отношений Вацлава с мирянами, включая членов его семьи⁸⁷.

Противопоставление святого и светского сообщества проявляется также в противопоставлении автором целей и мотивов их поведения. В частности, если все действия святого подчинены задаче религиозного благочестия, то его мирское окружение характеризуется только через категории неверия и ненависти к христианству. В то время как святой демонстрирует индифферентность к своему мирскому могуществу и желание освободиться от обязанностей власти, его противникам приписана жажда власти. Если святым движет забота о церкви, то его оппоненты стремятся уничтожить церковь и духовенство. Для структуры агиографических текстов вообще свойственно идеологическое противопоставление двух систем ценностей и интересов — мирских и духовных⁸⁸. В случае с *Crescente fide* мы имеем дело, однако, с решительной антиномией двух сфер существования святого: его принадлежностью к миру духовно совершенных, с одной стороны, и его участием в мирской жизни, с другой. Все персонажи легенды откровенно и бесспорно разделены на избранных и отверженных, прямо соотнесенных с истинно верующими и «язычниками». Для автора жития мир избранных (мир, которому святой принадлежит по существу) и мир отверженных прямо соотнесены с церковью и мирским сообществом⁸⁹.

Особый интерес вызывает вопрос о том, как легенда определяет соотношение святости героя и его княжеского достоинства, каково, в целом, ее восприятие мирской власти.

Позиция автора условно может быть охарактеризована через следующие идеологические построения. Во-первых, функции и статус мирского правителя представлены отчасти как нейтральные, отчасти как враждебные по отношению к святости героя. Текст не устанавливает какого-либо позитивного соответствия между призванием и «достоинствами» святого, с одной стороны, и выполнением им обязанностей правителя — с другой. В соответствии с обычаем (как старший сын умершего правителя и избранный «народом» князь) Вацлав принимает обязанности правителя (183), не выказывая ни активного протеста, ни отношения к своей «должности» как к форме религиозного повиновения. Легенда не содержит упоминаний о каком-либо специфическом проявлении его религиозного благочестия непосредственно при выполнении обязанностей правителя. Недовольство знати мотивировано исключительно ее неприятием личной экстраординарной религиозности князя (185), а заговор брата — желани-

ем Болеслава самому захватить власть (186, 187). Святой не выражает недовольства ни в связи с методами управления своих противников, ни по поводу присущей им жажды власти — эти мотивы, развитые позднейшей традицией, совершенно отсутствуют в *Crescente fide*⁹⁰. Любопытно, что эпитеты и определения, указывающие на святость Вацлава, никогда не употребляются в сочетании с его мирским титулом⁹¹.

Такая нейтральность, или индифферентность текста к функциям власти, приобретает отчетливо негативный оттенок в тех случаях, когда текст прямо сопоставляет их со специфическим призванием Вацлава как святого и его преданностью Богу. Автор вводит эту антиномию, отмечая, что, приняв светское достоинство, святой «ничуть не отступил от доктрины» (т.е. благочестия) (184). Кроме того, текст актуализирует мотив противоречия между ожидаемой от правителя этикой и его личной религиозностью, отмечая желание знати добиться того, чтобы князь образумился и отказался от своей веры (185).

В изображении легенды этика светской власти сведена к ряду функций традиционного управления и пропущена через призму религиозного осуждения неограниченного мирского могущества. В частности, легенда отмечает в качестве позитивных, включая их в *laudatio* Вацлава, элементы деятельности правителя, которые могут быть сближены с религиозным этическим кодом, такие, как покровительство в отношении «бедных» и слабых (184), заботу и щедрость по отношению к дружине (184, 186). Житие констатирует и иные особенности традиционной модели господства, например тесную связь правителя и его приближенных (особенно отчетливо в изображении действий сообщников матери Вацлава и его брата в заговорах, направленных против святого — 185, 186–187) и главную роль в выполнении функций суда наказания (184, 186). В качестве сугубо негативной и одновременно естественной (т.е. свидетельствующей не об отклонении, а о норме) характеристики предстает жажда власти, приписанная врагам святого (185, 186).

Любопытно и симптоматично, однако, что легенда не создает сколько-нибудь отчетливой альтернативы «дурной (неправедной) власти» в образе святого. Автор, указывая, что святой следовал «обычаю», отмечает «бегство» святого от выполнения своих обязанностей (суда и наказания) лишь в случаях, когда обычай оказывался чрезвычайно суров и вступал в противоречие с религиозными требованиями (184). *Crescente fide* чужда идея возможности изменения святым существующей практики власти. Две этические системы — личного религиозного благочестия и светской власти — принципиально не пересекаются в восприятии автора, что проявляется и в риторике легенды. В частности в состав той части текста, которую можно назвать *laudatio*, т.е. в декларации достоинств святого, прославляются *humilitas*, *misericordia* и *caritas* (смирение, ми-

милосердие, сострадание) святого (184). Житие не обнаруживает даже намека на возможность представить их как добродетели, важные именно для правителя — они сохраняют смысл традиционной христианской топики личного благочестия⁹². Кроме того, как уже отмечалось, деятельность Вацлава в сфере религиозного и церковного попечительства не связывается напрямую с его властными функциями и характеризует лишь его исключительное личное благочестие. Можно отметить также, что эти качества ограничены рамками сугубо религиозного поведения и не соотносены с повседневными действиями в мирской жизни: автора не смущает упоминание о жестоком наказании святым своих воинов — несколько наивный реализм *Crescente fide* в представлении этого факта был снят в последующих легендах⁹³. В целом, можно отметить, что *Crescente fide* не использует в моделировании образа святого Вацлава топики и логических построений концепции *rex justus*, его представления о функциях господства остаются в рамках традиционного восприятия власти, образ которой, вступая во взаимодействие с религиозной этикой, приобретает негативные черты⁹⁴.

2. Легенда Гумпольда: прославление святого как праведного христианского правителя.

Легенда Гумпольда представляет ряд существенных, в сопоставлении с *Crescente fide*, риторических и идеологических особенностей, которые касаются как концепции святости, так и отношения к феномену светской власти. Как кажется, в основе создаваемой Гумпольдом модели соотношения святости и *dignitas* лежит особое понимание миссии и функций святого, которое предполагает его участие в преобразовании «мира» и принципиально иное, чем в *Crescente fide*, толкование форм выражения святости. Идеологические новации Гумпольда в сравнении с *Crescente fide* кажутся тем более замечательными, что этот текст обнаруживает близость, зачастую — буквальное следование, к предлагаемой предшествующей легендой схеме повествования и репрезентации образа святого⁹⁵. В исследованиях отмечалось, что религиозные и политико-теологические идеи Гумпольда органично вписываются в контекст оттоновской агиографии⁹⁶. Однако эти заключения не имеют за собой действительно детального анализа идеологической и риторической структуры легенды. Между тем, его осуществление кажется важным с точки зрения изучения политико-теологических идей оттоновской Германии, поскольку это единственное агиографическое сочинение, созданное в близкой ко двору Людовингов среде и посвященное непосредственно святому правителю.

Концепция святости, которую выстраивает Гумпольд, кажется более сложной и разнообразной по используемым топосам, чем та, от которой отталкивается автор *Crescente fide*. Подобно своему предшественнику, Гумпольд видит главное проявление святости в исключительной религиозности и благочестии святого. Гумпольд,

равно как и автор *Crescente fide*, рассматривает святость Вацлава как проявление божественной воли и предопределения и даже стилистически усиливает звучание этой идеи (14, 149; 16, 150; 9, 153)⁹⁷. Метафоры и эпитеты, использованные для характеристики благочестия святого, кажутся гораздо более разнообразными, чем у автора предшествующего жития. Эта стилистическая усложненность сочетается с тем, что текст терминологически расширяет номенклатуру тех форм деятельности, в которых проявляется специфическая экстраординарность святого. Благочестие Вацлава у Гумпольда характеризуется как служение (*servire*), борьба, знание *res humana*, следование таким нормам личного поведения, как *humilitas*, *obediencia*, *constancia*, *veneratio*, *obsequio*, и даже как самоограничение в личном благочестии. Это стилистическое разнообразие находит свое продолжение и в прямых определениях святого: наряду с доминирующим в *Crescente fide* понятием «*beatus*» Гумпольд широко использует другие метафоры святости. Как кажется, такое терминологическое разнообразие имеет важное концептуальное значение: оно усиливает идею избранности Вацлава, моделирует характер его отношений с Богом и, наконец, определяет важнейшие параметры его святости и призвания. С точки зрения последнего, важность для раскрытия концепции святости имеет употребление Гумпольдом определений *athleta* и *miles dei*, *sanctus dux* (*princeps*), *sanctus martyr*. Эти термины отражают такие параметры святости, которые были мало значимы для *Crescente fide* и которые приобретают особое место в восприятии святости Гумпольдом. Стилистическое разнообразие описания благочестия, его соотнесение с разными человеческими качествами и состояниями, вероятно, указывает на расширение представления о благочестии как об индивидуализированном и многообразном с точки зрения его выражения качестве.

Выбор Гумпольдом риторических клише для характеристики благочестия святого свидетельствует об акцентировании этического аспекта личной религиозности, который отодвигает на второй план ценность мистической и созерцательной веры, находившейся в фокусе *Crescente fide*. В большей части фрагментов легенды, характеризующих благочестие святого, автор представляет *devotio* не только как отношение к Богу, но прежде всего как детерминанту личных качеств героя, находящихся, как это будет показано ниже, свое продолжение в его практических действиях. Говоря о *humilitas* (смирении — главной этической ценности, характеризующей христианина), милосердии, сострадании, воздержанности, доброте святого, Гумпольд не просто перечисляет идеологические клише. Следование религиозным заповедям задает определенный модус поведения героя, отражающийся в системе действий и социальной коммуникации — в осуществлении власти, в отношении к людям. Неслучайно в легенде получает значительное развитие тема милосердия и сострадания — из формального и краткого замечания в *Crescente*

fide она разрастается в достаточно обширные и выразительные пассажи, звучит при характеристике мотивов поведения героя не только в связи с «бедными» — традиционным объектом религиозной *misericordia*⁹⁸. В этой связи можно упомянуть общепринятое и достаточно очевидное суждение о том, что в дофранцисканской этике *misericordia* и *caritas* носили характер нормативно-формального требования⁹⁹. Однако это не снимает проблему эволюции и разных способов истолкования меры и обязательности его применения в практике личного поведения и в предшествующий период. В сравнении с *Crescente fide* житие Гумпольда демонстрирует несомненно более глубокое соотнесение этих качеств с моральным и этическим кодом личности.

Сближение собственно религиозной этики (этики личного религиозного совершенства) с этикой индивидуального поведения отражается и в появлении у Гумпольда мотива волевого усилия как фактора проявления и укрепления веры и благочестия. Этот мотив развивается легендой как в связи с образом святого, так и в более широком контексте¹⁰⁰. В частности, уже в самом начале сочинения Гумпольд повествует об обращении народов в христианство, развертывая достаточно обширный риторический пассаж из одного вводного высказывания *Crescente fide* (2, 3; 147–148). В этом пассаже мотив божественного вмешательства в распространение веры дополняется темой человеческого участия в этом процессе. С одной стороны, он упоминает усилия «католиков» и «теологов» (147) в распространении веры, с другой — вводит мотив «долгого блуждания» (*longo errabundo*) некоторых народов в поисках веры, хотя в конечном счете за их крещением и стоит божественное предопределение (1, 148). Таким образом антиномия «избранные»–«неверные» в ее земной исторической перспективе предполагает сочетание божественного предопределения с человеческими усилиями в достижении того или иного состояния.

Существенно важной также для толкования феномена святости и призвания святого в дискурсе жития Гумпольда кажется и присутствие в нем (в первых двух главах и во Введении — своего рода прелюдии к представлению образа святого) темы переплетения и взаимосвязи священной истории Спасения и человеческой истории. В *Crescente fide* история Спасения и человеческая история, мир избранных и мир человеческий как бы существуют на разных уровнях, в то время как у Гумпольда их разведенность преодолевается, более того, его отношение к исходу борьбы Бога и дьявола, определяющей человеческую историю, носит весьма оптимистический характер¹⁰¹.

Мотив волевого усилия имеет важное значение для характеристики благочестия и достоинств святого. В определенной степени можно говорить о том, что легенда не чужда идее личного «достижения» веры и ее совершенствования. Это очевидно, в частности,

при анализе раскрытия в житии темы «обучения». В отличие от *Crescente fide*, Гумпольд не редуцирует ее к интуитивному знанию и созерцательной религиозности, которые являются сверхъестественным даром. Хотя Гумпольду не менее, чем автору *Crescente fide*, близка аргументация особых способностей святого к обучению божественным предопределениям (4, 149). Его рассуждение об «обучении» и «знании» святого включает элементы концепции познания как технического процесса, связанного с практическим обучением и приумножением знаний. Гумпольд, в частности, упоминает «многочисленные книги», изучаемые святым (4, 149), отмечает важность усилий учителей Вацлава и родительской инициативы (*parentum cura*) (13, 155). Знакомство святого с «доктриной» не ограничивается целью достижения личной веры; это — своего рода усвоение программы, задающей установки деятельности и предназначенной для практической реализации (13, 155).

В целом, само представление о «знании», артикулированное в житии, кажется достаточно сложным и включает в себя разные элементы: Гумпольд вводит понятия «светского» и «религиозного» знания, отчетливо дифференцирует их. Он разводит как особые типы «знания» светское знание и блестящие риторические способности, с одной стороны, и имеющее настоящую дидактическую ценность религиозное обучение, например, знакомство с повествованиями о жизни святых (Пролог) и историей обращения народов (гл. 1), с другой. В качестве особой категории он выделяет собственно знание Божественного закона¹⁰². Выстраивая традиционную для церковного сознания иерархию этих уровней знания, в которой «мирским вещам» отводится наименее значительное место, он вместе с тем демонстрирует своеобразный снобизм средневекового интеллектуала, признавая их значимость с нарочитым скептицизмом (Пролог, 146). В целом, концепция обучения не лишена у Гумпольда, как кажется, элементов отношения к нему как специальному тренингу, направленному на укоренение веры.

В житии Гумпольда реализация святым своего благочестия и религиозной покорности в несравненно большей степени, чем в предшествующем тексте, связана с необходимостью личного выбора и волевого усилия. Автор ставит своего героя перед необходимостью ограничить свое стремление полностью посвятить себя служению Богу в связи с необходимостью выполнять мирские обязанности (4, 149; 13, 155), заявляет об осознании Вацлавом осуществления функций правителя как формы религиозного повиновения (5, 149), наконец, Гумпольд отчетливо акцентирует момент сознательного выбора, героизируя желание святого отстаивать свою веру перед лицом противников (9–10; 153–154; 13, 155 и др.).

Еще одно существенное отличие жития Гумпольда от *Crescente fide* в понимании природы святости раскрывается в характерных для этого текста чертах динамической репрезентации образа свято-

го. Своеобразная эволюция героя задается его движением в сторону «преумножения» благочестия. Гумпольд, вместе с тем, не сводит этот процесс только к чисто личностному совершенствованию, он отмечает нарастание желания святого осуществить свою веру в более «совершенных» делах (13, 155–156). Автор не чужд пониманию и «антропологической» обусловленности этого желания, связывая его с процессом взросления героя¹⁰³.

Риторическим приемом, оттеняющим этический аспект благочестия святого, является более интенсивное, чем в *Crescente fide*, использование сопоставления Вацлава с иными персонажами. Гумпольд уделяет несравненно большее, чем его предшественник, место характеристикам как антагонистов Вацлава, так и его «предтечи» — бабки Людмилы, мученически убитой за веру (9, 10; 153–154). Гумпольд характеризует «сопутствующих» герою персонажей легенды не только с точки зрения их религиозности, но и — иногда весьма подробно — останавливается на присущих им личных качествах (9, 10, 11, 12, 15, 17 etc.). Гумпольд широко использует топику этического дискурса (можно отметить как прямую антиномию личных качеств святого и его врагов, так и прямые параллели в описании достоинств Людмилы и Вацлава¹⁰⁴), что несколько ослабляет, точнее — делает его более сложным, прием прямого противопоставления по чисто религиозным критериям. Враги Вацлава являются таковыми у Гумпольда не только потому, что они язычники или враги веры в буквальном смысле слова¹⁰⁵. Можно также отметить органическую совместимость собственно религиозных и собственно этических характеристик в создаваемых Гумпольдом портретах. С одной стороны, религиозное совершенство или неверие являются трансцендентными и сверхъестественными — неслучайно и Вацлав, и его враги в значительной степени выступают как орудие в руках Бога или дьявола (15, 157; 17, 158 др.). С другой — очевидна тенденция показать индивидуальные моральные и этические соответствия сверхъестественной предопределенности ролей. Образ святого и его история оказываются таким образом на пересечении как эсхатологического, так и собственно земного исторического процесса.

Дидактический подход Гумпольда к задаче повествования о святом и этическое восприятие святости¹⁰⁶ находят свое отражение и в специфике его понимания адекватных форм проявления образцовой религиозности и достоинств святого. В дискурсе Гумпольда можно отметить отчетливое преобладание ценности экстериоризованной религиозности, при которой святой сам демонстрирует свои качества (осуществляет свою миссию) в системе обращенных вовне актов и деяний, над созерцательным благочестием. Осознание миссии святого как публичного, социально значимого явления подчеркивается требованием автора придать широкую известность персоне своего героя и его свершениям¹⁰⁷. В известном смысле сочинение Гумпольда является не столько описанием достоинств святого, сколько

повествованием о его «деяниях», и в этом отношении оно кажется очень близким к идеологическим интенциям немецкой агиографии, возникшей в среде горцской монастырской реформы¹⁰⁸. Понятия *asta* и *opus* святого имеют ключевое значение в сочинении Гумпольда, выражая, с одной стороны, основной предмет его сочинения, с другой — главную форму выражения благочестия и святости героя¹⁰⁹. В отличие от *Crescente fide*, Гумпольд не ограничивается изображением Вацлава в разных ситуациях, но проявляет особый интерес и вкус к повествованию о событиях, прежде всего — о поведении героя в тех или иных обстоятельствах¹¹⁰.

Нарративность текста Гумпольда предопределяет драматизм и динамизм повествования. Думается, что эти особенности не могут быть объяснены только через формально-стилистическое своеобразие легенды, они, видимо, отражают специфику дискурса и идеологических предпочтений автора. В этой связи можно упомянуть изменение Гумпольдом смысла и функциональной значимости в рамках сочинения основных эпизодов легенды, таких, как описания действий Вацлава в роли правителя, рассказ о его пророческом предвидении гибели Людмилы, эпизоды недовольства и мятежа знати, сцена убийства святого¹¹¹. Можно отметить две, как кажется, принципиальных установки автора. Во-первых, обязанность представить святость как качество, воплощенное в «способе жизни», точнее в «способе действия»¹¹². Во-вторых, желание продемонстрировать «публичность» качеств святого, их направленность к определенной аудитории и воздействие на нее¹¹³. Обе идеи кажутся принципиально чуждыми для предшественника Гумпольда с его преимущественной концентрацией на медитативном благочестии и идеей индифферентности святого к социальной жизни.

Повествование о деяниях как средство характеристики святого используется Гумпольдом двумя различными способами. В первом случае — это прямое изображение поведения героя. Во втором — это описание поведения его врагов, причем принцип контраста деяний имеет важное значение в идентификации образа самого святого. Типология «деяний» Вацлава, учитывающая смысловые изменения общей схемы изложения и основных эпизодов в сопоставлении с *Crescente fide*, может быть представлена следующим образом.

1. Забота о церкви и участие в религиозных церемониях. В целом, при изображении этой группы «жестов» благочестия, Гумпольд следует номенклатуре фактов, предложенных *Crescente fide*, однако в контексте легенды их удельный вес значительно снижен по сравнению с *Crescente fide*. Он упоминает приверженность Вацлава церковным обрядам и предписаниям, строгое соблюдение поста, щедрость и заботу о клире, материальную поддержку и попечительство о церкви. Нововведения Гумпольда могут быть обнаружены в — порой существенной — ревизии предлагаемой его предшественником интерпретации смысла этих жестов и деяний. В частно-

сти, он отказывается от тенденции более раннего жития придать им смысл имитации поведения клира или знака принадлежности к среде духовенства. Так, в изображении эпизода тайной работы на полях Гумпольд снимает специальный акцент на служении Вацлава клиру и его квазисвященнической причастности к церковному таинству. Он особо подчеркивает морально-этический смысл этих действий, говоря о чрезвычайном смирении (*humilitas*) героя, которое он противопоставляет его светскому величию (8, 152). Эта инверсия «достоинств» служит задаче прославления исключительности Вацлава именно как правителя — исключительности, в рамках которой личное религиозно-этическое совершенство противостоит традиционным представлениям об этике мирского могущества¹¹⁴.

В описании жестов религиозного благочестия Гумпольд избегает откровенной идентификации героя с церковной средой. В частности, он опускает замечание *Crescente fide* о строгой приверженности Вацлава личному целомудрию (157), равно как и акцентирование предшественником темы прямой имитации святым норм монашеской жизни¹¹⁵. Снимая эти частные акценты и детали, Гумпольд придает иной смысл всей характеристике благочестия святого. Оставаясь исключительно интенсивным для светского лица, участие Вацлава в церковно-религиозной жизни сохраняет признаки отстраненности героя от церковной среды¹¹⁶. Таким образом у Гумпольда концепция образцового благочестия не идентифицируется прямо со специфическим монашеским аскетизмом. В целом, характеристика Гумпольда вполне укладывается в парадигму церковной программы поведения христианского правителя, с точки зрения как личного благочестия, так и активной защиты и покровительства церкви.

Одной из ситуаций, в которых находит свое отражение эта активность Вацлава, можно считать описание Гумпольдом его отношения к неверию народа. Тема миссионерско-попечительских усилий святого имеет весьма слабое звучание в *Crescente fide*, будучи представлена краткими замечаниями о глубоком сожалении героя по поводу неверия народа и о наказании не соблюдающих церковных предписаний воинов (184, 186). Гумпольд в целом не выходит за пределы содержащихся в *Crescente fide* данных, однако изменяет их композиционное расположение, усиливает риторическую выразительность и добивается изменения концептуального значения этого упоминания (7, 151; 13, 155–156). В частности, в рамках первого *laudatio* святого (гл. 4–8), предшествующего эпизоду мятежа знати, на место краткого замечания о направлении блуждающих на путь истины (см. в *Crescente fide*, с. 184) Гумпольд помещает развернутое повествование (7, 151), что придает смысловой вес с точки зрения общей характеристики достоинств святого этой маргинальной для предшествующего текста сфере деятельности героя¹¹⁷. Автор точно определяет границы ситуации и логики поведения своего героя — сообщает о неверии народа, находящегося под опекой князя,

о практике языческих обрядов (это упоминание приобретает более широкий смысл, чем в *Crescente fide*, где оно используется сутобо с целью характеристики мятежной знати — 185), об усилиях святого обратить народ на путь истины. С этой апостольской миссией пере-кликается замечание о процветании веры и упоминание наказания приверженцев варварских обрядов (13, 156). Характерно, что хотя Гумпольд указывает на милосердие и доброту Вацлава в его усилиях укоренить веру (с. 151) — в том числе придает отвлеченный метафорический смысл замечанию *Crescente fide* о наказании виновных в соблюдении языческих обрядов (с. 156), однако он сохраняет за действиями святого смысл насильственного обращения и контроля за религиозной жизнью подданных. Это вполне созвучно традиционной раннесредневековой практике так наз. «политической религиозности».

2. Важным элементом сочинения является развертывание темы борьбы святого с его личными врагами и противниками веры. Гумпольд преодолевает созданную *Crescente fide* схему изображения отношений с антагонистами, которая основана на мотивации поведения героя исключительно его желанием избежать какого-либо контакта с ними и получить свободу для осуществления личного благочестия¹¹⁸. Он трансформирует ее в модель решительного, драматического противостояния: этот эффект достигается как за счет прямой демонстрации отношения Вацлава к действиям его врагов и реакции на них, так и за счет использования приема метафорического противопоставления типов поведения. Такое противопоставление не просто констатируется автором, осознание такой антиномичности он приписывает и своему герою¹¹⁹.

Эта особенность образа святого со всей очевидностью раскрывается в изображении эпизода мятежа, организованного его матерью в союзе со своими сторонниками. Повествуя об этой ситуации, Гумпольд полностью разрушает создаваемый *Crescente fide* образ святого, «нечувствительного» к манере поведения и целям его врагов. Не только желание свободы осуществления личного благочестия, но и потребность сопротивления действиям противников предстают в интерпретации Гумпольда в качестве мотивов поведения святого. Изменяя «идеологическую» нагрузку эпизода, Гумпольд перестраивает и его композицию.

а) Из краткого упоминания в *Crescente fide* о видении и пророчестве святого, предрекающего мученическую гибель Людмилы, которое предваряет рассказ о мятеже знати, Гумпольд создает пространное повествование (9, 10, 11). В идеологическом плане это важно не только как использование темы визионерских и пророческих способностей святого для подтверждения его святости. Существенно и то, что видение мученичества Людмилы функционально значимо для развертывания последующей истории святого: оно предвещает грядущую ситуацию конфликта и мученическую гибель святого¹²⁰.

Автор использует этот эпизод с целью продемонстрировать равным образом и личную решимость святого защищать веру, и отношение Вацлава к действиям его антагонистов¹²¹. b) В изображении ситуации «пленения святого» знатю Гумпольд особенно подчеркивает глубокий внутренний протест героя и его готовность к сопротивлению (12, 155)¹²². c) Принципиальной инновацией Гумпольда можно считать введение мотива несогласия с действиями и мотивами поведения как основной причины недовольства знати Вацлавом, с одной стороны, и его решительного протеста против мятежников — с другой. d) Наконец, по сравнению с *Crescente fide* Гумпольд сильнее акцентирует готовность Вацлава к решительному сопротивлению своим врагам; наделяет героя таким качеством, как способность к энергичной реализации своих намерений, включая использование силы и наказания. У Гумпольда стремление святого к свободному выражению личного благочестия совмещается с готовностью к подавлению противников.

3. Значение наиболее важного из «деяний» святого приобретает его мученическая гибель. Вообще тема мученичества Вацлава приобретает особое, возможно — исключительное значение в контексте легенды Гумпольда. Автор не только дает весьма обширное и драматическое описание сцены убийства (18, 19; 159–160), но и проводит тему мученичества в качестве рефрена всего сочинения: она звучит и в упоминании святых мучеников, которым посвящают храмы; становится прямым предвещанием судьбы Вацлава в повествовании о гибели Людмилы. Автор нарочито акцентирует готовность Вацлава принять мученичество, подчеркивая, что такая судьба является не только знаком божественного избрания, но и итогом личного осознанного выбора (10, 11, 15, 17). Вообще, мученичество становится у Гумпольда одной из наиболее важных характеристик святости Вацлава — неслучайно, в отличие от *Crescente fide*, это житие неоднократно определяет героя именно как святого мученика¹²³.

Гумпольд обнаруживает отчетливое желание продемонстрировать активность святого в сцене убийства — этом финальном событии его личной истории. Описание убийства не только гораздо более пространно и литературно выразительно, чем в предшествующей легенде, но оно представляет собой действительную смысловую и событийную кульминацию сочинения. Гумпольд вносит два целенаправленных и значимых изменения в предлагаемую *Crescente fide* интерпретацию событий. Во-первых, он проявляет большой интерес к описанию реальных событий — замыслу и мотивам убийства, его подготовке, поведению Вацлава и его врагов, детальному изображению самой сцены убийства. Такая манера повествования свидетельствует, что религиозный смысл гибели святого — безусловное подтверждение его статуса божьего избранника и участника эсхатологической борьбы добра и зла — соотносится с «историческим», человеческим уровнем существования святого, пересекается

со смыслом реальных политических событий. Во-вторых, Гумпольд изображает своего героя как активно действующего персонажа — его избранничество проявляется не в пассивной жертвенности, а в активном утверждении своей веры вплоть до готовности умереть¹²⁴. Поведение святого в сцене убийства получает смысл своего рода религиозно-этического наставления, содержание которого может быть определено как готовность к преодолению человеческой природы ради выполнения религиозной миссии. Изображение мученичества Вацлава Гумпольд более отчетливо, чем *Crescente fide*, выстраивает в соответствии с парадигматической моделью *Imitatio Christi*.

Описывая гибель святого, Гумпольд мастерски демонстрирует переплетение земных и сверхъестественных аспектов этого события; одновременно он четко определяет их истинную иерархию. Указывая причины убийства, Гумпольд демонстрирует наличие реальной человеческой контрверзы. В частности, он отмечает, что желание Болеслава захватить власть (15, 157; 17, 158; 20, 161) натолкнулось на решительное противодействие Вацлава: готовность святого отказаться от престола и отправиться в паломничество в Рим сдерживается, в толковании Гумпольда, тем, что герой негативно относится к возможности захвата власти братом (17, 158). Однако в ходе дальнейшего развития событий поведение Вацлава преодолевает границы обычной человеческой логики — точнее, логики поведения в реальной политической ситуации. В отличие от *Crescente fide*, Гумпольд создает обширное детальное описание подготовки убийства, которое должно продемонстрировать волю Вацлава принять судьбу (18–19; 159). В изображении самой сцены убийства Гумпольд фокусирует внимание на отказе Вацлава от возможности избежать смерти (с. 159) и наказать своего брата (с. 160). Святой отвергает шанс выйти победителем в столкновении со своими врагами и отказывается убить Болеслава — Гумпольд придает этому решению форму эффектного демонстративного жеста. Парадоксальность поведения Вацлава, отказывающегося поменять роль жертвы на роль победителя (не реализованная инверсия в плоскости человеческого конфликта) оборачивается инверсией жертвы в победителя в системе религиозного толкования смысла событий. Религиозно-этический смысл события — это отказ от нормального, ожидаемого поведения ради утверждения христианской этики смирения. Эта сцена несет и отчетливую героическую окрашенность. Вацлав предстает как герой, мужество которого достигает своей кульминации в осознанной готовности стать побежденным.

Особый интерес Гумпольда к «деяниям» святого логически согласован с общим вниманием автора к соотношению норм собственно религиозного и морально-этического совершенства героя. В целом, для дискурса жития характерно движение к «социализации» проблемы религиозной этики, поиску путей совмещения святости и реальной религиозности со сферой исторического и земного. Эта

специфика идеологической ткани легенды составляет основу и для осмысления в ней проблемы соотношения мирского достоинства и святости героя.

Мирское достоинство и соответствующие ему функции власти получают в легенде Гумпольда гораздо более интенсивное освещение, чем в *Crescente fide*. Княжеское достоинство и обязанности святого воспринимаются Гумпольдом в качестве значительного аспекта его личности, так или иначе они находятся во взаимодействии с его специфической религиозной миссией. Внимание к мирскому статусу героя обнаруживается в ряде равным образом и формальных, и концептуальных элементов текста. К числу первых можно отнести, в частности, использование для обозначения Вацлава определений типа «святой правитель», а также сохранение в перечне чудес святого (их номенклатура определена уже в *Crescente fide* (с. 188–190)) всех его посмертных деяний, связанных с освобождением заключенных, т.е. чудес, имеющих непосредственное отношение к социальному статусу святых-правителей, и даже усиление их значения¹²⁵. Повествование о действиях Вацлава в качестве правителя занимает в чисто количественном отношении значительное место в общей структуре жития (гл. 5, 6, 8, 13, 14, 15).

Обсуждение проблемы мирского статуса святого является не только риторической, но и идеологической задачей, решение которой во многом подчиняет себе общую концептуальную стратегию текста. Предваряя анализ текста, следует отметить, что общая тенденция легенды кажется весьма близкой к идейным построениям оттоновской агиографии и общему развитию политико-теологического дискурса эпохи.

Отношение к мирскому достоинству святого отмечено чертами оценочного дуализма. Гумпольд стоит перед неизбежной необходимостью постоянной рефлексии по поводу соотношения двух статусных характеристик героя: *dignitas* правителя и величия святого. Постоянное соседство в ткани рассуждения религиозных категорий, характеризующих благочестие святого, его устремленность к *res divina* и оценок выполнения им обязанностей правителя имеет своей целью выяснение критериев религиозного оправдания светской власти. С одной стороны, в тексте неоднократно повторяется мысль об изначальной противоположности качеств исключительной религиозности и мирского достоинства — она артикулируется самим автором и вместе с тем вложена в уста его персонажа. С другой стороны, Гумпольд разрабатывает идею оправданности — и специально религиозной оправданности — исполнения святым мирских обязанностей. Автор интерпретирует его готовность принять *dignitas* и серьезное отношение к выполнению обязанностей правителя как форму проявления религиозной покорности и специфический долг, непосредственно обусловленный его статусом идеального христианина (5, 149; 6, 150; 7, 150; 13, 155–156). В частности, он отмечает

личную ответственность святого, истолкованную как религиозный долг, за порядок и благочестие в рамках вверенного ему сообщества. За прегрешения своего народа святой может понести наказание, если не будет препятствовать им, следуя мирскому закону (5, 149)¹²⁶. Святой отказывается от абсолютного посвящения служению Богу перед лицом необходимости выполнения своих социальных функций (5, 149; 13, 155), что истолковано автором и осознано самим героем как специфическое проявление благочестия. Гумпольд, тем не менее, не забывает отметить, что выполнение мирских обязанностей не мешало святому в полной мере предаваться божественным вещам (5, 149). Принятие *dignitas* в качестве особой формы религиозного служения и призвания святого представляет собой решительную инверсию изначальной схемы образа святого, предлагаемой *Crescente fide*.

Признание мирских обязанностей в качестве сферы, на которую распространяется ответственность святого, кажется близким пафосу житий оттоновских династических святых, в первую очередь Жития св. Бруно Кельнского, написанного Руотгером¹²⁷. Одновременно можно отметить отличие Легенды Гумпольда с точки зрения аргументации возможности согласования «*dignitas*» и «*sanctitas*» от королевской агиографии эпохи соперничества папства и светской власти (кон. XI–XII вв.). Если в пропаганде и агиографии поздних святых (Карла Великого, Эдуарда Исповедника, Генриха II, в значительной степени — Стефана I и некоторых скандинавских святых) особое значение в качестве подтверждения их святости имела религиозная мотивация именно их поведения в качестве правителей — его нацеленность на защиту церкви и распространение веры¹²⁸, то логика Гумпольда носит прямо противоположный характер. Действия святого в качестве правителя являются своеобразным продолжением его личного религиозного совершенства и избранности. Именно личное образцовое благочестие сохраняет значение главного свидетельства святости героя, сопоставление с ним высвечивает изначальную ущербность сферы мирских функций святого. Антинормичность является главной особенностью дискурса Гумпольда, который, с одной стороны, признает возможность согласования власти и святости, а с другой — постоянно актуализирует их противопоставление.

В представлении Гумпольда отношение Вацлава к своим мирским обязанностям носит характер активного и сознательного действия (5, 149; 6, 150; 7, 150; 13, 155). Это является еще одним существенным отличием данного жития от *Crescente fide*, выбирающего для своего героя этику пассивного неучастия. В тексте Гумпольда повествование сосредоточено главным образом на собственно светских обязанностях правителя, среди которых он не выделяет прямо и не обозначает в качестве наиболее значимых функции, связанные с осуществлением защиты и покровительства церкви.

Две функции власти привлекают внимание автора в процессе репрезентации святого в качестве правителя — выполнение обязанностей судьи и забота о поддержании права и справедливости. Автор подчеркивает в своем герое уважение к общепринятым обычаям и правам и заботу об их действенности (5, 149; 6–7, 150). Гумпольд характеризует Вацлава как истинного попечителя о благе своего народа (5, 149 etc.), который заботится о добром праве для «народа» и воинов, стремится к поддержанию мира и благополучия, пресекает преступления и неповиновение своих подданных — тема отеческой опеки кажется очень важной в повествовании автора. Следуя традиционной модели «доброго правителя»¹²⁹, автор, вместе с тем, привносит в нее очень важный мотив относительной ценности мирского обычая, рассмотренного с точки зрения религиозных требований. Отчетливо подчеркивая желание привнести «божественное право» в жизнь подопечного народа (5, 149; 6, 150; 7, 150; 13, 156), Гумпольд отмечает усилия святого по изменению существующей практики: он дает лучшее право своим подданным (5, 149); изменяет, руководствуясь евангельскими требованиями, практику суда и наказания в сторону смягчения их жестокости. Последнее замечание, учитывая исключительную важность категории «права» для средневекового сознания, кажется особенно существенным. Оценка Гумпольда кажется более выразительной в ее смысловой наполненности при сопоставлении с используемым им текстом *Crescente fide*: последний, констатируя участие Вацлава в суде, отмечает, что тот, не желая быть причастным к особенно суровым наказаниям, покидал заседание. Гумпольд подробно характеризует деятельность Вацлава по изменению наиболее суровых норм и отмечает, что только в случае решительной невозможности изменить обычай тот покидал заседания, испытывая глубокое неприятие наиболее жестоких наказаний (6–7, 150). Особая религиозно-этическая обусловленность этой деятельности подчеркивается и замечанием о следовании святым в качестве нормативно значимых для него евангельских требований, и рассказом о личном милосердии Вацлава в отношении осужденных (7, 150).

Активность действий святого, осознание им своей ответственности правителя выражены и в другой категории деяний — сопротивлении врагам. Поскольку подробный анализ структуры этих сюжетов был дан выше, отмечу лишь, что и в первом (бунт матери святого и ее сторонников), и во втором случае (заговор Болеслава) враги Вацлава оценены автором и осмыслены самим героем в качестве его политических противников. Сопротивляясь насилию знати (13, 155д.), выражая готовность воспрепятствовать стремлению Болеслава к власти (15, 157; 17, 158), святой мотивирует свою активность не только тем, что выполнение функций правителя является его религиозным долгом, но и необходимостью пресечь попытки

недругов захватить власть. Вообще, как кажется, в манере стилизации Гумпольдом образа Вацлава можно отметить ту же особенность, которую Э. Ауербах обнаруживает в житии Бруно Кельнского — а именно, сочетание радикального аскетического благочестия и воли к власти¹³⁰.

Необходимо указать и еще на одну существенную сторону политического дискурса легенды. В отличие от предшествующей легенды, Гумпольд создает в рамках своего сочинения два образа — две идеологических модели: праведного и неправедного правителя. Характерно, что образ «праведного правителя», представленный Вацлавом, включает набор не только профанных этических характеристик, но и имеет отчетливое религиозное оправдание. Одновременно, его враги представляют антагонистов святого не только в борьбе за власть и в своих морально-этических качествах, но и в сфере собственно религиозного противостояния. Образ неправедного правителя формируется как из этических характеристик — жестокость, насилие, гордыня, ложь, так и из их негативной роли в эсхатологической перспективе — поборники и орудие дьявола, враги веры. Образ «праведного правителя» включает как требование заботы об общественном благополучии, мире, законе, личное милосердие, так и собственно религиозные функции, а именно особую роль в борьбе с дьяволом и в развитии истории спасения.

Одним из важнейших элементов образа Вацлава как персонификации праведного христианского управления является признание за ним качеств личного совершенства, совпадающих с требованиями религиозной этики. Гумпольд, как отмечалось выше, подробно и выразительно характеризует *misericordia*, *humilitas* и *caritas* своего героя. Эти качества, с одной стороны, являются прямым выражением и продолжением его религиозного благочестия, однако, с другой, Гумпольд специально обращает внимание на их важность для правителя. Таким образом, признание соответствия между религиозным совершенством и безукоризненностью действий находит свое продолжение в утверждении обязательности для светского правителя практического следования религиозным этическим требованиям. Мне кажется, что эта конструкция Гумпольда очень важна для понимания общих оснований его отношения к проблеме мирской власти. Несомненно, что позитивные аспекты власти — поддержание мира и закона, функции суда, попечительства и защиты подданных, удачливость в одолении врагов — находят свои источник и основание не в личной магической харизме, но в религиозно-этическом совершенстве правителя.

Говоря в целом об отношении Гумпольда к феномену светской власти, можно отметить, что характерное для элитарного религиозного дискурса негативное отношение к мирскому могуществу совмещается здесь с тенденцией определить критерии его религиозной легитимности. Религиозное оправдание власти в логике Гумпольда

использует в качестве аргумента не столько содержание и масштабы действий правителя, сколько мотивы и методы поведения; неслучайно именно этот аспект актуализирован в описании действий и «деяний» Вацлава. Главным, таким образом, является само личное религиозное и религиозно-этическое совершенство героя. Легенда Гумпольда представляет и иной религиозно-сакральный ракурс светской власти — участие праведного и «святого» правителя в осуществлении истории спасения. Фигура правителя, сочетающего личную святость с функциями мирской власти, приобретает исключительную важность в совмещении этого процесса с человеческой историей. Легенда Гумпольда отражает не только наиболее существенные тенденции политической теологии оттоновского периода, такие, как религиозная сакрализация образа правителя, артикуляция религиозно-этических требований к носителям власти, создание эсхатологической религиозной перспективы для осмысления истории империи и господства Людовингов, усиление тенденции христуподобления правителя, но и дает им весьма своеобразное выражение.

Примечания

- ¹ Все ссылки на тексты легенд даны по изданию *Fontes rerum Bohemicarum, Vitae Sanctorum*. Т. I/2. Praha, 1876. Обращение к другим изданиям оговаривается в примечаниях. Изучение святовацлавского культа и агиографической традиции представлено солидным комплексом работ: филиация, текстологические связи, датировки и контекст происхождения легенд, особенно лежавших в основании традиции, является уже около двух столетий сферой споров и концептуальных построений. Из наиболее основательных работ, посвященных агиографической традиции, можно указать следующие сочинения: *V. Chaloupecký*. Svatovaclavský Sborník. II/1. Praha, 1939; *J. Ludvíkovský*. *Crescente fide*, Gumpold and Christian // *Sborník Prací Filologické Fakulty Brněnské University* (далее — SP FFBU) D1, 1955, 57–63; *Idem*. Kristian či tzv. Kristian // SP FFBU E9, 1964, 139–147; *Idem*. The Great Moravian Tradition in the 10th Century Bohemia // *Magna Moravia*. Brno, 1965; *O. Králík*. K počátkům českého dejepisectví. Praha, 1968; *J. Pekař*. Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians. Praha, 1906; *D. Trěštík*. Deset tezí o Kristianově legendě // *Folia Historica Bohemica* 3, 1981, 7–38; *Idem*. Počátky Přemyslovců. Praha, 1981 (далее — PP).
- ² *H. Beumann*. Die sakrale Legitimierung des Herrschers im Denken der ottonischen Zeit // *Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germanische Abteilung* 66, 1–47; *L. Bornscheuer*. *Miseriae regum*. Untersuchungen zum Krisen und Todesgedanken in der herrschaftstheologischen Vorstellungen der ottonisch-salischen Zeit. Berlin, 1968; *W. A. Chaney*. The Cult of Kingship in Anglo-Saxon England: The Transition from Paganism to Christianity. Manchester, 1970, 15 ff.; *P. Corbet*. Les saints ottoniens. Sainteté dynastique, sainteté royale et sainteté féminine autour de l'an Mil. Sigmaringen, 1986; *F. Graus*. Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merovinger. Prag, 1965; *E. Hoffmann*. Die heiligen Könige bei den Angelsachsen und den skandinavischen Völker. Neu-

münster, 1975; *G. Klaniczay*. The uses of Supernatural Power. Princeton, 1990; *J. Nelson*. Royal Saints and Early Medieval Kingship // Sanctity and Secularity: The Church and the World. Oxford, 1973, 39–44; *R. Wenskus*. Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt. Münster; Köln, 1956. *R. Folz*. Le Souvenir et la Légende de Charlemagne dans l'Empire germanique médiéval. Paris, 1950. *Idem*. Trois rois saints «souffre-passion» en Angleterre: Osvin de Deira, Ethelbert d'East-Anglie, Eduard le Martyr // CRAIBL, jan.-mars, 1980, 36–49; *Idem*. Les saints rois du Moyen Âge en Occident (VI–XIII s.). Bruxelles, 1982; *K. Gorski*. Le Roi-Saint. Un problème d'idéologie féodale // Annales ESC 24, 1969, 370–376; *A. Vauchez*. La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge. Rome, 1981, 187 ff.; *J. M. Wallace-Hadrill*. Early Germanic Kingship in England and on the Continent. Oxford, 1971.

- ³ История развития культа Св. Вацлава, наиболее значительного святого средневековой Чехии, до наших дней являющегося национальным и государственным символом, представляется одним из традиционных сюжетов национальной историографии. Наиболее значительный вклад в изучение святовацлавского культа в новейшей историографии сделан Фр. Граусом и Д. Тржештиком; в их работах можно найти как подробную аналитическую картину предшествующих исследований, так и обширную библиографию: *F. Graus*. Kirchliche und heidnische (magische) Komponenten der Stellung der Přemysliden. Přemysliden saga und St. Wenzelideologie // Siedlung und Festschrift Böhmen in der Frühzeit. Wiesbaden, 1967, 148–161; *Idem*. Der Herrschaftsantritt St. Wenzels in den Legenden // Ostmitteleuropa in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für G. Stökl. Köln; Wien, 1977, 287–300; *Idem*. Der Heilige als Schlahtenhelfer. Zur Nationalisierung einer Wanderzählung in der Mittelalterlichen Chronistik // Festschrift für H. Beumann. Sigmaringen, 1977, 342–354; *Idem*. St. Adalbert und St. Wenzel. Zur Funktion der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Böhmen // Europa Slavica — Europa Orientalis. Festschrift für H. Ludat. Berlin, 1980, 205–231; *Idem*. La sanctification du souverain dans l'Europe centrale des Xe et XIe siècles // Hagiography, cultures et sociétés. Paris, 1981, 572–599; *D. Třeštík*. Kosmová kronika. Studie k počátkům českého dejepisectví a politického myšlení. Praha, 1968.

- ⁴ Об использовании культа св. Вацлава в династической «пропаганде» Люксембургов, прежде всего Карла IV, см.: *G. Klaniczay*. The Cult of Dynastic Saints in Central Europe: Fourteenth Century Angevins and Luxemburgs // *G. Klaniczay*. The Uses, 121 ff.

- ⁵ Существует значительное число исследований, посвященных первым Пржемысловцам, а изучение начальной эпохи чешской истории, несмотря на чрезвычайную скудость аутентичных свидетельств, традиционно является одной из главных тем национальной историографии. Из последних работ см.: *D. Třeštík*. PP.

- ⁶ Попытки «реконструкции» реального образа на основе агиографических сочинений, столь характерные для чешской историографии, кажутся порой весьма наивными: в данном случае можно согласиться с мнением английского историка Э. Барлоу, считающего, что агиография святого правителя относится к сфере его посмертной репутации, а не аутентичных свидетельств о его персоне и деятельности (*E. Barlow*. Edward the Confessor, 1972, XV ff.). Блестящий анализ эволюции «легенды» святого правителя

представлен в работах Р. Фольца, посвященных культу Карла Великого (R. Foltz. Le souvenir).

- ⁷ Дискуссии по поводу «хронологии первых Пржемысловцев», в том числе дат жизни и правления Вацлава, см. в указанных выше работах В. Новотного, Й. Пекаржа, Д. Тржештика (V. Novotný. České Dějiny I/1; J. Pekář. WLL; D. Třeštík. Počátky Přemyslovců...).
- ⁸ Тенденцию рассматривать содержание легенды как отражение реальных событий обнаруживают фундаментальные работы Й. Пекаржа, В. Халоупецкого.
- ⁹ Проблема оценки агиографических сочинений как «исторического источника» имеет давнюю историю и приобретает особую остроту и актуальность в настоящее время. Традиционная, наиболее авторитетно и авторитарно обоснованная классиком научной агиографии, болландистом И. Дэле иерархия агиографических текстов предполагает их деление на исторически достоверные деяния героев и агиографические легенды, являющиеся уступкой непросвещенному сознанию. Такое деление агиографических сочинений на исторически «аутентичные» и вымышленные подвергается достаточно радикальному пересмотру.

Во-первых, любое агиографическое сочинение, в том числе и содержащее откровенно вымышленное, фиктивное, рассчитанное «на потребу аудитории» изображение святого, рассматривается как ценный памятник по истории культуры. Оно выступает как «исторический источник», относящийся не к ведомству традиционной фактической истории, но к истории социально-культурных представлений, в том числе и массового религиозного сознания. Именно его фиктивность, нарочитая сконструированность позволяет выявить преобладание тех или иных религиозных образов и идей в определенной исторической и культурной среде, являющейся местом его происхождения и «потребления». Во-вторых, интерпретация агиографических текстов попадает в сферу новых подходов к изучению средневековых источников в рамках так наз. «литературной критики». Весьма интенсивно разворачивающиеся в течение последних двух десятилетий дебаты по поводу сомнительности традиционного подразделения исторических источников на «объективно» отражающие историческое прошлое аутентичные документы и субъективно представляющую его литературу нашли свое отражение и в агиографических исследованиях. В частности, определяемая через понятие «постмодернистской» тенденции представляет собой нарративный текст, в том числе и «объективный» исторический документ, как сферу интерпретации действительности, а не ее зеркального отражения. В этой связи грань между «достоверным» агиографическим описанием и агиографической легендой становится весьма зыбкой, если не разрушается полностью. «Достоверное описание» деяний святого не менее фиктивно и идеологически априорно по своему характеру, нежели откровенно вымышленная и литературная легенда. Обозначение меры их адекватности изображенной действительности в равной степени недоступно для современного исследователя. Однако любой из этих текстов может стать важным источником для изучения религиозного дискурса — т. е. основных идей, образов и метода их употребления — той конкретной исторической среды, которая вызвала их появление.

H. Delehaye. Les légendes hagiographiques. Bruxelles, 1955; *Idem*. Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'antiquité. Bruxelles, 1927 (rec.: M. Bloch. Revue de Synthèse 47, 1929, 88–90); Sanctity and Secularity: the Church and

the World / Ed. D. Backer. Oxford, 1973; Volksreligion im hohen und späten Mittelalter. (Hrsg. P. Dinzelbacher, B. R. Bauer). Paderborn, 1989; *Th. Heffernan*. Sacred Biography: Saints and Their Biographers in the Middle Ages. Oxford, 1988; *J. Le Goff*. Les mentalités. Une histoire ambiguë // Faire de l'histoire / Ed. J. Le Goff, P. Nora. Paris, 1974, 76–94, 80–81, 88, 91; *W. Pohlkamp*. Hagiographische Texte als Zeugnisse einer «histoire de la sainteté». Bericht über ein Buch zum Heiligkeitideal im Karolingischen Aquitanien // FSt, 11, 1977, 229–241.

С критикой «реалистического» подхода к ранней святовацлавской агиографии из чешских историков выступил, как мне кажется, лишь О. Кралик (см. работы, указанные в прим. 1).

- 10 Наиболее корректно «историко-фактографические» изыскания в сфере Святовацлавской агиографии осуществлены В. Новотным и Д. Тржештиком (см. работы, указанные в прим. 2).
- 11 Анализ филиации и схемы относительной и абсолютной хронологии первых легенд см. в работах Й. Пекаржа, О. Кралика, Д. Тржештика и Й. Людвиковского. В них представлены как обоснование собственных концепций, так и развернутая полемика с альтернативными схемами. См. подробнее: *D. Třeštík*. PP, 23 ff.; *J. Ludvíkovský*. Great Moravian Tradition.
- 12 Дебаты по поводу времени и места написания Первой Старославянской легенды см. *J. Vajs*. Op. cit.; *O. Králík*. O Dobrovského pojetí...; достаточно пространное мнение о создании этого произведения непосредственно после смерти Вацлава ставится под сомнение рядом исследователей, в частности Д. Тржештиком и О. Краликом, которые предлагают разные версии возникновения жития.
- 13 Название легенды дано по ее первым словам (*Crescente fide christiana...*, p. 183). Проблема возникновения легенды, ее различных редакций и их соотнесения изначальному тексту (архетипу): *J. Ludvíkovský*. *Crescente fide; V. Chaloupecký*. Op. cit., 170 ff.
- 14 О текстологических и генетических связях *Crescente fide* и легенды Гумпольда см.: *J. Ludvíkovský*. *Crescente fide*, Gumpold and Christian, 57 ff.; *Idem*. *Nové zjištěný rukopis Legendy Crescente fide a jeho vyznám pro datování Kristiana* // *Listy Filologické* 81, 1958, 56–68.
- 15 *Staroslověnské Legendy Českého Původu*. Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů. (Vyd. A. I. Rogov, E. Bláhová, A. V. Konzal.) Praha, 1976. См. в этом издании вступительную статью А. И. Рогова (*A. I. Rogov*. *Slovanské legendy z doby vzniku českého státu a jejich osudy na Rusi*, s. 11–53) и вступительные статьи и комментарии к публикации так наз. восточковской и минейной редакций I старославянской легенды (s. 55–106, 107–140), где дается анализ историографической и филологической полемики по поводу происхождения легенды. Из новейших исследований см.: *M. Kantor*. *The Origins of Christianity in Bohemia*. Sources and Commentary. Northwestern University Press, 1990, p. 15 ff.
- 16 Наиболее подробное исследование символического языка оттоновской политической мысли содержится в классических трудах: *P. E. Schramm*. *Kaiser, Könige und Päpste*. Bd. 1–3. Stuttgart, 1968/1969. Фундаментальной и до сегодняшнего дня не превзойденной работой, посвященной христологической и литургической модели светской власти, является исследование Э. Кан-

- торовича (*E. Kantorowicz. The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957*). Среди наиболее значительных работ, за исключением П. Е. Шрамма и Э. Канторовича, посвященных проблемам политического сознания в Оттоновской Германии, можно назвать следующие: *H. Beumann. Die sakrale Legitimierung; Idem. Widukind von Korvei. Untersuchungen zur Geschichtsschreibung und Ideengeschichte des 10. Jhs. Köln; Wien, 1950; K. Brühl. Krönen und Krönungsgebrauch im frühen und hohen Mittelalter // HZ 234, 1982, 1–31; R. Deshman. «Christus Rex et magi reges»: Kingship and Christology in Ottonian and Anglo-Saxon Art // FSt, 10, 1976, 375–405; C. Erdmann. Ottonische Studien. (Hrsg. H. Beumann). Berlin, 1968; E. Karpf. Herrscherlegitimation und Reichsbegriff in der ottonischen Geschichtsschreibung des 10. Jhs. Stuttgart, 1985.* — здесь подробная библиография работ по данной проблеме.
- 17 *D. Třeštík. PP, 23 ff.* Здесь предшествующая полемика по данному вопросу.
 - 18 *D. Třeštík. Ibid; J. Ludvíkovský. Crescente fide, Gumpold and Christian.*
 - 19 Об авторе см. предисловие к изданию жития в *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum IV, 211 ff.* Более свежую информацию содержат указанные выше работы Й. Пекаржа, Й. Людвиковского, О. Кралика и М. Кантора.
 - 20 Решающая заслуга в идентификации Гумпольда как более позднего и зависящего от *Crescente fide* сочинения принадлежит Й. Пекаржу. Из новейших работ наиболее аргументированно эта версия подтверждена Й. Людвиковским.
 - 21 Из «идеологических» проблем в связи с содержанием этих легенд традиционно рассматривается лишь вопрос о так наз. Великоморавской традиции. Однако интерпретация значимости Великоморавской традиции в культуре, политической и исторической мысли Чехии X в. неизменно упирается в изучение и истолкование Легенды Кристиана. См.: *J. Ludvíkovský. Great Moravia Tradition; O. Králík. Počátky; Idem. Slavnickovské Interludium. Praha, 1968.* Содержание Гумпольда и *Crescente fide* в связи с проблемой династической легитимации и общими тенденциями современной им королевской агиографии затрагивалось лишь в работах Фр. Грауса (*Fr. Graus. La sanctification; Idem. Der Herrschaftsantritt*).
 - 22 См. работы Ф. Грауса и Д. Тржешттика в прим. 3.
 - 23 Подробное обоснование значимости изучения идеологической и литературной структуры агиографических текстов как одной из потенциальных возможностей приблизиться к специфике религиозного сознания эпохи см. в «постмодернистской» по своим исходным интенциям работе: *Th. J. Heffernan. Sacred Biography. Saints and Their Biographers in the Middle Ages. Oxford, 1988.*
 - 24 *Fr. Graus. Volk..., 428–430 etc.; E. Hoffmann. Op. cit., 23 ff.; W. A. Chaney. Op. cit.; R. Folz. Les saints rois...; Idem. Le souvenir...; Idem. Trois rois...; K. Gorski. Op. cit.*
 - 25 *F. Prinz. Frühes Mönchtum im Frankenreich. München; Wien, 1965; K. Bosl. Der Adelheilige. Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und Kultur im merowingergezeitlichen Bayern des VII. und VIII. Jhs. // Speculum historiale. Festschrift J. Spörl. Freiburg, 1965, 167–187.*
 - 26 *J. Nelson. Op. cit.; R. Folz. Les saints rois...; A. Gorski. Op. cit.; A. Vauchez. La sainteté..., 187 ff.*
 - 27 В сущности, это лишь частный пример более широкой полемики о том, в какой степени средневековый культ святых может быть типологически со-

отнесен с универсальным для традиционных обществ феноменом сверхъестественного и сакрального.

- ²⁸ П. Браун (*P. Braun. The Cult of the Saints*, SCM Press, 1981, 27 ff., 90 ff.) и ряд других исследователей полагают, что сам феномен святости возник на стыке раннехристианской традиции личного религиозного избранничества и архаических представлений о личной харизме экстраординарной личности. Уже в ранней христианской практике почитания святых обнаруживается явная тенденция функционирования их культов как фактора формирования новых моделей социального авторитета и покровительства. Положение святого в качестве своеобразного главы и покровителя сообщества верующих было характерной особенностью и средневековой социально-религиозной практики (напр.: *Th. Head. Hagiography and the cult of the saints. The Diocese of Orleans 800–1200*. Cambridge, 1990; *Saints and their cults. Studies in Religious Sociology, Folklore and History*. Cambridge, 1983) Признание за святым функций патроната и защиты осуществлялось вне зависимости от его социального статуса. Однако в случае святых правителей положение святого как патрона почитающего его сообщества приобрело иногда отчетливый «политический» и «национальный» смысл.

- ²⁹ *K. Bosl. Op. cit.; H. Beumann. Die sakrale Legitimierung...; W. A. Chaney. Op. cit.; G. Klaniczay. Op. cit., 79 ff.; J. Nelson. Op. cit., 39 ff.; A. Vauchez. Op. cit., 191 ff.*

- ³⁰ К. Босль весьма точно определяет этот феномен как «интуитивное политическое действие» (*Politische Intuitivhandlung*); *Fr. Prinz. Heiligenkult und Adelsherrschaft im Spiegel merowingischer Hagiography // Historische Zeitschrift* 204, 1967, 529–544.

Английские исследователи Ж. Нельсон и Д. Уоллес-Хейдрил (см. прим. 2) считают наивным исключительное объяснение идеологической нагрузки образов святых правителей как прямую трансляцию архаической мифологии власти в систему христианских понятий.

- ³¹ К. Босль, Ф. Принц, К. Хаук высказывают такое предположение при интерпретации ранней германской агиографии и культов «знатных святых» франкского периода; Э. Хоффманн — в исследовании об англо-саксонской и скандинавской практике почитания святых королей (см. прим. 2).

- ³² *Fr. Graus. Volk..., 67 ff., 383 ff.; R. Folz. Les saints rois..., 19 ff.*

- ³³ Работа Ф. Грауса (*Volk...*) имеет принципиальное значение не только для изучения ранней королевской агиографии, но и для реконструкции структурно-типологической модели ранней средневековой святости. *J. C. Poulin. L'Idéal de sainteté dans l'Aquitaine carolingien*. Quebec, 1975. Она стала новаторским исследованием в сфере агиографии, поскольку впервые ввела агиографические тексты в оборот систематического изучения социальной и культурной жизни Средневековья.

- ³⁴ Работы Ф. Грауса и П. Пулена (*Fr. Graus. Volk..., 67 ff.; J. C. Poulin. Op. cit., 23 ff.*) констатируют отсутствие сколько-нибудь значимого акцентирования взаимосвязи между специфическими качествами святого и его высоким социальным статусом. Отмечу, что американские ученые Д. Вайнштейн и Р. Белл вполне оправданно отказываются в своем солидном «статистическом» исследовании средневековой агиографии от критерия социального происхождения как основополагающего для построения типической модели святости. (*D. Weinstein, R. M. Bell. Saints and Society. The Two Worlds of Western Christendom, 1000–1700*. Chicago, 1982).

- 35 *F. Graus. La sanctification...; R. Folz. Les saints Rois...*, 137 ff.
- 36 *L. Bornscheuer. Op. cit.*, 39 ff.; *J. Nelson. Op. cit.*, 62.
- 37 *L. Bornscheuer. Op. cit.*, 64 ff.; *J. Nelson. Op. cit.*, 59 ff.; *P. Corbet. Op. cit.; J. M. Wallace-Hadrille. Op. cit.*, 24 ff.
- 38 *L. Bornscheuer. Op. cit.*, 67 ff.; *P. Corbet. Op. cit.*, 117 ff., 234 ff. etc.; *E. Hoffmann. Op. cit.*
- 39 Анализ региональных различий королевских культов см.: *R. Folz. Les saints rois...*; *K. Gorski. Le rois saint...*; *E. Hoffmann. Op. cit.*; *A. Vauchez. Op. cit.*, 187 ff.
- 40 Тенденция превращения культа святого правителя в так наз. политический культ особенно характерна для периферийных областей католической Европы — Центральной Европы (Венгрия, Чехия) и Северной Европы. Почитание святых правителей создавало парадигматические условия для «христианизации» традиционной веры в харизму правителя и авторитета правящих династий в массовом восприятии (*E. Hoffmann. Op. cit.*; *R. Folz. Les saints rois; G. Klaniczay. Op. cit.*).

В Романской Европе «функции» политического святого, как правило, не были связаны с династическими святыми. Особым феноменом были так наз. «политические канонизации» XII в. Провозглашение культов Карла Великого и Эдуарда Исповедника имело целью укрепление морального и политико-идеологического авторитета светской власти в Империи и Англии в ситуации григорианской реформы (так наз. движения за церковную свободу), движущим фактором которой была реализация теократических притязаний папства в ходе так наз. «борьбы за инвеституру». См.: *R. Folz. Le souvenir...; F. Barlow. Edward the Confessor*, 256 ff.

- 41 Римский престол крайне неохотно и настороженно относился к предложениям о канонизации правителей, даже если ее справедливость обосновывалась демонстрацией очевидных заслуг кандидата в деле защиты и укрепления веры и церкви, равно как и личного благочестия (см. историю канонизации Карла Великого, Эдуарда Исповедника, Генриха II; *R. Folz. Les saints rois...*; *Idem. Le souvenir...*, 167 ff.; *E. Barlow. Op. cit.*, 124 ff.). Выражая негативное отношение к масштабному локальному почитанию святых правителей, Григорий VII отмечал, что лишь немногие из них могут служить действительным образцом истинно христианской жизни и благочестия, а Бернар Клервосский подчеркивал, что любой истинный праведник является королем в своем божественном избрании (см.: *A. Vauchez. La sainteté...*, 193 ff.).
- 42 По мнению П. Брауна (*P. Braun. Op. cit.*), сам феномен святости и его агиографической репрезентации в раннехристианской религиозной традиции имел в своем основании противопоставление (неправедности) мирского могущества и абсолютного совершенства религиозной избранности. В идеологической ткани ранней агиографии святой выполнял функцию нейтрализации и смыслового оттеснения мирского могущества власти. Эта агиографическая антиномия сохраняла значение одной из констант жанра и в средневековой агиографии (см.: *Fr. Graus. Volk...*, 67 ff., 178 ff.).
- 43 Отречение от светского статуса (знатности, власти, богатства) ради духовного служения и совершенствования является важнейшим топосом средневекового представления о святости. Инверсия «могущества» в религиозное смирение становилась важнейшим аргументом в пользу святости того или иного человека. Этот концепт служил инструментом адаптации фигуры «знатного святого» в контексте агиографической рефлексии. См.: *D. Weinstein.*

R. M. Bell. Op. cit., 83 ff.; Анализ решительного противопоставления специфических качеств святости мирскому могуществу и топоса «отречения от власти» в ранней франкской агиографии см.: *Fr. Graus. Volk...*, 369 ff.

⁴⁴ L. Bornscheuer. Op. cit., 47 ff.; P. Corbet. Op. cit.; H. Beumann. Die sakrale Legitimierung; H. Hoffmann. Politik und Kultur im ottonischen Reichskirchensystem // *Rheinische Vierteljahrsblätter* 22, 31 ff., E. Karpf. Op. cit., 62 ff.

⁴⁵ Ruotgers Lebensbeschreibung des Erzbischofs Bruno von Köln (Hrsg. v. I. Ott.) // *Scriptores Rerum Germanicarum, Nova Series* 10, 1958 и более раннее издание Г. Вайтца в *Monumenta Germaniae historica scriptores* (далее MGH SS) 4, 252 ff.; Vita Mahthildis reg. post. (Hrsg. G. H. Pertz) // *Ibid.* 282 ff.; Odilo v. Cluny. Die Lebensbeschreibung der Kaiserin Adelheid. (Hrsg. P. Paulhart) // *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichte. Erz.* 20, 2, 1962; (более раннее издание в MGH SS 4, 633 ff.).

⁴⁶ L. Zoepf. Das Heiligen-Leben im 10. Jahrhundert. Leipzig; Berlin, 1908; R. Wenskus. Studien...

⁴⁷ Стремление изобразить героя, сочетающего религиозное подвижничество и активность в сфере власти и управления особенно характерно для агиографии Гордского движения, см.: *Fr. Lotter. Op. cit.*, 23 ff.; L. Zoepf. Op. cit.; Современная Ключийская агиография в свою очередь обнаружила немалый интерес к возможности органического сочетания мирского достоинства и экстремального религиозного благочестия. Представленная ею модель «святого мирянина», однако, не столько акцентирует сочетание в фигуре героя достоинств активного участия в управлении с личной избранностью, сколько демонстрирует возможность реализации радикального религиозного аскетизма в миру. Такая модель представлена в знаменитом житии графа Геральда Аурильякского, написанном Одоном Ключийским, в житии св. Эдмунда Мученика, созданном Аббоном Флорийским, и в эпитафии Роберта Благочестивого. См. подробнее о модели «монах в миру», представленной в агиографии X–XI вв.: J. C. Poulin. Op. cit., 81 ff, 137 ff.; J. T. Rosenthal. Edward the Confessor and Robert the Pious. 11th Century Kingship and Biography // *Medieval Studies* 33, 1971, 7–20; H. Gunther. Kaiser Heinrich der Heilige. Kempten, 1904.

⁴⁸ На эту особенность представления образа святого указывают Л. Борншоер и П. Корбе.

⁴⁹ *Fr. Graus. Volk...*, 65 ff., 394 ff.; R. Folz. Trois rois saints «souffre-passion» en Angleterre: Osvin de Deira, Ethelbert d'East-Anglie, Eduard le Martyr // *CRAIBL*, jan-mars, 1980, 36–49. Некоторые исследователи считают, что за особым почитанием королей-мучеников стоят не только христианское почитание мученичества, особенно мученичества за веру, но и более глубокие архаические пласты сознания, связанные с мифом умирающего бога или героя. См.: M. Murray. The Divine King in England. A Study in Anthropology. London, 1954; специально в связи с англо-саксонскими и скандинавскими святыми-правителями на действенности мифологических архетипов настаивает Э. Хоффманн (E. Hoffmann. Op. cit.); историографические замечания по поводу возможных интерпретаций образа короля-мученика и краткий обзор истории феномена см.: A. Vauchez. Op. cit., 186 ff.

⁵⁰ Ф. Граус (*Fr. Graus. La sanctification...*) считает, что жития оттоновских святых представляют своего рода переходное явление от ранней королевской агиографии, преимущественно стилизующей своих персонажей с точки зре-

ния концепции радикального монашеского аскетизма, к более поздней традиции «политической» канонизации святых правителей кон. XI–XII вв.

- 51 Перекличку политических идей агиографии оттоновского периода с религиозно-эсхатологическими тенденциями современной политической теологии, в частности, концепциями религиозно-эсхатологической значимости Империи и правления германских королей анализируют Л. Борншоер и Ф. Лоттер (*L. Bornscheuer. Op. cit.*, 45 ff., 49 ff.; *Fr. Lotter. Op. cit.*, 65 ff.).
О пророческих и мистико-эсхатологических представлениях об Империи см. подробно давние, но весьма актуальные до сего дня работы: *F. Kämpers. Kaiserprophetien und Kaisersagen im Mittelalter // Historische Abhandlungen. 8. München, 1895. Idem. Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage. München, 1896; Idem. Vom Werdegang der abendländischen Kaisermystik. Leipzig, 1924.*
- 52 В соответствии с разработанной Канторовичем концепцией развития политического сознания, для Раннего средневековья, и особенно для Оттоновской эпохи, исключительную значимость имела идея «христомимезиса» правителя и ритуально-литургические формы репрезентации его власти. См.: *E. Kantorowicz. Op. cit.; Idem. Laudes Regiae. A Study in Liturgical Acclamations and Medieval Ruler Worship. Berkeley; Los Angeles, 1946.*
- 53 *E. Karpf. Herrscherlegitimation und Herrschaftsauffassung in ottonisch-frühsalischer Zeit // Frühmittelalterliche Studien 16, 1982, 74 ff.; Idem. Herrscherlegitimation und Reichsbegriff in der ottonischen Geschichtsschreibung des 10. Jhs. Stuttgart, 1985.; F. Kämpers. Op. cit.*
- 54 Эта идеологическая парадигма была тесно связана с реальными механизмами политического господства оттоновской Германии, основанными на глубоком переплетении собственно светских и церковных структур (*Reichskirche*): *L. Bornscheuer. Op. cit.*, 64 ff.
- 55 Исследования в сфере типологии святости развиваются как одно из модных и престижных направлений в современном изучении агиографии и культов святых. Некоторые исследователи представляют развернутые классификации святых, составленные в соответствии с так или иначе задаваемыми формальными параметрами. В них по-разному реализована программа структурно-типологической дифференциации агиографических моделей святости, соотнесенных с общими тенденциями развития религиозного благочестия. См.: *A. Vauchez. La sainteté; P. Deloiz. Sociologie et canonisation // Col. scientifique de la faculté de Droit de l'Université de Liege 30, 1969, 5–22; Fr. Graus. Volk...; D. Weinstein, R. M. Bell. Op. cit.; J. C. Poulin. Op. cit.*
- 56 Тема сверхъестественного харизматического происхождения святости является своего рода идеологической константой агиографического дискурса, только агиография Позднего средневековья отчасти замещает ее мотивом личного волевого усилия и «делания».
- 57 Аналогичный мотив проявления «святости» героя, его врожденного образцового благочестия уже в раннем детстве относится к числу распространенных агиографических топосов, он присутствует и во всех житиях «оттоновских святых» — в житиях Бруно Кельнского, Матильды и Эпитафии Аделаиды.
- 58 Возможная вариация этой темы — это мотив внезапного озарения верой уже во взрослом возрасте (он нередко используется в англосаксонской ко-

ролевской агиографии). В *Crescente fide* этот мотив присутствует в характеристике крещения династических предшественников святого: князя Спитигнева в так наз. Баварской редакции (183) и Борживоя — в так наз. Чешской редакции (опубликована В. Халоупецким в: *Svatovaclavský Sborník* II/1, s. 495 дал.).

- ⁵⁰ Это определение встречается чаще всего, превращаясь в своего рода неотъемлемый предикат святого (встречается даже форма *beatissimus*, 185). Вацлав определяется также как *verus dei cultor*, 186, *vir sanctus*, 187, *illustris puerulus*, 184. Его внутреннее совершенство определяется также через изящную метафору: *In cuius etiam mente sola praetiosae margaritae claritas fulgebat*, 185.
- ⁶⁰ Совершенная религиозность как некое внутреннее качество, источником которого является милость Божья, весьма выразительно определена через образ, вложенный в уста епископа Регенсбургского (186). Он сравнивает веру Вацлава, не нуждающуюся в каких-либо дополнительных подтверждениях, с церковью, воздвигнутой перед лицом Бога.
- ⁶¹ В качестве терминов использованы понятия *disciplina* и *litteras discere* (183), *discere legem domini dei mei, et servire illi soli* (185).
- ⁶² Сравни: Легенда Гумпольда — 4, 159; Легенда Кристиана — 3, 205. Гумпольд сохраняет мотивацию начала учебы личным желанием (4, 159); Легенда Кристиана (вероятно, написана в нач. XI в.) и более поздняя легенда Лаврентия (XI в.) изменяют ее: Кристиан опускает упоминание о личной жажде к учению (3, 205), а Лаврентий указывает, что обучение Вацлава было связано с желанием его отца (170).
- ⁶³ В житии отсутствует и оппозиция «светского» — «священного» знания, причем не только в связи с характеристикой святого, текст легенды в целом свободен от нее. Отмечу, что, хотя и в ограниченной форме, эта тема вводится Гумпольдом и Кристианом.
- ⁶⁴ Этот смысл подчеркнут использованием слов псалма *Poterat namque imitator fore psalmistae, qui in spiritu dixit «super omnes docentes me intellexi, quia testimonia tua meditatio mea est»*, 185.
- ⁶⁵ *J. Lecqlerc. L'amour des lettres et le desir de Dieu. Imitation aux auteurs monastiques du Moyen Age. Paris, 1957.* Об усилении рационализированного отношения к проблеме религиозного знания и обучения и его доминирования в интеллектуальной жизни Европейского общества начиная с так наз. Ренессанса XII в.
- ⁶⁶ *Et non in die neque in nocte ab oratione vacabat* (186).
- ⁶⁷ *J. Lecqlerc. Op. cit.*
- ⁶⁸ Это указано в первом пространном прославлении достоинств святого (*Haec autem et his similia ab ipso tirocinio spiritualiter activam ecclesiae vitam immitans observabat*). Еще одно прямое указание на соблюдение церковных ритуалов содержится во вступлении к сцене убийства (186). Особая смысловая значимость для всей концепции включения Вацлава в церковно-литургическую жизнь подчеркивается и тем обстоятельством, что убийство Вацлава — принятие им мученичества и, значит, кульминация его избранничества — происходит во время его следования на раннюю литургию (186).
- ⁶⁹ Тема паломничества появляется и в последующем изложении — в связи с упоминанием намерения князя отказаться от мирского достоинства и отправиться в Рим, чтобы принять монашеское посвящение из рук папы (186).

Этот эпизод является одним из наиболее выразительных и эмоционально окрашенных в тексте легенды. Кроме того, и чисто формально он представляет собой наиболее пространный и детальный эпизод *laudatio*. Специальная ритуальная значимость этой «тайной работы» на полях в значительной степени снимается в легенде Гумпольда, переводящей его смысл в характеристику личных этических качеств правителя.

- 70 «...et apertae sunt ecclesiae, et gaudere coepit religio christiana, et diabolo fiebant plurima detrimenta». Этот пассаж содержит выразительное указание на основной пункт противоречия между святым и его оппонентами, характеризует основное содержание его деятельности после выхода из-под их власти. Задача поддержания и «процветания веры» не просто связывается с функционированием церквей, но специально со сферой собственно церковной (литургической) жизни.
- 71 В представлении этого эпизода в *Crescente* весьма характерным кажется специальное упоминание автором заботы Вацлава о соблюдении процедур церковного освящения церкви. Легенда содержит достаточно детальное описание его переговоров с епископом Тутто Регенсбургским, касающееся возможности основания и освящения церкви — т. е. церковно-правовых и ритуальных аспектов этого мероприятия (186).
- 72 Это значение воспринимается позднейшими текстами Кристиана и Гумпольда, уточняющими, что это происходило в ситуации отсутствия людей, искушенных в этих церемониях.
- 73 Исполнение церковных ритуалов и предписаний является традиционной характеристикой благочестия. Следование этим нормам входило в набор нормативных предписаний поведения истинных христианских правителей.
- 74 Характеристики, касающиеся личного поведения и качеств святого (в том числе и важных с точки зрения традиционной агиографической топики — таких, как смирение, милосердие, личный аскетизм), исполнения мирских обязанностей, его отношений с семьей и противниками, носят в сравнении с вышеупомянутыми сторонами образа весьма краткий и гораздо более формальный, с точки зрения следования традиционной агиографической топике, характер.
- 75 О характеристике противников святого в категориях неверия, религиозной отверженности, подчинения дьяволу свидетельствуют используемые автором метафоры: (мать) — *incredula dei*; (ее сторонники) — *crudelissimi viri, infelices viri, homines predicti malivoli* (185); (брат) — *Bolezlaus diabolica fraude deceptus* (186); (сообщники Болеслава) — *impij* (186); *insensati inimici* (187); *malivoli* (187); *homicidae* (187).
- 76 Любопытно, что в *Crescente fide* практически отсутствует расширенное толкование темы «миссионерской» деятельности, религиозного попечительства о «народе». Автор ограничивается лишь весьма отвлеченными замечаниями о друзьях (*amici*) святого, для которых он, судя по контексту, был духовным наставником (187), а также отмечает, что он указывал дорогу блуждающим (184) и обратил многих в веру (186). Учитывая, что противники святого прямо характеризуются как «неверные», даже язычники, примечательным кажется весьма слабое звучание мотива борьбы с языческими обычаями. Как кажется, это одно из подтверждений преимущественного внимания автора к проблеме исключительной религиозной избранности как главного атрибута святости.

- ⁷⁷ Об эволюции религиозной концепции мученичества, в частности, о последовательном усилении темы личного желания мученичества в отличие от традиционной первичности факта — «реальной мученической гибели» см.: *R.Folz. Le souvenir...*, 167 ff.
- ⁷⁸ Тема мученичества в случае значительного числа святых королей-страсто-терпцев сама по себе используется как важнейшее основание их святости.
- ⁷⁹ Об использовании аналогии с Христом в изображении святых мучеников см.: *H. Delehaye. Les Origines du culte des martyrs. Bruxelles, 1933*, о теме мученичества в королевской агиографии см.: *R.Folz. Trois rois...*; *E.Hoffmann. Op. cit.*, 14 ff.

Любопытно, что метафорическое уподобление святого и его противников антиномичной образной паре: Христос — кто-либо из его библейских антагонистов, нередко использовавшееся для представления фигуры «короля-мученика» (например, св. Эдмунда в житии Аббона Флорийского или св. Эдварда в житии, посвященном св. епископу Освальду, нач. XI в., *Scriptores rerum Britanicae* 71), отсутствует в *Crescente fide*.

- ⁸⁰ Возможно, это связано с указанной выше ритуально-мистерияльной ориентацией религиозного дискурса. В этой же связи можно упомянуть и резкую противоположность (в плоскости ритуального поведения) действий Вацлава и его брата и убийцы, Болеслава, в сцене убийства: Вацлав проявляет глубокое благочестие, следуя на службу, в то время как его антагонист совершает святотатство, осуществляя злодеяние в преддверии церковного таинства (187).

Ритуальная инверсия жертвы в религиозного избранника не только связана с религиозной логикой христианства, но имеет и более универсальные религиозно-ритуальные корни. В частности, исследования в сфере скандинавской и англосаксонской агиографии отмечают возможный перенос ритуально-сакрального смысла смерти Одина и мифологических героев в сферу почитания королей-мучеников. См.: *E.Hoffmann. Op. cit.*, 47 ff.

- ⁸¹ Мученичество Вацлава в изображении *Crescente fide* ближе к манере повествования о невинно убиенном, нежели о мученике за веру в полном смысле слова. В частности, если сравнить *Crescente fide* с Житием св. Эдмунда (написана в нач. XI в. аббатом Флори Аббоном), то очевидным становится отсутствие (или очень слабое звучание) темы личной героической решимости отстаивать свою веру перед лицом язычников. (См.: *Three Lives of English Saints / Ed. by Michael Winterbottom. Toronto, 1972*, 67 ff., особ. 75 ff.) Представление темы мученичества отличается и от традиционной раннехристианской модели, прямо сталкивающей святого с его религиозными противниками. Раннехристианский идеал мученичества отказался от идеи личного героизма, заменив ее идеей религиозной покорности, однако сама эта покорность имела героический характер, поскольку предполагала готовность отстаивать свою веру вплоть до смерти (см.: *Th.Heffernan. Op. cit.*, 123 ff.).

- ⁸² Вацлав предстает как неизменно исключительный в своей религиозности персонаж — его вера не претерпевает эволюции ни как личное чувство, ни как система жестов и деяний благочестия. Автор совсем не использует темы личного искушения: ни мирское достоинство, ни насилие врагов, ни возможность предотвратить собственную смерть не способны поколебать веру героя. Упомянутая автором дарованная Богом милость выйти победителем (185–186), равно как и определение святого как «воина Божьего»

- (miles dei), не имеет отношения к личному благочестию, но лишь к преодолению обстоятельств, препятствующих его открытому проявлению. Нельзя, однако, отрицать традиционных атрибутов святого исповедника: демонстрации им веры в условиях испытания миром и мотива демонстрации веры перед лицом язычников. См.: *Fr. Barlow. Edward the Confessor*, p. XV.
- ⁸³ Называя Вацлава *cultor dei* и *miles dei*, автор характеризует силу религиозной покорности святого, а отнюдь не его усилия в распространении веры. Говоря о духовном обращении людей и их объединении вокруг Вацлава, автор совсем не озабочен проблемой масштабов этой деятельности, но исключительно темой духовного направления истинно верующих (186, 187). Кроме того, в описании чудес святого, автор специально подчеркивает действие Бога через Вацлава, в значительной степени снижая весьма рискованный с точки зрения сублимированной религиозности момент собственной чудодейственной силы святого (188, 190).
- ⁸⁴ Можно упомянуть и следование строгому личному целомудрию — традиционного требования радикальной (монашеской) аскезы (186).
- ⁸⁵ Защита и покровительство церкви было важнейшим этическим требованием к христианскому правителю в политической теологии Средневековья.
- ⁸⁶ Достаточно близким в тенденции представить «святого-короля» как монаха на троне кажется житие св. Роберта Благочестивого (30-е гг. XI в., Флори). Элементы радикального личного аскетизма включены и в характеристику героя возникшими значительно позже (1-я пол. XII в.) житиями Генриха II и святого Эдуарда.
- ⁸⁷ Родственные чувства святого исчерпываются его нежеланием погибнуть от руки брата (186), хотя их содержание в данном случае имеет преимущественно формализованную религиозную мотивацию — сожаление Вацлава по поводу перспективы Болеслава попасть в ад. Ритуальное и формализованное восприятие текстом совершенного Болеславом деяния как греха братоубийства подчеркивается и упоминанием символически сохранившейся на теле святого из множества ран лишь той, что была нанесена братом (188).
- ⁸⁸ *D. Weinstein, R. Bell. Op. cit.; J. C. Poulin. Op. cit.*
- ⁸⁹ Такая откровенная «клерикальная тенденциозность» кажется совсем не типичной для оттоновской агиографии и агиографии церковно-реформационных движений X — нач. XI в. с ее более широким пониманием открытости мира для духовно-религиозного воздействия.
- ⁹⁰ В *Crescente fide* отсутствует мотив наказания святым своих врагов (185, 186–187), полностью замещенный темой божественного возмездия убийцам святого (187).
- ⁹¹ Определение *rex sanctus* или иное аналогичное сочетание, соединяющее дефиниции святости и власти, является традиционным в королевской агиографии.
- ⁹² Нельзя не отметить, что эти проявления христианского благочестия пересекаются с требованиями традиционных представлений об обязанностях наделенного властью лица. См.: *H. Beumann. Die sakrale Legitimierung...; K. Bosl. Potens und Pauper...; Idem. Der Adelheilige.*
- ⁹³ Определенные аналогии совмещения в образе правителя качеств религиозного смирения и милосердия с гордыней знатной и могущественной персоны, проявляющейся в поведении и самосознании, можно отметить в так наз.

Втором житии Радегунды: Baudonivie. Vita s. Radegundis. (Hrsg. B. Krusch) // MGH Scriptores rerum Merovingicarum II, 377–395.

- ⁹⁴ Crescente fide достаточно далеко, с точки зрения своей идеологической задачи, от функций и тематики религиозно-дидактических сочинений, обосновывавших церковную точку зрения на поведение и достоинства настоящего христианского правителя. Об этической программе и идеологии религиозной легитимации власти в теологическом дискурсе см.: K. Anton. Op. cit.; C. Erdmann. Op. cit.; J. Nelson. Op. cit.
- ⁹⁵ Текстологический анализ зависимости Гумпольда от Crescente fide см. в работах: J. Pekar. Op. cit. и J. Ludvikovsky. Crescente fide...
- ⁹⁶ E. Auerbach. Lateinische Prosa...; L. Bornscheuer. Op. cit.; F. Graus. La sanctification...
- ⁹⁷ Стилистическая изощренность Гумпольда проявляется как на лексическом уровне, так и в манере повествования о событиях и в репрезентации образов его персонажей. Этот факт из области формально-филологической констатации может быть перенесен в сферу интерпретации идеологии текста. Особенности легенды несомненно отражают общий принцип агиографии оттоновской Германии, предполагающий, что о высоких персонах следует говорить высоким языком (Fr. Lotter. Op. cit.). Это несомненно связано с усилением дидактических интенций текста, реализация которых возможна через репрезентацию жизни и образа святого — эти тенденции нашли отражение как в прямых заявлениях Гумпольда (см. Пролог, 146–147), так и в стилистике его текста.
- ⁹⁸ Здесь Гумпольд кажется весьма близким к тенденциям оттоновской агиографии, в частности ко второму Житию Матильды (Vita Mathildis posterior) и Эпитафии Аделаиды. Анализ темы misericordia и caritas в этих сочинениях см. в работах Л. Борншоера и П. Корбе.
- ⁹⁹ Etudes sur l'histoire de la pauvreté / Ed. M. Mollat. Paris, 1974, 1, 123 ff.
- ¹⁰⁰ Определение природы экстраординарной религиозности как основного атрибута святости имеет определенные константы в рамках агиографической традиции, к числу которых, в частности, относится безусловное доминирование божественного предопределения. Д. Вайнштейн и Р. Белл на основе статистического анализа, направленного на выявление частоты употребления определенных топосов и клише в средневековой агиографии, приходят к выводу, что «появление» святого всегда было экстраординарным и «ментальным» событием (D. Weinstein, R. Bell. Op. cit.). Однако очевидным кажется последовательное нарастание в эпоху высокого Средневековья значимости темы личного усилия в становлении благочестивой личности.
- ¹⁰¹ См., например, его повествование об обращении народов в веру — gentibus tamen quibusdam longo post errabundo anfractu divorticulo ad normalis rectitudinem tramitis sacra illustracione redactis, nondum cunctae mundi nationes, quamvis praedestinatae, huius gratiae donum simul sortitae, sed ordinante coelesti maiestate, quousque paulatim surgentibus diaboli detrimentis, feliciter in partes processit (1, 148).
- ¹⁰² Во введении и первой главе Гумпольд отмечает важность свидетельств о действии Божественного провидения в человеческой истории (147–148), отделяя их, однако, от знания Божественного закона. Усвоение божественной истины, приводящей к истинному усвоению истины веры, по существу воспринимается им как результат сверхъестественного озарения — это достаточно очевидно при характеристике обращения предшественников Вацлава (2, 3; 148).

¹⁰³ Transcursa interim annorum iuvenilium tam felici aetate, in virilis animi robur dux ipse altius conscenderat (13, 155).

¹⁰⁴ Моральные качества святого — *humilitas, benignitas, obedientia, misericordia, moderatio* — являются прямой антитезой качеств его врагов — *superbia, avaricia, ignorancia, terror*.

Кроме того, можно отметить широко применяемую Гумпольдом характеристику персонажей через демонстрацию и оценку их действий; с точки зрения выстраивания образа святого весьма важной кажется подчеркнутая (в том числе и в открыто оценочных суждениях) автором антиномичность его действий и действий его врагов (см. главы 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19).

¹⁰⁵ В частности, говоря о неверии взбунтовавшейся знати, гонении на церковь и духовенство, Гумпольд вместе с тем отмечает, что церкви продолжали функционировать, а у находившегося под их властью Вацлава сохранялось право посещать службу (12, 155). В частности, говоря о неверии взбунтовавшейся знати, гонении на церковь и духовенство, Гумпольд вместе с тем отмечает, что церкви продолжали функционировать, а у находившегося под их властью Вацлава сохранялось право посещать службу (12, 155).

¹⁰⁶ В прологе автор высказывает свое общее отношение к задачам агиографического сочинения: *Famam autem veritatis erga dei sanctorum memoranda gesta, coelesti benignitate mortalium obtutibus toties designatam, incuriae quam exicali neglegentia, fabulis delectati, non pavent subcludere*, (147). Характерно, что в этих словах прямо заявлена дидактическая направленность сочинения, его обращенность к широкой аудитории — этот мотив практически не артикулирован в *Crescente fide*.

О дидактических интенциях агиографии как центральной для жанра особенности см.: *Th. J. Heffernan*. Op. cit., 61 ff. В прологе автор высказывает свое общее отношение к задачам агиографического сочинения: *Famam autem veritatis erga dei sanctorum memoranda gesta, coelesti benignitate mortalium obtutibus toties designatam, incuriae quam exicali neglegentia, fabulis delectati, non pavent subcludere* (147). Характерно, что в этих словах прямо заявлена дидактическая направленность сочинения, его обращенность к широкой аудитории — этот мотив практически не артикулирован в *Crescente fide*.

¹⁰⁷ В легенде акцентирован момент публичности проявления качеств святого, что отражено, например, в сообщениях Гумпольда о ситуациях, когда Вацлав находился в окружении единомышленников, или в замечании, что «многим» были известны деяния святого (9, 153–154; 10–11, 154).

¹⁰⁸ О значимости категории деяний и выражения святости через активное действие в оттоновской агиографии, обусловивших формирование особого типа святых — *Werkheiliger*, см.: *Fr. Lotter*. Op. cit.; *F. Zoepf*. Op. cit.; *H. Beumann*. *Die sacrale Legitimierung...*

¹⁰⁹ Пролог, 147. *Famam autem veritatis erga dei sanctorum memoranda gesta, coelesti benignitate mortalium obtutibus toties designatam, incuriae quam exicali neglgrntia, fabulis delectati, non pavent subcludere*. В тексте легенды содержатся многочисленные упоминания «совершенных деяний» святого в связи с характеристикой его исключительного благочестия.

¹¹⁰ Необходимо отметить, однако, что в повествовании о деяниях святого Гумпольд проявляет гораздо меньше интереса к фабуле, конкретным событиям, чем к характеристике и оценке мотивов поведения. Эта черта кажется

весьма специфической в сопоставлении с современной Оттоновской агиографией с ее интересом к биографическим подробностям жизни героя. Возможно, это связано с ограниченностью сведений о герое: с этой точки зрения, Гумпольд максимально использует скудные сведения *Crescente fide* о реальных событиях с целью усиления собственно нарративных аспектов истории святого.

- 111 Вацлав предстает в этих ключевых сценах не просто как их пассивный участник, но как главный активно действующий персонаж. Думается, что эта черта легенды Гумпольда может быть соотнесена не только с агиографией, но и с более широким пластом так наз. Оттоновской историографии.
- 112 О связи типа *Werkheiliger* в агиографии оттоновского периода с тенденцией представления святости через «жизнь» (*vita*), а не через «знаки» (*signa*) см.: *H. Hoffman*. Op. cit., 57 ff.; *P. Corbet*. Op. cit., 57 ff.; *Fr. Lotter*. Op. cit., 27 ff.
- 113 Назидательность и полезность знаний о деяниях святого, необходимость их широкого распространения отражены и в той части легенды, которая посвящена «чудесам» Вацлава — Гумпольд гораздо более настойчиво, чем предшествующий автор, подчеркивает распространение сведений о чудесах через рассказы свидетелей — гл. 21–30, с. 161–166.
- 114 В этом смысле и благочестивое паломничество по церквям предстает как жест благочестия светского лица — 8, 152.
- 115 В частности, предлагая свою мотивацию недовольства знати, Гумпольд говорит о желании мятежников отвлечь святого от его исключительного благочестия, однако опускает его сопоставление с монахом и адресованное клирикам обвинение в том, что они испортили князя (11, 12, 154–155) — в то время как *Crescente fide* придает этому объяснению главное значение (176).
- 116 Мне кажется, что в описании Гумпольдом отношения князя к церкви и клиру самое значительное место занимают жесты его щедрости и заботы — т. е. осуществление обязательств «защиты и покровительства» церкви христианским правителем.
- 117 По всей видимости, мы можем говорить и о косвенном усилении роли темы апостольского попечительства у Гумпольда — об этом свидетельствует обширность и тон первых двух глав его текста (с. 147, 148), повествующих о крещении народов и специально — Богемии. Следует указать и на специальное упоминание о том, что первая церковь, основанная первым христианским правителем Чехии, была посвящена Богородице и «первому среди апостолов» (2, 148) — такие детали определяют расстановку смысловых акцентов в сочинении Гумпольда.
- 118 Характерно, что, подчеркивая ценность личной религиозности как проявления особой избранности героя, Гумпольд одновременно уделяет огромное внимание моменту сопротивления святого обстоятельствам, препятствующим ее осуществлению. В частности, личное благочестие и желание бескомпромиссного духовного служения определяются автором как акт преодоления величия мирского статуса либо как жест прямого сопротивления насилию со стороны врагов. Такой момент волевого усилия и инверсии полностью опущен в системе смысловых координат *Crescente fide*.
- 119 Гумпольд неоднократно подчеркивает радикальное неприятие Вацлавом как конкретных действий, так и самого способа поведения его противников, что находит продолжение в его готовности к решительной борьбе с ними.

- ¹²⁰ Вообще, вся речь святого носит характер яркого риторически выверенного личного «манифеста», в большой степени — это значение эпизода отодвигает на второй план собственно предмет пророчества — гибель Людмилы. См. напр.: «Enim vero execrabilis genitrix mea sectae vitali, quam pro toto posse confiteri, colere, corde tenus sequi et amare insto, et posthac aliorum inrevocabilis instabo, mordaciter invidens, eosdem diversorum clericos ordinum, quia mecum sentire non negant, ope terrena privatos, regnoseverius eiectionum iri molitur» (11, 154) — яркая, данная от первого лица, характеристика оценки святым действий его противников и одновременно — выражение личного исповедания.
- ¹²¹ Эпизод пророчества также содержит и демонстрирует «публичность» проявления сверхъестественных качеств святого — он повествует о своем видении и его смысле в окружении людей, близких ему (9, 153). О значимости топоса spiritum profetiae в агиографии см.: *M. van Uytvanghe. La controverse biblique...*, 220 ff.; Об особых функциях этой темы в германской агиографии X в., ее использовании для акцентирования достоинств святого см.: *L. Zoepf. Op. cit.*, 166 ff.; *Fr. Lotter. Op. cit.*, 32 f.; *P. Corbet. Op. cit.*, 142 ff.
- ¹²² ...cordis autem interna consideratione assensum in actibus denegat;...tamen quod mentis profunditate dilexit, operum mira constancia manifestavit... (12, 155).
- ¹²³ Мне кажется, что утверждения Й. Людвиковского о том, что Гумпольд в изображении сцены убийства предпочитает эффектную нарративность раскрытию духовной стороны мученичества святого, является чересчур категоричным (*J. Ludvíkovský. Legenda Kristiana. Praha, 1978, 117*). Хотя вкус Гумпольда к драматическому эффекту в изображении этого события нельзя отрицать.
- ¹²⁴ Образ правителя-мученика, создаваемый Гумпольдом, отличается от традиции изображения ранних королей-мучеников, где акцент делался на их пассивность, покорность судьбе: *R. Folz. Trois rois saints «souffre-passion»*, 36–49; *E. Hoffmann. Op. cit.*, 23 ff.; *F. Graus. Volk...*, 67 ff.
- ¹²⁵ In paterni ducatus successionem, se nimium refutante, delectus (4, 149); Quam gravibus tunc perturbantis molestiae diversitatibus principis novelli benignitas, terreno iure suscepto, intrinsecus angeretur, non est admirandum, quoniam coelestia praeceteris intuendo mente devota proposuit, ut quamvis publicae utilitati providendae debitor extitisset, dei tamen praedulci obsequio uti primis se annis implicavit, potius despecto seculari fastigio, nonrepudavit (5, 149); см. также 13, 155; 15, 157.
- ¹²⁶ Plebis autem commissae crimen lauendum veritus, si dignam civilis distructionis legem non inpendisse. Аналогичная мысль высказана и в гл. 6, 150.
- ¹²⁷ Подробней о политико-теологической концепции этого сочинения, относящейся к проблеме совмещения святости и выполнения обязанностей светского князя см.: *Fr. Lotter. Op. cit.*; *P. Corbet. Op. cit.*, 67 ff.; *E. Auerbach. Lateinische Prosa...*, 117 ff.; *L. Bornscheuer. Op. cit.*, 32 ff. В этих исследованиях отмечается и близость идеологии этого жития так наз. «епископской агиографии», отразившей идеологию горцкой реформы. См. также: *O. Kohler. Das Bild des geistlichen Fürsten in den Viten des 10., 11., 12. Jhs. Berlin, 1935*; Среди других сочинений можно отметить упоминавшиеся выше житие Матильды (младшее) и Эпитафию Аделаиды, в которых мирское достоинство святых не только не отрицается перед лицом их святости, но напротив, получает оценку праведности именно в силу глубокого благочестия и религиозной избранности героинь.

Из других сочинений, достаточно близких хронологически к легенде Гумпольда, можно указать на житие св. Эдмунда, где тема заботы правителя о своем народе и стране, не будучи представлена в специальной демонстрации исполнения героем обязанностей власти, присутствует в изображении его готовности принять мученичество от рук язычников — последние охарактеризованы не только как личные враги святого, но и как противники его народа и земли. При этом необходимость сопротивления герой осознает как проявление не только личного благочестия, но и желания защитить «нравы и обычаи» страны.

¹²⁸ Об исключительной значимости этого рода деяний как аргумента в глорификации и канонизации «поздних» святых королей см. указанные выше работы R. Folz и F. Barlow.

¹²⁹ Подробную характеристику традиционной модели «доброго правителя» см.: H. H. Anton. *Op. cit.*; G. Duby. *L'ideal du prince en France au debut du XI s.* // *Cahiers d'Histoire* 17, 1972, 211–216.

Усилия по поддержанию мира относились к числу наиболее важных среди деяний святого. См. выводы, сделанные на основе статистического анализа агиографии XI–XV вв. в работе Д. Вайнштейна и Р. Белла (*D. Weinstein, R. Bell. 'Op. cit.*).

¹³⁰ E. Auerbach. *Op. cit.*, 61 ff.

Чешская и немецкая Реформация (некоторые аспекты взаимодействия)

Мартин Лютер, принимая летом 1519 г. вызов Иоганна Экка на лейпцигский диспут, понимал, что ему впервые предстояло публичное состязание с противником, который пользовался европейской известностью как виртуозный полемист. Но он поднял перчатку в полном убеждении, что истина проявит свою победоносную силу на ученом турнире, не подозревая о ловушке, тщательно подготовленной доктором теологии из Ингольштадта, одним из самых выдающихся защитников господствующей церкви. В полемике по поводу своих знаменитых тезисов 1517 г. виттенбергский реформатор все более подчеркивал прямой суверенитет Христа над церковью, ставил под сомнение божественное происхождение папской власти, хотя еще и не отвергал принципиально примата римского престола. Эрк, глубокий знаток церковной истории и канонического права, раньше самого Лютера заметил, что подобный подход почти тождествен гуситскому принципу верховного церковного авторитета и может иметь аналогичные последствия. Неслучайно он избрал местом диспута именно Лейпциг, рассчитывая использовать традиционно античешский настрой населения города, поддерживаемый местным университетом, который имел особые счеты с гуситами (он был основан в 1409 г. немецкими магистратами, вынужденными покинуть Прагу после издания Кутногорского декрета, инспирированного Яном Гусом и его сторонниками; впоследствии являлся важным центром антигуситской эмиграции). Сразу сконцентрировав внимание на проблеме генезиса и границ папской власти, доктор Эрк постарался направить спор в нужное ему русло, назвав Лютера чешским еретиком. Демонстрируя хорошее знание материалов констанцского процесса над Гусом и тех принципов, которые гуситы отстаивали перед Базельским собором в 1433 г., Эрк констатировал, что, посягая на божественный характер папского авторитета, Лютер ставит себя в один ряд с осужденными ересиархами Виклифом и Яном Гусом, продолжая их дело. Надо сказать, что католическая церковь, однажды признав первенство гуситов в борьбе против господства римской курии, уже никогда не забывала об этом. Булла Льва X «Exurge Domine» от 24 июня 1520, определявшая принципиальную позицию Рима по отношению к лютеранству вплоть до Тридентского собора, подчеркивала заслуги немцев в борьбе против «чешских виклифитов» и призывала их отвергнуть новые ереси, которые продолжают тот ложный путь, на который некогда вступили чехи. Особого внимания заслуживает булла генеральной пап-

ской экскоммуникации «*In Coena Domini*», которую ежегодно дополняли и обнародовали вплоть до конца XVIII в. С момента своего возникновения (ориентировочно XIII в.) булла всегда начиналась с проклятия еретических учений, названия которых конкретно перечислялись. В XV в. на первом месте в этом списке оказываются виклифисты и чешские гуситы. Представляется, что тексты регулярных папских отлучений позволяют довольно точно судить о начале европейской Реформации, по крайней мере, с точки зрения католической церкви, которая всегда была в состоянии определить своих главных противников. В «*Coena Domini*» Григория XIII (1572–1585) появляется точный перечень всех реформационных течений, а Павел V в 1610 г. дополняет его обобщающей характеристикой, проклиная всех, кто отпал от церкви и вызвал схизму, будь то французские гугеноты или чешские гуситы. Окончательную форму булла приобрела в 1627 г. при папе Урбане VIII и в интересующей нас части звучала следующим образом: «Мы, Урбан... отлучаем и проклинаям... всех гуситов, виклифистов, лютеран, кальвинистов, гугенотов, анабаптистов, тринитариев, отступников от веры христианской, каждого в отдельности и всех вместе..., тех, кто их принимает и дает им любую защиту».

Вернемся, однако, в Лейпциг и посмотрим, как сам Мартин Лютер отнесся к обвинениям своего оппонента. Он весьма болезненно воспринял хорошо рассчитанный удар, нанесенный Экком на утреннем заседании 5 июля 1520 г. В это время Лютер был принципиальным противником реформы церкви путем раскола и уже не имел возможность открыто выразить свое несогласие с гуситскими схизматиками. Защищаясь, он вновь повторил свою точку зрения на диспуте. Кроме того, Лютер прекрасно понимал, что стать на сторону гуситов в сущности значило отказаться не только от католицизма, но и от национального немецкого чувства, так как в общественном сознании прочно укоренилась враждебность к чешским еретикам — врагам Священной Римской империи. Он с возмущением потребовал, чтобы его противник оставил клеветнические измышления и не делал из него чеха. Но, прижатый к стене искусными аргументами Экка, Мартин Лютер вынужден был обратиться к недавно опубликованным материалам Констанцского собора. Ознакомившись с обвинительными актами Виклифа и Гуса, он с удивлением констатировал, что не одинок в начатой им борьбе, что у него есть предшественники. На послеобеденном заседании Лютер заявил, что осужденный собором тезис Гуса об универсальной церкви как совокупности предопределенных к спасению является истинно христианским и евангельским. Экк торжествовал: признанное единомыслие с осужденным церковью еретиком неопровержимо доказывало ересь самого Лютера. Однако формальное поражение дало неожиданный эффект. Оно позволило реформатору сделать вывод, сыгравший важную роль в его последующем разрыве с Римом: если Кон-

станцкий собор сто лет назад осудил невинного Яна Гуса, то это означало, что и соборы, и официальная церковь могут ошибаться.

С момента лейпцигского диспута Лютер начал пересматривать свой прежний критический подход к чешской реформации. Ознакомившись с главным теоретическим трудом Яна Гуса — трактатом «О церкви», полученным от чешских уtrakвистов в начале 1520 г., он вполне откровенно выразил свои впечатления в письме к Спалатину: «Я до сих пор придерживался и учил всему тому, что и Иоанн Гус, хотя и невольно... Короче говоря, все мы гуситы, сами того не ведая, и даже Павел и Августин — настоящие гуситы; не могу прийти в себя перед этим страшным судом Божиим, силой которого более ста лет тому назад несомненная евангельская истина была сожжена и с тех пор считается проклятою, хотя признать этого нельзя». Открыто свою позицию по отношению к чешской реформации Лютер высказал в послании «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства» от июня 1520 г., в котором изложена программа создания национальной немецкой церкви. Не собираясь «превращать Яна Гуса в святого и мученика, как некоторые богемцы», он, тем не менее, предложил прямо и откровенно признать несправедливость осуждения Гуса и Иеронима Пражского на Констанцском соборе. По мысли Лютера следовало более объективно разобраться и в современном состоянии «чешской веры», направив в Чехию квалифицированную комиссию, независимую от папской курии и назначенную императором и князьями. При этом он заранее признавал право гуситов избрать собственного архиепископа и отказывался осудить причащение мирян под обоими видами, «так как его нельзя считать ни нехристианским, ни еретическим». Не следовало также требовать от чехов возвращения церкви секуляризованных владений.

Назревавший разрыв Лютера с официальной церковью получил свое демонстративное и символическое выражение 10 декабря 1520 г. перед Эльстерскими воротами Виттенберга, где реформатор публично предал огню несколько кодексов с текстами канонического права и экземпляр папской буллы «Exurge Domine». Курия не замедлила с ответом: мятежный монах объявлялся законенным еретиком и предавался вечному проклятию. Согласно действовавшему праву, за папским отлучением должна была последовать имперская опала. В марте 1521 г. Лютер был вызван молодым императором Карлом V на рейхстаг, собравшийся в Вормсе. Ситуация весьма напоминала обстоятельства гибели Гуса в Констанце и имела все шансы разрешиться аналогично. Сознывая это, Лютер все же решил последовать примеру чешского реформатора, причем не столько надеясь на императорскую охранную грамоту, сколько по принципиальным соображениям: «Пусть Гус был сожжен, но не погибла истина. Я пойду в Вормс, хотя бы там было столько же чертей, сколько черепицы на крышах!». На рейхстаге

Лютеру было предложено без дальнейших дискуссий отречься от своих взглядов, поскольку они идентичны положениям вальденсов, Виклифа и Гуса, уже осужденным церковью, в частности, Констанцским собором. Известен ответ реформатора: «Не будучи убежден свидетельством Писания и ясным разумным рассуждением, я в своей совести остаюсь узником Слова Божьего, а потому отречься не могу и не хочу». Дальнейшие попытки сломить строптивого виттенбергского профессора результатов не дали. Более того, Лютер вновь поставил под сомнение авторитет высших церковных инстанций, выразив готовность доказать, что Констанцские «отцы» впали в заблуждение, осудив экклезиологическое учение Яна Гуса. 26 мая 1521 г. был опубликован Вормский эдикт, предававший Мартина Лютера имперскому отлучению. Рейхстаг мотивировал свое решение, кроме прочего, и тем, что Лютер одобрял чешский утравизм. Примечательно, что папский легат Джироламо Алеандро, главный инициатор эдикта, серьезно опасался побега еретика в Чехию и считал необходимым предупредить об этом чешского короля Людвика Ягеллона.

Немецкий реформатор и позже выражал свои симпатии к Гусу. Неоднократно он говорил о нем как о святом, в том числе и в корреспонденции, адресованной в Чехию (о ней еще будет речь в иной связи). Известно, что Лютер осуществил издание главного труда Гуса «О церкви», части его корреспонденции, некоторых материалов констанцского процесса. Публикации гуситского наследия значительное внимание уделяли и другие деятели немецкой реформации. В частности, Иоганн Агрикола осуществил первое издание в немецком переводе одного из важнейших памятников гуситской эпохи — «Реляции о Магистре Яне Гусе в Констанце» Петра из Младоневиц, опубликовал труды Гуса о причащении под обоими видами и о самодостаточности «закона божьего», написанные в Констанце. Он перевел на немецкий язык одну из «конфессий» Чешских братьев и даже написал рифмованную трагедию о Яне Гусе. Ценную коллекцию рукописей чешского происхождения, собранную Ульрихом фон Гуттенем, издал после его смерти Отто Брунфельс. Мартин Рейнхарт в 1524 г. опубликовал гуситский манифест 1430 г. с развернутым изложением программы Четырех пражских статей, а Якуб Собиус — латинские фрагменты базельских диспутов с гуситами. Труды Гуса переводились в Германии уже в XV в., но лишь реформация следующего столетия сделала в публикации трудов Гуса и популяризации его мужественной позиции на констанцском процессе столь многое, что гусовский и гуситский мотив прочно укрепился не только в протестантской, но и общеевропейской культурной традиции.

Объективность требует отметить, что поздний Лютер, признанный религиозный лидер, «виттенбергский папа», постепенно утрачивавший способность к самокритике, по-иному расставил акцен-

ты в своем отношении к Гусу, всемерно подчеркивая оригинальность собственного учения и важность личных заслуг. Прежнее восхищение сменилось легкой снисходительностью. В одной из «застольных речей» он заметил свысока: «Гус в винограднике Христовом выкорчевал немного сорняков, обличая папу за церковные пороки и за его собственные нравы; но только я, доктор Мартин Лютер, выступил против всего учения, им возвещаемого, и опроверг его...». Однако Лютер так и не появился в Чехии, где мог бы собственными глазами наблюдать результаты гуситской революции, среди чешских реформаторов знал только Гуса и Иеронима, о таборитах и других радикалах почти не имел представления. Не знал он и учения Якоубека из Стржибра и Яна Рокицаны, которое в ряде элементов предвосхищало его собственную доктрину. Как показывает текст послания к немецкому дворянству, сведения Лютера о современных ему чешских реформационных течениях — утравкистах и «пикартах» (Чешских Братьях) не были достаточно полными. Тем не менее, невольно или сознательно он исходил из ряда важных положений гуситской и братской программы, а в определенной мере и перенимал их, что, надеюсь, будет видно из последующего изложения (экклезиология, причащение под обоими видами для мирян, богослужение на национальном языке, секуляризация церковного имущества и др.).

При всей масштабности личности Мартина Лютера, этого «религиозного гения»¹, он не исчерпывал собой интеллектуальный и творческий потенциал немецкой Реформации. Его окружала плеяда соратников, часто проявлявших самостоятельные подходы, в том числе и к гуситской традиции. В этом плане привлекает внимание фигура Андреаса Карлштадта, который, не демонстрируя этого открыто в своих трудах, явно располагал определенной информацией о гусизме, полученной скорее всего от своего близкого друга Мартина Рейнхарта, контактировавшего с потомками так называемых «верных братьев». Это были общины немецких вальденсов, создавших в первой половине XV в. тайное международное братство, проповедники которого проходили подготовку в Чехии (Табор, Жатец). Они располагали конспиративными складами гуситской литературы, сохранившимися вплоть до XVI в. (кстати, из такого хранилища в Ростке Рейнхарт и получил упоминавшийся выше гуситский манифест 1430 г.). Карлштадт подчеркивал нормативный авторитет Священного Писания, стоящего выше «отцов церкви» и церкви вообще. В отличие от Лютера, для него «оправдание верой» означало необходимость строгого исполнения каждым верующим «божьего закона». Христос спасает своей уподобительностью: «Христианин своей жизнью уподобляется деяниям Христовым, и то, что Христос совершил смертью на кресте, погребением, воскресением и вознесением на небо, надлежит оправданным переносить в свою жизнь». Карлштадт формулирует

ет, таким образом, программу этического активизма и евангельского «„перевоспитания“ человека»: «Бог через Иисуса Христа воздействует так, чтобы действовали мы». И, видимо, совершенно не случайным является здесь поразительное сходство с гуситским пониманием «божьего закона» как универсальной нормы и самодостаточного жизненного императива для всех христиан без исключения. Вскоре доктор Карлштадт получил возможность реализовать свой «евангелический радикализм» прямо в Виттенберге. В отсутствие Лютера, вынужденного скрываться в замке Вартбург (май 1521 — март 1522 гг.), он при поддержке Габриэля Цвиллинга и отчасти Меланхтона, с согласия магистрата директивным образом вводит ряд существенных новшеств в религиозной практике и общественной жизни: устранение «жертвенной» мессы, причащение мирян под обоими видами, очищение храмов от икон, устройство общей кассы для поддержки бедных, закрытие публичных домов и др. В этой связи Ф. фон Бецольд справедливо писал, что «движение в Виттенберге принимало все более и более гуситскую окраску», что здесь раздавались голоса, напоминавшие «иступленные речи гуситского радикализма».

И наконец — трагическая, противоречивая и во многом непонятная фигура Томаса Мюнцера. Вождь восставших крестьян и, одновременно, одинокий мистик, с мессианским пафосом отвергший «комфортабельное» христианство Лютера, усмотревший в «оправдании только верой» конформизм и примирение с испорченностью общества. Вряд ли можно говорить о прямой производности взглядов Мюнцера от гуситско-таборской традиции, но активная инициативность чешского гусизма, несомненно, привлекала его. Под впечатлением лейпцигского диспута Мюнцер начал изучать акты констанцкого процесса и сведения о дебатах по поводу гуситской программы Четырех пражских статей на Базельском соборе. Свою роль сыграло и окружение Мюнцера в Цвиккау, где действовала неконформистская группировка Николаса Шторха, довольно аморфные взгляды которой представляли собой смесь гуситизированного вальденства и анабаптизма. Летом 1521 г. он прибыл в Прагу, уверенный в том, что именно Чехии суждено providением дать миру новую апостольскую церковь. Ожидания Мюнцера не оправдались, его Пражский манифест не воспламенил сердца утракистов. Но при этом он получил возможность ознакомиться с реформационным наследием и актуальной ситуацией в чешской религиозной жизни. Пристальное внимание Мюнцера привлекло учение Чешских братьев, особенно повторное крещение при принятии в общину, которое сопровождалось предварительным испытанием по катехизису. Вернувшись в Германию, он начал внедрять катехизацию как конституирующий элемент возрожденной церкви.

Отмеченные факты, число которых можно существенно увеличить, в той или иной степени получили отражение в специальной

литературе². Они демонстрируют определенные идейно-исторические связи между чешским гусизмом и лютеровским движением в Германии и одновременно позволяют задуматься о месте гуситской эпохи в истории европейской Реформации в целом. При этом мы выходим на комплекс спорных проблем, сконцентрированных вокруг ключевых понятий: «реформация» — «контрреформация» — «толерантность».

Изучение периода Реформации в нашем столетии стало одной из главных областей исторического исследования. С 1883 г., когда под знаком четырехсотлетнего юбилея виттенбергского реформатора начало выходить знаменитое веймарское издание его трудов, произошла подлинная историографическая экспансия, которую не в состоянии в полной мере отразить самые репрезентативные библиографии³. Лавинообразный рост числа публикаций сопровождался качественным изменением и расширением рамок исследований, их методологии, совершенствованием методики. Развивается представление о Реформации как социокультурном и церковно-идеологическом процессе радикальных изменений, затронувших практически все сферы общественной жизни. Теологическая и церковная проблематика, отношения между гуманизмом и реформацией, изменения в социальных, экономических, семейных институтах, система образования, народная культура и «реформация простого человека», история книгопечатания, наконец ведовство, алхимия и оккультизм — таков далеко не полный перечень тем, привлекающих внимание специалистов.

Естественно, что история Реформации, как зрелая научная дисциплина, имеет ряд дискуссионных проблем и гипотез, интерпретации которых расходятся весьма широким спектром. С другой стороны, накопился балласт стереотипов и априорно принимаемых постулатов, сложившихся в силу исследовательской традиции. «Самоочевидность» и одновременно шаткость, неопределенность присущи самому термину «реформация». Если попытаться установить хотя бы минимальный консенсус в рамках преобладающего традиционного подхода, то можно констатировать, что понятие реформации заимствуется, как правило, в готовом виде из работ, сосредоточенных исключительно на проблематике XV в. В результате европейская Реформация резюмируется в протестантизме этого столетия. Для периодизации процесса характерен выраженный «лютероцентризм»: только лютеровское движение разрушило единство церкви, расколов Европу конфессионально, следовательно, лишь с Лютера начинается подлинная история Реформации⁴. Как справедливо заметил А. Молнар, до сих пор распространено «достаточно наивное представление» о том, что Реформация родилась с точностью до дня 31 октября 1517 г.⁵ Верхним рубежом традиционно считается Аугсбургский религиозный мир 1555 г., хотя раздаются голоса, требующие расширения рамок реформацион-

ного периода до конца XVI в.⁶ Предшествующее развитие рассматривается лишь с точки зрения складывания предпосылок Реформации и аккумулируется в понятии «предреформация»⁷.

Существенную роль в подобных оценках играет устойчивый стереотип, согласно которому Реформация служит одной из несущих конструкций в «китайской стене», которая пролегает между 1450 и 1500 гг. хронологической шкалы, жестко разделяя «Средневековье» и «Новое время».

Характерной чертой большинства существующих концепций является их «пространственная» ограниченность. Анализируется и интерпретируется история Реформации в западноевропейском регионе (Священная Римская империя, Швейцария, Франция, Нидерланды, Англия). Необходимое для более адекватного исторического синтеза сравнение с ситуацией в Центральной и Восточной Европе, скандинавских странах, как правило, отсутствует. Уместно привести в этой связи мнение П. Бартона, подчеркнувшего, что в австрийских землях «эпоха Реформации... продолжалась на много десятилетий дольше, чем в иных немецких областях. „Магическая“ дата 1555 г. не играет здесь существенной роли»⁸.

Значительное влияние сохраняют противоположные конфессиональные подходы, которые именно во взгляде на «чешскую реформацию» демонстрируют удивительное единство и гармонию. Как с католической точки зрения, стремящейся к католизирующей «реабилитации» «чешской ереси», так и в оптике лютеранского реформационного концепта, возведенного в абсолютный и определяющий принцип Реформации, гусизм выглядит движением предреформационным или вариантом католического реформизма⁹.

Тенденция связывать начало Реформации только с XVI в. за столетия укоренилась и приобрела почти нормативный характер. Но при этом существуют более широкие и объемные взгляды и концепции, позволяющие рассматривать Реформацию как единый процесс в контексте кризисной эпохи социальных, сословно-политических, конфессиональных конфликтов приблизительно со второй половины XIV до середины XVII вв.¹⁰ Такой подход дает возможность точнее идентифицировать место гусизма и чешской Реформации в общеевропейском реформационном процессе.

Элементы нетрадиционных оценок можно найти еще в классических трудах прошлого века. В частности, Фридрих фон Бецольд, автор одной из лучших работ о немецкой Реформации и признанный специалист по истории гуситского движения, подчеркивал, что история протестантизма начинается с Виклифа, актуализованного чешской революцией¹¹. В нашем столетии справедливо критиковал «лютероцентризм» Люсьен Февр¹². Жан Делюмо в «Зарождении и развитии протестантской реформы» настаивает на применимости к истории религии категории «процессы длительной протяженности», методологическую эффективность кото-

рой продемонстрировал Ф. Бродель¹³. Ф. Шмагел в заключительных главах своего фундаментального исследования о гуситской революции проследживает типологическое сходство социальных программ чешской и немецкой Реформации¹⁴. Довольно бесплодная дискуссия в духе догматического марксизма о характере «раннебуржуазных революций», долгое время проходившая в историографии ГДР, показала, по крайней мере, что Реформация XVI в. и гуситская революция не могут быть отнесены к различным историческим эпохам¹⁵.

Особого внимания заслуживают теоретические модели, разрабатываемые в рамках «интегральной истории» и компаративных исследований. Почетное место среди них занимает капитальный труд Эриха Хассингера «Становление Европы нового времени», основную идею которого автор сформулировал следующим образом: «...Историю Запада округленно с 1300 г. вплоть до Французской революции следует воспринимать как единый период... Становление Европы нового времени происходило в ходе длившегося сотни лет процесса, который начался в конце XIII в. и внутри которого традиционный рубеж эпох около 1500 г. во многих отношениях не представлял собой цезуры первостепенного значения... Европа в XVI в. находилась в самой середине мощного процесса брожения, дальнейшее протекание и конечный продукт которого отнюдь еще не были предопределены. Только в середине XVII в. кристаллизировался тот мир, который сохранял устойчивость до Французской революции и который также не был затем разрушен одним ударом»¹⁶.

Конкретная историческая наука долгое время испытывала скепсис и недоверие к философии истории, которая имела явно метафизический характер. Философы, социологи и политологи по преимуществу спекулятивно вырабатывали «универсально действующие» принципы и законы, которые затем навязывали истории. С другой стороны, становится все более очевидным, что без теоретического подхода история не может перешагнуть уровень эвристики и фактографии. Профессиональные историки постепенно приходят к убеждению, что единственно возможное решение данной проблемы — самим стать «философами истории» с тем, чтобы, преодолевая национальные и региональные рамки, на базе исторической компаративистики проложить путь к научной теории истории. Существенный прогресс в этом направлении уже достигнут в работах по теории европейских революций. Принципиальное значение среди них имеет книга авторитетного немецкого исследователя Ф. Зайбта, соединяющая теоретическое богатство исторического синтеза с глубоким знанием источников и новейших достижений историографии¹⁷.

В основе научного метода Ф. Зайбта лежит структурный анализ развития европейской цивилизации и культуры, который позволяет убедительно «снять» мнимую противоположность между

Средневековьем и Новым временем. Европейское общество понимается как «транзиторное», которое, возникнув в XII в., развивается затем в возрастающем темпе вплоть до нашего столетия. С этой точки зрения и «новый» период (от Французской революции) представляет собой интенсификацию, а не противоположность предшествующего развития. Качественно новой безусловно является широкая концепция «ранних революций», проходивших в Европе с XIV по XVII вв. Разрабатывая принципиальную модель этих революций, Ф. Зайбт приходит к выводу, что первым звеном в их цепи стала гуситская революция в Чехии¹⁸.

Новый подход к изучению непосредственно европейской Реформации получил категориальное выражение в теоретических работах двух крупных чешских ученых: конфессионального историка и теолога А. Молнара и философа-структуралиста марксистской ориентации Р. Каливоды¹⁹. С разных методологических позиций они развивали тезис о том, что необходимо отказаться от иерархизации реформационного периода на «предреформацию» и собственно «реформацию». Гусизм представлял собой не подготовительную базу, а интегральную часть европейской Реформации и в качестве таковой принимал полноценное участие в общеевропейском процессе разрешения длительного кризиса церкви и общества. Такой взгляд не означает нивелировки разнообразных тенденций и направлений Реформации, но, наоборот, ставит проблему этапизации и типологизации. А. Молнар сформулировал концепцию «первой» (вальденско-виклифистско-гуситской) и «второй» (протестантской) Реформации. Полностью разделяя этот подход, Р. Каливода подчеркивал, что его нельзя воспринимать только хронологически, в том смысле, что двум историческим фазам Реформации жестко соответствуют два определенных реформационных концепта. Он интерпретировал обе модели в первую очередь структурно-типологически, допуская их одновременное существование. Например, в XVI в., в эпоху «второй» Реформации, поздний гусизм (в уtrakвистской и чешско-братской версиях) и цвинглианство типологически принадлежат к «первой» Реформации.

Во многом из теоретических положений Р. Каливоды исходит Винфрид Эберхард, который развивает, углубляет и корректирует их в своих конкретно-исторических исследованиях сословной структуры и религиозно-политических конфликтов в чешском обществе середины XV — первой половины XVI вв.²⁰.

Как представляется, изложенные здесь взгляды и концепции, интерпретирующие интересующую нас эпоху с самых различных позиций, могут служить ориентирами, которые позволяют рассматривать не только лютеровское и кальвинистское, но и гуситское движение в рамках сложно структурированного, динамического и противоречивого, но при этом единого процесса европейской Реформации, выразившегося в становлении качественно но-

вой формы христианства. Разумеется, существующая историографическая ситуация, неизбежный головокружительный «слалом» между довольно хаотичным нагромождением противоположных оценок, заставляют отказаться от любых «постулирующих» амбиций при определении основных параметров этого процесса. Поэтому, имея в виду преимущественно его идейную сторону и отнюдь не претендуя на окончательные выводы, отметим некоторые характерные черты, которые кажутся нам важными для адекватного понимания Реформации.

Европейская Реформация представляет собой феномен одновременно религиозного, социального и политического характера. Упоминание на первом месте религиозного компонента не имеет целью снизить значение остальных факторов процесса. Речь идет о том, чтобы рассматривать его наравне с другими аспектами и, может быть, сильнее акцентировать, чем это обычно делается в неконфессиональной историографии. В настоящее время уже общепризнано, что все существование, мысли и действия людей «позднего Средневековья» (или — в другой системе координат — «раннего Нового времени») в очень высокой степени пронизывались и определялись религией, а общество и религия находились в гораздо более тесном симбиозе, нежели это представляется сегодня в условиях нашего секуляризованного мира²¹. Но в общих характеристиках Реформации на первом месте находятся преимущественно социально-экономические (марксистская, особенно отечественная историография) или политико-юридические факторы («западные» исследования)²². При этом часто религиозный характер реформационного процесса либо вообще выносится за скобки, либо редуцируется до уровня идеологической формы или даже «ширмы» социально-групповых и политических интересов.

Представляется, однако, что религиозный компонент не только образует форму, но и составляет органическую часть содержания Реформации. В этом контексте уместно процитировать некоторые суждения Ф. фон Бецоляда и Н. И. Кареева, оценивавших Реформацию как явление в высшей степени сложное и многоплановое. «Все мысли и чувства нации, по содержанию и по форме, всецело находились под влиянием религии»²³. В эту эпоху «на первом плане... стояло разрешение вопросов религиозных». Реформаторы «...подняли руку на вековое здание католической церкви не во имя прав государства, не во имя инстинктов человеческой природы, осужденных аскетическим идеалом, не во имя прав разума, стесненного богословским авторитетом, а во имя оскорбленного религиозного чувства». Религиозный вопрос «...примешивался ко всем другим вопросам, если не был сам, так сказать, их средоточием»²⁴. В наше время не только конфессиональные²⁵, но и «светские» историки, которые выходят за традиционные рамки эпох и стремятся рассматривать Реформацию в общеевропейском

масштабе, не находят для определения своего предмета более адекватной категории, чем «церковная история» (Kirchengeschichte), «разумеется, не в узком смысле частной и исторической дисциплины, но в гораздо более широком: церковь и ее мир как центральный связующий пункт в подавляющем многообразии явлений»²⁶. При таком подходе становится очевидным, что вопрос о роли религиозности в истории европейской цивилизации является проблемой не только теологии, но и остальных сфер гуманитарного знания²⁷.

Приблизительно с 40-х гг. нашего столетия формируется научное направление, сущность которого афористично выразил Люсьен Февр: «Для религиозной революции нужно искать религиозные причины»²⁸. Пожалуй, с наибольшей осторожностью и основательностью, учитывая и конструктивно критикуя другие точки зрения, эту задачу решил Жан Делюмо. В иерархии причин и характеристик Реформации он отдает первенство религиозным факторам, понимая их весьма широко и подчеркивая их несводимость к проблеме «церковных злоупотреблений» и морального упадка клира. В контексте «тотальной истории», не сбрасывая со счетов политические и экономические аспекты, исследователь фокусирует внимание на «коллективной ментальности», на «подлинно диалектической взаимосвязи» теологии и массового религиозного опыта, формируемого как усиливающимся чувством «вины и страха», так и растущим индивидуализмом. С этой точки зрения Реформация выглядит творческим, новым, но при этом религиозным и церковным решением эпохального кризиса²⁹.

Иначе подходит к проблеме Ф. Зайбт, полагающий, что именно революции составляют культурную специфику Европы. При этом он справедливо подчеркивает, что для «ранних революций», ориентированных одновременно религиозно, социально и национально, религиозная мотивация (реформационная идеология) является главной особенностью, их духовной конституантой и необходимым качественным элементом³⁰.

Весьма серьезные аргументы против упрощенных оценок, против монокаузальности любого рода, дают наблюдения и констатации, сделанные Ф. Шмагелем при выяснении «европейских координат и параллелей» гуситской революции. Автор подчеркивает, что в эпоху Средневековья социальные и иные «светские» интересы отнюдь не всегда облекались в религиозную форму, нередко выступая в чистом виде. В частности, для крупнейших восстаний XII–XIV вв. религиозное выражение программных требований было скорее исключением, чем правилом. С другой стороны, имели место достаточно широкие религиозные движения без сколько-нибудь заметного социального и политического содержания (флагелланство и др.)³¹. Напрашивается вывод, что в реформационных движениях, обладавших «мирскими» и религиозными параметра-

ми, последние не только играют роль идеологической «формы», но и являются качественным, содержательным компонентом. В любом случае речь должна идти о взаимовлиянии параллельных и в равной степени доминантных социально-экономических, политических и религиозных факторов, моделирующих общественное развитие в эпоху Реформации.

В специальной литературе как правило и вполне справедливо обращается внимание на парадоксальный и противоречивый характер идеологии Реформации³². Однако часто эти свойства приобретают гипертрофированный характер в результате стремления «модернизировать» Реформацию, односторонне акцентируются такие ее черты, которые традиционно приписываются только «Новому времени» (особенно индивидуализм и религиозный субъективизм)³³. Понятно, что при подобной логике непременно «средневековый» католицизм и протестантизм противопоставляются как два абсолютно противоположных, непримиримо враждебных социокультурных феномена. Общим местом в литературе стало описание антисхоластических филиппик Мартина Лютера, хотя хорошо известно и то, что на формирование взглядов реформатора не меньшее влияние, чем гуманизм, оказали средневековая мистика (в том числе и Бернар Клервосский) и схоластический номинализм Оккама. При всех проклятиях по адресу университетской учености Лютер так и не перестал быть доктором теологии, а Меланхтон уже совершенно открыто взял на вооружение схоластический инструментарий.

Понятным при таком подходе становится и упорное стремление нашей историографии квалифицировать «посттридентский» католицизм лишь как антипротестантизм, только как Контрреформацию и нежелание говорить о «католической Реформе». Но если учесть, что конфессиональный раскол XVI в. не сопровождался распадом цивилизационной общности, то выясняется, что «братья-враги» (Реформация и католическая Реформа) по своим причинам, механизмам, методам и доктринам были гораздо ближе друг другу, нежели это могли представить сами их протагонисты³⁴. Парадоксы Реформации будут понятнее в контексте развития единой христианской культуры Европы. Полярная диалектика Реформации, с одной стороны, постулировала прямую связь между миром и Богом, а с другой стороны, подчеркивала, что между ними — пропасть. Во всех реформационных течениях, хотя и в специфических конкретных формах, и с различной интенсивностью на отдельных этапах, соединяются индивидуализм и универсализм, партикуляризм и экуменизм, социальный атонизм и коллективизм. Персоналистическое понимание веры, волюнтаризм и общественная активность сочетаются с учением о предопределении и своеобразным детерминизмом. Присутствуют одновременно выраженный иррационализм и представления о величии человеческого разума. Тенденция к секуляризации общественной жизни переплетается

с углублением и интенсификацией религиозного чувства, светский этатизм — с заметными теократическими стремлениями, а теологический радикализм — с социальным традиционализмом и консервативностью.

Отмеченные свойства наглядно проявляются в центральном элементе реформационного мышления и практики — проблеме церкви, сложность и значение которой часто недооцениваются. Термин «реформация» приобрел самодовлеющий характер, при анализе доктрин внимание сосредоточивается на их конкретных чертах («оправдание только верой» — у Лютера, «предопределенность к спасению» — у Кальвина и т. п.). При этом как-то упускается из вида, что речь шла прежде всего о реформации Церкви. Акцентирование принципов «христианской свободы», религиозного субъективизма, провозглашенных Реформацией, иногда приводит к тому, что она рассматривается как движение чуть ли не принципиально антицерковное, предполагавшее превращение церкви в формальный союз верующих, на свой страх и риск решающих проблему индивидуального спасения³⁵.

Однако, как справедливо подчеркнул Э. Хассингер, «принцип „extra Ecclesiam nulla salus“ сохранял силу еще долго после церковного раскола, а вечное блаженство на рубеже XVI и XVII столетий подавляющим большинством воспринималось отнюдь не с меньшей серьезностью, чем тремя столетиями раньше»³⁶. Обратимся к трудам Жана Кальвина, в учении которого, как считал М. Вебер, получило наиболее яркое выражение «ощущение неслыханного дотоле внутреннего одиночества отдельного индивида... в решающей для человека эпохи Реформации жизненной проблеме — вечном блаженстве...»³⁷. В катехизисе 1537 г. он пишет: «...Все избранные связаны узами веры в единую церковь и сообщество и в один народ Божий»³⁸. В «Институциях» (издание 1536 г.) подчеркивается, что «...отпущение грехов и милость дается тем из нас, кто был принят и включен в тело церкви; и наоборот, отпущение грехов не дается ни в другом месте, ни иным способом, ни кому-нибудь другому..., ибо вне этой церкви и этого общения святых нет никакого спасения»³⁹. Один из влиятельнейших программных документов кальвинизма — «Вторая Гельветская конфессия», опубликованная в 1566 г., содержит специальную статью под названием «Вне церкви Божьей нет спасения», которая гласит: «Общность с истинной церковью Христовой мы считаем настолько важной, что не представляем возможным, чтобы жили перед Богом те, кто не общаются с истинной церковью Божией, но отделяются от нее. Ибо как не было спасения вне корабля Ноева, когда мир погибал в потопе, так и мы верим, что нет спасения помимо Христа, который воспринимается избранными в церкви...»⁴⁰.

Реформаторам присущ глобально церковный подход к проявлениям социального кризиса. Основной категорией для них было

не «общество», но универсальная общность верующих во главе с папой и подчиненной ему иерархией духовенства. Реформация церкви должна была быть в первую очередь реформой профессиональных церковных институтов, а затем — «очищением» всех элементов «светского», также иерархически упорядоченного социума. При этом интересы и потребности нерелигиозного характера подчинялись идеалам, выводимым из Библии и христианского вероучения. «Реформационное мышление отражало социальные явления и позиции лишь вторично, в зависимости от первичного концепта церкви...»⁴¹. По мнению современного протестантского теолога, в Реформации церковь имеет в «деле спасения» более важные функции, чем в католичестве⁴².

Вплоть до Тридентского собора (1545–1563), отчасти и впоследствии, официальная католическая теология не располагала общепринятой теорией церкви. Упрощенная схема может выглядеть следующим образом. Церковь представляет собой институт, включающий в себя главным образом духовенство во главе с римской курией. Эта «самоспасительная» организация рассматривается как материальное воплощение инкарнации Христа, как иерархическая структура приобщения человека к Богу, непререкаемый посредник в деле искупления и спасения. Церковцентризм такого рода логически предполагает фундаментальное разделение христиан на священников и мирян. Церковь, т.е. иерархия клира, обладает абсолютным авторитетом в вопросах вероучения, культа и этики, демонстрируя выраженную теократическую тенденцию в политической сфере. Мирянам при этом отводится довольно пассивная роль. Индивид — лишь объект сакраментальной практики церкви, который может быть уверен в личном «спасении» при условии беспрекословного послушания, идейного конформизма и исполнения норм формального благочестия.

Реформация выдвинула иную антиавторитарную экклезиологическую концепцию и антииерархическую модель церкви. Акцент в понимании сущности церкви смещается с институционального на «духовный» аспект. При всем различии трактовок, ядро реформационной экклезиологии образует крайний христocентризм, с которым связаны более или менее последовательный евангелизм и раннехристианский идеал. Церковная традиция подвергается строгой ревизии в плане ее соответствия Слову Божьему и Священному Писанию, которые поднимаются на уровень абсолютной нормы жизни и веры. Общим теоретическим исходным пунктом Реформации является идея предопределения, т.е. несомненно очевидной принадлежности к «истинной» церкви. В учении о таинствах критикуется католический культовый сакраментализм («opus operatum»: объективное, инструментальное действие таинства через священника на «принимающего» вне зависимости от их веры и моральной квалификации). Основное внимание рефор-

мационная теология концентрирует на таинствах крещения и еucharистии, обеспечивающих духовное единство церкви как в смысле трансцендентном (соединение каждого верующего и религиозной общины с Богом), так и койноническом (объединение христиан между собой). Христианскому мышлению в целом присуща диалектика коллективизма и индивидуализма. Но если логика католицизма направлена от организации к отдельной личности, то Реформация исходит от индивидуума и приходит к религиозной общине. Иными словами, верующий приходит через Христа к церкви, а не через церковь ко Христу.

Отмеченные принципы были призваны гарантировать «свободу» и авторитарность «Божьего закона» в противовес амбициям иерархии и абсолютизации ее сакраментальных и культовых функций. Различия между духовенством и мирянами хотя и не снимались полностью, но существенно ослаблялись вплоть до провозглашения в теории принципа «всеобщего священства».

Кризисный характер и динамизм реформационной идеологии получил выражение в ее эсхатологической ориентации. История человечества есть история спасения. «Историческая теология» реформаторов констатирует, что приближающийся «конец времен» характеризуется растущим противостоянием «истинной церкви» и церкви институциональной, которая находится в состоянии неуклонного упадка и не способна к самореформе. С этим связана и важная роль, которая отводилась светскому элементу в преобразовании религиозной жизни (секуляризация имущества и лишение духовенства светских функций, подчинение его контролю государства, участие мирян в церковном управлении и т. п.)⁴³.

Важнейшей качественной характеристикой Реформации справедливо считается создание самостоятельных, независимых от Рима территориально-государственных церквей. Этот тезис следует уточнить в том смысле, что церковный раскол, схизма, отнюдь не был исходной и сознательной целью реформаторов. Провозглашая идею «христианской свободы», Реформация разделяла с католицизмом принцип единства веры. Реформаторы формулировали свои взгляды в виде универсалистских учений и были убеждены, что весь христианский мир должен их принять, поскольку они адекватно отражают «евангельскую истину». Известно, что вся история западнохристианской церкви шла под знаком частичных и более глубоких реформ. При этом границу между дозволенной реформаторской инициативой и отвергаемым лжеучением определяли высшие церковные инстанции, часто исходя из сиюминутных и прагматических потребностей⁴⁴. Согласно меткому замечанию Ф. Шмагеля, интеллектуального нонконформиста дела еретиком идеологическая цензура церкви. Весьма показательным, что «уличенный» еретик себя таковым не считал, соответствующие обвинения отвергал, а иногда еще более самоутверждал-

ся в роли глашатая истинной веры и «очищения христианства»⁴⁵. Реформаторы XV–XVI вв. в этом смысле не представляли исключения. Идейная эволюция как Гуса, так и Лютера во многом определялась тем, что их поначалу вполне лояльные предложения были враждебно восприняты римской курией. Степень теологической радикальности доктрин при этом не имела решающего значения: важен был сам факт покушения на вероучительную монополию иерархии.

Реформаторские учения признавали традиционные атрибуты церкви, которая рассматривалась как единая, святая, универсальная (католическая) и апостольская⁴⁶. Эти качества трактовались преимущественно в плане теологического единства при более или менее широкой организационной автономии. В ортодоксальном католицизме эти же атрибуты легли в основу жестко централизованной, «папистской» модели церкви. Противоположно интерпретируемый принцип религиозного единства, выраженный в политическом мышлении формулой «одна вера, один закон, один государь», по самой своей сущности имел агрессивный характер, оставлял мало простора для толерантности и логически привел к конфессионально-политической конфронтации. В масштабах Европы она завершилась вынужденным компромиссом, выразившимся в оформлении «национальных», а точнее, государственных церквей⁴⁷.

Однако не следует упускать из вида, что «...хотя церковное единство Запада в XVI в. распалось, но великое решение о том, что оно все же не будет восстановлено, около 1600 г. еще не было принято... И после раскола церкви идея „*una sancta*“ не была оставлена...»⁴⁸. В этой связи более плодотворной для хронологической и типологической характеристики Реформации представляется концепция конфессиообразования (процесса формирования конфессий — *Konfessionsbildung*), предложенная В. Эберхардом, которая органически соединяет религиозный и социально-политический аспекты⁴⁹. Исследователь четко различает «*Kirchenbildung*» и «*Konfessionsbildung*». Первый термин обозначает организационную консолидацию уже существующих исповеданий в церкви территориального типа, т.е. последнюю фазу процесса. Дефиниция «конфессиообразования» охватывает реформационный процесс в целом, начиная от выделения различных религиозных групп с неоднозначным и все более расходящимся пониманием христианского вероучения, через оформление религиозных партий, обладающих письменно зафиксированными церковными распорядками и исповеданиями (конфессиями) — до консолидации территориальных церквей. Сложившаяся конфессия характеризуется следующими основными признаками: наличием письменно фиксированного исповедания в качестве идеологического кодекса, вокруг которого группа может объединиться; универсалистским характером этого исповедания, однозначно претендующего на реализа-

цию в масштабах церкви в целом; способностью к социальному действию в качестве активной религиозной структуры, сначала в виде борющейся общественной группировки («религиозной партии»), а затем в форме политической и юридически признанной церковной организации. С этой точки зрения первые конфессии в истории западного христианства возникли в ходе гуситской революции⁵⁰.

Рассматривая чешскую Реформацию в контексте общеевропейского реформационного процесса, мы сталкиваемся с еще одним сложным вопросом: проблемой континуитета Реформации в Чехии в период между гуситской революцией и тридцатилетней войной.

В историографии XIX в.⁵¹ господствовало представление о том, что уtrakвистский гусизм со времени заключения компактатов в середине 30-х гг. XV в., а особенно после смерти Иржи Подебрадского и Яна Рокицаны (1471 г.), все более приходит в упадок, отличаясь от католицизма лишь в незначительных частностях. Подлинно гуситское наследие сохраняет лишь Община чешских братьев. С началом протестантской Реформации этот дегенерировавший гусизм был без труда побежден и поглощен лютеранством. Эта позиция сохраняет преобладающее влияние вплоть до сегодняшнего дня. Для обобщающих работ и большинства исследований по истории Чехии XVI в. с их типичной ориентацией на «большую политику» характерен взгляд, согласно которому гуситская революция представляет собой позднесредневековый эпизод, радиус действия которого заканчивается максимально «подебрадской эпохой». С переходом чешской короны к Габсбургам в 1526 г. начинается совершенно новый исторический период. Религиозная ситуация при этом затрагивается лишь вскользь в плане проникновения лютеранских или кальвинистских «идей». Фактически речь идет о дисконтинуитете в развитии чешской Реформации, а в качестве рубежа эпох обычно рассматривается выступление Мартина Лютера на Лейпцигском диспуте 1519 г. Обострившиеся к этому времени противоречия между уtrakвистскими религиозными направлениями интерпретируются в том смысле, что под влиянием и посредством Лютера от традиционной и консервативной гуситской конфессии («староутраквизм») отделяется лютеранская партия («новоутраквизм»). Эти «чешские лютеране» только формально принадлежат к уtrakвистской церкви, не обладая в сущности уже никакой «гуситской» спецификой. В свою очередь, староутраквисты эволюционируют к римскому католицизму и поглощаются им к концу XVI в.⁵²

Как ни странно, большинство исследователей не насторожил тот факт, что стремление представить новоутраквизм в качестве лютеранской конфессии, по конъюнктурным соображениям маскирующейся под легальный уtrakвизм, было характерно именно для чешских католиков, папской курии и особенно короля Фердинанда I, который все чаще высказывал это мнение, чтобы получить юридические основания для подавления нонконформист-

ского крыла утраквистов⁵³. Однако в историографии существует и другая точка зрения, впервые высказанная в начале нашего столетия Ф. Грейсой и затем развитая К. Крофтой⁵⁴. Оценивая чешское конфессиональное развитие конца XV — XVI вв., они признавали большое влияние лютеранства (и кальвинизма — на Общину чешских братьев), но при этом подчеркивали самобытность, жизнеспособность утраквизма, его способность к радикализации в континуитете с гусизмом революционной эпохи вплоть до белогорской катастрофы 1620 г. По ряду причин в ходе последовавшей дискуссии эта концепция не смогла утвердиться⁵⁵. Во-первых, она получила выражение лишь в частных исследованиях или полемических статьях общего характера. Кроме того, Ф. Грейса и К. Крофта распространяли свои оценки глобально на весь XVI в., не выделяя отдельных этапов в развитии взаимоотношений между чешской и протестантской Реформацией в Германии. Свою роль сыграло и отсутствие четкой региональной дифференциации. Специфическая конфессиональная ситуация в Моравии, Реформация в немецкоязычных областях Северо-Западной Чехии, проходившая по «саксонскому» образцу⁵⁶, рассматривались, а во многом рассматриваются и до сих пор, в одном ряду с конфессиональной динамикой в сфере влияния чешского утраквизма. Наконец, оба исследователя говорили о радикализации утраквизма только с момента выступления Лютера, что фактически усиливало значение лютеранства для чешской Реформации и не акцентировало гуситский континуитет.

В послевоенной историографии гуситские традиции позднего утраквизма, его идейную «нестерильность» в различной связи отмечали: Р. Урбанек, В. Гуса, Ф. Г. Хейменн, А. Скибква, А. Молнар, Н. Рейхтрова, в последнее время — Ф. Шмагел⁵⁷. Теоретическую модель Реформации в чешских землях с позиций структурной истории разработал Р. Каливода⁵⁸. С его точки зрения эпоха чешской Реформации (1400–1620 гг.) открывается гусизмом и гуситской революцией и затем представляет собой единый динамичный процесс развития и трансформации гусизма на различных фазах стабилизации результатов революции и борьбы против попыток реставрации⁵⁹. Принципиальное значение для развития и конкретно-исторического обогащения этой концепции в соединении с теорией «сословных революций» Ф. Зайбта имеют работы В. Эберхарда⁶⁰. Концентрируя основное внимание на структурном анализе сословно-политических конфликтов «ягеллонского века» и начала «габсбургского» периода в истории Чехии (до середины XVI в.), В. Эберхард подчеркивает параллельность и взаимовлияние как политических, так и религиозных факторов в едином процессе формирования конфессий.

Как видим, взаимодействие чешской и немецкой Реформации имеет сложный и многоаспектный характер. Необходимый для решения проблемы компаративный анализ динамических моделей обоих процессов затрудняется их асинхронностью. Имеющиеся

сопоставления в основном ограничивались недостаточно корректным сравнением позднего гусизма и раннего лютеранства, что приводило к выводам о глобальном упадке утраквизма и однозначной рецепции учения Лютера в начале XVI в. В результате термин «новоутраквизм», введенный Ф.Грейсой для того, чтобы заменить укоренившееся понятие «чешские лютеране» и акцентировать таким образом континуитет гусизма и в условиях европейской Реформации XVI в., приобрел прямо противоположное значение.

Естественно, что в рамках одной статьи большинство аспектов проблемы «Чехия и Лютер» можно только обозначить. Подробнее мы пытаемся рассмотреть ту ее часть, которую можно определить как «Чехия перед Лютером». Речь идет о том, чтобы выявить основные элементы идеологии чешской Реформации в том виде, как они были сформулированы Яном Гусом и другими ее «духовными отцами», и, проследив их эволюцию до начала XVI в., получить представление об идейном качестве утраквизма к моменту исторической встречи с немецкой Реформацией.

Чешская Реформация заявила о своем выходе на историческую сцену смелым выступлением Яна Гуса против торговли папскими индульгенциями, развернувшейся в Праге с санкции короля Вацлава IV летом 1412 г. С этого момента постепенное складывание реформационной идеологии, имевшей как общеевропейские (Д. Виклиф), так и отечественные истоки (Ян Милич, Матей из Янова), приобретает ускоренный темп и оформляется в двух основных версиях, представленных именами университетских магистров Яна Гуса и Якоубека из Стржибра⁶¹.

Абстрагируясь от генетического аспекта, мы сосредоточимся на анализе структуры учения Гуса, особенно его важнейшего элемента — теории церкви. В условиях кризиса позднесредневекового общества все более остро ощущалась потребность осознания глубинного смысла коллективного христианского существования, однако экклезиология тогда еще не была разработана в виде цельной теологической доктрины, догмат о церкви заменяла церковная практика, отражавшаяся в каноническом праве. Труды Виклифа и Гуса послужили одним из главных импульсов к так называемой четвертой волне теологической дискуссии, впервые поставившей экклезиологию в центр внимания богословов, когда предметом анализа стала сущность церкви и ее главные качественные характеристики: единство, святость, универсальность, апостоличность⁶². Высказанные при этом мнения привели к созданию совершенно различных типов теологии, которые в конечном итоге могли существовать только в отдельных церквях.

Теологическая модель церкви у Гуса весьма сложно структурирована и схематически выглядит следующим образом. Истинная церковь представляет собой «невидимое», мистическое «тело Христова», которое образуют исключительно избранные Божьи, пред-

определенные к спасению от сотворения до конца света. Их посредством обеспечивается универсальность и единство церкви по всему миру. Она проявляет себя в рамках традиционной трехчленной структуры: церковь воинствующая (предопределенные, живущие на земле и находящиеся на пути к вечному спасению); церковь страждущая (предопределенные в чистилище, где они очищаются от земных грехов); торжествующая церковь «святых», достигших вечного блаженства.

Божественное предопределение может иметь как позитивный, так и негативный модус: наряду с предопределенными есть люди проклятые, отвергнутые Богом, которые не принадлежат к мистическому телу Христовой церкви и не достигают вечного спасения. Особо существует мистическая церковь «злых» — «синагога Антихриста».

Человеку не дано знать ни о себе, ни о других характер божественного предопределения. Поэтому церковь здесь, на земле, церковью только кажется, это лишь человеческое представление о ней («мнимая церковь»). Главной проблемой теории предопределения является сосуществование «истинных христиан» и «отвергнутых» в земной церкви. Гус решает ее, различая два варианта позитивной предопределенности. С одной стороны, это предызбранность к достижению вечной жизни, основополагающая божественная милость, которая распространяется только на избранных в строгом смысле слова; с другой стороны, это предопределенность к «посюсторонней справедливости» (*iustitia praesens*), дающая возможность отпущения грехов. Она касается как избранных, так и «обреченных», это милость, стимулирующая человеческую волю. Милость «посюсторонней справедливости» играет в теории Гуса принципиальную дифференцирующую и динамизирующую роль. Избранный к спасению, не знающий о своем предназначении, в земной жизни грешит, а упомянутая милость дает ему возможность покаяния и отпущения грехов. «Обреченные» также могут находиться в милости «посюсторонней справедливости», когда они не грешат или искренне сокрушаются в грехах. В таком случае они вместе с избранными образуют в рамках земной «мнимой» церкви «сообщество верных» (*congregatio fidelium*), хотя вечное спасение их в любом случае не ждет. Милость «посюсторонней справедливости» не относится к членам «церкви Антихриста», поскольку они не стремятся ее заслужить.

Экклезиологической концепции Гуса присущ выраженный христоцентризм. Главой церкви является исключительно Христос, с которым спасенные образуют единое тело. Христос — связующее звено, соединяющее христиан между собой, а также — единственный посредник между человеком и Богом⁶³.

Даже из предложенной упрощенной схемы видно, что теория Гуса не лишена противоречий. Прежде всего встает проблема кри-

териев принадлежности к истинной церкви. Эта церковь невидима, следовательно, верующий не знает, является ли он «избранным». На это можно только надеяться, предполагать и стремиться к милости Божьей.

Ключом к пониманию учения Гуса служит категория «закона Божьего» (*lex Dei*), который одновременно есть «закон Христов» (*lex Christi*), воплощенный в Священном Писании. Он — неподверженная изменениям основа истинной церкви, абсолютно самодостаточная и универсальная норма жизни церкви воинствующей (т.е. общества) и необходимый «инструмент» достижения посмертного блаженства для индивидуума. Соблюдение «закона Божьего» является знаком-условием принадлежности к истинной церкви. По сути дела, идея предопределения и регулятивный принцип «закона Божьего» у Гуса означают, что добродетельный, систематически выстроенный по норме «божьего закона» образ жизни ведет к спасению. Живущие иначе будут прокляты и отвергнуты Богом.

С этим связано и гуситское понимание веры, источником которой является в первую очередь Священное Писание. Библицизм Гуса не абсолютен, он признает определенную часть церковной традиции, но лишь в том случае, если она согласуется с главным принципом. При этом вера у Гуса имеет активный, действенный характер. Понимаемая как единство разума, воли и действия, она служит основным условием спасения.

Следует особо подчеркнуть, что в гусовой еkkлeзиологии практически не находится места для институциональной иерархической церкви. Оба главных понятия, с которыми работает реформатор (*societas praedes — tinatorum, congregatio fidelium*), с ней не отождествляются. Римская церковь (папа, кардиналы и иерархия) не удовлетворяет критериям единства, универсальности, святости и апостоличности. Папа и кардиналы — лишь часть церкви, причем только потенциально. Римский первосвященник может считаться наместником Христовым, но лишь в том случае, если живет в соответствии с «законом Божьим», в противном случае он — Антихрист. Об институте папства ничего не говорится в Писании, следовательно, оно не имеет божественного происхождения. Более того, Гус не признает за папой «власти ключей», ибо она принадлежит только Богу. Священник не отпускает грехов, он может лишь возвестить об отпущении, даваемом Богом. Ян Гус выдвигает, хотя и не совсем последовательно, идеал «бедной церкви», настаивает на отказе духовенства от светских функций, акцентирует раннехристианскую практику выборности священников, признавая одновременно за ними право свободной проповеди без предварительного разрешения епископа. Тем самым он вплотную подходит к идее всеобщего символического священства. При этом различия между духовенством и мирянами не снимаются полностью: Гус признает принцип апостольского преемства и святость свя-

щеннической должности, которая, однако, во многом зависит от моральной квалификации ее носителя («дурные» священники — худшая, а «добрые» — лучшая часть общества). Реформационная программа Яна Гуса имеет универсалистский, экуменический характер. С другой стороны папский централизм не имеет в его глазах высшего оправдания. В этой связи многие исследователи считают, что Гус понимал церковное единство в «федералистском смысле», представляя его в виде равноправного союза национальных или государственных церквей.

Стержнем не только экклезиологии, но и всего учения Яна Гуса стала его теория власти и послушания, которая в принципе признает за подчиненными и зависимыми последователями «божьего закона» право на неповиновение и сопротивление церковным и светским властям, действующим в явном противоречии с евангельской нормой. В данном случае речь не шла о «релятивизации всей феодальной системы», как иногда утверждается в историографии. Виклифистско-гуситская норма «божьего закона» одновременно предписывала полное повиновение «добрым» и богобоязненным господам и властным структурам. Гус не противопоставляет принцип «закона Христова» действующему праву и социальным институтам, но ставит его над ними с целью их усовершенствования в духе идеала сословной и социальной гармонии. Неслучайно Ян Гус легалистически подчеркивает примат короны по отношению к церкви и обращается со своей реформационной программой к государству⁶⁴. Это замечание не может, однако, затенить того факта, что учение об истинности «духовной» церкви и ее проекция на земную церковь создали широкий простор для критики, позволили Гусу теоретически подорвать основы куриального централизма и папского единовластия, не только отвергнуть претензии иерархии на «спасительные» функции, но и отказать ей в праве называться церковью вообще. Теория Гуса открывает возможность радикальной реформы институциональной римской церкви по евангельскому образцу. Можно сказать, что чешский реформатор, исходивший из принципов христианского единства, не предполагал создания партикулярной религиозной организации, но объективно мыслил в категориях качественно иной, антииерархической и антиавторитарной структуры универсальной церкви. Именно в экклезиологии ортодоксальный католицизм усматривал и усматривает главное «еретическое» ядро учения Гуса. Идейные противники реформатора в своих полемических трудах формулируют прежде всего теологическое обоснование властно-институциональной формы церкви; среди 30 положений Гуса, осужденных Констанцским собором, 20 касаются церкви и папства, а современные католические авторы характеризуют экклезиологию Гуса как «грубое догматическое заблуждение»⁶⁵.

Второй «сооснователь» гусизма — магистр Якоубек из Стржибра⁶⁶ (ок. 1373–1429 гг.), ведущий идеолог и «серый кардинал» гуситской политики революционного периода, разделял с Гусом виблифистскую ориентацию, но в большей степени исходил из чешской реформационной традиции, главным образом из идей Матея Яновского.

Якоубек выдвигает на первый план идеал «ранней церкви» (*ecclesia primitiva*), под которой все гуситские мыслители понимали «предконстантиновскую» эпоху истории христианства. При этом он идет гораздо дальше распространенного в позднесредневековой Европе «редукционализма», согласно которому общество должно было просто вернуться к ранней церкви как этическому образцу (принцип *imitatio Christi* в движении «нового благочестия» и т. п.). У Якоубека из Стржибра раннехристианский идеал поставлен в контекст широкой эсхатологически понимаемой исторической перспективы от воплощения Христа до его вторичного прихода. Основополагающий гуситский принцип «закона Божьего» тесно связан с идеей Антихриста и надвигающегося «конца времен». Модель «закона Христова», т. е. земной жизни Христа, апостолов и предконстантиновской церкви, противопоставляется современности. Все, что выходит за рамки этого закона, а тем более противоречит ему, есть «человеческие измышления», *tradicio-nes humane*, которые несут на себе печать Антихриста и должны быть бескомпромиссно отвергнуты. С приходом Антихриста необходимо очиститься от них посредством возврата церкви к апостольскому состоянию. С точки зрения Якоубека, история постконстантиновской церкви представляет собой процесс непрерывного упадка, который необходимо остановить, осуществив ее реконструкцию на аутентичных основах.

Свойственное Реформации эсхатологическое мышление проявляется в двух основных формах. В одном случае — это ожидание быстро приближающегося последнего суда, а вместе с ним вознаграждения и расплаты, в другом случае — вера в скорое наступление нового века Духа святого или царства Христова на этом, но радикально изменившемся свете. В теологии Якоубека, особенно в раннем периоде, заметны апокалиптические и хилиастические элементы, но в целом он, как и вся Первая реформация, в отношении к миру, человеку и Богу делает акцент на земной жизни. Сущность его эсхатологии состоит в требовании жизни здесь, на земле, в соответствии с «законом Божьим» по примеру Христа, жизни, в которой христианин сможет дать отчет в день последнего суда. И для него Антихрист — скорее коллективное понятие, характеризующее всех, кто прикрывается именем христианина, но живет в противоречии с законом Христовым; таковыми являются прежде всего недостойные священники и прелаты, а среди них в первую очередь — папа, кардиналы и римская курия в целом

(в ряде случаев Якоубек отождествляет с Антихристом и конкретных лиц, например, папу Иоанна XXIII или императора Сигизмунда). В этой связи магистр формулирует свое представление об «истинной церкви», существенно упрощая и конкретизируя сложную предестинационную теорию Виклифа и Гуса в духе Матей из Янова. Подлинная церковь — это «сообщество святых» (*congregatio sanctorum dei*), вечное, неуничтожимое, монолитное мистическое тело Христово. Ее членами являются только те, кто имеет «Христа в себе». Все сторонники Антихриста должны быть изгнаны из земной церкви. Якоубек отдавал предпочтение мирным, духовным средствам борьбы с ними, но при определенных условиях допускал и возможность справедливой «войны за веру»⁶⁷.

Антитеза ранней и современной церкви служит Якоубеку для аргументации принципа евангельской бедности как основного требования, предъявляемого к духовенству. Реформатор категорически требует лишения церкви светской власти и собственности, которую государство должно обратить на общую пользу, обеспечив священникам необходимое скромное содержание⁶⁸.

Наиболее яркое выражение раннехристианский идеал получил в учении Якоубека об одном из важнейших христианских таинств — евхаристии, в которой, по выражению Дунса Скотта, концентрировалось «практически все благочестие церкви»⁶⁹. Программное возвращение к архетипу ранней церкви вело Якоубека из Стржибра к историческому по сути дела изучению Библии, святоотеческой литературы, исторических хроник, что позволило ему сформулировать, обосновать и отстоять в полемике идею «мирской чаши», причащения мирян под обоими видами — центрального идеологического принципа и символа чешской Реформации⁷⁰. Причащение под обоими видами — есть установление Христово, которое практиковалось в ранней церкви и было в противоречии с «законом Божиим» упразднено институциональной церковью в сравнительно недавнем прошлом (причащение мирян только хлебом было санкционировано IV Латеранским собором в 1215 г.). Внушенное Антихристом «человеческое измышление» должно быть искоренено самым решительным образом. Оно привело к распространению различных эрзац-форм богочитания: культу святых и икон, расширению числа таинств, вере в чистилище, усложнению литургического ритуала и т. п. Теоретически установив евангельскую норму по отношению к евхаристии, Якоубек в 1414 г. начал ее практическое осуществление в Праге, откуда «мирская чаша» молниеносно распространилась по всей Чехии, несмотря на официальный запрет Констанцкого собора⁷¹.

Следует особо подчеркнуть неправомерность довольно распространенного представления, согласно которому гуситское требование причащения мирян под обоими видами имеет второстепенный, культовый, обрядовый характер. И этот аспект сам по себе

был опасен для официальной церкви, ибо без литургической унификации невозможно и организационное единство, но в данном случае речь шла о гораздо большем.

В христианском мышлении евхаристия тесно связана с экклезиологией, главный смысл таинства — в соединении верующих с Христом и объединении их между собой. В гуситском христocen-трическом понимании церкви «таинство алтаря» становится одним из важнейших условий и признаков как принадлежности к истинной духовной «церкви святых», так и отделения от лже-церкви Антихриста⁷². При этом причащение должно осуществляться строго по раннехристианскому образцу. В представлении Якоубека верующему нет места в церкви избранных, предопределенных к спасению, «святых» без регулярного причащения «телом и кровью Христовой». Причащение под обоими видами в идеологии чешской Реформации напрямую связано с центральной христианской проблемой — проблемой спасения. Спасоносность «чаши» была для Якоубека настолько очевидной, что он распространял причащение под обоими видами и на младенцев. Духовенство, узурпировав право «полного» причащения, лишало остальных верующих самого смысла их земного существования.

Принцип «мирской чаши» имеет открыто антииерархическую и антиавторитарную направленность, поскольку в нем ясно выражена идея равенства всех христиан перед Богом. Его реализация в гуситской Чехии означала существенный шаг на пути стирания принципиального различия между духовенством и мирянами. В этой связи Ж. Делюмо справедливо говорит о «хотя и частичной, но подлинной победе идеи всеобщего священства»⁷³.

Наконец, выдвинутая Якоубеком идея не только противоречила тогдашней церковной практике, но и вообще ставила под сомнение вероучительный авторитет римской церкви, поскольку отказывала ей в праве изменять форму Священного Писания. Как пронизательно заметил современный католический историк, «борьба за чашу была лишь осуществленным на практике выражением виклифистского антикатолического понимания церкви...»⁷⁴.

Основной идейный арсенал чешской Реформации, выработанный в трудах Гуса и Якоубека из Стржибра в ходе гуситской революции, прошел сложный путь развития, конкретизации, отчасти и деформации. В рамках нашей темы особый интерес представляют взгляды ведущего идеолога и политика пражского умеренного утраквизма Яна Рокицаны и главного теоретика радикального гусизма Микулаша из Пельгржимова, высказанные в 30-х — нач. 40-х гг., в период выработки соглашения между гуситской Чехией и католической Европой (Пражские, Базельские или Иглавские компакаты, окончательно утвержденные в 1436 г.), ознаменовавшего окончание гуситских войн и переход революции в новую фазу преимущественно политической борьбы⁷⁵.

Ян Рокицана искренне стремился к компромиссу с католической церковью, был готов на существенные уступки, вел с этих позиций принципиальную полемику с таборитами, но не предполагал при этом отказа от основных положений гусизма. Об этом свидетельствует его позиция во время дискуссии о гуситской программе Четырех пражских статей на Базельском соборе в 1433 г., в ходе которой магистр защищал тезис о причащении мирян под обоими видами. В духе своего учителя Якоубека из Стржибра, Рокицана утверждал, что «мирская чаша» есть евангельская истина, установление Христово, необходимое каждому верующему для спасения. В ходе полемики, как это сразу заметил оппонент Рокицаны доктор теологии Иван Стойкович из Дубровника, столкнулись краеугольные принципы гуситской и ортодоксальной экклезиологии. Ян Рокицана отстаивал понимание церкви как мистического объединения всех предопределенных к спасению во главе с Христом. Хорватский доминиканец твердо стоял на позициях официального вероучения: «Папа и кардиналы есть римская церковь, и им следует повиноваться под страхом вечного проклятия». Согласно Рокицане церковь по отношению к Священному Писанию имела только служебную функцию. Стойкович утверждал, что католическая церковь не может ошибиться в вопросах веры, ей принадлежит решающая роль при распознавании ошибочного учения и при определении библейского канона⁷⁶.

Споры Рокицаны и Ивана Стойковича ясно показали, что в Базеле противостояли друг другу противоположные модели церкви, а в соответствии с этим и различные программы ее реформы.

Ян Рокицана внес большой личный вклад в заключение Базельских компактатов, поскольку они представлялись ему необходимым решением многолетнего вооруженного конфликта и достаточным условием для преодоления противоречий с римской церковью. Но как только стало ясно, что компактаты для собора, папства, императора Сигизмунда были только инструментом будущей рекатолизации, его взгляды вновь радикализуются. В дипломатических шагах и политических выступлениях Рокицана продолжал проявлять осторожность, но в своих проповедях открыто высказывал подлинно гуситские идеи⁷⁷.

В частности, в чешской постилле Яна Рокицаны мы находим предестинационное понимание церкви, согласно которому подлинными членами истинной церкви Христовой являются только христиане, предопределенные к спасению⁷⁸. В специальном трактате он разбирает вопрос о том, как в земной жизни различать избранных и проклятых⁷⁹. Довольно резко Рокицана выступает против иерархическо-монархического устройства церкви, отрицая авторитет духовной иерархии и особенно папства. С его точки зрения римская церковь есть «синагога Сатаны и Антихриста», вне которой каждый христианин может достичь спасения. В соответствии с

этим, папские отлучения не могут нанести ущерба подлинным христианам, а индульгенции не имеют никакого значения⁸⁰.

Экклезиология Рокицаны логически ведет его к антикатолическому пониманию веры. В духе Виклифа и Гуса Рокицана утверждает, что верховным авторитетом и критерием в вопросах веры является не церковный магистерий, но исключительно Священное писание или «закон Божий». У Рокицаны мы находим в весьма развитом виде будущий протестантский принцип «Sole Scriptura», хотя он и не исключает церковную традицию в качестве вторичного источника веры (если она не противоречит Писанию)⁸¹.

Идеология радикального гусизма получила свое наиболее полное теоретическое выражение в полемическом сочинении таборитского «сеньора» Микулаша из Пельгржимова «Исповедание и защита таборитов» (окончательная редакция — около 1434 г.)⁸². В отличие от своего оппонента Яна Рокицаны, который стремился решить конфликт между гусизмом и католической церковью посредством «почетной» реинтеграции чешского народа в христианское сообщество, Микулаш ставит вопрос о необходимости возврата «христианства» в целом к нормам ранней церкви. Акцентируя христоцентрическое ядро гуситского авторитативного принципа, он четко формулирует свои теоретические послышки: законодательный суверенитет Иисуса Христа, самодостаточность закона Христова, методологическая обязательность канона Священного Писания, догматическая необязательность послеапостольской традиции, небиблейская основа системы официальных обрядов (глава 3). При этом Микулаш из Пельгржимова во многом идет дальше Яна Гуса, Якоубека и их последователя Рокицаны, в сущности отвергая официальную догматику. Особенно отчетливо это проявляется в учении о таинствах. В глазах таборитского идеолога большая часть традиционной сакраментальной теории и практики выглядит как грубое суеверие, как средство укрепления господства иерархии над мирянами. Главный критерий при оценке конкретных таинств: были ли они «в своей чистой сущности установлены Христом» (глава 4). С этой точки зрения сомнительным является не только само количество таинств, но и их необходимость для спасения. Радикальный гусизм без возражений принимает только крещение как знак духовного рождения в Боге (глава 5), причастие, «которое многократно превышает остальные таинства» (глава 8) и брак (глава 12). Конфирмация заменяется совершенно необязательным возложением рук (главы 6, 7), а покаяние редуцируется до исповедания своей вины Богу или «любому верующему без различия» (глава 9). Таинство священства становится независимым от епископского посвящения (глава 12). За последним помазанием вообще не признается статуса таинства (глава 13).

Таким образом, табориты сознательно разошлись с официальным сакраментализмом, толкуя таинства как простые символические действия, необходимость которых засвидетельствована Писа-

нием. В этой связи отвергается также тайна исповеди, поскольку она совершенно неправомерно подчеркивает значение священнического отпущения грехов (глава 10). Особо следует отметить, что в своем понимании евхаристии радикальный гусизм вслед за Виллифом отрицает учение о трансубстанциации.

Обосновывая простоту таборитской литургической практики, Микулаш из Пельгржинова подвергает критике католический обряд мессы (глава 14). В данном случае следует различать сущность и второстепенные вещи, как это рекомендовал Якоубек из Стржибры. К числу последних отнесены затянутасть и пышность богослужения, обязательность его осуществления в освященном месте (храме). Магический характер мессы совершенно вытеснил ее первоначальное значение объединяющего действия. Вместо того, чтобы вести верующего ко Христу, она привлекает внимание к святым. В духе первоначальной церкви Микулаш обосновывает отказ таборитских священников от культовой одежды (глава 15).

Четыре обширные главы (16–19) посвящены учению о чистилище, которое характеризуется как фантастический вымысел прямо преступного характера, благодаря которому возросла алчность духовенства, развилась симония, были созданы дорогостоящие монастыри и храмы, недопустимым образом разрослась масса паразитического клира.

Острой критике подвергает таборское исповедание культ святых (главы 20–22). Он кощунственно затеняет уникальность и непередаваемость посреднической функции Христа. Апостольской церкви этот культ был неизвестен.

Как известно, табориты не ограничились теоретической апелляцией к идеалу ранней церкви и последовательной критикой исторических деформаций западного христианства, но и сознательно пошли на организационный разрыв с Римом, создав самостоятельную церковную организацию⁸³.

Принципиальное значение для оценки идейного качества чешского утраквизма накануне выступления Мартина Лютера имеют взгляды еще одного гуситского теоретика и практика — Вацлава Коранды Младшего (ок. 1423 — 1519 гг.)⁸⁴, которые можно рассматривать как почти официальную доктрину утраквизма в конце XV — нач. XVI в.

Главной проблемой гусизма после окончания гуситских войн было сохранение единства с «универсальной церковью» без отступления от основных принципов чешской Реформации. Формально-юридически этот вопрос был решен с подписанием и утверждением Базельских компактатов, но фактически спор гуситов с церковью не был окончен. Когда в 1462 г. папа Пий II отменил компактаты, конфликт мог быть разрешен или полным подчинением гуситов Риму, или же окончательным разрывом с ним. Эта альтернатива определяла характер развития чешского утраквизма

вплоть до начала протестантской Реформации, а во многом и впоследствии⁸⁵. Анализ идейного наследия Вацлава Коранды показывает, что он, твердо оставаясь на позициях компактатов, трактует их гораздо более радикально, нежели это было свойственно умеренным гуситам в 30–40-е гг. XV в.

В центре его внимания синтезирующий пункт гуситской теории и практики — причащение под обоими видами. Характерно, что, подчеркивая евангелическую основу «мирской чаши», Коранда доказывает, что причащение мирян только хлебом противоречит установлению Христову. Это явно противоречит компактатам, которые говорят, что обе формы причастия равно «совершенны». Такую же позицию он занимает и по отношению к причащению младенцев, решительно отстаивая его в противоречии с буквой и духом компактатов⁸⁶. Само конкретное содержание упомянутых вопросов имеет отнюдь не второстепенный характер, но одновременно они свидетельствуют и о принципиальной позиции утравкистов этого периода в отношении церковной иерархии: в первую очередь следует повиноваться Богу, а не людям! На практике это означало: не повиноваться папе и церковным властям. Это сущностное ядро гусизма абсолютно противоречило католическому принципу неограниченного авторитета церкви в вопросах вероучения. В ряде своих сочинений Коранда прямо заявляет, что правящего тогда папу не следует слушаться, а также и его прелатов, поскольку они всей своей жизнью противятся «закону Христову»⁸⁷. Не останавливаясь на этом, магистр релятивизирует и теоретические основы господства Рима над церковью. Открыто присоединяясь к учению Виклифа и Гуса о предопределении, он утверждает, что папа и кардиналы не только не возглавляют церковь, но и вообще к ней не принадлежат. Повиновение папе не является условием спасения. Характерно, что Коранда не только не считает «недостойных» пап и кардиналов за «истинную церковь», но даже и «достойного» римского первосвященника отказывается признать «наместником Божьим». Для него римская церковь — только одна из церквей христианских, равноценная с остальными, а в том случае, если она не руководствуется «законом Божьим», то и худшая часть христианства⁸⁸.

Возврат к радикализму можно наблюдать у Коранды и в другом вопросе принципиального значения, в проблеме взаимоотношения Священного Писания и церковной традиции. В отличие от таборитов, радикально отвергнувших Предание, большинство гуситов не отрицало его полностью, признавая традицию в том случае, если она не противоречила «Христову закону» и опиралась на практику ранней церкви. В первые годы после заключения компактатов умеренные гуситы хотя и не отказались от авторитарного принципа Писания по отношению к традиции, но стремились не акцентировать его. Коранда вновь открыто и ре-

пительно говорит о том, что «обычай» в любом случае должен уступить «истине», т. е. «закону Божьему». Отвергнуто должно быть все, что ему противоречит или не имеет в нем основы, в том числе и церковные установления⁸⁹.

Отрицание традиции, не обоснованной Писанием, определяет позицию Коранды и к различным аспектам церковной практики. Он резко выступает против института монашества, не признает индульгенций, считает излишними паломничества к «святым местам»⁹⁰.

Наконец, следует упомянуть об отношении Вацлава Коранды к идеалу евангельской бедности духовенства и проблеме светской власти церкви, которые рассматриваются им совершенно в духе Виклифа и первых гуситов⁹¹.

Оценивая взгляды ведущего утраквистского теолога конца XV в., можно констатировать, что они существенно отличаются от официального церковного учения. Это не только причащение под обоими видами, но и общий взгляд на церковь и папство, на проблему церковного авторитета, на отношение Писания и церковной традиции, на ряд установившихся в ходе исторического развития порядков и обычаев, не соответствующих нормам раннего христианства.

Как представляется, даже беглый обзор взглядов ведущих гуситских теологов позволяет говорить о непрерывном континуитете гуситской традиции в Чехии вплоть до знакомства утраквистов с учением Лютера. Видимо, возможно говорить об определенном приближении умеренного гусизма к католической ортодоксии в первые годы после заключения компактатов⁹². Однако неудача всех попыток добиться их признания со стороны папской курии приостановила эту эволюцию. Утраквисты, во всяком случае их большинство, представленное Вацлавом Корандой, вернулись к гуситскому радикализму революционной эпохи, сохранив жизнеспособность идейного содержания чешской Реформации⁹³. Чешский утраквизм к началу XVI в. не только не катализировался, но все более отдалялся от Рима. При всех существенных различиях между гусизмом и протестантизмом следует иметь в виду их качественное сходство как в первую очередь антииерархических и анти-авторитарных реформационных движений.

Естественно, что отмеченные нами аспекты далеко не исчерпывают всей сложности проблематики, связанной со взаимоотношениями чешской и немецкой Реформации, но, по крайней мере, они призывают к осторожности в суждениях о необратимом упадке утраквизма и его поглощении немецким протестантизмом в XVI столетии.

Примечания

¹ М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. Избранные произведения. М., 1990, с. 161.

- 2 Материалы лейпцигского института см.: *Dr. Martin Luthers Werke*. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 2. Weimar, 1883, S. 250–383; *Dr. Martin Luthers Werke*. Kritische Gesamtausgabe. Briefwechsel. Bd. 2. Weimar, 1930, S. 42; *Мартин Лютер*. К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства // *Мартин Лютер*. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520–1526 гг. Харьков, 1992, с. 64–68. Поздний Лютер о Гусе: *Dr. Martin Luthers Werke*. Kritische Gesamtausgabe. Tischreden, Bd. 1. Weimar, 1912, s. 294. О буллах генеральной папской экскомуникации: *A. Skybová, M. Hroch*. Ecclesia militans. Inquisition im Zeitalter der Gegenreformation. Leipzig, 1985, S. 66–68. Об Иоанне Агриколе: *A. Molnár*. Pohyb teologického myšlení. Praha, 1982, s. 352–355. О пребывании Т. Мюнцера в Чехии: *V. Husa*. Tomáš Muntzer a Čechy. Praha, 1957; *E. Werner*. Bemerkungen zum religiösen Selbstverständnis Thomas Müntzers // SB der AdW der DDR 6 G. 1988, S. 28–34; *E. Maur*. Tomáš Muntzer. Praha, 1993; *F. Šmahel*. Husitská revoluce. D. IV. Praha, 1993, s. 149–152. В целом к проблематике: *M. Brecht*. Martin Luther. Bd. II. Stuttgart, 1986, S. 68, 101, 304–306; *J. Goll*. Jak soudil Luther o Husovi // ČČM 54, 1880, s. 60–80; *A. Molnár*. O křesťanské svobodě. Martin Luther // Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha, 1985, s. 143–243; *G. Székely*. Das Erbe von Jan Hus in der Reformation Martin Luthers // Annales Univ. Scient. Budapestiensis. Sectio Hist. 24. 1985, S. 3–21; *A. Kraus*. Husitství v literatuře, zejména německé. D. I, Praha, 1917, s. 150–230. *Ф. Вецольд*. История Реформации в Германии. СПб., 1900, т. 1, с. 374–376. Отдельные упоминания об отношении Лютера к Гусу имеются в современной отечественной историографии. См., например: *Ю. А. Голубкин*. Из любви к истине // *Мартин Лютер*. Время молчания прошло, с. 252, 92; *З. Ю. Соловьев*. Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время. М., 1984.
- 3 *K. Schnottenloher*. Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung 1517–1585. Bd. 1–7. Stuttgart, 1957–1966; Bibliographie de la Réforme 1450–1640. Leiden, 1964; *J. Bigane, K. Hagen*. Annotated Bibliography of Luther Louis, 1977. Lutherjahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung.
- 4 Такой подход в целом характерен для современной отечественной историографии, в том числе и для одной из лучших обобщающих работ, см.: *Философия эпохи ранних буржуазных революций*. М., 1983, с. 172–173 и др. См. также: *История Европы*. Т. 3. От Средневековья к Новому времени. Часть 3. М., 1993.
- 5 *A. Molnár*. Husovo misto v evropské reformaci // ČSČH. XIV, 1966, s. 2.
- 6 *J. H. Kittelson*. The Confessional Age: The Late Reformation in Germany // Reformation Europe: A Guide to Research.
- 7 *J. Lortz, E. Jserloh*. Kleine Reformationsgeschichte. Freiburg; Basel; Wien, 1969, S. 17–26; *E. W. Zeeden*. Zur Periodisierung und Terminologie des Zeitalters der Reformation // CWU, 1956, 7, S. 433–437. В «Философии эпохи ранних буржуазных революций» (с. 107) гусизм отнесен к числу «полуреформационных форм».
- 8 *P. E. Barton*. Die Geschichte der Evangelischen in Österreich und Südostmitteleuropa. Bd. 1. Im Schatten der Bauernkriege. Die Frühzeit der Reformation. Wien, 1985, S. 7.
- 9 *P. de Vooght*. L' Hérésie de Jean Huss. I–II. Lovain, 1975; *E. Troeltsch*. Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, 1912; Handbuch der Kirchengeschichte für Studierende. II–III. Tübingen, 1929, 1931; *H. Bornkamm*. Das Jahrhundert der Reformation. Gestalten und Kräfte, 1966.

- 10 О проблеме кризиса позднесредневекового общества см.: *Graus F. Vom «Schwarzen Tod» zur Reformation. Die krisenhafte Charakter der europäischen Spätmittelalters // Revolte und Revolution in Europa. München, 1975, S. 10–30; W. Eberhard. Die Krise des Spätmittelalters: Versuch einer Zusammenfassung // Europa 1400. Stuttgart, 1984, S. 303–319; F. Seibt. Europa 1475. Zur Krise des spätmittelalterlichen Staatensystems und ihrer Überwindung // F. Seibt. Mittelalter und Gegenwart. Sigmaringen, 1987, S. 277–294; Idem. Zu einem neuen Begriff von der Krise des Spätmittelalters // Ibid, S. 218–234.*
- 11 *F. Bezold. Zur Geschichte der Hussitentums. Kultur-historische Studien. München, 1874, S. 7.*
- 12 *Л. Феар. Неверно поставленная проблема: истоки французской реформации и ее причины // Люсьен Феар. Бои за историю. М., 1991.*
- 13 *J. Delumeau. Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej. Warszawa, 1986, s. 5.*
- 14 *F. Šmahel. Husitská revoluce..., IV, s. 144–168.*
- 15 С нашей точки зрения показательна эволюция взглядов Б. Тепфера: *B. Töpfer. Fragen der hussitischen revolutionären Bewegung // ZfG, 1963, 11, S. 146–168; Idem. Frage nach dem Beginn der Neuzeit // ZfG, 1968, 16, S. 773–779; Idem. John Wycliff — mittelalterlicher Ketzer oder Vertreter einer frühreformatorischen Ideologie? // JbGF, 1981, 5, S. 89–124; Idem. Rola uniwersytetów oksfordzkiego i praskiego w rozwoju koncepcji wczesnoreformacyjnych // KH, 1982, 82, s. 1–13; E. Werner. Jan Hus. Welt und Umwelt eines Prager Frühreformators. Weimar, 1991.*
- 16 *E. Hassinger. Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300–1600. Braunschweig, 1966, S. XII.*
- 17 *F. Seibt. Revolution in Europa. Ursprung und Wege innerer Gewalt. Strukturen-Elemente-Exempel. München, 1984.*
- 18 *Ibid, S. 10–39, 203–229.*
- 19 *A. Molnár. Husovo místo v evropské reformaci // ČSČH. 1966; 14, s. 1–14; Idem. Der Hussitismus als christliche Reformbewegung // Bohemia Sacra. Düsseldorf, 1974, S. 92–109; R. Kalivoda. Husitská ideologie. Praha, 1961, s. 143–148; Idem. Zu den Gedankenmodells der sogenannten Ersten und Zweiten Reformation // Die Erste Reformation. Frankfurt/M., 1987, S. 79–88. См. также: E. Werner. Reformationen in europäischen Kontext // Sitzungsberichte der AdW der DDR, 1984, 12. G, S. 43–50.*
- 20 *W. Eberhard. Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530. München; Wien, 1981; Idem. Monarchie und Widerstand. München, 1985; The Early Reformation in Europe (W. Eberhard: Bohemia. Moravia and Austria). Cambridge, 1992, p. 23–56.*
- 21 В словаре эпохи термин «общество» во многом замещался и перекрывался понятиями «църковь», «христианство». См.: *J. Macek. Jagellonský věk v českých zemích. D. I. Praha, 1992, s. 172–179.*
- 22 *P. Baumgart. Formen der Volksfrömmigkeit — Krise der alten Kirche und reformatorische Bewegung // Revolte und Revolution in Europa. München, 1975, S. 9–15. J. Delumeau. Op. cit., s. 221–244.*
- 23 *F. Bezold. Die «armen Leute» und die deutsche Literatur des späten Mittelalters // Aus Mittelalter und Renaissance. Kulturgeschichtliche Studien, 1918, S. 49.*

- 24 Н. И. Кареев. Введение в курс истории новейшего времени. Варшава, 1881, с. 28, 33, 36–37.
- 25 J. Lortz. Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung. Münster, 1936; B. Moeller. Frömmigkeit in Deutschland um 1500 // ARG, 1965, 56, S. 22; H. Bornkamm. Op. cit.
- 26 E. Hassinger. Op. cit., S. XVI.
- 27 См. интересную дискуссию о соотношении теологии и религиоведения в журнале: Religio. Revue pro religionistiku, 1993, 1–2; См. также: N. Rejctrová. Přehled literatury k upřesnění pojmů «reformace–protireformace–tolerance» // ČČH, 1989, 89, s. 787–790.
- 28 J. Delumeau. Op. cit., s. 235–240.
- 29 Ibid. passim.
- 30 F. Seibt. Revolution in Europa, S. 23–27, 36–37.
- 31 F. Šmahel. Husitská revoluce, I/2, s. 151–152.
- 32 M. Ransdorf. Z myšlenkového světa reformace. Praha, 1989, s. 38, 40 etc.; Философия эпохи ранних буржуазных революций, с. 71, 77, 81 и далее.
- 33 J. Lortz. Op. cit., III, 3; III, 20; III, 45–52.
- 34 J. Delumeau. Op. cit., s. 6–7, 9, 314–335.
- 35 Характерно, что Ю. А. Голубкин, благодаря которому мы располагаем теперь переводами многих трудов Лютера, применительно к Реформации избегает самого понятия «церковь», предпочитая говорить о «новой религиозной организации»: Ю. А. Голубкин. Из любви к истине // Мартин Лютер. Время молчания прошло, с. 252, 288, 296, 329 и др.
- 36 E. Hassinger. Op. cit., S. XVI.
- 37 М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма // М. Вебер. Избранные произведения. М., 1990, с. 142–143.
- 38 J. Calvin. Vzdělání ve víře. Katechismus a význání víry r. 1537. Praha, 1953, s. 45. Третий член «Краткого катехизиса» Лютера гласит: «Верую в духа святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в Воскресение плоти и в жизнь вечную. В этой связи М. Лютер разъясняет: «Верую, что Святой Дух... призывает всех христиан на земле, собирает, освящает и сохраняет в Иисусе Христе в единой, истинной вере, и что в церкви своей он ежедневно и милостиво прощает мне и всем верующим все грехи...». Der Kleine katechismus D. Martin Luthers. Erlangen. s. a. S. 11–13.
- 39 J. Calvin. Institute: Učení křesťanského náboženství. Praha, 1951, s. 88.
- 40 Druhé Helveské vyznání // Čtyři vyznání. Praha, 1951, s. 229.
- 41 F. Šmahel. Op. cit., II, s. 135.
- 42 F. M. Dobiáš. Repetitorium dogmaticum. Bratislava, 1993, s. 93.
- 43 Ibid. s. 90–112; W. Beinhart. Slovník katolické dogmatiky. Olomouc, 1994, s. 50–52, 135, 145–147, 233, 343–346 etc.; R. Kalivoda. Husitská ideologie, s. 144; A. Molnár. Pohyb teologického myšlení. Praha, 1982, s. 206–207; M. Ransdorf. Op. cit., s. 41, 37–38, 59 etc.; J. Delumeau. Op. cit., s. 13, 22–38, 188–197; M. Lienhard. Martin Luthers christologisches Zeugnis. Entwicklung und Grundzüge seiner Christologie. Berlin; Göttingen, 1980; T. F. Torrance. Die Eschatologie der Reformation // Evangelische Theologie, 1954, S. 334–358; A. Molnár. A. Eschatologická naděje čes-

- ké reformace // *Od reformace k zítřku*. Praha, 1956, s. 11–101; *Философия эпохи ранних буржуазных революций*, с. 69–98, 160–172.
- 44 *F. Seibt. Geistige Reformbewegungen zur Zeit des Konstanzer Konzils // Vorträge und Forschungen*, 1965, Bd. IX, S. 31–32.
- 45 *F. Šmahel. Op. cit.*, II, s. 9.
- 46 *F. M. Dobiáš. Op. cit.*, s. 95.
- 47 *J. Válka. Tolerance, či koexistence? K povaze soužití různých náboženských vyznání v českých zemích v 15. až 17. století // Studia Comeniana et Historica*, 1988, 18, s. 63–75.
- 48 *Hassinger. Op. cit.*, S. XVI.
- 49 *Анализируемые В. Эберхардом параллельные, динамически взаимосвязанные перегруппировки и конфликты в сфере вероучения и общественно-политического развития позволяют, как представляется, говорить о социальной открытости реформационной идеологии и избежать односторонних суждений о «буржуазном» характере Реформации, часто возникающих в дискуссиях по поводу концепции М. Вебера. Подробно о проблеме «Реформация и капитализм» см. работы в прим. 2.*
- 50 *W. Eberhard. Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530*, S. 29–30.
- 51 *W. W. Tomek. Dějepis města Prahy. D. X–XI. Praha, 1891–1897; A. Gindely. Geschichte der Böhmisches Brüder. Bd. I–II. Prag, 1861–1862; Z. Winter. Život církví v Čechách. Kulturně-historický obraz v XV a XVI století. D. I–II. Praha, 1895–1896; A. Denis. Konec samostatnosti české. D. 2. Praha, 1909.*
- 52 *J. Janáček. Doba předbělohorská 1526–1547. Praha, 1968, s. 188–190, 198–199; J. Pánek. Zápas o Českou konfesi. Praha, 1991; Dějiny zemí Koruny české. D. I. Praha, 1995, s. 206–208, 212, 240–243.*
- 53 *W. W. Tomek. O církevní správě strany podobojí v Čechách od r. 1415 až 1622 // ČMM, 1848, r. XXII, d. I, s. 451.*
- 54 *F. Hrejsa. K českým dějinám náboženským za prvních let Ferdinanda I // ČČH, 1915, 21, s. 161–216; K. Krofta. Nový názor na český vyvoj náboženský v době předbelohorské // K. Krofta. Listy y náboženských dějin českých. Praha, 1936, s. 373–390; Idem. Od kompaktát k Bílé hoře // Ibid, s. 337–372, etc.*
- 55 *F. Hrubý. Luteranství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou // ČČH, 1934, 40, s. 265–309, 1935; 41, s. 1–40, 237–268; F. Hrejsa. Luteranství, kalvinismus a podobojí na Moravě před Bílou horou // ČČH, 1938, 44, 296–326, 474–485; F. Hrubý. Luterství a novoutrakvismus v českých zemích v 16. a 17. stol. // ČČH, 1939, 45, s. 31–44.*
- 56 *W. Eberhard. Die deutsche Reformation in Böhmen 1520–1620 // Deutsche in den Böhmisches Ländern. Köln; Weimar; Wien, 1992, S. 103–123; J. Válka. Dějiny Moravy. I. Brno, 1991.*
- 57 *R. Urbánek. Novoutrakvistický humanista Matouš Kollin z Chotěřihy a starší tradice husitská // ČSPSČ, 1956, 64, s. 1–16, 70–89; V. Husa. O době vyniku Jenského kodexu // SH, 1957, 5, s. 71–112; F. G. Heymann. The Hussite-Utraquist Church in the Fifteenth and Sixteenth Centuries // ARG, 1961, LII, P. 1–26; A. Škybová. Hussitenbewegung und Luthertum im tschechischen Königreich bis Mitte des 16. Jahrhunderts // Martin Luther. Leistung und Erbe. Berlin, 1986, S. 337–342; A. Molnár, N. Rejchtróvá. Role utrakvismu v českých dějinách // Traditio et Cultus. Praha, 1993, s. 73–77; F. Šmahel. Op. cit., IV, s. 147, 162–163 etc.*

- 58 *R. Kalivoda*. Husitství a jeho vyuštění v době předbělohorské a pobělohorské // *Studia Comeniana et Historica*, 1983, 25, s. 3–44; *R. Kalivoda*. Husitská epocha a J. A. Komenský. Praha, 1992, s. 9–60.
- 59 Концепция Р. Каливоды не была принята однозначно. Критическую позицию занял П. Чорней: *Husitský Tabor*, 6–7, 1984, s. 514–516. *W. Eberhard*. Konflikt und Integration: Die Dynamik in den Ergebnissen der Hussitenrevolution // *Studia Comeniana et Historica*, 1992, 22, S. 31–56.
- 60 *W. Eberhard*. Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530; *Idem*. Monarchie und Widerstand; *Idem*. Entwicklungsphasen und Probleme der gegenreformation und katholischen Erneuerung in Böhmen // *Römische Quartalschrift für Altertums und Kirchengeschichte*, 1988, 89, S. 235–257 etc.
- 61 *F. Šmahel*. Husitská revoluce, I–3/4, II; *M. Ransdorf*. Kapitoly z geneze husitské ideologie. Praha, 1986, s. 15–194; *V. Herold*. Pražská universita a Wicliff. Praha, 1985; *J. Kadlec*. Přehled českých církevních dějin. Praha, 1991, d. I, č. II, kap. 4; č. III, kap. 1; *A. B. Рандин*. Пражский университет и распространение в Чехии учения Джона Виклифа // Социально-политическая борьба в странах Европы и Америки в средние века и Новое время. Йошкар-Ола, 1991, с. 76–92, 216–217; *Его же*. Гуситская революция и Пражский университет. Йошкар-Ола, 1994, с. 11–39.
- 62 *J. Pelikan*. The Christian Tradition. IV. Chicago, 1974; *A. Molnár*. Op. cit., s. 207–208.
- 63 *Jan Hus*. O církvi. Praha, 1965; *Knížky o svatokupectví*. Praha, 1954; *Výklad na vieru* // *Magistri Iohannis Hus Opera omnia I. Výklady*. Praha, 1975; *Magistri Iohannis Hus Opera omnia. XXII. Polemica*. Praha, 1966 (*Contra Stanislaum, Contra octo doctores. Contra occultum adversarium etc.*); *O šesti bludiech* // *Betlemske texty*. Praha, 1951, s. 78–79; *O postačiteľnosti Kristova zákona* // *Husova vyzbroj do Kostnice*. Praha, 1965.
- 64 *M. Ransdorf*. Op. cit., S. 87–124; *J. Nechutová*. K předhusitské a Husově eklesiologii // *Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské University (SPFFBU)*, B. 19, 1972, s. 98–102; *J. Kubalik*. Zápas o pojetí církve. Praha, 1992, s. 17–23; *J. Kadlec*. Op. cit., d. I, s. 256–263; *F. Šmahel*. Ideal spravedlivého řádu a sociální harmonie v díle Mistra Jana Husa // *Traditio et cultus*. Praha, 1993, s. 63–71; *M. Spinka*. John Hus Concept of the Church. Princeton; New Jersey, 1966; *R. Kalivoda*. Husitská ideologie, s. 104–108; *E. Werner*. Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, Jakoubek von Mies, Jan Želivský und den linken Taboriten. Berlin, 1967, S. 9–26.
- 65 *J. Kubalik*. Op. cit., s. 17; *J. Kadlec*. Op. cit., d. I, s. 257–260.
- 66 *J. Sedlak*. Husův pomocník v evangeliu // *Studie a texty k náboženským dějinám českým*, I/4, 1914, s. 362–364; *F. Bartoš*. Jakoubek ze Střebra, druhý zakladatel husitství // *JSH*, 1939, 11, s. 1–14; *F. Borecký*. Mistr J. Jakoubek ze Střebra. Praha, 1945.
- 67 *M. Jakoubek ze Střebra*. Positio de Antichristo // *ČČH*, 1905, XI, s. 26–33; *Obrana Viklefova Dialogu* // *Studie a Texty*. II, 1915, s. 322–325; *P. de Vooght*. Jakobellius de Střebro, premier théologien du hussitisme. Louvain, 1972, s. 15–36; *M. Ransdorf*. Op. cit., S. 139–157, 158–165; *A. Molnár*. Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Střebra // *Směřování*. Praha, 1983, s. 61–66; *J. Nechutová*. Ecclesia primitiva v husitských naukách // *SPFFBU*, E. 33, 1988, s. 87–93; *J. Nechutová*. Hus a eschatologie // *SPFFBU*, E. 13, 1968, s. 179–187; *E. Werner*. Op. cit., s. 34–35.

- 68 *M. Jakoubek ze Stříbra*. Beati pauperes spiritu // Studie a Texty. I, s. 377–392; *Mistra Jakoubka ze Stříbra* Překlad Viklefová dialogu. Praha, 1904; *A. B. Рандин*. Гуситская революция и Пражский университет, с. 34–35.
- 69 *J. Pelikan*. Op. cit., IV, s. 55.
- 70 *F. M. Bartoš*. Literární činnost M. Jakoubka ze Stříbra. Praha, 1925, s. 33–34; *Traktát Mistra Jakoubka ze Stříbra Pius Jesus* // HUČP, 1981, XXI/2, s. 80–87; *M. Jacobi de Misa Salvator noster* // Betlemské texty. Praha, 1951, s. 106–139; *J. Kadlec*. Literární polemika mistrů Jakoubka ze Stříbra a Ondřeje z Brodu o laický kalich // HUČP, 1981, XXI/2, s. 71–79; *A. Molnár*. Pohyb teologického myšlení, s. 229–238; *E. Werner*. Op. cit., S. 31–34; *F. Seibt*. Die revelatio des Jakobellus von Mies über die Kelchkommunion // Deutsches Archiv, 1966, 22, S. 618–624.
- 71 *Vavřinec z Březové*. Husitská kronika. Praha, 1979, s. 10; *F. Šmahel*. Op. cit., II, s. 85.
- 72 *J. Nechutová*. K charakteru eucharistie v české reformaci // SPFFBU, B. 18, 1971, s. 31–43.
- 73 *J. Delumeau*. Op. cit., s. 27.
- 74 *J. Kubalík*. Op. cit., s. 29.
- 75 *F. M. Bartoš*. Mikuláš z Pelgřimova // Světci a kacíři. Praha, 1949, s. 175–196; *P. Spunar*. Opera Nicolai Biscupec de Pilgram // Směřování. Praha, 1983, s. 104–116.
- 76 *Děník tábořského kněze* // Ze zpráv a kronik doby husitské. Praha, s. 324–326, 333–348, 390–398; *A. Molnár*. Na rozhraní věků. Praha, 1985, s. 115–140; *J. Kubalík*. Op. cit., s. 71–74, 82–137.
- 77 *F. Šmahel*. Op. cit., IV, s. 97–102.
- 78 *Postilla Jana Rokycany*. II. Praha, 1929, s. 85.
- 79 *M. Jan Rokycana*. Povahy spasencuov a zatrcencuov // Postilla II, s. 901–905.
- 80 *Postilla II*, s. 171, 939; *Postilla I*, Praha, 1928, s. 108, 270, 422–423.
- 81 *Postilla I*, s. 331, 332; *F. Walouch*. Život sv. Jana Kapistrána. Brno, 1858, s. 723.
- 82 *Mikuláš z Pelgřimova*. Vyznání a obrana táborů. Praha, 1972.
- 83 *J. Kadlec*. Op. cit., s. 269–272.
- 84 *K. Krofta*. Václav Koranda mladší z Nové Plzně a jeho názory náboženské // Sborník měst. histor. muzea v Plzni, 1913, III, s. 1–58.
- 85 *F. Šmahel*. Husitské artikuly a jihlavská kompaktata // Jihlava a Basilejská kompaktata. Jihlava, 1992; *J. Macek*. Osudy basilejských kompaktát v jagellonském věku // Ibid, s. 193–202.
- 86 *M. Manuálík*. Václava Korandy. Praha, 1888, s. 53, 57–58, 15, 61 etc.
- 87 Ibid, s. 18–19, 58–59, 209.
- 88 Ibid, s. 21–22, 66–71, 83.
- 89 Ibid, s. 61, 84–85, 92–93 etc.
- 90 Ibid, s. 29–30, 46, 15–16.
- 91 Ibid, s. 79–80.
- 92 *J. Prokeš*. M. Prokor z Plzně. Praha, 1927.
- 93 Мы не останавливались специально на идеологии Общины Чешских Братьев, поскольку ее континуитет с гусизмом и «реформационный» характер в историографии сомнению не подвергается.

История литературы в средневековой Австрии

[Geschichte der Literatur in Österreich von den Anfängen bis Gegenwart. Hrg. von Herbert Zeman. Bd. I: *F. P. Knapp*. Die Literatur des Früh- und Hochmittelalters in den Bistümern Passau, Salzburg, Brixen und Trient von den Anfängen bis zum Jahre 1273. Akademischer Druck. Verlagsanstalt, Graz, 1994]

Представленный известным австрийским филологом и знатком средневековой письменности Фридрихом Петером Кнаппом фундаментальный обзор истории литературного процесса в Австрии в эпоху Раннего и Высокого средневековья открывает собой публикацию нового академического исследования по истории австрийской литературы. По замыслу издателей, оно должно представлять не только фундаментальный по хронологическому (от Раннего средневековья до наших дней) и тематическому охвату синтез, но и экспозицию новых исследовательских стратегий в сфере литературной истории. Весьма существенной является и актуализация регионального подхода к историко-литературному процессу, сопрягаемая с необходимостью пересмотра и уточнения понятия «австрийская литература». Как это заявлено в издательском предисловии, само понятие «австрийская литература» совмещает в себе как формальные — территориальные и политические — параметры, так и существенные — культурные, в том числе и литературные — аспекты.

Рецензируемая работа представляет собой первую часть характеристики средневековой истории австрийской литературы, или точнее литературы в Австрии, как определяют свой предмет в самом общем наименовании издания его авторы и издатели. Формальные параметры исследования определяются автором следующим образом.

Хронологические рамки — с начала становления письменной христианской традиции в Юго-Восточной Германии и вплоть до 1273 г.: практически, речь идет об эпохе Бабенбергов (976–1246), первой правящей династии Австрийской марки, а затем герцогства; в рамках общеоисторической периодизации этот период определяется как эпоха Раннего и Высокого средневековья.

Территориальные (региональные) границы связываются не только с собственно средневековой Австрией (владениями Бабенбергов), но и распространены на земли, входившие в разное время в состав разных территориально-политических образований, но в исторической перспективе сформировавших современные границы Ав-

стрии. Именно поэтому понятие «австрийские земли» неизменно употребляется автором в кавычках.

Наконец, сам предмет определяется как развитие литературной традиции в германоязычном регионе. Автор специально акцентирует его дуалистический характер, понимаемый как синхронное развертывание латинской и германоязычной литературы. В своем сочинении автор никоим образом не касается литературной традиции на иных народных языках.

Безусловным достоинством работы и своеобразной сверхзадачей автора является стремление рассмотреть развитие литературного процесса в контексте общих тенденций социальной, духовно-религиозной и культурной жизни. Это отражено как на формально-структурном уровне, так и в самом содержании анализа литературного процесса и отдельных сочинений.

Следуя своей задаче представить литературное развитие как интегральную часть единого исторического процесса, автор включает в рамки каждого из трех разделов своей книги, соответствующих трем периодам развития литературы в Австрии, обрамляющие общеисторические сюжеты. Своеобразное введение представляет собой краткий очерк исторического развития «австрийских земель» в тот или иной период Средневековья, главным образом с точки зрения политической истории и социального развития. Такое введение к истории собственно литературной кажется оправданным и корректным, поскольку задает хронологические, событийные и социально-структурные рамки той или иной эпохи. Определенная формальность и искусственность этих общеисторических вступлений вполне компенсируется в завершающих каждый раздел обобщающих главах, озаглавленных автором «Профиль эпохи». В рамках этих итоговых сообщений автор не столько генерализирует частные выводы, сделанные непосредственно в ходе рассмотрения литературной истории, но прежде всего стремится представить литературный процесс как органическую часть социального и культурного развития. Факты литературы и сама литературная деятельность определяются в системе социальных и культурных координат и одновременно рассматриваются как фактор общекультурных процессов. Весьма существенным кажется и последовательное стремление автора поместить литературное и культурное развитие австрийских земель в контекст общеевропейской культурной и социальной истории. Это позволяет не только обнаружить следование австрийской литературной традиции некоторым общим закономерностям развития западноевропейской средневековой литературы, но и вскрыть ее существенные индивидуальные черты. К этому необходимо добавить и последовательное соотнесение литературного процесса в австрийских землях с тенденциями общегерманского развития, что позволяет определить параметры становления собственно австрийской литературной и культурной идентичности в рамках рассматриваемой эпохи.

Понимание автором литературной истории как составной части единого историко-культурного процесса проявляется не только на уровне формально-структурных приемов и обобщений. Наиболее существенным кажется широкое использование метода культурной интерпретации в представлении частных сюжетов и в анализе конкретных сочинений. В своей характеристике литературных феноменов автор постоянно балансирует на грани выявления собственно литературных особенностей (формально-стилистических приемов, поэтики, сюжетов, лингвистических аспектов) и демонстрации их связи с общекультурной, ментальной и идеологической парадигмой эпохи. Такая установка кажется не только интересной по своим выводам, но и единственно возможной применительно к рассматриваемой эпохе, которая отмечена слабой дифференцированностью собственно эстетических критериев, тесным переплетением образного и абстрактно-логического мышления, неразрывной связью между содержанием и адекватной формой, существенной, иногда доминирующей значимостью литературных штампов, мотивов и приемов для (литературного) обсуждения тем, имеющих универсальное мировоззренческое или социальное значение. Хотя автор достаточно последовательно стремится сконцентрироваться на тех жанрах и феноменах средневековой письменной традиции, которые особенно важны с точки зрения собственно литературной формы, однако он постоянно выходит на уровень обсуждения их соотношения с характерными для эпохи видением мира и системой ценностей. В фокусе внимания находятся процессы развития религиозного сознания, церковной концепции благочестия, религиозной этики и литургической практики. Вместе с тем, позицию автора никак нельзя определить через сугубый «клерикальный» детерминизм: Ф. П. Кнапп весьма тонко, иногда виртуозно, вскрывает разнообразие социальных и культурных факторов, влиявших на собственно церковную литературную деятельность. Одним из центральных, сквозных мотивов его сочинения является анализ взаимоотношений духовной и мирской литературы. Автор учитывает языковую ситуацию (латинская или немецкоязычная), формально-стилистические и идеологические тенденции, меру дифференциации «двух литератур» по отношению друг к другу и одновременно каналы взаимовлияния. Весьма важным аспектом анализа является и внимание к «социальному фактору», т.е. к среде происхождения и предполагаемой аудитории (потребителя) тех или иных сочинений.

Формальная структура работы подчинена системе универсальных для обобщающих работ параметров, укладывающихся в логическую триаду время — пространство — жанр.

Работа открывается вводным разделом — Принципы отбора и представления (с. 13–16) — своего рода программой исследования, определяющей его предмет и задачи изучения. Автор отмечает,

что отбор материала был ориентирован как на литературный язык, так и на территориальную привязанность сочинений. В качестве этих областей он называет те регионы средневековой Германской Империи, которые ныне являются землями Австрии. Он отмечает, что пять земель — Тироль, Зальцбург, Штирия и Австрия — получают статус самостоятельных политических образований Империи только в эпоху Позднего средневековья. В качестве их политически конституированных предшественников Ф. П. Кнапп определяет епископства Триент, Бриксен, Зальцбург и Пассау, которые и будут рассматриваться в его работе как территориально-институциональный круг литературного развития. В качестве хронологических границ исследования он определяет начало так наз. борьбы за инвеституру (последняя четверть XI в.), правовое признание Австрии самостоятельным герцогством (1156 г.) и начало правления Габсбургов в Австрии (1273 г.). При этом автор, однако, начинает свое сочинение с характеристики длительного периода, закладывающего основания литературной традиции в этих епархиях (VI–VII — сер. XI в.).

Во введении Ф. П. Кнапп обосновывает и актуальность регионального подхода к истории литературного процесса, весьма адекватного, по его мнению, самой эпохе Средневековья. Для этой эпохи сама форма организации и развития литературного процесса носила узколокальный характер, будучи сконцентрированной вокруг определенных центров. Формирование локальной традиции приводило к развитию индивидуальных особенностей литературного процесса и было связано с деятельностью круга (весьма узкого) производителей и потребителей литературной продукции.

К числу важных предварительных замечаний можно отнести и стремление автора показать параллельное развитие в рамках литературной традиции немецкоязычной и латинской литературы, с определением их своеобразия и функционального разграничения (с. 14). Автор отмечает также, что из сферы его специального изучения в основном выпадают письменные памятники, которые имеют «техническое» или утилитарно-функциональное применение. Они представляют, по мнению Кнаппа, безусловный интерес с точки зрения истории культуры и ментальности, однако для него важнейшим в отборе литературных феноменов был критерий сложности и развитости литературного языка.

Автор указывает на объективные обстоятельства, которые неизбежно ограничивают возможности его работы (с. 14–15). Во-первых, анализ литературных текстов этой эпохи неизбежно выходит за пределы сугубо литературной интерпретации и попадает в сферу иных направлений исследования: истории церкви, благочестия, образования, права, языка, искусства; он требует знания специальных дисциплин, таких, как библейская экзегетика, литургика, гимнология. В силу этого, будучи в положении человека, полу-

чающего сведения из вторых или третьих рук, автор изначально признает ограниченность собственных выводов. Во-вторых, ссылаясь на популярный характер сочинения, автор обосновывает неизбежность использования главным образом опубликованных текстов, без прямого обращения к их рукописным оригиналам. Расчет на массового читателя вызывает необходимость и перевода текстов на современный немецкий язык, даже в тех случаях, когда особый интерес вызывает не содержание, а литературная форма сочинений. Определенной уступкой интересам читателя являются необходимость так или иначе оценивать литературные достоинства памятников с точки зрения современных эстетических критериев, равно как и концентрация внимания на тех сочинениях, которые уже имеют статус образцовых текстов (с. 15).

В качестве важного для регионального подхода к изучению истории литературы автор указывает вопрос локализации текстов, которая является спорной в значительном числе случаев. Его решение — важнейшая предпосылка формирования самого (эмпирического) поля исследования. Автор отмечает, что как на уровне отбора фактов, так и с точки зрения выбора контекста их интерпретации его анализ не является безусловным и объективным (с. 15–16). Автор, таким образом, заявляет свое право на написание работы, лишенной окончательных выводов, отмечая, что использование им оборотов «возможно» или «вероятно» отражает спорность его суждений, которую он признает даже в тех случаях, когда прямо не указывает на это.

Первая глава, озаглавленная «Основания и предыстория: первые следы письменности ко времени колонизации и миссионерского освоения Юго-Восточной Германии» (с. 17–50), представляет собой скорее пролог исследования, чем зачин характеристики средневековой литературы в Австрии по существу.

В кратком историческом очерке автор рассматривает весьма сложный и зачастую неясный для историков процесс территориального и политического развития юго-восточных германских земель. По мнению автора, в течение VIII — первой половины XI вв. развитие всех территорий будущей Австрии было тесно связано с историей Баварского герцогства, но именно в рамках этого периода происходит правовое и политическое формирование ряда «австрийских» территорий (маркграфство Австрия, Штирия, Карантия). Помимо тесной связи этих территорий с Баварским герцогством автор отмечает характерную для значительной части эпохи незавершенность процессов социального и политического развития. Процесс этот не был линейным. В качестве важнейших его этапов автор, следуя в русле историографической традиции, отмечает Каролингскую эпоху — время укрепления восточных границ; венгерское вторжение, на долгие десятилетия расстроившее сложившуюся политическую и территориальную систему; наконец,

эпоху Людольфингов и первых представителей Салической династии, уделявших не только значительное внимание укреплению юго-восточных рубежей империи, но и стремившихся ослабить могущество Баварских герцогов, в том числе и за счет противопоставления им других локальных правителей, к числу которых относились и австрийские Бабенберги и правящие династии Штирии и Карантании.

Важнейшим условием развертывания культурного и литературного процесса в «австрийских» землях Ф. П. Кнапп считает христианизацию региона и создание здесь устойчивых церковно-организационных структур. В частности, к числу наиболее существенных событий автор относит образование системы церковных диоцезов в Баварии и становление церковных центров как главных очагов литературного и культурного развития. Исходя из избранного им регионального принципа, автор подробно останавливается на характеристике литературной продукции Зальцбургского архиепископства и епископской кафедры в Пассау (с. 29 сл.). Рассматриваемые памятники весьма разнообразны по своему характеру, и автор отмечает, что сама скудость письменной традиции данной эпохи заставляла его отказаться от критерия собственно литературного значения: он должен был принять во внимание практически весь корпус сохранившихся текстов местного происхождения.

Анализ текстов приводит автора к выводу, что развитие литературного процесса в «австрийских» землях в рассматриваемую эпоху было интегральной частью общевосточного процесса. В период «становления» едва ли можно выявить сколько-нибудь отчетливую региональную специфику. Ф. П. Кнапп считает, что, будучи связанным с важнейшими тенденциями европейского и общегерманского масштаба, литературное развитие юго-восточных германских земель было вторичным, делая этот регион своеобразной литературной провинцией Латинской Европы. Он отмечает связь литературной продукции конца VIII — IX вв. с так называемым Каролингским ренессансом, признавая, однако, отсутствие в регионе сколько-нибудь значительных оригинальных сочинений или авторов, для которых не существовало решительно никакой почвы (с. 29д, 47–49). Говоря об оттоновской эпохе и правлении первых Салиев, Кнапп констатирует отсутствие заметного влияния Оттоновского ренессанса в литературной и письменной продукции региона.

Весьма ценными кажутся суждения автора о социальном контексте происхождения и функционирования литературной продукции. В частности, Кнапп отмечает известную узость социальной базы литературной деятельности, малочисленность церковных центров, которые могли бы обеспечить ее развитие. В частности, помимо характеристики епископских резиденций в Зальцбурге (с. 29–37) и Пассау (с. 42–45), краткие очерки посвящены

лишь двум монастырям, лежащим в их пределах (Нидеральтайх (с. 40–42) и Мондзее (с. 37–40)), еще более сдержанно оценивается им значение епископских центров в Бриксене (с. 55–46) и Триенте (с. 46). Создатели литературных сочинений ориентировались почти исключительно на потребности церковно-религиозных сообществ, в первую очередь на нужды религиозного образования и литургической деятельности. В работе отмечается скудость исторических сочинений и целого ряда иных, традиционных в эту эпоху, жанров латинской литературы. Одним из наиболее любопытных разделов, находящим свое продолжение в последующем изложении, является критическое обсуждение вопроса о существовании ранней литературной традиции записи древних сказаний и эпических преданий в Пассау. Кнапп откровенно заявляет свое скептическое отношение к возможности существования уже в X в. литературных «предшественников» «Песни о Нибелунгах». Он отмечает, что проникновение в эпос мотивов баваро-австрийско-венгерской истории X в. могло быть результатом как записи эпоса в этом столетии, так и более поздней инфильтрации историографических фактов в эпическую традицию. По его мнению, возможность верифицированного обоснования существования в Пассау литературных текстов, прямо предшествующих эпосу, не имеет под собой никакой реальной почвы. При этом он, однако, не отрицает возможности весьма раннего проникновения в австрийские земли мифов и преданий о Дитрихе Бернском и других легендарных преданий, имевших лангобардское происхождение: в процессе их распространения в германских землях он отводит «австрийским» землям роль своеобразного перевалочного пункта. В данном контексте он определяет и значимость альпийских земель. В частности, он отмечает, что возможно, через них проходил маршрут сюжета записанной в Фульде в 40-е гг. IX в. «Песни о Хильдебранде», имеющего лангобардское происхождение (с. 45). В целом автор характеризует эпоху конца VIII — XI вв. как время подготовки почвы для будущей оригинальной локальной литературной традиции (или, точнее, локальных традиций).

Вторая глава — «Литература в эпоху от начала борьбы за инвеституру до *Privilegium minus*» (1075–1156) — посвящена тому периоду в истории литературы и письменности, который впервые представляет не только разнообразие и обилие литературной продукции, но и намечает контуры регионального своеобразия. Во введении к данной главе («Основные линии общеоисторического развития») отмечены некоторые принципиальные тенденции развития европейского общества, повлиявшие на духовный климат в регионе и отразившиеся в сфере собственно литературного творчества. В их числе автор отводит наиболее значительное место церковно-реформационным движениям. Следуя за характерной для немецкой историографии оценкой папской борьбы за «свободу

церкви», называемой «Борьбой за инвеституру», как выдающего-ся по своим последствиям для всего западноевропейского общества социального взрыва, Ф.П. Кнапп представляет широкую интерпретацию понятия «церковная реформа». В соответствии с современными исследованиями в сфере церковной и религиозной истории автор отмечает, что цели реформы церковной жизни не могут быть сведены только к столкновению и противостоянию «духовной» и «мирской» властей. Они затрагивали широкий спектр проблем, связанных с организацией жизни духовных сообществ, их религиозных и социальных функций. Начинаясь еще в X в. движение за реформу монастырской жизни (с его двумя влиятельными и весьма отличными друг от друга течениями: клунийским и лотарингским) не было непосредственным предшественником папской реформы, однако оно акцентировало функции духовно-религиозного служения. Оживленная и разнообразная дискуссия об основах организации религиозных орденов и сообществ проходит через всю рассматриваемую эпоху, являясь одним из важнейших стимулов интеллектуального и литературного подъема. Автор отмечает, что полемика о предназначении церкви не ограничивалась обсуждением соотношения «церкви» и «мира». Она вызывала к жизни разнообразные формы теологической аргументации, порождая незнакомую предшествующему периоду атмосферу напряжения и разнообразия не только в духовной сфере, но и в плоскости литературной и вербальной деятельности. Методически точным кажется замечание Кнаппа о том, что влияние церковно-реформационных движений отразилось не только в факте появления новых тем, но прежде всего в формировании необходимых условий, интеллектуального и духовного климата, для динамического развития литературной деятельности.

Среди иных факторов общеисторического развития автор указывает процессы политико-правового и государственного развития германских земель. В частности, он отмечает распад Оттоновской системы общегерманского управления, где власть сакрального монарха использовала механизм господства над имперскими церковными центрами и епархиями (так наз. система *Reichskirche*). В ходе столкновения папства и империи происходит не только децентрализация достоинства императора, но и складывается новая система отношений центральной власти с германской аристократией, в том числе и церковными князьями. Несомненно, что процессы территориально-политического конституирования отдельных земель и упрочения наследственных прав отдельных династий (в частности, верхняя хронологическая граница раздела, 1156 г., связана с дипломом Фридриха Барбароссы (*Privilegium minus*), даровавшим Австрийской марке статус герцогства и признавшим целый ряд наследственных прав и привилегий за ее правителями) имели важную роль в формировании локальных, в том числе и литера-

турных, традиций культурного развития. Автор, однако, не указывает на существо взаимосвязи между территориально-политическими и литературными тенденциями, ограничиваясь формальными замечаниями. Вероятно, более пристальное рассмотрение проблемы соотношения политического и литературного локализма он считает возможным оставить для следующей главы (см. ниже), которая посвящена эпохе, давшей более зрелое и очевидное воплощение этих процессов.

Представляя литературный ландшафт рассматриваемого столетия, автор отмечает необходимость более строгого отбора сочинений из корпуса письменных памятников, чем это требовалось в предшествующем разделе. Он останавливается на формальном принципе классификации литературных произведений по языку (раздел 1: Латинская литература; раздел 2: Немецкая литература) и их деления по жанровым и содержательным параметрам. Выбор такой формальной схемы репрезентации кажется адекватным литературной ситуации эпохи: отказ от используемого в предшествующей и последующей главах принципа классификации в соответствии с местом происхождения текстов (диоцезы Зальцбург, Пассау и т. д.) связан с разрушением ситуации точности и фрагментарности литературного процесса (как в предшествующий период), с одной стороны, и с недостаточной выраженностью локальных традиций, сложившихся в границах «австрийских земель» в последующую эпоху, с другой. Важность классификации сочинений по языковому принципу автор считает важным, т. к. это отражает существенные структурные особенности самой литературной ситуации. С одной стороны, для этого периода впервые можно говорить о корпусе литературных немецкоязычных сочинений, возникших в регионе и имеющих исключительное значение для истории раннего средневерхненемецкого литературного языка и литературы. С другой, он считает необходимым дифференцировать латинскую и немецкоязычную литературу в силу разведенности их функций в системе средневековой литературы.

Начиная обзор литературных произведений, автор подробно останавливается на ситуации в церковной среде Германии и особенно — в Юго-Восточной Германии, характеризует разнообразные течения в монашеском сообществе и «мирском» духовенстве. Он отмечает отражение этих процессов в невиданном прежде размахе теологических, вероучительных и морально-этических сочинений, в важном с точки зрения литературного развития поиске в сфере литургической практики и связанных с нею жанрах, в частности — в жанре проповеди. Ф. Р. Кнапп делает важный вывод о существенном влиянии общеевропейских процессов в сфере интеллектуального и духовно-религиозного развития, лежащих в русле начинающегося Ренессанса XII в. и ранней схоластики. Он отмечает проникновение в германские земли, в том числе и в рассмат-

риваемый им регион, сочинений крупных теологов и религиозных лидеров эпохи (Ансельм Кентерберийский, Гуго Сен-Викторский, Бернар Клервосский — с. 61), полагая, что главная заслуга в осуществлении этой инфильтрации принадлежала «новым» орденам августинцев-каноников и цистерцианцев, конгрегации которых становятся многочисленными в течение XII в. (с. 57). Одновременно он констатирует, что формирующиеся в этот период в центральных регионах Европейского Ренессанса (Северная Франция) новые тенденции рационалистической теологии и философии не оказали сколько-нибудь существенного влияния на развитие религиозной мысли региона и соответственно — на характер литературного процесса (с. 138–139). Теологические и духовно-религиозные сочинения Юго-Восточной Германии принадлежали традиционному направлению библейской экзегетики, хотя наиболее замечательные из них представили в ее рамках новые проблемы и интерпретации, не стоявшие перед раннесредневековой мыслью (с. 142–143). Тем не менее автор, вполне в русле современных исследований так наз. Ренессанса XII в., полагает возможным определить германские, в том числе и «австрийские», земли как своеобразную «культурную» периферию Европы.

Автор отмечает, и это кажется одним из центральных положений его оценки «литературной продукции Юго-Восточной Германии», отсутствие сколько-нибудь заметного проникновения в латинскую литературу светских мотивов. Кнапп утверждает, что проблематика и функции литературной продукции в эту эпоху определялись исключительно в рамках церковно-религиозного общества, были весьма мало связаны с задачей осмысления (в том числе и религиозного) мирской жизни и имели своим центральным предметом религиозно-вероучительные вопросы. Автор отмечает, что и в сфере образования можно говорить о доминировании принципа церковно-корпоративной замкнутости. Несмотря на несомненное расширение деятельности церковных центров образования (как монастырских, так и епископских), доступ мирян к «высокому образованию» и даже элементарному обучению был практически исключен (с. 60–63). С указанной выше характеристикой связано и исключительное представление в рамках второй главы сочинений духовно-религиозной проблематики. Принципиально важным кажется и утверждение, что поставленная церковной реформой задача «христианизации мирской жизни», формирования социальной этики в соответствии с религиозными требованиями не имела сколько-нибудь значительного отражения в «австрийской» литературе этой эпохи.

Анализируя латинскую литературу этой эпохи, Ф. П. Кнапп отводит центральное место персоне Герхоха из Райхерсберга (с. 65–74) — несомненно крупнейшего теолога и церковного полемиста Юго-Восточной Германии, а возможно и всего германоязычного

ареала эпохи Высокого средневековья. Личность этого яркого теолога, главы августинцев-каноников в Райхерсберге (фундация Зальцбурга на территории епархии Пассау) была впервые адекватно оценена в работах замечательного историка П. Класена. Ф. П. Кнапп дает подробную и оригинальную интерпретацию сочинений Герхоха, органично сочетая анализ содержания и «теологического дискурса» с языковой и образной спецификой его сочинений. Анализ убедительно демонстрирует не только «консерватизм» Герхоха, его связь с традицией библейской экзегетики, но и его яркую индивидуальность и оригинальность, проявляющуюся в постановке проблем и в их, в том числе и на литературном уровне, разрешении. Сочинения Герхоха примечательны и тем, что в рамках «австрийского региона» они представляют единственный пример религиозной полемики по проблемам церковной реформы, связанной с обстоятельствами столкновения папства и империи.

В последующем изложении Кнапп останавливается на характеристике литературной продукции монастыря Адмонт, являвшегося, по его мнению, важнейшим духовным центром Зальцбургской епархии и ставшего опорным пунктом распространения клюнийской реформы (реформы Хирсау — по названию монастыря, ставшего в XI в. главным центром клюнийской реформы в германских землях) в Юго-Восточной Германии (с. 74–79).

Краткие очерки посвящены агиографии (агиографическая проза) и историографической прозе. Среди наиболее существенных наблюдений можно назвать отмечаемую автором дифференциацию сочинений этих жанров в соответствии с идеологической поляризацией религиозного сознания в условиях столкновения духовной и мирской власти. По мнению Ф. П. Кнаппа, как в агиографических сочинениях, так и в анналистике идейный водораздел проходит по линии поддержки папства или империи. В целом рассматриваемая эпоха не привела к появлению значительных сочинений этих жанров в австрийских землях. Исторические сочинения не несли в себе каких-либо элементов оригинальной модели историко-теологической интерпретации, они не были озабочены проблемой особого предназначения Империи, одновременно демонстрируя относительную слабость и локального самосознания.

Более подробно автор останавливается на характеристике поэтических жанров, рассматриваемых в разделах «Поэзия» и «Литургические празднования и литургические песнопения». Автор отмечает, что латинская поэзия этого периода в основном базировалась на традиционных библейских сюжетах и мотивах, в значительной степени представляла собой поэтический вариант библейской экзегезы и религиозно-морального поучения. Ф. П. Кнапп отмечает, что лишь некоторые произведения из поэтического сборника *Carmina Rhenensia* родственны современной западной лирике ранних вагантов, что может быть объяснено вероятным француз-

ским происхождением их автора. В целом, однако, для «австрийской поэзии» этой эпохи мирские тенденции были чужды, да и проблемы светской жизни нашли в ней весьма слабое отражение. Говоря о развитии литургических празднований и поэзии, автор отмечает эволюцию и разнообразие форм, что было связано в значительной степени с развитием литургии новыми религиозно-монашескими движениями, прежде всего клюнийским и цистерцианским. В рассматриваемый период в диоцезах Пассау и Зальцбург появляются и новые формы праздничных пасхальных литургий, главной особенностью которых становится большая зрелищность и драматическая выразительность. В этом нашла свое отражение общая для Западной Европы данной эпохи тенденция постепенного возрождения вкуса к драматическому действию, античная традиция которого не была воспринята христианской Европой.

В разделе, посвященном немецкоязычной литературе, Ф. П. Кнапп не только характеризует ее различные типы, но и затрагивает целый ряд существенных вопросов, выходящих за пределы чисто филологического или лингвистического интереса. Прежде всего он отмечает, что рассматриваемая эпоха впервые продемонстрировала настоящий всплеск литературного творчества на национальном языке. Сочинения, созданные в «австрийских землях», имеют по оценке специалистов исключительную важность для изучения раннего варианта средневерхненемецкого языка. Автор указывает на разделение функций, на своеобразную литературную и культурную взаимодополняемость латинской и немецкоязычной литературы. В частности, он считает, что сакральные функции, такие, как литургия или церковная проповедь, оставались безусловной привилегией латинской литературы.

Автор останавливается на ряде существенных именно для региона особенностей развития немецкоязычной литературы. В первую очередь он относит к ним несовпадение центров развития латинской и немецкоязычной литературы. В частности, из всех крупнейших центров латинской литературы эпохи только монастырь в Мельке представил значительные примеры немецкоязычной поэзии. Кроме того, австрийский регион не дал произведений прозаических жанров, ограничившись исключительно поэтическим использованием национального языка. Немецкоязычная поэзия — автор выделяет пять категорий сочинений: Ветхозаветная лирика, Вероучение в стихах, Жизненные поучения и Молитва в стихах — носила исключительно духовный характер. Она широко использовала приемы и образы латинской религиозной поэзии и библейской экзегетики, однако была свободна от прямой зависимости от них и не стала простым (иноязычным) подражанием. Автор отмечает, что мирские тенденции были совершенно чужды немецкоязычной поэзии региона, и она лишь отчасти затрагивает, преимущественно в религиозно-морализующем тоне, некото-

рые проблемы светской жизни. Подтверждение этому автор видит в затрагиваемой знаменитым стихотворением *Vom Rechte* проблеме христианско-религиозной обусловленности обязанностей и функций мирских правителей.

Автор отмечает в качестве характерной для всей литературной продукции региона особенности игнорирования сюжетов из исторического прошлого или традиционных героических преданий. Ф. П. Кнапп отмечает, что литературная продукция региона была сосредоточена на библейской экзегезе и священной истории и не делала попыток совместить их с обсуждением проблем человеческой истории. Говоря об аудитории литературных сочинений, автор склонен ограничивать ее преимущественно церковной средой. При этом он не отрицает тенденций расширения сферы воздействия, в частности, в случае литургических празднований и немецкоязычной поэзии, которое могло быть в большей степени, чем ранее, направлено на мирскую аудиторию или на категорию «мирских братьев» (*conversi*) монастырских сообществ. В числе «веяний времени» автор отмечает возрастание индивидуального, личностного момента в религиозном чувстве и его литературном выражении, что было характерно для наиболее крупных авторов. При этом, однако, он отмечает, что речь не идет в данном случае ни о современной личностной самоидентификации, ни об «идее» индивидуального литературного творчества.

Завершающий раздел, посвященный характеристике литературы в Австрии с середины XII до середины XIII вв. («Литература в эпоху бабенбергских герцогов и Междуцарствия (1156–1273)», является не только самым обширным, но и самым впечатляющим с точки зрения эрудиции и аналитической техники. Структура главы кажется весьма сложной. С одной стороны, автор вводит принцип региональной дифференциации — два больших подраздела (*Abteilung A* и *Abteilung B*) посвящены соответственно «Литературе в епископстве Пассау» (с. 155–361) и «Литературе в епископствах Зальцбург, Бриксен и Триент» (с. 363–569). Это отражает факт формирования в течение рассматриваемого столетия двух региональных литературных традиций — региона Пассау и альпийских епископств. Их своеобразие определялось как социальными факторами (в частности, спецификой соотношения власти мирских и духовных князей), так и восприятием культурных веяний эпохи и традиций. По мнению автора, для рассматриваемой эпохи можно говорить о дифференциации преимущественных ориентаций и предпочтений каждой из региональных литератур на те или иные сюжетные и тематические мотивы и отчасти жанровые формы.

Внутри каждого из разделов автор сохраняет введенное в предыдущей главе членение на латинскую и немецкоязычную литературу. В свою очередь, определенный в соответствии с язы-

ком корпус литературных сочинений подразделяется согласно жанру или специфике содержания. Каждый из подразделов включает своеобразное приложение, посвященное обзору еврейской литературы. Глава в целом завершается обобщающим заключением, которое рассматривает идеологические, интеллектуальные и художественные характеристики литературных сочинений в контексте общего социального и культурного развития западноевропейского общества. Одновременно автор включается и в более широкую полемику, связанную с оценкой исторической роли так наз. Ренессанса XII в. в судьбе западноевропейского общества и культуры.

Каждый из «региональных» подразделов открывается обширной характеристикой системы образования, ее значения для развития и социальных функций литературы. Автор отмечает, что, так же, как и в предшествующий период, литературное образование оставалось преимущественной привилегией духовенства, а в обществе сохранялось деление людей на «грамотных» и «неграмотных». Возможности получения литературного образования для мирян, прежде всего представителей аристократии, были весьма незначительными. Кнапп настаивает, что само содержание образования в монастырских и кафедральных школах претерпело известные изменения в сравнении с предшествующим периодом, однако проникновение в «школьную систему» региона методов и содержания западной ранней схоластики было достаточно фрагментарным. Он отмечает, что использование трудов классиков ранней схоластики может быть отмечено, главным образом, в цистерцианских и августинских сообществах. Новые тенденции в организации системы образования обнаруживаются на рубеже рассматриваемого периода в практике нищенствующих орденов доминиканцев и францисканцев. Наряду с констатацией консервативности церковного образования в регионе автор упоминает и ряд существенных новаций в социальных функциях литературного знания и в ориентации системы школьного образования.

Прежде всего, важным кажется тезис о более интенсивном, чем ранее, проникновении заботы о мирских делах в стены церковных сообществ и школ. Автор отмечает усиление заботы о должном выполнении духовного попечительства о мирянах в системе подготовки «светского клира»; с этим связано и развитие жанра проповеди. Мирские мотивы звучат и в духовных сочинениях, в значительной степени расширяя номенклатуру традиционных тем и образов. Весьма важным кажется и замечание об обнаружившейся в этот период общеевропейской по своему характеру тенденции широкого использования образованных клириков в делах светского и церковного управления. Хотя в «австрийском регионе» не существовало значительных центров правового образования, однако, по мнению Ф. П. Кнаппа, в этот период впервые становится очевидной роль «ученого права» в контексте литературного творчества.

Существенное значение приобретает и искусство риторического оформления документов, которое было связано с практикой политического управления (*Ars Dictamini*). Это особенно заметно в альпийском регионе, что может быть связано с более существенной, чем в пределах Пассау, где существовала мощная территориально и политически консолидированная власть в лице 'австрийских Бабенбергов, ролью духовных князей в сфере территориального управления. Весьма важной кажется и отмечаемая автором тенденция проникновения рожденных схоластическим дискурсом «методов» логического обоснования веры и морального поучения в контекст традиционных жанров духовной литературы. Автор отмечает появление ряда памятников, в которых рационализация обоснования веры соседствует с традиционными приемами символической и типологической библейской экзегезы, хотя в целом последняя и сохраняет свою доминирующую позицию. Весьма существенными кажутся замечания автора по поводу развития церковной лирики и песенной традиции. В частности, останавливаясь на литературном и содержательном своеобразии знаменитого сборника *Carmina Burana*, Ф. П. Кнапп высказывает скептические замечания относительно широко распространенного суждения о «революционном» мирском характере поэзии вагантов. Он отмечает ее связь с традициями церковной лирики и песенной культуры, считая, что некоторые откровенные мирские и эротические мотивы не разрушали ее генетической связи с морально-поучительной церковной лирикой. Это родство позволяло использовать песни вагантов в составе сборников, предназначенных для обучения клириков песенному искусству.

Говоря об общей картине литературного процесса в «австрийских землях», автор отмечает, что наиболее существенные изменения, имеющие далеко идущие культурные последствия, произошли в сфере немецкоязычной литературы. При этом он не отрицает сложности проблемы верификации места и времени происхождения текстов, в том числе и наиболее знаменитых, оценки степени популярности и социального функционирования отдельных сочинений, что связано с состоянием аутентичных рукописных кодексов. В контексте рассуждения о немецкоязычной литературе автор отводит наиболее существенное место светской поэзии, появившейся и сразу достигшей высшего совершенства именно в этот период. Разделы, посвященные «куртуазной» или рыцарской литературе «австрийских земель», занимают центральное положение. Характеризуя литературное развитие архиепископства Пассау, Ф. П. Кнапп подробно останавливается на анализе особенностей поэзии дунайского миннезанга, отмечает его связь и с западноевропейской рыцарской любовной лирикой, и индивидуальную оригинальность тематики и мотивов (с. 246–267). Он особо останавливается на творчестве Вальтера фон дер Фогельвейде и его последова-

телей (с. 267–304) и Ульриха фон Лихтенштейна (с. 482–498). Пристального внимания заслуживает анализ иных форм светской поэзии. Анализируя феномен «Песни о Нибелунгах» (с. 304 и далее) и альпийского героического эпоса (его специализацией были предания о Дитрихе Бернском) (с. 498 дал.), автор отмечает особую функцию традиционных мифологических преданий в формировании героического эпоса в регионе. Концентрация на «оправдании» языческого прошлого кажется существенным отличием региона в сопоставлении с западноевропейской (французской) традицией, широко эксплуатировавшей мотивы героического христианского прошлого в «шансон де жест» (с. 304–327, 583).

Отмечая проникновение в светскую поэзию традиционных для западной рыцарской культуры жанров, таких, как придворный роман, автор утверждает, что его развитие в регионе носило вторичный характер, местные авторы следовали за безусловными шедеврами жанра, созданными во Франции и Центральной Германии, и потому не имели шансов в конкуренции с ними. Весьма существенным кажется Ф. П. Кнаппу и тот факт, что распространенность мотивов «романа об Артуре» соседствовала с непопулярностью мотивов «античного романа» (с. 327 и далее, 543 и далее, 584).

Автор отмечает, что светская поэзия региона была в значительной степени свободна от историко-философской, имеющей национально-региональную или имперскую ориентацию, пристрастности. С другой стороны, он отмечает особую популярность, особенно в пределах Пассау, морально-дидактических мотивов. В частности, он считает, что как в латинских, так и в германоязычных сочинениях существенное место занимали обсуждение религиозных оснований социальной иерархии и мироустройства, размышления об этике аристократии. Автор отмечает и определенную консервативность этой религиозно-этической рефлексии: в частности, он считает, что ее основанием служило воспроизведение традиционного свода «аристократических доблестей».

В завершающем обсуждении проблем литературного развития региона в сер. XII — сер. XIII в. автор оценивает историческую и культурную значимость эпохи, однако отрицает экстремизм в оценке социально-культурного перелома, осуществленного Ренессансом XII в. в развитии западноевропейского общества. Ф. П. Кнапп подчеркивает влияние центров западноевропейской культуры на формирование литературного ландшафта австрийских земель, но полагает, что очевидное «западное» влияние сочеталось с развитием оригинальных и «местных» по своему происхождению феноменов. Он считает, что в этот период определяется и внутренняя специфика австрийского региона (или регионов) в общегерманском контексте.

В целом работа Ф. П. Кнаппа кажется удачным примером совмещения генерализирующего синтеза с методом филологической и культурной интерпретации. Автор, не отказываясь от обобще-

ний, в самой структуре и содержании своего текста отдает явное предпочтение методу аналитической и интерпретативной репрезентации отдельных феноменов литературного процесса, рассматриваемых в разных ракурсах их содержания и социального функционирования. В отличие от традиционной методики и стилистики обобщающих трудов, «История средневековой литературы в Австрии» не носит закрытого характера усредненной «последней и безусловной истины»: автор пишет свой труд как открытое, пронизанное критическим анализом и субъективным отношением к предмету научное исследование. Особая привлекательность этой работы обеспечивается, как кажется, не только следованием автора некоторым плодотворным методам и установкам современной культурной рефлексии, но и представленной со всей очевидностью широтой знаний о предмете и виртуозностью в применении разнообразных форм его анализа и репрезентации.

.

История литературы — типология — литературные связи

(На примере польско-немецких литературных отношений
от Средневековья до Романтизма)

Польско-немецкие литературные связи проявляются уже в начальном периоде существования письменности на польских землях, выступая, однако, не в качестве межнациональных, а как производное универсальной — наднациональной — христианской культуры *Rex Latina*. Начиная с Хв. немецкие священнослужители (в основном из Баварии) наряду с чешскими и (в меньшей степени) французскими и итальянскими привозили с собой книги литургические, юридические, учебные, а возможно, и художественные. Обосновываясь на новых местах, они создавали скриптории и продолжали вести погодные записи (*annales*). Древнейшие польские памятники этого жанра — продолженные в здешних миссионерских общинах, монастырях и епископствах — преимущественно франко-германские анналы. Самый ранний из них (о котором сохранились известия) начал восполняться «польскими» записями ок. 970 г. Второй (о котором мы знаем) был привезен из Германии в 1013 г. жёной князя Мешко II Рыхезой. Этот текст стал основой начальной части «Летописи краковского капитула», авторство которого связывают с первым известным по имени поляком-летописцем — епископом Краковским (с 1037 г.) Сулой-Ламбертом (ум. в 1071 г.). Так уже на ранней стадии протягивается нить от привносимой извне литературной культуры латинского мира к ее укоренению и продолжению представителями местной образованности.

Каталог манускриптов Краковского кафедрального собора, составленный в 1101 и 1110 гг., свидетельствует, что помимо Библии, раннехристианских авторов (Боэтий, Аратор) и различных трудов сугубо религиозного содержания здесь были те же, что и на Западе, школьные учебники и своды церковных и монастырских уставов, а также произведения античной литературы (Овидий, Теренций, Стаций, Персий, Саллюстий). Все это — общая для латинского мира почва просвещенности и творчества. Благодаря немецкому посредничеству она была создана в Польше на протяжении второй половины X — XII вв.

Функционирующие в Польше этого времени творения, написанные немцами, были памятниками общей латинской литературы, образцами характерных для нее жанров, проявлениями собственных ей стилевых канонов. Особого внимания заслуживают те из них, которые тематически были связаны с Польшей.

В рассматриваемый период агиография латинского мира пополняется памятниками, отражающими раздвижение восточных границ Римской Церкви. Первый из них — «*Vita et passio sancti Adalberti martyris*» — о жизни и мученичестве первого польского святого Войчеха Адальберта — возник в 998–999 гг. в монастыре бенедиктинцев на Авентине в Риме. Автор (предполагают, что это был папа Сильвестр или Иоанн Канапарийс) опирался на рассказы родных и друзей великомученика, а также свидетелей его гибели. Этот текст сразу же получил распространение в Италии, Ломбардии, Германии, а в XI–XII вв. также в Чехии (родине святого) и Польше. Следующее житие возникло в связи со встречей императора Оттона III и первого польского короля Болеслава I в Гнезне (1000 г.). Автор, Бруно из Кверфурта — епископ, подобно святому Войчеху получивший образование в Магдебурге (где он учился с известным немецким историографом Шитмаром), — был миссионером в Трансильвании, на Руси, в Польше и в Литве (где погиб в 1009 г.). Он описывает торжественное перенесение останков Войчеха в Гнезно, паломничество туда императора, прославляет военную мощь Польши. Помимо рассказов очевидцев Бруно использует собственные воспоминания. Известны две редакции (1004) этого жития. Следующий вариант был создан неизвестным немецким священнослужителем после 1038 г. Здесь в основном описывается пребывание Войчеха в Польше и его гибель в Пруссии. Автор также опирался на рассказы очевидцев, но при описании мученической смерти он переработал фрагмент «Жизнеописания Бруно» (до 1016 г.) — того самого, который написал предшествующее житие св. Войчеха. Польские агиографы XII, XIII и последующих веков, обращаясь к образу подвижника, адаптировали эти первые творения. Они же навеяли и темы польских религиозных песен на латыни.

Бруно из Кверфурта был также автором «Жития Пяти Братьев-Мучеников» (ок. 1006 г.) — о двух итальянцах и трех польских монахах-отшельниках, убитых в своей обители разбойниками. Это произведение наряду с общими для жанра местами (размышления о святости и мученичестве) отличается глубоко личными нотками (автор хорошо знал убиенных). Так после аналов события локальной истории обретают отражение в агиографии также благодаря немцам.

Иностранцы — носители наднациональной образованности, приобщая поляков к универсальным ценностям, в то же время вводили их обновляемую (христианизируемую) культуру в общий круг *Rex Latina*. Тем самым они открывали полякам перспективы нового осознания самих себя и давали им примеры литературного освоения польской тематики в свете универсальных критериев христианства и связанного с ним понимания истории, культуры, красоты и добра (тут следует особо отметить роль Гал-

ла Анонима как автора первой польской Хроники, написанной в 1113–1115 гг.). Уже на ранней стадии усвоения христианства поляки — в том числе и некоторые из будущих королей — учились за границей, в школах Франции и Германии. Среди первых известных нам авторов-поляков — дочь князя Мешко II и немецкой принцессы Рыхезы Гертруда (ок. 1025 — 1108), впоследствии жена великого князя Киевского Изяслава. Начальное образование она получила, вероятно, в Польше, продолжив его в бенедиктинском монастыре около Кёльна. Драматические переживания, беспокойство за сына, надежды, разочарования и пожелания отразились в 93 текстах молитв, вошедших в так называемый «Codex Gertrudianus», основу которого составляла псалтырь (X в.), принадлежавшая княжне. В пользу ее авторства говорит обращение от первого лица («ego Gertruda»). Хорошая латынь (в которой, правда, встречаются славизмы), орнаментальный стиль, парафраза псалмов, Евангелия и литургических фраз отражают как уровень образованности, так и внутренний мир первой польской писательницы — польской королевны и русской княгини.

Изначальные связи с Латинским миром, осуществляемые благодаря особой роли немецких священнослужителей — носителей литературной культуры Запада, предопределили типологическую близость, обуславливающую саму возможность связей польской литературы с литературами католичества, тогда как именно типологические различия с соседней литературой Киевской Руси препятствовали литературному взаимодействию ввиду отсутствия самого общего философско-эстетического поля встречи. Оно появится потом — во времена Возрождения и Барокко —, когда именно культурные факторы предопределят переориентацию в разных сферах общественной жизни сначала на землях Украины и Белоруссии, а затем и в Московском государстве¹. На землях же самой Польши «немецкий фактор» культуры усиливал фактор собственно литературный в процессе взаимного общения, нарастая со второй половины XIII в., когда после татарских нашествий начинается заселение опустевших городов и закладка новых выходцами из Германии и Фландрии. С этого времени «внешняя» по отношению к польской немецкая культура воспринималась здесь через «внутреннюю» для Польши ее часть. Эта немецкая культура в польских городах и Пруссии (как части польского государства) играла роль призмы, сквозь которую виделся полякам весь обширный германский мир. Она играла и роль канала, соединявшего страну с германской наукой, экономикой, искусством, а во времена Реформации — с новым мировидением, которое охватило значительную часть польско-литовского государства и его интеллектуальной элиты.

«Внутреннее» функционирование «внешнего» немецкого фактора проявилось и в более раннем (по отношению к ряду стран Запада) появлении в Польше книгопечатания (в 1473 г. немец Кас-

пер Штраубе основывает в Кракове первую типографию). Научно-культурные контакты с Германией особенно усиливаются благодаря Краковскому университету, где немцы были и среди преподавателей, и среди студентов. Отсюда вышли известные писатели Реформации Т. Мурнер, Г. Бебель, И. Экк. Здесь учился и преподавал знаменитый Конрад Цельтис и его ученик из Швейцарии Иоахим фон Ватт Вадиян, автор «О смысле поэзии и стихов» (1518). В свою очередь польские выпускники немецких университетов сыграли большую роль в сближении двух культур и распространении идей Реформации у себя на родине. Тут особое значение имел для Польши Крулевец (польское название Кёнигсберга). Прусский вассал Речи Посполитой князь Альберт Гогенцоллерн покровительствует многим представителям польского ренессансного движения (среди них имена М. Бельского, М. Рея, А. Фрыча Моджевского, Я. Кохановского). Здесь в 1544 г. издается закон, признающий польский и литовский языками конфессии, а тем самым — и литературы. В этом же году открывается университет, где учатся студенты с разных концов польско-литовского государства. Здесь же действует крупный издательский центр, распространяющий протестантскую литературу на языках соседних народов.

Способствуя возникновению польского лютеранизма, Германия способствовала развитию польского литературного языка и польской литературы. Отнюдь не случайно, что латинско-польский словарь (1564), куда вошли жизнеописания прославленных поляков и послание к полякам крупнейшего сподвижника Лютера Ф. Меланхтона, был создан выпускником Виттенбергского университета Я. Мончиньским. Точно так же не случайно и то, что автором первой польской грамматики (1568) был П. Стоеньский (Статориус) — ученик Кальвина, представитель другого протестантского течения в Польше.

Протестантизм способствовал проникновению в среду польских гуманистов произведений немецких авторов, а в этой связи — развитию жанров научной, проповеднической и полемической литературы, драматических произведений и драматизированных диалогов, не говоря уже о характерных для Реформации песенно-поэтических жанрах (Лютер: «Кто поет, тот молится вдвойне»). Поляки переводили М. Лютера, Ф. Меланхтона, И. Арндта, И. Гаста, Г. Бебеля, И. Гульсбуша и многих других. Реформация вообще способствовала развитию искусства перевода. В этом процессе особое значение имели переводы Библии (именно благодаря переводу Священного Писания Лютером верхненемецкий диалект стал литературным языком немцев). Протестантские переводы библейских текстов в Польше способствуют и ответной деятельности католиков. На этой волне ренессансное развитие светской латинистики, эллинистики и гебраистики «встречается» с аналогичными штудированиями теологов. Появляется множество польских пере-

водов и изданий как отдельных частей, так и полных текстов Библии. Католический перевод Нового Завета опередил известный писатель, эллинист и гебраист, выпускник Виттенбергского университета Анджей Мужинковский, издавший свой текст в Крулевце в 1551–1552 гг. В 1563 г. группа кальвинистских теологов и поэтов (среди них такие видные деятели польской Реформации, как Ян Лаский, Франчишек Станкар, Пиотр Стоеньский) издают в Бресте полный текст Священного Писания, вошедший в историю как «Брестская библия», или «Радзивилловская» (по имени литовского мецената Миколая Радзивилла Черного). Венцом ренессансных переводов Библии был труд (1599) известного католического автора полемических и проповеднических произведений иезуита ксендза Якуба Вуека (1541–1597). Этот перевод стал каноническим и функционирует по сей день (параллельно с новым каноническим переводом середины XX в.).

Реформация (наряду со светской культурой Ренессанса), способствуя развитию польского литературного языка, наложила отпечаток и на ментальность некоторых крупных писателей-католиков (среди них А. Фрыч Моджевский и Я. Кохановский).

Особо следует отметить воздействие немецкой народно-городской литературы на аналогичное течение в Польше (названное здесь «совизжалским»), а также роль переселившихся на земли Речи Посполитой немецких печатников, которые наладили здесь непрерывное (в отличие от предшествующего времени) книгоиздательство уже в первом десятилетии XVI в. и стимулировали переводы массовой литературы. Вообще обширнейшие польско-немецкие связи были не только прямыми и непосредственными, но и определенным образом органичными и «внутренними» — наподобие связей поляков с культурами украинцев, белорусов, литовцев и евреев, ибо немцы (как и эти народы) составляли весьма значительную часть населения Речи Посполитой (особенно в городах).

Связи с немецкой Реформацией (тут следует еще раз особо отметить важную роль Кёнигсберга) отразились как в художественной литературе эпохи польского Возрождения, так и в развитии массового религиозного песнопения. Однако в конечном итоге возобладание католичества и связанного с ним типа литературной культуры в Польше, а Реформации в значительной части германского мира, типологически разъединив эти литературы, предопределили изменения в характере их связей и самой роли в их взаимодействии. В обоих случаях это было национальным отражением (и воплощением) общих закономерностей европейского литературного процесса².

Наднациональная, обусловленная конфессиональными факторами культурная общность *Rex Latina* на протяжении Позднего средневековья все более дифференцировалась, что нашло особенно яркое выражение в расцвете национальных культур ряда романских и

германских народов во времена Ренессанса. Среди славянских народов и их культур, развивавшихся в рамках *Rex Latina*, формируются в период Возрождения и Реформации различные ориентации. Это предопределило и наличие двух типологических линий, характеризующих особенности чисто литературного свойства. Для первой из них (поляки, хорваты) характерно наличие сходных моментов и прямых связей с развитием литератур романских народов, стран, где католицизм в целом сохранил свои позиции. Вторая (чешско-словацкий, серболужицкий и словенский этнические ареалы) характеризуется аналогиями и связями с немецкоязычными литературами, весьма значительной степенью воздействия на литературное творчество вероисповедной борьбы, идей протестантизма. В этом отношении показательна параллель между чешской и немецкой литературами рассматриваемого времени с такими общими для них характерными чертами, как книжный, ученый, филологический характер, обусловивший неразвитость беллетристики, и ведущую роль жанров научной письменности и публицистики, которые были типичны и для Средневековья. Преемственность между Возрождением и Средневековьем здесь более непосредственна, а связь их более тесна, чем в романском мире этого времени. Сразу же следует оговориться, что речь идет лишь о преобладающей тенденции. Так, например, в литературе польского Возрождения, которая подобно далматинско-дубровницкой (хорватской) ренессансной литературе связана в основном с романским культурным кругом, явно прослеживается линия, представленная одним из крупнейших писателей Польши того времени — Миколаем Реєм, типологически и генетически аналогичная той, что проявилась в немецкой и чешской литературах. (Знаменательно, что некоторые сюжеты Рей — поборник Реформации — почерпнул из немецкой литературы в ее латинском языковом облике.)

Романская линия развития, озаглавленная итальянским Ренессансом, расцветом французской и испанской литератур, характерна развитием беллетристики, что находится в прямой связи с секуляризацией личности и эволюцией светской культуры. Отсюда понятно, что соседственные связи Польши с Германией — давние, прямые и многообразные — в литературе XVII столетия уже не имеют прежнего удельного веса: характер и уровень немецкой литературы после религиозных войн и победы Реформации являли собой иную, нежели свойственная польской литературе, плоскость бытия. Из Германии в Польшу по-прежнему проникала лишь низовая (народно-городская) литература. У немцев же вызывает интерес поистине грандиозный опыт поляков, создавших в достаточно короткий срок на родном языке литературу европейского уровня. Этот польский опыт привлек внимание создателя новой немецкой литературы М.Опица, который соприкасался с польской стихией еще во времена учебы в гимназии в Бытоме, а

затем (с 1637 г.) как историограф польского короля Владислава IV. Он и его литературные единомышленники высоко отзывались о первом поэте польского Возрождения Я. Кохановском. Переводятся и издаются его псалмы, гимны, фразы, польские и латинские стихи. Среди переводчиков такие видные поэты, как В. Шерффер фон Шерффенштейн, Ф. фон Логау, К. Кальденбах и др. Польской литературой интересовался И. Каселиус, который переписывался с поляками, высоко ценил университет в Замостье, был поклонником творчества Ш. Шимоновица. На немецкую поэзию начала XVII в. наложили отпечаток воззрения Польских Братьев (ариан). Польская тематика проявляется в драматургии А. Грифиуса.

С особой интенсивностью воздействие польской литературы проявилось в Силезии, где местные культурные традиции отнюдь не растворились в немецкой стихии, существуя наряду с ней. Оба эти начала взаимодействовали друг с другом, а такие видные представители силезских поэтических школ, как Д. Чепко и А. Шеффлер, были связаны с исконной местной традицией также и своей родословной. Наряду с отзвуками части польской литературы, связанной с Реформацией, тут отмечается воздействие совизжальского (народно-городского) течения. Высокая литература, связанная с католичеством, присутствует здесь в творениях Я. Кохановского, Ш. Старовольского, К. Опалинского, С. Твардовского. Польские влияния усиливаются вместе с рекатолизацией, в процессе распространения которой значительную роль играли прибывавшие из Польши священнослужители.

Идущие из Саксонии воздействия немецкой культуры на Польшу усиливаются во времена правления избираемых на польский престол курфюрстов Августа I и Августа II (образование, философия, королевская драматическая и оперная сцены), играя существенную роль в подготовке перемен, знаменующих эпоху Просвещения³. В эти времена в Дрездене и Лейпциге возникли довольно внушительные польские колонии, являющиеся живым связующим звеном в великосветской, культурной и научной жизни стран, связанных персональной унией. Здесь же издаются польские книги. Неслучайно именно в Лейпциг перевел в 1769 г. Ю. А. Яблоновский — член нескольких западноевропейских академий, автор исторических трактатов, поэт — научное общество «*Societas Jablonoviana*», основанное им в Гданьске в 1761 г.

Саксонская театральная и музыкальная культура не только (а порой — и не столько) привносила в польскую собственные свершения: в значительной степени она играла роль связующего звена с оперно-музыкальным (Метастазии, Бах, Гендель, Хассе и др.) и театрально-драматургическим (Жорнель, Расин, Мольер, Мариво, Делуш, Дидро, *commedia dell' arte*) искусством других стран Запада — искусством, которое имело общеевропейское значение, став художественным эталоном, войдя в моду и формируя вкусы европейцев.

В формировании нового мировосприятия у поляков в «саксонские времена» особая роль принадлежала немецкой философии (прежде всего Вольфу и Лейбницу). Распространению новых философско-эстетических и экономических учений способствовала также научная периодика ученика Вольфа и Готтшеда Митцлера де Колофа (50-е гг.). В литературе на протяжении польской эпохи Просвещения (30-е гг. XVIII — 20-е гг. XIX в.)⁴ просматривается внимание прежде всего к Х. Ф. Геллерту, И. Х. Готтшеду, Г. Э. Лессингу, Ф. Г. Клопштоку, С. Гесснеру, А. Ф. Котцебу, а позднее — И. В. Гёте, Х. М. Виланду, Х. Э. Клейсту и др. Тем самым опять проявилась уже отмеченная здесь ранее закономерность: возобновление собственно литературных связей (в данном случае Польши и Германии), новое воздействие немецкой литературной культуры на польскую было обусловлено типологической общностью. Обретая беллетристические качества, в значительной степени утраченные в «боевой период» Реформации, немецкая литература входит в тот круг западноевропейской типологической общности, который сохранялся и развивался литературами, связанными с католичеством (а с ним не порывала и часть немецкоязычного литературного пространства).

Основным ориентиром литературного развития польского Просвещения была Франция (следствие прямого развития связей с этой страной, особенно нарастающих со второй половины XVII в., плюс уже отмеченная принадлежность к романскому кругу типологической общности с XVI в.). При этом французские веяния восполнялись английскими и немецкими там, где они составляли сложившуюся общеевропейскую тенденцию. Это, например, относится к мещанской драме: польские драматурги 80–90-х гг. осваивали в одной — общей — плоскости опыты Дидро, Мерсье, Лессинга, Э. Мура, Г. Стефани и др.

Зарождение (с 80-х гг.) предромантических, а затем (со второго десятилетия XIX в.) и романтических веяний в Польше было связано как с английскими воздействиями, так и немецкими (Гердер, современная философия и эстетика, а прежде всего — Август Вильгельм и Фридрих Шлегели, «Вертер» Гёте).

Это, как, впрочем, и целый ряд других фактов, свидетельствует о том, что ликвидация польской государственности (1795) не воздействовала на уже традиционные контакты поляков с немцами и сложившееся отношение к немецкой культуре⁵. Политические же обиды были связаны с Австрией и Пруссией, а не с германским миром вообще. Ситуация радикально начинает меняться со времен объединения Германии, польской политики Бисмарка и «Kulturkampf'a». Именно это наряду с последующими событиями истории XX в. наложит отпечаток на отношение поляков к немцам и предопределит последующую реинтерпретацию польско-немецкого прошлого. Но это уже особый вопрос.

Примечания

- ¹ А. В. Липатов. Древнеславянские письменности и общеевропейский литературный процесс. К проблеме исследования литератур как системы // Барокко в славянских культурах. М., 1982; Он же. Проблемы общей истории славянских культур от Средневековья до середины XIX в. // Славянские литературы в процессе становления и развития. М., 1987; A. Lipatow. Barok i literatury wschodniosłowiańskie // Studia polono-slavica-orientalia. Acta Litteraria. Wrocław, 1990.
- ² А. В. Липатов. Литературные влияния и типологическая общность (соотношение и критерии) // Сравнительное изучение славянских литератур. М., 1973; Он же. Критерии оригинальности и литературные связи // Литературные связи и литературный процесс. М., 1986; Он же. История литератур и литературные взаимодействия (Диалектика универсального и национального) // Функции литературных связей. М., 1992.
- ³ M. Klimowicz. Oświecenie. Wyd. 4. Warszawa, 1980; А. В. Липатов. Литературный облик польского Просвещения // Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение. М., 1982.
- ⁴ А. В. Липатов. Периодизация литературы польского Просвещения // Сов. славяноведение, 1972, № 6.
- ⁵ О межнациональных связях польской литературы см.: Literatura staropolska w kontekście europejskim (Związki i analogie) / Pod red. T. Michatowskiej i J. Slaskiego. Wrocław, 1977; Z. Sinko. Główne drogi i tendencje recepcji piśmiennictwa zachodnioeuropejskiego w literaturze Oświecenia polskiego // Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Ser. I. Wrocław, 1973; А. В. Липатов. Формирование польского романа и европейская литература. Средневековье. Возрождение. Барокко. М., 1977; Он же. Возникновение польского просветительского романа. Проблемы национального и общеевропейского. М., 1974; Он же. Славянское Просвещение в общеевропейском контексте // Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1982. Он же. Литература в кругу шляхетской демократии. М., 1993.

Текст — высказывание — слово

Автономность слова как параметр исторического синтаксиса

1. Гипотеза об автономности слова и теория текста

В начале XX в. Антуан Мейе выдвинул идею, что в древнейших памятниках индоевропейских языков слово являлось непосредственной составляющей предложения. Проявлениями «синтаксической автономности слова» Мейе считал отсутствие группы подлежащего и группы сказуемого, многовариантность структуры предложения (личное vs безличное, глагольное vs именное), факультативность согласования, возможность однословных предложений, свободный порядок слов, наличие слов, совмещающих в себе функции разных частей речи [Meillet 1908; Мейе 1938, 359–365, 369]. Лингвисты XX в., за единичными исключениями, отнеслись к идее Мейе в лучшем случае как к типологическому конструкту, которому не соответствует ни один реально засвидетельствованный индоевропейский язык¹ [ср. Адмони 1988, 162]. Между тем ясно, что в младописьменную эпоху предикатная синтагма не соответствует классическому пониманию элементарного предложения как «синтаксической структуры, неспособной выступать в виде элемента другой структуры» [Diderichsen 1976, 143, 160], так как в условиях, когда слабо развит гипотаксис и допустимы однословные предложения, предложение лишено как верхнего, так и нижнего предела. Уже Герман Пауль указал, что в первых письменных памятниках германских языков нет четкой грани между сложным и распространенным предложением, а порой и между простым предложением и словосочетанием [Пауль 1960, 169, 172, 177, 354, 374]. То же отмечают исследователи старославянского и древнерусского языков [Истрина 1923, 197; Хабургаев 1986, 254–255; Зализняк 1995, 172].

Одно из возможных решений состоит в признании разного синтаксического членения для дописменных (и младописьменных) языков и литературных языков Нового времени. Решающий шаг в этом направлении сделал выдающийся немецкий филолог Андреас Хойслер. Около века назад он выдвинул тезис о том, что в языке древнегерманских памятников, восходящих к устной эпической традиции, основной синтаксической единицей является их композиционный эпизод, в то время как отдельные предложения структурированы слабо [Heusler 1913; 1969]². Установив соответствие между сверхфразовыми единствами и темами эпоса [Heusler 1969, 404], Хойслер на полвека предвосхитил ключевую идею теории формул, ставшую популярной благодаря работам М. Перри и А. Б. Лорда [Lord 1960, Magoun 1953]. Однако сторонники теории формул сделали основной упор на условиях исполнения и передачи устного

текста и мало интересовались собственно языковыми механизмами. Кроме того, они не проводили должного разграничения между фольклорными и литературными текстами, вследствие чего предложенное ими описание памятников, не имеющих фольклорной перспективы, оказалось филологически уязвимым [Смирницкая 1994, 231–239].

В последнее время гипотеза о неуниверсальности синтаксического членения активно разрабатывается в нашей стране в исследованиях, начатых по инициативе Ю. К. Кузьменко [Кузьменко 1985; Кузьменко 1991; Магницкая 1989; Гурочкина 1991].

Представляется, что идея Хойслера имеет прямое отношение к оценке гипотезы Мейе об автономности слова в архаичных дописменных языках: статус слова в предложении определяется статусом самого предложения внутри сверхфразового единства. Структурная незамкнутость предложения была следствием его ориентации на широкий вербальный контекст³, а подчиненное положение предложения по отношению к сверхфразовому единству естественно вытекало из объединения синтагм в потоке речи в рамках устного общения. Наоборот, эксплицитная сегментация текста на элементарные предложения является результатом обратного воздействия письменной (книжной) традиции на речевую деятельность коллектива [Кузьменко 1991, 145; Циммерлинг 1993, 24]. Отказ от универсалистского подхода, при котором предложение *a priori* признается базовой единицей языка, даёт надежду отделить черты, унаследованные из праязыка (славянского, германского, кельтского и т. д.), от тенденций, проявившихся в ходе индивидуальной письменной истории отдельных диалектов.

Славянские и германские языки представляют в этом плане особый интерес, поскольку данные группы языков сравнительно молоды и процесс их дробления на диалекты протекает уже в историческую эпоху. Целью нашего исследования является обзор общих тенденций, проявляющихся в развитии славянских и германских языков на протяжении последних полутора тысяч лет. Мы полагаем, что излагаемые ниже параллели славянских и германских языков отражают типологию их перехода от дописменного этапа к письменному⁴, но не утверждаем, что они специфичны лишь для этих двух языковых групп.

Древние германские и славянские языки можно трактовать как младописьменные до тех пор, пока языковое сознание древних славян и германцев не ориентировано на тексты, однозначно предполагающие письменную фиксацию⁵. То, что данный взгляд не стал общепринятым в лингвистике, объясняется, в первую очередь, неразработанностью методики анализа древних текстов. Чтобы выйти из порочного круга, надо точно определить параметры, связывающие синтаксис архаичных германских языков с принципами построения текста в младописьменном обществе.

Предварительный анализ показывает, что подчиненное положение предложения по отношению к сверхфразовому единству свойственно разным типам памятников и может служить характеристикой самого младописьменного общества [Циммерлинг 1993]. Вместе с тем, в жанрах, восходящих к устной традиции (древнеисландские саги, древнегерманские эпические песни) либо близких разговорной речи (древнерусские берестяные грамоты), сегментация текста прямо отражает коммуникативные намерения говорящего/рассказчика [Кузьменко 1991, 143; Зализняк 1993, 290, 303; Зализняк 1995, 172], поэтому их свидетельство наиболее ценно.

2. Объект описания

Автономность слова во фразе можно изучать на нескольких уровнях, что намечалось уже в программе Мейе:

1) На просодическом уровне это прежде всего вопрос о связи фразового ударения со словесным. Укажем в этой связи на важные результаты А. А. Зализняка и О. А. Смирницкой [Зализняк 1993, 280–298; Смирницкая 1994, 130–134].

2) На лексико-семантическом уровне это вопрос о синкретизме словарных значений в архаических памятниках младописьменных языков [Кацнельсон 1949, 370–378].

3) На морфосинтаксическом уровне это вопрос о выводимости синтаксического поведения словоформы из ее словоизменяющей и словообразовательной характеристики.

В данной статье мы ограничимся последним аспектом и сосредоточим внимание на нескольких предикатных конструкциях, присущих как германским, так и славянским языкам. Следуя методическому положению, высказанному независимо друг от друга О. А. Смирницкой и В. Л. Георгиевой, мы делаем упор не на поиске синтаксических реликтов, а на анализе моделей, продуктивных хотя бы в некоторых диалектах [Георгиева 1969, 63; Смирницкая 1969, 40]. При этом мы везде будем отделять типологические предпосылки, имевшиеся в праязыке, от сдвигов, произошедших в диалектную эпоху.

Среди работ, повлиявших на наше исследование, мы хотели бы прежде всего отметить статьи Б. Гавранка о генезисе безличного предложения в славянских языках [Navránek 1962; Navránek 1973], эволюционно-типологическую концепцию А. А. Потебни — С. Д. Кацнельсона [Потебня 1958; Кацнельсон 1949]⁶ и контрастивный очерк Ю. С. Маслова, посвященный становлению посессивного перфекта [Маслов 1949]*.

* Автор выражает глубокую благодарность Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкой, С. С. Скорvidу, А. А. Гиппиусу и сотрудникам сектора структурной типологии Института славяноведения РАН за возможность обсудить с ними фрагменты данного исследования и за ценные замечания и дополнения.

2.1. Организация периода речи в младописьменную эпоху

Разнородность материала не позволяет предложить общую формулу, но накопленные наблюдения дают право утверждать, что ключевые свойства периода являются общими для разных германских и славянских языков и непосредственно не зависят от жанра памятника. Вместе с тем разумно сделать оговорку, что членение на периоды свойственно прежде всего нарративным текстам и нехарактерно для таких жанров, как оберег, клятва, заклинание [Циммерлинг 1993, 27–28].

В наиболее общей форме период младописьменного текста можно определить как полипредикативное единство, количество предикатов в котором превышает количество синтагматически независимых отрезков, т.е. таких синтагм, которые при иной сегментации сами могут формировать текст. Многократно отмечалось, что точное количество предикатов в периоде не поддается подсчету, так как твердой грани между предикатными и непредикатными выражениями в эту эпоху нет [Пауль 1960, 177, 354; Neusler 1913: 202, 204; Хабургаев 1986, 254–255; Зализняк 1995, 172]. Поэтому составляющие периода правильнее трактовать как «потенциальные предложения»⁷.

2.2. Среди лингвистов распространено убеждение, что младописьменные тексты «синтаксически аморфны», оперируют наивным «иконическим» описанием ситуации, «информационная структура» преобладает в них над грамматической. Наоборот, филологи склонны подчеркивать, что формальное обособление периода речи всегда является следствием знакомства рассказчика с книжной риторикой. Нам представляется, что подобные формулировки связаны с неверной постановкой проблемы: речь должна идти не о большей простоте или сложности некодифицированной речи, но о разной стратегии развертывания «текста для глаза» и «текста для уха», и, соответственно, о разной структуре сверхфразового единства.

2.3. Для развертывания устного сообщения характерен принцип «от главной информации к деталям». При этом часто возникает ситуация, когда соседние слова в цепочке непосредственно синтаксически не связаны — так наз. непроективный порядок слов. А. А. Зализняк подчеркивает, что непроективные синтаксические конструкции с дистантным расположением элементов являются для древнерусского языка не аномалией, а нормой [Зализняк 1995, 172]. Непроективный синтаксис, эллипсис и инверсия открывают путь для наложения и переплетения фраз, поэтому в ряде случаев границы фраз внутри периода однозначно определить невозможно [Пауль 1960, 374; Кузьменко 1985]. Обратной стороной той же стратегии является нарушение линейной последовательности событий внутри периода, его неиконичность: о следствии часто сообщается раньше, чем о причине и т.п.⁸.

Этот феномен естественно объяснить тем, что там, где текст эксплицитно не членится на предложения, компоненты периода лишены самостоятельных референтов, а все сверхфразовое единство соотнесено с одной общей ситуацией [Циммерлинг 1993, 22].

2.4. Длину периода вряд ли стоит прямо связывать с таким чисто антропофоническим фактором, как паузация речи, и исходя из этого постулировать просодический стандарт в 15–20 слогов, как это делает, например, Ю. К. Кузьменко вслед за А. Боумэнном [Кузьменко 1991, 141]. Это предложение неудачно сразу по трем причинам. Во-первых, знаменательные слова в разных языках характеризуются разным числом слогов; во-вторых, рамки периода задаются не только объединением соседних синтагм в потоке речи, но и сменой тем внутри связного текста; в-третьих, длина периода нередко колеблется даже в пределах одного памятника⁹.

2.5. Главное свойство периода — членимость на синтагмы (т. е. наличие нескольких предикатов и/или распространенных определений и/или союзных слов), его структурный минимум — две синтагмы: к этой группе, по-видимому, принадлежит большинство примеров, на которые опирается Ю. К. Кузьменко в упомянутой выше работе.

Логико-семантическая сложность периода зависит не только от его длины, но и от степени выраженности/невыраженности его предикатных, ролевых, модально — дейктических и иных компонентов. Материал показывает, что полипредикатный комплекс может отличаться значительной сложностью и при малом объеме, ср. отрывок новгородской берестяной грамоты 589 XIV₁:

(1) друс. новг. *что мнѣ ни доспе в рубле том нечи лати то твою* <11 слов / 16 слогов> — в переводе А. А. Зализняка: «то сколько сраму ни заставит [Ондрей] меня принять из-за этого рубля — весь этот срам будет твой» [Зализняк 1995, 463].

С другой стороны, при установке на юридически полное, исчерпывающее, освещение ситуации период может достигать гигантских размеров, ср., например, реплику персонажа исландской саги Gísl. 84, отрезок от слов <Björkr kennir bratt> до слов <þú vægir drepinn> — 52 слова / 80 слогов [Циммерлинг 1993, 20], или грамоту Пскова Колывани 1418–19 гг., отрезок от слов <буди вам сведо[о]> до слов <своимъ соуседо[о]> — 83 слова / ок. 153 слогов [Зализняк 1995, 579 сл.].

2.6. В свете изложенного представляется разумным признать, что границы периода определяются сочетанием внутренних — непрерывность синтаксической связи [Гурочкина 1991, 130] — и внешних — композиция текста, предварительная обработка информации [Циммерлинг 1993, 27] — факторов. Длина и сложность периода не являются неизменными величинами: они зависят как от жанра памятника, так и от дополнительных ограничений, налагаемых на сообщение (метрический канон, фигуры речи, ритуальные формулы и т. п.).

3. Изменения синтаксической парадигматики в младописьменную эпоху

При переходе от дописьменного состояния к письменному исчезают прежде всего конструкции, реализация которых была обусловлена объединением большого числа фраз в рамках периода речи.

Вытеснение реликтов младописьменного синтаксиса протекает поэтапно; в древнейших памятниках они еще присутствуют, но уже не в любом окружении, а прежде всего в клишированных частях текста. Поэтому формальное преобразование данных конструкций и изменение их синтагматических функций проливает свет как на изменения в способе существования языка, так и на эволюцию жанров текста.

Эллипсис и плеоназм в структуре сверхфразового единства

3.1. К числу механизмов, восходящих к дописьменной эпохе, относится образование глагольно-безличных предложений без семантического субъекта (тип $\#V_{imp}$). Данный тип прослеживается во всем древнем славянском и германском ареале.

Реликтами прежнего состояния следует считать прежде всего сохранение однословных предложений (подтип $\#V_{imp}\#$ — ср. рус. моросит, светает) и возможность перехода от двусоставного глагольного предложения к безличному без изменения лексического значения глагола и залоговых отношений, ср. дррус. *на Дунаевѣ Ярославнынъ гласъ слышнѣтъ*¹⁰ (Слово): X *слышнѣтъ* У-а. В историческую эпоху бессубъектные высказывания с глаголом в 3 л. ед. ч. активного залога образуют дополнительную дистрибуцию с конструкциями, специально маркирующими элиминацию актантов, ср. *слышно есть, слышнѣтъ ся*.

Против использования критерия допустимости однословных предложений в качестве параметра диахронической типологии иногда выдвигают то соображение, что однословные глагольные высказывания сохраняются и в некоторых современных языках, в том числе в русском. Однако этот контраргумент не является достаточно убедительным. Во-первых, в языках типа современного русского безличные глагольные предложения возможны только при обозначении стихийных явлений и неконтролируемых процессов, т.е. в ситуациях, где действующий фактор не выражен, и подлинные семантические актанты отсутствуют [Виноградов 1947: 467, Грамматика 1970: 563]. В древних славянских языках (что показали Й. Зубаты и Б. Гавранек), а также в некоторых древних германских языках (что будет показано ниже) переход от двусоставного предложения к односоставному не всегда семантически мотивирован. Таким образом, по отношению, например, к русскому и древнерусскому языкам речь идет по существу о разных группировках глагольных предикатов¹¹. Во-вто-

рых, сохранение однословных высказываний в одних диалектах при их формальной перестройке в других — ср., с одной стороны, словацк. *sa blýska* «сверкает [молния]», ср. также [*dnies v noci*] *hrmelo a prsalo* «ночью гремел гром и шел дождь» букв. «...гремело и дождило» [Pauliny, Ružička, Štolz 1968, 371] и, с другой стороны, чеш. *ono se blyska, ono prsí*, где появляется эксплетивное слово, — само по себе должно быть предметом исторического изучения.

3.2. Бессубъектное оформление глаголов, по преимуществу связанных с двусоставной конструкцией, не предполагает выражения результативных и медиальных значений: как правило, высказывания типа дррус. *слышитъ* носят констатиный характер. С другой стороны, высказывания, единственной константой которых служит отсутствие имен. п. при глагольной форме 3 л. ед. ч., являются синтагматически зависимыми: нужен вербальный контекст, чтобы интерпретировать последовательность типа дрисл. *ok lagði á hann midían* «и пронзило его насквозь» букв. «и пронзил его насквозь» как безличное, а не как неполное двусоставное предложение. Закрепление односоставных высказываний с глаголом в 3 л. ед. ч. за стандартными, формульными контекстами проявляется независимо от типа памятника. Вместе с тем, частота данных высказываний и репертуар лексем, допускающих безличное оформление, зависит от жанра текста. Симптоматично, что формуле древнерусских грамот *пишетъ*¹² в древнеисландской саге — жанре, восходящем к устной традиции, — соответствует формула *segir* «говорит»¹³.

3.3. Факты показывают, что в прагерманском и праславянском, вопреки господствующему мнению, не было так наз. «собственно безличных лексем», т.е. предикатов, возможных лишь в рамках односоставного предложения, ср. [Wackernagel 1926, 113; Behaghel 1924, 124]. Общей предпосылкой формирования построения #V_{imp} действовавшей на протяжении всего дописанного периода, было то, что глагол не предполагал фиксированного набора актантов. Отсюда, с одной стороны, возможность спорадического сочетания глаголов, преимущественно употребляющихся безлично, с подлежащим в имен. падеже — тип **дождь дождит*, стсл. *о́дъжди жупьль* Зогр. Л 17, 29¹⁴, с другой — бесподлежащее оформление глаголов, преимущественно употребляющихся в личной конструкции, — тип. дррус. *пишетъ*, *слышитъ*, дрисл. *veit* букв. «знает»¹⁵.

3.3.1. В языках древней церковной традиции — старославянском и готском некоторые лексемы отмечены только как безличные, хотя не исключено, что мы имели бы и примеры альтернативного употребления, если бы в нашем распоряжении было большее количество памятников. Данные других диалектов часто указывают на различное географическое распределение конкурирующих моделей. Так, согласно И. Лекову, двусоставный тип *дождь дождит* более частотен в восточнославянском, верхне- и нижнелужицком, односоставный тип *дождит* — в чешском и словацком, в южно-

славянских языках и в польском они представлены равномерно [Леков 1967]¹⁶. В германском ареале в древневерхнемецком преобладает двусоставный тип (с формальным подлежащим) *es schneit* «идет снег», букв. «(оно) снежит» [Behaghel 1924, 127], в древнеанглийском оба типа представлены более равномерно [Колесникова 1974, 10, 15], в древнеисландском двусоставный тип при *verba meteorologica* отсутствует [Heusler 1913, 164 сл.; Смирницкая 1972, 65]. Для типологии синтаксических систем это означает, что в языках типа древневерхненемецкого действует требование на незаполнение субъектной позиции предложения, которая замещается семантически пустым элементом — формальным подлежащим, в языках типа древнеисландского действует запрет на её заполнение при безличном глаголе — так наз. принцип синтаксического нуля («нулевой субъектный параметр»), что представляет собой более редкий случай; в системах обоих типов заполнение или вакантность субъектной позиции при *verba meteorologica* служит формальным признаком всех высказываний с данной группой безличных предикатов. В языках типа древнеанглийского заполнение или незаполнение субъектной позиции не является жестким структурным требованием, *verba meteorologica* лишены здесь единых синтаксических маркеров. Большинство славянских языков соответствует именно последнему случаю; как правило, сохраняется возможность факультативного заполнения позиции субъекта либо, напротив, опущения элемента, выполняющего роль формального или тавтологического подлежащего, — ср., с одной стороны, рус. *гремит, сверкает, дождит, снежит, моросит*, с другой — рус. *гром гремит, молния сверкает, снег идет, дождь идет/моросит* и т. п.¹⁷

3.3.2. И в славянском, и в германском безличное построение часто дают глаголы со значениями начинания/завершения, избыточности/недостаточности, долженствования: симптоматично, что семантические группировки «безличных предикатов», выделяемые В. Л. Георгиевой в старославянском и М. Нюгором в древнеисландском, совпадают почти полностью [Nygaard 1905, 14–15; Георгиева 1969, 74]. Тем не менее почти все глаголы данных групп дают и личное построение [Ходова 1980, 267], а семантическая сфера модели $\#V_{\text{imp}}$ остается незамкнутой. Наиболее ясно это видно на материале древнеисландской прозы: большой корпус памятников и их разнообразие позволяют установить, что элиминация подлежащего при любом двусоставном глаголе¹⁸ дает полные безличные высказывания: $N_{\text{nom}} - V_{\text{fin}} \rightarrow \#V_{\text{imp}}$, ср.:

(2) дрисл. ок *sá hvárigán stafn frá fðrum* Fr. VI, 4 «и с кормы не было видно носа и наоборот», букв. «и не видел ни одного штевня (корабля) с другого».

Подобные примеры лишают лингвиста возможности усмотреть здесь неопределенно-личную конструкцию, что обычно предлага-

ли младограмматики — ср., например работу М. Нюгора [Nygaard 1905, 8–26]: ясно, что субъект-наблюдатель не может одновременно находиться на носу и на корме. Поэтому нет необходимости соглашаться с мнением Й. Зубаты и Б. Гавранка о том, что славянский тип $\#V_{\text{imp}} 3 \text{ sg}$ (дррус. *пишетъ*, чеш. диал. *ten kraj uvidí u starých lidí* букв. «тот покров увидит у старых людей» и т.п.) представляет собой промежуточную зону от двусоставной конструкции к безличной [Zubáty 1954, 450–465; Havránek 1962, 75–76; ср. также Мельничук 1966, 148–149; Ходова 1980, 265]. В то же время Б. Гавранек и его последователи, безусловно, правы в том, что данная модель рано теряет продуктивность и в разных славянских диалектах замещается при помощи разных конструкций — возвратной либо обобщенно-личной с глаголом во 2/3 л. мн. ч. В германских языках аналогичную функцию выполняет формальное подлежащее [Brugmann 1925, 22; Behaghel 1924, 139]. Развитие формального подлежащего (*ono/vono, to*) в ряде западнославянских языков (чешский, лужицкие), по мнению ряда исследователей, также обусловлено средне- и новонемецким влиянием, т.е. ареальными контактами славянских и германских языков [Trávníček 1956, 22].

3.4. Историческая посылка развития высказываний типа дррус. *пишетъ*, дрисл. *ok sá hváriga stafn* очевидна — это эллипсис в потоке речи. Эллипсис был одним из важнейших показателей связности сверхфразового единства, опущение синтаксического элемента, представляющего ранее активированную, либо второстепенную, либо дедуктивно выводимую информацию в составе периода речи было частотным и немаркированным случаем [Кузьменко 1991, 149]. Поэтому в дописьменную эпоху тип $\#V_{\text{imp}}$ тоже является распространенной и синтагматически немаркированной моделью деривации. С появлением письменности постепенно меняется сегментация текста, сужается лексическая база конструкции $\#V_{\text{imp}}$, высказывания этого типа становятся стилистически маркированными.

3.5. В отдельных языках — в первую очередь в древнеисландском и в древнечешском конструкция $\#V_{\text{imp}}$ удерживается сравнительно долго. Для древнеисландского это объясняется тем, что эпическая традиция не исчезла с появлением письменности: в XIII–XV вв. еще господствуют жанры текста, восходящие к дописьменной эпохе. В языке саг элементарное предложение остается слабо структурированным, поэтому сохраняется синтагматическая предпосылка порождения бессубъектных глагольных высказываний — опущение актанта там, где он восстанавливается из предыдущей части текста или где он коммуникативно нерелевантен.

Часть древнечешских высказываний, построенных по модели $\#V_{\text{imp}}$, тоже можно непосредственно объяснить правилами построения крупных фрагментов текста, ср. пример из древнечешской «Александриды», на который нам любезно указал С. С. Скорвид:

(3) дрчеш. Daru ma ot boha mnoho / kdyz cstnu zenu darzi koho — цит. по [Porák 1983, 126, строки 75–76]

букв. «Даров имеет от бога много / если честной женой награждает кого» $\cong$ *Бог награждает X-а или $\rightarrow$ *X награжден, получает жену от Бога.

Другая группа древнечешских примеров, которая и обсуждалась чаще всего, напротив, связана с относительно замкнутыми, клишированными частями текста. Фр. Травничек высказал мысль о том, что модель $\#V_{\text{imp}}$ использовалась в истории чешского языка для выражения значения «внезапно прерванного действия» [Trávníček 1956, 32]. Это наблюдение представляется весьма важным, однако данная характеристика имеет непосредственное отношение не к синтаксической семантике модели, а к синтагматическим ограничениям на ее реализацию в тексте. В памятниках XIV–XV вв. модель $\#V_{\text{imp}}$ появляется прежде всего в отступлениях от основной линии повествования, комментариях и вводных оборотах. Нередко при этом реальное положение дел противопоставляется возможно-му: так, модель $\#V_{\text{imp}}$ часто реализуется в предложениях условия или долженствования/возможности:

(4) дрчеш. z Babyloně putujíc... na horu Sinaj *musí jiti* skrze púšť Arabskou Mand. (все примеры цит. по: [Trávníček 1956, 33]) букв. «путешествуя из Вавилона... на гору Синай *должен идти* через Аравийскую пустыню» $\cong$ если кто пойдет, он должен будет идти...»

(5) дрчеш. plovúce tehda z Cypru do Tiru... *Připlúti mŏž* jednoho dne a jedné noci Kab., букв. «плывя из Кипра в Тир, *приплыть может* за сутки» $\cong$ «можно проплыть за сутки» или: «если кто поплывет, то *доплывет* за сутки»;

Другое типичное модальное значение — сравнение:

(6) дрчеш. by ot břéha pláne taká, jakž by *mohl dourci* z praka Alx., букв. «была у берега такая равнина, как будто бы из пращи *мог добросить*»;

(7) дрчеш. jako by *řekl* Štit. букв. «как если бы *сказал*»; т. е. «как говорится», «как *принято* говорить».

Представляется, что в последних примерах мы имеем дело уже со вторичным использованием модели $\#V_{\text{imp}}$ и превращением ее в синтаксическое клише. Конечную стадию развития показывает современный чешский язык, где схема $\#V_{\text{imp}}$ допускается лишь в жанре поговорки, т. е. внутри короткого текста, соединяющего актуальное положение дел с родовым:

(8) чеш. bolest přestala, *jako by ut'al/jako když utne*; букв. «болезнь кончилась, *как будто отрезал/как если отрежет*»;

(9) чеш. mlčí, jako by *ti ústa zašil* букв. «молчит, как будто бы *ему рот зашил*» (подобные обороты уже воспринимаются многими информантами как устаревшие либо нелитературные);

Единичные примеры фразеосхем с безличным глаголом в форме мужского рода есть и в словацком языке, ср.

(10) словац. Kričia, akoby ich z *kože dral* «Кричат, как будто с них *кожу (со)драл*» [Pauliny, Ružička, Štolz 1968, 370].

Тем самым, история славянских языков показывает, что лексические и синтаксические ограничения на использование модели $\#V_{imp}$ не всегда сопутствуют друг другу:

1) В большинстве языков происходит лексикализация модели, схема $\#V_{imp}$ закрепляется за строго определенными лексемами: болг. *може, пише, няма, има* «es gibt», польск. *pisze, nie pisze*, дррус. *пишетъ*, укр. *нема*, дрчеш. *najde, nalezne* «man findet». Критерием лексикализации служит возможность свертывания высказывания до ядерного слова.

2) В древнечешских памятниках XIV–XV вв. круг глаголов, допускающих построение $\#V_{imp}$, довольно широк (не менее 20–30 лексем), однако сама конструкция тяготеет к клишированным частям текста и постепенно превращается во фразеосхему. При этом сохранение глагольной группы (т.е. зависящих от глагола слов) часто является условием правильного распознавания синтаксиса поговорок и клише.

3.6. Приведенные факты свидетельствуют о том, что поверхностно-синтаксические факторы, такие, как соседство слов в речевой цепи или пропуск элемента, в младописьменную эпоху порой оказываются сильнее правил порождения предложений в парадигматике. Сами эти правила носят статистический характер и допускают большое количество исключений: поэтому предикатные синтагмы в первых письменных памятниках славянских и германских языков лучше трактовать как «потенциальные предложения»¹⁹. Согласование подлежащего со сказуемым при этом носит скорее формальный, реляционный, нежели глубинно-синтаксический характер, что подтверждает основной тезис Мейе [Мейе 1938, 366]. Одним из проявлений этого является так наз. употребление глагола в форме множеств. числа с собирательными существительными в форме ед. числа (и существительными с собирательным значением), традиционно и не совсем удачно называемое «согласованием по смыслу»: ср. дррус. *а пойдутъ на нас Литва* (Московская договорная грамота 1368 г.) — цит. по: [Борковский, Кузнецов 1963, 329]²⁰.

Бесспорно, согласование собирательного существительного с глаголом во мн. ч. — не только феномен поверхностного синтаксиса, но и морфологическая модель, занимающая в разных языках более или менее прочные позиции. Колебания в оформлении именной группы с собирательным именем, как свидетельствует собранный материал, могут быть связаны с различными коммуникативными установками [Малевинский 1989, 16–18; Борковский, Кузнецов 1963, 328–332; Nygaard 1906, 67–69]. Для нас важно указать на синтагматические корни «согласования по смыслу», обеспечивающие легкую реализацию данной модели именно в тексте, основной сегментной единицей которого является отрезок больше фразы.

Одной из стратегий построения периода является повтор именной группы в соседних фразах: критерием повторного вхождения кореферентной группы могут быть а) прономинализация, б) эллипсис [Кузьменко 1991, 148 сл.], с) синонимическая замена [Гвоздецкая 1993, 34]. Если считать, что именная группа со значением собирательности представлена в сверхфразовом единстве в полном виде как ряд [_{AgTs}[*дружина / они [Петр, Иван, Савва] / воины*] *едут*], связь между рассогласованием предиката и ближайшего субъекта в числе <*дружина едут*> и эллипсисом дистантного²¹ анафорического местоимения <*они едут*> становится очевидной.

3.6.1. Реконструируемая структура непосредственно обнаруживается в западногерманских аллитерационных памятниках, где неполный повтор именной группы служит особым композиционным приемом (эпическая вариация). При этом нередко возникают цепочки, где предикат относится одновременно к нескольким дистантно расположенным синонимичным группам. Приведем примеры плеонастической стратегии построения текста:

(11) дрсакс. *Bidun* (мн. ч.) *allan dag that werot* (ед. ч.) *for them wiha endi wundrodun alle* (мн. ч.) *Hel. 174–175*; букв. «ждали (мн. ч.) весь день тот народ (ед. ч.) перед храмом да удивлялись все (мн. ч.)»;

(12) дрангл. *weorod* (ед. ч.) *eall* (ед. ч.) *aras* (ед. ч.), *eodun* (мн. ч.) *unblide* *Beow. 3030* букв. «народ (ед. ч.) весь (ед. ч.) восстал (ед. ч.), шли (мн. ч.) беспокойно»;

(13) дрсакс. *That werod* (ед. ч.) *odar bed* (ед. ч.) *umbi thena alah utan Ebreoliudi* (мн. ч.) *Hel. 104–105*; букв. «тот народ (ед. ч.) же ждал (ед. ч.) у того храма снаружи Евреи (мн. ч.)».

В другой группе примеров опускается не местоимение, а вторая именная группа. В этом случае между частями множества возникают иерархические отношения типа ЧАСТЬ:ЦЕЛОЕ, ВОЖДЬ:ВОЙСКО, ИНИЦИАТОР:ИСПОЛНИТЕЛЬ, ср.:

(14) дрисл. *Par var Hreidarr sendimaðr við mikla sveit ok sátu þar til landvarnar af hendi Vestfylda móti Birkibeinum Sv. 167–320*; букв. «Там был Хрейдар Посланник с большим отрядом, и сидели для защиты края Вестфолль от Берестяников»;

Если в данном примере названы все члены множества <*и [Хрейдар и большой отряд] сидели...>, в следующих контекстах контуры множества лишь намечены, и эллипсис местоимения мн. ч. накладывается на эллипсис названия коллектива:

(15) дрисл. *Hugði jarlinn* (ед. ч.) *at þeir mundu vilja berjast ok hlóðu* (мн. ч.) *seglunum Bögl. 379*; «Подумал ярл (ед. ч.), что они хотят биться, и свернули (мн. ч.) паруса»; ≅ «*Ярл и его войско свернули паруса»; или «*войско ярла свернуло паруса».

(16) дррус. той же осени *заложи* (ед. ч.) *церковь святого воскресения камяни в монастыри владыка Мартурии* (ед. ч.) *и възделаша* (мн. ч.) *до двъири около до осени НПЛ 1, под 1195 г.*;

(17) дррус. Въ то же лѣто *иде* (ед. ч.) *Нездила Пыхциницъ* (ед. ч.) *на Луку воеводу, иде* (ед. ч.) *съ Лукъ съ маломъ дружини въ Ло-*

тыголу на тороне, и засташа (мн. ч.) я въ одринахъ, и убиша (мн. ч.) ихъ 40 муж... НПЛ 1, под 1200 г.

Последние случаи составляют переходную зону к хрестоматийным примерам согласования одиночного имени с предикатом во множ. ч. Следующую ступень показывает высказывание с аппозитивным уточнением:

(18) дррус. *поедутъ* (мн. ч.) *дружина* (ед. ч.) Саввина чадь Новг. берестяная грамота 69 (XIII) ≅ «Савва и его чадь (т. е. челядь) поедут».

Если в этом древнерусском примере оба существительных (*дружина* и *чадь*) представляют собой собирательные имена и стоят в ед. ч., то в аналогичном старопольском примере приложение *prostacy* «простаки» стоит уже во мн. ч.:

(19) стпольск. *Moskwa* (ед. ч.) *prostacy* (мн. ч.) *spuścili się* (мн. ч.) *na to, że mosty zrzucili* — Pasek 116 (1660 г.), букв. «Москва (ед. ч.) простакки (мн. ч.) понадеялись (мн. ч.) на то, что разрушили мосты»;

3.6.2. Таким образом, есть основания полагать, что в основе «согласования по смыслу» лежит застывший нарративный шаблон²². В кодифицированных текстах письменной эпохи данный шаблон, как правило, быстрее устраняется в минимальной схеме <*поедутъ дружина*>, но сохраняется при поддержке контекста в расширенной схеме <*подумал князь... и свернули паруса*>, ср.:

(20) срвнем. *des ligt* (ед. ч.) *hie manic helet* (ед. ч.) *guot und sint nu hie erstorben* (мн. ч.) Klage 639 — цитируется по: [Behaghel 1927, 14]; букв. «здесь лежит (ед. ч.) многий (ед. ч.) хороший воин (ед. ч.) и сейчас уже померли (мн. ч.);

(21) рус. Не могу, сударь, видеть этого лакейства (ед. ч.), особенно когда они (мн. ч.) в управители попадут (мн. ч.) (Писемский);

С.С.Скорвид (устное сообщение) показал, что модель <*это лакейство* → *они*> остается господствующей формой межфразового повтора в современной субнормативной русской речи (особенно там, где первая и вторая именные группы стоят в разных падежах) и нередко проникает даже в авторские тексты русских писателей XX вв.

3.7. Складывается впечатление, что порождение односоставных глагольных предложений типа #V_{imp} и предложений с согласованием субъекта с глаголом во мн. ч. имеет общую глубинную предпосылку — возможность эллипсиса анафорического местоименного субъекта при не полностью номинализованной именной группе. При этом эллипсис единичного субъекта со значением неопределенности порождает безличные высказывания типа дррус. слышать, глаголетъ во въ мирскихъ притчахъ, а эллипсис множественного субъекта порождает особую модель согласования. Как справедливо указал Ю.К.Кузьменко, именно эллипсы такого типа устраняются в современных литературных языках Европы [Кузьменко 1991, 149], соответственно, устраняются и названные синтаксические структуры.

3.8. Другим относящимся сюда феноменом является согласование с ближайшим словом. Ср. пример из русского памятника XVI в.

(22) рус. всему тому [AgrPбыла мѣра] и счет (Домострой, XVI в.).

Нередко подобная стратегия развертывания текста оказывается трамплином к элиминации подлежащего. Рассмотрим два однотипных фрагмента из одной и той же исландской саги:

(23a) дрисл. [AgrPvar vindri á norðan ok heldr kaldr_i] NP V

[AgrPбыл ветер с севера и довольно холодный]

(23b) дрисл. [AgrPvar strýkr_i sá_i á norðan] ok heldr kalt_j NP XI

[AgrPбыл ветер тот с севера], и довольно холодно

Нарушение согласования особенно характерно для связочного предложения, поскольку при колебаниях в субъектно-предикатном членении связка обычно отходит к предикатной синтагме, ср. русскую грамоту.:

(24) рус. И та грамота вѣрующая и список речей их [писано въ Литовскихъ книгах] 1518 г. (цит. по: [Борковский, Кузнецов 1963, 395]).

4. В большинстве славянских и некоторых древних и новых германских языках реализация предикатной синтагмы возможна при отсутствии согласования между предикатом и семантическим субъектом, ср. рус. *меня тошнит, мне противно*, рус. диал. *калитку закрыто, калитка закрыто, калитка закрыт, калитка закрывши(сь), у меня калитку закрыто/закрывши, у волков тут хожено* и т. п.

Нарушение согласования и/или отсутствие номинативного субъекта связано с особой семантикой лишь в той мере, в какой оно становится признаком производной модели предложения. Распространение подобных моделей всегда связано с историей отдельных диалектов и не может быть приписано славянскому и германскому праязыкам.

Типология слов категории состояния

4.1. В двух языках — древнерусском и древнеисландском — развивается разряд слов, специализированных в функции сказуемого — Категория Состояния (КС). Данный термин, введенный Л. В. Щербой, иногда используют метафорически для обозначения неизменяемого качественного слова в составе сказуемого [Ильиш 1951; Маслов 1983, 46]. В точном смысле слова под КС уместно понимать лексическую группировку именных предикатов, построенных по продуктивным словообразовательным моделям. В данной работе нас интересует прежде типология возникновения слов КС; вопрос об их принадлежности той или иной части речи затрагиваться не будет — о данной дискуссионной проблеме см. нашу работу [Циммерлинг 1998а].

4.2. Как известно, в современном русском языке Л. В. Щербой и его последователями под КС подводятся в первую очередь предик-

кативные формы на -о со значением психического состояния субъекта: *стыдно, больно, грустно, весело* [Виноградов 1947, 406–420]. В древнерусском и старославянском выделяется компактный разряд именных форм (35–40 слов), полностью или частично специализированных в функции сказуемого [Исаченко 1955; Ходова 1980, 238]. Лучше описаны старославянские предикативы: морфологическое описание их содержится в статье В.Л.Георгиевой, а семантическое — в книге К.И.Ходовой [Георгиева 1969, 81–88; Ходова 1980, 240–254]. Старославянские и древнерусские предикативы — это прежде всего модальные слова с финалями -о и -ѣ, способные управлять инфинитивом. Общим синтаксическим признаком для современных русских и древнейших славянских форм КС является преимущественное оформление семантического субъекта дательным падежом, а общим семантическим признаком — наличие модального компонента: правда, в старославянском и древнерусском преобладают значения долженствования и необходимости/возможности, а современном русском — значение благоприятности/неблагоприятности.

Разряд неизменяемых предикативных слов, выражающих указанные значения, прослеживается и в других частях славянского ареала для разных эпох; судя по имеющимся описаниям, размер группировки здесь меньше. Классификации предикативов в современном болгарском языке посвящена статья Ю.С.Маслова [Маслов 1981], факты из истории западнославянских языков, а также из истории украинского языка приводятся в монографии М.Затовканюка [Zatovkaňuk 1965]. В германском ареале морфо-синтаксические параллели к древнеисландским предикативам обнаруживаются лишь в континентальных древнескандинавских диалектах, поэтому становление предикативов теоретически возможно рассматривать и как общескандинавскую инновацию. Вместе с тем быстрые темпы эволюции грамматического строя континентальных скандинавских языков не позволяют в полной мере проверить это предположение.

Слова КС описывают единичное положение дел и, помимо этого, содержат указание, как данное положение дел возникло. Ср. *ему было видно и он мог увидеть / подобает видеть / ему случилось увидеть*. Это сближает КС с инфинитивными сочетаниями, однако аналитические конструкции с инфинитивом коммуникативно ориентированы на описание процесса, в то время как цельнооформленные КС представляют локализованное во времени свойство ситуации как признак неагентивного субъекта: не сам субъект был каузатором состояния, но он фиксирует его и дает ему оценку.

Точная параллель славянскому материалу обнаруживается в древнеисландском языке, где автором статьи был впервые выделен разряд предикативов, включающий несколько сот форм. Географическое положение древнеисландского языка исключает

контактное развитие со славянским, а данные внутренней реконструкции позволяют датировать становление КС в древнеисландском XII–XIII вв. Древнеисландские предикативы строятся по нескольким морфологическим типам:

1) слова с финалью *-t* (формант ср.р. сильного прилагательного): *þrvænt* «нет надежды», *ávinnt* «есть опасность»;

2) формы с гласной финалью *-a/-i* (показатель слабого прилагательного или *n*-основного существительного): *hugsi* «молчащий» *þrbjarga* «беспомощен»; данный тип является общескандинавским [Noreen 1904, 350–352]²³;

3) супин (неизменяемая форма причастия прошедшего времени): *audit* «суждено» *ólifat* «не прожито», «не живши», *aptrkvæmt* «можно вернуться в страну, букв. «*приездно».

Во всех случаях согласовательные корреляты отсутствуют, что указывает на первичность появления предикативной формы. В последней группе («псевдосупин») нет и спрягаемых глаголов, соответствующих данным причастным основам.

Семантический субъект обычно оформляется дательным падежом; в функции связки в дативно-безличном и в двусоставном предложении употребляется значительное число глаголов. Слова с гласной финалью чаще сочетаются с подлежащим в именительном падеже и отчасти сходны с русскими краткими прилагательными типа *рад, рада, рады*; *горазд, горазда, горазды*, но в отличие от последних они лишены согласовательных форм рода и числа.

4.3. И в славянском, и в германском в функции предикатива в дативно-безличном предложении засвидетельствованы застывшие формы именительного падежа модальных существительных [Георгиева 1969, 87; Смирницкая 1970, 74]. Ср. дррус. *ноужа*²⁴, *подоба*, *потреба*, *врѣмя* «пора» и дрсл. *þorǫf* «нужда», *ván* «ожидание», «надежда», *grunr* «подозрение», *mál* «время», «пора», *forvitni* «ощущение», *uggi* «страх». При этом предикатные существительные обычно образуются от тех же основ, которые дают адъективные КС: оба ряда форм замещают одну и ту же синтаксическую позицию, ср. в современном русском языке *мне жаль/жалко, мне грех/мне грешно, мне надо/мне надобно* или дррус. *есть ноужа/есть ноуждно*, дрсл. *mér er grunr* «у меня есть подозрение» и *mér er eigi grunlaust* «мне подозрительно» [Смирницкая 1969, 37].

4.4. Становление КС подтверждает размежевание глагольной и связочной предикации. Данная инновация относится к эпохе, когда синтаксическая функция слова не полностью выводится из его морфологии: в обоих языках обособление наречных аффиксов протекает параллельно выделению словообразовательных маркеров КС. Финали КС всегда омонимичны показателям согласования, что позволяет считать слова КС деривационными формами именного словообразования²⁵. В период становления КС высказывания с причастиями прошедшего времени не противопоставле-

ны другим типам именного сказуемого, несогласуемые причастия и КС, образованные от неглагольных основ, получают в обоих языках общие маркеры, в дррус. -о, в дрисл. -t²⁶.

В древнескандинавском формы КС не употребляются как наречия. В старославянском и древнерусском часть слов КС имеет наречные корреляты²⁷. К.И.Ходова указывает на семантические сдвиги, отделяющие предикативы от наречий [Ходова 1980, 243–244], но в большинстве случаев дистанция не настолько велика, чтобы констатировать омонимию. Более важным нам представляется тот факт, что в древнейших славянских памятниках предикативы могут строиться по разным моделям и сами словообразовательные аффиксы оказываются амбивалентными. Так, в старославянском большинство предикативов имеет финаль -о, а наречия строятся при помощи суффикса -ѣ, однако отмечены как предикативы на -ѣ, так и наоборот, наречия на -о [Георгиева 1969, 82, 85–86]²⁸.

В эпоху, когда не было явной сегментации текста на элементарные предложения, вряд ли могла быть жесткая грань между глагольно-наречными и связочными синтагмами. В древнерусском ориентиром для различения качественных слов на -о и на -ѣ служит не противопоставление ПРЕДИКАТИВ : НАРЕЧИЕ, а скорее противопоставление форм, содержащих *характеристику субъекта*, формам, содержащим *характеристику действия*. На это, как будто, указывает распределение форм на -о/-ѣ, образованных от одной и той же основы, ср.:

(25a) дррус. тѣгда пачѣ *прилѣжно възискавъ от нихъ* александрскыя крѣстиша Усп. сб. 5 в 24 (т. е.: Х был прилежен, когда взыскивал);

(25b) дррус. и въсемю *прилѣжнѣ* законноу оумоу [изучи] Усп. сб. 147 г. 14–15 (т. е.: Х хорошо сделал, что изучил)²⁹.

Ср. также пример с некоррелятивной формой на -о:

(26) дррус. Онъ же лѣтъкъ сы оумѣмъ *неискусноу* примѣмъ словеса ихъ обѣщае тако сътвориши Усп. сб. 87 а 16. (Герой — император Константин, по словам рассказчика, был *легко умом* (вообще) — и был *неискусен* (т. е. неискушен), в тот момент, когда слушал ходатайство ариан.

В том случае, когда высказывание сообщает не о действии, а о состоянии субъекта, различие -о форм и -ѣ форм нивелируется, поэтому мы имеем КС с обеими финалями.

4.5. В древнескандинавском предикативы могут вводиться большим числом глаголов, в том числе транзитивных [Falk, Torp 1900, 214]. Поэтому на древнеисландском материале особенно хорошо видно, что статус наречия vs КС и глагола vs связки окончательно устанавливается лишь в рамках конкретной предикатной синтагмы, т. е. на поверхностно-синтаксическом уровне. Ср. два примера с однотипными по лексической семантике формами с суффиксом -liga.

Хозяин говорит работнику, что тот неспособен внятно рассказать о поездке:

(27a) дрисл. *Herfiliga segir þú frá tíðindum Þsh. 8, 12*
 «Мерзко рассказываешь ты о случившемся»;

в) Врач входит в дом и обращается к пациенту со следующим текстом:

(27b) дрисл. *Sjá vil ek sár þitt, því at mér er órífliga sagt af því Vápn. 19, 58*
 «Я хочу осмотреть твою рану, ибо мне опасно рассказано о ней»
 (т. е.: рассказано, что твоя рана опасна).

В славянском конструкция с КС и транзитивным глаголом менее распространена, но в древнейших памятниках она не является редкостью, ср. в старославянских памятниках:

(28) стсл. *выгыѣдѣ обряштаахъ чюдесно а истрѣдѣ страшно* Супр. 511, 21, «Х ощутил, что произошло чудо», аналогично — *дръжимо чюдьно* Супр. 511, 23.

Аналогичные примеры можно найти в тексте «Успенского сборника», опирающегося на диалекты Юго-Западной Руси:

(29) дррус. *шѣдѣ же тоу авне посыланы и оувѣдѣ извѣстно о нем* Усп. сб. 301 г. 21;

(30) дррус. *извѣсто разоумѣли есте* яко хва раба есмь Усп. сб. 70 б. 21;

(31) дррус. и да лица зряще и тѣлесе *разоумѣете извѣсто* Усп. сб. 232 б. 26–27;

(32) дррус. *кельма ничто же недоужно творю* Усп. сб. 253 а. 1–2;

(33) дррус. *того ради лише имеютъ* Усп. сб. 283 а 12³⁰;

Те же конструкции свойственны памятникам, представляющим древненовгородский диалект:

(34) дррус. и слышавъ епископъ похвалилѣ баше, тако *то горазно створиша* — Вопр. Кир., 5 «Х похвалил У-а за то, что тот сделал уместно т. е. правильно»;

(35) дррус. *творяху бо бояре собе легко, а меньшим зло* НПЛ 1 под 1259 г.; на соседней странице тот же предикатив *легко* употребляется в дативно-безличной конструкции — и *бысть легко* по волости Новѣгорода — НПЛ 1 под 1225 г.

Поскольку предикативы не имеют в старославянском и древнерусском особых финалей, внешне отличающих их от качественных наречий, — засвидетельствованы как предикативы на *-ѣ*, *-е*, так и наречия на *-о* [Георгиева 1969, 82, 86], ко всем подобным высказываниям применима идея А. М. Пешковского о том, что элементы составного сказуемого одновременно идентифицируют друг друга, «делаются — один связкой, а другой — присвязочным словом» [Пешковский 1938, 215].

4.6. Материал изученных нами древних славянских и германских языков с КС подтверждает плодотворность понимания связки как функции, присущей глаголу как части речи в целом. Данная теория связки, которую можно назвать синтагматической, сложилась во многом благодаря работам А. А. Потебни и А. М. Пешковского [Потебня 1958, 118; Пешковский 1938, 214]. Противоположная концепция — связка есть особая служебная лексема, постулируемая для служебного глагола «быть», — в конеч-

ном счете восходит к старому делению глаголов на конкретные и абстрактные. Л. В. Щерба, В. В. Виноградов и А. В. Исаченко обоснованно связали формирование КС с размежеванием глагольной и связочной предикации, однако предвзятая трактовка связи как особой части речи [Виноградов 1947, 420, 675; Исаченко 1955, 65] не позволила им оценить факты русского языка в правильной исторической перспективе и найти соответствия в родственных индоевропейских языках.

Распространено мнение, что КС тяготеет к безличному предложению. Однако реально дистрибуция КС определяется тем, при каких условиях язык допускает связочные структуры без согласования. В германских языках появление КС в двусоставном предложении сопряжено с появлением транзитивных связей — *ему было хорошо: он имел/делал/получил хорошо* [Смирницкая 1970, 70]; в славянских языках, напротив, с опущением связи (нулевой связкой), ср. русские пословицы типа *человек сладко, а грех — падко* [Шахматов 1941, 137; Чернышов 1938, 258]³¹. Употребление слов на -о, -ѣ, специализированных в функции сказуемого, в этих условиях разумно использовать именно как критерий, обозначающий сферу сочетаний, имеющих в данную эпоху статус связочных. Обозначившаяся в славистике тенденция приписывать почти все случаи употребления несогласуемых предикативов в двусоставном предложении иноязычному влиянию и видеть в них кальки греческих или латинских фразеологизмов (обсуждение аргументов за и против исконности конструкции типа *сравьно ѣсть грѣхъ* в славянских языках см., например, в [Ходова 1980, 270–279]) во многом продиктована незнанием прецедента независимого возникновения конструкции $N_{\text{nom}} - V_{\text{fin}} - \text{Pred}$ в другой языковой семье. Впрочем, самих славистов в этом винить трудно, поскольку соответствующие факты не получили должного освещения и у германистов. Между тем, история скандинавских языков побуждает предполагать, что статус фразеосхем, синтаксических клише, является не исходным, а скорее конечным пунктом развития данной конструкции.

4.7. На основании внутренней реконструкции становление КС можно отнести к эпохе, непосредственно предшествующей распространению письменности, когда утверждаются продуктивные модели связочных предикатов. Слова КС можно считать синтаксическими дериватами, соотносенными с глагольными высказываниями вида $N_{\text{nom}} - V_{\text{fin}}$ (X любит У-а > X-у люблю) или V_{imp} (подобае : подобно). Статус трансформы подтверждается морфологической сложностью КС: в славянском преобладают аффиксальные образования, в скандинавском — композиты. В старославянском и древнерусском большинство КС имеют валентность на инфинитив³², а в древнеисландском — на придаточное, однако при неоднозначной сегментации текста на предложения

наличие придаточного или его отсутствие не является жестким структурным требованием.

4.8. Указанные свойства слов КС позволяли говорящему/рассказчику использовать их в качестве средства компрессии текста. Так, дрисл. *var innangengt í fjós Gísl. 53, IF IX, 250*, букв. «было *внутривходно* в хлев» реально означает «Х-у можно было войти в хлев, не выходя из дома». Иногда деривационное значение КС проясняется в самом тексте:

(36) дрисл. *Porgeirr segir: «Ekki var mér þetta alhugat, at ek vilda, at vit reyndim með okkr harðfengi»*. Þormóðr mælti: *«Í hug kom þér, meðan þú mæltir ok munu vit skilja félagit»* *Fóst. 7, 151*.

«Торгейр говорит: «Не было мне это *полноумно* (= я говорил не всерьез), будто хочу биться с тобой насмерть». Тормод сказал: «Тебе *пришло* на ум, пока ты говорил».

В русских грамотах XVI в. мы обнаружили точную парфразу КС *вольно* «Х может поступить, как захочет»³³:

(37а) рус. А волно мнѣ Некрасу *та земля продати и променити, и по душе дати* № 159/1518; ср. в точно таком же контексте:

(37б) рус. Иван кому *хочет, тому и село продаст*, а мнѣ Якову Захаричу и моимъ дѣтемъ Петру и Васил(ь)ю *до того села дела нет* № 60/до 15.03.1510.

Аналогично устанавливаются значение и текстуальные эквиваленты распространенного предикатива (*не*) *надобѣ* (№№ 118/1515, 120/1515, 187, 188, 189/1520; 224/1524, юридическая парфраз которого обнаруживается в грамоте 205/1522; ср. также пример из новгородского диалекта — берестяную грамоту 366 (XIV в.):

(38) дррус. новг. *а боль нѣ надобѣ гюргю нѣ харѣтону до якова нѣ якову до гюргя нѣ до харитона* — «а больше нет дела ни Гюргию и Харитону до Якова, ни Якову до Гюргия и Харитона» — [Зализняк 1995, 513].

Для предикатива *любо* «Х согласен принять условия У-а» в московских грамотах XVI вв. также обнаруживаются точные парфразы:

(39а) рус. и судьи спросили старца Гарасима: *Любо ли вамъ та межа*, куды тѣ хрестияне гавиньские вели со своими старожильцы? № 93/до 1511–12 (≅ «согласны ли вы признать ту межу...»);

(39б) рус. и мне Микифору, да Ивану, да Михаилу Олексея слушат(ь), и *межа та любит(ь)*, куды Олѣксеи поведет № 278/1526–27.

Таким образом, становление КС характеризует такое состояние языка, когда уже существуют достаточно сложные тексты. Употребление слов КС в клишированных частях текста подтверждает их высокую частотность и сравнительную простоту синтаксических схем, обеспечивающих их реализацию в предложении.

5. Наиболее полно противопоставление немаркированного типа предложения $N_{\text{ном}}-V_{\text{фин}}$ производным от него типам развертывается в тех языках, где либо сохраняются возможности строить высказывания с неноминативными субъектами, либо воз-

никают модели неагентивных предикатов, допускающие разные типы субъектов. Первая линия сопряжена с эволюцией посессивных сочетаний [Vasilev 1973], вторая — с эволюцией причастных форм [Маслов 1983].

Мы надеемся посвятить данной проблеме специальную работу, поэтому позволим себе здесь изложить свою концепцию конспективно.

5.1. В славянских и германских языках конструкция с глаголом существования и косвенным падежом посессора исторически предшествует конструкции с глаголом «иметь» (герм. **haban*, слав. **iměti*) [Бенвенист 1974, 213]. В славянском посессор маркируется предложным родительным падежом, в германском — беспредложным дательным [Смирницкая 1969, 37]. На определенной стадии конструкция с «быть» и дат./род. п. оказывается в дополнительной дистрибуции с конструкцией с глаголом «иметь», что влечет изменение ее исходной семантики. Для славянского ареала типичным является сдвиг от посессивного значения к локативному, для германского — от посессивного к аффективному: *у меня есть/я имею брат, надежда* > *у меня есть надежда, я имею брата* [Смирницкая 1970]. В некоторых диалектах (древненовгородский, древнесаксонский, древнеисландский, часть норвежских говоров) круг возможных предикатов резко расширяется, глагол существования при этом может осмысляться как связка³⁴. В итоге посессивный по происхождению элемент превращается в универсальный расширитель односоставных и двусоставных схем различной семантики. В этой группе диалектов элемент У МЕНЯ (resp., герм. МНЕ) выражает недифференцированное агентивно-посессивное отношение³⁵, ср. рус. диал. *у котa мясo съедено* = *кот съел мясo*; *у него швы наложены* = *ему наложили швы* [Трубинский 1983, 223].

5.2. С другой стороны, расширение лексической базы причастий прошедшего времени (ср. рус. диал. *хозяйка уехана*) при ограничении непредикативного употребления (**уеханая хозяйка*) превращает причастия на -но, -то и севернорусские деепричастия на -ши в синтагматические эквиваленты глагола с мало-дифференцированным результативным значением. При этом семантика высказываний с вербоидом перестает непосредственно отражать направленность действия в коррелирующих с ними глагольных высказываниях. Ср. а) *он уехавши/уехан*; в) *стол поставивши/поставлено* [Обнорский 1953, 157; Кузьмина, Немченко 1971]. В германском данный процесс сдерживается ранней парадигматизацией перфекта с глаголом «иметь», но в ряде языков — немецком, древне- и новоисландском, современных норвежских диалектах — развивается и сохраняется результативная конструкция от непереходных предельных глаголов, которая частично противопоставлена перфекту [Смирницкая 1977, 40, 65; Берков 1983, 198; Lie 1989, 191]³⁶.

Тенденции к превращению причастий в вербоиды и к расширению функциональной сферы посессивных сочетаний вполне осуществляются лишь в некоторых диалектах, находящихся на периферии германского и славянского ареала: исландский язык, норвежские диалекты, македонский язык, диалекты русского Севера.

5.3. Синтагматический аспект

5.3.1. Типология развития перфекта с «быть» и косвенным падежом посессора состоит в превращении расширителя МНЕ / У МЕНЯ из факультативного в структурно обязательный компонент причастных сочетаний с грамматической направленностью [Маслов 1983, 52; Timberlake 1975, 565]. Имеются основания объяснять этот синтаксический сдвиг не только внутрисистемными факторами — переосмыслением внутренней формы посессивных сочетаний (данный аспект проанализирован Ю. С. Масловым — [Маслов 1949]), — но и изменением сегментации текста.

Непосредственным источником субъектного компонента славяно-германского перфекта с «быть» послужили причастные конструкции с агентивным дополнением. Наиболее ранние примеры обнаруживаются у самых истоков письменной традиции:

(40) дрисл. *eini dægri var mér aldr um skapaðr* Sc. 13, 4–5, букв. «до единого дня была мне жизнь отмерена»;

(41) новг. Жизнобоуде погублене *оу Сычевиць* (берестяная грамота 607/562 XI₂) [Зализняк 1995, 167].

Однако в младописьменную эпоху грань, отделяющая эти конструкции от пассивных, неустойчива: позиция элемента МНЕ/У МЕНЯ еще не зависит от какого-либо одного члена предложения, но является детерминантом всей фразы. Поэтому соответствующие высказывания амбивалентны:

(40') *моя жизнь отмерена* — пассив; (не сам субъект отмерял).

(40'') *у меня жизнь отмерена* = я имею жизнь отмеренной — перфект (кто отмерил, неясно) [Смирницкая 1970, 74].

(41') Жизнобуд погублен *в доме Сычевичей* — пассив с локативным уточнением.

(41'') *Сычевичи* погубили Жизнобуда — акциональный перфект [Зализняк 1995, 228].

Нельзя вполне исключить, что смыслы 1а) и 1б), 2а) и 2б) совместимы и взаимно дополняют друг друга:

(40''') ?мне отмерили жизнь, и я имею ее отмеренной;

(41''') ?Сычевичи убили Жизнобуда в доме Сычевичей.

Неоднозначное субъектно-предикатное членение можно объяснить тем, что причастный трансформ соответствует большим отрезкам текста, которые могут оставаться в сверхфразовом единстве эксплицитно невыраженными. Окончательное размежевание ролей субъекта и локативного/бенефактивного дополнения происходит с окончанием младописьменной эпохи, когда

модель у *Х-а чайник потушен/белья наполощено, У дородного доброго молодца много было на службе послужено* утверждается в коротких текстах, где причастный вербоид может быть единственным предикатом. В севернорусских говорах данный процесс, по-видимому, хронологически совпадает с разрушением новгородского государства и упадком литературной традиции в XV в.

5.3.2. Эволюция предикатного компонента аналитического перфекта с «*быть*» связана с изменением роли причастий в организации текста. В младописьменную эпоху причастие служило инструментом компрессии текста, при этом замена финитной формы глагола причастным сказуемым была одним из средств объединения соседних высказываний с общей актантной позицией в рамках единого сообщения [Потебня 1958, 186; Истрина 1923, 80, 89; Борковский, Кузнецов 1963, 350; Trávníček 1956, 183]. Особенно продуктивной данная стратегия построения сверхфразового единства была в славянских языках, поскольку синтаксическая реализация причастия была обусловлена здесь меньшими ограничениями. В младописьменных памятниках употребление причастного сказуемого широко комбинируется с эллипсисом, поскольку субъект причастия может не совпадать с субъектом глагольного сказуемого или вообще оставаться невыраженным в предыдущей синтагме [Trávníček 1956, 189; Зализняк 1995, 164].

С разрушением полипредикатных комплексов причастие из второстепенного становится главным сказуемым, в итоге чего причастные суффиксы *-но*, *-то* и *-ши* оказываются маркерами нового продуктивного типа высказываний. Изменение видо-временного и акционального значения причастных основ и вытеснение прошедшего времени на *-л* вербоидами на *-ши* в северо-западных русских говорах [Обнорский 1953, 156] тоже следует связывать с разрушением сверхфразовых единств. Характерно, что полипредикатные высказывания, где одновременно представлены *л*-форма (или форма презенса) и форма вербоида <диал. новг. *А вот та/школа/згорела... шифером была покрыта; ничего его не на поезде избили, а воровавши картошку*>, засвидетельствованы лишь в абсолютном меньшинстве русских говоров, где модель причастного сказуемого продуктивна [Обнорский 1953, 157; Борковский, Кузнецов 1963, 357; Трубинский 1983, 219, 221, 225]³⁷.

5.4. Выводы

Субъектно-предикатные отношения в славянских и германских языках характеризуются сочетанием архаических и инновационных тенденций, причем инновации, вызывающие к жизни новые модели предложения или новые разряды слов, подчас базируются на типологически архаичных предпосылках. В древнейших славянских и германских памятниках нет жестких структурных требова-

ний, обуславливающих единообразное заполнение субъектной позиции в каждом высказывании. Отсюда многообразие конструкций предложения и колебания в оформлении одних и тех же предикатных значений, ср. *дождит/дождь дождит/льет/, оно/он дождит* и т.д. Это объясняется тем, что в дописьменный период нет жанров текста, для которых четкая сегментация на элементарные предложения является законом. Поэтому портрет раннеславянского и раннегерманского синтаксиса можно получить, как отталкиваясь от синтагматических ограничений на порождение моделей фразы (линия Мейе–Гавранка), так и идя от структуры сверхфразового единства к статусу его составляющих (линия Хойслера).

Были рассмотрены три группы грамматических явлений. Первая группа (безличные глагольные высказывания типа $\#V_{imp}$, модель «согласования по смыслу») устраняется с изменением сегментации текста. Было показано, что древние модели фразы и сверхфразового единства могут либо лексикализироваться, либо превращаться во фразеосхемы, синтаксические клише.

Вторая группа рассмотренных явлений (функционирование именных предикативов), напротив, сопряжена с инновационными процессами, активно протекающими уже в письменную эпоху. Становление нового разряда слов предстает как способ компрессии текста и косвенно отражает возросший уровень коммуникации в обществе и потребности выражения более сложных синтаксических смыслов. В то же время данная инновация базируется на типологически весьма архаичных предпосылках и указывает на такое состояние языка, при котором синтаксическое поведение слова не полностью выводится из его морфологии.

Наконец, третья группа явлений связана с эволюцией грамматических категорий в письменный период истории языка. Имеющиеся факты дают основание полагать, что прототипы аналитических перфектных конструкций восходят еще к дописьменному состоянию, однако статус продуктивной модели перфект с «быть» обретает лишь с окончанием младописьменной эпохи, когда меняются функции его субъектного и предикатного компонентов. Данное развитие характерно для периферийных диалектов и субнормативных вариантов языка.

Большинство рассмотренных в статье фактов отмечалось и ранее, однако они почти не изучались в русле теории текста и проблематики сегментации речи. Между тем, анализ механизмов синтаксического членения позволяет установить связующее звено между набором грамматических форм и конструкций, с одной стороны, и условиями существования языка, с другой. Было показано, что отдельные механизмы межфразовой связи получают в письменную эпоху новые функции и дают начало ряду синтаксических и морфологических моделей, либо преломляются в виде фразеосхем и жанровых клише.

Примечания

- 1 Стоит подчеркнуть, что гипотеза Мейе относится не к протоиндоевропейскому, а к стадии, непосредственно предшествующей выделению индоевропейских диалектов.
- 2 Концепция Хойслера изложена в ряде его работ конца XIX — начала XX в. В «Грамматике древнеисландского языка» (1913) условиям реализации предложений в составе более крупных отрезков текста целиком посвящены главы XXXVII–XXXVIII [Heusler 1913, 187–211]. Здесь Хойслер основное внимание уделяет доказательству эквивалентности разных порядков слов друг другу и одинаковой степени их контекстной зависимости [ibid., § 477, 481, 482, 485]; к сходным выводам о порядке слов в языке древнеисландской прозы до Хойслера пришел Б. Дельбрюк [Delbrück 1911]. То же утверждается и о соотношении полных и эллиптических вариантов высказываний [Heusler 1913, § 489, с. 202]. В этой связи Хойслер указывает на текстообразующую роль инверсии (точнее, позиционных перестановок, так как понятие «инверсии» подлечит в его системе терминов критическому осмыслению — [ук. соч., §§ 490–496, с. 202–206].

Период саги («крупный отрезок текста») трактуется им прежде всего как ритмико-синтаксическое единство: на с. 199 говорится, что линейное расположение элементов синтагмы в типичном случае предполагает несколько равноправных вариантов, не нарушающих логического содержания, и что решающее значение при этом получают «осознанные или неосознанные ритмические тенденции». Тот же принцип распространяется далее и на сам состав синтагмы, ср. сказанное в § 489 об эллипсисе [ук. соч., 202]. Для правильного понимания термина «ритмический» у Хойслера следует иметь в виду, что он исходит из того, что прозе присуща имманентная ритмическая организация. Этот взгляд представлен уже в работе 1889 г. [цит. по: Heusler 1969 II, 695–696], ср. также работу 1915 г. [ук. соч., 296], где комментируется сентенция, представленная как в корпусе «Эдды» (Háv. 59, 4–6), так и в сагах (Vorn. 17–53) — [ук. соч., 307].

В работе «Происхождение исландской саги», впервые опубликованной в 1913 г., Хойслер указывает, что период соотнесен с законченным сообщением, составляющим этап повествования [ук. соч., 404–406]; на конкретном примере показывается, что правильная сегментация текста на периоды есть условие его правильного понимания. Согласно Хойслеру, членение саги на эпизоды необходимо задается структурой целого [ук. соч., 450–451] и в конечном счете определяется самой техникой устного рассказа [ук. соч., 447, 454, 458].

Наконец, в работах разных лет Хойслер указывает на отдельные черты синтаксиса саг, прямо связанные с организацией периода: использование эпических частиц [Heusler 1913: § 480, с. 195–196], употребление исторического презенса [ук. соч.: §§ 497–502, с. 207–211], дублирование глаголов говорения [Heusler 1969 II: 671–672, 686], синтагматическую зависимость отдельных типов безличного предложения и переходные случаи между эллипсисом и безличностью [Heusler 1913, §§ 489, 490.2, с. 202, 204].

Хойслер считал необходимым выделять сверхфразовые единства не только в сагах, но и древнейших германских стихотворных памятниках. Так, анализируя в работе 1902 г. язык древнеанглийских поэм, он признает ключевым вопросом «соотношение метрического и синтаксического периода» [Heusler 1969 II, 651]. В той же работе несколько строф «Прорицания Вэль-

вы» трактуются как единый период с присущими ему характерными синтаксическими особенностями [ibid., 653–654]. В работе 1917 г. Хойслер обращает внимание на такие признаки сверхфразовых единств в строфичной аллитерационной поэзии, как анафора, эпифора, инверсия, видя в них критерий для реконструкции исконной структуры текста [ibid., 198].

- 3 Понимание сверхфразового единства (периода речи) как синтаксического целого, имеющего свои формальные показатели, имеет давнюю традицию, ср. обзор в [Кузьменко 1991, 141; Diderichsen 1976, 303; Магницкая 1989, 21–22]. Среди отечественных языковедов, стоявших у истоков данной концепции, следует отметить Л. В. Щербу, А. М. Пешковского и Н. С. Поспелова [Пешковский 1938, 407–411; Поспелов 1948].
- 4 Устные тексты дописьменной эпохи и Нового времени имеют разный статус: устная речь Нового времени связана с фольклорными жанрами, для современного общества маргинальными — байками, анекдотами и т. п., а жанры средневековых устных текстов обусловлены передачей социально важной информации — эпические сказания, устное право. Осознание того, что синтаксис эпического текста определяется техникой рассказа, было во многом заслугой «формульной теории» М. Перри — А. В. Лорда, разработанной на материале славянского фольклора [Lord 1960]. Однако сторонники теории формул связывали повторы ритмико-синтаксических шаблонов только с практикой устного исполнения, а не с законами передачи информации в бесписьменной культуре [ср.: Лотман 1973], поэтому им не удалось удовлетворительно объяснить организацию литературного эпического текста. Как показала О. А. Смирницкая, формульность текста может быть не только пережитком устного состояния [Magoun 1953], но и продуктом вторичного сближения литературного жанра с устной традицией [Смирницкая 1994, 221–223, 232–234]. Поэтому сохранение архаических черт грамматического строя, как и сохранение эпической традиции в письменную эпоху, само по себе нуждается в специальном объяснении. Кроме того, языки в начале своей истории часто представлены несопоставимыми в жанровом отношении памятниками.
- 5 Употребляя термин «младописьменный», мы отдаем себе отчет, что отечественный читатель улавливает в нем скорее социально-политический, нежели собственно лингвистический смысл, — «язык народностей, получивших письменность в недавнее время, благодаря культурно-просветительской миссии других народов». Мы не вкладываем в термин оценочного содержания и предпочитаем говорить не о «младописьменной культуре», а о «младописьменном периоде истории языка» как типологически закономерной стадии, в течение которой синтаксис письменного текста в существенной степени определяется коммуникативными принципами, сложившимися в устный период. Попыткой реконструкции этих принципов и является наша статья.
- 6 Работа А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике» не имела заметного отклика при жизни ученого, но оказала глубокое влияние на русских языковедов XX в., как на славистов [ср.: Виноградов 1947, 3, 33, 50; Борковский 1963, 324, 346, 350], так и на германистов [Кацнельсон 1949, 120, 281, 323]. В монографии С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования» глоттогоническая теория предикативного атрибута была успешно применена к древнегерманским языкам. К сожалению, эта книга С. Д. Кацнельсона осталась неизвестной широкому кругу ученых ввиду неблагоприятной политической конъюнктуры, а впоследствии он к данной проблематике не возвращался.

- 7 Понятие «потенциального предложения» приложимо ко всем составляющим сверхфразового единства, но прежде всего — к контекстно связанным его частям. Ср. дрисл. *hón var góð húsfreyja ok fengsqt* HS. 15, 14, букв. «она была хорошая хозяйка и доброжелательная».

Судя по положению, да и по сочетаемым свойствам слова *fengsqt* оно относится скорее к *hón* «она», чем к *húsfreyja* «хозяйка» = «хорошая хозяйка и доброжелательная [женщина]», т.е. первое прилагательное атрибутивно, а второе — предикативно. Однако прилагательное ж. р. может попадать в позицию предиката только в структуре с согласованием, поэтому контекст все равно побуждает к поиску имен. падежа в ближайшем окружении. Тем не менее, сообщение построено так, что слово *fengsqt* исключается из ближайшего синтаксического окружения первого предиката *vera húsfreyja* «быть хозяйкой», валентные связи которого исчерпываются первой синтагмой.

- 8 Ср. организацию сообщения в одной из архаичных исландских саг:

(42) дрисл. *Ketill kippir honum Gísla inn af garðinum ok kastar honum á bak sér: <2> ekki sjá þeir, at honum yrði mikít at honum; <1> hann hleypr heim til bæjarins* (Hvg. 296).

«Кетиль втаскивает [тело] Гисли на двор и забрасывает его себе на спину: <2> они не видели по нему, что ноша ему тяжела; <1> он бежит домой к хутору».

Описание ситуации не оставляет сомнений в том, что события <1> и <2> происходят к обратной последовательности: вначале герой бежит к хутору <1>, и лишь затем, исходя из успешности его действий, наблюдатель делает вывод, что ноша не помешала бегущему <2>.

В письменную эпоху примеры неиконичного расположения предикатов, нарушающего естественную последовательность событий, обычно удерживаются в клишированных частях текста. Так, в жанре хроник и баллад по данному принципу часто строятся парные формулы, вводящие прямую речь, ср.

(43) дршвед. *Then ionker swarade ok um sik saa Erikskr.* (под 1260 г.) букв. «юнкер отвечал и обернулся».

- 9 Жестких ограничений на размер периода нет даже в аллитерационных германских эпических памятниках. Так, в западногерманском астрофичном стихе конец синтаксического единства обычно совпадает с цезурой (точнее, с концом первой краткой строки), однако период может занимать не 3 кратких строки, а 5, 7 и более. В скандинавском строфичном стихе конец периода часто совпадает с концом полустрофы (т.е. с концом второй долгой строки), но бывают случаи, когда период охватывает несколько соседних строф [Heusler 1969 II, 653]. Колебания характерны и для прозаических памятников. По нашим подсчетам, в «Саге о Битве на Пустоши», которую многие исследователи признают наиболее ранней и архаичной из родовых саг, средняя длина периода составляет 20–27 слов / 30–40 слогов, однако попадаются и короткие периоды в 7–8 слов / 10–14 слогов. Детальные исследования помогут выявить индивидуальные черты отдельных памятников.

- 10 Позднейшему редактору «Слова о Полку Игореве» данная конструкция была уже непонятна, и он исправил ее, дополнив до *глас ... слышнть ся*.

- 11 Н. Ю. Шведова отмечает, что однословные безличные высказывания с *V_{imp} 3 sg* в русском языке могут давать только глаголы, входящие в узкий круг «собственно безличных»: *светает, вьюжит, морозит, тошнит, не спится, зевается* [Грамматика 1970: 563]. Данная формулировка представляется

слишком жесткой: список данных глаголов, приводящийся «Грамматикой 1970» в другом месте, [Грамматика 1970: 424], показывает, что данная группа не вполне однородна семантически, наряду с глаголами, специализированными в функции обозначения погодных явлений (*брезжит, вечерет, холодает, метет, моросит, светает, дует*), в нее входят предикаты, обозначающие неконтролируемые процессы, как приуроченные к одушевленному субъекту (*мутит, тошнит, знобит*), так и автономные от него (*горит* — о лесе, постройках и т.д.).

- 12 Ср. еще в грамотах времени Василия III: *А назади пишет* (№ 227 /1521г.), *а назади на записи пишет* (№ 227/1525–26 гг.), также №№ 128/1515–16, 283, 284, 287/1526–27 гг.). Интерпретация данных формул как неполных личных высказываний текстуально исключена. В грамотах того же времени обычны и формулы *в грамоте писано/написано*.
- 13 В церковнославянских памятниках словоформа *глаголетъ* (*глаголетъ*) обычно вводит цитату из Библии и имеет личный характер [= *Бог/писание глеть*]. Точное соответствие исландскому безличному обороту *segir* можно усмотреть лишь там, где есть отсылка к некоторой традиции (притчи, старые книги и т.п.): *Глаголетъ бо в мирских притчах*: не скот в скотѣх коза (Слово Даниила Заточника). Ср. еще: *яко же пишетъ в отъчскихъ книгахъ* — Усп. сб. 26 г. (Житие Феодосия Печерского).
- 14 В готской библии данное место передано безличным предложением: *gignida swibla* (DAT) «дождило серой». В древнеанглийских церковных текстах актант *verba meteorologica* обычно оформляется косвенным падежом, ср. *Hē rinde ðfer synfullan swefldrosm* Ps. Th. 10, 7 «Он дождал(о) на грешников серный туман». Элемент *hē* можно понимать не только как реальное подлежащее «Бог» [Колесникова 1974, 10], но и как вариант эксплетивной частицы *hit* «оно», поскольку *hē/hit* встречаются и в контекстах, где речь идет просто о выпадении осадков [ук. соч., 15].
- 15 В древних славянских памятниках безличное оформление лексем типа *пишетъ* часто сопровождается опущением дополнений глагола, ср. дррус. *глаголетъ к немю* [(N_{nom}) — V_{fin} — N_{dat prep}] vs дррус. *глаголетъ в притчах* [# — V_{imp} — Loc]; таким образом, личные и безличные реализации одного глагола обычно характеризуются разным набором актантных позиций (помимо субъекта). Для языка древнеисландской прозы это условие не является обязательным.
- 16 Следует указать, что суммарная характеристика западнославянского синтаксиса, которую дает в цитированной работе Й. Леков, неточна, так как обычно в пределах одного языка сохраняется несколько параллельно существующих схем оформления одних и тех же предикатных значений. Так, в верхне- и нижнелужицких языках, имеющих формальное подлежащее *Wón/wone/wono/to* «Этот/это, то», последнее нигде не является обязательным компонентом схемы предложения. Как показало исследование Й. Шустер-Шевца [Schuster-Ševc 1974], все диалекты, использующие для реализации метеорологического предиката «двусоставную» схему с формальным подлежащим, допускают при тех же предикатах и односоставную схему, ср. предложения с глаголом *so dešćuje* «идет дождь»:

(44a) верхлуж. *Wón so nje dešćuje, dokelž je zuma*. «Дождя нет, так как холодно», букв. «Этот (форм. п.) себе не дождит, так как холодно»;

(44b) верхлуж. *so nje dešćuje, dokelž je zuma*. «то же».

- 17 Формальное определение параметров «нулевого субъекта» и «эксплетивного субъекта» содержится в работе С. Фрэнкса, где предложена классификация

современных славянских языков с точки зрения отражения данных параметров [Franks 1995, 287–295].

- 18 В древнеисландских поэтических памятниках семантическое многообразие типов безличного предложения несколько меньше [Smirnickaja 1972, 64], что можно объяснить тем, что песни «Эдды» не создают столь благоприятных возможностей для эллипсиса, как исландские саги.
- 19 Специфическим отражением потенциальной предикативности всех синтагм сверхфразового единства является нарушение падежного управления в составе перечня. Ср. отмеченные А. А. Зализняком примеры из берестяных грамот друс. новг.:

(45) друс. новг. Онтане посладе Овдокиму два кляца (вин. п.) *да щука* (имен. п.) «Онтане послал Овдокиму двух лещей *да щуку*» Новг. 169 (XV₁);

(46) друс. новг. положили гришника (имен. п.) с Костю а во тоболах: а гришника (род. п.) *кожюхе, свита, сороцица, шапка...* (имен. п.), а Костина *свита, сороцица...* (имен. п.) Новг. 141 (XIII₂) [Зализняк 1995, 138]. Очевидно, что в последнем примере группа <*кожюхе, свита... шапка*> является не только дополнением глагола *положили*, но и подлежащим следующей, посессивной, синтагмы: «шапка принадлежит Гришке». Отражением двойственности данной именной группы, возможно, являются также грамматические колебания в обозначении посессора: род. п. *гришника* при притяжательной форме *Костина*.

Аналогичные явления замены косвенного падежа прямым в составе перечня засвидетельствованы и памятниками древних германских языков. Так, в тексте «Младшей Эдды» — произведении, во многих отношениях стоящем ближе к письменной европейской традиции, нежели к устному эпосу, встречается длинный перечень пейоративных обозначений лиц, начальные элементы которого стоят в вин. п., а остальные — в и. п.

(47) дрисл. *þessi heiti standa hér í móti, at kalla mann* [^{Acc} *blauðan, veykan, þjarfan, þirfing, blótamann, skauð, skreiur*], [^{Nom} *skjadr, vák, vóm, leyra, sleyma, teyða, dugga, dasi, dirokkr, dusilmenni, qlmusa, auvirða, vilmqgr*]. [SnE 177].

«Им противостоят такие обозначения, когда человека называют трусливым, слабаком, дубовым, дубиной, язычником, мямлей, разиней, обормот, дылда, сосун, мразь, ничтожество, дрянь, грошовка, трус, рохля, балбес, подаяние, убожество, скотина».

- 20 «Согласование по смыслу» присуще многим древним языкам, включая греческий. Существенно, что в переводных памятниках, ориентирующихся на греческий канонический текст, — старославянских Евангелиях и в готской Библии, — глагол при собирательном существительном нередко ставится во мн. ч. вопреки оригиналу [Ходова 1980, 122; Streitberg 1920, 191]: таким образом, речь здесь должна идти не о кальке, а об общих тенденциях узуса.

Последовательная постановка сказуемого во мн. ч. при подлежащем, выраженном существительным, обозначающим совокупность людей, в ряде других древних германских и славянских языков, имеющих длительную литературную традицию, показывает, что мы имеем дело с древней моделью, восходящей к дописьменной эпохе. Тем не менее, в младописьменный период явно нет жестких запретов, препятствующих применению альтернативной модели. Поэтому представляется правильным реконструировать для праязыка многообразие синтаксических возможностей:

I. Существительное со значением группы лиц + сказуемое во мн. ч.:

(48) дррус. (новг.) *бѣють* (мн. ч.) челомъ *корила погоская* (ед. ч.), *кюлолаская* и *кюриюская* господину Новугороду Новг. 248 (XIV в.);

(49) гот. run *gawaurhtedun* (мн. ч.) *sis alla so hairda* (ед. ч.) — Math. VIII, 32, букв. «в бег *пустили(сь)*» (мн. ч.) себе *все это стадо* (ед. ч.)»;

(50) нвнем. *dasz gantze Israel* (ед. ч.) *steinigten* (мн. ч.) *ihn* Luth. Jos 7, 25 «весь *Израиль* (ед. ч.) *побивали* (мн. ч.) его *камями*».

II. Существительное со значением группы лиц + сказуемое в единственном числе:

(51) дррус. (новг.) *литва* (ед. ч.) *встала* (ед. ч.) на корѣлю Новг. 509 [Зализняк 1995, 165];

(52) стпольск. *i sukcesu mieć zadnego nie mogła* (ед. ч.) *Litwa* (ед. ч.) Pasek 116, букв. «и никакой победы *не могла* (ед. ч.) *иметь Литва* (ед. ч.)». Ср. вариант той же конструкции, но с существительным во мн. ч.;

(53) дрисл. *þar fell* (ед. ч.) *af liði konungs III hundruð* (мн. ч.) *manna* Hkr. 138, 26 «там *погиб* (ед. ч.) из войска конунга *три сотни* (мн. ч.) *людей*».

III. Собирательное существительное + сказуемое в единственном числе:

(54) дррус. *моужи мон і братня моя і ваша поента* 1. Новг. летопись [Истрина 1923, 69].

IV. Собирательное существительное + сказуемое во мн. числе:

(55) рус. диал. набегут (мн. ч.) *борзые* (мн. ч.) *кобелья, варанье* (ед. ч.) *палатели* (мн. ч.) [Борковский, Кузнецов 1963; 329].

Примеров схемы IV на германском материале пока обнаружить не удалось.

V. Реже встречаются случаи, где подлежащее стоит во множественном или двойственном числе, а предикат (или его часть) — в единственном числе.

(56) дррус. *та два* (дв. ч.) *была* (дв. ч.) *послѣмъ* (ед. ч.) *оу ризѣ* Смол. договорная грамота 1229 г. [Борковский, Кузнецов 1963, 204];

(57) дрисл. *Dreif* (ед. ч.) *at þeim fóstbræðrum vinir* (мн. ч.) *þeira* ór Firdaþfylki Landnam. 41 букв. «*примкнул* (ед. ч.) к названным братьям *друзья*» (мн. ч.) *их* из фюлька Фьерды».

Появление подобных примеров обычно связывают с эволюцией самой категории числа: в славянском ареале — с утратой двойственного числа (иначе — [Малевинский 1989, 13–14]), в германском — с закреплением порядка слов и с омонимией словоформ ед. и мн. ч. у ряда глаголов (*verba contracta*, претериты с дентальным суффиксом), а также с аналогическим выравниванием основ сильных глаголов типа дрисл. *dreif* «примкнул»: *drifu* «примкнули» > *drif*: *drifu*.

²¹ Контактное положение местоимения мн./дв.ч. дает в скандинавских языках партитивную конструкцию, проанализированную С. Д. Кацнельсоном [Кацнельсон 1949, 74–140]. Ср. 1) — в 3 л. мн. ч.: дрисл. *þeir Egill* «Эгиль и его люди», букв. «они Эгиль»; 2) — в 1–2 л. мн. и дв. ч. *vér/vit Egill*, *þér/þit Egill* «мы / мы двое с Эгилем», «вы / вы двое с Эгилем», букв. «вы Эгиль». Первоначальное значение конструкции — инклюзивное: «Эгиль и всего 15», букв. «Эгиль они пятнадцать» = «группа в 15 человек, включая Э.», в письменную эпоху она приобретает эксклюзивное значение > «Эгиль и еще 15 человек» [Кацнельсон 1949, 80].

- 22 Неясно, указывает ли согласование имени с глаголом во мн. ч. на наличие в языке конструкции с «топиком и антитопиком» типа русск. просторечных *они столпились у расписания студенты / они студенты столпились* — ср. [Лаптева 1976, 141–142; Кузьменко 1991, 144]. Два соображения — а) отсутствие жесткой сегментации на предложения в дописменную эпоху, б) отсутствие в древних славянских и германских языках фиксированного порядка слов — побуждают отвергнуть это предположение и считать прообразом согласования типа *народ... они едут* не особую модель фразы, но стереотип текста.
- 23 Морфологическую параллель к данному разряду скандинавских форм КС образуют среднеанглийские предикаты с префиксом *a-*: *aware, awake*. Спорадические случаи предикативного употребления слабых прилагательных известны и из истории немецкого языка, ср. срвнем. *aleine, leide, sanfte* [Behaghel 1924, 137].
- 24 Ср. пример из жития Феодосия по Успенскому сборнику XII–XIII вв., *поужа бысть славяномуу отцю нашему Феодосию распространити монастырь* — Усп. сб. 46 в 11.
- 25 Закономерно, что под главные маркеры КС подстраиваются предикативы разного происхождения: ср. рус. *надо* < *надобѣ* и *стыдн-о*, древнерусские застывшие падежные формы типа *надобѣ, всоуж* и КС типа *лют-ѣ, оут-ѣ*, где *-ѣ/-ѣ* — деривационный суффикс. В древнескандинавском по типу КС на *-a/i*, т. е. слабых прилагательных, строятся предикативные формы род. п. множ. ч. имен родства типа *næstabræðra* «двоюродный брат», букв. «от двоюродных братьев» [Noreen 1904, 350 сл.].
- 26 Переходную зону между причастным пассивом и конструкцией с КС составляет употребление адъективированных причастий как стсл. *вѣдомо, извѣстно* [Георгиева 1969, 77], дррус. *вѣдомо, съвѣдомо* [Борковский 1963, 393] и древнеисландских супинов типа *auðit* «суждено». При этом старославянские и древнерусские формы типа *вѣдомо, извѣстно* имеют атрибутивные корреляты, т. е. с синхронной точки зрения являются причастными прилагательными, в то время как формы типа дрисл. *auðit* представляют собой специализированные предикативные формы, возникшие в результате утраты соответствующих глагольных основ.

В древнейших славянских памятниках безличное оформление причастий прошедшего времени обусловлено грамматическими и лексико-семантическими ограничениями [Георгиева 1969, 77; Ходова 1980, 229–233]. По нашим наблюдениям, в церковнославянских текстах безличное оформление причастий на *-но/-то* характерно почти исключительно для глаголов, обозначающих речевые действия, при этом в контексте употребления содержится указание, что действие произведено специально с целью повлиять на некоторого модального субъекта: *раздрѣшено на нѣсѣхъ, запрѣщено, заповѣданю, писано, речено, дано, повѣлено, възвѣщено, изъявлено, оутотовано*.

Для древних германских языков характерно более широкое употребление несогласуемых причастий на **-n/-t*; в памятниках X–XII вв. встречаются причастия и супин от непереходных глаголов [Маслов 1949, 86; Смирницкая 1977, 44–49]: дрвнем. *ic habo kiuueinot* «плакавши» (Ноткер), дршвед. *ut uarit lenki* «бывши долго» (руническая надпись ок. 1050 г.). Таким образом, в германском становлении КС протекает на фоне широкого употребления причастных форм, в то время как в славянском закреплению причастий на *-но/-то* в составе несогласуемого именного сказуемого, наоборот, происходит в условиях определенного распространения КС.

- ²⁷ По нашим подсчетам, в тексте Успенского Сборника из 41 КС на -о, -ѣ и -ѧ корреляты в виде наречий и союзов имеют только 9 форм.
- ²⁸ Дифференциация приглагольных форм на -ѣ и присвязочных форм на -о в истории чешского языка, на которую ссылается В. Л. Георгиева [Георгиева 1969, 85] отражает хронологически и типологически более позднее состояние. Фр. Травничек приводит многочисленные примеры синонимии форм на -ѣ и на -о текстах XIV–XVI вв. и оспаривает тезис о четком географическом принципе при отборе финалей качественных наречий в чешских и моравских диалектах [Trávníček 1956, 129–133].
- ²⁹ Так, в тексте Успенского сборника, записанном тремя почерками, писцы использовали 25 пар производных качественных наречий на -о, -ѣ: благо — блазѣ (частота употребления в памятнике 1:1), боголѣпно — боголѣпнѣ (1:1), вѣрно — вѣрнѣ (2:1), горько — горьчѣ (6:7), добро — добрѣ (7:47), довольно — довольнѣ (4:1), дүховно — дүховнѣ (1:1), жалостно — жалостнѣ (3:2), зѣло — зѣлѣ (1:17), крѣпко — крѣпчѣ (3:3), мало — малѣ (54:1), мѣного — мѣнозѣ (60:3), непрѣстанно — непрѣстаннѣ (3:1), овнло — овнлѣ (1:1), право — правѣ (5:1), прилѣжно — прилѣжнѣ (10:3), пространо — пространѣ (1:1), просто — простѣ (6:3), свѣтло — свѣтлѣ (2:1), славно — славнѣ (2:1), сладѣко — сладѣчѣ (3:1), смысло — смыслнѣ (1:1), твѣрьдо — твѣрьдѣ (3:1), тѣчно — тѣчнѣ (4:1), чисто — чистѣ (1:1).
- ³⁰ По-видимому, к конструкции с предикативом восходят такие формулы приветствия, как друс. *сѣтвори добрѣ*, «пожалуйста», «будь любезен» — новгородская берестяная грамота 613 (XI₁в.), *сѣтворя добрѣ* (берестяная грамота Ст. Рус. 17–XII₁в.), дрисл. *pá gerir þú vel*, букв. «тогда ты делаешь хорошо», а также современное исландское *gerðu svo vel* «пожалуйста», букв. «сделай так хорошо» и дат./норв. *har det godt* «будь здоров», букв. «имей хорошо». В русистике утвердилось мнение, что оборот *добрѣ сѣтворя* является калькой греческого *καλῶς ποιεῖν*, εὖ ποιεῖν. Это мнение (со ссылкой на Н. А. Мещерского) повторяет и А. А. Зализняк [Зализняк 1995, 227]. Однако параллели со скандинавскими языками, для которых подобное объяснение выглядит практически невероятным, а также указанная самим А. А. Зализняком новгородская берестяная грамота 283 (XIV₂в.) с заменой книжного *сѣтвори* народным *учини* [ук. соч., 517]: *...учини ми добро а азъ тобѣ много клянся брату своему...* говорят в пользу гипотезы о независимом развитии конструкции с предикативом и транзитивным глаголом в разных языковых семьях. В таком случае и старославянские обороты типа *доволь имѣти* «удовлетворяться чем-либо» (Клоц. 11а 15), *требѣ имѣти* *хрѣѡа* *ѣхѡи* (Сав. 1406 5; Супр. 345, 12) можно оценивать не только как кальки, но и как предикатные сочетания, близкие по статусу к другим славянским конструкциям с именным предикативным словом.
- Важно отметить, что формулы типа *сѣтвори добрѣ* возможны лишь в комплексе предикатов (минимум два) и, тем самым, предполагают пространство текста, соответствующее сверхфразовому единству [Зализняк 1993, 130, 329]. Стандартной для языка берестяных грамот является схема обращения к адресанту: [сделай А] — створи/я добрѣ — [(сделай) В]: *...вѣдай паровѣкоу семоу конь полувоуивѣ же шизын и сѣтворя добрѣ помоги емоу. поправи ти любо и до коростомля* — новг. берестяная грамота 735 (сер. XII в.) [Зализняк 1995, 270]. Для скандинавских формул приветствия более характерно положение в начале и конце сверхфразового единства.
- ³¹ В. И. Чернышов считает употребление КС в схеме N_{ном} — Pred для русского языка эллинизмом [Чернышов 1938, 261], но такая трактовка применима лишь к

изолированным предложениям, составляющим законченный текст. В связном тексте предпосылкой распространения данной схемы высказывания служит факультативность согласования при дистантном расположении элементов, ср. друс. и да *оувѣдѣно бѹдетъ многая твоѧ бѹдѣтъ на мѣѣ бесловесном* — Усп. сб. 90 б. 6.

В более позднюю эпоху, в XVI–XVII вв., схемы с согласуемым/несогласуемым словом КС или причастием, скорее всего, выступали как коммуникативные варианты, судя по вопросно-ответным репликам в договорных грамотах:

(58) рус. [любо ли вам] та межа / нам [та межа любѧ] — московская грамота № 90/до 1511–1512;

(59) рус. каждому своя отчина [есть мило] / каждому своя [отчина есть мила] — договор Руси с Литвой — цит. по: [Потебня 1958, 116].

- 32 Отсутствие инфинитива было нормой для друс. предикатива *надобѣ* (не *надобѣ*). Один из ранних примеров — новгородская берестяная грамота № 624 (начало XII в.):

(60) друс. новг. *аци цето ти товара надобѣ, а то восолоу* [Зализняк 1993, 334]. Более поздние примеры указывает В. И. Борковский [Борковский, Кузнецов 1963, 401, 349]. Форма *надо* употребляется с имен. п. еще в конце XVIII в. Г. Р. Державиным:

(61) *Премудрость я оставил / Не надо мне она.*

- 33 Для употребления слова КС в составе синтаксического клише наличие или отсутствие синонимичной конструкции с глаголом или с согласуемой формой, по-видимому, не имеет решающего значения, ср. варианты формулы «решать тебе», «решай сам»: *вольнѣ богу и тобѣ / воленъ богъ да и ты* — пск. грамота 1674 г., новг. берестяная грамота 311 (XV₁) / *а в томо божьѧ волѧ и твоѧ* пск. грамота № 6 (XIII в.). Точная синтаксическая параллель обнаруживается в древнеисландском языке: ср. *honum er sjálfráðit* «он вправе решить сам», букв. «*ему саморешено» и *þú réðr þessu / þú skalt ráða* «ты решаешь это» / «ты должен решать», при этом предикатив *sjálfráðit* и глагол *ráða* являются однокоренными словами.

- 34 Становление новых дативных конструкций в славянских и германских языках обсуждается в работах О. А. Смирницкой и Ю. С. Степанова [Смирницкая 1969; Степанов 1984]; оба автора подчеркивают, что в смешении различных субъектных употреблений индоевропейского дательного падежа важную роль сыграли синтагматические факторы. Однако О. А. Смирницкая основное внимание уделяет анализу деривационных отношений между разными типами дативных конструкций, в то время как Ю. С. Степанов изучает возможность возникновения новых синтаксических моделей на базе межфразовых связей между соседними высказываниями, имеющими общую актантную позицию (конструкция *апѣ хоуѣ*).

- 35 Материал показывает, что для ранних примеров славянского перфекта с У МЕНЯ и согласуемым причастием характерно значение «субъектного» результата. Для сходных германских примеров с МНЕ более характерно значение «адресатного» или «медиального» результата, ср.:

(62) нвнем: *Euch* (DAT) *ist heute der Heliand geboren, welcher ist Christus Luth II, Luk 2, 11* букв. «Вам сегодня родился Спаситель, который есть Христос» (обращение к Марии и Иосифу). Ранним примерам славянского перфекта с У МЕНЯ и безличным причастием обычно свойственно значение субъектного результата, ср.:

(63) дррус. *да аще оуслышано се бѹдетъ оу князя* Усп. сб. 246 б 21–22. «>=да услышит князь». Аналогичный пример имеется в старославянском:

(64) стсл. *аште се оуслышано бѹдет оу ѿмона* Матф. XXVIII, 14. Зогр. Мар. Ас. Сав.

Соответствующие германские примеры с МНЕ и супином обычно имеют значение адресатного результата, ср.

(65) дрисл. *henni (DAT) var matbúið* Gr. IV «для нее приготовили пищу», букв. «ей приготовлено пищи» (из контекста следует, что X готовил пищу не сам).

В некоторых контекстах, тем не менее, отчетливо проступает значение субъектного результата, как в следующем древнешведском примере, где в функции общегерманского дательного посессивного выступает объектный падеж *mik* «мне/меня»:

(66) дршвед. *Haffwin i ider thetta vilkorath, tha er thet mik ærfft ok uraboret* Erikskr (под 1260 г.) букв. «если вы дали такой обет, так мне это унаследовано и воспринято» (≡ «я это унаследовал и воспринял»).

³⁶ Результативная конструкция от глаголов движения, изменения и непроизвольных реакций (*verba mutativa*) противопоставляется в германских языках перфекту при помощи разных синтаксических, морфологических и лексических маркеров:

1) чередование вспомогательных глаголов «быть» и «иметь»:

(67a) исл. *Hann er kominn* «Он пришел (и находится здесь)» — результатив с *vera* «быть»;

(67b) исл. *hann hefur komið* «он пришел/приходил» — перфект с *hafa* «иметь»;

2) употребление наречий или поствербов:

(68a) нем. *Die Äpfel sind ganz verfault* «Яблоки совсем сгнивши» — результатив с *sein* «быть»;

(68b) нем. *Die Äpfel sind almählich verfault* «Яблоки постепенно сгнили» — перфект с *sein* «быть»;

3) цельно- / раздельнооформленность причастия/супина (только в скандинавских языках):

(69a) швед. *Han er fortfarande bortrest* «Он все еще в отъезде», букв. «он все еще отъехавши» — результатив с цельнооформленным причастием-предикативом;

(69b) швед. *Han har rest bort* «он уехал» — перфект с раздельнооформленным супином.

4) отсутствие / наличие рефлексивного форманта:

(70a) нем. *Sie haben sich verzankt*. «Они рассорились (между собой)» — перфект с *haben* «иметь» и рефлексивным показателем;

(70b) нем. *Sie sind verzankt*. «Они рассорившись» = «они в ссоре» — результатив с *sein* «быть», рефлексивный показатель отсутствует.

³⁷ В скандинавских диалектах конструкция $V_{fin} + PPart / Sup$, напротив, относительно устойчива. Широко представлена она и в синтаксисе русских былин, который в данном отношении стоит на более ранней стадии, чем современные говоры Русского Севера.

Список сокращений

Ас. — Ассеманиево Евангелие	Sc. — Fór Scírnis
Вопр. Кир. — Вопросание Кириково	SnE — Snorra Edda
Зогр. — Зографское Евангелие	Štit. — Tomas Štitny
Клоц. — сборник Клоца	Sv. — Sverris saga
Мар. — Мариинское Евангелие	Psh. — Þorsteins saga hvíta
НПЛ I — Первая Новгородская летопись по Синодальному списку	Vápn. — Vápnfirðinga saga
Сав. — Саввина книга	болг. — болгарский
Слово — Слово о полку Игореве	гот. — готский
Супр. — Супрасльская рукопись	диал. — диалектная форма
Усп. сб. — Успенский сборник XII–XIII вв.	дрисл. — древнеисландский
Alx. — Alexandreis	дрангл. — древнеанглийский
Beow. — Beowulf	друс. — древнерусский
Bøgl. — Bøglunga sögur	дрсакс. — древнесаксонский
Erikskr. — Erikskrönikan	дрчеш. — древнечешский
Fóst. — Fóstbræðra saga	дршвед. — древнешведский
Fr. — Friðjóns saga ins frœkna	исл. — исландский
Hvg. — Heiðarvígá saga	нем. — немецкий
Kab. — M. Kabatnik	новг. — новгородский
Klag. — Dye Klage	нвнем. — нововерхненемецкий
Land. — Landnámubók	польск. — польский
Luth. — Martin Luther	пск. — псковский
Mand. — Mandevillúv čestopis	русс. — русский
Gr. — Grœnlendinga saga	словацк. — словацкий
Háv. — Hávamöl	смол. — смоленский
Hel. — Heliand	срвнем. — средневерхненемецкий
Hkr. — Heimskringla Snorra Sturlusonar	стпольск. — старопольский
HS. — Hrafnas saga Sveinbjarnarsonar	стсл. — старославянский
Pasek — Pasek. Pamiętniki	укр. — украинский
	чеш. — чешский

Литература

- Адмони 1966 — В. Г. Адмони. Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка. Л., 1966.
- Адмони 1988 — В. Г. Адмони. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988.
- Бенвенист 1974 — Э. Бенвенист. Общая лингвистика / Пер. с французского. М., 1974.
- Берков 1983 — В. П. Берков. Результи́в, пассив и перфект в норвежском языке // Типология результи́вных конструкций. Л., 1983, 197–204.
- Борковский, Кузнецов 1963 — В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.
- Вайян 1952 — А. Вайян. Руководство по старославянскому языку / Пер. с французского, М., 1952.
- Виноградов 1947 — В. В. Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.

- Гард 1985 — П. Гард. О так называемых «симпатетических» падежах в современном русском языке // *Russian Linguistics*, 9 (1985), 181–196.
- Гвоздецкая 1993 — Н. Ю. Гвоздецкая. О смысловой организации древнеанглийского поэтического текста // *Слово в контексте литературной эволюции*. М., 1993, 34–43.
- Георгиева 1969 — В. Л. Георгиева. Безличные предложения по материалам древнейших славянских памятников (особенно старославянских) // *Slavia*, 1969, 38, 63–90.
- Гурочкина 1991 — А. Г. Гурочкина. Структурно-композиционные характеристики текста в древнеанглийском языке // *Очерки по историческому синтаксису германских языков*, Л., 1991, 127–139.
- Грамматика 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
- Гухман 1967 — М. М. Гухман. Конструкция с винительным/дательным лица и проблема эргативного прошлого индоевропейских языков // *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов*. Л., 1967, 58–74.
- Зализняк 1993 — А. А. Зализняк. К изучению языка берестяных грамот // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте; из раскопок 1984–1989 гг., М., 1993.
- Янин, Зализняк 1986 — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1984 гг.), М., 1986.
- Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Золотова 1982 — Г. А. Золотова. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
- Ильиш 1951 — Б. А. Ильиш. О категории состояния в английском языке // *Памяти академика Л. В. Щербы*. Л., 1951, 175–181.
- Исаченко 1955 — А. В. Исаченко. О возникновении и развитии «категории состояния» в славянских языках // *Вопросы языкознания*, 1955, № 6, 48–65.
- Истрина 1923 — Е. С. Истрина. Синтаксические явления Синодального списка 1-й Новгородской летописи. Пг., 1923.
- Кацнельсон 1949 — С. Д. Кацнельсон. Историко-грамматические исследования. I. М.; Л., 1949.
- Колесникова 1974 — Л. А. Колесникова. Семантико-синтаксический анализ предложений с *verba* и *nomina meteorologica* древнеанглийского языка. АҚД. Л., 1974.
- Кузьменко 1985 — Ю. К. Кузьменко. Основная единица в тексте древнеисландских саг // *Западноевропейская средневековая словесность*. М., 1985, 62–63.
- Кузьменко 1991 — Ю. К. Кузьменко. Некоторые синтактико-стилистические особенности периода в древнеисландской прозе // *Очерки по историческому синтаксису германских языков*. Л., 1991, 140–151.
- Кузьмина, Немченко 1971 — И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко. Синтаксис причастных форм в русских говорах. М., 1971.
- Лаптева 1976 — О. А. Лаптева. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
- Леков 1967 — И. Леков. Колебания между подложна и безподложна сказуемость при так наз. безличии изречения в славянските езици // *Slavia slovaca*, 1967, гоџ. 2, џ. 4, 321–326.

- Лотман 1973 — Ю. М. Лотман. Каноническое искусство как информационный парадокс // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973, 16–22.
- Магницкая 1989 — Т. Б. Магницкая. Сверхфразовое единство в древнеанглийском эпическом тексте // Слово в контексте литературной эволюции. М., 1989, 21–33.
- Малевинский 1989 — С. О. Малевинский. Древнерусские литературные нормы согласования сказуемого с подлежащим. АКД. Саратов, 1989.
- Маслов 1949 — Ю. С. Маслов. К вопросу о происхождении посессивного перфекта // Ученые записки Ленинградского университета, 1949, № 97, сер. филол. наук, вып. 14, 76–104.
- Маслов 1981 — Ю. С. Маслов. Категория состояния в болгарском языке // Теория языка, методы его исследования и преподавания. К 100-летию со дня рождения Льва Владимировича Щербы. Л., 1981, 172–177.
- Маслов 1983 — Ю. С. Маслов. Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций. Л., 1983, 41–54.
- Мельничук 1966 — О. С. Мельничук. Розвиток структури слов'янського речення. Київ, 1966.
- Мейе 1938 — А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Мейе 1951 — А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951.
- Недялков 1983 — В. П. Недялков. Результатив, пассив и перфект в немецком языке // Типология результативных конструкций. Л., 1983, 184–197.
- Обнорский 1953 — С. П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.
- Пауль 1960 — Г. Пауль. Принципы истории языка / Пер. с немецкого. М., 1960.
- Пешковский 1938 — А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938.
- Поспелов 1948 — Н. С. Поспелов. Сложное синтаксическое целое и основные особенности его структуры // Доклады и сообщения Института русского языка. 1948, вып. 2, 49–68.
- Потебня 1958 — А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. М., 1958, т. I–II.
- Потебня 1968 — А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. М., 1968, т. III.
- Смирницкая 1969 — О. А. Смирницкая. Архаизмы и инновации в древнеисландском синтаксисе (на материале двух глагольных конструкций) // Вестник Московского университета, 1969, № 4, 30–40.
- Смирницкая 1970 — О. А. Смирницкая. Семантическое взаимоотношение глаголов «НАФА» и «VERA» в древнеисландском // Вестник Московского университета, 1970, № 5, 69–74.
- Смирницкая 1977 — О. А. Смирницкая. Эволюция видо-временной системы в германских языках // Историко-типологическая морфология германских языков. Категория глагола. М., 1977, 5–127.
- Смирницкая 1994 — О. А. Смирницкая. Язык древнегерманской поэзии. М., 1994.

- Степанов 1984 — Ю. С. Степанов. Оборот земля пахать и его индоевропейские параллели // Известия АН СССР, Сер. литературы и языка, 1984, т. 43, № 2.
- Структура и объем предложения и словосочетания в индоевропейских языках. Л., 1981.
- Трубинский 1983 — В. И. Трубинский. Результатив, пассив и перфект в некоторых русских говорах // Типология результативных конструкций. Л., 1983, 216–226.
- Хабургаев 1986 — Г. А. Хабургаев. Старославянский язык. М., 1986.
- Ходова 1980 — К. И. Ходова. Простое предложение в старославянском языке. М., 1980.
- Чернышов 1938 — В. И. Чернышов. О нарушении согласования в русском языке // Памяти акад. Н. Я. Марра (1864–1934). М.; Л., 1938.
- Шахматов 1941 — А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Л., 1941.
- Циммерлинг 1993 — А. В. Циммерлинг. Членимость текста и эволюция жанра // Слово в контексте литературной эволюции. М., 1993, 19–33.
- Циммерлинг 1998 — А. В. Циммерлинг. Древнеисландские предикативы и гипотеза о категории состояния // Вопросы языкознания, 1998, № 1, 36–59.
- Циммерлинг 1998а — А. В. Циммерлинг. История одной полемики // Языковая система и речевая деятельность, № 1. СПб., 1998, 63–88.
- Behaghel 1922, 1924, 1927 — O. Behaghel. Deutsche Syntax. Heidelberg, 1922, Bd. I; 1924, Bd. II, 1927, Bd. III.
- Brugmann 1925 — K. Brugmann. Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen. Berlin; Leipzig, 1925.
- Brunner 1951 — K. Brunner. Geschichte der Englischen Sprache. Halle, 1951.
- Delbrück 1911 — B. Delbrück. Germanische Syntax. Bd. II. Zur Stellung des Verbums. Leipzig, 1911.
- Diderichsen 1976 — P. Diderichsen. Elementær Dansk Grammatik. København, 1976.
- Falk, Torp 1900 — H. Falk, A. Torp. Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania, 1900.
- Franks 1995 — S. Franks. Parameters of Slavic Morphosyntax. (Oxford Studies in Comparative Syntax). New York; Oxford, 1995.
- Gebauer 1929 — J. Gebauer. Historická mluvnice jazyka českého, IV. Skladba. Praha, 1929.
- Havránek 1937 — B. Havránek. Genera verbi v slovanských jazycích. II. Praha, 1937.
- Havránek 1962 — B. Havránek. K historickosrovnávacímu poznání syntaxe slovanských jazyků // Otázky slovanské syntaxe. Praha, 1962.
- Havránek 1973 — B. Havránek. Větná struktura v nejstarších fázích slovanských jazyků // Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů (Varšava, 1973). Praha, 1973.
- Heusler 1913 — A. Heusler. Altisländisches Elementarbuch. Heidelberg, 1913.
- Heusler 1969 — A. Heusler. Kleine Schriften. Bd. 1–2. Berlin, 1969.
- Lie 1989 — S. Lie. Være som hjelpeverb i perfekt // Maal ok Minne, 1989, № 3–4.
- Lord 1960 — A. B. Lord. The Singer of Tales. Cambridge, Mass., 1960.

- Magoun 1953 — *F. B. Magoun*. The oral formulaic character of Anglo-Saxon narrative poetry // *Speculum*, vol. 30. 1953, 49–63.
- Meillet 1906–1908 — *A. Meillet*. La phrase nominale en indoeuropéen // *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris*, t. XIV, fasc. 1. Paris, 1906–1908, 1–21.
- Meillet 1924 — *A. Meillet*. Le développement du verb avoir // *Antidōron...* J. Wackernagel. Basel, 1924.
- Noreen 1904 — *A. Noreen*. Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Altguthnischen. Halle, 1904.
- Nygaard 1906 — *M. Nygaard*. Norrøn Syntax. Kristiania, 1906.
- Porák 1983 — *J. Porák*. Cvičebnice staročeského tvarosloví. Praha, 1983.
- Pauliny, Ružička, Štolz 1968 — *E. Pauliny, J. Ružička, J. Štolz*. Slovenská gramatika. Bratislava, 1968.
- Sigurðsson 1991 — *H. A. Sigurðsson*. Beygingarsamræmi // *Íslenskt mál ok almenn málfræði*, 12–13 (1991), 31–77.
- Schuster-Ševc 1974 — *J. Schuster-Ševc*. Satze mit fiktivem Subjekt vom Typ os. *wono so dešćuje* / ns. *to se pada* «es regnet» und ihre Stellung in der slawischen Syntax // *Zeitschrift für Slawistik*, 1974, 3, 340–352.
- Skard 1951 — *V. Skard*. Dativstudien. Dativus sympatheticus und Dativus comparisonis in der norrönen Sprache. Oslo, Dybwad, 1951.
- Smirnitskaja 1972 — *O. Smirnitskaja*. The Impersonal sentence patterns in the Edda and in the Sagas // *Arkiv för Nordisk Filologi*, 87 (1972), 56–88.
- Streitberg 1920 — *W. Streitberg*. Gotisches Elementarbuch. Heidelberg, 1920.
- Timberlake 1975 — *A. Timberlake*. Subject properties in the North Russian Passive // *Subject and Topic*. New York, 1975, 547–570.
- Trávníček 1956 — *Fr. Trávníček*. Historická mluvnice česká. III. Skladba. Praha, 1956.
- Vasilev 1973 — *C. Vasilev*. Ist die konstruktion «u menja est'» russisch oder urslawisch? // *Die Welt der Slaven*, 1973, Bd. 18, 361–367.
- Wackernagel 1926 — *J. Wackernagel*. Vorlesungen über Syntax, I. Basel, 1926.
- Zimmerling 1992 — *A. Zimmerling*. Die unpersönlichen Satzmodelle in der altsländischen Sprache // *Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik*, Bd., 30, Lilja Popowa (hrsg). Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Paris; New York, 1992, 309–328.
- Zatovkaňuk 1965 — *M. Zatovkaňuk*. Neosobní predikativa a útvary príbuzné, zvlášté v ruštine // *Rozprawy Československé akademie věd*, 1965, seš. 6, roč. 75.
- Zubaty 1954 — *J. Zubaty*. Studie a články, II. Praha, 1954.

Славянские заимствования в немецком языке

[Klaus Müller. Slawisches im deutschen Wortschatz (bei Rückgriff auf Wörter aus den finno-ugrischen wie baltischen Sprachen). Lehn- und Fremdwörter aus einem Jahrtausend. Volk und Wissen Verlag GmbH. Berlin, 1995]

Традиция изучения славяно-германских языковых связей, восходящая к классикам сравнительно-исторического метода, охватывает ряд неоднородных, подчас взаимоисключающих концепций — от тезиса о единой балто-германо-славянской ветви и соответствующем ей праязыке (Я. Гримм, А. Шлейхер) до концепции примата германо-италийской общности (Г. Маурер и др.). XX век принес новое осмысление, преодолевающее известную односторонность в подходе к проблеме, что стало возможным отчасти благодаря данным лингвистической географии. Не вдаваясь в детали, укажем, что новые гипотезы учитывают как множественность различных влияний, так и изменение доминирующих воздействий в различные исторические эпохи (В. Георгиев, Т. Фрингс, В. М. Жирмунский, Н. С. Чемоданов и др.). Весьма существенным является при этом отказ от абсолютизации фонологических или морфологических изоглосс (ср. известный пример балто-германо-славянской изоглоссы формы дательного падежа множественного числа имен существительных, долгое время служившей едва ли не самым веским аргументом в пользу германо-балто-славянского праязыка) и — всегда более случайных — соответствий в лексической сфере.

Тем не менее именно лексические заимствования, будучи исследованы в своей совокупности и с учетом лингвокультурных связей в различные исторические эпохи, позволяют с известной долей уверенности судить о характере и уровне взаимодействия языков. Систематизация отдельных заимствований и их распределение по историческим периодам с учетом причин, условий и особенностей проникновения иноязычной лексики, а также своеобразия ее фонетической, грамматической и семантической атрибуции в заимствующем языке проливают свет на проблему интенсивности воздействия того или иного языка.

Следует сказать, что влияние славянской лексики на немецкий язык не является масштабным даже в те периоды, когда отмечается относительно большое число славянских заимствований. Автор рецензируемой книги, которая представляет собой небольшой комментированный словарь славяноязычной лексики в немецком языке, вполне отдает себе в этом отчет. В словарь

вошли немногим менее 200 лексем — для сравнения приведем данные о количестве слов-заимствований в аналогичных рецензируемых работах этой же серии: *Englisch im deutschen Wortschatz* (краткий словарь английских заимствований в немецком) — 2500 слов, охватывающих лишь сферу разговорной речи; *Französisch im deutschen Wortschatz* (краткий словарь французских заимствований в немецком) — около 2000 лексем; *Latein und Griechisch im deutschen Wortschatz* (краткий словарь латинской и греческой лексики в немецком) — более 4000 слов.

Помимо собственно славянской лексики, в словарь вошли ряд слов балтийского и финно-угорского происхождения, проникших как непосредственно из латышского, литовского, прусского, финского и венгерского языков, так и — главным образом — через посредничество славянских языков. Включение балтийской и финно-угорской по происхождению лексики в словарь славянских заимствований является оправданным по целому ряду причин. Важнейшие из них — две: относительная синхронность древнейших заимствований из этих и славянских языков и посредничество славянских, прежде всего западнославянских, языков при заимствовании балтийских и финно-угорских слов. Здесь автор следует давней традиции, справедливо объединяющей при изучении источников заимствованной лексики в немецком языке славянские заимствования с балтийскими и финно-угорскими, с одной стороны, и итальянские с кельтскими, с другой. В предисловии или вступительной части хотелось бы, впрочем, видеть более подробное теоретическое обоснование данного подхода или, по крайней мере, ссылку на указанную выше исследовательскую традицию. Вполне оправданным является также включение ряда тюркских по происхождению слов, проникших в немецкий через славянские языки.

Собственно словарной части книги предпослано довольно пространное введение, посвященное историческим предпосылкам славяно-германских языковых контактов. Эти связи прослеживаются с момента их гипотетического зарождения в V–VI вв., когда соседями западногерманских племен были веныды (общее западногерманское наименование славян). Значительное внимание уделяется контактам, возникшим в VI–VII вв. в связи с продвижением славянских племен на запад, и впоследствии контактам, обусловленным восточной экспансией немцев, торговлей (главным образом, торговыми связями эпохи Франкской империи Каролингов и, позднее, торговлей между заселенными славянами северо-восточными областями и Ганзейским союзом), а также путешествиями немецких ученых и общественных деятелей в Россию в XVI–XVIII вв. В исследование включены и новейшие заимствования из русского и других славянских языков. Выделены основные концептуальные сферы заимствований — топо-

нимика и ономастика (антропонимика), названия растений и животных, предметов торговли, блюд славянской кухни, оружия, профессий, обрядов и связанных с языческими верованиями славян предметов, в новейшее время — политических реалий и проч.

Словарные статьи к приведенным в алфавитном порядке лексемам содержат, наряду с дефиницией значения немецкого слова и указанием на область его распространения в Германии, сведения о времени заимствования, соответствие в языке-источнике и его исконное значение. При наличии соответствий в других славянских языках они также приводятся в словарной статье, ср:

Babe f., *landschaftl.* «Asch-, Napfkuchen», aus (18. Jh.) *obsorb.*, *nsorb.* *baba id.*;

Dudelsack m., älter *Dudei* «Sachpfeife», aus (17. Jh) *tschech.* *dudy id.*, umgebildet in Anlehnung an *dudeln* sowie *Sackpfeife*; vgl. russ. дуда «Hirten-, Rohrpfeife, Schalmel».

К отдельным заимствованиям приводится дополнительная информация в виде отрывков из произведений художественной литературы, пословиц и поговорок, в которых употребляется заимствование, комментарии об истории слова в языке-источнике (статьи *Dolmetscher*, *Kren* и др.) и даже рецептов приготовления соответствующего блюда (ср. статьи *Zander*, *Borschtsch* и др.). В отдельных случаях автор дает краткую историю слова, содержащую, в частности, объяснение не только его лексической, но и словообразовательной семантики (ср. статьи *Schmetterling*, *Roboter*, *Samowar*), а также культурно-исторических реалий, лежащих в основе его возникновения в языке-источнике, заимствования и переосмысления в немецком языке (напр., статья *Sklave*). Этимологические сведения исчерпываются — в соответствии с задачей словаря, представляющего собой не этимологический словарь заимствований, а (хотя и не классический) словарь иностранных (славянских) слов в немецком языке, — лишь некоторыми существенными параллелями внутри славянских языков; при этом объясняются лишь важнейшие различия — например, между западнославянскими и восточнославянскими формами, возникшие в результате падения носовых в последних. Заметим в этой связи, что, например, в словах типа рус. «мамонт» (более древняя форма — «ма́мут, ма́мút») труднообъяснимое, с точки зрения автора, «-он-» (с. 39), скорее всего, возникло в результате более позднего заимствования из западнославянских языков (ср. сходные случаи с и.-е. суффиксом **-dhlo-*, который в русском дает *-ло* («елo»), но «сохраняется» вследствие более позднего заимствования из западнославянских языков, например, в слове «седло», восходящем к тому же и.-е. корню).

В конце работы автор приводит краткое описание упоминаемых в ней языков и диалектов, содержащее данные об их при-

надлежности к языковой семье и группе внутри данной семьи, области распространения, возникновения и основах письменности, а также основных исторических периодах развития языка.

Работа содержит список сокращений, алфавитный указатель слов (раздельно собственных и нарицательных имен), включенных в словарную часть, и список использованной научной литературы и словарей.

Книга, несомненно, представляет большой интерес как для филологов-германистов, занимающихся историей немецкого языка, этимологией и проблемами заимствований и лингвокультурных контактов, так и для филологов-славистов, изучающих влияние славянских языков на немецкий и славяно-германские лингвокультурные связи. Работа имеет большую практическую ценность для студентов, аспирантов и преподавателей в качестве учебного пособия на семинарских занятиях по истории немецкого языка, лексикологии немецкого языка, при чтении спецкурсов и проведении спецсеминаров по германо-славянским языковым и культурным связям и написании курсовых, дипломных работ и диссертаций. Материал работы может найти самое широкое применение при составлении толковых, двуязычных и этимологических словарей.

**Научное направление и школа:
доклады по исторической поэтике
на XII конференции по изучению
истории, экономики, литературы и языка
скандинавских стран и Финляндии**

Отечественная филология имеет давнюю и плодотворную традицию изучения и перевода памятников древнескандинавской словесности — как поэзии, так и прозы. Их неповторимое своеобразие и особое место в ряду других памятников германского прошлого нашли отражение в творчестве таких крупных представителей русской филологической науки, как А. И. Смирницкий и М. И. Стеблин-Каменский (девяностолетие обоих ученых отмечалось в 1993 году). Школы, созданные ими в стенах Московского и Ленинградского университетов, продолжают вносить живую струю в развитие нашей науки. За последние годы стали традиционными заседания научного семинара по исторической поэтике при МГУ, которым руководит профессор О. А. Смирницкая. Специальная секция «История скандинавских языков и историческая поэтика» была впервые организована в рамках XII Конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии (Москва, Институт российской истории РАН, 16–19 ноября 1993 г.), и аудитория могла оценить проблематику докладов, находящуюся на стыке общей филологии, лингвистики текста и истории культуры.

На заседании секции было прочитано 12 докладов. Объект исследования включал все уровни лингвистического и поэтологического анализа (фонема — морфема — слово — высказывание — текст) и все древнескандинавские языки. Был представлен широкий спектр научных интересов: синхроническое описание древних состояний языка дополнялось изучением его эволюции в диахронии, а проблемы «внешней» и «внутренней» лингвистики получили новое преломление в свете исторической поэтики.

Резюмируем вкратце содержание докладов. Внутриязыковые механизмы грамматических инноваций в древнескандинавских диалектах послужили предметом анализа *А. В. Циммерлинга* (МГУ). Ему удалось выявить связь между становлением артиклей и словесных акцентов, с одной стороны, и эволюцией структуры предложения, с другой. Докладчик показал, что различие функций суффижированного артикля в современных скандинавских языках косвенно

отражает различную частотность определенных именных групп в памятниках разных древнескандинавских диалектов и, тем самым, разный уровень коммуникации в разных частях Скандинавии XIII–XV вв. *Т.Г.Логутенкова* (Тверской государственный университет) посвятила свой доклад проблеме изменения смысловой структуры словаря при смене мировоззрения — переходе от язычества к христианству: материалом послужили древнеисландские наименования нравственно-этических категорий. Четыре доклада охватывали сферу языковых контактов: о судьбе скандинавских дифтонгов в североанглийских диалектах говорила *О.А.Бубенникова* (МГУ); скандинавское влияние на формирование специальной лексики гойдельских языков раскрыл *А.Ю.Москвин* (МГУ); экстралингвистическая картина взаимодействия нижненемецкого языка Ганзы с языками Североморского бассейна освещена в докладе *Е.Р.Сквайрс* (МГУ), которая предложила сопоставительный анализ лингвистического «присутствия» Ганзы в Дании и России; средненижненемецкие заимствования в древнешведских памятниках («Хроника Эрика», романы «Герр Иван» и «Герцог Фредерик Нормандский») охарактеризовал *А.Ю.Желтухин* (Санкт-Петербург).

Доклады по исторической поэтике включали все основные жанры древнескандинавской литературы (эддическая поэзия, наследие скальдов, саги) и затрагивали поэтические функции слова, структуру текста, наконец, коммуникативные установки словесного творчества. *Е.А.Гуревич* (Институт мировой литературы РАН) в докладе, посвященном диалогу, по преданию состоявшемуся между великаншей и первым норвежским скальдом Браги, предприняла попытку раскрыть исторические обстоятельства и мотивы появления группы скальдических кеннингов. Сравнительному анализу трех жанровых разновидностей древнескандинавского поэтического искусства эддической «перебранки», «сравнения мужей» и скальдического нида — был посвящен доклад *И.Г.Матюшиной* (Институт мировой литературы РАН). Семантико-синтаксическая структура древнеисландских пословиц на фоне метрических форм германского аллитерационного стиха явилась темой исследования *О.А.Смирницкой* (МГУ). Смысловая асимметрия как момент экспозиции «Гренландской Песни об Атли» обсуждалась *И.И.Чекаловым* (Санкт-Петербургский университет). Роль семантических коннотаций локативных имен в расстановке смысловых акцентов в рассказе о происхождении мира в «Прорицании Вёльвы» попыталась раскрыть *Н.Ю.Гвоздецкая* (Ивановский государственный университет). Эддические формулы древнеисландской модели мира («зияний бездна» и «богов судьба») как отражение индоевропейской космологии (концепты «хаоса» и «космоса») рассматривались *Т.В.Топоровой* (Институт языкознания РАН), которая также выступила с сообщением о древнегерманских обозначениях противника громовержца в контексте «основного мифа».

Отрадно отметить, что при столь разнообразной проблематике во всех докладах так или иначе сквозило некое общее направление мысли, формирование которого и явилось, на наш взгляд, наиболее ценным вкладом работы секции в развитие скандинавской филологии, и шире — сравнительно-исторического языкознания. Главной отличительной чертой всех исследований — как сугубо лингвистических, так и поэтологических — было осознание первостепенной важности способа существования изучаемого объекта, к какому бы уровню анализа он ни относился — от единиц языка до целых произведений поэтического творчества. Для ареальной лингвистики (языковые контакты, диалектная вариативность) это означает обращение к экстралингвистическому контексту бытования языка. При описании языка памятника на первый план выступает внутренняя организация текста и его коммуникативная установка. Подобный взгляд бросает вызов традиционно-му взгляду на историю языковых подсистем как на некий самодовлеющий процесс. Рассмотрение языка в текстообразующем ракурсе не отрицает системности языковых явлений, но переводит это понятие в иную плоскость: предметом сравнительного языкознания при таком подходе служит не абстрактно понимаемая «система языка», а системные отношения языковых элементов памятника. Языковые единицы видятся при этом сквозь призму их текстуальных функций, поэтому историческая поэтика оказывается не периферией или надстройкой собственно лингвистических исследований, а их естественной базой.

Выдвижение текста в центр историко-лингвистических исследований не означает простого применения принципов современной «лингвистики текста» к древним памятникам, ибо текстоцентрический подход к памятнику по условию историчен: он интересуется не универсально-логическими законами построения дискурса, а закономерностями, в которых преломляется становление литературного сознания. Соотношение *парадигматика/текст* можно анализировать, взяв за основу как определенное состояние языка (и соответствующие ему типы текстов), так и особенности некоторого жанра (соответствующие данной стадии развития языка). Остановимся более подробно на докладах, в которых был избран второй путь.

Признание текста в его жанрово-стилистической специфике главной, и возможно, единственной средой существования объектов исторической лингвистики выдвигает новые требования к изучению взаимоотношения плана выражения и плана содержания в древнескандинавской словесности. Важные моменты в этом направлении были акцентированы в докладе О. А. Смирницкой на материале такого «малого» жанра словесного творчества, как пословица. Современный читатель не в состоянии ощутить силу исландской пословицы в устах героя саги, если он рассматривает

её как необязательное резюме, сводящее конкретную ситуацию к общей истине. В авторском тексте нового времени пословица может быть интерпретирована как цитата, т. е. автоматизированный элемент литературной формы, сообщающий речевому произведению «народный колорит». Содержательность и смысловая нетрафаретность исландской пословицы становятся очевидными лишь при сравнении ее коммуникативной структуры со структурой специальных поэтических размеров — дротткветта и льодахатта. Оба эти размера завершаются особым структурным элементом — концовкой, отмеченной аллитерацией и звуковыми повторами. Именно концовка коротких текстов «малого жанра» и придает им коммуникативную заостренность, вскрывая актуальную для дальнейшего хода событий «суть» ситуации и мотивируя прогноз, заявленный в начальной части. Коммуникативная направленность пословицы обуславливает лексическую избирательность ее конструктивных элементов. Например, для концовки характерны сложные слова, обладающие «свернутой предикативностью» и представляющие собой своего рода «высказывания внутри высказывания».

Метрические схемы стиха выступают чем-то вроде увеличительного стекла, сквозь которое становятся различимыми существенные признаки пословицы. Однако и сами схемы стиха видятся иначе на фоне исландских пословиц, ибо обнаруживают общие с ними корни, а именно — коммуникативную установку текста — воздействие словом на конкретную ситуацию. Данный аспект доклада *О.А.Смирницкой* вызвал оживленную дискуссию и дал повод для выступлений *Н.Ю.Гвоздецкой* и *А.В.Циммерлинга*, которые пытались связать употребление пословиц в текстах саг с законами «внепоэтического» синтаксиса. По мысли *Н.Ю.Гвоздецкой*, короткие перформативные тексты типа рассмотренных в докладе могут не допускать членения на тему/рему, но в их структуре все же выделяются «идентифицирующий» и «характеризующий» компоненты. *А.В.Циммерлинг* подчеркнул, что при свободном порядке слов начало предложения является позицией эмфазы; в фокус эмфазы попадает вся ситуация в целом, зачин пословицы создает оценочные коннотации в силу своей позиции, а не благодаря своей лексической семантике. Итак, выявляются три важнейших параметра лингво-поэтологического анализа текста, составляющие между собой неразрывное целое — коммуникативный тип текста, его поэтическая организация и семантико-синтаксическая структура. Взаимосвязь тех или иных сторон этой триады акцентировалась во всех докладах по исторической поэтике.

В докладе *И.Г.Матюшиной* на первый план выступает коммуникативная установка текста. Содержательное ядро рассматриваемых в докладе жанров — эддической перебранки, «сравнения мужей» и скальдического нида — составляет поношение, которое, однако, получает в них разную трактовку. В ниде актуализируется

его генетическое сходство с магией, поэтому обвинение в нем подчеркнуто неправдоподобно. Перебранка и неотделимый от нее обычай «сравнения мужей» связаны по происхождению с правом, словесной тяжбой, имеющей целью доказать виновность оппонента: поэтому обвинение в них обычно основано на «предварительном инциденте». Различно отношение этих жанров и к поэтической форме: «в отличие от нида, чья магическая действенность определяется его замысловатой скальдической формой, перебранка и сравнение мужей к форме индифферентны» [Тезисы, с. 257].

Напротив, доклад *Е. А. Гуревич* начинается с одного, казалось бы, частного нарушения в семантико-синтаксической структуре текста: виса первого известного по имени скальда Браги Боддасона по характеру поэтических наименований находится в разительном несоответствии с висой великанши. Это несоответствие дает далее повод для заключения об истоках формирования традиции: Браги, как полагает автор, на самом деле употреблял не готовые и известные кеннинги скальда, но изобретенные им же самим поэтические имена, которые впоследствии были подхвачены традицией.

Скальдическая традиция существовала около пяти веков. Анализ *Е. А. Гуревич* свидетельствует в пользу архаичности приписываемых Браги стихов, причем критерием служит прозрачность внутренней формы кеннинга в висе. С этим выводом полемизировал *Д. Епифанов*, который усмотрел в текстах вис игру с омонимии; это говорит о значительной формализации поэтической техники. В свою очередь, докладчик этот аргумент не принял: по мнению *Е. А. Гуревич*, эзотерический смысл чужероден и вносится позднейшими учеными комментаторами вис. По мысли *О. А. Смирницкой*, сама фигура Браги служит олицетворением скальдической традиции, поэтому решающее свойство приписываемых ему стихов состоит не в их большей древности, а в их соответствии продуктивным моделям скальдической практики. Напротив, познавательная ценность стихов, приписываемых чудикам, дилетантам и т. п., состоит как раз в том, что они отклоняются от принятого поэтического канона.

Любопытно, что нарушение ожидаемого семантико-синтаксического параллелизма в диалоге «оппонентов» эддической «Песни об Атли» Кнёфреда и Гуннара (Гуннар упоминает меч, отсутствующий в перечне предлагаемых Кнёфредом даров) служит оправданным моментом рассуждений и для *И. И. Чекалова*, который истолковывает смысловую асимметрию в аспекте коммуникативной направленности текста. *И. И. Чекалов* отвергает связь данного факта с множественностью вариантов песни, некогда бытовавшей в устной традиции, и видит в нем осознанный намек на знаковую функцию меча в средневековом обществе (меч вместе с другими доспехами всегда дарился победоносному воину). Лингвистическая особенность памятника трактуется здесь как прием построе-

ния текста, обусловленный коммуникативной установкой на передачу всех связанных с предметом коннотаций. Отсутствие меча в перечне даров предрекает Гуннару поражение и гибель. Асимметрия как одна из деталей лексико-семантического построения экспозиции оказывается значимой для композиции всей песни.

Композиционная роль имени в расстановке акцентов поэтического повествования явилась темой доклада Н. Ю. Гвоздецкой. Центральной была мысль о том, что сам порядок появления локативных имен в «Прорицании Вёльвы» (строфы 1–20) немаловажен для понимания структуры мифа о сотворении мира. Перечень имен в строфе 2 намечает «предысторию мира», его идеальную программу, которая раскрывается далее в рассказе. Этапы формирования вселенной (возникновение и расчленение материи, появление и регуляция органической жизни, наконец, «одомашнивание» мира) фиксируются введением таких наименований земли, которые употребляются в точном соответствии со своими семантическими и этимологическими ассоциациями. Развитие поэтического рассказа создает особую конфигурацию имен в тексте и запечатлевает те семантические функции, которые могли быть утрачены ими за пределами памятника. Изучение лексико-семантической организации текста позволяет вскрыть некоторые существенные черты мифопоэтического сюжета, которые иначе могли бы остаться незамеченными.

Лексические способы воплощения мифопоэтической модели мира нашли отражение также в докладе Т. В. Топоровой, посвященном двум эсхатологическим формулам «Прорицания Вёльвы» *ginnunga gar* «зияний бездна» и *ragna røk* «богов судьба». Обе формулы имеют общую грамматическую структуру (род. п. + сущ. среднего рода), поэтическую организацию (аллитерация), наконец, они семиотически замкнуты: компоненты каждой формулы оказываются генетически родственными словами. Денотативная тавтологичность компонентов, по мысли докладчика, позволяет трактовать их как «первый и последний пространственно-временной комплексы» в модели мира; параллелизм этих формул предполагает существование единого прототекста, при этом в *ragna røk* актуализируется основная индоевропейская формула космоса, а *ginnunga gar* — хаоса.

Второе выступление Т. В. Топоровой было посвящено реконструкции прагерманской аллитерирующей формулы **fiskaz flaute* «рыба плавала», внутри которой слово «рыба» выступает как метафора ЗМЕИ/ДРАКОНА. По мнению автора, формула в целом отсылает к индоевропейскому «основному» мифу о поединке верховного бога и его противника, причем в германском варианте мифа противник громовержца «кодируется» корнем **uel*. Значительное место в реконструкции отводится скандинавским памятникам, в том числе «Песне о Велунде», главный герой которой обнаруживает ряд хтонических черт.

Сообщение Т. В. Топоровой вызвало ряд заинтересованных откликов. В ходе дискуссии интересные соображения об отражении мифа о Вёлунде в рунической лексике и рунической графике высказал студент (ныне аспирант) МГУ Алексей Шадский. И все же точку ставить рано. Возможность отождествления персонажей древнегерманского эпоса со стихийными силами в большей степени обусловлена обратимостью мифа, его открытостью для разных интерпретаций, нежели структурой самих эпических песен. Поэтому для реконструкции мифологической основы конкретного памятника нужен, в конечном счете, более детальный анализ его жанровой специфики. А это позволяет надеяться на новые интересные результаты.

От редактора

Публикуемая статья поступила в 1995 г.; с тех пор выход издания Научного центра славяно-германских исследований несколько раз задерживался по не зависящим от редакции причинам. Тем не менее мы сочли возможным опубликовать статью в 1-м томе, поскольку значение материала, как хочется думать, выходит за рамки отчета о конкретной конференции. В наш век, когда приспособление к постоянно меняющимся модным схемам стало типичной картиной для современного литературоведения и языкознания, появление нового научного направления, образовавшегося на стыке этих двух дисциплин, представляется весьма знаменательным событием. Впрочем, совсем новым данное направление и стоящую за ним методику исследования назвать все же нельзя: сила его как раз в том, что оно сочетает концептуальные установки историко-поэтологического подхода, связанного в отечественной науке с именами А. Н. Веселовского, М. М. Бахтина, М. И. Стеблин-Каменского, с достижениями современной лингвистики текста.

Всякая научная школа должна доказывать свое право на существование не только программными манифестами, но и реальными исследованиями. В этой связи необходимо указать прежде всего на монографию лидера направления профессора О. А. Смирницкой «Язык и стих древнегерманской поэзии» (М., МГУ, 1995 г.), издание которой стало событием для отечественной германистики. Радует тот факт, что конференции по исторической поэтике проводятся по-прежнему регулярно. Очередные конференции состоялись в МГУ в 1994, 1995, 1996, 1997 и 1998 гг.: рассказ о первой из них можно прочесть в статье О. А. Смирницкой и Н. Б. Пименовой в журнале «Вестник МГУ», сер. 9, Филология, 1995, № 3.

В 1995 г. вышел первый номер журнала «Атлантика» (ответственный редактор О. А. Смирницкая, редактор Т. Л. Шенявская). Журнал публикует статьи по исторической поэтике и приглашает к сотрудничеству всех, кто интересуется древнегерманской и древнеирландской культурой. Предполагается также публиковать «...новые переводы древнегерманских и древнеирландских памятников, их комментированные издания, а также рецензии и обзоры, помогающие читателю ориентироваться в океане научной литературы» (Атлантика, вып. 1, с. 4). Ту же традицию поддерживают второй выпуск журнала, вышедший в 1996 г., третий, увидевший свет в 1997 г., и четвертый, находящийся ныне в печати. Таким образом, журнал «Атлантика» счастливо избежал судьбы многих модных альманахов, чья деятельность закончилась выходом в свет первого номера. Уместно напомнить, что «Атлантика» остается единственным периодическим изданием в нашей стране, целиком посвященным скандинавской проблематике. Тем самым, научная школа, о создании которой заявляет публикуемая статья, во многом является зеркалом, запечатлевшем облик отечественной скандинавистики в 90-е годы.

Январь 1999 г.

«Славянский фактор» в отношениях России и Австрии в 40–60-е годы XIX века

I. К постановке проблемы

В международных отношениях XIX века основными опорными конструкциями являлись связи между великими державами, определявшие форму раздела сфер влияния. Империи в этом смысле играли двойную роль: с одной стороны, путем расширения собственного пространства они объективно стабилизировали международную систему, а с другой — давали возможность более слабым нациям, входившим в их состав, «подрасти» до такой степени зрелости, когда они могли бы сами осознавать перспективы и формы своей суверенизации.

Типологически Российская и Австрийская империи были близки друг к другу: провинции являлись продолжением континентального тела метрополий, государственную пирамиду венчала династия — высшее олицетворение имперского универсализма. Однако это сходство являлось весьма формальным. Глубокое различие коренилось уже в самой имперской структуре. Известный специалист в области «австро-хунгаристики» Роберт Канн справедливо подчеркивал, что главной движущей пружиной австрийской государственности с самого начала — воцарения Фердинанда Габсбурга на чешском престоле в 1526 году и вплоть до самого краха в 1918 году — была идея Компромисса¹. Этот механизм «работал» на разных уровнях: от общегосударственного (центр — провинции при сохранении земельного (сеймого) представительства) до культурно-языковой области. Действительно, в рамках одного государства существовали два основных течения: универсальное общеавстрийское и национальное, выразившееся в процессе постепенного обретения культурной, а затем и политической идентичности входивших в империю народов.

Историческая же динамика России осуществлялась путем последовательной военно-политической, хозяйственной и культурно-просветительской экспансии, в результате которой создалось гигантское евразийское государство с особой геополитической самоидентичностью. В отличие от общегосударственного австрийского пространства, в состав России включались регионы с гораздо более разнящимся экономическим, этнодемографическим потенциалом и опытом самоуправления. В монархии Габсбургов организация административно-политической взаимосвязи центра и пе-

риферийных районов осуществлялась в соответствии с моделью, закрепленной реформами Марии-Терезии и Иосифа II и впоследствии видоизмененной конституционными экспериментами 60-х годов XIX века. Для российской же империи в силу специфики отдаленных районов, особенно восточных, характерно нарастание с XVIII века внутрирегиональных вариаций, значительное разнообразие управленческих связей, особенно на вновь присоединяемых территориях при сохранении определяющей роли центра².

Для того, чтобы обеспечить твердый порядок в провинциальных областях гигантской империи, правительству была необходима не только гибкая региональная политика, направленная на постепенное сглаживание местных условий, но и цементирующая универсальная формула российской державности, своего рода основной идеологический атрибут империи. От раннего варианта «Москва — третий Рим» до триединого постулата «Самодержавие — Православие — Народность» прошло несколько столетий, в ходе которых выкристаллизовывались основные составляющие понятия «державность». Православие было краеугольным камнем традиционного российского геополитического видения мира. Через все идеологические трансформации красной нитью проходит концепция православного мессианизма, уникальной роли России как единственной в мире православной державы. Не вызывает сомнений, что в формуле державности, созданной в николаевскую эпоху, два постулата — «Самодержавие» и «Православие» — были выражены в качестве общегосударственных объединительных основ. Но до настоящего времени встречается мнение, что понятие «Народность» однозначно определяло лишь форму примитивного национализма (русские — не русские). Однако Россия никогда не была одноплеменным государством — напротив, страной чрезвычайной полиэтничности с европеизированной элитой, связанной тесными родственными узами с западноевропейской аристократией. Как представляется, понятие «Народность» даже в его наиболее резкой форме «русскость» не было ориентировано на абсолютизацию этнического происхождения. В несравненно большей степени оно имело этатистское содержание — «государственный народ», проникнутый православным вероисповеданием и объединенный безусловной преданностью самодержавию. Последние исследования, посвященные положению «иностранцев» в Российской империи, подтверждают это мнение³.

Однако, несмотря на различный уровень общей культуры национального мышления и механизмов осуществления государственной политики, между двумя империями существовало также нечто общее, что одновременно сближало и разъединяло их. Речь идет о так называемом «славянском вопросе». При изучении динамики становления национально-культурных доминант в общественной мысли как России, так и Австрии он имеет важное зна-

чение. Примечательно, что в двух крупнейших империях, большинство населения которых составляли славяне, этот вопрос имел различное содержание и по-разному воспринимался как в общественных кругах, так и в официальной сфере. В 1843 году в Лейпциге вышла книга Ф. Шуселки «Является ли Австрия немецкой?» (*Ist Österreich deutsch?*). Автор привел статистические сведения, в соответствии с которыми в австро-немецком государстве из 29 миллионов подданных 15465000 составляли славяне, 6965000 — немцы, 5300000 — венгры. Эта публикация, несмотря на известные искажения, совпала со временем национального возрождения, захватившего интеллектуалов из австрийских славян. Хотя на данной стадии развития ни одно национальное движение (исключение, пожалуй, составляет польское) не выходило за рамки легитимности и развивалось по линии углубления австрославистской концепции, сам факт значительного численного превосходства и эсхатологическое предвидение разбушевавшейся «славянской стихии» вызвали в австро-немецкой и венгерской среде серьезные опасения. Неудивительно, что в это время венская печать публикует много сведений о численности славянского населения в России: 50 миллионов — такая цифра не могла не подавлять⁴. «Славянский вопрос» в Австрийской империи в 40–60-е годы XIX века воспринимался не только как проблема региональной политики сдерживания усиливавшихся этно-национальных амбиций, но, с другой стороны, он таил в себе опасность ирредентистских настроений и в этом смысле трактовался уже как вопрос экзистенциальный.

В силу континентальности и гигантских размеров Россия исторически строила свою политику «на пути из варяг в греки» и поэтому была жизненно заинтересована в прямом или косвенном контроле выходов в бассейны Балтийского и Черного морей. В то же время «славянский вопрос», который относят к традиционным геополитическим ценностям России, начиная с середины XIX века, представлял собой не только комбинацию конкретных дипломатических шагов по усилению сферы влияния России на Балканах и в Центральной Европе, но одновременно являлся материалом для построения различных концепций особой мессианской роли России в мировой истории, одним из основных источников процесса самосознания русской нации.

Как в отечественной, так и в зарубежной науке сложилось крупное направление, занимающееся исследованием различных идеологических метаморфоз панславизма. Не вдаваясь в подробный анализ семантики этого термина и его места в структуре славянской проблематики, отмечу только ряд положений, которые имеют принципиальный характер для освещения выделенной в заглавии статьи темы.

«Панславизм» — термин весьма условный, имеющий множество интерпретаций в зависимости от конкретной ситуации и идеоло-

гической нагрузки. В целом этот феномен, вызванный «пришествием национализма» в регионы Центральной и Юго-Восточной Европы, является одной из ярчайших характеристик этно-политических процессов на макронациональном уровне⁵.

1. Можно выделить три основные формы панславистских представлений, доминирующие на протяжении XIX — начала XX веков. Первая, наиболее ранняя, была создана германской, австро-немецкой, французской либеральной публицистикой в 30-е годы XIX века. Фантом панславизма (славянские варварские народы во главе с северным колоссом — Россией — разрушат европейскую цивилизацию) играл важную стимулирующую роль прежде всего для немецкого объединительного движения, несколько позднее — также и для венгерского. Различного рода фрустрации способствовали мобилизации сил общества на национальной почве.

2. Вторая форма появилась позже — в конце 30-х — 40-е годы XIX века. Ее создатели — уже выходцы из славянской среды. Наиболее известное теоретическое обоснование идеи всеславянской культурной интеграции было сделано в работе словака Яна Коллара «О славянской взаимности». Эта форма панславистских представлений, распространенная как среди австрийских, так и балканских славян, значительно отличалась от пангерманского движения, по образу и подобию которого была создана. Слишком сильны были внутренние противоречия и взаимные претензии между различными славянскими движениями, слишком разновекторны политические устремления их лидеров. Этот «малый панславизм» (условный термин) не смог реализоваться в рассматриваемый период даже на региональном уровне. Так, в конце 60-х годов закончились провалом все попытки чешских политиков использовать славянскую взаимность в политической практике и создать на этой основе федералистский блок австрийских славян. Но если в политической сфере панславистские акции не имели успеха, то в области национальной идеологии различные интерпретации идей панславизма активно использовались славянскими идеологами в целях интеграции своей нации. Панславизм в этом качестве служил превосходным материалом для создания положительных автостереотипов (к примеру, «мы — первые (лучшие) из всех славянских народов» или «мы не одни, за нами сила многомиллионного славянства»), что помогало преодолевать своеобразный комплекс «малого народа»⁶.

3. Наконец, третья форма, которая будет более всех других интересовать нас, — это «русский панславизм» (также весьма условное название). Авторитетный исследователь А. Н. Пыпин в книге «Панславизм в прошлом и настоящем» (1878) обратил особое внимание на многообразие вариантов панславизма в общественной мысли России XIX века: от самых радикальных («демократический панславизм») до великодержавных. Несмотря на полярность этих политических концепций, их сближала общая убежденность в том, что

именно Россия должна принять на себя ответственность за судьбы «славянского мира», что именно российскому обществу предстоит определить будущее «единоплеменных» народов.

В данной статье не ставилась задача выявить все интерпретации славянской идеи, возникавшие в России и в Австрии, или дать исчерпывающий перечень внешнеполитических проблем, определявших сложные взаимоотношения двух империй по славянскому вопросу. Также здесь не будет особо рассмотрена балканская проблема, которая имела, без сомнения, ключевое значение в российско-австрийской дипломатии. Это заняло бы слишком много места, к тому же существует уже широкий круг специальной литературы. Важнее другое — рассмотреть и оценить роль «славянского фактора», его совместимость с целями и стратегическими задачами российской внешней политики в Центральной Европе. При этом необходимо было избегать подпадания под стереотипные установки как об изначально экспансионистской сущности панславизма, так и о «голубином», бескорыстном характере славянской политики России. Россия выступала как великая держава и проводила внешнюю политику в соответствии с собственными геополитическими интересами, равно как и другие ведущие государства, определявшие судьбы Европы в XIX веке. Высказанные в этой работе оценки, естественно, не являются бесспорными, так же, как и цепочка выстроенных здесь фактов, послужившая поводом к размышлениям об особенностях взаимодействия двух крупнейших государств на востоке Европы.

II. Генезис «славянской политики» России

В 1841 году князь Меттерних при назначении графа Война посланником в Петербург заметил, что отношения Вены с российским двором подобны розам, полным шипов⁷. Действительно, несмотря на узы тесной личной дружбы и политического единомыслия, не последнюю роль в отношениях двух императорских домов играл славянский вопрос, уже тогда несколько омрачавший этот союз. До настоящего времени вызывает дискуссии вопрос о начале складывания так называемого «панславистского» направления внешней политики России⁸. Дело не только в том, что существуют различные, часто прямо противоположные трактовки понятия «панславизм», который на Западе однозначно ассоциируется с «панрусизмом», но и в недостаточном накоплении фактического материала, а также в сильной идеологизации всей проблематики.

В 60-е годы XIX века выходец из известной славянофильской семьи Иван Сергеевич Аксаков отмечал, что «славянский вопрос» в России распадается на два самостоятельных равноценных направления — восточное (балканское) и польское. Отношения же официального Петербурга с австрийскими славянами имеют, по

его мнению, подчиненное, второстепенное значение⁹. Это наблюдение человека, горячо симпатизировавшего славянской идее и ратовавшего за ее широкое распространение, точно характеризует установившуюся к этому времени иерархию ориентиров в славянской политике России.

Действительно, земли австрийских славян не являлись вожденной целью российской политики. Отношение официальных кругов России к австрийским славянам определялось взаимным влиянием трех факторов: характером отношений между Веной и Петербургом в данной конкретной ситуации; спецификой развития польского и балканского вопросов и, наконец, уровнем восприятия славянской идеи в российском обществе.

Большинство исследователей придерживается мнения, что славянское направление российской политики возникло лишь после Крымской войны — во второй половине 50-х — начале 60-х годов¹⁰. Признавая тот факт, что правительство России открыто стало поддерживать славянские движения лишь с 60-х годов, все же риску утверждать, что первые попытки использовать славянскую идею в политической практике приходятся уже на конец 30-х — первую половину 40-х годов.

В статье известного историка С. С. Татищева «Николай I и австрийский двор», опубликованной в 1887 году, приводилась любопытная периодизация российско-австрийских дипломатических отношений.

С. С. Татищев убедительно показал, что с начала 40-х годов XIX века между двумя императорскими домами проявилось «довольно продолжительное охлаждение», длившееся до 1846 года. Лишь всплеск национальных движений в Центральной Европе и Краковское восстание заставили две империи забыть о взаимных претензиях и объединиться в теснейший союз на основе принципа легитимизма¹¹.

Хотя С. С. Татищев специально не рассматривал славянский вопрос в отношениях между Австрией и Россией, основы будущего внешнеполитического направления были заложены, как представляется, именно в первой половине 40-х годов — в период дипломатического охлаждения. В официальных кругах Петербурга уже тогда осознавали, что славянский вопрос — это ахиллесова пята Дунайской империи и весьма эффективное средство политического давления на Вену.

Широко известны донесения профессора Московского университета М. П. Погодина о результатах его путешествий по землям австрийских славян, адресованные министру народного просвещения графу С. И. Уварову. В 1839 году он подчеркивал, что славяне в Австрии «симпатизируют» России — «там витают их надежды, планы и мечтания». Одно из таких «мечтаний» было им подробно описано: славяне стремятся отделиться от Австрии и образовать

Славянское федеративное государство с Россией во главе, которое бы простиралось от «Восточного океана до Адриатического моря» и «повелевало бы остальным миром». Обращает внимание один противоречивый факт: в дорожных записках во время путешествия М. П. Погодин, напротив, констатировал выраженные австро-фильские настроения у славянской интеллигенции, что соответствовало действительному положению дел¹². Почти в это же время генерал-майором Муравьевым была подана в Святейший Синод записка о положении Православной церкви в Австрии, где отмечалось, что в Галиции, Трансильвании, Кроации, Славонии, Венгрии и Далмации насчитывается более 4 миллионов славян, исповедующих православие. Правительство, по его мнению, пытается всеми способами обратить эту паству в униатство. Но славяне тянутся к России и выражают сожаление, что в Одессе нет специального склада церковных и светских книг, которые можно было бы переправлять в австрийские земли. На этой рукописи рукой Н. А. Протасова, бывшего в 1836–1855 годах обер-прокурором Синода, записано: «Должено Его Императорскому Величеству в Царском Селе 1 ноября 1838 года. Государь Император Высочайше соизволил утвердить предложенные меры и повелеть переговорить с графом Нессельроде о возможности послать Православным в Австрии духовные книги через посольство». Более того, император одобрил предложение о создании книжной лавки в Одессе, причем предполагал выделить на это «значительную сумму»¹³. Также благосклонно было принято Николаем I и само донесение М. П. Погодина. Относительно его ходатайства о материальной поддержке «славянских патриотов» император написал: «Очень любопытно, но требует большой осторожности, 2 тысячи серебром выдать можно»¹⁴. С конца 30-х годов в Канцелярию обер-прокурора стали поступать регулярные сообщения о «бедственном положении» Православной церкви в различных областях австрийского государства. Однако помощь «единоверцам и единоплеменникам» так и не сложилась в целенаправленную акцию. Она носила эпизодический характер, а отдельные ее проявления были зафиксированы в материалах Святейшего Синода под грифом «секретно»¹⁵.

В это же время в западной публицистике все активнее начали раздаваться голоса об угрозе панславизма, который может смести европейскую цивилизацию. Так, в 1845 году была издана брошюра Иоганна Шлоссера «Восточно-православная церковь и европейский Запад». Автор пытался убедить своих читателей в том, что русские являются агентами панславизма и используют все средства, чтобы распространить в Европе православие. Это таит, по мнению И. Шлоссера, реальную угрозу прежде всего для немецкого народа¹⁶. Об озабоченности австрийского правительства, причиной которой был не столько реальный, сколько созданный европейским общественным мнением фантом панславизма, свидетельствует ре-

акция Вены на события, происшедшие в ноябре 1842 года в Хорватии. Волнения были вызваны размахом иллирийского движения, выступавшего с требованием объединить юго-славянские земли в составе «Иллирийского королевства». По этому поводу между двумя императорскими дворами состоялось довольно резкое объяснение. В ответ на подозрительные намеки Вены Николай I заявил, что Россия никогда не опустится до того, чтобы поддерживать «революционную агитацию» в дружественном государстве, хотя сам он давно обратил внимание на «общее возбуждение умов в южно-славянских землях Австрии»¹⁷. Примечательно, что в этом же году, вернувшись после очередного путешествия, М. П. Погодин представил новое донесение, в котором настаивал на открытой и полноценной поддержке движений австрийских славян со стороны России: «старыми методами нельзя действовать ни дипломатам, ни политикам». Он обрисовал масштабный план распространения российского влияния в Центральной Европе. Однако если в первом донесении он указывал на необходимость затрачивать ежегодно 25 тысяч рублей, чтобы поддерживать славянские движения, то теперь эта сумма сократилась до 10 тысяч¹⁸. Выраженный австрославизм, с которым он столкнулся в Австрии, был, по его мнению, лишь результатом пропаганды агентов из Германии, Англии и Франции, стремившихся подорвать «русско-славянский колосс»¹⁹. Хотя М. П. Погодин был ободрен благосклонным отношением императора к первому донесению и позволил ряд слишком откровенных и резких формулировок в новом отчете, министр С. И. Уваров не разделял его энтузиазма и не рискнул представить эти предложения Николаю I. Этот факт еще раз показывает, что официальные круги не были готовы к целенаправленному осуществлению новой внешнеполитической линии.

Между тем князя Меттерниха во многом раздражала российская политика. Причин для охлаждения отношений было достаточно: двойственная позиция Вены в вопросе о закрытии Дарданелл и Босфора, нестабильность в российско-французских контактах и укреплявшиеся отношения России с Англией, активная политика Австрии в Сербском княжестве.

В июле 1840 года был окончательно отозван из северной столицы австрийский посланник Шарль-Луи Фикельмон, которому Николай I неизменно оказывал особые знаки внимания. Он был удостоен ряда высших знаков отличия при российском дворе, в том числе и редкого, особенно почетного ордена Андрея Первозванного. Австрийский посланник был женат на внучке Михаила Кутузова Дарье Федоровне, имевшей блестящий литературно-политический салон в Петербурге, который часто посещал А. С. Пушкин. В своих дипломатических отчетах Шарль-Луи Фикельмон не скрывал русофильских симпатий и своего преклонения перед особой императора, к которому испытывал большую привязанность. Ему пришлось оста-

вить свой пост неожиданно и не по своей воле. Вплоть до революции 1848 года он выполнял разные дипломатические поручения, однако, как утверждала Дарья Федоровна, «его держали вдали от всех дел»²⁰. Это был один из первых симптомов скрытого охлаждения в русско-австрийских отношениях.

Не последнюю роль играл религиозный вопрос. В депеше графу Войне, заменившему Фикельмона в Петербурге, Меттерних откровенно признавал: «В сущности мы стоим на той же черте принципов, как и русский двор. Во многих манипуляциях оба двора идут различным путем. ...Мы ищем в предметах лишь то, что они вмещают, не стремясь к иной выгоде, как только к торжеству принципов и к удалению шансов беспорядка, покрывающих политическое поле. В России стремятся, правда, к той же цели, но, сверх того, и какой-либо одинокой выгоде». В заключение канцлер особо осудил положение католиков в России, хотя и считал это внутренней проблемой: «Одна из сторон русской политики страшна и готовит величайшие затруднения императору и стране: это религиозное преследование. Пока тучи собираются, гром не замедлит грянуть»²¹. В венских газетах того времени довольно часто приводилась конфессиональная статистика российских подданных и открыто писалось о преследованиях иноверцев. По официальным российским данным, их в стране насчитывалось 8684376 человек, из которых 2754876 принадлежало к Римско-Католической Церкви, а 1669601 были лютеранами. В австрийской прессе приводились примеры «морального и физического насилия, которое применяется против лютеран (над латышскими крестьянами), так и против католиков (в Литве, Подолии и на Волыни) и против израильского населения в западных губерниях»²². В 1845 году при встрече с Николаем I Меттерних пытался, как он сам признавал, узнать, «будет ли император или не будет жить в мире с 14 или 15 миллионами своих католических, протестантских или еврейских подданных»²³. Однако эта попытка произвела неприятное впечатление на Николая I.

Эпизодические поощрения «единокровных и единоплеменных» братьев в Австрии со стороны Петербурга, равно как и заинтересованность Вены положением католиков в России, были логически взаимосвязаны. Религиозно-этническая благотворительность еще не стала одним из эффективных и признанных методов внешней политики, но уже тогда были заложены ее основы.

С другой стороны, российское образованное общество в своем большинстве не было тогда готово к восприятию идей славянской взаимности. Примером служит печальная участь изданий всеславянской ориентации: «Москвитянина» (под редакцией М. П. Погодина) и «Денницы» П. Дубровского, вынужденных прекратить свое существование из-за отсутствия подписчиков²⁴. Лишь отдельные фактические сведения публиковались на страницах журналов «Те-

тескоп», «Отечественные записки» и «Журнала Министерства Народного Просвещения». Романтический пафос панславистских идей был свойствен довольно узкому кругу первых профессиональных славистов в России (кафедры славистики были открыты в 1835 году в четырех университетах). Славянское самосознание было частью их мировоззрения, и они искренне верили в возможность культурной интеграции славянских народов. В трактате Яна Коллара о славянской взаимности (1834–1837) им виделось прежде всего русофильское содержание. Это способствовало складыванию в «славянолюбивой» среде весьма упрощенного образа «угнетенных славянских братьев», проникнутых искренней любовью к России и стремившихся вернуться к «исконным началам» — Православию и «духовно-нравственной» консолидации с единственным сильным славянским государством²⁵. Подобные стереотипные установки легли в основу и ряда славистических исследований, которые в современной историографии характеризуются как особое «славянофильское» направление²⁶.

С 1846–1847 годов наступает, как представляется, новый период в истории славянской идеологии в России, который длился до 1854–1855 годов. В это время, чреватое сильнейшими революционными потрясениями во всей Европе, происходит значительная радикализация славянской идеи. Распространяются различные национально-радикальные интерпретации и лозунги революционного воссоединения славянских народов. Кроме того, восстание в феврале 1846 года в вольном городе Кракове, проходившее под знаменем польской независимости, побудило Россию стремиться к более тесному сближению с Австрией. Николай I убедил прусского короля Фридриха Вильгельма IV в неизбежности присоединения Кракова к австрийским владениям. Новая расстановка сил и радикализация славянской идеи в Центральной Европе вызвали негативную реакцию официальных кругов на славянскую пропаганду в России. Вслед за разгромом Кирилло-Мефодиевского братства последовали аресты видных славянофилов. На следственном деле И. С. Аксакова Николай I собственноручно записал: «Под видом участия к мнимому утеснению славянских племен в других государствах таится преступная мысль соединения с сими племенами, несмотря на подданство их соседним и частью союзным государствам»²⁷. Эта же мысль была изложена в секретном циркуляре Министерства Просвещения от 30 мая 1847 года, разосланном попечителям учебных округов. Текст этого документа был выдержан в строго охранительском духе и резко осуждал саму идею славянской взаимности: «Все, что мы имеем на Руси, принадлежит нам одним, без участия других Словенских народов, ныне простирающих к нам руки и молящихся о покровительстве не столько по внушению братской любви, как по расчетам мелкого, не всегда бескорыстного эгоизма...»²⁸.

В Московском, Петербургском, Казанском и Харьковском университетах состоялись чрезвычайные собрания Университетских Советов, на которых зачитывалось предписание министра С. И. Уварова, составленное по воле императора. Обращают на себя внимание следующие строки: «Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении Самодержавию, а Словенство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, а мы сами по себе. Мы сим торжественно от него отрекаемся»²⁹. Создается впечатление, что официальные круги с пафосом каялись в своих прежних увлечениях судьбами австрийских славян. В известную триединую формулу российской державности «Самодержавие — Православие — Народность» вносились существенные коррективы. Из понятия «народность» как одного из важнейших «исконных начал» резко исключалось «русско-славянское» содержание. Славянофильская установка на неотделимость этих двух этно-языковых основ («русское» может быть понято только через «славянское», а «славянское» — только через русское) теперь полностью отрицалась. Во главу угла ставилась идея исключительно «Русского начала и Русского духа». Столь категоричное отрицание славянского фактора и организация кампании по его искоренению из университетской системы заставляют все же еще раз задуматься о той степени важности, которую императорское окружение могло ранее придавать планам развития славянской политики. Сам государь следил за строгим исполнением этой акции. Попечитель Московского округа граф С. С. Строганов, благоволивший М. П. Погодину, позволил себе в письме к министру просвещения усомниться в необходимости изъятия из учебных планов курсов о зарубежных славянах. В ответ он получил письмо от графа А. Ф. Орлова, видного дипломата, доверенного лица императора, который в то время возглавлял III Отделение. В нем сообщалось, что Николай III посчитал письмо С. С. Строганова «в высшей степени неприличным» и предписал ему строго следовать официальной линии³⁰.

Парадоксальность ситуации 1847–1849 годов заключается в том, что именно тогда, когда Россия вела борьбу за искоренение «славянских мечтаний», западную публицистику буквально захлестнула волна антироссийских и антипанславистских разоблачений. Либерально-демократическая пресса в Англии, Франции, Германии изобличала Петербург в захватнических планах создания всеславянской империи в Европе. Как самое убедительное доказательство приводилась интервенция российской армии под руководством генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича-Эриванского в Венгрию. Военное подавление венгерской революции в июне-августе 1849 года вызвало ожесточенную критику. Европейское общественное мнение, проникнутое русофобией, негодовало по поводу панславистской угрозы со стороны России³¹.

Сам же российский император, по-видимому, испытывал полное равнодушие к идеям панславистского величия в период революционных потрясений 1848–1849 годов. В начале нашего века в журнале «Русская Старина» впервые была опубликована переписка Николая I с И. Ф. Паскевичем, светлейшим князем Варшавским, наместником в Царстве Польском. Эта корреспонденция ярко характеризует личное отношение императора как к европейским событиям, так и к славянскому вопросу в конце 40-х — начале 50-х годов. Хотя 14 марта 1848 года Россия в ответ на вспыхнувшие революции во Франции и в Германии провозгласила грозный манифест, тяжелое впечатление от которого пытался впоследствии сгладить министр Нессельроде в газете «*Journal de S.-Petersbourg*», император всеми силами пытался не ввязываться в европейские волнения. На крайний случай в западных пограничных областях было мобилизовано 420 тысяч человек и еще 100 тысяч оставалось в запасе. Самая главная проблема, которая волновала Николая I, — это ситуация в Познани и в Галиции. Свою позицию он четко определил в письме к Паскевичу от 10 (22) марта: «Однако, быть может, что при новом австрийском правлении они дадут волю революции, запоят что-либо против нас в Галиции; в таком случае, не дав сему развиться, но именем самого императора Фердинанда займу сей край и душу замыслы»³². Более всего он опасался, что в вихре революционных потрясений правительства Австрии и Пруссии будут не в состоянии противодействовать восстановлению Польши: «им же хуже, ибо тогда Польша будет наша, а не для других»³³. Почти в каждом письме император указывал своему верному наместнику на необходимость проведения строгих мер в Царстве Польском и, более того, в крайнем случае готов был отдать приказ 4-му корпусу российских войск вступить в Галицию. Примечательно, что новый австрийский министр Феликс Шварценберг сообщил графу Меду, что Вена желала бы ради безопасности империи, чтобы русская армия вступила в Галицию³⁴. Однако Николай I все еще колебался.

В самый разгар революции в Австрийской империи Николаю I была подана записка, составленная Федором Ивановичем Тютчевым, — «Россия и революция». Знаменитый поэт, один из ярчайших мыслителей своего времени, Ф. И. Тютчев более 20 лет прожил в Мюнхене, работая в русской дипломатической миссии. Его статья «Россия и Германия», изданная анонимно в 1844 году в Мюнхене, была положительно оценена царем. Поводом послужили нападки на Россию в западной прессе. Ф. И. Тютчев доказывал, что единственно верный путь для немецких политиков — это тесный союз с Россией, которая является законной и полноправной частью христианской Европы. Новая записка была написана уже в апреле 1848 года под непосредственным впечатлением от революционных событий. О ее содержании будет сказано ниже. Обращает на себя внимание одно обстоятельство: Ф. И. Тютчев поставил вопрос о бу-

душем славянских земель Австрии: «раз, что Австрия, после потери Ломбардии и настоящего полного освобождения Венгрии, должна распасться, что сделает Богемия с окружающими ее народностями, моравами, словаками, словом, с семьёю и восемью миллионами людей одного с нею языка и происхождения?». Он особо подчеркивал, что все надежды национальных патриотов в Богемии сосредоточены только на России, которая «менее, чем когда-либо имеет право отворачивать от себя те симпатии, которые она внушает». Для укрепления этого влияния важно, по его мысли, уничтожить самого главного врага, расторгающего звенья одной цепи славянских народов, — «мадьярскую Венгрию», которая питает «инстинктивную ненависть к России»³⁵.

Я пока не располагаю данными о том, как прореагировал император на эту записку. Известно, что в 1849 году эта статья анонимно была опубликована в Париже и вызвала чрезвычайно острую полемику. В июне 1849 года Ф. И. Тютчев вернулся в родовое имение Овстуг, где работал над трактатом «Россия и Запад», так и оставшимся незавершённым. Граф Нессельроде старался соблюдать в отношениях с Ф. И. Тютчевым формальный нейтралитет, зная о его широких придворных связях. Лишь в 1853 году ему был предложен незначительный пост генерального консула в Лейпциге.

Все же, судя по отношению Николая I к известию о Пражском восстании 1848 года, он не разделял панславистских идей Ф. И. Тютчева. Так, Николай I писал в письме к Паскевичу: «Пражское воззвание к славянам надо было ожидать по довольно известному мне там духу, но отвечать на оное не будем; не наше дело. Будем ждать и смотреть, чем все это кончится»³⁶. В июне 1848 года, когда российский император, очевидно, разуверился в будущем Австрии, где «нет единства, ибо национальности все злобно возбуждены одна против другой», и рассматривал возможные действия России на случай распада монархии Габсбургов, он все же был твердо уверен только в одном — в необходимости сразу вступить в Галицию, чтобы «присоединить к России древнее ее достояние. Ибо край сей может быть или австрийским или русским, иного не смогу допустить, во что бы то ни стало». Обращает внимание его мнение относительно возможного присоединения земель чешской короны: «Ни Богемии, ни Моравии — ничего другого не приму под скипетр России, даже ежели б об этом настоятельно просили, ибо оно было бы прямо противно выгодам нашим. Готов отдать половину Польши, но Галиции никому не уступлю, коль скоро она перестанет быть областью Австрии»³⁷.

К маю 1849 года, когда ситуация в Вене предельно обострилась и венгерская армия находилась в 250 верстах от столицы, просьбы австрийского правительства о помощи вызывали у Николая I раздражение: «...мы потеряли Москву, но не погибли, неужели Австрия, столь часто терявшая Вену, на сей раз не может обойтись без нее?»³⁸.

Галиция была центральным пунктом и самым главным побудительным мотивом подавления русской армией венгерской революции. Не столько идеи защиты легитимного порядка, сколько стремление сохранить важнейшую стратегическую область на рубежах России побудили императора поддержать австрийских союзников. Действительно, даже когда 29 мая в Варшаве была заключена конвенция об общем плане военных действий против венгерского движения, российский император не торопился. Он потребовал через генерала Берга, чтобы австрийское правительство очистило Галицию от бежавших туда польских эмигрантов и революционеров. «Доколе не получено будет удовлетворительного ответа, — настаивал Николай I, — русские войска не двинутся»³⁹. Это требование было выполнено за несколько дней. 24 мая (5 июня) русская армия перешла австрийскую границу, а 1 (13) августа Венгрия, по выражению Паскевича, лежала у ног Николая I.

В первой половине 50-х годов Россия оставалась демонстративно равнодушной к славянским делам. Николай I основной упор делал на союзнические отношения с Австрией. В одном из писем к И. Ф. Паскевичу он откровенно писал: «...признаюсь Тебе, что я в Германии ничего доброго не предвижу; жду междоусобия и резни. Ежели Австрия не будет вести дело твердой рукой и дома и за границей, она одна может взять в ней верх. Пруссия же — никогда, помни мое предсказание»⁴⁰. Для российской внешней политики было важно сохранить равновесие сил между Австрией и Пруссией в вопросе о «германском объединении», а также сохранить независимость мелких германских государств, чтобы иметь возможность всегда контролировать ситуацию. В спорах между Австрией и Пруссией Николай I предпочитал поддерживать первую. Как правило, ему удавалось сломить сопротивление берлинского двора⁴¹.

В 1851–1852 годах Вену неоднократно посещали члены российской императорской фамилии, которым всегда оказывался блестящий прием.

Когда уже обозначилось будущее столкновение между Россией и Турцией в вопросе о Святых местах, Петербург был полностью уверен в своей дунайской союзнице. В инструкции генерал-адъютанту князю Меншикову, назначенному чрезвычайным послом в Константинополь, граф Нессельроде особо указывал на полное тождество интересов Петербургского и венского двора, «наиболее нам близкого и союзного, совершенную взаимность содействия, которая происходит от стремления к одной цели и желания достигнуть одних и тех же результатов»⁴². Последующие события, однако, не оправдали этих надежд. Действия австрийского кабинета настолько расходились с ожиданиями Николая I, что он сам пытался в сентябре 1853 года выяснить отношения с любимым союзником, молодым императором Францем Иосифом, которого, по собственному признанию, любил, как родного сына.

События Крымской войны хорошо известны в исторической литературе⁴³. Отмечу только, что неожиданный отказ Австрии от союзнических обязательств произвел на Николая I потрясающее впечатление. В его личной переписке за несколько месяцев до смерти постоянно звучит одна тема — «бесстыдное коварство» Австрии, которое «превзошло все, что адская иезуитская школа когда-либо изобрела». Он даже опасался, что австрийская армия может вторгнуться в пределы России и что существует план, «по которому Австрия еще более поработилась Франции и Англии и будто бы в нем просто условлено отнять у нас Польшу»⁴⁴.

События Крымской войны фактически подвели итог длившемуся почти столетие союзу двух крупнейших империй. Распад союзнических отношений явился поворотным пунктом не только в истории Австрии и России, но и в целом изменил соотношение политических сил в Центральной Европе во второй половине XIX — начале XX веков.

III. «Державный панславизм» и российско-австрийские отношения в 60-е годы XIX века

Международная система после Крымской войны постепенно обрала новыми структурными связями и отношениями. Прежняя Венская система угасала и видоизменялась под влиянием ряда объективных и субъективных факторов. На политическую сцену вступало молодое поколение монархов, которое стремилось определить новые геополитические реалии, первичные для осмысления роли своих государств и инструментов их внешней политики. Революции 1848–1849 годов чрезвычайно остро поставили во главу угла европейской политики национальный вопрос. Структурные сдвиги в общественном сознании, протекавшие под влиянием нового видения «нации» и «национального государства», в силу их стремительности и непредсказуемости развивались если не в основном, то во многом вне контроля государственных сил. Если до Крымской войны Российская и Австрийская империи, связанные союзническими обязательствами, сдерживали до определенной степени рост национализма в Центральной Европе, то в 60-е годы монархия Габсбургов оказалась фактически один на один с разрушительной силой национального сепаратизма.

С другой стороны, после поражения в Крымской войне Россия, тогда еще сильная централизованная держава, все более начинала оказывать Австрии внутреннее противодействие. Несмотря на сохранявшийся в течение 60-х годов формальный нейтралитет, Петербург кардинально менял не только систему внешнеполитических приоритетов, но и механизмы осуществления государственных интересов.

27 октября 1854 года фрейлина великой княгини Марии Александровны, жены будущего императора Александра II, Анна Тютчева сделала в своем дневнике важную запись. В это время была получена конфиденциальная корреспонденция от А. М. Горчакова, посла в Вене. По этому случаю состоялась беседа между наследником и его супругой: «они говорили, что Россия никогда не будет у себя хозяйкой, пока не получит Дарданелл, что естественными союзниками России являются славянские народы, которые во что бы то ни стало нужно вырвать из-под ига Турции и образовать из них самостоятельные государства». Оба критиковали принципы Священного союза. Александр при этом сказал: «Мы не проявили достаточно национального эгоизма, но обстоятельства толкнули нас на правильный путь и доказали, до какой степени ложна и опасна наша политическая программа»⁴⁵. Очень скоро он стал императором страны, находившейся в тяжелейшей экономической и военно-политической ситуации.

Мирный договор был подписан 18 марта 1854 года. Несмотря на сравнительно незначительные территориальные потери, престиж России как великой державы был существенно подорван, ей запрещалось держать флот в Черном море и иметь там военно-морские базы. Значительно поколеблено было положение России на Балканах, которое заменялось коллективными гарантиями стран «крымской системы» (Англии, Франции, Австрии), подписавшими соглашение о Тройственном союзе, имевшее по сути антирусскую направленность.

Накануне отставки, став мишенью для самых язвительных замечаний в обществе, К. В. Нессельроде написал «Записку о политических отношениях в России», в которой подводил своеобразный итог своей многолетней дипломатической деятельности. Осознавая, что России предстоит выработать принципиально новую концепцию внешней политики и руководствоваться не обязательствами по отношению к союзникам, а прежде всего «требованиями русских интересов», К. В. Нессельроде как опытный дипломат все же предчувствовал, что «обуздать польский вопрос» Россия сможет лишь ориентируясь на союз с Австрией и Пруссией. При ином раскладе политических сил столь необходимая система равновесия в Центральной Европе может рухнуть⁴⁶.

Но при новом «молодом дворе» господствовали иные настроения. Князь А. М. Горчаков был назначен главой Министерства иностранных дел 15 апреля 1856 года. Он не скрывал от императора личной неприязни к идее восстановления союза с Австрией, считая ее «послушным орудием Англии», которая является «самым непримиримым противником наших интересов и всюду самым агрессивным образом проявляющим свою враждебность». 14 февраля 1860 года он откровенно признавался Александру II: «Основываясь на сорокалетнем опыте, в особенности на опыте, полученном от непосредственного участия в делах, соприкосновенных с выгодами Рос-

сии, я Вам всегда скажу, положи руку на сердце: не доверяйте. Государь, венскому кабинету, какие бы то ни были люди, которые вдохновляются его мыслями». Эту же точку зрения разделял и Александр II⁴⁷.

Для российской внешней политики своего рода кредо на последующие пятнадцать лет стали знаменитые слова из циркуляра от 21 августа 1856 года, направленного в российские посольства в миссии: «Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, а сосредотачивается». России необходим был нейтралитет для проведения внутренних реформ. Однако это не означало, что российская дипломатия отказывалась от активных действий на европейской политической сцене. Разворачивалась «тихая», но весьма интенсивная внешнеполитическая деятельность. Одной из важнейших ее сторон стала «славянская политика», непременным условием которой должен был быть отказ от традиционного проавстрийского курса. В 60-е годы стержнем этой политики стало восстановление влияния России на юго-славянские народы. Это было напрямую связано с главной стратегической линией, направленной на отмену Парижского договора. В отчете МИД за 1866 год с предельной ясностью было сформулировано: Россия должна взять на себя «моральное руководство» славянскими движениями, чтобы «использовать в этих целях влияние, по справедливости принадлежащее России в силу ее традиций, географического положения и ее законных интересов таким образом, чтобы исполнить нашу историческую миссию на Востоке...»⁴⁸.

Для доказательства права России «законно выражать» интерес балканских славян важно было создать имидж общей «славянской метрополии», центра славянского мира. Естественно было определить позицию и по отношению к другим зарубежным славянам — австрийским подданным. Существует широкий круг серьезных исследований и публикаций источников, раскрывающий сложные неоднозначные отношения России с балканскими народами. Значительно меньше изучена политика России в землях австрийских славян. Хотя центральноевропейское направление не имело в славянской политике такого приоритетного положения, как балканское, тем не менее уже в 60-е годы оно представляло собой совокупность взаимосвязанных акций, составляющих по сути осторожную и тонкую «игру в панславизм», в которой переплетались как определенные социально-психологические мотивы, так и дипломатический прагматизм. Выделяется несколько основных форм.

1. Значительная активизация этно-религиозной благотворительности под эгидой Святейшего Синода, направленная на распространение «православной миссии» в землях австрийских славян. Если в начале 40-х годов это были лишь первые робкие опыты, то спустя двадцать лет религиозная благотворительность приобрела характер систематической целенаправленной деятельности.

2. Ослабление цензурных запретов, что дало возможность свободно обсуждать в обществе славянский вопрос и создало условия для складывания особого направления — «державного панславизма» — в российской общественной мысли.

3. Основание общественного Славянского Благотворительного Комитета в Москве (1858), осуществлявшего тесные контакты с ведущими деятелями славянских движений как в Австрийской империи, так и в европейской Турции. Через десять лет подобные комитеты стали создаваться в ряде крупных городов России.

4. Организация и проведение в двух российских столицах в мае-июне 1867 года славянского съезда, превратившегося в грандиозную общественную демонстрацию всеславянского единства. Впоследствии московский славянский Комитет пытался централизовать славянские движения за рубежом и стать координирующим центром. Однако эти усилия не увенчались успехом.

5. Подготовка и осуществление в конце 60-х годов эмиграции австрийских славян в южнорусские губернии на правах свободных переселенцев.

Естественно, вычленение этих форм славянской политики носит условный характер, так как они были тесно взаимосвязаны. Прежде чем приступить к их отдельному рассмотрению, необходимо упомянуть еще одно важное обстоятельство, влиявшее на характер отношений России к австрийским славянам. Речь идет о позиции венского кабинета. В течение 60-х годов по крайней мере три раза австрийское правительство пыталось найти пути сближения с Петербургом — в 1859, 1866 и 1867 гг. И всякий раз наталкивалось на холодную сдержанность и недоверчивое отношение. Восстановление союза с северной империей было важным по многим причинам: обострявшееся соперничество с Францией в итальянских делах, военно-политическое усиление Пруссии и ее претензии на гегемонию в германской политике, наконец, внутренняя нестабильная ситуация, новый всплеск национализма и обострение венгерского и славянского вопросов.

В начале октября 1859 года на встрече в Варшаве, где присутствовали русские послы при ведущих иностранных дворах бароны Будберг и Бруннов, графы Киселев и Балабин для совместного обсуждения политического положения, А. М. Горчаков сообщил, что граф Рехберг, государственный канцлер Австрии, обратился с предложениями «самого чувствительного свойства». Он предлагал начать с французским, прусским и английским правительствами переговоры об отмене статей Парижского договора, касавшихся флота и той части Бессарабии, которая отошла к Молдавии. Это предложение было сделано в расчете на то, что Австрия «достигнет прекращения неестественной и опасной политики в пользу величайших благ общественного мира»⁴⁹. Однако в высших дипломатических кругах России отнеслись к этому добровольному шагу

весьма скептически, хотя и осознавали его выгоду. Акция, начатая графом Рехбергом, сорвалась из-за непоколебимой позиции Англии. Барон Бруннов, посол России в Лондоне, призывал А. М. Горчакова не спешить с отменой парижских статей, поскольку единственная страна, с которой мог бы лорд Пальмерстон «поцеремониться», Франция, «имеет серьезный повод щадить Англию» и Наполеон III, «даже если бы он заступался за нас, то очень вяло, чтобы затем сказать: „На нет и суда нет“»⁵⁰. Получив 3 декабря 1859 года сообщение Рехберга о неудаче его представлений в Париже, Александр II написал на полях: «По-моему, предпочтительнее оставить на время дело».

Этот шаг австрийской дипломатии, стремившейся восстановить дружественные отношения с Россией, имел вполне определенные мотивы: надвигалась франко-итало-австрийская война. Наполеон III с его откровенной проитальянской политикой в течение 1857–1859 годов также пытался осуществить идею франко-русского союза, направленного, в первую очередь, против Австрии. Опубликованная в 1994 году Л. Г. Захаровой и Л. И. Тютюник переписка Александра II и его брата, Великого князя Константина Николаевича, за 1857–1861 годы позволяет более полно представить новый характер отношений Петербурга и Вены. Итальянская политика Наполеона III неминуемо должна была привести к обострению франко-австрийских связей. С 1857 года французский император начинает активно искать сближения с Россией, что соответствовало тактике А. М. Горчакова и находило одобрение Александра II. В это время Великий князь Константин, игравший видную роль в начавшемся процессе модернизации России, по желанию своего брата отправляется в длительное путешествие по Европе. Его цель — не только подробное ознакомление с мореходством за границей, но и ряд деликатных дипломатических поручений, о которых он тщательно информировал Александра II. Одно из них — установить дружественные отношения с Наполеоном III и подробнее узнать о его политических планах. В январе 1857 года состоялся взаимный обмен посланиями между двумя императорами, в которых они конфиденциально выразили желание взаимного союза как «залога будущего спокойствия Европы»⁵¹. По прибытии в Париж Великий князь Константин был чрезвычайно радушно принят Наполеоном III, не скрывавшим от него своих планов и той роли, которую он отводил в них для России. Участие Франции в антирусской коалиции во время Крымской войны он уже считал политической ошибкой и в то же время с возмущением неоднократно обвинял австрийскую политику в двуличии. Так, к примеру, он сообщил, что во время Парижской мирной конференции к нему приходил граф Буоль, австрийский министр иностранных дел, и просил содействия в том, чтобы Измаил и устье Дуная были отданы Австрии. Наполеон также был уверен, что Австрия стремится к тому, чтобы все ее владения без

исключения, и особенно итальянские, были признаны частью Германского союза⁵². Этого Наполеон III никак не хотел допустить. Считая необходимым провести некоторые «ревизии карты Европы», он посвятил Великого князя Константина в свой план, который заключался в следующем: 1) Франция изгоняет из Италии Австрию и создает там союз по типу Германского во главе с Папой; 2) Франция для себя желает присоединения всего левого берега Рейна, а чтобы Пруссия могла получить за это компенсацию, то можно было бы разрешить ей округлить владения за счет центральных немецких областей; 3) но самым главным в плане Наполеона было создание тройственного союза из Франции, Англии и России, что означало бы наступление новой политики — «...мы достаточно сильны, чтобы заставить плясать под нашу дудку всю остальную Европу»⁵⁹. Это означало бы совместное решение всех восточных вопросов, которые для Наполеона III были прежде всего сосредоточены в бассейне Средиземного моря. Все сохранялось в строжайшей тайне, к которой не допускались даже ведущие дипломаты. Ради этой цели принц Евгений встречался в Варшаве с Александром II.

Этот же проект секретного трактата излагал в конфиденциальном письме Наполеон III российскому императору в ноябре 1858 года. Однако Александр II прекрасно отдавал себе отчет в том, что Франция всеми силами пытается втянуть Россию в новую европейскую войну, поэтому предписывал своему брату «соблюдать крайнюю осторожность». Действительно, во всех переговорах с императором Наполеоном III, с королем Сардинии Виктором-Эммануилом и его доверенным лицом графом К.-Б. Кавуром Великий князь Константин постоянно отвечал, «что мы не будем помогать или поддерживать Австрию, но не больше». Хотя принц Кариньян и граф Кавур и впоследствии заявляли ему, что Венгрия готова восстать и там существует заговор, «проходящий сквозь все сословия», а славянские народы «ждут минуты своего возрождения», позиция Великого князя Константина оставалась неизменной — он уверял, что поддерживать Австрию Россия не будет и предостерегал от излишней торопливости⁵⁴. Но становилось все очевиднее, что Наполеон III никак не удовлетворяла нейтральная позиция России, он желал для Австрии войны на два фронта.

К концу 1858 года он уже предлагал Александру II новый план, цель которого — изолировать Англию от континентальной Европы. В письме Великого князя Константина это предложение было подробно описано: «Чтобы достичь этого единства континента, надо уничтожить силу Австрии, вымарать ее из списка первостепенных держав, дабы материк состоял: 1) из сильной России, 2) из сильной Франции по краям материка и 3) из полусильной Пруссии с слабой Неметчиной посредине, которую мы и вдвоем с Францией всегда можем заставить быть с нами заодно. Тогда, но только тогда Европа будет независима от Англии. Но для всего этого надо, во-первых,

уничтожить la prépondérance de la maison d'Autriche* двойной борьбой с нею Франции и России, в которой первая распространится на юге в Италии, а Россия возвратит себе старое свое историческое достояние Галицию или старое Галицское княжество»⁵⁵. При этом, естественно, предполагалось, что Франция освободится от договоров 1814 и 1815 годов, а Россия — от Парижского договора 1865 года. Хотя Россия к началу 1859 года сосредоточила на границах с Австрией военные силы, но Александр II, желая сохранять доверительный тон в отношениях с Наполеоном III, все же не считал возможным прямое участие в австро-французской войне. Однако не исключал и такой возможности. Он писал брату в начале февраля 1859 года: «Дай Бог только, чтобы нам можно было оставаться сколь возможно долее одними зрителями. Дела в Дунайских княжествах могут заварить новую complication, а тут нам нельзя быть одними зрителями, если Турция и Австрия вздумают действовать военной силой, не дай Бог!»⁵⁶. В итоге между Россией и Францией был подписан секретный договор 19 февраля 1859 года, по которому Россия обещала придерживаться «благожелательного нейтралитета». Страна не была втянута в очередной конфликт.

В то же время Венский кабинет все еще не оставлял надежды возобновить альянс с Россией, сохранив тем самым прежний баланс сил в Восточной Европе.

В конце 1859 года послом в Петербург был направлен опытный дипломат граф Фридрих Тун. В инструкции ему было предписано содействовать улучшению австро-российских отношений, а также особо следить за действиями французской дипломатии в северной столице⁵⁷. С января 1860 года он стал посылать в Вену регулярные отчеты, которые представляют ценнейший материал о состоянии русско-австрийских отношений и содержат характеристики российского высшего света. Граф Тун был сторонником сближения с Россией, хотя и не скрывал от министра иностранных дел Австрии графа Рехберга присутствие антиавстрийских настроений при императорском дворе. Министр А. М. Горчаков, личное мнение которого, как сообщал граф Тун, являлось решающим в определении внешней политики России, придерживался профранцузского курса, отступая тем самым от консервативных и монархических принципов. Об этом же с тревогой сообщал и поверенный при австрийском посольстве граф Фридрих Ревертера, который доказывал, что Наполеон III предоставляет России *carte blanche* в восточном вопросе, поддерживая традиционные русские интересы в обмен на сочувствие его политике в Италии и в Германии. В отличие от посла граф Ревертера был настроен по отношению к России менее лояльно, хотя и считал ее частью европейской цивилизации, но такой, которая вмещает в себе также

* Главенство австрийского дома. — *Перевод автора.*

и «азиатский деспотизм», и особую внешнюю политику, «строющуюся на принципе „славизма“ и пан-Православия»⁵⁸.

С 1861 года в дипломатических донесениях одной из ведущих тем становится польский вопрос и в связи с этим ухудшение отношений Петербурга с Парижем. По мнению Фридриха Туна, польский вопрос, по сути вопрос религиозный, был вызван нетолерантным отношением русского правительства к своим католическим подданным. В то же время это — национальное движение с ярко выраженной автономистской тенденцией, которое во многом инспирируется французскими либералами и представляет, по его мнению, серьезную опасность не только для России, но и для австрийских и прусских владений⁵⁹. Нарастание польского конфликта заставило австрийскую дипломатию действовать более активно. В марте 1863 года граф Тун получил депешу, разосланную в австрийские дипломатические миссии в Париж и Лондон, где обрисовывалась позиция Вены по польскому вопросу. Правительство выражало озабоченность, что революционные действия перекинутся в соседнюю Галицию. В этом случае предполагалось даже начать переговоры с Петербургом о совместных действиях в целях «сохранения общественной безопасности». В целом Вена выражала поддержку действиям российского правительства по пресечению революционных выступлений⁶⁰. В условиях усиливавшейся дипломатической изоляции и резкого осуждения в Европе насильственного подавления польского движения как раз в то время, когда наметившийся было союз России с Францией из-за польского вопроса сменился резким охлаждением, австрийская дипломатия предпринимает еще один шаг к сближению с Петербургом. Это намерение было недвусмысленно выражено в письме министра Рехберга графу Туну от 13 марта 1863 года. Ему предлагалось довести до сведения высших должностных лиц, что «цель, которую мы на данный момент преследуем в России — сохранить хорошие отношения с петербургским кабинетом и представить доказательство, что мы несравненно выше того, чтобы заниматься мелочной местью и воздавать равным за равное, что мы своей корректной и лояльной политикой оказываем императору Александру гораздо большие услуги, чем самые навязчивые друзья»⁶¹. Для этой цели Австрия увеличила численность своих войск в Галиции и заняла весьма осторожную позицию в оценке подавления польского восстания. В это же время австрийский посол обсуждал возможность своего перевода из Петербурга в Берлин. Император Франц-Иосиф сначала предполагал перевести из Берлина в Россию опытного и доверенного дипломата графа Кароли, однако потом решил оставить его на прежнем месте, а графу Фридриху Туну в его просьбе было вежливо отказано: «Берлинский пост сегодня нельзя назвать приятным, уж если у Петербурга есть свои теневые стороны, то положение императорского посланника в Берлине еще хлопотливее, нужно обладать тем

спокойствием, которое имеет граф Кароли, чтобы за короткое время полностью там не измотаться»⁶².

Однако и на посту в Петербурге хватало серьезных проблем. Графу Туну еще не подыскивали в Вене преемника, поэтому основные обязанности были возложены на графа Ревертеру. В апреле 1863 года в Петербург приехал родственник бывшего посла дипломат граф Гвидо Тун, который продолжил миссию своего предшественника.

В посланиях за 1863 год появляется новый сюжет — польское восстание вызвало в обществе всплеск националистических настроений. Все чаще в донесениях констатируется, что в России, особенно в Москве, существует влиятельная «ультра-русская партия», или «старая русская партия» (*l'ancien parti russe*), которая все усилия сосредотачивает на достижении гармонии России на Балканах и присваивает себе роль единственной полноправной защитницы христианских народов в Османской империи. Эта партия оказывает сильное давление на Министерство иностранных дел, что вызывает активизацию русской политики в восточном вопросе — «постоянные интриги русских агентов в Греции, Сербии, Дунайских княжествах и в Черногории»⁶³. В донесении от 1 мая 1863 года указывается, что в салоне императрицы Марии Александровны, имеющей определенный вес в русской политике, весьма популярны «панславистские идеи»⁶⁴. Действительно, дипломат Ю. С. Карцев в своих воспоминаниях подчеркивал, что около императрицы сформировалось окружение, считавшее необходимым исполнение миссии славянского освобождения: «Императрица Мария Александровна была хоть и несколько маскированным, но влиятельным фактором тогдашнего политического положения. ...Свое понимание России и ее политических целей Государыня заимствовала из того своеобразного символа, который в увлекательной форме выражен в поэтических произведениях А. С. Хомякова, Ф. И. Тютчева. ...Она была убеждена, что освобождение единоверных славян — историческое призвание России и есть дело любви, а не корысти»⁶⁵. О прославянских взглядах императрицы имеются также сведения в воспоминаниях А. Ф. Аксаковой. В салон императрицы были вхожи Ф. И. Тютчев и граф А. Д. Толстой, обер-прокурор Святейшего Синода, графиня А. Блудова. Прославянские взгляды разделял также и Великий князь Константин Николаевич, которого даже считали предводителем «славянской партии» при дворе⁶⁶.

В то же время австрийский кабинет в 1863 году гораздо в большей степени интересовался возможностью сближения с Россией. В письме Туну от графа Андраши откровенно заявлялось: «Поскольку мы не намерены отступать от занятой нами ранее позиции по польскому вопросу, то мы не будем участвовать в шагах, предпринятых Англией в Петербурге, мы верим, что императорский российский кабинет получит тем самым новое доказательство нашей лояльности»⁶⁷. Австрийское правительство было даже согласис-

взять на себя роль посредника в улаживании конфликта России с Папской курией относительно положения католиков в Западном крае⁶⁸. Однако эти акции доброй воли не возымели желанного действия. Когда для России вновь встал вопрос о союзнике в отмене нейтрализации Черного моря, выбор пал не на Австрию, а на Пруссию. Бисмарк, также предпринявший шаги к сближению двух стран на основе взаимной заинтересованности в наведении «порядка» в польских землях, подписал 27 января 1863 года совместную с Россией конвенцию.

В условиях очередной внешнеполитической изоляции Петербург не стал препятствовать германской политике Бисмарка. Но австрийские дипломаты еще не теряли надежды. В условиях усиливающегося соперничества двух германских держав Вена и в 1864 году пыталась вновь приобрести лояльность России. В конфиденциальном послании «Pre-Mémoria» от 12 марта 1864 года, отосланном в Петербург, графу Гвидо Туну предписывалось комбинированными усилиями добиться расположения петербургского кабинета. Австрия была готова поддержать интересы России в бассейне Черного моря в обмен на ее согласие придерживаться проавстрийской позиции в датском конфликте⁶⁹. В период войны Пруссии и Австрии против Дании в 1864 году Россия сохраняла нейтралитет и не препятствовала захвату Пруссией Шлезвига и Гольштейна. Известно, что А. М. Горчакова беспокоил прусский экспансионизм и угроза перевеса сил в Центральной Европе. Российский вице-канцлер пытался сохранить австро-прусский баланс⁷⁰.

Однако российское правительство стремилось избегать всего, что могло бы бросить тень на отношения с Пруссией. Л. М. Шнеерсон в своей книге «Австро-прусская война 1866 года и дипломатия великих европейских держав» (1962) на основе обширных архивных материалов убедительно показывает, что поведение российской дипломатии в процессе развития австро-прусского конфликта не выходило за рамки чисто дипломатического противодействия прусской политике. В Петербурге с большой настороженностью следили за углублявшимся национальным вопросом в самой Австрийской империи, видя в этом симптом глубокого государственного кризиса. С другой стороны, росло опасение, что австро-пруская война может спровоцировать обострение польского вопроса⁷¹. В этот период в истории русско-австрийских отношений создается еще раз реальная возможность нового альянса. Если бы она реализовалась, то скорее всего германское объединение могло пойти по другому пути.

После позорного поражения в «молниеносной войне» с Пруссией в условиях, когда единственно приемлемым решением для умиротворения венгерского вопроса был дуализм, австрийское правительство вновь обращается к своей утерянной союзнице. Это была отчаянная и очень откровенная попытка, несвойственная осторож-

ной и двойственной линии поведения австрийской дипломатии. Заветной идеей петербургского кабинета об отмене статей Парижского договора вновь попытался воспользоваться австрийский министр иностранных дел. На этот раз — саксонец барон Бойст, назначенный на этот пост 21 октября 1866 года. Через два дня после своего назначения он объявил российскому посланнику в Вене графу Штакельбергу о начале новой политики Австрии на Балканах. В депеше от 1 января 1867 года на имя австрийского посла в Париже князя Меттерниха Бойст однозначно дал понять, что Австрия выступает с инициативой созыва европейской конференции для того, чтобы великие державы смогли пересмотреть статьи Парижского договора и выработать меры по защите восточных христиан⁷². Однако Париж не одобрил это предложение, вызвавшее сенсацию в дипломатических кругах. Князь Горчаков телеграфировал Штакельбергу: «От слишком большого рвения со стороны Бойста происходят сплетни в Париже. Его почин там считают нашим. Необходимо соблюдать более сдержанности по отношению к нему»⁷³. В беседе с канцлером Бойстом российский посол упрекнул его за этот шаг, который привел к возбуждению недовольства Франции, и заявил, что Россия в состоянии сама решать свои проблемы и обойтись без всякого иного вмешательства⁷⁴.

Итак, мы видим, что на протяжении 60-х годов Австрия делала несколько попыток загладить трещину в отношениях с Россией, образовавшуюся после Крымской войны. Обе империи переживали переломный момент: нестабильное положение в европейской системе усугублялось внутренним социально-экономическим кризисом. Реформы Александра II совпали по времени с конституционными экспериментами в монархии Габсбургов. Если до Крымской войны обе империи, несмотря на отдельные противоречия, являлись союзницами в защите принципов консерватизма и монархизма не только за своими пределами, но, что очень важно, внутри собственных границ, то после распада этого союза начинается процесс постепенного разложения структур имперского универсализма, казавшихся ранее незыблемыми. Именно этим обстоятельством, как представляется, можно объяснить настойчивость австрийского кабинета в восстановлении партнерских отношений с Россией. Лишившись опоры на этот консервативный союз, Вена вынуждена была на протяжении 60-х годов делать уступку за уступкой в решении национального вопроса.

Провозглашенный Наполеоном III «принцип национальности» как принцип государственной политики для российской дипломатии был выигрышным, поскольку позволял использовать атрибуты славянской взаимности во внешнеполитических акциях (этно-национальное право России на защиту единоверных и единоплеменных славян), и был губительным для Габсбургской империи. Недаром именно 60-е годы ознаменовались всплеском по-

литической активности различных национальных сил в австрийских провинциях. Таким образом, один из факторов, ускоривших процесс модернизации государственных структур Австрийской монархии и приведших к образованию Австро-Венгрии, заключался, на наш взгляд, в невозможности восстановления российско-австрийского монархического союза и новой дипломатической тактике петербургского кабинета.

IV. Славянский съезд 1867 года

Славянский съезд, проходивший в двух русских столицах — Москве и Петербурге — в мае-июне 1867 года, стал поворотным моментом в российско-австрийских отношениях. Хронологически он почти совпадал с ратификацией австро-венгерского соглашения. И в то же время это событие, в котором приняли демонстративное участие зарубежные славянские делегации (примерно 80% составляли австрийские славяне), фактически подвело черту под пророссийским курсом венского кабинета и попытками восстановления прежнего альянса.

Об организации и проведении в России общеславянского съезда написано много работ⁷⁵. В этой статье остановимся лишь на одном аспекте проблемы — отношении к приезду славянских гостей в официальных кругах и реакции на это событие австрийских дипломатов. С 1865 года в дипломатической переписке все чаще начинает употребляться понятие «панславизм» при характеристике умонастроений российского общества. Граф Ревертера докладывал о существовании двух основных «партий», ориентирующихся на славянский вопрос. Первую, аристократическую, возглавляет, по его мнению, Великий князь Константин. Для его взглядов характерны «идеи демократического царизма и панславистской федерации». Вторая партия («славянофильская фракция») концентрируется вокруг редактора «Московских Ведомостей» М. Н. Каткова, который развернул, особенно в Москве, активную агитацию национализма⁷⁶. Эти прославянские тенденции проявляются не только в официальной позиции России по балканскому вопросу, но, что особенно тревожило венский кабинет, в учащающихся случаях «русской пропаганды» в Галиции и северной Венгрии, умышленно разжигающей противоречия между католическим и греко-униатским духовенством⁷⁷. В мае 1867 года посол Ревертера поставил перед А. М. Горчаковым вопрос о прорусской пропаганде среди русинов в Галиции, направленной против Австрии⁷⁸. Более того, Ф. Ревертера не исключал, что русское правительство явно заинтересовано в распространении своего взгляда на Галицию. Однако А. М. Горчаков в беседах с ним всегда отклонял эти предположения. Галицийский вопрос вновь возник в связи с проведением славянских торжеств. Как яв-

ствуется из донесения австрийского посла, в разговоре с А. М. Горчаковым он спросил, как отнеслось бы российское правительство к тому, если бы в Царстве Польском начались проавстрийские выступления. Однако вице-канцлер в ответ заявил, что вряд ли там найдется много желающих. Он заверил графа Ревертеру в том, что «правительство не имеет ничего общего с прославлением так называемой славянской народности, которая очевидно не будет иметь других сторонников, кроме определенной части московской печати, известной своим заступничеством и эксцентричностью»⁷⁹. Примерно то же он заявил и прусскому посланнику⁸⁰. Сам Александр II в 1868 году при встрече с австро-венгерским поверенным бароном Вечерой высказался в отношении австрийских славян так: «...разве император австрийский мог полагать, что я хотел завлечь его подданных? Пусть все эти демонстрации мне были неприятны, я не оказывал им помощи, а только жалел их»⁸¹.

Однако, как свидетельствуют записи в дневнике министра внутренних дел П. А. Валуева, государь был заинтересован в успешном проведении съезда⁸². Он даже принял некоторых славянских гостей в Царском Селе, а императрица в беседе с Ф. Палацким и Ф. Ригером выразила сожаление, что «у всех славянских племен нет единой общей азбуки и одного правописания»⁸³.

Своеобразие славянских торжеств, которые граф Ревертера в одном из посланий охарактеризовал как «национальный фарс», заключалось в том, что в прием гостей оказалась вовлеченной большая часть московского и петербургского общества. Их принимали в высших официальных сферах — аудиенция у Александра II, визит к А. М. Горчакову, министрам Д. А. Толстому, П. А. Валуеву, генерал-губернатору В. Андрееву. В честь гостей устраивались нескончаемые торжественные обеды и концерты в высшем аристократическом обществе. Они были восторженно приняты в университетской и академической среде. А московское купечество с чрезвычайным размахом устраивало «братьям-славянам» празднества. Естественно, кулуарная сторона съезда была гораздо более интересной и насыщенной, чем публиковавшийся поток речей и выступлений в российской прессе, прошедшей предварительную цензурную обработку. Однако как гости, так и принимающая сторона (особенно официальные лица) подчеркивали аполитичный характер этого события.

В его истории сохраняются до настоящего времени некоторые невыясненные вопросы. Один из них — наличие у знаменитого «триумвирата» — Ф. Палацкого, Ф. Ригера, Ф. Браунера, возглавившего самую многочисленную и представительную чешскую династию, так называемого «Константинового плана».

С. А. Никитин считал, что Ф. Ригер пытался обсудить на встрече с Великим князем Константином идею создания двух славянских государств (Западно-Славянской империи и государственного союза на Балканах), которые бы находились под эгидой России. Есте-

венно, это могло осуществиться лишь при распаде Австрии. Однако никаких прямых доказательств, за исключением одного косвенного — намек в дневнике адъютанта Великого князя А. Киреева — не приводится⁸⁴. В связи с этим подобное утверждение представляется спорным, поскольку политический панславизм был чужд чешской концепции национальной борьбы. Возможно, что чешских политиков, как и австрийских дипломатов, весьма интересовала позиция России в предстоящем франко-прусском военном конфликте, и они пытались заручиться определенными гарантиями на случай очередного вторжения Пруссии на австрийскую территорию. В идеологии чешского движения, основанной на принципе австрофедерализма, была ярко выражена идея защиты австрийского государства как необходимой третьей силы, уравнивающей давление великих держав в Центральной Европе. Поездка в Россию явилась одной из первых акций формирующейся национальной дипломатии, которая подхватила инициативу официальной австрийской политики и уже своими методами пыталась достичь российско-австрийского сближения. Искренне убежденные в том, что дуализм приведет к альянсу с Пруссией, чешские патриоты считали, что только союз с Россией спасет австрийское государство⁸⁵. Однако они не получили никаких гарантий от официальных лиц в России.

В целом, съезд не имел видимых практических результатов: по всем основным вопросам между сторонниками державного панславизма и славянскими гостями проявились серьезные расхождения. Не получила признания предлагаемая принимающей стороной трактовка славянской взаимности («гармония в единстве», безусловное признание руководящей роли России в славянском движении); несмотря на многочисленные попытки со стороны хозяев, славянские делегации так и не признали необходимость распространения русского языка как основного средства межславянского общения. Наконец, ожидавшаяся организаторами съезда поддержка со стороны славян политики России в Царстве Польском также не удалась. Было решено только устраивать периодические славянские съезды и углублять научно-культурное сотрудничество. Граф Ревертера, подробно освещавший весь ход съезда, удовлетворенно заметил в одном из своих отчетов, что все славянские манифестации показали иллюзорность попыток создания какого-либо союза славянских народов. Славянское движение, в отличие от германского объединительного движения, слишком неразвито и не будет иметь в будущем подобных успехов⁸⁶.

Действительно, съезд 1867 года больше походил на парадную акцию. Перед поездкой в Париж на встречу с императором Наполеоном III Александру II было лестно продемонстрировать европейскому общественному мнению то, что Россия является признанной покровительницей славянских народов. Эти торжества и всплеск прославянских симпатий в обществе, без сомнения, способство-

вал распространению «морального влияния» России. Дипломатия А. М. Горчакова искусно использовала новое средство — осторожную игру в панславизм. И именно в этом смысле съезд 1867 года явился событием весьма значительным. Самим фактом его проведения российское правительство впервые открыто признало роль России в решении спорных «славянских вопросов» и ее право на покровительство славян — подданных соседних держав. Это была своего рода кульминация первого этапа славянской политики, которая вышла за рамки дипломатических комбинаций и салонных бесед и стала общественным явлением.

Для того, чтобы более полно представить, как нарастал в течение 60-х годов интерес к зарубежным славянам (в данном случае — к австрийским), обратимся к материалам Святейшего Синода и Славянского Благотворительного комитета.

Документы Святейшего Синода второй половины 50-х — в 60-е годы свидетельствуют о целенаправленных усилиях по распространению Православного вероисповедания в австрийских владениях. Начиная с 1857 года Михаил Федорович Раевский, настоятель посольской церкви в Вене, по просьбе графа А. П. Толстого, бывшего в 1856–1862 годах обер-прокурором Синода, стал подробно сообщать ему о внутренних отношениях в Габсбургской монархии. «В сношениях моих со славянами, — писал он в первом письме, — не перестая пользоваться их всегдашней ко мне доверенностью»⁸⁷. Сам обер-прокурор придерживался мнения, что для славянских народов «единство веры, без всякого сомнения, есть залог прочнейшей связи»⁸⁸. Примечательно, что в 1865 году министр внутренних дел П. А. Валуев, беседуя с новым обер-прокурором Ахматовым, пришел к выводу: «его идеал — величие России». «Следовательно, — записал министр в своем дневнике, — точка отправления обер-прокурора Святейшего Синода вовсе не синодальная»⁸⁹. Религиозные и политические вопросы были тесно переплетены в деятельности одного из высших государственных органов.

Особый интерес у А. П. Толстого вызывала карта конфессионального разделения народов Австрийской империи, а также отношение венского кабинета к различным вероисповеданиям. М. Ф. Раевский неоднократно как в личной переписке, так и в дипломатических рапортах подчеркивал весьма подозрительное отношение Вены к православию. Сам он разрабатывал подробные проекты, направленные на укрепление и распространение Православия в австрийских владениях, которые и подавал на рассмотрение в Святейший Синод. Основное внимание он предлагал уделять отправке религиозной литературы и материальной поддержке (как частной, так и государственной) православных церквей и монастырей, основанию в Вене библиотеки духовной литературы, расширению книготорговли, созданию в Белграде склада русских книг, чтобы удобнее было переправлять их в Австрию, материальной поддержке изда-

ний русофильской ориентации, наконец, субсидированию славянских движений⁹⁰. На поддержание уже существующих православных церквей и монастырей за границей, а также на строительство новых выделялись значительные средства как государственные, так и из фондов общественной благотворительности. Наибольшее внимание уделялось все же славяно-балканским землям (прежде всего — Сербии, Боснии и Герцеговине). Из австрийских владений особое значение придавалось Галиции. Если в конце 30-х — 40-е годы Синод относился к униатам отрицательно, то теперь ситуация изменилась. Со второй половины 50-х годов все более укрепляется мнение, что Православная церковь должна поддерживать духовенство в Галиции и восточной Словакии, поскольку именно оно составляет основу национального движения. Судя по протоколам Святейшего Синода, помощь «единоплеменникам» в австрийских владениях постоянно в течение 60-х годов увеличивалась⁹¹. Политика Синода являлась неотъемлемой частью российской дипломатии, чутко реагирующей на новые тенденции в правительственных кругах в отношениях с Габсбургской монархией. В то же время церковь преследовала и собственные цели по распространению «православной миссии» за пределами России. Это была четко и умно организованная миссионерская деятельность.

Интересно сопоставить методы и направленность религиозной благотворительности с деятельностью еще одной организации, ставшей заметным явлением в пореформенной России. К сожалению, до настоящего времени существует только одно авторитетное исследование, посвященное славянским комитетам в России, принадлежащее перу видного историка-слависта С. А. Никитина. Эта работа, изданная в 1960 году и написанная на основе значительного количества архивных материалов, ставит ряд важнейших проблем, не решенных до сих пор⁹². Среди них — вопрос о взаимосвязи славянских комитетов, организаций формально общественных, с тактическими действиями российской дипломатии. Еще в начале нового царствования на имя А. М. Горчакова была подана записка о создании общественного комитета для того, чтобы «противодействовать распространению между южными славянами пропаганды латинской, иезуитской и политической с целью уничтожения влияния России и сочувствия к ней»⁹³. 26 января 1858 года по представлению министра иностранных дел было получено Высочайшее утверждение Московского Славянского Благотворительного комитета (далее в тексте — СБК).

По мнению слависта Н. А. Попова, бывшего длительное время секретарем комитета, в его деятельности можно выделить три основных периода. В первое пятилетие (1858–1863 гг.) СБК «лишь случайно соприкасался с потребностями остальных славян, ограничивая свои сношения преимущественно южными славянскими племенами, подвластными Турции»⁹⁴. Пожертвования поступали из

различных источников: по открытой благотворительной подписке в газете И. С. Аксакова «День», ставшей печатным органом комитета, от министерства народного просвещения, от единокровных частных пожертвований. В итоге за первое пятилетие поступило до 22 тысяч рублей и было израсходовано до 18 тысяч. Из этой суммы правительственные субсидии составили примерно 20% ⁹⁵. С 1863 по 1867 год комитет испытывал серьезные затруднения не только финансового характера. Польское восстание на короткое время всколыхнуло общественное мнение: увеличилось количество членов и пожертвований, особенно на поддержку православного духовенства в польских землях. Но затем наступил спад. Как признавал Н. А. Попов, в это время «все реже становятся собрания членов комитета, действует только распорядительное собрание, многие идеи остаются только в протоколах или только начинаются, но не доводятся до конца» ⁹⁶. Перелом наступает в связи с организацией и проведением в России первого всеславянского съезда в мае-июне 1867 года. Приезд славянских гостей, благосклонный прием в высших правительственных сферах, активная пропаганда славянской идеи в ведущих российских газетах — все это вызвало небывалый размах «славянского чувства» в обществе, который изумил не только приехавших славян, но и самих организаторов. СБК, принявший самое активное участие, снискал значительную популярность, что естественно способствовало увеличению количества членов общества и, с другой стороны, создало условия для организации новых комитетов в Петербурге (1868), Киеве (1869) и Одессе (1870). Изменяется направленность деятельности СБК — резко усиливается, особенно по сравнению с предшествующими периодами, интерес к австрийским славянам. На средства комитета, к примеру, финансировался журнал «Славянская заря», издававшийся в Вене в 1868 году на русском языке. Он пропагандировал идеи не только литературного панславизма, но и политического. С этого же времени стала оказываться финансовая поддержка обществу «Русская основа», состоявшему из славянских студентов, обучавшихся в Вене. Его организатор — М. Ф. Раевский — пытался объединить австро-славянскую интеллигенцию на основе изучения русского языка и знакомства с культурой России. Благотворительность, как правило, имела две основные формы — посылка денежных пособий и отправка книг. К примеру, в протоколе заседания СБК от 16 февраля 1868 года читаем: «Определенно выслать для русских учебных заведений в Галиции — 1000 рублей, для словацких — 700 рублей, бедствующим славянским студентам Венского университета 600 рублей, в пользу славян, пострадавших за поездку в Россию, — 800 рублей» ⁹⁷. В другом протоколе значится, что в австрийские владения было отослано около 5000 томов исторических сочинений, которые предназначались для Галицийской русской матицы, Русского народного дома во Львове, общества Иоанна Крестителя в Венгрии,

Словацкой матицы и словацких гимназий в св. Мартине и в Великой Ревуче, Чешского музея в Праге, Славянской беседы в Вене и др.⁹⁸. Обращает на себя внимание тот факт, что эта форма благотворительности, подобно «православной миссии», к концу 60-х — началу 70-х годов ориентировалась в значительной степени на Галицию и словацкие земли Венгрии. При открытии киевского отделения СБК 1 октября 1869 года М. П. Погодин прямо наметил цель — содействовать распространению русского языка и Православия в Галиции и Венгрии: «Вот этим, т. е. русским языком, мы настроим в Европе такие себе батареи и верки, перед которыми ничего не значат каменные и земляные укрепления. С языком тесно связано Православие»⁹⁹.

Социальный состав членов комитета был весьма разнороден. Многие из его ведущих деятелей были тесно связаны с Министерством иностранных дел. Так, М. П. Погодин и И. С. Аксаков имели дружеские отношения с директором Азиатского департамента Е. П. Ковалевским, Н. А. Попов — с Н. П. Игнатьевым, послом в Константинополе. В. И. Ламанский и А. Ф. Гильфердинг были известны своими широкими официальными связями, а к М. Н. Каткову, издателю «Московских Ведомостей», съезжались самые видные государственные деятели. С. А. Никитиным было проведено исследование социального состава этой первой волны славянского движения в России. Сделанные им выводы представляют значительный интерес. В начале 60-х годов около 40% составляла интеллигенция, в основном профессура Московского и Петербургского университетов. На протяжении этого десятилетия постоянно увеличивалось количество членов комитета из дворянской среды, как титулованных, так и нетитулованных, чиновных и не служащих. Дворяне-чиновники составляли 36%, а офицерство — 28%, причем значительную группу образовывали офицеры, воевавшие на Кавказе. Купеческие фамилии встречаются реже. Они жертвовали иногда много, но не систематически. Лишь после съезда 1867 года их количество стало возрастать¹⁰⁰. У комитета не было собственной идеологической программы или каких-либо общих установок. Членов комитета объединяло искреннее сочувствие делу «славянского освобождения», которое, однако, понималось по-разному. Г. К. Градовский, входивший в московский СБК, оставил воспоминания о его деятельности конца 60-х — начала 70-х годов. Он пишет: «Славянский комитет терпелся, но под условием, чтоб все было шито-крыто и не выходило из пределов умеренности и установленного благоповедения. С каждым годом и довольно быстро, однако, значение комитета разрасталось. К нему предъявлялись более широкие требования со стороны общества, которое как бы стихийно, без достаточного углубления в славянофильской утопии, чувствовало, что надо создать новые опоры против германского на-
цистализма»¹⁰¹.

V. Империя и славянство

История славянских комитетов — внешнее отражение глубинных процессов, происходивших в это переломное время в общественном сознании России, мучительно пытавшемся в условиях относительной либерализации найти новую парадигму исторического развития. Действительно, медленно разворачивавшееся славянское движение было чрезвычайно пестрым не только по своему социальному составу, но и идеологической ориентации. Однако, как признает С. А. Никитин, основной тон здесь задавали все же сторонники «политического панславизма»¹⁰². Этот термин представляется мне не совсем удачным, поскольку любая идея общеславянского объединения, будь то в государственном масштабе или путем признания русского языка как всеславянского, имеет выраженный политический подтекст. Речь идет о совершенно особой форме панславистских представлений, рожденных именно условиями Российской империи и содержащих в себе черты этатистской идеологии. В данной статье эта форма определяется как «державный (имперский) панславизм». Изучать это необходимо — и не только для того, чтобы делать выводы о его роли во внешней политике России или попытаться, наконец, ответить на вопрос: «Насколько же реальной была угроза панславизма для народов Центральной Европы?», но и потому что эволюция державного панславизма иллюстрирует одну из граней сложного процесса самопознания российского общества, попыток его самоопределения в общей европейской системе. К сожалению, рамки статьи ограничены и не позволяют подробно остановиться на этой весьма дискуссионной проблеме, поэтому рассмотрим лишь некоторые ее аспекты. Генезис этой формы панславизма связан с уже упоминавшимися трактатами Ф. И. Тютчева, написанными на рубеже 40–50-х годов.

В них была выведена отчетливая концепция достижений Российской идеальной формы империи. В официальной доктрине российской державности, созданной эпохой Николая I, ортодоксальные основы были тесно переплетены с имперским принципом. Ф. И. Тютчев дополнил его, прибавив к трехчленной структуре еще одно звено — «славянство». Он писал: «Империя едина: Православная церковь — ее душа, славянское племя — ее тело. Если бы Россия не пришла к империи, то она зачахла бы». Для него понятие «империя» являлось наиболее емкой и сущностной характеристикой России. В трактате выведена трехступенная формула эволюции российского государства: первая — Россия в ее нынешнем состоянии, вторая — «империя Востока — это Россия в окончательном виде, с разрешением восточного вопроса», третья — это реализация мирового господства: «мы приближаемся к Вселенской монархии, то есть восстановлению законной империи». Итак, неизбежность мировой миссии

России. Важнейшим шагом для ее осуществления он считал поглощение Австрии (в трактате употребляется именно это слово — «l'absorption»)¹⁰³. В набросках к главе «Австрия» Тютчев показывает ее нежизнеспособность и делает вывод: «вопрос для австрийских славян сводится к следующему: либо оставаться славянами, сделавшись русскими, либо оставаться немцами, оставаясь австрийцами». «Стать русскими» — означало принятие Православия и русского языка, иными словами, русификацию¹⁰⁴. На примере трактата Ф. И. Тютчева как в разрезе можно видеть особую логику великодержавного панславизма. В подобном соединении имперского принципа со славянской идеей на первый план выступает этатистское мировоззрение. Унаследованное еще с прошлого столетия видение мира сквозь призму дихотомии «Россия — Запад», обостренное европейскими конфликтами, вызывало в среде консервативно настроенных интеллектуалов стремление оградить «исконные ценности» и, более того, распространить их на весь «славянский мир». Речь шла о специфической логике власти ради власти: Россия — центр славянства, следовательно, Австрия, вбирающая в себя центральноевропейское пространство, воспринималась как препятствие к вожделенному русско-славянскому воссоединению и утверждению вселенской монархии. Еще одной важной чертой являлась убежденность в преимуществе российского государственного порядка. Ф. И. Тютчев считал Империю абсолютом, наилучшим принципом устройства государственной жизни: славяно-русская народность, строгая централизация — государственная и культурно-религиозная. Неудивительно, что Габсбургская монархия с провинциальными сеймами и острым национальным вопросом рассматривалась как недееспособное государство. Если основным принципом понимания славянской идеи у австрийских славян было «своеобразие в гармонии», то в основе державного панславизма лежала идея — «гармония в единстве».

Развитие этой формы панславистских представлений, в которых дихотомия «Россия — Запад» была заострена до идеи их альтернативного существования, тесно связана как с внешнеполитическими реалиями, так и с внутренними проблемами Российской империи. Основной импульс к распространению этих идей в широких кругах общества был дан Крымской войной. Сами трактаты Ф. И. Тютчева в 50-е годы были более известны за границей, чем в России. С ними был знаком лишь узкий круг доверенных людей, к которому принадлежал и М. П. Погодин.

Поражение в войне и последующая дипломатическая изоляция потрясли общественное сознание, уязвили национальное самолюбие. Ослабление цензурных ограничений способствовало наступлению, по выражению Петра Ткачева, «медового месяца» российской журналистики. Редактор «Московских Ведомостей» М. Н. Катков признавался впоследствии чешскому журналисту Э. Вавре, что «по-

ворот к славянской проблематике в правительстве произошел недавно: до этого журналы для панславистских статей были закрыты»¹⁰⁵. После рескрипта 1847 года и молчания на тему о славянах «Политические письма» М. П. Погодина, появившиеся в 1853–1856 годах, произвели сенсацию и, по свидетельству современника, «в тысячах экземплярах они облетели Россию и везде подвергались горячему обсуждению»¹⁰⁶. В них ярко проявилась идея, которую М. П. Погодин подробно излагал в письме к Тютчеву: «Русские Великия Князья на престолах Богемии, Моравии, Венгрии, Кроации, Славонии, Далмации, Сербии, Болгарии, Греции, Молдавии, Валахии, а Петербург — в Константинополе»¹⁰⁷. Условием осуществления подобного плана должно было стать, по его мнению, предоставление Польше автономии в пределах Российской империи, союз с Францией и открытая материальная поддержка Россией славянских движений в Австрии и Турции. Только тогда «Россия опять станет страшна Западу, вместо того что теперь страшен ей Запад»¹⁰⁸. «Политические письма» в целом представляли собой своеобразное соединение рационального и некритического мышления. С одной стороны, в них проступали картины всеславянской империи, но с другой — весьма критический анализ внутреннего положения России. Но в этих письмах не было той логической последовательности, свойственной трактатам Ф. И. Тютчева. Если в 30–40-е годы в русской мысли бытовал обобщенный образ «Запада» как разлагающегося государственного организма, который разъедают революционные движения, религиозные распри, индивидуализм, то после Крымской войны уже проступают новые акценты, делается упор на непримиримую враждебность европейского общества. Это и рождало мысль, что Россия только тогда будет в безопасности, если сама будет «страшна» Западу. Тезис славянофилов о противоположности двух начал воспринимался не только как гарантия «славянского мира» от социальных катаклизмов, но и приобретал форму своеобразной военно-политической доктрины. Возможность общаться с Западом с позиции силы должны были дать славянские народы, находившиеся за пределами России.

Второй импульс развитию державного панславизма был дан польским восстанием 1863–1864 годов. Польский вопрос, эта незаживающая рана в теле России, еще более обострил альтернативность панславистских установок: кто не поддерживает действий России, тот не славянин. Если под влиянием Крымской войны мессианские идеи являлись своего рода моральной компенсацией за поражение, то уже к середине 60-х годов в них все более усиливаются элементы самовозвеличивания. На этой волне идея единого Православного вероисповедания для всех славянских народов приобрела много сторонников, особенно в среде университетской интеллигенции. Из теоретиков державного панславизма наиболее последовательно ее отстаивали в 60-е годы И. С. Аксаков, А. Ф. Гиль-

фердинг, А. А. Краевский, М. Н. Катков, В. И. Ламанский, М. П. Погодин¹⁰⁹. Как правило, требование единого вероисповедания подразумевало также и принятие всеми славянами русского языка как средства межнационального общения. Создавались общеславянские азбуки, рассматривались пути перехода для западных славянских языков с латинской письменности на кириллицу.

Идея гомогенной культурно-религиозной славянской общности противопоставлялась «сепаратизму» отдельных славянских движений. На протяжении XIX века универсальная имперская идея сталкивалась в общественных дискуссиях в России с внутренними проблемами «остзейских немцев», пробуждением Украины, польским вопросом. Сепаратистский характер украинофильства изумил российских традиционалистов и до конца остался ими неосмысленным: федеративная идеология Костомарова и Драгоманова вызвала резкий отпор со стороны «охранительного» направления. В 60-е годы не менее резко критику возбуждали национальные устремления зарубежных славян. На чешскую программу федерализма обрушивались «Московские ведомости», «Русский» М. П. Погодина, «Москва» И. С. Аксакова, «Голос» А. А. Краевского.

Сторонники державного панславизма категорически выступали против возобновления союза с Австрийской империей. Вообще, для российской публицистики (исключение, пожалуй, составляет ряд официальных газет — «Journal de St. Peterbourg» — орган Министерства иностранных дел, «Русский инвалид», издававшийся Военным министерством и др.) было характерно в 60-е годы довольно скептическое отношение к этой соседней державе. Не только пресса панславистской направленности, но и издания либерального и демократического толка критически расценивали современное положение австрийского государства и предсказывали ему близкий крах. Газеты уделяли много внимания угнетенному положению австрийских славян, обвиняя в этом австрийское правительство¹¹⁰.

Естественно, наиболее резко позволяли себе высказываться панславистские издания. В публикациях на эту тему, как правило, повторялись два основных мотива: предательство во время Крымской кампании и национальный сепаратизм — «роковая сила», которая «неизбежно влечет ее к гибели». Австрию оценивали как государство, которое так и не смогло реализовать принцип империи: «это не есть нация, в ней нет единого народа, а есть только народы»¹¹¹. «Дикий анахронизм», в котором сосуществование народов объясняется лишь инерцией «законности»¹¹². После поражения австрийской армии в «молниеносной войне» с Пруссией в 1866 году мало кто сомневался в близком крахе монархии Габсбургов. Подобное скептическое отношение еще более укреплялось в период проведения славянского съезда в 1867 году. Итак, мы видим, как в 60-е годы появляются новые тенденции в общественных умонастроениях. Однако не следует считать, что державный панславизм стал одной

из ведущих идеологических доминант. Скорее интерес к зарубежному славянству, особенно австрийским подданным, имел волнообразный характер: увлечение славянской взаимностью во время съезда 1867 года сменилось затем равнодушием, франко-прусская война 1871 года вновь подогрела славянские симпатии. Развитие славянского движения в России во многом зависело от состояния внешнеполитических дел, от того, в какой степени они затрагивали «жизненные интересы» России. К примеру, широко известный труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», содержащий наиболее яркую концепцию имперского панславизма, во время его первой публикации («Заря», 1869, № 1–6, 8–10) остался практически незамеченным читающей публикой. Такая же неудача постигла и первое книжное издание в 1871 году. Малый тираж (1200 экз.) в течение десяти лет оставался нераспроданным. Зато последующие издания (1888, 1889, 1895) имели очень большой успех.

В то же время именно усилиями панславистской публицистики в 60-е годы сформировалось определенное стереотипное восприятие Австрии и ее славянских подданных, которое часто воспроизводилось в российских изданиях различной политической ориентации. Этот стереотип складывался из двух основных черт: 1) славянские народы рассматривались как бы вне государственной системы: само австрийское государство воспринималось как фон — угнетающий, давящий и ассоциировавшийся, главным образом, с политикой германизации и мадьяризации; 2) закреплялось представление об имманентной сущности славянской взаимности, безусловной готовности австрийских славян к любым формам сотрудничества, которые им предложит Россия¹¹³.

Несмотря на некоторые цензурные ограничения, применявшиеся к изданиям И. С. Аксакова и М. П. Погодина, в целом пресса могла довольно свободно высказываться по славянскому вопросу и критиковать действия австрийского правительства. Также свободно, фактически легально, действовали славянские благотворительные комитеты, не встречала видимых препятствий со стороны правительства в 60-е годы и православная политика Святейшего Синода в австрийских владениях. Все эти действия могли расцениваться как вмешательство в дела суверенного государства, вмешательство на этно-религиозной почве, подобное тому, что делалось для распространения «морального влияния» России на Балканах, но, естественно, более осторожно. Такая политика по отношению к австрийским подданным стала возможной только при окончательном решении Петербурга не возобновлять прежнего союза с Габсбургской монархией. Парадоксальность этой ситуации заключалась в том, что дунайской империи как никогда именно в 60-е годы была необходима союзническая поддержка России.

В данной статье были рассмотрены лишь некоторые сюжеты столь многоплановой темы, как славянский вопрос в российско-австрийских отношениях: была предпринята попытка показать, как на протяжении двадцати лет формировалась славянская политика, приводилась в соответствие с геополитической концепцией державности России. Если в 40-е годы XIX века только выкристаллизовывались ее основные направления (прежде всего в области этно-религиозной благотворительности), то после Крымской войны, с началом нового царствования, «славянский фактор» все сильнее заявляет о себе как одно из важных средств утверждения «жизненных интересов» России.

Конец 50-х — 60-е годы XIX века можно характеризовать как первый этап развития этого нового внешнеполитического направления. Россия сознательно начинает признавать за собой роль «центра славянского мира», причем не только на уровне общественных дискуссий, но и в официальной политике. Однако в этот период все же нельзя говорить о сращивании концепции державного панславизма с петербургской дипломатией, которой были чужды идеи славяно-европейской «племенной» войны или мировой славянской империи. Правительство реально представляло сложность внутривосточного положения и те затраты, которые шли на реализацию реформ и расширение сфер влияния на Кавказе и в Средней Азии.

Дипломатичная «игра» в панславизм, которую вели официальные круги, была необходима для того, чтобы сохранить влияние России на Балканах, при этом не выходя за рамки «благожелательного нейтралитета». Все это было подчинено основной цели — отмене статей Парижского договора 1856 года. С другой стороны, посредством «славянского фактора» Россия получала возможность косвенно влиять на венский кабинет. Обращает на себя внимание тот факт, что со второй половины 60-х годов в славянской политике начинает усиливаться интерес к австрийским славянам (особенно русинам и словакам).

Однако в это время «славянский фактор» все же не играл определяющей роли в отношениях между двумя державами. Австрия была слишком заинтересована в возобновлении альянса с Россией, и венский кабинет предпочитал ограничиваться «мягкими мерами», выражая недовольство «русской пропагандой» в беседах с официальными лицами.

Вплоть до 1867 года австрийская дипломатия настойчиво пыталась вернуть расположение Петербурга, потерянное в связи с Крымской войной. Распад этого консервативного имперского союза повлек за собой изменение политического ландшафта Центральной Европы. Дипломатия А. М. Горчакова заменила прежние идеи монархической солидарности на принципы «национальной политики». Не будет преувеличением, на наш взгляд, констати-

ровать, что это явилось одним из внешних факторов, повлиявших на трансформацию Австрийской империи в двухцентровое Австро-Венгерское государство, победы «малого пути германского объединения» и, наконец, усиления противостояния великих держав на Балканах.

Примечания

- ¹ R. A. Kann. The Dynasty and the Imperial Idea // *Austrian History Yearbook*, v. III. 1867, p. 20–25.
- ² А. В. Ремнёв. Самодержавие и Сибирь в конце XIX — начале XX вв. Проблемы регионального управления // *Отечественная история*, 1994, № 2, с. 63.
- ³ См. материалы раздела «Россия в геополитической структуре мира: история и современность» сборника: Региональная структура России в геополитической и цивилизационной динамике. Доклады. Екатеринбург, 1995, с. 79–114.
- ⁴ Статистика народонаселения России была опубликована в венских журналах: *Illustrierte Theaterzeitung* (22.3. und 24.3. 1845) 286; *Allgemeine Theaterzeitung* (1.1. — 2.1. 1846) 5; *Oesterreichisches Morgenblatt* (16.9. 1846) 444.
- ⁵ А. Н. Пыпин. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913; В. К. Волков. К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» // *Славяно-германские культурные связи и отношения*. М., 1969, с. 25–69; О. В. Лебедева. Проблемы панславизма в Чехии и Словении в первой половине XIX века // *Нация и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы*. М., 1991, с. 98–105; H. Kohn. Pan-Slavism. Its History and Ideology Notre Dame, 1953; M. B. Petrovich. The Emergence of Russian Pan-Slavism 1856–1870. New York, 1956; F. Fadner. Seventy years of Pan-Slavism in Russia. From Karamsin to Danilevskij. 1800–1870. Washington, 1962.
- ⁶ О складывании чешского автостереотипа на основе славянской идеи см.: О. В. Лебедева. Эволюция славянской идеи и чешской общественной мысли в первой половине XIX века: Социально-политическая борьба в странах Европы в средние века и новое время. Йошкар-Ола, 1990, с. 129–140; Она же. Чешское русофильство в период установления австро-венгерского дуализма. Йошкар-Ола, 1990, с. 125–144.
- ⁷ Князь Меттерних графу Войну, 28. VI (10. VII) 1841 // С. С. Татищев. Николай I и австрийский двор // *Исторический вестник*, 1887, февр., с. 364.
- ⁸ Б. Самнер, профессор Оксфордского университета, считал, что панславизм стал существенной чертой внешней политики России в 70–80-е годы XIX века, а в середине века он был лишь «продуктом сознания, отражением определенных умонастроений и чувств» (B. H. Sumner. *Russia and the Balkans*. 1870–1880. Oxford, 1937, p. 56–57). Авторитетный исследователь проблем панславизма М. Б. Петрович расширяет хронологические рамки, показывая, что после Крымской войны до начала 70-х годов происходило интенсивное складывание цельной панславистской концепции в России (M. B. Petrovich. *Op. cit.*, p. 17–31, 87–103).
- ⁹ И. С. Аксаков. Славянский вопрос. 1860–1886. М., 1886, с. 97; Он же. Славянский обзор // *День*, 1861, 15 окт., № 1.
- ¹⁰ С. А. Никитин. Россия и славяне в 60-х гг. XIX века // L'udovit Stur und die slawische Wechselseitigkeit. Bratislava, 1969, s. 279–290.

- ¹¹ С. С. Татищев. Указ. соч., с. 381–385.
- ¹² М. П. Погодин. Письмо министру народного просвещения по возвращении из путешествия по Европе в 1839 г. // Сочинения М. П. Погодина, т. IV. М., 1874, с. 19–23; Он же. Годы в чужих краях (1839). Дорожный дневник М. П. Погодина. М., 1844, ч. 1–2, с. 123.
- ¹³ О положении православия и унии в австрийских владениях. Канцелярии Обер-прокурора Святейшего Синода. Секретно // Центральный Государственный исторический архив (ЦГИА), ф. 797, оп. 8, ед. хр. 24170.
- ¹⁴ Докладная записка С. С. Уварова Николаю I от 23 февраля 1840 г. // ЦГИА, ф. 735, оп. 2, № 127; О пособии чешским ученым Шафарику и Ганке // ЦГИА, ф. 735, оп. 2, ед. хр. 60; О пособии М. П. Погодину в 3 тыс. рублей серебром 1839–1840 // Там же, ед. хр. 127.
- ¹⁵ Подробнее см.: О. В. Лебедева. Культурные и политические аспекты «православной миссии» России в землях австрийских славян в XIX веке // Российское общество и зарубежные славяне в XVIII — начале XX века. Балканские исследования. Вып. 16. М., 1992, с. 89–105.
- ¹⁶ Joh. Fr. Heinr. Schlosser. Die morgenländisch-orthodoxe Kirche und das europäische Abendland. Heidelberg, 1845.
- ¹⁷ См. подробнее в статье: С. З. Николай I и европейские революции // Русская старина, 1904 г., апрель, с. 47.
- ¹⁸ М. П. Погодин. Второе донесение министру народного просвещения о путешествии 1842 г. преимущественно в отношении к славянам // Сочинения М. П. Погодина, т. IV, с. 47–50, 55–67.
- ¹⁹ Там же, с. 47–48.
- ²⁰ О петербургском периоде Фикельмона см. подробнее: Н. Раевский. Фикельмоны // Н. Раевский. Избранное. Минск, 1978, с. 52–137.
- ²¹ Князь Меттерних — графу Война, 31. III (12. IV) 1842 // С. С. Татищев. Указ. соч., с. 382.
- ²² Illustrierte Theaterzeitung (23.12.1845) 1231; Feuilleton. Aus der Gegenwart. Verfolgung und Misshandlung katholischer Nonnen in Russland // Oesterreichisches Morgenblatt (6.10.1845) 478–479; Aus der Gegenwart. Die Äbtissin der in Russland verfolgten Nonnen in Marseille // Oesterreichisches Morgenblatt (8.11.1845) 535–536.
- ²³ Князь Меттерних — графу Аппони, 24. XI (11. XII) 1845 // С. С. Татищев. Указ. соч., с. 385.
- ²⁴ Л. П. Лаптева. Русский славист XIX века П. П. Дубровский (1812–1882) // Советское славяноведение. 1991, № 6, с. 93–101.
- ²⁵ В. Чернобаев. Ян Коллар в России // Slovanská vzajemnost. 1836–1936. Praha, 1938, s. 152–174; Г. В. Рокина. Деятель словацкого национального возрождения Ян Коллар и его связи с Россией. Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1987. Гл. 3. Связи Коллара с Россией.
- ²⁶ Л. П. Лаптева. Русская историография гуситского движения. М., 1978, с. 27–101.
- ²⁷ Цит. по: Н. П. Погодин. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 9. СПб., 1895, с. 279.
- ²⁸ Циркуляр Министра Народного Просвещения от 30 мая 1847 года // Русский архив. 1892, № 7, с. 336.

- ²⁹ Цит. по: Записки и дневник А. В. Никитенко. I. М., 1893, с. 488–489.
- ³⁰ Русский архив. 1892, № 7, с. 351–354.
- ³¹ D. Groh. Nationalismus, Fortschrittsglaube und «Hegelianismus» gegen die «slawische Zukunft» Europas // Derselbe. Russland im Blick Europas. Frankfurt am Main, 1988, S. 278–352.
- ³² Русская старина (далее — РС), 1904. Апрель, с. 55.
- ³³ Николай I — Паскевичу, 13 (25) марта 1848. // РС, с. 58.
- ³⁴ Донесение графа Медема было опубликовано в статье: С. М. Соловьев. Россия, Австрия и Англия во время движений 1848 и 1849 годов // РС, 1877, ноябрь, с. 422.
- ³⁵ Ф. И. Тютчев. Россия и революция // Ф. И. Тютчев. Политические статьи. Париж, 1976, с. 46–47.
- ³⁶ Николай I — Паскевичу, 10 (22) мая. // РС, 1904. Май, с. 280.
- ³⁷ Николай I — Паскевичу, 10 (22) июня 1848 г. // РС. Там же, с. 281.
- ³⁸ Николай I — Паскевичу, 27 апреля (9 мая) 1849 г. // Там же, с. 287.
- ³⁹ Там же, с. 287.
- ⁴⁰ Там же, с. 288–289.
- ⁴¹ Там же, с. 289.
- ⁴² Граф Нессельроде — князю Меншикову, 24 янв. (5 февр.) 1854 г. // С. С. Татищев. Указ. соч., с. 394–395.
- ⁴³ Подробнее об этом см. Л. И. Нарочницкая. Россия и отмена нейтрализации Черного моря. 1856–1871 гг. К истории Восточного вопроса. М., 1989.
- ⁴⁴ Эти письма Николая I к главнокомандующему южной армией М. Д. Горчакову от 19 июля 1854 г., 25 ноября 1854 г., 30 ноября 1854 г., 19 декабря 1854 г., 1 февраля 1855 г. были опубликованы в статье С. С. Татищева: Император Николай I и австрийский дво, с. 397–400.
- ⁴⁵ А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Воспоминания и фрагменты дневников фрейлины двора Николая I и Александра II. М., 1990, с. 75–76.
- ⁴⁶ К. В. Нессельроде. Записка о политических соотношениях в России // Русский архив. 1872, № 2, с. 337–344.
- ⁴⁷ Цит. по статье: С. Горяинов. Австрия и Россия после Крымской войны // Русская старина. 1908. Окт., с. 238–239.
- ⁴⁸ Отчет МИД (1866 г.) был опубликован С. А. Никитиным: Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50–70-е годы XIX века. М., 1970, с. 150.
- ⁴⁹ Материалы этой дипломатической акции хранятся в Государственном архиве в Вене: Copie d'une dépêche du Prince Gortchakow a Monsieur de Balabine en date de St. Petersburg le 13 Avril 1859 // Haus-Hof-und Staats Archiv (HNSA) PAX 48 Russland Waisungen. Varia 1859. 21 v. 25 v.
- ⁵⁰ Русские дипломатические документы были опубликованы в статье С. Горяинова. Указ. соч., с. 237.
- ⁵¹ Упоминание об этом в письме: Александр II — Вел. Кн. Константину. СПб., 20. I (1. II) 1857 // 1857–1861 гг. Переписка императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича / Состав., вступ. ст., состав. указателя и коммент. Л. Г. Захарова и Л. И. Тютюнник. М., 1994, с. 17.

- ⁵² Вел. Кн. Константин — Александру II, Париж, 4/16 V 1857. Разговоры с императором // Там же, с. 47–48.
- ⁵³ Там же, с. 50.
- ⁵⁴ Вел. Кн. Константин — Александру II, Ницца, 27. XI (9. XII) 1858 // Там же, с. 77; Вел. Кн. Константин — Александру II, Ницца, 15/27 XII 1858 // Там же, с. 83.
- ⁵⁵ Вел. Кн. Константин — Александру II, Париж, 10/22 XII 1858 // Там же, с. 82.
- ⁵⁶ Александр II — Великому Князю Константину. СПб., 1/13 II 1859 // Там же, с. 89.
- ⁵⁷ Граф Тун-Голенштайн (1810–1881). На дипломатическом поприще с 1835 г. В 1847 г. был императорским посланником в Стокгольме, в 1852 г. был назначен посланником в Берлин. Послом в Петербурге граф Тун был с осени 1859 г. до 26 XII 1862 года: *C. Wurzbach von. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. T. 45. Wien, 1882, S. 48–49. Инструкция графу Туны: Instruction pour S. E. u. Comte M. de Thun, Wien 4. XII. 1859 // NHSA; PAX, K. 48. — F. 149 v. — 150 v.*
- ⁵⁸ Донесение посла Ф. Туна № 10, St. Pb. 17/5 Mars 1860 // Ibid. — F. 209 r — 211 v. Донесение графа Фридриха Ревертера, который при Туне являлся императорским посланником в Петербурге, а затем с 18. VII. 1864 г. до 14. IV. 1868 г. был послом Австрии в России: № 18. St.-Pb. 16/4 Mai 1860 // Ibid. — F. 339 v — 339 r. F. 344 v. № 19 // Ibid. — F. 350 v.
- ⁵⁹ Comte F. Thun, St. Pb., 28/16 Avr. 1861 // NHSA, PA X, K. 50 Russland. Berichte 1861. F. 324 r — 325 r. Об этом же писал и граф Ф. Ревертера в секретном донесении: St. Pb., 20/8 Nov. 1861 // NHSA, PA X, K. 51. Russland. Berichte 1861. Weisungen. Varia. F. 202 v.
- ⁶⁰ NHSA, PA X, K. 53. Russland 1862–1863. F. 76 v — 77 v.
- ⁶¹ An Graf Thun, 13. III. 1863 // Ibid. F. 90 r — 95 v.
- ⁶² Ibid. F. 92 v.
- ⁶³ Berichte 1863. — № 3 (7 Fev./26 Janv. 1863) // Ibid. F. 53 v; № 5 (1 mars / 17 Fevr. 1863) // Ibid. F. 105 v; № 16 (28/16 Avril 1863) // Ibid. F. 207 v — 208 v.
- ⁶⁴ № 17 (1 Mai / 19 Avril 1863) 77 Ibid. — F. 218 v.
- ⁶⁵ Ю. С. Карцев. За кулисами дипломатии // Русская старина. 1908. Т. 133. Ч. 1. С. 95–96.
- ⁶⁶ Об этом записала А. Ф. Тютчева в дневнике от 24 июня 1854 г. // А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров..., с. 68.
- ⁶⁷ 13 Mars 1863, Wien // NHSA, PA X, K. 53. F. 130 r — 133 r.
- ⁶⁸ Вел. Кн. Константин специально приезжал в Вену, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с претензиями римской курии относительно положения католиков в Западном Крае. Об этом: Copie d'une dépêche du Gortchacow a M. de Balabine, en date de S. Peterbourg, 12 Juin 1863 // NHSA, PA X, K. 54. Russland 1863 Berichte Varia. F. 101 v — 102 v. Для петербургского кабинета была составлена в Вене записка о положении католиков в России: «Memoire sur les dangers qui menacent le Catholicisme en Lithuanie et en Ruthenie» // Ibid. № 863. F. 128 v — 135 v.
- ⁶⁹ Pro Memoria. Wien, 12 Mars 1864. An Graf. Thun // NHSA, PA X, K. 55. Varia 1864. F. 67 v — 7.
- ⁷⁰ Н. И. Хитрово. Триумф А. М. Горчакова. Отмена нейтрализации Черного моря // Российская дипломатия в портретах / Под ред. А. В. Игнатьева и др. М., 1992, с. 217.

- ⁷¹ Л. М. Шнеерсон. Австро-прусская война 1866 года и дипломатия великих европейских держав. Из истории германского вопроса. Минск, 1962, с. 58, 114–134, 209.
- ⁷² Цит. по статье: С. Горяинов. Указ. соч., с. 240–241. В австрийской дипломатической переписке см.: An Graf Revertera, Wien 22.01.1867 // HHSA, PA X, K. 57 Russland. Berichte 1866. Weisungen 1867. F. 1 v — 5 r.
- ⁷³ Цит. по: С. Горяинов. Указ. соч., с. 241.
- ⁷⁴ Там же.
- ⁷⁵ См., к примеру: С. А. Никитин. Славянские комитеты в России 1858–1876. М., 1960. К. Kazbunda. Pout Cechu do Moskvy R. 1867 a Rakouska Diplomacie. Praha, 1924; М. Prelog. Pout Slovanu do Moskvy roku 1867. Praha, 1931; М. Sestak. Pout do Moskvy R. 1867. Praha, 1986.
- ⁷⁶ Comte Revertera an Graf Derasdorf, St. Pb., 18/6 Janv. 1865 // HHSA, PA X, K. 56. Russland. Berichte 1865. F. 21 r — 22 v. Graf Revertera an Baron Beust, 29/17 Janv. 1867 // HHSA, PA X, K. 58. Russland. Weisungen 1867. F. 35 v — 37 r; 11 Fev./ 30 Janv. 1867 // Ibid. F. 80 r — 81 v; 25/15 Avr. 1867 // Ibid. F. 284 v — 284 r. № 23 (18/6 Mai 1867) // Ibid. F. 365 r. Ibid.
- ⁸⁰ Эти сведения попали в берлинскую печать и из газеты «Reform» были перепечатаны чешскими газетами: Posel z Prahy. 3.VIII.1867. V. 93.
- ⁸¹ Ряд дипломатических документов относительно славянского съезда был приведен в качестве приложения к книге чешского исследователя Карла Казбунды: К. Kazbunda. Op. cit., s. 86 (Prilohy).
- ⁸² 10 мая 1867 года министр внутренних дел П. А. Валуев записал: «Здесь гостит славянская депутация. Странное явление. Она имеет немалое значение для будущности и имела бы еще больше, если бы мы были подготовленнее и вообще пригоднее и пригожее. Все эти славяне — австрийские и турецкие подданные, и между тем как будто игнорируют свои посольства. (...) Всякое официальное участие в гостеприимстве устранено, но между тем публичность этого гостеприимства и число гостей сами по себе имеют свойства некоторой официальности. Государь, по-видимому смотрит на это не без удовольствия. Он сказал ген. Трепову, спрашивающему, какие демонстрации можно допускать: „Чем лучше больше, тем лучше“ — a bon entendeur salut» (Дневник П. А. Валуева. Ч. 2, с. 205).
- ⁸³ Отчет об аудиенции в Царском Селе был опубликован: Московские ведомости, 1867, № 108, 18.V.
- ⁸⁴ С. А. Никитин. Указ. соч., с. 240.
- ⁸⁵ О планах чешской делегации см.: О. В. Лебедева. Дневник Франтишка Скрейшовского как источник о поездке чешской делегации в Россию в 1867 г. // Идейно-политическая борьба в странах Европы и Америки. М., 1988, с. 132–146.
- ⁸⁶ Graf Revertera an Baron Beust, St. Pb. 19/7 Juni 1867 // HHSA, PA X, Russland, K. 58 Berichte 1867. F. 438 v.
- ⁸⁷ М. Ф. Раевский — А. П. Толстому, 3 июля 1857 // Центральный Государственный. Исторический Архив (ЦГИА), ф. 797, оп. 27, ед. хр. 224. Письма Настоятеля Посольской Церкви нашей в Вене, протоиерея Михаила Раевского, 3 июля 1857 г. — 8 марта 1865 г., л. 6.
- ⁸⁸ А. П. Толстой — М. Ф. Раевский, 26 июля 1857 г. // там же, л. 9.
- ⁸⁹ Дневник П. А. Валуева, с. 135 (запись 27 июля 1866 г.).

- ⁹⁰ О сообщении протоиереем Российской миссии в Вене Раевским сведений о состоянии Православной Церкви в Австрии // ЦГИА, ф. 797, оп. 21, ед. хр. 224в, 12 л.; М. Ф. Раевский. Какими средствами Россия может действовать с пользой для себя на славян. Записка. Апрель 1864 г. Автограф, 19 л. // Отдел Рукоскопей Государственной Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ОР ГБЛ С.-Щ.). Ф. 627, Раевский М. Ф., № 4; По письму протоиерея церкви в Вене Раевского о положении славянских дел. Здесь же о снабжении Униатских церквей в Венгрии ризницей и книгами // ЦГИА. Ф. 797. Оп. 33. Ед. хр. 15. Лл. 2 об. — 3 об. Подробнее об этом см. в статье: О. В. Лебедева. Культурные и политические аспекты «православной миссии» России в землях австрийских славян в XIX веке, с. 95–105.
- ⁹¹ 1860. О постройке Православной Церкви в Карлсбаде (1860–1867 гг.) // ЦГИА. Ф. 797. Оп. 30. Отд. 3. Оп. 30. Ст. 2. Ед. хр. 360. 44 л.; О суммах для заграничных православных церквей и монастырей // Там же. Ед. хр. 1350. Оп. 141; В Венгрии, Иромская. О снабжении ее богослужебными книгами // Там же. Ед. хр. 227; О высылке в Австрию духовных периодических изданий для снабжения оным православных архиереев и семинарий в австрийских владениях, а также в Турцию для единоверных нам славян // Там же. Оп. 139. Ед. хр. 1523.
- ⁹² С. А. Никитин. Славянские комитеты в России. 1858–1876 гг. М., 1960.
- ⁹³ Цит. по: Краткий отчет о деятельности (1858–1868) Славянского Благотворительного комитета в Москве (Сост. и прочт. 11. V Н. А. Поповым. М., 1868, с. 2–3.
- ⁹⁴ Н. А. Попов. История Славянского Благотворительного комитета в Москве. Вып. 2: второе пятилетие 1863–1867 гг. М., 1872, с. 1.
- ⁹⁵ В 1862 году с начала благотворительной подписки в газете «День» было получено за весь год 3000 руб. серебром. В начале 1863 г. на поддержку обучающихся в Москве славян от министра народного просвещения было получено 1500 руб. серебром. Членские взносы к 1863 г. составляли 1386 руб. Все финансовые сведения за первое пятилетие были опубликованы: Протоколы Славянского общества в Москве. Ноябрь–декабрь 1862 г. М., 1863, с. 1–13.
- ⁹⁶ Н. А. Попов. История Славянского благотворительного комитета в Москве, с. 2–3.
- ⁹⁷ Протокол заседания Славянского благотворительного комитета в Москве 16 февраля 1868 // Оттиск из «Московские Университетские Известия» 1868, № 3, с. 4–5.
- ⁹⁸ Протокол заседания... за 27 апреля 1868 // Московские Университетские Известия. 1868, № 5, с. 3–4.
- ⁹⁹ Цит. по: Н. Колмаков. Очерки деятельности Киевского славянского благотворительного общества за 25 лет его существования (1869–1894 гг.) Киев, 1894, с. 11–12.
- ¹⁰⁰ С. А. Никитин. Указ. соч., с. 62–98.
- ¹⁰¹ Г. К. Градовский. Из минувшего. Воспоминания и впечатления литератора. 1865–1897. // Русская Старина. 1908. Окт., с. 70.
- ¹⁰² С. А. Никитин. Указ. соч., с. 62–63.
- ¹⁰³ Тракта́т Ф. И. Тютчева «Россия и Запад» был опубликован полностью в «Федор Иванович Тютчев. Литературное наследство». М., 1988. Кн. 1, с. 205–209. Материалы к трактату, с. 210–225. Статья Ф. И. Тютчева «Россия и революция», где были высказаны такие же взгляды, была написана в 1848 г. Публикацию см.: М. Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 9, с. 274–278.

- ¹⁰⁴ И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, с. 204–206.
- ¹⁰⁵ К. Kazbunda. Prilohy // *Op. cit.*, s. 125.
- ¹⁰⁶ С. Ашевский. Политические письма Погодина // *Образование*. 1890. № 19. Отд. 1, с. 5.
- ¹⁰⁷ М. П. Погодин — Ф. И. Тютчеву. Письмо XVIII // *М. П. Погодин*. Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны 1853–1856 гг. // *Сочинения*. Т. IV, с. 301.
- ¹⁰⁸ Он же. Записка о Польше. 24 ноября 1856 г. // Там же, с. 54.
- ¹⁰⁹ И. С. Аксаков. Славянский вопрос. 1860–1886. М., 1886; А. Ф. Гильфердинг. Венгрия и славяне. М., 1861; Он же. Общеславянская азбука с приложением образцов славянских наречий. СПб., 1871; Он же. О Кирилле и Мефодии // *Собрание сочинений*. СПб., 1868. Т. 1, с. 299–340; Он же. Положение и задача России в Царстве Польском. СПб., 1863; М. Н. Катков. 1863 год. Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в Московских Ведомостях, Русском Вестнике и Современной Летописи. Вып. 1. М., 1887; В. И. Ламанский. Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отношениях // *Отечественные Записки*. 1864, № 11, 12; Он же. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871; Он же. Распространение русского языка у славян // *Журнал Министерства Народного Просвещения*. 1867. Июнь, с. 441–447.
- ¹¹⁰ В радикальной прессе: Политика // *Современник*, 1859. № 4; Н. Чернышевский. Народная бестолковость // *Современник*. 1861. № 10; А. Н. Пыпин. Новые славянские исследования // *Современник*. 1860, № 4; А. Н. Пыпин. Заметка / Из записок о славянских землях В. Ламанского // *Современник*, 1864, № 4. В письме к М. Раевскому от 9 февраля 1859 г. А. Гильфердинг писал: «Будьте так добры (...) пришлите мне на первый раз, только поскорее хоть в письме, несколько вырезок из газет касательно чехов и вообще австрийских славян (...) Мы знаем довольно подробно о происходящем у турецких славян, но желательно, чтобы и об австрийских, о которых наше министерство, к стыду, ничего не знает, было постоянно что-нибудь в нашем „отделе“» (Речь шла об открытии «славянского отдела» в «СПб. Ведомостях» и «Голосе»). Об этих материалах см. подробно: В. Г. Карасев. Сербский демократ Живоин Жуевич. М., 1974, с. 133–257. В 60-е годы Ф. И. Тютчев развивал свои идеи относительно будущего австрийских славян. Так, в письме к ведущему сотруднику «Московских Ведомостей» А. И. Георгиевскому он настаивал, чтобы газета поставила перед обществом вопрос: «восемнадцать миллионов славянского племени, над которыми австрийская опека упраздняется. Может ли Россия без самозубийства передать их всецело немцам» (письмо от 7 мая 1866 г.) // *Ф. И. Тютчев*. Литературное наследство, с. 404. В передовых статьях «Московских Ведомостей» этот подход нашел отражение: МВ. 1866, № 135, 29 июня, № 140, 7 июля, № 145, 12 июля.
- ¹¹¹ МВ. 1867. № 111, 21 мая.
- ¹¹² Голос. 1867. № 121, 3 (15) мая.
- ¹¹³ Как правило, «славянская взаимность» трактовалась как некая особая духовная связь, присущая сознанию каждого славянина. При этом подчеркивалась «материальная слабость» зарубежных славян, неразвитость их государственного опыта, неспособность к самостоятельным политическим действиям. Только «сознание единой духовной нации» с Россией трактовалось

как единственная гарантия их будущего полноценного развития. МВ. 1867, № 105, 14.V; Биржевые ведомости, 1867, № 124, 11.V, № 138, 25.V; Голос, 1867, № 161, 6.V; Москва, 1867, № 69, 28, III; № 40, 18.II. «Отечественные записки», к примеру, констатировали, что славяне после неудачных попыток «эпидемии партикуляризма» наконец начинают понимать, что и для них, как для немцев, необходим объединяющий центр и что таким центром может быть только то славянское племя, которое сумело издавна выработать себе самостоятельную государственную жизнь, т.е. племя великорусское» (ОЗ. 1867. Т. 172, с. 61–62). Большинство газет придерживалось представлений М. Н. Каткова о необходимости создания на развалинах Австрийской империи славянских «буферных» государств. Так, «Отечественные Записки» считали, что это будет выгоднее, чем присоединение территорий непосредственно к России: «В первом случае между нами и Европой явится крепкий оплот». Газета деловых коммерческих кругов «Биржевые ведомости» еще более утилитарно трактовала эту проблему: России выгодно оставить славян в границах Турции и Австрии, где они смогли бы нейтрализовать враждебность этих давних соперниц российским интересам (ОЗ. 1867. Т. 172, с. 110; Биржевые ведомости, 1867, № 124, 11.V. Эти же идеи: Московские ведомости, 1867, № 105, № 128, № 111; Москва, 1867, № 40, 18.II, № 58, 14.III, № 77, 7.VII).

Польша как призма восприятия Пруссии в России

В романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина», который отзывается на многие вопросы современной ему общественной и политической жизни России, есть отрывок, который имеет большое значение для нашей проблематики: Константин Левин в гостях у своего приятеля; Свяжский, помещик и земской деятель, вдруг показал Левину, с которым он беседовал о способах хозяйствования в России, какой-то журнал, лежавший на столе, и сказал: «„Ах да, тут очень интересная статья... Оказывается, что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих. Оказывается...“». И он со свойственной ему ясностью рассказал вкратце эти новые, очень важные и интересные открытия... Он, слушая хозяина, спрашивал себя: „Что там в нем сидит? И почему, почему ему интересен раздел Польши?“. Когда Свяжский кончил, Левин невольно спросил: „Ну так что же?“. Но ничего не было. Было только интересно то, что „оказывалось“» (ч. 3, гл. 28).

В освещении нашей тематики этот отрывок кажется замечательным по двум причинам:

1. Толстой говорит о Пруссии в связи с разделом Польши, с событием, которое является центральным в истории русско-пруссских отношений.

2. Речь тут идет не о самом событии, а о том, как оно воспринимается. Острота ситуации в том, что обсуждения главной проблемы русско-пруссских отношений, раздела Польши, не происходит. У Свяжского только пустой интерес к этому вопросу, у Левина, видимо, вообще никакого. Вряд ли, мне кажется, цитированное место у Толстого служит только для личной характеристики Левина и Свяжского, несомненно автор имеет в виду что-то более общее: восприятие прусской политики в России или, лучше сказать, общественную трактовку вопросов, связанных с русско-польско-русскими отношениями. Такое толкование кажется тем более вероятным, если иметь в виду, что Толстой в отличие от своего героя Свяжского позже занял совершенно определенную позицию по польскому вопросу своим рассказом «За что?».

Конечно, возникает вопрос, на каком реальном основании Толстой так резко критиковал общественную дискуссию по названным проблемам. Анализ восприятия Пруссии в России может помочь ответить на этот вопрос. Методологически такой анализ возможен только, как это и у Толстого, в связи с польским вопросом. Надо иметь в виду, что широко распространенные ложные представления о проблеме восприятия часто сказываются и на научных исследованиях. Воспринятый образ другого — это не отра-

жение в чистом зеркале. Восприятие определяется не только объектом, но и субъектом и их взаимоотношением.

В нашем случае все три фактора — субъект и объект восприятия и их взаимосвязь — непосредственно связаны с польским вопросом. Россия и Пруссия поднимались на уровень европейских держав, разрешая в свою пользу польский вопрос, и, что еще важнее, оба государства здесь действовали вместе, как союзники, начиная еще с Петра Первого и прусского короля Фридриха Вильгельма, которые в конце Великой северной войны решили не допустить существенных государственных реформ в Польше. На этой основе развивались русско-прусские отношения до раздела Польши, и после этого события, поколебавшего все политическое равновесие Европы, их отношения продолжались на основе обоюдного интереса к сохранению раздела Польши. Таким образом сформировалась «система негативной политики по отношению к Польше» (Клаус Цернак)¹. В этой связи важно то, что польский вопрос в XIX веке сильно воздействовал и на общественность России и Пруссии. Обе нации, как русская, так и прусско-немецкая, приобрели в течение XIX века явно державный и, в частности, антипольский характер. Поэтому можно сказать, что восприятие Пруссии в России было в каком-то смысле всегда рефлексивным, занятием самим собой, и поэтому чем-то потенциально болезненным. Вот почему пустословие Свияжского и равнодушие Левина кажутся такими неуместными.

Обратимся сейчас к вопросу, был ли Толстой прав в своем суждении об общественном восприятии Пруссии в России. Мы попытаемся ответить на этот вопрос в рамках эпохи между восстаниями в Польше 1830/31 и 1863 годов.

Для нашей темы весьма показательно то, как отозвалась русская общественность на ноябрьское польское восстание². Широко известны стихотворения четырех русских поэтов на взятие Варшавы: В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, А. С. Хомякова и Ф. И. Тютчева. Их стихотворения во многом отличаются друг от друга — поэты занимают разные, даже противоположные позиции по отношению к русской войне против Польши. Одно, однако, их объединяет: ни один автор даже не допускает намека на союзничество России с Пруссией при подавлении польского восстания. Несмотря на действительную связь русской и прусской политики, поэты сводят сложную треугольную структуру конфликта к простой модели конфликта между Россией и Польшей. Пушкин, Хомяков и Тютчев даже подчеркивают мнимую исключительность конфликта тем, что они изображают подавление польского восстания семейственным, славянским делом, будь это «домашний спор» у Пушкина, «одноплемянников раздор» у Хомякова или, с перенесением в мир греческих мифов, пожертвование Агамемнона своей дочерью у Тютчева³.

Эту интерпретацию, которая отличается замалчиванием реальных исторических связей, можно назвать романтической. В ней, т. е. в интерпретации Пушкина, Хомякова и Тютчева, уже звучал славянофильский тон. Возникает, разумеется, вопрос, как славянофильство в дальнейшем относилось к Пруссии. Прежде чем обратиться к этому вопросу, надо сказать несколько слов о понятии «славянофильство». В нашей работе мы не будем касаться социально-исторических попыток понять славянофильство как течение либеральной мысли⁴. Рассмотрим славянофильство в свете политической истории. Тут в западной науке еще не вполне рассмотрены представления, возникшие отчасти как ответ на сталинское псевдославянофильство, когда во всех славянофильских высказываниях подозревали панславистскую подоплеку. Такова точка зрения, изложенная, например, в монографии «Hedwig Fleischer, Russische Antworten auf die polnische Frage»⁵. В отличие от такого тенденциозного подхода Владимир Анатольевич Дьяков предложил дифференцированную политическую интерпретацию славянофильства, на основе которой можно изучить восприятие Пруссии славянофилами⁶. Для кружка славянофилов Пруссия имела значение не с самого начала. Еще в сороковые годы они мало интересовались внешней политикой и даже не проявляли — за исключением Хомякова — особенного интереса к западным славянам⁷. Кажется, что 1848 год в этом отношении является важной гранью. Польский вопрос, снова поставленный на повестку дня, заметно политизировал славянофилов. Хомяков дал замечательное описание этому явлению: «Куда я не выеду, — писал он в мае 1848-го года, — куда я не повернусь, в мужское или дамское общество, всё речь одна: Каков Ламартин или Ледрю Роллен, и что пруссаки, что Познань?». Хотя он отрицательно относился к политизированному настроению московского общества, он все-таки участвовал в обсуждении спорных вопросов. В отличие от господствующего мнения московских салонов, Хомяков отстаивал мнение, что пора отказаться от традиционной связи с Пруссией и восстановить Польшу. «Нет уже прежней Пруссии», — писал он и добавил, что раздел Польши для Пруссии стал бесполезным и был всегда вредным для России⁸.

С углубленным интересом славянофилов к Пруссии мы сталкиваемся только после Крымской войны на листах газеты «Русская беседа». Проанализировав высказывания в этой газете, можно сделать вывод, что Пруссия в то время для славянофилов служила примером в отношении к польскому вопросу. Притом славянофилы трактовали пример Пруссии по-разному: Кошелев воспринимал Пруссию как модель интеграции польского населения; Гильердинг, напротив, видел в Пруссии образец ассимиляции поляков⁹.

Отдельно от славянофилов надо рассмотреть восприятие Пруссии у Погодина и Тютчева, которых в каком-то смысле можно

назвать первыми панславистами. Их мышление уже с тридцатых годов было связано с категориями внешней политики и проникнуто имперским пафосом¹⁰.

1831-й год был для развития политических взглядов Погодина важной датой. В этом году он впервые сформулировал панславистскую теорему, что Россия будто бы является защитой всего славянства. Теоретически легко было вывести из этого антипрусскую концепцию. Оказывалось, однако, что в отношении к Польше теорема Погодина не действовала: тут он твердо защищал право государств распространяться наподобие «кристаллов». Этим он оправдывал и Пруссию¹¹.

В сороковые и пятидесятые годы понимание русско-польско-прусских взаимосвязей стало одним из важнейших элементов политического мышления Погодина. Когда в сороковые годы оказалось, что Пруссия начинает уступать польским требованиям и покидать систему негативной политики по отношению к Польше, он сожалел, что традиционные русско-прусские отношения не были зафиксированы более подробными и обязательными договорами. Из-за пропольской политики Пруссии и разложения русско-прусской системы он предвидел опасность возникновения большой прусской империи, которая, может быть, захватит не только Богемию и Польшу, но и западные части Российской империи¹². После Крымской войны, однако, он сам предложил русскому правительству отказаться от прежнего союза с Пруссией и Австрией, объединиться с освобожденной Польшей и вместе с ней завладеть польскими провинциями немецких держав¹³.

Как Погодин, так и русский поэт и дипломат Федор Иванович Тютчев воспринимал Пруссию в категориях европейской политики. Для него не менее очевидной, чем для Погодина, была зависимость существования Пруссии как державы от польского вопроса¹⁴. По его мнению, державный характер Пруссии не позволял прусской политике по отношению к Польше выровняться. Когда Пруссия под давлением революции стремилась к этому, Тютчев даже говорил о том, что это для нее самоубийство: «Voyez la Prusse, vouée au suicide par sa connivence fatale et forcée avec le parti polonais»¹⁵. Подобно Погодину, Тютчевым до 1848 года руководила идея легитимистской политики России в союзе с Пруссией. В год революции, однако, он понимал, что система негативной политики по отношению к Польше не имеет будущего из-за прусского решения немецкого вопроса, который он предвидел уже в 1848 году¹⁶.

Можно, таким образом, сделать вывод, что славянофильское и, условно, панславистское восприятие Пруссии было — несмотря на прусское господство над славянами — скорее аффирмативным в смысле официальной внешнеполитической системы. В общем-то они не пришли к негативной оценке Пруссии. И этим раннее славянофильство отличается от позднего.

В отличие от славянофилов западники не имели непосредственного интереса к Пруссии, поэтому их высказывания о Пруссии встречаются реже. Только для радикальных западников, живущих за рубежом, таких, как, например, Николай Тургенев, Михаил Бакунин и Александр Герцен, Пруссия являлась относительно важной темой. Их не интересовала Пруссия как государство немецко-славянское в прямом смысле, а скорее вопросы общественных издержек, которых потребовало русско-прусское владение Польшей. По их убеждению союз с Пруссией и раздел Польши существенно тормозили общественное развитие русской нации.

Поэтому Николай Тургенев — только он среди названных был западником в строгом смысле — надеялся на процесс цивилизации, распространяющийся с Запада на Восток. От него Тургенев ожидал разложения сперва прусской, а потом австрийской и российской империи на составные национальные части¹⁷. В отличие от Тургенева Бакунин и Герцен с 1848 года ожидали освобождения не от Запада, а от самой России¹⁸. Это для обоих было связано с задачей стереть с русского народа и государства прусский отпечаток, который им представлялся явлением как внутренним (бюрократия, милитаризм...) так и внешним (союзничество с Пруссией). Взаимную зависимость России и Пруссии во внешней политике особенно ярко освещал Герцен: прусского короля он называл, подобно Марксу, «*pacha russe de Berlin*» и «*proconsul russe qui porte le titre du roi de Prusse*»¹⁹. Несмотря на эти насмешки, он опасался господствующего влияния Пруссии на внешнюю политику России. Так, он изображал Россию в 1862 году как доверок Пруссии, как «большую Восточно-восточную Пруссию»²⁰.

Резюмируя модели интерпретации Пруссии, можно говорить о четырех течениях, которые частично пересекаются: романтическая, славянофильская, панславистская (или имперская) и западническая интерпретации. Первой интерпретации, романтической, не хватало, на самом деле, связи с политической действительностью. Некоторой ограниченностью отличалась и имперская интерпретация, так как она занималась осмыслением исключительно на внешнеполитическом уровне и, в принципе, была идентичной с целями официальной политики.

Для русской историографии характерно, что сначала именно эти две модели интерпретации играли в ней большую роль. В качестве примера можно привести «Историю падения Польши» Сергея Михайловича Соловьева.

Наиболее полная и критическая интерпретация, западническая, оставила свои следы в исторической науке позже, например в трудах Николая Кареева и его школы. Не случайно, что его размышления, связанные с русско-польско-прусскими отношениями, начались с пересмотра русской историографии, а именно с иссле-

дования «Падение Польши в исторической литературе», которое вышло в 1888-ом году. Это было четыре года спустя после появления романа Льва Толстого «Анна Каренина». Видимо, оба, великий русский писатель и великий представитель всеобщей истории в России, почувствовали необходимость критического разбора исторической дискуссии на тему: Россия — Польша — Пруссия.

Примечания

- ¹ К. Цернак. Пришел ли конец великим державам? // Вопросы истории, 1993.
- ² К восприятию ноябрьского восстания в России см.: *Genowefa Kuprisowa. Społeczeństwo rosyjskie wobec Powstania Listopadowego* // Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne, Militaria, Europa wobec powstania / Red. W. Zajewski. Warszawa, 1980, s. 424–435. Интерпретации стихотворений Пушкина, Хомякова и Тютчева по польскому восстанию см.: А. Л. Основат. Пушкин, Тютчев и польское восстание 1830–1831 годов // Пушкинские чтения в Тарту. Таллин, 1987, с. 49–52; *E. Etkind. 1830 in der europäischen Dichtung* // Wien und Europa zwischen den Revolutionen (1789 und 1848). Wien, München, 1978, S. 148–166.
- ³ А. С. Пушкин. Клеветникам России // А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 14, с. 169; А. С. Хомяков. Ода // Стихотворения Хомякова. Москва, 1861, с. 30–31; Ф. И. Тютчев. Как дочь родную на закланье // Ф. И. Тютчев. Полн. собр. соч., с. 183–184.
- ⁴ См., например: В. А. Кутасев. Славянофильство и либерализм // Вопросы истории, 1989, № 1, с. 133–143.
- ⁵ Н. Fleischhacker. Russische Antworten auf die polnische Frage. Berlin, 1942.
- ⁶ В. А. Дьяков. Идея славянского единства в общественной мысли дореформенной России // Вопросы истории, 1984, № 12, с. 16–31.
- ⁷ Е. А. Дудзинская. Славянофилы и зарубежное славянство // Методологические проблемы истории славистики. Москва, 1978, с. 261–281.
- ⁸ Польский вопрос. Письмо А. С. Хомякова к А. О. Смирновой // Оттиск из журнала «Русская мысль». Москва, 1881, 1.
- ⁹ А. И. Кошелев. Шесть недель в австрийских славянских землях // Русская беседа, 1857, отд. смесь, с. 1–18; А. Ф. Гильфердинг. Западные славяне // Русская беседа, 1858, т. 4, отд. 2, с. 1–64.
- ¹⁰ К разграничению панславистов от славянофилов см.: М. В. Petrovich. The Emergence of Russian Pan Slavism 1856–1870. New York, 1956.
- ¹¹ М. П. Погодин. Исторические размышления об отношениях Польши к России // Историко-политические отрывки М. П. Погодина. Т. 1. Москва, 1846, с. 421–434. См.: U. Picht. M. P. Pogodin und die slavische Frage. Ein Beitrag zur Geschichte des Pan Slavismus. Stuttgart, 1969.
- ¹² М. Р. Pogodin. Politische Briefe aus Russland. Leipzig, 1860, S. 82.
- ¹³ М. П. Погодин. Записка о Польше (Статьи политические и польский вопрос (1856–1867), с. 333–346.
- ¹⁴ См.: К. В. Пигарев. Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России // Литературное наследство, 19/21. Москва, 1935, с. 177–218. Неубеди-

- тельно утверждение В. В. Кожина, что Тютчев будто не является панславистом. См.: Вступительная статья. Незавершенный трактат «Россия и запад» // Ф. И. Тютчев. Т. 1. Литературное наследство, 97. Москва, 1988, с. 183–200.
- ¹⁵ Ф. И. Тютчев. *La Russie et la Révolution* // Ф. И. Тютчев. Полн. собр. соч., с. 347.
- ¹⁶ См.: Ф. И. Тютчев. Незавершенный трактат «Россия и запад» // Ф. И. Тютчев. Литературное наследство 97. Москва, 1988, с. 213.
- ¹⁷ N. Turgenieff. *Russland und die Russen*. Grimma, 1847, Т. 3, S. 186–188.
- ¹⁸ Это сказывается у Бакунина на его воззвании к славянам 1848-го года, а у Герцена только после революции. См.: M. Bakunin. *Aufruf an die Slaven*. Koethen, 1848. О восприятии Пруссии у Бакунина см.: A. Leśniewski. *Bakunin i sprawy polskie w okresie wojny ludów i powstania styczniowego 1863 roku*. Łódź, 1962; J. Pfitzner. *Bakunin und Preussen im Jahre 1848* // *Jahrbruch für Kultur und Geschichte der Slawen* NF 7 (1931), S. 231–252; J. Kolejka. *Bakuninova cesta k nové slovanské politice z roku 1848* // *Slovanský přehled*, 1987. N 5, s. 367–377. О восприятии Пруссии у Герцена см.: Е. В. Тарле. *Герцен и германская государственность* // *Запад и Россия. Статьи и документы из истории XVIII–XIX вв.* Петроград, 1918, с. 91–121.
- ¹⁹ А. И. Герцен. С другого берега // А. И. Герцен. Собр. соч., т. 6, с. 157.
- ²⁰ А. И. Герцен. Прусский консул Бергер // А. И. Герцен. Собр. соч., т. 15, с. 86.

Петер Отто фон Гёце и славянско-немецкие литературные связи

Известно, что начиная со второй половины XVIII века в разных концах Европы стали появляться вначале единичные, а затем все более частые издания собраний народных песен (иногда стилизаций и подделок под них). Говоря о Центральной и Восточной Европе, нельзя не вспомнить прежде всего далматинского собирателя песен и поэта-сказителя Андрие Качича-Миошича, издавшего в Венеции еще в 1756 году, а затем неоднократно переиздававшего в расширенном виде свое собрание народных песен под названием «Разговор приятный народа словинского» (словинцами Качич называл всех южных славян). В 1770–1774 гг. в России выходит четырехтомное «Собрание разных песен» М. Д. Чулкова. В конце 70-х годов появляется знаменитое немецкое издание И. Г. Гердера, включавшее уже песни разных народов мира и имевшее особое значение. Далее, если даже ограничиться только славянами, следуют имена И. Прача в России, В. Караджича в Сербии, Ф. Л. Челаковского в Чехии, М. А. Максимовича на Украине, Я. Коллара в Словакии, С. Врза в Хорватии и многих других их современников и последователей. Народная поэзия имела особое значение для развития культуры тех народов, которые долгое время были лишены независимости и пережили полосу существенного ослабления отечественной культурно-исторической традиции. К их числу принадлежала и большая часть западных и южных славян. Народно-песенное наследие воспринималось здесь в эпоху национального возрождения как сокровищница национального духа. В нем видели залог и незаменимый источник развития национально-самобытной культуры. Из него черпали темы и сюжеты, жанрово-стилевые формы. В той или иной степени это, впрочем, было характерно и для всей Европы того времени. Интерес к народной поэзии был органической чертой эпохи. Вместе с тем его поддерживали, укрепляли, в чем-то направляли и международные контакты, литературные и научные связи, в том числе славянско-германские. Общеизвестен вклад, который внес в теоретическое осмысление природы народной поэзии И. Г. Гердер, провозгласивший народную песню «голосом нации» (*Stimmen des Volks*), отражением исторического бытия и национального характера народа, воплощением его духа и самобытности. В научной литературе не раз подчеркивалась также высокая оценка, которую Гердер давал непосредственно славянской народной поэзии, поощряя ее собирание и издание (песни славянских народов были включены им и в его антологию). Все это встречало широкий

отклик у славян. Письма славянских ценителей «народной музыки» (В. Караджича, Ф. Л. Челаковского и др.) пестрят упоминаниями о Гердере. Славянско-геманские контакты вообще весьма значительное явление культурной жизни конца XVIII — первой половины XIX века. Цель настоящей статьи — напомнить об одной страничке из истории этих контактов и, может быть, побудить к дальнейшему ее изучению. Она связана с именем Петера Отто фон Гёце (1793–1880) — петербургского немца, уроженца Ревеля и достаточно крупного царского чиновника, историка (автора трудов по истории Прибалтики, книги мемуаров о князе А. Н. Голицине), поэта и переводчика.

В молодости (10–20-е гг.) Гёце серьезно увлекался славянской народной поэзией. Он известен в частности как переводчик на немецкий язык сербских народных песен. В 1827 году в Санкт-Петербурге им была выпущена целая книга «*Serbische Volkslieder*». При этом консультировал его знаменитый сербский собиратель и издатель народной поэзии Вук Караджич. Свидетельства об этом сохранились в письмах Гёце Караджичу, опубликованных в известном собрании корреспонденции сербского ученого¹. Возможно, они встречались в Петербурге еще в 1818 году, когда Караджич посетил российскую столицу. Во всяком случае примечательно, что переписка между ними существовала уже в начале 20-х годов — т. е. за пять лет до издания книги переводов Гёце. Это показывает, какая длительная и кропотливая работа была проделана переводчиком по изучению и перевоплощению на немецком языке песен сербского народа. То же самое относится и к другой его книге, параллельно готовившейся им и содержавшей переводы русских народных песен. Ее название «*Stimmen der russischen Volks in Liedern*». («Голоса русского народа в песнях») — заглавие, как мы видим, восходит к формуле Гердера. Книга Гёце была напечатана в Штуттгарте в 1828 году. Но о работе над ней ее создатель также упоминает в переписке с Караджичем уже в начале 20-х годов. Он сообщал, например, сербскому фольклористу, что собирается редактировать для книжного издания переводы русских песен, публиковавшиеся им в немецких журналах. И это несмотря на то, что уже и в первом своем варианте его переводы нравились читателям, о чем можно судить по откликам на них. Так, в петербургском журнале П. Кеппена «Библиографические листы» в 1825 году сообщалось: «Немецкие корреспонденты наши восхищаются переводами русских и других славянских (т. е. славянских. — С.Н.) народных песен, которые П. Фон Гёц поместил в газете „*Morgenblatt*“»². Речь идет о штуттгартской газете «*Morgenblatt für gebildete Stände*». Автору этой статьи довелось в свое время просмотреть эту газету за ряд лет и обнаружить с десяток гёцевских переводов русских песенных текстов. Сличение одного из них с последующей его книжной публикацией позволило выявить целый ряд разночтений (во втором

случае употреблены новые слова, обороты, даже целые фразы). Переводчик совершенствовал тексты, посвятив работе над ними целое десятилетие. При этом он специально изучал русскую народную поэзию, что отразилось и в обширной вступительной статье, занимающей более 60 страниц в книге и содержащей характеристику русского песенного народного творчества, его жанровую классификацию, сведения о наиболее популярных героях былин, об основных книжных изданиях русских песен и т. д. Содержательны и примечания к текстам. Усердное изучение славянской народной поэзии и ее переводы на немецкий язык были, видимо, одним из важных аргументов при избрании Гёце в 1829 г. почетным членом Российской академии.

Переводы Гёце привлекли внимание и в Чехии. На этом вопросе следует остановиться подробнее, так как в освещении его существовали разные версии. С именем Гёце в Чехословакии была связана даже своего рода литературная загадка, касающаяся также Ф. Л. Челаковского (1799–1852)³. Поэт, филолог, фольклорист, Челаковский, является, как известно, создателем трехтомного собрания «Славянских народных песен» (1822–1827), в котором песни славянских народов представлены в оригинале и в параллельных поэтических переводах составителя на чешский язык. В 1822 году увидел свет первый том этого собрания, в который вошли, кроме чешских и словацких, русские, украинские, сербские и сербо-лужицкие песни. В русском разделе была в числе прочих помещена известная песня «Уж как пал туман на сине море». Составитель сопроводил ее не только собственным чешским переводом, но и также польским и немецким. Польский перевод принадлежал Юлиану Немцевичу и был заимствован Челаковским из второго тома его «Басен и повествований», вышедшего в Варшаве в 1820 году. На источник немецкого перевода указывала отсылка: «См. Stimmen des russischen Volks von Götze». Имелась в виду как раз книга Гёце «Stimmen des russischen Volks in Liedern». Место и год издания книги Челаковский не указывал. Между тем вышла она, как уже говорилось, только в 1828 году. Челаковский же цитировал ее и отсылал к ней уже в 1822 году, т. е. за шесть лет до ее выхода. Долго это несоответствие оставалось незамеченным, однако в 1932 году на него обратил внимание известный чешский литературовед и писатель, профессор Карлова университета в Праге Отокар Фишер⁴. Загадка настолько заинтересовала его, что он изучил все доступные материалы, касающиеся Гёце и Челаковского. Тем не менее новых сведений, которые проливали бы свет на загадочную ссылку, обнаружить не удалось. Была выдвинута гипотеза, что уже в начале 20-х годов между Гёце и Челаковским существовала переписка и что Гёце послал чешскому коллеге свой перевод, сообщив о предстоящем выходе книги, который затем почему-то задержался. С учетом сходства интересов Челаковского и Гёце (тот и другой изда-

вали переводы песен разных славянских народов) было сделано также предположение, что, возможно, и замысел был общим. Челаковский издавал песни на чешском, Гёце на немецком языке. Впоследствии, однако, нам удалось установить факты, практически исключавшие переписку Челаковского и Гёце в начале 20-х годов⁵. Оставалось предполагать, что перевод песни «Уж как пал туман...» был заимствован чешским поэтом из какого-либо издания, где называлось также заглавие будущей книги Гёце. Подозрение падало прежде всего на «Morgenblatt» (тем более, что публикация переводов Гёце в этом издании осталась неизвестной О. Фишеру и они не были обследованы им). Просмотр газеты показал, что песня «Уж как пал туман...» в переводе Гёце действительно была опубликована в этом издании, но только 17-го сентября 1823 года, т.е. через год после выхода первого тома «Славянских народных песен» Челаковского...

Ниточку к разгадке в конце концов вновь дали в руки «Библиографические листы» Кеппена. В одной из маленьких заметок журнала в 1825 году сообщалось о переиздании некоторых русских песенников и было сделано добавление: «Объявляя об издании сих песенников, не можем умолчать о том, что весьма удачные переводы русских национальных песен на немецкий язык, сделанные П. фон Гёце (P. V. Götze), в непродолжительном времени будут напечатаны у штуттгарского типографа Котте с виньетами, нотами и с изображением музыкальных инструментов, употребляемых нашими простолюдинами. Опыты сих переводов читателям нашим известны уже из II части Трудов Высочайше утвержденного Общ. Люб. Росс. Слов. в СПб-е (с. 348 и д.)»⁶.

Оказалось, что в «Трудах Вольного общества любителей российской словесности» (другое название журнала — «Соревнователь просвещения и благотворения») еще в 1818 году была напечатана статья Гевлича «Нечто о народных русских песнях»⁷. Высоко оценивая русскую народную поэзию, видя в ней отражение «обычаев, характера, духа, нравственности... народа», автор отмечает в конце статьи интерес к ней и со стороны иностранцев. В этой связи и упоминается о предстоящем выходе книги Гёца «Stimmen des russischen Volks», а также приводятся два образца его переводов, для наглядности — с параллельным русским текстом. Первая песня именно «Уж как пал туман на сине море», вторая — «Ты проходишь дорогая мимо кельи», также переведенная Челаковским. Выяснилось, что чешский поэт вообще хорошо знал этот журнал, не раз и в разное время обращался к нему и черпал из него и другие материалы и сведения. Таким образом, гипотеза о переписке Гёце и Челаковского, об их общем замысле и т.д. не подтвердилась и отпала. Более того, остается не вполне ясным, побывала ли вообще когда-нибудь в руках Челаковского книга переводов Гёце⁸.

Но опосредованный творческий контакт между ними в начале 20-х гг. остается несомненным. Именно благодаря Гёце и публика-

ции его переводов в журнале «Соревнователь просвещения» чешский поэт смог познакомиться с названными русскими песнями, которые привлекли пристальное его внимание. Особенно понравилась ему первая из них. В ней воспевается героически погибающий русский воин, которого «в бою сосватала сабля острая, положила спать калена стрела» (в переводе Гёце: «uns zusammengab der scharfe Säbel, der geglühte Pfeil uns bettete»). Высоко ценил эту песню и Гёце. Он поместил ее в своей книге на самом видном месте — под первым номером, а несколько дальше привел в собственном переводе и еще один ее вариант⁹. В заглавиях, которыми он снабдил тексты, подчеркивается героико-патриотический смысл песни. В «Morgenblatt» она была озаглавлена «Des Helden Tod» («Смерть героя»), в книжном издании «Der Sterbende Held» («Умирающий герой») и «Der Helden Vaterherz» («Отцовское сердце героя»). Героико-патриотические мотивы русской народной поэзии акцентированы и во вступительной статье Гёце. Комментируя песню «Уж как пал туман...» в примечаниях, он высказал также предположение о древности воплощенных в ней мотивов. Приводим русский текст этой песни:

Уж как пал туман на сине море,
А злодей-тоска в ретиво сердце;
Не сходить туману со синя моря,
Уж не выйти кручине из сердца вон!

Не звезда блестит в чистом поле,
Куруется огонечек малешенек:
У огонечка разостлан шелковый ковер,
На коврике лежит добрый молодец,
Прижимает платком рану смертную,
Унимает удалую кровь горячую.

Подле молодца стоит тут его добрый конь,
И он бьет копытом в мать сыру землю,
Будто слово хочет вымолвить хозяину:
Ты вставай, вставай, удал добрый молодец!
Ты садись на меня, своего слугу;
Я свезу тебя в свою сторону,
К отцу, матери родимой, к роду племени,
К малым девушкам, к молодой жене.

Как вздохнет тут добрый молодец,
Подымалась у удалого его крепка грудь;
Упустились у молодца белые руки,
Растворилась его рана смертоносная,
Пролилась ручьем кипячим кровь горячая.

Тут возговорил молодец своему коню:
Ах ты конь, мой конь, лошадь верная!
Ты товарищ моей горькой участи,
Добрый ты пайщик службы царския!
Ты поезжай один на святую Русь,
Поклонись от меня отцу, матери,
Ты скажи моей молодой вдове,

Что женился я на другой жене,
Что за ней я взял поле чистое,
В приданое взял зелены луга,
Нас сосватала сабля острая,
Положила спать калена стрела.

Челаковский, судя по всему, так же как и Гёце, считал песню «Уж как пал туман на сине море» одним из классических образцов русского народно-поэтического искусства. Недаром даже спустя тридцать лет он включил ее и в хрестоматию по русской словесности, составленную им в середине века¹⁰. Что касается его собрания «Славянских народных песен», то в нем эта песня акцентирована составителем как ни одна другая. Текст ее воспроизведен практически четыре раза (в оригинале, на чешском, польском и немецком языках) — случай единственный на все три тома¹¹. Не исключено вместе с тем, что, публикуя перевод Гёце, Челаковский рассчитывал расположить в пользу этой песни и цензора. Дело в том, что чешский поэт, как это ясно из его переписки, весьма опасался за прохождение русского раздела через цензуру, и, по-видимому, особые опасения вызывала у него как раз песня «Уж как пал туман...», воспевающая русского витязя. Ссылка на немецкий авторитет не только позволяла выделить понравившуюся песню, но и могла послужить аргументом перед тогдашним (весьма недалеким) пражским цензором Яном Циммерманом, придирчивость которого к славянско-патриотическим настроениям чешских литераторов доходила до анекдотических крайностей. Во втором томе «Славянских народных песен» он вдруг запретил даже слово «славянские» в заглавии книги и только за невозможностью подобрать другое название в конце концов разрешил его. Как мы видим, чешским литераторам приходилось иногда в поисках защиты от своих не в меру усердных чиновников апеллировать и к мнению немецких деятелей культуры.

Что касается второй песни, взятой Челаковским из статьи в «Соревнователе просвещения», она по-своему тоже примечательна. Ею интересовался Пушкин: в черновых набросках сцены в корчме на литовской границе в драме «Борис Годунов» ее поют беглые монахи. Это песня чернеца, против воли постриженного в монахи и тоскующего в монастырской келье по любви. Чешский цензор, сочтя, видимо, себя обязанным блюсти и нравственность духовного сословия, не пропустил эту песню в первом томе, о чем Челаковский упоминал в своих письмах. Правда, год спустя, добавив к тексту самим им придуманное заглавие, Челаковский отдал перевод в журнал «Чехослав», и на этот раз он благополучно проскочил цензуру и был напечатан.

Таким образом, определенные линии тянутся от Гёце и в Чехию.

Думается, что деятельность Гёце, в том числе связанная с его интересом к славянской народной поэзии, заслуживала бы специ-

ального исследования, в котором были бы, в частности, проанализированы принципы, которыми он руководствовался, отбирая поэтические тексты для перевода, выявлены художественные особенности переводов и вообще материал был бы сведен в общую картину. Важно было бы сопоставить книгу Гёце с другими изданиями русских народных песен на немецком языке, например, с книгой Карла Генриха фон Буссе «Князь Владимир и его стольная дружина» («Fürst Wladimir und dessen Tafelrunde»), изданной в 1819 г. в Лейпциге и содержащей переводы былин из собрания Кириши Данилова¹². Наша задача сводилась к тому, чтобы напомнить лишь самые общие сведения о Гёце и несколько подробнее сказать о менее известном отзвуке его деятельности в Чехии.

Примечания

- ¹ См.: Вукова преписка. III. Београд, 1909.
- ² Библиографические листы на 1825 год. СПб., 1826 (опечатка, должно быть — 1825), с. 469–470.
- ³ Подробнее о Челаковском см.: Slavistický odkaz F. L. Čelakovského (Práce z dějin slavistiky XI) / Věd. red. J. Petr, Z. Urban. Praha, 1988.
- ⁴ См.: O. Fischer. K ohlasu písní ruských // Bratislava VI. Praha, 1932.
- ⁵ С. В. Никольский. О знакомстве Ф. Л. Челаковского с декабристским журналом // Ученые записки Института славяноведения АН СССР, 1954, т. VIII, с. 323–349. См. также: С. В. Никольский. Две эпохи чешской литературы. М., 1981, с. 72–101.
- ⁶ Библиографические листы на 1825 год..., с. 392.
- ⁷ Т-г. Нечто о народных русских песнях // Соревнователь просвещения и благотворения, 1818, часть 2, № 6, с. 337–354.
- ⁸ См. подробнее: С. В. Никольский. Две эпохи чешской литературы, с. 72–101.
- ⁹ P. Goetze. Stimmen des russischen Volks in Liedern. Stuttgart, 1828, S. 69.
- ¹⁰ F. L. Čelakovský. Všeslovanské počáteční čtení (Z písemnictví ruského). Praha, 1852, s. 58.
- ¹¹ F. L. Čelakovský. Slovanské národní písně. Praha, 1946 (переиздание), s. 116, 637–639.
- ¹² C. H. von Busse. Fürst Wladimir und dessen Tafelrunde. Alt-russische Heldenlieder. Leipzig, 1819.

Контакты русских славистов с немецкой наукой в XIX — начале XX веков

В первой четверти XIX в. в России возникает интерес к зарубежным славянским народам и наблюдается расширение знаний о них. Эти явления следует рассматривать, с одной стороны, как результат проведенных правительством Александра I реформ в системе образования, в частности — создания новых университетов — Харьковского, Казанского, Дерптского и Петербургского, в которых появляются лица, интересующиеся окружающими Россию странами и народами. С другой же стороны, здесь сыграли роль политические события в Европе, в том числе войны России с Турцией и Наполеоном, в ходе которых россияне встречались со славянскими народами. Уже в начале века по славянским землям путешествовали с различными целями отдельные представители русского общества: чиновники, военные, ученые. Они оставили ряд сочинений с описанием славянских земель и народов. Но первым действительно научным путешествием в Европу, в том числе и в славянские страны, было то, которое совершил П. И. Кеппен в 1821–1824 годах. Это путешествие, впоследствии описанное, показало, что для изучения славянских народов недостаточно посетить только славянские страны, что изучение будет успешным лишь тогда, когда русские слависты познакомятся с немецкой наукой о славянах, с библиотеками и архивами немецких научных центров, с постановкой филологической науки в университетах Германии. Ведь в славянских странах славяноведение находилось практически лишь на начальном этапе своего развития. Правда, среди чехов, в Праге, было уже заметно значительное оживление в деле изучения славянских языков и литератур, но что касается других славян, особенно южных, то у них еще не было сколько-нибудь серьезных успехов в этой области знаний.

П. И. Кеппен (1793–1864)¹, сын харьковского врача из обрусевших немцев, переехал после окончания Харьковского университета в Петербург, где занялся научно-просветительской деятельностью и в 1816 г. стал одним из учредителей Общества Любителей Российской словесности, а в 1819 г. вступил в кружок графа Н. П. Румянцева². Разносторонне образованный и энергичный, Кеппен был способен к научным изысканиям, часто совершал поездки по России, осматривал архивы и библиотеки, античные и древнерусские развалины, городища и храмы. В октябре 1821 г. он выехал в путешествие по Европе и посетил многие славянские страны, а в 1823 г. отправился в странствие по Германии. Здесь его маршрут проходил через Мюнхен, Майнц, Франкфурт-на-Майне, Кассель,

Геттинген, Эрфурт, Веймар, Иену, Галле, Дрезден, Берлин. Через Данциг и Кенигсберг Кеппен в апреле 1824 г. возвратился в Петербург. Зиму 1823–1824 гг. он провел в Мюнхене, где приготовил снимок со знаменитых Фрейзингенских отрывков³, которые были впоследствии изучены А. Х. Востоковым. В Касселе он встречался со знаменитым германистом Якобом Гриммом (1785–1863), в то время местным библиотекарем, который показал Кеппену славянские рукописи и книги. В Галле путешественник находился с 11 по 21 февраля 1824 г. Он приехал сюда по приглашению профессора Якоби (Л. Г. фон Якоба), дочь которого Тереза переводила в то время на немецкий язык «Сербские песни» В. С. Караджича⁴. В Галле Кеппен познакомился также с известным лингвистом И. С. Фатером (1771–1826)⁵. По возвращении в Петербург Кеппен опубликовал «Записку о путешествии по славянским местам и архивам»⁶. В ней автор перечисляет все земли Европы (Бессарабия, Буковина, Трансильвания, Венгрия, Галиция, Моравия, Саксония, Бавария, Кроация [т. е. Хорватия], Италия, Франция, Германия и др.), где имеются материалы о славянах, а также и ученые, занимающиеся исследованием этих народов. К «Записке» приложена таблица, из которой видно, что наибольшее число материалов и ученых имеется в монастырях и городах Германии. «Записка» основана как на личном опыте, так и на литературе, она служила указателем для всех будущих славистов, выезжавших в Европу с ученой целью, и не только российских, но и иностранных. В 1825–1826 г. Кеппен издавал в Петербурге критико-литературный журнал «Библиографические листы», в котором сотрудничали все представители славянской науки того времени, в том числе и Якоб Гримм.

Интенсивные контакты зарождающейся русской славистики с немецкой наукой начинаются со второй половины 30-х годов XIX в., когда — по новому университетскому уставу 1835 г. — в четырех российских университетах были созданы кафедры истории и литературы славянских наречий. Для занятия этих кафедр нужны были специалисты соответствующего научного профиля. С 1828 по 1839 г. подготовкой таких кадров занимался Профессорский институт Дерптского университета, куда принимались по конкурсу наиболее талантливые молодые люди из коренных россиян. Преподавание велось в Дерпте на немецком языке, профессорская коллегия на 83% состояла из немцев, получивших образование в признанных немецких учебных заведениях и поддерживавших активные контакты с лучшими университетскими центрами Германии. Профессорами применялись индивидуальные формы занятий, слушателям института оказывалась постоянная помощь, профессора передавали им свой опыт, знакомили их с современной научной проблематикой и исследовательскими методами⁷. После двухлетнего пребывания в Профессорском институте его слушатели завершали свое образование за границей. Из будущих русских славистов курс подготовки

в Профессорском институте прошел лишь В. И. Григорович. Однако Дерптский университет, давая высокий уровень общих знаний, не мог подготовить специалиста по славяноведению. Поэтому для занятия учрежденных в Московском, Петербургском, Харьковском и Казанском университетах славянских кафедр нужно было готовить специалистов в Центральной и Западной Европе, обеспечив им знакомство со славянами, изучение их языков и культур. Поскольку в первой половине XIX в. славяноведение было преимущественно наукой филологической, русские ученые в заграничных командировках должны были решать такие задачи: а) изучить вопрос о состоянии разработки языкознания вообще, усвоить передовые теории и методы исследования в пределах этой науки; б) изучить славянские языки и литературу; в) познакомиться с источниковой базой славянской филологии, то есть славянскими письменными памятниками, и по возможности освоить их содержание и форму. В зависимости от склонностей командированного, а также и задач, которые ставил ему пославший его университет, каждый славист уделял преимущественное внимание той или иной стороне своей подготовки.

Петербургский университет командировал для подготовки к профессорскому званию и последующего занятия славянской кафедры П. И. Прейса (1810–1846), человека чрезвычайно одаренного, учившегося в Петербургском университете, где он приобрел у профессоров Фрейтага и Гrefe основательные знания по древним языкам. Усовершенствовав их благодаря самостоятельной работе, а также в процессе занятий старославянским языком под руководством А. Х. Востокова, Прейс стал превосходным лингвистом⁸. В сентябре 1839 г. он выехал из Петербурга через Дерпт, Ригу, Тильзит в Кенигсберг. В то время считалось, что для глубокого исследования славянских языков необходимо изучение литовского. В университете Кенигсберга существовала кафедра литовского языка, и Прейс нашел здесь хорошее научное руководство. В донесении министру народного просвещения из Кенигсберга от 1 марта 1840 г. он писал: «Мои занятия преимущественно состояли в изучении языка литовского, которого знание сделалось необходимостью для филолога славянского. В этом отношении Кенигсберг предоставлял мне нужные средства, и я не обманулся в своих ожиданиях. Г. проф. Реза, без сомнения, первый в Европе знаток литовского языка, усердно содействовал моей цели. По его рекомендации я поручил себя руководству одного природного литвина г. Куршата, основательно знающего свой отечественный язык⁹. При этом я не переставал пользоваться поучительною беседою г. проф. Резы, его обширными познаниями и теми материалами, которые находятся в его распоряжении»¹⁰. А в письме к своему приятелю М. С. Куторге П. И. Прейс дает любопытный портрет своего научного руководителя: «Что же касается до профессора Резы (Rhesa), то это чудак, какого свет не ви-

дывал. Это с ног до головы укутанный ипохондрик, человек боязливый, рассеянный, забывающий сказанное им самим за несколько минут. Так как он говорит медленно, с расстановкой и тихо, то каждое мое скоро и громко сказанное слово конфузит его. Он начинает посеивать ногами, руками и всем телом. Разумеется, что и я конфужусь. Пробыть у него час — мучение для меня. Я пользуюсь только его библиотекою, в которой очень много драгоценных рукописей, относящихся к литовскому языку»¹¹. Занимаясь в Кенигсберге литовским языком, Прейс интересовался здесь и литовскими древностями, найдя и в этой области квалифицированных консультантов. «В отношении к литовскому народу, — сообщал Прейс в донесении министру, — мое собрание было довольно ограниченного объема; в Кенигсберге я успел его значительно увеличить. В особенности проф. Фохту¹² я обязан за сообщение мне древне-прусских и литовских названий мест и лиц, выписанных им из дипломатических актов. Сверх того вскоре по прибытии моем в Кенигсберг я испросил позволение списать одну рукопись, которая может решить многие стороны этого вопроса. Она заключает в себе подробное описание Литвы XIV и XV веков. Эта рукопись, хранящаяся в Кенигсбергском Тайном Архиве, обязана своим происхождением походам в Литву рыцарей Тевтонского ордена. При помощи этого важного материала мы узнаем из уст современников состояние Литвы в означенную эпоху»¹³.

Прейс работал также в библиотеках Кенигсберга. «К числу здешних библиотек, — пишет он в упомянутом донесении, — принадлежит библиотека Валенродова. В ней нашлась одна только рукопись духовного содержания, писанная на языке церковно-славянском, по всей вероятности, не древнее XVI столетия. Она обращает на себя внимание тем, что писец, как видно, родом из Западной Руси, в церковнославянский текст внес несколько особенностей своего наречия, довольно интересных для филолога. Сверх того в этой же библиотеке отыскал я Грамоту Царя Алексея Михайловича, писанную в 1645 г. из лагеря под Ригой к Фридриху, маркграфу Бранденбургскому»¹⁴.

О своих контактах и с другими кенигсбергскими учеными Прейс сообщает в письмах к Куторге. Из них явствует, что он часто бывал у Лобека (1781–1860), филолога-эллиниста, издавшего важные труды по греческой грамматике, а также сочинение «*Aglaophamus, sive de theologiae mysticae Graecorum causis*» (2 тома, Кенигсберг, 1819), имевшего большое значение для сравнительного изучения мифологий и религий. «Читая его *Aglaophamus*, я полагал, что он лет 30-ти. На самом деле он оказывается порядочным стариком, — пишет Прейс. — Лобек очень недоволен сравнительною филологиею; я ее защищаю за исключением, разумеется, злоупотреблений, которые с каждым днем усиливаются»¹⁵. Из писем видно, что Прейс был в контакте также с Друманном (1786–1861), известным иссле-

дователем античности. «Человек он очень добрый, да только мучит меня своею вычурною учтивостью, чем я ему соответствовать не могу», — делится с Куторгой П. И. Прейс¹⁶. Еще в одном письме он сообщает: «Познакомился я также с Розенкранцем, у которого даже был на лекции. Читает обворожительно»¹⁷.

Таким образом, уже в Кенигсберге П. И. Прейс получил много полезного от немецких профессоров — как от их консультаций по интересующим его вопросам, так и от бесед в процессе общения. Побывав далее в Данциге, Познани, Гнезно и Торне, где Прейс изучал вопросы кашубского языка, предпринимая для этого изыскания в библиотеках, путешественник прибыл в Берлин, где, как он пишет, «преимущественно занялся разбором тех рукописей, которые непосредственно относились к моей цели». «Рукописные словари, находящиеся в здешней Королевской библиотеке, — продолжает он, — имеют более историческую цену: видим, откуда брали свои материалы Памва Берында, Поликарпов»¹⁸.

В Берлине, как отмечает далее сам Прейс, «сравнительная филология, после занятий в библиотеке, составляет главный предмет моей деятельности»¹⁹. В этой области Прейс был подготовлен столь хорошо, что смог внести существенные поправки в сочинения знаменитого профессора Ф. Боппа (1791–1867). Так, в цитируемом донесении министру от 20 июня 1840 г. Прейс писал: «Профессор Бопп в круг своих сравнительных изучений включил и церковно-славянский диалект, и предложил совершенно новый взгляд на характер грамматических форм славянских языков. Очень естественно, что некоторые стороны этого предмета не могли быть исследованы с надлежащей точностью. Проф. Бопп преимущественно руководствовался грамматикой Добровского, она служила ему главнейшим источником. Ему совершенно были неизвестны те открытия, которыми славянская филология обязана А. Х. Востокову. Я почел приятною обязанностью познакомить его с результатами изысканий русского ученого. Они или оправдывали предположения проф. Боппа, или вели к новым соображениям. Проф. Бопп сожалеет, что не мог во-время воспользоваться трудами А. Х. Востокова, и обещал однакож впоследствии сделать из них употребление. Другой недостаток труда проф. Боппа, недостаток неизбежный, заключается в том, что при исследованиях своих он не имел в распоряжении тех важных пособий, которые доставляли сравнительное изучение славянских наречий. Я осмелился предложить ему несколько письменных замечаний относительно этого предмета. Г. Бопп принял их с лестным для меня отзывом»²⁰.

То же самое сообщает Прейс и Куторге: «С Боппом я сошелся также очень хорошо, несмотря на то, что весь мой разговор составлял оппозицию его мнениям. Замечания мои на его сравнительную Грамматику я доставил ему письменно; он был очень доволен. Из Праги, как только удосужусь, пошлю ему еще несколько замеча-

ний, как кажется, дельных, тем более, что в Берлине я мог писать только при помощи моей памяти. Притом, теперь вышел первый том его Санскритского словаря, в котором он дал место и славянским языкам. Нельзя же оставить без *Gegen-Bemerkungen*»²¹.

И в Берлине Прейс завел много знакомств с учеными различных специальностей. «Риттер так полюбил меня, что я не знаю, чем и как заслужил его расположение, — сообщает Прейс. — Все, что мне нужно было, он доставлял с величайшей готовностью, приглашал меня в Берлинские собрания ученых, знакомил со всеми, кого я хотел знать»²². А в донесении министру добавлено: «Все, что мне казалось новым, примечательным, сообщал я профессору Риттеру. Его познания изумительны и в археологии. Почитаю неперменным долгом свидетельствовать перед Вашим Высокопревосходительством мою глубокую признательность сему знаменитому ученому за его усердие, радужное содействие цели моего пребывания в Берлине»²³. И еще целый ряд немецких ученых благосклонно, благожелательно и уважительно отнеслись к Прейсу в крупнейшем центре Германии. В цитированном письме Прейс отмечает: «С Ранке я познакомился в последнее время, жалею, что не удалось ранее с ним сойтись. Мне он очень понравился». И далее: «Часто, очень часто сходилась с писательницею Robinson (известною под именем Talvj). С нею я читал русские песни, которые она мастерски переводит на немецкий». «Хотя ученые дамы и не по вкусу мне, — продолжает Прейс, — при всем том она составляет исключение. Как ее обрадовало, когда я сказал, что знанием сербского я ей обязан. Это не был комплимент, а сущая правда. Не имея лексикона, я с помощью ее перевода наострил в сербском»²⁴. О Терезе Якоб-Робинзон мы уже упоминали в связи со сведениями о путешествии Кеппена, что же касается Леопольда фон Ранке (1795–1886), то этот знаменитый историк очень хорошо известен в науке, в том числе своими работами по истории Сербии.

По окончании занятий в Берлине П. И. Прейс перебрался в Галле. Главной задачей его пребывания здесь было познакомиться с учеными А. Ф. Поттом, о котором будет сказано ниже, и Гезениусом, чтобы обсудить вопросы, связанные с русской мифологией, которой интересовался Прейс²⁵. Но, кроме того, Прейс осмотрел в Галле учебные заведения, носящие имя А. Г. Франке (1663–1727), пиетистского теолога, филолога и педагога, и «свел знакомство с Реппелем», т. е. с историком Рихардом Рёппелем (Roepell, 1808–1893), изучавшим прошлое Польши. Прейс указал, что этот ученый «использует не только известные славянские и иностранные материалы, но и успел приобрести много нового»²⁶. Реппель, по характеристике Прейса, «принадлежит к числу немногих немецких ученых, которые для этой цели (т. е. для занятий историей славян. — Л. Л.) изучают самые языки. Он вскоре намерен издать *Историю Польши*»²⁷. Действительно, в 1840 г. Реппель опубликовал в Гам-

бурге 1-ю часть «Истории Польши»: «Geschichte Polens. Teil I — Die Monarchie der Piasten 850–1300».

Главные же дискуссии проходили у Прейса с А. Ф. Поттом. Прейс сообщает, что «очень часто с ним сходилась», и что они оба «представляли из себя школу взаимного обучения в лицах», поскольку «Потт — не только человек знающий, но и человек с решительным филологическим дарованием; притом превосходная душа». Посещал Прейс также лекции Дункера и Эрдманна в университете Галле. «Дункер, как и Эрдманн, читают без тетради, а это — редкость в Германии. К сожалению, Эрдманн имеет привычку свои лекции учить наизусть, оттого его Vortrag... похож на Vortrag Елпатьевского, блаженные памяти», — тонко замечает Прейс²⁹. В период своего пребывания в Галле Прейс посещал и лекции Гезениуса. «У него постоянно 300 слушателей. Ныне он объясняет Книгу Бытия и читает еще Еврейскую Археологию. Лекции его чрезвычайно поучительны. Жаль, что он диктует, всеобщей моде подражая. Впрочем, дома он еще интереснее, нежели на лекциях». Прейс обсудил с Гезениусом вопрос «по поводу Богов, упоминаемых Нестором, и с которыми у меня весьма благополучно обстоит. Мои догадки не только объясняют место у Нестора, но вместе с тем озаряют неожиданным светом некоторые стороны истории Арийских народов»³⁰.

Прейс посетил также Лейпциг, где пробыл три дня и познакомился с ориенталистом Флейшером (Heinrich Leberecht Fleischer, 1801–1888) и палеографом Бером (Beer), профессором тамошнего университета, который нашел ключ к чтению надписей на горе Синай и подготовил к печати полный их разбор. В Лейпциге Прейс нашел рукописный словарь верхнелужицкого наречия и познакомился с несколькими славянами из Лужицы, «которые усердно хлопочут об издании своих песен, составлении словарей и грамматики»³¹.

В Дрездене Прейс занялся рассмотрением славянских рукописей, хранившихся в Королевской библиотеке. В донесении он писал: «Важнейшей из рукописей кирилловского письма есть перевод Богословия Иоанна Дамаскина. По языку рукопись принадлежит к позднейшим памятникам болгарского. Список XVII в.... Остальные кирилловские рукописи Дрезденской библиотеки в филологическом отношении не представляют ничего важного»³². А в письме к Куторге Прейс сообщает, как он работает: «Не только утром (с 9 до 1 ч.) я был в библиотеке, но и после обеда (с 3 до 7) приходил добрый Клемм..., замыкал меня в библиотеку и отпирал опять для выпуска этого книго- и рукописе-ядного животного»³³. В период своего путешествия Прейс также побывал в Вене, где познакомился с рядом ученых и работал в библиотеках.

Резюмируя сведения о пребывании Прейса в Германии в период его подготовки к профессуре, можно констатировать, что командировка дала ему очень много пользы. При этом Прейса нельзя рас-

смаatrивать только как ученика немецких профессоров; напротив, он часто выступал их оппонентом, заставлял их прислушиваться к его мнениям и давал импульсы для пересмотра высказанных ими суждений и выводов. Прейс выступал в Германии как равноправный партнер немецких ученых. К сожалению, вклад одаренного и энциклопедически образованного молодого ученого в русскую науку оказался минимальным, так как вскоре после своего возвращения из-за границы он умер, не успев создать никаких крупных трудов.

Наряду с Прейсом в те же годы готовился за границей к профессорскому званию другой, впоследствии знаменитый, русский славист — И. И. Срезневский (1816–1880)³⁴. Он был командирован Харьковским университетом, где являлся адъюнктом (младшим преподавателем) по кафедре политической экономии и статистики. Срезневский перед выездом за границу уже имел магистерскую степень по предмету своей кафедры, но тяготел к занятиям фольклором, этнографией, стариной. Уже в 1831 г. он издал «Украинский альманах», в 1832 г. — «Словацкие песни», записанные у торговцев-словаков, а затем еще и «Запорожскую старину» (Ч. 1–2, 1833–1838). Срезневский давно интересовался также славянской словесностью, знал основную литературу о ней, в том числе и немецкую, владел иностранными языками, в первую очередь, разумеется, немецким. Задачей его командировки было практическое изучение славянских языков, а также быта, нравов, обычаев и прочих сторон жизни славян.

Заграничное путешествие Срезневский начал тоже с Кенигсберга, где пробыл 5 дней. Свои первые впечатления об университете этого города он описал так: «Университетские здания... — старые дрянные дома, грязные, по крайней мере не чистые. На аудитории страх взглянуть; в уездном училище у нас во 100 раз лучше, даже в приходской школе лучше, потому что эти нечистые комнаты, уставленные гадкими столами и скамьями, да и кафедры, такие же гадкие, годились бы разве для Миргородской базарной торговли, и самая лучшая аудитория только-что поболее других, впрочем, тоже невелика, и самая, наконец, торжественная зала похожа скорее на коридор. Обсерватория, где командиром Бессель, один из первых современных астрономов, очень богата инструментами»³⁵. И далее: «В Кенигсберге многие умеют жить... И профессора живут хорошо... Я познакомился с пятью и у двух был на лекции. Первое знакомство было с Шубертом, профессором политических наук. Он полюбил меня, я его, и мы виделись почти каждый день»³⁶. В путевых заметках Срезневского имеется и характеристика Шуберта: «Шуберт обязал меня сообщением статистико-топографических сведений о славянском населении не только Пруссии, но и Австрийской империи, и первый указал мне на необходимость личных наблюдений в этом отношении, основываясь на том, что как в Пруссии, так отчасти и в Австрии, многие видят славян толь-

ко там, где народ остается чисто славянским без знания немецкого языка. С его (Шуберта. — Л.Л.) помощью начал я составление этнографической карты Славянской части Европы»³⁷. В связи с этим указанием И. И. Срезневского обращает на себя внимание неправильное утверждение, встречающееся в чешской литературе, что материалы для этнографической карты И. И. Срезневский заимствовал из «Славянских древностей» Шафарика³⁸.

В свое время Срезневский в Харькове имел неприятности с магистерской диссертацией на тему «Опыт о предмете и элементах Статистики и Политической экономии сравнительно» (Харьков, 1839). Диссертация не была допущена к защите советом Харьковского университета вследствие новизны высказанных автором взглядов. Но зато в лице кенигсбергского профессора Шуберта русский ученый нашел единомышленника. Вот как он сообщает об этом: «Я подарил Шуберту экземпляр своей диссертации, пересказал содержание и... обрадовался, когда узнал, что Шуберт не только одобряет мои мысли, но и почти согласен с ними. С тех пор предметом наших разговоров большей частью была статистика»³⁹.

В Кенигсберге Срезневский познакомился также с известным исследователем Гегеля, профессором философии К. Розенкранцем. «Пылкая, нежная, мечтательная душа, — пишет о нем Срезневский. — ...Несколько часов провел я с ним в разговоре о народной поэзии, которую он страстно любит»⁴⁰. В путевых заметках Срезневский подчеркивает: «Розенкранц, занимаясь народной поэзией в отношении эстетическом и мифологическом, сообщил мне много любопытных замечаний касательно народной поэзии Германской, применимых к миру славянскому»⁴¹. У Розенкранца и Шуберта Срезневский был и на лекциях. «Оба читают прекрасно», — замечает он.

Кроме того, Срезневский познакомился с профессором физики Мозером, историком И. Фогтом, а также профессором Фердинандом Карлом Швейкертом, который в 1813–1816 гг. был профессором юрико-политического факультета в Харькове⁴².

Из Кенигсберга Срезневский направился и в Берлин, в университет которого как раз читал лекции уже упоминавшийся Фр. Бопп, знаменитый лингвист, основатель индоевропеистики и сравнительно-исторического метода изучения языков. Бопп не занимался специально славянскими языками, но его теоретические положения были основой для глубокого изучения этих языков как составной части индоевропейских. Языковеды славянских стран хорошо знали и широко пользовались методикой Боппа, но русский ученый решил освоить основы индоевропеистики непосредственно у Боппа, а не из вторых рук. В донесении министру народного просвещения он 8/20 февраля 1841 г. писал: «Из ученых берлинских я сблизился более всего с проф. Боппом, столь справедливо занимающим одно из первых мест между филологами Европы. Обшир-

ное знание языков так наз. индогерманского корня, твердая и глубокая мысль и сообразительность, неустанная деятельность и беспристрастие, добродушие и готовность помогать каждому любителю языкознания отличают этого ученого и внушают к нему полное уважение. Прилежно посещая его лекции, я имел счастье пользоваться его вниманием и многим обязан ему как в отношении к современным разысканиям по общей части сравнительной грамматики так и в отношении санскритского языка со славянским»⁴³. Под руководством Боппа Срезневский занимался санскритом, о чем писал своему брату: «Познакомился и сошелся с Боппом, у которого слушаю санскритскую грамматику; выучу этимологию, да и поеду из Берлина. Бопп помогает мне от души и на лекциях, где бывает не более 4-х человек, особенное внимание обращает на меня, стараясь передать мне и то, что говорил он на прежних лекциях... Остаюсь в Берлине еще на три недели. Надобно доучить санскритские склонения, выучить спряжения и лучше понять формы производства слов. Бопп мне сказал, что в полгода можно отлично узнать санскритский язык, занимаясь по три часа в день; но полгода я не могу посвятить на это, да мне и не нужно отлично знать санскритский язык, хочу только понять его и, что еще важнее для меня, понять, как понимают германские ученые сравнительность языков»⁴⁴.

Лекции в Берлине Срезневский слушал с 8 декабря 1839 по 27 января 1840 г., а затем отправился в Галле, где познакомился с другим знаменитым лингвистом А. Ф. Поттом (1802–1877). «В Потте я нашел второго Боппа, — писал Срезневский. — Та же ученость, та же искренняя любовь к своему предмету и то же высокое сознание его трудности. Беседы с ним были для меня столько же приятны, сколько поучительны, и тем более они были для меня приятны, что Потт беспристрастно любит славян и знает, что славяне сделали и сделают для Европы»⁴⁵. Через Лейпциг, где Срезневский, по его словам, «осмотрел славянские рукописи» и «познакомился с некоторыми деятелями лужицких сербов», а затем через Дрезден, где русский ученый также установил научные и личные контакты, он прибыл в Прагу. Впоследствии Срезневский совершил путешествие по Лужицам, посетил Силезию. Но в этот период он уже изучал славянские сюжеты, впрочем вовсе не пренебрегая консультациями немецких знатоков и специалистов.

Таким образом, если Прейс выступал перед немецкими лингвистами как их равноправный партнер, то Срезневскому, несомненно, менее подготовленному в вопросах языкознания, довелось приобретать в немецких университетах знания, необходимые для разработки вопросов, касающихся развития славянских языков. Эта учеба дала свои результаты. Впоследствии Срезневский стал, как известно, одним из крупнейших авторитетов в области славянской филологии. Особенно плодотворно он исследовал памятники славянской письменности. Метод Срезневского определенно

берет свое начало от времени его обучения в Германии и вообще пребывания за границей.

После И. И. Срезневского русские слависты долго не посещали немецкие университеты. Правда, по Германии проезжали и О. М. Бодянский, и В. И. Григорович, но их пребывание там было непродолжительным и в основном ограничивалось знакомством с лужицкими сербами. После того, как кафедры истории и литературы славянских наречий были в русских университетах замещены, отпала необходимость дополнительно командировать за границу лиц этой специальности. Кроме того, к концу 40-х годов XIX в. в связи с революцией 1848–1849 гг. в Европе власти царской России ограничили выезд российских подданных за границу, да и ситуация в Германии и в славянских странах не располагала к путешествиям и спокойным занятиям наукой. Поездки за границу молодых ученых возобновились лишь в 60-х годах, когда в России наступила пора реформ и либерализации внутренней политики. Подготавливавшаяся школьная и университетская реформа требовала новых кадров по многим специальностям, которые готовились в значительной мере и за границей, прежде всего — в Германии, как стране, известной своими учеными и университетами, ближайшей к российским границам, а также и благодаря давно установившейся традиции научных связей. Сохранились любопытные сведения, например, о числе русских, посещавших прусские университеты в течение первой половины 1860/61 академического года. Из них в Грейфсвальде было 9 человек — по философскому факультету; в Галле — 1, по юридическому факультету; в Бреславле — 1, по медицинскому факультету; в Кенигсберге — 2 по юридическому, 5 по медицинскому, 1 — по философскому факультету; в Берлине — 1 по богословскому, 6 по юридическому, 21 — по философскому; в Бонне — 1 по юридическому и 3 по философскому; а всего 69 человек⁴⁵. Столь внушительные числа командированных только за один академический год свидетельствуют о существенном расширении связей с немецким образованием и наукой по сравнению с предшествующими периодами. Что же касается славистов, то к этому времени на поприще изучения и преподавания славяноведения в российских университетах вступают ученики первопроходцев — О. М. Бодянского, В. И. Григоровича, И. И. Срезневского. Среди воспитанников последнего известен и В. В. Макушев (1837–1883), один из крупных русских славистов XIX в. Занимался он историей славян и славянской филологией в целом, но прежде всего был исследователем истории южных славян, о которой оставил потомкам ряд замечательных трудов, не утративших своего значения до наших дней.

Жизнь и творчество Макушева изучены недостаточно. Хотя за последние полтора десятилетия о нем написан ряд статей (в том числе четыре опубликовано и автором этих строк), но они не исчер-

пывают всего материала, содержащегося в его научном наследии⁴⁷. Поэтому целесообразно коротко остановиться на жизненном пути ученого⁴⁸. В. В. Макушев родился в Бресте. Отец его — русский военный инженер, мать — поляка. В 1846 г. его родители переехали в Петербург, где вскоре умерли. В 1860 г., окончив Петербургский университет (он учился на историко-филологическом факультете, специализируясь у Срезневского), Макушев отправился за границу и пробыл там — преимущественно в Бонне и Париже — около 8 месяцев. В 1861–1862 гг. Макушев служил в Азиатском департаменте МИД России, а затем, до 1866 г., являлся секретарем русского консульства в Дубровнике. Владея польским языком с детства, он изучил в гимназии и университете латинский, французский и немецкий, начал читать по-английски и по-итальянски; в Дубровнике основательно овладел итальянским и сербским, учился венгерскому и испанскому. Вернувшись в Россию, Макушев вышел в отставку и занялся научной деятельностью. В 1867 г. он защитил магистерскую диссертацию «Исследование об исторических памятниках и бытописателях Дубровника», а в феврале 1868 г. он отправился в заграничную командировку, которая продолжалась до 1871 г. К этому времени Макушев был уже опытным исследователем, издавшим ряд книг и статей по истории и филологии южных славян, получивших высокую оценку в русской литературе. Командировка нужна была Макушеву для дальнейшего разыскания источников о южных славянах, история которых в то время только начинала разрабатываться. Макушев отправился прежде всего в Кенигсберг, чтобы получить от профессора К. Гопфа сведения о «близко знакомых ему архивах и библиотеках Италии»⁴⁹. Затем Макушев посетил Вену и Загреб, а после этого более двух лет работал в Италии, обследуя библиотеки и архивы Венеции, Милана, Флоренции, Неаполя, Палермо и других городов. В результате этой работы он обнаружил и переписал почти 20 тысяч документов, из которых успел опубликовать лишь небольшую часть. Еще находясь за границей, Макушев получил назначение в Варшавский университет экстраординарным профессором по кафедре славянской филологии. Защитив докторскую диссертацию на тему «Исторические разыскания о славянах в Албании в средние века», он в 1872 г. был назначен ординарным профессором Варшавского университета и занимал эту должность до конца жизни. В 1878 г. Петербургская Академия наук избрала его своим членом-корреспондентом. Умер Макушев на 46-м году жизни. Знакомство Макушева с немецким балканистом Карлом Гопфом относится к периоду его командировки для приготовления к профессорскому званию. Хотя Гопф был автором ряда солидных трудов, в России его знали мало. Исключение составлял в этом смысле русский византист немецкого происхождения академик Э. (А. А.) Куник, который в 1862 г. и посоветовал Макушеву проконсультироваться с немецким знатоком итальянских архивов

перед началом работы в них. Совет оказался чрезвычайно плодотворным и стал толчком к сотрудничеству двух ученых.

В первом своем отчете о командировке, посланном Макушевым в Министерство народного просвещения, содержится подробное описание обстоятельств знакомства и сотрудничества с Гопфом. «По совету академика А. А. Куника, — писал Макушев, — я начал путешествие с Кенигсберга, куда прибыл 2 марта, и где провел более трех недель. Отправляясь в Кенигсберг, я имел в виду только забрать сведения от проф. Гопфа о близко знакомых ему библиотеках и архивах Италии, а потому предполагал оставаться в нем не более двух-трех дней. Я встретил со стороны Гопфа самый радушный прием и полнейшую готовность помочь мне советами и указаниями относительно предстоящих мне занятий в Италии, в которой он пробыл долгое время (в 1853–1854 и 1861–1863 гг.). Он не только составил для меня указатель наиболее значительных архивов и библиотек Венеции, Милана, Турина, Генуи и Южной Италии с обозначением кое-где и рукописей особенно важных, но даже написал более 20 рекомендательных писем к итальянским ученым, архивариусам и библиотекарям, а также г. Ауэрбаху в Валонне и Гану в Сире»⁵⁰. При тех порядках, которые царили тогда в итальянских архивах, рекомендации Гопфа оказались для Макушева очень полезными. Русский ученый отмечал это с благодарностью. В июне 1868 г. он пишет: «Рекомендательные письма, полученные мною от проф. Гопфа... облегчили мне доступ в Государственный Архив Венеции и библиотеку св. Марка»⁵¹. Также и по прибытии в Неаполь 2 августа 1868 г. Макушев «...отправился в Большой архив с рекомендацией от проф. Гопфа к директору неаполитанских архивов г. Фр. Тринкера»⁵² и получил возможность там работать. И в дальнейшем Макушев, занимаясь архивными изысканиями, неоднократно использовал указания Гопфа на архивные документы, которые, впрочем, не всегда оказывались на месте. Так, характеризуя порядки, господствовавшие в неаполитанских архивах, русский ученый обратил внимание на имевшее там место хищение рукописей. В связи с этим он констатирует, что «документы по албанской истории, отмеченные г. Гопфом в его „Истории Византии“, уже не существуют на лл. 286–293 тома 32 Анжуйских регистров. Они вырезаны перочинным ножом»⁵³.

В Кенигсберге Макушев получил возможность ознакомиться с трудами как самого Гопфа, так и с другими, которые, очевидно, ему не были известны. Немецкий профессор предоставил в распоряжение русского коллеги свою библиотеку, в которой, как сообщает Макушев, «кроме редких книг я нашел рукописи, более или менее важные для славянской истории»⁵⁴. Будучи директором публичной библиотеки Кенигсберга, проф. Гопф разрешил Макушеву брать из нее домой все необходимое для работы. Среди рукописей К. Гопфа Макушев нашел две греческие надписи сербских царей —

Стефана Уроша II от 1298 г. и Стефана Душана Сильного от 1349 г.; 20 греческих хрисовулов царя Стефана Душана периода 1346–1352 гг., пожалованных монастырю св. Иоанна Крестителя на Меникейской горе близ Серрада. Эти хрисовулы были скопированы для Гопфа с подлинников в 1856 г. Очень важным для албанской и южнославянской истории Макушев считал предоставленный в его распоряжение список с подлинника рукописи «Giovanni Muesacchi, Despota dell'Epiro. Breve memorie de nostra casa Muesacchio, 1510». На основании этой рукописи Макушев составил генеалогические таблицы рода Музаки. Кроме того, он скопировал из содержания этого списка все то, что касается южных славян и Скандербегу. Много интересных сведений о Калояне, Борисе и вообще о болгарях XIII века нашел Макушев в указанной Гопфом рукописи Robert de Clary. La prise de Constantinople. Автор ее — пиккардский рыцарь, принимавший участие во взятии Константинополя латинянами в 1204 г. Рукопись представляла собой копию подлинника, хранившегося в Константинопольской библиотеке. Это сочинение русский историк называет драгоценным для истории Византии, добавляя, что достоверность сведений, сообщаемых Клари о болгарях, подтверждается отчасти изданными актами Ватиканского архива⁵⁵.

Макушев нашел у Гопфа и интересные для слависта редкие книги. Особое внимание исследователя привлекло «Путешествие в Иерусалим» миланского каноника Петра Казоли (1430–1508). Речь идет о путешествии, совершенном в 1494 г. Книга была издана в 1855 г. всего в 50 экземплярах. В отчете Макушев сообщает, что счел нужным переписать из книги все, что Казоли говорит о Далмации. Особенно любопытными он находит сведения Казоли о Дубровнике, занимающие по их древности и обстоятельности одно из первых мест среди источников такого типа.

Результаты изучения материалов в библиотеке Гопфа русский ученый не только изложил в своем отчете министерству, но и постарался сделать достоянием научной общественности. Прежде всего он сообщил о них в письме русскому историку С. Н. Палаузову (1818–1872), родившемуся в России болгарину, окончившему Московский университет. Палаузов занимался историей древней и средневековой Болгарии и публиковал свои исследования на русском языке. 25 марта 1868 г. Макушев писал ему: «У профессора Гопфа я нашел много любопытных для меня рукописей и редких книг, собранных им во время его путешествия по Италии и Греции. Некоторые из них любопытны и для Вас... Robert de Clary, le chevalier. La prise de Constantinople (сказание современника. Много сведений об Асене II и болгарях...). Хрисовулы... Breve memorie de descendanti... (история Албании. Много сведений о славянах)»⁵⁶. Вместе с тем, Макушев рекомендует Палаузову вступить с Гопфом в научный контакт, который был бы полезен для обоих. «Я говорил Гопфу о Вас и Ваших занятиях, — продолжает Макушев, — у него

(Гопфа. — Л.Л.) имеется только Ваш „Юговосток Европы“⁵⁷, о других Ваших трудах он знает по слухам, и он с готовностью пошлет Вам то, что Вам понадобится. Я предложил ему вступить с Вами в переписку и сообщил ему Ваш адрес. Сочинения его у нас мало известны, а между тем многие из них для нас весьма важны!». Далее Макушев добавляет: «С этим человеком сто́ит вступить в переписку. Он знает и славянские наречия, и Вы его весьма обяжете, если пошлете ему Ваши сочинения. Он, со своей стороны, не откажется послать Вам свои. Попросите также Поленова послать ему книгу о Греции, о которой я уже говорил Гопфу. Она его весьма заинтересует. Сообщаю Вам адрес Гопфа...». Палаузов воспользовался советами Макушева, о чем свидетельствует письмо последнего Палаузову из Венеции, из которого видно, что Гопф заказал для Палаузова переписать отрывки из книги Клари, касающиеся Калояна⁵⁸.

Часть документов, предоставленных Гопфом в распоряжение Макушева, вызвала большой интерес у славянских ученых, предложивших Макушеву опубликовать скопированные материалы. Они и вышли в свет в 5-й книге Трудов Югославянской Академии в Загребе в 1868 г. Правда, в тексте хроники Музаки, списанном Гопфом, было много ошибок, и русский ученый скопировал рукопись заново.

Изложенный материал показывает, что пребывание Макушева в Кенигсберге оказалось чрезвычайно полезным для его дальнейшей работы. Гопф снабдил русского историка первоначальными сведениями об итальянских архивах и содержащихся в них документах, создал ему с помощью рекомендательных писем условия для успешной работы. Заслуги немецкого профессора несколько не умаляются тем фактом, что впоследствии русский исследователь внес коррективы в толкование Гопфом ряда источников, указал на некоторые ошибки и неточности старшего коллеги. Такой процесс углубления знаний о том или ином предмете представляется естественным.

Макушев оказался лучше, чем его предшественники, подготовленным к чтению рукописей. Например, при работе в Неаполитанском архиве он не встречал затруднений при чтении специфических в палеографическом отношении Анжуйских регистров, и, как следствие, указал на ошибки предшественников. «Для меня становится совершенно непонятным, — писал Макушев в очередном отчете, — как гг. Гопф, Дель Джудиче и Миньери Риччио могли писать о чрезвычайной трудности читать Анжуйские регистры, но еще непонятнее, как они могли наделать столько непростительных ошибок в своих трудах — единственно по недосмотру внимания. В „Истории Греции“ (К. Гопфа. — Л.Л.) иногда переименованы имена собственные, читающиеся весьма легко»⁵⁹. На основании самостоятельного изучения источников Макушев указывает и на имеющиеся, с его точки зрения, недостатки в изложении Гопфом некоторых событий.

«Проф. Гопф в своей „Истории Византии“, — пишет Макушев, — справедливо заметил, что Анжуйские регистры составляют главный источник для истории Албании со второй половины XIII в. до первой половины XV в. По ним он написал краткий очерк истории государства Анжуйского дома Албании. Но, собрав и сгруппировав факты внешние, К. Гопф не обратил внимания на внутренние: он ни слова не говорит о системе управления Албании, ни о раздиравших ее партиях, ни о мерах, которыми анжуйцы старались обеспечить свое господство в Албании. Он не представил удовлетворительного обзора мер, принимавшихся анжуйцами к защите Албании, и упустил из вида сношения с сербами и болгарами, клонившиеся, как следует предположить, к отвлечению сил Византии от Мореи и Албании»⁶⁰. Несмотря на эти критические замечания, Макушев признает заслуги автора книги в изучении проблемы: «Профессор Кенигсбергского университета Карл Гопф первым указал на важность для истории Албании памятников итальянских архивов»⁶¹.

Контакты, завязавшиеся между русским и немецким учеными во время пребывания Макушева в Кенигсберге, продолжались и далее. Есть данные (правда, косвенные) о том, что ученые переписывались в период пребывания Макушева в Италии. Сама переписка не обнаружена, однако о ее существовании свидетельствуют некоторые высказывания Макушева в письмах к И. И. Срезневскому. Так, сообщая петербургскому профессору о своих планах, Макушев пишет, что Гопф советует ему обследовать архивы в г. Анконе; в другом письме, что Гопф предостерегает от поездки в Албанию без необходимых денежных средств⁶². Этим советам Макушев последовал. Он вообще относился к Гопфу с большим уважением и высоко оценивал его творчество, несмотря на некоторые разногласия в оценках исторического материала и уже упомянутые критические замечания, высказанные по поводу отдельных работ немецкого балканиста. Перу Макушева принадлежит первая в России статья о кенигсбергском ученом, опубликованная в «Вестнике Европы»⁶³. Эта статья, а также неопубликованные отчеты Макушева, содержали большой объем информации об ученом, имя которого мало знали до этого даже специалисты. Макушев сообщил биографические данные Гопфа, привел перечень и оценку его основных трудов до 1868 г., характеризовал метод его работы и ее значение для современной науки. Недостаточную известность имени Гопфа в России Макушев объясняет тем, что большинство его трудов помещалось в «мало распространенных у нас немецких ученых журналах». Между тем, Гопф, как далее указывает Макушев, приобрел известность в немецком ученом мире еще в 1852 г., когда в 20-летнем возрасте (он родился в Вестфалии в 1832 г.) представил в Боннский университет диссертацию на степень доктора философии под названием «*De historiae ducatus Atheniensis fontibus*»⁶⁴. Эта работа Гопфа высоко оценивается Макушевым за фундированность источниками,

за объективность изложения материала. Затем Макушев рассказывает, как с 1853 по 1854 г. Гопф изучал хранилища в Вене, а также в Венеции, Турине, Генуе и других городах Италии, где обнаружил множество ранее неизвестных ученым документов по истории средневековой Греции. В статье Макушева эти издания перечисляются. В 1855–1858 гг. Гопф был приват-доцентом в Боннском университете, с 1858 по 1864 г. — экстраординарным профессором в Грейфсвальде, а с 1864 — ординарным профессором Кенигсбергского университета. Характеризуя работу Гопфа в архивах разных стран, Макушев обращал внимание на то значение, которое имели для науки опубликованные в 1861–1862 и 1864 гг. отчеты Гопфа о его путешествиях. «Эти отчеты, — пишет русский славист, — составляют необходимое руководство для изучающих итальянские архивы»⁶⁵. Уже известно, что отчетами Гопфа пользовался, как своеобразным путеводителем, и сам Макушев во время архивных исследований в Италии. Он признал это и в одной из своих статей⁶⁶. Макушев высоко оценивает Гопфа и как знатока славянских источников, а его труды считает важными для славистики, поскольку они, «будучи основаны на изучении источников, бывших доселе неизвестными и хранящимися в различных архивах и библиотеках Средней и Южной Европы, представляют большой интерес и для нас, славян, особенно русских, ибо кроме добросовестной разработки истории Италии и Греции в этих трудах почтенного немецкого ученого мы находим немало новых сведений по истории южных славян, извлеченных из рукописей, которыми еще никто не пользовался. Сведения эти тем важнее, что они сообщены ученым, отличающимся беспристрастием и не питающим ненависти к нам, славянам»⁶⁷. Макушев также характеризует некоторые работы Гопфа, а несколько статей о приморских городах Италии, опубликованных Гопфом в 1858 г., основанных на источниках и общедоступно изложенных, рекомендует перевести на русский язык, так как, по мнению Макушева, они «составляют необходимое пособие при изучении истории далматинских торговых общин, особенно же Дубровника»⁶⁸. Из сказанного видно, что русский историк считал одним из главных достоинств трудов Гопфа их фундированность источниками и наличие в них опубликованных текстов этих источников или выдержек из архивных документов. Подобный подход к историографии весьма характерен для самого Макушева. Основой исторического исследования он всегда считал документы изучаемой эпохи и весьма скептически относился даже к самым знаменитым авторитетам. Насыщенность трудов Гопфа источниками была для Макушева основным критерием и их достоверности, и пользы для будущей науки.

В не меньшей мере ценил Макушев и критическое отношение Гопфа к предшествующим историческим сочинениям по исследуемой проблеме, стремление проверить их выводы данными источников, оценить объективность этих выводов. Требование критиче-

ского отношения к предшественникам, по мнению Макушева, целиком выполнено в труде Гопфа «История Греции от начала Средних веков до нашего времени». Эту монографию, опубликованную в 1868 г., Макушев относит к самым замечательным сочинениям немецкого историка. Общая оценка творчества Гопфа русским ученым очень высока. Макушев называет его «ученой знаменитостью Кенигсберга».

Подводя итог рассмотрению научных связей между русским славистом Викентием Макушевым и немецким балканистом Карлом Гопфом, можно сделать ряд выводов. Будучи на пять лет моложе Гопфа, Макушев в момент их личного знакомства имел, однако, уже значительный опыт научной работы и солидные сочинения. Знания Макушева об источниках по южным славянам, накопленные в период пребывания в Рагузе в качестве секретаря русского консульства, были весьма обширны, а историческая и филологическая эрудиция высока. Эти факторы определили равноправные отношения между двумя учеными. Макушев не только получил от Гопфа сведения об источниках и архивах, но и сам мог сообщить много полезного. Так, обсуждая с Гопфом результаты своих исследований по генеалогии грандов Испании, Макушев пояснил, что среди них было много дубровчан, а это, как он пишет в отчете, «было неизвестно г. Гопфу, потому я счел долгом сообщить ему имевшиеся у меня рукописные материалы по этому предмету»⁶⁹. Плодотворность научных контактов между Макушевым и Гопфом определялась в значительной мере тем, что оба они были историками с аналогичным в общем отношением к предмету их занятий, к своему призванию, которым считали служение науке. Оба они полагали, что основой для заключений и теорий является исторический источник, изученный критически и всесторонне, что лишь такой подход может обеспечить объективное освещение исторических событий. Несмотря на различия в политических взглядах и убеждениях, в национальности и национальных пристрастиях, Гопф и Макушев не распространяли своего субъективного понимания окружающей действительности на проблемы науки, что и явилось предпосылкой плодотворного сотрудничества двух ученых. Таким образом, на примере связей Гопфа и Макушева мы наблюдаем еще один вариант контактов между русской и немецкой наукой.

Еще одним русским славистом второго поколения, проходившим подготовку к профессорскому званию за границей, был А. Л. Дювернуа (1838–1886). Он обучался славистике в Московском университете у профессора О. М. Бодянского. Литература о творчестве Дювернуа весьма скромна, что объясняется вообще слабой разработкой в нашей историографии истории славяноведения в России. Наиболее подробные сведения об этом профессоре Московского университета имеются в книге автора этих строк «Славяноведение в Московском университете в XIX — начале XX в.» (М., 1997). Кроме того,

современный читатель может узнать о Дювернуа из справочных изданий, некрологов, рецензий на его работы. Имеются также две наших статьи, опубликованные в 1976 и 1978 гг. на русском и чешском языках⁷⁰. Но все же представляется не лишним еще раз коротко остановиться на сведениях о его жизни.

А. Л. Дювернуа родился в Москве. Отец его, по рождению француз, участвовал в походе Наполеона на Россию, натурализовался на новом месте, «присоединился к греко-российской церкви» и стал русским чиновником. А. Л. Дювернуа окончил гимназию в Москве и поступил в Московский университет. В 1861 г. он окончил историко-филологический факультет. Как в гимназии, так и в университете он получал хорошую подготовку по классическим языкам (латинскому и греческому), с большим интересом изучал в университете санскрит и восточные языки у профессора П. Я. Петрова. Одновременно он занимался теорией языка, в чем его направлял известный русский филолог Ф. И. Буслаев. В качестве кандидатской работы Дювернуа подал профессору Н. С. Тихонравову исследование о Палее, текст которой тогда еще не был издан. При изучении этого источника Дювернуа свободно пользовался греческими текстами, привлекавшимися им для сравнения с предметом темы. Таким образом, уже в университете языкознание определилось как сфера будущей деятельности ученого. Оставленный при университете после его окончания, Дювернуа в 1865 г. был командирован за границу для приготовления к профессорскому званию и последующего замещения кафедры сравнительной грамматики индоевропейских языков, только что введенной тогда в состав факультетского преподавания университетским уставом 1863 г. Следует отметить, что этот устав значительно изменял систему высшего образования в России и процесс подготовки кадров по сравнению с предшествующим уставом 1835 г. Русская высшая школа получала широкую автономию, в университетах создавались новые кафедры. Практически каждый профессорский стипендиат получал право на заграничную командировку, как правило, за счет Министерства народного просвещения.

О пребывании Дювернуа за границей, в том числе и в Германии, сведений мало. Тексты его отчетов разыскать не удалось. Но в письмах и других архивных документах некоторые сведения имеются. Из них можно заключить, что он занимался в Вене, посетил также многие университетские города Германии — Берлин, Вену, Тюбинген, Гейдельберг, где слушал лекции тамошних профессоров и работал в библиотеках⁷¹. Так, в письме О. М. Бодянскому (март 1865 г.) он сообщает: «Я не застал в Берлине ни одной лекции, потому думаю дожидаться здесь летнего семестра, который тотчас начнется после Пасхи (26 апреля по н. ст.). Продолжительность моего дальнейшего пребывания в Берлине будет условливаться достоинством курсов. А думаю я погостировать (т. е. посетить). — Л. Л.) А. Вебера

(Риг-веда), Йогентгена... и Мюлленгофа (др[евне]-немецкая метрика). Во всяком случае, первый свой отчет министерству вышлю из Берлина»⁷². В эти же дни Бодянский писал чешскому ученому А. Патере: «К осени в Прагу приедет мой ученый Александр Дювернуа. Он теперь в Берлине, хочет послушать Боппа и Вебера, т. к. готовится года через два занять у нас кафедру сравнительного языкознания, введенную во все университеты по новому уставу». «Я настоял, — пишет далее Бодянский, — чтобы он прежде всего усвоил себе славянщину, чтобы не быть в зависимости от других и заниматься самостоятельными трудами также из славянской филологии. Он посетит после Праги и прочие земли славянские, с языками коих порядочно ознакомился у меня, хоть и не может еще на них говорить. Но, поживши среди них, воротится язычником»⁷³. О том, что Дювернуа слушал лекции и в других университетах Германии, свидетельствует еще одно его письмо Бодянскому, где читаем: «В конце августа месяца, по закрытии летнего семестра в Тюбингене, куда я привлечен ведийским курсом Р. Рота, я предпринял путешествие в Любляну»⁷⁴.

О результатах занятий Дювернуа в университетах и библиотеках Германии можно судить по отзыву Бодянского об отчетах его ученика. В первом из них был представлен в частности перевод 15-го и 16-го гимнов Ригведы как результат занятий санскритом⁷⁵, но главным содержанием этого отчета, высланного из Гейдельберга 9 июня 1866 г., было описание и анализ чешской рукописи «Codex Bohemicus bibliothecae Jenensis haereticus», с которой Дювернуа познакомился в Иене. Два других посвящены описанию Тюбингенских актов славянской книгопечатни в Вюртемберге. Что касается первой из названных рукописей, то она первоначально принадлежала Виттенбергской библиотеке, перевезенной около середины XVI в. в Иену по распоряжению курфюрста Иоганна Фридриха I Великодушного. Рукопись представляет собой сборник статей разных периодов времени, преимущественно XVI века, и составлена чехом, учившимся в Виттенбергском университете, куда со времени Лютера, бывшего в нем профессором, приходили многие западные славяне. До Дювернуа об этом памятнике уже существовала литература, которую он не учел, ввиду чего, по оценке Бодянского, допустил много ошибок при его характеристике. По этой причине, как и потому, что в отчете имеется много выписок на старочешском языке, который труден для российских типографий, наставник Дювернуа не рекомендовал отчет к печати.

Что касается отчетов от 23 августа и 3 ноября 1866 г. — о Тюбингенских актах, то они, по мнению Бодянского, представляли большой интерес⁷⁶. Дювернуа поставил перед собой задачу пересмотреть акты славянской книгопечатни в Вюртемберге и дополнить и уточнить сведения о них, имеющиеся в сочинении Шнурпера «Slavischer Bücherdruck in Württemberg im 16. Jahrhundert»,

вышедшем в 1799 г.⁷⁶ Дювернуа дает описание и характеристику этих актов XVI в., например, переписки Примуса Трубера, владельца книгопечатни, с крайним аристократом Унгнадом, покровителем этого предприятия, затем — письма Унгнада королю Максимилиану и письмо последнего, где он одобряет перевод христианской литературы на хорватский язык и жертвует на это дело 400 рейнских гульденов. Рассматривается содержание и других писем, приводятся сведения и о прочих документах — отчетах, счетах, договорах и т. д. В заключение Дювернуа отмечает, что все это архивное наследие славянской типографии в Вюртемберге раскрывает внутренние побуждения всех действующих лиц предприятия. Всем было известно, что оно не дало больших плодов и замерло «вместе с Унгнадом, который был инициатором и душой предприятия»⁷⁸. С точки зрения О. М. Бодянского, высказавшего ее в своем отзыве, анализ Тюбингенских актов содержит много нового и интересного и потому заслуживает помещения в Журнале Министерства Народного Просвещения⁷⁹. Однако Дювернуа опубликовал статью о Тюбингенских актах лишь в 1868 г. В ней он впервые в русской исторической литературе привел сведения о печатне Примуса Трубера и его славянских изданиях, а именно — переводах Катехизиса и Нового Завета на южнославянские языки.

Вернувшись из заграничной командировки, Дювернуа в 1867 г. защитил магистерскую диссертацию по языкознанию⁸⁰ и был утвержден в звании доцента Московского университета. Но в 1869 г. он был назначен на кафедру славянских наречий, вместо ушедшего в отставку Бодянского, и с этого времени стал преимущественно славистом. Деятельность Дювернуа составляет этап в развитии славистики в России. Новый профессор внес определенный вклад в изучение и развитие сравнительно-исторического метода, продолжая в этом смысле дело А. Х. Востокова и Ф. И. Буслаева. Лингвистические работы Дювернуа, ценные по своему содержанию, не всегда получали должное признание. Он писал также сочинения по истории славян, но его заслуги как историка не идут в сравнение с его достижениями как лингвиста.

Пример Макушева и Дювернуа показывает, что начиная с 60-х годов изменяются задачи пребывания русских профессорских стипендиатов в университетах Германии. Второе поколение российских славистов уже дома получало очень высокую специальную подготовку в области языкознания, филологии и истории. Представители этого поколения владели сравнительно-историческим методом исследования, хорошо знали сочинения немецких ученых, касающиеся их предметов, и ехали за границу уже не для того, чтобы открывать для себя мир славян, а с тем, чтобы совершенствоваться уже приобретенные знания знакомством с мнениями немецких профессоров и изучением материалов, хранившихся в архивах и библиотеках Германии. Блестяще образованное второе поколение рус-

ских славистов находилось на уровне европейских ученых и к концу XIX в. внесло большой вклад в славяноведение в целом. Разумеется, в этом развитии русской науки большую роль играли контакты ее представителей с европейской ученой средой, в частности и немецкой.

Мысль о подготовленности к научной работе воспитанников российских университетов, на наш взгляд, подтверждается и на примере командировки В. Э. Регеля. В советское время этот замечательный ученый был почти забыт. Лишь в 1994 г. в связи со 100-летием журнала «Византийский временник» пробудился интерес к этой неординарной личности, и некоторые исследователи начали изучать архивные документы, связанные с редактором и издателем «Византийского временника» Регелем⁸¹. Теперь наша историография кроме некрологов и словарных справок располагает еще тремя статьями об ученом слависте и византинисте⁸². Полагаем, что все же здесь целесообразно кратко остановиться на биографии Регеля, основывая ее на архивных материалах⁸³. Андреас Фридрих Вильгельм (Василий) Эдуардович Регель родился 27 ноября 1857 г. в Петербурге, в семье потомственных дворян, обладавшей значительными земельными владениями и другим имуществом. Отец будущего ученого Э. Л. Регель был известным ботаником, директором Ботанического сада, членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Семья, происходившая из Германии, натурализовалась в России, но сохранила немецкий язык и лютеранское вероисповедание. В. Э. Регель окончил Петербургское реформатское училище и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где его учителем по славяноведению был В. И. Ламанский. В соответствии с господствовавшими в то время в русской науке представлениями, византиноведение являлось необходимым фундаментом изучения истории славянских народов, особенно их культуры. Поэтому, готовясь стать византинистом, Регель усердно изучал средневековую историю славян. Окончив университет в 1880 г., он был оставлен для приготовления к профессорскому званию по всеобщей истории. В 1883 г. появилось его большое исследование об учредительной грамоте Пражской епархии, в котором автор показал умение работать с источником. В 1890 г. он издал магистерскую диссертацию «О хронике Козьмы Пражского. Критическое исследование» и в 1892 г. получил степень магистра. Дальнейшее его творчество связано с работой в области истории Византии, изданием «Византийского временника» и профессорской деятельностью в Юрьевском университете, а после 1917 г. — в Воронежском, где он был первым ректором. Но с советской властью Регель не ужился. Он уехал в Литву и умер в Каунасе в 1932 г.

С 1884 по 1887 г. Регель находился в заграничной командировке с ученой целью, то есть для приготовления к профессорскому званию. К работе за границей магистрант был хорошо подготовлен.

Отправляя своего кандидата, историко-филологический факультет Петербургского университета писал в инструкции, что Регель имеет серьезное и достаточно широкое образование, полностью владеет критическим методом исследования и «совершенно приготовлен к самостоятельным ученым занятиям». Ввиду этого факультет не считал необходимым для Регеля посещать обычные студенческие занятия в немецких университетах и вообще оставаться в Германии на длительный срок. «Он может оставаться там приблизительно с полгода, — говорилось далее в инструкции, — чтобы присмотреться к ходу и методам исторического преподавания в немецких университетах, чтобы завязать полезные ученые знакомства и связи, и чтобы подготовиться к главной задаче своего путешествия изучением, например, греческой палеографии: последнее ближе всего указывает на Берлин либо Лейпциг». «Факультету тоже было бы желательно, — говорится далее в документе, — чтобы во время пребывания в Германии г. Регель окончательно обработал свою магистерскую диссертацию... Пробыв около полугода в Германии и окончив свою диссертацию, г. Регель может продолжать свои специальные занятия в той области исторического знания, которая его преимущественно интересует, т. е. в области византийской истории», — заключает инструкция этот раздел рекомендаций стипендиату⁸⁴.

Регель выполнил предписания инструкции. Он посетил Берлин, Лейпциг, Вену, Мюнхен, Кольберг, а также Константинополь, Афины, Рим, Мадрид, Барселону, Париж, Лондон и другие центры. О своих занятиях молодой ученый каждые 4 месяца посылал отчет в Министерство народного просвещения России. Отчеты обсуждались в Ученом комитете министерства и фиксировались в журнале, из которого известно, что в период с 16 ноября 1884 г. по 15 марта 1885 г. В. Регель слушал лекции профессоров по всеобщей истории «в университетах Берлинском и Лейпцигском»⁸⁵. «В Берлине г. Регель слушал Моммзена, Ваттенбаха, Курциуса, Бреслау, в Лейпциге — Арндта, Фохта, Мауренбрехера и др. Из числа лейпцигских профессоров нашему магистранту особенно пришлось кстати и по душе курс проф. Арндта *Allgemeine Verfassungsgeschichte des Mittelalters*. Конспект этого курса с краткой характеристикой самого способа преподавания сообщен в отчете. Усердие г. Регеля не подлежит сомнению, т. к. ему приходилось слушать в Лейпциге до 20 лекций в неделю, но при всей его ревности ему не удалось воспользоваться всем, что мог ему дать университет как специалисту всеобщей истории. В историческую семинарию Мауренбрехера, находящуюся в связи с интересным и достойным подражания другим учреждением — историческим институтом, Регелю не удалось проникнуть, т. к. проф. Мауренбрехер не нашел возможным допустить участие постороннего лица в семинарии. Кроме лекций, магистрант Регель под руководством проф. Гардтгаузена занимался практически греческой палеографией, что должно пригодиться ему

в предполагаемой поездке на Восток... Сообщение о способе изучения палеографии и о работах, которые задает своим слушателям Гардтгаузен, не лишены интереса. Точно так же, ввиду своего путешествия в пределы прежней Византийской империи, г. Регель под руководством одного студента из греков изучил практически разговорный греческий язык». Далее сообщается, что магистрант имел контакты и беседы «с некоторыми немецкими учеными, занимающимися византийской историей... Он посетил Штрейта в Кольберге, предполагая найти что-нибудь важное в перешедших к нему бумагах недавно умершего византиниста Гопфа, беседовал с Герцбергом по предмету своей диссертации о четвертом Крестовом походе, познакомился с Гиршем и Гельдером». Далее отмечается, что Регель изучил некоторые рукописи герцогской библиотеки в Готе, представляющие интерес для византийской и русской истории. Заканчивая свое решение, Ученый комитет делает вывод, что «магистрант Регель пользуется своей командировкой как следует».

В другом отчете, за период с 15 марта 1885 по 15 февраля 1886 г., дошедшем до нас тоже в виде выписок из журнала Ученого комитета Министерства народного просвещения (на этот раз) (от 12 мая 1886 г.), указывается, что Регель в этот период занимался в Мюнхене и Вене, «имея в виду преимущественно византийскую историю и ознакомление с неизданными источниками»⁸⁶. Затем он уехал в Константинополь.

Как видно на примере Регеля, с развитием каждой дисциплины Россия для воспитания своих кадров использовала продолжительные их заграничные командировки, избрав для них главным местом подготовки германские университеты и библиотеки, а также немецких профессоров в качестве лекторов и консультантов. И хотя для Регеля, избравшего своей специальностью византиноведение, главная источниковая база находилась на Востоке — в Константинополе, в Малой Азии, на Балканах, работа над ней требовала подготовки в форме изучения палеографии, знакомства с уже изданными сочинениями и богатыми рукописями хранилищами. Все это можно было получить при контактах с немецкой наукой.

В последней четверти XIX в. русское славяноведение достигло значительных успехов. С 60-х годов в нем выделился специальный предмет — история славян; приобретали самостоятельность и другие предметы. Славяноведение из филологической дисциплины превращалось в комплексную, объектом изучения которой становились все стороны жизни славянства. Славянское языкознание в России вышло на передовые рубежи, да и в области изучения прошлой и современной жизни славян русская наука опережала многие страны, а исследования русских историков, например, о прошлом Болгарии и Сербии, были подчас краеугольным камнем в развитии национальной исторической науки соответствующих славянских народов.

Несмотря на обретенную самостоятельность, русские слависты и далее не упускали возможности пообщаться с коллегами в Германии, следили за их продукцией и посещали их библиотеки. Однако, в отличие от предшествующего периода, теперь молодые русские ученые осваивали в университетах Германии предметы, еще слабо развитые в России, в том числе вспомогательные исторические дисциплины — палеографию, дипломатику и другие, необходимые для чтения древних текстов, написанных кириллицей. И, конечно же, каждый стипендиат хотя бы на короткое время приезжал в Германию, чтобы познакомиться с состоянием немецкой науки в интересующей его области.

К числу лиц, которые основное время командировки провели в славянских странах, а в Германию заглянули лишь ненадолго, относится А. А. Кочубинский (1845–1907)⁸⁷, будущий профессор Новороссийского университета. Он закончил в 1867 г. историко-филологический факультет Московского университета, затем некоторое время работал учителем в гимназиях, а с 1871 г. стал преподавать славянскую филологию в Новороссийском университете. До этого, в 1869 г., он был командирован за границу для изучения организации среднего образования в Германии и Австрии, а став в 1873 г. магистром и доцентом Новороссийского университета, получил еще и командировку в славянские страны, где пробыл с 1874 по 1876 г. Славист Кочубинский был филологом и историком. Его магистерская диссертация посвящена истории Чехии XVI–XVII вв., а докторская — взаимным отношениям славянских наречий. Языковедческие работы Кочубинского не составляли сильной стороны его творчества, его выводы по проблемам языкознания не были приняты наукой. Но труды по истории славяноведения, основанные на критически использованных и впервые введенных в научный оборот источниках, являются существенным вкладом в русскую науку. В течение 35 лет Кочубинский преподавал все предметы, относившиеся тогда к славяноведению, и фактически был основателем науки о славянах в стенах созданного в 60-х годах российского университета в Одессе. Германию Кочубинский посетил с ученой целью в 1875 г., когда прибыл в Бауцен, чтобы ознакомиться с памятниками письменности верхнелужицкого сербского языка и овладеть нижнелужицким. Пропутешествовав недолго по Лужицам и познакомившись со страной, ее населением и некоторыми серболужицкими деятелями, Кочубинский прибыл в Берлин, о целях пребывания в котором сообщил в отчете о своих заграничных занятиях за период с 1 февраля по 1 августа 1875 г.⁸⁸. «В Берлине я предполагал, — читаем мы в отчете, — заняться, главным образом, нижнелужицким переводом библии Якубицы 1548 года. Рукопись находится в Королевской библиотеке..., и я легко получил доступ... Но искомая рукопись не оказалась налицо: она была выдана до 15 августа лейпцигскому профессору Лескину, который, как слышно, со-

бирается издать ее. Мне оставалось заняться другим памятником нижнелужицкого языка XVI века, но несравненно менее важным... Рукопись эта носит название *Einn russisch Buch von Thom Schrone*».

Далее Кочубинский описывает состав рукописи и устанавливает в ней три части: немецко-русский разговорник для купцов немецких сословий, ботанический словарь с нижнелужицкими названиями и мадьярско-немецкий словарь⁸⁹.

Затем русский ученый решил в Берлине прослушать некоторые лекции. «Посетив лекции проф. Штейнтала по истории образования романских наречий (при 8 слушателях), отличавшиеся метким набором немногих, но крупных фактов, мастерским изложением и произношением, и профессора Ебеля по сравнительной фонетике консонантов индоевропейских языков (при двух слушателях), который представлял некоторую противоположность Штейнталу по заваливающей массе сообщаемого материала, при том самого разношерстного, по излишней скорости произношения, я во второй половине июля оставил Берлин и через Дрезден и Прагу уехал в Вену», — заканчивает свой отчет Кочубинский⁹⁰.

Таким образом, Кочубинский интересовался в Германии вопросами языкознания и памятниками славянских языков, имевшимися в тамошних библиотеках. Иные интересы питал представитель Петербургского университета Н. В. Ястребов (1869–1923), командированный за границу в 1900 г. О жизни этого талантливого исследователя, как и о его творчестве, долго не было известно никаких подробностей, и не только из-за слабой разработки в СССР истории отечественного славяноведения, но и из-за того, что Ястребов четыре последних года своей жизни прожил за границами России, в Праге, как эмигрант. В советское время писать о нем не полагалось. Основная литература об этом русском ученом опубликована на чешском языке, в том числе и самая большая статья о нем, характеризующая его творчество как исследователя средневековой Чехии⁹¹. Н. В. Ястребов происходил из семьи бедного священника г. Ветлуги Костромской губернии⁹², окончил Костромскую духовную семинарию, продолжал образование в Петербургской Духовной академии, но в 1891 г. перешел на историко-филологический факультет Петербургского университета. Исключительные способности Ястребова, его трудолюбие и энергия, позволили ему блестяще пройти университетский курс по кафедре славянской филологии у профессора В. И. Ламанского, который и определил специализацию Ястребова по истории славян. Именно в 1900 г. в российское Министерство народного просвещения было направлено ходатайство об учреждении в университетах кафедр истории славянских народов. Надеясь на открытие такой кафедры в Петербургском университете, там и решили подготовить соответствующего специалиста. По рекомендации Ламанского, Ястребов занялся историей гуситского движения, особенно его идейной стороной. Такой выбор требовал глубоких

знаний в целом ряде областей науки, к тому же будущий специалист должен был обладать выдающимися способностями, чтобы овладеть предметом за отведенное время. Именно Ястребов и оказался таким лицом. Он окончил университет в 1895 г. и был оставлен на кафедре славянской филологии для приготовления к профессуре по истории славян. В 1899 г. Ястребов сдал магистерские экзамены и с 1 января 1900 г. был командирован за границу. Конкретные задачи этой двухгодичной командировки Ястребова изложены в «Инструкции», составленной В. И. Ламанским⁹³. Здесь говорится, что стипендиат обязан «ознакомиться под руководством опытных ученых Австрийского Исторического института со средневековой латинской палеографией и с новейшими историко-критическими исследованиями официальных (документальных) и летописных (также житий святых) источников средневековой истории славянских земель, вошедших в разное время в состав нынешней Австро-Венгерской монархии». Далее Ламанский рекомендовал Ястребову посетить славянские страны, завязать контакты с учеными, «приготовить себе материал для будущих ученых работ» и перечислял научные учреждения, к которым Ястребову предстояло обращаться за помощью и консультациями. Предметом своей магистерской диссертации Ястребов избрал историю Общины чешских братьев. К выполнению поставленных перед ним задач он был хорошо подготовлен. Еще в духовной семинарии он овладел греческим, латинским и древнееврейским языками, знал французский и немецкий, в семинарии и Духовной академии получил специальное богословско-философское образование. Но прибыл Ястребов в столицу Австро-Венгрии в феврале 1900 г., когда заканчивался зимний семестр в Венском университете, и «все интересные и нужные профессора кончали курсы». Русский магистрант рассчитывал в Вене «послушать курсы: Ягича — по славянским древностям и кирилло-мефодиевскому вопросу, Иречка — по истории южных славян, Томашка — по исторической географии и этнографии Восточной Европы»⁹⁴, но сделать этого не удалось. Не попал Ястребов и на лекции по вспомогательным историческим дисциплинам и по источниковедению австрийской истории. «Поэтому я теперь один занимаюсь латинской палеографией по книгам и таблицам», — сообщает Ястребов в письме А. А. Шахматову. В ожидании начала летнего семестра он усердно совершенствуется в немецком языке, который знал лишь теоретически, но «не понимал живой речи и был вынужден нанять себе учителя»⁹⁵ и вообще тратить порядочно времени на изучение немецкого. Вскоре он мог сообщить, что уже говорит по-немецки и окружающие его вполне понимают. С началом нового семестра Ястребов сообщает: «Был я несколько раз на лекциях профессоров Ягича и Иречка; первого понимать легко, ибо он читает очень отчетливо, медленно; ну а второй так просто мчится... Лекции Ягича очень интересны, я как раз по-

пал на характеристику источников по западно-славянской мифологии»⁹⁶. Посещал Ястребов и семинарий Ягича, о чем писал: «Бываю иногда в этом семинарии, узнал кое-кого из студентов, там работающих; хорошее учреждение, какого мы не имеем, и Бог весть, когда будем иметь». У Ягича Ястребов прослушал также «курс славянской палеографии, где знаменитый славист доказал параллельное кириллице развитие глаголицы из греческого письма»⁹⁷. По истории славян Ястребов слушал два курса лекций профессора К. Иречка — общий курс по истории народов и государств Балканского полуострова со времени появления турок в Европе и специальный курс — о Константине Порфирогенете и его сочинениях⁹⁸. Занимался магистрант и у Иречка в семинаре⁹⁹. Этот профессор с большой похвалой отзывался о Ястребове в письме к В. И. Ламанскому: «Г-н Николай Владимирович Ястребов здесь всем понравился своим знанием и трудолюбием. Он усердно занимается в Институте Австрийской истории, который со своей библиотекой и собранием снимков — одно из лучших заведений нашего университета»¹⁰⁰. По австрийской истории Ястребов слушал курс профессора Редлиха об источниках частного характера («Privaturkunden») и занимался в его же семинаре. «Курс этот, а равно и семинарские работы по этому отделу дипломатики, — говорится в оценке занятий Ястребова Ученым комитетом Министерства народного просвещения, — оказались особенно полезными для нашего молодого ученого ввиду отсутствия общего руководства (т. е. пособия. — Л. Л.) по изучению частных документов... Проф. Редлих дал ему не только превосходный курс, который начинался с характеристики документов позднего римского времени и заканчивался эпохой оживления Urkundenwesen, заключая в себе сверх того некоторые экскурсии по частным вопросам документоведения, но был и прекрасным руководителем работ. В Вене же занялся г. Ястребов греческой палеографией, хотя в этой области ему пришлось ограничиться изучением книг Томпсона и Ваттенбаха»¹⁰¹. В течение всего периода пребывания в Вене Ястребов работал в Institut für österreichische Geschichtsforschung, возглавлявшемся тогда профессором Мюльбахером. Этот ученый встретил молодого русского магистранта очень приветливо, показал ему Институт, библиотеку, коллекции снимков, медалей, печатей, причем Ястребов «был поражен виденным, ибо ожидал встретить нечто более скромное, к чему привык на родине». Ястребову были созданы все условия для занятий вспомогательными историческими дисциплинами. «Работать очень удобно, — замечает он. — Я, как и другие участники, имею особый стол и все нужные книги. Теперь у меня под рукой кроме старых книг по латинской палеографии — Ваттенбаха, Паоли (перевод с итальянского) и франц. Пру (Prou), две новые: Chanoine Reusens „*Éléments de Paléographie*“ 1899, и чешская „*Učebna kniha paleografii latinské*“ 1898 г. Фридриха, заместителя Эмлера в Пражском университете

(последняя — очень хорошая вещь, плод занятий Фридриха в Институте)»¹⁰². Книга Фридриха явилась для Ястребова одним из важнейших пособий при занятиях латинской палеографией. Он сообщал: «Внимательно прочитав книгу Фридриха (чешскую), я попутно смотрю новейшую Reusens'a, читаю, т. е. разбираю таблицы Арндта — Тангля»¹⁰³. Посещая занятия Мюльбахера по латинской палеографии, Ястребов, однако, замечал, что «латинской палеографии славянских земель здесь в Институте выучить нельзя, нужно самому»¹⁰⁴, и что даже в чешской книге Фридриха «эта сторона дела почти совсем не затронута»¹⁰⁵. Для выполнения программы нужных ему палеографических штудий Ястребов «решил пойти в Hofbibliothek, где есть чешские (латинские) рукописи и грамоты довольно старые». «Так вот и сяду за чтение», — резюмирует он¹⁰⁶. Хронологию Ястребов также изучал самостоятельно «по Гротефенду, который недавно издал свой Taschenbuch».

Кроме латинской палеографии и дипломатики Ястребов изучал и греческую палеографию. В целом, пройдя два семестра в венском Institut für österreichische Geschichtsforschung, Ястребов получил по латинской палеографии и «всем трем отделам дипломатики» такую подготовку, которую, по его мнению, получали в России «даже не все всеобщие историки»¹⁰⁷.

После года занятий в Венском университете Ястребов в феврале 1901 г. прибыл в Мюнхен, где в течение трех месяцев занимался под руководством профессора Крумбахера. Задачей русского магистранта было изучить сочинения византийских писателей, «поскольку они имеют отношение к исследованию истории балканских славян». «Семинарий проф. Крумбахера, где сосредоточены все существенные пособия для таковых занятий и дана полная возможность ими пользоваться, в полной степени удовлетворял моим нуждам», — писал Ястребов в отчете¹⁰⁸. Он характеризовал Крумбахера как «превосходного руководителя», добавляя, что это качество «сказывается в нем не только при семинарных (так! — Л.Л.) занятиях, но и во время лекций, где он умеет делать слушателей участниками научной работы»¹⁰⁹. Но Ястребову, к его сожалению, не пришлось в желаемой мере познакомиться с лекциями «известного византиниста», т. к. их характер был слишком далек от интересов молодого русского историка, вынужденного заниматься лишь самостоятельным чтением текстов греческих историков и хронистов. Основными пособиями ему служили соответствующие разделы в книгах Крумбахера «Geschichte der byzantinischen Literatur» и «Appendices» Э. Гиббона к «Истории падения Византийской империи»¹¹⁰. За три месяца пребывания в Мюнхене Ястребов успел изучить византийских хронистов от Прокопия до Кекавмена и «отдел хронографии»¹¹¹. Таким образом, в Мюнхене Ястребов существенно пополнил свое образование по истории южных славян. Когда в середине 1901 года он прибыл в Прагу, это был уже впол-

не подготовленный к самостоятельной работе ученый, освоивший современные ему методы исследования палеографического и дипломатического материала, всесторонне осведомленный о состоянии науки в области изучения Восточной Европы. В Праге Ястребов разыскивал и изучал литературу Общины чешских братьев и полемические сочинения против нее. В процессе своих исследований он сделал ряд важных открытий, в частности установил принадлежность ряда сочинений перу Петра Хельчицкого — идейного вождя Общины, и таким образом реставрировал его литературное наследие. Впоследствии Н. В. Ястребов издал ряд сочинений по истории идейных течений в Чехии XV в., которые явились серьезным вкладом в науку и стали одной из вершин позитивистской историографии в дореволюционной России. Личная судьба Ястребова сложилась тяжело. Блестяще образованный ученый европейского масштаба не мог стать профессором в университете за отсутствием вакантных мест, а получил профессию только накануне революций 1917 г., ликвидировавших, однако, условия для работы в той области науки, представителем которой был Ястребов. Он вынужден был эмигрировать и вскоре умер.

В то время, когда Ястребов трудился в Мюнхене, в Юрьевском университете закончил курс обучения М. В. Бречкевич (1870–1963)¹¹². Он был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории. Со студенческих лет Бречкевич посвятил себя изучению истории Средних веков, а в них — истории славян Балтийского Поморья. В период пребывания профессорским стипендиатом Бречкевич опубликовал несколько работ по истории Восточно-Поморского княжества, которые, по мнению профессора Юрьевского университета А. Н. Ясинского, «восполняли заметный пробел в нашей исторической литературе», ибо «до сих пор сведения по истории Восточного Поморья приходилось получать из сочинений Бартольда, Фокка и Фойгта и других немецких и отчасти польских ученых»¹¹³. Словом, Бречкевич успешно разрабатывал мало освещенную в историографии проблему об исторических отношениях германцев и славян. Для дальнейших изысканий по выбранной Бречкевичем теме и написания диссертации нужно было, естественно, познакомиться с архивными материалами, хранящимися в Кенигсберге, Штеттине, Грейфсвальде, Штральзунде, Берлине, как и с печатным материалом в библиотеках этих и других городов Северной Германии. Однако в заграничной командировке Бречкевичу в 1904–1905 гг. было отказано за отсутствием средств. Бречкевич написал магистерскую диссертацию на доступных в России материалах, а в качестве докторской наметал создать очерки по социальной и государственной истории княжества Славии. Командировка была ему предоставлена лишь с 1 июня 1911 г. (на два года), и Бречкевич уехал в Штеттин и Берлин. Сведений о его занятиях в Германии найти не удалось, но изве-

стно, что в Берлине он занимался как в университете, так и в местных библиотеках¹¹⁴, а кроме того участвовал в историческом семинаре профессора Берлинского университета Шефера¹¹⁵. В одном из документов, где оценивается отчет Бречкевича за 1911–1912 г., упоминается, что он сообщает также свои впечатления о преподавании исторических наук в Берлинском университете. «Сам автор отчета участвовал в некоторых практических занятиях», — констатирует документ. Здесь же отмечается, что Бречкевич к отчету приложил свидетельство Берлинского университета о своих занятиях в нем и удостоверение профессора Шефера о посещении Бречкевичем «исторического семинария»¹¹⁶.

М. В. Бречкевич жил и работал и до и после революции 1917 г. Но его сочинения по истории славян созданы в дореволюционное время. Они являются существенным достижением в изучении истории славянских народов, и в этом успехе автора большую роль сыграли те исследования, которые Бречкевич проводил в немецких архивах и библиотеках, предоставивших ему богатую источниковую базу.

Приведенный материал показывает, что молодые русские ученые, командированные за границу, получали от контактов с немецкой наукой большую пользу для своей будущей профессии, для научной работы. Однако эти контакты не исчерпывались только личным знакомством русских ученых с немецкими, работой в семинарах, архивах и библиотеках. Те молодые люди, которые по каким-либо причинам не получали возможности посетить немецкие университеты для совершенствования своих знаний, приобретали сведения о достижениях немецкой науки дома, изучая труды немецких ученых. Ярким примером увлечения немецкой наукой именно на такой основе, без личных контактов с ее носителями, является отношение к ней А. А. Котляревского (1837–1881)¹¹⁷. Он принадлежал к числу лучших, одареннейших филологов, историков и славистов России прошлого столетия. Знаток древнего быта и культуры славян, мифологии, средневековой германской и романской письменности, блестящий педагог, публицист и критик, Котляревский стал одним из подвижников нового, сравнительного метода исследования прошлого славянских народов и своими трудами значительно продвинул вперед науку о славянах. Жизнь его сложилась драматично. В 1857 г. он окончил Московский университет, где особенно увлекался лекциями профессора Ф. И. Буслаева, развивавшего новый для России метод в изучении русского языка и пропагандировавшего внесение коренных изменений в господствовавшие тогда в России принципы разработки историко-литературных проблем. Несколько лет Котляревский преподавал русскую словесность в средних учебных заведениях Москвы и продолжал активную научную деятельность, которую начал уже на студенческой скамье. Но в 1862 г. молодой ученый был арестован по так

называемому «кельсиевскому делу» и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости в Петербурге. Спустя шесть месяцев его освободили, не предъявив никаких обвинений. Но пребывание в сыром каземате отразилось на здоровье ученого: он заболел туберкулезом, и этот недуг впоследствии свел его в могилу. После освобождения из Петропавловской крепости за Котляревским был установлен полицейский надзор, ему запретили служить по учебному ведомству. Котляревский стал работать в Московском Археологическом обществе (МАО) в качестве редактора научных изданий, в том числе главного печатного органа МАО, именовавшегося, как известно, «Древности». В этом издании Котляревский поместил много интересных исследований. Наряду с этим он часто выступал с научными докладами на заседаниях МАО. В 1867 г. Котляревскому было разрешено служить по учебному ведомству, но только в Дерптском университете, где, по мнению властей, не было особой опасности распространения прогрессивных идей «ввиду направления тамошнего общества»¹¹⁸. Университет в Дерпте был своеобразным учебным заведением. Среди профессоров и студентов преобладали балтийские немцы, далекие от общественных и политических проблем, волновавших русскую интеллигенцию в 60-х годах XIX в. Нуждаясь в специалисте, Совет Дерптского университета избрал Котляревского профессором кафедры «русского языка в особенности и славянского языкознания вообще». В 1868 г. Котляревский защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию на тему «О погребальных обычаях языческих славян» и переселился в Дерпт, вступив в должность экстраординарного профессора тамошнего университета. Общая атмосфера в этом учебном заведении была специфической. Высокомерие и кичливость профессоров, их претензии на интеллектуальную исключительность не способствовали установлению с ними дружеских отношений. Но Котляревский, в совершенстве владевший немецким языком, высоко ценил немецкую науку, глубоко знал немецкую литературу и историю Германии. Он быстро освоился с обстановкой и работал весьма плодотворно. Однако состояние здоровья Котляревского вскоре ухудшилось, он уехал за границу на лечение и уволился из Дерптского университета. В Праге он издал докторскую диссертацию «Древности юридического быта балтийских славян» и в 1873 г. получил в Петербургском университете степень доктора славянской словесности. С 1875 по 1881 г. Котляревский работал ординарным профессором по кафедре славянской филологии в Киевском университете св. Владимира, успешно преподавал и активно занимался научной работой. Но в 1881 г. он взял отпуск по болезни, выехал за границу и умер в Италии в возрасте 44 лет.

А. А. Котляревский был одним из тех редких представителей науки, которые поднимают ее на новую ступень. Если до него среди славистов преобладали романтические взгляды на прошлое славян,

их идеализация, нередко и враждебное отношение к немцам как к угнетателям славянских народов, неспособным якобы дать этим народам ничего полезного, то Котляревский, сочувствуя угнетенному положению славян, видя и признавая их достоинства, с полной объективностью, очень высоко оценивал достижения немецких ученых и их значение для культурного развития Европы, включая и славянские народы. Сам он глубоко изучил европейскую, прежде всего немецкую, филологическую науку и использовал ее достижения для изучения славян. В XIX в. европейские ученые, в первую очередь немецкие, открыли сравнительно-исторический метод изучения языка. Одним из основоположников сравнительно-исторического метода является знаменитый немецкий ученый Якоб Гримм, который исследовал на основе соответствующей методики не только язык, но и народную поэзию, мифологию, юридические древности. Он наметил пути дальнейшего развития филологической науки и заложил основы общеевропейской науки о «старине и народности». Котляревский первым не только в русской, но и мировой славистике использовал сравнительно-исторический метод для исследования славянских древностей. Ученый считал себя последователем Гримма, причислял себя к его школе, пропагандировал достижения гениального немецкого филолога в России. Так, в период своей работы в МАО Котляревский сделал доклад на заседании Общества о творчестве Якоба Гримма. Считаем целесообразным изложить здесь содержание этого доклада. Оно состоит в следующем.

Романтическая школа в науке, при всех своих недостатках, привила любовь к исследованию прошлого, к изучению его во всех подробностях. В XIX в. выросла стройная историко-филологическая наука. Главная заслуга в этом принадлежит Якобу Гримму. В среду романтиков Гримм вступил с трезвым взглядом на историю. Он любил старину, но не забывал, что она принадлежит прошлому, и не увлекался фантазиями о его воскрешении. Он изучал язык, мифологию, право, литературу, быт и историю немецкого народа. За 60 лет своей деятельности Гримм не только создал специальную науку о немецких древностях, но и заложил своими гениальными взглядами прочные основы общеевропейской науки о старине и народности. Ученая деятельность Гримма открылась специальными произведениями по языку и поэзии. Гримм увидел в формах языка не сухие логические категории, а произведения человеческого духа и мысли. Строго-историческим исследованием форм немецкой речи Гримм оказал великую услугу современной науке сравнительного языкознания, собрал и издал немецкие народные сказания и сказки для детей, записанные из уст народа. До XIX в. наука не обращала внимания на эти наивные произведения. Для Гримма они имели значение не только в смысле поэтическом, но и как источник сведений о нравственной и материальной жизни. Суждения Гримма, выраженные в статье «Мысли об отношении народных

сказаний к поэзии и истории», написанной в 1803 г., не устарели до сих пор. Гримм указывал на важность народных преданий для науки древностей. В 1816–1818 гг. вместе со своим братом Вильгельмом Я. Гримм записал и издал два тома немецких сказаний. Едва ли какая-нибудь иная учебная книга вызывала в науке такое движение, как издание «Немецких саг». От нее пошло обширное изучение этой отрасли народного творчества. Ряд работ Гримма по археологии германского быта открылся классическим произведением «О немецких юридических древностях» (1828). Котляревский подчеркивает, что Гримм в этой работе говорит о тесной связи между правом и поэзией. Подробными цитатами из Гримма русский ученый доказывает справедливость этой мысли и констатирует, что она представлялась в то время совершенно новой. Гримм первым ввел понятие науки юридических древностей. По его примеру Мишле обработал поэтическую символику французского права, а Ф. И. Буслаев в сочинении «О преподавании отечественного языка» представил немалое количество фактов по юридическим древностям, почерпнутым из русских источников. Книга Гримма «Немецкие юридические древности» имела важное значение не только в области юридических наук, но и в общей обширной науке о немецких древностях. Она придала смысл и значение народному праву и обычаям, имела громадное значение в европейской науке бытовой археологии. Но это движение очень мало коснулось славянской и в особенности русской науки. Одной из первых задач русской археологической литературы является усвоение результатов и метода исследования Гримма и применение их к народному материалу; лишь тогда русская наука о старине получит настоящие основы. Изучение произведений Гримма открыло бы новые пути для русской археологической науки, укрепило бы и поддержало нашу — все еще шаткую — любовь к исследованиям родной страны.

Далее автор сообщения характеризует сочинение Гримма «Немецкая мифология» (1835), занимающее первое место среди всех разнообразных трудов Гримма. Она заложила прочные основы истории мифологии тем, что Гримм рассматривал свой предмет не отвлеченно, а постоянно увязывая его с народным бытом, обычаями и обрядами в постепенности их развития. Книга открывает новые пути, образует эпоху в науке, а Гримм справедливо слывет творцом науки сравнительной мифологии. От него ведут свое происхождение исследования не только в стране классической учености — Германии, но и во Франции и в славянских странах. Особенно поучительное значение имеет «Немецкая мифология» для российских ученых, и не только по общему методу и приемам исследования, но и по богатству объяснений материала близкой для России славянской и литовской старины.

В сочинении «История немецкого языка» Гримм отважился на опыт лингвистической палеонтологии. И хотя этнологическая часть

исследования вызвала много упреков, гипотезы Гримма не лишены основания. Многое науке удалось теперь исправить, подтвердить и дополнить, но научное значение работы заключается в общей постановке вопроса, методе исследования, гениальных взглядах на доисторическую древность, в совершенном отсутствии той нередкой между немцами филистерской учености, которая на жизнь народов глядит, как ботаник на засушливое растение, принадлежность своего гербария. Гримм первый взглянул на язык как на живого и верного свидетеля прошедшей жизни народов, первый извлек из него важные результаты в решении трудных вопросов исторической этнологии средневековых племен и положил прочные основы новой науки — лингвистической палеонтологии. Изучение сочинений Гримма могло бы принести великую пользу российской науке археологии. Оно указало бы путь к освещению целого, доселе лишь по слуху известного доисторического периода русской жизни.

В заключительной части своего сообщения Котляревский характеризовал мелкие сочинения Гримма¹¹⁹.

Приведённые положения из доклада Котляревского показывают, что автор был последователем Гримма. А работы русского ученого «О погребальных обычаях языческих славян» и «Древности юридического быта балтийских славян», безусловно, навеяны «Немецкими юридическими древностями» Гримма. Таким образом, в России Котляревский был продолжателем дела немецкого ученого, в отличие от которого, однако, не занимался вопросами чисто лингвистического плана, сосредоточив все свое внимание на славянских древностях. В этой области он пришел к выводам, которые представляли совершенно новое явление в науке того времени.

Будучи поклонником немецкой учености, Котляревский отнюдь не считал немцев «богами», находя в их трудах «филистерскую скрупулезность» и другие подобные черты. Гримма же он считал ученым гениальным, хотя и не отрицал того факта, что и у него могли быть ошибки, какие-то положения могли устаревать, сведения — обогащаться новыми данными и т. д. Таким образом, он подходил к Гримму вполне диалектически и объективно.

* * *

Материал, изложенный в настоящей статье, позволяет, как нам представляется, сделать ряд выводов о характере и значении контактов русских славистов с немецкой наукой XIX — начала XX в. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что с развитием славяноведения активизируются и контакты, и если в первый период существования нашей науки, то есть до реформ 60-х годов XIX в., в университеты Германии ездили лишь единицы, то после реформ командировки за границу получали практически все слависты, и каждый из них, в зависимости от индивидуальных задач,

имел возможность работать в немецких библиотеках и архивах, вступать в контакт с немецкими специалистами. Далее, в дореформенный период славяноведение считалось в России (и не только в России) дисциплиной филологической, и Германию посещали в основном лица, разрабатывавшие проблемы славянского языкознания, чтобы усвоить или усовершенствовать новые методы исследования языка вообще, чтобы применить их к языкам славянским. Германия была родиной сравнительно-исторического метода в языкознании и школой для всех языковедов Европы.

В пореформенный период в России славяноведение становится комплексной дисциплиной; в отдельный предмет выделяется история славян, что является спецификой именно российских университетов. И хотя в университетах немецких не наблюдается столь большого интереса к славянской истории, русские историки-слависты слушают лекции немецких профессоров и участвуют в проводимых ими семинарах по всеобщей истории, чтобы познакомиться с новыми теориями в исторической науке вообще, с методами работы над историческими источниками, освоить основы вспомогательных исторических дисциплин, в первую очередь палеографии и дипломатики, которые в России находились в зачаточном состоянии, а в университетах не преподавались вообще. Без приобретения знаний и навыков в области латинской палеографии и дипломатики у русских ученых не было возможности заниматься средневековой историей западных и некоторых южных славян.

Следует также отметить, что в немецкие университеты приезжали чаще всего молодые люди, хорошо знавшие иностранные языки. Многие владели не только немецким, каждый знал латинский, а некоторые и греческий, что обеспечивалось образованием, полученным в российских гимназиях и университетах, где нередко языки преподавались их носителями, а также и иностранными специалистами по классическим языкам. Все молодые соискатели славистических кафедр в университетах России были перед своей командировкой знакомы с основными сочинениями немецких ученых в области соответствующей специальности. Таким образом, задач командированных было не столько получение первоначальных знаний, сколько совершенствование уже имеющихся, хотя, конечно, объем усвоения нового был для каждого командированного индивидуальным. Нельзя не отметить того факта, что русские ученые-слависты не только «брали» от немецкой науки, но и сами вносили вклад в дело развития славянской филологии. Многие из них имели самостоятельные взгляды и суждения, подчас превосходили знанием славянских памятников письменности немецких ученых и вносили коррективы в их выводы, касающиеся вопросов славянского языкознания. Это особенно касается последних десятилетий XIX и начала XX в., когда русская наука о славянских языках достигла очень высокого уровня.

Необходимо также отметить, что контакты русской славистики далеко не ограничивались знакомством с немецкой наукой только в ходе командировок молодых славистов при их подготовке к профессорскому званию. Большинство из них эти контакты продолжали и в последующие годы, снова и снова посещая университеты и библиотеки Германии. Главное же обстоятельство заключается в том, что в России были широко известны немецкая научная литература, немецкие учебные пособия, словари и т. д., по которым учились российские студенты вплоть до последней четверти XIX в.

Наконец, следует констатировать, что среди русских славистов, посещавших Германию, были люди разных мировоззрений и политических взглядов. Некоторые из них считали немцев угнетателями славян, активно выступали в публицистических статьях против немецких политических теорий и немецкой политики и высказывали свои антипатии к немецкому национальному характеру. Но никто из них не отрицал значения немецкой науки как для культурного развития Европы вообще, так и русского славяноведения в частности.

Что же касается русско-немецких контактов в области науки о славянах, то здесь можно говорить о взаимном интеллектуальном обогащении, хотя нужно признать, что вклад немецкой стороны был значительно большим, чем стороны российской.

Примечания

- ¹ О П. И. Кеппене см.: *Ф. П. Кеппен*. Биография П. И. Кеппена // Сборник ОРЯС АН, т. 89, 1911, кн. 5.
- ² Деятельность кружка Румянцова (Румянцева) описана в кн.: *В. П. Козлов*. Колумбы российских древностей. М., 1981.
- ³ Фрейзингенские отрывки — фрагменты текстов «хорутанского» (т. е. словенского) наречия X в. из Фрейзингенского монастыря в Германии.
- ⁴ Тереза Альбертина Луиза фон Якоб-Робинзон (псевд. Talvj, 1797–1870) — известная впоследствии фольклористка и переводчица.
- ⁵ См.: *С. Г. Потанин*. Путешествие П. И. Кеппена по славянским землям // Из истории русско-славянских литературных связей XIX века. М.; Л., 1963, с. 5–22; *М. В. Никулина*. Первые научные путешествия в славянские земли и их роль в истории русского славяноведения (первая четверть XIX в.) // Из истории славяноведения в России. Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1981, с. 75–94. Иоганн Северин Фатер (Vater, 1771–1826) с 1809 по 1820 был в Кенигсбергском университете профессором теологии и восточных языков.
- ⁶ Текст см.: Библиографические листы, № 33 и 34 (30.12.1825 и 21.01.1826 г.).
- ⁷ О Профессорском институте в Дерпте см.: *Е. С. Паина*. Профессорский институт при Тартуском университете (1828–1839) и русско-прибалтийские связи. Рига, 1970.
- ⁸ О П. И. Прейсе см.: *И. Срезневский*. На память о О. М. Бодянском, В. И. Григоровиче и П. И. Прейсе // Сборник ОРЯС АН, т. XVIII, 1878, № 6; *С. В. Смирнов*.

К биографии П. И. Прейса // Из истории славистики в России. II. Тарту, 1983, с. 55–66; Он же. Первые русские слависты в Чехии // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1973, с. 92–122. Федор Карлович Фрейтаг (Theodor Friedrich Freytag, 2.2.1800–5.3.1859) — саксонский подданный, с 1834 г. ординарный профессор римской словесности и древностей в Петербургском университете (до 1852 г.). Федор Богданович Грефе (Gräfe, 1780–1851) жил в России с 1810 г., преподавал в ряде учебных заведений греческий язык, профессор Петербургского университета по кафедре греческой словесности, заслуженный профессор Российской империи, действительный член Академии наук в Петербурге.

⁹ Л. Ф. Реза (Ludwig Fedemir или Ludwig Jedemin Rhesa, 1777–1840) был профессором теологии и литовского языка в Кенигсбергском университете. Фридрих Куршат (1806–1885) преподавал там же литовский язык, был составителем соответствующего словаря и грамматики.

¹⁰ Донесение г. Прейса г. Министру народного просвещения из Кенигсберга от 1 марта (17 февраля) 1840 г. // ЖМНП, 1840, № 5, Отд. IV, с. 17.

¹¹ П. И. Прейс — М. С. Куторге 19 декабря 1839 г. из Кенигсберга // Письма П. И. Прейса к М. С. Куторге, И. И. Срезневскому, П. О. Шафартику, Куршату и другим (1836–1846). Материалы к истории славяноведения. СПб., 1892, с. 21 (далее — Письма П. И. Прейса). Михаил Семенович Куторга (1809–1886) с 1827 по 1833 г. проходил курс в Профессорском институте в Дерпте, уже в 1832 г. защитил магистерскую диссертацию по философии, слушал лекции в Гейдельберге, Мюнхене и Берлине, воспринял от немецких ученых методику строгой исторической критики, в 1838 г. — доктор философии; автор большого количества трудов. См. о нем: Г. С. Дестунис. Михаил Семенович Куторга. Воспоминания и очерки. СПб., 1886 (оттиск из ЖМНП, 1886, № 7).

¹² Имеется в виду Joannes V. Voigt (1786–1863), известный историк, автор многих крупных трудов, в числе которых девятитомная «Geschichte Preussens...», Berlin, 1827–1839; шеститомный «Codex diplomaticus Prussicus» (1836–1861), сочинение «Hildebrand als Papst Gregor VII. und sein Zeitalter» (1815, 2-е изд. — 1846) и ряд других.

¹³ Донесение..., с. 29.

¹⁴ Там же, с. 30.

¹⁵ Прейс — Куторге 19 декабря 1839 г. // Письма П. И. Прейса, с. 21. Упомянутый выше маркиграф Фридрих — Friedrich Wilhelm (1620–1688), с 1640 г. курфюрст, основатель-brandenburgско-прусского централизованного государства. Данные о Лобеке (Christian August Lobeck) можно дополнить тем, что в Кенигсберге он преподавал с 1839 г.

¹⁶ Там же. Вильгельм Карл Аугуст Друман(н) (Drumann) был ординарным профессором в Кенигсберге с 1821 г. до конца жизни. В числе его сочинений «Geschichte Roms in seinem Übergange von der Republikanischen zur Monarchischen Verfassung». 1–2. Halle, 1833–1844.

¹⁷ Прейс — Куторге из Кенигсберга 14 января 1840 г. // Письма П. И. Прейса..., с. 21. Иоганн Карл Фридрих Розенкранц (Rosenkranz, 1805–1879) жил и умер в Кенигсберге. Философ гегелевской школы, главный его труд — «Die Wissenschaft der logischen Idee» (1–2, 1858–1859).

¹⁸ Донесение П. Прейса г. Министру народного просвещения из Берлина от 20 июня 1840 г. // ЖМНП, 1840, № 11, отд. IV, с. 22; Памва Беринда (Памво Берин-

да) (ум. в 1632 г.), украинский писатель и типограф, автор насчитывающего около 7000 слов труда «Лексікон словено-росскій и именъ тлъкованіе» (Киев, 1627); Ф. П. Поликарпов (Поликарпов-Орлов) — русский лексикограф эпохи Петра I (ум. в 1731 г.), автор труда «Лексикон триязычный, сиречь речений славянских и латинских сокровище» (СПб., 1704–1705).

¹⁹ Донесение... от 20 июня 1840 г., с. 23.

²⁰ Там же.

²¹ Прейс — Куторге из Праги 29 августа 1840 г. // Письма П. И. Прейса..., с. 32.

²² Там же, с. 31. Карл Риттер (Ritter, 1779–1859) — географ, профессор Берлинского университета с 1820 г., основатель антропогеографии, автор труда «Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen». 1–2. Berlin, 1817–1818.

²³ Донесение... от 20 июня 1840 г., с. 24.

²⁴ Прейс — Куторге из Праги, 29 августа 1840 г. // Письма П. И. Прейса..., с. 32–33.

²⁵ Донесение П. Прейса г. Министру народного просвещения из Праги от 26 декабря 1840 г. // ЖМНП, 1841, № 2, отд. IV, с. 32. Хайнрих Фридрих Вильгельм Гезениус (Gesenius, 1786–1842) — семитолог, с 1811 г. до конца жизни — профессор в Галле.

²⁶ Донесение... от 26 декабря 1840 г., с. 32.

²⁷ Прейс — Куторге из Праги, 29 августа 1840 г. // Письма П. И. Прейса..., с. 33. Упомянутый далее том вошел в серию «Geschichte der europäischen Staaten. Hrsg. v. A. H. L. Heeren und F. A. Ukert».

²⁸ Там же.

²⁹ Там же. Максимилиан Вольфганг Дункер (Duncker, 1811–1886) — историк и политик. Его главный труд — «Geschichte des Altertums». Bd. 1–9, 1852–1857; 5-е изд. — 1878–1886; Иоганн Эдуард Эрдманн (Erdmann, 1805–1892), с 1832 г. профессор в Галле до конца жизни. Его важнейший труд — «Grundriß der Geschichte der Philosophie». Band 1–2. Halle, 1866. Василий Кондратьевич Елпатьевский (1789–1854) был оставлен при Петербургском университете в 1823 г., с 1831 г. — адъюнкт, читал теорию уголовного права, естественное право и философию права. Слова «блаженный памяти» следует понимать так, что в 1834 г. Елпатьевский был уволен из университета, так что ни Прейс, ни Куторга его уже больше не слушали.

³⁰ Прейс — Куторге, то же письмо.

³¹ Там же, с. 34. Эдуард Фридрих Фердинанд Беер (Beer) — палеограф, ориенталист и эпиграфик (1805–1841). Издал «Inscriptiones veteres litteris...». Fasc. I. Leipzig, 1840.

³² Донесение Прейса от 26 декабря 1840 г. // ЖМНП, 1841, № 2, отд. IV, с. 45.

³³ Прейс — Куторге 29 авг. 1840 г. // Письма П. И. Прейса..., с. 34.

³⁴ Литература о Срезневском очень велика. Наиболее подробно и всесторонне его деятельность освещена в кн.: Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Пг., 1916, кн. I; Славянские языки, письменность и культура. Сборник научных трудов [к 180-летию со дня рождения И. И. Срезневского]. Киев, 1993.

³⁵ Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель 1839–1842. СПб., 1895, с. 51. Фридрих Вильгельм Бессель (Bessel, 1784–1846) — астроном, с 1810 г. директор обсерватории в Кенигсберге.

- ³⁶ Там же, с. 52. Фридрих Вильгельм Шуберт (Schubert, 1799–1865) — с 1820 г. приват-доцент, с 1823 — экстраординарный и с 1826 г. — ординарный профессор Кенигсбергского университета, где и оставался до самой смерти; читал историю средних веков, новую историю и государствоведение.
- ³⁷ Путевые письма..., с. 52 (примечание издателя).
- ³⁸ См.: *J. Páta. Úvod do studia Lužickosrbského písemnictví. Kriticko-bibliografický přehled posavadních prací o lužickosrbském písemnictví. V Praze, 1925, s. 96.*
- ³⁹ Путевые письма..., с. 52.
- ⁴⁰ Там же. О К. Розенкранце см. примеч. 17.
- ⁴¹ Там же (примеч. 4 — из «Путевых заметок» И. И. Срезневского).
- ⁴² Там же. Людвиг Мозер (Moser, род. в 1805 г.), профессор физики в Кенигсберге. О Фогте см. примеч. 12; Карл Фердинанд Швейкарт (Schweikart, Schweickart, 1780–1857) был профессором в Кенигсберге с 1821 г. Издал ряд работ по естественному и уголовному праву.
- ⁴³ Донесение адъюнкта И. И. Срезневского г. Министру народного просвещения из Вены от 8 (20) февраля 1841 г. // ЖМНП, 1841, № 7–9, отд. IV, с. 13.
- ⁴⁴ Путевые письма..., с. 55, примеч. 1.
- ⁴⁵ Донесение... от 8 (20) февраля 1841 г., с. 14.
- ⁴⁶ Воспитание. Иностранные известия. М., 1861, № 12, с. 119.
- ⁴⁷ Современники написали о Макушеве несколько некрологов, напр.: Русский филологический вестник, т. 9, 1883, № 1, с. 1–19; ЖМНП, 1883, № 4, отд. IV, с. 76–83. О нем есть также материал в словарях: Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, т. 18, 1898, стлб. 450; Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979, с. 231–232; далее см.: Л. Минкова. Переписка Викентия В. Макушева с Марином И. Дриновым (1869–1878) // *Bulgarian Historical Review*, 1981, 1–2, p. 180–213; Она же. В. В. Макушев и становление болгарской исторической науки // *Aktuálne problémy dejín Slavistiky*. Bratislava, 1986, s. 161–175; Н. И. Владыко. В. В. Макушев как историк южного славянства. М., 1981; Л. П. Лантвева. В. В. Макушев как исследователь средневековой Албании // Общественное сознание на Балканах в середине века. Межвузовский тематический сборник. Калинин, 1982; Она же. Vikentij Makušev und Karl Hopf. Ein Beitrag zu den deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert // *Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas*. Berlin, 1982, Bd. 25/2, S. 107–121; *Eadem*. O životě a díle ruského slavisty V. V. Makuševa // *Slovanský Přehled*, 1983, Nr. 4, s. 297–306; Она же. Профессор Варшавского университета Викентий Макушев и его работы о Польше // История и историография зарубежного мира в лицах / Межвузовский сборник научных статей. Вып. 1. [Самара], 1996, с. 156–167.
- ⁴⁸ Жизненный путь В. В. Макушева излагается в основном на основании его рукописной «Автобиографии» от 11 сентября 1881 г., посланной профессору Гаттале в Прагу [хранится в: Literární archiv Památníku Národního písemnictví v Praze (в дальнейшем LAPNP) pozůstalost A. Pátery] и документов Ленинградского Государственного Исторического Архива (ЛГИА), ф. 14 (Петербургский университет), д. 244 — личное дело В. Макушева; ф. 14, оп. 3, д. 16014, л. 7 — биографическая справка о Макушеве в связи с защитой диссертации; л. 9 — Решение историко-филологического факультета Петербургского университета от 8 октября 1867 г. о присвоении Макушеву степени магистра славянской

- филологии. См. также: РГИА, ф. 733, оп. 147, д. 794; ф. 733, оп. 141, д. 110; ПФАРАН, ф. 137, оп. 3, д. 587; ОР РГБ, ф. 156 (В. В. Макушев).
- 49 ПФАРАН, ф. 216, оп. 3, д. 447, л. 1 — Отчет В. Макушева о заграничном путешествии, датированный 1/13 июня 1868 г.
- 50 Там же.
- 51 Там же.
- 52 Та же опись, д. 118 — Отчет Макушева о занятиях в архивах Италии (Неаполь, 1/13 сентября 1869 г.), л. 4 об. Упоминаемый здесь Тринкера (Fr. Trinchera) незадолго до приезда Макушева издал соч. *Syllabus graecorum membranarum. Napoli, 1865*.
- 53 Там же.
- 54 ПФАРАН, ф. 216, оп. 3, д. 471, л. 1.
- 55 Там же.
- 56 РГИА, ф. 1015, оп. 1, № 68 — письмо из Кенигсберга от 25 марта 1868 г.
- 57 Имеется в виду работа: *С. Палаузов. Юго-восток Европы в XIV столетии* // ЖМНП, 1857, № 4.
- 58 Макушев — Палаузову из Венеции, 16/28 июля 1868 г. // РГИА, ф. 1015, оп. 1, д. 68.
- 59 Отчет Макушева о занятиях в архивах Италии от 1/13 сентября 1869 г. // ПФАРАН, ф. 216, оп. 3, д. 118, л. 5. Карл Гопф (Hopf, 1832–1873) был в Кенигсберге преемником упоминавшегося выше Иоганнеса Фойгта. Названная здесь «История Греции» это: *Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit* // *J. S. Ersch und I. G. Gruber. Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Bd. 85. Leipzig, 1867* (вышло также отдельным изданием — Лейпциг, 1868). Под ниже упоминаемой «Историей Византии» понимается эта же работа (с точки зрения ее фактического содержания).
- 60 Там же, л. 11 об.
- 61 *В. Макушев. Исторические разыскания о славянах в Албании в средние века* // Варшавские университетские известия, 1871, № 5, с. 1.
- 62 Макушев — Срезневскому из Неаполя 28. 4 / 10.5.1870 г. // РГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1282.
- 63 *В. Макушев. Карл Гопф — новейший историк средневековой Греции* (письмо в редакцию) // Вестник Европы, т. 3, 1868, кн. 6, с. 869–878.
- 64 ПФАРАН, ф. 216, оп. 3, д. 477 — отчет от 1/13 июня 1868 г., л. 1; *В. Макушев. Карл Гопф...*, с. 869.
- 65 *В. Макушев. Карл Гопф...*, с. 871.
- 66 *В. Макушев. Неаполитанские архивы и хранящиеся в них материалы для славянской истории. Вып. 2 — Неаполь и Палермо* // Записки Академии наук в Петербурге, т. 19, 1871, № 3. Приложение, с. 18 (также отдельный оттиск — СПб., 1871).
- 67 *В. Макушев. Карл Гопф...*, с. 869.
- 68 Там же, с. 871.
- 69 ПФАРАН, ф. 216, оп. 3, д. 477 — отчет от 1/13 июня 1868 г., л. 1.
- 70 Наиболее важны из сочинений дореволюционного периода: *П. А. Лааров. Александр Львович Дювернуа (некролог)* // Речь и отчет, читанные в торжественном

- собрании Имп. Московского университета 12 января 1887 г. М., 1887, с. 254–264; Дювернуа Александр Львович // Русский биографический словарь. СПб., 1905, т. 6, с. 738–740. Упомянутые в тексте две наших статьи: Л. П. Лаптева. А. Л. Дювернуа и его работы по истории славян // Советское славяноведение, 1978, № 3, с. 59–73; Л. П. Laptěvová. Moskevský profesor A. L. Duvernua a jeho styky s Čechami // Československo-sovětské vztahy. V. Praha, 1976, s. 57–82.
- 71 См. об этом: П. А. Лавров. Указ. соч., с. 256; Русский биографический словарь, т. 6, с. 738–740.
- 72 Отдел рукописей Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН Украины (далее — ОРИЛ), ф. 99 (О. М. Бодянский), № 110, л. 245, 248. На письме нет даты, но в начале указано: «Только сегодня, 27 марта по н. с. и 15-го по ст. ст....», то есть письмо датировано 15/27.3.1865 года. Имеется также помета Бодянского: «Получ. 21 марта 1865 г.». Альбрехт Фридрих Вебер (род. в 1825 г.) — индолог, с 1867 г. был ординарным профессором древнеиндийского языка и литературы в Берлинском университете. Карл Мюлленгоф (Müllenhof, 1818–1884) — автор труда «Deutsche Altertumskunde». Bd. 1–5. Berlin, 1870–1900.
- 73 Бодянский — Патере 26 марта 1865 г. (видимо, старого стиля) // LAPNP. Pozůstalost A. Patery. Korespondence. I. 29/1.
- 74 Дювернуа — Бодянскому из Тюбингена, 26 сентября 1866 г. // ОРИЛ, ф. 99, № 110, л. 259. Р. Рот (Roth) — автор труда Sanskrit-Wörterbuch (1852–1875, в соавторстве с О. Бетлингком — O. Boehtlingk).
- 75 П. А. Лавров. Указ. соч., с. 257.
- 76 Отзыв [О. М. Бодянского] о трех отчетах, присланных г. Министру Народного Просвещения Александром Дювернуа, кандидатом Московского университета, отправленным за границу по кафедре сравнительного языковедения индоевропейских наречий // ОР РГБ, ф. 203 (Общество Истории и Древностей Российских), Картон 52, д. 31.
- 77 А. Л. Дювернуа. Тюбингенские акты славянской книгопечатни в Вюртемберге // Московские университетские известия, 1868, № 4, с. 275–276. Христиан Фридрих Шнуррер (1742–1822) был ординарным профессором греческого и восточных языков в Тюбингене, сочинение названо верно, но издано на год раньше — в 1798 г.
- 78 А. Л. Дювернуа. Тюбингенские акты..., с. 315. Примус Трубер (Примож Трубарь, 1508–1586) — основатель словенского письменного языка, на который перевел «Катехизис» и «Новый Завет». Ганс Унгнад (Hans Ungnad, 1493–1564) был придворным императора Максимилиана I, служил также под начальством Тилли. Он осуществил планы Трубера по изданию названных книг.
- 79 О. М. Бодянский. Указ. отзыв о трех отчетах.
- 80 А. Дювернуа. Об историческом наложении в славянском словообразовании. М., 1867.
- 81 Результатом этого изучения явилась прежде всего солидная статья: И. П. Медведев. В. Э. Регель как основатель и редактор «Византийского временника» // Архивы русских византистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995, с. 157–180.
- 82 Л. П. Laptěvová. V. E. Regel — ruský badatel Kosmy Pražského // Slovanský Přehled, 1977, № 2, s. 170–176; Л. П. Лаптева. В. Э. Регель как византист // Византия. Средиземноморье. Славянский мир. К XVII Международному конгрессу византистов. М., 1991, с. 131–140; Она же. В. Э. Регель как исследователь «Хроники» Козьмы Пражского и ее оценка в современной историографии //

Исторические записки / Научные труды исторического факультета Воронежского Гос. университета. Вып. 2. Воронеж, 1997, с. 93–105.

- ⁸³ РГИА, ф. 733 и ф. 1033 (В. Э. Регель). Материалы представляют собой формулярные списки о службе, собственноручную биографию, переписку в связи с командировкой за границу, решения комитета Министерства народного просвещения о содержании отчетов Регеля, инструкцию для занятий за границей, документы о назначении Регеля ординарным профессором и т. д. Ссылки на конкретные документы см.: в упомянутых статьях Л. П. Лаптевой.
- ⁸⁴ Проект инструкции для кандидата историко-филологического факультета С. Петербургского университета магистранта Вильгельма Регеля, отправляемого на два года за границу для занятий по всеобщей истории // РГИА, ф. 733, оп. 149, д. 777, л. 366–368.
- ⁸⁵ Выписка из журнала Ученого комитета Министерства народного просвещения от 27 мая 1885 г. // РГИА, ф. 733, оп. 149, д. 761, л. 211.
- ⁸⁶ РГИА, ф. 733, оп. 150, д. 10, л. 68. Краткие сведения об упоминаемых немецких профессорах: Теодор Моммзен (Mommson, 1817–1903), с 1858 г. профессор древней истории в Берлине, автор множества важных трудов; Вильгельм Ваттенбах (Wattenbach, 1819–1897), с 1872 г. профессор вспомогательных исторических дисциплин и всеобщей истории Берлинского университета, автор ряда трудов по латинской и греческой палеографии, а также по письменности средневековья; Эрнст Курциус (Curtius, 1814–1896) — археолог, в 1874–1881 г. руководил раскопками в Греции (его брат Георг Курциус, 1820–1885, филолог-эллинист, в Берлинском университете не работал, так что речь идет об Эрнсте); Гарри Бреслау (Harry Bresslau, 1848–1926) — автор «Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien», 1–2, Leipzig 1889 (2-е изд. — 1–2, Berlin-Leipzig, 1912–1931); Адольф Арндт (Arndt, 1849–1926) — государствовед и историк права, автор труда *Verfassung des Deutschen Reiches*, Berlin, 1895 и многих других; «Фохт» — это Georg V. Voigt (1827–1891), с 1866 г. работавший в Лейпциге, автор работ по истории Возрождения и гуманизма; Вильгельм Мауренбрехер (Maurenbrecher, 1838–1892) — профессор Лейпцигского университета с 1884 г., автор трудов по реформации и контрреформации, а также по латинской палеографии; Виктор Эмиль Гардтгаузен (Viktor Emil Gardthausen, 1843–1925) — специалист по греческой палеографии, с 1875 г. работал в Лейпцигском университете, автор труда «*Griechische Paläographie*». Leipzig, 1879, 2-е изд. — Leipzig, 1911–1913; Густав Фридрих Герцберг (Hertzberg, род. в 1826 г.) — профессор филологии; Ф. Гирш (Hirsch, род. в 1843 г.) — византист, автор соч. *Byzantinische Studien*. Leipzig, 1876; Г. Гельцер (Heinrich Gelzer, 1847–1906) — византист, сотрудник Крумбахера, в соавторстве с которым издал несколько трудов по истории и литературе Византии.
- ⁸⁷ Об А. А. Кочубинском см.: Л. П. Лаптева. Кочубинский Александр Александрович // Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979, с. 195–197 (здесь жн список литературы о Кочубинском).
- ⁸⁸ Отчет о занятиях славянскими наречиями с 1 февраля по 1 августа 1875 г. доцента Императорского Новороссийского университета А. Кочубинского // Записки Императорского Новороссийского университета, т. 20. Одесса, 1876, с. 77–105.
- ⁸⁹ Там же, с. 103–104.
- ⁹⁰ Имеются в виду: Германн Вильгельм Эбель (Ebel, 1820–1875), профессор сравнительного языкознания в Берлине, специалист по кельтской филоло-

гии, и Г. Штейнталь (Heymenn [Hajm] Steinthal. 1823–1829) — профессор общего языкознания в Берлинском университете.

- ⁹¹ Из литературы на русском и чешском языке укажем: *Я. Славик*. Николай Владимирович Ястребов // *Slavia*, гоґ. II, 1923–1924; *П. А. Лавров*. Н. В. Ястребов и его ученая и профессорская деятельность // *Известия ОРЯС РАН*, т. 28, 1923. Л., 1924, с. 441–444; *Славяноведение в дореволюционной России*. Биобиблиографический словарь. М., 1979, с. 386–387; *Л. П. Лаптева*. Историк-славист Николай Владимирович Ястребов // *Биография исследователя как жанр славистики*. Тверь, 1991, с. 65–81; *L. P. Laptěvová*. Ruský historik N. V. Jastrebov a jeho styky s Čechami a Pražskou univerzitou // *Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis*. 29. 1989. Fasc. I, s. 12–52.
- ⁹² Биография Ястребова освещается на материалах российских и чешских архивов: РГИА, ЛГИА, АУС, АСВ, ЛАПН и других. Ссылки на конкретные документы см. в указанной статье.
- ⁹³ РГИА, ф. 733, оп. 226, д. 70, л. 3–7.
- ⁹⁴ Ястребов — А. А. Шахматову из Вены, 28 марта 1900 г. // ПФАРАН, ф. 134, оп. 3, № 1783. Вилем Томашек (Tomašek, 1841–1901) — историк, географ, этнолог, с 1886 г. работал в Венском университете. Игнатий Викентьевич (Ватрослав) Ягич (1838–1923) был профессором Венского университета с 1886 по 1908 г., здесь он основал известный славянский семинар, Константин Иречек (Jireček, 1854–1918) — специалист по истории южных славян, профессор Пражского и Венского университетов.
- ⁹⁵ Ястребов — В. И. Ламанскому из Вены, 8/20 февраля 1900 г. // ПФАРАН, ф. 35, оп. 1, д. 1635 (здесь же и другие цитируемые ниже письма Ястребова Ламанскому).
- ⁹⁶ Ястребов — Ламанскому из Вены, 2 марта 1900 г.
- ⁹⁷ РГИА, ф. 733, оп. 151, д. 219 — документация о результатах командировки Ястребова.
- ⁹⁸ *Н. Ястребов*. Отчет о командировке за период с 1 октября 1900 по 1 октября 1901 г. // *Сборник ОРЯС РАН*, т. 71, 1902, с. 73–77.
- ⁹⁹ Ястребов — Б. М. Ляпунову 26 февраля 1908 г. // ПФАРАН, ф. 752, оп. 2, д. 364.
- ¹⁰⁰ Иречек — Ламанскому 30.3/12.4.1900 г. из Вены (на русском языке) // *Документы к истории славяноведения в России (1856–1912)*. М.; Л., 1948, с. 202.
- ¹⁰¹ Выписка из Журнала Ученого комитета Министерства народного просвещения, запись от 28.1.1902 г. // РГИА, ф. 733, оп. 151, д. 219. Упоминаемые лица: Иозеф Редлих (Redlich, 1869–1936) — австрийский историк-англист, окончил Венский университет, там же и читал лекции. Э. М. Томпсон (Thompson) — специалист по греческой и латинской палеографии. Хорошо известен его труд «An introduction to Greek and Latin Paleography». London, 1893; 3 ed. — Cambridge; London, 1912. Иозеф Эмлер (Emler, 1836–1899) — чешский историк и архивист, автор большого числа ценных работ по истории Чехии; занимался также вспомогательными историческими дисциплинами.
- ¹⁰² Ястребов — Ламанскому 2 марта 1900 г. из Вены. — Густав Фридрих (Friedrich, 1871–1943) чешский палеограф и источниковед. Много лет работал в Вене. Другие названные лица: Энгельберт Мюльбахер (Mülbacher, 1843–1903), директор Института по исследованию австрийской истории, теолог и историк. О Ваттенбахе см. выше прим. 85. Чезаре Паоли (Cesare Paoli, 1840–1902) — итальян-

- янский палеограф, издатель «Архивао сторики италиано»; речь идет об изданной на немецком языке книге: «Grundriß zu Vorlesungen über lateinische Paläographie und Urkundenlehre». I–II. Innsbruck, 1889–1895. Морис Пру (Prou, 1861–1930), директор «Школы хартий», автор многих книг по латинской палеографии. Рёсанс (каноник E. Reusans) — французский палеограф, автор книги *Éléments de paléographie et de diplomatique du moyen âge*. Louvain, 1891.
- ¹⁰³ Ястребов — Ламанскому 20.2/4.3.1900 г. из Вены «Таблицы Арндта-Тангля»: речь идет о книге: *W. Arndt. Schrifttafeln zum Gebrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht*. 1875–78, Heft 1–2; начиная с 3-го издания (1897 г.), а также и в позднейших изданиях (1904–1906, 1907 г.) указано, что издателем труда является М. Тангль (M. Tangl).
- ¹⁰⁴ Там же.
- ¹⁰⁵ Ястребов — Ламанскому 2 марта 1900 г.
- ¹⁰⁶ Ястребов — Ламанскому 20.2/4.3.1900 г.
- ¹⁰⁷ Ястребов — А. С. Лаппо-Данилевскому 26 февраля 1900 г. // ПФАРАН, ф. 113, оп. 3, д. 354. — Упомянутый ученый — Г. Гротенд (Hermann Grotefend, 1845–1931), издавший в 1898 г. «*Taschenbuch der Zeitrechnung*».
- ¹⁰⁸ Упомянутый выше отчет Ястребова за 1900–1901 г. С. 73.
- ¹⁰⁹ Выписка из журнала Ученого комитета Министерства от 28 января 1901 г. // РГИА, ф. 733, оп. 151, д. 219.
- ¹¹⁰ Имеются в виду «Дополнения» к работе Эдварда Гиббона (Gibbon, 1737–1794) «*The history of the decline and fall of the Roman Empire*», vol. 1–6, 1776–1788 (имеется также русский перевод 1883–1886 г.).
- ¹¹¹ Кекавмен (Кекауменос) — византийский хронист, род. между 1015 и 1020, ум. после 1078 г. Выходец из армянской семьи, переселившейся в Византию. Автор «Советов и рассказов» — важного источника по истории Византии XI в. — Прокопий: имеется в виду Прокопий Кесарийский, знаменитый византийский хронист VI века (ум. ок. 562 г.).
- ¹¹² Научная деятельность Бречкевича, как и многих других славистов, долгое время находилась в забвении. Литература о нем совсем незначительна. Наиболее важны статьи: А. Е. Москаленко. М. В. Бречкевич (1870–1963) и его работы по истории поморских славян // *Славянский сборник*. Саратов, 1972, с. 92–108; Л. П. Лаптева. М. В. Бречкевич как представитель позитивизма в русском славяноведении первой четверти XX в. // *Славяноведение*, 1995, 1, с. 3–11.
- ¹¹³ Докладная записка А. Н. Ясинского от 23 января 1902 г. о работе Бречкевича за первую половину 1902 г. // ГИА Эстонии, ф. 402, оп. 3, д. 174, л. 61. — Профессор Антон Никитич Ясинский (1864–1934) работал с 1896 г. в Юрьевском университете. Фридрих Вильгельм Бартольд (Bartold, 1799–1858) — автор труда «*Geschichte von Pommern*». I–II. Hamburg, 1839–1840 (титул 2 тома — «*Geschichte von Rügen und Pommern*»).
- ¹¹⁴ Письмо Бречкевича в департамент министерства народного просвещения // РГИА, ф. 733, оп. 155, д. 449, л. 9.
- ¹¹⁵ Письмо попечителя Рижского учебного округа Министру Народного просвещения от 15 декабря 1912 г. и выписка из журнала Ученого комитета // Там же, л. 148 и 160.
- ¹¹⁶ Выписка из журнала Ученого комитета Министерства народного просвещения от 17 февраля 1914 г. // Там же, л. 160.

¹¹⁷ Литература о Котляревском довольно обширна. В свое время он был хорошо известен в ученом мире, а после смерти его сочинения были изданы в четырех томах с подробной биографией, написанной А. Н. Пыпиным. Но в XX в. Котляревский был на ряд десятилетий забыт, и лишь в 70-х годах его имя появляется в специальных справочных изданиях — биобиблиографических словарях по языкознанию и славяноведению. За самые последние годы опубликовано несколько статей об ученом: *З. И. Власова*. А. А. Котляревский в Праге // Литературные связи славянских народов. Исследования, публикации, библиография. Л., 1988, с. 291–305; *Л. Лаптева*. «...Це була жива, талановита натура» // Отчий край. Историко-літературний збірник. 1990. Вип. 4. Київ, 1990, с. 82–87; *Она же*. Визначний дослідник і пропагандист історії і культури слов'ян // Архіви України. 1991. Вип. 1, с. 49–56; *Она же*. Русский славист А. А. Котляревский и его связи с чешскими учеными (по материалам неопубликованной переписки с А. Патерой) // Балканские исследования. Вып. 16. Российское общество и зарубежные славяне. М., 1992, с. 118–130.

¹¹⁸ РГИА, ф. 733, оп. 120, д. 414, л. 9.

¹¹⁹ Жюль Мишле (Michelet, 1798–1874) — писатель и историк, главным образом Франции периода Возрождения. Упоминаемая работа Я. Гримма в оригинале имеет такое название: «*Deutsche Rechtsaltertümer*». Göttingen, 1828 (2. Aufl. — 1854).

Г. Маринелли-Кёниг. Россия в венских журналах и альманахах домартовского времени (1805–1849). Вена, 1990.

[G. Marinelli-König. Rußland in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1849). Wien, 1990]

Проблема «Россия — Запад» принадлежит к такому избранному кругу тем, над которым не властны ни изменчивые интеллектуальные приоритеты, ни политические пристрастия. С каждым новым «веянием времени» она обрастает философско-историческими построениями и фактическими подробностями. В наши дни, когда споры о границах европейской цивилизации приобрели чрезвычайную остроту, вопрос о характере взаимоотношений России с западными странами зазвучал с новой силой. Существует ли особый путь России? В чем истоки дихотомии «Россия — Запад», которой никогда не суждено стать тождеством? Поиску ответов на эти вопросы посвящен значительный круг современных исследований — от фундаментального издания источников Льва Копелева до салонных рассуждений Бориса Гройса о том, что Россия есть подсознание Запада.

Тонкий знаток культуры А. Н. Пыпин, известный своими демократическими убеждениями, еще в 1889 году писал, что перед европейским общественным мнением возник целый исторический вопрос «о громадном племени, вступившем с начала XVIII века в среду европейских народов: что представляет собой это племя и какое его происхождение; какие оно несет с собой исторические задатки; способно ли оно по своему историческому воспитанию или даже своим племенным свойствам воспринять европейскую цивилизацию и примкнуть к движению европейских народов...»¹. Оставляя в стороне литературу политического памфлета, А. Н. Пыпин проследил по материалам европейской публицистики прошлого столетия общие тенденции в освещении этого «русского вопроса». И вывод был малоутешительным — «о русском обществе известно было очень мало, но знали очень хорошо, что в России нет самостоятельного общественного мнения, что народная масса была в полном рабстве, и что русская политика найдет в громадном народе безусловно покорного исполнителя»². Иными словами, Россия была «обречена» являть собой на Западе источник потенциальной агрессии. Закоренелое нерасположение европейских публицистов прошлого столетия к России констатирует также немецкий историк Дитер Гро, который проанализировал в своей книге «Россия в глазах Европы» (1988) значительное количество источников и литературы. Весь XIX век, по его мнению, осуществлялась «идеологическая борьба против России под девизом борьбы свободы с деспотией, развития против стагнации, культуры с варварством»³. Подобное «фатальное непонимание» отразилось и в российской литературно-исторической традиции.

Казалось бы, все уже определено и доказано — европейское общество с устоявшимися либеральными ценностями настороженно (а иногда и откровенно враждебно) относилось к российской действительности и имело о ней весьма приблизительные сведения. Однако вопрос о месте русской культуры в культуре европейской — не только предмет академических обсуждений, но и глобальная проблема межнационального общения, вмещающая множество исторических сюжетов, зачастую опровергающих стереотип о «фатальном непонимании» двух полярных «миров».

Значительным явлением в разработке проблемы «Россия — Европа» стало издание в Вене в 1990 году сборника «Россия в венских журналах и альманахах домартовского времени (1805–1848)». Употребленный в названии книги термин «das Vormärz», часто встречающийся в немецкоязычной литературе, обозначает эпоху до мартовской революции 1848 года. Это первый том крупного проекта, осуществленного австрийской слависткой Гертрауд Маринелли-Кёниг. Масштаб уже вышедших томов впечатляет: автор собрала и систематизировала сведения о славянских народах, опубликованные в венской прессе в первой половине XIX века. Первый том, о котором идет речь, посвящен России, второй — полякам и русинам, третий — южным славянам⁴.

С одной стороны, это библиографическое издание, своего рода инвентарная опись всех сведений о России, расположенных в хронологическом и тематическом порядке. Отдельные разделы посвящены литературе, языкознанию, истории, образованию, искусству, религии, праву, страноведению, политической экономии, природоведению и математике. С другой стороны, перед читателем воссоздается из массы фактов общественная жизнь России, ее духовные, политические и экономические потребности, реалии государственной политики. Пестрая мозаичная картина, отраженная в зеркале венской прессы. Было ли это кривым отражением? Ответить на этот вопрос предстоит нам, читателям. Особенностью издания является своеобразная позиция, занятая его составителем.

Гертрауд Маринелли-Кёниг воздерживается от анализа собранных сведений, предоставляя читателю решать самому, насколько компетентно и разносторонне отражены реалии Российской империи. Однако это в высшей степени «субъективное» издание, поскольку авторский вкус и подход проявляются не только в структурировании громадного материала, но и в самом его отборе. Ведь приводятся лишь отрывки из журнальных статей, выбранные ею самой. Хотя авторское «я» деликатно остается как бы вне представленного материала. Даже во вступительной части, при характеристике источников она предпочитает дать репринтную статью некоего Шмидта «Состояние журналистики в Австрии», опубликованную в марте 1846 года.

I. Источники. В Австрии с 1800 до 1848 гг. издавалось 234 журнала, причем 189 выходило в Вене. Из них было выбрано 35 венских журналов преимущественно просветительского и культурно-развлекательного направления. Это искусствоведческие, театральные, литературные журналы, издания по домоводству и литературе для домашнего чтения, различного рода справочные еженедельники и др. — словом, журналы без выраженной политической ориентации, те, что придерживались главным образом официальной точки зрения и были популярны в широких слоях общества. Нельзя вновь не отметить деликатную предусмотрительность составителя, поместившего в качестве примера список абонентов журнала «Винер Цушауэр» («Венский зритель») за 1842 год, где указаны их род деятельности и место жительства. Это в основном образованные представители средних городских слоев (чиновники и торговцы) из австрийских наследственных земель, Богемии, Моравии и Венгрии.

Журналы выходили в разное время: самые устойчивые из них — «Винер Театерцайтунг» (1806–1860), «Заммлер» (1809–1845), «Винер Цайтшрифт» (1809–1849). Другим удавалось просуществовать лишь пару лет («Литераришес Вохенблатт» (1804), «Магацин фюр Цайтунгслезер» (1816–1817), «Конверзационсблатт» (1819–1822)). Верхней хронологической границей является, как уже отмечалось, 1848 год. Во время мартовской революции в Вене появилось 50 новых печатных изданий, но их материалы не рассматривались, поскольку, по мнению Гертрауд Маринелли-Кёниг, они не могли адекватно отражать действительность, были преисполнены революционной эйфорией и заслуживают поэтому отдельного анализа. Таким образом, материалы, представленные в данном издании, не имеют определенного политического подтекста. В основной своей массе это — публикации на актуальные ежедневные темы из культурной жизни России, отражение тогдашних нравов и духовных пристрастий. В небольшой заключительной части автор прямо констатирует, что о России писали как об успешно развивающейся стране, особо подчеркивая при этом роль государства в поощрении науки, искусства и экономики (с. XXV)*.

II. Фактор времени играет при анализе любого сборника документов определяющую роль. Избранный период отличается стабильностью в отношениях между двумя империями на востоке Европы. Династический принцип и традиционализм в европейской политике сближали Вену и Петербург, союзнические обязательства которых выдержали испытания наполеоновскими войсками, волнениями на Балканах, нерешенностью германского вопроса, разделами Польши. Благожелательный тон при подаче информации гарантировался цензурным комитетом, весьма строгим как в

* Здесь и далее в скобках даются ссылки на страницы рецензируемого издания.

России, так и в Австрии. Но, несмотря на общую традицию абсолютизма и имперский принцип государственности, страны существенно различались между собой. Крепостное право, преследование иноверцев в России были для венской публики отголосками уже давно минувшего времени.

III. Тематический диапазон чрезвычайно велик. Даже самое простое перечисление всех глав, рубрик и подразбук этого издания заняло бы несколько страниц.

Составитель настолько тщательно систематизировал сведения, что достаточно было одного предложения или беглого упоминания того или иного факта, чтобы оно было им зафиксировано. Условно весь объем материалов можно разделить на три большие группы. Более половины всех фактов отражает развитие науки и культуры в России, при этом особое внимание обращается на сведения о русско-германских взаимоотношениях. Несомненная ценность этого издания — наличие информации об издании книг за рубежом и в России на русские сюжеты. В разделе «Литература» приводятся материалы не только о русских писателях, литературных критиках, но и немецкоязычная антология русской беллетристики, сведения о различных литературных течениях и тенденциях. Славистика, равно как и русистика, византиноведение, индогерманистика, сравнительное языкознание, монголистика, финноугроведение отнесены в раздел «Языковедение». Развитию исторической науки в России и занимательным сюжетом из российской истории, а также археологии и нумизматике посвящен раздел «История». Сведения о структуре высшего и среднего образования в России содержатся в отдельной главе «Образовательные институты». Г. Маринелли-Кёниг свела в отдельные разделы даже сведения об изменениях по службе у российских ученых. В издании есть также раздел «Искусство». Вторая группа материалов посвящена общественным проблемам, которые освещаются в разделах «Религия», «Право», «Страноведение». В них содержатся сведения о том, что представляло собой российское общество, как русские воспринимали границу, путевые впечатления иностранцев от России, характер народных праздников, развлечения и забавы на Руси, особенности правового положения и быта различных сословий, а также многочисленные статистические сведения. Наконец, последнюю группу материалов можно определить как экономико-географическую информацию (разделы «Политическая экономия», «Природоведение и математика»). Здесь речь идет о многих предметах, зачастую не связанных напрямую друг с другом. В одном разделе мы находим сведения об армии и сразу же — о полезных ископаемых и горном деле; о средствах коммуникации и банковских ценных бумагах; а за рыболовством, охотоведением следует подраздел «Бедность и нужда». Что же касается последнего раздела, то и здесь смешанная информация: рядом с подразделом «Палеонтология и антропо-

логия» соседствует «Астрономия» и «Метеорология», далее речь идет о химии, ботанике, медицине и математике.

Даже самому неискушенному читателю ясно, что это издание отличает чрезвычайная информационная насыщенность, что делает его полезным и необходимым при исследовании не только проблем австро-германо-русских отношений, но и, в целом, развития России в первой половине XIX века. Однако при более подробном ознакомлении кажется излишним столь детальное дробление. Нередко сведения, приводимые в подразделениях, дублируют друг друга. К примеру, «Литературная критика» и «Литературная историография» или «Источники по русской истории» и «Издание источников», «Правовое положение подданных Российской империи» и «Правовое положение еврейских подданных». Слишком детальная, на наш взгляд, систематизация приводит к тому, что отдельный факт «вырывается» из общего контекста статьи и одна и та же информация разрывается по разным разделам, в результате чего теряется ее общий тон. Гораздо более интересно было бы прочитать ее целиком, чем в отдельных, увы, коротких отрывках. Такими «разорванными» на несколько фактов и сообщений стали статьи Филиппа Круга «Новейшая историческая и археологическая литература России» (1821), П. Кёппена «Об изучении народа и страноведении в России» (1822), Ф. Ваничека «О новейшей русской литературе» (1837), Вальтера «О новейших литературных явлениях в России» (1839), А. Лесбоо «Обзор новейшей русской литературы. Июнь 1819» (1819) и другие⁵. В целом, в этой книге выделено 120 самостоятельных тем, по каждой из которых в хронологическом порядке подобраны цитаты из рассматриваемых изданий.

IV. Рамки общего обзора не позволяют подробно проанализировать сведения, изложенные в сборнике. К тому же в этом нет необходимости — ведь лучше обратиться к самому источнику, чем к его пересказу. Остановимся поэтому на двух сюжетах, которые имеют прямое отношение к теме «Россия — Европа» и позволяют составить некоторое представление о том, как в Австрии воспринимали Россию.

О российской литературе и гуманитарных науках читатели венских журналов были хорошо информированы. Г. Маринелли-Кёниг удалось выявить 90 русских беллетристов, о которых имеются сведения. Интересно провести наблюдение над тем, какие авторы более всего привлекали внимание. Так, к примеру, о Е. А. Баратынском, о К. Н. Батюшкове — всего лишь одна незначительная строчка, зато крупные венские журналы с восторгом писали о творчестве А. А. Бестужева-Марлинского, констатируя, что «для русской прозы он имеет такое же значение, как Пушкин для русской поэзии» (с. 7). Высокая оценка, несмотря на то, что А. А. Бестужев-Марлинский из-за участия в декабрьском восстании был сослан в Сибирь и скончался там в 1837 году.

В разделе «Беллетристика» собраны сведения о И. И. Дмитриеве, Д. И. Фонвизине, С. А. Геденове, Н. В. Гоголе, А. В. Кольцове и других знаменитых и малоизвестных русских писателях. Самое большое количество откликов вызывало творчество А. С. Пушкина. С 1819 по 1848 год его имя упоминалось 36 раз. При этом, как правило, подчеркивались достоинства его произведений и их близость к народным истокам (с. 52–53). Интересно, что гонорары поэта не давали покоя журналистам. Так, в 1828 году «Винер Цайтшрифт» восклицал: «Сколько, как Вы изволите предположить, получил этот поэт за „Бахчисарайский фонтан“, который Вы вероятно знаете в переводе Вулферта? Ни больше, ни меньше, как 3000 рублей серебром, а вся поэма состоит из 600 строф, значит за каждую по пять рублей. Кто из немецких издателей заплатил немецкому поэту подобный гонорар?» (с. 53). С начала 30-х годов А. С. Пушкина иначе как «гениальным», «Богом русской литературы» не называли. Здесь же встречаются сообщения о переводах его произведений на немецкий язык.

Источники, из которых венские журналисты черпали сведения о русской литературе, были в основном двух типов — это корреспонденции из России и аналитико-библиографические статьи русских и немецких авторов. О русской поэзии писал в начале 20-х годов некий «Д. и К.» в «Коверзационсблатт» под названием «О и из России». В середине 20-х годов в «Архив фюр Гешихте» действовала рубрика «Корреспонденции-Сообщения», где нередко печаталась литературная информация из России. Подробные литературные обзоры в высокопарном стиле публиковались под рубрикой «Русский салон» в конце 30-х годов в «Юмористе», в 1843 здесь же была напечатана серия статей Филиппа Лебенштейна из Харькова. В обзорах фактически нет серьезной критики — это либо сухая библиографическая информация, либо позитивные оценки творчества того или иного литератора.

Для специалистов, занимающихся историей российско-германских отношений, вероятно, будет представлять интерес подраздел «Немецкоязычная антология русской беллетристики», где содержится редкая библиографическая информация. Хотя само название неточно, поскольку здесь приводятся сообщения об издании в Германии книг, посвященных как русской, так и украинской литературе. Не обошлось и без курьезов. Так, в сборнике романов «Русские истории» (1846, составитель Август Левальд) название известного произведения Н. В. Гоголя переведено как «Запорожские казаки или Томас Булка» (с. 86).

Журналы довольно подробно информировали своих читателей о различных периодических изданиях, в том числе и на немецком языке, выходивших в России. В 1822 году «Архив фюр Географи» сообщал о двадцати семи газетах и журналах, издаваемых в Санкт-Петербурге, о пяти в Москве, о девяти в провинции и шести

на польском языке (с. 152–156). Но сама информация ограничивалась лишь фактическими сведениями, почти без комментариев. Изредка встречаются оценки: в 1823 году «Аллгемайне Театерцайтунг» писал, что «Сын Отечества» — «старейшая и любимейшая ежедневная газета» (с. 156), а в 1827 году «Винер Цайтшрифт» характеризовал «Московский Телеграф» как один из лучших русских журналов.

Вообще во всем разделе, посвященном литературе, встречается немного материалов, имеющих критический анализ. Трудно сказать, является ли это следствием слишком детализированной, на наш взгляд, систематизации сведений, предпринятой составителем сборника, или результатом тогдашних цензурных запретов. Однако в целом можно констатировать, что к русской литературе относились как к яркому и значимому явлению, достойному внимания и признания образованного европейского общества (с. 143). Для специалистов по истории российско-австро-германских отношений разделы по литературе и науке представляют большой интерес. Сильная их сторона — это редкая библиографическая информация и статистические сведения.

Гораздо меньше информации как в количественном, так и в качественном отношении содержится в подразделе «Славистика» (раздел «Языковедение»). Помимо библиографических сведений об издании грамматик, славяно-русских словарей и старославянских рукописей, здесь есть два кратких упоминания о «филологическо-этнографических путешествиях» И. И. Срезневского и В. Григоровича и отрывок из рецензии проф. И. И. Ганнуша из Львова на русский перевод «Славянских древностей» П. Й. Шафарика, сделанный О. Бодянским. Рецензент в данном случае лишь отметил, что текст на русском языке появился раньше, чем был опубликован «богемский оригинал» в 1836 г. (с. 192). Если в сообщении о И. И. Срезневском лишь кратко перечисляются славянские земли, в которых он побывал (с. 192), то двухгодичное путешествие В. Григоровича по южнославянским странам характеризуется как весьма плодотворное (собрано 2000 старых рукописей, из них 450 на старославянском языке) (с. 193). Здесь же сообщается о серии статей Ледиса Глюкзелига «Критические заметки о славянской филологии», опубликованных в июле 1847 года⁶. К сожалению, текст не приведен, а лишь отмечены издания, ставшие предметом этого критического разбора. Среди них — «Остромирово Евангелие», «Сазаво-эммаусское Святое Благовещение», «Начала священного языка славян», изданные В. Ганкой, «Начала старочешской грамматики» П. Й. Шафарика и др. (с. 194–195).

Любопытные сведения содержатся в подразделе «Этимология». Ученый из Карловиц К. Г. Руми в 1817 году развлекал читателей своими гипотезами. Так, по его мнению, этноним «прусы» озна-

чал население, которое селилось на берегах реки Русса. Отсюда и название «по Руссе», указывающее на славянское происхождение. Позже эти племена подпали под власть германцев (с. 201–202). В 1835 году этот же автор, ссылаясь на сочинение Н. М. Карамзина «История российской империи», пытался убедить читателей в том, что русские не являются славянским народом и по своим истокам принадлежат к венгерским племенам. В современном «русско-славянском диалекте», по его наблюдению, встречается гораздо больше венгерских слов, чем в любом другом славянском языке (с. 203).

Версию о «венгерском» происхождении древних русичей отстаивал еще в начале XIX века профессор географии, истории и статистики Дерптского университета Иоганн Эверс (согласно сообщениям венгерских журналов за 1807 и 1815 годы) (с. 270).

Различным историческим сюжетам посвящен отдельный раздел сборника. Значительную часть приведенных здесь материалов составляют краткие библиографические заметки об издании новых источников или выходе в свет исторических сочинений по истории России. Повышенный интерес вызвало в Вене издание «Повести временных лет» (с. 230–233). Правда, он имел во многом меркантильный характер. Сразу несколько журналов сообщало своим читателям, что на издание этого ценнейшего документа граф Румянцев выделил Российской академии 25000 рублей (с. 230–233). Из исторических трудов наибольшим вниманием пользовались работы Н. М. Карамзина, особенно знаменитая «История государства Российского», переведенная и изданная на немецком языке. «Это произведение, как везде утверждают, написано не только для русских, оно принадлежит истории, всему образованному миру (...)», — так писал Алконт Лесбоо в 1819 году (с. 254).

Множество любопытных эпизодов, цифр, «бытовых анекдотов» делает раздел по истории чтением очень занимательным. Г. Маринелли-Кёниг собрала сведения о русских сановниках, царях, полководцах. Сведения легковесные (много анекдотов, особенно о А. В. Суворове, бытовых подробностей), предназначенные для развлекательного чтения. Выбирались, естественно, такие сюжеты, которые привлекали бы внимание венской публики. К примеру, довольно часто в журналах встречается описание пребывания Петра Первого в Вене (июль 1698), который находился в составе русского посольства инкогнито, хотя и встречался с австрийским императором Леопольдом I.

Число фактов, отражавших развитие русской литературы и исторической науки, огромно. Работа по их выявлению и систематизации сложна и трудоемка. Специалистам еще предстоит уточнить достоверность этих сведений. Взятые же в совокупности, они уже сейчас позволяют констатировать, что Россия на страни-

цах данных журналов выступала как просвещенная европейская держава с самостоятельной историей и литературой.

V. Четыре раздела книги посвящены различным аспектам общественной жизни России. Примерно до середины 40-х годов информация была в основном развлекательная, с множеством светских подробностей. Обращает на себя внимание пристрастие венских журналистов к всевозможным статистическим сведениям, которые составляют приблизительно три четверти всего объема. Их диапазон велик: от ежегодных отчетов о народонаселении России и отдельно по регионам и городам до криминальной статистики. Сообщалось даже о своеобразной географии преступлений. Журнал «Юнефист» в 1840 г. приводил такие сведения: большинство убийств по России приходилось на города: Тамбов, Курск, Симбирск, Оренбург и особенно Пермь. Самоубийств — на Минск и Тверь. Контрабандные нарушения происходили чаще всего на Волыни и в районе Вильны. Разбойными нападениями славились Курск, Орел, Ярославль, Бессарабия. Наибольшее количество краж было зафиксировано в Перми, Петербурге и Вильне (с. 561).

Особым вниманием пользовались сведения о положении немцев в России. По сообщению венских журналов, из 400000 этнических немцев, проживавших в России, 40000 обитало в Петербурге, где из 120 докторов только 12 были русскими, остальные немцы (с. 612).

Богатый материал можно почерпнуть из глав о путешествиях русских за границей и иностранцев в России. Правда, отрывков с путевыми заметками немного, в основном это — перечисление городских достопримечательностей. Но зато есть многочисленные библиографические данные о путевых дневниках, отчетах о путешествиях.

Совершенно особый и чрезвычайно интересный тип сведений — о национальном характере русских. Журналы использовали либо отрывки из книг о России, написанных иностранными путешественниками, либо сведения своих корреспондентов. Так, к примеру, «Заммлер» в ноябре-декабре 1809 г. поместил серию анонимных статей («От одного наблюдателя») под названием «Беглые заметки о характере русских». Приведем некоторые выдержки: «Русские природенные торговцы, это самая выраженная национальная особенность. У одного русского столько же ловкости, сколько у четырех евреев. При этом удивляет, что здесь, где каждый с удовольствием занимается торговлей, купец является презираемой фигурой для высшего сословия... Недостаток утонченности по отношению к браку и в исполнении чувства долга, влечение к излишнему употреблению возбуждающих напитков и высокая степень легкомысленности являются основными пороками национального характера, недостатками у огромной массы людей... Аристократы по рождению здесь ноль, ценятся лишь те, кто получил титул за государственную

службу... Женский пол здесь еще не так испорчен, как в других местах. Во всем народе женщину воспринимают как вьючное животное, на которое можно все свалить, и которое при этом не ропщет на свою судьбу...» (721). Другой автор — профессор истории Юлиус Франц Шнеллер — обратил особое внимание на роскошь богатых и нищету народа. В 1820 г. он писал: «У русских противоречие между роскошью и нищетой бросается в глаза почти так же сильно, как у турков. За последние два столетия нового времени среди дворян и при дворе господствовала любовь к роскоши в восточном стиле; с XVIII века вошел в моду и распространился западный образ роскоши...» (723). Вообще иностранцы подмечали в русских «несокрушимое добродушие и наивность», «добродушное миролюбие», особенно, правда, проявлявшееся, «если русский чертовски пьян» (725), тонкое знание лошадей и любовь к быстрой езде (725). Подчеркивалось, что из всех иностранцев именно немцы пользуются в России наибольшим уважением и многие из них обретают здесь вторую родину и натурализуются (724, 726). Не менее любопытны сведения, которые Г. Маринелли-Кёниг собрала в подразделах «Магазины Санкт-Петербурга», «Блюда, напитки, рестораны», «Мода и этикет». Здесь и о привычках русского общества, и о тогдашних ценах, о чрезвычайно сильном подражательстве всему французскому, и в то же время о многих самобытных чертах поведения. Помимо этих подробностей составитель скрупулезно отмечает все библиографические сведения.

С середины 40-х годов акценты заметно изменяются. Наряду с материалами светского характера появляются сведения и о мрачных сторонах российской действительности. Недаром Гертруд Маринелли-Кёниг выделила отдельный подраздел «ссылка и депортация» (556–561). О тягестях жизни ссыльных в Сибири, мытарствах заключенных по этапам, скорбная статистика ежегодного увеличения числа ссыльных, — все эти материалы датируются в основном 1843–1847 годами. Есть даже сведения о сосланных в 1832 году поляках, которые «по существу умерли для мира» (559). Другой критический сюжет — это преследование иноверцев. Журналы нередко публиковали конфессиональную статистику (не только о количестве верующих, но и о числе монастырей, церквей, больниц). Но в 1845 году «Театерцайтунг» в статье «О религиозной статистике в России» после сухих цифр с возмущением сообщал о «моральном и психологическом давлении», которое оказывают на лютеран (среди литовских крестьян), католиков (в Литве и на Волыни), на еврейское население в западных губерниях (с. 536). С этого же года в различных журналах появляется особая тема — правовое угнетение евреев в России (с. 568–574). Сообщалось об императорском указе 1845 года, намечавшем штраф за ношение национальной одежды. Особую тревогу вызывало положение евреев в Царстве Польском. Летом 1846 года сообщалось о миссии в Россию сэра Моисея Мон-

тефиора, известного своей благотворительной деятельностью и высокими общественными связями (с. 572–574). Ему удалось получить разрешение от Николая I на эмиграцию 10000 евреев из России в Алжир. Мозес Монтефиор посетил также еврейские общины в Вильне и Варшаве. Он попытался улучшить их материальное положение и распорядился доставить туда немецкие костюмы, поскольку за ношение еврейских полагался денежный штраф. К сожалению, информация о деле, начатом Монтефиором, на этом обрывается.

Изменение позиции официальной прессы было одним из симптомов начинавшегося в 40-х годах охлаждения в отношениях между двумя императорскими домами. Естественно, приверженность принципу легитимизма обязывала две империи держаться вместе. Вена и Петербург оставались верны союзническим обязательствам, но все же не скрывали взаимных претензий. Князь Меттерних открыто даже высказывался против преследования иноверцев в России и пытался поставить этот вопрос перед Николаем I в ноябре 1845 года. Но не получил ответа. Императора лишь раздосадовало подобное заступничество⁷. Журналы, таким образом, чутко уловили новую тенденцию времени и довольно быстро переориентировались. Или стали более свободны в подаче информации о соседней союзной державе. Естественно, использованные в этом издании венские журналы и альманахи — лишь часть публицистики того времени. Однозначно нельзя рассматривать их как отражение общего подхода австрийского общества к сюжетам на культурные и политические темы из России. К тому же наряду с общеимперскими изданиями уже существовала и успешно развивалась национальная публицистика, политически ангажированная и оппозиционная центру. Поэтому представленные в книге Г. Маринелли-Кёниг сведения — лишь одна грань восприятия России в Австрийской империи. Тем не менее, этот обширный материал — яркая иллюстрация неподдельного интереса читателей данных журналов к России. Они имели возможность получить разностороннюю информацию. Россия, заметим, воспринималась не как обособленная от европейской цивилизации, антагонистическая сила. Напротив, на протяжении первой половины XIX века осуществлялся интенсивный диалог культур двух стран.

Итак, свежая, насыщенная новыми фактами книга, в которой по крупицам восстанавливается картина духовной, общественной, научной, экономической жизни России. Любой читатель, кто интересуется австро-европейскими отношениями или занимается только сюжетами из отечественной науки и культуры, обязательно найдет для себя полезную информацию. Это издание отвечает насущной потребности в «человеческой истории». Отношения двух империй раскрываются здесь в сложнейшем историческом контексте — сквозь призму науки и культуры, быт, анекдот, наивный рассказ.

статистику, семейный уклад — все то, что делает историческую науку более приближенной к человеку прошлого времени, более содержательной по сравнению с безликими умозрительными конструкциями.

Примечания

- ¹ Статья А. Н. Пыпина «Россия и Европа» была опубликована в первом томе «Вестника Европы» за 1989 г.: А. Н. Пыпин. Россия и Европа // *Метаморфозы Европы* / Под ред. А. О. Чубарьяна. М., 1993, с. 83–84.
- ² Там же, с. 82–83.
- ³ D. Groh. *Russland im Blick Europas*. Frankfurt am Main, 1988, S. 371.
- ⁴ G. Marinelli-König. *Russland in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1849). Ein Beitrag zur Geschichte der Österreichisch-russischen Kultur- und Literaturbeziehungen*. Wien, Verlag d. Öster. Akademie der Wissenschaften, 1990; *Ders.* Polen und Ruthenen in den Wiener Zeitschriften des Vormärz (1805–1849). Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beiträge über Galizien, die Bukowina, und das polnische Geistleben insgesamt. Wien, 1992; *Ders.* Die Südslaven in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1849). Wien, 1994.
- ⁵ P. Krug. Literarische Notizen. Neueste geschichtliche und archäologische Literatur Russlands // *Anzeigebblatt für Wissenschaft und Kunst zu den Jahrbüchern der Literatur* 14, 1821, 1–9; P. Koppen. Ueber Völker- und Länderkunde in Russland // *Anzeigebblatt für Wissenschaft* 20, 1822, 1–27; F. Wanitschek. Ein Beitrag zu der neuesten russischen Literatur // *Oesterreichisches Morgenblatt* 88 (24.7.1837); Aloonte Lesboo. Uebersicht der neuesten russischen Literatur. Juny 1819 // *Anzeigebblatt...* 7, 1819, 23–32.
- ⁶ L. Gluckselig. Kritische Beiträge zur slawischen Filologie // *Oesterreichische Blätter* 158–159, 163, 166, 170, 171, 172, 173, 200 (Juli-August 1847).
- ⁷ С. С. Татищев. Николай I и австрийский двор // *Исторический вестник*, 1887, февраль, с. 385.

О. В. Павленко

Славяноведение в Германии от истоков до 1945 г. Биографический словарь. Баутцен, 1993. 520 с.

[Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945. Ein biographisches Lexikon. Bautzen, Domowina-Verlag, 1993. 520 S.]

Европейская славистика обогатилась еще одним справочным изданием. Подобные работы по истории славистики публиковались и раньше. В 1972 г. в Праге вышел биобиблиографический словарь чешских и словацких славистов¹. В 1979 г. в Москве увидел свет словарь «Славяноведение в дореволюционной России»², и этот же период времени вышло два издания словаря лужицких сербов и лиц, их исследовавших³, а позднее и другие работы такого рода⁴. Каждое из упомянутых изданий имеет свои особенности. Так, в словаре чешских и словацких славистов главное внимание обращено на информацию о сочинениях этих ученых и на работы с них, а «Славяноведение в дореволюционной России» содержит прежде всего характеристики творчества славистов, подчас довольно пространные. Словари о лужицких сербах отличаются скрупулезным отбором данных по каждому интеллигенту этникума, даже независимо от его вклада в развитие национальной жизни народа. Временные границы во всех упомянутых словарях различны. В расчет принимаются время возникновения науки о славянах в данном регионе, важнейшие вехи в его истории. Но все названные справочные издания свидетельствуют о том, что к 70-м годам нашего столетия в европейском славяноведении утвердился подход к нашей науке как к комплексной дисциплине, изучающей все стороны духовной и материальной жизни славян в их прошлом и настоящем, а также их взаимоотношения между собой и с соседними народами. Из таких предпосылок исходят и составители рецензируемого словаря, в известной мере даже расширяя понятие славистики, которая, по их мнению, включает и «посредническую роль» этой науки, под чем понимается участие тех или иных лиц в устранении в Германии недостатка знаний о славянах, а также в преодолении напряженности в славяно-германских отношениях (с. 6). Именно с учетом всех этих факторов словарь дает сведения о 400 ученых, переводчиках, писателях и публицистах, их трудах и посреднической роли. В лексикон включены лица, которые с XVI в. до конца второй мировой войны занимались изучением славянства, распространяли славянскую культуру, а также содействовали немецко-славянской взаимности. Поэтому наряду с известными представителями славянского языкознания, литературоведения, этнографии и т. д. в словаре можно найти менее известных, а подчас и вообще забытых деятелей. Показана высокая доля участия славянских ученых, живших в разных частях Германии, в славистических исследованиях и преподавании славистики. Особую роль при этом играли, по мнению составителей словаря, лужицкие сербы и поляки. Каждая статья содержит очень краткую биографию соответствующего ученого (писателя и т. д.), названия важнейших его работ (в тексте либо в рубрике «Прочие публикации») и указания на литературу и источники. В словарь включен специальный раздел «Славистика в немецком университете в Праге», особенно для периода между мировыми войнами, ввиду ее тесной связи со славистикой в Германии (с. 461–480). Далее имеется именной указатель (с. 502–519), а также фотографии 80 немецких славистов разных времен. Создан словарь коллективом немецких славистов во главе с экс-председателем бывшей Комиссии по истории славистики (ГДР) д-ром В. Цейлем, одним из крупнейших немецких современных славистов, издавшим монографию о славистике в Германии до 1945 г.⁵ Всего в словаре 65 авторов, их список приведен на стр. 18–19. Большинство авторов проживает на территории бывшей ГДР, поскольку исследова-

нием славистических сюжетов занимались преимущественно специалисты, работавшие в частях Германии, территориально более близких к славянским странам.

Рецензируемый словарь — издание чрезвычайно полезное, крупное достижение не только немецкого, но и европейского славяноведения. Он содержит богатейшую информацию, в том числе и о лицах, которые совсем не упоминаются в русской литературе. В их числе забытые на родине российские эмигранты, например, крупнейший исследователь истории, культуры, литературы, историографии Украины Д. И. Дорошенко или филолог, философ, историк культуры Д. Чижевский.

С другой стороны, не всегда представляется оправданным отнесение некоторых лиц к числу немецких специалистов только потому, что они сколько-то лет прожили в Германии и опубликовали некоторые свои работы на немецком языке. Так, труды русского исследователя П. Г. Богатырева, на наш взгляд, не могут быть отнесены к числу достижений немецкой славистики. Сомнительно включение в словарь С. Пиш-бышевского, поэта, публициста и переводчика с ярко выраженным польским самосознанием, хотя и прожившего в Германии более десятилетия. Также и включение в число представителей немецкой славистики известного русского писателя Д. С. Мережковского кажется весьма странным. В Германии он вообще не жил, а его популярность среди немецких читателей свидетельствует о его таланте, но никак не о его принадлежности к немецкой славистике. Впрочем, подобных примеров не очень много. Основное же содержание лексикона в интересном и в значительной мере новом материале, отражающем большую роль немецкой славистики в европейском славяноведении до конца Второй мировой войны. Словарь важен не только как свод сведений о немецкой славистике, но и тем, что дает импульсы к пересмотру некоторых устаревших представлений. Так, изучение материалов словаря наводит на мысль о целесообразности скорректировать некоторые выводы относительно значения немецкой науки для развития славяноведения в России. В русской, да и другой славянской историографии, особенно после 1945 г., при изучении истории славяноведения в России периода его становления на первое место выдвигается роль славянских, особенно чешских ученых. Не умаляя этой роли, следует отметить, что первые стимулы изучения славян в России восходят к А. Шлецеру, чья классификация славянских народов была хорошо известна русским ученым XVIII в. Именно к Шлецеру в Геттингенский университет ездили учиться русские студенты, например, А. И. Тургенев и А. С. Кайсаров, известные своим путешествием по славянским странам. Затем, книга К. Г. фон Антона о ранней истории, культуре и языках славянских народов использовалась М. Н. Карамзиным и вообще была хорошо известна в России⁶. Далее немецкие исследователи индоевропейских языков в их совокупности включали в орбиту своих изучений и учебных курсов также и славянские языки, а русские слависты не только штудировали труды Ф. Боппа, Я. Гримма, А. Ф. Потта и других индоевропейцев, но и посещали их лекции и семинары. Путешествия русских славистов в славянские земли чаще всего начинались с пребывания в Германии, посещения немецких научных центров и отдельных ученых, у которых русские слависты учились методике научного исследования, работая также в архивах и библиотеках Германии. Так, П. И. Прейс, встретив в 1840 г. двух словаков, понял их речь и затем писал, что «не впервые благодарил душевно Я. Гримма за методу: только строгое сравнительное изучение славянских языков могло мне дать нить для странствования по лабиринту диалектов»⁷. А. Ф. Гильфердинг, подготавливая «Историю балтийских славян», совершил в 1854 г. поездку по Северной Германии и изучил все доступные источники, среди которых был и вендский словарь Х. Геннига, представлявший собой, по мнению авторов рецензируемого лексикона, самый лучший и объемный источник языка полабских славян. Этот словарь был хорошо известен и А. А. Котляревскому, автору новаторских для своего времени трудов по древнейшей

истории и мифологии балтийских славян, горячему стороннику сравнительно-исторического метода исследования, почитателю Я. Гримма и знатоку его трудов. В.В. Макушев, исследователь истории русских славян, начал свое ученое заграничное путешествие с Кенигсберга (1868), где широко пользовался советами, рукописями и библиотекой известного немецкого балканиста, профессора Кенигсбергского университета Карла Гопфа⁸. Перу Макушева принадлежит и первая в России работа о К. Гопфе⁹. К сожалению, в рецензируемом словаре нет статьи о кенигсбергском профессоре, большом знатоке славянских источников и истории задунайских славян. Превосходным руководителем для русского слависта Н.В. Ястребова был профессор Мюнхенского университета К. Крумбахер. В 1901 г. русский ученый три месяца занимался в его семинаре, и книги Крумбахера были Ястребову главным пособием в его занятиях¹⁰. Приведенные примеры (их можно было бы умножить) свидетельствуют о важной роли немецкой науки в развитии русского славяноведения, что, однако, не нашло отражения в рецензируемом словаре — потому ли, что еще слабо разработана история немецко-русских связей в сфере славистики, или ввиду недостаточной информированности отдельных авторов статей в области истории развития русского славяноведения. Упоминание русских работ о немецких славистах составляет в словаре большую редкость. Нам представляется, что нелишним было бы указание на публикацию работ ряда немецких славистов в России. В рамках рецензии невозможно привести много примеров, остановимся лишь на некоторых. Так, заслуживал бы упоминания перевод труда Ф. Г. фон Аделунга о сочинениях иностранных путешественников по России¹¹. В литературе к статье о Е. С. Бандтке было бы полезно указать на издание его переписки с Й. Добровским, осуществленное в 1906 г. В. А. Францевым¹², который в предисловии подробно изложил сведения о жизни Бандтке, приведя и текст его автобиографии (1826). Много интересных сведений имеется в русской литературе о серболужицких исследователях, деятельность которых характеризуется в рецензируемом словаре. Это переводы сочинений Я. Барта-Тишинского и статьи о нем, материалы о Я. А. Смолере, Я. П. Иордане, М. Горнике и публикации их работ на русском языке. Особым вниманием русских ученых пользовался член-корреспондент РАН Э. Мука: публиковались его статьи, рецензировались труды, была напечатана большая часть его главного труда — словаря нижнесербского языка. Опубликованы и некоторые письма Э. Муки, на основании его корреспонденции с русскими учеными написан ряд статей¹³. Указания на все эти факты были бы, видимо, не лишними. В 1887 г. русские ученые В. Н. Щепкин и А. А. Шахматов перевели на русский язык «Грамматику старославянского языка» А. Лескина, приложив к изданию перевода статью о языке Остромирова евангелия и ряд замечаний по книге немецкого ученого. Указание на этот факт в статье о Лескине, видимо, способствовало бы устранению некоторой односторонности в оценке значения отдельных работ ученого. В статье о В. Ягиче, вероятно, следовало бы больше сказать о его вкладе в развитие славяноведения в России, но и указать на существенные недостатки его труда «История славянской филологии», отмеченные уже современниками¹⁴.

Также и в ряде других статей словаря могла бы быть учтена русская и другая славянская литература, что, думается, способствовало бы созданию более яркой картины развития славяноведения в Германии в обозначенный период.

Однако высказанные замечания являются, естественно, не более чем субъективными пожеланиями рецензента. В целом же ученые Германии создали труд, совершенно необходимый каждому слависту, а также и всем интересующимся историей европейского славяноведения.

Примечания

- ¹ Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r.1760. Biograficko-bibliografický slovník. V Praze, 1972.
- ² Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979.
- ³ Serbski biografiski slownik. Budyšin, 1970; Nowy biografiski slownik k stawiznam a kulturje Serbow. Budyšin, 1982.
- ⁴ Напр.: Славяноведение в СССР. Изучение южных и западных славян. Биобиблиографический словарь. Нью-Йорк, 1993 (это издание было нам недоступно).
- ⁵ W. Zeil. Slawistik in Deutschland. Forschungen und Informationen über die Sprachen, Literaturen und Volkskulturen slawischer Völker bis 1945. Köln; Weimar; Wien, 1994 (606 S.).
- ⁶ См.: L.P. Laptewa. Karl Gottlob von Anton und sein «Versuch über die alten Slawen» in Rußland // Lětopis. Bautzen, 1982, B 29/1, S. 14–20.
- ⁷ П. И. Прейс — Куторге 29 авг. 1840 г. // Письма П. И. Прейса М. С. Куторге, И. И. Срезневскому, П. О. Шафарику, Куршату и др. (1836–1846). Материалы к истории славяноведения. СПб., 1892, с. 34.
- ⁸ См.: L. Laptewa. Vikentij Makušev und Karl Hopf. Ein Beitrag zu den russisch-deutschen Wissenschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert // Jahrbücher für Geschichte der Sozialistischen Länder Europas. Berlin, 1982, Bd. 25/2, S. 107–121.
- ⁹ В. Макушев. Карл Гопф — новейший историк средневековой Греции // Вестник Европы, т. 3, 1868, кн. 6, с. 869–878.
- ¹⁰ См.: L. P. Laptěvová. Ruský historik N. V. Jastrebov (1869–1923) a jeho styky s Čechami a Pražskou Univerzitou // Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. T. XXIX. 1989. Fasc. 1, s. 13–52.
- ¹¹ Ф. Аделунг. Критико-литературное обозрение путешественников по России по 1700 год и их сочинения. В 2 ч. М., 1864.
- ¹² Korespondence Josefa Dobrovského. D. II. Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Jiřího Samuele Bandtkého z let 1810–1827. K vydání upravil V. A. Francev. V Praze, 1906.
- ¹³ Напр.: В. Кораблев. Э. Ю. Мука в его письмах к русским учёным // Труды института славяноведения АН СССР. II. Л., 1934, с. 271–291; L. P. Laptewa. Die Beziehungen des russischen Slawisten V. A. Francev zu Arnošt Muka anhand seiner Briefe // Lětopis. B 14/1. Bautzen, 1967, S. 22–34; Л. П. Лантева. Связи А. А. Шахматова с серболужицким филологом А. Мукой (по неопубликованным письмам А. А. Шахматова) // Slavia, roč. 62, 1993, seš. 2, s. 179–185. Подробные сведения имеются в книге, которая, правда, еще не могла быть учтена составителями словаря: Л. П. Лантева. Русско-серболужицкие научные и культурные связи с начала XIX в. до первой мировой войны (1914 года). М., 1993.
- ¹⁴ См. прежде всего: ЖМНП, 1910, № 11, с. 181–205 (рецензия Н. М. Петровского).

Л. П. Лантева

В. Цайль. Сорабистика в Германии. Научно-исторический итог пяти столетий. Баутцен/Будишин, 1996. 216 с.

[W. Zeil. Sorabistik in Deutschland. Eine wissenschaftsgeschichtliche Bilanz aus fünf Jahrhunderten. Bautzen/Budyšin, Domowina-Verlag, 1996. 216 S. (Spisy Serbskeho instituta. 12)]

Берлинский славист Вильгельм Цайль (род. в 1932 г.) свыше 30 лет изучает историю славистики в Германии. Итоги этой целенаправленной работы подведены в обширной монографии «Славистика в Германии: исследования и материалы по языкам, литературам и народным культурам славянских народов до 1945 года» (1994)¹ и энциклопедическом справочнике «Славистика в Германии от истоков до 1945 года: биографический словарь» (1993)². И все же среди многочисленных публикаций ученого на первом месте по объему и по важности проделанного труда, безусловно, стоят публикации по серболужицкой истории и историографии сорабистики, а также статьи и монографии по серболужицко-славянским и серболужицко-немецким научным и культурным взаимосвязям. Из обозначенного круга работ необходимо упомянуть хотя бы важнейшие: монографии «Больцано и серболужичане: исследование по истории „Вендской семинарии“ в Праге в период Йозефинского просвещения и романтизма» (1967)³, «Славистика в немецком университете в Праге (1882–1945)» (1995)⁴ и цикл статей «Карл Готтлоб фон Антон и его связи с серболужичанами: к 150-летию со дня смерти верхнелужицкого ученого — одного из основоположников славистики» (1968)⁵. Все эти труды, имеющие самостоятельную научную ценность, в то же время послужили базой для написания рецензируемой монографии, которая, хотя и называется «Сорабистика в Германии», представляет собой по сути энциклопедический комpendиум мировой сорабистики и уже поэтому на многие годы станет важным справочным пособием для всех славистов, желающих получить оптимальное представление об истории и современном состоянии мировой сорабистики. Перед нами действительно не что иное, как краткая энциклопедия истории серболужицкого народа, отраженная в зеркале истории науки.

В. Цайль сознательно нарушает строгие установки историографического жанра, обозначенные в заглавии труда. Не претендуя на раскрытие национальной специфики развития сорабистики в Чехии, Польше, России и т. д., он тем не менее в соответствующих местах своего хронологического и тематического обзора находит возможным не только упомянуть, но и охарактеризовать соответствующие труды чешских, польских, словацких, русских, украинских, болгарских, сербских, хорватских, словенских, английских, французских, итальянских и голландских ученых. Такое расширение географических границ исследования тем более оправданно, что многие иностранные ученые, занимавшиеся серболужицкой проблематикой, публиковали свои исследования в серболужицких и немецких журналах, имели активные контакты и переписку с деятелями серболужицкой культуры, а порой и самым непосредственным образом участвовали в процессах формирования общественного мнения и духовного климата в самой Сербской Лужице, как, например, в период национально-го возрождения XIX в. или в межвоенный период в XX в. Как помечено в предисловии, работа завершена «весной 1996 г.», в библиографии (весьма обширной, но в основном постраничной) учтены публикации 1995 г. В историческом и историографическом планах достаточно широко и подробно освещена проблематика, связанная с выработкой новых позиций сорабистики в объединенной Германии. Объединение ГДР и ФРГ в 1990 г. поставило Сербскую Лужицу с ее 50-тысячным славянским населением в совершенно новые условия, потребовавшие не только структурной и кадровой

перестройки национальных органов и организаций, но и качественных сдвигов в самой науке, связанных как с необходимостью критического переосмысления опыта прошлого, так и с поисками новых ориентиров и продуктивных направлений научных исследований в будущем. Страницы, посвященные проблематике развития общественной жизни, культуры и науки в Сербской Лужице после 1990 г., написаны В.Цайлем ангажированно и в то же время взвешенно, но — самое главное — достаточно информативно, что особенно важно даже для славистов, специально занимающихся историей Сербской Лужицы.

Для более отчетливого понимания проблематики книги и ее тематического наполнения необходимо обратить внимание на историческое содержание термина (или понятия) «сорабистика» и на его трактовку В.Цайлем, акцентированную не только в предисловии (с. 7–9) и в послесловии (с. 194–196), но в конечном итоге определившую пафос и направление всего труда, а также объем рассмотренного в нем материала. Понятие «сорабистика» возникло в немецкой науке по аналогии с понятиями «гермаистика» и «славистика». Но в силу целого ряда исторических обстоятельств содержательное наполнение этого понятия заметно отличается от вышеназванных. «Сорабистика» по существу включает в себя всё: от археологии, исторической географии, истории, топонимики и ономастики до литературоведения, искусствоведения, музыковедения и даже богословия (в католическом и протестантском вариантах). То есть именно с богословия следовало бы начать этот перечень, потому что до XIX века — за редкими исключениями — серболужицкая наука и литература создавались священниками. Верхнелужицкие и нижнелужицкие священники, вдохновившись примером М. Лютера, уже в XVI–XVII вв. трудились над переводами библейских текстов на диалекты тех местностей, где они жили и работали. Эта работа заставила задуматься над проблемами грамматики, орфографии и словарного состава языка. И священники сядут за составление грамматик и словарей, шаг за шагом (используя славянский и немецкий опыт) создавая серболужицкое языкознание. Являясь образованными носителями национально-патриотического сознания, священники начинают собирать и записывать материалы по серболужицкой истории, мифологии, топонимике, ономастике и т.д., закладывая важные основы для соответствующих областей науки. Литературно одаренные священники, как, например, Хандрош Тара (ок. 1570 — ок. 1638), начинают пробовать свои силы в поэзии, драме и прозе — возникает светская литература. Положение в этом плане не очень изменилось в XIX в. и даже в начале XX в., поскольку крупнейшими поэтами и писателями этого периода оставались священники (например, протестантский священник Гандрий Зейлер и католические священники Якуб Барт-Чишинский и Миклавш Андрицкий). Прослойка учителей стала постепенно складываться лишь с начала XIX в., так и не догнав ни в количественном, ни в качественном отношении слой священников. Свободные писатели и ученые являлись для Сербской Лужицы XIX в. редким исключением: плотник Ян Богухвал Дейка, скопив некоторые деньги с помощью своего ремесла, стал основателем верхнелужицкой прессы и журналистики. Традиционного пути священника (или учителя) сумели избежать лишь два крупнейших деятеля национального возрождения XIX в.: протестант Ян Арношт Смолер (1816–1884) и католик Ян Петр Йордан (1818–1891), внесшие неоценимый вклад в формирование и развитие некоторых отраслей сорабистики. Таким образом, скудость (количественная) национальных научных кадров и необъятность встававших задач (о них будет сказано ниже) выковали своеобразный тип серболужицкого ученого-универсала, который (например, Я. А. Смолер) в силу необходимости и четко осознаваемого долга приближался к типу ученого-универсала эпохи позднего гуманизма. Если даже говорить только о науке, то Я. А. Смолер был этнографом и фольклористом, широкопрофильным лингвистом (грамматика в самых разнообразных аспектах, лек-

сикография, составление словарей, учебников), историком и литературоведом, краеведом, музыковедом и культурологом. Тип ученого, обладающего, условно говоря, качеством энциклопедического синкретизма, видимо, не такая уж редкость для эпохи национального возрождения в странах ЦЮВЕ. Но в процессе складывания национального, «сверхкомплексного» представления о сорабистике сыграли свою роль и другие, не менее важные факторы.

Матица серболужицкая, основанная в 1847 г. вслед за подобными же национально-культурными и научными организациями в Сербии, Чехии и Хорватии, имела возможность выпускать лишь один-единственный научный журнал («Часопис Матицы Серболужицкой», 1848–1937), выходивший, как правило, два раза в год. В то же время сама Матица, вбравшая в себя практически всю немногочисленную серболужицкую интеллигенцию, имела уже во второй половине XIX в., как отмечает В.Цайль, десять секций или комиссий: языкознание, серболужицкие древности, естественные науки, литература и беллетристика, педагогика, этнография, музыковедение и искусствознание, юриспруденция, экономика, нижнелужицкая секция (с. 70). Любопытен уже сам перечень этих комиссий и секций, выстроенных не по принципу рациональной классификации наук, но по мере того, как появлялись национальные кадры (то есть те же священники и учителя, а затем и отдельные представители других профессий, к примеру, юристы), способные осуществлять работу в соответствующей комиссии. В.Цайль замечает, что при организации Института серболужицкого народоведения в 1961 г. (с 1992 г. — Серболужицкий институт) важнейшим ориентиром была секционная структура Матицы серболужицкой (с. 70; с. 144–145). «При основании Института серболужицкого народоведения были созданы отделы педагогики, языка, литературы, истории и народоведения. Результаты научных исследований института подтвердили правильность ориентации на мультидисциплинарную структуру, а также на дисциплинарное и междисциплинарное сотрудничество» (с. 145).

И все же основная причина нетрадиционного, то есть не поддающегося адекватному сопоставлению по аналогии, содержательного наполнения понятия (и термина) «сорабистика» носит национально-этнический характер и отражает особый статус серболужицкого славянского этноса — маленького инородного островка в огромном море, ураганном или снисходительно-враждебном до 1945 г., покровительственно-настороженном в 1945–1990 гг. и равнодушно-щедрым после 1990-го года. «Сорабистика как современная наука есть часть славистики», — так начинает свою монографию В.Цайль (с. 7). Но тут же следуют несколько весьма существенных уточнений. «Сорабистика использовалась как средство формирования этнического и национального самосознания, обретения идентичности и самосохранения в зачастую весьма недружественном окружении»; «История сорабистики как многослойной науки о культуре не укладывается в узко специальные рамки истории филологии или историографии и сближается с историей культуры» (с. 7); «При всей лояльности к любому немецкому начальству лужичане всегда по-особому относились к сорабистике и во все времена посвящали себя этому предмету с национальным призванием. В растянувшихся на столетия усилиях по утверждению себя как самостоятельного народа в Германии, в сопротивлении против германизации и дискриминации сорабистика превратилась в форму сознательного восприятия истории, языка и культуры в специфически славянских или немецко-славянских взаимосвязях. Как выражение воли народа к жизни и к культуре сорабистика занимает тем самым гораздо более высокое место на шкале ценностей с точки зрения исторического самосознания серболужичан, чем для немецких ученых или для непредвзято образованных граждан внутри или вне научных учреждений» (с. 8); «Сорабистика — в большей степени, чем филология у других народов, — выполняла у лужичан национально-педагогические функции.

функции формирования национальной идентичности и национального самосознания» (с. 9). Подобные попытки уточнения этой важнейшей специфики сорабистики В. Цайль делает и дальше, но суть его точки зрения ясна и из приведенных цитат. Сорабистика, таким образом, была и есть для лужичан не только чистая наука (точнее, комплекс и синтез разнообразных наук), но и своеобразная национальная идеология, в рамках которой все накапливаемые результаты и достижения отдельных наук фокусируются в единую установку: выработку стратегии и тактики национального самосохранения. Нынешняя Сербская Лужица напоминает группу маленьких песчаных островов в океане, где даже ласковые и добрые волны, вовсе даже не желая того, уносят с собой при каждом отливе тысячи песчинок, что на глаз как бы и незаметно, и в то же время совершенно очевидно. Сокращение национального этноса от 160 тысяч человек в 1858 г. (по официальной статистике)⁶ до 60 или даже 50 тысяч человек по результатам современных исследований⁷, казалось бы, полностью подтверждает это метафорическое сравнение. Но живые люди, не потерявшие ощущение своей национальной принадлежности и связанные между собой традициями многовековой национальной культуры, — это все же не песчинки, у которых отсутствует энергия физического и духовного самостояния. Об этом свидетельствует хотя бы то, что не прекращавшиеся со времен М. Лютера злые или равнодушные констатирующие пророчества о скорой и окончательной ассимиляции серболужичан все же и до сих пор не подтвердились. То есть сорабистика в трактовке В. Цайля предстает как комплексная наука (и искусство), которая помогла серболужичанам выжить, выстоять и сохранить здоровую основу народной жизни. История сорабистики в таком смысле — это история формирования механизма народного сопротивления, самосознания и самоутверждения; такую историю и написал В. Цайль, пытаясь обнаружить и показать все приводные ремни и шестерни этого механизма.

Анализируя историю сорабистики в Германии именно в таком всеобъемлющем и не подгоняемом ни под какие стандарты значении, автор выделяет в ней три основных составляющих: во-первых, сорабистика, создававшаяся самими серболужичанами; во-вторых, сорабистика, создававшаяся немцами (и отчасти австрийцами), и, в-третьих, сорабистика в славянских и других зарубежных странах. Непроходимых граней в сфере науки между этими тремя типами сорабистики, разумеется, нет. И все же к числу несомненных достоинств данного исследования следует отнести то, что автор наглядно показывает неидентичность этих трех ветвей сорабистики — даже в сфере науки, не говоря уже о тех периодах, когда наука вольно или невольно бралась поддерживать те или иные идеологические и политические установки. Особенно добросовестно и всеобъемлюще раскрыта специфика и исторические особенности немецкой сорабистики, развитие которой к тому же показано на фоне становления и развития немецкой славистики в целом. В отличие от французской, английской или итальянской славистики, развивавшихся по мере возникновения и развития объективного интереса к истории и культуре славянских народов, немецкая славистика с самого начала несла в себе элементы определенной ангажированности: славяне были непосредственными соседями немцев, с которыми на протяжении всей истории приходилось воевать или ладить, и — более того — славяне проживали на территориях, уже в IX–X вв. захваченных немцами, а серболужичане на протяжении практически всей истории Германии составляли часть коренного населения Пруссии и Саксонии, Германской империи (1871–1918), Веймарской Республики (1919–1933), «третьего рейха» (1933–1945), ГДР (1949–1990) и ФРГ (с 1990 г.). «История сорабистики в конечном счете есть не только история прогресса профессиональных знаний, но одновременно — история взлетов и падений в отношениях немцев к соседям славянам» (с. 9). Описание этих «взлетов и падений» немецкой сорабистики в контексте немецкой и европейской истории — эти страницы, написанные с глубоким вхожде-

нием в существо проблематики и в конкретную историко-культурную ситуацию, кажется, должны быть особенно информативны и интересны для каждого профессионального слависта, постоянно следящего за движением историографических исследований в славянских странах, но не имеющего отчетливого представления о развитии и современном состоянии немецкой славистики.

Основная часть исследования состоит из семи глав, совмещающих хронологический и проблемный подходы. В хронологическом плане автором выстроена следующая периодизация сорабистики: эпоха реформации и контрреформации, раннее просвещение, позднее просвещение и романтизм, конституирование сорабистики как комплекса научных дисциплин в 1840–1860-х гг., основные достижения сорабистики в 1870–1918 гг., сорабистика до 1945 г. Наиболее обширна по объему последняя глава «Проблематика и развитие сорабистики в период между разделом и объединением Германии» (с. 138–193), то есть сюда вошел материал, еще почти не проработанный историографией и лишь частично опубликованный в библиографиях. Материал этой главы хронологически охватывает 1945–1995 гг. и распределен по следующим проблемным разделам: 1) политические и общественные условия развития сорабистики; 2) организация науки; 3) исследования по истории, демографии и краеведению; 4) исследования по народоведению (этнография, традиционная народная культура, музыковедение, искусствоведение и др.); 5) литературоведение; 6) языковедение. Специалисты по соответствующим отраслям науки могут найти в этих разделах немало полезного и информативного материала. В частности, что касается немецких славистов, регулярно обращавшихся к сорабистике. В. Цайль дает подробную информацию о научной деятельности таких ученых, как Райнхольд Траутман (1883–1951), Макс Фасмер (1886–1962), Карл Генрих Мейер (1890–1945), Рудольф Леман (1887–1968), Эдуард Винтер (1896–1982), Вольфганг Штайниц (1905–1968), Ганс Гольм Вильфелдт (1907–1987), Райнхольд Олеш (1910–1990), Арнульф Шрёдер (1911–1945), Рудольф Фишер (1910–1971), Теодор Фрингс (1886–1968), Вальтер Йозеф Раух (род. в 1926 г.), Вальтер Венцель (род. в 1929 г.), Рональд Лётцш (род. в 1931 г.), Мари-Луиза Эрхардт (род. в 1935 г.), Вольф Ошлиес (род. в 1941 г.), Вальтер Кошмал (род. в 1952 г.), Роланд Марти (род. в 1953 г.), Кристина Кинд-Дёрпе (род. в 1937 г.), Зузанна Хозе (род. в 1961 г.) и др. Особенно ценно то, что автор включает в свой обзор неопубликованные диссертации и рукописи монографических исследований, пока не нашедших своего издателя.

Таким образом, перед нами действительно обстоятельная, с любовью и тщательностью написанная энциклопедия сорабистики. О тщательности свидетельствует, к примеру, именной указатель, включающий в себя свыше 600 имен с датами жизни, что — учитывая географический диапазон исследования и вовлечение в него новейших работ еще совсем молодых исследователей — потребовало от автора немало дополнительного времени. О тщательности свидетельствует и то, что В. Цайль, анализируя современное состояние сорабистики (в каждом из шести разделов седьмой главы и в заключении), стремится не только отреферировать работы последних десятилетий, но и выявить новые проблемы, тенденции и направления, которые особенно наглядно обнаружились после 1990 г. Обратим внимание лишь на некоторые проблемы, исследование которых было в условиях ГДР табуизировано. Уничтожение в ГДР десятков серболужицких деревень и поселков ради добычи бурого угля было сокрушительным ударом по серболужицкому этносу, ибо еще больше ужимало и так уже сокращенное до предела пространство традиционного народного бытия. И хотя серболужицкие писатели (Кито Лоренц, Юрий Кох и др.) уже с 1960-х гг. начали писать об этом в поэзии и прозе, всякие политические выступления и научные исследования проблем экологии (и тем более какие-либо демонстрации протеста со стороны населения) в Сербской Лужице были в условиях ГДР запрещены. С 1990 г. эта тема стала

одной из самых актуальных, и по проблемам экологии в Сербской Лужице за последние годы написано больше, чем за весь XX век⁸. Во-вторых, серболужичане принимали в годы Веймарской Республики активное участие в конференциях и конгрессах национальных меньшинств Европы (Ян Скала и др.); впоследствии же они были лишены этой возможности; не поощрялись и научные разработки данной проблематики. Вся эта большая политическая, организационная, публицистическая и научная работа была с 1990 г. возобновлена (Людвиг Элле, Роланд Марти и др.)⁹. Более того, междисциплинарные сопоставительные исследования истории и современного состояния языков, культур, правового статуса и т. д. европейских национальных меньшинств заявлены как одно из важнейших направлений реорганизованного Серболужицкого института в Будишине/Баутцене (с. 194–195). Заметно и увеличение количества работ, построенных на основе внимательного изучения недоступных прежде архивных источников, позволяющих, например, гораздо отчетливее увидеть политическую и психологическую подоплеку неудавшихся попыток присоединения Сербской Лужицы к Чехословакии в 1918–1919 гг.¹⁰ и в 1945–1947 гг. (с. 138–140).

Хочется надеяться, что рецензируемая монография не только будет настольным справочником соработников в разных концах Европы, но окажется полезной и гораздо более многочисленному отряду славистов широкого профиля.

Примечания

- ¹ W.Zeil. Slawistik in Deutschland: Forschungen und Informationen über die Sprachen, Literaturen und Volkskulturen slawischer Völker bis 1945. Köln; Weimar; Wien, 1994.
- ² Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945: Ein biographisches Lexikon / Hrsg. von E. Eichler, E. Hoffmann, P. Kunze, H. Schmidt, G. Schröter, W. Zeil. Bautzen, 1993.
- ³ W.Zeil. Bolzano und die Sorben: Ein Beitrag zur Geschichte des «Wendischen Seminars» in Prag zur Zeit der josephinischen Aufklärung und der Romantik. Bautzen, 1967.
- ⁴ W.Zeil. Slawistik an der deutschen Universität in Prag (1882–1945). München, 1995.
- ⁵ W.Zeil. Karl Gottlob von Anton und seine Beziehungen zu den Sorben: Zum 150. Todestag des Oberlausitzer Gelehrten — eines Wegbereiters der Slawistik // Létopis. Reihe B. Bautzen, 1968, № 1, S. 1–17; ibid, № 2, S. 175–220.
- ⁶ F.W.Remes. Die Sorbenfrage 1918/1919. Untersuchung einer gescheiterten Autonomiebewegung. Bautzen, 1993, S. 43.
- ⁷ Die Sorben in Deutschland. Hrsg. von Maćica Serbska. Bautzen, 1991; Die Sorben in Deutschland. Sieben Kapitel Kulturgeschichte. Hrsg. von D.Scholze. Bautzen, 1993; W.Oschlies. Die Sorben: Slawisches Volk im Osten Deutschlands. Bonn — Bad Godesberg, 1991.
- ⁸ F.Förster. Verschwundene Dörfer. Die Ortsabbrüche des Lausitzer Braunkohlenreviers bis 1993. Bautzen, 1995; Zeithistorische Studien / Hrsg. von J.Kocka. Berlin, 1995.
- ⁹ L.Elle. Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Ergebnisse einer ethnosozologischen Befragung. Bautzen, 1992; R.Marti. Probleme europäischer Kleinsprachen. Sorbisch und Bündnerromanisch. München, 1990; R.Marti. Die Sorben — Prüfstein und Experimentierfeld für Nationalitätenpolitik // Europa Ethnica, 1992, № 49, S. 13–36.
- ¹⁰ См. примеч. 6.

А. А. Гугнин

История Сопротивления в Германии: новые подходы — новые вопросы

1. *Peter Steinbach, Johannes Tuchel* (Hrsg.) *Widerstand gegen den Nationalsozialismus*. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn, 1994. — 671 S.
Сопротивление против национал-социализма. Бонн, 1994.
2. *Hans Coppi, Jurgen Danyel, Johannes Tuchel* (Hrsg.) *Die Rote Kapelle im Widerstand gegen den Nationalsozialismus*. Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Reihe A. Band 1. Berlin, 1994. — 307 S.
Красная капелла в Сопротивлении против национал-социализма. Берлин, 1994.
3. *Lexikon des Widerstandes. 1933–1945*. Hrsg. von Peter Steinbach und Johannes Tuchel. Verlag C. H. Beck. München. 1994. — 238 S.
Энциклопедия Сопротивления. 1933–1945. Мюнхен, 1994]

Сложный и болезненный процесс «преодоления прошлого» немецким народом самым непосредственным образом отражается в исследованиях по истории Сопротивления — истории «другой Германии», боровшейся и страдавшей в условиях нацистской диктатуры. Как пишет П. Штайнбах, наследие антифашизма остается для немцев постоянным вопросом к самим себе об их отношении к политическим принципам и альтернативам, воплощенным в Сопротивлении и оказывающим на них влияние, потому что никто не может тайком, даже под покровом пропаганды «антифашизма», выйти из своей истории.

Этапы изучения Сопротивления — это послевоенная судьба страны с созданием на ее территории двух государств, каждое из которых претендовало на то, чтобы быть преемником буржуазно-военной оппозиции Гитлеру или коммунистического подполья. Политическое объединение Германии в октябре 1990 г. было лишь началом интеграции общества бывшей ГДР в систему Федеративной республики: проблема легитимности государства вновь оказалась в центре общественно-политической дискуссии, а с ней и недавняя германская история.

Очевидно, поиск путей и методов формирования новой немецкой общности должен опираться на новое, свободное от предубеждений и спекуляций историческое мышление. «Интегральное понимание» Сопротивления, т. е. «во всем его многообразии и единстве, в его надеждах и отчаянии, оптимизме и слабости», как раз помогает разрушить «стену» в умах и сердцах людей и осознать взаимозависимость становления двух немецких обществ, в основе которого лежит идея антинацизма. Однако именно эта концепция подверглась ожесточенной критике со стороны тех, кто продолжает видеть единственную альтернативу гитлеровскому режиму в традициях и представлениях «людей 20 июля» 1944 г. Формальным поводом для атаки послужила претензия федерального Министерства обороны на историческое здание генштаба в Берлине на Штауффенбергштрассе, где размещается постоянная выставка Мемориала Немецкое Сопротивление, научным руководителем которого является известный ученый П. Штайнбах. Предъявленные к нему и его сотрудникам — а среди них есть исследователи из бывшей ГДР — требования сводились к усилению «антитоталитарного» звучания экспозиции, а по сути к исключению из нее таких тем, как антифашистская эмиграция, движение военнопленных в СССР и Национальный комитет «Свободная Германия». Речь шла о разрушении научной концепции истории Сопротивления во имя политической и идеологической конъюнктуры. Тот факт, что общегерманский характер выставки удалось сохранить, вовсе не означает, что не осталось других средств манипуляции историей.

Руководимый П. Штайнбахом исследовательский центр «История Сопротивления» при берлинском Свободном университете и Мемориале Немецкое Сопротивление работает много и плодотворно. Этому способствует ситуация большой открытости и гласности, сложившаяся после падения «реального социализма», когда дискуссия на Западе и Востоке стала более свободной, открылись ранее недоступные архивные фонды, а межчеловеческое общение обогатило источниковую базу бесценными устными и письменными свидетельствами. Ученые Центра широко используют методы сравнительного исторического анализа, социальную психологию, междисциплинарные исследования. Крайне сложная проблема мотивов и путей в Сопротивление является для них тем стержнем, вокруг которого бережно и деликатно собираются судьбы самых разных людей — противников режима. Пожалуй, самым важным для исследователей Центра стал вопрос «против чего?» как объединяющий все течения немецкого антифашизма. Вопрос «во имя чего?» часто сознательно отодвигается на второй план, т. к. его решение после войны зависело не только от немцев. Однако, как справедливо замечает П. Штайнбах, наличие разных политических целей, обострение противоречий между ними после падения режима и раскол Германии не могут быть основанием для раскола движения Сопротивления, ибо «при всех социальных, культурных и конфессиональных различиях противники режима, какими бы мотивами они ни руководствовались, были едины в неприятии тотального государства и его тоталитарного мировоззрения». Негативное отношение к гитлеризму уже предполагало формулирование неких принципов будущей внутренней и внешней политики Германии, и эти идеи, по мнению сотрудников Центра, имели мало общего с реалиями ФРГ и ГДР.

Изданный Федеральным центром политического образования сборник «Сопротивление против национал-социализма» дает представление о концепции, методах исследования и проблематике Центра. Заинтересованный читатель найдет здесь статьи о Сопротивлении рабочего движения, верующих, о буржуазно-военной оппозиции и антифашистской эмиграции, причем начиная с зарождения антинацизма в условиях Веймарской республики. Целью авторов было «ясно показать, что на каждом этапе развития нацистского режима существовало Сопротивление, в основе которого лежали принципиальные этические и политические убеждения». Сборник подводит к выводу о том, что «ориентация на принципы прав человека и человеческого достоинства делает Сопротивление единственной исторической альтернативой нацистскому режиму».

Особое место среди исследований Центра занимает история крупнейшей организации немецкого Сопротивления — «Красной капеллы», которую возглавляли А. Харнак и Х. Шульце-Бойзен. После 1945 г. она стала объектом острых дискуссий, на ход которых большое влияние оказала формулировка из протоколов гестапо о том, что это была «оплаченная государственная измена». Имелась в виду разведывательная деятельность «Красной капеллы» в пользу СССР. С подачи участника заговора против Гитлера Ф. фон Шлабрендорфа и известного историка Г. Риттера в Федеративной республике вплоть до 70-х годов организация Харнака — Шульце-Бойзена исключалась из антифашистского движения как «предатели», действовавшие во имя «другой диктатуры». Только с середины 80-х годов начинается период ее признания как недостающего звена в истории Сопротивления. Характерно, что хотя ученые ГДР видели в «Красной капелле» прообраз Народного фронта против нацизма, на уровне официальной пропаганды она оставалась прежде всего разведывательной группой, работавшей, конечно, во благо немецкого народа. В нашей стране после долгого молчания тема «Красной капеллы» возникла в связи с «сенсационными» разоблачениями КГБ, в контексте борьбы с «проклятым тоталитарным прошлым». Однако даже при беглом знакомстве с деятельностью и составом организации возникает мас-

са вопросов, ответы на которые не укладываются в официальные схемы. Это касается прежде всего происхождения, условий политической социализации, целевых установок, связей с другими течениями антифашизма.

Подготовленная исследовательской группой по истории «Красной капеллы» книга «Красная капелла в Сопротивлении против национал-социализма» представляет первые результаты поиска ответов на поставленные вопросы и является убедительным примером преодоления политических спекуляций с помощью индивидуализирующего метода и интегральной концепции. Здесь собраны статьи о генезисе организации и ее связях с другими группами Сопротивления, о ее конкретной деятельности, которая оказалась гораздо шире, чем сбор разведанных, реконструируются события осени 1942 г., когда гестапо напало на ее след, а также интереснейшие биографии ее членов, историографические и источниковедческие обзоры. По признанию авторов, написание полноценной истории «Красной капеллы» еще предстоит, но уже сегодня ясно, что организация Харнака — Шульце-Бойзена — это неотъемлемая часть немецкого антифашизма, доказательство его социального, мировоззренческого и политического плюрализма.

Авторы издания не могли обойти вопрос о разведывательной работе «Красной капеллы». И здесь они отошли от черно-белой схемы: помощь Советскому Союзу с целью предотвращения, а затем — прекращения расовой, идеологически мотивированной войны резко сужала возможности обычной вооруженной борьбы за гегемонию в Европе. Вообще, европеизм, противостоящий европейской политике национал-социализма и значительно корректирующий представления о межгосударственных отношениях по сравнению с межвоенным периодом, был важной чертой антифашистского движения во всех странах, поскольку речь шла об устранении непосредственных причин Второй мировой войны.

Европеизму большое внимание уделено в «Энциклопедии Сопротивления. 1933–1945». Преодоление нацистского оккупационного режима и насилия было одной из целей немецких антифашистов, что оказало влияние на послевоенное развитие на континенте и стало одним из условий возвращения немцев в сообщество европейских народов. Проблемные статьи освещают узловые моменты изучения истории Сопротивления — его активные формы и неповиновение в повседневной жизни, теоретические и организационные основы. 300 биографий представителей всех течений и групп раскрывают многообразие мотивов и путей в лагерь антифашистов. Приведенные в конце каждой статьи ссылки на литературу указывают на предшествующие исследования и дают ориентиры для дальнейшей работы, поэтому вопрос о полноте издания становится не так важен. Авторы «Энциклопедии», очевидно, стремились не только предоставить в значительной степени новую информацию, но прежде всего на сжатом и очень конкретном материале продемонстрировать плодотворность своего научного метода, что вполне удалось.

Тем не менее метод и концепция Центра по истории Сопротивления вызывают некоторые сомнения. Сами по себе они доказывают неприложимость к живой истории сугубо теоретической модели тоталитаризма. Но индивидуализация истории Сопротивления грозит вовсе снять проблему идеологий, движений и режимов, появление которых было связано с переходом к индустриализму и, соответственно, массовому обществу и социальному государству. Так, вызывает сомнение правомерность включения в «Энциклопедию Сопротивления» статей о «левых» или «честных» наци — братьях Штрассерах и их Черном фронте, отстаивавших чистоту идеи «немецкого социализма» против прокапиталистического курса Гитлера. Нынешняя «позитивная история немецкого национального государства» с легкостью разделяет преступления и социальное содержание нацистского режима. Однако «непреднамеренная революция» (Р. Дарендорф), совершенная Гитлером, закрепила как норму со-

циальные отношения, которые складывались, но не могли пробить себе дорогу задолго до установления диктатуры. Правильнее было бы сказать, что модернизация Германии стала результатом противостояния нацизма и антинацизма. Но разве не наводит на размышления то, что Л. Эрхард, который был среди экономических советников К. Гёрделера и чьими усилиями претворялась в жизнь система социального рыночного хозяйства, выдвинул также и концепцию «сформированного общества»? И если сегодня можно утверждать, что тоталитаризм в чистом виде еще нигде не существовал, то неизвестно, куда нас может привести спровоцированное угрозами современного мира «бегство от свободы» (Э. Фромм).

В связи с этим встает вопрос об альтернативе, которая является феноменом не только сознания, но прежде всего исторического действия. Специфика немецкого антифашизма заключается как раз в том, что он существовал главным образом в сфере сознания. Ситуация «общественного вакуума» придавала идеям противников режима известную абстрактность, и они подверглись неизбежной корректировке, когда появилась возможность действовать. Конечно, прав П. Штайнбах, выступая против проецирования холодной войны на период нацизма и Сопротивления. Но нельзя видеть и того, что раскол Германии произошел не просто по воле союзников, а при активном участии многих из тех, кто был или считал себя антифашистом. Разве не стали ФРГ и ГДР именно конкретно-исторической альтернативой нацизму и в то же время наследниками всего хорошего и плохого, что составляло содержание предшествующего периода?

Думается, индивидуализирующий и интеграционный подход — это одно из проявлений перехода к принципу «равенства неодинакового» как социальной основе постиндустриального общества. Предложенная концепция преодолевает конфронтационное видение истории и предполагает развитие ее новой философии, ставящей в центр личность как субъект и объект формирования в ходе взаимосвязанных экономических, социальных и политических процессов.

Профессор доктор Клаус Цернак — 65 лет со дня рождения

14 июня 1996 г. исполнилось 65 лет профессору Клаусу Цернаку, одному из выдающихся историков-славистов Германии, профессору Свободного университета Берлина, почетному доктору Университета им. Адама Мицкевича в Познани, члену Берлинско-Бранденбургской академии наук, иностранному члену Польской академии наук.

Область научных интересов К. Цернака весьма обширна и сосредоточена на проблемах истории стран Центральной и Восточной Европы, начиная с эпохи Средневековья и кончая рубежом XIX–XX вв. Он является автором более 150 опубликованных научных работ, среди которых наиболее видное место занимают: «Народные собрания у восточных и западных славян (Историко-правовое исследование Ве-ча)» (1967); «Введение в историю Восточной Европы» (1977); многотомные «Очерки истории России с IX в. до 1856 г.», первое издание которых было осуществлено в 1981 г., и, наконец, фундаментальное исследование «Польша и Россия: два пути в европейской истории», вышедшее в Берлине в 1994 г. Труд этот охватывает более чем тысячелетнюю историю народов Польши и России, со времени их перехода от первобытного общества к цивилизации и до 1990 г., то есть практически до наших дней, до того рубежа, когда коренным образом изменился социально-политический облик Центральной и Восточной Европы. Как подчеркивает К. Цернак, он поставил своей задачей в этой книге «представить совместную биографию русских и поляков». Подобного труда до сих пор не было как в русской и польской, так и в немецкой историографии.

Видя целью своей работы изучение исторических связей России и Польши, рассматривая эти связи в широком контексте исторического и культурного взаимодействия народов, К. Цернак подчеркивает, что в конце XX в. на переломе двух эпох европейской и мировой истории для Германии приобретает особое значение исследование исторического пути ее ближайших соседей, Польши и России, которые, по его словам, на протяжении минувшего тысячелетия, по крайней мере с 1697 г., образуют особую структуру взаимодействия как «challenge and response» (вызов и ответ).

Именно истории польского народа в многочисленных научных трудах К. Цернака уделяется главное внимание, а история Польши становится основной темой его научного творчества. Однако широта интересов и научной эрудиции К. Цернака, а главным образом особенности его методологии не позволяют ему ограничиться сугубо польской проблематикой. Рассматривая нации как структурные элементы современного общества, К. Цернак исходит из определяющего влияния исторически развивающегося национального сознания на процесс становления и развития наций в целом. Однако историческое развитие национального сознания он видит не как самодовлеющий, изолированный процесс, а как результат межэтнического и межнационального взаимодействия. Исходя из этого, формируется его оригинальный научный метод, который основывается на концепции взаимодействия наций, представляющего собой самостоятельный, а нередко и решающий фактор исторического развития. В свою очередь историческое взаимодействие может быть выявлено, описано, систематизировано и подвергнуто анализу только на основе сравнительно-исторического изучения развития отдельных народов и регионов. Поэтому научные интересы К. Цернака отнюдь не ограничиваются исследованием истории Польши, а обращены ко всем странам Центральной и Восточной Европы, и в особенности, наряду с Польшей, к Германии, России, Швеции, Австрии, а в более широком контексте и к Европе в целом.

В трудах К. Цернака были поставлены важные дискуссионные проблемы, связанные с основными тенденциями развития современной историографии: «Славяне и немцы: проблема „предыстории“ германо-польских связей»; «Германо-польские отношения в процессе формирования средневековых наций»; «Пруссия-Польша-Россия и становление современной системы государств (Северная война, разделы Польши и негативная польская политика)»; «Пруссия как проблема германо-польских отношений»; «Историческое взаимодействие как научная проблема и исследовательская задача»; «Историография германо-польских отношений и критика негативных традиций немецкого остфрунгга».

Становление К. Цернака как ученого и педагога неотделимо от истории послевоенной Германии, а также от того политического переворота, происшедшего в Центральной и Восточной Европе в 1980 — начале 1990-х гг. Он родился в Берлине, в месте, где издревле встречались германские и славянские народы, в городе, который вот уже 100 лет по праву считается признанным германским и европейским центром славистических исследований, в столице Пруссии и Германии, ставшей символом объединения страны, раскола и нового объединения немецкого народа, разрушившего берлинскую стену. В 1949 г. К. Цернак поступил в Свободный университет Берлина, где учился по специальностям: история, история искусств, германистика, философия. В 1951 г. он переезжает в Мюнстер, где продолжает учебу в университете. В Берлин К. Цернак вернулся только спустя тридцать лет, уже будучи профессором. Однако думается, что именно этот город, его дух и традиции оказали большое влияние на его становление как ученого и педагога.

В 1957 г. К. Цернак защитил диссертацию и стал доктором философии. Тогда же он, по предложению профессора Герберта Лудата, переезжает в Гисен, где преподает шведский язык и является ассистентом Г. Лудата на кафедре Восточной Европы. Работа в университете Гисена стала для К. Цернака завершающим этапом в его формировании как историка-слависта. В 1964 г. он прошел хабилитацию, а в 1966 г. был избран профессором кафедры восточноевропейской истории в университете Франкфурта-на-Майне. В 1978 г. он сменил своего учителя Г. Лудата на кафедре в университете Гисена, а в 1984 г. был избран профессором Свободного университета Берлина.

Вернувшись в свой родной город, разделенный на Западный и Восточный Берлин, К. Цернак многое сделал для развития научных контактов между учеными-славистами в обеих частях Германии. И после воссоединения страны он приложил немало усилий, чтобы достигнутый уровень славистических исследований и научные кадры на востоке и западе Германии были сохранены, чтобы исследовательские проекты на востоке и на западе были бы объединены и таким образом получили бы дальнейшее развитие лучшие традиции немецкой славистики. Эту работу К. Цернак вел в составе Исторической комиссии Берлина, которую он возглавлял в 1986–1990 гг.

Нельзя не отметить несомненного педагогического таланта К. Цернака как университетского профессора и организатора науки. Под его руководством десятки учеников защитили докторские диссертации, многие получили хабилитацию, некоторые стали профессорами и возглавляют кафедры. Для школы профессора К. Цернака характерны блестящая методологическая подготовка, глубокое владение историографией, прекрасные навыки научной дискуссии. Все это ученики перенимали у своего учителя, но не только это. Что особенно привлекательно в школе К. Цернака, что безусловно объединяет учителя и учеников, так это увлеченность работой, напряженность научного творчества.

И еще одна черта, на которую обязательно надо указать, говоря о стиле работы К. Цернака, — это его несомненный артистизм, когда научное, в полном смысле

этого слова, изложение материала заключено в безукоризненную художественную форму. Его лекции представляют собой незаурядное явление не только по содержанию, но и по форме: прекрасная дикция, интонация, постановка корпуса, точный жест — все это создает особую атмосферу восприятия. Это же стремление к красоте присутствует и в публикациях К. Цернака. Его труды и труды его учеников отличаются не только глубиной и стройностью научной аргументации, логичностью и убедительностью изложения, но в них очевидно (даже для читателя-иностранца) стремление автора к ясности, выразительности и образности языка.

Б. В. Носов

Несколько штрихов к портрету ученого (С. В. Никольскому — 75 лет)

Недавно отмеченная полувековая годовщина Института славяноведения и балканистики, где юбиляр работает чуть ли не с его основания, дает повод, оглянувшись назад, еще раз оценить тот большой вклад, который профессор С. В. Никольский, Заслуженный — и по званию и по существу — деятель науки, внес в развитие послевоенной славистики в нашей стране, в формирование в Институте коллектива литературоведов, которым он в течение длительного времени руководил, в исследование и пропаганду славянских культур.

В славяноведение С. В. Никольский пришел из русистики, окончив в 1945 г. русское отделение филфака МГУ. Темой его кандидатской диссертации (руководитель — П. Г. Богатырев) стало творчество Ф. Л. Челаковского. Проблематика чешско-русских литературных связей, олицетворяемых личностью Челаковского, органично связала молодого русиста с чешской литературой. Столь же органичным стал переход к проблематике романтизма, а затем — к фигурам К. Г. Махи, К. Я. Эрбена, К. Гавличека-Боровского и т. д. С. В. Никольский как бы вместе с чешской литературой проходил разные стадии ее развития, начиная с эпохи национального возрождения, что позднее получило отражение в его книге «Две эпохи чешской литературы» (М., 1981). Особо следует подчеркнуть ценность исследований С. В. Никольским романтизма. Его доклад на IV Международном съезде славистов в Москве в 1958 г., написанный совместно с А. Н. Соколовым и Б. Ф. Стахеевым, «Некоторые особенности романтизма в славянских литературах», не только предложил концепцию «славянского романтизма», в котором всегда жила тревожная мысль о судьбах нации, народа, но и показал продуктивность сравнительно-сопоставительных исследований литератур.

Одновременно с погружением в глубины литературной истории осваивались и достижения чешской литературы XX в. — творчество И. Волькера, Я. Гашека, К. Чапека. Карел Чапек сыграл особую роль в творческой судьбе своего исследователя, как, впрочем, и он — в литературной судьбе Карела Чапека. В 1950 г. в Гослитиздате вышел томик «Избранного» К. Чапека с предисловием С. В. Никольского. Еще до войны у нас оценили талант и антифашистскую позицию этого писателя, хотя переведены были лишь немногие его произведения. Однако после февраля 1948 г. для литературного наследия Чапека наступили трудные времена. В Чехословакии тогда резко ужесточили культурную политику и принялись делить чешских писателей на «прогрессивных» и «реакционных» в зависимости от их политической благонадежности и верности национальным традициям. К. Чапек, истинный демократ и гуманист, выступавший против всяческих диктатур, как фашистской, так и пролетарской, испытания на политическую благонадежность не выдерживал. Да еще его пресловутая дружба с президентом Масариком, одной из тогдашней Чехословакии фигурой! Короче говоря, К. Чапеку на его родине конца 40-х — начала 50-х годов грозило забвение, его готовы были отодвинуть в тень, отринуть от чешской культуры. И вдруг, в это смутное время, его книга выходит в Москве! А если Чапека признают там, то его со спокойной душой могут заново признать и соотечественники. Предисловие советского ученого оперативно переводят на чешский язык, издают в Праге отдельной брошюрой. Оно открывает Чапеку зеленую улицу в чехословацкие издательства. К. Чапек — защищен. За С. В. Никольским закрепляется репутация «спасителя Чапека».

Он действительно способствовал защите Чапека если не от забвения, то от вулгаризации, примитивизации, схематизации его творчества, от тех социологических

подходов, которые были распространены и в послевоенной советской славистике. Своими работами о Чапеке (а предисловие к «Избранному» стало первой из них) С. В. Никольский сразу же обозначил высокий уровень российских исследований творчества Чапека. Высоко поднимая планку, он одновременно наметил и их глубину, которую подтвердили в дальнейшем и его книги «Карел Чапек — фантаст и сатирик» (М., 1973), переведенная в Чехословакии, «Карел Чапек» (М., 1990) и многие статьи. Существенно, что в своих работах С. В. Никольский вводит фигуру К. Чапека в общеевропейский контекст, сопоставляя его с Дж. Свифтом, Жюлем Верном, Г. Уэллсом, А. Франсом, С. Лемом, Веркормом, Р. Мерлем, Дж. Оруэллом, русскими писателями. В высшей степени интересен анализ С. В. Никольским структуры чапековской прозы, где осуществляется очень часто синтез различных жанров. Для ученого характерно внимание к слову, к тексту, способность прочесть его литературоведческим глазом, «развинчивая» на составляющие элементы, постигая «макро-» и «микроструктуру» писателя, аргументируя выводы анализом языка и стиля. И эта особенность С. В. Никольского показывает, что умение проникнуть в словесную ткань произведений, в сплетение ее нитей, — не монополия какой-то области знаний (семиотики, структурализма), а проявление истинного профессионализма. Он убедителен и в анализе философии писателя, и в анализе структуры его прозы, отливающимся в четкие и нередко изящные формулировки. Вот, например, как пишет он о «Войне с саламандрами», произведении не только «жанрового синтеза», но и как бы скользящей жанровой шкалы», где переливаются, перетекают друг в друга философский роман, политический памфлет, приключенческий рассказ.

Много сделано С. В. Никольским для исследования творчества Я. Гашека. Ему удалось, в частности, обнаружить в пражских архивах материалы о существовании реального Йозефа Швейка (1892–1965), послужившего прототипом знаменитого героя, воссоздать его биографию, включая пребывание одновременно с Гашеком в России. Все это легло в основу книги «История образа Швейка» (М., 1997), в которой предложена также реконструкция замысла ненаписанных частей романа Гашека.

Другая сторона научной деятельности С. В. Никольского — осмысление процесса развития славянских литератур. Под его руководством в Институте впервые в нашей стране создан целый ряд историй национальных литератур зарубежных славянских народов, в том числе «Очерки истории чешской литературы», где он является и одним из основных авторов. На протяжении всего издания восьмитомной «Истории всемирной литературы», подготовленной Институтом мировой литературы в сотрудничестве с другими институтами, С. В. Никольский в качестве члена редколлегии курировал раздел литератур Центральной и Юго-Восточной Европы. Им внесен также немалый научно-организационный и исследовательский вклад в изучение русско-славянских литературных связей, истории духовного общения славянских народов.

Кажется, совсем недавно С. В. Никольский отмечал свое 70-летие, к которому его коллеги и ученики выпустили сборник «*Studia bohemica*» (М., 1992), открывающийся обширной библиографией трудов юбиляра. За пять последних лет, промелькнувших как один день, этот список пополнился новыми позициями (сейчас он насчитывает более 400 работ). В числе новых исследований — подготовленная монография об антиутопиях XX в. (на материале творчества братьев Чапек, М. Булгакова и других писателей), главы о чешской литературе XIX в. для завершающейся трехтомной «Истории литератур западных и южных славян». Он ведет научно-организационную работу как член Редакционного совета этого издания и ответственный редактор 2-го тома.

К сожалению, никакая библиография не в состоянии учесть плодотворной деятельности С. В. Никольского в российской Ассоциации друзей Чехии и Словакии,

где он является членом ее Президентского Совета и председателем созданного в 1990 г. Общества братьев Чапек.

За последние пять лет пополнился и список наград ученого. К давно полученным званиям Заслуженного деятеля науки, почетного доктора Оломоуцкого университета прибавилась медаль Ф. Кс. Шальды (1995), которой уже постсоциалистическая Чехия подтвердила высокую оценку вклада С. В. Никольского в изучение и популяризацию чешской литературы.

Творческий путь С. В. Никольского, разумеется, не был усыпан розами. И ему пришлось испытать много трудностей, столкнуться с несправедливостью, непониманием или с нежеланием понять. В этом нет ничего примечательного. Примечательно достоинство, с которым С. В. Никольский встречал неприятности и трудности, уходя от них не в интриги, а в науку, подавляя обиды погружением в работу.

Сергею Васильевичу, вступившему на славистическую стезю в середине 40-х годов, суждено было — волею судеб — стать одним из первых деятелей возрождавшейся послевоенной отечественной славистики. Но и сейчас, по прошествии полувека, на исходе годов 90-х, он остается одним из первых в российском славистическом литературоведении. Но уже — не волею судьбы, а волею высокого профессионализма, самозабвенного служения науке, и не по хронологии, а по качеству своих трудов.

Л. Н. Будагова

Владимир Анатольевич Дьяков (1919–1995)

Отечественная историческая наука понесла большую и невозполнимую утрату. 16 ноября 1995 г. скончался Владимир Анатольевич Дьяков, доктор исторических наук, профессор, почетный доктор Лодзинского университета, иностранный член Польской академии наук, автор свыше 300 печатных работ, в том числе более 20 книг.

В. А. Дьяков родился 14 июня 1919 г. в селе Бакалы Казанской губернии в семье служащих. С 1938 по 1941 годы обучался в Московском историко-архивном институте. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, где командовал взводом в артчастях, был дважды ранен, награжден за боевые заслуги орденами и медалями. Только в 1947 г. и уже заочно он смог окончить институт. После демобилизации из армии (1952) В. А. Дьяков обучался в аспирантуре Московского областного пединститута (1954–1957). Затем работал старшим научным сотрудником Военно-исторического архива (1957–1958), ученым археографом в Главном архивном управлении при СМ СССР (1958–1959). В 1959 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата, а в 1966 г. — доктора исторических наук. В 1960 г. был зачислен на работу в Институт славяноведения АН СССР. В Институте занимал должности ученого секретаря (1962–1966), заместителя директора (1970–1973), заведующего сектором (1975–1988), а затем, до конца жизни, ведущего научного сотрудника.

Круг научных интересов В. А. Дьякова очень разнообразен. Широко известны исследования В. А. Дьякова в области исторической полонистики, особенно в изучении освободительного движения в России и Польше. Из-под его пера вышли книги о З. Сераковском, Я. Домбровском, В. Врублевском, П. Сцегенном, биографический словарь «Деятели польского и русского освободительного движения в царской армии, 1856–1865», цикл работ о ссыльных поляках.

Велик вклад В. А. Дьякова в выявление и научную публикацию архивных материалов. Он один из активнейших участников и руководителей 25-томной серии документов и материалов о восстании 1863–1864 годов, осуществленной совместно с Польшей, возглавлял продолжающееся серийное издание «Польское освободительное движение и российско-польские общественно-культурные связи». В. А. Дьяков принимал самое деятельное участие в работе двусторонней Комиссии историков Польши и России. Для польских коллег В. А. Дьяков долгое время олицетворял то лучшее, что было в нашей исторической науке о Польше, о чем свидетельствуют те высокие ученые звания, которых он был удостоен в этой стране.

В. А. Дьяков не был ученым одной темы. Видное место в его научном наследии занимают проблемы методологии истории и сравнительно-исторические исследования переходного периода от феодализма к капитализму стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Под его руководством сложилось новое научное направление и был создан научный центр по изучению истории отечественной и зарубежной славистики, силами которого издана серия историографических сборников статей, два фундаментальных библиографических словаря: «Славяноведение в дореволюционной России» и «Славяноведение в СССР». В. А. Дьяков был инициатором и одним из авторов двух обобщающих коллективных трудов: «Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян» и «Марксизм и историческая наука в странах Центральной и Юго-Восточной Европы». Более двадцати лет В. А. Дьяков являлся членом Комиссии по истории мировой славистики при Международном комитете славистов, а в 1990–1992-х годах — ее президентом, долгие годы он фактически руководил отечественной частью Комиссии.

В последние годы В. А. Дьяков обратился к изучению различных политических интерпретаций славянской идеи. В 1993 г. вышла в свет его монография «Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России». Им подготовлен также к печати сборник статей «Русская идея и славянский вопрос в России и Польше».

Плодотворно сотрудничая в научной периодике, В. А. Дьяков принимал самое деятельное участие в работе редколлегии журналов «Вопросы истории» и особенно близкого ему «Славяноведения».

Владимир Анатольевич был неутомимым тружеником, большим эрудитом и добрым товарищем. Он занял достойное место в исторической науке и останется в памяти коллег.

И. И. Костюшко, М. А. Робинсон

Памяти А. В. Михайлова

18 сентября 1995 г. в 56 лет ушел из жизни Александр Викторович Михайлов, выдающийся российский германист, искусствовед, эстетик, философ культуры, переводчик и комментатор сложнейших философских и эстетических текстов: И. Г. Гердера («Идеи к философии истории человечества»), Ф. В. Шеллинга, Г. В. Ф. Гегеля, Ф. Шиллера, И. В. Гёте, Жан Поля («Приготовительная школа эстетики»), К. В. Ф. Зольгера, В. Г. Вакенродера, Шефтсбери, Л. Тика, Ф. Шлегеля, Новалиса, Й. Гёрреса, Г. фон Клейста, К. Брентано, А. фон Арнима, Ф. Баадера, Ф. Ницше, Т. Адорно, Й. Хёйзинги, М. Хайдеггера, Э. Ауэрбаха и многих других. Составитель целого ряда концептуальных изданий, в том числе и таких уникальных, как «Музыкальная эстетика Германии XIX века» (т. 1–2), «Поэзия немецких романтиков», «Эстетика немецких романтиков». Если бы А. В. Михайлов оставил только переводы вышеназванных авторов и свои комментарии к ним, то и этого уже было бы достаточно, чтобы его вклад в отечественную науку и культуру был признан бесспорным и значительным — прежде всего в силу качественного уровня и тщательности проделанной им работы, выведившей отечественную науку на мировой уровень в любой области, к которой он прикасался. Постоянное обращение к конкретным авторам и текстам в форме переводов, предисловий и комментариев было, по-видимому, необходимо А. В. Михайлову, рожденному мыслителю и теоретику искусства, в том числе и для того, чтобы мысль не утрачивала связей с конкретным многообразием философских, эстетических и художественных текстов, с богатством живых фактов истории и бесчисленных форм проявления реальной действительности, то есть не становилась абстрактной мыслью, что для творческой мысли в конечном счете губительно.

Я хочу обозначить всего лишь несколько направлений научного творчества А. В. Михайлова, которые постоянно удивляли и восхищали меня, позволяя увидеть масштабы, в которых разворачивалась деятельность этого мыслителя и ученого. В о - п е р в ы х, это рано обнаружившиеся универсальность и синтетизм его подхода к искусству: живопись, музыка, театр, философия, история, литература, риторика, историческая поэтика, теория литературы, история и теория перевода, история литературоведения, теория и история культуры — вот лишь некоторые составляющие этой уникальной для нашего времени универсальности. По каждому из названных предметов А. В. Михайловым написаны серьезнейшие и конкретные исследования, с вхождением в мельчайшие тонкости и детали, относящиеся именно к данной области науки. Поэтому он совершенно естественно чувствовал себя музыковедом среди музыковедов, философом среди философов, искусствоведом среди искусствоведов и т. д. Но в том числе и поэтому или именно поэтому он был в любой профессиональной аудитории выше, чем просто хороший философ или просто хороший литературовед. Прекрасно зная цену герменевтике и используя ее методы, он никогда не оставлял предмет своего исследования в профессиональной герметически закупоренной оболочке, но стремился увидеть его в истинном свете, то есть в многообразном и разностороннем, а следовательно, и диалектически противоречивом, освещении. В о - в т о р ы х, постоянно занимаясь историей немецкой, австрийской и швейцарской культуры (литературой, живописью, музыкой, философией и т. д.), А. В. Михайлов, по-видимому, как никто другой из специалистов сходного профиля, сумел приблизиться к пониманию национальной специфики искусства. Тщательно обосновав свое понимание национальной культуры в целом ряде фундаментальных статей, посвященных истори-

чески весьма близким культурам (австрийской, немецкой и швейцарской), пользующимся к тому же одним языком, А. В. Михайлов в последние годы все чаще стал обращаться к истории отечественной культуры. И в этой области он тоже успел сделать весьма много, хотя, может быть, именно здесь ему предстояло сказать нечто особо весомое. Но все же нам остались прекрасные статьи и удивительная по своей неисчерпаемой глубине книга «Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: Очерки из истории филологической науки» (1989), по сути своей построенная на постоянном сопоставлении специфики немецкого и русского научного (читай: национального) мышления. В-третьих, — огромная область исторической поэтики, которая уже с 1970-х гг. все больше приковывала к себе внимание А. В. Михайлова, как и целого ряда других наших крупнейших литературоведов. А. В. Михайлов — постоянный участник коллективных трудов ИМЛИ, посвященных разнообразным проблемам исторической поэтики, его вклад в эти труды всегда оригинален и по-своему уникален, потому что он работал с материалом, с которым из современных отечественных германистов, по существу, мог работать он один. К счастью, он довольно много успел написать по вопросам исторической поэтики, и будущие отечественные германисты смогут детально проанализировать его труды и многому научиться из них. В-четвертых, по мере овладения материалом истории мировой литературы, углубления своего теоретического и философского подхода к ней, А. В. Михайлов все чаще обращался к осмыслению целей и задач самого литературоведения. Это — тоже огромная тема, для достойного освещения которой понадобится время и многие страницы для размышлений¹. Помню, как потрясло меня совсем не академическое по стилю последнее примечание в книге А. В. Михайлова «Проблемы исторической поэтики», где он поясняет свое видение специфического положения современного литературоведа: «Вся эта ситуация падает на литературоведа тяжким бременем, так как постепенно яснее и яснее становится общая связь и взаимозависимость всего со всем в пределах нашего знания о литературе, и литературовед так или иначе вынужден держать в голове хотя бы идею системы целого со множеством сторон и факторов, понятных лишь в их взаимообусловленности» (с. 230). Именно поэтому, наверно, он в последние годы нередко делал часовые доклады, посвященные анализу одной фразы или одного абзаца, — через одну фразу он умел показать целые эпохи и бесконечные пересечения культур. Осмелюсь предположить, что свою работу заведующего отделом теории литературы ИМЛИ и свое особое отношение к редактируемому им «Контексту» А. В. Михайлов в душе рассматривал как некое дополнительное практическое пробное поле, позволяющее наяву увидеть и проверить, как в самом процессе жизни и в процессе коллективного творчества устанавливается эта «связь всего со всем».

И, наконец, последнее, что необходимо сказать даже в самом кратком обзоре. Гёте постепенно занял совершенно особое место в научном творчестве А. В. Михайлова. Здесь не место перечислять все, написанное им о Гёте или в связи с Гёте². Но именно универсализм А. В. Михайлова, его конечное стремление обнаружить и понять связи «всего со всем» позволили ему по-новому понять и раскрыть универсализм Гёте, его уникальное положение в истории человеческой культуры и даже в истории самой природы³. Я уже не говорю о том, как огромная эрудиция и философская культура А. В. Михайлова помогали ему глубоко интерпретировать и комментировать «Фауста», «Западно-восточный диван» и другие произведения Гёте.

Александр Викторович Михайлов ушел от нас в самом расцвете творческих сил. И все же он успел сделать очень многое. И долг наш состоит в том, чтобы беречь и издавать его наследие, учиться у него напряженному поиску истины, стремиться к такому же универсальному взгляду на задачи литературоведения. Во вся-

ком случае, никогда не забывать, что рядом с нами жил и трудился человек, сумевший задать своей науке такие масштабы, достижение которых равносильно овладению идеалом. Он и был, и остается для многих из нас живым идеалом современного ученого.

Примечания

- ¹ Сошлюсь лишь на две важные в этом плане статьи: *А. В. Михайлов. Литературоведение и проблемы истории науки. Статья первая* // Филологические науки. М., 1991, № 3, с. 3–12; *Он же. Статья вторая* // Там же, 1991, № 4, с. 3–13.
- ² И все же следует отметить великолепные издания, вышедшие массовыми тиражами: *И. В. Гёте. Фауст. Лирика* / Составление, предисловие, комментарии А. В. Михайлова; *И. В. Гёте. Западно-восточный диван*. М., 1988 («Литературные памятники»).
- ³ Эта мысль отчетливо и обоснованно звучит в статье: *А. В. Михайлов. Природа в творческой мысли Гёте* // Гётевские чтения. М., 1991, с. 51–58.

А. А. Гугнин

Космос смысла. **Александр Михайлов: жизнь в слове**

При жизни А. В. Михайлов был известен как блистательный, непревзойденный переводчик философско-эстетических и литературно-теоретических текстов XVIII–XX вв. — Гердера, Жан-Поля, Гегеля, Ницше, Хайдеггера, Ауэрбаха, Адорно, Вебера и других, как автор многочисленных статей и... только одной книги «Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры» (М., 1989). Две его монографии о музыке и книгу об исторической поэтике Дильтея постигла драматическая участь — они так и не увидели свет. Антология «Языки культуры», включающая работы А. В. Михайлова разных лет, как опубликованные в свое время, так и ранее неизвестные, со всей очевидностью обнаруживает характерное для его творческой манеры свойство: в жанр статьи вмещается содержание книги. По сути почти каждая статья А. В. Михайлова — свернутая до своего концептуального ядра книга. В целом же многообразие работ ученого образует реконструируемое по мере их чтения внутреннее единство — космос смысла, объемлющий всю историю европейской культуры на протяжении почти двух тысячелетий. Концепция А. В. Михайлова, столь масштабно выстроенная, основана на осмыслении места слова в культуре.

Слово — главный объект и герой его герменевтических работ.

Вся многовековая история европейской литературы предстает в фундаментальной концепции А. В. Михайлова как последовательная смена крупных историко-культурных эпох, различающихся своим отношением к слову. Переосмысленное вслед за Э. Р. Курциусом и освобожденное от специфически-школьного понимания понятие «риторика» открыло горизонт для описания разных типов слова со свойственными им функциями, членящих полнокровный литературный процесс на пласты дориторической, риторической и антириторической словесности. Гомеровский стилистический пласт целиком принадлежит к культуре дориторического слова, обладающего объективно-пластической красотой и несущего в себе образ жизненной полноты смысла.

В V в. до новой эры наметился грандиозный поворот культуры, порождением которого явилась аристотелевская рефлексия словесного искусства. У Аристотеля «слово, как понимает он его, еще не „уломано“ риторически, еще не сведено к единой, всеобъемлющей функции (и именно потому Аристотель в различении способов пользования словом ближе к XIX–XX вв., чем барокко!)», но именно в век Аристотеля и позже началась мифориторическая система, упрочившаяся в эллинизме и поддержанная христианской традицией, что оказало определяющее влияние на судьбу и облик европейской культуры. «Аристотель — на склоне, ведущем к становлению риторики». Барочные же теоретики «помещаются на нисходящем склоне риторической истории, у них риторическое слово внешне систематизируется, а внутренне разрушается».

Между этими крайними точками историко-культурного развития располагается эпоха господства риторической словесности, для которой характерно универалистское понимание слова как способа постижения, осмысления действительности и как способа закрепления любого смысла. Влияние риторики распространяется на все жанры словесности. Риторическое предполагает несколько взаимосвязанных уровней, на которых риторика как прием обобщается до способа мышления и принципа творчества. Риторическое слово — это готовое слово (термин А. Н. Веселовского), традиционно заданное, оно в огромной степени искусно обработано и освящено традицией и выступает всегда как моральное знание. Неразрывно соединяя в себе значение, мораль, творчество, это слово предполагает непререкаемое требование истины. В XVII–

XVIII вв. система, сложившаяся в эпоху Аристотеля, начинает распадаться, наступает кризис эпохи готового слова, но риторическая литература доживает до рубежа XVIII–XIX вв., когда романтизмом был положен конец господству риторики. Проблемам риторической культуры посвящена отдельная и до сих пор не опубликованная работа А.В.Михайлова «Методы и стили», однако читатель может получить представление о его концепции на основании статьи «Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX вв.», помещенной в «Языках культуры».

Если риторическую культуру определяет слово, выступающее как функция, как отражение риторической формы и жанра, и писатель приходит к реальности через слово, только варьируя его, то в Новое время, в реалистическую антириторическую эпоху слово — средство, но не цель искусства, писатель идет от глубины пережитой реальности, а не от слова, он обращается к слову непосредственно через реальность и ее правду: «Правда выше слова и выше стиля», и «писатель распоряжается словом от имени жизни». Опускаясь в жизнь, слово утрачивает свою прежнюю универсальную функцию оставаться ученым, поэтическим, моралистическим одновременно, и начинает вести себя как слово антириторическое, дифференцированное по своим функциям. Именно такой тип слова, прилегающего к самой действительности, выпестовал XIX век с его естественностью и непосредственностью. Переход от романтизма к реализму — предмет пристального анализа в докторской диссертации А.В.Михайлова со знаменательным для его исследовательского метода заглавием «Диалектика литературной эпохи», подготовленной предварительными статьями, включенными в состав книги «Языки культуры».

Будучи предметом исследования, слово описывается как субъект творческого процесса: к примеру, слово у Гёте «творит» личный мир поэта, оно «открывает перспективу на всю противоречивую полноту жизненного, но не увлекается такой перспективой, а, отбирая из жизненного материала нужное и близкое себе, возвращается с «добычей» в сферу интенсивнейшей мысли, рефлексии, в свой мир». Слово реалиста, непредвзятое, антириторическое, «погружается в реальность», «проливается в действительность», «выговаривает реальное бытие» и «выносит» оттуда голоса самой жизни. Но в итоге этого самого реалистического анализа жизненной реальности человеческая личность открылась во всем богатстве как незамкнутая и несводимая к набору определенных черт, что поставило под сомнение могущественность инструмента реалистического слова. Принцип известного соответствия между словом и жизненным материалом сделался проблематичным, и «с концом XIX в. наступила новая пора перестройки слова и стиля, которая привела уже к существенно иным отношениям, сложившимся в литературах XX в.».

Метаморфозы и трансформации слова на протяжении долгих веков, иногда трудно уловимые и ускользающие если не от наблюдения, то от формального описания, А.В.Михайлов виртуозно переводит на язык герменевтики. Особенно трудные для изучения переходные, промежуточные состояния литературы, постоянно совершающиеся в культурном развитии переломы и превращения А.В.Михайлов анализирует в полноте их историко-культурного бытия и динамического развития, ни на миг не ограничиваясь статической замкнутостью фрагментарного рассмотрения. Европейская культура открывается ему в панорамном, всеохватывающем и философском видении:

«...Складывается впечатление, что культура — европейская и, как оказывалась, внеевропейская — примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры осуществляла некоторый решительный поворот — и почти его осуществила. То немалое, что оставалось доделать до полного осуществления этого поворота, доделано тогда не было и как бы в законсервированном виде осталось до нового времени. И тогда только все было доведено до конца. Чем и объясняется огромное количество соответ-

ствий, параллелей между античным пятым веком до нашей эры и, скажем, XVII, XVIII и началом XIX века в европейской культуре, для которой греческая классическая культура была очень близка по своему внутреннему содержанию...».

Отсюда вытекает обобщение почти в чеканной форме афоризма: «В истории культуры линейной хронологии нет, а есть ощущение единства крайних исторических моментов вот этого огромного периода». Фундаментально разработанная концепция А. В. Михайлова не отменяет традиционных понятий — античность, средневековье, Возрождение, барокко, классицизм, романтизм, реализм, но помещает их в более масштабную систему координат, где кроме разделяющих эти эпохи границ прочерчены линии связующей их общности.

Кардинальное переосмысление в XX в. риторики, связанное с отношением к ней как стилю мышления и принципу творчества, имеет множество следствий. Одно из них — новый взгляд на проблему оригинального в творчестве. Оригинальное выглядит в новом свете вопреки традиционно сложившейся оценке отнюдь не как абсолютный критерий искусства. Монтирование из материалов, на изобретение которых автор сам не претендует, совершенно не исключает появления подлинного творения. Оказывается, это не страшно, если элементы, составляющие произведение, являются цитатой. На примере Пушкина и Гёте, музыки Танеева А. В. Михайлов показывает, что индивидуальный стиль складывается из неиндивидуальных элементов, в усвоении и переработке немислимого до Нового времени разнообразия стилей. «Гениальное творчество таково, что в нем грани, стыки разнородного уничтожаются и утрачивают свое значение». И Пушкин, и Гёте, чье творчество соответствует понятию «классика»/«классический стиль» (а это, в определении А. В. Михайлова, «стиль гармонии как идеала»), избегали «той односторонней оригинальности, которая в погоне за своим особенным упускает из виду богатство жизненных смыслов».

Через изучение судьбы отдельных слов А. В. Михайлов раскрывает внутреннее многослойное содержание существенных историко-культурных понятий, как, например, «характер»: это понятие складывалось на протяжении длительного времени и в своем современном виде является итогом процесса интериоризации, связанного со значительными переменами в восприятии мира человеком. Захватывающе интересно А. В. Михайлов пишет о характере греческом и новоевропейском, о проблеме характера в искусстве — живописи, скульптуре, музыке. Вообще Михайлову свойствен целостный взгляд на культуру, и процессы, происходящие в словесности, он всегда анализирует в неразрывном единстве или параллелизме с другими видами искусства. Особенно проникновенные суждения ученого относятся к музыке, которая, как он писал, «позволяет делать обобщения весьма наглядно, потому что выявляет некоторую общую логику развития». Так, описывая варианты эпического стиля в немецкой литературе XIX в., в параллель к вызревающей тогда новой форме романа, А. В. Михайлов приводит мощный музыкально-драматический эпос Вагнера «Кольцо Нибелунга», полагая, что язык вагнеровской музыки говорит слушателю о проблемах середины XIX в.: «музыка — сейсмомер времени», и Вагнер о духовной ситуации эпохи не мог говорить, оставаясь в границах лишь одного искусства.

А. В. Михайлов-германист предстает в своих работах, содержащих виртуозный анализ стилистических систем немецкой и австрийской литературы: барокко (Гриммельсгаузен, А. Грифиус, Гофман фон Гофмансвальдау, Лозницгейн, Жан Поль) классический стиль (Гёте, Франц Грильпарцер), романтизм (Йозеф фон Эйхендорф), варианты эпического стиля XIX–XX вв. (Карл Гукков, Теодор Фонтане, Адальберт Штифтер, Роберт Музиль, Хаймито фон Додерер). А. В. Михайлову принадлежит характеристика искусства бидермейера. Но центром притяжения его научных интересов всегда оставался Гёте, которому посвящено в «Языках культуры» несколько

ко статей: «Гёте и отражения античности...», «Гёте и поэзия Востока», «Глаз художника (художественное видение Гёте)».

А. В. Михайлова как искусствоведа характеризуют представленные в антологии статьи о пейзажах и миропонимании Каспара Давида Фридриха, немецкого художника XIX в., об эстетике Моцарта и его современника и теоретика искусства Карла Филиппа Морица, об эстетических идеях Лессинга и художественных метаморфозах в немецкой культуре XIX в. под влиянием романтической эстетики, о немецком скульпторе нашего столетия Эрнсте Барлахе, притягательном для А. В. Михайлова своей способностью создавать не столько портреты людей, сколько портреты современного ему человечества и показывать историю в моменты ее наивысшего напряжения, а человека в его порыве к духовной свободе. Как откровение воспринимается текст лекции А. В. Михайлова «Поворачивая взгляд нашего слуха» о природе музыкального творчества, мире музыки Сен-Санса и композиторов второй венской школы (Шёнберга и Веберна). Говоря о направленности слуха на музыку, А. В. Михайлов проронил поразительное в своей пронизательности наблюдение: «наш слух видит, постигая смысл», а музыкальное произведение — это глубина, выведенная наружу и явленная зрячему слуху.

Антологию завершает запись лекции с изысканным названием «Ангел Истории изумлен...», навеянным А. В. Михайлову размышлениями немецкого философа XX в. Вальтера Беньямина, относящимися к философии истории. История идет в будущее, а Ангел Истории смотрит в прошлое, стоя перед этим будущим спиной. Он замер в изумленном созерцании открывшейся ему Истории мира: «Он видит прошлое, он видит Рай, который мы уже не видим теперь, потому что за минувшие две тысячи лет повернулись глазами в другую сторону... он видит все, что пошло от этого начала...». Образ Ангела Истории в интерпретации А. В. Михайлова несет в своем художественном обобщении несколько научных идей — о релятивизме идеи исторического прогресса, о том, что наш язык культуры «достаточно широк для того, чтобы вместить в себя — в некотором отраженном виде — и другие языки культур». Книга А. В. Михайлова — прямое доказательство этой возможности, и перед изумленным взором Ангела Истории развернулся теперь еще и свиток историко-культурного времени, погруженный в космос смысла.

О широте и разнообразии историко-культурных интересов ученого дает представление «Библиографический указатель трудов», помещенный в конце книги. Но далеко не все из его научного наследия опубликовано, и открытие Михайлова как незаурядного мыслителя еще впереди, когда в ближайшем будущем нашим достоянием станет все им написанное. В том же московском издательстве готовится продолжающая «Языки культуры» вторая книга под названием «Обратный перевод», целиком составленная из неопубликованных работ. В Санкт-Петербурге ожидается выход в свет труда «Историческая поэтика и герменевтика», включающего в себя переиздание книги «Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры», а также ранее не публиковавшиеся герменевтические размышления об исторической поэтике Дильтея. В работе — том «Феноменология австрийской культуры». В числе будущих публикаций также очерки о швейцарской литературе и полностью книга А. В. Михайлова о барокко, часть которой опубликована впервые в «Исторической поэтике» (М., 1994), а также другие работы разных лет.

Л. И. Сазонова

Памяти Саши Михайлова

«Саша» Михайлов — как и «Серёжа» Аверинцев — это не фамильярность. Это привычка среды; так мы с университетских времён их всегда называли. Это и знак того, что я не собираюсь писать очередной некролог с перечислением заслуг. Сейчас важнее запечатлеть в меру сил его живой облик — для тех, для кого его имя всё равно станет легендой.

Что же до значения его труда, то оно и при жизни его было проблемой и, по правде сказать, его болью. Казалось бы, таких людей в нашей культуре наперечёт: крупнейший за всю историю отечества германист, выдающийся теоретик литературы, философ, музыковед, искусствовед, публицист. Авторитет во всём зарубежном гуманитарном мире; лауреат многочисленных премий и стипендий, сам Аверинцев в интервью охотно признаёт себя его учеником (хотя по возрасту на год старше). Но у того же Аверинцева — почти эстрадный успех, Вознесенский и тот слагал о нём вирши, то есть его имя стало разменной монетой околкультурного пижонства. А Саша Михайлов... Сколько раз и со мной случалось: говоришь где-нибудь в почтенной редакции: «Да вы закажите это Александру Викторовичу Михайлову, лучше ведь никто не сделает», а в ответ: «А кто это?». Иной раз поделишься с ним недоумением по этому поводу, а он только горестно разведёт руками. Да, он по этому поводу горевал, от недооценённости, малоизвестности своей страдал, это важно отметить. И монументы бывают хрупки внутри.

Была в нём какая-то тяжесть, которая мешала успеху. Не просто сложность — кто ж из великих прост — а именно тяжесть. И он отчаянно пытался её преодолеть — особенно в эссеистике для журналов, где известная танцевальность пера всегда кстати. Доходил иной раз и до игривости — причём в статьях не только для «Литературной учёбы» или «Нашего современника» (где был членом редколлегии), но и для «Вопросов философии». Не всегда, на мой взгляд, это было уместно. Пустился в пляс, например, в предисловии к солидному сборнику Гёте. Я ему при случае заметил: «Ну, ты прямо как Андрей Белый, пляшущий фокстрот в Берлинском локале». Обиделся.

Обижался вообще легко и как-то уже чересчур, не по делу страстно. Всегда — на того, кто приносил дурные вести: это уже монархическая привычка. Хотя мечты о водительстве прятались глубоко и прорывались редко — но тогда уже предельно бурно. «Перестрелял бы всех на месте», — глядя, как он это произносил, не оставалось сомнений, что не шутит. Вообще же свою жизнь он старался строить, как немецкий профессор — отрываясь от реальности, но и не забывая устраиваться так, чтобы ничто не мешало от неё отрываться. Старался ни в коем случае не портить отношения с властью имущими. В этом смысле не следует переоценивать (или однозначно оценивать) его пребывание в редколлегии «Нашего современника». Да, он безусловно был русским патриотом, но — и тут мы полностью с ним сходились — не в современном, узколобом смысле слова, а в классическом, то есть полнокровном, широком. Настолько широком, что мог бы оказаться, как его друг Аверинцев, и в «Знамени». Но начальство института ИМЛИ симпатизировало «Нашему современнику» — и он был там.

Однажды «забодал» своей внутренней издательской рецензией мою заявку на книгу о Тютчеве и Германии (и это несмотря на многолетнюю дружбу!) и тоже сослался на начальство. Сам позвонил мне, известил о происшествии и не то чтобы извинился, а просто объяснил, как ребёнку: ведь начальство же, что тут можно поделать? Какой-то олимпийственно-гегелевский взгляд на действительность, которая — в каком-то смысле — всегда разумна.

Впрочем, может быть, это он лишь с виду был такой Гегель, а внутри в нём сидел, скорее уж, Ницше. И его отношения с властью диктовались особым страхом, особой страстностью заведомого, обречённого противостояния. Мы к власти были вполне равнодушны, лишь слегка её презирали, стараясь нигде и ни в чём с нею не пересекаться, не совпадать в пространстве (ниш после XX съезда было сколько угодно). Он по бурному, вулканическому складу своей натуры воспринимал её острее, ближе ощущал её томительное дыхание, её нависшее горгонье рыло. И — дружил на всякий случай с начальниками.

Впрочем, слово «дружба», «дружил» я вставляю лишь машинально. Дружил ли он вообще с кем-нибудь, мог ли дружить? Разве что с Аверинцевым, но дружба ли это, когда, живя в одном городе, не видятся годами? Так, почтительный полупоклон двух вершин, увенчанных вечными снегами.

Да и наши с ним отношения так просто не обозначишь. Вроде — временами особенно — друзья, но мало от кого и из врагов пришлось принять столько страдания.

Так что был он, что называется, человеком барокко — любимейшей им, кстати, эпохи в искусстве. Предельное напряжение сопряжённых далековатостей — от самого верха до самого низа, клокочущие бездны противоречий, могучие гармонизирующие усилия, а под ними тайный разлом или надлом. Мог быть — и бывал — неотразимо обаятельным, и это было обаяние не только всепроникающего ума, но и какого-то внезапно прорвавшегося сердечного половодья. А мог и походя жалить, как какой-нибудь убогий, обделённый природой старикашка.

Какая-то, повторяю, тяжесть, с которой он постоянно, с переменным успехом боролся. Видимо, корень её был глубок — вплоть до глубин метафизики. Когда родилась моя дочь, мы с ним были в хорошей фазе — перекидывались даже письмами, если не виделись больше недели (телефоны появились в наших «хрущёбах» значительно позже). Естественно было именно его первым позвать в крёстные отцы. Он отказался — но как! Это была сцена из античной, нет, вот именно шекспировской трагедии: «Во-первых, я не крещён, а во-вторых...».

Навсегда впечатлённый, я избегал подступать к нему с этой темой, которая, к счастью, после долгого перерыва стала всё более властно возвращаться в мою жизнь. Но вот мы встретились с ним на конференции в Киеве — дней за сто до его кончины. Печать смерти на всём его облике уже всем бросалась в глаза. Обнявшись, чтобы погасить, пригладить сразу же, по привычке последних лет, оттопырившиеся иголки, пошли с ним по Крещатику. «Что нового?» — спросил он своим излюбленным насмешливо-светским тоном. «Саш, я еду со Святой земли, неделю назад причащался у гроба Господня». «Да, по сравнению с этим, какие уж новости...». Это произнёс как будто другой человек — переменившимся, чистым голосом, полным невыразимой тоски. Я даже вздрогнул. И потом, под этим длящимся впечатлением, недели за три до конца, когда он уже едва поднимался с постели, при случае прямо сказал, что хорошо бы ему креститься. Он согласился с такой лёгкостью и готовностью, что стало ясно, что для себя он это уже решил. Блаженны успевшие! К тому же, как он мне признался, у него всегда сохранялось не то подозрение, не то надежда, что бабушка всё же тайком от всех в раннем детстве его крестила. Что ж, если это так, то его жизнь прошла по кругу, который сомкнулся.

Мне вообще-то казалось под конец, когда он несколько обмяк от признания, что в чём-то он словно возвращается на круги своя. Ведь он совсем другим, без всяких трещин, предстал перед нами на заре своей молодости. Ему не было ещё двадцати двух лет, когда его, отличника-пятикурсника, привели к

нам, первокурсникам, чтобы он поделился опытом постижения наук. Сделал он это так, что насмерть перепугал тех, кто его привёл. «На всякие глупости вроде марксизма время не тратить, два дня в сессию, перед экзаменом — сlixвой достаточно для такой белиберды!». Конечно, была самая оттепель, шестидесятый год, но ведь каждый сам, на свой страх и риск, устанавливал её предельную температуру. И боявшиеся новых заморозков не ошиблись! Да и самому Саше его юношеская бравада не вовсе сходила с рук.

Но поразило нас, помню, не это или не столько это. В конце концов мы и сами с первых дней сентября перемигивались на лекциях, потешаясь над официозом. Но ни в ком из нас не было такой оформленности проявления. Такой стильности. Тогда никто ещё не читал, конечно, ни английских, ни американских кампус-романов, но классичность персонажа — выдающегося филолога — мы интуитивно, со всей догадливостью юного восприятия, конечно же, ощущали. Саше Михайлову хотелось во всём подражать. Именно так должен был выглядеть человек, в кармане у которого ключи от мировой литературы. Так одеваться — с чуть небрежной русификацией английской манеры. Так держаться — непринуждённо, но обособленно, точно дозируя вежливость и иронию — и самоиронию тоже. Так говорить — не копируя, но лишь слегка обозначая старомосковский, интеллигентский выговор, сыпля афоризмами и каламбурами. Я потом часто, в течение года, встречал Сашу на факультете — и ни разу он ни своим обликом, ни своим поведением не разочаровал. Он, да ещё промелькнувший на факультете Веничка Ерофеев, были из тех, кто аполлонически выделялся (да ещё, пожалуй, Турбин), были теми образующими среду фигурами на факультете, которые как бы вытеснили из нашего сознания литературных героев. Не Печорину или Версикову хотелось теперь подражать — а Саше Михайлову.

Потом всё это куда-то ушло, жизнь его как-то придавила, да и свела нас достаточно близко, лицом к лицу — ведь он годами держал для меня, бездомного, раскладушку у себя в кабинете.

Но тогда-то и приоткрылся мне механизм работы выдающегося ума. Его тайна, как у современных компьютеров, — в скорости! Собственно, это как в шахматах: ни один гроссмейстер не придумает ничего такого, чего не понял бы перворазрядник, но гроссмейстер, во-первых, чувствует, что решение есть, и, во-вторых, находит его во много крат быстрее. Так и Саша. Полдня, казалось бы, проводит впустую — между мытьём посуды на кухне и институтскими заседаниями — а успевает сделать куда больше, чем мы, просиживающие за работой весь день. Помню, получили мы с ним договор на перевод «Мимесиса» Ауэрбаха и, засучив рукава, уеслися за работу. Через две недели подводим предварительные итоги — я успел сделать две главы, а он десять! Да ещё прочёл между делом вёрстку толстого Гердера. Читал на лету, словно одним взором схватывая сразу всю страницу. И всё прочитанное так или иначе шло в дело — всё годилось для ариадниной нити.

Очень любил смотреть футбол, хотя в последние годы запрещал себе тратить на него время. Ладно, любил — кто же не любит — но понимал так, как мало кто из специалистов. Читал любую ситуацию, как заправский мастер («Да не забьёт он — слишком вяло стартовал!»). Из людей, встреченных мною в жизни, на таком доскональном уровне могли судить о популярной игре только двое: знаменитый «Чепчик» — великий игрок и тренер из московского «Динамо», и Франц Беккенбауэр.

Так же — уверяли выдающиеся музыканты — понимал он музыку: как заправский профессионал.

А в основе всего, вероятно, — особая энергия, огненность, солнечность па-
туры. Помню, и моя жена, когда он впервые пришёл к нам, а меня не застал,
описывала, изумлённая, незнакомца так, будто на нём было не пальто вполне
москвошвеевское, а огненные латы. Только такая покоряющая энергия и могла
оставить после себя — в подарок нашей культуре — целые горы книг, ставших
памятниками выдающегося филологического творчества.

Так дай же Бог, чтобы этот огонь с огнём, то есть со светом, и соединился.

Ю. И. Архипов

Об универсализме в русской и немецкой культурах

Все сказанное ниже — предварительно и рассчитано на проверку и дальнейшую разработку. Речь пойдёт о самопонимании народа, о понимании им своей культуры; речь пойдёт по преимуществу о русском народе и о его культуре. Некоторый доступный мне немецкий материал я привлекаю для того, чтобы установить меру своеобразия, присущего русскому самопониманию; тут встретится нам родственное, различное, наконец, мнимо сходное. Читатель не должен принимать текст за нечто большее, нежели просто заметки и наблюдения при чтении; если же читателю представится, что за разными, нередко весьма субъективными мнениями старинных авторов, за разными взглядами — притом что одни резко противоречат другим — начинает выступать, на скрещении разнородного, остов твёрдого знания о русском народе, то, как мне кажется, читатель не обманется.

I

Все хорошо знают, что Ф. М. Достоевский в 1890 году говорил в своей «Речи о Пушкине» о присущей Пушкину «способности всемирной отзывчивости» — «эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим...»¹. «Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит её со всем народом нашим, и как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности...»².

Очень часто, вспоминая знаменитую речь Достоевского, довольствуются тем, что с нею соглашаются. Тогда говорят об универсалистской черте русской культуры или, шире, о её универсализме — в этом и состоит ведь способность отзывчивости или всепонимания. В подготовительных текстах к речи Достоевский сказал о русском народе так: «Дух народа — усвоение всего общечеловеческого»³.

Соглашаясь с Достоевским, мы можем вложить в своё согласие всю убеждённость нашей души, однако, не обоснованное более тщательно, это наше согласие — пока лишь мнение, кажимость.

Оно остаётся мнением, пока ему можно противопоставлять иные мнения, точки зрения, взгляды. Вот одно из таких мнений: то, что утверждал Достоевский о русском народе и о Пушкине как его выразителе, не заключает в себе ничего специфического ни для русского народа с его культурой, ни для Пушкина; Достоевский только обманулся, посчитав универсалистскую черту русского народа чем-то присущим ему в особенности. На самом же деле и эта специфичность, и сам универсализм лишь иллюзорны, не иллюзорны они лишь в том отношении, что всякий народ, достигнув известной, притом весьма высокой степени своего развития, чувствует, что способен понимать язык других культур; тут он и впадает в своё заблуждение, предполагая, во-первых, что способен понимать решительно всё, всякую культуру, во-вторых, что способен понимать всё лишь он один. Обострение национального начала в известную пору истории способствует всему такому. «Известно также, — пишет наш исследователь, — что подобные идеи («всечеловечности» своего народа и его всемирной миссии) развивали и мыслители других стран, например, Ж. Мишле во Франции, Дж. Мадзини в Италии, А. Мицкевич в Польше и так далее.

Поэтому «идеологемы» данного типа следовало бы изучать в более широком сравнительно-историческом плане»⁴. Последнее безусловно верно.

Итак, универсализм и всечеловечность национальной культуры — это иллюзия, причём двойная. Так и выходит. Вот, например, что говорил Рихард Вагнер в своих воспоминаниях о 1840-х годах: «Уже тогда меня радовало то, что в немецком духе я видел задатки, ведущие через тесные границы национальности к постижению чисто человеческого в любых чужих одеяниях и определяющие родственность немецкого духа духу греческому»⁵. А известный критик Вольфганг Менцель ещё в 1828 году писал о немецком универсализме, причём создаётся впечатление, что ему, за полвека до речи Достоевского, говорить в теоретической форме об универсализме своей немецкой культуры было даже легче, чем русскому писателю; по крайней мере, он формулирует свой взгляд с предельной, несомненной точностью: «Универсальность — вот характер нашей эпохи. Каждый — всё во всём. Переносятся во все времена и страны, всему подражают. Образы отдаленнейшей предыстории, отдаленнейшей природы каждодневно примешиваются к образам современности»⁶.

«Нет народа, который так умел бы переноситься мыслью в другой народ, как немцы. Смена ролей — это для наших поэтов предмет веры»⁷. «Нет нации, которая отличалась бы столь универсальным духом, как немецкая — всё это, что не удаётся нам как индивидам, достигается многообразием таковых»⁸. А Гердер, по словам Менцеля, отнюдь не заботясь о «тщеславии» нации, «доставил ей честь величайшую», а именно — «дух её стал способен к непредвзятой человечности»⁹.

Безусловно, можно было бы приводить и другие высказывания немецких мыслителей прошлого века, но ведь уже и этого достаточно. Достаточно, чтобы опровергнуть какую-либо исключительность — уникальность и неповторимость — русского культурного универсализма, когда об этом заявит Ф.М. Достоевский. А если князь В.Ф. Одоевский в своих «Русских ночах» (1844) говорит, что русской культуре присуща «стихия всеобщности или, лучше сказать, всеобнимаемости»¹⁰, то не без оснований можно предположить, что увлечённо вчитывавшийся в создания немецкой словесности русский литератор именно в ней и позаимствовал свою идею русского универсализма.

II

В своей речи Достоевский вдохновенно прославлял способность Пушкина воспроизводить дух иных народов: «Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ним народа, дух его, всю затаённую глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность [...] Перечтите «Дона-Хуана», и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не увидели, что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в его поэме «Пир во время чумы!» Но в этих фантастических образах слышен гений Англии [...] религиозные же строфы из Корана или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана [...]? А вот и древний мир, вот «Египетские ночи» [...]»¹¹.

Я сильно сократил перечень того, во что ещё мог перевоплощаться Пушкин. У Достоевского были замечательные предшественники, которые уже продумали эту материю, — это Гоголь с его напечатанной ещё при жизни поэта статей в «Арабесках» и Белинский: «Подражание Данту» можно считать за отрывочные

переводы из «Божественной комедии», — писал В. Г. Белинский, — [...] «Начало поэмы» («Стамбул гяуры ныне славят») как будто написано турком нашего времени... Какое разнообразие! Какое богатство»¹².

Сокращаю и Белинского, поскольку суть одна, — укажу только на различие в суждении о Шекспире. Белинский говорил об «удивительной способности Пушкина легко и свободно переноситься в самые противоположные сферы жизни»¹³, и это напомнило ему Шекспира, между тем как Достоевский находил, что «у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане». В. Менцель был бы, скорее, на стороне Достоевского, потому что полагал, что в отличие от Шекспира немецкие «поэты вместе с чужим предметом заимствуют и чужой взгляд на него»¹⁴.

Вновь я против Достоевского выставил Менцеля, у которого то преимущество, что он всё сказал на полвека раньше. Есть у него и ещё одно преимущество — он говорил меньше недоказуемых вещей. Достоевскому же нетрудно возражать: ну, например, как доказать, что Пушкин вполне перевоплощается в чужую национальность, что европейские поэты «чаще всего», напротив, перевоплощают чужую национальность в свою, что Пушкину одному из всех мировых поэтов (то есть поэтов всемирного значения) присуща способность перевоплощаться... Я бы не стал доказывать это. Вместо этого попробую показать иное.

III

Вот, к примеру, Вагнер пишет о «чисто человеческом», к чему стремится немецкий дух, благодаря этому напоминая о своём родстве духу греческому. Это универсализм, или всечеловеческое в немецкой культуре. Но ведь Достоевский совсем не мог бы сказать этого о русском духе, потому что он явно стремится, по Достоевскому, к всечеловеческому, но не в отрыве от конкретно-национального облика и не в противопоставлении «чисто человеческого» народному. Это бесспорно. Далее: у Менцеля получается так, что немецкие поэты, переодеваясь в чужие одеяния, во-первых, отказываются от своего, а во-вторых, играют чужие роли: «Смена ролей — это для наших поэтов предмет веры»¹⁵, — так выражается он по этому поводу. Но ведь и это совсем иное, нежели то, что утверждал Достоевский. Во-первых, Пушкин, перевоплощаясь, отнюдь не отказывается от своего, народного, национального, русского; напротив, чем лучше, чем полнее он перевоплощается, тем больше доказывает своё русское начало. А во-вторых, никак нельзя сказать, что он играет чужие роли, — нет, это для него свои роли, да и не роли даже, а как бы формы весьма существенного инобытия. Такое инобытие не мешает ему, как сказано, быть самим собою, но одновременно тут и нет ничего внешнего — это превращение плоти (перевоплощение), чужой ли в свою, своей ли в чужую, а не просто чужие облачения. Вот как много различий! Для наглядности их удобно расположить парами:

чисто человеческое — конкретно-национальное, народное
 переодевание — перевоплощение
 роль — бытие (через инобытие)

Но не будем стараться исчерпать все заложенные здесь различия и противопоставления. А задумаемся над следующим. **Переодевание** — это нечто более внешнее (чем перевоплощение), и умение играть чужую роль прежде всего несомненно предполагает самое отчётливое знание роли своей, знание себя. Но тогда весь мир до крайности разъединён. В нём только и есть, что люди или, скажем, нации, народности, которые играют каждая свою роль, и есть люди (нации, народности), которые умеют и любят играть чужие роли. Мир настолько разъединён, что можно

пробовать даже извлечь из всего множества разнообразных национальных обликов некоторую общую квинтэссенцию, которая будет уже «человеческим вообще», или «чисто человеческим». Однако ведь совсем не то, что имел в виду Достоевский, когда размышлял о русской всечеловечности, и не то, что имел в виду Одоевский, когда столь выразительно говорил о «всеобнимаемости». Последнее слово означает лишь то, что некое начало охватывает собою всё; оно ничего не абстрагирует, а просто всё содержит в своём единстве. И всечеловеческое по Достоевскому также есть такое единение, когда всё пребывает во «всепримирении»¹⁶. Это не просто всеобщий мир, а духовное и душевное единение.

Не следует думать, что я по странному капризу решил непременно сопоставлять великого писателя и известного, но не великого критика, причём отстоящих в своих высказываниях на полстолетия друг от друга: что бы могло выйти из случайности такого сопоставления?! Нет, я делаю такое сопоставление в надежде, что коль скоро каждый говорит об общем и существенном для культурной мысли своего времени, то они невольно дадут нам нечто типическое для каждой из культур, русской и немецкой. Кажется, именно так и получается: за общими и похожими словами выступает нечто сугубо различное и всякий раз в высшей степени своеобразное! И даже, кажется, понятным становится, отчего Менцелю было легче и проще говорить на эту тему; его мысль остаётся во внешнем, в пределах относительно поверхностных представлений, и она движется логически-элементарным путём: поэты переодеваются, играют чужие роли, но, переходя в сферу иных народных культур, они поступают так с намерением почерпнуть в них общее для любой культуры, общечеловеческое, или «чисто» человеческое, а это «чисто» человеческое тогда — абстракция из многообразия, нечто наднациональное. В то же время то, на что претендуют Одоевский и Достоевский, разъяняя суть русской культуры, — это велико, колоссально и труднопостижимо: «всеобнимаемость» означает, что некое начало охватывает собою всё, она не абстрагирует, а всё содержит в себе, всё в его конкретности, всё в своей конкретности.

Какое же это начало, обнимающее собою всё, и каковы же отношения между таким началом и тем, что оно охватывает? Что это за начало, если оно, не переставая быть самим собою, может быть ещё и иным, может быть, ещё и всем иным? Что это за начало, которое может заключить в себя всё иное? Вот какую задачу тут необходимо решать, чтобы понять — чтобы понять русскую культуру в этой её самоинтерпретации, данной ею в XIX столетии... И я не без умысла сказал выше: всеобнимаемость означает «лишь то», что некое начало охватывает собою всё, — это «лишь» подразумевает конкретность осуществления («объятия» всего), но тем загадочнее суть происходящего, совершающегося (и в самой культуре, и в её отношениях с иными культурами). Вот настоящая мера различий: в одном случае универсализм предполагает культурное общение между нациями, весьма интенсивное, но без заглядывания в суть каждой, в суть её «духа», а с намерением схватить общую сторону национально-конкретного; в другом случае универсализм предполагает очень глубокие отношения культур, выходящие за рамки произведений искусства, но смысл отношений пока для нас загадочен, с логической стороны.

Заметим ещё одно: та «всечеловечность», на которую Менцель обратил внимание в немецкой словесности, тот космополитизм, как именует он это, отнюдь его не радует. Эта черта родной культуры, быть может, сильно поражает его, но она его в конечном счёте не устраивает: «Наше национальное заключается в том, чтобы не желать быть национальным и против национально-особенного заявлять нечто общезначимо человеческое»¹⁷.

Теперь мы уже никак не попадёмся на простое сходство слов, зная, что за «общеэтнонационально-человеческим» скрываются разнородность наций и абстрактно-человеческое начало, а также и некоторый смысловой знаменатель всего того отдельного, что только есть на свете. Но у Достоевского всё не так: у него целое — не сумма отдельного, а единство, единение, и не абстракция из отдельного, а полная конкретность выражения национального начала.

Однако при этом самым труднодоступным для разума, конечно, остаётся отношение национальных начал: русский поэт Пушкин, перевоплощаясь в иное, в иной национальный облик, не перестаёт быть самим собою. Но как это так? Ведь чтобы это происходило, очевидно необходимо, чтобы оба начала — то, что перевоплощается, и то, во что оно перевоплощается, — находились не в равных отношениях. Иначе Пушкин распался бы, по Белинскому и Достоевскому, на англичанина, испанца, серба, турка-мусульманина и так далее. Тем более, что он перевоплощается в них, а не просто играет на время их роль — роль, собственно чужую для себя самого. Если бы начало русское было тем же по своему существу, что начало английское, испанское и так далее, если бы оно стояло в одном ряду с ними, то возникала бы ситуация типа той, что описывал В. Менцель для немецкой культуры, а тогда Пушкин, если бы он на деле перевоплощался в иное, действительно распался бы на некоторое число перевоплощений, и никакой «всеобнимаемости» не сложилось бы. Это ясно, а тогда придётся думать о том, что это русское начало, как понимали его Одоевский, Достоевский и другие представители русской культуры XIX века, как в поэзии воплощал его Пушкин, состоит в устройении мира не на одном уровне с иными национальными началами.

Пока же замечу: так называемая идеология универсализма явным образом начинает поляризоваться и, так сказать, расходиться на совсем разные идеологии. Быть может, лучше называть их не идеологиями, что нельзя не связывать с собственным ложным сознанием, а мифологиями, понимая под ними отнюдь не иллюзии, какие возникают в жизни нации, в её культуре, а такие сжатые, сгущённые формы самоосмысления, самоуразумения народа, которые — хотя и не прямолинейно — сопряжены с реальностью (не просто с иллюзиями относительно её) и которые направляют народ и его культуру в их реальном существовании (уже этим доказывая свою реальность). Вот тезис, который я считаю важным.

В нашем случае есть две реальности, которые сгущаются до мифологии и этими же мифологиями направляются.

Одна реальность — это мир, состоящий из самоопределившихся в своём культурном существе наций, сознающих свою раздельность и сознающих также, что каждой из них присуще нечто общее, что можно извлечь, абстрагировать из них, представив как «чисто человеческое» (так сказать, бесхарактерное в национальном отношении, подобно тому как думали, что возможна бесхарактерная красота в духе греческой классической пластики).

Другая реальность — это мир, в котором раздельное, как, например, национальные культуры, несомненно существует и безусловно признаётся в своей самоценности, но в котором есть и нечто общее — общее, то есть охватывающее собою всё целое с заключённой внутри его раздельностью. Это общее не отвлечено от человеческого, от существования наций, народов, а оно проникает их как начало, всё разумеющее, всё понимающее и этим всё приводящее к единству, к единению. Но если это так, то тогда русское, по Достоевскому, — не то же самое, что английское, немецкое и так далее. В последнем случае перед нами отдельные обособленные нации, а русское, скорее, привязано к об-

щему, объединяющему всё начало (проникающему всё). Оно всё проникает и на всё отзывается, это как бы начало всепонимания в мире. А поскольку оно, это начало, хотя и существует отдельно от английского, немецкого и всякого прочего, но совсем не в том смысле, в каком английское отлично от немецкого и так далее, его, этого начала, проникание внутрь иного и не означает для него отказа от себя, от своего; это так, коль скоро сама сущность такого начала — в его проникновении внутрь иного ради собирания всего отдельного в единство.

Отсюда в русском народе и способность к всемирной отзывчивости. Стало быть, нет стремления к тому, чтобы быть раздельным, существовать отдельно, обособленно, для себя, чтобы настаивать на своём, противопоставлять себя иному и иным. Уже потому нет такого стремления, что сама субстанция — более широка, она иного уровня и все те противопоставления, какие возможны на уровне сугубых раздельностей, гасит в себе, в своём покое.

IV

Вот какова эта русская культурная мифологема, осознавшая себя в творчестве Пушкина и в мысли Достоевского, и, конечно, не только в их творчестве и мысли, но и в широком развитии и самопонимании русской культуры XIX века.

И тут уместно вспомнить странные на первый взгляд слова К. С. Аксакова: «Русский народ не есть народ; это человечество; народом является он от того, что обставлен народами с исключительно народным смыслом, и человечество является в нём потому народностью»¹⁸.

Слова эти кажутся странными, поскольку мы с детства знаем: русские, немцы, французы, итальянцы — это всё национальности, всё это нации в одинаковом смысле слова. И коль скоро есть нации, народы, как же отдельно от них может ещё существовать и человечество? Как человечество может существовать помимо своих частей? Вот загадка — но только я предполагаю, что всё то, что удалось нам вывести из сопоставления русского и немецкого образа народной культуры (мы видели, сколь они различны в XIX веке), уже внутренне подготовило нас к тому, чтобы понять смысл аксаковского высказывания и принять этот парадокс.

Сам же парадокс разрешается — получает толкование, — если обратиться к «Философии мифологии» Шеллинга, посмертно изданному (1856) грандиозному произведению философа. О нём сейчас можно сказать лишь предельно, вероятно, непростительно коротко: по Шеллингу, народ становится народом, когда обретает свою мифологию и свой язык. Пока нет мифологии, нет и народа: человечество пребывает в некоем праисторическом состоянии. Обретение же народом своей народной специфичности связано с теогоническим процессом, в котором так называемый относительный монотеизм первородного человечества необходимо переходит в языческий политеизм, — в Библии это всемирноисторическое превращение описывается как вавилонское столпотворение и последовавшее за ним смешение языков: народы обособились, единое человечество распалось, и то, что прежде существовало едино и безотчётно, предстало вслед за тем в виде множества народов со всем их своеобразием. Конечно, смешение языков не было мгновенным однократным актом — могли существовать какие-то незатронутые им осколки человечества, и Шеллинг даже предполагал, что одно дикое южноамериканское племя, не ведавшее ни культуры, ни религии (как это вывел философ из разного рода свидетельств), и было как раз таким обособившимся и в своём обособлении позабывшим о бы-

лом единстве и потому одичавшим осколком целого человечества. Это племя в глазах Шеллинга не было народом, а было именно опустившимся фрагментом целого, так и не сделавшимся народом.

Мог быть, вероятно, в этой постигшей человечество катастрофе выход и в лучшую сторону: в ту эпоху, когда (так рассказывает Шеллинг) перед человечеством стали вырисовываться овладевавший его сознанием другой бог и ужасы грядущего политеизма и, следовательно, распада единства человечества, одна часть человечества могла всеми силами противиться утрате единства, тому, что, собственно, было неизбежно, и во что бы то ни стало не принимать мифологии. Тогда эта часть человечества и попала бы в то положение, какое описал К. С. Аксаков: фрагмент человечества (то есть бывшего единого, не разделённого на племена человечества) оказывается среди народов и, будучи среди народов, сам представляется народом. Отличается же от других он прежде всего тем, что у него нет того, что у них, — сознания своей отдельности, обособленности, исключительности, своеобразности и так далее. Так по-шеллинговски рассуждал К. С. Аксаков. Впрочем, нельзя быть уверенным, было ли тут заимствование хода мысли, — поскольку до 1856 года ход мысли Шеллинга не был легко доступен. Кроме того, К. С. Аксаков всегда рассуждал примерно так: «Исключительность национальная не существовала у нас [...] Дух нашего народа есть христианско-человеческий»¹⁹.

Для язычества русских, рассуждал К. С. Аксаков, характерно то, что у них не было ни мифологии, ни идолов, ни богов, не было определённых, то есть догматически закреплённых верований: при принятии христианства в душе русского народа «не было воспоминаний языческих, не было огрубелой, определённой лжи». «Вера была неопределённая и ясна, как и должна быть у того, кто ещё не озарён истиной, но кому недоступна, для кого невозможна ложь, по крайней мере ложь утверждённая, определённая». «Ни жрецов, ни богослужения не было, но были таинственные обряды»²⁰.

Если по Шеллингу — в резком противоречии современной ему этнографии, мифологии и так далее — человечество начало с веры в единого бога, но веры ещё не полноценной, так как ей суждено было распасться и предстать в облике политеизма, то аксаковская характеристика веры русского народа до принятия христианства представляет как бы бледные и немощные остатки первоначального монотеизма. Народ или, точнее говоря, остаток единого человечества как бы задержался в самом начале стадии перехода от монотеизма к политеизму, противясь последнему всеми силами души, в начале перехода от человечества к многоплеменности. Может быть, если бы К. С. Аксаков на деле знал шеллинговскую «Философию мифологии», он высказался бы более ясно и уверенно; пока же он описывал языческую веру Руси так — «верование тёмное, неясное, готовое к просвещению и ждавшее луча истины»²¹.

У такого мнимого народа, который есть человечество, а не народ, нет своей характерности и нет стимула и потребности настаивать на своём. Такова аксаковская «мифологема». И весьма показательно, что в Германии в начале XIX века, в романтическую эпоху, складывается некая изоморфная (со стороны формальной) мифологема, суть которой, однако, вновь совсем в ином, при внешнем сходстве. Передам её словами известного литературоведа Вильгельма Эмриха: «Параллельно с представлением о праистории возникает тезис, который разделяют мыслители от Фихте до Гёрреса, Э. М. Арндта и историка Лудена [...]: немецкий народ — это в собственном смысле слова пранарод (Urvolk), народ «вообще», ибо только в нём, как говорил Фихте, «явилось божественное», только в него «проникло изначальное», превратившее его в свой покров, в свой способ проникновения в мир».

Народ — орудие божественного, но при этом народ обособленный, в своей обособленности выделенный среди остальных, особо благодатный, но тем не менее отличный от других, решительно противопоставленный всем остальным. Здесь корни немецкого национализма, и очень важно понять, что в России противостоял ему не аналогичный же национализм, а отрицание всякого возможного и мыслимого национализма. Конечно, был возможен и русский национализм, но для того, чтобы он являлся на свет, надо было утрачивать обретенную русской мыслью высоту и спускаться к тому ложному — нетребовательному и самовлюбленному эмпиризму, который, например, даже в нашем веке заставлял писателя-эмигранта Ю. П. Миролюбова утверждать такие вещи: «Славяно-русы [...] являются древнейшими людьми на Земле»²².

Но это ничем не отличается от романтического-немецкого «урфолька», тогда как согласно Шеллингу и, видимо, К. С. Аксакову, нет народа, который был бы древнее других. Народ и кажущееся народом: одно — исключительность в себе и для себя; другое — самоотверженность, предающая себя иному и хранящая в себе не своё **особенное**, а сбереженное **общее**, принадлежавшее всему человечеству, как принадлежат ему по сущности мир и единство. Русское представление о народности строилось на предположении — на осознанном, полусознанном или неосознанном, высказанном явно или никак не выраженном предположении о том, что русский народ не есть народ, а есть человечество, или, по-шеллинговски, осколок былого человечества.

Аксаковские и, скажем так, шеллингианские по духу представления о народе-человечестве отражали некоторую реальность русского культурного самосознания. Я не знаю, в каких терминах удобнее описывать это самосознание — помимо тех, в которых это сделано у нас. Можно много говорить об универсализме культуры, о её интересе к культуре других народов, о её способности проникать в языки иных культур и тому подобное, но кто же придал всем таким более или менее расплывчатым представлениям или соображениям более отчетливый онтологический статус, чем те мыслители, на которых мы ссылались? Кто лучше почуствовал, что культурное своеобразие народа, так, как реализуется оно в творчестве и в самосознании, нуждается в субстанции и в философском своём обосновании? Мифологемы — однако они полны реального содержания и доводят до сознания самую его суть. Мифологема подтверждает сама себя, свидетельствуя об универсализме культуры. Она доказывает универсализм, человеколюбие и всечеловечность.

Сами же мифологемы с разных сторон подтверждаются и доказываются содержанием культуры, то есть всякий раз и её самопониманием, самоуразумением. Что мифологема отражает реальность, притом весьма точно, — об этом свидетельствуют такие авторы, которых нельзя подозревать ни в шеллингианстве, ни в чрезмерном и по-своему отвлечённом энтузиазме к русскому, в какой-то экзальтации. Никто лучше Белинского не говорил в своё время о Пушкине как о русском национальном поэте; но вот что писал Белинский: «[...] Пушкин более национально-русский поэт, нежели кто-либо из его предшественников; но дело в том, что нельзя определить, в чём же состоит эта национальность. В том, что Пушкин чувствовал и писал так, что его соотечественникам казалось, будто это чувствуют и говорят они сами? Прекрасно! Да как же чувствуют и говорят они? Чем отличается их способ чувствовать и говорить от способа других наций? Вот вопросы, на которые не может дать ответа настоящее, ибо Россия по преимуществу — страна будущего...»²³.

Это замечательные слова; они удивительно легко переводятся на язык Шеллинга: русский «фрагмент человечества» стоит на пороге обретения своего

народного своеобразия, на пороге своего становления как народа... Прозаически говоря, это минус-народ, и характерно то, что он предстаёт не своими позитивными, сложившимися, вполне определившимися и затвердевшими чертами, но в такой потенциальности, которая допускает всё, не отвергает ничего, а притом в некотором, более широком смысле слова никогда не перестаёт быть сама собою и не отказывается от своего. Это своё всегда шире любой отдельности.

Универсализм — это всепонимание, способность всё понимать, ко всему относиться с пониманием (разные аспекты одного и того же).

И тут уместно задуматься над следующим. Можно приписывать человеку или даже, с оговорками, целому народу известные определённые моральные черты — доброту, любознательность, хитрость, коварство, мужество, склонность к обжорству, педантичность... Можно перечислять такие черты до бесконечности, и всё это будут эмпирически определённые черты или свойства: их легче отнести к отдельному человеку, если уж они закрепились в нём, и гораздо труднее к целому народу, который существует на огромном протяжении истории: прилагаемые к народу, они естественным образом коренятся в гораздо более широкой потенциальности и в редких случаях выступают в своей резкой определённости и типичности. Хотя и тогда вызывают иронию и возражения: не могут же все индивиды быть скупцами? И не могут же буквально все быть педантами? И так далее.

Но помимо таких эмпирических свойств или черт существуют иные, которые можно рассматривать тоже как эмпирические, но которые с большим правом можно было бы рассматривать как потенциальные, как источник различных эмпирически реализующихся свойств. Эти потенциальные свойства характеризуют лишь самую общую направленность внутреннего мира. Таковы терпимость — способность допускать иное наряду со своим и сосуществовать с ним, в то время как терпеливость — уже выработанная, устоявшаяся привычка сосуществовать с иным. Самоотверженность — иной поворот того же самого: способность забывать о себе ради иного. Великодушие — способность допускать иное в своё, соглашаться и смиряться с иным, даже с принципиально иным, чуждым. Все эти потенциальные свойства таковы, что они отнюдь не вынуждают расставаться со своим, со своей сущностью, но как раз всё разумеют крайне широко, так что оно может ужиться с чужим, вбирать его в себя, словно забывая о себе переноситься в иное, но тем не менее всё равно и несмотря ни на что оставаться самим собою. Вот высокая добродетельная потенциальность, и она, в единстве таких потенциальных свойств, принадлежит культуре всемирной отзывчивости.

Можно предполагать, что каждая национальная культура заключает в себе свою потенцию понимания, разума иного. Решимся утверждать, что в русской культуре эта потенция чрезвычайно велика. Напротив, едва ли можно приписывать русскому народу какие-либо определённые эмпирические черты, которые годились бы для обобщения и не вызывали возражений. Будь то даже самые благие свойства; эмпирика — это дело исторических обстоятельств, которые проявляют своё действие на большом, а иногда на самом коротком временном отрезке. На протяжении долгих веков действительность была такова, что воспитывала в русском человеке положительные качества. Не станем на этом основании называть русского человека добрым. Эмпирика коренится в потенциальности, и здесь достаточно и самого незначительного поворота, изменения обстоятельств, чтобы положительное искажалось и извращалось. Кроме того, всё эмпирическое вызывает бесконечные споры, и если припомнить, для примера, что встречались категорические утверждения о том, что русский че-

ловек не умеет работать и не работающ, и другие — что он вполне умеет работать и работающ, то можно вообразить себе, к каким долгим разбирательствам может повести участие в таком споре и сколь он малопродуктивен. Терпимость, великодушные и самоотверженность, даже взятые вместе, могут в неблагоприятный момент истории дать внезапный перевес иному и чужому над своим, обратиться вследствие этого в свою противоположность, в губительное самоуничтожение.

Эмпирические свойства неустойчивы, потому что сама потенциальность (которой на протяжении веков задавалось положительное направление) сохраняет двусмысленность. Великодушное легче побудить, легче соблазнить к измене себе, чем нечто тупо-ограниченное и эгоистически-замкнувшееся в себе, — легче, когда возникают соответствующие обстоятельства. Высокое и прекрасное хрупко в самой своей стойкости. Мощные, разумеется, только исключительно хрупкие переломы губят позитивную потенциальность всепонимания, широкое обращают в узкое, гуманное в человеконенавистническое, великодушное в подозрительное, и, чтобы раздавить потенцию всепонимания, необходимо затрачивать поистине чудовищное количество целенаправленной энергии, и тем не менее невозможно уничтожить её бесследно и до конца, — всечеловечность остаётся хотя бы как идеал и память.

Всечеловечность — это, конечно, прежде всего идеал; эмпирическая жизнь всегда была полна тех странных отрицаний, тех жутких преломлений самой же потенциальности, которые отразились и в самопонимании народа. Мотив убийства из жалости, который находим у Н. А. Некрасова, — это тоже акт такого самопонимания, самоистолкования; правда, его стихотворение «Так, служба! сам ты в той войне // Дрался — тебе и книги в руки...» из сборника 1856 года²⁴ никто пока удовлетворительно не объяснил.

Культуре, которая как бы удерживает себя в потенциальности, словно не решаясь объявить свои эмпирические черты, культуре, которая при этом отмечена идеальностью терпения, великодушия и самоотверженности, присуща некоторая негативность — как оборотная сторона осуществляемой до конца потенциальности. Это известная пассивность и другие особенности, объясняемые тем, что культура (и большинство её выразителей, представителей) делает заведомый упор на бытии, на бытийном единстве вещей, а не на интенсивности связей и общения между тем, что по своей природе раздельно, а не на сложности отношений между бытием и явлением, между смыслом и его выявлением. Понимание, уразумение — так представляют себе здесь — скорее покоится в бытии, скорее заранее, заведомо утверждено в нём и скорее очевидно, нежели требует больших и тщательно рассчитанных усилий по своему выявлению, обнаружению и осмыслению. А если говорить о выявлении, то бытие должно быть выявлено, выявлено в своей сути, как бы непоколебимой, покойной и изначально данной, а не понимание — установлено в итоге бессчётных, бесконечных выяснений, толкований, уточнений и всякой прочей суеты (которая скорее, как представляется, уводит от сути дела).

V

Мало смотреть на народ изнутри, исходя из его самоистолкования. Его следовало бы дополнить взглядом на народ извне. Белинский тонко писал о том, что «чем больше понимал Пушкин тайну русского духа и русской жизни, тем больше иногда и заблуждался в этом отношении. Пушкин был слишком русский человек и потому не всегда верно судил обо всём русском: чтоб что-нибудь верно оценивать рассудком, необходимо это что-нибудь отделить от себя и хладнокровно посмотреть на него, как на что-то чуждое себе, вне себя находящееся»²⁵.

И нам следовало бы посмотреть, какие представления о России и о русском составились за рубежом, какие составлялись о ней с давних времён, а поскольку они в основном известны, перебрать и разобраться в них вплоть до тех, которые установились в XIX веке: Россия как «жандарм Европы», как «тюрьма народов». Это тоже мифологемы, и тоже не чуждые реальности. Однако подробно разбирать возникновение и развитие таких представлений мы сейчас не будем — это особый, сложный предмет. Хотелось бы сделать единственное, а именно обвести лёгким контуром источник, в котором зарождались представления о России и о русском. Кажется, что сам этот источник — мифологический. Это — мифологическая география Европы, которая в культурном сознании стала зарождаться в незапамятные времена, которая развивалась, но так до сих пор, как миф, и не преодолена и по-прежнему обладает своей порождающей силой. Всё пространство Европы с древних времён есть своего рода мифологически обжитая топография, отмеченная и местными чертами, и генеральными закономерностями. Когда я пытался анализировать совсем краткий, относящийся к 1804 году текст немецкого публициста Йозефа Гёрреса, который пишет о четырёх царствах Европы, то оказалось, что его мифологическая география, а вместе с тем и основанная на ней политика, очень мало соответствуют реальному положению европейских великих держав; мифология преобладает над реальностью и теснит её.

Разумеется, русскому царству и русскому царю отведён Север. Но Север не в географическом, а в мифологическом смысле. Другие государства соответствуют другим сторонам света. Россия — это царство Севера, и к ней прилепилось всё то, что откладывалось в умах тысячелетиями: представления о страшной, недоступной, неведомой, негостеприимной области Земли. В образ Севера вошло всё то, что Пиндар писал о гипербореях, Геродот — об областях к северу от Чёрного моря. Сюда вошло даже и то, что ни к какому Северу не имеет отношения: Овидий был сослан в Томи на берегу Чёрного моря (это теперь территория Румынии), однако мифологически воображал себя сосланным разве что не на северный полюс, — тут снег не тает по нескольку лет, так что мифологема Севера распространилась и на эти богоспасаемые и, на наш взгляд, весьма тёплые местности. Россия как государство и унаследовала всё подобное — унаследовала как место, как место на мифологической карте Европы. Вот главный тезис: взгляд с запада на Россию и на всё русское — в той мере, в какой он не касается бытовых пустяков и анекдотических мелочей, а имеет глубокие корни в истории, — относится собственно не к России как вот этому государству с его историей, не к русскому народу с такими-то определёнными чертами и особенностями его, не к его культуре, а относится к месту, которое занимало и занимают это государство и этот народ.

В этом нет, собственно говоря, ничего удивительного. У каждой страны своя слава, и она, эта слава, не обходится без реальности, как дым без огня. Есть ведь «туманный Альбион», и есть Италия, где зреют апельсины и лимоны, для Гёте страна идеала, в которой перед ним раскрылись тайны культурной истории вновь с идеальной стороны. Такой взгляд одинаково реален и мифологичен; когда спустя 70–80 лет после итальянского путешествия Гёте в Рим стали приезжать немцы, настроенные более реалистически, то они не увидели былой идеальности, а заметили болотистую местность и нездоровый климат, что было и всегда. Таковы впечатления историка культуры Виктора Хена или философа графа Пауля Йорка фон Вартенбурга. Однако и идеальность Италии неискоренима, и этой идеальностью объясняется тяга к ней немца на протяжении долгих веков, немца, который воспринимает себя как жителя Севера (но, правда, не столь мифологизированного, как Русский Север).

По мере психологизации древнего мифологического пространства Европы к России стало приставать всё то, что сознание европейца хотело бы вытеснить, отослать подальше от себя, чтобы не иметь с этим дела. Ясно, что русское, будучи наследником места с его мифологическим ореолом, нередко стало выглядеть очень плохо, — именно потому, что европейское сознание стало высылать сюда всё дурное, подобно тому как русские цари начали ссылать людей в Сибирь, обращая её в тюрьму. Как Сибирь для европейца XIX века, так Россия для европейца прошлых времён — это край земли, мифологическая окраина, неживой и враждебный Север. Сибирь — опять же мифологема, и вновь с реальной подосновой; вслед за Россией она наследница связанных с Севером смыслов; Фридрих Ницше писал в 1886 году в своём сочинении «Антихристанин», что язык «святого анархиста» Иисуса и сегодня «привёл бы его в Сибирь» (гл. 27), между тем как на деле ни для Иисуса в Палестине, ни для Ницше в Милане такой опасности не было — «Сибирь» эта из области политической мифологии. Можно быть даже уверенным, что словоупотребление Ницше малооригинально.

Можно вспомнить и более весомое, нежели этот пример: все, кто терпел поражение на территории России, охотно ссылались на неодолимую силу холода. Россия, освободившая Европу от Наполеона, уже тогда, как бы в благодарность, воспринималась как враждебная Европе сила, роль «жандарма Европы» была предписана ей уже её положением на мифологической карте, и, следовательно, эта карта имела серьёзные последствия для политической действительности. Вероятно, она сохраняет свою значимость и по сей день (соответственно мифологическая роль и у Запада, роль, в XX веке заново обыгранная и обработанная европейской мыслью).

Для нас сейчас в этой географии — мифологии — политике существенно то, что взгляд на русское изнутри и взгляд на русское извне совпадает в одном обстоятельстве — в том, что они относятся не к народу, а к человечеству в одном случае, к месту — в другом. Сущность схватывается в обоих случаях как своего рода потенциальность, Россия понимается как источник неизведанного, нереализованного до конца. Дальше — начинаются глубокие расхождения.

Можно считать, что дело нашего сознательного, всё подвергающего рациональному анализу времени — довести до сознания суть этих взглядов (вместе со всеми их разногласиями), соединить и примирить их в реальности мысли.

Вот голос, звучащий изнутри — изнутри того места, которое извне видится порой столь уж непривлекательным, — этот голос призывает к великодушию и широте души. Тот универсализм русской культуры, провозглашённый в XIX веке, провозглашённый Достоевским, которому мы не хотели верить на слово, на деле укоренён в русском бытии, в его самопонимании, в его многократно доказанной самоотверженности, в его терпимости, наконец, в самом тяготении к добру из глубин не раскрывшейся до конца потенциальности. Россия всё ещё и вновь страна будущего. У её народа есть право призывать к великодушию всепонимания.

Примечания

¹ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 томах, М., 1984, т. 26, с. 145.

² Там же, с. 131.

³ Там же, с. 121.

⁴ Л. И. Сараскина, С. Д. Серебряный. Ф. М. Достоевский и Р. Тагор // Восток — Запад, М., 1985, с. 140.

- ⁵ R. Wagner. Mein Leben // Hrsg. von E. Middell. Leipzig, 1985, Bd. 1, S. 245.
- ⁶ W. Menzel. Die deutsche Literatur. Stuttgart, 1828, Bd. 2, S. 63.
- ⁷ Ibid, S. 64.
- ⁸ Ibid, Bd. 1, S. 23.
- ⁹ Ibid, Bd. 2, S. 162.
- ¹⁰ В. Ф. Одоевский. Русские ночи. М., 1913, с. 420.
- ¹¹ Ф. М. Достоевский. Указ. соч., с. 145–146.
- ¹² В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985, с. 273.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ W. Menzel. Op. cit., Bd. 2, S. 64.
- ¹⁵ Ibidem.
- ¹⁶ Ф. М. Достоевский. Указ. соч., с. 131.
- ¹⁷ W. Menzel. Op. cit., Bd. 1, S. 44.
- ¹⁸ К. С. Аксаков. Полн. собр. соч. М., 1861, т. 1, с. 630.
- ¹⁹ Там же, с. 43.
- ²⁰ Там же, с. 313–314.
- ²¹ Там же, с. 315.
- ²² Цит. по: О. В. Творогов. Что же такое «Влесова книга»? // Русская литература, 1988, № 2, с. 93.
- ²³ В. Г. Белинский. Указ. соч., с. 256–257.
- ²⁴ См.: Н. А. Некрасов. Стихотворения 1856. М., 1987, с. 36. Ср. с. 104–105: «С дерева комом галчата упали, / Жёлтые рты широко разевали, / Прыгали, злились... Наскучил их крик — / И придавил их ногою мужик...».
- ²⁵ В. Г. Белинский. Указ. соч., с. 448.

Публикация Н. А. Михайловой

Том второй



От редактора

Второй том Альманаха Центра славяно-германских исследований продолжает обсуждение дискуссионных проблем, заявленных в первом томе. В настоящий том включен также информационный материал о деятельности научного семинара Центра в 1994–1997 гг. (автор — *А. В. Циммерлинг*).

Научные статьи, составившие содержание второго тома, в основном представляют два направления исследований, которые являются предметом постоянного интереса Центра — проблемы изучения средневековой Европы и проблемы «малых» народов и их интеграции в общеевропейском культурном пространстве. Мы, однако, хотели бы вначале привлечь внимание к двум работам, не относящимся к данным рубрикам, но продолжающим проблематику, намеченную в ряде публикаций первого тома. Мы имеем в виду статью В. М. Немчинова и рецензию О. А. Хоревой.

Работа В. М. Немчинова, как следует из её названия «Эмпирическое исследование исторического сознания подростков в Германии и России», является социологическим исследованием, однако это не исчерпывает её содержания. Правда, у специалистов-социологов могут возникнуть вопросы, что такое «историческое сознание» и можно ли его изучать при помощи тех методов, которые предлагает автор статьи — а именно, посредством мысленного эксперимента: информантов опрашивают, в какую страну и в какую эпоху они хотели бы переместиться, если бы это было возможно. Бесспорно, однако, что подобный метод позволяет выявить устойчивые стереотипы сознания, а также, *mutatis mutandis*, стереотипы воспитания и школьного преподавания. На основе анализа комплекса стереотипов автор делает нетривиальный вывод, что «...национальность в России намного менее связана с принадлежностью к социуму, чем в Германии. Социум в глазах подростков гораздо более тесно связан с субнациональной принадлежностью к своей команде, своей школе...». Если в статье В. М. Немчинова этнонациональные стереотипы изучаются прежде всего как психологическая реальность бытового сознания, то в проблемной рецензии О. А. Хоревой обсуждаются общественные движения, приводящие к становлению нации, и порождаемые в этой связи стереотипы идеологические. При этом О. А. Хорева порой вступает в полемический диалог с авторами рецензируемой книги — германскими историками-славистами Н. Н. Нольте, Б. Эшмент и Й. Фогтом, что, как нам кажется, способствует выявлению идеологических стереотипов самих исследователей.

Медиевистская проблематика данного тома задается статьей М. А. Васильева «Этногенетические и раннеэтноисторические про-

цессы в славяноязычном мире в позднеримское и раннесредневековое время: анты и словене» и работой *Е.Р.Сквайрс* «Россия и Ганза», по существу носящей монографический характер, а также исследованием *Ф.Б.Успенского* «К истории культа мощей в средневековой Скандинавии. Некоторые аспекты канонизации Олава Святого». В работе *Е.Р.Сквайрс* историческая и культурная панорама контактов Новгородского государства и Ганзейского союза возникает на основе изучения текстов договорных грамот Ганзы и Новгорода и других малоизученных источников деловой письменности, редко попадающих как в поле зрения историка, так в поле зрения филолога. Автор приходит к выводу о частичной интерференции древнерусского и нижненемецкого языков. Следует подчеркнуть, что работа *Е.Р.Сквайрс* почти не имеет аналогов в отечественной и мировой науке как по избранной постановке проблемы, так и по охвату материала.

Сопоставительный характер (что не очевидно из названия) носит и работа *Ф.Б.Успенского*. Автор изучает эволюцию представления о святости останков в северной Европе, сопоставляет скандинавские факты с распространением культа мощей на Руси и приходит к выводу, что представление о нетлении мощей противопоставляет скандинавскую и древнерусскую культуру греко-византийской. Оригинальным, но полностью оправдывающим себя, является сопоставление процедуры канонизации христианского святого с зафиксированной в уложениях древнескандинавского общинного права и в древнеисландских сагах процедурой диффамации/легитимации покойника. Возникает неожиданная перспектива, позволяющая ставить вопрос о преемственности языческих представлений о «святых» и «несвятых» покойниках (данные термины основательно комментируются в работе) и института канонизации христианских мучеников в Скандинавии и, возможно, на Руси. Данный вывод *Ф.Б.Успенского* представляет несомненный интерес для широкого круга медиевистов.

Типологический характер носит работа *С.С.Скорвида*, которая посвящена способам выражения притяжательных отношений в славянских языках. Автор показывает, что эволюция данных отношений характеризуется множественностью развития, при этом отдельные тенденции (например, становление вынесенной в заглавие конструкции с групповым родительным падежом) имеют параллели как в славянском, так и в германском ареале. Согласно *С.С.Скорвиду*, при известном параллелизме германским сочетаниям славянские конструкции с притяжательным прилагательным типа вынесенной в заглавие статьи чеш. диал. *vo tich mejch chlapcech toho sinovo* букв. 'о тех моих мальчиках того сына', т. е. 'о мальчиках (этого самого) моего сына' = чеш. лит. *o chlapcích toho mého syna*, не являются их кальками. Данный вывод подкрепляется данными большого числа славянских языков — польского, чешского, словац-

кого, верхне- и нижнелужицкого, болгарского, македонского — и их территориальных диалектов, многие из которых граничат с немецкими диалектами или испытали влияние немецкого литературного языка.

Заключительный раздел тома посвящен проблемам Сербской Лужицы.

В статье *А.А. Гугнина* дается общая оценка серболужицкому национальному возрождению XIX в. Напротив, статья чешского ученого *Иржи Мудры* посвящена одному частному эпизоду в истории славянского возрождения — деятельности Лужицкого семинария в Праге в середине XIX в. Исследователь предполагает, что чешские ученые-просветители сыграли роль промежуточного звена между русской и лужицкой литературой. Две работы посвящены ранним связям между Лужицей и Украиной. Статья *М.Г. Дубик* (Киев) реконструирует сформировавшиеся у украинской интеллигенции к середине XIX в. представления о Лужице и её языке на основе анализа архивных данных. Статья *Л.П. Лаптевой* посвящена взглядам и, отчасти, перипетиям научной биографии видного слависта, профессора Киевского университета *А.А. Котляревского*, который включал обзор лужицких языков и словесности в свои лекционные курсы. Имя *Л.П. Лаптевой* представлено в списке работ еще дважды. В одном случае она выступает как рецензент специализированного журнала польских сорабистов. В другом случае книгу *Л.П. Лаптевой* рецензирует *М.Ю. Парамонова*.

А. В. Циммерлинг

Этногенетические и раннеэтноисторические процессы в славяноязычном мире в позднеримское и раннесредневековое время: анты и словене

Проблемы этногенеза славян и их ранней этнической истории являлись, остаются и еще, вероятно, долго будут сохраняться в качестве наиболее сложных и остро дискуссионных в мировой палеославистике. Обусловливается подобная ситуация целым рядом взаимосвязанных обстоятельств, в числе которых укажем следующие:

— разнохарактерность, фрагментарность и объективная неполнота привлекаемых для решения этих проблем имеющихся в распоряжении ученых источников, с одной стороны, и тем, что они продолжают пополняться (сегодня в первую очередь за счет археологии, но и языкознания, этнолингвистики и т. д.), что, в свою очередь, влечет корректировку или пересмотр существующих концепций, а также возникновение новых, — с другой;

— то, что несмотря на многочисленные попытки комплексного подхода к славянской этногенетической проблематике и ее синтезного анализа, призывы к ним¹, каждая из наук отталкивается в первую очередь от своего материала, что неизбежно обедняет предмет знания, еще более удаляя его от и без того непростого для изучения объекта знания²;

— большое количество накопившихся за многие десятилетия разработки проблематики многочисленных устоявшихся «общих мнений», приобретших самодовлеющий инерционный характер, ставших как бы научными архетипами, сама способность которых быть фундаментом возводимых на их основе научных конструкций «выносятся за скобки», не обсуждается и не ставится под сомнение, что далеко не всегда верно и почти всегда малопродуктивно.

В настоящей публикации мы стремимся заново, в первую очередь с точки зрения этнологии, обсудить проблему соотношения двух образований первой половины — середины I тыс. н. э. — словен и антов³.

Но прежде позволим себе напомнить некоторые важные для последующего изложения ключевые положения, достаточно прочно (насколько это возможно для сравнительно молодой для отечественной науки отрасли знания) вошедшие в общую теорию этноса:

— этнос — это исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая, межпоколенная, выходящая за рамки круга лиц, непосредственно общающихся друг с другом, совокупность людей, обладающих общим этническим самосознанием, т. е. коллективной этнической самоидентификацией;

— этническое самосознание возникает под воздействием ряда этнообразующих факторов, важнейшими из которых являются: сравнительно стабильные общие черты культуры; наличие языка общения (близких языков, диалектного континуума); общая территория расселения; представление о единстве происхождения и др.;

— этническое самосознание, будучи в конечном счете производным от этноформирующих факторов, т. е. явлением вторичным, после своего возникновения приобретает во многом самодовлеющий характер, продолжая поддерживать существование этноса и в случае ослабления действия (вплоть до исчезновения) отдельных этноформных факторов; в целом же этническое самосознание является ядром этничности;

— компонентами этнического самосознания, т. е. фиксируемыми на субъективном уровне членами данного этноса и объединяющими его в единство «мы», но отграничивающими от иных этносов («они»), выступают: представление о наличии общей культуры с особым акцентом на ее этнодифференцирующие моменты; представление о единстве происхождения, родственной связи всех членов «нашего» этноса (по емкому, на наш взгляд, определению С. А. Арутюнова, этничность — это осознание групповой культурно-генетической идентичности⁴); одним из важнейших признаков возникновения этнического самосознания, его внешним маркером выступает общее самоназвание (аутоэтноним); появление этнического самосознания знаменует завершение процесса этногенеза (этногонии), т. е. формирования этноса, и начало его собственно этнической истории⁵.

Первый из вопросов, который мы далее будем рассматривать, — это проблема хронологии возникновения метаэтноса (т. е. этнического образования, охватывающего несколько более дробных этнических (этносоциальных) единиц, но объединяющего их через общее этническое самосознание и общее самоназвание) с аутоэтнонимом *словене* (**slověne*).

В письменных источниках словене (склавины) впервые упоминаются для времени около 512 г., когда, согласно «Готской войне», третьей части «Книги о войнах» Прокопия Кесарийского, византийского писателя, активного политического и военного деятеля в 527–540 гг.⁶, часть германцев герулов, двигаясь в направлении к северу от Дуная, прошла «поочередно все племена склавинов» (VI.15.3)⁷. Время около 512 г., таким образом, условно может считаться *terminus post quem* non существования метаэтноса со сложившимся самосознанием, индикатором чего выступает аутоэтноним *словене*. Но ответа на вопрос: когда это самосознание сложилось? имеющиеся письменные источники не содержат.

Если, однако, опираться на некоторые теоретические положения, высказанные этнологами, то проблема появления словенского этнического самосознания как сознания принадлежности к мета-

этнической общности с аутоэтнонимом **slověne* может быть в общем виде решена следующим образом.

«...Этническое самосознание, — писал М. В. Крюков, — всегда строится на контраверзе „мы — они“. Но характер этого противопоставления существенно различен на разных этапах развития общества. Представляется, что для самосознания этнической общности доклассового общества характерен признак попарного противопоставления. Каждая общность осознает свое отличие от других, себе подобных..., еще не наделяя всю их совокупность какими-либо общими признаками...». Общее название для «они» возникает «одновременно с появлением общего самоназвания для „нашей“ этнической общности, типологически уже не аналогичной племени». Такой уровень этнического самосознания, по мнению М. В. Крюкова, «соответствует этапу разложения родо-племенной структуры и вызреванию предпосылок классового общества»⁸. О возникновении единого славянского этноса «не позже, чем накануне переходного этапа к сложению раннеклассового общества», писал Ю. М. Лесман⁹.

Применительно к словенской метаэтнической общности подобное парное противопоставление всей совокупности «мы» (*словене*, т. е. «ясно говорящие, владеющие словом, истинной речью») всей совокупности «они» (*немцы*, т. е. «говорящие непонятно» или «не говорящие»)¹⁰ выражено более чем отчетливо, что влечет за собой соответствующие выводы о стадийном (и косвенно — хронологическом) периоде сложения словенской семьи племен.

Поэтому следует полагать, что многочисленные в прошлом и не оставляемые донныне попытки возвести этноним *словене* к тому или иному топониму, связать с лексемой «слава» и подобные, полностью исчерпали себя. С точки зрения этнологии и этнической ономастики этнонимическая пара *словене* — *немцы* абсолютно прозрачна и закономерна, являя собой частный случай широко распространенного у народов мира раннего типа этнонимов, основанных на контраверзе «люди, настоящие люди» («мы») — «ущербные, неполноценные люди» («они», «чужие»)¹¹.

Итак, о существовании словенского метаэтноса мы можем твердо говорить только с VI в., когда этноним **slověne* надежно фиксируется современными событиями того времени письменными источниками. При этом методологически важно, что племена этого метаэтноса, по крайней мере на Дунае, находились на предклассовой стадии развития, на этапе так называемой военной демократии. Все попытки ученых обнаружить этнос *словене* в предшествующие эпохи, настойчивые и уже буквально многовековые, где-то на пространствах Центральной и Восточной Европы не дали убедительных позитивных результатов¹². Дело здесь, как мы считаем, заключается не просто в том, что античные авторы были плохо знакомы с этническими картиной и номенклатурой далеких и потому для них «темных» окраин Европы, где «скрыто» проживали

**slověne*. На наш взгляд, бесплодность означенных попыток является следствием иной, фундаментальной причины — отсутствия данного этнического образования и его возникновения сравнительно незадолго до начала VI ст.

В последние годы это положение все тверже входит в историографию. Например, Ю. М. Лесман считал, что процесс славянского этногенеза протекал в III–IV вв., а в V в. произошло появление нового, славянского этноса — носителя пражской археологической культуры¹³; «кельты, германцы, славяне, — писал Г. С. Лебедев, — вот выражение ритмики этнического процесса, раз в полтысячи лет создававшего в Европе новые, кристаллизованные этнические образования (ключевым для завершения этногенеза германцев он полагал время около рубежа н. э., этногенеза кельтов — V в. до н. э. — *М. В.*)¹⁴; по мнению Д. А. Мачинского, славяне «вступают в период кристаллизации своего этносознания» в конце V — первой трети VI в.¹⁵; В. Д. Баран полагал, что «разгром готов гуннами и последующие славяно-готские войны можно считать началом возникновения в Юго-Восточной Европе новой этнокультурной... общности, в которой ведущую роль играли славяне»¹⁶; «отсутствие фиксации самоназвания славян вплоть до VI в. н. э., — отмечал Ф. В. Шелов-Коведяев, — может указывать на относительно позднее сложение этноса»¹⁷.

Подобная позиция, однако, вызвала несогласие со стороны И. П. Русановой. «По мнению сторонников одного направления (в изучении славянских древностей. — *М. В.*), — писала она, — славянская общность — очень позднее образование, сложившееся лишь в середине I тысячелетия н. э., подтверждением чего они считают появление наименования „славяне“ лишь в VI в. н. э. При таком представлении оказывается, что славянская общность сложилась необыкновенно быстро, создала сразу же довольно прочную и своеобразную культуру и распространилась на огромную территорию... Столь быстрое сложение огромной этнической общности, выступившей в середине I тысячелетия н. э. уже в сформировавшемся виде, кажется неправдоподобным». Сама И. П. Русанова придерживалась той точки зрения, согласно которой «славянская этническая общность складывалась постепенно на протяжении длительного времени. Если в V–VII вв. славяне не только имели общий язык и вполне самобытную культуру, распространенную на огромной территории, но были уже при этом разделены на несколько групп со своими этнографическими особенностями, то во всяком случае к рубежу нашей эры их предки должны были представлять собой группу родственных племен, обладающих вполне определенными самобытными чертами»¹⁸.

С последним процитированным положением И. П. Русановой не согласиться нельзя. Но о славянской общности какого порядка может идти речь применительно к рубежу нашей эры? Данную общ-

ность, на наш взгляд, можно определять самое большее как лингво-культурную и рассматривать в качестве лишь *(мета)этнической потенции*. Говорить же о ее славянском этническом характере возможным не представляется. Во-первых, для этого необходимо доказать наличие у насельников данной общности сформировавшегося единого этнического самосознания и его маркера — самоназвания **slověne*, что невозможно. Во-вторых, вступает в силу рассмотренный выше аргумент о необходимом достижении общностью определенной стадии социального развития, о чем применительно к рубежу эр говорить заведомо рано.

Сравнительно же быстрое сложение именно этнических общностей, при наличии, безусловно, столетиями вызревавших культурных, лингвистических и иных предпосылок, не является чем-либо «неправдоподобным», но, наоборот, достаточно типично. Например, древнекитайская этническая общность с оформившимся самосознанием и самоназванием *хуа* сформировалась относительно быстро в VII–VI вв. до н. э., во многом под влиянием внешнего стимула — вторжения и последующего господства на Среднекитайской равнине кочевников *ди*; есть основания полагать, что процесс формирования общеэллинского самосознания и распространения этнонима *эллин* на всех жителей Древней Греции относится к VII в. до н. э.¹⁹ И в том, и в другом случае, следовательно, процесс этнической консолидации протекал по историческим меркам весьма быстро. В общем же плане, минимальный временной интервал, лежащий между завершением этапа этногонии и переходом к собственно этнической истории, по некоторым подсчетам, мог составлять всего 80–100 лет²⁰.

Второй аспект, на котором необходимо далее остановиться, — это комплекс проблем, связанных с общностью, известной по источникам как *анты*. И важнейшая из них для нас — что собой представляла эта общность, каков был ее характер. Конкретно проблема может быть сформулирована следующим образом: являлись ли анты частью метаэтнуса с самоназванием **slověne*, обладая соответствующим самосознанием, но в силу ряда исторических обстоятельств выделяясь из массы словенских племен, например в качестве субэтнуса²¹ (члены субэтнуса осознают групповые особенности тех или иных элементов своей культуры, обладают самосознанием этнического порядка и самоназванием, однако одновременно полагают себя частью основного этнического подразделения²²), или иным образованием.

Устоявшееся «общее мнение» безоговорочно отвечает на этот вопрос утвердительно. И резоны тому, казалось бы, имеются.

Во-первых, и анты, и словене, как о том свидетельствуют письменные источники VI в., говорили на одном языке, имели очень близкую материальную и духовную культуру (по информации, содержащейся в «Готской войне» Прокопия Кесарийского (VII.14.22 —

28), у склавинов и антов одинаковы типы поселения, характер ведения хозяйства, религиозные верования, одежда, образ жизни и нравы, формы управления, способы ведения войны²³; согласно «Стратегикону» византийского полководца Маврикия, в 582–602 гг. занимавшего императорский престол, «племена склавов и антов одинаковы и по образу жизни, и по нравам» [XI.4.1]²⁴). Кроме того, носители пеньковской (антской) археологической культуры, в ходе расселения ее носителей с основной территории, приняли деятельное участие в формировании безусловно этнически словенского населения в самых различных районах Европы.

Во-вторых, над исследовательским восприятием проблемы довлеет, укрепляя «общее мнение», то, что можно назвать «фактором языка»: коль скоро анты говорили по-славянски, то значит они были славянами, подразумевая под последними этнос. В результате на уровне «обыденного» научного сознания имеет место смешение глоттологического и этнологического аспектов проблемы, тесно, конечно, связанных, но далеко не равнозначных. То же обстоятельство дополнительно порождает ложную терминологическую и семантическую аллюзию — славянский язык > анты славяноязычны > анты — этнические словене, — опасность которой уже отмечалась²⁵. (Дабы избежать подобного рода терминологических коллизий, в статье под словенскими этническими именами мы подразумеваем ту часть славяноязычного мира, у которой завершился процесс этногенеза, сложилась словенская этническая самоидентификация, венчаемая самоназванием **slověne*.)

Эти соображения подкрепляются, в-третьих, еще одним, носящим, впрочем, более психолого-научный, чем фактологический характер: славянский метаэтнос существовал и существует по сей день (пусть и в редуцированном виде), анты же, «мелькнув» в источниках для конца IV в. и начала VI — начала VII в., затем бесследно исчезают и из них, и с исторической сцены вообще. Отсюда следует кажущийся очевидным вывод — анты являлись только «эпизодом» ранней истории словен, первоначально в силу ряда конкретно-исторических причин выделившись из общей массы словенского метаэтноса, а затем в ней же растворившись.

На своего рода «заднем плане» указанных соображений, в-четвертых, молчаливо предполагается, а иногда и открыто постулируется ключевое — метаэтническая общность с самоназванием **slověne* возникла задолго до фиксации этого этнонима в письменных источниках, поэтому анты, о существовании которых можно говорить в лучшем случае с IV в., моложе ее, а значит являются соподчиненной частью словенского метаэтнического образования. Таким образом, постулируется как бы «первородство» этноса **slověne* по отношению к антам.

И все же исследователи, основательно соприкасавшиеся с проблемой антов, ощущали ее «неудобство», ее «выпадение» из «стройной картины» ранней истории славян.

В.Д. Корольюк, Г.Г. Литаврин, Б.Н. Флоря, авторы первой главы монографии «Развитие этнического самосознания славянских народов в период раннего средневековья», указывали, что анты — это «группировка славян», сформировавшаяся на территории, ранее занятой иранцами, оказавшими на них влияние. «Можно высказать предположение, — писали ученые, — что эти процессы (взаимодействия с иранцами. — М.В.) привели к возникновению у группировки славян — антов — известных особенностей системы верований, обычаев, быта и т. п., отличавших их от всех остальных славян. Возможно, на этой основе и наметилось первоначально определенное обособление антов как особой этнополитической организации (племенного союза) от общей совокупности славянского этноса.

Обособление антов в связи с расселением славян на новой территории следует расценивать как первое проявление тенденции к распаду этнополитической общности славян... Возможно, однако, что объединения „склавинов“ и антов не воспринимались писавшими о них авторами VI в. как две разные этнические общности (отметим, следовательно, что сама мысль о том, что анты — это *этнос*, отличный от словен, авторам не чужда. — М.В.)»²⁶.

Приведя соответствующие сведения Иордана об «общем корне» словен и антов и Прокопия Кесарийского (см. выше, а также далее), исследователи резюмировали: «Иными словами, Иордан и Прокопий видели различие между славянами и антами лишь в том, что они принадлежали к разным военно-политическим объединениям, т. е. это отличие было не собственно этническим, а этносоциальным и обуславливалось подданством двух нередко враждующих племенных союзов»²⁷.

Последнее замечание авторов представляется нам весьма симптоматичным. Стоя на позициях «общего мнения» об антах как части этнических словен, в нем они вместе с тем фактически уравнивают и тех, и других. В этом случае принимаемое авторами *opinio communis doctorum* вступило в противоречие с определеннейшими свидетельствами письменных источников, которые всегда четко разграничивают словен и антов и никогда их не смешивают. При этом, конечно, словене VI ст. ни в коей мере не могут быть охарактеризованы как «племенной союз», единое «военно-политическое объединение», ибо являлись метаэтнолингвистическим образованием, состоявшим из массы племен и их союзов, зачастую временных (как и анты)²⁸. Но в таком случае данную характеристику следовало бы относить и к антам. Некоторая интенция к этому в приведенном тексте просматривается (см. также далее), но реализовать ее, видимо, помешали инерция и давление все того же «общего мнения».

Продолжая антскую тематику, авторы писали: «Есть основания говорить и об определенных тенденциях к консолидации славянского этноса, которые проявились, как полагает В. Д. Корольюк, в исчезновении этнонима [!] „анты“ и распространении в VII в. названия „славяне“ на представителей славянского этноса на всей территории славянского мира»²⁹.

Вполне очевидна недостаточная согласованность этих положений друг с другом. Если анты являлись частью словенского этноса в VI в., то нет оснований писать о консолидации последнего в VII ст. Если же в этом столетии произошла консолидация и этноним *словене*, а значит и словенское этническое самосознание распространились на антов, то неизбежно следует заключить, что ранее анты словенами в этническом смысле не являлись.

Критически оценил данное суждение В. Д. Корольюка и О. Н. Трубачев, писавший: «В принципе случайный факт последнего упоминания племенного имени антов в первых годах VII в. н.э. еще не дает никаких оснований для того, чтобы датировать точно этим временем... не только распространение имени склавен (славян) на всех славян, но и „консолидацию“ славянского этноса»³⁰.

Проблеме антов-«пеньковцев» существенное внимание уделил В. В. Седов. Антов VI–VII вв. ученый охарактеризовал как «племенное образование»³¹. Однако, повторим, не требует развернутых доказательств положение, согласно которому анты этого времени не являли собой некоего «племенного образования» или устойчивого «союза племен», сами состоя в потестарно-политическом отношении из отдельных племенных единиц и их нередко недолговременных объединений-союзов. Да и а priori очевидно, что если полагать насельников пеньковской культуры, простиравшейся в своей основной части на обширной территории от Прута до верховьев Северского Донца, антов, «племенным образованием», т. е. своего рода «суперсоюзом племен», который должен был, соответственно, иметь единый центр («столицу»), единый орган (органы) управления, продолжительную стабильность функционирования в качестве политического единства и т. д., то последовательно необходимо заключить, что перед нами — «образование», стоявшее на пороге государственности. Думаем, что столь далеко в оценке социальной продвинутости антского общества сегодня едва ли пойдет кто-либо из ответственных исследователей.

Как кажется, неадекватность характеристики антов в качестве «племенного образования» ощущал и В. В. Седов, когда писал (выделения в цитате наши): «Согласно Прокопию Кесарийскому, анты, как и остальные славяне, пользовались одним языком, у них был одинаковый быт, общие обычаи и верования, а ранее они назывались одним именем. Вместе с тем из письменных известий очевидно, что анты выделялись какими-то этнографиче-

скими особенностями — они называются наравне с такими этническими группами того времени, как гунны, утигуры, мидяне (для этой эпохи явный анахронизм. Прокопий Кесарийский в «Тайной истории» (XI.11) действительно упоминает мидийцев (мидян), обитавших в северо-западной части современного Ирана и создавших в древности обширную державу со столицей в Эктабанах, в 550/549 г. завоеванную персами государства Ахеменидов, в одном ряду с сарацинами (арабами), склавинами и антами³², но в пассаже данный этноним использован для обозначения персов вообще³³. — М. В.) и др. Византийцы каким-то образом отличали анта от славянина даже среди наемников империи»³⁴. Определенное недоумение В. В. Седова снимается, если встать на ту точку зрения, согласно которой раннесредневековые авторы, куда лучше (хотя далеко не идеально), чем современные исследователи, знавшие реалии своей эпохи, отъединяли антов и словен не просто «каким-то образом» и не просто в силу их «этнографических особенностей» (хотя и особенности, несомненно, имелись).

Так что же все-таки представляли собой анты: «группировку славян», «субэтнос», «союз племен», «племенное образование», «военно-политическое объединение» и т. п. или нечто иное?

Рассмотрение проблемы начнем с вопроса о «первородстве» этнической общности с самоназванием *словене* по отношению к антам.

Теория этноса, признавая тот факт, что в очень многих случаях язык выступает в качестве одного из важнейших этногенных факторов, вместе с тем не ставит знак равенства между языком и этносом, между людьми как носителями того или иного языка (и шире — культуры) и людьми как носителями того или иного этнического самосознания (скажем, современные сербы, хорваты и боснийские мусульмане говорят на легко взаимопонимаемых близкородственных языках (диалектах), но это разные этносы; китайцы севера и юга страны при встрече не поймут друг друга, но они сознают себя членами единого этноса *хань*). Поэтому славяноязычие антов не может служить аргументом в пользу их принадлежности к этническим словенам.

Следует, далее, констатировать, что на историческую сцену словене и анты в массовом порядке вступают практически одновременно.

Наиболее ранние памятники пражско-корчакской археологической культуры, носителями которой основательно считаются этнические словене, датируются сегодня V в.³⁵ Однако датировка ранних памятников пеньковской археологической культуры, культуры раннесредневековых антов, аналогична³⁶. Для нас крайне важно также и то, что при всей разности «славянских» этногонических гипотез и теорий археологи не считают одну из этих культур ответвлением, дериватом другой³⁷.

На страницах письменных источников словене и анты появляются в первой половине VI в. также практически одновременно,

но выступают всегда раздельно, как две самостоятельные силы и никогда не смешиваются; ни один источник при этом не указывает на антов как на часть этнических словен, что является очень серьезным аргументом *ex silentio*. Византийские авторы VI в., например, довольно неплохо знали и тех, и других и, кроме того, интересовались антами и «склавиными» не в кабинетно-познавательных целях, а руководствуясь в первую очередь вполне прагматическими мотивами, с точки зрения внешней политики империи и пограничной для нее опасности. И если бы анты были частью «склавинов», то они, надо полагать, отметили бы этот факт, ибо его следовало учитывать в отношениях Византии с этой частью «мира варваров».

Единственным текстом, который мог бы быть истолкован как указание на соподчиненное положение антов по отношению к словенам, является следующий пассаж из труда историка VI ст. Иордана «О происхождении и деяниях гетов» («Гетика») (35): рассказав о местах расселения «склавинов», Иордан замечает: «Анты же, самые могущественные из них (выделено нами. — М.В.) (*Antes uero, qui sunt eorum fortissimo*), там, где Понтийское море делает дугу, простираются от Данастра вплоть до Данапра»³⁸. Однако новейшие интерпретаторы данного фрагмента, Л. А. Гиндин и Ф. В. Шелов-Коведяев, полагали, что «семантика *is, ea, id* как указывающего на непосредственно предшествующий ему объект и превосходной степени прилагательного (*fortissimi*) как очень высокой степени качества делает по меньшей мере равноправным перевод „которые намного могущественнее их (склавинов)“». В этом варианте привлекает также и то, что он не требует никаких специальных дополнений и толкований и внутренне непротиворечив»³⁹.

Как видим, ни материальные (археологические), ни письменные источники не только не содержат оснований для суждения о «первородстве» словен перед антами, но со всей определенностью свидетельствуют об их равнозначности и равноценности, независимом функционировании для V–VI вв.

Более того, если до начала VI в. об этнических словенах мы ничего достоверно не знаем, то ситуация с антами иная: термин этот фиксируется в «Гетике» Иордана для конца IV ст. Нередко высказывались и высказываются мнения, согласно которым «об этнической принадлежности антов IV в. нельзя сказать ничего определенного»⁴⁰, что анты IV в. — не славофоны, а иранцы⁴¹, и т. п. Основой для подобных как «осторожных», так и «радикальных» суждений служит, во-первых, вероятно, то, что сам этноним *анты* явно не славянский по происхождению, что, впрочем, «само по себе... мало что значит»⁴² (в ранней этнической ономастике славяноязычного населения подобное не являлось редкостью; ср. *сербы, хорваты, северяне, дулебы*). Во-вторых, у нас действительно считанные факты, чтобы судить о «лингво-этнографическом лице»

антов IV в. Однако если к ним подойти с должной осторожностью, но без гиперкритицизма, то и они позволяют сделать вероятностные выводы.

Иордан (Get. 247) повествует об остроготско-антской войне конца IV в., в которой «король» Винитарий победил антов «и короля их по имени Боз (regerum eorum Boz nomine) с сыновьями и 70 знатными людьми распял, чтобы трупы повешенных удваивали страх покоренных»⁴³. Несмотря на малую длину лексического фрагмента *Boz* и неоднократные сомнения⁴⁴, все же пока наиболее приемлемым объяснением остается то, которое усматривает здесь глоссу, где *rex* калькирует праслав. **vodъbъ* 'вождь' (в форме **vozъbъ* или **vozъbъ*)⁴⁵ (ср. в «Истории» Феофилакта Симокатты, написанной, наиболее вероятно, в конце 620-х годов, замечание о славянском вожде Мусокии, называемом «на языке варваров риксом» (VI.9.1)⁴⁶; ранее «риксами» же названы словенские и антские вожди в «Стратегиконе» Маврикия [XI.4.30]⁴⁷).

А. Н. Анфертьев, новейший комментатор «славянских» фрагментов «Гетики», полагал, что все сопоставления лексемы *Boz* со славянскими языковыми фактами (в том числе от **vodъbъ*) «неправдоподобны не только с точки зрения вокализма, но и из общих соображений»⁴⁸. Не беремся судить о вокализме, хотя существуют и другие, достаточно авторитетные суждения, не просматривающие в этом случае глоттологические трудности, но не видим ни одного «общего соображения», запрещающего гипотезу о по крайней мере присутствии среди антов того времени славофонов.

Здесь нами усматриваются затруднения иного рода. Даже при принятии славянской лингвистической интерпретации данного лексического факта, он не может считаться решающим для категорических заключений о языке антов IV в. (или их части), ибо его возможно трактовать не только как фиксацию присутствия славофонов среди антов того времени, но и как всего лишь отражение имевших место контактов неславяноговорящих антов (например иранцев) со славофонами. Напомним в этой связи, что в трактате «Об управлении империей» Константина Багрянородного, в главе, рассказывающей о происхождении «турок» (венгров) и основанной на собственно мадьярских преданиях, их первый предводитель — Леведий — определен славянским словом «воевода» (βοεβόδου)⁴⁹.

В том же известии Иордана о готско-антском конфликте привлекает внимание имя предводителя, «короля» готов — *Vuinitharius*. Кроме победы над антами, он еще известен, по Иордану, войной с «королем» гуннов Баламбером, в которой в конце концов потерпел поражение и погиб (Get. 248–249)⁵⁰. Главным «деянием» Винитария, таким образом, являлась победа именно над антами. Между тем его имя (возможно, это прозвание) многие исследователи и давно этимологизировали как «победитель *венетов*» (или даже, по мнению О. Н. Трубачева, «потрошитель *венетов*»)⁵¹.

Если принять кажущуюся весьма вероятной этимологию имени Винитария как «победитель венетов» и зная, что его единственной крупной военной удачей, согласно Иордану, являлась победа над антами, то следует заключить, что германцы готы знали антов в конце IV в. не только под их собственным наименованием, но и равно называли венетами, т. е. этнонимы *анты* и *венеты* были для них синонимами или рассматривались как тождественные (*анты* ≡ *венеты*). Эта конструкция делает необходимым для нас обратиться к знаменитому «этнонимическому треугольнику» Иордана: *венеты* — *словене* — *анты*.

Иордан, закончивший «Гетику» незадолго до 550/551 г. и при ее написании широко опиравшийся на труд своего предшественника Флавия Магна Аврелия Кассиодора Сенатора «Готская история», заверченный, как обычно считают, не позднее 533 г.⁵², указывал, что у «левой стороны» Карпат, «которая склоняется к северу, от истока реки Вистулы на огромных пространствах обитает многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются славянами и антами» (Get. 34)⁵³. В другом месте (Get. 119) говорится: «Они же (венеты. — М. В.), как мы сказали в начале [нашего] изложения или в каталоге народов, произойдя из одного корня, породили три народа («три [народа, имеющих каждый свое] название»⁵⁴. — М. В.), то есть венетов, антов и славян...»⁵⁵.

Наиболее старое и частью удерживающееся до сего времени мнение состоит в толковании этих сведений Иордана (Кассиодора) как указания на реальное существование в его время «трех групп славянства»⁵⁶, что невозможно уже потому, что этноним *венеты/венеды* у славян никогда не был самоназванием⁵⁷, т. е. источник в данном случае понимается буквально и принимается без внутренней критики.

Новую конструкцию Иорданова «этнонимического треугольника» предложил А. Н. Анфертьев. Ее сильной стороной является проведенный ученым источниковедческий анализ. Он полагал, что информация Кассиодора о венетах (Iord. Get. 34 [первые предложения]) восходит в конечном счете к тому же источнику, что и сведения о них писавшего в самом конце I в. Тацита (Germ. 46. 2)⁵⁸, о славянах же и антах историк сведения получил от современников, готских информаторов (Iord. Get. 34 [последние предложения], 35)). Пользуясь присущим ему творческим методом, Кассиодор соединил эти два разделенные примерно полутысячелетием информационные блока, руководствуясь тем, что славяне и анты жили на той же (или примерно на той же) территории, что и, согласно более раннему источнику, венеты. Отсюда у него родился «вывод о том, что славяне и анты и есть венеты, точнее — что это название двух основных венетских народов»⁵⁹.

«В окончательном оформлении идеи о происхождении славян и антов *ex una stirpe* „из одного корня“ (§ 119), — писал далее А. Н. Анфертьев, — вероятно, сыграли свою роль также какие-то представления об их близком родстве, бытовавшие в готской среде. Не исключено, во всяком случае, что именно из этой среды Прокопий почерпнул свою информацию об этнокультурной близости славян и антов и их общем — в прошлом — имени «споры» (см. далее. — М. В.)... Не исключено..., что мы имеем дело с двумя вариантами одного рассказа». «Таким образом, — заключал А. Н. Анфертьев, — мы полагаем, что идентификация славян (и, добавим, антов. — М. В.) с частью венетов у И[ордана]... не имеет ничего общего с реальной историей»⁶⁰.

Что касается Кассиодора (> Иордана), то готский источник его информации вполне вероятен. Но, подчеркнем, считать, будто указанное представление сложилось у готов — по крайней мере рискованно; единственно относительно достоверным является то, и в этом мы согласны с А. Н. Анфертьевым, что оно, возможно, у них бытовало. Гораздо выше вероятность и допустимость другого — восприятие готами «словено-антского» этногонического предания (словено-антская среда > готы > Кассиодор > «Гетика» Иордана).

Мнение же о готском источнике сведений Прокопия Кесарийского о некогда общем имени словен и антов («Да и имя встарь у склавинов и антов было одно. Ибо и тех и других издревле звали „споры“...» [VII.14.29]⁶¹) едва ли доказуемо. Обширная историография «проблемы „споров“» содержит многие другие решения, в том числе предполагался непосредственно «славянский» источник информации⁶². И если сведения Прокопия, и на наш взгляд являющиеся вариантом рассказа об одном «имени — корне» словен и антов, получены не от готов, а из иной среды, пусть даже не от славяно-гонов, это значительно повышает вероятность того, что перед нами — рефлексия «словено-антского» этногенетического предания, равно отразившегося и в «Гетике» Иордана, и в «Готской войне» Прокопия Кесарийского.

Иная проблема — причины причисления Кассиодором словен и антов к венетам, в результате чего, заметим, в его отразившемся у Иордана сочинении и родились так называемые три группы раннесредневекового славянства.

Согласно А. Н. Анфертьеву, идентификация антов и словен с венетами — искусственная конструкция Кассиодора, ничего общего не имеющая с реальной историей, результат контаминации им разнородных и разновременных источников. Но буквально здесь же исследователь писал, что «отождествление в германской среде славян с венетами могло способствовать тому, что в позднейшее время славян называли вендами (виндами и т. п.) в самых разных частях зоны славянско-германских контактов...»⁶³. Закономерно

напрашивается вопрос: благодаря чему произошло подобное отождествление? Доводя мысль автора до логического завершения, следует, видимо, полагать, что произошло это благодаря массовому чтению германцами «Готской истории» Кассиодора (не сохранившейся) и «Гетики» Иордана...

Весьма натянутой, явно призванной «вынести за скобки» «неудобный» факт выглядит попытка А. Н. Анфертьева объяснить то, что «венетами называют соседних славян прибалтийские финны», ссылаясь на загадочную «прибалтийско-скифскую эпоху», когда у финноязычного населения еще не было контактов со славянами, а наименование «венеты» относилось к другим соседям — «подлинным» венетам Тацита и лишь позднее «было перенесено на славян, переселившихся в северо-восточном направлении»⁶⁴.

Существует, наконец, и еще один «неудобный» — и отрицаемый А. Н. Анфертьевым — вероятностный факт, а именно отождествление венетов и антов готами в конце IV ст., задолго до написания труда Кассиодора.

Не исключая возможности опоры Кассиодора на более ранние источники в части сведений о венетах и их расселении, мы все же полагаем, что при отождествлении словен и антов с венетами и возведении их «родословия» к последним он руководствовался в первую очередь иными основаниями, чем «территория проживания» венетов, словен и антов, все же имеющими отношение к «реальной истории».

Существо дела, на наш взгляд, состояло в особенностях этнической номинации славофонов германцами готами, на устную традицию которых Кассиодор (или его предшественники) опирался в своей информации о словенах и антах начала VI в. Подобно тому, как позднее германцы именовали славян вендами, виндами и т. п., хотя им прекрасно было известно и их самоназвание, готы, с одной стороны, знали и тех, и других под аутоэтнонимами, с другой — равно могли называть бытовавшим в их среде экзотонимом *венеты*. Весьма вероятно, что из готской традиции Кассиодор почерпнул и представление о венетах как «общем корне» словен и антов.

В итоге для VI в. мы имеем готский ряд этнономастических тождеств: славяне = венеты, анты = венеты. Замечательно при этом то, что Кассиодор (или Иордан), видимо, сознавал, что в его время венетов, как отдельного «народа», не существовало. Ведь информация § 119 «Гетики» очевидным образом расходится со сведениями § 34, противоречит им: в § 34 фактически названы только *два* «венетских народа», и оба для VI в. — бесспорные реалии, тогда как венеты для времени Кассиодора в данном параграфе исчезают, «растворяясь» в словенах и антах.

Но дело в том, что § 119 «Гетики» содержит рассказ о покорении *венетов* готским «королем» Херманариком (Эрменриком), рассказ явно искусственного происхождения, измышленный предшествен-

никами Кассиодора (Иордана) или им самим для возвеличивания этого правителя, подчинившего якобы все окружавшие народы, как реальные, так и полулегендарные⁶⁵. Поэтому историк мог счесть необходимым «осовременить» венетов в том же § 119 и для VI в. Так, полагаем, возникли в § 119 «Гетики» три группы раннесредневековых венетов (а не, заметим, славян, как зачастую этот отрывок произвольно интерпретируют).

В отношении славофонов, таким образом, выстраивается следующий германский этнонимический ряд (по возрастающей хронологической глубине): в Средние века (и позднее) — славяне = венды, винды и т. п.; раннее Средневековье — заимствование прибалтийскими финнами у германцев наименования славян венетами⁶⁶ (в V в. устанавливаются регулярные контакты между Скандинавией и финноязычными прибалтами, а около VI в. начинается их взаимодействие с пришлыми носителями культуры ранних длинных курганов славяноязычными кривичами⁶⁷) и отождествление, с опорой на готскую традицию, словен и антов с венетами в «Гетике».

Открывает же этот ряд имя победителя антов Винитария, откуда следует тождество анты = венеты. Причисление готами антов *Voz'a* к венетам позволяет с большой долей уверенности полагать, что анты конца IV в. в глазах ближайших и достаточно хорошо их знавших германских соседей принадлежали к тому же «венетскому» лингво-культурному кругу, в который германцами позднее включались и этнические словене. А это уже серьезный аргумент в пользу той точки зрения, согласно которой среди антов конца IV ст. был, по крайней мере, весьма явствен и силен славяноязычный компонент, что единственно могло сделать возможным для готов отождествление венетов и антов. Большую весомость в этом контексте приобретает и «аргумент Боза».

В общей форме (с поправками на этническое славянство антов и существование группировки «славян-венетов») мы согласны с О. Н. Трубачевым в том, что «для готов-германцев описываемого Иорданом времени (IV в.) связь между славянами-венетами и славянами-антами не составляла тайны»⁶⁸.

Подводя некоторый итог этой части нашего «анто-словенского экскурса», мы должны констатировать, что определять характер антской общности VI–VII вв. в потестарно-политических терминах («союз племен», «племенное образование», «военно-политическое объединение» и под.) достаточных оснований нет, но имеются соображения, препятствующие подобной ее классификации. Равно нет оснований (кроме пресловутого *opinio communis*) и считать антов частью словенского метаэтнуса, этническими словенами, постулируя «первородство» словен по отношению к антам. Более того, парадоксальность ситуации заключается в том, что «славянство» (не в этническом, но по крайней мере в лингво-культурном смысле) якобы «маргинальных» антов, возможно, «процупывается» для вре-

мени даже более раннего, чем появляются достоверные сведения о собственно этнических словенах. Иное дело, что об антах IV ст. мы не можем обоснованно сказать — были ли они *еще* «союзом племен», или их общность *уже* носила этнический характер.

О равноценности, равноправности словен и антов VI в. свидетельствуют и этногонимические предания, донесенные Иорданом (< Кассиодором) и Прокопием Кесарийским. Станным образом их почему-то зачастую полагают основанием для постулирования этнического словенства антов. Однако если следовать «букве и духу» информации Иордана, то из нее следует, что некогда раньше словене и анты составляли одну общность («один корень»), у них было общее имя («венеты»), **теперь же** эта общность распалась на две. По сути то же сообщает Прокопий: «**встарь**» и склавинов, и антов звали одним именем («споры»), **теперь же** они, пользуясь оборотом «Повести временных лет», «прозвались своим именем», т. е. произошел распад былого единства, переставшего существовать. При этом, повторим, Иордан (< Кассиодор) и Прокопий, не исключено и даже весьма вероятно, пользовались сведениями, исходившими от славофонов (хотя и опосредованно) и отражавшими, таким образом, определенные стороны их самосознания.

На то, что четкое и осознанное разделение словен и антов было не просто отражением взгляда сторонних наблюдателей, «каким-то образом» вычленивших антов из «единого славянского этнического массива», но устойчивым фактом *самосознания*, на наш взгляд, имеется выразительное аутентичное свидетельство. У Прокопия Кесарийского в «Готской войне» содержится следующий рассказ: анты и склавины, оказавшись в ссоре друг с другом, вступили в сражение, в котором анты потерпели поражение. Склавины были взяты в плен юноша по имени Хилвудий. Его решил выкупить некий состоятельный ант, которому Хилвудий рассказал «в правдивой речи», что «**родом он и сам ант** (выделено нами. — М. В.)» и «поскольку вернулся в отчие места, то впредь и сам будет свободен» (VII.14.18)⁶⁹.

Достаточно признать членение на словен и антов фактом самосознания, а не следствием неких «этнографических особенностей», как без натянутости получает объяснение с некоторым недоумением вскользь упомянутое В. В. Седовым наличие в византийской армии во время войны с сасанидским Ираном в кампании 555–556 гг., согласно «Историям» Агафия Минирейского (около 530 — около 582), с одной стороны, анта Дабразега (III.21.6)⁷⁰, с другой стороны, словенина («склава») «именем Сваруна» (IV.20.4)⁷¹.

Не находя достаточных оснований для принятия ранее высказывавшихся точек зрения о характере антской общности VI–VII вв. и памятуя о том, что общность с самоназванием **slovēne* для VI–VII ст. безусловно являлась метаэтнической, мы должны прийти к выводу о том, что и антская общность этого времени

носила аналогичный характер. Преимущество данной гипотезы состоит, во-первых, в том, что она непротиворечиво, без необходимости прибегать к натяжкам и дополнительным толкованиям объясняет практически все известные ныне связанные с антитезой словене — *анты* факты и, во-вторых, на факты же опирается, в отличие от превратившейся в необсуждаемый научный постулат гипотезы об антах как соподчиненной части словен, фундированность которой оставляет желать большего.

Преыдущая часть нашего «анто-словенского экскурса» опираясь преимущественно на некоторые положения теории этноса, письменные и археологические источники. Но не менее важно постараться, хотя бы гипотетически, объяснить «в пространстве и времени», каким образом могла сложиться ситуация, в условиях которой в VI — начале VII в. на раннесредневековой исторической сцене оказались два равноценных славяноязычных метаэтнических образования. Фактической основой дальнейших построений служат «славянские разыскания» В. В. Седова⁷², теория которого сегодня нам представляется наиболее проработанной и цельной.

На рубеже н. э. в Висленском регионе существовала особая этнографо-лингвистическая (лингво-культурная) общность — «наследник» культуры подклёшевых (подклошевых) погребений (400–100 гг. до н. э.), входившая в состав пшеворской археологической культуры. Ее западные соседи, германцы, ощущали отличие данной общности от круга собственно германских племен и обозначали экзотонимом *венеты*. В «венетскую» общность входили (или ее составляли) будущие «словене» и «анты», находившиеся на этапе этногенеза, т. е. еще не обладавшие прочно сформировавшимся этническим самосознанием и не имевшие общего самоназвания⁷³.

Уже с конца I в. до н. э. начинается продвижение «пшеворцев» в юго-восточном направлении, а затем далее на восток. В итоге, уже в рамках черняховской археологической культуры, складываются два ее субрегиона, два варианта — Верхнеднепровский и Подольско-Днепровский (для нас симптоматично, что ранее В. В. Седов их не разделял, объединяя в цельный Подольско-Днепровский регион⁷⁴; выделение же им ныне двух интересующих нас вариантов черняховской культуры можно трактовать как косвенное подтверждение верности логики выстраиваемой гипотезы). В их ареалах, в ходе взаимодействия с субстратными насельниками и их постепенной ассимиляции, у славяноязычного населения этногенетические процессы вступают в завершающую фазу. Не позднее конца IV в. в Подольско-Днепровском регионе уже сложился социум (союз племен? образование этнического характера?) с самоназванием *анты*.

К началу VI ст. (по косвенным соображениям — сравнительно незадолго до этой даты) под воздействием внутренних (см. выше) и

внешних⁷⁵ причин происходит сравнительно быстрая (в историко-хронологическом масштабе кажущаяся едва ли не «мгновенной») этническая консолидация славяноязычного населения Верхнеднестровского региона и ряда сопредельных территорий (археологический индикатор — формирование пражско-корчакской культуры), следствием которой стало возникновение словенского этнического самосознания, венчавшегося появлением аутоэтнонима **slověne*.

Анты же, так же как и словене, выходцы из «венетского» ареала пшеворской культуры, но оказавшиеся в иных местах расселения, чем более западные славофоны, и формировавшиеся на ощутимо ином, преимущественно иранском, субстрате, остались в стороне от процессов этнического генезиса словенского образования, не участвуя в них, не став (и не считая себя) частью словенской метаэтнической общности, т. е. не имея соответствующего самосознания. Под воздействием принципиально тех же факторов, что отмечены выше для словен, генерировался (консолидировался) отдельный славяноязычный метаэтнос с самоназванием *анты* (археологический эквивалент — пеньковская культура). (Мы склонны придавать совокупности именно данных обстоятельств решающее значение в сложении этнических антов, а не специфике субстрата (иранцы сармато-аланы), в основном отличавшегося для такового для словен.)

В итоге, по крайней мере к первой половине VI в., когда словене и анты выходят на страницы письменных источников, славяноязычный мир раннего Средневековья оказался разделен на два метаэтнических образования (общности), с сепаратными самосознанием и аутоэтнонимами. Вместе с тем очевидная не только для внешних наблюдателей, но и для самих словен и антов их лингво-культурная близость и особенно осознание происхождения от «одного корня», существовавшего некогда «встарь» (в археологической интерпретации — «пшеворцы» Висленского региона) позволяет думать, что в самосознании населения, составлявшего два славяноязычных метаэтнуса, присутствовали элементы, так сказать, суперметаэтнического словено-антского самосознания.

Этническое самосознание славофонов в первые века раннего Средневековья в результате имело весьма сложную структуру, иерархию уровней:

— элементы суперметаэтнического словено-антского самосознания;

— словенское самосознание — антское самосознание;

— самосознание отдельных племен и их союзов, так называемых этносоциальных общностей.

Письменные источники не содержат никаких оснований полагать, что в VI — начале VII в. самосознание этнических антов являлось недостаточно четко оформившимся, устойчивым, своего рода «мягким». Вместе с тем имелись мощные объективные факторы, способствовавшие его дезинтеграции. Присутствие некоторых элементов словено-антского суперметаэтнического самосознания, в совокупности с общей языковой и культурной близостью, явилось важнейшей причиной относительно быстрой утраты антами собственного самосознания на основной территории их расселения, возможно, в течение VII в. (косвенным индикатором может служить то, что верхним хронологическим рубежом пеньковской культуры является VII в., затем она сливается с иными археологическими культурами Восточной Европы — пражско-корчакской и восходящими к ней культурами типа Луки-Райковецкой и роменской, принадлежавшими этническим словенам).

Те же обстоятельства, полагаем, обусловили скорое размывание антской этнической самоидентификации и вне основной территории расселения антов, его переключение на словенское этническое самосознание: хотя анты-«пеньковцы» приняли самое активное участие, вместе со словенами, в центральноевропейско-балканской экспансии, вне основной территории этноним *анты* источниками не фиксируется для обозначения какой-либо группы славяноязычного населения. (Это обстоятельство, кстати, можно рассматривать как косвенное подтверждение тезиса о том, что анты не являлись «союзом племен». Ведь самоназвания таких подлинно племенных союзов, как *хорваты*, *сербы*, *северяне* (*северы*), возникшие в условиях «славяно-иранского симбиоза» в Подольско-Днепровском субрегионе черняховской культуры, оказались устойчивы и после миграционной иррадиации их носителей из антского (пеньковского) ареала.)

Что переключение с антского самосознания на словенское могло быть весьма быстрым, свидетельствует, например, тот факт, что часть «пеньковцев», увлеченных движением на запад авар, вместе с ними в 560-е годы обосновалась в Среднем Подунавье⁷⁶. В дальнейшем, однако, во всех источниках «союзниками» авар в данной области называются только славяне, но никогда анты, что затруднительно объяснить, если предполагать сохранение антского самосознания и самоназвания *анты*, тем более что для второй половины VI — начала VII в. анты не являлись архаизмом и антская общность на основной территории продолжала безусловно существовать и оставаться хорошо известной раннесредневековым писателям.

Предлагаемая «словено-антская» этнолого-археологическая конструкция носит гипотетический характер — уже даже потому, что теория В. В. Седова является на сегодня отнюдь не единственной из предлагаемых. Но что касается этнологической части тезисно обрисованного конструкта, то мы не усматриваем в нем противоре-

чий и запретов теоретико-методологического характера; равно не противоречит он известным ныне материальным (археологическим) и письменным источникам.

Итак, согласно нашей точке зрения, в том этническом и этногенетическом «котле», который «кипел» в «варварской» Европе в эпоху Великого переселения народов, по историческим меркам практически одновременно (по крайней мере) родились и некоторое время существовали параллельно два равноправных славяноязычных этнических образования. И, возможно, будь История более «благосклонна» к антам, последующая этническая картина славяноязычного мира могла быть существенно иной.

Примечания

- ¹ См.: В. В. Седов. Проблема происхождения и начальной истории славян // Историко-археологическое изучение Древней Руси: Итоги и основные проблемы. Л., 1988, с. 21; Он же. Славяне в древности. М., 1994, с. 61. См. также: М. А. Васильев. Следует ли начинать этническую историю славян с 512 года? // Славяноведение, 1992, № 2, с. 5; Он же. [Рец. на:] В. В. Седов. Славяне в древности. М., 1994 // Там же, 1996, № 4, с. 98; Е. П. Аксенова, М. А. Васильев. Проблемы этногонии славянства и его ветвей в академических дискуссиях рубежа 1930–1940-х годов // Там же, 1993, № 2, с. 102, 104.
- ² «Объект знания, — писал Г. П. Щедровицкий, — существует независимо от знания, он существует и до его появления. Предмет знания, напротив, формируется самим знанием. Начиная изучать или просто „включая“ в деятельность какой-либо объект, мы берем его с одной или нескольких сторон. Эти выделенные стороны становятся „заместителем“ или „представителем“ всего многостороннего объекта; они фиксируются в знаковой форме знания». Это объективированное знание и образует предмет знания. «В специально-научном анализе мы всегда рассматриваем его как адекватный объекту... Но при этом надо всегда помнить... что предмет знания не тождествен объекту...». И далее: предмет знания «предстает перед человеком в объективированном виде как существующий помимо объектов, от которых он был абстрагирован. Его объективированная „данность“ порождает иллюзии — как будто бы имеют дело с самим объектом». См.: Г. П. Щедровицкий. Проблемы методологии системного анализа. М., 1964, с. 14, 16.
- ³ См. также: М. А. Васильев. Следует ли начинать этническую историю славян с 512 года?; Он же. Славяне и анты: К проблемам этногенетических и раннеэтноисторических процессов в славяноязычном мире // Славяноведение, 1993, № 2; Он же. [Рец. на:] В. В. Седов. Славяне в древности; Он же. [Рец. на:] В. В. Седов. Славяне в раннем средневековье. М., 1995 // Славяноведение, 1997, № 2.
- ⁴ С. А. Арутюнов. Фактор безэтничности // Расы и народы. М., 1989, вып. 19, с. 23.
- ⁵ В силу большого количества литературы укажем только на следующие работы: М. В. Крюков. Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза // Расы и народы. М., 1976, вып. 6; Он же. О некоторых закономерностях эволюции этнического самосознания (Заметки на полях книги «Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма». М., 1989) // Со-

- ветская этнография, 1990, № 4; Ю. В. Бромлей. Очерки теории этноса. М., 1983; Н. Г. Волкова. Этническая история: содержание понятия // Советская этнография, 1985, № 5; Ю. М. Лесман. К теории этногенеза: этногенез древнерусской народности // Скифы. Сарматы. Славяне. Русь. СПб., 1993.
- ⁶ Свод древнейших письменных известий о славянах. 2-е изд., испр. М., 1994, т. I: (I–VI вв.), с. 170.
- ⁷ Там же, с. 177, см. также: с. 210–212.
- ⁸ М. В. Крюков. Эволюция этнического самосознания..., с. 61, 62. См. также: В. И. Козлов. О понятии этнической общности // Советская этнография, 1967, № 2, с. 104; Л. Е. Куббель. Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового и раннеклассового общества // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М., 1982, с. 128; История первобытного общества. Эпоха классового общества. М., 1982, с. 320–321; Ю. В. Бромлей. Очерки теории этноса, с. 267.
- ⁹ Ю. М. Лесман. К постановке методических вопросов реконструкции этногенетических процессов // Славяне. Этногенез и этническая история (Междисциплинарные исследования). Л., 1989, с. 15.
- ¹⁰ В. А. Никонов. Этнонимия // Этнонимы. М., 1970, с. 25; Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров. О древних славянских этнонимах (Основные проблемы и перспективы) // Славянские древности: Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980, с. 12, 17; О. Н. Трубачев. Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на **eninz*, **janinz* // Этимология, 1980. М., 1982, с. 12.
- ¹¹ В. А. Никонов. Этнонимия, с. 15–16; Я. В. Чеснов. О социальной мотивированности древних этнонимов // Этнонимы, с. 48; М. В. Крюков. «Люди», «настоящие люди» (к проблеме исторических типологий этнических самоназваний) // Этническая ономастика. М., 1984.
- ¹² Подробнее см.: Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 59–62.
- ¹³ Ю. М. Лесман. К теории этногенеза..., с. 101.
- ¹⁴ Г. С. Лебедев. Археолого-лингвистическая гипотеза славянского этногенеза // Славяне. Этногенез и этническая история, с. 105–106.
- ¹⁵ Д. А. Мачинский. Территория «Славянской прародины» в системе географического и историко-культурного членения Евразии в VIII в. до н. э. — XI в. н. э. (контуры концепции) // Там же, с. 122.
- ¹⁶ Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. Киев, 1990, с. 354.
- ¹⁷ Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 58.
- ¹⁸ Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. — первой половине I тысячелетия н. э. М., 1993, с. 195.
- ¹⁹ Подробнее см.: М. В. Крюков. Эволюция этнического самосознания...; Он же. Этнические и политические общности: диалектика взаимодействия // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе.
- ²⁰ Ю. М. Лесман. К теории этногенеза..., с. 99.
- ²¹ См., например: В. Я. Петрухин. К дискуссии о начале славянской этнической истории // Славяноведение, 1993, № 2, с. 4.
- ²² См.: Ю. В. Бромлей. Очерки теории этноса, с. 81–87.

- 23 Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 183, 185.
- 24 Там же, с. 369.
- 25 См.: С. А. Иванов. Откуда начинать этническую историю славян? (По поводу нового труда польских исследователей) // Советское славяноведение, 1991, № 5, с. 4–5, 7, 11; М. А. Васильев. Следует ли начинать этническую историю славян с 512 года?, с. 17–18.
- 26 Развитие этнического самосознания славянских народов в период раннего средневековья. М., 1982, с. 24.
- 27 Там же, с. 25.
- 28 Подробнее см.: О. В. Иванова, Г. Г. Литаврин. Славяне и Византия // Раннефеодальные государства на Балканах, VI–XII вв. М., 1985, с. 46–56.
- 29 Развитие этнического самосознания..., с. 27.
- 30 О. Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991, с. 93.
- 31 В. В. Седов. Славяне в раннем средневековье. М., 1995, с. 82.
- 32 Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 203.
- 33 Там же, с. 247.
- 34 В. В. Седов. Славяне в раннем средневековье, с. 82. Аналогично см. ранее: В. В. Седов. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979, с. 124–125.
- 35 См.: Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период, с. 338–344, 350; В. В. Седов. Славяне в древности, с. 290–296.
- 36 См.: Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период, с. 344–346, 350; В. В. Седов. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982, с. 26; Он же. Славяне в древности, с. 316–317.
- 37 См.: Г. С. Лебедев. Археолого-лингвистическая гипотеза славянского этногенеза, с. 110–111; Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период, с. 350–351; В. В. Седов. Славяне в древности, с. 290–296, 316–317.
- 38 Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 108–109.
- 39 Там же, с. 139.
- 40 Там же, с. 159 (суждение А. Н. Анфертьева).
- 41 См., например: И. П. Русанова. Славянские древности VI–VII вв. М., 1976, с. 112.
- 42 Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 159.
- 43 Там же, с. 114–115.
- 44 См.: Там же, с. 159–160.
- 45 О. Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян, с. 11, 229.
- 46 Свод древнейших письменных известий о славянах. 2-изд., испр. М., 1995, т. II: (VII–IX вв.), с. 23.
- 47 Там же, т. I, с. 375, 389.
- 48 Там же, с. 160.
- 49 См.: Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, комментарий. М., 1989, с. 158, 159, 391.
- 50 Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 160.
- 51 Ф. А. Браун. Разыскания в области готско-славянских отношений. СПб., 1899, с. 252, прим. 1, 333; Иордан. О происхождении и деяниях гетов. *Getica* / Вступит.

статья, перевод, комментарий Е. Ч. Скржинской. М., 1960, с. 320; *О. Н. Трубачев*. Germanica и Pseudogermanica в древнейшей ономастике Северного Причерноморья. Этимологический комментарий // *Этимология*, 1986–1987. М., 1989, с. 51; *Он же*. Этногенез и культура древнейших славян, с. 89, 229; *В. П. Буданова*. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990, с. 133. А. Н. Анфертьев (*Свод древнейших письменных известий о славянах*, т. I, с. 146–147) категорически отвергал первую из указанных этимологий, ссылаясь на мнение Фёрстеманна, далеко не единственно возможное, с самыми пессимистическими заключениями о месте и времени готско-«венетских» контактов.

- 52 Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 99.
- 53 Там же, с. 107.
- 54 Там же, с. 154.
- 55 Там же, с. 111.
- 56 К историографии вопроса см.: Там же, с. 33.
- 57 См.: *М. А. Васильев*. [Рец. на:] *В. В. Седов*. Славяне в древности, с. 99.
- 58 См.: Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 39.
- 59 Там же, с. 131.
- 60 Там же, с. 132.
- 61 Там же, с. 185.
- 62 См.: Там же, с. 227–228; *Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian*. Wrocław; Warszawa; Kraków, etc., 1989, z. 2. Seria greca, s. 89.
- 63 Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 132.
- 64 Там же.
- 65 Там же, с. 153–154.
- 66 Там же, с. 58.
- 67 *В. В. Седов*. Восточные славяне в VI–XIII вв., с. 46–58; *Он же*. Первый этап славянского расселения в бассейне озер Ильменя и Псковского // *Новгородские археологические чтения*. Новгород, 1994, с. 132–135; *Он же*. Славяне в раннем средневековье, с. 211–217.
- 68 *О. Н. Трубачев*. Этногенез и культура древнейших славян, с. 89.
- 69 Свод древнейших письменных известий о славянах, т. I, с. 183. Попытка комментаторов данного рассказа провести границу между «склави́нами» и антами не по этнической линии, а путем трактовки антов как «племенного союза», враждебного в какой-то исторический момент «склави́нам» (Там же, с. 218), по указанным выше причинам нами принята быть не может.
- 70 Там же, с. 295.
- 71 Там же, с. 297.
- 72 См. в первую очередь новейший двухтомник ученого «Славяне в древности» и «Славяне в раннем средневековье».
- 73 В. В. Седов, отстаивая тезис о славянском этническом характере населения уже культуры подклёшевых погребений, писал: «Этноним *славяне* — самоназвание славянского этноса. Очевидно, он появился не сразу в момент его становления. Формирование этноса и рождение этнонима — явления часто не одновременные. О. Н. Трубачев (см.: *О. Н. Трубачев*. Этногенез и культура древнейших славян, с. 90. — *М. В.*)... отмечает, что появлению этнонима обычно „...предшест-

вовал длительный период относительно узкого этнического кругозора“, когда самоидентификация выражалась понятиями «мы», «свои», «наши», «люди (вообще)» (В. В. Седов. Славяне в древности, с. 147). Но как раз «узкий этнический кругозор», перечисленные самоопределения, более по своему характеру соседско-территориальные и/или кровно-родственные, чем этнические, свидетельствуют о том, что этногенетический процесс во второй половине I тыс. до н. э. был далек от завершения, а значит — в нашем случае — метаэтнической общности с самоназванием *словене* просто еще в тот период не было.

⁷⁴ В. В. Седов. Происхождение и ранняя история славян, с. 95, рис. 17.

⁷⁵ В конкретном историческом контексте к ним в данном случае могут быть отнесены, во-первых, «миграция, когда в условиях переселения, освоения новых земель и связанного с ними противостояния с окружающими необходимо укрепление взаимопомощи и координации действий» (Ю. М. Лесман. К теории этногенеза..., с. 99); во-вторых, «внешняя по отношению к общности экспансия (завоевание или его опасность, миграции, проходящие через территорию общности [в нашем случае речь должна идти о гуннах и, ранее, о готах. — М. В.]...), когда объединение и взаимопомощь больших групп людей позволяет сохранить... самую жизнь малых коллективов...» (Там же).

⁷⁶ В. В. Седов. Происхождение и ранняя история славян, с. 126–127; Он же. Славяне в раннем средневековье, с. 120–124; А. Авенариус. Авары и славяне. «Держава Само» // Раннефеодальные государства и народности (VI–XII вв.). М., 1991, с. 28.

Русь и Ганза: модель языкового контакта

Задача контрастивного моделирования языкового контакта не может формулироваться вне понятия текста. При переводе текста статуты или городского права, либо обмене официальными грамотами или составлении двустороннего договора трудно сопоставлять возможности языковых систем непосредственно, так как представление данного конкретного и жестко регламентированного текста в языке-цели не зависит напрямую от набора языковых средств, которые предоставляет для этого языковая система. Он в большой степени диктуется законами данного жанра в языке-цели, и языковые средства способны выполнить свою задачу лишь в меру той свободы, которая определена в их выборе рамками этого жанра. «Объектом сопоставительного анализа могут быть единицы любого уровня языка: фонемы, слова, грамматические явления вплоть до текста» (Гак 1989, 10), а в случае правовых текстов такими единицами должны быть именно тексты в первую очередь, так как их правовая и доказательная сила заключается не только в их содержании и в скрепляющих их печатях, но и в их форме. Стилиевые формы правового текста обладают содержанием и ценностью (Schmitt 1966, 139), и только в зависимости от результатов их сопоставления для последующих исследовательских шагов могут избираться более элементарные единицы.

Контрастивное сопоставление на уровне текстов может дать двоякий ответ: 1) в случае легкого и однозначного полного переключения с одной системы на другую на уровне текста может сразу ставиться вопрос о языковой реализации этого текста; 2) в случае же релевантных различий на уровне текста, не позволяющих беспрепятственной адекватной передачи жанровой формы языка-основы аналогичной формой языка-цели, интерферентные явления возникнут на уровне текста, и внутри типа аналогичных текстов языка-цели может выработаться частная модификация, разновидность текстов данного типа, обладающая чертами, происходящими из данного языка-основы.

В ситуации культурных, торгово-дипломатических — и языковых — контактов Руси с Северной Германией самыми распространенными явлениями трансференции и интерференции являются заимствованные лексемы. Например, в процессе контакта нижненемецкого и русского языков наблюдаются как русские заимствования в нижненемецких текстах (см. в работах историков: Goetz 1922; Koppmann 1893), так и нижненемецкие — в русских текстах (Gardiner 1965; Thomas 1978; van der Meulen 1909). Это названия

мер весов, денег, товаров, титулов официальных лиц или инстанций и некоторые другие понятия, в отношении которых авторы текстов на языке-цели не сочли правильным употребление родного слова или проявляли в этом вопросе колебания. Товары, деньги и меры веса представляют собой денотаты, в отношении которых язык-цель не располагает собственным термином и поэтому заимствует их из языка-основы: ср. заимствованные из русского *kune* «куна» (первоначально кунья шкурка, используемая в качестве разменной единицы), *soltnyck*, *zlotnyk* «золотник», *muszkowike* «московка», *rubel* «рубль», *borahne* «овчина», *apecki* «опойка (телячья шкура)», *schevenyssen* «шевница», *troynisse* «тройница», *doyenisse* (сшитые вместе малоценные шкурки меха) и др.). К этой же группе относятся предметы, представляющие географическое или техническое своеобразие Руси, например обозначение русской ладьи нем. *loddige*:

«...de loddige steit...» (перевод русской грамоты 1441 г. городу Колывани о Петре, ладья которого была разграблена, L-E-CUB, 9, Nr. 793) [1]¹.

«...in die lodige...» (договор о перемирии с Ливонией на 20 лет 1531 года, см. Napiersky 1868, Nr. CCCLXXVII) [2].

Названия частей русского дома употреблялись ганзейцами в новгородской общине в отношении их жилища: *clete* «помещение в доме, в т.ч. в Петровом дворе Ганзы в Новгороде, ср. в новгородской скре; *potklet* «цокольное помещение, кладовая» (ср. рус. клеть), *de senicke unde de dornsze* «сенник и горница» (сообщение о пожаре ганзейского двора в Новгороде, L-E-CUB, 9, Nr. 816, S. 559). В отношении этих денотатов колебаний в текстах не обнаружено, очевидно, они прочно связаны с местным колоритом или воспринимались как отличающиеся существенным образом от соответствующих предметов родного обихода, т.е. помещений немецкого жилища или ганзейского судна. Интересно, что ситуация симметрична: для русских немецкое судно, нем. *Kogge* также достаточно специфичное транспортное средство, для которого было сделано заимствование, ср. рус. *коча*. Они представляют собой чистые трансференты, то есть перенесены в систему нижненемецкого без нарушений или возмущений в этой системе и не вызвали в ней никаких перестроек.

Частным случаем такой трансференции может считаться калькирование, как перенос путем передачи нового понятия средствами собственного языка. Этот перенос, хотя и связан с использованием средств и возможностей языка-цели, не вызывает системных возмущений и перестроек.

Титулы и названия инстанций могут обозначаться как заимствованными словами, так и аналогичными терминами своего языка. В этом отношении тексты обнаруживают колебания: «посадник» = *posadnik/borchgraf*; «тысяцкий» = *tytzadsek/hertog*; «погреб» (в знач. «тюрьма») = *pogribben/geuenkhnisse*, *veste* (ср. *in de veste setten*: Napiersky 1868, Nr. CCCLXXX, 1550). Некоторые явления,

в общем не связанные исключительно с Русью, очевидно, воспринимались ганзейцами в контексте русской специфики и поэтому также обозначались русскими (или иными славянскими) заимствованиями: граница = *grenitze* (без колебаний) (L-E-CUB, 827–80; Napiersky 1868, Nr. CXCVIII); взятка, посул = *passul*, но часто и нижненемецкие слова *gaue*, *giff* (Napiersky 1868, Nr. CCCLXXX, 1550)².

Что же касается второй группы — контактных явлений на уровне текста, то они могут привести к тому, что, например, грамоты или уставы, переведенные на русский язык с нижненемецкого, будут отличаться от собственных русских грамот и уставов, и наоборот. Внутри жанра текстов «немецкая грамота» должен в этом случае образоваться подтип «немецкая грамота, касающаяся русских дел». Контрастивный анализ в жанре грамот может выявить различия как в структуре русских и нижненемецких (или точнее для нашего случая, ганзейских) грамот, так и в выборе тех или иных способов наполнения этой структуры — специфических клише языка грамот, называемых формулами, либо в лексическом наполнении как формул, так и менее клишированных и потому больше подверженных варьированию частей грамоты. Результатом такой интерференции на уровне текста могут быть новые формулы, созданные под влиянием языка-основы, или измененные собственные формулы, либо специфическое для данного географического контекста лексическое наполнение. В последнее в конце концов входит, в качестве составной части, лексическая трансференция, упомянутая выше, а также и географически ограниченное, маркированное употребление собственных лексем.

Отбор языковых, в том числе и лексических, средств для выражения сходного содержания, являющийся одним из интереснейших объектов контрастивной лингвистики (Гак 1989, 14), может наиболее корректным образом исследоваться именно в рамках сопоставления текстов одного типа (Textsorte), так как в этом случае обеспечено единство структурно-жанровых, содержательных и формальных параметров сопоставляемых явлений. На этом методически строгом фоне четче выявляются и такие интерферентные явления, как измененная дистрибуция слов, не влекущая за собой нарушений в правилах системы языка-цели и потому неуловимая для метода анализа ошибок. Под дистрибуцией мы понимаем, применительно к жанрам правовых текстов, предпочтение тех или иных лексем/выражений из круга допустимых вариантов, в том числе и различное географическое распределение, т.е. соотносительность варьирующихся явлений с диалектными зонами (Ладо 1989, 37). Учитываемая при этом Р. Ладо дистрибуция по различным социально-групповым уровням отсутствует в корпусе правовых текстов в силу их социолингвистической однородности, о которой будет сказано ниже.

Выявление столь тонких интерферентных черт связано с определенными трудностями, так как они могут, в отличие от ошибок,

не обладать яркой маркированностью. Во-первых, необходимо быть уверенным, что данный случай дистрибуции действительно представляет собой вариант формулы (устойчивого выражения), а не просто словоупотребление в условиях свободного выбора. Во-вторых, в условиях контакта близкородственных языков, таких, как, например, средненижненемецкий и датский или тем более средне-нидерландский, различия подчас слишком малы, чтобы можно было сделать точную атрибуцию того или иного факта.

В связи с этим предстоит принять две стратегии.

1. Выявление географически ограниченного варианта возможно лишь в результате трехстороннего контрастирования — нижненемецких текстов, содержащих предполагаемые интерференты/трансференты, с текстами на том языке, откуда предположительно пришло влияние, и с нижненемецкими же текстами, находящимися за пределами той географической области, которая затронута предполагаемым контактом.

2. При выборе пары контактирующих языков целесообразно остановиться на языках, генетически или системно максимально удаленных друг от друга и потому обладающих достаточно заметными расхождениями в системах.

В связи с важностью социолингвистического аспекта в данной работе следует не ограничиваться учетом расхождений в чисто языковом отношении, но ставить вопрос шире, сопоставляя, по Р. Ладо, не только элементы языка, но и элементы культуры (Ладо 1989), к которой в большой степени относится национальная традиция делового письма и права вообще.

Для выявления характера и степени контактности нижненемецкого необходимо остановиться в качестве партнера по контакту на языке, обладающем аналогичной, или по крайней мере достаточно развитой, собственной функциональной парадигмой, включающей письменный канцелярский язык, при достаточной генетической отдаленности. Русский и английский языки, с одной стороны, в достаточной степени удалены от нижненемецкого в XIII–XVI веках и, с другой стороны, обладают самостоятельной развитой функциональной парадигмой, включающей наряду с прочими функциональными стилями деловой язык. Немаловажно и то, что оба они изучены с точки зрения существовавших в этот период форм письменного литературного языка, и в данной работе можно опереться в этих вопросах на знания, накопленные историками этих языков.

В данной работе предпринята попытка разработки модели контактного поведения нижненемецкого в ситуации его контакта с русским языком. Для сравнения с результатами исследования русско-нижненемецких контактных явлений проведено аналогичное обследование другого корпуса материалов, связанного с международной деятельностью Ганзы, а именно, корпуса документов англо-ганзейских связей. Однородность материала в хронологическом,

содержательном и функционально-стилистическом аспектах на фоне контрастирующих географических и культурных ситуаций позволит корректно сопоставить результаты и выявить их корреляцию с особенностями социалингвистических и экстралингвистических обстоятельств.

1. История изучения русско-нижненемецких контактов

В лингвистической литературе вопрос о русско-ганзейских языковых контактах и о вкладе нижненемецкого в русский язык еще не получил глубокого освещения. Так, ряд историков русского языка, в основном работающих за рубежом, уделяют в своих исторических грамматиках место, впрочем, весьма ограниченное, перечню нижненемецких заимствований в русский язык (Vlasto 1986; Kiparsky 1975). В некоторых случаях эти заимствования первично классифицируются, например, В. Кипарский в своей исторической грамматике русского языка приводит списки заимствований из нижненемецкого допетровской и петровской эпох. Как правило, обращается внимание на лексемы, связанные с международной торговлей, в частности, между Новгородом и Псковом, Полоцком и Витебском, с одной стороны, и Ганзой и Ливонией, с другой. Гораздо шире охвачен материал заимствований в специальных монографиях С. Гардинера (Gardiner 1965) и в особенности Дж. Томаса (Thomas 1978), который привлек источники и картотеку, находящиеся в России, и представил материал в полноте, с примерами и ссылками по текстам. В книге также анализируются процессы, сопутствовавшие заимствованию (семантические изменения, грамматическая ассимиляция в русском языке и т. д.) и прослеживается судьба этих лексем в последующие эпохи. При этом трудность различения между заимствованиями в русском языке, сделанными из нижненемецкого или из нидерландского (а иногда и скандинавских языков), приводит к тому, что те и другие лексемы даются общим списком. Аналогичная трудность возникает и у историков английского языка, изучающих нижненемецкие заимствования в этом языке: ссылаясь на невозможность в ряде случаев различить нижненемецкий и нидерландский источники заимствования, исследователи рассматривают совокупный фонд заимствований из Low Countries, понимаемых как территория Нидерландов и Северной Германии вместе (ср. Bense 1924; Bense 1939).

Преодолеть эту трудность в русистике частично помогают специальные работы, очень немногочисленные, посвященные конкретной исторической эпохе или сфере деятельности: в этих случаях атрибуция заимствования подкрепляется экстралингвистически (van der Meulen 1909). Однако однозначное решение не всегда возможно: на-

пример, рус. *шкипер*, включенное ван дер Меленом в его список нидерландизмов из области мореходства, трактуется в книге А. Власто как несомненное заимствование из нижненемецкого (ср. Vlasto 1986, 277: «Low German, not Dutch or Scandinavian»). Другие трудные случаи связаны с различием между прямым заимствованием и опосредованным, например, через польский язык. В этих случаях, при отсутствии языковых указаний (ср., например, сохранение германского ударения в русском в слове «кóмната» в противоположность заимствованному через польский украинскому «kím'ната, см. Vlasto 1986, 277), исследователи ищут опоры в диалектной картине распространения этого слова в русском: северное расположение диалектных ареалов этого слова говорит в пользу прямого заимствования из нижненемецкого через новгородские связи, тогда как западная география заимствования косвенно свидетельствует о польском посредничестве через полоцко-витебские каналы торговли с Западом (ср. Thomas 1978).

Таким образом, несмотря на то, что языковедами проделана работа по документированной атрибуции, описанию и первичному анализу нижненемецкого лексического вклада в русский язык, многое еще предстоит сделать (аналогично обстоит дело в этой области и у историков-англистов). Кроме того, проблематика русско-нижненемецкого контакта, очевидно, не ограничивается заимствованиями. Ценным источником для изучения истории русского языка, несомненно, должны послужить возникшие уже с середины XIII века в процессе дипломатических и торговых контактов различные типы параллельных русско-нижненемецких текстов. Здесь в основном можно говорить о двух типах таких параллельных текстов.

Первый тип, более знакомый лингвистам, составляют русско-немецкие разговорники, самый известный из которых, нижненемецкий разговорник Тонниса Фенне 1607 года, издан уже в 1970–1986 гг. в полностью филологически и лингвистически подготовленной редакции Романом Якобсоном и Л. Хаммерихом (Hammerich, Jakobson 1970–1986) и представляет ценнейший и еще мало использовавшийся источник к изучению русских территориальных и социальных диалектов (см. там же, т. II, с. XIX). Его ценность как источника связана также с тем, что он снабжен нижненемецкой транслитерацией русских фраз, сделанной самим Фенне, которая по сути представляет, хотя и несовершенную, но тщательно и с большой наблюдательностью выполненную транскрипцию русской части разговорника. Его изучение в этом аспекте русской исторической диалектологии только начинается. Во-вторых, включая многочисленные переводы русских диалогов, поговорок на нижненемецкий, он демонстрирует и взаимодействие лексических, грамматических и фразеологических средств двух языков. Достаточно сказать, что Фенне приводит и толкует в своем разговорнике свыше

4 тысяч русских лексем. В-третьих, помимо эпизодов, связанных с профессиональной деятельностью купца, приехавшего в Псков, разговорник содержит диалоги из таких сфер повседневной жизни, которые в обычной ситуации никогда не находили отражения в текстах, а значит, он является уникальным источником материала живого народного разговорного языка (о значении материала Фенне для изучения разговорного языка см. Issatschenko 1980, 283). Другой русско-нижненемецкий разговорник опубликован и введен в научный обиход сравнительно недавно (Falowski 1993; Falowski 1996). Он датируется временем до 1568 года и, как и разговорник Фенне, написан немцем. Представленный в нем русский язык еще не изучен с точки зрения его диалектных черт, в целом же считается возможным предварительно отнести его к западнорусскому книжному языку (Яцимирский 1921); в связи с диалектной атрибуцией текста отмечается упоминание в нем о Пскове. Его изучение только начинается, причем пока лишь со стороны русистики, однако уже теперь ясно, что его материал предоставляет все те же возможности, что и материал Тонниса Фенне.

Второй тип параллельных русско-нижненемецких текстов представляют двуязычные тексты грамот, торговых и политических договоров. В отличие от разговорника Т. Фенне, эти тексты, хорошо знакомые историкам Ганзы и Руси, не изучались лингвистами. Между тем такие двуязычные документы, как Нибуров мир 1392 года (см.: Валк 1949, Nr. 49; HR, 1975, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45) или текст перемирия Ивана Грозного с Тевтонским орденом 1521 года (Napierksy 1868, 329–344), демонстрируют взаимодействие двух языковых систем — русской и нижненемецкой, — в специфической форме бытования этих языков, а именно делового языка, или языка грамот. В работе с этими текстами, правда, следует учитывать, что их систематические, начиная с середины прошлого века³, многочисленные публикации предназначались в качестве источников для историков, и их редакции адекватны далеко не всем лингвистическим задачам (Winge 1992, 43; Winge 1991, 146). Что же касается результатов изучения этого двуязычного корпуса материала, то они представляют двусторонний интерес, так как в них равным образом заинтересованы и русисты, и германисты. В данной работе внимание будет сосредоточено на тех данных, которые можно извлечь из материала русско-нижненемецких языковых контактов для пополнения картины внешних контактов нижненемецкого.

В отношении места русско-нижненемецких языковых контактов в кругу аспектов, связанных с историей нижненемецкого языка, следует сделать несколько замечаний. Во-первых, корпус текстов, отражающих эти связи, включает весьма значительное количество документов, написанных немецкой стороной и потому добротных в отношении самого нижненемецкого языка, представленного в них.

Их количество само по себе выдвигает их в ряд источников, изучение которых необходимо как с точки зрения знаний о самом нижне-немецком как таковом, так и для выяснения проблем, связанных с бытованием нижненемецкого за пределами своей территории. Справедливость первого из этих двух утверждений станет вполне очевидной, если представить себе хронологию появления русско-ганзейских текстов. Тексты на средненижненемецком языке, составленные на Руси и по поводу русских торговых дел Ганзы, относятся к наиболее ранним нижненемецким текстам, появившимся после долгого перерыва в письменной передаче, связанной с господством латыни в деловой и правовой сферах. Приведем датировки наиболее ранних текстов:

— первая редакция новгородской скры, т. е. устава общины ганзейских купцов, живших на Петровом подворье в Новгороде, относится, согласно последним данным, к середине XIII века, но не исключено и время вскоре после 1225 года (Schlüter 1911);

— договор немецких городов и Готланда (нижненемецкий текст и первоначальный набросок на латыни, см. Tobien 1845) с новгородским князем Ярославом, известный в исторической литературе как «грамота Ярослава» (die Jaroslav Urkunde), относится к 1269 году.

Если учесть, что наиболее ранними случаями перехода с латыни на родной язык в самой северной Германии были городское право города Брауншвейга (Jus Ottonianum) 1227 года, «Саксонское зерцало», очевидно, написанное до 1233 г., нижненемецкий текст городского права Любека между 1263 и 1267 годами (Peters 1985, 1216), гамбургский судебник *Ordelbok*, 1270 года (см. подробнее об этом в гл. III) и что первая городская грамота на нижненемецком языке составлена в Хильдесхайме лишь в 1272 году (всего же до 1299 года составлено на нижненемецком всего около 300 из общего числа 2500 немецких грамот, см. Peters 1973, 74), но в большинстве случаев речь идет не о городских, а о княжеских канцеляриях, а они не имели отношения к русско-ганзейским торговым взаимоотношениям, то становится ясным, что новгородские памятники на нижненемецком языке занимают в этом кругу весьма заметное и даже почетное место.

Рано сложилась и деловая корреспонденция на нижненемецком языке, связанная с Новгородом или адресованная Новгороду или из Новгорода на запад. Многочисленные грамоты, связанные с отношениями с Русью или циркулирующие между Русью и ганзейскими инстанциями, уже пишутся на нижненемецком языке в то время, когда внутриганзейские документы высокого уровня или протоколы и решения ганзейских съездов, рецессы, еще сплошь составлены на латыни: достаточно сравнить грамоту Висби ганзейским городам о пленении немецких купцов в Пскове 1362 года, написанную на нижненемецком (HR, Abt. I, Bd. 1, Nr. 290) с решением съезда ганзейских городов в Любеке в 1368 г., на латыни (там же,

№. 427). В 1360-е годы нижненемецкий начинает постепенно использоваться в ряде ганзейских городских канцелярий, причем ранее всего на востоке, но при этом все же позднее, чем в русско-ганзейских делах. Так, к ранним нижненемецким грамотам восточных канцелярий относятся грамота герцога Штеттинского 1364 года (HR, Abt. I, Bd. 1, Nr. 332), грамота епископа Каминского герцогу Штеттинскому 1364 года (там же, Nr. 333), и посольский отчет ганзейцев перед своей инстанцией в Любеке о перемирии между Ганзой и Данией, достигнутом при содействии герцога Штеттинского, 1364 года (там же, Nr. 334).

В корреспонденции с западными конторами Ганза придерживалась латыни гораздо дольше, чем в русской переписке, и даже дольше, чем в сношениях со своими восточными инстанциями. Так, с нидерландскими партнерами Ганза пользуется латынью до 1380 года (Schöndorf 1987, 49). Первая датская (королевская) грамота на нижненемецком языке относится к 1329 году (Carlie 1925, 35), но следующая — лишь к 1350 году, несмотря на то, что в условиях правления Ольденбургской династии датский двор и городская элита были сплошь нижненемецкоязычными (см. Winge 1992, 41–42); городские грамоты из Дании на нижненемецком имеются лишь начиная с 1459 года (Winge 1992, 62). В торговых делах Ганзы с Англией латынь держится вплоть до закрытия Стального двора ганзейских купцов в Лондоне королевским декретом 1579 года (ср. договор между Англией и Ганзой 1520 года, написанный на латыни, Lappenberg 1851, II, Nr. CLII), а первые английские нижненемецкие грамоты внутриганзейской циркуляции относятся к 1370-м годам (например, послание ганзейской конторы в Лондоне к ганзейским городам 1374 г., см. HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 99). Несколько раньше начинают появляться нижненемецкие грамоты в Норвегии. Так, в 1361 году канцелярия норвежского короля составляет на нижненемецком текст брачного обязательства короля перед Елизаветой Гольштинской (Schöndorf 1987, 50). Однако ганзейская контора в Бергене перешла на нижненемецкий позднее: первая грамота из Бергена была направлена в 1365 году в Росток, следующие четыре — в Любек (Schöndorf 1987, 49).

Таким образом, ценность русско-ганзейского корпуса нижненемецких текстов в хронологическом отношении не вызывает никаких сомнений. Но и в количественном отношении русско-ганзейские источники заслуживают внимательного изучения. Точно назвать число текстов или объем страниц весьма затруднительно, но можно сказать, что только в случае правовых текстов, касающихся институтов, находящихся на русской территории, и грамот, адресованных в инстанции или из инстанций, находящихся на русской территории, речь идет о многих десятках документов и сотнях страниц текста, представляющих материал к проблеме «нижненемецкий язык Ганзы на Руси». Эта проблематика столь же богата и ак-

туальна для истории нижненемецкого, как, например, аспекты его существования в Скандинавии или Прибалтике. Все эти упомянутые аспекты чрезвычайно интересны, при этом каждый характеризуется собственным большим своеобразием, например, тема нижненемецкого в ливонских городах входит в тематику «Нижненемецкий язык метрополии», тогда как изучение роли этого языка в различных частях Скандинавии дает нам целый спектр социолингвистических ситуаций для изучения его внешних языковых контактов в разнообразных конфигурациях контактирующих языков. Свое яркое своеобразие есть и в ситуации нижненемецкого контакта с русским языком.

К сожалению, из упомянутых аспектов систематическое освещение пока получил только один — судьба и роль нижненемецкого языка в Дании (Winge 1992). Полученные В. Винге результаты чрезвычайно интересны, и, кроме того, ее книга служит опорой и моделью для аналогичных исследований, однако проблематика датско-нижненемецких языковых контактов в ней не исчерпана. Что же касается соседства нижненемецкого и других скандинавских языков, то здесь можно назвать лишь отдельные статьи, посвященные нижненемецкому на норвежской, шведской, а также на датской территории (см. сборники *Niederdeutsch in Skandinavien*, I–IV; а также сборник Ureland 1977), свидетельствующие о пробудившемся интересе к судьбе нижненемецкого за пределами Германии, но также и о том, что работа в этой области только началась. Напротив, узким кругом старых работ ограничиваются сведения по англо-нижненемецким контактам (см. в целом устаревшие работы Bense 1924, 1939 и двухтомник Р. Прибша, Priebisch 1896, 1901, содержащий описание нижненемецких рукописей, находящихся в собраниях Англии). Недавним является и внимание к нижненемецкому в крайних восточных колонизованных землях; изучение нижненемецкого языка Риги или других балтийских городов только начинает приносить первые результаты (Lele 1995; Lele 1996; Pavidis 1996). В этот ряд по праву встает и задача изучения корпуса русско-ганзейских текстов, причем, в силу доброкачественности самого нижненемецкого языка этих текстов, они ценны как важное дополнение истории языка в метрополии. Исследования в этой области пока ограничиваются русско-немецкими разговорниками (Gernentz 1981; 1988; Rösler, Kopplow 1986; Rösler 1990).

Однако имеется и другой аспект, в котором русско-ганзейский материал приобретает дополнительное значение, а именно аспект контактности нижненемецкого, особенностей его контактного поведения при столкновении с другими языками. Ряд особенностей данного конкретного контакта — неблизкое родство языков, различия функциональных парадигм контактирующих языков, резкие различия в социокультурной ситуации Руси и ганзейских городов, религиозные и правовые различия и, наконец, столкновение столь

различающихся этнопсихологических типов, — все это делает данный материал ценным для изучения нижненемецкого в контактной ситуации, сильно отличающейся от прочих и предоставляющей опору для сравнения и выведения наиболее общих черт, присущих нижненемецкому как смешанному по происхождению и активному по контактному поведению. Для такого сравнения можно привлечь данные о контактной ситуации в Дании, представленные в монографии В. Винге (Winge 1992), и отдельные факты, собранные в статьях, посвященных функционированию нижненемецкого в странах других скандинавских языков. Однако для контрастивных методик более целесообразно рассмотрение контакта на примере системно менее близких языков, в связи с чем параллельное исследование на аналогичном материале предпринято в отношении нижненемецкого языка в Англии.

В данной работе внимание сосредоточено на особенностях контактов нижненемецкого с другими языками. Для решения этой задачи необходимо вовлечь в круг исследования дополнительный материал. Помимо весьма внушительного по объему корпуса текстов, прямо обращенных в инстанции или из инстанций, находящихся на Руси, для прослеживания контактных явлений в нижненемецком языке следует рассмотреть и данные, не связанные прямо с русским адресатом или автором, но связанные с русско-ганзейским культурным контекстом. Например, помимо грамот, направленных в Новгород или из него, следует привлечь и письменные свидетельства третьих сторон о тех же событиях, а также общие документы ганзейских съездов, в которых в конечной инстанции отражается русско-ганзейская информация. Строго говоря, грамоты, направляемые, например, из Ревеля в Любек, или решения Любека или Висби по поводу русских дел не являются русско-ганзейскими текстами, однако если русский и нижненемецкий оказывали какое-то влияние друг на друга, оно должно быть прослежено за пределами непосредственной коммуникации между русскими и немцами, на вторичном и дальнейших уровнях коммуникации.

Предварительно поясним, что даже те параллельные нижненемецкие/древнерусские тексты, которыми мы располагаем, являются вторичными в том смысле, что в них нет непосредственного контакта русского автора и автора-немца, ибо все они, кроме самых поздних, являются результатом перевода немецкой стороной. Тем не менее, они не перестают от этого быть результатом контакта двух языковых систем. Подробнее концепция контакта в связи со стоящими в данном исследовании задачами будет рассмотрена ниже, здесь же можно ограничиться оговоркой, что со стороны нижненемецкого наличие ситуации контакта несомненно и на этом вторичном уровне. Следует к тому же помнить, что часть корреспонденции и даже некоторые основополагающие правовые документы (напри-

мер, новгородские скры) вообще не являются двусторонними, так как они написаны немцами для немцев: так, в случае устава новгородского ганзейского двора, мы, очевидно, имеем текст, первоначально писанный в немецкой конторе в Висби для немецкого же Петрова подворья в Новгороде, а в случае большинства грамот — переписку немецких купцов, находящихся на Руси, с немцами в Германии или Ливонии. Необходимо также учесть, что контактные явления, если они не спорадичны и случайны, должны быть вынесены вместе с русским контекстом на еще более внешний уровень, которым являются высказывания по тому же поводу третьих сторон. Тексты этого плана были, в связи с обозначенными задачами, включены в корпус данного исследования в качестве источников второго коммуникативного плана.

Однако возможности распространения контактных черт этим не ограничивались, так как все рассматривавшиеся двусторонние вопросы и заключенные двусторонние договоры в конце концов находили отражение или упоминание в документах высших ганзейских инстанций — регулярных съездов ганзейских городов или заседаний ганзейских судебных инстанций при разрешении споров. В результате документы общеганзейского уровня содержат пункты, относящиеся к русским делам, предназначенные для циркуляции в масштабах всей Ганзы, а не только причастных к конкретному делу городов. Тексты этого уровня следует рассматривать, на основании этой особенности адресата, как тексты третьего коммуникативного уровня. Прослеживание русско-немецких контактных явлений в текстах этого уровня должно дать важные указания в отношении их адаптации ганзейским письменным языком. Тексты этого уровня, не являясь, как и тексты второго коммуникативного уровня, в строгом смысле русско-ганзейскими, должны, однако, войти в русско-ганзейский корпус, так как они служат прямыми источниками для изучения русско-нижненемецких языковых контактов в рамках Ганзы. Отличие понятия «русско-нижненемецкие тексты» от понятия «русско-нижненемецкий корпус (текстов)» заключается, таким образом, в том, что последние объединяются не по ингерентным им признакам, а в связи с их методической релевантностью для поставленной исследовательской задачи. В случае же закрепления каких-либо интерферентных черт в норме нижненемецкого языка вне связи с историческим и прочим колоритом, эти черты должны проявиться в письменных высказываниях, не связанных с русским контекстом. Свидетельства таких источников также учитывались в качестве важных указаний, но не включены в непосредственный корпус исследования.

Таким образом, здесь будут различаться русско-ганзейские тексты (первый коммуникативный уровень), русско-ганзейский корпус материала (второй и третий коммуникативные уровни) и материал для внешнего сравнения (т. е. общая коммуникативная значимость).

При выборе исследовательских задач и методов следует учитывать два фактора, накладывающих на этот выбор значительные ограничения. Первым фактором является упомянутое несовершенство имеющихся редакций источников по русско-ганзейским и русско-ливонским связям. При выборе изданий следует, разумеется, придерживаться тех, в которых материал в наибольшей степени лингвистически обработан и комментирован. Так, текст новгородской скры лингвистически надежнее всего представлен в параллельном издании всех семи редакций В. Шлютером 1911 года (Schlüter 1911), лингвистические аспекты учтены и в изданиях русско-ганзейских договоров И. Андреевским и К. Е. Тобиен, хотя все же эти книги задуманы как источники по истории права, а не языка. Таким образом, для тонкого детального фонетического анализа или иных исследовательских задач, связанных с оценкой фонетических данных (например, для прослеживания процессов в словоизменной системе языка) или графематических особенностей текста, эти источники недостаточно надежны. Исключение составляет, пожалуй, метод диалектной атрибуции Р. Петерса, который, хотя и опирается в большой степени на фонетическое варьирование в языке текста, но построен на оценке по совокупности признаков, как графематико-фонетических, так и относящихся к другим языковым уровням (см. Peters 1987–1990), и благодаря этому дает общую картину конкретного диалекта или территориального варианта.

Вторым фактором, ограничивающим исследовательские возможности, являются жанровая специфика корпуса русско-ганзейских текстов и их социолингвистические характеристики в целом. Для правильной оценки текстов и их особенностей необходимо понимать социальный и исторический контекст, в котором они были созданы.

Русско-ганзейские (первоначально русско-немецкие, еще доганзейские) связи имеют давнюю историю, их ранний период не отражен в сохранившихся письменных свидетельствах (Dollinger 1989). Вся русско-ганзейская переписка на нижненемецком языке относится ко времени начиная с момента перехода северогерманских городов и канцелярий на родной нижненемецкий язык, т. е. с середины XIII века. Известно о существовании более ранних торговых договоров между русскими и северными немцами, например, Генрих Лев был в середине XII века связан договором с новгородскими князьями (Barz 1978, 141), однако наиболее ранние сохранившиеся договоры относятся к концу XII — первой трети XIII вв., притом их тексты существуют только на древнерусском: это договор Новгорода с Готским берегом (Готландом) и немецкими городами 1191–1192 гг., договор смолян с Ригой и Готландом 1228 года в двух вариантах и договор смоленского князя Мстислава Давыдовича с Ри-

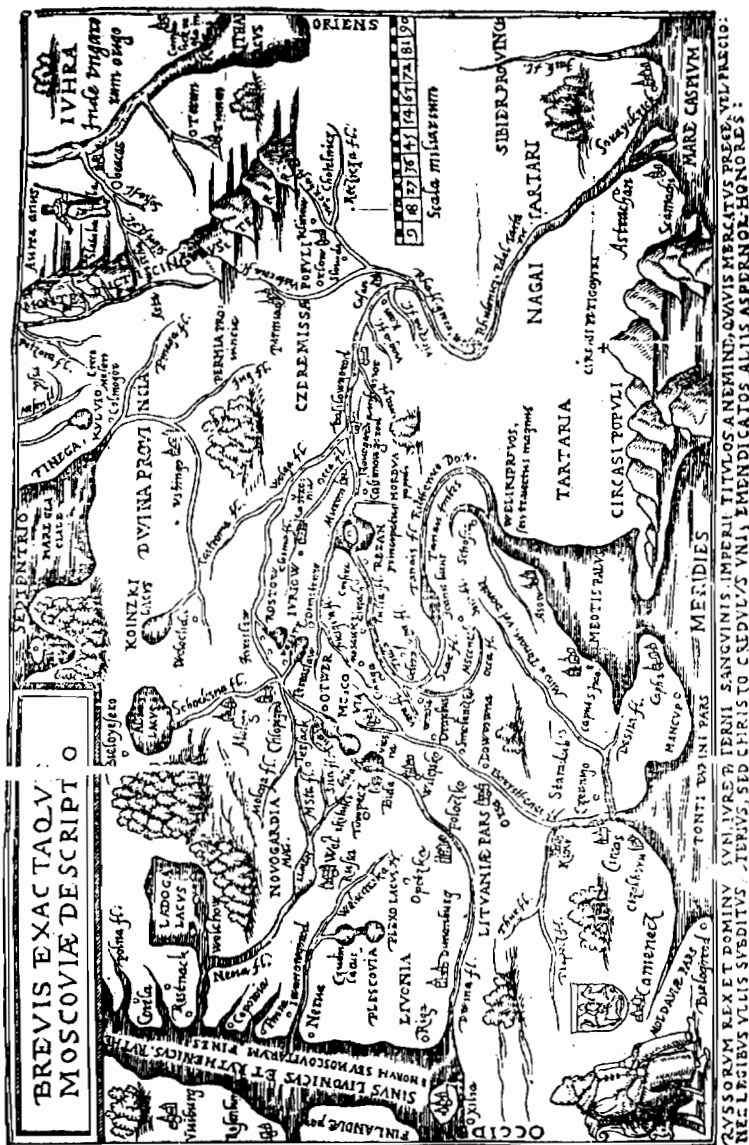


Рис. 1. Карта Московии

Из книги Rerum Moscoviticarum Commentarii... Ioannis Steclij. Antverpiac, 1557

гой и Готландом 1229 года. Относительно того, существовал ли нижненемецкий текст этих договоров, делались различные предположения (Рыбина 1986, 33, прим. 23; также о правовой основе деятельности новгородского ганзейского двора см. Choroškevič 1996, 68–69 и др.), но общий вывод состоит в том, что это маловероятно, так как, с одной стороны, не доказано, что договоры достигли ратификации (а значит, и передачи немецкой стороне с последующим переводом на нижненемецкий), а с другой, нет и следов латинского варианта текстов, который обычно служил черновиком проектов договоров в эту эпоху (Tobien 1845, 45).

Торговые связи немецких городов Северной Германии с Русью вступили в это время уже в стадию бурного развития и требовали прочной правовой и политической базы. В результате этого активный обмен документами уже в первой трети XIII века носил сугубо официальный характер. Наиболее ранние договоры с Русью перечислены выше. С установлением официальных дипломатических и торговых отношений поток корреспонденции между Русью и городами Северной Германии увеличился. Состав этой массы письменных памятников отличается определенной спецификой, связанной со своеобразием социокультурных условий этого контакта.

Взяв за основу классификацию типов текстов (Textsorten), принятую германистами, изучающими письменные памятники, создаваемые в эту эпоху внутри Германии (Schmidt-Wiegand 1989, 261–283; Hylgaard-Jensen 1985, 1247–1451), можно выделить в русско-ганзейских текстах следующие основные типы:

1) юридические тексты высшего официального уровня, к которому относятся двусторонние политические и торговые договоры: грамота Ярослава 1269 года, Новгородская скра в семи редакциях между 1225 годом и сер. XVI века, мирные договоры (например, Нибуров мир 1392 года и др.), а также многосторонние документы, касающиеся Руси и торговли с ней и аналогичные параграфы решений ганзейских съездов;

2) юридические тексты повседневного значения, обозначаемые у К. Хюльгор-Йенсена как «юридические тексты в широком смысле»: корреспонденция и переговоры, предваряющие и подготавливающие заключение договоров и решения ганзейских съездов, а также следующие за ними, прочие официальные обращения, корреспонденция по более частным поводам (например, жалобы, подорожные грамоты, переписка в ходе подготовки посольств в Новгород или позднее в Москву, в том числе инструкции послам и согласование расходов отдельных городов в организации посольств), и др.;

3) к той же сфере деятельности и официальному уровню относятся и отчеты посольств ганзейских городов на Русь (в Новгород в 1436 г., посольство Томаса Шрове в Москву в 1494 году, посольство Иогана Роде в Новгород 1510 года, посольство в Москву

1603 года и др.). Общим с первыми двумя категориями является их официальный характер и общность не только исходящей инстанции (представители ганзейских городов, организовавших посольство на Русь) и автора (один из послов или его секретарь), но также и их адресата (магистрат Любека или ливонских городов, в зависимости от организаторов посольства). Это означает, что в коммуникативном плане они аналогичны текстам первых двух групп и их социолингвистическое соположение вполне корректно. Однако по содержанию и форме они существенно отличаются от предыдущих категорий. Их можно определить как официальные тексты повествовательного направления. Они образуют особую группу, к которой могут быть также отнесены отдельные грамоты информативного назначения, например, грамота 1441 года, рассказывающая о положении дел на русских рынках (L-E-CUB, Bd. 9, Nr. 755) или показание ливонской женщины, арестованной за шпионаж в пользу Руси в Ливонской войне 1560 года (там же, Nr. 393; см. Skvairs 1996a);



It is die sijn uan nougarden.
 Dat si wetelic unde open-
 bare alle den genen.
 die nu sin. unde hir
 na comen solen. die dhieste sijn
 sijn vñ horen. dhat uan gancene
 inde. vñ enenue gemenen wilcoit.
 dher wisten uan allen steden.
 van dhiudische lande. Reche
 dhat uan aneginne gehalten is
 uñ gewesten heuet in dhiene ho-
 ue dher dhiudisten to nougarden.
 lrsreuen is. al dus to haldende.

4) лингводидактические тексты, к которым относятся русско-нижненемецкий разговорник Тонниса Фенне 1607 года, разговорники 1551 и 1568 года и разговорник Шrove 1546 года (Falowski 1993; Johansen 1955; Gernentz 1981, 1988; Hammerich, Jakobson 1970; Rösler, Kopp-low 1986; Rösler 1990).

Рис. 2. Первая страница рукописи Новгородской скры (вторая редакция) — устава ганзейского Петрова подворья в Новгороде

Жанры текстов из других разрядов согласно принятой классификации — «частная жизнь», «наука», «религия», «художественная литература» — в русско-ганзейском корпусе не представлены.

Таким образом, за исключением трех разговорников, относящихся уже к довольно поздней эпохе упадка письменного литературного нижненемецкого, весь массив русско-ганзейских источников относится к сфере управления и права. Лингвометодические соображения заставляют проводить четкие различия между текстами высокого официального уровня (группой 1) и текстами, относящимися к повседневному управлению (группы 2 и 3), поскольку

ку их значение и роль в русско-нижненемецком языковом контакте различны.

Таким образом, периоды становления и расцвета письменного литературного нижненемецкого языка представлены в русско-ганзейских источниках только сферой права и управления.

Этот факт решительным образом определяет возможности постановки исследовательских задач, направленных на выяснение характера и результатов языковых русско-нижненемецких контактов, включая и вопрос о том, возможно ли вообще интерферентное взаимодействие в языке этих типов текстов. Дело в том, что составители документов групп 1 и 2, в меньшей степени группы 3, несвободны в своем речевом поведении. Тексты группы 1 относятся к наиболее регламентированным и клишированным, хотя есть определенные различия в механизме этой регламентации в случае различного рода уставов, уложений, с одной стороны, и в случае договоров дипломатического или торгового характера, с другой.

Уставы и другие правовые своды, как правило, не оригинальны, а пишутся на основе более старых и престижных образцов. Так, например, статуты Тевтонского Ордена писались по образцу устава ордена темплиеров, копию которого магистр этого ордена торжественно именно с этой целью передал учреждающимся тевтонцам в 1198 году (Perlbach 1890, XXVII; Minzloff 1853, XXIX, XXXIII, XLI). Разумеется, такая передача символизирует преемственность в целях и идеалах и означает совершенно несимволическую политическую или административную зависимость от дарителя. Тексты городского права могли передаваться, образуя многоступенчатые связи: Любек, например, унаследовал текст своего городского права от *Jus Ottonianum* и передал его дальше на восток городам вдоль всего Балтийского побережья. Шире всех «тиражировались» таким образом тексты городского права Любека, Зоста и Магдебурга. Это означало, что в языковом отношении городское право не столько отражает койне такого «подшефного» города (Gleissner 1972), сколько передает и диктует ему языковую норму города-дарителя, насаждая ее в его канцелярии и таким образом распространяя норму влиятельных городов на больших территориях. Поскольку в русских делах высшей административной инстанцией и апелляционным судом был в период расцвета Ганзы Любек, а позднее Ревель, то неудивительно, что в корпусе русско-ганзейских текстов в основном господствует любекская письменная литературная норма.

Договорные грамоты высшего уровня могли служить подтверждению или возобновлению ранее заключенных договоров и поэтому значительно повторяли их по форме, а следовательно, и по языку. В любом случае, даже если грамота писалась заново к конкретному случаю, ее форма предопределена в силу большой клишированности, или формульности, языка грамот. Тем самым возможность проникновения иноязычного влияния кажется со-

вершенно исключенной. Это зависит, разумеется, от положения дел в каждом из контактирующих языков. Например, язык, не располагающий развитой системой функциональных стилей, включающей установившийся деловой стиль, рискует подвергнуться сильному влиянию со стороны языка, имеющего развитый стиль деловой письменности. Очевидно, что иным будет результат взаимодействия двух языков, из которых каждый обладает развитым стилем делового письма⁴. Это означает, что контактировать могут, скорее всего, не языковые системы в целом, а лишь определенные функциональные регистры или даже отдельные их фрагменты в пределах определенного типа текстов. Если оба языка обладают достаточно закрепленной нормой делового письма, их взаимодействие все же может не ограничиваться простым переключением кодов, без каких-либо контактных искажений в языке-цели. Эти нормы могут различаться, причем тем больше, чем больше различаются культурные и исторические традиции, в которых развивалась словесность обоих языков. Таким же точно образом, при значительной формульности языка грамот в обоих языках речь идет о различных наборах формул, и на этом уровне можно также ожидать взаимодействия различных по характеру и происхождению систем формул, сложившихся в языке грамот различных народов, определяемого очевидно, целой обоймой социальных и культурных факторов. На существенность самого фактора формульности языка немецких грамот при исследовании последних в качестве письменно-литературного жанра впервые указал Г. Кордес (Cordes 1959, 74–75). В отношении же затронутых экстралингвистических факторов хочется сразу же заметить, что ожидать при контакте однозначного воздействия со стороны одного языка на другой по принципу «более престижный влияет на менее престижный» — значит сильно упрощать дело. Нижненемецкий письменный вариант ганзейской эпохи обладал престижем и значимостью, которые сравнивают с престижем английского в современном мире, однако вопрос о том, в каком направлении могут идти контактные процессы, зависит, помимо престижности, от многих социальных факторов и от их специфического сочетания в данной конкретной ситуации. Среди них фактор престижа, культурного превосходства или политического или торгового господства не только не связан напрямую с направлением языкового влияния, но может, как показывает нижненемецкий материал, при определенных условиях, находиться в обратном отношении к последнему. Принимая во внимание все вышесказанное, можно сформулировать две взаимосвязанные задачи: выяснение социолингвистических условий русско-ганзейского языкового контакта и выяснение тех изменений, которые претерпел язык нижненемецких грамот в этих условиях.

2. Социолингвистическая характеристика ситуации русско-ганзейского языкового контакта

История русско-ганзейских торговых связей находит отражение во всех очерках истории Ганзы (Dollinger 1989), кроме того, в историографии Германии и России существует давняя традиция исследования различных конкретных сторон торгового сотрудничества Ганзы с Русью (Андреевский 1855; Koppmann 1893; Stieda 1884; Ahlers 1939; Goetz 1916; Goetz 1922; Angermann 1994; Angermann, Endell 1989; Kurtz 1983; Johansen 1963; Leuschner 1980; Казакова 1975; Хорошкевич 1963, Choroškevič 1996; Рыбина 1986).

Безусловно главным социальным фактором, влияющим на степень и характер русско-ганзейского контакта вообще и языкового в частности, следует считать чрезвычайную выгоду торговых связей и вытекающую отсюда желательность установления взаимопонимания и благоприятного общения.

О заинтересованности Ганзы в русских рынках хорошо известно. Интересы отдельных городов, входивших в ганзейский союз, координировались через его центральную инстанцию, которой в начале отношений с Русью был Висби на Готланде, затем в течение долгого времени город Любек, в дальнейшем все дела Ганзы с Русью велись через Ревель. С помощью этого механизма координации и взаимного улаживания спорных вопросов в судебных и апелляционных инстанциях Ганзы и на частых общих съездах Ганзы устранялась конкуренция между 73 городами, входящими в союз. Однако не одна Ганза была заинтересована в балтийской торговле с Русью. В этом с ней соперничали не только имперские интересы самой Германии, но и Тевтонский и входивший в него в виде составной части Ливонский ордена. Кроме того, Русь притягивала интересы других держав, в первую очередь тех, которые зависели от торговли на море — Фландрии, Дании и Англии. Географическая близость к пределам Руси давала Ганзе сильное преимущество, которое она эффективно использовала, перекрыв своим западным соседям путь на Русь. Кроме того, Ганза приложила огромные усилия для того, чтобы дополнить эти меры языковой блокадой.

Международная политика и торговля Северной Европы располагала в различные периоды истории Ганзы различными языками для международного общения. На ранних этапах этим языком была латынь, однако в дальнейшем, как сказано выше, такой «*lingua franca*» стал нижненемецкий. Определенная доля общения приходилась на нидерландский язык, использовавшийся в общении с городами Фландрии (Hessmann, Kremer 1973), и в меньшей степени старофранцузский, который использовался иногда в сношениях с Англией (см., например, грамоту ганзейского двора в Лондоне городу Брюгге, 1375 года, в которой фламандцам рекомендуется для поезд-

ки в Лондон нанять «enen wisen taleman, dey wol fransos kunne spreken» [3]; HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 100). В целом, однако, ясно, что Ганза была заинтересована в установлении коммуникации на нижне-немецком языке, так как документы рассылались по всем ганзейским городам, которых касалось их содержание, кроме того, экземпляры документов общеганзейского значения (протоколы и решения съездов, тексты двусторонних или многосторонних договоров и др.) хранились в ратуше Любека, а позднее Ревеля. Таким образом нижне-немецкий стал как средством общения, так и средством контроля над североевропейской торговлей со стороны немецких городов. Однако ключом к блокаде Руси была монополия на русско-нижне-немецкий перевод. Именно этой монополией и завладела Ганза, во-первых, взяв на себя обязанность переводить всю русско-ганзейскую корреспонденцию на русский и с русского языка, а во-вторых, закрыв нидерландцам, англичанам и другим западным конкурентам доступ к овладению русским языком. Об этом красноречиво свидетельствуют принятый на съезде 1423 года в Любеке запрет «dat man jennigen Hollandesschen jungen up de sprake bringe» [4] и решение лифляндского ганзейского съезда в Вольмаре 1434 года: «Ok en sall man neynes Hollanders, Zeelanders, Campeers, Vlaminghe noch Engelsche jungen doen noch doen helpen up de sprake» [5] (HR, Abt. I, Bd. 7, Nr. 609; HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 226, см. подробнее Rösler 1990). Целью этих усилий Ганзы было удержание в своих руках связей между Западной Европой и Северной Русью.

Знание русского языка считалось очень важным и ценным качеством для купца, ведущего торговые дела с Русью. Русско-немецкие разговорники Шрове, Фенне и анонимный разговорник 1568 года, как показывает их анализ, скорее всего, были не единичными трудами такого типа, а представляли целую традицию (Rösler 1990). Авторами этих разговорников, как правило, бывали молодые купеческие сыновья, так как людям старше 20 лет считалось уже нецелесообразным начинать поприще, связанное с изучением такого сложного языка, как русский: «Nen lerekint boven twintich jar olt scal leren de sprake in deme Nougardeschen richte noch to Nougarden enbinnen, he se we he si, de in des kopmannes rechte wesen wille» [6] (цит. по: Stieda 1884, 159). На роли таких купеческих сыновей, обучавшихся русскому языку, так называемых *sprakelerers*, остановимся подробнее в разделе 2.3 «Языковые различия. Проблема перевода и переводчиков». По разговорникам купцы могли научиться вести беседы на повседневные темы, торговаться, обсуждать качество и цену товара, заключать устные сделки. Из тематики этих разговорников ясна их повседневная необходимость. Поэтому можно предположить, что, хотя для ведения официальных переговоров и перевода грамот привлекались профессиональные переводчики и толмачи, в какой-то степени с русским языком сталкивались и другие члены общины. Так, когда

в 1406 году имущество новгородского Петрова двора было передано на хранение в Ревель, в его описи значится русская книга записей: «1 rusch denkebok» (Napiersky 1868, 128). Таким образом, ганзейцами делалось все, чтобы информация из Руси могла проходить только через их руки: недоступные западноевропейским соседям русские оригиналы переводились немецкой стороной и уже только через нее могли стать доступными Европе.

Главной и сознательно преследуемой целью этой языковой политики был контроль над русской торговлей. Располагая к тому же наиболее совершенными торговыми кораблями, Ганза и в транспортном отношении монополизировала русско-европейские связи. Ее стараниями все контакты происходили на русской почве, попытки же русских купцов снарядить свои караваны на запад решительно ею пресекались. Так произошло, например, в 1567 году, когда русские купцы попытались снарядить в Ревеле корабль в Висмар (v. Hansen 1890, Nr. 79).



Рис. 3. Меха — основная статья экспорта Новгорода на Запад

С другой стороны, и Русь была заинтересована в торговле с Ганзой. Ключевую роль в ней играл Новгород: «Благосостояние Новгорода опиралось единственно на торговлю» (Костомаров 1995, 83), и он не только собирал необходимый товар из северных русских земель (меха), но и постоянно следил за тем, чтобы сохранять контроль над товарами, идущими из центральных владими́ро-суздальских земель, которые с упадком Киевской Руси расцветали и были основными поставщиками «разных сырых

произведений, служивших предметом вывоза за границу, особенно воска, и куда со своей стороны новгородцы могли сбывать заморские товары» (Костомаров 1995, 83). Удерживать главенствующее положение было нелегко, так как еще со времен Андрея Боголюбского владими́ро-суздальцами велись попытки перехватить инициативу и в самом Новгороде была владими́ро-суздальская партия, добивавшаяся подчинения торговых дел Новгорода центральным княжествам.

Так создалось положение, когда с одной стороны Ганза, представлявшая собой разветвленную структуру, охватывавшую свыше 70 городов, не скрепленную государственными рамками, а с другой стороны Новгород, на котором замыкалась западная торговля больших русских территорий, играли совершенно аналогичную роль узкого горлышка, через которое соединялись два обширных региона. Сомкнувшись друг с другом, Ганза и Новгород образовали точку соединения крупных интересов, в которой обе стороны были максимально заинтересованы в установлении взаимопонимания и благоприятного контакта. Эта заинтересованность и есть, с нашей точки зрения, главный социолингвистический параметр, детерминировавший степень и характер контакта. Он определяет ту установку на достижение контакта, ту готовность на контакт и восприимчивость к чужому, которые составляют психологическую основу, на которой возможен языковой контакт.

Препятствиями для этого контакта были различия в правовых и деловых традициях, религиозные различия и язык.

2.1. Различия в правовых представлениях

Правовые представления русских и ганзейцев, исторически связанные с различными традициями, расходились в ряде моментов, и для понимания социолингвистических сторон ситуации контакта небесполезно выяснить, каким образом (например, усилиями какой из сторон) они преодолевались. На этот счет есть некоторые косвенные указания, говорящие о том, что Ганза была готова приспособливаться (разумеется, когда речь шла о сопутствующих моментах, а не о главных пунктах сотрудничества). Например, текст торгового договора Новгорода с Любеком и Готландом 1269 года подготавливался, очевидно, в несколько этапов. Существует латинский и нижненемецкий варианты этого договора. Согласно принятой точке зрения, предложения немцев были первоначально изложены на латыни, и этот набросок представлен для согласования статей договора с русской стороной. У текстологической проблемы, связанной с этим договором, есть две стороны: вопрос о наличии русского текста договора и вопрос об изменениях в проекте, внесенных по требованию русской стороны. Ответ на второй вопрос дают различия в содержании окон-

чательного, нижненемецкого, текста (списка) по сравнению с латинским. Кроме изменений в основных, принципиальных, пунктах договора, которые менее показательны для наших задач, следует упомянуть значительное смягчение всех пунктов, связанных с наказаниями. Так, по требованию русской стороны (Tobien 1845) был снят пункт о телесном наказании за воровство (ст. III), значительно смягчено наказание за вторжение новгородцев на территорию немецкого торгового двора (ст. XII), опущен пункт о наказании за порчу забора и ворот подворья (ст. XIII), в пункте о захвате жены и детей в случае побега провинившегося новгородца выпущено упоминание о детях (ст. XVIII). Немцам не удалось провести пункты о свободной торговле в Новгороде за пределами двора и об обучении немецких купеческих сынов местному языку. Отраженный в этих поправках ход процедуры согласования ясно показывает, что немецкая сторона была готова оставить последнее слово за русской стороной. О той же готовности немцев принять обычаи партнеров говорит и то, что в окончательный вариант введены характерные для русских грамот элементы структуры текста: русский зачин и поименное перечисление всех участников договаривающихся сторон.

Ответить на первый вопрос, имелся ли у договора на каком-либо этапе подготовки русский прототип, сложнее. Отмечаемые исследователями (Tobien 1845, 80) русизмы как в нижненемецком, так и латинском вариантах интерпретируются как намеренно подобранные с целью облегчить дальнейшую передачу содержания по-русски. Это весьма тонкое объяснение фактически ставит проблему стилистической интерференции, некоего предвосхищающего уподобления немецкой и латинской системы русской системе в процессе перевода. Ниже это предположение неоднократно подтвердится на материале ганзейско-новгородских текстов. Пока же достаточно отметить, что в способе преодоления правовых различий просматривается стремление ганзейцев приспособиться к партнерам.

Что касается различий и конфликтов в деловой, политической и других практических сферах, то материал полон упоминаний об ограблениях ганзейского двора и пожарах, о пленении и казнях ганзейцев и прочих тяжелых событиях. Не только конфликты повседневной жизни, но и частые за историю существования двора войны и блокады прерывали нормальную деятельность купцов и становились темой для обмена грамотами и жалобами как с Новгородом, так и между ганзейскими городами и в конце концов выносились на ганзейские суды и съезды. Надо сказать, что язык и тон этих документов, даже содержащих требования или угрозы, нигде не выходит за рамки нейтральности и корректности. Естественно отнести это за счет жестких стилистических требований жанра грамоты.

2.2. Проблема религиозных различий в правовой ситуации

Одной из существеннейших сторон взаимоотношений Руси с Западом были, разумеется, религиозные различия.

В литературе достаточно сказано о завоевательном характере как восточной колониционной политики Германии в целом, так и ее наиболее отдаленных, однако не удавшихся планов — распространения своего могущества за пределы Ливонии, на Русь. Крушение этих планов, связанное в русской истории с именем Александра Невского, очевидно, не случайно предшествовало установлению мирных связей, прочно обеспеченных двусторонними дипломатическими и торговыми соглашениями. Деятельность Ганзы на востоке носила также экспансионистский характер, как, впрочем, и на крайнем западе ее сферы влияния, в Англии, где король и Тайный Совет видели в расширяющемся влиянии и растущем богатстве ганзейского Стального двора (включавшем немалые земельные владения в Лондоне) опасность для национального благополучия и неоднократно пытались ограничить присутствие ганзейцев, вмешаться в их финансовые дела, а то и закрыть двор. Последнее было окончательно сделано Елизаветой в 1598 году. Определенное сходство с положением на Руси несомненно есть. Однако если Ганза совершала свою экспансию путем финансового освоения, овладения недвижимостью и блокирования рынков, неизменно ставя экономические цели впереди любых политических и идеологических соображений, то имперская власть и папство через Тевтонский Орден преследовали на востоке задачи территориального и политического расширения, важной составной частью которого было религиозное обращение. В этом смысле взаимоотношения имперских и орденских инстанций с Русью были прямым продолжением восточной колонизации. Понятно, что в отношении Англии ничего подобного не было. Таким образом, восточная экспансия включала три течения — расширение владений германских императоров, распространение политического и экономического господства католицизма на земли, еще не приведенные под власть папы, и захват рынков союзом торговых городов Германии. Эти три силы отнюдь не во всем действовали согласованно, а подчас и прямо соперничали. Первые два течения тесно переплетались, тогда как третье развивалось особняком и часто противоречило первым двум. Начатые Генрихом Львом исторические инновации преследовали цели, противоречащие целям как имперской власти, так и папства. В его деятельности религиозная идея была всего лишь прикрытием практических планов, осуществившихся в пережившей его долгосрочной славянской и балтийской политике Германии, в его союзе с Данией, Фландрией и Англией, в освоении огромных территорий и строительстве торговых городов. Задача

религиозного обращения завоеванных восточных соседей связана с этой линией восточной колонизации лишь внешним образом. Консолидированные в ходе преобразований Генриха Льва социальные силы, в дальнейшем представленные Ганзой, относились к этой религиозной задаче в зависимости от ее прагматической приемлемости. Что же касается имперской политики освоения востока, то она прямо и неразрывно связана с политикой церкви.

Это не единственный момент, в котором расходились интересы Ганзы, с одной стороны, и имперского центра и Тевтонского Ордена, с другой. Главным предметом их споров постоянно было политическое и экономическое господство в новых землях. В текстах есть свидетельства борьбы между Орденом и антиорденской партией за главенство в балтийских городах, которая не утихала в течение долгого времени. Так, в жалобе Верховному магистру орденский кандидат на судебную должность в Риге так отзывается о победившем кандидате от городской партии Риги: «seker dat en were den ordin nicht so sorchlick noch so schedelick, dar Russen, Tartaren, Littouwen und Sameyten des ordin vyandt weren, als dat de broder to Lifflande euwer gnaden ungehorsam siin» [7] (L-E-CUB, Bd. 9, Nr. 392). Со своей стороны, его рижский соперник разделял эту непримиримую неприязнь и имел к орденским братьям целый список претензий, упомянутый в той же грамоте: этот Дидерик Навель «gaff in der Rigeschen sake vele boser articule weder den ordin und sprach, se weren papenmorders, kerkenberners und rovers und des hilgen kristengeloven verstu(r)ers...» [8].

Имперский центр и Орден, с одной стороны, и Ганза и городские власти, с другой, так же жестоко соперничали в борьбе за русский рынок. Стремясь к одной и той же цели во внешнеэкономической области, они различались в том, какое место в ней занимала религиозная идея. Это со всей отчетливостью проявляется в документах русско-ганзейских и русско-орденских отношений. Так, в послании 1371 года венгерской королеве Елизавете, в котором папа Григорий просит ее убедить князя Мазовецкого не оказывать помощи литовцам и русским в их войне против Тевтонского Ордена, говорится о «неверных литовцах и русских раскольниках, нападающих на братьев (тевтонцев) и других христиан» («infideles Litwanos et nonnullos Ruthenos scismaticos... impugnantes ipsos fratres et alios christianos...», см. Napiersky 1868, Nr. XCV). Противопоставление русских орденским братьям и «другим христианам» весьма показательно для той вплетенности религиозных пропагандистских моментов в политические и военные задачи церкви. Естественно, что та же риторика переключалась и в документы орденских инстанций: ср. в грамоте магистра Ливонского Ордена Любеку 1368 года: *Ruthenos cismaticos* (HR, Abt. I, Bd. 1, Nr. 398). В переписке с папскими инстанциями Орден пользуется латынью, но сохранившиеся свидетельства позволяют услышать, как Орден на-

зывает русских и по-нижненемецки (правда, следует заметить, что подавляющее большинство документов, исходящих из орденских канцелярий, писались, как и грамоты имперских инстанций, на латинском и верхненемецком): магистр Ливонского ордена пишет грамоту на нижненемецком Ревелю (1442 г.) с запретом продажи зерна русским, в которой говорит о «den ungelovigen Rossen von Grote Nowgarden» [9] (см. L-E-CUB, Bd. 9, Nr. 870). Слово *un(ge)-lovich* имело в средненижненемецком значения «неверующий, суеверный, нехрист, язычник» (Lübben 1990, 436), то есть было в применении к православному христианскому народу терминологически неверным. В этой связи особенно интересно, что религиозные отличия русских воспринимаются Орденом с большей враждебностью, чем язычество балтов, ср. «den ungelovigen Rossen» (2 раза в грамоте магистра Ливонского Ордена Ревелю 1439 года), но, с гораздо большей снисходительностью, о ливонцах: «den armen Undutschen landtman» (там же, Nr. 523). Смысл такого словоупотребления ясен: за весь исторический период между 1240-ми годами, когда тевтонское нашествие было остановлено у порога Руси, и до окончательной гибели Ордена в результате Ливонских войн Ивана IV, Орден относился к Руси крайне враждебно, периодически воевал с нею и не переставал стремиться к реваншу. В отличие от русских, балты, покоренные в ходе колонизации, перестали быть врагами Ордена, а превратились в предмет его заботы.

Важным представляется и то обстоятельство, что Орден фактически нашел в лице Руси и православия соперника, опередившего его в Ливонии. Задолго до событий на Чудском озере Новгород распространил свое влияние на запад и начал обращение чуди в православие (Костомаров 1995). Следы влияния сохранились до сих пор, например, в латышском языке в виде заимствованной из русского языка христианской лексики: такие слова, как латш. *baznīca* «церковь» (< друс. диал. *бозьница* «храм»), *greks* «грех» или связанное тесно с нашей темой латш. *gramata* «книга», ранее «алфавит, письмо, грамотность, документ» были, в числе многих других, заимствованы до XIII века (Karulis 1992, 115, 312, 306–307). При столкновении с Орденом, утвердившимся в Ливонии, сопротивление части местных православных и поддержка их со стороны Руси заставляли Орден с древних времен видеть в Руси поборников язычества и врагов Христовой церкви: «Русские представлялись на западе врагами Св. отца и римско-католической церкви, даже самого христианства», — пишет Н. И. Костомаров (Костомаров 1995, 127). Аналогично развивались отношения Новгорода на севере с католической Швецией по поводу влияния на финнов. Папа римский побуждал и немцев, и шведов равным образом, с двух сторон, к действиям против северной Руси. За три прошедших с тех пор столетия мало что изменилось. За продемонстрированной выше риторикой стояли совершенно земные цели и практические действия. Например, в 1448

году папа Николай V освобождает Тевтонский Орден в Пруссии и Ливонии от уплаты двух третей налога с тем, чтобы эти средства пошли на дело «возвращения греков и русских в лоно католической церкви», причем оставшаяся треть предназначается венграм на их борьбу с турками. Русские, таким образом, уравниваются с турками, как неверные, и обозначаются в папской грамоте словами *infideles, hostes et inimicos fidei* (Napier sky 1868, Nr. CCXLVII).

Религиозными различиями или общностью в большой степени определялось отношение к другому народу как к своим или чужакам. Например, тесная религиозная близость (наряду с языковой близостью, допускавшей полукоммуникацию) обусловила бесконфликтное существование бок о бок датского и немецкого городского населения вплоть до XVII века (Winge 1992). Понятие *Undeutsche*, включавшее балтов и славян колонизованных территорий, обозначало чуждость языка, веры и имени (Johansen, Mühlen 1973). В дополнение ко всему сказанному важно отметить, что принадлежность к двум разным, но родственным конфессиям могла порождать больше враждебности, в особенности со стороны отцов церкви и ее институтов, чем отсутствие всяких точек соприкосновения. Близость основных догматов затрудняет миссионерскую деятельность и повышает сопротивление обращаемых, так как им трудно понять, чем их вера хуже новой.

Такой важный мировоззренческий аспект, как различия веры, должен быть в числе наиболее важных социолингвистических факторов, сопровождающих русско-нижненемецкий языковой контакт. В связи с этим примечательно, что пейоративных характеристик, связанных с религией, подобных тем, что приведены выше из материала папских и орденских инстанций, совершенно не обнаружено в ганзейских текстах. Ни ганзейские инстанции в Германии или Ливонии, ни община ганзейских купцов в Новгороде нигде не допускают ни малейшего отступления от официального тона и принятых форм обращения и величания; напротив, все ссылки на веру и бога, содержащиеся в большом количестве в описываемом корпусе текстов, делаются совершенно инклюзивно, без уточнения каких-либо различий. Приведем примеры из русско-ганзейских источников.

Пример 1. Официальная по содержанию и форме подорожная, данная дьяку митрополита Киевского Исидора городом Данцигом (1438 год, на нижненемецком языке) называет последнего полным титулом: «*de erwerdigste und grotmechtige here metropolitane van Constantinopell und over alle Ruszlande in der geistlicheit overste*». [10]

Пример 2. Менее официальная нижненемецкая грамота Любека Данцигу, того же 1438 года, выражается не столь пышно, но не отступает от принятых формул: «*de erwerdigeste vader, de metropolit over Ruszlande*» (L-E-CUB, 9, Nr. 309). [11]

Пример 3. Грамота Любека архиепископу Новгородскому и всем жителям Новгорода по поводу ущерба, нанесенного немцами русским купцам на Неве, 1420 года, открывается обращением: «Erwerdigeste gestlike vader in Gode unde mechtige here, her ertzebiscope». В дальнейшем в тексте находим «leve gestlike vader», «leve erwerdigeste gestlike vader» и «juwe geestlike herlicheid unde leve»; заканчивается грамота «beware God almechtich tho langen zaligen tiden, bedende over uns» (HR, I, Bd. 6, Nr. 137). [12]

Пример 4. Ганзейские купцы имели особые основания уважать новгородского архиепископа, так как он имел большое влияние на светские дела в Новгороде. Часто, особенно по спорным делам или жалобам, ганзейские города обращались не к светским инстанциям в Новгороде, а к владыке. Особенно характерен один эпизод, показывающий, какое большое значение придавалось ганзейцами вмешательству архиепископа. Отношения между Новгородом и Ганзой обострялись многократно, и ганзейские купцы, жившие в Петровом дворе в Новгороде, почти постоянно находились в очень тяжелых условиях, часты были конфликты с местными жителями и властями. В 1417 году, стремясь спасти зашедшие в тупик переговоры о возобновлении отношений, ганзейские города обратились за помощью к владыке Симеону, прося его благословить новгородцев на заключение договора. Запись об этих событиях сохранилась в трех вариантах: в грамоте самого владыки, направленной в Ригу, Дерпт и Ревель, в грамоте новгородцев тем же городам и в словах из грамоты Риги, Дерпта и Ревеля, приведенных в грамоте новгородцев (HR, Abt. I, Bd. 5, Nr. 482–484). Такое трехстороннее освещение одного и того же эпизода позволяет сравнить формулировки (1) титула и обращения, (2) просьбы и (3) результата — принятия благословления, — в передаче трех сторон:

Симеон:	(1) van deme erczebiscope van Nougarden Smonen, (2) dat ik solde segenen de myne, (3) also hebbe ik myne kindere gesegent, unde de hebben myne segeninge to sik genomen alze myne kindere; [13]
Новгород:	(1) tho unseme vadere, deme ertzebiscope van Nougarden Smonen, unse hilge vader, ertzebiscope, etc. Smonen, unses vaders, (2) Grote Nougarden unde sinen kinderen de segenynghe gaf, (3) unde Groten Nougarden nam des ertzenbisscoppes segenynghe, [14]
ганзейские города:	(1) (wii bidden dy) hilge vader, ertzebischoep van Nougarden, Smone, (2) dat gy juwe kindere, borchgreven, hertogen, boyaren unde koeplude unde gantze Grote Nougarden segenst. [15]

Те же формулировки используются и в грамоте Новгорода городу Дерпту 1421 года, где в ссылке на мир 1417 г. вновь упоминается эпизод благословения (HR, Abt. I, Bd. 6, Nr. 304).

Как видно из сравнения трех вариантов в примере 4, а также из других примеров, формулировки не обнаруживают релевантных отклонений, указывающих на какие-либо изменения или уточнения в обращении и величании. Ссылки на Господа не опускаются и делаются полностью инклюзивно.

Пожалуй, самым ярким примером толерантности ганзейцев к различиям в религиозных институтах и обрядах является их отношение к русскому правовому обряду целования креста и связанное с этим обращение с самим термином *crucekussing*. Однако, поскольку этот термин входит в одну из самых важных и постоянных формул языка русских грамот, об этом пойдет речь ниже в связи с языком грамот. Здесь же можно на рассмотренном материале сделать вывод о том, что при всей важности той роли, которую играли в жизни общины церковь Св. Петра на ганзейском дворе и священник, и при той жесткости распорядка жизни общины купцов в Новгороде, религиозные различия не накладывали заметного отпечатка на отношения ганзейцев к русским партнерам и официальным инстанциям.

2.3. Языковые различия.

Проблема перевода и переводчиков

Выше уже говорилось, что среди русско-ганзейских текстов есть несколько, существующих в виде параллельных русского и нижненемецкого вариантов. В связи с ними можно представить себе процедуру перевода документов, без понимания которой нельзя построить модель языкового контакта в этой ситуации.

Текст договора Новгорода с ганзейскими городами 1392 года (так называемый Нибуров мир) существует в двух синхронных вариантах — русском и нижненемецком. Не вызывает сомнений, что оригинальным был русский текст, который затем переведен на нижненемецкий. Экземпляры рассылались в основные инстанции Ганзы (Любек, Висби, Ревель) и другим причастным сторонам, благодаря чему мы располагаем несколькими нижненемецкими списками. Два из них снабжены пометками, проясняющими вопрос перевода. Рукопись R (хранящаяся в городском архиве Ревеля) имеет надпись: [Dit is de copij]a de crucekussinge der Russen van der nyen privilegie in Dudesch [getolket] aldus ludende [16]. Другая рукопись, R1 (также из городского архива Ревеля), имеет в конце приписку: «Dyt utgeschreven ut eyner pergamenten coppien; unde ys Rusch, dat gesad int Dudesche, unde up de ander syde desser pergamentes breffe steit in der Dudesch geschreven: Dessen Ruschen breff holden de heren van Godlande vorzegeld» [17].

Примерно так же обстояло дело и в 1415 году, в котором произошел казус, описанный в грамоте города Дерпта городу Ревелю. Дерпт за неимением русского писца обращается к совету Ревеля с просьбой, если Ревель располагает русскоязычным писцом, перевести грамоту и отослать в Новгород (HR, Abt. I, Bd. 5, Nr. 165). В грамотах менее официального содержания часто прямо в тексте есть указание на перевод. Например, письмо 1417 года от Дерпта Ревелю (HR, Abt. I, Bd. 5, Nr. 484) сообщает о приезде новгородских послов с двумя грамотами, одна из которых заверена печатью архиепископа Новгородского (*den enen under des ertzebisscopes ingesegele*), а другая — городской печатью Новгорода Великого (*den anderen under Grote Nougarden ingesegele*). Последнее несомненно означает, что привезены оригинальные русские новгородские грамоты, причем только в русском варианте, так как содержание этих грамот приводится в письме после следующей вводной фразы: «up Dusch utgetolket ludende van worde to worden, also hiir na steid gescreven» [18]. В том же 1417 году совет Дерпта сообщает совету Ревеля о тех же новгородских грамотах в другом письме, в котором повторяются те же фразы, а в конце еще раз указывается, что грамоты были переведены на немецкий: «Desse vorgescrevene Russche breve, utgetolket in Dusch, hebben wi... na gesant tor Rige» [19] (L-E-CUB., Bd. 5, Nr. 2161).

В посольском отчете 1436 года рассказывается о жалобе, с которой новгородцы явились к послам на двор, где она, как обычно, была переведена на немецкий язык («de clegeliken zake..., de up Dutzsch worden uthgetolket unde gescreven...» [20] (HR, Abt. II. Bd. 1, Nr. 586). Ниже в этом же документе упомянут и переводчик, который, очевидно, выполнил эту работу — «Hermen unse tolk» (там же, с. 514). Что посольствам придавались собственные переводчики, видно и из финансового отчета посольства юрьевского посла Томаса Шрове (Thomas Schroue) в Москву в 1494 году: среди расходов означено и жалованье переводчику за 18 недель (Den tolcke gegeven vor 18 weken lon 13¹/₂ марок) — это в полтора раза больше, чем заплачено за то же время слуге («Hinrick Kummen, eunen deuner») (HR, Abt. III, Bd. 3, Nr. 433). В грамоте Любека лифляндским городам также предлагается направить в Новгород посла «vnde tovoghen ene enen guden tolk» [21] (LUB-I-8, Nr. DXLIX). В письме 1421 года немецких купеческих сынов, находящихся в Новгороде, в Ревель (HR, Abt. I, Bd. 6, Nr. 314) рассказывается о тяжелых событиях, связанных с пленением немецких купцов в Новгороде и гибелью ганзейского гонца от рук новгородцев. Он был перехвачен новгородцами с письмами на волю, которые новгородцы заставили перевести («de breve worden den Nouwarders utgetolket») и прочитать вслух. Автор письма был свидетелем этого прочтения в суде «jodoch so horde wi den utgetolkeden bref lesen in deme dinge» [22].

Чтение переведенной грамоты вслух было обычной формой вручения официальной грамоты и доведения ее содержания до сведения адресата. Таким же обычным было и зачитывание ответа. О таком эпизоде рассказывает письмо ганзейской общины Новгорода в Дерпт (HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 616): они описывают сцену ответа на послание, привезенное посольством Ивана Эппеншеде (Iwan Eppenschede) в 1409 году: «De bref wart upgeantwordet upe des bisschopes hove, unde wart gelesen, dar wy jegenwordych weren...» [23]. Сходным же образом те же авторы рассказывают о том же самом в письме Ревелю (Nr. 617): «De Nouwerder lesen eren bref oppenbare, dar wy jegenwordych weren...» [24].

В письме магистра Ливонского Ордена (1420 год, на верхненемецком) также есть указание на то, что перевод русского документа делался в орденской инстанции: «des briffes abescrifft hir czu Dewtsche, nach dem Ruwsschen» (Napiersky 1868, Nr. 210). Письмо магистра Ливонского Ордена Вальтера фон Плеттенберга Верховному магистру Альбрехту от 22 мая 1515 года наполовину посвящено трудностям дипломатического общения с русским двором (Napiersky 1868, Nr. 349). Так, послу Ордена было предписано истребовать у русской стороны ответа на латыни или немецком языке («die anthwordt auff Latein ader Teuttz, auss der Canntzlie des Grosfurstenn furdernn»), однако «hott der bothe die anthwordt nicht anders dann auf Reussisch nach gewonth Irer Cantzlye konnenn Irlanghen». В результате пришлось «breff durch vnsern hemlichenn gesworenn vnnd Getruenn Tolmetzenn habenn lassenn teuttzschen vnnd inn aller mossenn vonn worthenn zu worthenn... Losszenn auss Settzenn...». Далее автор оправдывается в проволочках с передачей грамоты, указывая, что единственной их причиной было то, что «wir vnsern ghesworenn Tolmetzenn nicht zur Stelle bei vnns gehabth, wie woll wir mher tolmetzenn vnnd andernn die der Sproche vnnd schrifft irfarenn bie vnns habenn...». Из этого отрывка ясно видно, что западная сторона в сношениях с Русью должна была полагаться на своих собственных переводчиков и тех, которые «язык и письмо у нас познали». Важно также указание на присягу, под которой находился такой профессиональный переводчик. При наличии переводчика только с одной стороны его роль в переговорах, разумеется, становилась исключительной. Известен случай, когда переводчик, обвиненный в неточной передаче смысла, был приговорен к суровой казни, но сумел избежать ее, доказав правильность своего перевода. Аналогично обстояло дело и в обмене грамотами с Орденом. Так, магистр Ливонского Ордена сообщает (в письме 1420 года, на верхненемецком, Napiersky 1868, Nr. 211) Верховному магистру Тевтонского Ордена о грамоте московского царя, привезенной послом из Новгорода, «welchen briff wir haben losszin vss setzten vff dewtsch von worte czu worte als der im Rewschen ist gelegen» (какое письмо мы повелили перевести на немецкий от слова до слова как оно на русском составлено).

В начале XVI века, однако, русская сторона располагала переводчиками, знающими немецкий язык. Так, в отчете Иогана Роде о посольстве в Новгород 1510 года говорится уже о целом штате переводчиков и писарей при дворе великого князя: первым послов приветствовал княжий переводчик Власий (*Blasius, des grotforsten tolk, HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 541*), на следующий день к послам приходил писарь великого князя («*her grotfurste schriver Sommerocke*») в сопровождении четырех переводчиков и многих бояр («*myt 4 tolken unde etlicken bojaren*») с дарами послам от князя (там же, с. 651). Еще через день, в понедельник, состоялось вручение письменного послания, которое во вторник было переведено под руководством Власия в резиденции посольства, то есть в их присутствии: «*dar de heren sendebaden... sulvest mochten horen unde weten, wo idt utgetolket worde*» [25] (там же, с. 651).

Из этих примеров ясно видно, что до определенного, довольно позднего времени перевод между русским и нижненемецким языками делался немецкой стороной при помощи толмачей и переводчиков. Последние часто были из числа эстонцев и ливов, знавших русский язык. Имеется немало документальных свидетельств о таких профессиональных переводчиках — жителях Ливонии, например, в 1440 году Иван Эппеншеде, хорошо известный по документам гражданин Юрьева, отчитывается перед Любеком в получении взысканной с некоего Гереке Хобера суммы в 46 марок 2 шиллинга, «*de Hinrik van der Heyde vor Ghereken, de sprake rusch unde eetensch to lerende, utgegeven hadde*» [26] (L-E-CUB, 9, Nr. 650; также LUB, 7, Nr. 844). На основании многочисленных подобных свидетельств можно косвенно предположить, что обучение и русскому, и эстонскому языкам было доступно немцам в балтийских городах, в данном случае в Дерпте. Существование значительной доли ливонского населения, владеющего кроме родного языка, в различной степени нижненемецким и русским, можно предполагать для всего интересующего нас исторического периода. О русском влиянии на эти области до прихода сюда Ливонского Ордена говорилось выше. С установлением немецкого господства в Ливонии русские купцы не перестали стремиться сюда, и несмотря на преграды, которые Ганза ставила на их пути в распространении самостоятельной русской торговли на Западе, следует иметь в виду некоторое русское присутствие в городах Ливонии. Например, по документам, хранящимся в госархиве Латвии в Риге, известно, что русские купцы владели недвижимостью в Риге (Dimante 1996), хотя в целом, очевидно, говорить о постоянном русском населении в Риге в допетровскую эпоху трудно, так как права русских и возможности селиться в Риге были сильно ограничены⁵. Очевидно, и факты шпионажа ливонцев в пользу русского царя (см. донесение о лазутчице Ивана Грозного 1560 года, обсужденное ниже, ср. также Skvairs 1996a) также говорят о многоязычии местного населения, что подтверждают и такие

детали, как то, что упомянутой лазутчице было выдано русское платье для того, чтобы она могла беспрепятственно возвратиться в расположение русских к своему «работодателю» (ее коллеги-мужчины, тоже прибалты, имели на этот случай письменные документы, удостоверяющие, что они служат русской стороне, см. Napiersky 1868, Nr. 393). Таким образом, владение русским и нижненемецким было, очевидно, не так уж редко среди местного населения Ливонии, из которого могли происходить профессиональные толмачи. Известно, что в 1253 году один такой *tolk* добился даже известности и признания своих заслуг и был пожалован землями от архиепископа (L-E-CUB, 1, Nr. 247). С другой стороны, и русские, приезжая в лифляндские города, пользовались услугами местных толмачей (Stieda 1884, 158). Например, когда в 1345 году в Ревель прибыли по делу о наследстве русского купца его товарищи Артемий и Терентий, с ними был толк Nicolaus, находящийся на службе у их компании (L-E-CUB, 2, Nr. 835). По мнению В. Стиды, они могли, судя по именам, быть и немцами: ср. имена упомянутых в лифляндских источниках за 1253–1405 гг. толмачей Claus Cure, Hans Durcop, Nikolaus, Hans, Sassenbeke (L-E-CUB, 1, Nr. 247; CUB, 2, Nr. 835; CUB, 3, Nr. 1331; CUB, 4, Nr. 1601, 1672, 1685). В случае толмачей-лифляндцев, очевидно, речь может идти как о немцах, так и об онемеченных балтах.

Однако и немецкие юноши из коренных немецких купеческих семей не лифляндских, а даже крайних западных областей Германии активно изучали русский язык (*sprakelerers*) и могли, очевидно, работать в качестве толмачей или переводчиков. Они, возможно, имеются в виду, когда в документах встречаем упоминание об «den baden, denn korman unnd de sprakelerers mith eren guderen...» [27] (грамота магистра Ливонского Ордена Великому князю московскому, 1496 г.: HR, Abt. III, Bd. 3, Nr. 542). О таких же молодых полиглотх магистр Ливонского Ордена подробно сообщает Ревелю, что «unnse Russche tholk, nemptlick Hartleff Pepersagk» добился у новгородского князя освобождения восьми немцев, изучавших в Новгороде русский язык: «Mith dem antworde is unsze tolk wedder gekamen unnd achte van den sprakelerers mede gebracht, der 2 uth Lubke sin, de eine her Luitke van Thunenn sone, de ander uth Hamborch Hans Kuntzen szone, de derde uth Derthmunde Hans Degingk, de verde uth Reval Marquardt Bretholdes sone, unnd sust uth andern steden» [28] (HR, Abt. III, Bd. 3, Nr. 697). Для более раннего периода русско-ганзейских отношений, таким образом, приходится иметь в виду преобладающую роль переводчиков-немцев или онемеченных балтов, работавших для немецкой стороны.

Что же касается возможностей перевода русской стороной, то институт профессиональных толмачей и переводчиков закрепляется с учреждением в Москве Посольского приказа в 1549 году (см. Похлебкин 1992, 172–182). Представление о личности и происхожде-



Рис. 4. Прием западных послов при московском дворе

Гравюра Г. Гебеля из книги «Три посольства, предпринятых графом Карлейлем от имени его величества короля Великобритании ко двору царя и великого князя Московского Алексея Михайловича, с любопытным описанием земли Московской, а также Ливонии и их обитателей». Изд. Иоганн Габриэль Эрт. Франкфурт; Лейпциг, 1701 (Des Graffen von Carlile Nahmens dr. Koeniglichen Maj. Groß-Britanniens abgelegte Drey Gesandtschaften Alexium Michaelowiß Czaren und Groß-Fürsten in Moskau... gesamt einer Curieusen Beschreibung des Landes Moscovien... Liefflands und deren beyderseits Einwohners... Frankfurt und Leipzig, 1701. Verl. Joh. Gabriel Ehrh.

нии этих переводчиков можно составить по регулярно ведшейся документации этого приказа: так, в приходно-расходных книгах московских приказов можно проследить выплаты жалованья, например, в 1617 году «немецкому толмачю Данилу Вицкину», который в другом месте назван Данилой Вицковым, а в третьем сообщается: «немецкому толмачю шкотцкого языка Данилу Вицкину, в его место Шкотцкие земли писарь Янъ Фарфаръ руку приложил по-немецки» и стоит подпись на английском языке. Упоминаются толмачи нерусского происхождения «немчин Мартин Фандегорст», послан-

ный «для толмачества под Тихвин», «шкотцкий немчин Якуб Дреф» и «переводчик Посольского приказа Павелъ Томасовъ» и др., однако встречаются, возможно, и русские, ср. «немецкого толмача Родю Иванова» («Приходно-расходные...», 1912, 281, 308, 369, 593, 615, 672, 776). В 1510 году, как сказано выше, посольство Роде также пользовалось услугами переводчиков русского двора (см. выше).

На вопрос, как рано сложилось такое положение, точно ответить трудно. Однако по документам, входящим в русско-ганзейский корпус, можно положительно сказать, что посольство 1436 года в Новгород было одним из наиболее ранних, от которых сохранился полный текст посольского отчета (в которых обычно процедура оформления и перевода договорных документов описывается шаг за шагом, см. HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 586), в котором в параграфе 49 сообщается о том, как писался итоговый документ переговоров: после улаживания последнего нерешенного вопроса «*worde wy id ens myt groten arbeyde, unde ens breves vorrameden samtliken myt ome up Rusch, hirna uthgetolket up Dutzsch*» (следует немецкий текст договора) [29]. Из этого фрагмента однозначно ясно, во-первых, что русский текст был первым, так как представители князя в этот же приход еще обсуждали с послами один из пунктов переговоров, во-вторых, что этот русский текст они составляли вместе в резиденции посольства и, в-третьих, что немецкий перевод делался не только позднее, но, возможно, уже специально для отчета, ср. «*hirna uthgetolket*». В следующем параграфе отчета говорится об обмене грамотами, заверенными печатями обеих сторон и «*Item de Russen besegelde breff is by deme rade van Darpte*». Два нижненемецких перевода сохранились соответственно в Ревеле и Любеке. Здесь, как видим, та же сцена совместного написания текста договора в помещении посольства, но не говорится о князевых толмачах или переводчиках: по всей видимости, переводчики были с немецкой стороны, и текст писался совместно только на русском языке.

Когда именно между 1436 и 1510 годами появляются в русско-ганзейских сношениях переводчики с русской стороны, сказать трудно. Во всяком случае, в 1448 году Любек обращается к архиепископу Новгородскому с просьбой дать немецким послам «*enen guden tolk, de dar gherecht to zii unse meninghe unde inholdinghe unser breve lympliken unde vornemliken vor den here ertzebischopp und vor Groten Naugarden bringhen moge*» [30]. Как видим, к этому году уже не только несомненно наличие нужных толмачей в новгородской канцелярии, но их квалификация не вызывает сомнений, и Любек далее просит владыку позаботиться о том, «*dat gii dat willen in dat Dudesche setten laten unde sendet uns dat Russche mit deme Dudeschen bii unseme boden*» [31] (HR, Abt. II, Bd. 3, Nr. 417). Для Новгорода к 1448 году можно с основанием принять, что перевод двусторонних документов на нижненемецкий делался при участии немецкой стороны и, со стороны Новгорода, при участии новгород-

ских толмачей и переводчиков, если речь идет, как в данном случае, о подготовке предложений немецких послов. Очевидно, при написании итогового документа присутствовали бы, помимо переводчиков, официальные представители Новгорода, князя и архиепископа. С таким же основанием можно считать для времени, предшествовавшего этому году, типичной такую ситуацию, когда совместно составлялся русский вариант, а перевод делался немецкой стороной. Сделанный таким образом перевод обычно в копиях хранился, помимо центральных инстанций в Висби, Любеке или Ревеле, в причастных к рассматриваемому делу городах.

Реконструированная таким образом процедура перевода позволяет представить возможную модель конкретного коммуникативного акта. Все процессы, связанные с языковым контактом, фактически происходили в момент перевода, причем до 1440-х годов скорее всего, обычно на немецкой стороне, а начиная с этого времени — и на русской (переход этот, разумеется, не может пониматься, как резкий рубеж). В обоих случаях это происходит, по рассмотренным выше данным, на немецкой стороне, с носителями нижненемецкого. Точнее можно сказать, что в коммуникативном акте участвуют немецкие адресаты и исходящие инстанции и их переводчики, с одной стороны, и русские адресаты при посредничестве их переводчиков. В качестве исходящей инстанции русская сторона может непосредственно в контакт не вступать, так как ее текст переводится тем же посредником — переводчиком любой из сторон, который в коммуникативном обмене документами занимает положение автора текста. Здесь лишний раз можно убедиться в необходимости различения коммуникативных ролей исходящей инстанции (*Aussteller*) и автора данного текста (*Schreiber*). Их роли существенно различны в плане осуществления коммуникации и, следовательно, в интересующих нас контактных процессах. Если исходящая инстанция диктует, в зависимости от адресата, выбор языка, на котором выполнен текст, и общих, «стратегических» черт текста (содержание и тон обращения), то само выполнение перевода, вместе с конкретным выбором языковых средств, зависит от квалификации переводчика и той традиции, в которой он воспитан. Участие русской официальной стороны в контакте оказывается, хотя и весьма релевантным, но непрямым: 1) в виде адресата, на которого ориентируется немецкая сторона, и 2) в виде исходящей инстанции, замещаемой в непосредственной коммуникации писцом-переводчиком.

В вопросе об участниках самого контакта, который приобретает критичность при том ограниченном присутствии русских людей в акте коммуникации, представленном каждым из текстов, следует искать ответа в том, что, во-первых, в отсутствии контакта между людьми все же происходил контакт языковых систем в процессе переводческой деятельности, и, во-вторых, русский язык жителей Новгорода актуально присутствовал в повседневной практике ган-

зейских купцов и участников посольств, создавая базу и предпосылку для контактов. Эта практика, разумеется, не нашла прямого отражения в текстах, составляющих русско-ганзейский корпус, но только она могла открыть ту дверь, через которую языковые факты, приобретенные нижненемецким в его общении с русским, могли проникнуть в письменно-литературный нижненемецкий и достичь Любека. Таким образом разрешается проблема русско-нижненемецкого языкового взаимодействия в уникальной ситуации — в ситуации обмена до 40-х гг. XV века письменными текстами между немцами и немцами же, а именно ганзейскими купцами в Новгороде или переводчиками русских текстов, с одной стороны, и ганзейскими инстанциями в Германии и Ливонии, с другой. Иначе говоря, проблеме русско-нижненемецкого языкового контакта корректно ставить в аспекте изучения особенностей контактного поведения нижненемецкого языка по отношению к русскому.

Социолингвистически корректная постановка задачи требует учета особенностей текста с точки зрения социальных характеристик участников коммуникации. Чтобы быть уверенным в том, что в анализируемых примерах содержится материал, однородный по представленному в нем социолекту, необходимо провести отбор по критериям, принятым в исторической социолингвистике: по социальным группам, профессиям, возрастным группам и полу. Последний рассматривается как разновидность социальной группы.

С точки зрения этих требований можно утверждать, что язык, представленный в русско-ганзейских текстах, однороден в отношении социолекта. В коммуникации участвуют представители одного и того же или близких социальных слоев: немецкого богатого купечества, занятого в международной торговле, и городского патрициата, занимающего должности в магистратах немецких городов и других ганзейских инстанциях. Коммуникация идет в строго служебном русле, и в ней не представлены сферы частной и семейной жизни корреспондентов. Ганзейские купцы в Новгороде жили замкнутой общиной монастырского типа, без семей, что сужало и спектр участников переписки по возрасту и полу. Можно утверждать, что маркированность языка по полу отсутствует полностью. Исключительно официальный характер всей массы текстов позволяет считать язык нейтральным с точки зрения различий по полу, так как для времени, о котором идет речь, «женская речь» должна была бы составлять маркированную сторону оппозиции, а при ее отсутствии не приходится говорить о такой оппозиции вообще. Исследование корпуса позволило обнаружить лишь один текст, относящийся к русским делам, в котором возможна на основе косвенных данных реконструкция речи женщины. Это запись показаний, взятых, возможно, ганзейской или орденовой инстанцией в Ливонии у ливонской женщины, пойманной в качестве лазутчицы Ивана Грозного в ходе Ливонской войны (грамота на нижненемецком, 1560 года,

см. Napiersky 1868, Nr. 393). Грамота представляет собой отчет в вышестоящую инстанцию, по структуре текста и характеру языка обнаруживает черты переработки: очевидно, в его основе лежит протокол допроса, написанный в диалогической форме. В результате литературной обработки более важные с точки зрения оперативной военной информации части написаны более литературным, синтаксически обработанным и сложным языком, тогда как наименее значимые эпизоды, относящиеся к личности самой шпионки, оставлены практически без переработки, в форме прямой речи. Как показала работа, эти крайне скудные фрагменты текста не позволяют обнаружить каких-либо языковых особенностей, которые можно было бы связать с противопоставлениями по полу, хотя с точки зрения экстралингвистических различий здесь и возможны некоторые любопытные наблюдения (см. подробнее Skvairs 1996a). Совершенно очевидно, что сама исключительность этой находки свидетельствует о том, что правомерно рассматривать весь русско-ганзейский корпус как в языковом отношении нейтральный с точки зрения противопоставлений по полу. Таким образом, рассматриваемый в этой главе корпус материала составлен из текстов одной категории (относящихся к праву и управлению), однородных с социолингвистической точки зрения.

С перечисленными социолингвистическими параметрами тесно связан вопрос об однородности материала с точки зрения представленности в нем одного уровня функциональной парадигмы нижненемецкого языка (а также с учетом того же относительно русского языка). Городские грамоты, к которым относятся рассматриваемые тексты, могут значительно различаться в этом отношении. Согласно классификации городских грамот Феддерса (Fedders 1988, 62), который исследует связь языка грамот с местным диалектом канцелярии, следует различать грамоты местного, внутригородского значения и грамоты, относящиеся к сфере внешних сношений города и канцелярии. Среди последних выделяется подгруппа региональных и надрегиональных текстов. Наши тексты относятся несомненно к последней подгруппе, причем многие тексты имеют международный уровень. Язык таких текстов, как соглашаются все исследователи, не связан с узкодиалектными чертами (Fedders 1988, 63; Gleissner 1972), а представляет письменную норму литературного нижненемецкого варианта.

Говоря об отборе конкретного материала для сравнения, укажем, что методическая корректность требует, чтобы при извлечении фрагментов текстов выбирались однородные в социолингвистическом плане примеры, то есть чтобы сравнение происходило в «*einem einheitlichen Sachbereich, einer einheitlichen Schreibsituation und einer sozial relativ homogenen Schreibergruppe*» (Fedders 1988, 74).

Обобщая все сказанное, можно определить рамки материала как средненижненемецкий региональный письменно-литературный ва-

риант на примере русско-ганзейских грамот, составленных немецкой стороной в коммуникативном акте с русской стороной или в ходе прямого перевода с древнерусского. Немецкая сторона является носителем языкового контакта, тогда как русская сторона представляет собой источник интерференционных или трансферентных влияний в качестве автора прототипа (в случае прямого перевода) или в качестве адресата.

В силу высокой степени формульности языка грамот предмет изучения этих интерференций и трансференций может быть состав формул русско-ганзейских грамот или выбор лексического оформления в частях грамот, допускающих варианты.

На основании сплошного сравнительного анализа свыше 230 текстов, относящихся к деловой и правовой сфере (параллельных текстов договоров, прочих грамот, посольских отчетов, уставов и соглашений) для исследования механизмов и условий контактного влияния были выделены следующие единицы:

а) формулы, специфичные для нижненемецких текстов, входящих в русско-ганзейский корпус:

- 1) формула крестоцелования,
- 2) формула «бьем челом»;

б) специфичный для данного региона выбор варьирующих формул или лексического оформления:

- 1) формула «мир докончати»/«докончати»,
- 2) формула «к нам приехали».

3. Особенности нижненемецких текстов русско-ганзейского корпуса источников

1) Формула крестоцелования (= нем. *crucekussing*)

Примеры этой старейшей и обязательной формулы русских грамот находим, начиная с ранних новгородских текстов.

Пример 1. Грамота князя новгородского Александра о заключенном с немцами торговом договоре (предположительно 1262 г.):

«А се старая наша правда и грамота, на чьмъ цѣловали отци ваши и наши крестъ»;

«...на томъ крестъ цѣлуемъ»

(L-E-CUB, 6, Nr. MMMXXXIII).

Пример 2. Грамота из Полоцка, 1264 г.:

«На семь же целуйте ко мнѣ крестъ»

(L-E-CUB, 6, Nr. MMMXXXVII).

Пример 3. Грамота архиепископа Новгородского Алексия послам Любека и Висби о товаре, разграбленном на Неве разбойниками (1373 г.):

«На томъ Яковъ, да Иванъ из Любка, да Григорѣй, да Иванъ из
Гоцкого берега хрестъ цѣловаль про тыи товаръ, безъ хитрости»
(L-E-CUB, 6, Nr. MMMXCIV).

В ходе русско-ганзейских контактов немецкая сторона приняла эту юридическую форму свидетельствования договора, о чем говорят многочисленные записи в грамотах, подобные последней. Эта формула отсутствует в ганзейских документах, относящихся к другим территориям деятельности Ганзы, однако она является непременной формулой всех нижненемецких текстов договоров ганзейцев с русскими. Обряд целования креста на Руси был необходимой формой принесения клятвы во время заключения важных договоров и формой скрепления и верификации самого текста. Несмотря на существование текста, содержащего поименный перечень всех участвовавших в заключении договора и скрепленного печатями участников договора с обеих сторон, ссылка на имевший место обряд целования креста обеими сторонами имеет, по всей вероятности, самостоятельную юридическую силу. Например, смерть тех, кто участвовал в целовании креста на каком-либо договоре, может служить основанием для возобновления договора путем повторного обряда (ср. в примере [49] фрагменты из грамоты города Любеку Великому Новгороду 1448 года: LUB, I-8-Nr. DLIII), даже если сами старые грамоты сохранены. Это приводит к тому, что в русских грамотах часто вместо ссылки на договор стоит ссылка на обряд целования креста: по тому крестному целованию. Часто также ссылки на договор и крестное целование идут параллельно: «ни какъ не пристава-ти, ни которыми дѣлы, ни которою хитростію, по сѣмъ перемир-нымъ грамотамъ і по сему крестному целованью» (грамота Вел. кн. Василия Ивановича 1521 г. о перемирии с Ливонией на 10 лет, см. Napiersky 1868, Nr. CCCLXIX). Последнее обстоятельство привело к семантическому сдвигу у снем. *crucekussing*, которое в этих двусмысленных для немцев контекстах может обозначать как процесс целования, так и результат его, то есть сам документ. В отличие от русских оригиналов, немецкие переводы обнаруживают семантическое размежевание и наличие у снем. *crucekussing* отдельного значения «документ». Это размежевание фиксирует в своем словаре Август Люббен (Lübben 1990, 192) в качестве двух отдельных значений «обряд целования креста, подтверждение (мирного) договора» и «сам (мирный) договор». Помимо семантического переосмысления, произошедшего в процессе калькирования этой русской формулы, здесь можно предположить и влияние собственной немецкой словообразовательной системы. Русское абстрактное «целование» закономерно передается в нижненемецком образованием на *-ing*. Однако именно в этой модели регулярно происходит смешение двух ее семантических вариантов — *Nomina actionis* и названий продукта деятельности на *-ingo/-ungo*, которое затронуло целый ряд нижненемецких терминов, обозначающих правовые тексты. Дело в том,

что для обозначения договора, грамоты, посольской грамоты в нижненемецких текстах, относящихся к различным регионам ганзейских контактов, существовала целая группа синонимов или близких по значению слов, употребляемых в синонимичных контекстах, например, *breff, orkunde, eyndracht*. Весьма частотной является в этой группе модель существительного на *-inge*: ср. *eynynghe* «договор, соглашение», *werving* «посольская грамота», *setting* «устав, уложение», *versekering* «охранная грамота», *handfestnynghe* «договорная грамота». Под влиянием системных взаимоотношений в этой группе, очевидно, и произошел семантический переход с обряда целования креста на документ, грамоту у снем. *crucekussing*. Аналогично развивалась, очевидно, и семантика некоторых из перечисленных немецких терминов, например, *werving* (от *werven* «излагать пункты, предлагаемые стороной для включения в договор») или снем. *handfestnynghe* «рукопись, заверение документа подписью; сам этот документ» (Lübben 1990, 136), заимствованного из нижненемецкого в датский язык, ср. дат. *Handfastning* «договор», обозначающее, например, «Земский мир» 1360 года короля Вальдемара IV. Этот термин дважды употреблен и в латинском тексте этого договора, ср. «*statuta, handfestnynghe et decreta*» (текст Земского мира см. у Антонова 1995, 47). Очевидно, что семантика процессуальности утрачена и этим термином, и перечисленными выше немецкими словами, в том числе и калькированным *crucekussing*.

Рассмотрим случаи употребления снем. *crucekussing* в русско-ганзейских источниках. Примеры распределены, в соответствии с определенными выше методическими принципами, по коммуникативным планам по степени близости к непосредственной ситуации контакта.

Первый коммуникативный план: русско-ганзейские двусторонние документы

Пример 1. Грамота Ярослава 1269 года в нижненемецком варианте не содержит обычного завершения с упоминанием обряда целования креста, однако употребленное в латинском наброске «*osculabuntur crucem, sicut moris est*» (Tobien 1845, 86), несомненно, соответствует русской формуле и снем. *crucekussinge*. Исследователи этого текста сходятся на мнении, что это русизм, внесенный в латинский прототип грамоты. Это предположение представляется совершенно оправданным, так как нами встречены и другие случаи передачи формулы крестоцелования в латинских проектах договоров с русскими, подготовленных ганзейцами: например, в документе 1311 г. «*ibique Nogardenses et Plescowenses osculati sunt crucem...*» или «*Theutonici osculati sunt crucem...*» «*Post... osculationem crucis...*» (L-E-CUB, 6, Nr. MMDCLXX, см. также любекский проект 1489 г. в HR, Abt. II, Bd. 2, Nr. 265, с. 305).

Эти примеры показывают, что обязательная для русских текстов договоров формула предусмотрительно вводилась ганзейцами в их текст уже на стадии проекта. При переводе окончательного текста договора на нижненемецкий переводчик употреблял немецкую кальку *dat cruce cussen/crucekussing*, реже *crucebref*.

Пример 2. Охранная грамота князя новгородского Андрея, данная послам из Любека (ок. 1301 г.):

«Gi hebbe uns juur breve gesant uppe den olden vrede und uppe dat olde recht und de crucekussinge...» [32]

(L-E-CUB, 6, Nr. MMLX).

Пример 3. Донесение ганзейской общины Новгорода городу Риге о конфликте купцов с новгородцами, 1331 г.:

«do spreken de ruscen se en kerden sich nicht an de breue. noch an de crucekussinge» [33]

(L-E-CUB, 6, Nr. LXXV, с. 57);

«...hebbet de Nogarder dat cruce den duschen ghecust. vnn de duschen weder dat cruce ghecust den Nogarder...» [34]

(та же грамота, с. 60).

Пример 4. Нибуров мир 1392 г. содержит многократно данную кальку во всех трех нижненемецких переводах (рукописи L, R1, R2): «посадникъ [и проч....] хрестъ целовали» переведено как «...so heft [de borchgreve...] dat cruce kuset» (L), «...hebbe wy dat cruce gekuset» (R1), «...hebben dat cruce dar upp gekuset» (R2), а фрагмент «...по старому хрестному целованию...» переведено как «na der olden crucekussinge...» (L), «...na den olden crucekussingen...» (R1), «...na der olden kruskussynge...» (R2) [35]

(HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45).

Пример 5. Договор 1409 года между ливонскими городами и ганзейской общиной в Новгороде, с одной стороны, и Новгородом, с другой, содержит эту кальку дважды:

«...na den olden breven unde na der kruskussinge...» [36]

(HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 618).

Пример 6. Грамота Великого Новгорода Риге, Дерпту и Ревелю, 1417 г.: сообщает о принятии городом благословения архиепископа Симеона и о готовности возобновить старые договоры:

«Wille gy den olden vrede unde kruskussinge befesten?»,

«...na de olden kruskussinge...» (2 раза) [37]

(HR, Abt. I, Bd. 5, Nr. 483).

Пример 7. Грамота 1420 г. Юрьева (Дерпта) Великому Новгороду о жалобе ганзейских купцов в Новгороде на нарушения договора:

«Dat en is nicht recht na der kruzekussinge» [38]

(HR, Abt. I, Bd. 6, Nr. 138).

Пример 8. Посольский отчет о переговорах в Новгороде, 1436 г.:

«...tegen Gode unde de crucekussinge»;

«...vrede unde crucekussinge...»;

«...dar waert de crucekussinghe ersten befestet unde na vor Nau-garden bekusset...» [39]

(L-E-CUB, 9, Nr. 80).

Пример 9. Письмо 1489 года от ганзейской общины в Новгороде городу Юрьеву с сообщением об успехе московского посольства:

«...koppslagen na der kruskussynghen...» [40]

(HR, Abt. III, Bd. 2, Nr. 266).

Пример 10. Письмо того же года от ганзейской общины в Новгороде городу Юрьеву с жалобой на Новгород:

«...unnd ock noch de crucekussinge nicht na erwiset efft yn-holt...»;

«Dat wil he holden midt der krukussinge myt syme ede»;

«...dat se nicht rechte richten nha der krukussinge» [41]

(HR, Abt. III, Bd. 2, Nr. 261).

Второй коммуникативный план: корреспонденция третьих сторон о событиях, связанных с русскими делами

Пример 1. Русская формула, употребленная в тексте Нибурова мира 1392 года, оказалась перенесенной в текст заключения послов И. Нибура, Х. ван Фландерена и других, которые обсуждали по возвращении из посольства в марте 1392 г. в Юрьеве (Дерпте) итоги миссии Нибура:

«...alse de krukussinge und de breve... wol utwisen...» [42]

(L-E-CUB, 6, Nr. MMCMXXV).

Это заключение, или рецесс, является документом, составленным для центральной инстанции (очевидно, Любека), и может считаться поэтому свидетельством распространения формулы не только на второй коммуникативный план (тексты третьих сторон о русских событиях), но и на третий (тексты, циркулировавшие в центральных инстанциях Ганзы).

Пример 2. Послание Риги Ревелю о запрете торговли с Новгородом, 1409 г.:

«...wenthe se dar ane de crucekussinghe ghebroken hebben...» [43]

(HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 615).

Пример 3. Сообщение ливонских городов Любеку, Висби и ганзейской конторе в Брюгге, 1416 г., о посольстве в Новгород:

«...ghan yeghen des copmans rechticheide, privilegia unde yeghen de cruskussine...» [44]

(HR, Abt. I, Bd. 5, Nr. 298).

Пример 4. Грамота Юрьева Ревелю об ответе своего посла из Новгорода, 1421 года:

«...myd unseme breve der crucekussinge...» [45]

(HR, Abt. I, Bd. 6, Nr. 308).

Пример 5. Послы Риги, Юрьева и Ревеля сообщают магистрату города Любека о несостоявшемся договоре между Ливонским Орденом и Новгородом, 1473 г.:

«...So dat men eyr to vrede vnde nyer cruskussinge myt en komen moge...» [46]

(Napiersky 1868, Nr. CCLXXXII).

Примеры показывают, что при пересказе русско-ганзейских текстов или ссылке на них трансферентные формулы в немецком тексте сохраняются, более того, они употребляются и в тех случаях, когда нет цитирования текста, а только идет речь о договорах с русскими. Данная формула стала, таким образом, самостоятельным выражением в немецком для обозначения процесса заключения договора или самого этого договора с Русью. Последнее стало возможным в результате семантического сдвига с обряда целования креста на сам документ, который произошел уже в самом нижненемецком, так как в русских оригиналах семантический переход не прослеживается.

На втором коммуникативном плане возможны искажения этой формулы. Так, в грамоте Юрьева Ревелю 1412 года (то есть представляющей относительно ранний пример ее употребления) приводится полный текст грамоты ганзейской общины Риге о притеснениях, чинимых немецким купцам со стороны новгородцев (L-E-CUB, 6, Nr. MMCMXC). Эта цитированная «*van worden to worden alse hiir na gescreven steit*» грамота является текстом первого коммуникативного плана. Однако интересующий нас пример содержится в той части грамоты, которая принадлежит перу юрьевцев (а значит, относится ко второму коммуникативному плану), и интересен тем, что в такой форме — нем. *krussinge*, — данная формула нигде не встречается (не указана она и у Люббена). Что имеется в виду именно традиционная русская формула, видно из контекста и синтаксического окружения, в котором употреблено данное слово ганзейцами в их послании рижанам: «...*dat de Dusche kopman bi reddelicheit und bi older vriheit bliven moege, und geven den unsen recht, alse wi gerne den eren hiir in unsen steden wedder doen willen, na der krussinge*» [47]. Это, вполне возможно, ошибка юрьевского автора, сделанная им без влияния новгородского письма, в котором, судя по процитированному в грамоте тексту, о старых соглашениях сказано иначе, со ссылкой на скру: «...*dat des nicht meer en schee und mit eneme eslikeme werde gehalten na der schra, und een eslik darna werde gerichtet de dar ane breke*» [48]. С одной стороны, такая самостоятельность юрьевской канцелярии говорит о том, что данная формула достаточно закрепились в языке канцелярий, чтобы употребляться в переписке третьих сторон о русских делах, но и достаточно десемантизировалась для того, чтобы корреспонденты, непосредственно не связывающие этот термин с обрядом заверения русских грамот, могли допустить такое опрошение в случаях, когда не име-

ли перед глазами образец в виде текста первого коммуникативного плана.

Процесс воздействия русского прототипа на немецкий текст особенно четко прослеживается, когда имеются циклы грамот, относящихся к одному событию, но имеющих различных авторов, исходящие инстанции или адресатов. Приведем пример таких циклов грамот.

Цикл грамот 1

а) Грамота от 10 ноября 1448 года от Любека князю новгородскому и всему Новгороду с предложением возобновить переговоры о подтверждении старых договоров:

«...dar dosulues ene crutzkussinge vp vorramet wart...»;

«...personen, de de crutzekussinge makeden vnde de vormydelst deme kusse des hilgen cruces de crucekussinge vorsekerden vnde beuesteden, vp dat de crutzekussinge de ernsthafftiger vnde vaster gehalten werde...»;

«...dat de guden olden, de dat crutze gekusset hadden, van beyden tzijden vorstoruen sin...»;

«...mit vorkorttinge der crutzekussinge...»;

«...vp der olden crutzekussinge...» etc. [49]

(LUB-I-8, Nr. DLIII).

б) Написанная двумя неделями ранее (28 октября 1448 года) грамота Любека ливонским городам о возобновлении переговоров с Новгородом о подтверждении старых договоров:

«...wente de crucekussinghe en were... nicht gehalten...» [50]

(LUB-I-8, Nr. DXLIX).

Сопоставление этих двух примеров демонстрирует употребление формулы, обусловленное ориентацией на адресата и употребление ее же в переписке с третьей стороной.

Цикл грамот 2

а) Сигизмунд Литовский скрепляет договор Риги и Полоцка, грамота 1439 года на нижненемецком языке:

«...werdet dat cruce darvpp kussen...» [51]

(Napiersky 1868, Nr. CCXLII).

б) Формула скрепления и свидетельствования грамоты того же Сигизмунда с Ливонским Орденом 1439 года иная:

«Des tho Orkunde v. merer bestedinge willen hebbe wij vnse Ingezeghel van rechter wisscop laten hengen an dessen breff» [52]

(Napiersky 1868, Nr. CCXLIII).

Здесь в грамотах одной и той же инстанции, относящихся к одному и тому же времени, продемонстрирован различный выбор формул в зависимости от адресата и предмета договора.

Цикл грамот 3

а) Грамота великого князя Василия Ивановича содержит текст договора о мире и торговле с 70 немецкими ганзейскими городами 1514 года, на нижненемецком языке:

«...na dussen Cruskussinge...» (5 раз);

«...na dussen Biefriede unde na der Kruskussinge...» (6 раз);

«...hebben gekusset det Krucze...» (о немцах) [53]

(Napiersky 1868, Nr. CCCXXXI).

Любопытно сравнить с этим примером текст другой грамоты великого князя Василия Ивановича 1515 года, написанной Верховному магистру Ливонского Ордена. Это та самая грамота, за проволочку с получением которой просит прощения магистр Плеттенберг в связи с тем, что пришлось срочно искать переводчика. Работа этого случайного переводчика резко отличается от обычной манеры перевода. Видно, что он не владеет принятой формой передачи на немецком русских грамот. Например, этот перевод представляет собой один из редких примеров, когда год написания грамоты не переведен в европейскую систему летосчисления, а стоит дословно с русского «Geschreuen Inn vnnser Herschoppe vp vnnsem Slotte thor Musskow Im seuendusenstenn vnnd dre vnnd twintigestenn des twe vnnd twintigestenn dages inn dem meye» [54]. Говоря о союзе против польского короля, переводчик дважды употребляет слово *eneghung*, слова же *crucekussing* в тексте нет (Napiersky 1868, Nr. CCCXLIX).

Сравнение этих двух почти одновременных грамот, вышедших из одной канцелярии, показывает, что употребление территориально ограниченных формул опиралось на переводческую традицию: переводчик, не знакомый с традицией передачи русских грамот, склоняется к буквальному переводу и употреблению нейтральных формул.

В результате трансференций складывается положение, когда заимствованные формулы прочно связаны с русским контекстом и вместе с ним проникают в корреспонденцию других канцелярий, не участвовавших непосредственно в контакте (второй коммуникативный план).

Однако этим не ограничивается подвижность трансферентов в ганзейском корпусе. Дипломатические сношения и заключение договоров в конечном счете находят отражение в центральной инстанции Ганзы, и таким образом русские трансференты **проникают на третий коммуникативный план**, оказываясь, например, в любекских текстах и получая доступ туда, где вырабатывается норма и эталон письменного языка. Так, например, рецесс съезда в Любеке (август 1470 года) содержит 133 параграфа, касающихся различных регионов деятельности Ганзы. Среди этих многочисленных параграфов Nr. 130 посвящен новгородским делам: в нем говорится о возвращении с переговоров в Новгороде послов

ливонских городов и о предстоящем закрытии новгородской торговли и прекращении действия всех прежних договоров, в том числе Нибурова мира 1392 года:

130.3: «...dat men se by Nyeburs krutzekussinghe unde aller andere krutzekussinghe, olde lovelike wonheyde, vrygheyde unde rechticheyde laten wille...»;

130.4: «...by allen krutzekussinghen...»;

132: «...dat Nyeburs krutzekussinghe unde andere krutzekussinghe, de to Wysbu synt...» [55]

(HR, Abt. II, Bd. 6, Nr. 356).

В этом тексте особенно интересен третий пример («что Нибуров договор и другие договоры, которые находятся в Висби...»), в котором под словом *krutzekussinghe* совершенно однозначно имеется в виду конкретный пергамент с текстом договора, а не обряд или даже договор.

Инструкция послам, направляемым в Новгород, 1510 года, составленная, скорее всего, в Любеке, так как единственная ее рукопись находится в Любекском архиве (HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 542), содержит, помимо пунктов, предлагаемых ганзейской стороной для переговоров, также наставления, касающиеся порядка изложения этих пунктов, тактических и риторических правил, вплоть до образцов обращений, перечисления титулов великого князя московского и новгородского Василия:

«...sine rede funderen up des konighes breff mith deme vorgulden segel unnd olde crutzkussine...»;

«...mannichfoldige crutzkussinge unde de breff under den gulden segel...»;

«...eyn lantfrede... to 14 jaren bekusszeth unnd fullentoghen is twisken dyner groth. vaderliken erve und dem ghemenen lande tho Lifflande...» [56]

(HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 542).

Из последнего примера также видно, что инструкция написана в форме обращения к князю, о чем свидетельствует форма 2 лица: «dyner groth. vaderliken erve». Этот любекский текст несомненно представляет собой образец или попросту заготовки для речи послов в Москве. Как видим, формула *crutzkussinge* неоднократно употребляется в этой инструкции, относясь, очевидно, с точки зрения любекских ратманов, к обязательной терминологии русско-ганзейских дипломатических сношений. В составленных по этой инструкции текстах трех рукописей обращения послов в Москву 24 февраля 1510 года (одной из Ревеля и двух из Любека), как и следовало ожидать, встречаются выражения «dat crusze bekuszen» и «crucebreff»:

«...die van beiden parten ys vorsegelt unde nha gewonte up dat werde hillige crusze bekuszet gewesen...»;

«...des crucebreffs...»;

«Dussze frede is van den statholderen unde anderen olderluden na wontliker wysze bokusset unde na synem bovele vorsegelt gewesenn» [57]

(HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 543).

В проекте договора, заключенного в результате этого посольства, также многократно встречается ннем. *crutzekussinghe* (HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 544).

Все сказанное не означает, что собственные нижненемецкие обозначения везде заменены этим трансферентом. Разумеется, в русско-ганзейском корпусе текстов встречаются и обычные исконные способы обозначения договора, как общерегиональные термины, так и диалектно ограниченные варианты. Они выявляются при сравнении аналогичных частей грамоты (Carlie 1925) и часто стоят в схожих или одинаковых конструкциях и контекстах. Сравним два аналогичных отрывка из грамоты Риги Ревелю 1468 года о жалобе новгородского посла магистру Ордена на Ригу, Нарву и Ревель (HR, Abt. II, Bd. 6, Nr. 69):

1) «...dat wii den eren hir gunnen unde tolaten, wes ze den unsen dar gunnen unde tolaten na der crucekussinghe, de wii hebben gehalten unde holden willen, de zee doch gebroken hebben...» [58];

2) «...wolde gii den vrede holden, se wolden [en] ok holden...» [59].

Этот текст относится ко второму коммуникативному плану, т. е. в нем содержится корреспонденция о делах в Новгороде, но адресатом и исходящей инстанцией являются третьи стороны. Мы видим здесь употребление в идентичных контекстах и идентичных синтаксических конструкциях синонимических терминов, обозначающих договор: территориального варианта *crucekussinghe*, характерного для русско-ганзейской корреспонденции, и нижненемецкого *vrede*, не отмеченного территориальной спецификой.

Протоколы ганзейских съездов — это специфичные сводные документы, куда собираются аналогичные тексты не только из России, но и из других частей Европы. Это означает, что каждый параграф протокола съезда, посвященный какому-то отдельному региону, может содержать трансференты или прочие черты влияния этого региона на нижненемецкий. Так в действительности и происходит: в текстах, связанных с Англией, Францией или Фландрией, встречаются варианты, типичные для этих регионов ганзейской торговли. Например, сильно латинизированный характер ганзейско-английской переписки, обусловленный тем, что английские инстанции (королевская канцелярия, Тайный совет) на протяжении всего времени существования ганзейского двора в Лондоне не перестают пользоваться латынью в своих обращениях к Ганзе и немцам, живущим в Лондоне, приводит к тому, что большое количество латинизмов/галлицизмов проникает и в нижненемецкие тексты немецких инстанций и авторов, направленные к ганзейским

адресатам в Англии или из нее. Естественным образом, слово *gru-sekussing* в текстах англо-ганзейского корпуса не встречается. В соответствующих контекстах и конструкциях здесь употребляется, наряду с нейтральными, общими для нижненемецкого словами как *eyndracht* или *breff*, территориально соотношенное слово *composicie*, характерное для англо-ганзейской корреспонденции.

Этот вариант названия договора является заимствованием из латинского. В грамотах, написанных на латинском языке, оно нередко, ср. в грамоте князя Витаутаса, скрепляющей договор Риги с Полоцком (1406 г.), в латинском тексте «*compositionem amicabilem posuimus*», соответствующее в переводе нижненемецкому «*vruntlike eninge gesat... hebben*» [60] (L-E-CUB, 6, Nr. MMCMLXVII). Территориальным это латинское заимствование является не в силу происхождения — напротив, в латинских текстах оно широко распространено, — а в силу ограниченности того ареала, на котором этот латинский термин был перенят нижненемецким языком грамот. Он, например, не встречается в источниках ганзейско-новгородского круга, однако типичен для западных контактов Ганзы.

Из текстов первого коммуникативного плана можно привести договор 1478 года, положивший конец многолетней борьбе между ганзейским Стальным двором в Лондоне и кельнской купеческой общиной в Англии (см. Schulz 1911, 129–130): «...vmme dat den de koeplude van Kollen der vorschreuen composicien na erem inholde nicht vulgeden...»;

«...so dat allent de composicien to Bremen vp der dachfart mer, breder vnd klarer vtwiset vnd inholdet» [61]

(Lappenberg 1851, Nr. CXXXVII, с. 157–158).

Другим примером текста первого коммуникативного плана может послужить письмо 1449 года от ганзейской общины в Лондоне послам ганзейских городов с пожеланием «...dat dat in der composicien vorwart worde, dat men uns vul ind alle bii privilegien sall halden...» [62]

(HR, Abt. II, Bd. 3, Nr. 569).

Эти примеры относятся, как уже отмечалось, к текстам первого коммуникативного плана (тексты, исходящие из ганзейского двора в Лондоне). Аналогично тому, как было показано на примере русских трансферентов, эти англо-ганзейские территориально ограниченные варианты начинают подниматься на более высокий коммуникативный уровень, расширяя таким образом географию своего функционирования. Так, слово *composicie* встречается в текстах второго коммуникативного плана (корреспонденция третьих сторон о делах, связанных с Англией):

а) грамота Данцига Любеку и Гамбургу 1469 года рассказывает о ганзейско-английской войне на море и упоминает о договоре между Ганзой и Францией (см. Schulz 1911, 108–116):

«wo twisschen der crone van Frangriken und den steden eyne composicie und eyndracht... gemaket isz» [63]

(HR, Abt. II, Bd. 6, Nr. 283).

Латинизм здесь употреблен в паре *composiscie und eyndracht* «договор»; употребление синонимов или близких терминов в парных конструкциях весьма характерно для языка рассматриваемых грамот (ср. также ниже *articule und puncte*).

2) Формула «бить челом»

(= *houetslaghe* или *hovetslan*, а также в глагольной конструкции *syn/eren houet slan*)

Ко времени создания рассматриваемых текстов это речевая формула, специфичная для ганзейских текстов только в сфере ее русских контактов. Она восходит к русскому обряду челобитья, когда поклон в землю клался в знак вассального подчинения (Покровский 1933, 49–50). Позднее челобитьем стали называть униженную просьбу. С XV века на Руси выделяется разряд челобитных грамот, или просто челобитных, как подгруппа внутри жанра грамоты. В нашем корпусе калька *houetslaghe* встречается обычно при обозначении прошений или посольских документов, излагающих пункты, предложенные одной стороной для обсуждения с противоположной стороной в ходе подготовки договора. Такие пункты, разумеется, не обязательно должны были содержать просьбу. Однако приведенные ниже примеры показывают, что текст, оформляющий эти пункты, часто составлен в просительной модальности.

В средненижненемецких текстах, не относящихся к русским связям, обычным термином для обозначения таких документов служат слова *breff* и в особенности *werving*, *werf*. Часто предложения послов для переговоров, которые имели вид списка, состоящего из отдельных положений, желательных для включения в обсуждаемый договор, назывались просто *пунктами*. Например, участники Нибурова посольства в Новгород в 1392 г. называют документ, с которым они ездили к новгородскому князю на переговоры, *articule und puncte* (см. протокол послов, составленный по возвращении из Новгорода, изданный у Бунге: L-E-CUB, 6, Nr. MMCMXXV). В самом тексте договора, естественно, нет обозначения этого предварительного проекта, но сказано, что послы «*hebben gesproken myt dem borchgreven van Nougarden Tymofei Jurjevitze... unde hebben geworven*» (следует изложение пунктов) [64]. Производные от этого глагола слова *werving* и *werf* часто употребляются для обозначения аналогичного документа.

В русско-ганзейских текстах встречаются как эти перечисленные общераспространенные нижненемецкие слова и латинские заимствования, так и кальки русской формулы «бить челом»:

Примеры 1–2. Грамота Новгорода Колывани (Ревеля), 1441 г., с требованием управы для новгородца Петра, ладья которого была разграблена и люди побиты, существует как в русском оригинале, так и в современном переводе с пометкой «Peter Novitorssz breff utgetolket upp Dudessz» (обе рукописи хранились в архиве Ревеля). Фраза из русского оригинала «Боуде вамъ вѣдомо, здѣсе намъ билъ челомъ и жаловался нашъ брате Новгородечъ Петре...» (Валк 1949, Nr. 71) переведена следующим образом: «Gi sullen weten, hir hevet vor uns syn hovet geslagen unde geclaget unsse broder, en Noerder Peter...». В той же грамоте нижненемецким «He sloch jw syn hovet...» переведена фраза «И онъ вамъ билъ челомъ»

(L-E-CUB, 9, Nr. 793).

Примеры 3–4. Рассказ ганзейской общины Новгорода городу Риге о возникшем у нее конфликте с горожанами Новгорода, 1331 года, иллюстрирует переход кальки с одного коммуникативного уровня на другой. Переданные в прямой речи слова немецких купцов, членов ганзейской новгородской общины, обращенные к новгородцам, относятся, несомненно, к первому коммуникативному уровню:

«...iu heren sla wi vnse houet. wi sin schuldich. vorbarmet iu over vns»;

(Napiersky 1868, Nr. LXXV, с. 60).

В тех же выражениях написана и часть текста, обращенная к магистрату города Риги:

«...vnn de Nogarder hebbet sich ouer de duschen vorbarmet. na erre bede. vnn na erme houetslande...» [65]

(там же).

Примеры 5–6. Протокол съезда лифляндских городов в Бабе 1514 г. содержит изложение ответа новгородской стороны на просьбу ганзейских послов разрешить им проехать в Новгород для переговоров, в котором употреблено и существительное *hovetslach* в значении «документ, прошение», и глагольная конструкция «sin hovet slan»:

«...wen ere sendebaden worden dem grotfurst en ere hovet slan umme einen frede, szo wil der grotfurst ansien en ere hovetslach und wil den Dutschen copman begnadigen und vorgonnen en tho copslagen in sin vaderlike erve tho Grote-Neugarden...» [66]

(HR, Abt. III, Bd. 6, с. 507–520).

Этот пример можно отнести к первому коммуникативному плану, так как он содержится в цитате из русского документа, однако следует отметить и тот факт, что упомянут он в общеганзейских актах, то есть на третьем коммуникативном уровне. Это значит, что формула имела те же возможности восхождения от узколокального употребления к общеганзейскому. Это место повторено еще раз уже в собственном тексте послов в пункте 13 протокола:

«...der grotfurste wil ansien unsen hovetslach...» [67]

(HR, Abt. III, Bd. 6, с. 506).

Источник этого трансферента тоже сохранился: это изложенный в том же протоколе ответ великого князя Василия Ивановича с его согласием на посольство (на верхненемецком), в котором читаем: «...geschickt zcu unseren stathaltern... mit iren houbtslaghen...», «...uns ir hobt slaghen von iren weggen umme geletsbrief», «...szo wir werden ansehen ire haubtslahen...» (там же, с. 513).

Пример 7. Серия грамот, написанных в течение нескольких дней 1514 года, касающихся одного и того же эпизода:

а) грамота от 30 марта от имперского рыцаря и советника одному из ганзейских городов (внем.);

б) его же грамота от 29 марта великому князю (внем.);

с) его же грамота русскому должностному лицу, без даты (внем.);

д) грамота князя Василия в ответ на предыдущую грамоту, без даты (внем.);

е) грамота участников ганзейского посольства к князю, от 30 марта, обращенная к магистру Ливонского Ордена В. фон Плеттенбергу, на нижненемецком.

В этих уже сравнительно поздних документах интересно не только употребление формулы *crucekussinghe* только в тексте ганзейских послов (е), то есть на третьем коммуникативном уровне, при отсутствии этой формулы в верхненемецких текстах к русской стороне или от нее, но и дистрибуция формулы *houbtslaen* в зависимости от адресатов и исходящих инстанций. Вариант *houbtslaen* употреблен только в текстах, обращенных к русской стороне или от нее. В корреспонденции между двумя немецкими сторонами использованы только обычные немецкие термины «*werbungh vnd handelungh*» (а), которые есть также и в (б) — «*meuyner handelungh vnd werbung*», и в послании (с) от немца к русской стороне — «*der koffmans handelungh vnd werbungh*», а в ганзейском послании (е) те же сообщения сформулированы в иной модальности и использованы ннем. «*Artikelen*», «*wie bodinghet hebben*» [68].

Эта дистрибуция говорит о различном статусе трансферентов «*crucekussing*» и «*hovetslaen*» в ганзейском деловом письме: если первая формула, как мы видели, в это время уже приобретает самостоятельный статус в нижненемецком и употребляется третьими сторонами без того, чтобы это было спровоцировано русским обращением, то вторая формула еще зависит от состава корреспондентов и употребляется в ответ на употребление термина русской стороной.

Почти все встреченные случаи использования формулы «*hovetslaen*» относятся к текстам первого коммуникативного плана, за очень небольшим исключением. Примеры 2–3 и отрывок из посольского отчета Роде 1510 года, — текста, рассчитанного на чтение и обсуждение в центральных городах Ганзы, — могут свидетельствовать о том, что это выражение было известно и понятно в ганзейских городах, но его употребление отчасти ограничено теми случа-

ями, когда цитируется русский источник или речь, обращенная к немцам, и не стало, по всей вероятности, таким распространенным в ганзейских инстанциях, как использование формулы *crucekussing*. Формула *hovetslan*, etc. осталась географически ограниченной. О том же свидетельствует и материал другой области ганзейской торговой деятельности на Руси: автор русско-нижненемецкого разговорника, относимого исследователями к Пскову 1607 г. (Hammerich, Jakobson 1970), Тоннис Фенне, явно не знаком с нижненемецким трансферентом *hovetslaen*, ср. его глоссу *tzelobitia = eyn tzelobitien schriuen* (Hammerich, Jakobson 1970, III, 427, 1), где первая часть содержит русское слово в обычной для Фенне немецкой транскрипции, но вторая часть — несомненно нижненемецкая и содержит его рекомендацию — пользоваться прямым заимствованием. По всей вероятности, немецкая купеческая среда в Пскове в начале XVII века не пользовалась калькой *hovetslan*, что лишний раз говорит о территориальной ограниченности последней, причем не только для Германии, но и на русской почве: она принадлежит, очевидно, только к новгородско-ганзейскому кругу текстов.

С чем связана такая разница в судьбе двух обсужденных формул, сказать трудно. Можно высказать лишь некоторые осторожные предположения. Первое связано с функцией и значением формулы в языке грамот. Обе формулы предназначены для использования в очень частотных пассажах. Практически можно сказать, что сообщение о послах, прибывших с предложениями на переговоры, — столь же частотный эпизод, как сообщение о заключенном в результате этих переговоров договоре. Вторичные ссылки и на те, и на другие эпизоды делаются очень часто. Это значит, что в количественном отношении значимость обеих формул одинакова. Различна, правда, ее семантика в структуре грамоты. Формула целования креста есть формула заверения грамоты, ее удостоверения, без которой русская сторона могла счесть грамоту недействительной. Другие формулы заверения грамоты — перечень участников, свидетельствующих заключение договора, иногда приложение руки и обязательное навешивание печатей, — существовали и в немецкой правовой практике и использовались в русско-ганзейском корпусе текстов. Русская формула является дополнительной по отношению к ним и не имеет синонимов. Речь идет о дополнительной правовой процедуре, а не о расширении формальных средств нижненемецкого языка грамот. Во втором случае можно говорить о пополнении ряда синонимичных или близких по значению формул, отличных по своей дистрибуции. Распространение формулы «бить челом» характеризует контактную активность нижненемецкого, но в нем существовали и старые термины, перечисленные выше. Они не связаны с главной информацией, закреплённой в грамоте, но зато передают общую модальность события, указывая на равноправное или неравное положение партнеров коммуникации (ср. в равноправной

ситуации выражение прямой просьбы, не оформленной через какой-либо социальный жест: «vmb vnsser bete wyllen»: император Максимилиан пишет царю Ивану Васильевичу, 1511 г., Napiersky 1868, Nr. CCCXIV). Знакомство с грамотами показывает, что для посланий монарших персон вообще характерно превознесение своего адресата при выражении просьб к нему. При этом делается ссылка на родство обоих корреспондентов (обращение «брат мой» и т. д.), имплицитно, что общение ведется как бы поверх социальных и политических различий. Принципиально иной представляется ситуация коммуникации между должностными лицами. В их переговорах равное или неравное положение партнеров должно быть выражено эксплицитно, соответственно самой правовой ситуации, в которой они находятся, и, разумеется, итогам переговоров. Способом такой экспликации взаимного положения сторон и были, очевидно, формулы типа *hovetslagen* или «к нам приехали» (см. ниже). Во всяком случае, имеются указания на то, что немецкая сторона очень внимательно относилась к вопросу употребления таких формул и в ряде случаев явно намеренно их избегала. Эта строгая избирательность языка грамот по отношению ко всякого рода коннотациям и могла быть причиной ограниченного распространения данной формулы.

Второе соображение касается системных взаимоотношений трансферента в языке-цели. Как всякие формулы, они не свободны от того, что можно было бы назвать эстетической нагрузкой. Выяснение тех эстетических моментов в языке грамот, которые связаны с древними представлениями о действенности и правовой силе слова, заняло бы целое отдельное исследование и не может быть здесь принято, однако ясно, что такие обороты, как *rechte to richten* [69] (Napiersky 1868, 126–127), не являются случайностью, а несут какие-то функционально и прагматически связанные эстетические нагрузки. В этом смысле трансферент *houetslaen* мог быть неудачным приобретением в силу омонимичных отношений с другими важными и частотными терминами языка грамот. (Выше уже отмечалась роль словообразовательной модели в оформлении контактных явлений.) Существование в тех же текстах термина *copslagen* «заключать торговые сделки, торговать» от снем. *cop*: ср. «...*copslagen*... na der Krusskussinge» [70] (Napiersky 1868, Nr. CCCXXXI) могло быть препятствием для широкого распространения рассматриваемого трансферентного явления. Неудачной выглядит не только общность второй основы *slag-*, которая имеет в обоих терминах различные значения, фактически приводя к нежелательной терминологической омонимии (ср. значение «бить [оземь]» в слове *hovet-slaen*, но «заключать [сделку]» во втором термине и даже утрату семантической мотивации у слова *copslagen* в значении «торговать чем-либо», Lübben 1990, 184). С первыми частями этих слов дело также обстоит не совсем удачно. Помимо снем. *hovet* «голова» существует также снем. *cop* с тем же значением, не столь употреби-

тельное, но все же встречающееся в том же корпусе текстов; так, грамота Любека Новгороду 1420 года (HR, Abt. I, Bd. 4, с. 64) говорит о некоем Винеке Гелремани, скрывавшемся от кредиторов и выдававшем себя за гражданина Любека, что будь он в Любеке, с ним бы поступили, «...alse wii kortliken alzodannen bozen luden gedaen hebben, wente wii der 24 de coppe afhouden leten to ener tiid» [71]. *Hovetslaen* и *copslagen*, омонимичные и в грамматическом отношении, так как первое из них чаще является существительным, а второе — всегда глагол, должны были нередко встречаться в одном абзаце или даже предложении (ср. пример 3: существительное *hovetslach* в значении «документ, прошение», и глагольная конструкция «sin hovet slan» стоят в одном предложении с «vorgonnen em tho copslagen» [72]. Конечно, нельзя утверждать, что могла бы произойти путаница из-за неразличения терминов, однако соседство двух столь похожих терминов (кстати, тонко устраненное в приведенном здесь примере применением вместо обычного существительного *dat hovetslagen* редким *hovetslach* и словосочетанием с глаголом) создавало бы ненужные ассоциации, не служащие ни усилению смысла этого правового текста, ни украшению его формы.

Не во всех случаях, когда обнаруживается сходство оборотов и выражений в языке русских и нижненемецких грамот, можно четко разграничивать явления контактного происхождения и параллельные образования, существующие в обоих языках независимо друг от друга. Не всегда вообще легко решить, формула ли данное выражение или просто адекватное, неклишированное оформление содержания, так как, во-первых, содержание отдельных пассажей грамоты в основном одинаково для обоих языков (формулы, рассмотренные выше, как раз и отличаются тем, что их отбор опирался на содержательные различия), а во-вторых, формулы варьируются в пределах синонимичных или близких по значению выражений (ср. *na de olden crucekussinghe/na den olden breven/na der olden wonheyt unde crucekussinge, etc.* или *crucekussinghe/dat cruce kussen* [73]). В этом смысле очень характерно указание В. Феддерса на способ отбора однородного материала: следует смотреть в одни и те же места разных грамот (Fedders 1988). Действительно, при выборе материала для данного исследования очень важным оказался критерий единого контекста и единого расположения того или иного фрагмента в структуре грамоты. Этим критериям отвечают приведенные ниже единицы:

**1) Формула «мир докончати»/«докончати»/
«докончать правдою»**

В древнерусском эта формула, возможно, тяготеет к новгородскому деловому письму, ср. смоленские грамоты раннего периода с иной формулировкой: «А рядъ мои с Немьци таковъ...» (грамота

смоленского князя, подтверждающая договор Мстислава Романовича 1229 года с Ригой и Готландом: L-E-CUB, 6, Nr. MMMXIV) и новгородские тексты, содержащие формулу «мир dokonчатъ»:

Пример 1. Новгородский князь Александр сообщает о заключенном с немцами торговом договоре (предполож. 1262 г.):

«Се азъ князь Олександр... и съ всѣми Новгородци, dokonчaхомъ миръ с посломъ Тидрикомъ...»;

«...а миръ dokonчахъмъ на сеи правдѣ...»

(L-E-CUB, Bd. 6, Nr. MMMXXXIII).

Пример 2. Владыка Новгородский в 1373 г. заключает соглашение с послами Любека и Висби:

«То есмя dokonцялъ с посломъ...»

(L-E-CUB, 6, Nr. MMMXCIV).

Пример 3. Договорная грамота Великого Новгорода с Ливонским Орденом о мире и разрешении спорных дел 1421 г.:

«Се приѣхаша пословѣ Великии Новѣгородъ от местеря Селивестра Гостѣла, кумендерь велеядьчкыи... (перечисляются послы), далее а грамоте: «...и покончяху с местеромъ с рѣскѣмъ с Селивестромъ миръ»

(Валк 1949, Nr. 60).

Формула «dokonчати [мир, правдою]», возможно, явилась источником для нижненемецкой формулы «[*vrede, bivrede*] endighen»/«ende nemen», однако в отличие от рассмотренных выше калькированных формул данная формула не обладает однозначной формальной маркированностью, указывающей на ее происхождение из русско-ганзейских текстов. Основой для предположения о ее соотносительности со сферой русско-ганзейской торговли может служить ее географическая дистрибуция: глагол *endigen* частотен именно в русско-ганзейских текстах, а выражение «ende nemen» встречается только в переводах с русского на месте русской формулы «dokonчати [правдою]».

Пример 4. Соглашение Новгорода с немецкими купцами о торговле фальшивым воском (6 января 1332 г.):

«Aldus hevet geendighet de biscop van Novgarden...» [74]

(L-E-CUB, 6, Nr. MMDCXCIII, с. 94–95).

Примеры 5–6. Договорная грамота Новгорода с Ригой, Готским берегом и немецкими городами о торговле воском, 1342 г.:

«Aldus hevet geendighet de biscop van Nougerden... mit Dudeschen kinderen...» [75];

далее в той же грамоте: «Dat disse dinch geendighet worden, dat scah...» (следует дата заключения договора) [76]

(Валк 1949, Nr. 41, с. 73 и 74).

Пример 7. Проект договора 1373 года существует в русской рукописи (Валк 1949, Nr. 45) и двух нижненемецких переводах. Формула древнерусского оригинала «...dokonцялъ с ними правдою...» одинаково отражена в обоих переводах:

Перевод 1: «...scheden mid rechte, also dar et einen gansen enden nam...»

(Napiersky 1868, Nr. XCVI, c. 78);

Перевод 2: «...schedden myt rechte, also dat id eynen gantzen ende nam...»

(HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 68).

Оба перевода представляют собой попытку перифразировать русскую формулу, передав ее по частям: друс. *правда* «договор» при помощи ннем. *recht*, а глагол «докончить» — нижненемецким выражением «also et... einen... ende nam».

Пример 8. Нибуrow мир 1392 г. содержит в русском оригинале вариант формулы «по сому доконьцанию» (Валк 1949, Nr. 46), который передан в нижненемецких переводах следующим образом:

рукопись L: ...alset gheendighet is;

рукопись R1: na desser voreyni[n]ge;

рукопись R2: na erer eghenen endege...

(HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45, c. 50).

Рукописи L и R2 передают русскую формулу (глаголом *endi-ghen* или существительным *endege* < *endinge*), тогда как рукопись R1 представляет иную формулу.

Пример 9. Договорная грамота Великого Новгорода и Пскова с Ливонским Орденом 1448 г.:

«De foerste meister hevet geendiget enen vrede...» [77]

(Валк 1949, Nr. 73, c. 120).

Пример 10. Договорная грамота Великого Новгорода с ганзейскими городами о перемирии на семь лет, 1450 года:

«Desse byvrede is geendiget ind jar...» (следует дата) [78]

(Валк 1949, Nr. 74, c. 126).

2) Формула «к нам приехали»

Пример 1 взят из грамоты 1301 года от князя новгородского Александра послам Риги, Любека и Висби:

«...се приеха Иванъ Бѣлый из Любка, Адамъ съ Гочкого берега, Инчя Олчять из Ригы...»

(L-E-CUB, 6, Nr. MMMLXI).

Пример 2 представляет собой зачин договора 1392 г. (Нибуrow мир):

«Се приѣха Иванъ Нибуръ из Люпка посольством...»

(Валк 1949, Nr. 46, c. 81).

Пример 3. Договорная грамота Великого Новгорода с Ливонским Орденом о мире и разрешении спорных дел 1421 г.:

«Се приѣхаша пословѣ Великий Новѣгородъ от местеря Селивестра Гостѣла, кумендеръ велеядьчкыи... (перечисляются по-

слы), далее в грамоте: «...и покончяху с местеромъ с рѣскѣмъ с Селивестромъ миръ»

(Валк 1949, Nr. 60).

Пример 4. Договорная грамота Великого Новгорода с ганзейскими городами о перемирии на семь лет, 1450 г.:

«Hiir sint gekomen Dutsche boden to Groten Nougarden... unde sint gekomen bodewiis als van Lubeke... to unseme heren, deme wygeden bisschope Eufymie to Groten Nougarden...» [79]

(Валк 1949, Nr. 74, с. 124).

Пример 5. Перемирная грамота ливонских магистров с Новгородом на 10 лет, 1521 г.:

«hir sint gekommen in des grotherschers Keyzers aller Russen Vederlicke Erue tho Grote nowgarden... ere Boden van Pleskow (перечисляются русские послы)... der gelick sie gekommen van demme Eddelen Fursten tho lyfflandt Woltherrn van Plettenberch... sine boden (перечисляются послы магистра)... vnnd hebben geendiget... thein iarigen Byfrede...» [80]

(Napiersky 1868, Nr. CCCLXIX, с. 340).

Аналогичная формула употреблялась и в нижненемецких документах, происходящих из Германии, однако в ином контексте и в ином типе грамот. Во всех таких случаях речь идет не о переговорах равноправных сторон, а об истце или просителе, выступающем со своим делом перед высокой (ганзейской или городской) инстанцией. Примеры такой ситуации можно найти в протоколе ганзейского съезда в Вольмаре 1468 года (HR, Abt. II, Bd. 6, Nr. 62), где имеются записи о разрешенных на съезде трех частных исках. Параграф 19 протокола начинается словами «Item qwemen dar ok vor dusse erschreven heren radessendeboden de ersame her Johann Herlinckhusen... unde Ywen Borger van Reval, mit eren rechten unde saken...» [81]. Несколько иной вариант в параграфе 18: «Item qwan darsulvest en geselle, genommet Lubbert Travelmann...», который обращался к послам с прошением: «...unde bat sine borgen wedder vrii unde losz to scheldende» [82]. Таким образом, данная формула зачина употребляется в ганзейских актах в ситуации, когда частное лицо обращается с прошением в высокую инстанцию. Это даже более четко видно в следующем варианте формулы, открывающей параграф 17: «Item qwan vor dussen steden en genommet Tidemann Kulle, en borger to Darpte...» [83]. Замена упоминавшихся в Nr. 19 послов на *vor dussen steden* показывает, что во всех трех случаях имеется в виду не физическая встреча с конкретными людьми, а явка в инстанцию (Ганза, объединявшая 73 торговых города, официально не имела административной структуры и центральных органов, и собирательное понятие «Ганза» в текстах часто передается фразами *de stede unde de ghemene Dutsche copman, de stede bi der zee, de menen stede, de 73 stede* и др.).

Понятно, что формула, применяемая в отношении истца или ответчика, предстающего перед высокой инстанцией, не всегда подходила для переводов международных договоров, когда речь идет о двух равноправных сторонах. Употребление в текстах русско-ганзейских договоров, переведенных с древнерусского, формулы, дословно повторяющей русское «к нам приехали...» вносило в текст коннотацию неравенства договаривающихся сторон.

Пример 6 иллюстрирует случай дословного перевода с русского с ясной коннотацией неравенства сторон. В договоре великого князя Василия Ивановича 1514 года о мире и торговле с Ганзой при переводе зачина, правда, 2 лицо заменено первым, однако далее снова употреблено 2 лицо (ср. «*erren Hovetslag*»):

«*Wir Sendebaden van den sewentich Steden: van Dorpte Johan Bulk Borgermeister, u. Arent van Lohn Ratman..., sinth gekomen in des Groten Herren sein vederlike Erwe tho Grote Neugarden... mith erren Hovetslage...*» [84].

Положение просителей, в котором изображаются при данном употреблении формулы немецкие послы, подчеркивается словом *hovetslag*, хотя речь идет не о прошении, а о заключении договора о мире и торговых отношениях. Далее в тексте грамоты сохранены типичные для русских текстов обороты, изображающие русского князя жалующим, благодетельствующим своих партнеров по переговорам:

«...*darum deth der Grothe Herscher Wassilij... wolde begnadigen unde bevelen sinen Statholderen tho Neugarden... tho enem... Bifride...*» [85]

(Napiersky 1868, Nr. CCCXXXI, 1514).

Те же коннотации, привнесенные русским оригиналом договоров, хорошо иллюстрируются случаями аналогичного употребления глагола *begnadigen* в сочетании с формулой «бить челом»/«челобитье» (см. примеры 2, 3, 4 в разделе, посвященном этой формуле).

Пример 7 иллюстрирует способы перевода рассматриваемой формулы в тех случаях, когда заложенная в русском оригинале коннотация неравенства неприемлема. Поразительный пример такого решения представляет текст Нибурова мира 1392 года: очевидно, не найдя общей формулы, приемлемой для обеих сторон, переводчики, кажется, изготовили два разных варианта перевода (см. ниже рукописи R1 и R2), т. е. фактически два разных текста договора.

Оригинал: «Се приѣха Иванъ Нибуръ из Люпка посольством, [перечисление послов]... к посаднику Тимофѣю Юрьевичю [пречисление официальных лиц Новгорода], ко всему Великому Новгороду».

Переводы:

L: Her Johan Nyebur van Lubeke unde [...] boden van dessiit der see [...] sint ghewesen to Nowgharden vor uns, also deme borchgreven Thimofe Jurjevitze unde [...]. [86]

R1: Hyr is gekomen Iwan Nybur van Lubeke bodewys [...] to dem podsadniken Timoffe Jurgewitz unde [...] unde to allen Groten Nowerdes [...]. [87]

R2: Hir is gekomen her Johan Neibur van Lubeke [...]. Dese syn gewesen vor boden to Nougarden van des gemeynen copmanns wegene... [unde hebben gesproken] myt dem borchgreven van Nougarden Tymofei Jurjevitze [...] unde myt gantzen gemeynen Nougarden, [unde hebben geworven]. [88]

Во-первых, бросается в глаза, что R1 и R2 написаны не от лица русской стороны, как русский прототип, а переписаны от лица немецкой стороны, причем это выдерживается на протяжении всего текста. Рукопись L копирует русский текст (вероятнее всего, по приложенному русскому списку, о котором речь в пометке) прямо, без такой переработки.

Смысл этой переработки возможно, становится яснее от сравнения R1 и R2: в R2 большие изменения в формулы «се приѣха»: предложение разорвано, и факт прибытия послов к новгородским властям, прямо и в соответствии с русской традицией изложенный в L и R1, здесь стусеван, так как само прибытие упомянуто в первом предложении без указания той высокой инстанции, перед которой предстали послы. Инстанция упомянута в следующем предложении, но не в сочетании с «to uns» (L) или с «to dem podsadnike» (R1), а совсем иначе — в качестве собеседника переговоров (ср. R2: *hebben gesproken myt dem borchgreven...*). К тому же повтор глагола — *syn gewesen*, — а далее и глагола говорения — *hebben geworven*, — полностью размывает формулу, затемняя неравное взаимное положение сторон в русской формуле и имплицитно их равенство. Можно предполагать, что L, а возможно, и R1 составлены для простого сохранения информации, тогда как R2 предназначался для каких-то публичных функций в ганзейской инстанции (в данном случае не исключен Ревель), с чем и связана его дипломатическая «адаптация» для употребления на немецкой стороне.

На основании проведенного анализа материала русско-ганзейских текстов в плане отражения в их языке контактных процессов и в плане исследования восприимчивости средненижнегерманского письменного варианта к влиянию со стороны других языков можно сделать следующие выводы.

1. Средненижнегерманский письменный вариант образует, благодаря своей международной функции языка международной торговли в балтийско-северноморском бассейне, различные контактные ситуации с языками-партнерами. Средненижнегерманский язык Ганзы

проявляет в этих контактах высокую контактную активность, в результате чего образует в пределах единой письменной нормы территориальные контактные варианты.

2. Сохраняя большую устойчивость внутрисистемных языковых особенностей, средненижненемецкий язык вступает в интерферентные процессы с языками-партнерами на уровне текста, приводящие к изменениям в структуре текста грамоты.

3. Нормированность, а также клишированность и формульный характер языка грамот не исключают интерференции и трансференции; напротив, предметом контактных процессов могут стать сами формулы.

4. Корпус русско-нижненемецких грамот предоставляет возможность изучить на материале формул-трансферентов механизм смещения в языке канцелярий и сравнить различные языки в плане их восприимчивости к влиянию.

5. Ганза располагала специфической коммуникативной структурой, благодаря которой территориальные контактные варианты письменного языка могли подниматься до уровня общеганзейского и даже международного функционирования. Эта коммуникативная структура служила важнейшей предпосылкой для языкового выравнивания в средненижненемецком.

Экстралингвистические интерпретации внутриязыковых процессов требуют особенно тщательной перепроверки. С этой целью здесь привлекается материал взаимодействия средненижненемецкого письменного варианта с другим иностранным языком, а именно с английским.

4. Сравнительный анализ русско-нижненемецких трансферентов с материалом англо-ганзейского корпуса источников

Если в русско-ганзейском корпусе ярким контактным явлением в языке нижненемецких грамот была трансференция формул, то в англо-ганзейском корпусе обращают на себя внимание многочисленные лексические заимствования, латинские, французские и английские по происхождению.

Они и будут использованы ниже в качестве маркированных единиц для изучения степени восприимчивости нижненемецкого к контакту, а также скорости и степени распространения контактных явлений в нем.

В англо-ганзейских торговых и политических взаимоотношениях не существовала проблема языкового барьера в том виде, в каком она наблюдалась в контактах Ганзы с Русью. В Англии, так же как и в Германии, в XII — нач. XIII вв. в официальном письме

господствует латынь, и с переходом ганзейских городов на нижне-немецкий, который совершался постепенно, начиная с середины XIII века (тексты городского права, судебники), но в основном с 1360-х гг. (в языке городских грамот), англо-ганзейская переписка могла беспрепятственно продолжаться на латинском языке, а также частично вестись на языке любой из сторон. Последнее зависело от многих факторов, среди которых одним из главных является языковая ситуация в каждой из стран.

Поскольку города, входившие в ганзейский союз, использовали, помимо латыни, исключительно нижненемецкий (верхненемецкий в ганзейских связях не использовался), то ситуация там выглядит как смена латинско-нижненемецкой диглоссии в XIV веке латинско-нижненемецким двуязычием, в котором нижненемецкий все более вытесняет латынь. В североморских и балтийских международных связях также наблюдается вытеснение латыни нижненемецким в роли языка международного общения.

С английской стороны, разумеется, возможным языком общения с Ганзой мог также быть латинский язык, причем не только в период его безраздельного господства в качестве письменного языка в Англии и в качестве международной *lingua franca* торговли и дипломатии, но и в XIV веке, когда за господство в общественной жизни Англии боролись английский и французский языки. Сложность и многослойность языковых взаимоотношений на английской территории требует хотя бы краткого отдельного рассмотрения.

4.1. Особенности ситуации англо-ганзейских контактов

Ситуация Англии XI–XIII веков обычно характеризуется как ситуация англо-французского двуязычия (Ярцева 1985, 96). Результатом этого явились активные процессы языкового смешения, и среднеанглийский язык той эпохи ряд ученых рассматривают как креолизированный (ср. Balley-Maroldt 1977, 22–23: «Нельзя сомневаться в том, что это смешанный, т. е. креольский, язык»). В более традиционных работах по истории английского языка (Ильиш 1968; Baugh, Cable 1978) говорится осторожнее об англо-норманском языке XII–XIII вв., сложившемся при участии северных диалектов старофранцузского (Нормандия, Пикардия и Валлония) и вобравшем после своего упадка начиная с XIV в. также парижские и франсийские диалектные явления (речь идет о лексических заимствованиях). Заимствования, сделанные английским языком до и после рубежа начала XIV века, различались в среднеанглийском в фонетическом отношении (Ильиш 1968, 266), и эти различия сохранялись еще в течение некоторого времени (там же, 267).

Проблеме вклада французского языка в словарный состав английского языка посвящен целый ряд работ (Амосова 1956; Ярцева 1969; Ярцева 1985; Бруннер 1955; Ильиш 1968; Baugh, Cable 1978;

Marchand 1960 и др.), однако для рассмотрения ситуации, в которой в контакте с английским языком оказался средненижненемецкий, достаточно представить себе положение в сфере официальной письменности, так как именно к ней относятся сохранившиеся тексты. В отличие от Руси, здесь, по-видимому, существовал более широкий контакт между немцами и местным населением, вплоть до создания в отдельных случаях смешанных семей. Однако есть указания на то, что такие случаи в ганзейской общине Лондона были редкими и нежелательными, а кроме того, эти обстоятельства скорее находят отражение в составе заимствований, сделанных английским разговорным языком из нижненемецкого (Bense 1939), но не сказались на языке корпуса ганзейских актов.

Ко второй половине XIV в., когда северогерманские городские канцелярии начали переходить в своей переписке на нижненемецкий, как видим, в английском уже не существует однозначного способа распознавания французских заимствований, перенятых через среднеанглийский, по их диалектной специфике. Что же касается центрально- и западнофранцузских слов, то они в принципе могли равным образом проникать и в английский язык, и в нижненемецкий, и поэтому в вопросе определения галлицизмов среднеанглийского происхождения в нижненемецких грамотах следует искать опоры в других критериях. Фонетико-морфологические признаки ассимиляции слова в среднеанглийском языке, которые лишь с течением времени приобретают достаточную яркость, разумеется, были бы наилучшим критерием в решении данного вопроса, однако в отношении XIV века на них еще не приходится рассчитывать. В распоряжении исследователя имеется еще один инструмент для определения источника галлицизма — специфика варьирования в языке грамот.

Жанры грамоты и прочих официальных документов сложились в Англии, так же, как и в северной Германии, в период господства в деловом письме латинского языка, и в этом смысле их форма в обеих странах происходит из одного круга традиций — из латиноязычной ученой и деловой словесности Западной Европы. При возможных вариантах и нюансах все же несомненно преобладающей является эта изначальная культурная общность.

Официальные письма, договоры и прочие документы писались в Англии до XIII века на латыни, которая с XIII века постепенно уступает французскому. Французский язык был языком суда и парламента, он же был родным языком для английских королей до 1399 года, когда на престол взошел англоязычный Генрих IV. Постепенное вытеснение французского в основном завершилось к концу XIV века (в 1362 английский язык введен в судах и впервые использован при открытии парламента), однако французский в отдельных случаях еще встречается в деловом письме до 1440 года (Ильиш 1968, 234, 235; Ярцева 1985, 147).

Французские заимствования проникали в нижненемецкий и помимо его контакта с английским. Роль посредника в заимствовании французских слов нижненемецким, в отличие от, например, верхненемецкого, часто играл средненидерландский. Соответственно и наибольшее распространение эти заимствования первоначально получали на той территории, которая в большей степени затронута нидерландским влиянием, то есть в первую очередь в Вестфалии.

Помимо географических различий, этот процесс характеризуется также различиями в охвате жанров текстов (Katara 1966). Так, наибольшее количество французских заимствований встречается в беллетристике, особенно переводной с французского или средненидерландского, а также в хрониках и другой литературе повествовательного содержания. Наименьшее число (единичные заимствования) имеется в религиозной литературе и юридических текстах. В то же время П. Катара отмечает многочисленность заимствований в грамотах, однако основная часть их здесь приходится на обозначения специфических французских реалий — названия импортируемых товаров, предметов роскоши, — и на технические термины в лечебниках, различного рода документах по строительству, навигации и проч. Тексты англо-ганзейского корпуса не подпадают под эту категорию, так как в них идет речь не о французских, а об английских делах Ганзы, и упомянутые выше специфические реалии, связанные с Францией, в нем не фигурируют — напротив, тематика и реалии в этом материале типичны для средненижненемецких грамот любых регионов. Таким образом, рассматриваемые в данном исследовании тексты, относящиеся к разряду юридических и не отмеченные французской спецификой содержания, стоят ближе всего к тем жанрам текстов, которые по данным П. Катары в наименьшей степени затронуты французскими трансференциями. В этом нетрудно убедиться, просмотрев любое количество ганзейских грамот, не связанных с Англией, но аналогичных англо-ганзейским текстам по содержанию и социолингвистическим характеристикам.

Понимая, насколько велика и сложна проблематика, связанная с вопросом о выборе языка в английских канцеляриях XV и XVI века и о колебаниях в этом вопросе и соотношении английского и латинского языков, ограничимся замечанием, что в том секторе английской деловой словесности, который связан с взаимоотношениями Англии с Ганзой, латынь употребляется на всем протяжении их истории. Тексты, относящиеся к теме торговых и дипломатических связей Ганзы с Англией, написаны на пяти языках: латыни, старофранцузском, среднеанглийском, нижненемецком и верхненемецком.

На латинском языке написано большинство актов до 1360-х гг. Из более поздних на латыни пишутся почти все грамоты и декреты двора, парламента, мэра Лондона и некоторых других инстанций. Приведем примеры латинских актов, исходящих из этих инстанций в различные годы, в хронологическом порядке: послание магистрата города Ньюкасла городу Штральзунду около 1400 года, грамота короля Генриха VI 1456 года, грамота короля Эдуарда 1463 года, договор между Англией и Ганзой 1473 года, послание мэра Лондона 1474 года касательно ганзейских купцов, акт парламента о переносе купеческого двора в ганзейские земли 1475 года, подтверждение привилегии 1474 года королем Ричардом III в 1483 году, грамота короля Генриха VII городу Любеку 1504 года, декрет Елизаветы I о закрытии ганзейского Стального двора в Лондоне 1598 года.

Гораздо реже встречаются документы на старофранцузском языке (см. Lappenberg 1851, Nr. 21), а в более позднюю эпоху — на английском (например, заключение расследования королей Генриха VII и Генриха VIII о собственности Стального двора, относящееся к началу XVI в.).

Соперничая с Ганзой за рынки в Прибалтике и на Руси, Англия уделяла большое внимание связям с Орденом (который так же противостоял Ганзе в борьбе за влияние в восточной Прибалтике). Орденские инстанции вели переписку почти исключительно на латинском и верхненемецком, в связи с чем заметна доля верхненемецких текстов, касающихся Англии. Однако эти тексты, разумеется, исходят не из английских, а из орденских инстанций и имеют немецкого, часто также орденского, адресата. К ним, например, относятся:

- документы орденского посольства в Англию 1415 г.;
- переписка с Англией, подготавливающая договор 1437 г., которая содержит послания на верхненемецком от города Данцига (1435 г.) и от Верховного магистра (1435 г.);
- подготовительная переписка перед съездом в Бремене 1449 г., которая содержит тексты, вышедшие из орденских инстанций (от Верховного магистра Ордена и от Ливонского магистра) на верхненемецком языке;
- рецесс заседания в Мариенбурге касательно Англии 1450 г.

Однако латинский язык был несомненно предпочтительнее для орденских инстанций, когда речь шла о документе, адресованном английской стороне; так, во время посольства в Англию 1410 года орденский посол Дитрих фон Логендорф отчитывается перед Верховным магистром в том, что грамота последнего была переведена с немецкого на латынь для передачи королю Англии: «...do habbe ich das Dudesch, das myr iuwer gnade medegaff, lossen machen in Lattin» [89] (HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 639).

В определенной степени особая роль латыни в английской официальной письменности влияла и на ганзейские инстанции в плане

ее предпочтения. То, что такая тенденция в сторону латинизации своей переписки уже не была характерна для немецких ганзейских канцелярий, видно, во-первых, из решительного преобладания нижненемецкого над латынью в последних, а также из оговорок, подобных той, которая сделана в корреспонденции между двумя ганзейскими городами: в конце грамоты дата записана как «vor dem dage unser vrouwen nativitatis, das ys erer gebort...» [90] и подписано обычным образом на латыни Consulat^{us} Rigensis (грамота Риги Ревелю на счет английского посольства к Верховному магистру Ливонского Ордена, 1405 г., HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 269; текст на нижненемецком с отдельными верхненемецкими чертами).

Акты, исходящие из орденских инстанций, представляют неодинаковый интерес: верхненемецкие тексты не будут здесь рассматриваться, так как они не характеризуют существенным образом картину языковых контактов нижненемецкого в Англии (в такой же степени нижненемецкий приходит в соприкосновение с верхненемецким и на территории Германии в переписке с имперскими и орденскими инстанциями). Что же касается латинских текстов от орденских корреспондентов, то они несомненно послужили укреплению позиций латыни как предпочтительного языка для общения английских высших инстанций с инстанциями Германии, в том числе и с ганзейскими. Это обстоятельство входит в ряд факторов, ответственных за то, что нижненемецкий не только редко использовался английской стороной (отдельные случаи ср. Lappenberg 1851, Nr. 22–23), но и в том, что и роль переводов на нижненемецкий язык несравненно меньше, чем в русско-ганзейских связях (ср. редкий пример: грамота Генриха VII городу Любеку 1497 года, HR, Abt. III, Bd. 4, Nr. 58). Это означает, что коммуникативная модель в Англии совершенно иная, чем на Руси: практически не существенна роль переводчиков.

Все сказанное не означает, что нижненемецкий корпус текстов по ганзейско-английским связям мал. Нижненемецкие тексты составляют значительную часть актов, относящихся к взаимоотношениям Англии с Ганзой, но они принадлежат почти исключительно немецкой стороне или имеют хождение внутри ганзейских инстанций, как, например, устав ганзейского Стального двора в Лондоне 1320–1460 гг., соглашение Стального двора с городом Кельном 1476 года, расписки об аренде Стального двора 1480–1487 гг., протоколы ганзейских съездов в пунктах, касающихся торговли с Англией и проч. Язык этих документов и является объектом исследования в данном разделе. Латинские, старофранцузские и английские тексты представляют ту среду, в которой происходит языковой контакт нижненемецкого языка Ганзы на территории Англии.

Даже первое знакомство с корпусом англо-ганзейских текстов поражает необычайно большой долей латинизмов прямого заимствования и опосредованных старофранцузским. Не только в рус-

ско-ганзейском корпусе, но и в текстах на самой территории Германии число латинизмов не может сравниться с тем, что наблюдается в англо-ганзейских текстах.

Степень восприимчивости ганзейского нижненемецкого к языковому приспособлению в различных контактных ситуациях поразительна и может быть показана на примере самоназвания ганзейской общины купцов, находящихся в Лондоне.

На старофранцузском эта формула выглядит в грамотах ганзейского Стального двора так: «...les marchauntz der Hanse d'Almaigne rezidentz en la citee de Loundres...» (послание ганзейской общины в Лондоне английскому парламенту 1420 года (HUB, 6, Nr. 337). Следует подчеркнуть, что это именно самоназвание, то есть форма, употребленная в тексте самой ганзейской общины в Лондоне. При этом, разумеется, совершенно ясно, что немецкая сторона приняла такое самоназвание вслед за английской, которая перевела таким образом утвердившуюся латинскую формулу названия ганзейской общины.

Аналогичным образом выглядит название общины на нижненемецком в текстах, исходящих из ганзейской конторы в Лондоне и адресованных в Германию (то есть послание от немцев к немцам же): «ghemeunen copman van Almanien van der Dusschen hense...» [91] в тексте и далее в подписи: «aldermen unde deme ghemeunen copmanne van der Dusschen hense van Almanien» [92] в послании ганзейской конторы ганзейским городам в 1374 году (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 99); так же и в грамоте 1375 года от ганзейского двора в Лондоне городу Брюгге (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 100): «dey kopman van Almanien in Enghelant» [93]. В русско-ганзейском корпусе эта формула выглядит следующим образом: *de Dutsche copman nu tho Nowgarden wesende* [94] (Грамота Риги Ревелю 1409 года о заключении договора ганзейской общины с городом Новгородом, HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 619, с. 476), или же просто *de gemeyne Dudesche kopman*, либо *de gemeyne kopman* (аналогичные варианты сокращенной формулы названия Ганзы приняты и в англо-ганзейских текстах). Топоним *Almanien/Almaigne* в восточной корреспонденции Ганзы, как можно было ожидать, отсутствует.

Подпись последней из упомянутых грамот составлена на латинском языке и содержит два интересных элемента, во-первых, очень частотный вариант, соответствующий формуле «*rezidentz [en la citee de L...]*», и, во-вторых, германизм *aldermann*: «*Per aldermannum et ceteros mercatores hense Theotonice Londoni existentes*». Что касается первого, то в нижненемецких текстах оно часто передается иконным *wesende* или, — в англо-ганзейском корпусе, заимствованием *residerende* (ср. соглашение между ганзейским двором в Лондоне и городом Кельном 1476 года, Lappenberg 1851, 154); так же в грамоте о примирении лондонской ганзейской конторы и города Кельна 1478 года: *residerende* (Lappenberg 1851). Последний вариант, оче-

видно представляет собой французский трансферент или латинизм, опосредованный французским, что не всегда легко различить. Второе из упомянутых явлений в этом отрывке, употребление слова *aldermann* в латинской формуле, указывает на то, что трансференция в принципе могла происходить в обоих направлениях.

Эта трансферентная лексика является специфичной для англо-ганзейского корпуса, под которым мы, как и в случае русско-ганзейского корпуса, понимаем тексты, написанные только ганзейской стороной (о текстах английской стороны в связи с исследуемым языковым контактом уже говорилось выше). Эти тексты представляют собой свидетельства нижненемецкого письменного делового языка, употребляемого самими немцами, но в географически соотнесенном контексте — внутренние уставы и правила ганзейской конторы в Лондоне, послания в адрес английской стороны или в адрес ганзейской конторы в Лондоне, либо тексты, написанные ею в адрес ганзейских инстанций в Германии, Фландрии и т. д., и, наконец, корреспонденция третьих сторон между собой по поводу английских дел. Как и в случае русских трансферентов, эти явления находят путь в тексты общеганзейского уровня (см. выше о термине *composicie*) и становятся фактами ганзейского делового языка. Однако они сохраняют географическую ограниченность в том смысле, что не используются вне английского контекста. Ряд латинизмов, разумеется, есть и в собственно нижненемецких текстах метрополии и даже в русско-ганзейском корпусе, но они немногочисленны и не связаны с деятельностью ганзейцев в Англии, а являются следами собственного контакта нижненемецкого делового языка Ганзы с латынью. В их числе такие латинизмы, как *seghel* «печать», реже *profit* «прибыль», *ordinancie* «устав, распоряжение»; в количественном отношении они не могут встать рядом с латинизмами англо-ганзейского корпуса.

Вопрос различения английских, французских и латинских источников в заимствованиях нижненемецкого делового языка не прост. К. Бруннер (1955, 153 и сл.) отмечает трудность различения латинских и старофранцузских заимствований в среднеанглийском, когда речь идет об ученых словах или языке канцелярий и судов, и выделяет в этой связи два обстоятельства. Во-первых, почти все заимствованные английским в это время латинские слова имелись также и в старофранцузском. Иначе говоря, можно считать, что состав латинизмов в языке канцелярий был одним и тем же в Англии и во Франции — и, очевидно, в Германии. Вторым обстоятельством является одинаковая грамматическая ассимиляция латинского слова в английском и во французском: оба языка заимствовали слово в форме винительного падежа, а в тех случаях, когда заимствование в английском происходило без французского посредничества, оно уподоблялось большому количеству уже имеющихся в анг-

лийском языке заимствований по аналогии со знакомой французской формой. То же касается и произношения латинизмов — оно уподоблялось их произношению в старофранцузском. Фонетическая ассимиляция в английском как французских слов, так и заимствованных через французский латинизмов заняла длительное время, и в отношении XIV и даже в большой степени XV века не приходится рассчитывать на то, что можно будет распознать латинизмы различного происхождения по их фонетическому облику. Есть основания думать, что латинизмы и галлицизмы в английском языке какое-то время не ассимилировались, а сохраняли положение цитаций; именно так, по сути, обстояло дело с изменением ударения, причем не последнюю роль сыграли здесь социолингвистические факторы: «Люди, владевшие французским языком, вероятно, дольше подражали иностранному ударению, чем необразованные» (Бруннер 1951, 157). Все эти обстоятельства привели к тому, что в ряде случаев нелегко решить, является ли слово заимствованным из старофранцузского или из среднеанглийского, который, в свою очередь, заимствовал его из старофранцузского, например, *contrair*, *serteyn*. Последнее Дж. Лаппенберг (Lappenberg 1851) считает заимствованием из английского и приводит англ. *certain*, с чем нельзя однозначно согласиться, так как в ситуации, которая господствовала в Англии в раннеганзейскую эпоху, т. е. в ситуации контакта, с одной стороны, английского и старофранцузского, а с другой — нижненемецкого, последний мог почерпнуть заимствование из обоих. То же самое касается и латинских слов: различить в нем. *sententie* прямое латинское заимствование или старофранцузское слово, попавшее в нижненемецкий язык из него прямо или через английский, весьма трудно. Помимо формального искажения слова в нижненемецком, задачу исследователя усложняет и невозможность опереться на хронологический критерий, так как контакт всех этих четырех языков происходит в близкое время. Однако при всех трудностях главное все же остается несомненным: нижненемецкий оказался в Англии в ситуации многостороннего языкового контакта. Это обстоятельство и есть наиболее специфическая характеристика Англии, как ареала, в котором происходил внешний нижненемецко-английский контакт. «Английский» в данном случае должно означать все те аспекты полиглоссии и многоязычия, которые связаны с английским языком и Англией XIV–XV вв. и позднее привели к тому, что Бо и Кэйбл называли «happy mingling of Latin, French and native elements» (Baugh, Cable 1978, 186). Нижненемецкий в этой ситуации контактировал с каждой из участвующих сторон: с латинским деловым языком английских канцелярий, со старофранцузским в тех же инстанциях (о чем свидетельствует инструкция об «умелом переводчике, который хорошо умеет говорить по-французски» в грамоте 1375 года от лондонской ганзейской конторы городу Брюгге, HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 100) и не-

сомненно с самим английским — через англичан-олдерменов, состоявших членами ганзейской общины, и через корреспонденцию менее официального уровня. Таким образом, несмотря на трудности атрибуции тех или иных слов, можно с разумной долей надежности, на основании дистрибуции слов в ганзейских текстах, решить вопрос о том, была ли источником данного трансферента языковая среда Англии. В отношении приведенных ниже лексем этот вопрос может, как представляется, быть решен положительно.

4.2. Развитие англо-ганзейского и русско-ганзейского контактных вариантов нижненемецкого регионального письменно-делового языка

Влияние языковой ситуации в Англии затронуло, в отличие от Руси, не только области, связанные с местным колоритом и особенностями, религиозно-правовых взаимоотношений, но самые главные элементы терминологии, несмотря на то, что они уже были прежде оформлены достаточным количеством терминов, а также типичные и частотные обороты и выражения, свойственные языку грамот. Далее приведены примеры таких географически соотнесенных вариантов.

Пример 1. *Presencie* «присутствие»:

«...in presencien van dem gemenen kopman...»;

«...in presencien des kopmans...»

(Lappenberg 1851, 105).

Этот латинизм встречается в тексте статутах ганзейской общины в Лондоне и соответствует по значению и функции исконному снем. *jegenwordichheit* в текстах других территорий ганзейской торговой деятельности, ср.:

«De bref wart... gelesen, dar wy jegenwordych weren» [95]

(Грамота ганзейской общины Новгорода городу Юрьеву, 1409 года, HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 616, с. 473);

«De Nouwerder lesen eren bref oppenbare dar wy jegenwordych weren...» [96]

(Грамота ганзейской общины Новгорода городу Ревелю 1409 года, HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 617, с. 474);

«...in syne jegenwordicheit»

(Посольский отчет ганзейских послов в Новгороде 1510 г., HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 541, с. 659);

там же HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 586, с. 515.

Пример 2. *Klerk* «писарь, секретарь»:

«...des kopmans klerk»

Статуты ганзейского двора в Лондоне (Lappenberg 1851, 105).

В текстах других территорий это обозначение не встречается: ср. о русском писаре «...myt Luca, deme schriver» (HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 541, с. 651) и о юрьевском писаре — «...der ersamen secretarius van Darpte...» (HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 541, с. 659).

Пример 3. Формула «sunder... behendychheit unde hindernitze» (1392, Нибуrow мир, рукопись R2, HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45, с. 49–50), соответствующая русскому выражению «безо всякой хитрости», характерна для ганзейских текстов различного географического распространения. В англо-ганзейских текстах на ее месте часто встречается вариант с латинизмом *subtilheyt*:

«...mit nenerleyen subtilheyt ofte ander behendichheit...» [97]
(Lappenberg 1851, 110).

Пример 4. Товары, добро, по поводу которого часто возникали споры, разбираемые в этих документах, регулярно называются в общеганзейских и русско-ганзейских текстах снем. словом *gude*, тогда как в англо-ганзейском нередко латинское заимствование *bona*.

Встречаются в англо-ганзейских текстах и англицизмы, например, «huren van dem lantlorde» «снимать помещение у его владельца» (из статуты лондонского двора, Lappenberg 1851, 117) или *haventun* «гавань, порт», *garden* «локоть (мера длины)» (Lappenberg 1851).

Англо-ганзейские дела (а значит, и корреспонденция) были связаны и с нидерландскими торговыми делами, в первую очередь в сфере суконной торговли, в которой главенствовали и соперничали Англия и Фландрия. В связи с этим в нижненемецких текстах Лондонского ганзейского двора встречаются и нидерландизмы, ср. *trecken* в значении «отсутствовать, уезжать» в «van Lunden... treckende» (Lappenberg 1851) или *vertreckinghe* «отъезд» (Послание ганзейской конторы в Лондоне городу Брюгге, 1449 г., LUB-1–8, Nr. DCXXIX). В данном случае интерферентное влияние проявилось в том, что слово употреблено в значении, свойственном для средненидерландского слова (ср. снем. *trecken* только в значении «итти в процессии, участвовать в походе», Lübben 1990, 416, тогда как в значении «уезжать» в грамотах обычным является снем. *ten*, ср. *to tende unde to komende* «уезжать и приезжать» или *faren vnn komen*, то же, 1418 г., Napiersky 1868, 171; 132).

Накопление подобных географически соотнесенных вариантов приводит к увеличению ряда синонимичных терминов и формул, то есть расширяет амплитуду варьирования в языке нижненемецких грамот. Контактное по происхождению, это варьирование изменяет язык грамот в сторону складывания контактных вариантов письменного делового языка. Внутри нижненемецкого типа текста «грамота» начинают выделяться подтипы «нижненемецкая грамо-

та, относящаяся к Руси» или «нижненемецкая грамота, относящаяся к Англии», каждый из которых характеризуется целым рядом особенностей в составе лексики и формул. Ниже приводятся контактные варианты (формулы и лексика), специфичные для англо-ганзейских текстов, классифицированные по тематическим группам, в сопоставлении с синонимичными им вариантами, употребительными на всей территории ганзейских связей в целом. В конце каждой статьи приведены варианты, специфичные для русско-ганзейского корпуса, если они отличаются от общеганзейских.

Названия различных типов документов

«Договорная грамота», обозначается обычно в ганзейских текстах словами *frede, breff, fredebref, schrift, bok, eyndracht, eninge*

Примеры:

1. *frede*:

«Nougharden heft eyne sunderghen vrede mit deme Dudeschen kopmanne...» [98]

(HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45, c. 46; 1392);

«...diese frede is geendiget...» (многократно) [99]

Перемирие царя Ивана Васильевича с Ливонией
1550 года (Napierky 1868, Nr. CCCLXXX, c. 369).

2. *fredebref*:

«...fredebref» (1476 г., Lappenberg 1851, 154);

«...nach diesen fredebreue...» (многократно)

Перемирие царя Ивана Васильевича с Ливонией
1550 года (Napierky 1868, Nr. CCCLXXX, c. 369).

3. *bref*:

«...overseen de olden breve (unde de crucebreve)» [100]

1392 г. (HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45, c. 46);

«...des koninghes breff van Denemarken beseghelt...»;

«...in dessem jegenwerdigen breve...»;

«...bekennen openbare in dessem breve...» [101]

Грамота послов Любека о ратификации перемирия между Ганзой и Данией, 1364 г., (HR, Abt. I, Bd. 1, Nr. 334, c. 291).

4. *schrift*:

«...in desser jegenwardigen schrift...»

Грамота 1364 г. послов Любека о ратификации перемирия между Ганзой и Данией (HR, Abt. I, Bd. 1, Nr. 334, c. 291).

5. *bok* в значении «договор»:

«...hebben dyt bok horen lezen dat yn dusseme bocke gheschreven steyt...» [102]

(речь идет о договоре, ср. HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 68, c. 78, 1373 г.);

«...hebben dyt boek horen lezen...» [103]

Сообщение о переговорах ганзейцев с Новгородом, 1373 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 68, с. 78);

«...dat in dusseme boeke gheschreven steyt...» [104]
(там же).

6. *eyndracht*:

«...eyndracht...»

Мирный договор Ливонского Ордена с Псковом, 1417 г. (Napiersky 1868, Nr. CCVI, с. 168).

7. *eninge*:

«...vruntlike eninge gesat... hebben...» [105]

(L-E-CUB, 6, Nr. MMCMLXVII).

«...vruntlike eninghe ghesat vnde ghemaket hebben...» [106]

Грамота Витаутаса Литовского о договоре между Ригой и Полоцком, 1406 г. (Napiersky 1868, Nr. CLX);

«...solte dusse enynge vnd vorbund gantz machtlos... syn...» [107]

Мирный договор Ливонского Ордена с Псковом, 1417 г. (Napiersky 1868, Nr. CCVI, с. 168);

«...in dusser enynge vnd vrede mede wesen...» [108]

(там же, с. 169).

Те же формулы, общие для различных территорий ганзейской торговли, встречаются и в англо-ганзейском корпусе:

«...kraft dusses breues...» [109]

Соглашение ганзейских городов с городом Кельном о торговле в Англии 1476 года (Lappenberg 1851, Nr. CXXXVI);

«...in eren breuen mede erem signet to ratificeren, aproberen, beuesten...» [110]

там же (Lappenberg 1851, 157);

«...vnser... signet an dissen bref don hangen...» [111]

там же (Lappenberg 1851, 157);

«...sint auereingekamen na lude einer schrift...» [112]

Грамота о примирении Ганзы с городом Кельном, 1476 года (Lappenberg 1851, 154);

«...eendracht is gemaket tusghen deme copmanne van London vnde deme copmanne van Nortberghen...» [113]

Соглашение между ганзейскими общинами Лондона и Бергена 1383 года (Lappenberg 1851, Nr. XLI);

«...dysser vorscreuen eendracht tusghen beiden partien...» [114]
(там же).

Наряду с этими терминами, общими для всей территории ганзейских торговых и политических связей, в англо-ганзейском корпусе наблюдаются и синонимичные им трансференты, характерные только для текстов этого региона, т. е. специфические англо-ганзейские варианты:

mandat:

«...mandate und breve...»

Грамота о примирении города Кельна и ганзейских городов, 1476 года (Lappenberg 1851, Nr. CXXXVI, с. 154);

composicie в значении «договор»:

В грамотах, написанных на латинском языке, это слово встречается нередко, ср. в грамоте князя Витаутаса, скрепляющей договор Риги с Полоцком (1406 г.), в латинском тексте «compositionem amicabilem posuimus», соответствующее в переводе нижненемецкому «vruntlike eninge gesat... hebben» (L-E-CUB, 6, Nr. MMCMLXVII). Этот термин не встречается в нижненемецких источниках ганзейско-новгородского круга, однако он типичен для западных контактов Ганзы:

«...dat dat in der composicien vorwart worde, dat men uns vul ind alle bii privilegien sall halden...» [115]

Письмо 1449 года от ганзейской общины в Лондоне послам ганзейских городов с пожеланием (HR, Abt. II, Bd. 3, Nr. 569);

«...vmme dat den de koeplude van Kollen vorschreuen der vorschreuen composicien na erem inholde nicht vulgeden...»;

«...so dat allent de composicien to Bremen vp der dachfart mer, breder vnd klarer vtwiset vnd inholdet...» [116]

Грамота лондонского ганзейского двора (договор 1478 года, положивший конец многолетней борьбе между ганзейским Стальным двором в Лондоне и кельнской купеческой общиной в Англии (Lappenberg 1851, Nr. CXXXVII, с. 157–158)).

Эти примеры относятся, как уже отмечалось выше, к текстам первого коммуникативного плана (тексты, исходящие из ганзейского двора в Лондоне). Однако слово *composicie* встречается и в текстах второго коммуникативного плана (корреспонденция третьих сторон о делах, связанных с Англией), например, грамота Данцига Любеку и Гамбургу 1469 года рассказывает о ганзейско-английской войне на море и упоминает о договоре между Ганзой и Францией:

«...wo twischen der crone van Frangriken und den steden eyne composicie und eyndracht... gemaket isz» [117]

(HR, Abt. II, Bd. 6, Nr. 283).

Латинизм здесь употреблен в паре *composicie und eyndracht* «договор»; употребление синонимов или близких терминов в парных конструкциях весьма характерно для языка рассматриваемых нижненемецких грамот.

privilegia «договор о правах, привилегия»:

«...vmme des koepmans fryheit, pryfyleyen vnd recht de beter tho bewarende...» (ср. также производный глагол *gepriuilegeret*) [118]

(Устав ганзейского Стального двора в Лондоне, Lappenberg 1851, Nr. CVCI, с. 103);

«...dat se unsen copman siner olden vriheyte unde privilegien bruken leten...» [119]

Отчет ганзейского посольства в Англию 1379 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210);

«...sunder privilegien ofte ane beseghelde breve...» [120];

«...vorsommenisse der priuileien vnd fryheiten des gemenen gudes...» [121]

Устав ганзейского двора в Лондоне, 1320–1460 гг. (Lappenberg 1851, 110);

«...vmme falsacie willen der priuileien vnd vreyheide...» [122]

Устав ганзейского двора в Лондоне, 1320–1460 гг. (Lappenberg 1851, 111).

Источником этого трансферента является латинский прото-тип: «...privilegiis et libertatibus Theutonicorum...» (HR, Abt. I, Bd. 1, Nr. 385, с. 344).

sarters «договор о правах, привилегиях»:

«sarters» (3 раза)

Соглашение ганзейских купцов в Англии с ганзейской общиной в Бергене 1383 года (Lappenberg 1851, Nr. XLI, с. 22–23);

«...zarter vnd priuileien...»;

«...do de zarter erst gegeben was...»

Статут лондонского ганзейского двора 1320–1460 гг. (Lappenberg 1851, с. 109).

Интересно, что этот термин приводится в словаре А. Люббена, ср. снем. *serter(e)*, *certer(e)*, *tzerter(e)* «договорная грамота» (Lübben 1990, 316) без указания территориальной маркированности; между тем его источником является срангл. *chartre* / стфранц. *chartre* (ср. поздлат. *chartula*, уменьш. от *charta*; соврем. англ. *charter*)⁶.

Характерные для русско-ганзейского корпуса *crucekussinghe* и *crucebreve* здесь не встречаются.

«Устав, уложение, статут» = *bok*, *setting*, *gesetten bok*, *scra*:

1. *bok* в значении «устав»:

«...nam... boke... unde olden scraa...» [123].

2. *schra*:

«...in der scraa...» [124]

Договор между Любеком и Висби 1370 г. о новгородском ганзейском дворе (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 32, с. 44);

«...geven wy... den hennipspinnern... ene schrage...» [125]

Устав рижского прядельного цеха 1436 г. (L-E-CUB, V, Nr. 79, с. 39);

«...van dusser vorgeschreven schrage...» [126]

Устав рижского прядельного цеха 1436 г. (L-E-CUB, V, Nr. 79, с. 40);

«...desse schra...»;

«Desse schraaee vorleenden uns unse heren, de raed...» [127]

Устав гильдии ревельских пекарей, 1438г. (L-E-CUB, V, Nr. 258, с. 153, 155).

В англо-ганзейском корпусе текстов преобладает латинизм *ordinancie*:

«...des koepmans recht vnd ordinansien...» [128];

«...do disse vorschreuen ordinancie gemaket worden...» [129]

(Lappenberg 1851, 110);

«Up de laken de ordinancie»

Уставные правила, касающиеся торговли сукном (Lappenberg 1851, 118);

«...disser ordynancien...»

(Lappenberg 1851, 111), далее на с. 117 1 раз, на с. 118 — 3 раза, на с. 121 — 1 раз, на с. 122 — 1 раз, на с. 123 — 1 раз);

«...de by em vnd den steden van der Hense synt gesettet vnde geordenert...» [130]

(Lappenberg 1851, Nr. CVI, с. 103);

«...also se darup setten vnd ordinerende werden...» [132]

(Lappenberg 1851, Nr. CVI, с. 103, также 2 раза на с. 110 *georderet*);

«...by dem gemenen koepman georderet...»

(Lappenberg 1851, Nr. CVI, с. 108);

«...van der Hense gemaket vnd georderet...»

(Lappenberg 1851, 109);

«...so hebben de heren sendebaden georderet...» [132]

(там же).

Кроме того, глагол употреблен 2 раза на с. 117, 2 раза на с. 118, 3 раза на с. 119, 5 раз на с. 120, 4 раза на с. 121, 1 раз на с. 122.

«...punte der recessen vnd ordynancien...» [133]

(Lappenberg 1851, 114);

«...disse ordynancie vnd punte sint geordineret...» [134]

(Lappenberg 1851, 118).

Латинский прототип этого трансферента также нетрудно найти: «statuimus et ordinavimus per presentes quedem de curia Nogardensi statuta subscripta...» (HR, Abt. I, Bd. 1, Nr. 385, с. 344: съезд ганзейских городов в Любеке ганзейской общины в Новгороде, 1366 г.).

punte в том же значении «устав»:

«...disse ordynancie vnd punte sint geordineret...» [135]

(Lappenberg 1851, 118).

«Подорожная (охранная) грамота» = *leydebref, versekering, versekerde bref*:

1. *leydebref*:

Нибуров мир 1392 г. (HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45, с. 46 Hs. L), кроме того, еще 4 раза в рукописях L и R2;

«...dat wii juw willen begnadigen unde geven juw unsen geleidesbref...» [136]

Подорожная охранная грамота Вел. князя Ивана ганзейскому послу, 1495 г. (HR, Abt. III-Bd. 3, Nr. 510, с. 393).

2. *geleide*:

«...unde ere geleyde»

Нибуров мир 1392 года, Hss. L, R1, R2 (HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45, с. 46).

3. *versekering/versekerde breff*:

«...unser vorsekeringhe», «vorsekerdes lovenbrefes»

Нибуров мир (HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45, Hs. R1);

«...boven den versekerden breff...» [137]

Нибуров мир, ревельский перевод в рукописи R1.

Англо-ганзейские варианты:

save condut:

«...van deme koninghe en save condut...» [138]

(в немецком тексте послания ганзейской конторы в Лондоне городу Брюгге 1375 г.: HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 100);

«...salvecondut»/«salve condut»

(из материалов посольства в Англию 1379 года и посольского отчета, HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210).

Источником этого французского трансферента является стфранц. *saive conduit*, с тем же значением.

«Посольская грамота» = *werff, werving, bref*

1. *werff*:

«...als wy unse werff vor deme ertzebiscope van Naugarden, borchgreven, hertogen unde gemeynheit van Naugarden upseden...» [139]

Отчет ганзейского посольства в Новгород, 1436 г. (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 586, с. 512);

«...der [oer] werff was...»

Посольский отчет 1436 г. (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 586, с. 514); 3 раза *werff*, там же, с. 518.

2. *werving*:

«...wu me de wervinge upt bedarflikeste mochte vorstellen...» [140]

Отчет посольства Йоганна Роде в Новгород 1510 года (HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 541, с. 649);

«...parth der wervinghe...» [141]

(там же, с. 647);

«...dat he sorchfvoldiger tor wervinghe sy, dan ome villichte van noden...» [142]

(там же, с. 650).

«Ame mandage is de warvinge schrifftlick avergegeven...»;

«...dat der keyszer aller Russen etc. unsze wervinghe... wol vornamen hadde...» [143]

(там же, с. 651).

3. *breff*:

«...myd breuen van der stede werfen...» [144]

Грамота новгородской ганзейской общины 1406 года, (Napiersky 1868, Nr. CLXII, 128).

Эти обычные для всей ганзейской территории обозначения посольских грамот встречаются и в англо-ганзейском корпусе:

«...unse werf em (=deme ertzebiscope van Cantelberghen) tho oppenbarende...» [145]

Отчет ганзейского посольства в Англию, 1379 года, (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210);

«...so wolde he unse werf gherne van uns hoeren» (там же);

«...leten en vorstan unse werf...» (там же);

«...dat wy dar umme unse werf nicht wolden laten ungheworven...» (там же);

«...wy mochten vor se (=den koningh) komen, uns in unsen werven to horende...» (там же); далее там же *unse werf, de werve*;

«...ere breve...» [146]

Отчет о ганзейском посольстве к английскому двору 1434 года посольские грамоты (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 383, с. 292, 293).

Англо-ганзейские варианты:

puynthe в значении «посольская грамота» (проект договора, подготовленный для переговоров):

«...ander nye puynthe to verweruene...» [147]

Соглашение между ганзейскими общинами Лондона и Бергена, 1383 г. (Lappenberg 1851, Nr. XLI) (многократно);

«...antwordeden en uppe de 4 punte...» [148]

Отчет ганзейского посольства в Англию 1379 года перед ганзейскими городами (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210);

«...unse anworde an ener scrift uppe de 4 punte...» [149]

(там же);

«puncte», «vorscrevene puncta»

В отчете о ганзейском посольстве к английскому двору 1434 года посольские грамоты (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 383, с. 292, 293).

Тем же словом называется предварительное заключение, возможно в форме перечня пунктов:

«...gaf em dit bauen schreuen punte...» [150]

Протокол слушания по делу Ганса Кулле, состоявшегося в ганзейском лондонском дворе ок. 1487 г. (Larpenberg 1851, Nr. XLVI, с. 166, аналогично на с. 164).

Характерное для русско-ганзейского корпуса *hovetslag* здесь не встречается.

Письменный ответ на грамоту послов = *bref, antword*

В англо-ганзейском корпусе часто употребляется слово *replicacie*:

«Dar na alse desse replicacien ghelesen weren...»;

«...ere replicacien tjeghen unse antworde...» [151]

Отчет ганзейского посольства в Англию перед ганзейскими городами, 1379 года (в переводе, сделанном в Гамбурге, HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210, с. 246).

Тот же пункт в переводе, сделанном в Данциге (то есть, в восточном секторе ганзейской торговли), звучит иначе: «Alse ere antworde lesen was...» и, во втором примере, «...ere antworde tjeghen unse antworde...» [152] (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210, с. 246);

«der heren sendeboden credencien unde... werve... gheantwerdet...» [153]

Отчет ганзейского посольства в Англию, 1434 г. (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 383, с. 293).

Общим для всей ганзейской территории было обозначение этого документа словом *antwort*, например:

«...geven (den sendebjden) eyn gutlik antwort...» [154]

Грамота Любеку и послов Любека городу Новгороду о предстоящих переговорах, 1435 г. (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 466, с. 417);

«...hadden... vorhopet enes guden antwordes...» [155]

Юрьев Ревелю о неудавшемся посольстве в Псков, 1436 г. (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 585, с. 508);

«...ne kunden se uns neyn antwert geven darup...» [156]

Отчет о ганзейском посольстве в Новгород, 1536 г. (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 586, с. 512);

«...dat se denne ok unse antwert horen wolden...» [157]

(там же, с. 515).

Заверение, скрепление грамоты — глагол «скреплять» = *bevesten*:

«...in bevestinghe...» (3 раза)

Грамота Витавутаса 1419 года (Napiersky 1868, Nr. CCIX, с. 171);

«...in eren breuen mede erem signet... beuesten...» [158]

Соглашение ганзейских городов с городами Кельном по поводу торговли в Англии, 1476 года (Lappenberg 1851, Nr. CCXXXVI, с. 157)

Для англо-ганзейского корпуса характерен глагол *ratificeren*:

«in eren breuen mede erem signet to ratificeren, aproberen, beuesten vnd beleuen schalden, vor sick vnd ere nakamelinge stede...» [159]

Соглашение ганзейских городов с городами Кельном по поводу торговли в Англии, 1476 года (Lappenberg 1851, Nr. CCXXXVI, с. 157).

Источник этого трансферента встречается в латинских грамотах, ср. «...mercatoribus Hanse et predice et eorum successoribus tenore presentium ratificamus, et confirmamus...» (Английская королевская грамота 1480-х гг. по поводу тех же событий, Lappenberg 1851, Nr. CXLIV, с. 162).

«Печать», «навешивать печати» = *seghe/signet (hangen)*

В англо-ганзейском корпусе преобладает *signet*:

«...singenet... hangen...»

(1476 г., Lappenberg 1851, 154 и далее);

«...mede... signet to ratificeren, aproberen, beuesten...»,

«...singenet an dissen bref don hangen...» [160]

Соглашение ганзейских городов с городом Кельном 1476 года (Lappenberg 1851, Nr. CXXXVI, с. 157);

«...hebben wi... vnse syngenete an dissen bref gehangen...» [161]

Грамота о примирении ганзейского двора с городом Кельном, 1478 года (Lappenberg 1851, Nr. CXXXVI).

В англо-ганзейских текстах наряду с указанным словом *signet* встречается, хотя и значительно реже, обозначение печати *segel/ingesegel*, например, в процитированной выше грамоте 1478 года находим также *vorsegelen, segel*.

«Screven under unsen ingheseghele...» [162]

Письмо немецких купцов из Брюгге ганзейской общине в Лондоне, 1375 года (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 101).

«segel»

Соглашение ганзейской конторы в Лондоне с городом Кельном о торговле в Англии, 1478 г. (Lappenberg 1851, Nr. CXXXVII, с. 157).

«...beseghelt...», «...koninghes ingheseghele...»

Материалы ганзейского посольства в Англию 1478 года;

«...unse seghel...»

Послание ганзейской конторы в Лондоне городу Брюгге, 1449 г. (LUB-1-8, Nr. DCXXIX).

«...mit unsen anhangenden segelen...»

Грамота Герману Ванмате, писарю ганзейской конторы в Лондоне, 1476 года, Lappenberg 1851, Nr. CXXXV, с. 154).

В русско-ганзейских текстах имеем исключительно второй вариант, ср. *segel, ingheseghel, besegelt* (Договор 1392 года, HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 45, с. 47), тогда как синоним *signet* в текстах, принадлежащих восточному сектору, не встречается.

«So hebbe wy... vnse Ingesegele vor vnsern Orden... an dussen breff gehangen...» [163]

Мирный договор Пскова с Ливонским Орденом, 1417 г. (Napiersky 1868, Nr. CCVI, с. 169);

«Des tho Orkunde v. merer bestedinge willen hebben wij vnse Ingezeghel... laten hengen an dessen breff» [164]

Грамота Сигизмунда Литовского архиепископу Рижскому, 1439 г. (Napiersky 1868, Nr. CCXLIII, с. 198).

Некоторые правовые действия

«Пожаловать» = *begnadigen*

«So hebbe wy Jw baden vth den dreyvndesoffentlich steden begnadiget vnn gegeuen vnsern breff...» [165]

Подорожная грамота Вел. кн. Василия Ивановича ганзейским послам, 1514 г. (Napiersky 1868, Nr. CCCXXVI, с. 288);

«...vnn wy grote heerscher Wassylie... Jw breff der begnadinge gesant hebben...» [166]

(там же);

«meth Eynem frede tho begnadighen...» [167]

Грамота ганзейских послов о заключении мира с Новгородом, 1514 г. (Napiersky 1868, Nr. CCCXXIX, с. 292);

«...wolde begnadigen unde bevelen... tho enem... Bifriede...» [168]

Договор Вел. кн. Василия Ивановича с ганзейскими городами о мире и торговле 1514 г. (Napiersky 1868, Nr. CCCXXXI, с. 294);

«...myt enen vrede... begnadiget hefft...» [169]

Грамота посадника Иван-города о взаимоотношениях с Нарвой, 1515 г. (Napiersky 1868, Nr. CCCXLVI, с. 309).

В англо-ганзейском корпусе встречается географически соотнесенный вариант:

grantiren:

«...heft dey copman van London... grantiret vmme mynne vnde vrenschop wyllen...» [170]

Соглашение ганзейских общин Лондона и Бергена, 1383 г. (Lappenberg 1851, Nr. XLI, с. 22).

«Подтверждение (договора)» = *bevestinghe, bestedegen*

«...bestedeget den vredhe...» (= «подтвердил мир» в древнерусском тексте)

Грамота Ярослава 1269 года (Валк 1949, Nr. 31, 54);

«Des tho Orkunde v. merer bestedinge willen hebben wij vnse Ingezeghel... laten hengen an dessen breff...» [171]

Грамота Сигизмунда Литовского архиепископу Рижскому, 1439 г. (Napierky 1868, Nr. CCXLIII, с. 198);

«...nyn ander enynge... twischen vns vort wirt bevestent...» [172]

Мирный договор Ливонского Ордена и Пскова, 1417 г. (Napierky 1868, Nr. CCCVI, с. 169);

«...vmme merer voruestynghe willen der vorgescr. voreynninghe...» [173]

Подтверждение Сигизмундом старого договора между Ригой и Полоцком, 1439 г. (Napierky 1868, Nr. CCXLII, с. 197);

«...de dinge vortan to beuestende vnd dat Cruce to kussende» [174]

Грамота Риги о перемирии, заключенном между Новгородом и Орденом, и т. д., 1473 г. (Napierky 1868, Nr. CCLXXXI, с. 244).

В англо-ганзейских текстах часто встречается синоним *confirmacie*:

«...er deme copmanne sin confirmacie wedder werden mochte...» [175]

Посольский отчет о подтверждении английским королем привилегий ганзейских купцов в Лондоне, 1379 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210);

«...dat se uns unse confirmacien wedder gheven...»

(там же);

«...dat se uns unse confirmacien weddergheven...» [176]

(там же, в гамбургской рукописи); в данцигской рукописи аналогично:

«...dat se uns unse confirmatien wedergheven»,

«...als dat dey konyng stoerve, eene confirmatie to veruolgenne op des ghemeinen copmans vryheit» [177]

Соглашение ганзейских общин Лондона и Бергена, 1383 г. (Lappenberg 1851, Nr. XLI);

«...bi der stede confirmatien...»

(Statuten-Buch des Stahlhofs, Lappenberg 1851, Nr. CVI, с. 105);

«...antwerde em mede up de confirmacien unde unse procuratorium...» [178]

Отчет посла Пруссии Йоганна Кавольда перед прусскими городами о посольской миссии в Англию, 1410 г. (HR, Abt. I, Bd. 5, Nr. 24).

Обозначения должностных лиц

«Глава канцелярии» / «секретарь» / «писарь» = *sekretarius/schriver*.

В англо-ганзейских источниках часто употребляется термин *cantzlere*:

«...deme cantzelere here Richarde Lestrup...»

Отчет ганзейского посольства в Англии, 1379 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210);

«unde heft se dem hern ertzebischoppe van Cantelberge, synem cantzlere, vor em laten lesen» [179]

Посол Ордена в Лодоне D. v. Logendorf сообщает в города Эльбинг, Торунь и Данциг о посольстве к английскому королю, 1409 г. (HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 620).

В отчете ганзейского посольства в Англию везде встречаем *cancellere*, ср. HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 383, с. 292–293:

«...cancellier»

Послание ганзейской конторы в Лодоне городу Брюгге, 1449 г. (LUB-1–8, Nr. DCXXIX).

Специфическим для англо-ганзейского корпуса является также лексема *klerk*, служащая, очевидно, для обозначения рядового писаря:

«...myt dem klerk to kyuende...»;

«...myt des koepmans klerke... scheldeworde maken...» [180]
(Lappenberg 1851, 113).

Последнему термину близко по значению нем. *schriver* «писарь, секретарь» (Lappenberg 1851, 105), также встречающееся иногда в англо-ганзейских текстах. В них же часто употребляется обозначение писаря *secretarius*:

«...de des kopmans to Lunden sekretaries plach to wesende...»;

«...des kopmans to Lunden in Englant sekretaries...»;

«...sekretarius... van Hamborch...» [181].

В грамотах русско-ганзейского цикла не обнаружено слово *klerk*, обычным является обозначение как писаря, так и главы канцелярии снем. *Schriver*, встречается также *secretarius* в значении «писарь» (*van Darpte secretarius*, HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 541, с. 659).

Слово *kantzelere* появляется лишь в поздних текстах, относящихся к московскому периоду, когда уже существует целый штат переводчиков и писарей во главе с канцлером:

«...is to vns gekomen eyn schriuier van plosskow...» [182]

Грамота архиепископа Рижского, 1466 г. (Napier-sky 1868, Nr. CCLII, с. 206);

«...des her grotfurstes schriver Sommerocke...» [183]

Отчет посольства Йогана Роде в Новгород в 1510 г. (HR, Abt. III, Bd. 5, Nr. 541, с. 651);

«...myt Luca deme schriver» [184]

(там же, с. 651);

«durch Ihren Under-Cantzelern unnd andere Kayserliche Offe-cirer...» [185]

Отчет о ганзейском посольстве из Любека в Москву и Новгород 1603 года, на верхненемецком с нижне-немецкими вкраплениями (по: Schleker 1890, с. 49).

«бургомистр» = *bormestere*, *borchgreve*

В англо-ганзейском корпусе встречается специфичный термин *meyer*:

«...ghinghe wy uppe de ghildhalle vor den meyer unde de oldermanne van Londen...» [186]

Отчет ганзейского посольства в Англию 1379 года (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210);

«...den meyer... van Lunden...» (там же);

«...des meyers sariante...»;

«...den ieomans des meiers...»;

«...den dorwechteren (des) meigers...»;

«...dem meygere van Lunden...» [187]

(Все примеры из акта о расходах ганзейской конторы в Лондоне, ок. 1400 г., Lappenberg 1851, Nr. XLV);

«...meiger...» «мэр Лондона»

(Lappenberg 1851, 26; HR, Abt. I, Bd. 4, 622).

В грамотах русско-ганзейского корпуса используется общениж-ненемецкая лексика (в ранних текстах *borchgreve*, с начала XV века — *bormestere*, ср. Шевченко 1995, 51), встречается также русский трансферент *possadnik*, так же и в разговорнике Фенне (Fenne II 38.4, с. 24). Приведем примеры:

«...de Borchgreve... tho Plescowe...» [188]

Мирный договор Пскова с Ливонским Орденом, 1417 г. (Napier-sky 1868, Nr. CCVI, с. 169);

«...de borchgreve Samsone...»

Грамота о договоре между Новгородом и послами ливонских городов, 1434 г. (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 288, с. 186);

«...an de heren borghermester vnn raet...» [189]

Грамота ганзейской общины Полоцка городу Риге, 1415 г. (Napierky 1868, Nr. CXIII, с. 159);

«...den Burgemeister von Naugarden...»

Договор Новгорода с Ливонским Орденом о границе у Нарвы, 1421 г. (Napierky 1868, Nr. CCXIII, с. 175);

«...de borgemeisters...»

Грамота Великого князя псковского городу Риге, 1588 г. (Napierky 1868, Nr. CCCXCVII, с. 398).

«Пошлина» = *toll*

В англо-ганзейских текстах:

kastum — 3 раза на с. 115 Statuten-Buch XXVIII (Lappenberg 1851, 115), 4 раза *der kastumers*, а также:

«...vp de kastumen...»

Statuten-Buch des Stahlhofes zu London, 1320–1460 (Lappenberg 1851, Nr. CVI; 4 раза на с. 109);

«...des koninges kastume betalen...» [190]

(Lappenberg 1851, 122);

«...kastum und tolleren...»

(Lappenberg 1851, 109);

«...vorkastumen eme sin gud...» [191]

(Lappenberg 1851, 106);

«...vorkastumet...»

(1500, «Von Denen, die gegen Hahse...», Lappenberg 1851, Nr. CXLVII, с. 167).

Наряду с этим географически ограниченным обозначением в англо-ганзейском корпусе встречается и общее снем. *toll*:

«...sunder den nyen toll...» [192]

Письмо ганзейской общины в Лондоне ганзейским городам, 1374 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 99);

«...wante des edelen conynghes raet seghet, dey toll sy ghesat...» [193] (там же).

За пределами англо-ганзейского контекста принято общее ганзейское обозначение:

«...den tolleren...»,

«...summe des tolleren...»,

«...vortolleren...»

Грамота Висби ганзейским городам, 1362 г. (HR, Abt. I, Bd. 1, Nr. 290, с. 221);

«...mer an tolleren hebben gheboeret, wen...»

Собрание Ганзы в Ростове 1366 года (HR, Abt. I Bd. 1, Nr. 393, с. 352).

Обозначение ганзейской купеческой общины = *de ghemeyne*
 [*Dudsche*] *copman, de gemene copman van der Hense*, просто *de copman*

Обычная для всей территории ганзейских контактов формула самоназвания ганзейской общины купцов в целом сохраняется и в англо-ганзейском корпусе, за исключением замены топонима на западный вариант *Almanien*:

«...vor den ghemeynen copman van Almanien van der Dusschen hense...» [194]

Письмо ганзейской общины в Лондоне ганзейским городам 1374 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 99);

«...deme ghemeynen copmanne van der Dusschen hense van Almanien op der tiit to Londen wesende» [195]

(там же, в подписи);

«...van der dudsken Hense vp de tiit tho Lunden wesende»

(Lappenberg 1851, Nr. CVI, c. 103);

«...kopmans van derutschen Hanse to Brugge in Flandern vnd to Lunden in Engellant residerende» [196]

Соглашение ганзейских городов с городом Кельном, 1476 г., Lappenberg 1851, Nr. CXXXVI, c. 154), так же на с. 155;

«...den erbaren olderman vnd gemenen koepman van derutschen Hense to Lunden in Engellant residerende»

Соглашение между ганзейской общиной в Лондоне и городом Кельном 1478 года (Lappenberg 1851, 158).

На латинском языке эта формула выглядит следующим образом: *mercatores hense Theotonice Londoni existentes*.

Встречаются и варианты с этнонимом *dutsch*:

«...den... gemenen steden van derutschen Hanse».

Как и на всей территории контактов Ганзы, в англо-ганзейском цикле встречаются различные версии сокращенных формул:

«...dey korpman...»

Письмо ганзейской общины в Лондоне ганзейцам в Брюгге, 1375 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 100);

«...den gemenen koepman...»

(Lappenberg 1851, Nr. XL);

«...de mene copman»

Отчет ганзейского посольства в Англию 1379 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 210);

«...dem koepman darsuluest residerende...»

Соглашение ганзейских городов с городом Кельном, 1476 г. (Lappenberg 1851, 155);

«...deme kopman to Brugge residerende...»

Соглашение ганзейских городов с городом Кельном 1476 г. (Lappenberg 1851, 155);

«...des kopmans to Lunden in Engelant residerende...»

(там же, с. 156);

«...dem kopmanne darsuluest residerende...»

(там же, с. 156);

«...de gunst de he deme copmanne vele bewiset hefft...»

(там же).

Вместе с тем в англо-ганзейском корпусе наряду с обще-нижненемецким самоназванием встречаются варианты, специфичные для этого региона:

maschop (< англ. см. прим. Lappenberg 1851, 170–173):

«...magheschopp...»

Грамота Гамбурга Люнебургу об английских делах (HR, Abt. I, Bd. 4, Nr. 497);

selschop:

«...met unser selscap unde met unsen perden...» [197]

Письмо купцов из Брюгге ганзейской общине в Лондоне, 1375 г. (HR, Abt. I, Bd. 2, Nr. 101), также 3 раза *selschop* в Уставе ганзейского двора в Лондоне (Lappenberg 1851, 111);

cumpenien:

«...nemand in de Hense behorende en schal selschop noch cumpenien holden myt ienigen man van buten der Hensen...» [198]

(Lappenberg 1851, 111);

euentur:

«...euentur...»

(Lappenberg 1851, 105, 106; HR, Abt. I, Bd. 5, Nr. 24: посол Пруссии перед английским королем).

В русско-ганзейском корпусе встречаются только общие для всего нижненемецкого обозначения.

Названия профессий

«Грузчик» = *dreger*

В англо-ганзейских текстах общеганзейское обозначение *dreger* вытеснено словом *porter*:

«...twe vnser porters scholen de dragen...» [199]

Перечень расходов ганзейского двора в Лондоне (Lappenberg 1851, Nr. XLV, с. 27);

«porters» многократно встречается в тарифе грузчиков лондонского ганзейского двора (Lappenberg 1851, Nr. XCII, с. 74) и в уложении (Gesellen-Tafel лондонского ганзейского двора 1513 года, Lappenberg 1851, 173);

«porter» многократно в Уставе Стального двора, особенно в параграфе XLIII «Van den porters to betalende»

(Lappenberg 1851, 118).

Это слово не встречается в русско-ганзейском корпусе: ср. *dreger*, которое может также заимствоваться в русский с переоформлением словообразовательной структуры: ср. *dregil*, русское слово, переданное у Фенне в немецкой транскрипции (Hammerich, Jakobson, II: 345, 2);

«...wat de dregeren nomen zullen unde boven dat nicht...» [200]
Посольский отчет о переговорах в Новгороде, 1436 г. (HR, Abt. II, Bd. 1, Nr. 586, с. 509);
«...dregers...» (там же).



Рис. 5. Волховские перевозчики (снем. uorsch kerle, упомянутые в грамоте Ярослава) на волоке ладей с товарами ганзейцев

«суконщик» = *dok-maker/-vorer* (Lübben 1990, 80); *laken-maker/stricker* (Lübben 1990, 196)

В англо-ганзейском корпусе текстов вместо них выступает географически ограниченный вариант:

draper:

«...gescharen laken, de man van den drapers dagelikes to kope pende pleget» [201]

Устав ганзейского двора в Лондоне (Larpenberg 1851, 118).

В русско-ганзейском корпусе не встречено специфических для него обозначений этой профессии.

«меховщик»/«скорняк» = *velle-gilder, -koper; gerwer* (Lübben 1990, 473); *peltzerr/bundttmaker* (Hammerich, Jakobson, II, 52, p. 35)

В англо-ганзейских текстах встречается также термин *schinner* (из срангл. *skinner*):

«...geuet (sin gud) de schinners... to prouende...» [202]

Устав лондонского ганзейского двора о запрете на вынос товара со двора (Lappenberg 1851, 116).

В последнем случае, разумеется, атрибуция не представляет трудностей, и речь не идет о сложном франко-латино-английском взаимодействии.

Сравнение русско-ганзейского и англо-ганзейского контактного материала показало, что в обоих регионах практической деятельности Ганзы средненижненемецкий язык оказался проницаемым для трансференций. Четко соотнесенные с определенной территорией и с определенной контактной средой в культурном и языковом планах, эти трансференты могли, благодаря механизму коммуникативных связей, существовавших в структуре ганзейской администрации, проникать в коммуникативные сферы, не связанные прямо с русскими или английскими адресатами или источниками, т. е. в корреспонденцию третьих сторон, а в ряде случаев и на общеганзейский коммуникативный уровень. Таким образом, на материале единиц языка (заимствованных лексем) и единиц текста (трансферентных формул русских грамот) прослеживается механизм процессов языкового смешения. Отдавая себе отчет в том, что данные трансференты остаются контекстно связанными и что они не относятся к системообразующим элементам языка, можно все же утверждать, что на их примере исследована модель контактного поведения средненижненемецкого языка.

Ее особенностью является высокая контактная активность средненижненемецкого регионального языка. С одной стороны, такая восприимчивость языка к контакту говорит о большом экстралингвистическом давлении: о значимости успешных торговых взаимоотношений Ганзы с Русью и Англией. Нельзя не увидеть в этом и определенной опасности для сохранения достигнутого уровня нормированности средненижненемецкого делового языка. По сути, нижненемецкий деловой язык в процессе создания территориальных контактных вариантов начинает размываться, разрушается в результате влияний, которые он испытывает в различных географических ареалах. Явление лоскутности, о котором говорилось выше в связи с распространением русских трансферентов в текстах центральных ганзейских инстанций (протоколах общеганзейских съездов и судов, в посольских отчетах перед Висби, Любеком или Ревелем), есть признак распада единой любекской нормы и шаг к разрушению языкового тождества.

Яркое своеобразие нижненемецкого заключается в том, что он опровергает некоторые основополагающие представления контрастной лингвистики и теории языковых контактов. Так, мы виде-

ли, что критерий престижности сработал в его случае в обратную сторону от ожидаемой — не менее престижный язык подвергся влиянию, а, напротив, язык, имеющий колоссальную международную репутацию и влияние, оказался более проницаемым — причем снизу до самого верха, до Любекской канцелярии, — для трансференции из русского языка. Аналогично в принципе обстоит дело и с англо-ганзейскими трансферентами. В случае англо-ганзейских контактов наблюдается засорение латинизмами и галлицизмами, не связанное с некомпетентностью и общей культурной отсталостью носителей по сравнению с осваиваемым ими культурным языком. Напротив, в обеих ситуациях сами носители этого культурного языка (нижненемецкого) засоряют его в контакте с иноязычной средой страны, в языковом отношении не менее культурной, однако политически и экономически более слабой.

При всех различиях ситуаций в Англии и на Руси, все же просматривается некий общий контур их взаимоотношений как с Ганзой, так и с языком ганзейцев. Эта общая черта может в целом быть обозначена как лингвистическая неготовность обеспечить контакт своими усилиями. С чем связана мотивированность совершить шаг к языковому, как и вообще к кросс-культурному, контакту у нижненемецкого, выше подробно рассмотрено в различных экстралингвистических аспектах. Лингвистический же аспект состоял, очевидно, в том, что чрезвычайная контактность средненижненемецкого языка Ганзы, являющаяся его особенностью на протяжении всей истории, начиная с дописьменного периода, привела его в столкновение с верхненемецким в начале XVI века в состоянии повышенной проницаемости для иноязычного влияния: семикоммуникация с ближайшими близкородственными языками (датским, нидерландским) и прозрачность для трансференций и интерференций со стороны более отдаленных (как географически, так и системно) языков не позволили ему сохранить свое тождество в условиях падения Ганзы и ухода церковных и административных институтов в сферу верхненемецкого языка.

Примечания

- ¹ Переводы нижненемецких примеров из текстов приведены в Приложении: см. номера, указанные в квадратных скобках после примера.
- ² Подробнее проблеме русских заимствований в нижненемецких ганзейских текстах посвящена работа С. Н. Шевченко (1995).
- ³ Из наиболее ранних изданий грамот и дипломатических актов к истории русско-нижненемецких контактов имеют отношение, например, следующие: *K. E. Tobien. Die ältesten Gerichtsordnungen Rußlands. Dorpat, 1846* и того же автора *Sammlung kritisch bearbeiteter Quellen der Geschichte des russischen Rechtes / Hrg. K. E. Tobien. (Bd. I: Die Prawda Russkaja und die ältesten Traktate Rußlands.) Dorpat; Leipzig, 1845*; старейшее издание новгородской скры (Копенгагенская

рукопись) относится к 1828 году (Heinr. Behrmann. De Skra van Nougarden. Copenhagen, 1828), однако в нем содержится большое количество ошибок (ср. W. Schlüter / В. Шлютер. Новгородская скра в семи редакциях от XIII до XVII века. Юрьев, 1911, с. 12). На редакции Г. Бермана, но с учетом ошибок и с добавлением комментария и вариантов прочтения, основывается И. Андреевский в книге «О договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом, заключенном в 1270 году», изданной в Санкт-Петербурге в 1855 году. С 1846 года в Петербурге начали выходить «Acta ad Historiam Russiae occidentalis spectantia» (Collegium archeograph., Petropolis, 1846–). Старейшим собранием ливонских актов являются Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. 1–4. Riga, 1835–1844; в 1850-е годы в Ревеле под редакцией Фр. Бунге начало выходить собрание прибалтийских актов: Liv- Esth- und Curländisches Urkundenbuch / Hrg. Fr. G. v. Bunge, а в 1868 году вышло специальное собрание К. Е. Напьерского (К. Е. Napiersky. Russisch-livländische Urkunden. St. Petersburg, 1868). С 1870 года начато многотомное издание ганзейских актов (Hanserecesse: Die Recesse und andere Akten der Hansetage. 1256–1430. Bearb. K. Koppmann, Abt. I, 1870–, Leipzig, см. также фотопереиздание: HR 1975), а также Hansisches Urkundenbuch (HB). Halle; Leipzig, 1876–. В те же десятилетия начинают выходить и собрания актов различных городов, например, Любека (Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Hrg. Verein für lübische Geschichte. Lübeck, 1843–), и др.

⁴ В отношении рассматриваемого в данной работе периода вопрос о существовании древнерусского языка деловой письменности («письменно-деловой речи в разных жанрах», ср. Виноградов 1958, 137) получает достаточно однозначный положительный ответ. Так, наиболее ранний список «Русской правды» относится уже к 1282 г., причем именно к новгородскому кругу источников. Таким образом, можно исходить из факта существования на протяжении интересующего нас времени в интересующем нас регионе развитого и относительно нормированного языка правовых текстов и грамот, литературно-типологически сопоставимого с языком нижненемецких правовых и деловых текстов того же времени. Имея в виду длительную и сложную дискуссию в русистике об отношении деловой письменности к литературному языку (ср. различные точки зрения про этому вопросу, представленные, например, А. А. Шахматовым и С. П. Обнорским 1934, 1946, а также обзор этой дискуссии у Ф. П. Филина, 1981, 224–259), уточним, что в рассматриваемых в данной работе текстах представлен исключительно язык деловой письменности, восточнославянский по происхождению, отличаемый от языка высокой книжности, т. е. церковнославянского (ср., например, Ремнева 1995, 103). Расширительное понимание литературного языка как включающего деловую письменность, соответствует принятой в германистике точке зрения и не связано с полемикой вокруг типов древнерусского литературного языка.

⁵ В ходе всей восточной колонизации немцы накопили большой опыт взаимоотношений, в том числе и правовых, с местным славянским населением. Славяне завоеванных территорий нигде не считались равноправными немцам. Они единственные еще в 1225 платили подушную пошлину. По любекскому праву признавались равными в правах с немцами только те славяне, которые подверглись онемечиванию. Восточные города Висмар, Росток, Грейфсвальд и Штральзунд первоначально также поступали в отношении славян по примеру Любека, с XIV–XV веков появляются многочисленные документы обычного права, закрепляющие дискриминацию славян. Например, славяне не могли вступать в гильдии: ср. запрет с 1372 года на прием инородцев в гильдию суконщиков г. Шверина.

Еще в 1490 году в Любеке было отказано в наследстве на том основании, что имущество было нажито матерью в браке со славянским мужем, который был ей не «enbordig», то есть не равен по рождению (Ahlers 1939, 34). Потребность молодых городов в рабочей силе заставляла их открывать ворота для притока населения из местных крестьян, однако необходимым условием всегда оставалось онемечивание этих пришельцев, называемых, вместе с балтами в Ливонии, словом *Undeutsche* (снн. *undutsch*), — смена веры, языка, часто имени. Аналогичным образом решался вопрос и в новых балтийских городах в отношении местных, ср. в уставе ревельских булочников 1438 года запрет на прием в гильдию эстов: «en schal neyn Eeste in unsem ampte synes sulves werden» [205] (L-E-CUB, 9, Nr. 258); в уставе пивоваров г. Ревеля, также 1438 года, оговорено не только их немецкое происхождение, но и их жен, однако есть и красноречивый пункт, в виде исключения разрешающий пользоваться правами члена гильдии немцу в том случае, если он «en Undudesch erlik wiiff hevet» («имеет инородную законную жену», там же, Nr. 402).

- 6 Относительно передачи английского начального звука в этом термине (ср. нем. *sarter*, Lappenberg 1851, 23; *zarter*, *szarter*, Lappenberg 109) следует отметить ее регулярность в текстах, написанных ганзейскими писцами. Аналогично передаются и топонимы, содержащие тот же звук, например, *Xsestre* (соврем. англ. *Chester*), *van Wintsestre*, *van Wintsestere* (соврем. англ. *Winchester*) (примеры взяты из отчета и корреспонденции посольства ганзейских городов в Англию в 1379 г.), также *Wynczester*, *Nordwicz* (из актов посольства в Англию в 1415 г., HR, Abt. I, Bd. 5, Nr. 195, 149). Поскольку предположить сибилантное произношение в английском в это время уже нельзя, наиболее вероятным объяснением может быть указание на качество /s/, /z/ в самом средненижненемецком. Эти звуки, очевидно, произносились шепеляво, о чем говорят такие транслитерации, как русская передача названия города Зоста как *Жат* или *Жюжажат* (последнее из латинского *Susatum* в нижненемецком произношении, ср. Ellmers 1985) в смоленско-немецком договоре 1229 года или передача часто фигурирующего в русско-ганзейских текстах имени *Sassenbeke* как *Зашембья* (переписка архиепископа Новгородского с Ригой по поводу суда над Зашембьей, 1418–1421 гг., HR, Abt. I, Bd. 6, также Валк 1949, Nr. 57). Шепелявость собственного /s/, /z/ позволяла немцам недифференцированно использовать соответствующие графемы для шипящих спирантов, а также, для аффрикаты, вариант с начальным смычным усилением: *ts tz*. Аналогично передаются в нижненемецких текстах и русские названия с шипящими спирантами и аффрикатами: ср. *dat kloster Petzenea* «монастырь Печенра», *eine beke*, *Soxcena genant* «река под названием Шексна», *dat erste kerkdorp Precista* «первое село Пречистое», а также название опричнины «Aprisni» в нижненемецкой рукописи путевых описаний Генриха фон Штадена XVI в. (von Staden 1964, 271–272).

Литература

- Амосова 1956 — Н. Н. Амосова. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. М., 1956.
- Андреевский 1855 — И. Андреевский. О договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом, заключенном в 1270 году. СПб., 1855.
- Антонов 1995 — В. Антонов. «Земский мир» 1360 года и политическая жизнь Дании в правление короля Вальдемара IV Аттердага (1340–1375) // Северная Европа. Проблемы истории. М., 1995, с. 12–33.

- Бруннер 1955 — *К. Бруннер*. История английского языка. М., 1955, т. 1.
- Валк 1949 — *С. Н. Валк*. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л., 1949.
- Виноградов 1958 — *В. В. Виноградов*. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958.
- Гак 1989 — *В. П. Гак*. О контрастивной лингвистике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. М., 1989, с. 5–17.
- Ильиш 1968 — *Б. А. Ильиш*. История английского языка. М., 1968.
- Казакова 1975 — *Н. А. Казакова*. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV — начало XVI в. Л., 1975.
- Костомаров 1995 — *Н. И. Костомаров*. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1995. Кн. 1.
- Ладо 1989 — *Р. Ладо*. Лингвистика поверх границ культур // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. М., 1989, с. 32–62.
- Покровский 1933 — *М. Н. Покровский*. Русская история с древнейших времен. ОГИЗ, 1933.
- Похлебкин 1992 — *В. В. Похлебкин*. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. Справочник. М., 1992.
- Приходно-расходные... 1912 — Приходно-расходные книги московских приказов. Часть 1 // Русская историческая библиотека. М., 1912, т. 28.
- Ремнева 1995 — *М. Л. Ремнева*. Еще раз о типах (видах, стилях) древнерусского литературного языка // Вестник Московского университета. Сер. Филология. 1995. № 4, с. 99–104.
- Рыбина 1986 — *Е. А. Рыбина*. Иноземные дворы в Новгороде XII–XVII вв. М., 1986.
- Филин 1981 — *Ф. П. Филин*. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.
- Хорошкевич 1963 — *А. Л. Хорошкевич*. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV–XV веках. М., 1963.
- Шевченко 1995 — *С. Н. Шевченко*. Новгородские источники к изучению русско-ганзейских языковых связей XIII–XVI вв. (В рукописи).
- Шлютер 1911 — *В. Шлютер*, см. Schlüter 1911.
- Ярцева 1969 — *В. Н. Ярцева*. Развитие национального литературного английского языка. М., 1969, с. 48–91.
- Ярцева 1985 — *В. Н. Ярцева*. История английского литературного языка IX–XV вв. М., 1985.
- Яцимирский 1921 — *А. И. Яцимирский*. Описание южно-славянских и русских рукописей заграничных библиотек, т. I // Сборник Отделения русского языка и словесности, т. 98. Пр., 1921.
- Ahlors 1939 — *O. Ahlors*. Die Bevölkerungspolitik der Städte des «wendischen» Quartiers der Hanse gegenüber Slawen. Berlin, 1939.
- Alving 1918 — *Hjalmar Alving*. Die Nowgoroder Skra nach der Kopenhagener Handschrift / Göteborgs Hogstolas Årskrift. Göteborg, 1918.
- Angermann 1994 — *Norbert Angermann*. Die hansisch-russische kulturelle Begegnung im mittelalterlichen Novgorod // Norwegen und die Hanse. Hrg. V. Henn. Berlin; Bern; New York; Paris, 1994, S. 191–209.

- Angermann, Endell 1989 — *Norbert Angermann, Ulrike Endell*. Die Partnerschaft mit der Hanse / Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 11–17. Jh. München, 1989, S. 83–115.
- Balley, Maroldt 1977 — *Ch.-J. Balley, K. Maroldt*. The French lineage of English // *Languages in contact. Langues en contact — Pidgins — Creols* / J. M. Meisel. Tübingen, 1977.
- Barz 1978 — *P. Barz*. Heinrich der Löwe. Bonn, 1978.
- Baugh, Cable 1978 — *A. C. Baugh, Th. Cable*. A History of the English Language. Henley-on-Thames, 1978.
- Bense 1924 — *J. F. Bense*. The Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the Third: being and historical introduction to a dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary. s-Gravenhage, 1924.
- Bense 1939 — *J. F. Bense*. A dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary. The Hague, 1939.
- Carlie 1925 — *J. Carlie*. Studium über die mittelniederdeutsche Urkundensprache der dänischen Königskanzlei von 1330–1430. Lund, 1925.
- Choroškevič 1996 — *A. L. Choroškevič*. Der deutsche Hof in Novgorod und die deutsche Herberge (Fondaco dei Tedeschi) in Venedig im 13./14. Jahrhundert. Eine vergleichende Vorstudie / Zwischen Lübeck und Novgorod. Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Norbert Angermann zum 60. Geburtstag / Hgg. O. Pelc und G. Pickhan. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk. Lüneburg, 1996, S. 67–88.
- Christensen 1989 — *B. Christensen*. Niederdeutsche Lehnwörter in Quellen aus der Gegend von Koge aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts // *Niederdeutsch in Skandinavien II*. Berlin; Bielefeld; München, 1989, S. 173–187.
- Cordes 1959 — *Gerhard Cordes*. Zur Erforschung der Urkundensprache // *Niederdeutsches Jahrbuch*, № 82, Jg. 1959. Neumünster, 1959, S. 63–79.
- Dimante 1996 — *Irina Dimante*. Altrussische Sprachdenkmäler im Historischen Staatsarchiv Lettlands und Perspektiven ihrer linguistischen Erforschung / Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum / Hrg. Gisela Brandt. Stuttgart, 1996, S. 99–104.
- Dollinger 1989 — *Ph. Dollinger*. Die Hanse. Stuttgart, 1989.
- Ellmers 1985 — *D. Ellmers*. Entstehung der Hanse // *Hansische Geschichtsblätter*, Jg. 103, 1985.
- Falowski 1993 — *Adam Falowski*. «Ein Rusch Boeck...»: ein russisch deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert / Hrsg. A. Falowski. Köln; Weimar; Wien, 1993.
- Falowski 1996 — *Adam Falowski*. «Ein Rusch Boeck...» Rosyjsko-niemiecki anonimowy słownik i rozmówki z XVI wieku. Analiza językowa. Kraków, 1996.
- Fedders 1988 — *W. Fedders*. Zur Erhebung historischer Schreibsprachdaten aus der Textsorte «Urkunde» // *Niederdeutsches Wort*. (Beiträge zur niederdeutschen Philologie) Bd. 28/1988. Münster, S. 61–74.
- Gardiner 1965 — *S. R. Gardiner*. German Loanwords in Russian 1550–1690. Oxford, 1965 (Phil. Society, vol. XXI).
- Gernentz 1981 — *H. J. Gernentz*. Die Bedeutung der Gesprächsbücher des Russlandhandels im 17. Jh. für die Entwicklung der Lexikographie // *Kopenhagener Beiträge zur germanistischen Linguistik* 17, 1981.

- Gernentz 1988 — *H. J. Gernentz*. Untersuchungen zum russisch-niederdeutschen Gesprächsbuch des Tonnies Fenne // Hrsg. H. J. Gernentz. Berlin, 1988.
- Gleissner 1972 — *K. Gleissner*. Urkunde und Mundart: auf Grund der Urkundensprache der Vogte von Heida, Gera und Plauen. (Mitteldeutsche Studien, 9) Wiesbaden, 1972.
- Goetz 1916 — *L. K. Goetz*. Deutsch-russische Handelsverträge des Mittelalters. Hamburg, 1916.
- Goetz 1922 — *L. K. Goetz*. Deutsch-russische Handelsgeschichte des Mittelalters / Hansische Geschichtsquellen, Bd. 5. Lübeck, 1922. Kap. «Waaren», S. 248ff.
- Hammerich, Jakobson 1970–1986 — *L. L. Hammerich, R. Jakobson*. Toennies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian. Pskov 1967. Copenhagen. Vol. I: 1970; Vol. II: 1970; Vol. III: 1985; Vol. IV: 1986. Hansen, G. v. (1890): Alte russische Urkunden die im Revaler Stadtarchiv aufbewahrt werden. Reval, 1890.
- Hessmann, Kremer 1973 — *Pierre Hessmann, Ludwig Kremer*. Die hansische Korrespondenz im Antwerpener Stadtarchiv // Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Amsterdam, 1973 (Bd. 5), S. 155–169.
- Hildebrand 1889 — *H. Hildebrand*. Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Bd. 9. Riga; Moskau, 1889.
- HR (1975): Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hansetage 1256–1537. I Abteilung, Bd. 1–8 (1256–1430) / Hrg. K. Koppmann; II Abteilung, Bd. 1–7 (1431–1476) / Hrg. G. V. Ropp; III Abteilung, Bd. 1–9 (1477–1530) / Hrg. D. Schäfer; IV Abteilung, Bd. 1, 2 (1531–1537) / Hrg. G. Wentz, K. Friedland. Leipzig; Köln, 1870–1970. (Фотопереиздание 1975).
- HUB = Hansisches Urkundenbuch. Halle; Leipzig; München; Weimar, 1876–1939.
- Hylgaard-Jensen 1985 — *K. Hylgaard-Jensen*. Die Textsorten des Mittelniederdeutschen // Besch/Reichmann/Sonderegger (Hgg.): Sprachgeschichte. 2 Halbband. Berlin; New York, 1985, S. 1247–1251.
- Issatschenko 1980 — *Alexander Issatschenko*. Geschichte der russischen Sprache. Bd. 1. Heidelberg, 1980.
- Johansen 1955 — *Paul Johansen*. Fragment eines niederdeutsch-russischen Sprachführers (1551) // Zeitschrift für slawische Philologie. Bd. 33, Heft 2. Heidelberg, 1955, S. 275–283.
- Johansen 1963 — *Paul Johansen*. Der hansische Rußlandhandel, insbesondere nach Novgorod, in kritischer Betrachtung // Die Deutsche Hanse als Mittler zwischen Ost und West / Hrg. A. Brandt, P. Johansen etc. Köln u. Opladen, 1963, S. 39–57.
- Johansen v. z. Mühlen 1973 — *P. Johansen, v. z. H. Mühlen*. Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen Reval. Köln; Wien, 1973.
- Karulis 1992 — *K. Karulis*. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. I. Riga, 1992.
- Katara 1966 — *Pekka Katara*. Das französische Lehngut in mittel-niederdeutschen Denkmälern von 1300 bis 1600 // Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki. XXX. Helsinki, 1966.
- Kiparsky 1975 — *Valentin Kiparsky*. Russische historische Grammatik. Bd. III. Heidelberg, 1975.
- Koppmann 1893 — *K. Koppmann*. Schevenissen und Troinissen // Hansische Geschichtsblätter / Hrg. Verein für Hansische Geschichte. Jahrgang 1893. Leipzig, 1894.

- Koschkins 1996 — *Igor Koschkins*. Deutsches Lehngut in den altrussischen Novgoroder Urkunden // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum / Hrg. Gisela Brandt. Stuttgart, 1996, S. 87–98.
- Kunze 1891 — *K. Kunze*. Hanseakten aus England 1275–1412 // Hansische Geschichtsquellen. Bd. 6. Berlin, 1891.
- Kürtz 1983 — *Hans J. Kürtz*. Zu Zeiten der Hanse. Handel und Wandel in den Hansekontoren Bergen, Brugge, London und Nowgorod. Lübeck, 1983.
- Lappenberg 1851 — *J. M. Lappenberg*. Urkundliche Geschichte des Hansischen Stahlhofes zu London. Bd. I: Geschichte, Bd. II: Urkunden. Hamburg, 1851.
- L-E-CUB = Liv-, Est-, Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. F. G. Bunge. H. Hildebrand. Riga; Moskau, 1853–1914.
- Lele 1995 — *Dzintra Lele*. Zum Problem der regionalen Varietät. Anhand der mitelniederdeutschen Handschriften aus Riga (16. Jahrhundert) // Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Neumünster, Bd. 118, Jg. 1995. S. 121–140.
- Lele 1996 — *Dzintra Lele*. Soziolinguistische Aspekte der Ablösung des Niederdeutschen durch das Hochdeutsche in Riga (nach den Schriften der Grossen Gilde) // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum / Hrg. Gisela Brandt. Stuttgart, 1996, S. 173–182.
- Leuschner 1980 — *Jorg Leuschner*. Novgorod. Untersuchungen zu einigen Fragen seiner Verfassungs- und Bevölkerungsstruktur. (Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens. Bd. 108). Berlin, 1980.
- LUB — Lübeckisches Urkundenbuch. I Abt. Hrg. Verein für lübeckische Geschichte u. Altertumskunde. Lübeck, 1889–.
- Lübben 1990 — *A. Lübben*. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Darmstadt, 1990.
- Marchand 1960 — *H. Marchand*. The categories and types of present-day English word-formation. Wiesbaden, 1960.
- Meulen van der 1909 — *R. van der Meulen*. De Hollandse Zee- en Scheepstermen in het Russisch // Verhandlingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Amsterdam, 1909.
- Minzloff 1853 — *Rudolf Minzloff*. Die altdutschen Handschriften der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. St. Petersburg, 1853, S. 99–106.
- Napiersky 1868 — *K. E. Napiersky*. Russisch-livländische Urkunden. St. Petersburg, 1868.
- Pavidis 1996 — *Silvija Pavidis*. Das deutsche Lehngut im ersten lettischen «Katholischen Catechismus» von 1585 // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum / Hrg. Gisela Brandt. Stuttgart, 1996, S. 143–152.
- Perlbach 1890 — *Max Perlbach*. Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Hss / Hrg. M. Perlbach. Halle; Saale, 1890.
- Peters 1973 — *R. Peters*. Mittelniederdeutsche Sprache // Niederdeutsch. Sprache und Literatur / Hrg. J. Goossens. Neumünster, 1973.
- Peters 1985 — *R. Peters*. Das Mittelniederdeutsche // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung / Hrg. Besch/Reichmann/Sonderegger. Zweiter Halbband. Berlin; New York, 1985.
- Peters 1987–1990 — *R. Peters*. Katalog sprachlicher Merkmale zur variablenlinguistischen Erforschung des Mittelniederdeutschen // Niederdeutsches Wort, Bd. 27 (1987), 28 (1988), 30 (1990).

- Priebsch 1896, 1901 — *Robert Priebsch*. Deutsche Handschriften in England. Bd. 1: Ashburton, Cambridge, Cheltenham, Oxford. Mit Anhang ungedruckter Texte. Erlangen, 1896; Bd. 2: Das British Museum. Mit Anhang über die Guildhall-Bibliothek. Erlangen, 1901.
- Rösler 1990 — *I. Rösler*. Fremdsprachliche Kommunikation vor 450 Jahren: Das Russisch Buch, ein russisch-deutscher Sprachführer von 1546. «Skamandros». Warszawa, 1990, s. 287–302.
- Rösler, Kopplow 1986 — *I. Rösler, Ch. Kopplow*. Auf dem Wege zu nationalen Normen in der Gestaltung des prädikativen Satzrahmens. Beobachtungen an den Gesprächsbüchern von Schroue hd. 1546 — und Fenne nd. 1607 // Wissenschaftliche Zeitschrift Univ. Rostock 35, GSR, H. 8, S. 102–107.
- Scheard 1962 — *J. A. Scheard*. The Words We Use. London, 1962.
- Schleker 1890 — *Ludwig Schleker*. Reisebericht der hansischen Gesandtschaft von Lübeck nach Moskau und Nowgorod im Jahre 1603 // Hansische Geschichtsblätter. Jg. 1888. Leipzig, 1890, S. 1–56.
- Schlüter 1911 — *W. Schlüter*. Die Nowgoroder Schra in sieben Fassungen vom XIII. bis XVII. Jahrhundert. Dorpat, 1911.
- Schmidt-Wiegand 1989 — *R. Schmidt-Wiegand*. Prolegomena zu einer Texttypologie des Mittelniederdeutschen // Aspekte der Germanistik. Festschrift H.-Fr. Rosenfeld zum 90 Geburtstag / Hrg. W. Tauber. Göppingen, 1989 (= «Göppinger Arbeiten zur Germanistik», 521.)
- Schmitt 1966 — *L. E. Schmitt*. Untersuchungen zu Entstehung und Struktur der «neuhochdeutschen Schriftsprache». Bd. 1: Sprachgeschichte des Thüringisch-Obersächsischen im Spätmittelalter. Die Geschäftssprache von 1300 bis 1500 // Mitteldeutsche Forschungen 36, I. Köln; Graz, 1966.
- Schöndorf 1987 — *K. E. Schöndorf*. Mittelniederdeutsche Urkunden aus Norwegen // Niederdeutsch in Skandinavien (I) Berlin, 1987, S. 46–65.
- Schöndorf 1993 — *K. E. Schöndorf*. Der Gebrauch volkssprachlicher Texte in den geistlichen Orden Skandinaviens im Spätmittelalter // Niederdeutsch in Skandinavien (IV). (Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie) / Hrg. H. Menke, K. E. Schöndorf. Berlin, 1993.
- Schulz 1911 — *Fr. Schulz*. Die Hanse und England von Eduards III bis auf Heinrichs VIII. Zeit. (Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte). Berlin, 1911.
- Skvairs 1996a — *E. R. Skvairs*. Frauenstimmen im russisch-hansischen Dialog (nach hansischen Quellen des 16. und 17. Jh.) // Bausteine zu einer Geschichte des weiblichen Sprachgebrauchs II. Hrg. Gisela Brandt. Stuttgart, 1996, S. 157–166.
- Skvairs 1996b — *E. R. Skvairs*. Niederdeutsch-russische Sprachkontakte der Hansezeit. Forschungsstand, Entwicklungswege, Aussichten // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum / Hrg. Gisela Brandt. Stuttgart, 1996, S. 67–86.
- Staden von 1964 — *H. von Staden*. Heinrich von Staden Aufzeichnungen über den Moskauer Staat. Nach der Hs. des Preussischen Staatsarchivs in Hannover / Hrsg. Fritz H. Epstein. Hamburg, 1964.
- Stein 1905 — *W. Stein*. Die Hanse und England // Pfingstblätter des hansischen Geschichtsvereins. Jg. 1905.
- Stieda 1884 — *W. Stieda*. Zur Sprachkenntnis der Hanseaten // Hansische Geschichtsblätter, Bd. 5 (Jrg. 1884–1886). Soest, 1884.

- Thomas 1978 — *G. Thomas. Middle Low German Loanwords in Russian // Slavistische Beiträge, Bd. 123. München, 1978.*
- Tobien 1845 — *E. S. Tobien. Sammlung kritisch bearbeiteter Quellen der Geschichte des russischen Rechtes / Hrg. E. S. Tobien. Bd. I: Die Prawda Russkaja und die ältesten Traktate Rußlands. Dorpat; Leipzig, 1845.*
- Ureland 1977 — *P. St. Ureland. Sprachkontakt im Nordseegebiet. Mannheim, 1977.*
- Vlasto 1986 — *A. P. Vlasto. A Linguistic History of Russia. Oxford, 1986.*
- Williams 1975 — *J. M. Williams. Origins of the English Language. A Social and Linguistic History. New York; London, 1975.*
- Winge 1992 — *V. Winge. Dänische Deutsche — deutsche Dänen. Heidelberg, 1992.*
- Winge 1993 — *V. Winge. Die Hanserecesse als Quelle für mittelniederdeutsche Studien // Niederdeutsch in Skandinavien IV (1991) / Hgg. H. Menke, K. E. Schöndorf. Berlin, 1993, S. 146–153.*

Список сокращений названий языков

англ. — английский	нем. — нижненемецкий
дат. — датский	поздлат. — позднелатинский
друс. — древнерусский	рус. — русский
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий	снем. — средненижненемецкий
лат. — латинский	срангл. — среднеанглийский
латш. — латышский	стфранц. — старофранцузский

Приложение

- [1] *...ладья находится (стоит)...*
- [2] *...в ладью...*
- [3] *...опытного переводчика, умеющего хорошо говорить по-французски...*
- [4] *...чтобы кто-либо помог какому-либо голландскому юноше овладеть языком...*
- [5] *Также не следует ни голландцам, ни зеландцам, ни кампенцам, ни фламандцу либо англичанину... помогать в овладении языком...*
- [6] *Ни один ученик старше двадцати лет отроду не должен изучать язык ни в Новгородской земле, ни в самом Новгороде...*
- [7] *...несомненно, что для Ордена не столь прискорбно и вредно то, что ему враждебны русские, татары, литовцы и жемайты, как то, что ливонские братья оказывают неповиновение Вашей милости...*
- [8] *привел на рижском слушании много злых обвинений против Ордена и сказал, что они-де убийцы священников, поджигатели и грабители церквей и разрушители Христовой веры...*
- [9] *...неверным россам из Великого Новгорода...*
- [10] *...высокочитимый и могущественный владыка митрополит Константинопольский, всей Руси духовный предстатель...*
- [11] *Высокочитимый отец, митрополит всей Руси...*
- [12] *Высокочитимый духовный отец в Боге и могущественный повелитель, господин архиепископ...*
- *...любезный духовный отец*
- *...ваше святейшество и милость...*
- *...храни [вас] Бог всемогущий на долгие времена, молящегося за нас...*

- [13] (1) «...от архиепископа Новгородского Симеона...»
 (2) «...чтобы я благословил своих [людей]...»
 (3) «...и я благословил детей моих...»
 «...и они, дети мои, приняли мое благословение...»
- [14] (1) «...отцу нашему, архиепископу Новгородскому Симеону...»
 «...наш святой отец, архиепископ...»
 «...Симеона, отца нашего...»
 (2) «...дал благословение Великому Новгороду и детям своим...»
 (3) «...и Новгород Великий принял благословение архиепископа...»
- [15] (1) «...[мы просим тебя,] святой отец... архиепископ Новгородский Симеон...»
 (2) «...чтобы вы ваших детей, посадника, воеводу, бояр и купцов и весь Великий Новгород благословили...»
- [16] «Сие есть копия крестного целования русских новой привилегии, [переведенная] на немецкий язык, гласящая...»
- [17] «Сие списано с пергаменной копии, что по-русски [написана] и переведена на немецкий, а на обратной стороне этой пергаменной грамоты написано по-немецки: „Эта русская грамота, скрепленная печатами, находится у господ на Готланде“»
- [18] «...в немецком переводе гласящая от слова до слова, как написано ниже...»
- [19] «...Эти вышеприведенные русские грамоты, в немецком переводе, мы... отослали в Ригу»
- [20] «...жалобы... переведенные и написанные по-немецки...»
- [21] «...и придать им хорошего толмача...»
- [22] «...грамоты были переведены для новгородцев...»
 «...мы же слышали, как переведенная грамота была зачитана вслух в суде...»
- [23] «На письмо был получен ответ на дворе епископа и прочитан в нашем присутствии...»
- [24] «Новгородцы прочитывают свою грамоту гласно, в нашем присутствии...»
- [25] «...так что господа послы могли самолично слышать и знать, как было переведено...»
- [26] «...которые Хинрик фан дер Хейде выдал Гереку на обучение русскому и эстонскому языкам...»
- [27] «...послам, купцам и ученикам [...] с их товаром...»
- [28] «Наш толмач возвратился с ответом и привел восьмерых учеников [...], из которых двое из Любека, один — сын господина Лютке фан Туна, другой сын Ханса Кунца из Гамбурга, третий — Ханс Дегинк из Дортмунда, четвертый — из Ревеля, сын Маркварта Бертольда, и остальных из прочих городов...»
- [29] «...с большим трудом мы пришли к согласию и составили с ними вместе договор по-русски, следующий далее в немецком переводе (следует немецкий текст договора)...»
- [30] «...хорошего толмача, который бы по закону (правильно, в соответствии с правовыми нормами) представлял наши интересы и передал бы надлежащим образом и ясно содержание наших грамот господину архиепископу и [всему] Великому Новгороду»
- [31] «...чтобы Вы повелили перевести это на немецкий и послали нам русский [текст] вместе с немецким с нашим послом»
- [32] «Вы прислали нам ваши грамоты по старому договору и по старой правде и крестному целованию...»

- [33] *На это русские сказали, что они не посмотрят ни на договоры, ни на крестное целование*
- [34] *Новгородцы целовали немцам крест. А немцы, в свою очередь, целовали крест новгородцам*
- [35] *...посадник целовал крест...*
- *...мы целовали крест...*
- *...на том целовали крест...*
- *...по старому крестному целованию...*
- [36] *...по старым договорам и по крестному целованию...*
- *...возобновить старые договоры...*
- [37] *Желаете ли вы подтвердить старый договор и крестное целование?*
- *...по старому крестному целованию...*
- [38] *Это против договора (крестного целования)*
- [39] *...против Бога и крестного целования...*
- *...договор и крестное целование...*
- *тогда крестное целование было сперва подтверждено, а затем [заверено] целование [креста] перед городом Новгородом (от имени Новгорода)...*
- [40] *...вести торговлю в соответствии с крестным целованием...*
- [41] *На том он будет целовать крест и принесет клятву...*
- *что решают не в соответствии с крестным целованием...*
- [42] *...как явствует из крестного целования и договоров...*
- [43] *...так как они тем самым нарушили крестное целование...*
- [44] *...пойти против купеческой правды (закона, признанного купеческой общиной), привилегии и крестного целования...*
- [45] *...нашей грамотой крестного целования...*
- [46] *Дабы скорее заключить с ними договор и новое крестное целование...*
- [47] *...чтобы немецкий купец мог сохранить свое законное положение и старые свободы и чтобы нашим дали бы такие же права, какие и мы в свою очередь с готовностью [дадим] их [купцам] в соответствии с крестным целованием...*
- [48] *...чтобы это более не случилось, и с каждым поступали бы по скре и с каждым, кто ее нарушит, поступали бы в соответствии с ней...*
- [49] *...там было составлено крестное целование...*
- *...лица, которые совершили крестное целование и заверили и подтвердили договор посредством целования святого креста, дабы крестное целование тем строже и крепче соблюдалось бы...*
- *...что старые добрые [люди], которые целовали крест, с обеих сторон умерли...*
- *...нарушение крестного целования...*
- *...по старому крестному целованию...*
- [50] *...так как крестное целование (договор) не соблюдалось...*
- [51] *...будете на том крест целовать...*
- [52] *Во свидетельство и ради вящего подтверждения того повелили мы навести на эту грамоту... нашу печать*
- [53] *...по этому крестному целованию...*
- *...по этому перемирию и крестному целованию...*
- *...целовали крест...*
- [54] *Писано в Нашей вотчине в нашем замке Москве в [году] семь тысяч двадцать третьем, двадцать второго дня в мае*
- [55] *...чтобы составить за ними все права в соответствии с Нибуровым крестным целованием, старыми добрыми обычаями, свободами и правдой...*

- «...по всем крестным целованиям...»
- «...Нибурово крестное целование и другие крестные целования (= договоры), находящиеся в Висби...»
- [56] «...в своей речи ссылаться на княжескую грамоту с золотой печатью и старое крестное целование...»
- «...многократные крестные целования и грамота с золотой печатью...»
- «...между твоей вотчиной и всей Ливонией заключен и подтвержден крестным целованием мир на 14 лет...»
- [57] «...которая была с обеих сторон заверена печатями и целованием... святого креста...»
- «...договоров с крестным целованием...»
- «Этот договор подтвержден по обычаю целованием креста посадником и другими старейшинами и по его приказу скреплен печатью»
- [58] «...что мы их [людям], находящимся здесь, жалуем и дозволяем то же, что они нашим, находящимся у них, жалуют и дозволяют, в соответствии с крестным целованием, которое мы соблюдали и хотим впредь соблюдать, но которое они нарушили...»
- [59] «...коли вы желаете соблюдать договор, то и они [его] желают соблюдать...»
- [60] «...заключили дружественное соглашение...»
- [60] «...в том, что кельнские купцы не следовали тому, что содержится в вышеупомянутом договоре...»
- «...чтобы в договоре на съезде в Бремене определить и оговорить все точнее и полнее...»
- [62] «...предусмотреть в договоре, чтобы мы все сполна могли пользоваться привилегией...»
- [63] «...что между французской короной и [ганзейскими] городами заключен договор»
- [64] «...обратились к новгородскому посаднику Тимофею Юрьевичу... и изложили свои условия...»
- [65] «Вам, господам, бьем мы челом. Мы виновны. Смилоствуйте над нами»
- «...и новгородцы смилостивились над немцами в ответ на их просьбу и в ответ на их челобитье...»
- [66] «...когда их послы будут бить челом великому князю ради мирного договора, великий князь ознакомится с их челобитной и пожалует немецких купцов, дозволив им торговать в его вотчине Великом Новгороде»
- [67] «...великий князь желает увидеть вашу челобитную...»
- [68] «...положения, обсуждаемые в переговорах...»
- «...изложенные мною положения...»
- «...положения, [выдвинутые ганзейскими] купцами...»
- «...мы обсуждали при переговорах...»
- [69] «...рядить по закону...»
- [70] «...торговать в соответствии с крестным целованием...»
- [71] «...как мы недавно поступили со злыми людьми, так как мы тем двадцати четверем всем разом отрубили головы»
- [72] «...дозволили ему торговать...»
- [73] «...по старому крестному целованию / по старым договорам / по старому обычаю и крестному целованию / целовать крест...»
- [74] «Так dokonчал епископ Новгородский...»
- [75] «Так dokonчал епископ Новгородский... с немецкими детьми (= купцами)...»
- [76] «Заключение этого договора состоялось... (следует дата заключения договора)»

- [77] *Князь заключил договор...*
- [78] *Это перемирие заключено в году... (следует дата)*
- [79] *Сюда в Великий Новгород пришли немецкие послы... и пришли посольством от Любека... к нашему господину, святому владыке (епископу) Ефимию в Великий Новгород...*
- [80] *Сюда в вотчину великого князя всея Руси Великий Новгород пришли... их послы из Пскова... а также пришли от благородного князя Ливонии Вальтера фон Плеттенберга... послы... и заключили десятилетнее перемирие...*
- [81] *...также явились пред этими вышепоименованными господами послами магистратов почтенный господин Иоганн Херлинкхузен... и некий Ивен Боргер из Ревеля со своим делом...*
- [82] *...пришел некий член общины по имени Лубберт Травельман... прося возвратить ему залог*
- [83] *...предстал перед городами некий по имени Тидеман Кулле, гражданин города Дерпта...*
- [84] *Мы, послы от семидесяти городов: от Дерпта бургомистр Иоганн Булк и ратман Арент фан Лон... [и др.] пришли в вотчину великого князя, в Новгород... со своим (букв. „с их“) челобитьем...*
- [85] *...так как великий государь Василий... захотел пожаловать и повелеть своему наместнику в Новгороде заключить перемирие...*
- [86] L. Господин Иоганн Нибур из Любека и [...] послы из-за моря были у нас в Новгороде, перед посадником Тимофеем Юрьевичем и...
- [87] R1: Сюда прибыл Иван Нибур из Любека посольством [...] к посаднику Тимофею Юрьевичу и [...] ко всему Великому Новгороду [...].
- [88] R2: Сюда прибыл господин Иоганн Нибур из Любека [...]. Они были (здесь) послами в Новгороде по делам купеческой Ганзы... [и говорили] с посадником новгородским Тимофеем Юрьевичем [...] и со всем Новгородом [и вели переговоры так:]
- [89] *...ту немецкую [грамоту], что Ваша милость мне поручила, я перевел (велел перевести) на латынь...*
- [90] *...в канун дня Богоматери нашей *pativitatis*, то есть ее Рождества...*
- [91] *...купеческая община Германии, немецкой Ганзы...*
- [92] *...старейшинам (олдерменам) и купеческой общине немецкой Ганзы Германии...*
- [93] *...германская купеческая община в Англии...*
- [94] *...община купцов, находящихся в Новгороде...*
- [95] *Грамоту прочли в нашем присутствии...*
- [96] *Новгородцы читают свою грамоту при всех, в нашем присутствии...*
- [97] *...безо всякой хитрости или прочей пакости...*
- [98] *...у новгородцев есть особый договор с немецкой купеческой общиной...*
- [99] *...договор заключен...*
- [100] *...прочли старые договоры (и крестные договоры)...*
- [101] *...грамота датского короля с печатями...*
- *...в настоящей грамоте...*
- *...открыто признаем этой грамотой...*
- [102] букв. *...нам зачитали вслух этот договор, который приведен в этом договоре...*
- [103] *... нам зачитали вслух эту договорную грамоту...*
- [104] *...о чем написано в данном договоре...*
- [105] *...заключили дружественный договор...*

- [106] *...составили и заключили дружественный договор...*
- [107] *...если этот договор и союз полностью утратят силу...*
- [108] *...состоять в этом договоре...*
- [109] *...сила этого договора...*
- [110] *...в своих договорах заверить, подтвердить и скрепить своей печатью...*
- [111] *...навешиваем нашу печать на этот договор...*
- [112] *...достигли согласия на основе договора...*
- [113] *...заключен договор между [ганзейскими] купцами Лондона и купеческой общиной Бергена...*
- [114] *...этого вышеприведенного договора между обеими сторонами...*
- [115] см. перевод [62]
- [116] см. перевод [61]
- [117] см. перевод [63]
- [118] *...чтобы тем лучше обеспечить свободы, привилегии и права купцов...*
- [119] *...что нашим купцам сохраняются их старые свободы и привилегии...*
- [120] *...без привилегии или грамот с печатями...*
- [121] *...пренебрежение привилегиями и свободами общины...*
- [122] *...в нарушение привилегий и свобод...*
- [123] *...взял уставы и старую скру...*
- [124] *...в кре...*
- [125] *...даем прядильщикам конопли... устав...*
- [126] *...этого вышеприведенного устава...*
- [127] *Этот устав дан нам нашими господами, магистратом...*
- [128] *...этот вышеприведенный устав составлен...*
- [129] *...которые составлены и установлены им и городами Ганзы...*
- [130] *как они на этот счет установили...*
- [131] *...господа послы установили...*
- [132] *...положения заключительного протокола и устава...*
- [133] *...этот устав и положения приняты...*
- [134] *...этот устав и положения приняты...*
- [135] *...что мы желаем оказать вам милость и даем нашу охранную грамоту...*
- [136] *...помимо оговоренного в охранной грамоте...*
- [137] *...охранная грамота короля...*
- [138] *...когда мы изложили наши условия архиепископу новгородскому, посаднику, воеводе и всему Новгороду...*
- [139] *...кто мог бы изложить мне условия послов наилучшим образом...*
- [140] *...часть условий послов...*
- [141] *...что он, пожалуй, проявит больше рвения в обсуждении условий договора, чем необходимо...*
- [142] *В понедельник условия послов были вручены в письменном виде...*
- [143] *...вести переговоры на основании грамот городов...*
- [144] *...изложить ему (= архиепископу Кентерберийскому) наши условия...*
- [145] *...он готов с благосклонностью выслушать наши условия...*
- *...разъяснили ему наши условия...*
- *...что мы по этой причине не желали отступать от наших условий (чтобы наши условия остались не обсужденными)...*
- *...мы хотели бы предстать перед вами (перед королем), чтобы вы выслушали наши условия...*
- *наши условия (посольская грамота)...*
- *...их грамоты...*
- [146] *...прочие новые положения для обсуждения...*

- [147] *...дали им ответ на 4 положения...*
- [148] *...наш ответ на 4 положения, содержащихся в грамоте...*
- [149] *...сообщил им эти вышеприведенные положения...*
- [150] *После этого, по прочтении этого ответа...*
- [151] *...их ответы на наши ответы*
- *Когда зачитали их ответ...*
- *...их ответ на наш ответ...*
- [152] *...ответить на грамоты и условия господ послов...*
- [153] *...дать (послам) добрый ответ...*
- [154] *...надеялись на благоприятный ответ...*
- [155] *...на это они не могли дать нам ответ...*
- [156] *...что они также желали услышать наш ответ...*
- [157] *...подтвердить своей печатью в своих грамотах...*
- [158] *...подтвердить в своих грамотах своей печатью от своего собственного имени и от имени своих преемников, городов...*
- [159] *...подтвердить печатью...*
- *...навесить на эту грамоту печать...*
- [160] *...мы навесили на эту грамоту наши печати...*
- [161] *Писано под нашей печатью (под секретом) ...*
- [162] *Мы навесили наши печати на эту грамоту от имени нашего Ордена...*
- [163] *Во свидетельство этому и ради вящего подтверждения повелели мы навесить нашу печать на эту грамоту...*
- [164] *Мы пожаловали вас, послов от семидесяти трех городов, и дали вам эту грамоту...*
- [165] *...и мы, великий государь Василий... пожаловали вас, послав вам эту грамоту...*
- [166] *...пожаловать вас мирным договором...*
- [167] *...желал оказать милость и доверие, заключив перемирие...*
- [168] *...пожаловал мирным договором...*
- [169] *...[немецкая] купеческая община Лондона пожаловала во имя любви и дружбы...*
- [170] см. перевод [163]
- [171] *...никакого иного договора между нами впредь не будет [подтверждено]...*
- [172] *...ради вящего подтверждения вышеприведенного договора...*
- [173] *...подтвердить положение на будущее и [на этом] крест целовать...*
- [174] *...он вновь даст подтверждение [договора] немецкой купеческой общине...*
- [175] *...что они вновь подтвердят [нам] договор...*
- [176] *...продлить договор о свободах купеческой общины, так как скончался король...*
- [177] *...ответь ему в соответствии с договором...*
- [178] *...и повелел зачитать ее вслух господину архиепископу Кентерберийскому, своему канцлеру, в своем присутствии...*
- [179] *...браниться с писарем купеческой общины...*
- [180] *...который был секретарем купеческой общины в Лондоне...*
- *...секретарь (писарь) лондонской купеческой общины в Англии...*
- *...секретарь [магистрата] города Гамбурга...*
- [181] *...у нас пришел писарь из Полоцка...*
- [182] *...писарь (секретарь) великого князя Сумарок...*
- [183] *...с писарем Лукой...*
- [184] *...через помощника канцлера и других царских служащих...*

- [185] *...мы отправились в палату гильдий, чтобы предстать перед мэром и олдерменами Лондона...*
- [186] *...мэра Лондона...*
- *...сержант мэра...*
- *...йоменам мэра...*
- *...привратнику мэра...*
- *...мэру Лондона...*
- [187] *...посадник города Пскова...*
- [188] *...господам бургомистру и магистрату (= членам магистрата)...*
- [189] *...уплатить королевскую пошлину...*
- [190] *...обложить пошлиной его добро...*
- [191] *...помимо нового таможенного тарифа...*
- [192] *...так как Совет благородного короля скажет, что пошлина установлена...*
- [193] *...от имени германской купеческой общины немецкой Ганзы...*
- [194] *...купеческой общине немецкой Ганзы Германии, проживающей в данное время в Лондоне...*
- [195] *...купцы немецкой Ганзы, проживающие в Брюгге во Фландрии и в Лондоне в Англии...*
- [196] *...с нашими товарищами и нашими лошадьми...*
- [197] *...никто, состоящий в Ганзе, не должен вступать в торговое товарищество с кем-либо, не состоящим в Ганзе...*
- [198] *...их должны перенести два наших грузчика...*
- [199] *...сколько причитается грузчикам, но сверх того — ничего...*
- [200] *...сукно, которое ежедневно приобретается у суконщиков...*
- [201] *дает (свой товар) скорнякам на проверку...*

К истории культа мощей в средневековой Скандинавии (некоторые аспекты канонизации Олава Святого)

*...þvíat þá ena köllom vér helga,
er þá skína jarteknum,
er líkamer þeirra eru í jörð grafner¹*

(Yngvarssaga, cap. 13)

В качестве отправной точки нашей работы мы выбрали описание канонизации Олава Святого, известное из нескольких источников. Таким образом, мы коснемся здесь целого ряда вопросов, так или иначе связанных с возникновением культа святых и, в особенности, с почитанием мощей в средневековой Скандинавии. Необходимо отметить, что рассмотрение подобного рода вопросов невозможно в отрыве от латинской и греческой агиографической традиции, что, в свою очередь, позволит нам интерпретировать скандинавский материал в универсальном контексте христианских представлений о святости.

Прежде всего, необходимо в двух словах охарактеризовать рассматриваемые нами источники. Саги об Олаве Святом², где подробно описан интересующий нас эпизод канонизации святого, не избежали влияния латиноязычной житийной литературы [Стеблин-Каменский 1984, 177, 180; Hoffmann 1975, 64–70]. Так, некоторые исследователи говорят даже о прямом влиянии англо-саксонской агиографической традиции на известные нам жизнеописания Олава [Hoffmann 1975, 101]. При этом заимствованные сюжетные схемы, будучи подвержены своеобразной «мимикрии», существенно трансформируются в данных королевских сагах, что, в сущности, позволяет говорить о двуплановости их контекста. Кроме того, следует отметить, что влияние, которое испытали на себе различные жизнеописания Олава Святого, несравнимо с тем влиянием, которое эти же жизнеописания оказали на агиографическую литературу Скандинавии³. Тот факт, что Олав является первым канонизированным королем в Скандинавии, определил, к примеру, литературный архетип короля-мученика, короля-страстотерпца в житийных памятниках Дании и Швеции.

Из саг об Олаве Святом, которые чрезвычайно тесно связаны друг с другом и представляют собой как бы звенья одной цепи, мы выделяем «Легендарную сагу» и сагу, написанную Снорри Стурлусоном, как два наиболее полно сохранившихся текста. В свою очередь, обе эти саги демонстрируют два совершенно различных прин-

ципа повествования. Помимо того, что «Легендарная сага» представляет собой сокращенный вариант «Средней саги об Олаве Святом» (не дошедшей до нас), она, по мнению исследователей, носит черты духовного сочинения и является церковной версией саги об Олаве Святом. Вероятно, именно этим и можно объяснить столь существенные расхождения между двумя сагами в описании обретения мощей и канонизации Олава.

Интересующий нас эпизод в «Легендарной саге», как, впрочем, и в саге из «Круга Земного», начинается с признания святости Олава: *En æftir fall Ólafs konongs, þa gerdezk allum mannum augliost, at hann var sannhæilagr* (И после гибели Олава конунга всем людям сделалось очевидно, что он был воистину свят). Когда тело Олава несут в церковь, происходят чудеса исцеления плотью и кровью святого (*vard þa fiolde iartæigna af hollde hanns oc blóde*), которые заставляют даже его врагов (Торира Собаку, одного из убийц Олава) поверить в святость конунга: «*Oc iatom ver*», sagde Þorer, «*hæilag-læik hans*» (И мы признаем, сказал Торир, его святость)⁴. Затем вновь следует перечисление чудес, произошедших с разными людьми, которое заканчивается примечательной оговоркой автора саги: «*Þær urðu fyst iartæignir at hæilaglæik Ólafs konongs, at blinndr maðr þo augu sin i vatne, þui er sar hans varo þvægin i. En sa fecc þegar syn sina*» (Первое чудо, <свидетельствующее> о святости конунга Олава, <заключалось> в том, что слепец промыл свои глаза в воде, которой были омыты раны Олава. И тотчас же он обрел зрение). Эта фраза знаменует собой перенос акцента с описания чудес, которые, благодаря мощам Олава, случились со второстепенными персонажами саги (калеки, слепцы, бывшие противники конунга), на изложение чудес, которые происходят собственно с телом святого. Так, пролежав год и пять дней в могиле, тело конунга стало подниматься из земли. Священники посоветовали похоронить святого во второй раз. Однако через девять дней все повторилось. Тогда епископ Гримкель велел выкопать тело из земли. По совету конунга Свейна и епископа, из бороды Олава выдернули волос, и оттуда пошла кровь (*Oc toko har æitt af kampe hans <...> oc gec med blóde upp*). Затем волос положили в освященный огонь (*vigðan ælld*), но он остался целым и невредимым (*oc grandade allz ækci*). Тогда Альвива сказала, что нужно положить волос в неосвященный огонь (*ovigðan ælld*), поскольку сведущие люди могут так освятить огонь (*vigia mega sva ælld*), что он не причинит никакого вреда. Слова Альвивы спровоцировали ссору, которой, собственно, и заканчивается рассказ об обретении мощей Олава. *Sidan var Ólafr konongr i skrin lagðr með mikilli dyrd oc fagrlegom iartæignum. Þat fengo blindir menn syn, en licþær menn hæilsu. Oc vordo morg takn hvartvæggia af lícam hans oc blóde* (Затем Олав конунг был положен во гроб с великими почестями и чудесными знамениями. Слепые обретали зрение, и про-

каженные исцелялись. И множество чудес произошло как от его плоти, так и от его крови) [сар.88].

Гораздо подробнее этот эпизод приведен в «Круте Земном» (Heimskringla). Не обсуждая сейчас проблему источников, которыми пользовался Снорри, отметим здесь присутствие скальдических стихов, отчасти дублирующих важнейшие, с нашей точки зрения, инновации прозаического текста. В нашу задачу не входил сопоставительный анализ двух отрывков из саг об Олаве, поэтому мы обозначим лишь основные, принципиальные на наш взгляд, различия в изложении событий в обеих сагах.

Торир Собака признает святость Олава сразу же после боя, причем причиной этому служит как чудо, случившееся с ним (кровь Олава попадает на рану Торира, и та мгновенно заживает), так и необыкновенный облик святого: Þórir hundr gekk þar til, er var lík Óláfs konungs, ok veitti þar umbúnað, lagði niðr líkit ok rétti ok breiddi klæði yfir; ok er hann þerði blóð af andlitinu, þá sagði hann svá síðan, at andlit konungsins var svá fagrt, at rodi var í kinnum, sem þá at hann svæfi, en miklu bjartara en áðr var, meðan hann lifði (Торир Собака пошел к телу Олава и убрал его, как полагается. Он положил тело конунга на землю, распрямил его и накрыл. Он говорил потом, что, когда он вытирал кровь с лица конунга, оно было прекрасно, и на щеках его играл румянец, как у спящего, но только ярче, чем при жизни [сар.230]). Пока тело святого не найдено (оно сперва находилось на попечении Торгильса и его сына Грима, а затем было погребено ими в укромном месте), многие начинают поговаривать о святости Олава: Vetr þann hófsk umræða sú af mörgum mönnum þar í Þrándheimi, at Óláfr konungr væri maðr sannheilagr ok jartegnir margar yrði at helgi hans (В ту зиму многие в Трандхейме стали говорить, что Олав конунг был святым, и рассказывали о многочисленных свидетельствах его святости) [сар.240]. Epitr um sumarit gerðisk mikil ræða um helgi Óláfs <...> Váru þeir þá margir, er þat sönnuðu, at konungr myndi heilagr vera, er fyrr höfðu af öllum fjandskap móti honum gengit... (Летом многие стали говорить о святости Олава конунга <...> Даже многие из тех, кто раньше ожесточенно ратовал против конунга и не желал слышать о нем правды, верили теперь, что он — святой [сар.243]). Мы обращаем внимание на эту деталь, поскольку в «Легендарной саге» момент канонизации Олава и момент обретения его мощей подаются одновременно, как два взаимообусловленных события⁵, тогда как в повествовании Снорри доминирует иная последовательность, что и отражается в кульминационной сцене: локальная канонизация Олава «провоцирует» обретение его мощей. Епископ Гримкель, поверивший в святость Олава, берет инициативу на себя, вскоре узнает, где погребен Олав, и получает разрешение конунга Свейна выкопать его тело из земли. Вкратце упоминается, что гроб Олава к тому времени уже сам вышел из земли (Kistan var þá kominn upp mjök svá ór

jörðu) [сар. 244]. Когда со дня смерти проходит год и пять дней, гроб с телом Олава, который опять «вышел из земли и был совсем как новый, будто его только что обстругали»⁶, открывают (þá var upp tekinn heilagr dómr hans). Далее следует эпизод, принципиальная важность которого для истории почитания мощей заставляет нас привести его полностью: «Когда Гримкель епископ подошел к гробу Олава конунга, из него разносилось благоухание (var þar dýrligt ilmr). Епископ открыл лицо конунга. Оно совсем не изменилось, и щеки розовели, будто конунг только что уснул (...ok var engan veg brugðit ásjónu hans, svá roði í kinnunum, sem þá myndi, ef hann væri nýsofnaðr). Но те, кто видел Олава конунга, когда он пал, заметили в нем перемену. У него отросли волосы и ногти, почти так же, как если бы он еще продолжал жить в этом мире и после того, как пал (...at síðan hafði vaxit hár ok negl, því næst þem þá myndi, ef hann hefði lífs verit hér í heimi alla þá stund síðan er hann fell). Свейн конунг и все знатные люди, которые там были, подошли, чтобы посмотреть на тело Олава конунга. Альвива сказала:

— Удивительно долго не разлагаются трупы в песке. Если бы он лежал в земле, такого бы не случилось (furðu seint fúna menn í sandinum; ekki myndi svá vera, ef hann hefði í moldu legít).

Епископ взял ножницы и подстриг конунгу волосы на голове и бороду. У него была длинная борода, как это тогда было принято. Потом епископ сказал конунгу и Альвиве:

— Вот теперь волосы и борода у него такие, какие были, когда он скончался. Я остриг ровно столько, насколько они отросли.

Альвива говорит:

— Я поверю, что эти волосы — святые мощи, только если они не сгорят в огне. Мы ведь часто видели, как хорошо сохраняются волосы у людей, которые пролежали в земле и дольше, чем этот человек (þá þykki mér hár þat heilagr dómr, ef þat brenn eigi í eldi; en opt höfum vér sét manna heilt ok ósakat þeira er í jörðu hafa legít lengr en þessi maðr).

Епископ велел зажечь огонь в кадиле, освятил (blezaði) его и положил туда ладан. Затем он положил в огонь волосы Олава конунга. Когда весь ладан сгорел, епископ вынул из огня волосы. Они были невредимы (ok var þá hárit óbrunnit). Епископ показал их конунгу и другим знатым людям. Тогда Альвива сказала, пусть положат волосы в неосвященный огонь (í óvígðan eld). Но Эйнар Брюхотряс велел ей замолчать и стал поносить ее. Тогда епископ с согласия конунга и по решению всего народа объявил, что Олав конунг — святой (sannheilagr). Затем гроб с телом конунга (líkami konungs) внесли в Церковь Клеменса и поставили над алтарем. Гроб обернули шелковой тканью, а сверху покрыли дорогими коврами. Вскоре много всяких чудес произошло от мощей Олава конунга (Urðu þa þegar margs konar jartegnir at helgum dómi Óláfs konungs) [Круг Земной, 373].

Так у Снорри появляется категория нетленности мощей как признак святости Олава, что заметно отличает сагу о нем из «Круга Земного» как от «Легендарной саги об Олаве», так и от образчиков непереваемой житийной литературы, т. е. от саг о епископах (*byskupa sögur*) [см. о них: Стеблин-Каменский 1984, 181–198; Kuhn 1987].

Литература, посвященная истории почитания мощей как в западной, так и в восточной церкви, чрезвычайно обширна [см. библиографию: Onasch 1993, 326–327; Geary 1978, 200–217; Lenhoff 1993], однако скандинавские святые фигурируют в ней редко и вопросы, связанные с культом этих местных святых, практически не обсуждаются. Исключением здесь являются лишь труды Гофмана и Нюберга [Hoffmann 1975; Hoffmann 1976; Nyberg 1986]. Между тем, в уже упомянутых сагах о епископах содержится вполне исчерпывающий, хотя и несколько однообразный, материал на эту тему. Дело в том, что некоторая стереотипность саг о епископах, отмечаемая исследователями [Стеблин-Каменский 1984, 185; Kuhn 1987, 1, 9], обусловлена жанровой принадлежностью этих текстов. Известная сюжетная схематичность присуща сагам о епископах и в эпизодах, свидетельствующих о почитании мощей. Здесь исландские епископские саги мало в чем расходятся с латиноязычными памятниками агиографии. Как правило, события развиваются следующим образом: епископ, почувствовав приближение смерти, принимает причастие (*guds líkam/corpus domini* — оба термина соседствуют в данных сагах), испускает дух, затем его тело (*lík; líkamr*) погребают, а спустя некоторое время останки (*bein, helgir dómr*) извлекают из земли (что соответствует латинскому *elevatio*), переносят в церковь (соответствует латинскому *translatio*), где их омывают водой и изготовляют для них новый гроб или ковчег (*kista, skrínn*), после чего следует перечисление чудес (чаще всего, исцеления), произошедших благодаря обретению мощей святого. Характерно, что саги о епископах, строго придерживающиеся канона агиографической традиции, обнаруживают, в сущности, тот же принцип универсальности контекста, что и остальные древнегерманские памятники христианской литературы. Так, например, оба термина, служащие для обозначения понятия мощей (*bein*, ср. р., мн. ч., «кости»; *helgir dómr*, мн. ч., «мощи», но ср. *helgidómr*, ед. ч., «святость», «святыня» [Cleasby, Vigfusson 1957]), синонимичны в этих сагах по функции, однако подобное тождество носит почти оксюморонный характер, если учитывать признак целостности, положенный в основу номинации прилагательного *heilagr* [Топорова 1994, 113; Hartmann 1943] (при этом следует иметь в виду, что в сагах о епископах традиционно фигурируют останки святых). Ср. употребление в древнеанглийских текстах наряду с существительным *haligdom* «святыня, мощи, причастие» — *halig reliquias* (*Her swutelad be þam halgum reliquium þe Æþelstan*

geaf into sancta Maria mynstre on Exancestre...) [Bosworth, Toller 1882–1898]⁷.

Между тем, понятие нетленности мощей (*corpus integrum, corpus incorruptum*) известно нам с древнейших времен христианства, однако как свидетельство святости оно начинает рассматриваться лишь в относительно позднее время [Голубинский 1903, 34–36; Живов 1994, 54–55].

Так, Василий Великий (ум. 379) говорит о неповрежденности тела мученицы Иулитты (начало IV века): «честное же тело сохранил неповрежденным для близких» [Василий Великий 1993, т. IV, 66]; мощи мученика Вавилы были найдены нетленными в Антиохии [Angenendt 1992, 33]. Амвросий Медиоланский сообщает о целых, неповрежденных костях (*ossa tota, ossa integra*) мучеников Гervasия и Протасия (перенесение мощей состоялось 17 июня 386), однако Августин уже пишет об их нетленных телах: «Тогда упомянутому предстоятелю Твоему открыто было в видении место, где сокрыты тела мучеников Протасия и Гervasия, которые столько лет хранил Ты нетленными [*corpore incorrupta*] в тайной сокровищнице Твоей... [Августин 1991, 222]. В житии того же Амвросия рассказывается об обретении им нетленных мощей мученика Назария [Paredi 1985, 155]⁸. Наконец, Иероним сообщает о нетленности мощей (*corpore toto integro*) аскета Илариона из Газы (ум. 371) [Angenendt 1991, 322].

Если первые свидетельства нетления мощей относятся преимущественно к раннехристианским мученикам II–IV вв., то со временем факты нетления могут «архаизироваться»; так, признак нетленности приписывался мощам пророка Захарии, Иоанна Предтечи, Марии Магдалины [Geary 1978, 92], апостолов Фомы [Письма паломницы IV века, 1994, 82], Варнавы... В частности, в *Laudatio Barnabae* [Alexandrus monachus, 1993, 111–12, строки 750, 767, 780], написанной, вероятно, между 530 и 560, об обретении мощей апостола Варнавы рассказывается следующее: епископу Констанции на Кипре, Анфимию, явился во сне апостол Варнава и указал ему место за городом, где уже совершались чудеса. Там, по словам Варнавы, покоится его целое тело (*τὸ πᾶν σῶμα*) и рукопись Евангелия, которую он получил от святого апостола и евангелиста Матфея. Епископ вместе со священниками и толпой народа отправился туда. Люди раскопали в указанном месте пещеру, где и находился гроб с благоухавшим телом апостола Варнавы (*πνέον ἐὼδίας χάριτος πνευματικῆς*) и рукопись Евангелия. Чудесное обретение мощей существенно укрепило позицию Кипрской Церкви как апостольского образования. Вскоре после описанных событий епископ Анфимий принял участие в соборе в Константинополе, где он потребовал автокефалии Кипрской Церкви от антиохийского патриархата на основании того, что на его родине покоится целое тело апостола (*ἀπόστολον ὁλόσωμον*).

Показательно в этой связи, что в русской традиции, где категория нетленности мощей приобретает особую значимость (см. об этом ниже), распространен сюжет о нетленном теле Авеля («и не съгни тѣло его», говорится в «Речах Философа» из «Повести временных лет» [ПСРЛ, 1/1, 1926, стлб. 90]) [ср. Порфирьев 1877, 4, 44, 50, 106, 207].

Генезис признака нетленности, который с распространением культа мощей становится категорией и может формировать оппозицию тленности/нетленности, не совсем ясен; очевидно одно: специфика самого явления, так или иначе, определяется его неразрывной связью как с христианской концепцией воскресения мертвых, так и с универсальным представлением об изначальной дихотомии земной и загробной жизни вообще. Высказывалось предположение, что представление о нетленности мощей могло быть унаследовано от коптских монахов, которые, в свою очередь, заимствовали его из Египта [Angenendt 1991, 341–342]. Данная точка зрения основывается на имеющихся сведениях о практике мумифицирования трупов наиболее почитаемых подвижников, существовавшей среди египетских и коптских христиан (последнее из дошедших до нас сведений относится к 1914 году) [Baumeister 1970, 58–63, 64, 87–172], что само по себе указывает скорее на преемственность традиции (ср. «Der christliche Ägypter hat sich von der den alten ägyptischen Vorstellungen zugrundeliegenden Hochschätzung der Ganzheit des Leibes nicht getrennt» [Ibid., 180]), нежели на появление нового концепта⁹.

В этой связи чрезвычайно показательна оценка упомянутого обычая, которую мы находим у Афанасия Великого (ум. в 373) в его житии Антония Египетского (ум. в 356): «Когда же братья неотступно стали просить, чтобы у них остался и скончался, он <Антоний> не согласился на это, как по многим причинам, какия, даже умалчивая о них, давал однако же выразуметь, так особенно по следующей. Египтяне имеют обычай — хотя совершать чин погребения над телами скончавшихся уважаемых ими людей и особенно святых мучеников, и обвивать их пеленами, но не предавать их земле, а возлагать на ложах и хранить у себя в домах, думая, что этим воздают чествование отшедшим. Антоний многократно просил епископов запретить это мирянам, также и сам убеждал мирян, и делал выговоры женщинам, говоря: «незаконно это и вовсе неблагочестно. Ибо тела Патриархов и Пророков и доныне хранятся в гробницах, и самое тело Господне положено было во гроб, и приваленный камень скрывал оное, пока не воскресло в третий день». Говоря же это, показывал он, что незаконно поступает, кто тела скончавшихся, даже и святые, не предает по смерти земле. Ибо что досточестнее и святее Господня тела? Посему многие, выслушав это, стали потом тела умерших предавать земле, и научившись у Антония, благодарили за сие Господа. Антоний же, зная этот обычай и

опасаясь, чтобы не поступили так и с его телом, простившись с монахами, пребывавшими на внешней горе, поспешил отпештвием, и пришедши во внутреннюю гору, где обыкновенно пребывал, чрез несколько месяцев впал в болезнь». Далее умирающий Антоний дает напутствие двум своим ученикам: «о сем помышляйте, сих держитесь мыслей, и если имеете попечение обо мне, и помните, как об отце, то не попустите, чтобы кто-либо взял тело мое в Египет и положил у себя в доме; во избежание сего удалился я в гору и пришел сюда. Знаете, как всегда порицал я делающих это, и убеждал оставить этот обычай. Предайте тело мое погребению и скройте под землёю. Да соблюдено будет вами сие мое слово, чтобы никто не знал места погребения тела моего, кроме вас одних; потому что в воскресении мертвых прииму оное от Спасителя нетленным (ἄφθαρτον)» [Афанасий Великий 1994, 247–248].

Важно отметить, что желание Антония быть погребенным анонимно, понимаемое обычно как высшая степень смирения и аскезы¹⁰, имеет вполне конкретное обоснование: ведь речь идет прежде всего о четком разграничении «сфер компетенции» — человеческой и божественной. В самом деле, практика египтян существенно корректирует, если не нарушает, заданную Творцом модель, согласно которой человеческое тело должно пройти определенный ряд трансформаций, прежде чем воскреснуть нетленным. При этом нам хотелось бы особенно подчеркнуть, что нетление однозначно интерпретируется как исключительно божественная прерогатива, поскольку именно отсюда непосредственным образом и следует интересующее нас представление о нетленности как о признаке святости (ср. «даже и плоть моя успокоится в уповании; // ибо Ты не оставишь души моей во аде // и не дашь святому Твоему увидеть тление» [Псалтирь, 16 (15), 9, 10]). Если приведенный выше эпизод из жития Антония и демонстрирует, в какой-то мере, сознательный отказ святого от возможного почитания его мощей, то лишь на внешнем, так сказать, поверхностном уровне; куда более существенным оказывается конфликт двух различных подходов к догмату о воскресении из мертвых, отраженный в этом тексте: первый подход основывается на презумпции радикального несходства между «земным» и «небесным» (т. е. полученным по воскресении) телом (ср. «Но скажет кто-нибудь: „как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?“ Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. <...> Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. <...> Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. <...> Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного [т. е. Адама], будем носить и образ небесного [т. е. Христа]. <...> Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмер-

тие» [1 Посл. к Коринфянам, 15, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 53]), во втором же случае постулируется абсолютное тождество земного и воскресшего тела (ср. «А я знаю, Искупитель мой жив, // и Он в последний день восставит из праха // распадающуюся кожу мою сию; // и я во плоти моей узрю Бога. // Я узрю Его сам; // мои глаза, не глаза другого, увидят Его» [Иов, 19, 25–27]; «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: „кости сухие! слушайте слово Господне!“ Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, великое полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии — весь дом Израилев. Вот, они говорят: „иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня“. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших»¹¹ [Иезекииль, 37, 1–14]) [ср. Angenendt 1991, 338–339; о более поздних представлениях о физическом воскресении ср.: Бицилли 1995, 155–156; Nolan 1967, 114–115, 130–131, 134–135, 138–139].

Итак, перед нами два типа отношения к предстоящему событию, причем если для первого типа актуально противопоставление «истлевшего» и «нетленного», так как момент воскресения приравнивается по функции к акту сотворения, при котором предыдущая оболочка теряет свою значимость и не учитывается¹², то для второго типа указанная оппозиция нерелевантна, поскольку процесс воскресения мыслится лишь как акт сотворения *заново*¹³ и потому ожидающее Воскресения, «земное» тело может быть в принципе как истлевающим, так и нетленным. Однако понятие нетленности не только утрачивает при этом свои негативные коннотации, о которых мы подробнее скажем ниже, но, напротив, в силу своей исключительности и в соответствии

с концепцией будущего воскресения приобретает положительный статус чувственного образа сакральной реальности. В этой связи здесь будет уместно привести примечательный пример из древне-грузинского «Жития Давида и Константина», созданного, по-видимому, в XII веке: когда истерзанные пытками тела Давида и Константина (ум. 741) собирались бросить в реку, мученики перед казнью произнесли молитву: «О, Господи Владыка Иисусе Христе, Сын и Слово Бога Отца, как внял ты просьбам нашим и удостоил свидетельствовать Святое имя Твое, и ныне внемли мольбам и молитвам нашим, рабов Твоих. И как мы погребли плоти наши нетленно и неоскверненно во имя Святое Твое, так и ты по мученической смерти нашей дай нашим телам нетленное и неоскверненное погребение...» <...> «И пребывают в нем <в монастыре> уложенные тела святых мучеников Давида и Константина, нетленные и невредимые, навечно устроенные, как они сами о том молили Бога» [Цулая 1996, 114–115; Сабинин 1994, 160]¹⁴.

Вместе с тем, в примерах, относящихся к первой группе нашей типологии эсхатологических воззрений христианства, явно прослеживаются универсальные, архаические представления об антитетической соотнесенности потустороннего и посюстороннего мира: потусторонний мир выступает как мир с зеркально перевернутыми связями по отношению к миру посюстороннему (подобные представления наиболее отчетливо отразились в обряде кремации покойника: «считалось, что костер должен сжечь тело покойника целиком, иначе ему не хватало бы несожженных частей тела в его бытии на высшем небе» [Атхарваведа, 1976, 378, прим. к строке 5]; ср. «Приди к величию Агни, разложенного с молитвой, // Имея все части (тела), целый, могучий»; «Если Агни оставит один ваш член, // отправляя в мир отцов, Джатаведас, // то этот (член) ваш я восполню снова. // Имея все члены, о отцы пируйте на небе!» [там же, XVIII, 4, Похоронный гимн, 8, 64]. Геродот рассказывает о тиране Периандре, умертвившем свою жену Мелиссу. После безуспешных поисков спрятанных сокровищ он обращается к оракулу мертвых и вызывает тень жены. «Тогда явилась [тень] Мелиссы и сказала, что ни знаками, ни словами она не укажет места, где лежит добро. Она ведь совершенно нагая и мерзнет, так как ее погребальные одежды не были сожжены вместе с ней и потому она не может ими пользоваться». Тогда Периандр созвал всех коринфских женщин в храм Геры и велел раздеться. «Одежды же их Периандр приказал бросить в яму и сжечь, призывая Мелиссу. После этого Периандр вновь отправил послов в Феспотию, и тогда тень Мелиссы указала место, куда она спрятала [вверенное ему] сокровище гостеприимца» [Геродот 266–267]. Ср. у Снорри о «веке сожжения» и «веке курганов» и о погребении Одина: «Люди верили тогда, что чем выше дым от погребального костра подымается в воздух, тем

выше в небе будет тот, кто сжигается, и он будет тем богаче там, чем больше добра сгорит с ним» [Круг Земной, 9, 15; Успенский 1994, 1, 321–324]. Соответственно, в нашем случае это, по-видимому, означает, что то, что подлежит истлению в этом мире, будет восстановлено на том свете, и наоборот — тело, обнаружившее нетление, отвергается загробным миром, где ему предстоит обратный процесс разложения.

Иллюстрацией ко всему вышесказанному может послужить краткий обзор греческой и русской православных традиций почитания мощей, или, иначе говоря, сопоставительный анализ представлений о нетленности у греков и у русских.

Представление о нетленности как признаке святости прослеживается у русских, как, впрочем, и у скандинавов, с самых ранних времен христианства: уже первые русские святые обнаруживают нетленность; так, в период с 988 по 1318 было канонизировано пятнадцать местных святых, тела одиннадцати из которых были найдены нетленными¹⁵. В ряде случаев именно нетленность мощей является основной, или даже единственной причиной почитания святого, тогда как отсутствие этого признака может служить поводом для отказа от почитания [ср.: Барсуков 1882, 134; Голубинский 1903, 302, 448–450]. Например, Прокопий Усъянский не был канонизирован, однако почитался местным святым, поскольку его тело было найдено нетленным в корзине из ивовых прутьев у церкви [Толстой 1887, 293]. Но в начале XIX века празднования Прокопию были прекращены епископом Арсением Тодорским, так как по освидетельствованию мощей «не оказалось многих на теле сего почитаемого за святого частей» [Голубинский 1903, 200]. О нетленности как признаке святости у русских [см.: Соснин 1849; Голубинский 1903, 297–302, 519–524; Lenhoff 1993]¹⁶.

Между тем, для греческой традиции подобное представление не характерно, напротив, греки могут воспринимать нетленность как признак греховности. Так, в греческих записках из канцелярии митрополита Феогноста (1330 г.) говорится, что «тела отлученных не разлагаются, так как отлучаются от Бога иереем и стихии не смеют принять его <отлученного>. Тела же святых <разлагаются>, так как мир прежде был неиспорчен и в таком виде будет восстановлен. И они принимают как бы некоторый залог ожидающей их славы» [Приселков и Фасмер 1916, 53]. Ср. также афонское предание о некоем «грешнике, который ударил ножом икону Богородицы, раскаялся и в течение многих лет отмаливал свою вину; и был ему глас: «Тебе прощаю, а с рукой твоей буду судиться»; после смерти грешника по обычаю афонскому через три года откопавши кости его, нашли все тело его предавшимся тлению; рука же его, ударившая икону, осталась цела и смердяща; и донныне лежит в ящике и испускает смрад» [Парфений, IV, 145; Сергей 1895, ч. II, письмо 12].

Таким образом, греки, точно так же, как и русские, могут судить по мощам о святости усопшего¹⁷; однако, если для русских святость определяется сохранностью тела почившего, то для греков, как правило, она определяется отсутствием плоти на костях¹⁸. Ср. описание вскрытия костей на Афоне: «...по принятии от настоятеля благословения, гробокопатель открывает кости почившего и, тогда омывая церковным вином, складывает их в нарочно приготовленную на то корзину. Братия между тем стекаются посмотреть на открытые кости и по самому их виду и цвету иногда разгадывают вечную и таинственную судьбу души почившего... Если же, что хотя встречается на св. Горе, но чрезвычайно редко, тело почившего на св. Горе окажется не истлевшим: в таком случае обитель озабочивается тем, что иногда на все братство налагает особенный канон за непощенные погрешности почившего; а между тем призывает духовника, даже архиерея, для прочтения над ним разрешительной молитвы. На все время совершения этого канона труп почившего опять зарывают в могилу, и случается, что чрез несколько дней, отрывая его, находят уже только рассыпавшиеся кости... Но св. Гора не признает положительно за святых тех умерших, кости которых рассыпались; а только остается уверенною в их помиловании в последний день» [Сергий 1895, 86–87].

Вместе с тем, нам известны отдельные случаи нетленности у греков, подобно тому, как и у русских известны случаи разложения тела святого¹⁹. Другое дело, что такие случаи имеют особенный характер и, как правило, обусловлены особыми обстоятельствами. Достаточно вспомнить смерть старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», прототипом которого послужил отчасти Амвросий Оптинский. Поразительным образом, Амвросий повторил судьбу своего персонажа, хотя и скончался уже после того, как роман увидел свет; после смерти «от тела покойного вскорости стал ощущаться тяжелый мертвенный запах» [Андроник 1993, 123]. Добавим, что Амвросий Оптинский был канонизирован совсем недавно.

В свою очередь у греков нетленность мощей патриарха Арсения (1254–1260, 1261–1265) обусловила особое отношение к этому феномену среди его почитателей. Причиной раскола в Константинопольской церкви послужило смещение с кафедры Арсения, который отлучил от церкви императора Михаила VIII Палеолога. Культ патриарха Арсения (и непосредственно связанный с этим вопрос о нетленности мощей) оказался особенно актуальным для противников унии с католиками — как после Лионской унии (1274), заключенной при Михаиле VIII, так и после Флорентийской унии (1439). После смерти Михаила VIII и отказа от Лионской унии мощи Арсения были перенесены (1284) в константинопольский Софийский собор [Пахимер, I, 298]. Филофей, митрополит Селимбрийский (ум. в 1389), в похвале патриарху Арсению противопоставляет нетленные мощи патриарха раздутому трупу Михаил-

ла VIII, безобразный вид которого приписывается его отлучению от церкви; характерным образом при этом оба тела противопоставляются не столько по признаку нетленности, сколько по признаку благообразия [Живов 1994, 55]. Феодор Аггалиан в «Диалоге против латин» (1440-х гг.) специально обсуждает вопрос о нетленности как знаке святости. Он возражает против мнения, что нетленность патриарха Арсения обусловлена тем, что он был отлучен от церкви папой римским, — указывая, что отлучение папы не может иметь силы; таким образом ему приходится оспаривать традиционный взгляд на нетленность, согласно которому последняя является признаком греховности²⁰. Кроме того, нам известно о нетленности мощей Даниила Стилита (V в.), Георгия Византийского и Георгия Фаранита (VI–VII вв.) [Подвижники благочестия, 1860, 122], Феодоры Солунской (IX в.) [Lenhoff 1993, 255] и неких монахов, пострадавших за иконопочитание при императоре Феофиле (IX в.) [Продолжатель Феофана, 1992, 47].

В заключение хотелось бы отметить, что противоположность греческой и русской традиций была, несомненно, актуальна для их носителей. Так, вопрос о нетленности мощей стал предметом обсуждения на Большом московском соборе 1667 года по инициативе восточных патриархов, которые не разделяли этого убеждения [Деяния, 1666–1667 гг., л. 8–8 об. 4-ой фолиации]. Ср. также возражения серба Пахомия Логофета в слове на перенесение мощей митрополита Петра (1472): «яко въ тѣлѣ обрѣди чудотворца невѣрія ради людскаго, занеже кой толко не въ тѣлѣ лежитъ, тотъ у нихъ не святъ; а того не помянуть, яко кости наги источають исцѣленія» [ПСРЛ, VI, 196].

Косвенным свидетельством того, что греческая церковная традиция отказалась от почитания целых тел святых, является именно там установившаяся практика расчленения мощей [Голубинский 1903, 37; Живов 1994, 53]. Поначалу римская церковь выступала против подобной практики, противопоставляя ей почитание так называемых «вторичных реликвий» (т. е. предметов, находившихся в физическом контакте с телом святого). Известно письмо императрицы Констанции к папе Григорию Великому с просьбой прислать ей главу апостола Павла для нововозведенной церкви в его честь. Папа отвечает ей отказом, мотивируя его запретом прикасаться к телам святых (*In Romanis vel totius Occidentis partibus omnino intolerabile est atque sacrilegum, si sanctorum corpora tangere quisquam fortasse voluerit*), и обещает ей прислать вместо этого цепи, в которые был закован апостол [Rolasson 1989, 10; Mac Cready 1989, 22–25]²¹. Однако подобные усилия не имели успеха — ко времени Раннего средневековья как расчленение мощей, так и торговля святыми частицами, воровство или подделка фрагментов реликвий становятся весьма популярными в Европе [Geary 1978]. С этой точки зрения, любопытное свидетельство о расчленении мо-

цей содержится в одной из епископских саг, «Саге о святом епископе Йоне». К нему пришел священник, Эйольв Гуннвальдсон, и попросил дать ему частицы мощей епископа Мартина. Епископ Йон с радостью согласился на это, но ему не хотелось осквернять кости святого. Затем он отправился служить мессу и в начале службы возложил мощи на алтарь. Когда же месса закончилась, он обнаружил, что кость раскололась на две неравные части. Меньшую часть получил упомянутый священник, а большая часть осталась при церкви (Þat var á einum tíma, at góðr prestur ok göfugr, Eyjólfur Gunnvaldsson, frá stað heilags Martini byskups kom til Hóla, biðjandi lífíllátliga inn heilaga Jón partera sér nökkut af heilögum dónum sæls Martini, er þar váru á staðnum. Inn blessaði Jón vildi gjarna því játta, er hann var svá lífíllátliga beiddr. Því leitaði hann til beinsins ok í höndum hafði, ok þótti honum mikit fyrir at bera járn á svá heilags manns bein. Síðan skryðdist hann til heilags messuembættis, ok er komit var at fyrsta lágasöng, tók hann þetta it blessaða bein ok lagði á altarit undir *corporale* hjá kaleknum ok söng messu, þar til er lokit var. En at luktu embættinu leitaði heilagr Jóhannes at beininu ok fann, at þat hafði klofnat sundr í tvá hluti, ok var annar meiri hlutrinn. Fær hann inn minna part beinsins fyrnefndum presti til Grenjadarstada, en inn meiri var eftir at staðnum) [Byskupa sögur 1953, v. 2, cap. 28].

По мере распространения христианства в европейских странах увеличивается и импорт мощей, однако уже вскоре им приходится конкурировать с мощами местных святых. Памятники западной агиографии свидетельствуют о том, что именно культивирование местных святых (часто мучеников) актуализировало представление о нетленности мощей как о категории святости. Григорий Турский в своих житийных сочинениях описывает около девяти случаев обретения нетленных мощей (*corpus inlaesum, integrum*), причем сама процедура обретения и перенесения этих мощей уже означает акт канонизации, поскольку гроб с телом святого сразу устанавливается на алтарь (как и в случае с Олавом), а не остается у входа в церковь, атриуме или портике, как это было принято [Angenendt 1992, 40; Kötting 1965]. Для нас же весьма существенно, что категория нетленности проникает и в светское историческое сочинение Григория Турского: в «Истории франков» описывается, как тело короля Хлодвига, брошенное в Марну, было найдено впоследствии нетленным: «Когда король узнал об этом, он, делая вид, что отправился на охоту, отрыл могилу и нашел тело целым и невредимым [*corpusculum integrum et inlaesum*]. Только одна прядь волос, которая была сзади, уже отпала, другая же часть волос и сами локоны оставались невредимыми. И стало ясно, что это тот, кого король усердно разыскивал» [Григорий Турский 1987, кн. VIII, гл. 10].

Беда Достопочтенный в своей «Церковной истории англоv» описывает четыре случая нетленности мощей местных святых (св. Фурса, св. Кутберт, св. Этельбург и св. Этельтрит). При этом важно иметь в виду, что исследователи приписывают создание культа короля-мученика в Западной Европе именно англо-саксонской агиографической традиции [Hoffmann 1975, 14]. Из той же «Церковной истории» Беды и других памятников житийной литературы нам известны некоторые сведения о почитании мощей англо-саксонских королей. Так, голова нортумбрийского короля Эдвина, убитого язычником, королем Мерсии Пендой, была привезена в Йорк и выставлена в соборе в качестве реликвии, а тело погребено в другом месте²²; после убийства короля Освальда его голова была отправлена в Линдисфарне, руки, из которых одна, правая, не была тронута тлением, в Бамборо, а тело было погребено в монастыре Бэрди [Beda 1969, кн. III, гл. 12]. В другом житии св. Освальда²³ говорится, что нетленной была и его голова. В этих случаях обращает на себя внимание то, что расчленение останков не исключает представление о нетленности мощей святого, признак нетленности оказывается более релевантным, чем противопоставление целого и части [ср. Lenhoff 1993, 254, 256, 263]²⁴. Нечто подобное происходит и при обретении мощей св. Кутберта, одного из четырех святых, о нетленности тел которых упоминает Беда. Когда монахи находят нетленные мощи святого, они берут прядь его волос, дабы подарить своим друзьям как реликвию или для того, чтобы показывать в качестве подтверждения случившегося чуда (*Nam quando fratres sui corpus ipsius post multos sepulturae annos incorruptum repperunt, tulerunt partem de capillis, quam more reliquiarum rogantibus amicis dare cue ostendere in signum miraculi possent*) [Beda 1969, кн. IV, гл. 32]. В самом деле, как показывают некоторые примеры, в известных случаях представление о нетленности может уживаться с практикой расчленения останков, поскольку не тронутыми тлением оказываются лишь отдельные части тела.

По свидетельству других агиографических памятников не подвержены тлению были тела св. Этельберта и св. Эдмунда, причем у последнего продолжали расти волосы и ногти, которые раз в году подстригала некая женщина [Hoffmann 1975, 44]. По некоторым дошедшим до нас сведениям, нетленность мощей св. Эдмунда вызывала сомнение у многих; так, люди при дворе Вильгельма II требовали, чтобы деньги, пожертвованные на сооружение гробницы, были отданы на военные расходы, поскольку мощи святого не являлись, на самом деле, нетленными [Memorials of St Edmunds Abbey 1890–1896, 1, p. 84–88]. Аббат монастыря, в котором покоился св. Эдмунд, Леофстан, будучи одержим сомнениями, устроил освидетельствование мощей, во время которого он держал святого за голову, а некий монах, по имени

Турстан, за ноги. Желая удостовериться, действительно ли, как гласит житие, отрубленная глава святого чудесным образом приросла к шее, каждый из державших тянул святого на себя. Однако оба они были посрамлены, ибо тело святого оказалось действительно нетленным [Ibid., 52–54].

Наибольшей известностью пользовались нетленные мощи св. Кутберта (ум. в 678), которые трижды подвергались освидетельствованию, в 1104, в 1827 и в 1899 г.²⁵ [The relics of St Cuthbert, 55–73; Rollason 1989, 38–40, 225–226]. Беда описал обретение нетленных мощей св. Кутберта как в своей «Церковной истории», так и в прозаическом житии св. Кутберта (кроме того, существует *Vita sancti Cuthberti auctore anonymo*): «*Volens autem latius demonstrare divina dispensatio, quanta in gloria uir Domini Cudbert post mortem viveret, cuius ante mortem uita sublimis creberis etiam miraculorum patebat indiciis, transactis sepulturae eius annis XI, inmisit in animo fratrum, ut tollerent ossa illius, quae more mortuorum consumpto iam et in pulverem redacto corpore reliquo sicca invenienda putabant, atque in novo recondita loculo in eodem quidem loco sed supra pavementum dignae uenerationis gratia locarent. <...> Suo referrent, adnuit consilio eorum, iussitque ut die depositionis eius hoc facere meminissent. Fecerunt autem ita, et aperientes sepulchrum inuenerunt corpus totum, quasi adhuc viveret, integrum et flexibilibus artuum conpagibus multo dormienti quam mortuo similis*» (И вот Божественное Провидение, желая шире явить, в сколь большой славе пребывает святой человек Кутберт после смерти, возвышенная жизнь которого еще до смерти была исполнена чудесных знамений, внушило братьям, чтобы они подняли его кости, каковые они, как кости умершего, думали найти иссохшими, поскольку останки уже истлели и обратились в прах, и дабы они поместили глубоко лежавшие останки в новый ковчежец в том же месте, но на поверхности для достойного почитания. И, открыв могилу, обрели его тело целым, как если бы он еще был жив, и суставы его были гибкими и податливыми, как если бы он не умер, но уснул) [Beda 1969, кн. IV, сар. 30].

Кроме того, нам удалось собрать сведения о нетленности мощей следующих англо-саксонских святых: св. Гутлака из Кроуланда (ум. в нач. VIII в.) [*Vita sancti Cuthlaci*, 1956, 73, 161–163, 194], св. Кеольфрита <Geolfrið> из Яппоу (ум. в 716): «*Cuius corpus erat post tempora multa repertum // integrum penitas, patriamque exinde reductum*» [Alcuin. The bishops, kings and saints of York, 1982, 102, строки 1299–1300], св. Уильяма из Норвича (ум. 1144) и св. Эдбурги [The royal saints of Anglo-Saxon England 1988; Rollason 1989, 138]. Известны случаи почитания нетленных останков некоторых англо-саксонских королей, например, короля Эдгара (957–975), культ которого существовал в Гластонбэри, где он был похоронен. Уильям Мальмсберийский сообщает, что аббат Этельверд <Æthelweard>

(ок. 1024–1053) открыл его могилу и обнаружил нетленное тело короля. Поскольку аббат ожидал найти лишь кости, то заготовленный реликвиарий оказался чересчур мал. Когда же он попытался разрезать тело святого, дабы все же разместить его в ковчеге, из тела хлынули потоки крови. Останки святого были помещены над алтарем в соборе [Scott 1981; Rollason 1989, 140]. Первой английской королевой-христианкой была св. Берта, дочь короля франков, убитая в 612 г. Спустя столетие ее тело было обнаружено нетленным [Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, VIII, cols. 943–4]. В XII в. в Вестминстере возник культ короля Эдуарда Исповедника. Его могила была открыта в 1102 г., а в 1161 вестминстерская церковь добилась от папы римского канонизации короля Эдуарда [Rollason 1962]. Особо следует упомянуть Вальтефа <Waltheof>, эрла Нортумбрии, одного из лидеров антинорманнской оппозиции при дворе. В 1076 г. он был заключен в тюрьму и вскоре обезглавлен. Был похоронен в Кроулендском аббатстве и широко почитался там как мученик. В 1092 г. состоялось перенесение его мощей в церковь, во время которого было торжественно объявлено об их нетленности [Rollason 1989, 217–218].

Таким образом, у нас есть некоторые основания говорить об актуальности представлений о нетленности мощей для англо-саксонской традиции. Между тем, дефицит древнеанглийских контекстов (а большинство случаев нетления, описанных выше, известны нам из латиноязычных памятников) не позволяет нам в полной мере судить об особенностях восприятия данных представлений. Этот факт, в свою очередь, препятствует и проведению каких-либо аналогий или установлению концептуальных различий между англо-саксонским и скандинавским восприятием нетленности. Тем не менее трудно отказаться от предположения, что представление о нетленности как признаке святости было заимствовано скандинавами из Англии. В этой связи остается лишь добавить, что церковь в Англии в вопросах, связанных с почитанием мощей, испытала на себе влияние галликанской церковной традиции в гораздо большей степени, нежели римской [Rollason 1989, 25, 50–51].

Несмотря на некоторое количество приведенных выше примеров, нельзя сказать, что упоминание нетленных мощей того или иного святого является «общим местом» в духовных сочинениях западноевропейских авторов Средневековья. Напротив, упоминания подобного рода крайне редки. Если в теологических трудах нетленность фигурирует относительно часто, но как одна из категорий догматического богословия (в связи с полемикой вокруг вопроса о воскресении из мертвых) [см. подробнее: Angenendt 1991, 338–340; Nolan 1967], то памятники агиографии (за исключением русских житий) исключительно лаконичны на этот счет. Отчасти это объясняется тем, что понятие нетленности мощей святого открыто контрастировало с широко распространенным представлени-

ем о нетлении тел, умерших под клятвой, заложных покойников или колдунов²⁶. Так, например, описание того, как гроб с телом Олава несколько раз выходил из земли²⁷, строго говоря, может быть интерпретировано двояко: с определенной точки зрения, этот факт вступает в сложное и противоречивое взаимодействие с известным представлением о том, что земля не принимает тело грешника (то же самое можно сказать о схожем эпизоде в «Житии Бориса и Глеба»: «изнесено бысть тело святою из недр земных. Не лепо бо бе такому сокровищу скровенну под землею» [Абрамович 1916, 15–16]). Нетление тела вообще может пониматься как следствие несправедливой смерти или колдовства [Живов 1994, 55]. Приведем примечательный, на наш взгляд, пример из «Саги о Харальде Прекрасноволосом» в «Круте Земном»: однажды, когда конунг Харальд объезжал пиры в Упсленде, одному финну удалось при помощи колдовства выдать замуж свою дочь Снефрид за Харальда. Конунг «так без ума любил ее, что ради нее забывал и свои владения, и все, что подобает конунгу. <...> Затем Снефрид умерла, но цвет лица ее ничуть не изменился. Она оставалась такой же румяной, как при жизни (Sídan dó Snæfrídr, en litr hann skipadisk á engan veg, var hon þá jamrjóð, sem þá, er hon var kvik). Конунг все сидел над ней и надеялся, что она оживет (at hon myndi lifna). Так прошло три года — он все горевал о ее смерти, а люди в стране горевали о том, что он помешался. Излечить конунга от этого помешательства удалось Торлейву Мудрому, который мудро утравачивал это помешательство такими уговорами:

— Не удивительно, конунг, что ты любишь такую красивую и благородную жену и чтешь ее тем, что она лежит на пуху и драгоценных тканях, как она тебя просила, но твоя честь, а также и ее терпят урон от того, что она лежит слишком долго в том же самом одеянии. Не лучше ли было бы ее приподнять и переместить под ней одеяния?

Но как только ее приподняли с ложа, смрадом, зловонием и всякого рода тяжелым духом понесло от трупа (af líkamanum). Тогда поспешили сложить погребальный костер, и ее сожгли. Все ее тело уже посинело (blánaði áðr allr líkaminn), и повыскакивали из него змеи, ящерицы, лягушки, жабы и всякого рода гады. Так она превратилась в пепел, а конунг снова обрел ум и освободился от неразумия...» [Круг Земной 1980, 55–56].

Обратим внимание на почти детальное сходство в описании тела Снефрид и тела Олава — в обоих эпизодах делается особый акцент на облике умершего (en litr hann skipadisk á engan veg, var hon þá jamrjóð, sem þá er hon var kvik (но цвет лица ее ничуть не изменился. Она оставалась такой же румяной, как при жизни) // andlit konungsins var svá fagrt, at roði var í kinnunum, sem þá at hann svæfi, en miklu bjartara en áðr var, meðan hann lifði (облик конунга был прекрасен и на щеках его играл румянец, как у спящего,

но только ярче, чем при жизни); ok var engan veg brugðit ásjónu hans, svá rodi í kinnum, sem þá myndi, ef hann væri nýsofnadr (Оно <лицо> совсем не изменилось, и щеки розовели, будто конунг только что уснул). Следует отметить, что в нескольких сагах о епископах (Сага о Гудмунде Арасоне, Сага о епископе Торлаке и др.) говорится, что, когда на третий день тело приносят в церковь для отпевания, все присутствующие поражены необыкновенным обликом святого, хотя в дальнейшем их мощи представляют собой кости, а не нетленные тела. Здесь, кроме того, остается лишь упомянуть «живых покойников», столь активно действующих в сагах [Гуревич 1989, 129, прим. 25].

Выразителен пример, свидетельствующий об амбивалентности признака нетленности, известный нам из русской традиции. Речь идет о народном почитании св. Артемия Веркольского: в 1545 году, во время работ на пашне, был убит громом мальчик. Тело его положили на пустыре в лесу, не погребенным и вдали от церкви, т. е. как тело заложного покойника («понеже они тех убьенных громом или молниєю гнушаются»). Но спустя 28 лет тело было обретоно нетленным и перенесено в церковь св. Николая [Толстой 1887, 158]. Он был канонизирован русской церковью в 1639 году. В данном случае, ситуация усугубляется еще и тем, что, по народным представлениям, — тот, кого убило громом, попадает в царствие небесное [Успенский 1982, 40, 41, 70, 82]. Двойственность в отношении к умершим такой смертью, судя по всему, отразилась и в почитании другого местного святого, юродивого Иакова Боровицкого, который, по преданию, также был убит громом [Толстой 1887, 48; Голубинский 1903, 87–88]. Об анонимных нетленных телах и об отношении к ним русской церкви в позднее время см. [Голубинский 1903, 302, 439–440, 442, 449–450, 522]. Ср., наконец, постановление Большого московского Собора 1667 года: «Такожде и нетленных телес обретающихся в нынешнем времени да не дерзаете кроме достоверного свидетельства и соборного повеления во святых почитати; зане обретаются многая телеса цела и нетленна, не в святости, но яко отлученна и под клятвою архиерейскою, иерейскою суще умроша, или за прецтупление Божественных и священных правил и закона, цели и не разрешимы бывают. А кого во святых хощете почитати: о таковых обретающихся телесех, достоин всячески испытати, и свидетельствовати достоверными свидетельствами, пред великим и совершенным собором Архиерейским» [Деяния 1666–1667, л. 8–8 об. четвертой фолиации].

Между тем, амбивалентность признака нетленности достаточно искусно нейтрализуется в рассказе Снорри. Как мы помним, локальная канонизация Олава предшествует обретению его мощей. Епископ Гримкель узнает, где похоронен Олав (к этому времени гроб уже сам вышел из земли) и обнаруживает нетлен-

ность его тела. После спора с Альвивой и испытания мощей на невредимость епископ убеждается в святости Олава и объявляет его воистину святым (на лексическом уровне поэтапность канонизации выражается противопоставлением *heilagr* и *sannheilagr*; ср. *Váru þeir þá margir, er þat sönnuðu, at konungr myndi heilagr vera...* [ср. 243]; *Var þat þa byskups atkvæði ok konungs samþykki ok dómr allzherjar, at Óláfr konungr væri sannheilagr* [ср. 244]). При этом завершенность, целостность эпизода достигается путем инверсии фигуральных «темы» и «ремы»: если в ходе повествования сперва реализуется последовательность «свят, следовательно нетленен», то после диалога с Альвивой и испытания мощей тема и рема меняются своими местами; в итоге к концу рассказа мы имеем обратную последовательность «нетленен, следовательно свят». В границах такой повествовательной рамки амбивалентность оценки признака нетленности, вложенной в уста Альвивы, нивелируется, и факт нетления обретает свою однозначность. Ср. другие древнеисландские примеры, где само по себе нетление тела является уже решающим аргументом в пользу святости персонажа: «*hann <священник Ингимунд> var heill ok ófuinn <...> en þetta þótti mönnum mikil merki, hvé Guði hafði líkat atferð Ingimundar prestz, er hann skyldi svá lengi hafa úti með heilum líkama ok ósköddum*» (Он был целым и не истлевшим... и это показалось людям великим знамением того, сколь угоден был Господу путь священника Ингимунда, ибо он так долго пролежал снаружи с телом целым и невредимым) [*Guðmundarsaga* 1983, 28, с. 29]; «*þar fundu þeir líkama hinnar virðuligstu meyar Sunnifu heilan ok óskaddan með hári ok holdi sem hon væri nýsálut*» (там обрели они тело найдостойнейшей девы Суннивы целым и невредимым, с волосами и плотью, как если бы она только что испустила дух) [*Ólafssaga Tryggvasonar* (Flat. I), 1860, 245].

Последние два примера, как кажется, отчасти свидетельствуют о категоризации признака нетленности в скандинавской традиции. Очевидно, однако, что осуществление данного процесса было бы невозможно при отсутствии соответствующих условий. Исследователями уже неоднократно отмечалась определенная подготовленность скандинавов к усвоению культа мощей: «Another aspect which impresses itself upon the reader is the importance of physical presence or proximity of the mortal remains of the saint. <...> In Scandinavia there must have been an inherited readiness to believe in the potency of a person's remains as evidenced by the importance of the family grave-mound. It has been said that no feature in Christianity was harder to accept for the primitive Scandinavians than the Church's demand that the dead should be buried in churches or churchyards rather than on the family farm» [Kuhn 1987, 12–13].

Вместе с тем в заключение хотелось бы обратить внимание прежде всего на присутствие в скандинавских текстах ощутимой тенденции к языковой интерпретации признака нетленности.

В самом деле, с одной стороны усвоение нового концепта, закономерным образом, сопровождается активным переосмыслением целого ряда данных своей собственной, автохтонной традиции. Необходимость и естественность подобного процесса очевидна: помимо того, что появление принципиально нового концепта всякий раз нуждается в, так сказать, адекватном оформлении, осуществляемый «перевод» на язык своей культуры является, в то же время, и одним из способов ее постижения. Таким образом, усваиваемый концепт оказывается своего рода стимулом для восприятия собственной культуры как языка-объекта. С другой стороны, исследователями уже отмечалась тенденция древнеисландской литературной традиции «представлять усваиваемую извне культуру как свое собственное органическое порождение» [Смирницкая 1994, 114]. Частным следствием такого свойства является спорадическая двуплановость в описании некоторых ключевых, с идеологической точки зрения, моментов повествования, возникающая как результат искусной адаптации и творческого переосмысления чужеродной традиции (ср. анализ «Видения Гюльви» в указанной работе). Однако в нашем случае подобная двойственность приобретает дополнительную значимость, поскольку эффект этой двойственности может достигаться в том числе и различными лингвистическими средствами (среди них — и активная эксплуатация семантических ресурсов термина святости).

(Здесь будет уместно привести, наконец, этимологическую характеристику общегерманского термина святости **hailaz*: др. исл. *heilagr* (< о/сканд. **hailagaz*) «святой, священный», рун. *hailag* (кольцо из Пьетроассы [Krause 1937, 594]), др. англ. *halig*, *hælig*, др. фриз. *helich*, др. сакс. *helag*, др.-в.-нем. *heilag*; ср. др. исл. *heill* «невредимый, здоровый, целый, неповрежденный» (< о/герм. **hailaz* (< и/е. **kai-lo* [Pokorný 1959])); ср. др. исл. *heilsa* (жен. р.) «здоровье», гот. *hails* (ср. производный глагол *hailjan* «исцелять»), др. англ. *hal*, *hæl* (соответственно, *hælan* «исцелять»), др. сакс. *hel* (ср. *helian* «исцелять, искупать», *heli* «здоровье»), др.-в.-нем. *heil* (ср. *heilen* «исцелять, искупать», *heli* «здоровье»), др.-в.-нем. *heil* (ср. *heilen* «исцелять», *heil* (ср. р.) «здоровье, счастье, избавление», *heili* (жен. р.) «salus»); др. греч. *χοῖλον τὸ χαλόν* [Vries 1977], ст.-слав. *цѣлъ*, ср. **celiti*, **celovati*, особенно ст.-слав. *цѣловати* «приветствовать», др. русск. *цѣловати* «приветствовать, благодарить» («(die Reliquien) küssen» [Kluge 1960], др. прусск. *kailustiskan* «здоровье» (< **kailus*) [Топоров 1980]. В основе номинации святости, по мнению исследователей, лежит идея физической целостности, здоровья как залог благополучия, счастья [Топорова 1994, 113] — др. исл. *heill* (ср. и жен. р.) «благо, удача, доброе

предзнаменование [сакральная примета]», др. англ. *hæl* «хорошее предзнаменование», *hal* «счастье», др. сакс. *hel*, др.-в.-нем. *heil*; ср. др. кимр. *coilou*, кимр. *cæl* (> др. ирл. *cel*) «предзнаменование» [Vries 1977; Топоров 1980]. Ср. также такие производные глаголы, как др. исл. *heilsa* «приветствовать», *heilla* «заколдовывать, очаровывать», др. англ. *halettan* «приветствовать», *halsjan* «заклинать (злых) духов», др.-в.-нем. *heilazzen* «приветствовать», *heilson* «наблюдать предзнаменования» и др.)

Так, в частности, в некоторых примерах причинно-следственная связь между нетлением тела и категорией святости может подкрепляться увиденной в ином ракурсе этимологической связью двух прилагательных — *heilagr* «святой» и *heill* «целый, невредимый». Идея физической целостности, положенная в основу номинации *heilagr*, как бы актуализируется в новом контексте и, если угодно, осмысливается заново: «þá þykki mér hár þat *heilagr dómr*, ef þat brenn eigi í eldi; en opt höfum vér hár manna *heilt* ok ósakat, þeira er í jörðu hafa legit lengr en þessi maðr» (я поверю, что эти волосы — святые мощи, только если они не сгорят в огне. Мы ведь часто видели, как хорошо сохраняются волосы у людей, которые пролежали в земле и дольше, чем этот человек); «...en líkamr ens helga Knúts konúgs var óbrunninn ok svá *alheill*, at engu hári var skatt,... «<речь идет также об испытании мощей огнем>... и тело святого конунга Кнута пребывало необожженным и столь всецелым, что ни один волос не был поврежден» [Knytlinga-saga, 1925, cap. 77]; «Þar svá hreinn // með *heilu* liggir // lofsæll gramr // líki sinu, // ok þar kná // sem kvikum manni, // hár ok negl // hönum vaxa <...> En herr manns, // es *heilagr* es // konungr sjalfr, // krýpr at gagni, // ok beidendr // blindir sökja // þjóðan máls. // en þaðan *heilir*» (Будто жив // там лежит он, // телом свят, // вожь пресветлый, // И растут непрестанно // власы над челом // его и ногти <...> // Ищет люд // исцеленья // Там, где свят // вожь почит, // всяк слепой // и безъязыкий // там станет зряч // и речь обрящет)²⁸ [Þórarin Loftunga, Glælognskvida, 5, 8]; «...sat einn maðr, sá er lengi hafði krypplingr verit <...> en er þeir báru yfir hann fram *helgann* dóminn, þá stóð hann *heill* upp <...> ok var upp lokin kista Knúts konúgs, ok var líkami hans með *heilu* liki, sem væri nýandadr...» (...сидел один человек, который долго был калекой... и когда они пронесли над ним святые мощи, он поднялся исцеленным... и был открыт гроб Кнута конунга, и тело его было целым, как будто бы он недавно испустил дух) [Knytlinga-saga, 1925, cap. 77]²⁹. Представляется возможным предположить, что лексическое соположение *heilagr* и *heill* в рамках одного периода не только не случайно, но и стилистически маркированно, поскольку на уровне денотатной сферы концептуально значимым оказывается отождествление категории целостности и категории сакрального.

Однако если даже расценивать здесь актуализацию внутренней формы термина святости (*heilagr/heill*) как своего рода стилистическую фигуру (*figura etymologica*), становится очевидной необходимость более подробного и обширного комментария к данным примерам. Мы имеем в виду прежде всего комплекс представлений о целостности сакрального (т.е. восприятие сакрального как целого, неделимого, обладающего некой единой, замкнутой формой и сохраняющего ее), который расшифровывается из многочисленных, принципиально отличных от христианских, контекстов³⁰.

При этом представляется существенным учитывать ту чрезвычайно специфическую культурную ситуацию, сложившуюся в Скандинавии с приходом христианства, которую принято называть «двоеверием». В самом деле, как свидетельствует приведенная выше этимологическая характеристика термина святости, данная основа годится для большинства германских языков. С точки зрения лексикографа, процессы, происходившие с древнескандинавским термином святости, являются в некотором смысле универсальными и не позволяют зафиксировать какие-либо концептуальные различия между древнескандинавским и, например, древнеанглийским обозначением сакрального. Вывод лексикографа, таким образом, сводится к тому, что образованный путем семантической деривации христианский термин святости в обоих языках не претерпевает каких-либо существенных функциональных модификаций, сохраняя за собой статус ключевого понятия культурной парадигмы. Однако сам факт двоеверия позволяет противопоставить скандинавскую ситуацию той ситуации, которая имела место в других германоязычных странах, где принятие христианства сопровождалось вытеснением языческой традиции. В частности, это дает нам основание говорить об универсальности, например, древнеанглийского христианского контекста при достаточно высокой степени идиоматизации термина святости внутри него.

Оставаясь в рамках нашей проблематики, приведем лишь одно подтверждение того, что анализируемый эпизод дает нам основания для подобного подхода. Речь в данном случае пойдет о правовом подтексте процедуры канонизации Олава и о юридическом значении термина святости, то есть об употреблении *heilagr* и его коррелята *óheilagr* в языке скандинавского права.

Словарное значение прилагательного *heilagr* в юридической сфере как будто бы в очередной раз подтверждает актуальность семантики целостности для термина святости. В самом деле, *heilagr* в данном случае переводится, как правило, как «неприкосновенный, находящийся под защитой права, тот, кто не может быть убит или ранен безнаказанно» [Cleasby, Vigfusson 1957³¹; Fritzner 1954]; соответственно, *óheilagr* трактуется как «лишен-

ный защиты права, то есть тот, кому можно (или должно?) причинить вред безнаказанно, не заплатив выкуп» (ср., однако, *unholy, profaned* [Cleasby, Vigfusson, 1957, 661]. Более того, отметим, что без учета семантического аспекта целостности как неприкосновенности, неуязвимости³²), юридическое употребление термина святости вообще с трудом поддается интерпретации, поскольку *heilagr*, в данном случае, понимается исследователями и комментаторами как нейтральное, нормальное состояние (*Normalzustand*) юридического лица. При этом, если термин святости выражает в правовой сфере нейтральное состояние юридического лица, то *ðheilagr*, обозначая целый комплекс юридических обвинений (от неуплаты виры до объявления вне закона), подразумевает под собой прежде всего отсутствие данного состояния. В правовом контексте нейтральное состояние юридического лица лишь имплицитно антонимическим состоянием, кодируемым *ðheilagr*. В свою очередь, это состояние, противоположное *heilagr*, возникает как следствие нарушения нормы и потому относится к сфере компетенции права. Отсюда, на наш взгляд, следует, что собственно юридическим термином, то есть словом, чье употребление ограничивается исключительно правовой сферой, является только привативное образование *ðheilagr*, поскольку именно в сфере компетенции права находится всякое отклонение от нормы. В таком случае, появление самого термина святости в юридическом контексте, где *heilagr* обслуживает некий нулевой аспект права, по всей видимости, является результатом его вторичного осмысления и всецело обусловлено сугубо правовым термином *ðheilagr*. В условиях скандинавского двоеверия именно право выступает в качестве интегрирующей сферы, способствующей интерференции между христианской и языческой традициями.

Социально-правовой статус, который приобретает юридическое лицо вследствие объявления *ðheilagr*, как будто бы в целом совпадает со статусом объявленного вне закона (ср. дефиницию *ðheilagr* как *beschränkte Friedlosigkeit*). Вместе с тем еще А. Хойслер и В. Бэтке обратили внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев объявление *ðheilagr* адресовано мертвецу, причем для этого он выкапывается из земли и к трупам призываются свидетели, которые должны осмотреть раны убитого [Heusler 1911, 121; Bætke 1973, 94–97]³³. Ср. *Ef maðr hefir veigt mann um kono er hann a vigt um, ok skal hann stefna enom dauda manne ok mœla svá: nefne ek i þat voetti at ek stefni honom um þat sem hann roedr a at queða, tel ek sect fe hans allt. tel ek hann óhœlgan hafa fallit... hann a oc at stefna honom til scogar, ef hann vill þat, ok telia óheilög sár hans ef hann er lifs* (Если человек убил человека из-за женщины, которую он имеет право убить, он должен вызвать мертвого и сказать так: я призываю во свидетельство того, что я вызываю его, дабы когда он произнесет это, сказать: я объявляю конфискован-

ным все его имущество, я объявляю, что он пал «несвятым»... он может вызвать его для объявления вне закона (букв. в лес), если он того хочет, и объявить его раны «несвятыми», если тот жив) [Grágás, § 90]³⁴.

Итак, объявление «несвятым» (*óheilagr*) как юридическая процедура строится по следующей схеме: убитого выкапывают из земли, его тело подвергается освидетельствованию, после чего, на основании этого освидетельствования, он обвиняется в совершении противоправного действия, то есть, в сущности, из жертвы превращается в подразумеваемого инициатора, зачинщика данного преступления. Таким образом, целью данной процедуры оказывается констатация этического аспекта противоправного действия, и с этой точки зрения объявление *óheilagr* всегда является осуждением с этической точки зрения, в отличие, скажем, от объявления вне закона. Объявление вне закона никак не фиксирует этический момент преступления (хотя он, безусловно, имплицитно присутствует здесь); этическая оценка, в данном случае, остается за рамками приговора или уступает место социальным и мифологическим коннотациям. Напротив, объявление *óheilagr* акцентирует именно этический аспект противоправного действия.

Рассмотренная только что процедура объявления *óheilagr* заставляет нас иными глазами взглянуть на уже хорошо известное нам описание канонизации Олава Святого. В самом деле, обращает на себя внимание тот факт, что канонизация святого во многом детально совпадает с указанной сугубо правовой процедурой: как мы помним, тело Олава подобным же образом выкапывалось из земли в присутствии его оппонентов, подвергалось освидетельствованию, после чего епископ на основании этого освидетельствования объявил конунга святым (*Höfðu þeir Einar ok byskup þá roedu við konungr ok Alfífu ok báðu, at konungr skyldi lof gefa, at lík Óláfs konungs skyldi taka upp ór jörðu*. (Эйнар и епископ поговорили с конунгом и Альвивой и просили конунга разрешить им выкопать тело Олава конунга из земли) <...> *Síðan lét byskup taka eld í glóðarkeri ok blezaði ok lagði á reykelsi. Síðan lagði hann í eldinn hár Óláfs konungs; ok þá er brunnit var reykelsit alt, þá tók byskup upp hárit ór eldinum ok var hárit óbrunnit. Lét byskup þat sjá konunga ok adra höfðingja*. (Епископ велел зажечь огонь в кадиле, освятил его и положил туда ладан. Затем он положил в огонь волосы Олава конунга. Когда весь ладан сгорел, епископ вынул из огня волосы. Они были невредимы. Епископ показал их конунгу и другим знатым людям) <...> *Var þat þá byskups atkvæði ok konungs samþykki ok dómr allzherjar, at Óláfr konungr væri sannheilagr* (Тогда епископ с согласия конунга и по решению всего народа объявил, что Олав конунг — святой).

Таким образом, с одной стороны, процедура канонизации святого осуществляется по той же модели, что и процедура объявления *ðheilagr* (с тою лишь разницей, что конечной ее целью оказывается, напротив, установление святости Олава), с другой же стороны, указанная операция выходит за рамки правовой сферы благодаря тому, что установленная категория святости принципиально неотожждествима с юридической категорией святости как неприкосновенностью, присущей всякому юридическому лицу. Иначе говоря, помимо универсального христианского контекста, канонизация Олава мыслится, в данном случае, как сугубо правовой акт, призванный, однако, подтвердить исключительную, маркированную святость Олава. Уникальность данной ситуации, на наш взгляд, заключается прежде всего в том, что акт канонизации Олава принадлежит одновременно как к правовой сфере, так и к области ритуала, к сфере новой обрядовой практики.

В заключение хотелось бы отметить, что детерминированность семантической мотивировки термина святости ставит исследователя концепта сакрального в достаточно трудное положение. В самом деле, с одной стороны, мы не можем не учитывать очевидных языковых данных, с другой же стороны, сами эти языковые данные настолько прозрачны и лаконичны, что нам, в подобной ситуации, остается, как может показаться, лишь ограничиться констатацией некоего (хорошо известного, к тому же) лингвистического факта. Вместе с тем, сам факт того, что конечной целью исследования будет являться лингвистическое описание древнескандинавского концепта святости в условиях ситуации двоеверия, значительно повышает удельный вес понятия контекста. В самом деле, если приведенные языковые данные и их семантические мотивировки остаются в силе для всего германского средневекового мира, то в случае со скандинавским термином святости мы обладаем возможностью наблюдать за динамикой его поведения в самых разнообразных и нетривиальных контекстах и ситуациях. Однако принципиально важно при этом идти не от бедности словарных данных к толкованию той или иной ситуации, но от богатства конситуаций к углублению понимания семантического потенциала термина святости. Данными соображениями мы и руководствовались, частично инкрустировав лингвистический анализ в историко-культурологическое описание.

Примечания

¹ ...ибо лишь тех зовем мы святыми, кто просиял чудесами, когда тела их были преданы земле.

² Мы имеем в виду «Древнейшую сагу об Олаве Святом», «Легендарную сагу об Олаве Святом» и сагу об Олаве из «Круга земного» Снорри Стурлусона.

- ³ Например, «*Passio sancti Kanuti regis et martiris*». Помимо латиноязычного текста, можно упомянуть и сагу о Кнютлингах (*Knytlinga saga*), где представлено житие Кнута Святого.
- ⁴ Как мы помним, у Снорри Торир еще на поле боя первым убедился в том, что Олав свят: «*Vard þórir hundr fyrst til þess, at halda upp helgi konungsins, þeira ríkismanna, er þat höfdu verit í mótstöðuflokki hans*» (Торир был первым из знатных людей в войске врагов конунга, кто признал святость конунга [Круг Земной, 1980, 364]). В дальнейшем мы будем цитировать перевод саги по этому изданию.
- ⁵ Ср. «Легендарная сага», гл. 87: *Oc toc þa Grímkæll bísкуп lícam Ólafs konongs or iarðu. Oc er sa dagr halldenn í miningu íamnan í Norege oc víða í adrum staðum* (Тогда епископ велел выкопать тело из земли. И этот день празднуется в его память как во всей Норвегии, так и далеко за ее пределами).
- ⁶ Круг Земной, 1980, 373.
- ⁷ Кстати, тот факт, что восточной и западной церковью почитались преимущественно останки святых, также нашел свое отражение в лингвистических данных: и греческое τὰ λείψανα, и латинское reliquiae означают прежде всего «останки», «то, что осталось», тогда как, например, слово *мощи* является, по-видимому, инновацией Кирилла и Мефодия.
- ⁸ «*Vidmus enim in sepulcro. in quo iacebat corpus martyris — qui quando sut passus usque in hodiernum scire non possumus, — sanguinem martyris ita recentem quasi eadem die fuisset effusus, caput eziám ipsius quod ab inpiis fuerat abscissum ita integrum atque incorruptum cum capillis atque barba, ut nobis videretur eodem tempore quo levabatur lotum atque compositum in sepulcro*» [Paulinus 1981, 94].
- ⁹ Следует заранее оговориться, что нам известны отдельные случаи мумифицирования умершего в средневековой Западной Европе. Так, например, соответствующей обработке подверглось тело св. Фомы Аквинского (ум. в 1274; причислен к лику святых в 1373): оно было обезглавлено, выварено и препарировано для дальнейшей консервации [Hist. translationis corporis sanctissimi ecclesiae doctoris divi Thom. de Aq., 1368/Auct. fr. Raymundo Hugonis O. P. // *Acta sanctorum. Mart.*, 1, p. 725]. Как будто бы, есть некоторые основания полагать, что забальзамированы были тела св. Кутберта и св. Этельтрит (об этих святых см. ниже) [Rollason 1989, 39–40, 41], причем косвенным подтверждением этому служит комментарий Беды Достопочтенного к «Песни Песней», где говорится, что растения мирт и алоэ предохраняют мертвое тело от разложения и своим ароматом уничтожают исходящий от него дурной запах. Однако в контексте средневекового культа мощей подобные факты имеют несколько иное значение.
- ¹⁰ Житие Антония Великого, «отца монашества», оказало основополагающее влияние на формирование аскетических идеалов подвижничества [Мейендорф 1985, 116–120; Живов 1994, 83]. Поэтому представляется вполне закономерным, что предсмертное завещание Антония осмыслялось как венец его иноческого пути и образец для подражания. Так, например, именно этим, возможно, и объясняется отсутствие точных сведений о месте и дате захоронения другого Антония, основателя Киевопечерской лавры и первоначальника иночества в России (житие его отсутствует), который мог в этом отношении сознательно ориентироваться на завещание своего патрона [Lenhoff 1993, 258–259]. Идея анонимного погребения из «самоуничтожения» со временем (когда отчасти слились идеалы мученичества и монашества) могла трансформироваться в предсмертную просьбу оставить тело без погребения вообще и бросить его на растерзание диким зверям (ср. высказыва-

ние Игнатия Богоносца о мученичестве: «Оставьте меня быть пищею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия: пусть измельют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым...» (К Римлянам, 4) [цит. по Мейендорф 1985, 20] и слова Иоанна Лествичника о покаянии: «И молю вас, братия, не подумайте, что повествуемое мною — басни. Часто они умоляли сего великого судию, т. е. пастыря своего, сего ангела между человеками, и убеждали его наложить железа и оковы на руки и на шеи их; а ноги их, как ноги преступников заключить в колоды и не освобождать от них, пока не примет их гроб. Но иногда они сами себя лишали и гроба. Ибо никак не могу утаить и сего истинного умирительного смирения сих блаженных и сокрушительной их любви к Богу и покаяния. Когда сии добрые граждане страны покаяния отходили ко Господу, чтобы стать перед нелицеприятным судилищем; тогда, видевший себя при конце жизни, посредством своего предстоятеля, умолял и заклинал великого авву, чтобы он не сподоблял его человеческого погребения, но, как скота, повелел бы предать тело его речным струям, или выбросить в поле на съедение зверям; что нередко и исполнял сей светильник рассуждения, повелевая, чтобы их выносили без чести и лишали всякого псалмопения» [Лествица Иоанна, 1995, Слово 5, гл. 20, 21]). Свое место этот сюжет занимает и в русской традиции, и здесь нельзя не отметить некоторый параллелизм между поведением подвижника, завещающего лишить его тело погребения, бросить его в яму или на растерзание зверям, и некоторыми аспектами поведения юродивого (осквернение себя (своего тела) из смирения; ср. юродство как род аскезы [Живов 1994, 106–110; Иванов 1994]). Указанную модель мы находим в завещании Константина, митрополита Киевского и всея Руси (грека по происхождению), ум. 1159: «Митрополиту же Костянтину тогда сущу въ Черниговѣ, бѣжавшу ему Мстислава Изяславича, въ то же время тамо и разболѣся; и увѣдѣвъ же преставленіе свое и написавъ грамоту за печатію, и призва къ себѣ епископа Черниговскаго Антонія, и дасть ему грамоту и заклать его именемъ Божиимъ, яко по преставленіи его сотворить то все, ижѣ въ грамотѣ той написа. Егда же преставися, и вземъ епископъ грамоту данную ему митрополитомъ, и иде ко князю Святославу Ольговичю и отрѣшъ печать и прочте ю, и обрѣте въ ней страшную вещь, яко „по умертвіи моемъ не погребите тѣла моего, но повергше его на землю и поцѣпльше ужемъ за нозѣ и извлекше изъ града, поверзѣте на ономъ мѣстѣ“, имя нарекъ ему, „псомъ на расхищеніе“. Диви же ся тому много князь и епископъ, тоже сотвори епископъ повѣленное ему, и повреже на урочномъ мѣстѣ тѣло его; народи же вси дивившася о смерти его. И лежа внѣ града тѣло его три дни; потомъ же Святославъ князь о вещи сей страхомъ велиемъ и ужасію одержимъ бѣ, и убоявся суда Божія, и повѣле возити во градъ с великою честію; не прикосну же ся въ тѣхъ дни ничтоже тѣлу тому, но цѣло невредимо бысть ничимъже; и внесши и во градъ, положиша у Святаго Спаса, идѣже Игорь лежитъ в теремци» [ПСРЛ, VII, 70, 71; древнейшее упоминание содержится в Лаврентьевской летописи: ПСРЛ, 1926, 1, 349–350]. Ср. также завещание Нила Сорского (ум. 1508), который заповедовал бросить его тело в пустыне или закопать в яму с презрением: «Оно (тело) тяжко согрѣшило предъ Богомъ и недостойно погребенія» [Толстой 1887, # 283; Афонский патерик, 1897, ч. 1, 347]. Ср., наконец, трансформацию этой темы в пятой челобитной протопопа Аввакума: «А еже нас не велишь, умерших, у церкви погребати, и исповеди и святыхъ тайнъ лишать в животе сущихъ еще коихъ, да Христосъ не лишитъ насъ благодати своея: той есть присно с нами и будетъ, надеемъ бо ся на нь крепко, и никто жъ — человекъ смертной и глениой — отлучити на от него возможетъ, с нимъ бо стражемъ и умираемъ. А по смерти нашей грѣшная телеса наша — добро такъ, дарю, ты придумалъ со

властями своими, что псом пометати или птицам на растерзание отдати. Вемы бо, да и ты слышишь по вся дни в церкви, яко святым мучеником ни единому честнаго погребения не бысть от убивающих их или в темницу уморяющих, но меташа их в бесчестныя места, и в воду иных, и в ровы, и в вал, овых же и скигалии мощи, да Христос их нигде не забыл. Тако же и нас негли не забудет надежда наша и купно с первыми соберет кости наша в последний день и оживторит мертвенная телеса наша духом святым. Несть мы лутши древних мученик и исповедник — добро так нам валитися на земли! Земли же есть и добровольне себе святити отцы погребати себе не повелеша, великаго ради смирения, да большую мзду восприимут от Христа Бога» [Аввакум 1960, 198]. У греков ср. св. Феофила Мироточивого (ум. в 1548) и св. Евдокима Ватопедского (ум. в нач. XVII в.) [Афонский патерик, 1897, ч. II, 75, 215].

- 11 Ср. описания акта воскресения в агиографии: некий просмонарий убил и ограбил воина, а «тело его рассек мечом на куски и сложил их в глиняный сосуд, чтобы сварить и подать в своей корчемнице путникам». Преступление раскрывается, и св. Георгий является к убийце: «Святой спешился и, взойдя, в келию просмонария, взял все, что тот похитил, и разрезанное на куски тело воина. Он разложил их в присутствии просмонария и многих других, которые там случились, и стал собирать куски эти член к члену и сустав к суставу подряд, как располагаются все части человеческого тела. И простер свои святые руки к небу и, помолившись около трех часов, возложил длани на тело воина, и сказал: „Тебе говорю именем Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, восстань“. И тотчас суставы тела соединились, а плоть срослась <...> И тотчас поднялся воин на ноги свои...» [Византийские легенды, 1994, 204–205]. Или еще: св. Георгий является во сне некоему крестьянину Феописту и требует, чтобы тот зарезал в честь святого поочередно то быка, то козленка, то овцу... Истребив таким образом почти все имущество крестьянина, св. Георгий приказывает ему устроить пир для нищих и сам появляется на этом пиру. Зарезав последнюю скотину, хозяин приглашает всех за стол: «А святой говорит собравшимся: „Ешьте мясо, а кости оставьте для свидетельства святого; если кто из вас бросит хоть одну, я его жестоко покараю“. <...> Святой вскочил на коня и говорит: „Несите мне сюда кости со стола“. Все говорили себе: „Может, он захмелел и не знает, что творит“. Феопист говорит: „Может, он хочет оказать мне милость“. Все принесли кости и бросили их перед святым. Взглянув на небо, он говорит: „Господи Иисусе Христе, за кого я, раб твой, состязался, да снизойдет благословение твое на раба твоего Феописта, и на дом его, и, как ты размножил звезды небесные и прах земли, умножь милости свои рабу своему Феописту“. И тотчас сделалось трясение земли, так что все упали с ног, и в час этот приумноженной втрое возсталась вся скотина Феописта» [Там же, 198]. Обращает на себя внимание значимость голых (сухих) костей как атрибута «тленности»; в подобном контексте будет уместно привести точку зрения Арнольда Ангелендта, предлагавшего связать генезис признака нетленности с индоевропейским ритуалом, когда кости жертвенного животного должны были оставаться неповрежденными при заклании (Man könnte versucht sein, an jenes alte indo-europäische Opferritual zu denken, das eine Parallele für Tieropfer zeigt: die «rituelle Aufbewahrung und Schonung der Knochen» des Opfertieres) [Angenendt 1991, 342; ср. Атхарваведа, 1976, 378, прим. к стихам 16–28]. Непосредственное отношение это имеет к греческой традиции почитания мощей, о которой мы подробнее скажем ниже, где кости умерших подвижников по прошествии времени «отделяют от персти», сортируют и складывают в особом порядке у стен: у одной стены черепа, у другой ручные кости, у третьей ножные. В углу в беспорядке складывают

оставшиеся ребра и другие кости. В особые ящики кладутся черепа и кости тех, кто прославился своей святостью [Поездка на Синай, 1850, 269–273; Орлов 1994, 66–67] (ср., также, сходное отношение к костям святых у средневековых англо-саксов: «By the high altar there might be a large relics chest, and along the mensa, or on a beam above, a lain of painted „heads“ (chefs), „arms“, and „feet“, each containing within it a piece of the bone from that particular part of the body» [Dictionary of English Church history, 1948, Relics]).

- ¹² В этот контекст вполне вписывается представление об аскезе как об *умерщвлении* плоти. Ср.: «Житие Симеона Столпника»: восемнадцатилетним юношей святой бежит в монастырь и становится монахом. Однажды его посылают за водой; у колодца он находит бадью с веревкой, веревку он обвязывает вокруг своего тела под власяницей, а монахам говорит, что ее украли. «Никто не знал, что он под одеждой обвязался этой веревкой и так ходил с нею год или больше. А веревка въелась в мясо и глубоко ушла в загнившую плоть праведника. И от злосмрадия веревки никто не мог стать рядом и никто не узнал этой тайны. Постель же Симеона кишела червями, и никто не знал об этом». Наконец его поступок открывается, и архимандрит заставляет его раздеться, чтобы узнать, откуда исходит «злосмрадие». «Три дня монахи не переставали кропить святого теплой водой с елеем, и тогда только с великой мукой сумели раздеть его, и то так, что вместе с гиматием содрали сгнившее мясо. И тут обнаруживают, что в тело его веревка вошла так глубоко, что остался только самый ее конец, числа же червей нельзя себе и представить. <...> А святой Симеон восклицал, говоря: „Уступите, почтенные мои братья, дайте так умереть мне, псу смердящему...“. <...> Он [архимандрит] позвал двух врачей; а те с большим трудом и муками, так что можно было подумать, что Симеон уже умер, сняли с него веревку...» Тогда Симеон бежит из монастыря и селится в колодце с аспидами, ехиднами, змеями и скорпионами, но монахи вновь приходят за ним: «А святой Симеон, увидев монахов, воскликнул: „Умоляю вас, братья и рабы Божии, погодите малое время, чтобы я предал дух свой...» [Византийские легенды, 1994, 26–28]. Ср. также житие Макария Римского, пролежавшего живьем в яме, выкопанной львами, три года и ставшего «весь перстью земной» [Там же, с. 45]; среди русских святых ср. преп. Иоанна Киевского (ум. в 1160), который «вкопал себя в землю по плеча, напротив мощей преп. Моисея Угрина» [Толстой 1887, с. 64]. Помимо представления о плотском как о греховном, «восходящем к дуалистическому представлению о человеческой природе», в поведении св. Симеона продемонстрирована попытка почти ритуализованной имитации смерти и последующего процесса разложения бренной и греховной плоти. Крайне показательна в этой связи симметричность композиции памятника агиографии — если святой на протяжении всей жизни буквально «мертв для мира сего», то после действительной смерти он предстает как живой: «И вот, когда гроб опустили, его помещают на мраморном престоле, который стоял перед столпом святого, а было это уже на четвертый день кончины блаженного. Но его святое тело оставалось гибким, словно он отошел час назад. И все епископы дали Симеону целование. Лик его был весьма светел, как свет, а волосы на голове и брада были как снег. Епископ антиохийский пожелал взять в благословение волос от брады святого и стал сухорук. И все епископы сотворили за него молитву, плача и обращаясь к святым останкам: „Ни единый твой член не тронут и одежды не тронуты, и никто более не отторгнет ничего от твоих святых и честных останков“. И, когда они с плачем говорили это, рука епископа исцелела. Затем с пением псалмов и гимнов тело святого упокоили в гробу» [Там же, 35].

- ¹³ Ср. один эпизод из жизни подвижника Стефана: «Пришли мы к нему [Стефану] в такое время, когда у него открылась в самом опасном месте ужасная болезнь рак. При нас его лечил какой-то врач. Предоставив в его распоряжение больные части тела, святой муж работал руками, плел корзины и разговаривал с нами. При отсечении зараженных частей он оставался неподвижен, показывал такое терпение, как будто резали чье-нибудь чужое тело или как будто у него отсекали не члены, а волосы. <...> Когда же мы об этом скорбели и недоумевали, как муж такой жизни впал в такую болезнь и подвергся таким врачебным мерам, блаженный Стефан, уразумев наши помыслы, сказал нам: «Не соблазняйтесь этим дети! Бог ничего не делает во вред, но все для полезной цели. Видно Господь нашел сии члены достойными наказания, а в таком случае лучше им здесь пострадать, нежели по отшествии из жизни сей» [Лавсаик, 75].
- ¹⁴ Упоминания о нетленности мощей грузинских святых см. [Сабинин 1994, 1, 71, 160–162; II, 61, 81; III, 83].
- ¹⁵ Киевские князья Борис и Глеб (ум. 1015), княгиня Ольга (ум. 969), епископ Никита Новгородский (ум. 1108), киевский князь Мстислав Владимирович (ум. 1132/1133), епископ Леонтий Ростовский (ум. 1077), новгородский князь Всеволод Мстиславович (ум. 1138), черниговский князь Михаил Всеволодович и его боярин Федор (ум. 1246), князь Александр Ярославович Невский (ум. 1263) и тверской князь Михаил Ярославович (ум. 1318) [Голубинский 1903, 40–60; Lenhoff 1993, 256–257].
- ¹⁶ Особого обсуждения заслуживает вопрос о генезисе представлений о нетленности мощей у русских: целый ряд косвенных свидетельств позволяет, на наш взгляд, предположить, что рассматриваемый концепт вполне мог быть усвоен ими от скандинавов. К числу подобных свидетельств относятся упоминания в «Повести временных лет» о присутствии варяг-христиан на языческой Руси («мнози бо бѣша Варязи-хрестеяни» [ПСРЛ, I, стлб. 54]). Более того, первыми русскими местночтимыми святыми были варяги (мученик Федор Варяг, княгиня Ольга, князья Борис и Глеб; ср. Þorvaldr andadiz í Rúzía skamt frá Pallteskju, þar er hann grafinn í fjalli einu at kirkju Jóhannis baptistæ ok kalla þeir hann helgann (Торвальд умер в России недалеко от Паллтескьи <Полоцка>. Там он похоронен в одной горе у церкви Иоанна Крестителя, и зовут они его святым) [Kristnisaga, 43–44]. В этой связи особое внимание привлекают и данные о почитании Олава Святого на Руси (известны тексты с указанием на существование церкви св. Олава в Новгороде [Древнерусские города..., 1987, 28–29, 45]; кроме того, упоминание Олава Святого содержится в древних молитвах: «Рядом с именами святых, обычными для восточной церкви, в „Молитве св. Троице“ находятся имена святых западной церкви или обычных только для западной церкви: Магнушъ, Кануть, Олафъ, Албанъ...» [Соболевский 1910, 38, 47; Lind 1990, 1–20]) [Мельникова 1995]. Впрочем, здесь мы хотели бы ограничиться всего лишь постановкой проблемы: приходится констатировать, что на периферии христианского мира, то есть в скандинавском и славянском ареале, наблюдается специфическое отношение к мощам (нетление как признак святости), что, скорее всего (с учетом интенсивных контактов), может быть объяснено фактором непосредственного влияния.
- ¹⁷ Ср. описание похорон Кирилла в Житии Кирилла (Константина) Философа: когда... хотели положить его в могилу, сказали епископы: Вынуть гвозди из раки, посмотрим, цел ли он и не взята ли какая-нибудь часть его». И много трудились, и не могли по Божьей воле вынуть гвозди из раки [Сказания о начале славянской

письменности, 1981, 92]. Предполагая святость Кирилла, епископы, по-видимому, хотели убедиться в этом: отсутствие той или иной части, в данном случае, было бы воспринято именно как признак святости.

- ¹⁸ Ср. свидетельство русского постриженника на Афоне: «Здесь хочу сказать вещь невиданную в России. Во св. Горе Афонской соблюдается обычай от древних времен откапывать кости умерших чрез три года после смерти. Которых кости обретаются желтые и светлые, яко восковые или елейные, противного запаха не испускающие, а иногда и благоуханные, те признаются за людей богоугодных; сии кости тлению не предаются. Которых кости обретаются белые, трухлявые, истлевающие, о тех полагают, что находятся в милости Божией. Кости черные, овые же и смердящие, признаются за кости людей грешных. О таковых более творится поминовение, и братия молится, чтобы Господь даровал прощение грехов их. Овогда обретаются тела не истлевшие, целые, но черные и смрадные; сии признаются за людей, связанных родителями или духовными отцами, т. е. находящихся под клятвою...» [Парфений, II, 189–191].

- ¹⁹ Ср. свидетельство летописца об обретении мощей митрополита Киевского и Всея Руси Киприана (ум. 1406), серба родом: «тогда обрѣтоша Кипреяна всего истлѣвша, едины мощи». О слове «мощи» в данном контексте см. [Васильев 1893, 138–139; Голубинский 1903, 298, 300]. Заметим, что если в старославянском языке слово *мощи* синонимично словам *останѣкъ*, *остатѣкъ* [Сл. стсл. яз., II, 230, 570], то на русской почве наряду с исходным значением появляется новое — специфически русское значение данного слова: мощи может означать здесь как останки, в частности кости, так и нетленное тело. При этом в русском церковнославянском языке, так же как и старославянском, слово *мощи* может относиться как к святому, так и к обычному человеку, но в русском языке оно означает исключительно тело святого; соответственно в русском языке это слово непосредственно ассоциируется с нетленностью, т. е. означает (в прямом, не переносном смысле) именно «нетленное тело» (наблюдение принадлежит Б. А. Успенскому).

Сюда же следует добавить любопытные данные русского языка, где порча, нанесение вреда (прежде всего в сексуальной сфере) может и выражаться глаголами «растлеть» и «разлагать» (ср. также «целка»).

- ²⁰ Сообщено Б. А. Успенским. О нетленности у греков в наше время см. также [Мелинос 1995, 24, 132, 208, 226, 230; ср. 37, 39, 235].

- ²¹ Заметим попутно, что у папы Григория есть упоминание о нетленности мощей епископа Геркулануса, убитого готским королем Тотиллой (VI в.).

- ²² Знаменательно, что исследователи усматривают здесь языческое влияние [Chaney, 1970, 95].

- ²³ Reginald, Vita Sancti Oswaldi Regis et Martyris.

- ²⁴ С подобным расчленением тела короля следует сравнить свидетельство Снорри в «Круге Земном» о Хальвдане Черном: «Ни при одном конунге не было таких урожайных годов, как при конунге Хальвдане. Люди так любили его, что, когда стало известно, что он умер и тело его привезено в Хрингарики, где его собирались похоронить, туда приехали знатные люди из Раумарики, Вестфольда и Хейдмёрка и просили, чтобы им дали похоронить тело в своем фюльке. Они считали, что это обеспечило бы им урожайные годы. Помирились на том, что тело было разделено на четыре части, и голову погребли в кургане у Камня в Хрингарики, а другие части каждый увез к себе, и они были погребены в курганах, которые все называются курганами Хальвдана» [Круг Земной, 1980, 42].

- 25 Любопытно, что инициаторами первого освидетельствования в 1104 были норманны, в частности некий настоятель монастыря Тургот. Сохранились подробнейшие отчеты всех освидетельствований (см. указанную литературу, где они и опубликованы).
- 26 См. [Зеленин 1995, 45–46, 321–322].
- 27 Подобный сюжет нередок в житийной литературе. Например, спустя 10 месяцев после преставления св. Феодоры Солунской — она скончалась в 892 г. и была похоронена в общей могиле, — ее гробница начала двигаться. Это было понято как знак, указание на то, что она должна быть погребена отдельно. Могила открыли и нашли тело нетленным. Тело перенесли в отдельную могилу и похоронили [Lenhoff 1993, 255].
- 28 Перевод О. А. Смирницкой [Круг Земной, 1980, 374]. Известно, что «Песнь о Тиши на Море» Торарина Славослова, вставленная Снорри в «Сагу об Олаве», датируется XI веком. Примечательно, что появление новых реалий находит свое отражение и осмысление прежде всего у скальдов (в арсенал приемов которых входит нередко и обыгрывание этимологического ряда).
- 29 Соответствующим образом мотивируется и универсальный агиографический мотив исцеления от мощей.
- 30 Наиболее отчетливо, пожалуй, семантический контур термина святости проступает в тех эддических и саговых контекстах, где речь идет о сакральности столь значимого для модели мира элемента, как пространство. Сакральное пространство мыслится прежде всего как пространство заповедное. Статусом священного обладает, как правило, то пространство, которое остается недоступным никому, кроме его обитателей, и именно потому и пребывает нетронутым. Поэтому запрет на нарушение сакрального пространства и не может быть мотивирован ничем иным, кроме как целостностью и нетронутостью самого пространства; заповедность сакрального места, в таком случае, становится средством его эзотеризации. Так, например, в «Саге об Олаве Святом» рассказывается, как скальд Сигват отправился с поручением на восток в Гаутланд. Ему и его спутникам пришлось преодолеть множество препятствий (в числе которых некая река и лес), прежде чем они достигают какого-то хутора: *Síðan fóru þeir um Gautlönd ok kómu at kveldi á þann bæ, er Hof heitir. Þar var byrgð hurð, ok kómund þeir eigi inn. Hjónin segja, at þar var heilagt. Braut hurfu þeir þadan. Sigvatr kvad: Réðk til hofs at hœfa; // hurð var aptr, en ek spurðumk // (in settak nef nenninn) // níðr-lútr fyrir utan; // orð gatk fæst af fyrðum, // (flögd badk) en þau sögðu, // hnekðumk heidnir rekkar, // heilagt (við þau deila)* (потом они ехали по Гаутланду и к вечеру добрались до места под названием Капище. Ворота были закрыты, и они не смогли туда попасть. Им крикнули, что это священное место, и они поехали дальше. Сигват сказал: А в Капище пуще // мне досталось, долго // — на запоре двери — // хозяев мы звали. // Язычники — нечем // их прогнать — прогнали // нас: «священно место». // Пусть тролли с ними спорят!) [Ólafssaga helga (Heimskringla), cap 91] <Ср. «sögðu, at þar var heilagt, ok engum manni lofat inn at koma» (...сказали, что там священное <место>), и ни одному человеку не дозволено войти) [Sigvats þáttur skálds, cap. 2]>. Диагностично, что процесс освоения земли в сагах, включающий в себя как акт номинации, так и придание земле сакрального статуса частного владения, обозначается выражением *helga sér landit*: «освящение» и «присвоение» территории не различаются, по-видимому, в том числе и фразеологически.

Кроме того, заслуживают внимания некоторые примеры из мифопоэтического контекста, где слово, кодирующее категорию сакрального, может семантически соотноситься с понятием физической невредимости (ведь конечная цель заговора или оберега, например, заключается как раз в сообщении объекту признака неуязвимости или в восстановлении его неповрежденности): так в «Саге о Рагнаре» жена Рагнара, Аслауг, отдает ему перед разлукой заговоренный плащ — þér annk serk enn síða // ok saumaðan hvergi // við heilan hug ofnu // ór hársíma gránu; // mun eigi ben blæða // né bíta þik eggjar // í heilagri hjúpu; // var hón goðum signuð (я тебе справила длинную рубаху // без вышивки // от всего сердца // из серых волосяных нитей; // раны не будут кровоточить, // не укусит тебя лезвие <меча> // в священном плаще; // он был посвящен богам) [Ragnarsaga, VI, 3]. Выразителен, на наш взгляд, следующий пример из «Речей Хамдира»: Хамдир, возражая Сёрли, говорит об Эрпе — af væri nú haufuð, ef Erpr lifði // bróðir okkar inn gunnhelgi // gördomk at vígi (Голова бы скатилась, // будь Эрп в живых, смелый наш брат, // нами убитый, // воинственный муж, —// дысы вмешались, // хранимого в битвах // стремясь уничтожить) [Edda. Hm. 28]. Двусоставный эпитет *gunn-heilagr* (*gunnr*, ж. р., «битва»), с нашей точки зрения, должен переводиться соответственно как «неуязвимый <в битве>»; ср., однако, *gegen den man* (hier als Bruder) nicht kämpfen darf» [Neckel 1968; Hartmann 1943, 114]. В таком случае, компонент *heilagr*, в сущности, можно интерпретировать здесь как лексический заменитель прилагательного *heill* (суффикс *-ig* или *-ag* можно рассматривать здесь в качестве своеобразного интенсификатора, тем более, что примеры подобного образования имеются: ср. *vanheiligr* «больной, нездоровый», *ðheiligr* «страдающий от болезни» [Fritzner 1954]. Ср. [Bætke 1942, 58]).

31 Ср. «this is no doubt the original sense word» [Ibid, 248].

32 Ср. определение права на перемещение в пространстве, закрепленное за объявленным вне закона: hann <fjörbaugsmadr> skal heilagr vera at þeim heimlom ok í örskotshelgi við á alla vega (пусть пребудет он «свят» в этих домах и со всех сторон около них, на расстоянии полета стрелы); ðheilagr verðr fjörbaugsmadr, ef eigi er sagt til heimila hans at feralsdomi (объявленный вне закона «несвят», если его жилище не названо при изъятии имущества); hann er ok jafn heilagr á göto, er hann fer til skips sem hann fari á millom heimila (он равным «образом» «свят» на тропе, которой он идет к кораблю, как если бы он перемещался между «своими» домами); hann er ok jafn heilagr í þeirri för til þess er hann kemr aptr til heimila sína (он равным «образом» «свят» на «обратном» пути до тех пор, пока он не вернется обратно к своему убежищу); þá er hann heilagr í örskotshelgi á alla vega á land við búðena (если корабельщики, к которым направляется объявленный вне закона, раскинули свои палатки на суше), тогда он «свят» на расстоянии полета стрелы, со всех сторон на земле с палатками); en þó at skip ligi fyr búðena svá, ok er hann þó heilagr þar á milli (и даже если корабль расположен вдали от палаток, и тогда он «свят» между «кораблем и палатками»); en álengr er þeir hafa búðir á skipi þá er hann í örskotshelgi á land upp á alla vega, þaðan frá er skemst er til lands frá skipi (но как только они разобьют палатки на корабле, тогда он «свят» со всех сторон на расстоянии полета стрелы на том берегу, откуда всего короче «путь» с корабля на сушу); við Island þá er hann heilagr í örskotshelgi frá bryggju sproði á alla vega (в Исландии же он «свят» от конца пристани во все стороны на расстоянии полета стрелы); «если корабль после отплытия должен возвратиться назад», þá er slík helgi hans mælt þar at skipi; er hann ávalt jafn heilagr at skipi (он всегда равным «образом» «свят» на корабле); «если же обвиняемый не выполняет этих ус-

ловий, то он автоматически становится > óheilagr — sekr madr at vetri dræpr ok öell (человек отверженный, неприкасаемый, и его можно убить безнаказанно) [Grágás, § 52].

³³ Так, по данным Хойслера, в 11 из 12 эпизодов саг, где речь идет об объявлении *óheilagr*, данное обвинение обращено против мертвеца.

³⁴ В «Саге о Ньяле» Ньяль советует Гуннару объявить всех убитых им противников *óheilagr*: þu skalt fara þangat sem þér bördúz ok grafa upp ena dauðu ok nefna váttu at benjum ok óhelga þá alla ena dauðu fyrir þat, er þeir fóru með þann hug til fundar at veita þér ákvámur ok bráðan bana ok brøðrum þínum. En ef þetta er prófat á þingi ok því sé við lostit, at þú hafir áðr lostit þorgeir ok megir hvártki sökja þína sök né annara, þá mun ek svara því máli ok segja, at ek helga á þik á þingskallaþingi, at þu skyldir bæði mega sökja þitt mál ok svá annara (Ты поедешь к месту вашего боя, выкопаешь тела, покажешь раны свидетелям и объявишь, что ни за кого из убитых не полагается виры, потому что они собрались с целью напасть на тебя и твоих братьев и убить вас. Но если это будет разбираться на тинге и тебе скажут, что ты еще раньше ударил Торгейра и поэтому не вправе предъявлять иск ни за себя, ни за других, то я отвечу на это и скажу, что я снял с тебя все обвинения на тинге в Лощинах, так что ты теперь вправе предъявлять иск и за себя, и за других) [Njáls saga, сар. 64]. Как мы помним, Гуннар неукоснительно исполняет этот совет Ньяля и едет с его сыновьями «к месту, где были зарыты тела убитых. Они выкопали всех похороненных. Гуннар объявил, что за них не полагается вира, потому что они замыслили нападение и убийство, и уехал домой».

Литература

- Абрамович 1916 — Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Приготовил к печати Д. И. Абрамович. Петроград, 1916.
- Аввакум 1960 — Житие протопопа Аввакума. М., 1960.
- Августин 1991 — *Аврелий Августин*. Исповедь // Памятники религиозно-философской мысли. Западная патристика. М., 1991.
- Андроник 1993 — Игумен Андроник (*Трубачев*). Преподобный Амвросий Оптинский: Жизнь и творения. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993.
- Атхарваведа, 1976 — Атхарваведа / Перевод, комментарий и вступительная статья Т. Я. Елизаренковой. М., 1976.
- Афанасий Великий 1994 — Святитель *Афанасий Великий*. Творения. М., 1994, I–IV.
- Афонский патерик 1897 — Афонский патерик. М., 1897, I–II. (репринт: М., 1994).
- Барсуков 1882 — *Н. Барсуков*. Источники русской агиографии. СПб., 1882.
- Бицилли 1995 — *П. М. Бицилли*. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
- Василий Великий 1993 — Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Т. I–IV. М., 1993.
- Васильев 1893 — *В. Васильев*. История канонизации русских святых // ЧОИДР, кн. 3, 1893.
- Византийские легенды, 1994 — Византийские легенды / издание подготовила С. В. Полякова. М., 1994.
- Геродот — *Геродот*. История. М., 1993 (Памятники исторической мысли).
- Голубинский 1903 — *Е. Е. Голубинский*. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903.

- Григорий Турский, 1987 — *Григорий Турский*. История франков // изд. подг. В. Д. Савукова. М., 1987. (= Gregor von Tours. Zehn Bücher Geschichten // hrsg. Rudolf Buchner; bd. I–II, Berlin, 1956).
- Гуревич 1989 — А. Я. Гуревич. Смерть как проблема исторической антропологии // Одиссей. М., 1989.
- Деяния, 1666–1667 гг. — Деяния московских соборов 1666 и 1667 гг. Издание [второе] братства св. Петра митрополита, вновь проверенное по подлинной рукописи. М., 1893.
- Древнерусские города..., 1987 — Древнерусские города в древнескандинавской письменности // Тексты, перевод, комментарий. М., 1987.
- Живов 1994 — В. М. Живов. Святость (краткий словарь агиографических терминов). М., 1994.
- Зеленин 1995 — Д. К. Зеленин. Избранные труды. М., 1995.
- Иванов 1994 — С. А. Иванов. Византийское юродство. М., 1994.
- Круг Земной — Снорри Стурлусон. Круг Земной // Изд. подг. А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.
- Лавсаик — Лавсаик Палладия епископа Еленопольского. Репринтное издание подготовлено Свято-Троицким Ново-Голутвиним женским монастырем, 1992.
- Лествица Иоанна 1995 — Лествица Преподобного отцы нашего Иоанна Лествичника. СПб., 1995.
- Мейендорф 1985 — Протоиерей Иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк, 1985.
- Мелинос 1995 — Манолис Мелинос. Я говорил со святым Нектарием. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
- Мельникова 1995 — Е. А. Мельникова. Культ св. Олава, в Новгороде и Константинополе // Византийский временник, 56 (81). М., 1995.
- Орлов 1994 — Георгий Орлов. Заупокойное богослужение. М., 1994.
- Парфений, I–IV — Сказание о странствовании и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника Святой горы Афонской инок Парфения [Петра Аггеева]. Изд. 2-е, испр. М., 1856, ч. I–IV.
- Пахимер, I–II — Georgii Pachymeris de Michaelae et Andronico Paleologis libri tredecim. Recognovit Immanuel Bekkerus, vol. I–II. Bonn, 1835 (*Corpus scriptorum historiae Byzantinae*, No. 18, vol. I–II).
- Подвижники благочестия Синайской горы, 1860. — Подвижники благочестия, процветавшие на Синайской горе и в ее окрестностях, СПб., 1860.
- Поездка на Синай, 1850 — Поездка на Синай А. Уманца. СПб., 1850, ч. I–II.
- Порфирьев 1877 — И. Я. Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях // Сборник отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. СПб., 1877, т. XVII.
- Приселков и Фасмер 1916 — М. Д. Приселков, М. Р. Фасмер. Отрывки В. Н. Бенешевича по истории русской церкви XIV века (Посвящается В. Н. Бенешевичу) // Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, т. XXI, 1916, кн. 1, с. 48–70. Письма паломницы IV века, 1994 — К источнику воды живой. Письма паломницы IV века. М., 1994.
- Продолжатель Феофана, 1992 — Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Изд. подг. Я. Н. Любарский. СПб., 1992 (*Литературные памятники*).
- ПСРЛ, I–XXXIX — Полное собрание русских летописей, т. I–XXXIX. СПб. (Пг., Л.); М., 1841–1994.
- Сабинин 1994 — Жизнеописание святых грузинской церкви / Сост. Михаил Сабинин. М., 1994, ч. I–III.

- Сергий 1895 — [Иеросхимонах Сергий (Симеон Веснин)]. Письма святогорца к друзьям своим о святой горе Афонской. С портретом автора, с приложением его биографии, келейных записок и вида келии, в которой он жил. Изд. 8-е. М., 1895, ч. I–III. Репринт: [М., 1995]. Продолжающаяся пагинация во всех трех частях.
- Сказания о начале славянской письменности, 1981 — Сказания о начале славянской письменности / Вступ. статья, перевод и комм. Б. Н. Флори. М., 1981.
- Сл. стсл. яз. — *Slovník jazyka staroslověnského*. Praha, 1935–1957, vol. I–VIII.
- Смирницкая 1994 — О. А. Смирницкая. Литературное сознание исландцев XII–XIII вв. и проблемы становления жанровых форм // Проблема жанра в литературе Средневековья. М., 1994, вып. 1.
- Соболевский 1910 — А. И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910 (Сб. ОРЯС, т. 88).
- Соснин 1849 — Дм. Соснин. О нетлении святых мощей в церкви христианской. М., 1849.
- Стеблин-Каменский 1984 — М. И. Стеблин-Каменский. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.
- Толстой 1887 — Книга глаголемая. Описание о российских святых, где и в котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори, всякого чина святых / Дополнил биографическими сведениями М. В. Толстой // ЧОИДР, 1887, кн. 4.
- Топоров 1980 — В. Н. Топоров. Прусский язык. М., 1980, т. 3.
- Топорова 1994 — Т. В. Топорова. Семантическая структура древнегерманской модели мира. М., 1994.
- Успенский 1982 — Б. А. Успенский. Филологические разыскания в области славянских древностей. Издательство МГУ, 1982.
- Успенский 1994 — Б. А. Успенский. Избранные труды. М., 1994. I–II.
- Цулая 1996 — Г. В. Цулая. Из истории грузинской агиографии: «Мученичество Да-вида и Константина» // Этнографическое обозрение, № 1, 1996.
- Alcuin. The bishops, kings and saints of York ed. by P. Godman. Oxford, 1982.
- Alexandrus monachus, Laudatio Barnabae, ed. P. Van Deun, Hagiographica Cypria, Corpus Christianorum, Series Graeca, Turnhout and Leuven, 1993.
- Angenendt 1991 — Arnold Angenendt. Corpus incorruptum // *Saeculum*, Bd. 42, 1991.
- Angenendt 1992 — Arnold Angenendt. Der «ganze» und «unverweste» Leib — eine Leit-idee der Reliquienverehrung bei Gregor von Tours und Beda Venerabilis // *Aus Archiven und Bibliotheken* // Festschrift für Raymund Kottje, hrsg. Hubert Mordek // *Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte* 3, 1992.
- Baetke 1942 — Walter Baetke. Das Heilige im Germanischen. Tübingen, 1942.
- Baetke 1973 — Walter Baetke. Kleine Schriften. Weimar, 1973.
- Baumeister 1970 — Theofried Baumeister, Martyr invictus. Der Martyrer als Sinnbild in der Legende und Kult der frühen koptischen Kirche // *Forschungen zur Volkskunde* 46. Münster, 1970.
- Beda 1969 — Bede Ecclesiastical History of the English people. Oxford, 1969.
- Bosworth, Toller 1882–1898 — J. Bosworth, T. N. Toller. An Anglo-Saxon dictionary. Oxford, 1882–1898.
- Byskupa sögur 1953 — Byskupa sögur / ed. Guðni Jónsson, I–III. Reykjavík, 1953.
- Chaney 1970 — William A. Chaney. The Cult of Kingship in Anglo-Saxon England. Manchester, 1970.
- Cleasby, Vigfusson 1957 — R. Cleasby, G. Vigfusson. An Icelandic-English Dictionary. Oxford, 1957.

- Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Paris, 1912-.
- Dictionary of English Church History 1948 — Dictionary of English Church History. Oxford, 1948.
- Edda — Edda, Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern // hrsg. von G. Neckel, 3 Aufl. Heidelberg, 1936 (= Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях // Пер. А. И. Корсуна, ред., вступ. ст. и комм. М. И. Стеблин-Каменского. М.; Л., 1963).
- Fritzner 1954 — *J. Fritzner*. Ordbog over det Gamle Norske Sprog, Bd. 1-3. Oslo; Bergen; Tromsø, 1954.
- Geary 1978 — *Patrick Geary*. Furta sacra. Princeton, 1978.
- Grágás — Nordiske Oldskrifter, udg. af det Nordiske Literatur-Samfund. København, 1847-1885.
- Gudmundarsaga 1983 — Gudmundar sögur biskups, Stefán Karlsson bjó til prentunar. Editiones Arnarnagæðar. Series B, vol. 6. Kaupmannahöfn, 1983.
- Hartmann 1943 — *Hans Hartmann*. «Heil» und «heilig» im nordischen Altertum. Heidelberg, 1943.
- Heimskringla — Heimskringla Snorra Sturlusonar. Reykjavík, 1947.
- Heusler 1911 — *A. Heusler*. Das Strafrecht der Isländersagas. Leipzig, 1911.
- Hoffmann 1975 — *Erich Hoffmann*. Die heilige Könige bei den Angelsachsen und den skandinavischen Völkern // Quelle und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 69, 1975.
- Hoffmann 1976 — *Erich Hoffmann*. Königserhebung und Thronfolgeordnung in Dänmark bis zum Ausgang des Mittelalters // Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, Bd. 5, 1976.
- Kluge 1960 — *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1960.
- Knytlinga-saga, 1925 — Knytlinga-saga, in Sögur Danakonunga, utg. av. Carl af Petersen och Emol Olson. København, 1919-1925.
- Kötting 1965 — *Bernhard Kötting*. Der frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäude // Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften, Heft 123, 1965.
- Krause 1937 — *W. Krause*. Runeninschriften im älteren Futhark. Halle a. Saale, 1937.
- Kristnisaga — Altnordische Sagabibliothek / hrsg. von G. Cederschiöld, H. Gering und E. Mogk, Bd. 11. Halle, 1892.
- Kuhn 1987 — *Hans Kuhn*. The emergence of a saint's cult as witnessed by the Jarfeinebækr Þorláks byskups // Frá suðlægri strönd (From a southern shore); The Australian-Icelandic cultural society, vol. 3. Melbourne, 1987.
- Lenhoff 1993 — *Gail Lenhoff*. The Notion of «Uncorrupted Relics» in Early Russian Culture // California Slavic Studies, vol. 16, 1993.
- Lind 1990 — *J. H. Lind*. The Martyria of Odense and a Twelfth-Century Russian Prayer: The Question of Bohemian Influence on Russian Religious Literature // The Slavonic and East European Review. 1990, vol. 68, № 1.
- Mc Cready 1989 — *William D. Mc Cready*. Signs of sanctity. Miracles in the Thought of Gregory the Great // Pontifical Institute of Medieval Studies, 1989.
- Memorials of St Edmund's Abbey / Ed. T. Arnold, vol. 1-3. London, 1890-1896.
- Neckel 1968 — *G. Neckel*. Kommentierendes Glossar zur Edda, 3 Aufl. Heidelberg, 1968.
- Njálssaga — Brennu-Njálssaga. Einar Ol. Sveinsson gaf uts. Reykjavík, 1954 (= Исландские саги. М., 1956).

- Nolan 1967 — *Kieran Nolan*. The immortality of the soul and the resurrection of the body according to Giles of Rome // *A historical Study of a 13th Century Theological Problem*. Roma, 1967.
- Nyberg 1986 — *Tore S. Nyberg*. Die Kirche in Skandinavien // *Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters*, Bd. 10, 1986.
- Ólafssaga Tryggvasonar, 1860 — Ólafssaga Tryggvasonar, in *Flateyjarbók*, I–III, Christiania, 1860.
- Ólafssaga helga* — Ólafssaga hins helga, Kristiania, 1922.
- Onash 1993 — *Konrad Onasch*. Lexikon Liturgie und Kunst der Ostkirche. Berlin; München, 1993.
- Paredi 1985 — *Angelo Paredi*. Sant Ambrogio. Milano, 1985.
- Paulinus 1981 — Paulinus, Vita Ambrosii 32, 1 / ed. A. A. R. Bastiaensen (Vita dei santi 3), 1981.
- Pokorny 1959 — *J. Pokorny*. Indogermanisches-etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959, Bd. 1–2.
- Ragnarssaga lodbrokar — Samfund til Udgivelse af gamle nordisk Literatur, 36. København, 1880–1930.
- Rollason 1962 — *David Rollason*. The Life of king Edward. London, 1962.
- Rollason 1989 — *David Rollason*. Saints and Relics in Anglo-Saxon England. London, 1989.
- Scott 1981 — *J. Scott*. The early History of Glastonbury, 1981.
- The relics of St Cuthbert. Oxford, 1956.
- The royal saints of Anglo-Saxon England / Ed. by J. Ridyard. Cambridge, 1988.
- Vita sancti Cuthlaci auctore Felice / Ed. by B. Colgrave. Cambridge, 1956.
- Vries 1977 — *J. de Vries*. Altnordisches etymologisches Wörterbuch, 2. Aufl. Leiden, 1977.
- Yngvarssaga — Samfund til Udgivelse af gamle nordisk Literatur, 39. København, 1880–1930.

Список сокращений названий языков

- др. англ. — древнеанглийский
 др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
 др. греч. — древнегреческий
 др. ирл. — древнеирландский
 др. исл. — древнеисландский
 др. кимр. — древнекимрский
 др. прусск. — древнепрусский
 др. русск. — древнерусский
 др. сакс. — древнесаксонский
 др. фриз. — древнефризский
 и/е. — индоевропейский
 о/герм. — общегерманский
 о/сканд. — общескандинавский
 рун. — рунический (т. е. язык старших рунических надписей)
 ст.-слав. — старославянский

* Легендарная сага об Олаве Святом.

Vo tich mejch chlapcech toho sinovo

В данной статье представлена попытка сравнительно-типологического и ареального осмысления некоторых итогов авторских многолетних наблюдений над исторической эволюцией частеречного статуса и в особенности синтаксической валентности притяжательных прилагательных в чешском языке на фоне инославянских фактов [6, 7, 8]*.

Проведенное исследование первоначально ставило своей задачей подтвердить со стороны синтаксической синтагматики выдвинутое в 1937 г. Н. С. Трубецким [9] и развитое в работах позднейших исследователей [2, 15, 5 и др.] предположение о принадлежности славянских притяжательных прилагательных (далее ПП) к субстантивному словоизменению. Материал памятников древнечешского языка и иной древнеславянской письменности, собранный на этом этапе, позволил детально показать исторически весьма широкую сочетаемость ПП с относящимися к существительному зависимыми компонентами, а именно с приложениями и определениями несогласованного и согласованного типа. Как продолжение ее оценивались по традиции, идущей от Ф. Миклошича [14, 13–16], конструкции ПП с аналогичными компонентами, поныне неравномерно продуктивные в серболужицких (преимущественно верхнелужицких) и в центральных словацких диалектах, а также в соответствующих литературных языках, ср. лит. в.-луж. *wuja Hawštynowe wino* 'вино дядюшки Августина', *staroh wučerjowa žona* 'жена старого учителя' [13, 378], диал. в.-луж. *mojej maćerne (< -y) brat* 'брат моей матери', н.-луж. *nana / fotera bračowe žiši* 'дети брата отца' [17, 68, 72]; лит. слц. *pána učitel'ova palica* 'палка господина учителя' [2, 221], диал. ц.-слц. *stariho ocova viňica* 'дедов виноградник', *teho mojeho švagrof, mojej žeňin brat* 'брат этого моего шурина (?) и моей жены' [21, 263].

При последующем анализе, однако, обнаружились существенные отличия субстантивной сочетаемости ПП в давних славянских языках от соотносительного на первый взгляд синтаксического явления, встречающегося в современный период в вышеупомянутых областях западной Славии. Покажем эти отличия подробнее.

* Цифра, выделенная полужирным шрифтом, указывает на номер библиографической позиции в списке Литературы, помещенном в конце статьи.

I

Конструкции ПП с приложениями представлены были в давних славянских языках двумя основными структурными типами. В первом случае приложение также принимало форму ПП, что скорее всего обуславливалось общей зависимостью обоих существительных, претерпевающих подобное преобразование, от главного слова всего сочетания. Два ПП при этом могли располагаться в сочетании и разобщенно, и контактно: ср. др.-чеш. *po králově smrti Přemyslově* — Dal 154 'по смерти короля Пршемысла', *o královu Václavovi boji s synem* — Dal 142 'о борьбе короля Вацлава с сыном'; др.-рус. вѣ ко Аврамѣ погалъ вратню дщерь Ароню Сарѣ — Лавр. лет. (ПЛДР I, 106) 'ибо Авраам взял в жены дочь своего брата Арона, Сарру', Боянѣ и Ходына... Ольгова когана хоти — Сл. п. Иг. (ПЛДР II, 386) 'любимцы князя Олега'. Во втором случае одно из имен, вступая в сочетание с ПП, получало форму Р. ед. Взаимное расположение членов здесь также бывало различным: ср. др.-чеш. *o přibězích krále Václavových* — Let 1 'о приключениях короля Вацлава', *vyznání Slúvkovo hrnčieře* — PoprRožmb 25 (1420) 'показание гончара Сливки', *Barbořin pacholek, dcery Buškovy* — PoprRožmb 35 (1423) 'батрак Барборы, дочери Бушека'; др.-рус. Юрево княжение Всеволодовича в Суждалѣ — Новг. лет. 1448 г. (ПЛДР III, 116), на царѣ Константиновѣ день — Жит. Мих. Клоп. (ПЛДР V, 338), пророчество стараго князя, брата царева Петра — Пов. Петр. (ПЛДР VI, 32) 'царя Петра', ваины села и волости, великнѣ княгини Софни — Сев.-рус. лет. св. (ПЛДР V, 432) 'бабки, великой княгини Софьи' и др.

Из двух этих типов лишь второй отмечается достаточно широко в новых славянских языках (не только на указанных участках западославянской территории). При двучленности исходного сочетания существительных и отсутствии обособления, однако, в современных конструкциях закреплена большей частью строгий порядок элементов, следующий схеме Р. ед. + ПП (обратный порядок сохраняет лишь пол. диал. тип *Jaśków swagra dom* 'дом шурина Ясека' [22, 62]). Характерно, что первый элемент при этом нередко теряет окончание Р. ед., «застывая» в И. ед.; ср. в.-луж. *farar Šērachowe pčoty* 'пчелы священника Ширахы' [20, 103], серб. *син госпа-Јелин* 'сын госпожи Елы' [1, 55], рус. *воззрение Макара Ивановичево* (Достоевский) [3, 162].

Скорее аномалией предстают в сравнении с конструкциями этого типа редкие реликты сочетаемости двух ПП (с контактным объединением компонентов) — такие, как в.-луж. *knjeza fararjowy Krügerjowy namjet* 'предложение господина священника Крюгера' [13, 377], слц. *dom Jánov Trpákov* 'дом Яна Трпака' [21, 263] либо болг. *дядов Либенев син* — Хр 268 'сын деда Либена'¹.

Еще контрастнее противопоставлены древнеязыковым конструкциям сочетания ПП с адъективными компонентами, образующиеся в верхнелужицкой и центральной словацкой областях. Исторически прилагательные присоединялись к ПП почти исключительно постпозитивно: ср. др.-чеш. *ode krve Abelovy spravdivého* — EvOl Mt 23, 35 'от крови Авеля праведного'; др.-рус. *сила сѣлтанова индѣйскаго бесерменскаго* — Хож. Никит. (ПЛДР V, 472) 'индийского басурманского (мусульманского) султана' и т. п. Данные конструкции базировались на автономности адъективных компонентов, подобных вводным единицам, ср. др.-чеш. *na spasenie člověcie, zůfalého člověka* — Tkadl 153 'для спасения человеческого, отчаявшегося человека'. На той же структурной основе, собственно, в конструкции с ПП вступали в древности и приложения, ср. др.-рус. *о пѣлкѣ Игоревѣ, Игоря Святъславича* — Сл. п. Иг. (ПЛДР II, 372).

Так мотивированная сочетаемость, безусловно, не служит свидетельством отождествления ПП в давних славянских языках с базовой лексемой. Характерная для строя древнейшего славянского предложения автономность компонентов предполагала возможность представления дополнительно определяемого слова вообще любым образованием, заданным контекстом. Одновременно с ПП в конструкциях того же типа в старых славянских памятниках представлены относительные прилагательные: ср. др.-чеш. *sněm kněžský království českého pod obojí zpusobů rozdávajících* — Let 58 'съезд священников чешского королевства, причащающих под обоими видами'; др.-рус. *от вопля же и крычаниа людскаго обоих* — Пов. вз. Цар. (ПЛДР V, 230) 'от крика тех и других людей' и т. п. Помимо этого, в древнерусском языке аналогично могли приобретать сочетаемость базовой лексики патронимы на -ичь//ьна, напр.: *Мѣстиславъ... Романовичъ Смоленскаго* — Твер. лет. (ПЛДР III, 152) 'Мстислав, сын Романа Смоленского'.

В процессе возобладания принципа синтаксической эксплицитности в структуре предложения происходило устранение так устроенных сочетаний². У ПП, однако, эти конструкции поддерживала полная семантическая эквивалентность данной категории адъективных дериватов существительному в Р. ед. Этот фактор в ряде славянских языков вызвал дальнейший рост возможностей сочетаемости ПП в первую очередь с адъективными компонентами. Уже в древнеписьменных славянских памятниках прослеживаются единичные примеры таких конструкций, где выраженные адъективами определения предшествуют ПП: ср. др.-чеш. *ot prvého králova syna* — Dal 94 'о сыне первого короля'; др.-рус. *за тоѣ Марѣинымъ мужемъ за Петромъ* — Акт. ист. I, 349 (1573) 'за мужем той Марфы' [4, 384].

Регулярной такая сочетаемость стала в центральной словацкой и верхнелужицкой областях. В них и только в них в итоге

в естественном соответствии с семантикой оказалась и синтаксическая синтагматика (подчиняющая способность) ПП, которые здесь, таким образом, квалифицируются как категория синтаксической парадигмы базовой лексемы.

Хотя конструкциям ПП с препозитивно присоединяемыми адъективными компонентами в словацком и лужицком могла служить опорой старая модель Р. ед. + ПП, проявляющаяся в сочетаниях с приложением, какие здесь удержались в употреблении при генерализации обозначенного словоупотребления, в остальном в противоположном стойким представлениям большинства историков славянского синтаксиса приходится признать, что эти конструкции явились довольно поздней локальной инновацией. Мало того, и в современный период встречаются свидетельства вероятного зарождения конструкций того же типа в некоторых иных ареалах западной Славии (причем там, где теперь отсутствуют какие-либо следы старой сочетаемости ПП). Особенно характерно в данном смысле, что подобная валентность оказывается потенциально возможной для неизменяемых «застывших» ПП на *-ovo/-ino* в юго-западных чешских диалектах, как это подтверждает несколько необычное сочетание, обнаруженное при зондировании записей диалектных текстов из этой зоны: *vo tich mejch chlapcech toho sinovo* — ČNT 54, букв. 'о тех моих мальчиках того сына', т. е. 'о мальчиках (этого самого) моего сына' (чеш. лит. *o chlapcích toho mého syna*).

Представляется естественным предположить, что существование полноценной субстантивной сочетаемости у ПП в рамках западнославянского региона и «застывание» ПП в окраинных чешских говорах лингвогеографически и типологически взаимосвязаны. С учетом этого уместно осветить подробнее генезис диалектных чешских форм на *-ovo/-ino*.

II

Бытующие широко по говорам юго-запада Чехии неизменяемые «застывшие» ПП на *-ovo/-ino*, вопреки своей территориальной периферийности, представляют довольно примечательный рубеж в развитии славянских ПП. Достоин внимания, что В. Скаличка [16, 4] и другие исследователи считали это явление типологически чуждым устойчивому в остальном флективному строю чешского и вообще большинства славянских языков.

Проблематикой происхождения диалектных форм на *-ovo/-ino* в последние десятилетия обстоятельно занимался Й. Вахек [23, 24]. «Застывание» ПП в окраинных чешских говорах он объяснял радикальной реализацией здесь глобальной общезападнославянской тенденции к ликвидации исконного именного склонения адъективов. У ПП данный процесс протекал в истории чешского языка в целом медленно, так что литературный язык и абсолютное боль-

шинство диалектов до современного этапа сохраняют в парадигме этой категории разный набор старых именных форм. Правда, говоры, в которых они держатся достаточно прочно только в прямых падежах, порой отражают и всеобъемлющее вытеснение именных окончаний местоименными в парадигме ПП: ср. центр.-чеш. диал. *tat'inkovej* 'папин' и т. п. На фоне изложенных фактов своеобразия развития в рамках юго-западных диалектов виделось ученому в том, что в результате унификации неизменяемых форм на *-ovo/-ino* они быстрее остальных достигли ликвидации именного склонения ПП, устранив всю парадигму.

Как фактор, который, вероятно, детерминировал специфичность всего хода исторической эволюции чешских ПП (в противоположность иным прилагательным), Й. Вахек отмечал их функционально-семантическую близость существительному в Р. ед. Формы же на *-ovo/-ino* он по причине потери ими согласуемости вообще предлагал признать «ассоциированными» с парадигмой базовой лексики вариантами Р. ед. — хотя неполноправными в отношении синтагматического поведения, прежде всего с точки зрения местоположения в словосочетании и подчиняющей способности (ср. *tatínkovo klobouk* 'папина шляпа' — но *klobouk našeho tatínka* 'шляпа нашего папы'). Эта оговорка, впрочем, кажется излишней, так как асимметричная дистрибуция диалектных форм на *-ovo/-ino* и адноминального Р. ед. явно стремится выровняться в очерченной зоне в обоих направлениях: ср., с одной стороны, обороты типа *z bratra klukem* ('с сыном брата'), выступающие местами при обычных *z bratrovo klukem* и т. п. [11, 173], а с другой — приведенную выше конструкцию *vo tich mejch chlapcech toho sinova*.

Рассмотрение данной конструкции в соотнесении с аналогичными сочетаниями адъективных ПП, образующимися в верхнелужицкой и центральной словацкой областях, помимо этого, показывает, что утрату склонения неправомерно считать условием интеграции указанных дериватов с парадигмой базовой лексики. Напротив, и развитие реально свойственной существительному синтагматики, и специфический феномен отмирания флексий у ПП, очевидно, представляют собой проявляющееся на разных языковых уровнях завершение такой интеграции, обусловленной изначально субстантивной семантикой ПП.

С учетом прежде всего семантики можно принять оценку частеречного статуса славянских ПП, предложенную Н. С. Трубецким. При этом мало констатировать их функционально-семантическую близость базовой лексеме: главное — в категориальном содержании ПП, которые выражают атрибутивные отношения к единичным индивидам, имеет место транспозиция грамматических значений, внутренне присущих имени существительному, т. е. значений падежа (Р) и числа (ед.). Этим ПП исторически противопоставились относительным прилагательным.

Особой остроты достигло это противопоставление в древнечешском языке. Корпус ПП издавна ограничивался здесь образованиями по сути дела всего двух типов, с парой характерных именно для данной функции суффиксов, *-ov-* и *-in-*, дистрибуция которых переняла в процессе развития родовой принцип, ставший фундаментальным и в субстантивном словоизменении. Континуанты иных, на предыдущем этапе скорее всего промежуточных типов, в особенности с рефлексам исторического форманта **-j-*, при этом если и сохраняли принадлежность к прилагательным, то переходили в подавляющем большинстве в категорию относительных (с одновременной заменой всех именных форм местоименными). За категорией ПП закрепились только некоторые изолированные образования таких типов. Заслуживает внимания, что старое ПП на **-j-* к существительному *pán/pan* 'господин' в связи с этим к XIV в. «застыло» в именной форме И. (В.) ед. ср. р. *páně*.

«Застывание» одноименных диалектных форм ПП на *-ov-* и *-in-* наступало позднее, однако на подобной же основе. Также и здесь, пусть в другом масштабе, несомненно сказалось изолированное положение всей названной категории адъективных дериватов с их принципиально грамматическим представлением значения предметности — в противоположность относительным прилагательным, которые вообще все больше теряли способность выступать средством сигнализации предметных отношений («конкретность семантики»). Как констатировалось выше, этот фактор действовал и в сфере синтаксиса, где результатом углубления изоляции ПП в связи с устранением таких устаревших конструкций, как *sněm kněžský... pod obojí zpuosobú rozdávajících*, было появление новых сочетаний типа *ot prvého králova syna*.

В довершение чисто субстантивная семантика обуславливала морфологическую изоляцию ПП, выражавшуюся в сохранении у них в той или иной мере исконных именных форм. Новые местоименные формы вначале вытеснили их лишь из косвенных падежей множественного числа и Т. ед. Этот стабилизовавшийся в XIV в. комбинированный тип парадигмы ПП держится и поныне в литературном чешском языке, а также в говорах на северо-востоке Чехии. Уже с XIV в. в древнечешских текстах прослеживаются, однако, и примеры типа *ot Přemyslového nalezení* — Dal 10 'об обретении Пршемысла'. Увеличение их количества в XV в. означает, что в живом языке в тот период парадигма ПП получила иной облик, какой ныне отражен большей частью чешских говоров: с консервацией именных форм только в пределах прямых падежей. Эти немногочисленные показатели исключительности ПП в условиях усиления их изоляции и обнаруживали с XV в. склонность к «застыванию».

Я. Гебауэр в «Исторической грамматике чешского языка» приводит два примера «застывших» форм И. (В.) ед. ср. р. на -ovo, относящиеся к XV и к XVI в.: *ta královna tŕpaslkovo zemi mĕjieše* — TandZ 176a (1463) 'та королева карликову страну (в своей власти) имела'; *jsemť orlovo jediný dráb* — RZvř 1528 'я единственный орлов наемник' [12, 269].

Эти извлечения можно дополнить еще четырьмя (из памятников XV в.): *i sebrachu sĕ synové, aby... obměkčili bolest otcovo* — ComestC 43a1 (1404) 'и собрались сыновья, чтобы... смягчить боль отца'; *pověz mi léto, den a hodinu narození královo* — AlexPovA 23a1 (1433) 'скажи мне год, день и час рождения царя'; *vypisuje se znamení narození Kristovo* — HusSvát 124 'описывается знамение Рождества Христова'; *mého strýce... aneb ujcovo dítě (!)* — PrávSas 12a 'моего дяди по отцу... или дяди по матери дети'.

Один такой случай обнаружен, помимо того, в тексте с чешскими языковыми элементами, написанном в Центральной Словакии: *wedle Conradowo ausczugu* — PKB 1588 'согласно выписке Конрада' (= *Konradovho?*) [18, 197].

«Застывание» коснулось и других именных форм ПП. Так, на территории юго-западных чешских диалектов на современном этапе встречаются «застывшие» формы И. ед. ж. р. (*tatínkova klobouk* и т. п.), а местами и формы на -ov, восходящие к И. ед. м. р. с вторичным сокращением гласного или, скорее, к чистой основе ПП (*f sousedov domje* 'в доме соседа', *z holkou bratrof* 'с дочерью брата') [11, 173]. Я. Гебауэр [12, 269] считал результатом «застывания» ПП в И. ед. м. р. известные в XIX в. южночешские посессивные формы на -ů (ср. *Bartošů vědro* 'ведро Бартоша / семьи Бартоша'), которым фактически тождественны фамилии типа *Martinů*, возникшие, напротив, в ареале северо-восточных чешских диалектов (хотя «застывшие» лишь в XVII в., ср. цитируемые Я. Гебауэром примеры 1542 и 1543 г.: при *Šimon Kašparuo* — Т. ед. *před Šimonem Kašparovým*). Так как, однако, у форм на -ů преобладает значение принадлежности семье, возможно, что, «застывая», они опирались и на субстантивную форму Р. мн.

Продукт контаминации форм И. мн. типа *Novákovi*, функционирующих как субстантивированные названия семьи, и старых форм Р. мн. существительных с суффиксом -ovic, первоначально обозначавших принадлежность к роду, видимо, представляют собой такие образования, как *Novákovíc* либо *sousedovic* со значениями 'семья Новака / соседа (соседей)' и 'относящийся к семье Новака / соседа (соседей)'. Распространенные в центральных и юго-западных чешских диалектах, в последних с изменением -ovic в -ojc/-ouc/-oc/-uc, они, в отличие от форм на -ovi, встречающихся в современный период на территории от центра на северо-восток Чехии, обыкновенно не изменяются (ср., однако, юго-зап. диал. *rot Pavlojcta* — ČNT 45 'ниже дома семьи Павела'). Начальный этап

обобщения Р. мн. таких имен, при существовании полного субстантивного их склонения, демонстрируют серболужицкие формы типа н.-луж. *Domaškojc*, в.-луж. *Domaškec* (из -ос, как в слепян. диал. *Kubikos wuj* 'дядюшка Кубик', т. е. 'член семьи Кубика' [19, 104]). Формы эти способны занимать и субъектную позицию, ср., напр., в.-луж. народные выражения типа *přĩndžechu Kralec* (= *Kralecy*) 'пришла семья Краля'; в других же случаях они функционируют по существу как неизменяемые ПП, от которых перенимают и субстантивную сочетаемость, ср. в.-луж. *kowar Měršec Wórša* 'Ворша из семьи кузнеца Мерша' [20, 103] (по модели *kowarja / kowar Měršowa Wórša*). «Застывание» в подобном же качестве и собственно ПП в И. мн., по интерпретации Я. Гебауэра [12, 269] (иначе [11, 173]), лежало в основе форм на -oj (из -ovi) в так наз. валашском диалекте в Восточной Моравии, ср. *pole susedoj* 'поле (семьи) соседа'. Аналогично, но с опорой на И. мн. одушевленных существительных со старым окончанием */ov/'é > ie были, вероятно, образованы «семейно-притяжательные» формы на -ovie в центральной словацкой области.

Чем мотивирована такая концентрация в рамках западнославянского региона «застывших» ПП и других посессивных форм при частом восприятии ими или адъективными ПП свойственных существительному синтаксических валентностей? Этот вопрос, полагаем, должен решаться в контексте тенденции к развитию в славянских языках явлений аналитизма с учетом особых условий ее действия на территории западной Славии — в сфере исторически активной славяно-германской интерференции. Так, во многом на суть инноваций, которые были пережиты западнославянскими ПП, проливает свет сравнение с параллельным им германским генитивом.

Й. Вахек при анализе диалектных чешских форм на -ovo/-ino отметил, что образования эти, как переходные к субстантивному словоизменению, корреспондируют с английским генитивом на -'s (possessive case), для которого он констатировал исторически противоположную эволюцию. Разрушение склонения в английском, указал ученый, у изолированных генитивных форм с закономерностью вызывало переосмысление первоначальной флексии -'s в формант чисто словообразовательный: адъективный суффикс. Кажущиеся приметой генитивного прошлого форм на -'s конструкции типа *my father's house* 'дом моего отца', по мнению Й. Вахека, в синхронном плане требуют иной интерпретации — на фоне таких фактов, как *the King of England's property* 'владение короля Англии' либо даже разг. *the man I saw yesterday's son* 'сын человека, которого я вчера видел'. Здесь прослеживается ослабление противопоставления слова сочетанию слов и, с другой стороны, отрыв служебной морфемы от своей основы, что так характерно для систем аналитических языков (ср. аналогичное поведение адъек-

тивного суффикса *-ish* в случаях типа *novel-reading-old-maidish*, букв. 'романо-читающе-стародевический')³.

В меньшей степени к подобной самостоятельности тяготеет и окончание немецкого генитива (при безусловно словоизменительном статусе последнего), ср. явление так наз. «монофлексии»: *ins Zimmer unseres kleinen Karl* 'в комнате нашего маленького Карла' — но *am Hofe Kaiser Karls* 'при дворе императора Карла'. Со стороны славянских языков соответствием такого достаточно автономного показателя генитивных форм имени либо целой группы имен в зоне интерференции двух систем могло стать завершение ПП, в особенности в случае его «застывания» в монолитном комплексе типа юго-зап. чеш. *-ovo/-ino*. Впрочем, и комплексы с адъективными окончаниями здесь могли оказываться автономными и дистанцироваться от своей основы. Это отображают конструкции с ПП, образующиеся в верхнелужицкой и центральной словацкой областях, где форму на *-ov-* или *-in-* получает как бы вся группа соответствующего имени, так что флексивность остальных членов сочетания фактически становится избыточной. Ее утрату у приложений представляет в.-луж. тип *farar Šērachowe pčoty* (т. е., собственно, /*farar Šērach*/ + *owe*, ср. нем. *Pfarrer Schierachs Bienen*). Тот же фактор, видимо, обуславливает одноименную форму адъективного атрибута и ПП в структуре таких конструкций, как в.-луж. диал. *moja bratrowa žona* 'жена моего брата' [19, 101] или *we mojej nanowej za'rodži* 'в саду моего отца' [14, 16] (т. е. *we /moj nan/* + *ow* + *ej*, ср. аналогично нем. *in meines Vaters Garten*). Конструкции последнего типа отмечаются и в центральных словацких диалектах, ср. *moja mužova mat'* 'мать моего мужа', *mat'erim bratov sim* 'сын матери брата' [21, 264].

При всем параллелизме германским генитивным сочетаниям славянские конструкции с ПП, безусловно, не являются их кальками. Форма именных групп с показателем ПП благодаря его, как правило, финальному положению в сочетании, намного стандартнее. Интересно, однако, что, помимо реликтов более раннего состояния типа пол. диал. *Jaśków swagra dom* (≠ нем. *Schwager Hansens Haus*), ныне в зоне славяно-немецкого двуязычия возможны нарушения этой стандартности под немецким влиянием. Один такой случай встретился в современном нижнелужицком газетном тексте (при том, что нижнелужицким диалектам неизвестны конструкции с ПП, характеризующие верхнелужицкий ареал, кроме типа /*našo-go/ nana bračowe žiši*, который, наоборот, необычен для в.-луж. [17, 67, 71]). Ср.: *Praksa zubnego gojca jo se gano wotworiiia... jo to praksa zubnego gojcowa dr. Göllricha* (= нем. *die Praxis des Zahnarztes dr. Göllrich* [NC 16.11.1991, 5] 'Говорят, открылась практика зубного врача... — ...это практика зубного врача доктора Гёллриха'.

Органичную соотносительность с западнославянскими обнаруживают сугубо аналитические конструкции с ПП в болгарских и

македонских диалектах (и в литературных языках). Помимо конструкций типа болг. лит. *бай Ганювото пиво* — Хр 313 'пиво бая Ганю', макед. лит. *до поп-Силјановата куќа* — МР 38 'до дома попа Силяна', какие выступают и в сербско-хорватской области, здесь спорадически встречаются также примеры сочетаемости ПП с адъективными компонентами: ср. болг. лит. *скали... са вежди на Свети Илиевото чело, а двете дупки в скалите — двете му очи* — Хайт. 264 'скалы — это брови на челе св. Илии, а два отверстия в скалах — это два его глаза'; макед. диал. *от Итар Петроата куќа* 'от дома Хитрого Петра', *тройцата Итар Петрои приятели* 'трое друзей Хитрого Петра' — БНПП 423, 425 и т. п.

Примечания

- ¹ Интересно, что модель ПП + ПП вновь и вновь спонтанно порождается по крайней мере в русской детской речи. Наблюдения автора позволяют привести такие высказывания детей в возрасте от 2,5 лет, как *тетина Ленина книжка* либо даже *дядин соседин (!) домик*. Ребенок исправляет фразу Л. Н. Толстого в сказке «Три медведя» *другой (стул) поменьше* — *Настасья Петровна* на... *Настасын Петровни*, но при этом «принимает» выражение *первая чашка... была Михайлы Ивановичева*, хотя последнее сочетание, построенное по схеме Р. ед. + ПП, трактуется как форму одного имени и пытается ее подставить в контекст *один медведь был отец, звали его...*
- ² Разумеется, в живом языке — разговорном и разнообразных смежных системах — подобная сочетаемость возможна и теперь, причем на той же структурной основе, что и в давних славянских языках; ср. рус. *это не шалости детские... расшалившихся чух-то младших...* (из выступления Ю. Н. Афанасьева на III съезде народных депутатов СССР 15.3.1990). Чаще всего встречаются случаи «сохранения» несогласованных определений отыменными образованиями, а также распространителей глагольного или неглагольного предиката его дериватами. Ср. примеры из рус. газетных текстов: *ценовое замораживание драгоценного металла* («Известия» 26.2.1992, с. 2), *закрытие обменных пунктов купонов на рубли* («Известия» 25.8.1992, с. 1), *и стоимость лечения дороговато...* («Известия» 13.11.1992, с. 2), *я любил и гордился его (Львова) красотой, ни на что непохожестью* («Известия» 29.12.1993, с. 6). Аналогичное явление наблюдается и в других новых славянских языках: ср. слц. *čakacia doba na colné odbavenie* (Slovenka, č. 15 1995, s. 2), букв. 'ожидательный срок таможенного досмотра'; в.-луж. *cyle jasny serbskosć likwidatoriski kurs* (Rozhlad, č. 4 1997, s. 156), букв. 'очевидный все сербское ликвидаторский курс' и др.
- ³ Отмечая др.-англ. примеры типа *Sejanus his fall*, Й. Вахек допускал, что они отражают давнее стремление такой служебной морфемы к «лексикализации» ('s > his 'ego'). Этот тезис ученого требует уточнения. Из истории немецкого языка известны конструкции того же типа, однако с именем в генитиве (*des Knaben sein Leben*) или в дативе (*dem König Xutho sein Haus*), в которых обычно усматривают результат контаминации генитивных (именных) и дативных (глагольных) посессивных конструкций [10, 357, 638–640]. Фиксируются подобные примеры и в давних памятниках славянских языков. Конечно, нельзя исключить возможного немецкого влияния на западнославянские конструкции типа др.-чеш. *ješto*

jsú dobrých a druhdy všech lidí utrhači jich cti — Ткаді 177, букв. 'добрых, а порой и всех людей обидчики их чести' (хотя ср. в.-луж. XVII в. *z kóždého jeho erbstwow* 'с наследием каждого' как перевод нем. *mit eines jeden erbe* — SČ 36). В целом же здесь скорее проявляется дискретное построение предложения, исторически свойственное не только славянским языкам; ср. др.-рус. как... царствующій градъ Москва отъ Полскаго и отъ Литовскаго короля и отъ Полскихъ и отъ Литовскихъ людей отъ нухъ злого плѣненія очистилась — Пам. дипл. снош. (1613) [4, 172]. В данном смысле можно говорить и о «контаминированном» характере такого текста, и о «лексикализации» (местоименной экспликации) связей его частей.

Литература

- [1] П. А. Дмитриев. Притяжательные прилагательные сербохорватского языка (к вопросу об их месте в системе частей речи) // Проблемы языкознания. Уч. зап. Ленинградского гос. ун-та. № 301. Сер. филологических наук, вып. 60. Л., 1961, с. 49–57.
- [2] А. В. Исаченко. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словаким. I — Морфология. Братислава, 1965.
- [3] Р. Маројевић. Посесивне категорије у руском језику (у своме историјском развоју и данас). Београд, 1983.
- [4] А. А. Потемня. Из записок по русской грамматике. Т. III (Об изменении значения и заменах существительного). М., 1968.
- [5] И. И. Ревзин. Понятие парадигмы и некоторые спорные вопросы грамматики славянских языков // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973, с. 39–50.
- [6] С. С. Скорвид. О синтаксических свойствах притяжательных прилагательных в древнечешском языке // Вестник МГУ. Сер. 9 — Филология. 1981, № 4, с. 43–50.
- [7] С. С. Скорвид. Специфіка синтаксичного функціонування присвійних прикметників у верхньолужицькій мові (в загальнослов'янському контексті) // Проблеми слов'янознавства. Львів, 1988, № 37, с. 97–99.
- [8] С. С. Скорвид. Специфика синтаксического функционирования десубстантивных прилагательных в древнечешском языке XIV–XVI вв. (в общеславянском контексте). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1990.
- [9] Н. С. Трубецкой. О притяжательных прилагательных (possessiva) староцерковнославянского языка // Н. С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. М., 1987, с. 219–222.
- [10] O. Behaghel. Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. Band I — Die Wortklassen und Wortformen. A. Nomen. Pronomen. Heidelberg, 1923.
- [11] J. Bělič. Nástin české dialektologie. Praha, 1972.
- [12] J. Gebauer. Historická mluvnice jazyka českého. Díl III. Tvarosloví. I. Skloňování. Praha, 1960.
- [13] R. Lötzsch. Das sog. Possessivadjektiv im Slawischen, speziell im Sorbischen, und seine Stellung im System der Redeteile // Forschungen und Fortschritte. 39. Jahrgang, 1965. Heft 12, S. 377–379.
- [14] F. Miklosich. Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen. IV. Band — Syntax. Wien, 1883.
- [15] J. Petr. Posesivní adjektiva v současné polštině // Acta Universitatis Carolinae. Slavica Pragensia XIII. Praha, 1971, s. 33–44.

- [16] V. Skalička. Vývoj české deklinace. Praha, 1941.
 [17] *Sorbischer Sprachatlas*. Band 15 — Syntax. Bautzen, 1996.
 [18] J. Stanislav. Dejiny slovenského jazyka. III. Texty. Bratislava, 1957.
 [19] Z. Stieber. Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich z wyborem tekstów gwarowych. Warszawa, 1956.
 [20] H. Šewc. Gramatika hornjoserbseje řeče. 1. zwjazk — fonematika a morfologija. Budyšin, 1968.
 [21] J. Štolc. Vyjadrovanie posesívneho vzt'ahu v slovenčine a jeho slovanská súvislosť // *Slavica Slovaca*. Roč. I, 1966, č. 3, s. 259–267.
 [22] S. Urbańczyk. Zarys dialektologii polskiej. Warszawa, 1984.
 [23] J. Vachek. K problematice českých posesívních adjektiv // *Studie a práce lingvistické I*. Praha, 1954, s. 171–189.
 [24] J. Vachek. Ještě k osudu českých posesívních adjektiv. Glosa k pohybu v českém tvarosloví // *Slovo a Slovesnost*. 1972, č. 2, s. 146–148.

Источники

- Акт. ист. I — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. I. 1334–1598. СПб., 1841.
 БНПП — Българска народна поезия и проза. VI. Народни приказки. София, 1982.
 Жит. Мих. Клоп. — Житие Михаила Клопского.
 Лавр. лет. — Лаврентьевская летопись.
 МР — Македонски раскази. Скопје, 1979.
 Новг. лет. — Новгородская летопись.
 Пам. дипл. снош. — Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Ч. I, тт. 1–10. СПб., 1851–1871.
 ПЛДР I–III, V–VI — Памятники литературы Древней Руси. I. Начало русской литературы. XI — начало XII века. М., 1978. II. XII век. М., 1980. III. XIII век. М., 1981. V. Вторая половина XV века. М., 1982. VI. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984.
 Пов. Петр. — Повесть о Петре, царевиче ордынском.
 Пов. вз. Цар. — Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году.
 Сл. п. Иг. — Слово о полку Игореве.
 Сев.-рус. лет. св. — Севернорусский летописный свод 1472 г.
 Твер. лет. — Тверская летопись.
 Хайт. — H. Хайтов. Шумки от габър. София, 1977.
 Хож. Никит. — Хождение за три моря Афанасия Никитина.
 Хр. — А. Андрейчин, В. Попова, Х. Първев. Христоматия по история на новобългарския книжовен език. София, 1973.
 AlexPovA — Povídka o Alexandru Velikém, rukopis A (1433).
 ComestC — Petra Comestora Historia scholastica, rukopis C (1404).
 ČNT — České nářeční texty. Praha, 1976.
 Dal — Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila / Vyd. B. Havránek, J. Daňhelka. Praha, 1957.
 DalC — Kronika Dalimilova podle rukopisu Cambridgeského / Vyd. V. E. Mourek. Praha, 1892.
 EvOl — Evangeliař Olomoucký.
 HusSvát — Mistr Jan Hus. Česká kázání sváteční / Vyd. F. Šimek. Praha, 1952.
 Let — Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu / Vyd. F. Šimek. Praha, 1937.
 NC — Nowy Casnik.

PKB — Počtové knihy z Boce (1588–1602).

PoprRožmb — Popravčí kniha pánův z Rožmberka / Vyd. F. Mareš. Praha, 1878.

PrávSas — Knihy distinkční práva saského.

RZvíř — Rada zvířat (1528).

SČ — Serbska čítanka / Sorbisches Lesebuch. Leipzig, 1981.

TandZ — Tandariáš a Floribella, rukopis Zebererův.

Tkadl — Tkadleček. Hádka milence s Neštěstím / Vyd. F. Šimek. Praha, 1974.

Список сокращений

болг. — болгарский

В. — винительный падеж

в.-луж. — верхнелужицкий

диал. — диалектный

др.-англ. — древнеанглийский

др.-рус. — древнерусский

др.-чеш. — древнечешский

ед. — единственное число

ж. р. — женский род

И. — именительный падеж

лит. — литературный

м. р. — мужской род

макед. — македонский

мн. — множественное число

н.-луж. — нижнелужицкий

нем. — немецкий

пол. — польский

Р. — родительный падеж

рус. — русский

серб. — сербский

слепян. — слепянский

(диалект серболужицкого)

слц. — словацкий

ср. р. — средний род

Т. — творительный падеж

ц.-слц. — центральнословацкий

юго-зап. — юго-западный

Эмпирическое исследование исторического сознания подростков в Германии и России

Прологомены

Сопоставления России и Германии, в рамках которых проведено исследование, описанное в данной статье, не случайны. Они имеют свою традицию и коренятся в нашей своеобразной взаимоприятности. 75 лет назад, читая лекции в Вольной академии духовной культуры, в предыдущий краткий миг открытости русского мира, Н. Бердяев восклицал: «И как глубоко отлично строение духа русского от строения духа немецкого, — немцы — мистики или критицисты... русские люди, когда они выражают своеобразные черты своего народа, — апокалиптики или нигилисты. Это значит, что они не могут пребывать в середине душевной жизни, в середине культуры, что дух их устремлен к конечному и предельному»¹. Привычка мыслить антиномиями и восклицаниями, по словам Л. Карсавина, отличает нас от соседей. «Русского гораздо меньше, чем европейца, заботит внешняя устроенность быта. Русский хочет жить для идеи и возмущается, когда видит, что европейцы живут для *вокруг себя*»².

Сравнительный подход

Славяно-германские исследования — одна из наиболее привлекательных герменевтических областей кросс-культурных сопоставлений. Проблема сходства, узнавания себя в чужом, при всех различиях наших субъективных представлений о мире, непосредственно затрагивает некую резонансную область всеединства, по крайней мере в той степени, в какой наше самопознание уже реализовано в европоцентристском социокоде. Два полюса этого внутреннего мироощущения, несмотря на всем очевидные антиномии, осознанно и неосознанно направляются идеей двуединства, ведут неявный диалог, образующий существенную сторону духовной истории Германии и России, оставляя каждому социуму свободу быть тем, что он есть.

Этот метафизический диалог, по преимуществу, не касается «чистой» истории взаимодействия славянских и германских этносов в освоенном ими физическом времени (хронология) и в занимаемом пространстве (контролируемая территория). Он бытует в умозрительном пространстве, где есть некая подвижная отправная точка, образующая условный центр Новой истории. Механизм исторического сознания работает так, что для нас история разворачивается от этого воображаемого центра вдоль оси времени сразу в обе стороны — и в древность и в недавнее прошлое и в будущее. Более того,

будущее и настоящее актуализируются также только в сопоставлении с историческим зазеркалем, где для каждого значимого современного события отыскиваются аналоги или антисобытия как проекции из прошлого на предстоящее. С ориентацией в этом метафизическом поле исторических смыслов связана существенная сторона нашей самоидентификации и, в частности, наше теперешнее понимание модернизации.

Просчитывая ожидающие нас варианты развития, мы как бы ищем симметричные событийные точки отсчета, не только и даже не столько в собственном прошлом, но прежде всего в опыте соседних государств. Формально это могло бы быть сразу несколько стран, и, казалось бы, любая нация, однако фактически *alter ego* часто не выбирается и как бы изначально незримо присутствует в виде ориентира для обеих сторон. По целому ряду причин русско-немецкая духовно-историческая сцепка оказалась наиболее осмысленной, прочной и постоянно актуализируемой. Это позволяет объяснить, почему, скажем, историческая судьба молодой демократии Веймарской Германии сегодня многим видится как наиболее вероятный предстоящий исход российских реформ.

Другое дело, как воспринимаются исторические метафоры коллективным сознанием, насколько оправданы событийные аналогии и в какой степени возможно адекватное заимствование моделей развития. Ведь обращаясь к образу соседнего народа в поисках «*Ex Oriente Lux*» или в стремлении следовать европейским культурным образцам, мы сталкиваемся с иным строем духовного бытия. Исторические аналогии как особый способ выражения осмысленного могут игнорировать бытование разных смыслов и вообще разворачиваться в совершенно ином логическом измерении. И если вопрос о приложимости кросс-культурных аналогий не препятствует их регулярному воспроизводству, то, возможно, мы имеем дело с некими трансляционными механизмами фрагментирования, передачи и интегрирования неличных значений. Насколько действенна некая сообщаемость общего и особого для каждой культуры и для их резонансного взаимодействия? Ответ на этот и многие другие вопросы требовал конкретных страновых сопоставлений и прежде всего сравнения соседствующих типов исторического сознания на основе сбора эмпирических данных. Такая возможность представилась специалистам из Билефельдского университета (рук. Йорн Рюзен) и Российской Академии наук (рук. В.М.Немчинов) благодаря поддержке *Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft* (Немецкий фонд научных исследований).

Методология исследования

Совместная работа включала как теоретическое обсуждение нерешенных вопросов, так и параллельные полевые исследования. В область наших интересов входил европейский очаг куль-

туры. Важным отправным пунктом стал критерий человекообразности и принцип проблематизации прошлого для настоящего при определении способности к исторической ориентации. Сравнивая заложенные в европейском социокоде разнотипные способы мышления, нужно было определить конкретный предмет исследования. Из всех форм общественного сознания нас больше всего интересовала способность самоориентации во времени, событийного предвидения и постановки целей на ближайшее будущее. Эта способность институционализирована в историческом сознании, в механизмах уподобляющей связи между поколениями, где сопрягаются наследование прошлого, изменение настоящего и чаяние будущего. Объект эмпирического исследования мог включать различные слои населения, но мы остановились на подростках, взяв за отправную точку момент формирования исторического сознания, которое с возрастом подвергается неизбежной переоценке.

Первоначально мы не ограничивали круг молодежи и опрашивали выпускников школ и абитуриентов, первокурсников и учащихся ПТУ. Единая анонимная анкета включала 9 открытых вопросов, на которые можно было дать односложный или развернутый письменный ответ. Ее несомненным достоинством было непредсказуемое раскрытие личности опрашиваемых, часто заполнявших убогим почерком целую страницу текста. Трудности состояли в некоторой степени риска утраты анкет, когда их обещали вернуть заполненными на другой день, и в трудоемкой процедуре кодирования развернутых ответов. Но компьютерная программа SPSS позволила получить надежные и сопоставимые результаты, которыми мы собираемся поделиться с читателями. В настоящее время идет аналогичная работа с участием уже большинства европейских стран, помимо России и Германии. На этот раз используется единый анонимный опросник закрытого типа с пятью вариантами ответа на большинство вопросов, рассчитанный на выборку в 1200–1800 респондентов, где с помощью новой норвежской компьютерной программы NSD-stat в каждой анкете будет обработано 278 параметров. Здесь исследование исторического сознания проводится только в школах среди старшеклассников в возрасте 15 лет.

В большинстве национальных образовательных систем изучение обязательной госпрограммы по истории заканчивается в девятом классе примерно в то же самое время, когда завершается становление индивидуального самосознания личности учащихся. Поскольку историческое сознание ученика формируется массой внешкольных факторов, нам будет важно сравнить ответы учащихся с мнением учителей истории. Для этого составлен дополнительный учительский опросник. Меняющиеся школьные программы и личностные позиции учителей вносят большое разнообразие в когда-то однородные каналы передачи социально значимого знания, и сегодня даже

специалистам по школьной дидактике становится ясно, что трансляция исторического знания не сводится к заполнению пустых голов учеников информацией, освоенной учителем.

Предзнание как некая унаследованная сумма обстоятельств, как свернутый тезаурус воспринятых и латентно заложенных знаков уже несет в себе биосоциальное человеческое кодирование, воспроизводимое в контакте поколений³. В школе лишь проявляется ролевая актуализация фрагментов предзнания. Здесь историческое сознание возникает через отстранение прошлой реальности учеником как не им созданной данности. Эта данность согласно теории фрагментов знания и интерьера деятельности «должна быть принята и освоена, как она есть, без попыток критического, каузального или иного рационально-«понимающего» представления, т.е. на правах постулата, абсолюта, ...функция которого — объяснять, оставаясь необъясненным⁴. Историческая рефлексия, которую мы пытаемся с помощью развернутого анкетирования «ухватить», как-то количественно измерить и попытаться сопоставить с результатами аналогичных исследований наших немецких коллег, представляет собой «осколки смыслов», фрагменты нарратива, втиснутые в контекст стереотипы. Попробуем составить себе некоторое представление об этих интериоризированных знаках прошлого, пропущенных через индивидуальное сознание подростков и молодежи.

Имагинативный нарратив

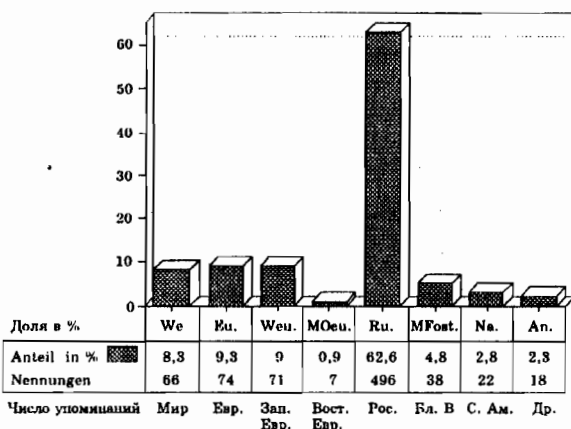
Третий вопрос открытого опросника, давая полную свободу выбора и полета фантазии, позволял подросткам совершить путешествие в машине времени, а заодно и переменить свою историческую участь. Он звучит следующим образом: «Представьте, что Вы ненадолго сможете вернуться в любое прошедшее историческое время. Тогда: — В какое конкретно время вы вернулись бы? В какое место вы бы отправились? Что бы вы там стали делать? Расскажите поподробнее, почему Вы решили туда отправиться и что бы там могли сделать».

«Я бы вернулся в 15 век. Поехал бы в Америку и жил бы где-нибудь далеко-далеко один. Я бы туда поехал потому что интересно и людей мало. И ничего бы там не делал»⁵. «...Я бы вернулась в 60-е годы. Место, в которое я бы отправилась, не изменилось, это была бы Россия. Мне очень нравится это время. Тогда жили идейные люди, которые верили во что-то, имели стимул жизни и свои идеалы. Воздвигали грандиозные стройки, которые сплавляли молодежь. Мне кажется, это было веселое время. Люди умели работать и веселиться в отличие от нас, современных людей»⁶. «В 60 гг. Осталась бы в Москве смотреть на жизнь наших маленьких мам и пап. Интересно побывать в детстве близких мне людей»⁷. «Вернулся бы к деду в деревню работать на себя и свою семью»⁸. «Лет за 5 до революции во Владимирскую губернию. Работал бы на благо Отчизны и [для] своего блага. Мои предки жили не плохо благодаря рукам и голове»⁹.

Возврат в пространство своей повседневной истории показывает одну из сторон чрезвычайно интенсивной привязанности к

своей стране большинства опрошенных¹⁰. Для нашего молодого поколения казалось бы естественным иметь высокую степень мобильности, прежде всего экономической, как это отмечается у их сверстников в Германии и других странах. Но в контексте вопроса только один школьник из 300 захотел переместиться на нынешний Запад «на неделю назад и в Америку, в Бостон или Чикаго. Гулять и развлекаться» (№ 49)¹¹. Преобладающее большинство подростков, размышляя о разных частях света, остро осознает свою историческую связь с родиной.

Россия: Территориальное распределение предпочтений¹²



Вторая особенность исторического сознания наших подростков состоит в активном стремлении переделать прошлое, вмешаться в неблагоприятный ход исторических событий. На три подвопроса о путешествии в прошлое, студент-первокурсник отвечает:

«Если все 3 вопроса взаимосвязаны, — то в 1 марта 1881 г., когда убили Александра II. Попытался бы предотвратить его убийство, хоть и не знаю, в какой роли и каким образом. Может бы не было бы ужасов XX века. Это первое, что пришло в голову. А вообще было много эпох, в которые интересно было бы пожить и не только с целью предотвращения каких-нибудь событий» № 236. «Я хотела бы быть ближе к царю, потому что я бы направила его на правильный путь. Дала бы пожить, как живут крестьяне, сделала бы его крестьянином, а потом вернула бы на его прежнее место. Он бы все исправил, если бы пожил той жизнью, как живет крестьянин» № 105. «Я бы вернулась в 1904 год, в Петербург или в Москву и постаралась бы всеми силами предотвратить революцию. Я бы не отдала Церковь на поругание. Я бы всем говорила о том, что Царь — это тот, кого мы все должны слушаться, тот, кому мы должны повиноваться. Я бы со своими друзьями сделала группу, которая ходила бы повсюду и проповедовала бы людям, как надо жить. Что надо быть смиренными и повиноваться во всем Царю — отцу нашему. А почему бы я все это делала, потому что результаты революции не привели к лучшему. Из-за слишком долго строящегося коммунизма наша страна превратилась в нищую страну. Люди (большинство) пре-

вратились в быдло. Сейчас у нас столько нищих, сколько не было до революции. Люди злятся друг на друга, из-за куска колбасы... глаза готовы друг другу выпарапать. Культура низко упала. Где же Россия, величественная и мужественная страна?»¹³ 1916. Петербург — наблюдать за происходящими событиями, потому что меня интересуют эти события. Я бы ничего не могла сделать, а просто бы наблюдала» № 252.

«Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы отправилась в Москву XIV в., во времена правления кн. Симона Ивановича Гордого. И я постаралась бы убедить его отделаться от митрополитного наместника Алексия. Изучая этот период, я пришла к выводу, что именно вмешательство Алексия (в меньшей мере митрополита Филарета) положило основу политическому монстру непонятно какой формации, называемому Российской империей. Политика же самого кн. Симеона была прямо противоположной и, в случае осуществления всех его планов, привела бы к созданию или чисто европейского государства, или очень похожего на Японию (с таким же путем развития). Вмешательство же Алексия в политику, на мой взгляд, положило начало обрыву культурных связей России и с Европой и с Ордой. Отделение Залесья от Руси Киевской (а не Куликовскую битву и т. п.) следует праздновать как день рождения России...» № 247.

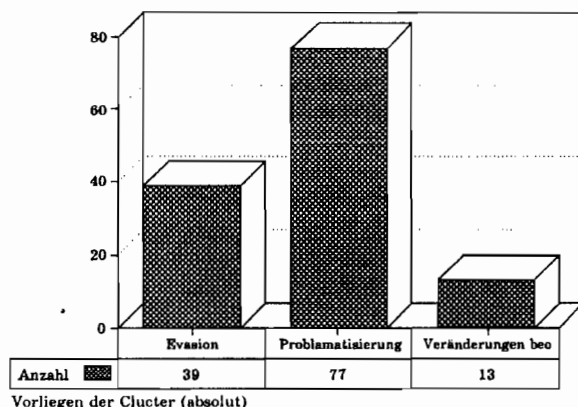
«Мысли мои переносят меня в эпоху глобальных изменений, я закрываю глаза... и вот уже иду в тяжелых кирзовых ботинках. обмотках, в рваной и сырой шинели с массивной трехлинейкой за спиной. Да, раньше этот город называли Санкт-Петербургом. Теперь это Питер, и что-то пошлое исходит от этого названия, и от людей в шапках с красными околышами и грубых, пропитых физиономий, которые шаркают по Невскому, смачно сплевывают и, матерясь, жадно затягиваются... Вот из переулка выныривает черный, лакированный автомобиль, по кепке и характерному прищипу я узнаю вождя большевиков — Ленина. Я вскидываю винтовку, и ни капли не раздумывая, спускаю курок. Мозгами и кровью забрызгано все ветровое стекло» № 246¹⁴.

Эта попытка переделки хода исторических событий, воплощенная в образном, энергичном нарративе, дает представление о характерной черте нашего восприятия прошлого. Суть исторического сознания в формировании очерченного круга достоверных смыслов, воспринимаемых как ориентир для конструирования очень многих сегодняшних ответов. Достоверность выступает в роли необходимого предварительного условия и вовсе не чуждается соседства взаимоисключающих смыслов. Ее знаковая функция рассчитана на санкционирование соотнесенных представлений о будущем. Несомненно, что перспективы развития России и в другие периоды нестабильности в очень большой степени определялись стремлением отбросить традиционное наследие и начать жить заново.

Пограничное и периферийное положение страны объективно смещает вектор социальных предпочтений, вынося его за пределы собственной истории, заставляет обращаться к заимствованию опыта соседних народов. Выбор образца непрост. Он не нацелен на Восток или Юг, не обращен он и к малым странам Европы. А если в опыте *alter ego* не все нам подходит, то по нашей апокалиптической логике мало что вообще может быть реально заимствовано. Так возникает и закрепляется ситуация «дурной бесконечности» несобственной проживаемой истории, где всякий раз за эйфорией чрезмерных упований наступает реакция отторжения культуры. Тогда ме-

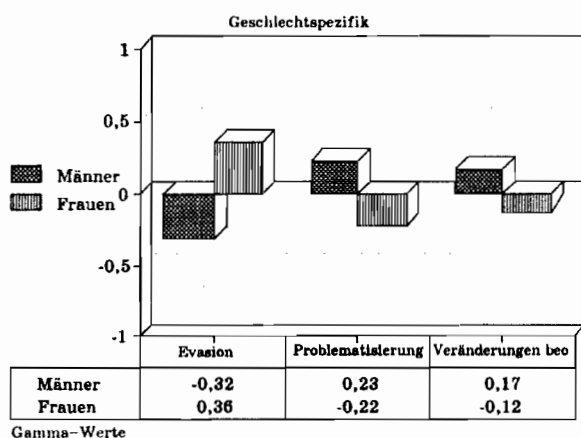
нее весомые два других способа восприятия — остранинное наблюдение (созерцание) и пассивный уход от реальности в сумме оказываются выше потенциала реформ.

Типы интерпретации прошлого



Анализ типов интерпретации прошлого с помощью графиков гамма верте наглядно показывает значительные отличия в предпочтениях юношей и девушек.

Распределение типов интерпретации прошлого среди юношей и девушек

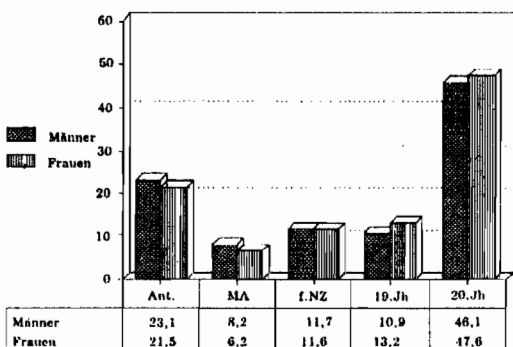
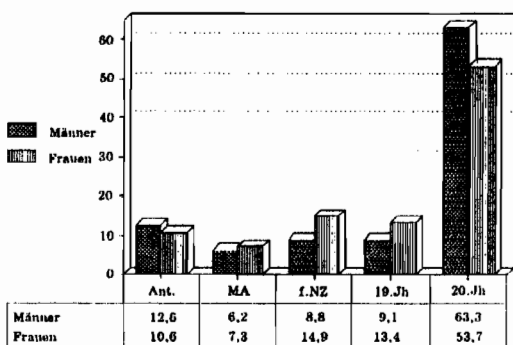


Этот график в новом ракурсе раскрывает малоизученную у нас область женской истории. Мир деятельности и мир обще-

ния для очень значительного числа девушек оказывается разделенным. Настоящее повернуто к ним враждебной стороной, и обращение к прошлому служит своеобразной защитой, «тихой гаванью», способом бегства в желанный, но недоступный мир общения. Послушаем их голоса:

«Я бы отправилась в 18 век. в период, когда царствовал Людовик XIV. Там бы я пыталась стать богатой, заслужить доверие короля и попасть в Версаль... Что бы я там стала делать? Это нескромный вопрос. Пусть это будет моя маленькая тайна» № 67. «Я вернулась бы в XVI–XVIII вв. во Францию. Естественно в Париж или в Версаль...» № 39. «Я бы мечтала отправиться примерно в 1860–50 годы, и я вообще бы не хотела возвращаться сюда... я хочу побывать где-нибудь в Версале... Что бы я там стала делать? Это коммерческая тайна. Прошу прощения, что я так кратко написала о своих мечтах, если бы я стала рассказывать все подробно, не хватило бы книги!!» № 66. «Хотела бы попасть во Францию царствования Людовика XIV. Хотела бы стать придворной дамой, фрейлиной королевы, т. к. я по характеру очень авантюрна и люблю приключения, а этот период истории наиболее ими насыщен» № 25. «В средние века, во Францию, Хотела бы стать королевой» № 150. «Я бы возвратилась в XVIII–XIX век в Южную Америку. Была бы доньей, дамой средней руки — героиней Торонтон Уайлдера. Не думаю, что я принесла что-нибудь полезное или что-то целенаправленно «делала». Я просто получаю почти физическое удовольствие от латинской флейты, от испанского, от... Наверное, рожала бы детей и занималась интригами» № 258. «Местом, в которое я могла бы попасть, скорее всего оказалась бы Франция. На вопрос, что бы я там стала делать, ответить гораздо труднее. Просто мне нравятся эти века своей неповторимой романтикой» № 163. «...в 18 век, во Францию или Италию. В Италию потому, что в это время там создавались прекрасные архитектурные памятники, а во Францию потому, что в это время во Франции были изысканные обычаи и шикарный королевский двор. А в основном потому, что я хочу почувствовать эту старинную атмосферу особенного отношения между людьми, которая сейчас утрачена» № 68. «Вернулась бы в 17 век, во Францию. Мне очень нравится этот исторический период своим расцветом культуры, возможностью проявить себя в различных сферах жизни» № 160. «...В те времена отношение к женщине было совсем другое. Да и вообще, по-моему, жизнь раньше была интереснее» № 179. «В те времена было [такое] понятие, как благородство. Сейчас это слово потеряло свой смысл» № 80. «Я хотела бы вернуться в 19 век, где уважали женщину, ее боготворили, не то, что сейчас» № 41. «Это роскошное время, время открытий, время воли, время, когда жили великие люди, ...когда люди верили в изменение жизни и изменяли ее сами» № 61. «Ну, если немного пофантазировать и окунуться в романтику, то я хотела бы во времена мушкетеров и придворных дам, когда, судя по книгам, было столько благородства и приключений (что меня всегда привлекало), то я наверно и не вернулась бы оттуда» № 178. «Я хотела бы попасть в средние века, когда люди были более высоконравственными, чем теперь. Хотела бы, чтобы меня окружали рыцари в полном смысле слова. Я хотела бы быть чьей-нибудь дамой сердца, чтобы из-за меня сражались на дуэлях и все такое прочее» № 157¹⁵.

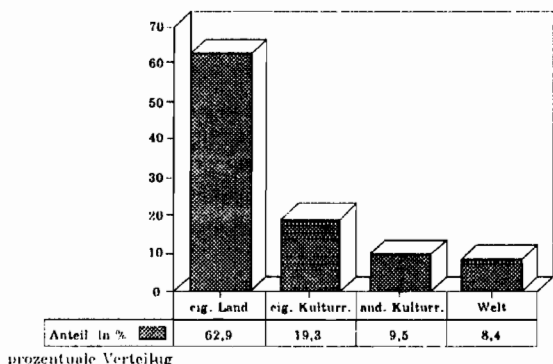
Сопоставим теперь распределение интереса к различным эпохам у подростков в России (верхний график) и Германии (нижний график).



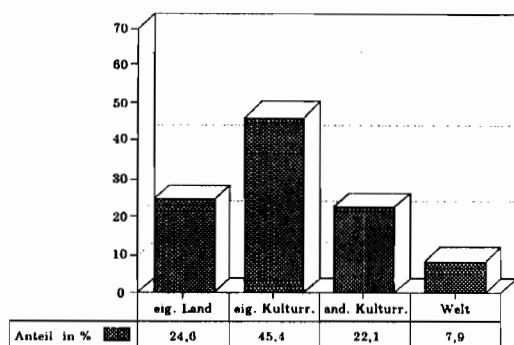
В это соотношение входит общее сопоставление упоминаний, предпочтений и интереса к основным этапам мировой цивилизации, и мы видим здесь весьма значительное общекультурное сходство в использовании общих знаков культурной идентичности.

Несколько иначе обстоит дело с пространственно-культурной самоидентификацией.

Россия. Самоопределение в культуре и мире



Германия. Самоопределение в культуре и мире



На этих графиках наглядно видно, что самоидентификация русских подростков по «привязке» к своей стране встречается более, чем в два с половиной раза чаще, чем у немцев. И примерно такая же разница, но с обратным распределением частотности, наблюдается в отношении культурной идентичности. Для немцев она гораздо важнее привязанности к территории. Более того, цивилизационная открытость внешней, мировой культуре для них также важнее, чем для нас¹⁶. Одинакова для немцев и русских лишь степень идентификации своего я с пространством внешнего мира. Но если для нас культурная сопричастность миру примерно совпадает по интенсивности с пространственной, что характерно для русского восприятия всечеловечности, то для немцев этот «интеллигентский» критерий оказывается гораздо более значимым. Здесь явно видны результаты послевоенной европейской интеграции, что нисколько не препятствует им ощущать себя немцами.

Российская пространственно-культурная отъединенность от внешнего мира, замкнутость границ, искусственно навязанная системой, противопоставлявшей себя миру, не ушли из коллективной памяти. Все перестроечные процессы, несмотря на долгожданное избавление общества от догматического диктата окаменелой идеологии, не смогли внести хоть какой-нибудь вклад в подъем культурного самосознания общества. Психологические, нравственные, мотивационные установки, сам тип мышления и в постперестроечный период оказались направленными на самосохранение, на выживание, где человеку отводится функция безликого носителя ролей. Разрыв между достижимыми целями ближайшего будущего и конечными целями собственного существования еще слишком велик для того, чтобы заработал новый механизм социального обновления. По-прежнему культурная самоидентификация остается чем-то незначительным и даже маргинальным в нынешней шкале ценностей. Это относится и к внешней и к внутренней культурным сферам.

В условиях новой культурной стагнации в коллективном сознании продолжает укрепляться прежняя пространственная самоидентификация, сохраняющаяся, несмотря на наличие серьезных смысловых сдвигов внутри универсально-понятийной системы. На предыдущем графике отчетливо видна тенденция к самоидентификации по супранациональному признаку. Это та самая общность, которая определяла внутреннее самочувствие людей, да и само понятие «народ» в течение последних десятилетий. Эта нравственная общность оказалась гораздо более износоустойчивой, чем переделанные новыми политиками советские административные границы. Она остается невостребованной на макроуровне, но сохраняется как устойчивая реферативная точка отсчета даже у подростков, которые представляют первое постсоветское поколение.

Наряду с этим кросс-культурное сопоставление результатов опроса показывает, что национальность в России намного менее связана с принадлежностью к социуму, чем в Германии. Социум в глазах подростков гораздо более тесно связан с субнациональной принадлежностью к своей команде, своей школе, своему району и семье. Тем не менее есть и другие обстоятельства, влияющие на удельный вес в соотношении субнациональных, национальных и супранациональных критериев самоопределения личности. Федеративный характер общества, несмотря на унитарную государственную политику и преобладание политического центризма, не акцентировал национальную привязку индивидов. Национальное как бы растворялось между интернациональным и субнациональным. Преобладание субнационального критерия в стереотипах молодежного самоопределения в России оказалось выше, чем в Германии, но в обоих случаях можно полагать, что эти весьма высокие показатели будут с возрастом снижаться.

Завершая этот краткий обзор результатов исследования, мне хотелось бы отметить, что они относятся только к одной возрастной категории и, разумеется, не должны автоматически распространяться на остальные слои населения. Для обобщенных оценок требуются гораздо более широкие эмпирические данные. Нас же интересовала молодежная среда, связанная с образовательной системой. Здесь в наиболее чистом виде можно было наблюдать преемственное воспроизведение людьми ориентиров, актов и ситуаций общения, образующих единый социальный контекст исторического сознания.

Примечания

¹ Н. Бердяев. Мирозерцание Достоевского. Paris, 1968, с. 13.

² Цит. по: А. Ванеев. Два года в Абези // Минувшее, № 6, М., 1992, с. 130.

³ См. подробнее о тезаурусе лингво-знаковой относительности: Б. Уорф. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.

- ⁴ М. К. Петров. Язык, знак, культура. М., 1991, с. 35.
- ⁵ Студент 18 лет, № 140. Этот и ряд следующих ответов были получены на излете перестройки весной 1991 года, когда уже чувствовались все тяготы трансформации, и старая система, изо всех сил демонстрируя эластичность, силой своей инерции продолжала жестко ограничивать реализацию личностных прав. Усталость бессилия и стремление уйти от пресса повседневности были отмечены примерно в 10% ответов.
- ⁶ Учащаяся техникума, № 184.
- ⁷ То же, № 183. Здесь, как и в № 211, несмотря на идентичность выбора времени и родственного пространства, на первый план выходит автономное видение ценностей прошлого, обращение к себе, к своему приватному миру, (позиция выраженная лапидарным: «Я бы никуда не отправился, а остался, где живу» № 110, № 134, 190), к жизненной конкретике в отличие от мировидения шестидесятников, где абстрактный знак «коммунизм — это высший интим на свете» был доминирующей реферативной точкой отсчета.
- ⁸ № 334.
- ⁹ № 174. Возврат в мир сельской общины характерен преимущественно для ребят, ставших городскими жителями во втором поколении.
- ¹⁰ В наиболее чистом виде, уже без привязки к конкретной исторической эпохе хотят найти в прошлом приют юноша и девушка, уставшие от сегодняшних трудностей жизни: «Вернулся бы в первобытнообщинный. Собирал бы корешки, ел травку. Завел бы жену. У нас было бы много детей. Никаких забот и проблем. Построил дом на лесной поляне» № 200. «Я хотела бы вернуться в счастливое, спокойное любое время и поехать в любую страну без ежедневных проблем и страхов. Ничего бы не делала. Любила бы мужа и растила бы детей. Так хочется покоя и счастья» № 126.
- ¹¹ В сходном культурном пространстве видят себя еще два любителя рокмузыки из Подмосквы: «Если честно, я являюсь страстным поклонником Элвиса Пресли. Поэтому я отдал бы многое, чтобы получить возможность присутствовать на каком-либо его концерте» № 13. «В Америку к группе Metallica в 1996 г. стучать на ударных. На запись их нового альбома. Это моя любимая группа» № 102.
- ¹² Прилагаемые графики подготовлены в Центре междисциплинарных исследований при любезном участии студентов исторического факультета Билефельдского университета Бернхарда Ханенкампа и Клауса Гроссе-Крахта.
- ¹³ № 155. Этой 14-летней школьнице с более светских позиций вторит студентка: «Вернулась бы в годы революции и наверное сделала бы так, чтобы к власти большевики не пришли... Мне кажется, что программа меньшевиков была лучше и можно было бы верить ей. И опять, может быть, не было бы того совершенного хаоса в стране, которая до времен революции была процветающей, и нам не привозили всякой помощи из других стран, а наоборот — Россия кормила половину Европы» № 196.
- ¹⁴ Этому яркому повествованию истинно русского мальчика вторит школьница, которая хочет своим рассказом от лица будущего уговорить мать В. Ленина сделать аборт (№ 138), и студент-гуманитарий, который собрался отправиться «прежде всего, конечно же, в 1870 г. в г. Симбирск, где поступил бы с семьей Ульяновых так же, как один из их сынов с царской семьей, т.е. прибил бы всех их. Для чего это нужно? Россия не подверглась бы тем изменениям и не очутилась бы в той пропасти, куда ее затянули большевики... А так по

мелочевке — хотя бы вернуться в сентябрь 1991 г. и предупредить Фокина, что он забьет гол в свои ворота в матче с «Ромой» № 259.

- 15 Только один молодой человек оказался способным соответствовать этому потоку требований романтики. «В средние века, во Францию крушить рыцарей и завоевывать любовь принцесс» № 47. В этой серии всего один ответ «Россия, времена Петра I. Была бы гувернанткой его детей» № 152 и № 80 связаны с пространством своей страны.
- 16 Это ощущают и наши респонденты. Пятнадцатилетняя московская школьница так предлагает установить официальный памятный день: «Отмечали бы день убиения Ромулом своего брата Рема. Очень важное событие, знаменующее отход италиков от дурной привычки подгонять свои слова под придуманные неизвестно кем условия, привычки и обстоятельства. Кроме того, этот день — день правил без исключений и закона для всех. То, чего нам исторически очень не хватает» № 82.

Г.-Г. Нольте, Б. Эшмент, Й. Фогт. Образование наций к востоку от Буга. Ганновер, 1994. 218 с.

[H.-H. Nolte, B. Eschment, J. Vogt. Nationenbildung östlich Bug. Hannover, 1994. 218 S.]

В конце 1994 г. в Германии вышла в свет книга «Образование наций к востоку от Буга». Монография издана в Ганновере Нижнесаксонским земельным центром политического образования под редакцией Д. Шторха и В. Мейса. Данное сочинение принадлежит перу трех авторов — Г.-Г. Нольте, Б. Эшмент и Й. Фогта. Основным автором является Г.-Г. Нольте, которым была проведена также работа над сведением трех авторских рукописей в единое целое.

Г.-Г. Нольте (1938 г. рожд.) является профессором Ганноверского университета и плодовитым исследователем истории Восточной Европы. Среди его работ такие сочинения, как «Религиозная терпимость в России в 1600–1725 гг.», «Дранг нах остен»: Советская историография германской экспансии на Восток», «Групповые интересы и внешняя политика: СССР в истории международных отношений», «Этот единый мир: Очерк истории международной системы». На его авторском счету также организация и составление сборников, например, «К критике историографии» (издаются в Геттингене с 1981 г.); «Человек против человека: Нападение Германии на Советский Союз. Размышления и исследования» (1992), «Миграции немцев: Чужаки в Германии, немцы — на чужбине». Есть у Г.-Г. Нольте публикация и на русском языке: это статья «Сомнения в тоталитаризме», увидевшая свет в журнале «Век XX и мир» (1994 г., № 5–6).

Соавторы Нольте — молодые историки Ганноверского университета Б. Эшмент и Й. Фогт. (На с. 10 книги указаны опубликованные труды этих начинающих исследователей.)

Книга посвящена феномену государственно-политической трансформации царской России в Советский Союз, а затем в постсоветскую Евразию. Г.-Г. Нольте считает, что западное общество проявляет недостаточное внимание к тем движениям, которые способствовали прекращению существования СССР. Предлагаемое им исследование является важным и с точки зрения изучения Восточной Европы, и для понимания перспектив мирового развития в целом. Почему, формулирует Нольте «сверхвопрос» книги, после краха социализма его место заняла не западная модель развития, а «национальные и даже националистические общества?» (с. 8).

Рецензируемая книга — своеобразный, энциклопедического охвата, очерк «царско-русской», советской и постсоветской действительности, который сопровождается историческими экскурсами глубиной в 100–200 лет (по-разному для разных регионов). Он написан на основе информации западных СМИ, особенно германской прессы, ряда российских центральных и московских газет и журналов (это, к примеру, «Российская газета», журнал «Свободная мысль» и др.). Использована многочисленная историко-политологическая литература на немецком, английском, русском языках, а также статистические издания СССР и РСФСР. Среди отечественных авторов — имена А. Солженицына, М. Гелфтера, В. Гроссмана, Л. Дробижевой, Н. Цимбаева, а также глав нашего государства в разные периоды его существования.

Вступительное слово Нольте к монографии датировано июнем 1994 г. (один из последних хронологически фактов — смена лиц на посту министра по делам национальностей, май 1994 г.). В основном же изложение завершается подведением итогов выборов в новый законодательный орган России — Федеральное собрание и результатов референдума по конституции, то есть событий декабря 1993 г. (См. табли-

цу 7 «Парламент России: структура двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы», с. 93 книги).

Книга авторского триумвирата, возглавляемого Нольте, содержит чрезвычайно богатый фактический материал. Но очень важна в ней и теоретическая часть, которая состоит из «Дефиниций» (с. 10–12), главы «Нация и национализм в Западной Европе» (с. 12–22) и Заключения (с. 214).

Нацией в книге называется «государство, которое основывает свою легитимность на консенсусе граждан» (с. 10). Национализм определяется как характер некоторого движения, которое в первую очередь ориентировано на благо нации. В понятийном аппарате исследования — «радикальный национализм», «языковый национализм», «этнос», этнорелигиозные и этносоциальные группы, «интегративное национальное государство» и другая общественно-политическая и научная лексика наших дней.

Каковы же основные положения главы «Нация и национализм в Западной Европе»? Возникновение наций — в вышеуказанном смысле — авторы связывают с усилением роли информационно-управленческих процессов в европейском обществе, возрастанием его комплексности. Рост значения передаваемой информации совпал с изобретением книгопечатания. Национализм, возникавший в Западной Европе, приобретал часто некое религиозное значение, был возмещением потерь эпохи всеобщей секуляризации. «И там, где в классной комнате раньше висел крест, теперь находилось знамя» (с. 12).

Становление новых воззрений, пишут авторы, не было легким. И в дискуссии между Кантом и Гердером, и в полемике времен Французской революции выявлялись противоречия между указанной концепцией «нации» и идеями Просвещения. В начале XIX века заявил о себе экономически мотивированный национализм. Его глашатай политэконом Ф. Лист вызвал в 40-е гг. критику со стороны К. Маркса.

В первой трети XX века большое значение имела появившаяся после Первой мировой войны значительная работа французского социолога М. Мосса (1872–1950). Этот автор проводил различие между государством и нацией, а нацию определял не по языку, а по стабильности, экономической и моральной самодостаточности, а также наличию демократических институтов в обществе (с. 15). Теория Мосса сформировалась на материале Западной Европы, а в Восточной Европе отличительным признаком той общности, которую тоже называли нацией, становится язык.

Крупнейший в этом регионе теоретик национальных проблем Т. Г. Масарик был очень непоследователен, считают авторы. То он, мол, поднимался в своих воззрениях до гуманистических высот, то опускался до цинизма, как это имело место в отношении судетских немцев. Постулируемая непоследовательность отнюдь не была отличительной чертой этого мыслителя (и первого президента Чехословакии), но характеризовала вообще ситуацию в Европе после Первой мировой войны.

Авторы книги считают, что страны-победители вообще признавали право на самоопределение народов только там, где это ущемляло немцев. Такая политика усилила в Германии, считают они, биологизаторскую интерпретацию этносов, приведшую германский национализм к социал-дарвинизму, который, в свою очередь, породил в Европе беспрецедентную катастрофу — Вторую мировую войну.

В многочисленных дискуссиях национально-политического характера после Второй мировой войны авторы книги отмечают идеологические построения прибалтийского немца Р. Виттрама и чехословацкого эмигранта К. В. Дейча. Дейч развил концепцию «государственной нации», центральным понятием которой является «коммуникация». О нации, по Дейчу, можно говорить после достижения элитой этнической группы государственной власти (с. 17). Типичные носители национализма — это различные группы интеллигенции. Рабочие сегодня, считают авторы, «тоже, впрочем», далеко не интернационалисты (с. 19–20).

Очень важно, как оценивают авторы последнее десятилетие. Оно, с их точки зрения, характеризуется прекращением конфронтации «Восток-Запад». В результате этого в развитии мировой цивилизации наблюдаются большие успехи, что служит во благо только что образованных в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии национальных государств. Но, подчеркивают авторы, складывающаяся «благоприятная ситуация» еще очень непрочна. Да и сами новорожденные национальные государства могут провоцировать конфликты несоблюдением прав национальных меньшинств на своей территории (с. 21).

Вслед за теоретической частью в книге следуют несколько компактных исторических и политологических глав, построенных по хронологическому принципу. В рамках сравнительно небольшого объема в 15–20 страниц авторы сжато воссоздают этнодемографическое и национально-политическое развитие в отдельные исторические периоды. Им удается это благодаря использованию двойного приема — опоре на обобщенные факты из западной и советской (затем российской) историографии, а также методу «примеров», «иллюстраций», когда в каждый новый хронологический период исследователи обращаются к нескольким ранее уже рассмотренным регионам или этносам.

Так, двадцатистраничный экскурс «Российская империя и национальный вопрос» состоит из десяти кратких, в две-три страницы, вступительных зарисовок. Это сжатые справки «Прибалтийские немцы», «Эстонцы», «Латыши», «Грузины», «Коми-зыряне и другие народы Севера», «Татары», «Население Центральной Азии», «Евреи», «Российские немцы».

В этой главе авторы приходят к выводу, что в Российской царской империи процесс образования «наций» начался во второй половине XIX века у западных (протестантских и католических) этносов. Он протекал в оппозиции к русификаторской царской бюрократии.

Главу дополняют следующие таблицы:

- «Характеристика некоторых этнических групп Российской империи по состоянию на 1850 г.» (позиции: регион, язык, религия, основные виды деятельности) (с. 28);
- «Этнические группы Российской империи в 1897 г.» (позиции: сословия и профессии, в % от численности этноса) (с. 41);
- «Численность некоторых этнических групп в Российской империи, затем в СССР, по языковым группам, 1719–1989» (представлено 7 хронологических срезов с данными об использовании родного языка в качестве языка общения) (с. 213).

Следующий раздел книги — «Социализм и национальные революции». В нем рассказано о том, как «вопреки собственным воззрениям и против всех ожиданий» «монопольная социалистическая система» после 1917 г. пошла по пути образования национальных государств. В двадцатые годы этого века бурно развивалась, как ярко демонстрируют авторы, школьная и вузовская системы образования отдельных этносов. Однако возникшие в конце XIX века — первой трети XX века национальные элиты позже были уничтожены сталинским режимом. Спустя годы в республиках Советского Союза и автономных республиках и других образованиях РСФСР сформировались новые региональные элиты. Они-то, в конечном счете, и привели к распаду СССР провозглашением суверенитета республик.

В предложенных фактографических «примерах/иллюстрациях» авторы позаботились о качественном разнообразии анализируемых регионов. Благодаря этому в каждой хронологической главе книги излагается история одной из республик с «христианским фоном», затем — из исламского региона, плюс какой-либо национальности, имеющей центр в автономной «титულной» республике, а также какой-либо национальности дисперсного расселения по территории всего Советского Союза (с. 55).

В этой части о первых десятилетиях существования советской власти особенно ярко написан, с нашей точки зрения, параграф о развитии событий в 20-е годы в Средней Азии (см. раздел 5. 5. 4), — о попытке использования новой властью «турецкой карты» и о роли предпролетариата, предложенной мусульманским женщинам в ходе социалистической революции на Востоке (с. 58–61).

Положение этносов с дисперсным расселением раскрывается через историю российских евреев и российских немцев. Статистический материал сведен в следующие таблицы:

- «Степень урбанизации больших этнических групп» (с. 54);
- «Доля русских в населении республик и различных группах интеллигенции» (с. 71);
- «Уровень рождаемости в советских республиках в 1940 и 1974 гг.» (с. 163).

Шестая глава «От Второй мировой войны к перестройке» состоит из параграфов «Шок Второй мировой войны», «Поздний сталинизм и первые реформы», «Реакция и рецентрализация», «Новая попытка реформ и развал СССР». В эскизной манере авторы книги перечисляют жесткие факты из перечня недавних «белых пятен». Здесь упомянуты поиски гитлеровским руководством союзников среди лидеров некоторых национальных движений (с. 68), сталинские депортации военного периода (с. 69), затем период краткой реабилитации в 50-е гг. Отмечены зигзаги государственной национальной политики после смещения Н. С. Хрущева.

Завершают книгу страницы о национально-политическом развитии СССР с 1989 г. Авторы рисуют сложную картину динамичного развития последних лет. Они фиксируют как примет времени историзм — настойчивое обращение интеллигенции к истории и историческому сознанию — разгара перестройки (с. 95). Обращают внимание на парадоксы представительных квот для съездов народных депутатов СССР (с. 75). Ими показан как значительный фактор перестройки «русский национализм» с его деревенской прозой и журналами «Наш современник» и «Молодая гвардия». Отмечено такое явление «правого экстремизма», как общество «Память» (с. 97–99). Дается перечень появившихся до 1994 г. — момента завершения текста книги — пока еще немногочисленных болевых точек на территории советских республик. Это были, как помним мы и теперь, Сумгаит, Ош, Фергана, — точки на карте, ставшие «понятиями» не только географическими, но и политическими, политико-культурными.

Наверное, не только немецкому читателю, но и отечественному читателю отечественных центральных газет, из которых мало что неформального можно узнать о жизни российских регионов, будут интересны описания событий в «примерных» (в указанном выше смысле) регионах России.

Так, республика Коми характеризуется как яркий пример того, что «русское большинство, представленное в руководстве еще отчетливее, чем в целом в населении, использует наличную территориальную структуру, первоначально устроенную по этническим критериям, как инструмент для развития „федералистской структуры“ или, во всяком случае, для возведения дистанции между своей судьбой — и судьбой Центра» (с. 108).

Значительное внимание уделено обострению ситуации уже в указанный период на Северном Кавказе. В центре изложения — актуальные события 1989–1993 гг. — начало конфликта между двумя соседними республиками, Северной Осетией и Ингушетией, затем — противостояние Чечни и центрального правительства. Упомянуты новые для того периода имена (например, президента Конфедерации народов Кавказа Мусы Шанибова, арест которого вызвал волнения в Кабардино-Балкарии (с. 111) или «харизматического генерала в отставке Д. Дудаева» (с. 111), в результате президентства которого Чечня не принимала участия в референдуме по консти-

туции 1993 г. и выборах в Федеральное собрание (декабрь 1993 г.). Здесь, как и при изложении развития российских немцев в последние годы, приводится (очень редкая в суммарном виде и поныне, в 1999 г.) информация о новой форме национально-политического утверждения этнических элит. Речь идет о проведении «от имени» конкретных этносов «съездов народов». В монографии называются, например, конгресс горских народов Кавказа в августе 1989 г. в Сухуми, чеченские национальные конгрессы.

Данная национально-политическая или национально-культурная форма была охарактеризована автором данной рецензии в ходе научной конференции в Институте славяноведения и балканистики РАН летом 1993 г. (См. нашу статью «Славянский съезд 1848 г. в Праге и некоторые проблемы современного национального развития»; в сб. «Славянские съезды XIX–XX вв.». М., 1994). В сентябре 1995 г. на конференции в МГУ им. Ломоносова нами было констатировано на основании личного банка информационных данных следующее: «В современном движении по проведению этнических конгрессов участвуют представители около 30 этносов России (всего в современном мире, по нашим данным, — в движении этнических конгрессов участвует не менее 50 этносов». (В сб. «Интеллигенция в условиях общественной нестабильности». М., 1996.)

В кропотливой фиксации этого вида съездов нам видится и научная добросовестность, и прозорливость зарубежных авторов.

Еще один регион, постоянно вызывающий интерес авторов монографии, — Татарстан. В отношении него авторам важны два факта. Во-первых, высокая, почти половинная, доля русских в населении республики, во-вторых, бурное развитие татарского национального движения. Большой процент постоянно живущего в республике русского населения (у Нольте — 43,3%) исследователи из Ганновера объясняют не только долгой совместной историей двух народов, но и, прежде всего, интенсивной индустриализацией республики в послевоенное время. Татарский национализм, считают авторы, отличается от кавказского или среднеазиатского «в лучшую сторону». Однако и он привел к «„очень энергичным“ дискуссиям в прессе» (эвфемизм из лексикона научного триумвирата) на темы исторического прошлого татарского народа «Кто мы: татары или болгары?», а также к демонстративным национально-политическим акциям. (Ими стали, например, регулярное проведение с 1989 г. Дней памяти по случаю взятия во времена Ивана Грозного войском Московского государства столицы Казанского ханства, а также свержение в 1992 г. в Казанском кремле исторических символов российского господства) (с. 114). Кстати сказать, на обложку книги вынесено изображение короны Казанского ханства XV–XVI вв. (украшенной, помимо прочего, металлической вязью образцов древней каллиграфии), которую воочию можно видеть в старейшем российском музее, сокровищнице московского Кремля — Оружейной палате. Результаты процесса национального Возрождения — во-первых, новое самосознание («гордость быть татарин»), во-вторых, слабое участие в выборах и референдуме по конституции в декабре 1993 г.

Эти, как и многие другие содержащиеся в книге, сведения приводят авторов к выводу: в настоящее время Россия находится «на нестабильной промежуточной ступени между федерацией и конфедерацией. Влияние московского центрального правительства в отдаленных частях страны очень мало» (с. 91). В книге «уже тогда» ставился вопрос: не продолжится ли состоявшийся распад СССР дальше — в рамках Российской Федерации. Ответ на него не был ясен авторам, равно как и то, по какому из существующих в мире и обозначенных ими в начале книги путей развития пойдет Россия — будут ли образованы новые нации-государства (например, Татарстан, Коми) или же РФ будет становиться «нацией» в смысле «конфедерации Гельвеции», то есть полиэтнической федерации по типу Швейцарии.

В резюме книги ее авторы возвращаются к теоретическим дефинициям вступления и делают вывод относительно всего геополитического пространства бывшего СССР. Он гласит: восточнее Буга пока не произошло образования наций в смысле той концепции государственно-политического развития, которая была сформулирована Моссом на примере Франции в 1920 г. Тот же редуцированный вариант западноевропейской нации, который утверждается в различных регионах постсоветского пространства, очень близок по типу к германскому национализму. Хотя «осуществляемое соответствие» национального языка и новой государственности облегчает общественно-коммуникативные процессы, все же оно не разрешает остальных проблем. В итоге в таком обществе в целом не происходит образования новых элит демократического рода, не наступает культурная гомогенность общества, не растет и экономическое благосостояние. Более того, утверждающаяся модель легко приводит к возникновению войн из-за государственных границ.

Итак, значительность темы, укрупненные факты, лежащие в основе авторского изложения, делают чтение книги достаточно интересным. Трансформация указанного ареала Евразии понимается как действие, лежащее в русле развития Европы последних 200 лет, — со времен Французской революции конца XVIII века. Следующие важные этапы этого процесса — «Весна народов» 1848/49 гг. с быстро последовавшим объединением Италии и Германии, затем государственная реорганизация Центральной и Юго-Восточной Европы после 1918 г. и, наконец, полоса новых провозглашений государств в 1989–1991 гг. во всей Восточной Европе, особенно к востоку от Буга.

Удивляет, правда, что авторы не замечают четкой ритмичности этого процесса, почти не обращаются к теоретикам советской эпохи, что ими обойдена вниманием огромная дискуссия о взглядах Маркса и Энгельса по национальному вопросу и судьбах центральноевропейских народов. Очень жаль, что трудности соединения трех частей текста воедино лишили книгу — немецкую! — сводного указателя имен и географических названий. Конечно, желательно уточнение некоторых дат, извлекаемых из периодики, неизбежным свойством которой является по объяснимым причинам «периодическая» приблизительность.

Книга, предназначенная для немецкого читателя, будет весьма интересна и в России своей методической, теоретической частью. Основная идея автора (огрубляя) — современная нация — это государство единомышленников — вот уже два года то превозносится, то низвергается российскими авторами. Вспомоюна предложение известного этнолога В. Тишкова в февральском номере журнала «Вопросы философии» за 1995 г. Он писал о необходимости строительства новой России как многокультурной нации, гражданской нации, нации-государства. Идея вышла и на страницы массовых изданий. Так, в день, когда был сдан в портфель редакции текст рецензии, 10 июня 1995 года, обозреватель газеты «Деловой мир» Л. Жуховицкий предлагал россиянам «суметь осознать себя нацией, неделимой, недробимой...».

Руководитель политики РФ в сфере национальных и федеративных отношений вице-премьер Р. Абдулатипов так вспоминает период 1992–1993 гг.: «Мы разработали программу национального возрождения и межнационального строительства народов России, но мало кто ее воспринимал. И только с приходом Вяч. Михайлова в Миннац мы получили поддержку. Предыдущий руководитель Валерий Тишков исповедовал такую точку зрения: нация, национальные отношения — все это мифология. А ведь он — серьезный ученый... о какой программе национального возрождения можно говорить, если отрицается само понятие „нация“?». (См.: Р. Абдулатипов. Новый приоритет национальной политики — русский народ // Труд. 1997, 4 октября, с. 1, 3).

Думается, что и фактический историко-политологический материал книги, и концептуальный терминологический инструментарий авторов будут в чем-то полезны отечественным аналитикам, размышляющим о завтрашнем дне пространства «восточнее Буга». А может быть, и практикам. Как известно, в Государственной Думе в октябре 1997 г. начата работа над законопроектом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации»; она была возобновлена в апреле 1999 года, — во время Балканского кризиса, когда страдающая от бомбардировок НАТО СРЮ обратилась с просьбой о присоединении к Союзу России и Белоруссии.

О. А. Хорева

Серболужицкое национальное возрождение XIX века в славянско-германском контексте

Национальное возрождение в Сербской Лужице представляет собой длительный этап историко-культурного процесса, начавшийся в 1760-е годы и завершившийся, видимо, в самом начале XX века. Внутреннее единство этого периода обусловлено прежде всего неразрывной преемственностью основного круга идей, выработанных еще в XVIII веке, но потребовавших целого столетия для своего — пускай и частичного — осуществления. При всех титанических усилиях деятелей серболужицкого национального возрождения им удалось разве что затормозить, но отнюдь не прекратить насильственно навязываемое онемечивание. И все же в сфере культуры было достигнуто так много значительного, стоящего наравне с достижениями других, более крупных и более свободных народов, что сам феномен расцвета серболужицкой культуры в XIX веке не может не вызывать восхищения, желания понять и объяснить это явление. И здесь мы сталкиваемся со сложным комплексом вопросов, которые пока еще не получили всестороннего освещения в науке. Однако огромный фактический материал, уже собранный и переработанный в трудах таких ученых, как Корла Август Енч, Ота Вичаз, Йозеф Пата, Йозеф Голамбек, Павол Недо, Фридо Метшк, Рудольф Енч, Люция Хайнец, Ян Шолта, Хайнц Шустер-Шевц, Петер Кунце, Вильгельм Цайль, Мерчин Фёлькель, Зимон Брезан, К. К. Трофимович, Л. П. Лаптева, М. И. Ермакова и многие другие, позволяет совершенно отчетливо увидеть то основное направление, на котором нас ждут обобщающие открытия. Коротко суть проблемы можно было бы сформулировать так: славянский серболужицкий народ, по воле истории оказавшийся маленьким и постоянно размываемым островком в мононациональном море Германии, стал своеобразным «экспериментальным полем» взаимопротяжения и взаимоотталкивания, взаимной вражды и взаимообогащения славянского и германского миров на протяжении уже почти двух тысячелетий их сосуществования в Европе. На маленькой территории Сербской Лужицы сталкивались политические интересы Польши, Чехии, Венгрии, Пруссии и Саксонии. Здесь испытывали силу своих религиозных убеждений католики и протестанты, то давая волю своим разногласиям, то приглушая их в целях достижения национально-культурного единства. В XVII–XVIII вв. в Сербской Лужице развернули самую активную деятельность немецкие пиетисты, оставившие весьма ощутимый след в истории духовной культуры. Сербская Лужица стала,

наконец, «пробным полем», на котором насаждались и испытывались на прочность семена славянской взаимности: русские славянофилы нередко искали здесь подтверждения жизнеспособности своих основополагающих идей; сами понятия «панславизм» и «пангерманизм» зачастую оттачивались и выявляли свою политическую и идеологическую подоплеку в корректных и некорректных дискуссиях по поводу лужицких сербов. Нельзя недооценивать и воздействие идей «австрославизма», которые так или иначе (нередко через посредство чехов) доходили до Сербской Лужицы, чьи связи с чехами (особенно через посредство католиков) были всегда наиболее интенсивными, что, в частности, сказалось в неоднократно возникавшей идее присоединения лужичан к чехам.

Но весь этот обширный и нуждающийся в дальнейшей разработке славяно-германский контекст серболужицкого национального возрождения никогда не перейдет за рамки позитивистской науки, если исследователь не будет постоянно искать ответ на самый главный вопрос: какими незаменимыми ценностями обогатили лужичане европейскую и мировую культуру, в чем духовный смысл этих ценностей и из каких национальных духовных и культурных источников они выросли, потому что подлинные национальные ценности никогда не являются простой суммой обусловившего их контекста — сколь бы значителен он ни был.

В настоящей статье я могу обозначить лишь некоторые контуры заявленной проблематики, максимально сокращая аргументацию, которая отчасти содержится в уже опубликованных работах¹. При самом беглом взгляде на историю серболужицкого народа и его культуры поражает прежде всего жизнестойкость маленького этноса, не только продолжавшего воспроизводить себя, несмотря на все предсказания и пророчества о его скорой гибели, но и постоянно выделявшего из своей среды деятелей общеевропейского масштаба. Миклавш из Дрездена был активным участником гуситского движения, пытавшимся распространить это движение на южную Германию и тем самым готовивший почву для Мартина Лютера, который, как известно, внимательно перерабатывал духовное наследие Яна Гуса. Ян Рак, снискавший себе лавры во многих европейских университетах, последние годы своей жизни провел в Виттенберге, рядом с Мартином Лютером, оказав ему значительную поддержку на начальном и, может быть, самом ответственном этапе немецкой Реформации. Каспар Пойкер стал ближайшим соратником и последователем Филиппа Меланхтона, продолжая отстаивать идеи гуманизма в эпоху начинавшейся контрреформации. Пойкер был одним из первых, кто уже в XVI в. начал осознать и проводить в жизнь идею славянской взаимности, которую он рассматривал в контексте духовного сближения и сотрудничества лучших представителей германских и славянских

культур. Один из поздних лужицких гуманистов Ян Бок волею исторических судеб оказался посредником между серболужицкой, немецкой, словацкой, чешской и венгерской культурами. Все вышеназванные писатели и ученые были горячими патриотами своей Сербской Лужицы, несмотря на то, что их непосредственная деятельность зачастую протекала далеко от родных мест.

Но Реформация Мартина Лютера объективно предоставила образованным лужичанам возможность постепенно перенести поле своей деятельности в Верхнюю и Нижнюю Лужицы, потому что открывала перспективы распространения богослужения на родном языке, для чего необходимо было перевести на лужицкие языки не только саму Библию, но и многие другие литургические тексты. В XVI–XVIII вв. серболужицкая духовная культура развивается по следующим основным направлениям: 1. Продолжается традиция позднегуманистической «ученой» литературы на латинском языке — в трудах Юро Кригара, Альбина Моллера, Абрагама Френцеля, Яна Богумера, Рихтара и других, причем акценты все заметнее смещаются в сторону изучения и описания истории, мифологии, этнографии, топонимики, обычаев и обрядов лужицкого народа. 2. Активно развивается двуязычие, то есть одинаковое владение деятелями серболужицкой культуры немецким и серболужицким языками и активное их использование в научно-практических и национально-патриотических целях, при этом латинский язык тоже используется, но все же весьма заметно вытесняется немецким и серболужицким — именно в таком многоязычном контексте можно правильно оценить общеевропейский резонанс творчества Хандроша Тары, Альбина Моллера, Гадама Богухвала Шераха и некоторых других, чьи произведения уже при жизни становились достоянием европейской культуры. 3. И, наконец, самое обширное национальное направление, представители которого сосредоточили свои усилия на изучении и описании серболужицких языков и диалектов, составлении различных словарей, попытках создания нормированного письменного языка, в том числе с помощью переводов библейских текстов и создания разнообразных произведений на лужицких диалектах, которые испытывались и предлагались как возможная в будущем литературная норма. Это направление начинается в XVI веке в трудах Миклавша Якубицы, Альбина Моллера, Вяцлава Варихия, продолжается в XVII веке Михалом Френцелем, Яном Богумилом Фабрицием, Якубом Ксавером Тицином и еще более разветвляется и усиливается в XVIII веке.

Таким образом, серболужицкое национальное возрождение, делавшее свои первые шаги в эпоху зрелого Просвещения, могло объективно опираться при выработке своей национальной концепции на достаточно широкий общеевропейский, германский, славянский и собственно серболужицкий контекст. На первом этапе серболужицкого национального возрождения (1760–1790-е годы)

славянский контекст проступал достаточно отчетливо, наличие его несомненно и в более ранние периоды, хотя бы уже потому, что при переводах Библии на серболужицкие языки и диалекты лужицкие переводчики не только активно использовали латинскую Вульгату и Библию Лютера, но и различные славянские переводы Библии; сюда же относится и знаменитое «Письмо Петру I» (1697) М. Френцеля. Весь этот контекст ярко проявился в литературных и публицистических памятниках этого периода, в которых отчетливо выступает как освоение духовного потенциала европейского Просвещения, так и переосмысление его в направлении важнейших задач национального возрождения. Перечислю здесь лишь основные произведения, определившие дух и характер этого периода: «Послание в защиту древних славян и лужичан» (1755) Г. Б. Шераха, опубликованное на немецком языке и использовавшее уже весь доступный тогда арсенал просветительской аргументации для развенчания вековых предубеждений немцев против славян, утверждавшее идеи равноценности и равноправия больших и малых народов: поэма Юрия Меня «Лужицкого языка возможности и восхваление в поэтической песне» (1767), сознательно написанная гекзаметрами по образцу Клопштока и содержащая призыв ко всем лужичанам любить и изучать свой родной язык, который по своим достоинствам и возможностям не уступает никаким другим языкам мира; перевод на верхнелужицкий язык избранных отрывков из «Мессиады» Клопштока Юрием Менем в 1767 г. с целью наглядно показать возможности лужицкого языка в воспроизведении наиболее популярного литературного памятника той эпохи; анонимно опубликованная в 1782 г. книга Яна Горчанского «Размышления верхнелужицкого венда о судьбе своего народа», утверждающая — в развитие «Опыта о человеке» Александра Попа — идею равенства и самобытности всех — больших и малых — народов, их право на свою традиционную национальную культуру, свой язык и свои обычаи; здесь же подчеркивается и близость лужичан к другим славянским народам; в 1782–1783 гг. Ян Горчанский уже под своим именем публикует обширную статью «О нравах и обычаях лужицкого народа», в которой пытается обосновать и раскрыть (прежде всего немцам, потому что статья публиковалась на немецком языке) своеобразие серболужицкого народа, входя в конкретные и любопытные подробности его истории и современной жизни; в 1785 г. была опубликована книга Натанаэля Богувера Лески «Путешествие по Саксонии, с учетом естественной истории и экономики», которая органично вписывается в популярный тогда в Европе жанр «путешествий» и достойно представляет социально-критическое направление в серболужицком Просвещении. К этому же периоду относятся две первые попытки лужичан создать прессу на своем языке (1766 и 1790). На это же время приходится и создание Верхнелужицкого научного общества

в 1779 г. в Гёрлице, в деятельности которого в равной степени принимали участие как немцы, так и серболужичане; это Общество стало наряду с Лейпцигом не только вторым крупнейшим центром серболужицкого Просвещения, но и явилось в этот — и в последующий — период крупнейшим очагом для развития идей лужицко-немецкой взаимности и даже шире — славянско-германской взаимности. Уже поэтому разносторонняя деятельность этого Общества нуждается в дальнейшем и самом пристальном изучении.

Второй этап серболужицкого национального возрождения продолжается с начала 1800-х и до конца 1830-х годов. В рамках этого периода частично осуществляются некоторые идеи серболужицкого Просвещения и первого этапа национального возрождения, формируется и укрепляется национальное самосознание, на реальной основе постепенно возникает и формулируется идея славянской взаимности. По всем этим направлениям намечаются значительные успехи, обусловившие развитие национального возрождения вширь и вглубь и подготовившие его расцвет на третьем этапе, начавшемся с 1840-х годов. Важнейшие консолидирующие общественно-культурные вехи второго этапа: деятельность Яна Богухвала Дейки с кульминацией в 1809–1812 гг., когда ему удалось издавать достаточно массовым тиражом ежемесячник на верхнелужицком языке, заметно способствовавший консолидации национального самосознания серболужичан в рамках антинаполеоновского национально-освободительного подъема в Германии; расцвет будишинской гимназии, возглавлявшейся в 1804–1841 гг. немцем Карлом Готфридом Зибелисом и ставшей за это время не только основной кузницей кадров лужицкой творческой и духовной интеллигенции, но и — с 1830-х гг. — важным очагом и катализатором идей серболужицкого национального возрождения и славянской взаимности; реформирование и обновление деятельности Сербского проповеднического общества в Лейпцигском университете в 1812–1814 гг., осуществленное Адольфом Бедрихом Клином и Гандрием Любенским в национально-патриотическом духе — вплоть до 1828 г. Лейпциг оставался важнейшим центром вызревания и распространения романтических идей в Сербской Лужице, здесь же в 1825–1828 гг. в основных чертах сформировалось творчество Гандрия Зейлера (1804–1872), крупнейшего национального поэта рассматриваемого периода. На этот же период падает и разносторонняя деятельность Франца Юрия Лока (1751–1831), который использовал свое положение католического епископа в Будишине (1801–1831) сначала для распространения идей йозефинского просвещения, усвоенных им во время учебы в Пражском университете, а затем активно включился в решение задач национального возрождения в Сербской Лужице, стараясь в том числе смягчить противоречия между католиками и протестан-

тами, сблизить протестантское большинство Сербской Лужицы с католическим славянским окружением; в этот период заметно активизировалась деятельность «Вендской семинарии» в Праге, развивавшейся в русле идей известного чешского философа Бернардо Больцано (1781–1848) и через посредство чехов и лужицан-католиков, учившихся в Праге, распространявшей эти идеи в Сербскую Лужицу².

В третий и завершающий период серболужицкого национального возрождения, продолжавшийся с 1840-х годов и до начала XX века, идейные устремления и практические усилия лужицких патриотов принесли, наконец, свои очевидные и внушительные плоды. С 1842 г. — с издания «Ютнички» Яна Петра Йордана — начинается период непрерывного существования и расширения прессы на верхнелужицком, а затем и нижнелужицком языках — вплоть до 1937 года, когда все лужицкие издания были запрещены национал-социалистами. Усилиями всех лужицких патриотов была создана в 1847 г. «Матица серболужицкая» — как надрегиональный и надконфессиональный научный, культурный и издательский центр, призванный сплотить для решения единой задачи национального культурного возрождения сербов из Нижней и Верхней Лужиц (то есть подданных Пруссии и Саксонии), серболужичан-протестантов и серболужичан-католиков. С 1848 г. выходил «Журнал Матицы серболужицкой», который был не только средоточием научной мысли Сербской Лужицы, но и выполнял очень важные задачи по консолидации серболужицкой интеллигенции в плане национально-культурного самосознания. Наконец, в этот же период с наибольшей полнотой раскрылся феномен серболужицкой национальной литературы — в творчестве Гандрия Зейлера, Яна Арношта Смолера, Яна Вели-Радысерба, Якуба Барта-Чишинского и многих других писателей, включая и раннее творчество Мато Косыка и Якуба Лоренца-Залеского. В этот же период с наибольшей полнотой и продуктивностью раскрылись все положительные аспекты славяно-германской взаимности, сказавшиеся в продуктивном развитии импульсов лужицко-германских и лужицко-славянских взаимодействий в сфере культуры, отчетливо наметившихся уже в предшествовавшие периоды³.

Такой — в самом кратком изложении — представляется сегодня история национального возрождения в Сербской Лужице, обусловленная прежде всего ее спецификой: территориальной разобщенностью, национальной дискриминацией, наличием внутри небольшого этноса двух языков и многочисленных диалектов, трудно сглаживаемыми противоречиями между протестантами и католиками. Ценой огромных усилий серболужичанам удалось во второй половине XIX века в основных чертах осуществить идеи национального возрождения. Продуктивное исполь-

зование славянско-германского контекста в целях национально-го возрождения заметно облегчило эту, казалось бы, почти невыполнимую задачу.

Примечания

- ¹ А.А. Гугнин. Серболужицкая словесность в эпоху Просвещения. Новополоцк, 1994; Он же. Серболужицкая литература в эпоху романтизма. Новополоцк, 1994; Он же. Серболужицкая литература в эпоху национального возрождения. Вводная глава. Новополоцк, 1995. К сожалению, лишь по завершении этих работ мне стало доступно великолепное исследование: S. Brězan. Deutsche Aufklärung und sorbische nationale Wiedergeburt. Eine literaturgeschichtliche Studie zur deutsch-sorbischen Wechselseitigkeit. Bautzen, 1993.
- ² W. Zeil. Bolzano und die Sorben. Ein Beitrag zur Geschichte des «Wendischen Seminars» in Prag zur Zeit der josephinischen Aufklärung und der Romantik. Bautzen, 1967.
- ³ Л. П. Лаптева. Русско-серболужицкие культурные связи с начала XIX века до первой мировой войны (1914 года). М., 1993.

Отзвук русской поэзии XIX в. в творчестве членов Лужицкого семинария в Праге

В начале XVII в. в связи с событиями Тридцатилетней войны территория Верхней и значительной части Нижней Лужиц, издавна входившая в состав Чешского королевства, отошла к саксонскому курфюрсту. В Саксонии и в обеих Лужицах господствующим вероисповеданием еще с XVI в. был протестантизм (лютеранство); только небольшая область в Верхней Лужице между городами Будишином (Бауценом) и Каменцем оставалась католической. Так как в Саксонии верхнелужицким юношам-католикам, решившим готовиться к духовному званию, негде было получить богословское образование, они уезжали учиться в соседние католические страны, прежде всего в Чехию. Однако, став священниками, многие из них на родину уже не возвращались, так что в Верхней Лужице ощущался недостаток католического духовенства. Поэтому два патриотически настроенных священника, братья Мерчин Норберт и Юрий Йозеф Шимоны, в 1694 г. основали для серболужицких гимназистов и студентов богословия, обучавшихся в Праге, небольшое общежитие-семинарий, надеясь, что, собранная вместе, серболужицкая молодежь скорее сохранит чувство родины и свое национальное самосознание. Позже этот семинарий перешел под управление Будишинского епископства¹, получив другое, более вместительное здание. Существующее поныне барочное здание Лужицкого семинария на Малой Стране в Праге² построил в 1728 г. архитектор Килиан Игнац Динценхофер. Здесь же, на Малой Стране, младшие питомцы семинария посещали гимназию, а старшие учились на богословском факультете Пражского университета на другом берегу Влтавы. Родной язык они поддерживали, общаясь и занимаясь друг с другом, самостоятельно.

Более целенаправленно занятия серболужицким языком стали проходить в семинарии только в конце XVIII и особенно в XIX в. в связи с общим патриотическим подъемом серболужичан в период национального возрождения славянских народов. Руководили этими занятиями виднейшие чешские слависты: Йозеф Добровский, Вацлав Ганка, Карел Яромир Эрбен, Мартин Гаттала³. При попечительстве В. Ганки серболужицкие семинаристы в 1846 г. основали общество «Сербовка», целью которого было патриотическое воспитание и совершенствование в родном языке. Этому, помимо прочего, призваны были служить литературные опыты сербовчан. Раз в неделю общество проводило свои заседания, ход которых отражал «Дневник»; литературное же творчество его членов собиралось в альманахах, озаглавленный «Кветки». Ежегодно «Дневник» и «Квет-

ки» подшивались в один том под названием «Сербовка». Эти конволюты являются важнейшим источником для изучения деятельности сербовчан. Они хранятся главным образом в библиотеке им. М. Горника в здании бывшего Лужицкого семинария в Праге, некоторые же тома — в Будишине.

Как и у других славян в период национального возрождения, росту самосознания серболужичан в значительной мере способствовал фактор славянской взаимности. Поэтому и патриотическая деятельность питомцев Лужицкого семинария в Праге была отмечена неослабным вниманием к языкам, культуре и жизни братских славянских народов⁴. Особый интерес и горячие симпатии вызывала у них Россия. Этот интерес укрепляло, в частности, и личное общение с русскими людьми. Многие русские, жившие в Праге или бывавшие здесь проездом, посещали заседания «Сербовки»⁵ — например, В. И. Григорович (1846–1847), А. Ф. Гильфердинг, российский министр просвещения А. С. Норов. Известный впоследствии чешский славист Адольф Патера, обучавший двоих сербовчан, своих ровесников, русскому языку, привел в Лужицкий семинарий будущего этнографа и историка славян П. А. Ровинского и будущего писателя А. С. Троянского, «чья красивая речь внушила еще большую любовь и пристрастие к русскому языку» ученику А. Патеры Яну Гаше, как записал последний в своем дневнике⁶. Гостями «Сербовки» были также П. А. Лавровский, И. В. Лашнюков, М. М. Петровский, А. А. Потебня.

Интерес сербовчан к русскому языку и культуре поощрял В. Ганка. Под его руководством члены общества читали на своих заседаниях отрывки из Остромирова евангелия. Занимались сербовчане и переводами произведений древней и новейшей русской литературы. Так, Михал Горник, ставший позднее одним из значительнейших деятелей серболужицкой культуры, будучи председателем «Сербовки» (1852–1856), перевел «Слово о полку Игореве» и ряд стихотворений Г. Р. Державина («Бог»), И. И. Козлова, И. А. Крылова⁷.

Еще более усилилось увлечение сербовчан русским языком в 70-е годы XIX в. Для изучения его даже было основано отдельное общество — «Славянская беседа». В 1877–1878 годах, когда русская армия громила на Балканах турок, освобождая от османского ига южных славян, почти на каждом заседании «Сербовки» звучала русская тема. Председателем общества в ту пору являлся будущий крупнейший серболужицкий поэт Якуб Барт-Чишинский.

Уже и до Чишинского некоторые сербовчане, совершенствуясь в родном языке, писали собственные стихи. Эти подражательные юношеские стихотворные опыты (завершив учебу, большинство семинаристов оставило занятия поэзией) были выдержаны всецело в духе эпохи. Их форма опиралась, как правило, на образцы, созданные лучшими лужицкими поэтами. В первую очередь это был, несомненно, Гандрий Зейлер, а из старших авторов особенно

Михал Ян Валда (Вавда), чей сборник весьма искусных по форме духовных стихов, главным образом переводных, с барочным названием «Певчий вертоград Иисусов» (1787) переиздавался и в XIX в. Для Валды характерен ямб при следующих схемах рифм⁸: аБаБвГвГ (368, 383), ааббввгг (367), ааБааБВГГ (8). У Зейлера в сборнике «Серболужицкие басни, любезному моему народу поднесенные для пользы и забавы» (1855), доступном тогда в Праге, встречаются как ямб, так и хорей, а рифмовка довольно разнообразна: ааббвв (вступление), аБаБВВГГДЦ (12), абабв (13), аБаБввГ (23), очень частая схема — абабвв (16) с вариантами АбаБвв (21), АбаБВВ (25), аБаБвв (33), ааБввБ (52, 59, 43). Те же схемы используются в творчестве многих членов «Сербовки».

При этом, однако, у двоих сербовчан характер рифмовки мог быть наваян скорее русской поэзией, например, некоторыми стихотворениями Г. Р. Державина либо даже онегинской строфой. Это Миклавш Яцславк, автор датированной 1-м декабря 1849 г. «Боевой песни» (Wójnska pěseň), и Михал Роля, написавший в 1861 г. стихотворение «Уныние — надежда» (Zrudźba — Nadźija). По первым же строфам этих произведений заметна их поразительная близость, например, посланию Г. Р. Державина «Оленину» (1804).

М. Яцславк, «Боевая песнь»:

Wstańmy, wstańmy, bratřa lubi!
Słońco swita Serbowstwu,
Rjeńše časy Serbam lubi,
Woła muži na wójnu!
Přeradu su na nas přadli,
Nowy hrěch na starý kładli.
Na bitwišćo za dom luby!
Stójmy kruće jako duby!
Na bitwišćo za dom luby,
Hejda, hura! do wójny!

М. Роля, «Уныние — надежда»

Ja sedžu w plaču pódla rěki
nad wótčini tu sylžujo.
Ach, dawno zańdžechu juž wěki,
zo sputachu nas Němcojo,
zo z nami Tewtonska wuhra,
zo swobodu a rěč nam wza.

Г. Р. Державин, «Оленину»:

Обычье русских, вида, чувства,
Моей поэзии изограф,
Чьего и славный бритт искусства
Не снес, красе возревновав;
В чьем рашкуле, мелу, чернилах

Перевод:

Встанем, братия дорогие,
С воссиявшей нам зарей,
Что, вещая дни благие,
Всех мужей зовет на бой!
Нас предатель вверг в оковы,
Старый грех умножил новый...
Постоим за край родимый,
Как дубы неколебимы!
Постоим за край родимый:
Гей! Ура! На брань! На брань!

Перевод:

На берегу реки в печали
Я по Отчизне слезы лил.
Ах, сотни лет уж миновали,
Как нас Тевтон закабалил —
Как, занеся над нами меч,
Лишил свободы, отнял речь...

Видна так жизнь, как в пантомимах,
Оленин милый! — вспомняи
Твое мне слово — и черкни...

Сравним теперь форму обоих серболужицких стихотворений, послания Державина и онегинской строфы.

«Боевая песнь»	«Уныние...»	«Оленину»	«Онегин»
10101010	A 01010101	A 01010101	A 01010101
1010101	6 01010101	6 01010101	6 01010101
10101010	A 01010101	A 01010101	A 01010101
1010101	6 01010101	6 01010101	6 01010101
10101010	B 01010101	в 01010101	B 01010101
10101010	B 01010101	в 01010101	B 01010101
10101010	Г 01010101	Г 01010101	Г 01010101
10101010	Г 01010101	Г 01010101	Г 01010101
10101010	Г 01010101	Г 01010101	Г 01010101
1010101	д 01010101	д 01010101	д 01010101
	.		е 01010101
			е 01010101
			Д 01010101
			ж 01010101
			ж 01010101

Разумеется, сербовчане М. Яцславк и М. Роля не смогли достичь совершенства державинской или пушкинской стихотворной формы. Тем не менее наблюдаемое сходство кажется свидетельством того, что члены «Сербовки» не только интересовались современной им русской поэзией, но и вдохновлялись ее шедеврами, пробуя свои силы в литературе.

Примечания

- 1 См.: Z. Boháč. České země a Lužice. Tišnov-Budyšin, 1993, s. 41–48.
- 2 Лужицкий семинарий был упразднен в 1922 г. мейсенским епископом. Его здание принадлежит теперь Министерству просвещения Чешской Республики.
- 3 См.: J. Páta. Josef Dobrovský a Lužice. Praha, 1929; M. Lorencová. Václav Han-ka a Lužičtí Srbové // Lětopis Instituta za serbski Ludospyt. Rjad A. Č. 3, 1955, s. 155–205; J. Mudra. K. J. Erbenowe skutkowanie za Serbow // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A. Č. 15, 1968, s. 182–200; J. Mudra. Praska Serbowska w dobie dohladowanja Měrcina Hattale (1872–1903) // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A. Č. 21, 1974, s. 58–93.
- 4 См.: Я. Петр. Вивчення слов'янських мов у празькій «Сербовці» // Українське слов'янознавство. № 11, 1975, с. 33–43; J. Petr. Zájem Serbovců o slovanské jazyky // Přehled lužickosrbského života. Č. 23. Praha, 1979, s. 5–18.
- 5 См.: Jubilejné spisy «Serbovski». IV — Stawizny. Budyšin, 1905, s. 5.
- 6 Подробнее об этом см.: J. Mudra. Přínos A. Patery k lužickosrbsko-ruským stykům // Slavia. Č. 48, 1979, s. 45–48, 1979, s. 27–38.
- 7 См.: J. Petr. Michał Hórnik. Budyšin, 1974, s. 45–48.
- 8 Строчной буквой обозначается мужская, прописной — женская рифма, цифрами в скобках — порядковый номер стихотворения в книге.

Сведения о сербах-лужицанах в архивах Киева

В статье «Сведения о сербах-лужицанах в архивах Москвы и Ленинграда», опубликованной в 1970 году в лужицком журнале «*Lětopis*», проф. Л. П. Лаптева высказала предположение о том, что возможно существование новых документов, связанных с этой темой, в архивах других городов, в частности Киева¹. Исходя из данной посылки, мы предприняли попытку провести подобное исследование. В настоящее время эта работа далека от завершения, но в целом уже можно подвести некоторые предварительные итоги. В ходе данной работы изучались материалы ЦГИА Украины, государственного архива г. Киева и Института Рукописи ЦНБ НАН Украины.

Полученные данные можно сгруппировать по разделам:

1. Письма представителей серболужицкого народа.
2. Сведения о сербах-лужицанах в российских источниках.
3. Свидетельства проявления интереса к лужицкому народу.

К первому разделу можно отнести, следуя хронологическому порядку, письмо Я. П. Йордана К. П. Победоносцеву, обер-прокурору Синода, которое обнаружено в ИР ЦНБ НАН Украины². Ян Петр Йордан (1818–1891), выдающийся деятель сербского национального возрождения, публицист и ученый, «по существу первым познакомил Западную Европу с русской литературой в ее прогрессивных проявлениях, в частности — с трудами В. Г. Белинского. Переводы и компиляции Йордана на несколько десятилетий стали источником информации о русской литературе для западных ученых и публицистов»³. Найденное письмо датируется 13 марта 1882 года, оно написано на немецком языке и было отправлено из Вены в Петербург. Речь в нем идет о вышедшей под редакцией Йордана брошюре «Будительное слово для католического народа» (*Wecksworten für das katolische Volk*), которую он пересылает Победоносцеву вместе с письмом. Брошюра эта имеет также второе название — «Воссоединение с восточной церковью». Йордан считал, что все западное славянство должно быть заинтересовано в этом деле, и просит поддержки у Победоносцева как у представителя русской церкви, жалуюсь на непонимание со стороны ортодоксального епископства Австрии и Венгрии. Возможно, данный документ станет еще одним свидетельством многообразия российско-лужицких связей и заинтересованности лужицкой интеллигенции в поддержке национального движения в Лужице со стороны России.

К данному разделу относятся также письма А. Муки (1854–1932) киевскому слависту Т. Д. Флоринскому⁴. Арношт Мука, самый известный лужичанин в России начала XX века, публиковал свои работы в русских журналах, в 1896 году совершил путе-

шествие в Россию, посетил ряд городов, в том числе и Киев, установил связи с русскими учеными и долгое время состоял с ними в переписке, частью которой являются рассматриваемые письма, относящиеся к 1898–1908 гг.

Тимофей Дмитриевич Флоринский (1854–1919) в эти годы был деканом историко-филологического факультета Киевского университета св. Владимира, читал лекции по славянским языкам, славянской этнографии, истории славян, был председателем Киевского славянского благотворительного общества, которое оказывало помощь многим славянским обществам и общественным деятелям. По этой причине А. Мука обращается к Флоринскому с просьбой о пожертвованиях в пользу Сербского дома в Будишине. В ИР ЦНБ НАН Украины находятся четыре письма и две открытки с текстом. Одно письмо написано на немецком языке, остальные — на серболужицком, все они отправлены из Фрейберга, где жил Мука, в Киев. В первом письме от 4 апреля 1898 года⁵ Мука благодарит за полученный экземпляр книги Флоринского «Лекции по славянскому языкознанию», вспоминает о своем недавнем посещении Киева в 1896 году, а также благодарит за пожертвования в пользу Сербского дома. К письму приложен высланный Мукой лист пожертвований и добровольных даров на бланке, выписанный на имя Флоринского.

Второе письмо написано 25 октября 1898 года на немецком языке⁶. В нем идет речь о прекрасном издании книги о национальных костюмах и крестьянских домах в Лужице, которое из-за высокой цены не поступит в продажу, а будет распространяться наложенным платежом, поэтому если у Флоринского есть желание получить эту книгу, то нужно ее заказать. Это письмо показывает заинтересованность Муки в распространении знаний о серболужицком народе среди русских ученых, а также свидетельствует о внимании к этому маленькому народу со стороны Флоринского.

Следующее письмо отправлено 29 мая 1899 года⁷. В нем Мука снова вспоминает о своем посещении Киева 25–30 июля 1896 года и сожалает, что не сможет приехать из-за служебных дел на археологический съезд в Киеве, который состоится в августе 1899 года и на который он получил приглашение. Мука благодарит за интерес к лужицанам, шлет приветствие участникам съезда и посылает восемь фотографий, снятых в 1896 году и представляющих типы лужицких народных костюмов, предлагая сделать на обороте их описание на русском языке и представить снимки участникам съезда. Он пишет, что эти фотографии — дар Киевскому славянскому благотворительному обществу от серболужицкого народа и что он сможет прислать еще 50 различных фото, но уже за плату. В своем письме Мука просит собрать пожертвования для Сербского дома. В этом письме он, в отличие от других, подписывается как редактор «Часописа Матицы Сербской» и ежемесячника «Лужица».

В четвертом письме от 27 октября 1903 года⁸ Мука опять рассчитывает на поддержку Киевского славянского благотворительного

общества при издании практической грамматики серболужицкого наречия, на которое у самих лужичан не хватает средств, и обещает в случае оказания помощи выслать несколько экземпляров для общества. Также он пишет о том, что он отправил в Петербург на имя В. И. Ламанского сборник статей со своим очерком «Литература сербов-лужичан в начале XX века». В этом письме упоминается имя молодого ученика Муки Богумила Швелы.

В открытке от 6 мая 1908 года Мука благодарит за помощь и просит выслать экземпляр словаря украинского языка Гринченко. Эта просьба свидетельствует об интересе Муки к украинскому народу и его культуре, что дополняет картину истории украинско-лужицких связей.

В открытке от 15 октября 1908 года Мука обращается с просьбой выслать книгу Флоринского «Славянское племя», изданную в 1907 году, и вновь пожертвовать на Сербский дом. Он сообщает, что при Матице основан музей, но на его содержание не хватает денег.

Рассматриваемые документы содержат прежде всего неоднократные просьбы о сборе средств на строительство Сербского дома, который был открыт в 1904 году, и сведения об обмене книгами между Мукой и Флоринским. Эта переписка является составной частью переписки Муки с русскими учеными и заслуживает внимания как содержащая дополнительные сведения о серболужицком народе конца XIX — начала XX века.

К следующей группе источников относятся заметки, дневники, записи впечатлений российских путешественников, которые побывали в Лужицах и оставили свидетельства об этом. В первую очередь это «Путевой журнал В. Ф. Тимковского»⁹, чиновника канцелярии Государственного секретаря Российской империи А. С. Шишкова, вместе с которым он сопровождал Александра I после разгрома армии Наполеона в России и перенесения военных действий в 1813 году на территорию Западной Европы. Находясь в Германии, Тимковский уже в 1813 году побывал в Лужице, а в конце сентября — начале октября 1814 года совершил повторную поездку и оставил рукопись, которая содержит наблюдения, заметки, раздумья о судьбе «сербов». Эта рукопись представляет собой тетрадь в 120 страниц небольшого формата. Основательная характеристика этого документа уже была сделана Лаптевой, а также Шейманом¹⁰. Этот «Путевой журнал» является первым на русском языке подробным описанием лужицкой земли, условий жизни маленького славянского народа. Основная его ценность заключается в том, что он содержит достоверные сведения о лужицких сербах в первой четверти XIX века. Автор дневника проявлял большой интерес к языку, литературе, судьбе лужицких сербов. Документ содержит этнографические наблюдения, описания природы, ценные данные по истории лужичан.

Следующим документом этого раздела является отчет М. П. Погодина о поездке по славянским землям¹¹, составленный в 40-х годах XIX века. Скорее всего, это один из вариантов отчета, подан-

ного в Министерство народного просвещения России. Этот документ посвящен в основном состоянию австрийских славян в то время, но мы находим в нем и характеристику положения лужицких сербов. В первой части отчета, которая была написана после поездки 1839 года, автор документа констатирует только, что «в Пруссии славяне все уже онемечены»¹². После повторной поездки 1842 года он изменяет свое мнение на этот счет. Теперь он уделяет больше внимания освещению положения славян в Пруссии и вообще Пруссии. Погодин пишет о росте славянского движения «даже в тех странах, которые, казалось, совершенно были онемечены и позабыли как будто свое происхождение: в Восточной и Западной Пруссии, в Силезии, в Верхней Лузании, к коей присоединить должно и Саксонскую»¹³. Таким образом, точка зрения автора документа существенно меняется после повторной поездки, что связано, по-видимому, с появлением сведений о лужицких сербах в российской прессе и знакомством русских ученых с представителями этого народа, а также с подъемом национального движения в Лужице.

К следующей группе источников можно отнести те документы, которые содержат свидетельства проявления интереса российской интеллигенции к лужицкому народу и в которых затрагиваются вопросы, касающиеся истории лужицких сербов, их языкознания, культуры.

Первым таким документом можно назвать, если следовать хронологическому порядку, письмо Осипа Максимовича Бодянского к М. Максимовичу от 18 февраля 1835 года из Москвы, копия которого вместе с другими письмами Бодянского была сделана В. В. Даниловым¹⁴. В частности, Бодянский пишет: «Предмет теперешних моих занятий, составляет знакомство со славянскими языками... Ныне почти все время посвящаю на усвоение себе языков сорабо-вендского и сербского»¹⁵. Таким образом, из этого письма мы видим, что Бодянскому уже в 1835 году было известно о существовании лужицких сербов и уже тогда они представляли для него серьезный интерес. В дальнейшем он посетил Лужицы в мае-июне 1842 года, познакомился со Смолером, выдающимся серболужицким деятелем, а позже долгое время переписывался с ним. Документы об этом и о других сторонах проявления интереса со стороны Бодянского к лужичанам содержится в архиве О. М. Бодянского, который находится в Отделе рукописей Института литературы имени Т. Г. Шевченко (ОРИЛ — Ф. 99). Подробный анализ содержащихся там документов, имеющих отношение к лужичанам, уже был сделан Лаптевой¹⁶.

В ИР ЦНБ НАН Украины была обнаружена инструкция Отделения русского языка и словесности за подписью экстраординарного академика Я. Беребникова, составленная для Пантелеймона Кулиша, члена Кирилло-Мефодиевского общества, которого предполагалось отправить в путешествие по славянским зем-

лям¹⁷. Этот документ содержит, кроме всего прочего, и предписание относительно посещения лужицкой земли. Саксонская и прусская «Лузации» являются в этой инструкции составной частью маршрута посещения славянских земель, а также она включает в себе конкретные задачи: «В Лузации изучить местные наречия лужичан, на которых существуют письменные памятники, восходящие к XVI веку; а для познания лужицкой литературы познакомиться в Лейпциге со славянским ученым: с первым знакомом ея Иорданом, известным по созданию славянского журнала и составлению грамматики верхнелужицкого наречия»¹⁸. К сожалению, как известно, этим планам не суждено было осуществиться, поскольку уже отправившийся в путешествие П. Кулиш был арестован в Варшаве и сослан в Тулу. Тем не менее и этот документ проливает свет на организацию такого рода мероприятий, тем более что в нем немалое место уделяется «Лузации и лужицкому наречию».

В государственном архиве г. Киева находится фонд Киевского университета, который содержит данные о заграничных командировках преподавателей и студентов. Некоторые из них связаны с посещением славянских земель, в том числе и Лужицы. Так, например, найдены материалы о такой поездке Т. Д. Флоринского, прошение которого датируется 1895 годом¹⁹. В этом прошении упоминается о маршруте путешествия Будишин (Бауцен), в качестве одной из целей ставится изучение лужицкого говора. Больше данных содержится в архиве о командировке Василия Яковлевича Яроцкого (1824–1897), который направлялся для изучения славянских языков в 1861 году на полтора года. Яроцкий, выпускник Главного пединститута в Петербурге, в 1847 году был определен в Киевский университет, прослужил на кафедре истории и литературы славянских наречий в должности адъюнкта, а в 1856–1876 гг. исполнял должность экстраординарного профессора. В прошении Яроцкого о командировке ставится конкретная цель посещения Лужицы, знакомства с лужицкими учеными²⁰. Подобное прошение о командировке Яроцкого от Совета университета содержится в ЦГИА Украины²¹. Найдено также письмо Яроцкого ректору университета Иванисhevу с отчетом о ходе командировки, которое было направлено 24 сентября 1863 года из Бауцена, в которой он пишет, что находится у лужицких сербов²². Получение таких данных наводит на мысль, что существуют подробные отчеты о подобных командировках, которые могут содержать неизвестные ранее сведения о российско-лужицких связях.

К третьему разделу источников можно отнести также автограф известного слависта А. И. Степовича, который содержит сравнительные записи молитвы «Отче наш» на славянских языках, в том числе на верхне- и нижнелужицком²³. Этот документ относится к началу XX века. Кроме того, сюда можно отнести и четыре варианта статьи Степовича о «Путевом журнале В. Ф. Тимковского», которую

он, к сожалению, не успел опубликовать²⁴. Эта статья была написана в 1934–1935 годах, в ней дается подробная характеристика дневника и впервые делается вывод о ценности дневника как первого на русском языке подробного описания лужицкой земли.

Найденные документы позволяют сделать вывод о том, что в архивах содержатся данные, которые могут расширить наши знания о лужицких сербах и российско-лужицких связях и их многообразии.

Таковы предварительные итоги проведенного исследования. В дальнейшем будет продолжаться работа по выявлению новых документов в архивах Киева, а также других городов Украины, что позволит представить более полную картину украинско-серболужицких связей как составной части связей между Лужицей и Россией.

Примечания

- ¹ Л. П. Лаптева. Сведения о сербах-лужицанах в архивах Москвы и Ленинграда // *Lětopis*, 1970. А, № 17/2, s. 231.
- ² ИР ЦНБ НАН Украины. Ф. 12, № 4626.
- ³ Л. П. Лаптева. Русско-серболужицкие научные и культурные связи с начала XIX века до первой мировой войны (1914 года). М., 1993, с. 162.
- ⁴ ИР ЦНБ НАН Украины. Ф. 3, № 20 560–20 565.
- ⁵ Там же, № 20 560.
- ⁶ Там же, № 20 561.
- ⁷ Там же, № 20 562.
- ⁸ Там же, № 20 563.
- ⁹ ИР ЦНБ НАН Украины. Ф. 1, № 2332.
- ¹⁰ Л. П. Лаптева. Русский путешественник о лужицких сербах начала XIX века // Вопросы истории, 1986, № 1, с. 85–92. В. Шейман. Василий Тимковский и его дневник путешествия по Лужице // *Lětopis*, 1983, № 30/1, s. 12–53.
- ¹¹ ИР ЦНБ НАН Украины. Ф. 160, № 299.
- ¹² Там же, л. 1 (об).
- ¹³ Там же, л. 27.
- ¹⁴ ИР ЦНБ НАН Украины. Ф. 53. 16.
- ¹⁵ Там же, л. 6.
- ¹⁶ Л. П. Лаптева. Русско-серболужицкие научные и культурные связи, с. 97–120.
- ¹⁷ ИР ЦНБ НАН Украины. Ф. 11, № 2134.
- ¹⁸ Там же, л. 4 (об).
- ¹⁹ Государственный архив г. Киева. Ф. 16, оп. 334, д. 55, л. 15–20.
- ²⁰ Там же. Ф. 16, оп. 299, д. 183, л. 43.
- ²¹ ЦГИА Украины. Ф. 707, оп. 27, д. 522, л. 1.
- ²² Государственный архив г. Киева. Ф. 16, оп. 397, д. 2, л. 136.
- ²³ ИР ЦНБ НАН Украины. Ф. 179, № 10.
- ²⁴ Там же, № 135.

**Материалы о серболужицкой литературе
в неопубликованном курсе лекций
профессора Киевского университета
А. А. Котляревского
(Доклад на семинаре по сорабистике
19–20 марта 1991 г. во Львове)**

Среди профессоров Киевского университета 70–80-х гг. XIX в. А. А. Котляревскому принадлежит почетное место. Он занимал кафедру славянской филологии и практически впервые ввел в учебный процесс Киевского университета преподавание соответствующей дисциплины во всем ее объеме. Котляревский был одним из блестящих филологов, историков и славистов своего времени. Глубокий знаток древнего быта, мифологии и культуры славян, он стал одним из адептов сравнительного метода исследования древностей и языков славянских народов и своими трудами значительно продвинул вперед науку о славянах, заметно усилил потенциал исследований в этой области в общеевропейском масштабе. Творчество столь замечательной личности высоко ценилось современниками. Но в XX в. имя и дело ученого были преданы забвению. В последние годы, правда, появилось несколько публикаций о нем, но все же представляется необходимым коротко напомнить его жизненный и творческий путь.

А. А. Котляревский родился в 1837 г. в посаде Крюково близ Кременчуга в семье дворянина средней руки, в 1853 г. окончил Полтавскую гимназию и поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. Еще в студенческие годы он начал свою литературную и научную деятельность: в газете «Московские ведомости» и в журнале «Русский вестник» он публиковал статьи, рецензии на произведения русской литературы, обращая на себя внимание оригинальностью суждений и блестящей формой изложения. В 1857 г. Котляревский окончил университет и стал преподавать русскую словесность в Московском Сиротском кадетском корпусе, продолжая и активную научную деятельность. Но в 1862 г. его арестовали по т. н. «кельсиевскому делу». В. И. Кельсиев (1836–1878), преследовавшийся властями за революционную деятельность, в 1858 г. эмигрировал из России, но в 1862 г. нелегально, по чужому паспорту приехал на родину. Котляревский случайно с ним встретился и обменялся несколькими книжками. Полиция провела об этих встречах, и ученый был отправлен в петербургскую Петропавловскую крепость. Улик против Котляревского не было, и все же арест затянулся: лишь после 6 месяцев заключения Котля-

ревского в первый раз допросили, и поскольку он ничего противозаконного не совершал, отпустили на свободу. Но пребывание в тюрьме имело для ученого роковые последствия: он заболел туберкулезом, что и свело его в могилу в расцвете сил. Несмотря на невиновность Котляревского, за ним установили полицейский надзор и запретили поступать на государственную службу. Вернувшись в Москву, ученый стал заниматься литературным трудом и энергично работать в основанном в Москве в 1864 г. Археологическом обществе, в изданиях которого поместил много своих интересных исследований. Только в 1867 г. ему было разрешено служить по учебному ведомству, да и то лишь в Дерптском учебном округе. Университет в Дерпте (Тарту) был своеобразным учебным заведением. Обучение велось на немецком языке, среди профессоров и студентов преобладали балтийские немцы, далекие от общественных и политических проблем, волновавших русскую интеллигенцию 60-х годов XIX в. Именно это обстоятельство и имелось в виду при допуске Котляревского к преподаванию в Дерпте. После защиты в 1868 г. магистерской диссертации на тему «О погребальных обычаях языческих славян» Котляревский вступил в должность экстраординарного профессора по «кафедре русского языка в особенности и славянского языкознания вообще». В совершенстве владея немецким языком, ученый быстро освоился с обстановкой и работал весьма плодотворно. Но в эти же годы у него стал быстро развиваться туберкулез. В 1872 г. он уехал на лечение за границу, а затем по состоянию здоровья уволился из Дерптского университета. За пределами России он напечатал свою докторскую диссертацию «Древности юридического быта балтийских славян» и в 1874 г. защитил ее в Петербургском университете, получив степень доктора славянской филологии. В 1869 г. он был освобожден от полицейского надзора и в 1875 г. получил разрешение служить «без ограничения мест». К этому времени Совет Киевского университета избрал его ординарным профессором по кафедре славянской филологии. В Киев Котляревский прибыл 24 ноября 1875 г., и его деятельность здесь продолжалась вплоть до последнего года жизни. Это был преподаватель нового типа, еще довольно редкого тогда в университетах России. Он поставил преподавание славяноведения на современный ему уровень, читал лекции по всем славистическим дисциплинам, вел и практические занятия. Точное знание фактического материала сочеталось у него с теоретическими обобщениями. Профессор обладал широчайшей эрудицией. Киевский университет приобрел в его лице первоклассного специалиста. Однако деятельность этого замечательного человека в Киеве продолжалась недолго. В 1881 г. болезнь резко обострилась, в мае Котляревский выехал за границу, откуда уже не вернулся; скончался он 29 сент. / 11 окт. 1881 г. в Пизе. Привезенный в Москву прах ученого погребен в Покровском монастыре.

Тексты университетских лекций Котляревского в архивах не обнаружены. А. Н. Пыпин предполагал, что ученый составлял подробные библиографические и другие данные по системе карточек и связывал их с цельным изложением, то есть текста лекций не составлял. Самому А. Н. Пыпину, написавшему о Котляревском биографический очерк¹, как он указывает, довелось ознакомиться с содержанием лекций профессора только по записи его ученика, будущего известного историка А. В. Стороженко. Но в ЦГИА УССР в Киеве, как оказалось, хранится еще одна подобная запись, выполненная учителем 1-й Киевской гимназии М. Л. Лятошинским и имеющая ныне форму рукописной книги в 241 лист. Законспектированы материалы лекций, читанных в 1880/81 учебном году, а также в 1878/79 уч. году².

Курс лекций Котляревского по славяноведению, как видно из записи, делился на три части: 1. Вспомогательные науки, 2. История славянской филологии, и 3. «Собственно славяноведение». В этом большом курсе соответствующее место отведено и сербам-лужичанам. Так, в разделе по истории славянской филологии Котляревский останавливался на славистических изысканиях Карла Готтлоба фон Антона. В конспекте записано: «Лужичанину Антону, ректору горлицкой гимназии, первому пришло на мысль, что предметы, существующие в языке народа, существуют и в действительности. Он и воссоздал картину жизни славян по их языку. В 1783 году вышли его «Первые линии опыта о происхождении, нравах, обычаях, верованиях и знаниях древних славян» на немецком языке. Сочинение небольшое (в 100 страниц), но оно — зерно лингвистического направления славянской филологии». «Известия писателей о древней жизни славян скудны, — читаем далее. — Гораздо больше следов в языке. Так, изучая на разных языках названия одежды, орудий и т. д., мы узнаем, какие предметы принадлежали славянам в древности. Антон исполнил хорошо свою задачу, хотя почти не было хороших словарей славянских наречий. В 1789 г., запасшись словарями, он издает 2-ю часть этого сочинения, как дополнение». Далее в записи лекции читаем: «В настоящее время у Антона мы не найдем ничего нового, но он сделал эпоху, ибо метод его до сих пор сохранился. Антону же принадлежит честь открытия связи славянских языков с санскритским (в соч. „De linguae samscritamica et ejus lex“)»³. Идеи Антона проведены и в сочинении Лингарда⁴ „История Крайны“». — «Чтобы метод Антона мог быть применен, — говорится далее, — надо знать правильное значение слов. Но слова часто изменяют значение (например, вор — проворный). Антон же нередко объясняет древние слова современной этимологией. В этом его недостаток, хотя метод и принес много хороших результатов для науки»⁵. Бросается в глаза, что автор конспекта записал лекцию весьма простым языком,

но был, видимо, человеком старательным и добросовестным. Несмотря на некоторую примитивность изложения, по записям вполне можно судить о курсе лекций, о том, что он был насыщен новым материалом; автор конспекта допустил лишь небольшие неточности в собственных именах, а в целом, видимо, правильно передал мысли профессора.

Сведения о самих лужицких сербах и их литературе изложены в курсе лекций, читанном в 1878/79 г., а именно в разделе, где характеризуется западная ветвь славянства и конкретно — балтийские (и полабские) славяне. Указав на то, что балтийские славяне исчезают из истории с XII века, лектор констатировал, что «одна только их часть сохранилась до настоящего времени: это — лужичане или лужицкие сербы». «Это — самое маленькое из всех существующих славянских племен и не доходит даже до 200 тыс. Оно населяет часть Саксонии и Бранденбурга (слав. Бранный Бор). Их поселения начинаются в нескольких верстах от Берлина. Но и оно (племя) уже теряет свою племенную особенность». «Рихард Андре⁶, — указано далее в лекции, — составил три карты лужичан — в конце прошлого века⁷, в начале нынешнего и в настоящее время. Карты весьма поучительны. Мы видим здесь, как племя это должно мало-помалу отступать перед окружавшим его со всех сторон и теснящим немецким населением. Еще в конце XVIII в. в Нижней Лужице говорили по-славянски, а теперь и она совершенно онемечена». Продолжая изложение, Котляревский не вдаётся в причины такого положения лужицких сербов, а констатирует, что «этот осколок (полабско-балтийских славян. — Л.Л.) уцелел каким-то чудом, т. к. он и не отличался военным духом, чтобы противостоять немцам, а принял и немецкую религию (так, в Верхней Лужице 86 тыс. протестантов и только 10 тыс. католиков)». Охарактеризовав общее положение лужицких сербов, лектор далее освещает вопросы состояния их языка и литературы, обращая внимание на изучение того и другого учеными как других народов, так и самих сербов. «По языку, — отмечено в лекции, — племя это делится на две части: верхне- и нижнелужицкое (наречие). Есть среднелужицкое, но оно составляет переход и не есть наречие, а только говор. Лучшее обозрение языка этого принадлежит Евг. Новикову (ныне посол при австрийском дворе)⁸, — „О важнейших особенностях лужицкого наречия“». — «В 40-х годах произошло возрождение лужицкой народности, — записывает далее слушатель Котляревского. — Она возсталла (т. е. воскресла, возродилась. — Л.Л.), создала литературный язык, поэзию, науку; в школах тоже стали преподавать на этом языке. Даже явилась уверенность, что славяне рано или поздно одолеют немцев. Первый толчок этому движению дала реформация. Проповедники их (сербов. — Л.Л.) распрост-

раняли Писание на народном славянском языке; здесь уже лежит зародыш письменности». Далее в конспекте указано: «Но письменность эта долгое время, до первой половины текущего столетия имела чисто религиозный характер: священные богослужебные книги, гимны, проповеди, благочестивые размышления и т. п. Направление было чисто практическое. Главным представителем вновь возникшей литературы явился Абрам Френцель⁹, сделавший то же для Лужиц, что Вальватор¹⁰ для Крайны, — констатирует лектор, переходя к характеристике отдельных представителей сербства. — Но он (Френцель. — Л. Л.) писал по латыни и в своей теории, как богослов, все производил от языка еврейского. Далее следует Горчанский¹¹, он написал „О нравах и обычаях лужицких сербов“, и Антоний (конечно, К. Г. фон Антон. — Л. Л.) — „Первые линии опыта истории быта и нравов славян“. Оба они писали по-немецки. В настоящее время не подлежит сомнению, что основатель новейшего начала художественной критики Лессинг тоже был лужичанин (Лесник). Лейбница тоже усваивают (т. е. относят, приписывают. — Л. Л.) им¹². Недавно скончавшийся ученый Мориц Гаупт¹³ тоже лужичанин. Таким образом, из среды их вышло много известных ученых». Далее в конспекте указана литература об излагаемом предмете. Автор конспекта привел ее в сноске, отметив: «О возрождении лужичан см. у Смолера „Возрождение лужицких сербов“ (есть и по-русски) и у Гильфердинга»¹⁴. Далее в лекции говорится: «Самую важную роль в возрождении сыграл пастор Анд. Любенский¹⁵. К нему скоро примкнули еще пастор Зейлер¹⁶ и два ученых — Юрнанд¹⁷ и Смолер. В Праге, при университете, при богословском факультете есть духовная семинария (разумеется, католическая) для лужицких сербов. Родоначалником ее был известный Й. Добровский, и здесь-то, кажется, им и Ганкою, заведывавшим после него семинариею, и была внушена эта любовь к народным славянским произведениям и языку. Тогда же изданы были лужицкие народные песни, собранные Смолером и Гауптом (2 т.), издание, равное по достоинству лишь собранию Вука Караджича¹⁸. Вместе [с тем] было положено начало изданию на лужицком языке журналов и газет. Движение это очень скоро из городов перешло в села. Здесь главными виновниками его явились народные учителя и сельское духовенство. Началось этнографическое изучение края. Явились подражатели народных произведений. Таковы Зейлер и Мужик Краснопольский¹⁹. Последний впрочем, заведши банкирскую контору, кинул поэзию и только жертвует ежегодно суммы на издания. Он же перевел „Славянские древности“ Шафарика на немецкий язык, где перевел и свою фамилию. Ныне он „Mossich von Ehrenfeld“. „Матица“ тоже завела журнал. Он появился в 1847 г. в гор. Будышине (в Верхней Лужице) старанием двух

известных ученых патриотов: Смолера и Клина²⁰. „Матица“ — это ученое общество, основанное с литературной целью. Журнал его — *Časopis* — это энциклопедия лужицкой литературы. Здесь странным образом объединяется и деятельность ученая и деятельность литературная; рядом с учеными изысканиями здесь помещаются и проповеди и детские повести и т. п. Он основан с единственной целью — собрать разрозненные силы и дать им однообразие. Так, здесь помещена лучшая ныне грамматика лужицкого языка Фуле²¹, потом много трудов, принадлежащих Зейлеру, Смолеру, Клину, Йорнанду, здесь же участвуют и Дучман²², Имиш²³, Стемин²⁴ и душа всей Матицы, католический священник Горник. Итак, здесь совмещается то, что привыкли считать несовместимым. Здесь видим духовную связь между лицами разных исповеданий». «Кроме Будышина (Баутцена), — говорится далее в лекции, — лужицкие книги и журналы издаются еще в Лейпциге, в Праге и др. местах. Но „Časopis“ — журнал ученый, для народа неудобный, и вот за издание такого популярного журнала несколько раз принимался Смолер. Он издавал „Лужичанина“».

Изложение вопроса о положении лужицких сербов и их литературы заканчивается в конспекте в минорном тоне. «Невольнo пробивается грусть при виде этого племени, так стойко отбивающегося от тлетворного влияния немцев, но мало-помалу все-таки падающего. Так, Нижняя Лужица онемечена уже, и ее журнал „Лужицкий гражданин“ издается на языке немецком». «Какая же причина, несмотря на существующие центры движения, влечет их к онемечиванию?» — вопрошает лектор. И отвечает: «А та, что все интересы нашего века поглощаются коммерческим направлением, а в Лужице, стране, окруженной и стесненной немцами, язык торговли есть язык немецкий. Не может быть сомнения, что лужицкое племя станет скоро добычей Европы вообще и немцев в частности. Разве явится чудо, разумеется, то, что история сделает крутой поворот. Но на чудо надеяться не следует»²⁵.

К счастью, эти мрачные пророчества киевского профессора не оправдались. Прошло более ста лет после того, как они были высказаны, а лужицкие сербы еще живы, доказательством чему является и наш семинар, и присутствие на нем живых и функционирующих в национальном направлении представителей этого народа. Правда, сейчас, после объединения Германии, опять появилась опасность «поглощения коммерческим направлением». Но пессимистические пророчества в отношении маленького славянского народа уже высказывались неоднократно — и раньше и позднее лекции Котляревского. Многие полагали, что лужицкие сербы исчезнут еще в XIX в. Будем же надеяться, что и в сегодняшней трудной ситуации они найдут средства сохранить себя, свой язык и культуру.

Что же касается материала о лужицких сербах, изложенного в лекциях проф. А. А. Котляревского, то необходимо констатировать, что даже на основании конспекта одного из слушателей, т. е. источника весьма несовершенного, можно судить о богатстве материала, которым располагал профессор, о его новизне для того времени, хотя, конечно, сейчас, более ста лет спустя, некоторые характеристики и суждения Котляревского устарели, а отдельные из упоминаемых им фактов получили иное освещение. Даже из краткого конспекта лекции видно, что представление о лужицких сербах и их духовной культуре давалось киевским студентам с охватом всех наиболее важных аспектов их развития; лектор был хорошо знаком с современным ему состоянием изучения предмета и подтверждал своим курсом репутацию блестящего преподавателя и выдающегося ученого.

Примечания

- ¹ А. Котляревский. Сочинения. Т. IV, с. CXLVIII.
- ² ЦГИА УССР. Ф. 2223. Оп. 1. Ед. хр. 69. Курс лекций проф. А. А. Котляревского, записанный учителем I Киевской гимназии М. Л. Лятошинским. Далее указываются только номера листов.
- ³ «О санскритском языке и его строе».
- ⁴ А. Т. Linhart (в 1788–1791 издал «Опыт истории Крайны, Каринтии и Штирии»).
- ⁵ Л. 8 об., 9, 9 об.
- ⁶ Richard Andree (1835–1912) — известный географ.
- ⁷ Следует понимать, что карты не «составлены» в конце «прошлого века», а отражают положение лужицких сербов в ту эпоху.
- ⁸ О Е. П. Новикове (1826–1903) см. в частности: Л. П. Лаптева. Русская историография гуситского движения..., М., 1978 (по указателю). Название сочинения не вполне точно. Верно: «О важнейших особенностях лужицких наречий».
- ⁹ Abraham Frenzel (1656–1740), здесь скорее всего имеется в виду его известное произведение *De originibus linguae sorabicae*.
- ¹⁰ J. V. Valvasor — старший современник А. Френцеля, в 70-х — 80-х гг. XVII в. издал ряд сочинений о Крайне («Слава герцогства Крайны», 1689).
- ¹¹ Jan Horčanski (1724–1799). Его сочинение — *Von den Sitten und Gebräuchen der heutigen Wenden* (1782).
- ¹² Ныне такое мнение, видимо, отвергнуто. В словарях лужицких сербов этих имен нет.
- ¹³ Моритц Гаупт (1808–1874) — классический филолог и германист, профессор Лейпцигского и Берлинского университетов; издавал «*Zeitschrift für deutsches Altertum*».
- ¹⁴ Книги с буквально таким названием у Смолера нет. На русском языке, в журнале Дубровского «Денница» (1842–43) напечатана работа Смолера (на рус. яз.) о серболужицкой литературе с XVIII в. Гильфердинг упомянут в связи с его соч. «Народное возрождение сербов-лужичан в Саксонии», Русская Беседа 1856, 1, с. 1–55 и отдельное издание. — М., 1856.

-
- ¹⁵ Handrij Lubjenski (1790–1840).
¹⁶ Handrij Zejler (1804–1872).
¹⁷ Несомненно, Ян Петр Йордан (1818–1891) (Jan Pětr Jordan).
¹⁸ Вук Караджич (Карадић Вук Стефановић, 1787–1864).
¹⁹ К. А. Mosak-Kłosopólski (Karl August Mosig von Aehrenfeld) (1820–1898).
²⁰ В. А. Klin (1792–1855).
²¹ К. В. Pful (1825–1889) Laut- und Formenlehre der Oberlausitzisch-wendischen Sprache. Bautzen, 1867.
²² Р. Dućman (1839–1907).
²³ Jaroměr Hendrich Imiš (1819–1897).
²⁴ Вероятно, К. Е. Stempel (1787–1867), священник, переводчик греческой классики на серболужицкий язык. Некоторые его сочинения опубликованы только во второй половине XX века.
²⁵ Л. 219–233 (все с оборотами).

Польский журнал о лужицких сербах (1993–1995)

В 1990 г. в Варшаве появился новый журнал *Zeszyty lужицkie*¹. Он издается сотрудниками Института славянской филологии Варшавского университета и Кружком любителей лужицкой культуры в Польском этнографическом обществе. Издание выходит тиражом в 200 экз. Редакцию материалов, их подбор и другую организационную работу осуществляют профессор Эва Сятковска, польская славистка (в частности и сорабистка), и возглавляемый ею коллектив редакционной коллегии журнала. Члены коллектива публикуют в «Зешитах» свои научные статьи и рецензии, переводы и сообщения. Так, проф. Э. Сятковска опубликовала уже несколько таких материалов. Но главной опорой журнала являются, разумеется, специалисты, для которых сорабистика стоит в их исследованиях на первом месте, в основном польские, но также серболужицкие, чешские и других стран, как и представители серболужицкой диаспоры за пределами Европы.

Задача журнала определена его создателями как стремление освещать все стороны жизни Лужиц, а также сербов-лужичан — их историю, литературу, язык, этнографию и т. д. Кроме того, редакционная коллегия журнала имеет в виду поддержать молодых исследователей, стремящихся изучать лужицких сербов, выбравших для своей деятельности проблемы, связанные именно с этим народом. Всего вышло до 1995 года 13 выпусков журнала, причем каждый из них посвящен определенной тематике. Внутри выпусков материал распределен по отделам — история, литература и искусство, фольклор, переводы на польский язык серболужицкой прозы и поэзии, рецензии, хроника, воспоминания, библиография. Издатели стремятся удовлетворить запросы как профессионалов, так и читателей, которые ничего (или почти ничего) о лужицких сербах не знают. В каждом выпуске публикуются и переводы из серболужицкой литературы — как классики, так и современных поэтов и прозаиков.

Так, 8-й номер журнала² носит название «Лужицкий калейдоскоп». Здесь освещены многие вопросы, а именно: ситуация лужицких сербов в годы стабилизации Веймарской республики (1924–1929), сведения о чешских и польских сорабистических обществах, о верхнелужицкой поэзии, о лужицких пословицах и мифах, о жизни лужицких сербов в дальних (заморских) странах. В литературном отделе кроме рецензии на послевоенную антологию поэзии сербо-лужичан опубликованы стихи Томаша Навки, Петра Тиманна, Ганжи Винарец-Оресовой и др. материалы.

9-й номер журнала³ посвящен восприятию и изучению сербо-лужичан другими народами, а также положению лужицких сербов в ряде стран. Среди статей представляют большой интерес «Сорабистика в Венском университете во второй половине XX в.» (автор — Ф. В. Мареш), «Лужицкая литература в Польше в период 1945–1992 г.» (авторы — Марита и Владислав Собеци), а также статья ученых из Гданьска Ю. Борзышковского и Ц. Обрахт-Прондзыньского «История и современность лужицких сербов и кашубов», в которой делается попытка сравнить судьбы обоих народов и проследить в этих судьбах общие черты. Здислав Клос в статье «Три острова в немецком море» рассуждает на тему об автохтонности лужичан, фризов и вендов в Федеративной Республике Германии, об их современном положении и перспективах развития. Литературный раздел этого номера открывается редакционной статьей о народности в лужицкой литературе, а далее публикуются стихи и проза лужицких писателей, в произведениях которых, по мнению издателей журнала, ярко выражены народные черты. В разделе «Хроника» помещены сообщения о международных сорабистических конференциях в Праге (Чехия) и Новогродке (Польша). На первой из них обсуждались вопросы культуры и литературы в 90-х годах XIX в., а вторая была посвящена серболужицкому поэту Якубу Барту-Чишинскому. Обе конференции собрали значительное число сорабистов из ряда стран, что свидетельствует о неугасающем интересе к лужицким сербам.

10-й и 11-й номера «Зешитов» посвящены истории Лужиц с IX до XX в. При этом 10-й номер охватывает века с IX по XIX⁴. Авторы статей рассматривают историю гуситских войн в Лужицах, роль ордена цистерцианцев в развитии лужицкой культуры, военные действия на территории Лужиц в 1813 г., битву под Будишином тогда же в освещении серболужицких писателей и некоторые другие вопросы. Не имея возможности в настоящем обзоре останавливаться на всех материалах, касающихся истории Лужиц, укажем на ряд весьма спорных, с нашей точки зрения, моментов в статье Томаша Яворского «Из истории гуситских войн в Лужицах» (с. 18–29). Изложению темы статьи предпослано редакционное введение, рассчитанное на читателя, мало знакомого с историей Чехии XV в. Как здесь утверждается, названный сюжет мало известен не-профессионалам и в Польше. Желая дать массовому читателю определенную ориентацию, авторы введения предлагают освещение сущности гусизма в Чехии с позиций, давно преодоленных в европейской гуситологии. Так, утверждается, что причиной гуситских войн был отказ чехов в 1419 г. признать королем Сигизмунда Люксембургского, виновного в смерти Гуса (с. 18). Такое понимание причин одного из крупнейших социальных и религиозных дви-

жений в Европе XV в. представляется весьма упрощенным. Гуситские войны являются результатом тех противоречий в чешском обществе, которые развивались с начала XV в. и вылились в конечном итоге в гуситскую революцию. Кроме того, гуситские войны представляли собой не только вооруженную борьбу против крестовых походов католической Европы, как утверждается во введении, но и борьбу между религиозными партиями самих гуситов, которые по-разному понимали идею реформации церкви. Далее, едва ли можно квалифицировать гуситское движение только как религиозное и направленное против немецкого духовенства и феодалов (с. 18). Начавшись как борьба за реформу церкви, гусизм перерос в мощное социальное движение, радикальные слои которого выступали за изменение существующего общественного порядка. В ходе развития революции религиозные вопросы постепенно отходили на задний план, а после захвата гуситами церковных земель и другого имущества новые его владельцы — паны и бюргерство — быстро стали склоняться к компромиссу с католической церковью. Таким образом, гуситская революция объективно представляла собой выступление большинства чехов XV в. против материального и политического засилья церкви, хотя идеология этого движения и была религиозной. При этом, конечно, нельзя отрицать и искреннюю веру в возможность вернуть церковь к временам Христа, разделявшуюся значительными контингентами чешского населения, особенно народными массами. К числу имеющих во введении упрощений относится и утверждение, что Община чешских братьев развивала традиции таборитов. В действительности она по ее идейным устремлениям была противоположна таборитам, воевавшим за «царство Божие на земле» с оружием в руках, тогда как Община исповедовала тезис о непротавлении злу насилием. Кроме того, в процессе развития этой организации в ее учении произошли столь существенные изменения, что в XVI в. она уже мало чем отличалась от протестантизма. Едва ли можно полностью согласиться и с утверждением автора статьи Томаша Яворского, что марксистская историография только фальсифицировала историю гуситского движения, освещая его с политических позиций. Ведь каждая эпоха имеет свои взгляды на исторический процесс. Со свойственных ей позиций освещала гуситское движение и католическая историография, суждения которой были также достаточно односторонни. Нельзя отрицать того факта, что в марксистской историографии многие аспекты гуситского движения освещались в соответствии с существовавшей идеологией и даже «подтягивались» под нее. Но следует признать и то, что эта историография весьма способствовала более глубокому, чем прежде, изучению феномена гуситского движения, расширению проблематики исследований, введению в на-

учный оборот массы новых источников, использованию данных, на которые раньше не обращалось никакого внимания. Результаты марксистской историографии, на наш взгляд, заслуживают всесторонней, а не только негативной оценки.

Из других материалов 10-го номера обращает на себя внимание рецензия Эвы Сятковской под названием «Михал Френцель — „лужицкий Петр Скарга“ в свете новой публикации профессора Гинца Шевца» (с. 90–99). В рецензии идет речь об осуществленном известным сорабистом Гинцем Шустером-Шевцем в 1993 г. издании серболужицкого памятника письменности 1688 г. Автор рецензии дает информацию об этой публикации, характеризует сам источник, приводит сведения о Михале Френцеле как сорабисте и слависте. Особое внимание уделяется анализу проповедей Михала Френцеля, их содержанию. В конце рецензии разбирается язык и орфография Френцеля. Таким образом, рецензия представляет собой скорее самостоятельное исследование о Френцеле, чем только оценку труда Г. Шустера-Шевца, что, впрочем, не умаляет заслуг последнего, подчеркнутых рецензентом в начале статьи (с. 90–91). Интересен в 10-м номере и литературный материал, содержащий переводы стихотворений Гандрия Зейлера и Якуба Барта-Чишинского, а также Юрия Жежки, антифашиста, трагически погибшего во время Второй мировой войны, и современного поэта Кито Лоренца. Весьма ценным приложением к 10-му номеру является библиография содержания номеров I–IX (с. 113–123).

История лужицких сербов XX в. освещается в номере 11⁵, посвященном 50-летию со дня трагической смерти одного из патриотов серболужицкого народа, поэта Яна Скалы (1889–1945). Из исторических исследований укажем на статью М. Цыганьского «Лужичане в годы стабилизации Веймарской республики (1924–1929) и в годы кризиса (1929–1933)» (с. 12–29). Далее, Казимир Кечмарек рассматривает роль Армии Войска Польского в Лужицах в 1945 г. Другие авторы занимаются серболужицкими проблемами 1946–1947 и 1950 годов. Дитрих Шольце, ныне директор Серболужицкого института в Будишине, в своей статье рассуждает «О ситуации лужичан — вчера, сегодня, завтра». Статья Лешека Куберского освещает последние годы жизни серболужицкого политика, поэта и прозаика Яна Скалы. Имеются в номере и рецензии на новые книги о лужицких сербах. В отделе литературы помещен очерк Анны Прошиньской о творчестве серболужицкой поэтессы Марии Кравец, есть и переводы ее стихотворений. В разделе хроники дается информация о сорабистических конференциях в Праге, Зеленой Гуре и Варшаве в 1994 г.

Весьма интересным и ценным для изучения вклада польских ученых в освещение различных сторон жизни и культуры лу-

жицких сербов представляется номер 12⁶. Он полностью посвящен очеркам жизни и деятельности польских друзей лужицан разных эпох, в том числе и нашего времени, но уже скончавшихся. Всего приведены сведения о 38 таких людях. В их числе языковеды, историки, этнографы, а также публицисты, писатели и вообще друзья лужицких сербов, внесшие тот или иной вклад в их науку и культуру. Не все деятели, характеризующиеся в номере, являются этническими поляками, критерием для их включения в словник была не этническая принадлежность, а тот вклад, который они внесли в разработку серболужицких сюжетов. Поэтому получилась весьма внушительная картина польско-серболужицких контактов. В конце каждого очерка приводится основная библиография о характеризуемом лице. Идея редакции опубликовать подобный материал является, на наш взгляд, счастливой находкой и, несомненно, повысит читательский интерес к журналу.

Последний имевшийся в нашем распоряжении выпуск «Зешитов», имеющий нумерацию 13/1, посвящен сербам Нижней Лужицы, их жизни и проблемам⁷. Главное внимание здесь уделяется языку сербов Нижней Лужицы, их письменности и литературе. Весьма интересной представляется статья Э. Вроцлавской под названием «Один или два серболужицких языка существовали после распада праславянского?» (с. 15–20). Часть статей представляют собой перепечатку из серболужицкого журнала «Розглад», выходящего в Будишине. В номере приводятся сведения о публикации в польских журналах материалов о лужицких сербах, о посвященных им сюжетах в передачах польского радио и в кинофильмах. Литературный отдел включает стихи и прозу нижнелужицких поэтов и писателей. Несколько статей посвящено недавно скончавшимся польским и серболужицким ученым и культурным деятелям.

Подводя итог обзору содержания журнала «Зешиты лужицке» за 1993–1995 годы, следует констатировать, что новое издание представляет читателям разнообразный, в большинстве случаев новый материал, свидетельствующий о том, что в современных условиях, когда положение лужицких сербов с точки зрения их национального развития существенно ухудшилось в связи с объединением западной и восточной частей Германии, имеются интеллектуальные силы, которые готовы помочь лужицким сербам продлить их национальное существование. Одним из таких помощников и является польский журнал «Зешиты лужицке», издаваемый и поддерживаемый материально группой энтузиастов — ученых Института славянской филологии Варшавского университета.

Примечания

- ¹ Рецензент имел в своем распоряжении номера 8–12 и выпуск, обозначенный как «Том 13, номер 1» (1993–1995 г.). С содержанием номеров 1–7 желающие могут ознакомиться по библиографии, опубликованной в номере 10 и охватывающей материалы первых 9 номеров (см. номер 10, с. 113–121).
- ² *Zeszyty łużyckie* (далее сокращаем Zl) nr. 8. 1993. *Kalejdoskop łużycki*.
- ³ Zl nr. 9. 1994. *Łużyczanie a inni*.
- ⁴ Zl nr. 10. 1994. *Starsze dzieje Łużyc. IX–XIX wiek*.
- ⁵ Zl nr. 11. 1994. *Nowsze dzieje Łużyc (XX wiek)*.
- ⁶ Zl nr. 12. 1995. *Sylwetki polskich Przyjaciół Łużyczan*.
- ⁷ Zl Tom 13 nr. 1. 1995. *Dolni Łużyczanie — ich życie i problemy*.

Л. П. Лаптева. Сербо-лужицкие научные и культурные связи с начала XIX века до Первой мировой войны (1914 года). Москва, 1993.

Работа Л. П. Лаптевой представляет собой первый опыт систематического и монографического исследования истории контактов русских славистов с представителями научной и культурной интеллигенции небольшого славянского народа, проживающего на территории Германии. Сам автор отмечает в предисловии, что предшествующие попытки изучения данного сюжета отечественными (включая многочисленные статьи самой Л. П. Лаптевой) и зарубежными учеными носили главным образом частный характер, будучи обращены либо на отдельных персонажей, либо на отдельные аспекты серболужицкой проблематики (лингвистические, в частности) в работах русских и советских славистов (с. 4–6). Предпринимая свое исследование, автор ставит перед собой задачу не только представить систематическую картину развития контактов между научной интеллигенцией двух народов, но и рассмотреть ее специально в историческом ракурсе — как динамический процесс, содержание и смысл которого, в конечном счете, определялись меняющимся социальным и культурным контекстом.

Уже во Введении автор точно и строго определяет предмет и границы своего исследования. Предметом работы названы «факты и процессы взаимного обмена научными и культурными достижениями, взаимного изучения двух народов и стран отдельными лицами и целыми организациями, которые и являются носителями связей» (с. 4). Автор, таким образом, достаточно однозначно ограничивает свое исследование пределами научного сообщества (при возможной размытости этого понятия применительно к разным периодам) и порождаемого им поля личного взаимодействия и исследовательского интереса. Из сферы специального рассмотрения выведены проблемы «официального», осуществляемого на правительственном уровне, отношения России к серболужицкому вопросу и факты (возможной) реакции германских властей на русское касательство к нему. Автор объясняет это отсутствием сколько-нибудь систематически осуществлявшейся правительственной политики России в отношении лужицких сербов, которые «не входили в сферу славянской политики Российской империи» (с. 3–4). Возможно, это суждение, являющееся полемическим откликом на определенную историографическую традицию изучения проблемы, нуждается в более серьезном обосновании. Другим тематическим ограничением, последовательно осуществляемым на протяжении всей работы, является отказ от отождествления суждений и отношений, вырабатываемых в определенном и весьма узком кругу, с широким понятием общественного мнения и национальных стереотипов. Такая позиция кажется не только научно корректной, но и весьма точной в тактическом отношении, позволяя автору избежать столь частой в случае расширительного толкования конкретных феноменов беспочвенной спекулятивности или откровенной вкусовой ангажированности. Вообще, адекватность предмета, метода и источниковой базы исследования кажутся одним из основополагающих достоинств работы.

Структура работы кажется весьма жесткой и целенаправленной: принцип организации материала полностью подчинен задаче исторически последовательной и объективной репрезентации предмета исследования. Помимо Введения (с. 3–8), определяющего задачи исследования, работа содержит четыре главы, каждая из которых соответствует особому этапу в развитии русско-серболужицких научных связей. Сразу необходимо отметить, что предлагаемая автором

периодизация соответствует не только конкретному, достаточно частному явлению в развитии российской науки, но и учитывает общие закономерности эволюции отечественной славистики и гуманитарного знания в целом.

Первая глава озаглавлена *Сведения о сербах-лужичанах в России в первой трети XIX века* (с. 9–38). В этой части работы Л. П. Лаптева стремится проследить истоки зарождения интереса становящейся российской научной среды к серболужичанам, пути получения информации о них и объективно оценить характер, объем и меру значимости первых сведений о маленьком славянском народе. Анализ самого явления автор органично сочетает с характеристикой общих процессов организации науки и развития научного знания в России в первые десятилетия XIX в., особо выделяя вопрос о генезисе изучения славянской проблематики (с. 9–16). Логика представления материала о русско-серболужичских связях — одновременно и выделенных, и подчиненных более общему процессу становления интереса к славянским народам и их изучения — кажется адекватной анализируемой исторической действительности. В этот период славистика еще не конституировалась в особую область научного знания, а специальный интерес к серболужичанам не выделился из поля общего раннего любопытства к славянству в целом.

Автор отмечает, что «в процессе постепенного нарастания в России знаний о славянах сведения о лужичских сербах были незначительными, часто случайными» (с. 17). Эта, как кажется, принципиальная характеристика периода последовательно обосновывается анализом сохранившихся свидетельств о мере интереса, характере информации и мере ее публичности.

Производя ревизию традиционных историографических стереотипов, автор отказывается видеть начало русско-серболужичских связей в факте вручения письма М. Френцелем Петру I в 1697 г. (с. 17–18). Л. П. Лаптева полагает это событие отдельным, частным явлением, не имевшим прямого и непосредственного продолжения в последовательном развитии интереса к серболужичанам или в становлении системы взаимных связей. Их начало должно быть, в логике автора, связано с фактами, открывающими непрерывную и нарастающую волну интереса, изучения и взаимных связей — здесь проявляется непоследовательность автора, отрицающего квазинаучную значимость символических событий перед лицом объективного и рационального анализа исторических явлений.

Характеризуя значение первых русских путешественников в серболужичские земли — А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова (с. 18–20), В. Ф. Тимковского (с. 22–31) и М. К. Бобровского (с. 31–35) — с точки зрения распространения сведений о сербах и установления контактов между научной интеллигенцией, автор констатирует, что их интерес имел частное значение в контексте общего внимания к славянским народам. Анализ показывает, что во время посещения серболужичских земель первые русские исследователи и путешественники обнаруживали главным образом общепознавательный «этнографический» интерес. Их записки фиксируют знакомство с внешними, более или менее случайно схваченными деталями жизни и культуры лужицких сербов. В основном, им свойственны романтические настроения в восприятии славянского мира и культуры, сопряженные с достаточно поверхностными знаниями о них по существу. Однако, как пишет Л. П. Лаптева по поводу заметок В. Ф. Тимковского, здесь можно обнаружить и более глубокое знакомство с современным автору обсуждением судеб и перспектив развития лужицких сербов. В целом, наивность, случайность и поверхностность суждений русских путешественников вполне вписывается в современный им уровень знаний о «славянстве», исследование которого находилось в начальной стадии своего становления.

Автор затрагивает в этом разделе и вопрос о мере знакомства русского общества с информацией о полабских славянах. Весьма существенной для понимания реальных масштабов ее публичности кажется констатация, что большинство сведений путешественников не были доступны российской аудитории, даже ее узкой части, читающей научные или литературно-публицистические журналы. Они не были опубликованы, а сведения, поступающие в печать, носили случайный и отрывочный характер. Хотя русской интеллигенции были знакомы некоторые сочинения серболужицких исследователей, обладала она и некоторыми, в основном, филологическими и лингвистическими материалами, использовавшимися в научных трудах, однако в целом не только научное изучение, но и простое достоверное описание серболужичан не могут быть приписаны российской научной и культурной среде.

Вторая глава «Русско-серболужицкие связи в 40–50-х годах XIX века» (с. 39–162) посвящена характеристике переломной эпохи не только в изучении серболужицкой проблематики русскими специалистами, но и в становлении российской славистики в целом. Этот период, существо которого автор определяет через становление университетской славистики и подготовку первого поколения университетских профессоров-славистов, действительно открывает начало систематической научной разработки серболужицкой проблематики, с одной стороны, и установлению устойчивых контактов между российскими и серболужицкими деятелями науки и культурного просвещения. Вторая глава является не только самой обширной, но, как кажется, и ключевой, поскольку описываемые в ней явления не только хронологически открывают действительную историю серболужицко-русских научных связей и начало научной соработки в России, но и генетически определяют основные направления и тенденции обращения русского славяноведения к серболужицкой проблематике.

Центральное место во второй главе отведено характеристике деятельности по изучению серболужицкой культуры и филологии, их введения в курс университетского преподавания первого поколения русских профессоров-славистов. Анализируя деятельность И. И. Срезневского (с. 39–97), Ф. М. Бодянского (с. 97–120), П. И. Прейса и В. И. Григоровича (с. 120–129), автор отводит центральное место фигуре И. И. Срезневского, по праву считая его одним из самых значительных и оригинальных русских славистов.

Говоря об обращении русских славистов к серболужицкой проблематике, автор особо выделяет значение процесса их профессиональной подготовки. Его важным элементом было командирование претендентов на профессорские звания в славянские страны для лучшего изучения своего предмета и практического ознакомления с народами и культурами. Эта целенаправленная научная поездка являлась и важным условием установления научных контактов молодых российских славистов.

Анализ автором сообщений о поездках показывает, что интерес молодых ученых был гораздо более глубоким и систематическим, чем это было характерно для путешественников первого поколения. В частности, останавливаясь на характеристике наблюдений И. И. Срезневского и проделанной им работы по сбору и описанию серболужицкого материала, Л. П. Лаптева отмечает, что они обнаруживают интерес к проблемам археологии, фольклора, этнографии и особенно языкознания и литературы. Из всех вышеупомянутых русских славистов И. И. Срезневский более всего уделял внимания серболужицким сюжетам и в своих последующих научных изысканиях, равно как и в курсе университетского преподавания. Весьма важным аспектом русско-серболужицких связей было и зарождение в этот период достаточно стабильных и системати-

ческих контактов русских славистов с сербскими деятелями науки и культурного возрождения. Любопытно, что эти связи строились на обоюдном интересе к исследованиям в сферах славянской культуры, прежде всего языка и литературы, подкрепляемом и стремлением сербских деятелей найти со стороны российских ученых и культурных кругов моральную, интеллектуальную и материальную поддержку. Два отдельных раздела главы посвящены деятельности П. П. Дубровского и Яна Петра Иордана, содействовавших популяризации и распространению литературных и научных сочинений соответственно серболужицкого и российского происхождения в своих странах.

Третья глава посвящена развитию серболужицких связей в последующие десятилетия — 50-е — начало 80-х годов XIX в., рассматриваемые автором как особый период в их истории. Автор отмечает, что конец 40-х — нач. 50-х годов прошлого столетия отмечены рядом принципиальных изменений социального, политического и культурного плана, которые не могли не отразиться на характере русско-серболужицких научных связей. С «сербской» стороны автор отмечает интенсификацию движения национальной интеллигенции за поддержание и сохранение культуры. Существенно, что движение это не только расширяется количественно, но и приобретает новые организационные формы. Считая это результатом уступок в «национальной политике», на которые прусское правительство должно было пойти в результате революционных потрясений 1848 г., автор отмечает усилившуюся тягу деятелей серболужицкого культурного возрождения к союзу и сотрудничеству с другими славянскими народами, и в первую очередь с Россией.

Существенные изменения происходят и в развитии российской научной и общественной мысли. Автор отмечает общий подъем интереса к славянским народам, сопряженный и с качественно новым уровнем развития отечественной славистики. На арену активной научной жизни выходит новое поколение славистов, учеников первой генерации университетских профессоров. Сам характер их исследований становится не только тематически разнообразней, но и приобретает более глубокий исследовательский характер. Расширение поля славистических исследований, по мнению Л. П. Лаптевой, влечет за собой и подъем разработки серболужицкой тематики. Одновременно происходит и количественное и качественное нарастание публикаций, посвященных этим проблемам.

Среди представителей новой плеяды русских славистов автор особо выделяет фигуру А. Ф. Гильфердинга, представившего в рассматриваемый период наиболее значительные труды по серболужицкой проблематике. Ему посвящен особый параграф «Лужицкие сербы в освещении А. Ф. Гильфердинга» (с. 164–189). А. Ф. Гильфердинг, ученик О. М. Бодянского в Московском университете, был одним из наиболее значительных представителей славянофильского направления в отечественной славистике, создатель «славянофильской теории исторического развития зарубежного славянства» (с. 165). Свойственные ему общемировоззренческие и философские взгляды определили и его подход к изучению лужицких сербов. В своих сочинениях Гильфердинг сделал ряд точных наблюдений, касающихся этнического, культурного и исторического своеобразия лужицких сербов, во многом скорректировавших современный ему уровень знания по этим проблемам, однако сильно окрашенных романтическими и идеалистическими концепциями славянофильства. Главным трудом ученого, по мнению Л. П. Лаптевой, стало, однако, сочинение о национальном возрождении лужицких сербов (с. 169 дал.). Эта работа сообщает ценную и достоверную информацию, касающуюся социальных и культурных процессов в современном автору сербском обществе, однако, по мнению автора, страдает определенной тенденциозностью и односторонностью (с. 182–183).

В особом разделе главы Л. П. Лаптева подробно останавливается на характере представления серболужицкой проблематики в русской периодической печати рассматриваемых десятилетий. Тщательный критический анализ показывает, что по сравнению с предшествующим периодом объем публикаций в научной и просветительской периодике России значительно возрос (с. 189 дал.). Говоря об идейных тенденциях, автор отмечает возможность определить общую тональность — она видится в акцентировании идеи славянской взаимности, стремлении вызвать сочувствие и интерес к малому славянскому народу у российской читающей аудитории. Среди поднимавшихся вопросов наряду с исторической и этнографической информацией значительное место занимала проблема сохранения культурной и этнической самобытности сербов, их судьба в условиях неизбежной культурной и политической германизации. Автор отмечает, что особый интерес к славянам вообще и серболужичанам, в частности, проявляли славянофильские круги, в то время как представители других общественных и идейных течений оставались равнодушны к этим проблемам. Подробному анализу подвергаются и материалы серболужицкой периодики (с. 210–220), относительно которых автор констатирует обилие публикаций о России и их преимущественную ориентацию на консервативные официальные и общественно-политические оценки современной русской жизни.

Завершающий раздел главы посвящен характеристике выдающегося деятеля серболужицкого возрождения А. Я. Смолера (с. 224–253). Автор отчасти обобщает, отчасти расширяет достаточно обширную информацию о Смолере, содержащуюся в предшествующих разделах книги и затрагивавшую проблему взаимоотношений с русскими славистами (см. ук. выше разделы о Срезневском, Бодянском и Гильфердинге). За Смолером признается наиболее существенное значение не только в движении за культурное возрождение серболужичан, но и в поддержании систематических связей с российскими научными, общественными и официально-правительственными кругами.

Заключительная четвертая глава исследования «Русско-серболужицкие связи с начала 80-х годов XIX века до 1914 года» (с. 254–292) посвящена анализу места серболужицкой проблематики и связей русских и серболужицких ученых в последние десятилетия накануне Первой мировой войны. Характеризуя своеобразие периода, автор отмечает важность комплекса факторов общественного значения. Прежде всего, существенным кажется изменение общего социально-политического и идеологического фона как в русском обществе, так и в среде серболужицкой интеллигенции. Усиливающиеся тенденции германизации со стороны властей объединенной Германии, быстрое разрушение этнического и культурного своеобразия серболужичан вызывают новые умонастроения в среде национальной интеллигенции, прежде всего, молодого поколения. В отличие от деятелей национального возрождения предыдущей эпохи, они высказывали гораздо более резкую критику и откровенное недовольство относительно политики германских властей, в значительной степени отвергая лояльную и осторожную тактику своих предшественников (с. 254–255). Представители «младосербского движения» выходят на арену общественной жизни в середине 70-х годов XIX в. и постепенно становятся определяющей силой национального культурного движения, в том числе и в сфере осуществления научных и культурных связей с Россией.

Значительные изменения присходят и в научной среде и умонастроениях российской, прежде всего научной интеллигенции. Автор пишет, что рассматриваемый период отмечен упадком и постепенным изживанием научного и философского славянофильства, все более вытесняемого из системы научного ана-

лиза и обобщения в сфере славяноведения. Отчасти это связано с общим разочарованием в славянофильских ожиданиях и чаяниях со стороны интеллигенции, все большим включением отдельных идей в контекст официальной идеологической риторики. Немаловажное значение имел и физический уход с научной сцены в течение этих лет крупнейших представителей научного и философского славянофильства, место которых занимали представители нового поколения славистов, гораздо более скептических и рациональных в своей профессиональной деятельности (с. 255–256). Однако, как показывает последующий анализ вышедших в эти годы сочинений, отдельные славянофильские концепции и идеи продолжали сохранять свою значимость в сочинениях по славянской тематике, в том числе и касающихся лужицких сербов. В частности, это относится к сочинениям И. С. Пальмова (с. 260 дал.), К. Я. Грота (с. 261 дал.).

В предлагаемом автором анализе обзора работ и форм взаимодействия русских и серболужицких ученых особое внимание уделяется ряду фигур, к числу которых относятся с сербской стороны М. Горник (с. 256 дал.), А. Мука (с. 264 дал., 274), поэт Якуб Барт-Чишинский (с. 285–287) и с русской И. С. Пальмов (с. 257 дал.), К. Я. Грот (с. 261–263), В. А. Францев (с. 263 дал.), Е. В. Петухов (с. 270–271), Л. В. Щерба (с. 271–273) и др. В своей оценке уровня изучения серболужицкой проблематики в российском славяноведении этих десятилетий автор констатирует его более высокий уровень по сравнению с предшествующим периодом. В целом, это соответствует высказываемому и в других исследованиях Л. П. Лаптевой отрицательному отношению к идее кризиса отечественной гуманитарной науки, в том числе и славяноведения, накануне 1917 г. Утверждаемая ею идея о подъеме науки кажется важным вкладом в воссоздание объективной и реальной картины, в течение многих десятилетий нарочито искажаемой с позиций идеологической ангажированности.

К числу характерных черт представления серболужицкой проблематики автор относит тематическое разнообразие исследований, их включение в контекст общеславянских исследований. Как и в предшествующие десятилетия, большая часть научных публикаций была посвящена проблемам истории литературы, лингвистике и языкознанию. Существенным кажется и замечание, что отличительной чертой этого периода было значительное число публикаций по серболужицкой тематике в российской печати, принадлежащих самим серболужицким исследователям.

Анализируя характер связей между русскими учеными и серболужицкой интеллигенцией, Л. П. Лаптева отмечает их систематический, устойчивый и разветвленный характер, констатирует участие в них представителей разных поколений, общественно-идейных движений, научных и культурных интересов. Их характерной чертой был широкий обмен информацией и новейшими исследованиями, равно как и систематическое личное общение, зачастую принимавшее дружеский характер. Важным кажется и наблюдение о том, что в этих отношениях интеллектуальный и научный приоритет принадлежал русской стороне, авторитет русской науки и славяноведения делал весьма престижным для представителей серболужицкой культуры и науки общение с русской академической средой. Отношение серболужичан не было лишено и определенного практического интереса — заинтересованности в моральной и материальной поддержке.

Завершая краткий обзор исследования Л. П. Лаптевой, необходимо отметить, что его значимость определяется не только систематическим и полным представлением достаточно слабо изученного сюжета. Прежде всего, речь идет об освещении новых ракурсов истории отечественной культуры и науки. Выявленные через частный аспект достижения отечественного гуманитарного знания, своеоб-

разие и принципы организации научной жизни и исследований представляются интересными не только с точки зрения академического интереса, но и в практическом плане — как конкретный исторический опыт, поучительный в ситуации современного организационного и интеллектуального кризиса. Отдельные замечания, которые возникали у автора рецензии по ходу прочтения книги, касающиеся главным образом некоторых риторических и стилистических аспектов. В частности, некоторая однотипность и подчеркнутое единообразие наименования разделов книги, связанные, по моему мнению, с подчеркнутым стремлением к аналитической беспристрастности, могло бы быть заменено большей концептуальностью титулов. Отражение в заглавиях принципиальной оценки Л. П. Лаптевой значимости тех или иных периодов или персонажей — а это в полной мере присутствует в самом тексте работы — могло бы изначально облегчить задачу аудитории книги, большая часть которой не является специалистами в излагаемых сюжетах. Некоторый протест вызывает и определенная формальность, даже стереотипность в характеристике автором некоторых общих аспектов социальной и политической жизни, например, относительно германской политики относительно лужицких сербов или различных течений российской политической и общественной жизни. Речь не идет об оценке этих явлений — это безусловное авторское право, но только о желании более стилистически открытой личностной позиции. В связи с этим, необходимо заметить, что прямым контрастом с представлением этих второстепенных с точки зрения предмета исследования сюжетов кажется общая стилистическая выверенность работы. Стил, язык и тональность работы соответствуют ее предмету, отношению к нему автора и особенностям мышления. Книга не просто написана хорошим литературным языком, в ней задается определенная эмоциональная напряженность, сочетающая подчеркнутую объективную беспристрастность с элементами пафоса, научную серьезность с нотами скрытой и явной иронии, уважение к мнению оппонентов с умением обнаружить их слабые и уязвимые стороны.

М. Ю. Парамонова

Научный семинар Центра славяно-германских исследований ИСБ РАН 1994–1997 гг.

Центр славяно-германских исследований ИСБ РАН имеет научный семинар и организует доклады по всему спектру славяно-германских отношений, приглашая ведущих специалистов в области истории, социологии, политологии, литературоведения, языкознания и культурологии. Регламент обсуждения предполагает вопросы к докладчику и выступления в дискуссии. На основе прочитанных докладов подготовлен ряд научных публикаций, вошедших в состав подготовленного Центром первых двух томов издания Славяно-германских исследований или отраженных в других публикациях Центра.

Центр организует выступления отечественных и зарубежных ученых; часть последних были гостями Центра и Института славяноведения и балканистики РАН и специально приезжали для чтения научных докладов. При отборе заявок основной упор делается на сопоставительные исследования, вопросы славяно-германских контактов, а также работы типологического характера, представляющие интерес для смежных отраслей знания. Конкретная научная проблематика докладов специально не ограничивалась. В то же время опыт действия семинара показал, что выступления группировались в основном вокруг двух направлений — 1) актуальных проблем медиевистики; 2) современных европейских исследований. Во многих выступлениях затрагивались также вопросы истории гуманитарных наук, в том числе логики развития отдельных отраслей славистики и германистики.

Первое заседание семинара состоялось 17.03.1994. С докладом «Древнерусско — немецкие связи Раннего средневековья. Некоторые итоги и проблемы изучения» выступил старший научный сотрудник Института российской истории А. В. Назаренко. Научная значимость доклада, текст которого открывает первый том «Славяно-германских исследований», видится в том, что публикация А. В. Назаренко не только содержит новые научные обобщения, но и предлагает подробный очерк библиографии вопроса, где имеющиеся достижения и обозначившиеся подходы рассматриваются критически, а не апологетически.

Прозвучавший 19.05.1994 доклад к. и. н. А. В. Рандина (МГУ) «Чешская и немецкая Реформация: сравнительный анализ» был посвящен событию, имевшему глубокие последствия не только для Чехии и для Германии XV–XVI вв., но и для истории всей Европы — Реформации. В докладе было показано, как национальные и культурные особенности Чехии и Германии, а также личностные особенности вождей Реформации Гуса и Лютера отразились на характере религиозно-культурных движений в данных странах: принцип толерантности, по мысли докладчика, заметно отличает чешскую реформацию от немецкой. В дискуссии выступили Л. П. Лаптева, и А. А. Гужнин, которые отметили, что на конечный успех реформации в Германии и неуспех в Чехии повлияли как факторы социально-экономического плана, так и обстоятельства, связанные с борьбой идей; был затронут вопрос о влиянии Викафа и Меланхтона на формирование национальной идеологии реформации в Чехии и Германии. С. С. Скорвид указал, что попытка реформации в Чехии дала сильный толчок развитию этнокультурного самосознания соседних славянских народов — словенцев, кашубов и лужичан.

22.11.1994 состоялся доклад к. и. н. *М. Ю. Парамоновой* «Святость и dignitas правителя в первых святовацлавских легендах». Докладчица подробно остановилась на особенностях средневекового концепта святости и обстоятельства формирования культа первых восточноевропейских королей-мучеников. Был привлечен обширный сопоставительный материал и рассмотрены специфические черты немецкой и скандинавской агиографии применительно к житийным текстам о королях-мучениках. В дискуссии выступили *А. В. Назаренко*, *Б. Н. Флоря*, *А. В. Рандин*, *Людвиг Рихтер* (Берлин), *Г. П. Мельников*, *Е. Г. Владимирова*, *А. В. Циммерлинг*, *А. Горизонтова*.

В тот же день, 22.11.1994, с сообщением выступил гость Центра профессор *Людвиг Рихтер* (Берлин), который рассказал об основных направлениях германской славистики и о структуре изучения славистических дисциплин в академических институтах Германии.

Проблематика средневековой культуры и средневекового сознания была вновь поднята на заседании 13.12.1994 в докладе *Т. В. Бочкаревой* (МГУ) «Временная отнесенность „Беовульфа“ (К типологии средневекового сознания)». При этом в центре внимания оказались уже не жанры общеевропейской христианской письменной литературы, но произведения, восходящие к архаическим традициям древнегерманской героической поэзии. Исследовательница показала, что слова с временной семантикой образуют в языке данного памятника сложную систему, в которой находят отражение концепты как линейного, так и циклического времени. Представлениям об идеальном и дурном мире соответствуют разные лексемы со значениями «благой поры» и «деструктивного» времени, «суеты». По мнению докладчицы, отдельные черты подобной системы представлений детерминированы самой структурой памятника, а другие могут быть экстраполированы и за пределы поэтического языка.

Актуальная проблематика современных европейских исследований зазвучала на заседании 2.03.1995. Собравшаяся аудитория могла познакомиться с оценками гостя Центра, профессора Тюбингенского университета *Рольфа Дитера Клуге*, который прочел доклад с программным названием «Россия и Европа». В обсуждении приняли участие директор Центра *А. А. Гугнин* и *А. В. Назаренко*.

Полемическим продолжением предыдущего доклада стало выступление к. и. н. *О. В. Павленко*, которая на заседании Центра 28.03.1995 прочла доклад на тему «Панславизм и Пангерманизм». Докладчица охарактеризовала основные этапы развития идеологии панславизма и пангерманизма. Конечный вывод — пангерманизм возник раньше, панславизм был реакцией на него. Доклад вызвал оживленную дискуссию, в которой приняли участие *А. В. Дранов*, *С. И. Шерлашмова*, *Т. М. Исламов*, *Л. П. Лаптева*. Они поднимали вопросы о связи идеологических установок панславизма и пангерманизма с политической практикой по отношению к национальным меньшинствам в германских и славянских государствах.

Стереотипы исторического сознания и самосознания в современной городской культуре получили своеобразное отражение в докладе к. э. н. *В. М. Немчинова* «Эмпирическое исследование исторического сознания подростков в Германии и России», который прозвучал в Центре 26.04.1995. Работа *В. М. Немчинова* является частью международного проекта, связанного с проведением крупномасштабного социологического исследования в странах Западной и Восточной Европы. Исследование показало, что многие расхожие представления о «демократичности» или «тоталитарности» сознания представителей молодого поколения и об их гипотетических симпатиях в плане истории своей страны и истории

Европы являются мифами, не выдерживающими экспериментальной проверки. В обсуждении доклада активное участие приняла Э. В. Сайко.

Типологические интересы следующего выступавшего — д. ф. н. Т. Г. Логутенковой (Тверской государственный университет) — были обозначены уже в названии её доклада «Типология литературных германских языков», состоявшегося 26.05.1995. В докладе Т. Н. Логутенковой явственно читалось стремление выйти за пределы микролингвистических методов и построить типологию литературных языков на основе ряда культурных параметров. Основное внимание докладчица посвятила начальному этапу формирования наддиалектных норм в средневековой Англии, Германии и Скандинавии (древней Исландии). Подробно рассматривались пути развития абстрактных значений и становление специальной терминологии, в первую очередь грамматической и религиозной. В дискуссии приняли участие Т. Н. Джаксон, Г. В. Глазырина, Т. Л. Шеняевская, А. В. Циммерлинг, которых интересовали критерии выделения функциональных стилей в языке младописьменной эпохи (позиция докладчика в этом вопросе представлялась ряду выступавших слишком оптимистичной), а также взаимодействие поэтической традиции и традиции деловой письменности.

В марте — апреле 1996 г. по приглашению Центра в Москве гостил известный немецкий филолог профессор Детлеф Фелинг (Киль), автор ряда работ в области классической филологии, истории европейской культуры и лингвистической типологии. Приезд профессора Фелинга вызвал большой интерес московской общественности; его аудиторию составили представители разных поколений — от докторов наук до студентов МГУ и МГПУ. Д. Фелинг прочел на заседаниях Центра два доклада. Доклад, прочитанный 28.03.1996, носил название «Nehmen und... О происхождении конструкций типа „ВЗЯЛ И ПОШЕЛ“, „ВЗЯЛ И СКАЗАЛ“, „ВЗЯЛ И...“ в европейских языках» и был посвящен проблемам межъязыковых взаимодействий; обозначенная в заглавии конструкция была прослежена на материале широкого круга славянских и германских языков. Автор оспорил гипотезу о семитском происхождении конструкции и связал её распространение с практикой перевода Библии на европейские языки нового времени. В обсуждении приняли участие М. Л. Котин, В. З. Демьянков, А. В. Циммерлинг, А. Зезюля.

Второй доклад Д. Фелинга состоялся 02.04.1996. Он носил название «Шар небесный и шар земной. Два открытия греческих ученых» и был посвящен истокам представления о шарообразности земли и небесных тел в истории европейской науки. Были прослежены взгляды досократиков, Платона и Аристотеля и был сделан вывод о решающем вкладе последнего в разработку данной космогонической модели. Тем самым, за стертыми клише о «своде небесном» и «шаре земном» неожиданно возникла богатая картина эволюции представлений о мире в наивном и научном сознании. В дискуссии приняли участие О. М. Савельева, К. Г. Красухин, Н. П. Гринцер.

15.05.1997 состоялся совместный доклад д. и. н. Т. Н. Джаксон и к. и. н. А. В. Подосинова (оба — Институт российской истории РАН) на тему «Норвегия глазами древних скандинавов: к вопросу о специфике ориентации по сторонам света». Оригинальность подхода авторов выявилась в том, что пространственная ориентация средневекового общества восстанавливалась не на основе погребальных обрядов и предпочтений в размещении капищ или церквей, а на основе анализа текста. По мысли докладчиков, в древнеисландских сагах отсутствует относительная локализация по движущемуся субъекту; указания типа «Х поехал с юга на запад/восток/север» следует воспринимать как относящиеся к некоторой идеальной схеме, где каждый пункт закреплен за той или иной

«четвертью». Кроме того, реальный вектор перемещения часто искажается до неузнаваемости ввиду того, что для некоторых маршрутов традиция признает релевантным лишь одно измерение: юг ↔ север, реже запад ↔ восток. С данными факторами следует связывать и обозначение Норвегии как «Северного пути». В обсуждении приняли участие А. В. Циммерлинг, Ф. Б. Успенский и члены скандинавского семинара Российского гуманитарного университета. Ставились вопросы об универсальной применимости предложенной в докладе схемы к другим культурам: в ответных выступлениях Т. Н. Джаксон и А. В. Подосинова звучал богатый сопоставительный материал.

3.06.1997 Центр славяно-германских исследований в рамках Дней славянской письменности и культуры провел заседание, посвященное 150-летию Матицы серболужицкой. В зале присутствовали почти все ведущие отечественные сорабисты — историки, литературоведы, лингвисты и переводчики. Были прочитаны следующие доклады и сообщения:

1. Л. П. Лаптева. 150-летие Матицы серболужицкой и ее современное положение.
2. М. И. Ермакова. Итоги и задачи изучения серболужицких языков и диалектов.
3. А. А. Гугнин. Итоги изучения истории серболужицкой литературы и проблемы её современного исследования.
4. С. С. Скорвид. Проблема подготовки сорабистов и изучения „малых“ славянских языков и рамках современной славистики.
5. М. И. Семиряга. Воспоминания об изучении истории и этнографии Сербской Лужицы в 1945–1950-х гг.

На заседании также состоялась презентация книги Л. П. Лаптевой «Российская сорабистика XIX–XX вв. в очерках жизни и творчества её представителей. Справочник. М., 1997».

А. В. Циммерлинг

Научное издание

Славяно-германские исследования
Томы первый, второй

Утверждено к печати
Институтом славяноведения РАН

Издательство «Индрик»

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Подписано в печать 09.02.2000 Формат 60×90 1/16.
Гарнитура “Школьная”. Печать офсетная. Бумага офс. № 1
Печ. л. 41,0. Тираж 500 экз. Заказ № 434

Отпечатано с оригинал-макета
в Производственно-издательском комбинате ВИНТИ,
140010, г. Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, д. 403
Тел. 554-21-86

По вопросам приобретения книг следует
обращаться по адресу:
117334, Москва, Ленинский проспект 32-а,
Институт славяноведения РАН
(для издательства «Индрик»)
тел. (095) 938-01-00
тел./факс 938-57-15
E-mail: matt@got.mmtel.ru

СЛАВЯНО-ГЕРМАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ